GARDER L'HÉRITAGE —
NE SIGNIFIE PAS S'Y LIMITER
LÉNINE

# LITERATOURNOE NASLEDSTVO

## 31-32

SOCIÉTÉ DE JOURNAUX ET DE REVUES (JOURGAZ)
1 · 9 · MOSCOU · 3 · 7

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО - ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

# ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

## 31-32

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 7

Том приготовил
С. А. МАКАШИН

КЛЕМАН МАРО
Рисунок неизвестного художника середины XVI в.
Эрмитаж, Ленинград

# ПУШКИН И ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Статья Б. Томашевского

## I

Роль французской культуры в жизни и творчестве Пушкина несоизмерима с ролью какой бы то ни было другой иностранной культуры. Различие здесь не только количественное. Главное различие—качественное. Французская литература для Пушкина не была, подобно, например, итальянской или английской, только совокупностью произведений, в той или иной мере достойных внимания, изучения и подражания. Французская литература являлась той культурной средой, в которой воспитывалось пушкинское поколение; для многих эта среда была более родной, чем русская. Франция была, кроме того, посредницей между русскими читателями и всей мировой литературой. Для Пушкина французский язык был вторым родным языком. Мы знаем, что именно во французском переводе Пушкин читал итальянских авторов, например, Манцони «I Promessi sposi», хотя мог читать итальянцев и в подлиннике; по-французски Пушкин читал Байрона, В. Скотта и Шекспира в период своего увлечения ими и лишь позднее изучил английский язык настолько, что мог свободно читать на нем; по-немецки Пушкин читать не любил и тоже во французских переводах читал Шлегеля, а позднее Гофмана, Гейне, Жан-Поля и даже сказки Гримма. Конечно, и античные авторы и восточные были известны Пушкину преимущественно во французских переводах. Наиболее характерным является факт перевода Пушкиным сборника «La Guzla»; этот перевод показывает, что даже славянскую поэзию Пушкин считал возможным брать во французской интерпретации. Франция была передатчицей иных культур, иных национальных ценностей. Но эта передача не была механической. Дело не в том, что Пушкин лучше понимал по-французски, чем на иных языках, и потому принужден был обращаться к французским переводам. Дело в том, что самое обращение его к тому или иному факту иноязычной литературы подсказано было интересом к этому факту, возникшему во французской среде. Франция не просто передавала Пушкину те или иные ценности,—она его заражала интересом к этим ценностям, она возбуждала в нем внимание к ним. В черновиках «Онегина» имеются стихи, характеризующие кругозор Онегина:

Он знал немецкую словесность
По книге госпожи де Сталь...

Стихи эти отражают сложный факт влияния одной культуры на другую. Знать немецкую словесность по книге Сталь—это вовсе не то же самое, что изучать персидскую литературу по английскому курсу. Здесь предполагается интерес не только к немецкой словесности, но к Сталь, как к писательнице и мыслителю, интерес к самой книге, которая в свое время

имела боевое значение (достаточно вспомнить историю ее запрещения во Франции). Здесь мы имеем случай, когда самый интерес к иноязычной литературе возбужден фактами французской культуры.

В какой-то степени это справедливо и по отношению изучения южнороманских литератур по книге Sismondi «De la littérature du Midi d'Europe». И здесь интерес к предмету книги соединяется с интересом к автору, которого Пушкин знал, как мыслителя, историка и экономиста (ср. «Записку о народном воспитании»), и который являлся для него, как и для его старших современников, Гнедича и Батюшкова, большим авторитетом в вопросах литературы.

В. Кюхельбекер, провозглашавший национальное возрождение, писал в 1824 г.: «Было время, когда у нас слепо припадали перед каждым французом, римлянином или греком, освященным приговором Лагарпова «Лицея». Ныне благоговеют перед всяким немцем или англичанином, как скоро он переведен на французский язык: ибо французы и по сю пору не перестают быть нашими законодавцами: мы осмелились заглядывать в творения соседей их единственно потому, что они стали читать их».

Нельзя упускать из виду, что Франция со времени революции привлекала к себе внимание передовых слоев всего человечества. Исключительна осведомленность Пушкина и его современников в фактах французской жизни, начиная с быта и явлений, казалось бы, местного французского значения и кончая литературой, политикой и всеми проявлениями интеллектуальной жизни. Французские газеты и журналы являлись для русских предметом такого же повседневного чтения, как и русские. Во Франции возникали и созревали в обстановке напряженной борьбы те идеологические системы, которые указывали пути прогрессивного развития для других европейских государств.

Не следует смешивать этот острый интерес к Франции и ее жизни с «галломанией» и пассивным восприятием внешних форм культуры, в частности, французских мод и французских вкусов. Галломания, явление весьма типичное для России XVIII и начала XIX вв., характеризуется некритическим перенесением французского на русскую почву. Для Пушкина характерно критическое отношение к французской культуре. При несомненном преобладании французских интересов в его интеллектуальной жизни, именно ко всему французскому он особенно требователен и придирчив. Если бы с определенной предвзятой точки зрения подобрать цитаты из высказываний Пушкина о французской литературе, то нетрудно было бы создать то, по существу, ложное впечатление, что Пушкин был врагом всего французского, так часто в его словах звучит досадливое недовольство по отношению к тому или иному явлению французской литературы. Но, по существу, эта досадливость отзывов свидетельствует лишь о крайней заинтересованности Пушкина. Чтобы понять эту, иной раз чрезмерную, раздраженность, необходимо учитывать два момента: первое—это то, что обращение к французской культуре никогда, кроме разве ученических лет, не было у Пушкина пассивным, не было подражательным. В основе запросов, на которые Пушкину отвечали уроки французской культурной жизни, лежали интересы национального развития русской мысли. Именно в процессе создания русской национальной литературы Пушкин был европейцем в лучшем смысле слова и учитывал не только опыт своих русских предшественников, но и опыт всей мировой литературы. Только это позволило Пушкину наметить такие пути в развитии русской литературы,

идя по которым она вскоре стала передовой в семье европейских литератур, оставаясь национальной. Другая причина, объясняющая резкость суждений Пушкина,— это обстановка времени, обстановка интенсивной литературной борьбы в годы его литературного становления. Для того, чтобы понять роль тех или иных иностранных влияний в творчестве Пушкина, необходимо отказаться от представления о мирном сожительстве разных течений в литературе. Двадцатые годы XIX в. знаменуют напряженную и непрерывную борьбу, создавшую сложное взаимоотношение литературных группировок. Пушкин принимал непосредственное участие в этой борьбе и был заражен страстностью борющихся партий. В отрицательных отзывах Пушкина звучит не пристрастность отрицания, а страстность борьбы.

Сама культурная обстановка, в которой рос и воспитывался Пушкин, неизбежно вела его к ближайшему знакомству с французской интеллектуальной жизнью. Здесь влияло и предшествующее развитие русской литературы, носившее на себе глубокие следы воздействия французских традиций, которым подвергались, впрочем, и другие национальные литературы XVIII в. Здесь сказался быт русского дворянства, который с екатерининских времен испытал сильное влияние Франции, в результате которого для многих представителей русского дворянского общества родным языком наравне с русским был французский.

Если вспомнить обстановку, в которой рос Пушкин, то неизбежность французского влияния становится очевидной. Воспитатели Пушкина были французы. Воспоминания, продиктованные сестрой Пушкина, говорят об этом: «Первым воспитателем был французский эмигрант граф Монфор, человек образованный, музыкант и живописец; потом Русло, который писал хорошо французские стихи, далее Шедель и другие. Им, как водилось тогда, дана была полная воля над детьми. Разумеется, что дети и говорили и учились только по-французски»[2]. О двух из этих гувернеров— Монфоре и Русло—Пушкин упоминает в плане своей автобиографии; второй из них, Русло,—повидимому, тот самый, который был гувернером у будущего декабриста И. Якушкина[3]. Ближайшие родственники Пушкина были галломаны. Что касается его дяди, Василия Львовича, то его галломания служила предметом анекдотов и насмешек; достаточно прочитать характеристику, данную ему Ф. Ф. Вигелем[4], чтобы в этом убедиться. Отец Пушкина, Сергей Львович, походил в этом на брата. Оба брата, между прочим, считались хорошими декламаторами французских стихов. Василий Львович любил декламировать Расина, Сергей Львович—Мольера. Самые посетители дома Пушкиных способствовали укреплению культа Франции. В воспоминаниях сестры говорится: «В доме родителей собиралось общество образованное, к которому принадлежало и множество французских эмигрантов. Между этими эмигрантами замечательнее был граф [Ксавье де] Местр, занимавшийся тогда портретною живописью и уже готовивший в свет свои «Voyages autour de ma chambre»; он, бывая почти ежедневно, читывал разные свои стихотворения». Легко понять, почему Пушкин свои первые стихи писал по-французски, подражая в них Мольеру, Лафонтену и Вольтеру. Несомненно, французские классики были первыми литературными впечатлениями Пушкина, и следы этих первых впечатлений чувствуются на протяжении всей его творческой жизни. Не является преувеличением сообщение, что в лицей Пушкин поступил, уже основательно знакомый с классической французской литературой. Он продолжал читать классиков, повидимому, без всякого педагогического надзора. В первых

его произведениях 1813 г.—«Монах» и послание «К Наталье»—отразилось знакомство с литературой, отнюдь не предназначенной для детского чтения. В «Монахе» мы видим неприкрытое подражание «Девственнице» Вольтера и след хорошего знакомства с поэзией конца XVIII в., с эротическими и мифологическими поэмами типа «Искусство любви» Бернара, произведениями кардинала Берниса и т. п. Эпиграфом к посланию «К Наталье» является стих из «Послания к Марго» Ш. де Лакло, являющегося сатирой на фаворитку Людовика XV Дюбарри. Первый известный нам автограф Пушкина—русская запись в альбоме Горчакова—прозаический перевод известного мадригала Прадона: «Vous n'écrivez que pour écrire!». Можно утверждать, что произведения эти не случайно попали в руки маленькому Пушкину: они входят в систематическое чтение, и перечень любимых писателей в «Городке» подтверждает это. Французскую литературу XVII и XVIII вв. Пушкин изучил в лицее и на уроках и вне уроков в достаточной степени. Недаром товарищи звали его «Французом».

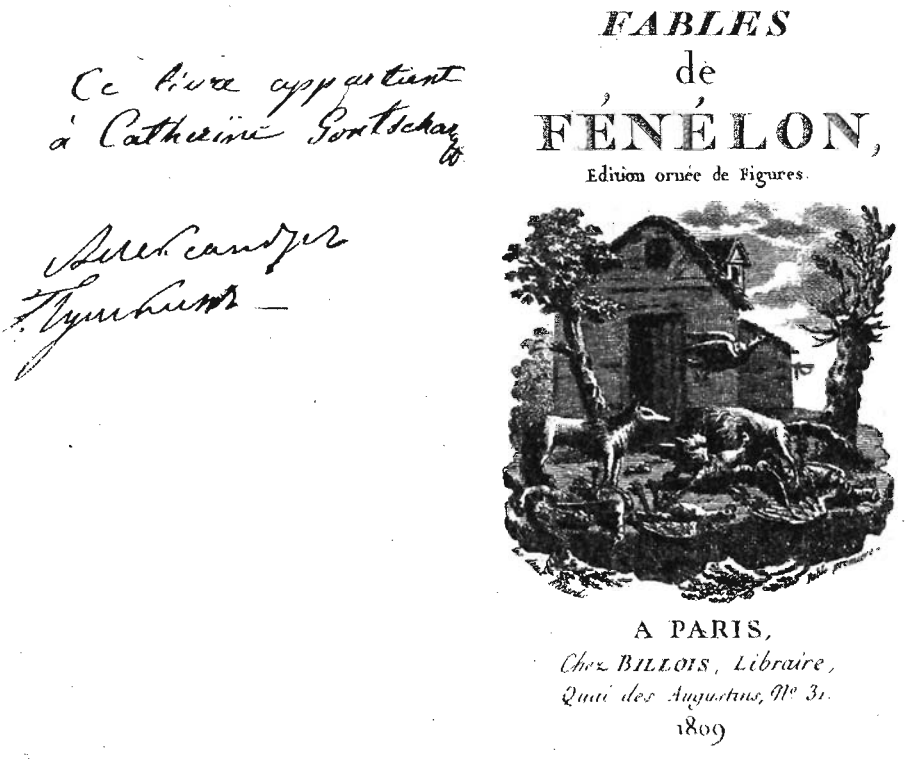
Лицейское воспитание поддерживало в Пушкине преклонение перед французскими классиками. Настольной книгой в преподавании были курс Лагарпа и поэтики вроде «Poétique française» par Domairon.

Здесь же в лицее преподавал брат Марата—де Будри, рассказ о котором сохранился в бумагах Пушкина (в серии анекдотов Table Talk). В его лице Пушкин столкнулся непосредственно с человеком, близко связанным с революционной Францией.

Вообще необходимо учитывать впечатления Пушкина от политических событий, которые возбуждали его внимание ко всему происходившему во Франции. Ведь Пушкин родился во время суворовского похода в Италию, за 5 месяцев до 18 брюмера; его детство протекало в обстановке военных и политических событий империи Наполеона, и его первыми детскими впечатлениями от политических разговоров старших должны были быть Аустерлиц, Фридлянд, Тильзит. Почти все годы, проведенные в лицее, проходят в обстановке войны 1812 г. и последующих военных и дипломатических событий. Лицеисты были свидетелями отправления войск в поход; они находились под угрозой французской оккупации и готовились к эвакуации из Царского села; они были свидетелями возвращения гвардии из заграничного похода; их ближайшими друзьями вне лицея были гусары, вернувшиеся из-за границы, своими рассказами пробудившие в них политическую мысль. На них действовала обстановка ликвидации режима Наполеона и последних следов революции, переход европейской гегемонии от Франции к союзу монархов с Александром во главе. Во всех этих впечатлениях Франция играла первую роль. Естественно было внимание к французской мысли и французской литературе. В эти годы интересы политики и литературы были нераздельны. Не говоря уже о том, что политические деятели той эпохи (Сталь, Б. Констан и Шатобриан) были одновременно и крупными писателями в области художественной литературы, явлений политического нейтралитета почти не наблюдалось (если не говорить о типичных «флюгарках» той эпохи, для которых смена убеждений тоже была своеобразной формой политического самоутверждения); всякое литературное течение связывало себя с той или иной формой политического и философского мышления. Политическая борьба и столкновения литературных направлений протекали в одном русле. Поэтому политические интересы не притупляли восприятия фактов художественной литературы; кстати сказать, и границы художественной литературы и пу-

блицистики в эти годы были несколько иные, чем впоследствии, и, во всяком случае, менее четкие.

По выходе Пушкина из лицея стимулы, возбуждавшие его внимание к политическим и литературным событиям французской жизни, не ослаблялись, а, наоборот, возрастали. Перестав быть учеником, Пушкин сам выступает, как активный деятель, и в области литературы и в области политики. Первые годы его петербургской жизни ознаменованы агитационно-политической лирикой. Завязывается тесная связь с деятелями


Ce livre appartient
à Catherine Gontcharoff

Alex. Pouschkine

FABLES
de
FÉNÉLON,
Edition ornée de Figures.

A PARIS,
Chez BILLOIS, Libraire,
Quai des Augustins, N° 31.
1809

ТИТУЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ЭКЗЕМПЛЯРА „БАСЕН ФЕНЕЛОНА", ПО КОТОРОМУ ПУШКИН В ДЕТСТВЕ ЗАУЧИВАЛ НАИЗУСТЬ ОТРЫВКИ

Надпись Пушкина на книге — самый ранний из известных автографов поэта (1811—1812 гг.); сверху помета рукой Е. Н. Гончаровой, которой эта книга была подарена Н. Н. Пушкиной

Собрание О. В. Цехновицера, Ленинград

тайного общества. Роль французской публицистической мысли в формировании политических убеждений будущих декабристов известна. Они изучали как классиков, вроде Монтескье, так и современных мыслителей и деятелей: имена мадам де Сталь, Бенжамена Констана, Руайе-Коллара, Делольма и др. пользовались почетом и авторитетом. Небесследно для Пушкина прошло увлечение экономическими системами Сея и Сисмонди (повидимому, не без руководства Николая Тургенева в данном вопросе). Но Пушкин был не только автором политических стихотворений, вызвавших его высылку на юг. Он был также творцом «Руслана и Людмилы», а после 1820 г. становится признанным вождем русского романтизма.

Тем самым Пушкин делается участником романтической полемики, как прежде он был участником полемики арзамасской. Но русская политическая полемика находилась в зависимости от полемики французской. Новые литературные группировки Франции, полемика, развивавшаяся в 20-е годы в журналах, газетах, литературных манифестах, на театральных подмостках, завлекает Пушкина всё больше и больше. Его увлечение английской литературой—Байроном и Вальтером Скоттом—совпадает с годами огромной популярности этих писателей во Франции, и именно во французских переводах Пушкин знакомится с ними, точно так же как позднее он обратится к изучению Вордсворта и лэкистов по следам Сент-Бёва. Не только в обстановке европейского порто-франко Одессы, но и в ссылке на севере он внимательно следит за событиями французской жизни, за хроникой событий. Внимание его распространяется на всю европейскую жизнь. Он в курсе не только крупных политических событий, но и мелочей французского быта. Никогда не выезжавший из России Пушкин знал, тем не менее, отлично, что происходило во Франции. Газет, рассказов приезжавших из Франции было достаточно для него, чтобы интенсивно жить интересами Парижа. В этом отношении любопытны мелкие черточки из его произведений, свидетельствующие о степени внимания к событиям во Франции. Так, в шестой главе «Онегина» упоминается ресторан Véry, привлекавший в начале века гастрономов Парижа в гостеприимные сени Пале-Роаяля. В «Графе Нулине» охарактеризована театральная жизнь Франции с большой точностью:

«А что театр?»—О! сиротеет,
C'est bien mauvais, ça fait pitié,
Тальма совсем оглох, слабеет,
И мамзель Марс, увы! стареет.
За то Потье, le grand Potier
Он славу прежнюю в народе
Доныне поддержал один.

Здесь голос завсегдатая парижских театров и любителя театра Бульваров воспроизведен с большим знанием дела. Потье, «le comédien le plus ingénieux, le plus varié et le plus amusant, le comédien de la multitude et de la bonne compagnie»*, как его характеризуют современники (в «Театральном альманахе» 1824 г.), конечно, должен был возбудить восторг графа Нулина, но нужно было хорошо знать театральный быт Парижа, чтобы оперировать его именем, как характеристической чертой для обрисовки типа Нулина. В черновиках «Домика в Коломне» мы читаем:

Как Мазюрье во образе Жоко...

Это нас переносит в обстановку театра Porte Saint-Martin, где в 1825 г. была поставлена мелодрама «Бразильская обезьяна», в которой мим Мазюрье играл роль обезьяны Жоко и прыгал «по крашеным дубравам», вызывая энтузиазм зрителей.

Для определения быстроты реакции Пушкина на парижские театральные постановки характерен следующий факт: 11/23 февраля 1828 г. Титов писал Погодину о том, что Пушкин читал ему «письмо о Годунове». В этом письме Пушкин пишет: «Благодаря французам, мы не понимаем, как дра-

* Потье, актер самый изобретательный, самый разнообразный, самый занимательный. Любимец толпы и хорошего общества.

матический автор может совершенно переселиться в век изображаемый; француз пишет свою трагедию с Constitutionnel или с Quotidienne (зачеркнуто: Drapeau blanc) перед глазами, дабы шестистопными стихами заставить Сциллу, Тиберия, Леонида высказать его мнение о Виллеле или Кеннинге. От сего затейливого способа на нынешней французской сцене слышно много журнальных выходок, но трагедии истинной не существует». Зная документальность Пушкина, мы можем определенно утверждать, что он имеет в виду совершенно определенные факты. Так, «Сцилла» есть, конечно, «Sylla», трагедия Жуи, поставленная в декабре 1821 г.; в ней история Наполеона перелицована на древне-римский лад, чем и объясняются цензурные купюры слишком прозрачных «применений». «Леонид»—это, несомненно, «Leonidas» Пиша (Pichat), поставленный в ноябре 1825 г. Вот как в свое время объясняли успех трагедии (впрочем, имевший и другую, чисто литературную, подоплеку, поскольку эта трагедия выдавалась за опыт театрального романтизма, хотя и была писана по всем правилам классической трагедии): «La circonstance a puissamment servi l'auteur, et l'enthousiasme qu'excitent ses beaux vers s'applique autant aux héros de Missolunghi qu'à ceux des Thermopyles»*[5]. Наконец, «Тиверий» есть не что иное, как «Dernier jour de Tibère», трагедия Л. Арно, поставленная впервые 2 февраля 1828 г., трагедия, в которой история сознательно искажена для большей близости положений к современным политическим интересам. Итак, через 21 день после постановки этой трагедии в Париже уже существовало письмо Пушкина, в котором мы находим след его осведомленности об этой постановке. Пушкин был в курсе успехов французского театра (то, что трагедия эта имела крупный успех, доказывается хотя бы тем, что заметка об этой трагедии под словом Tibère включена в словарь Ларусса: здесь трагедия названа «La mort de Tibère»).

Интерес Пушкина к Франции, достаточно интенсивный в годы романтической полемики, еще более усиливается после 1830 г., когда события Июльской революции и ее последствия привлекают его особенное внимание. Любопытно отметить место, занимаемое в журнале Пушкина «Современник» парижскими письмами А. Тургенева. Собственно, только эти письма и содержали в себе европейскую политическую хронику. Самый характер этих писем свидетельствует о том, что интересовало Пушкина и его круг в жизни Франции. Известна борьба, которую пришлось выдержать Пушкину против придирок цензуры, чтобы отстоять письма А. Тургенева.

Отношение Пушкина к французской литературе многообразно. От пассивного восприятия до творческого претворения в собственных произведениях в психологии художника лежит большой путь. Отношение Пушкина к французскому литературному материалу различно, будем ли мы учитывать только простое восприятие или какую-либо форму активной реакции, которая может выражаться и критическим отзывом и различными формами реминисценции, подражания, заимствования, вплоть до простого перевода.

Известно, что по объему своего чтения Пушкин был отнюдь не рядовым человеком своего времени. Начитанность его исключительна. Библиотека

---

* Обстоятельства весьма сильно содействовали успеху автора, и восторги, вызываемые его красивыми стихами, относились к героям Миссолунги столько же, сколько и к героям Фермопил.

его дает в общих чертах представление о круге его чтения. Характерно, что книги на французском языке, составляя больше половины библиотеки, превышали по количеству не только число книг на каком-нибудь отдельном другом языке (в том числе и русском), но и все иноязычные книги в сумме. Но книги его собственной библиотеки не исчерпывают всего прочитанного Пушкиным. Пушкин постоянно искал книги, брал их у знакомых, рылся в библиотеках и т. д. Так, в Петербурге Е. М. Хитрово постоянно поставляла ему газеты, журналы и новые романы, получавшиеся через ее зятя—Финкельмона, австрийского посланника. Среди книг библиотеки Пушкина находится французский перевод сочинений Гейне, доставленных Пушкину Финкельмоном; томы эти, как запрещенные политической цензурой, Пушкин не мог достать прямым путем. В книге находится записочка Финкельмона от 27 апреля 1835 г., свидетельствующая о происхождении этой «контрабанды». Повидимому, Пушкин пользовался услугами своих друзей, в частности, Соболевского и Александра Тургенева, для получения книг, которых не мог ему доставить книжный магазин Белизара. Вообще же непосредственных связей с Францией у Пушкина не было, хотя в числе его друзей и знакомых были люди, непосредственно близкие литературным кругам Франции и служившие посредниками между ним и французскими писателями. Таковым был Соболевский, через которого Пушкин сносился с Мериме; к числу таких же посредников, повидимому, принадлежал Элим Мещерский, пропагандировавший во Франции русскую литературу. В библиотеке Пушкина находится одна книга Антони Дешана, подаренная автором Элиму Мещерскому, а им переданная Пушкину[6]. Что касается непосредственных встреч Пушкина с французскими писателями, то следует назвать историка Баранта, находившегося в Петербурге в качестве французского посла. С ним Пушкин встречался; сохранилось письмо Пушкина к Баранту по вопросу об авторском праве в России (18 декабря 1836 г.). Наконец, следует упомянуть Леве-Веймара, с которым Пушкин встречался незадолго до дуэли.

Насколько Пушкин принимал близко к сердцу западную информацию о русской литературе, свидетельствует его письмо к Вяземскому по поводу приезда в Россию Ancelot: «Читал я в газетах, что Lancelot в Петербурге; черт ли в нем? Читал я также, что 30 словесников давали ему обед; кто эти бессмертные? Считаю по пальцам и недосчитаюсь. Когда приедешь в Петербург, овладей этим Lancelot (которого я ни стишка не помню) и не пускай его по кабакам отечественной словесности. Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости ни стыда: при англичанах дурачим Василья Львовича; пред madame de Staël заставляем Милорадовича отличаться в мазурке» (27 мая 1826 г.). Когда в следующем году книга Ансело появилась в свет («Six mois en Russie»), он иронически упомянул о ней в «Мыслях и замечаниях», намекая на то, что Булгарин был источником информации автора, а в 1831 г., в «Торжестве дружбы», имел в виду именно его посещение обедов Булгарина, когда писал об А. А. Орлове: «Он не задавал обедов иностранным литераторам, не знающим русского языка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках».

Как литературный критик, Пушкин редко выступал в печати. Из его статей, увидевших свет при его жизни, вопросов французской литературы касаются: «О г-же Сталь и г. А. М-ве» («Московский Телеграф», 1825), «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен Крылова» (там же), рецензия на сборники Сент-Бёва «Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme»

АВТОПОРТРЕТЫ ПУШКИНА, ИЗОБРАЖАЮЩИЕ ЕГО ВО ФРАНЦУЗСКИХ КОСТЮМАХ XVIII в.
На этой же странице—черновик стихотворения, посвященного Французской революции и Наполеону, а также набросок профиля Наполеона (1824 г.)

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

и «Les Consolations» («Литературная Газета», 1831). Здесь Пушкин дает оценку романтической школе в лирике[7]. Особое значение имеет статья «Мнение Лобанова о духе словесности» («Современник», 1836); здесь содержится защита французских романистов новой школы от политических нападок Лобанова. Но наибольшее значение для суждения о критических и историко-литературных взглядах Пушкина имеет оставшаяся в рукописи статья его «О ничтожестве литературы русской» (1834); для этой статьи он отчасти воспользовался отрывками из другой, не оконченной им статьи «О поэзии классической и романтической» (1825). Критические замечания Пушкина в несистематизированном виде встречаются в его переписке, в частности, в его письмах к Е. М. Хитрово, снабжавшей его французскими книгами. Эти замечания носят беглый характер и формулируют первые впечатления от прочитанного. Так как до нас не дошли письма Хитрово к Пушкину, то мы не всегда можем определить полное значение отзывов Пушкина, так как часто они являются лишь реакцией на высказывания Хитрово. Вообще же их следует расценивать иначе, нежели печатные отзывы, принимая во внимание их случайность (например, отзывы при возвращении книг) и интимность. По большей части это—результат первого, еще не проверенного впечатления.

Прежде чем перейти к обзору самого материала французской литературы, отразившегося в творчестве и отзывах Пушкина, остановимся еще на одном вопросе общего порядка: на вопросе о формах отражения литературного материала в творчестве.

Самой простой и прямой формой такого отражения является перевод. Пушкин не был переводчиком, и переводы в его стихах занимают незначительное место. Он не считал себя

Ни подражателем холодным,
Ни переводчиком голодным,
И ни поэтом милых дам...

Все эти категории он объединял под общей кличкой «смиренных поэтов» и «несчастных глупцов». Это был удел мелких журнальных сотрудников, переводивших с французского обветшалые эпиграммы и апологи.

Конечно, это презрение к переводам следует ограничить. Далеко не всякий перевод Пушкин считал ремесленной работой. Он высоко ставил просветительное значение переводов, и там, где работа переводчика сочеталась с ученостью и добросовестным творческим трудом, переводы встречали со стороны Пушкина самую высокую оценку. Так, он приветствовал, как подвиг, перевод «Илиады», сделанный Гнедичем. В письме к Гнедичу от 27 июня 1822 г. Пушкин сам разграничил два класса переводов, говоря о Жуковском: «Мне досадно, что он переводит и переводит отрывками: иное дело Тасс, Ариост и Гомер, иное дело песни Маттисона и уродливые повести Мура».

Среди переводных стихотворений самого Пушкина, разумеется, больше всего переведенных с французского. Вот приблизительный перечень этих переводов:

«Эвлега» (1814) из Парни; «Лаиса Венере» (1814) из Вольтера; «Супругою твоей...» (1814) из Ж.-Б. Руссо; «Старик» (1815) из Маро; «Морфей» (1816) из Парни; «Стансы» (1817) из Вольтера; «Сновидение» (1817) из Вольтера; «Уединение» (1818) из Арно; «Платоническая любовь» (1819) из Парни; «Недавно бедный Музульман...» (1821) из Сенесе; «Внемли, о Гелиос» (1823)

из А. Шенье; «Прозерпина» (1823) из Парни; «Ты вянешь и молчишь...» (1824) из А. Шенье; «Короче дни...» (1825) из Вольтера; начало «Девственницы» (1825) из Вольтера; «Золото и булат» (1826)—анонимная эпиграмма; «Близ мест, где царствует...» (1827) из А. Шенье; «Глухой глухого звал...» (1830) из Пелиссона; «Одиннадцать песен западных славян» (ок. 1833)—переложение прозы Мериме; «Покров упитанный...» (1835) из А. Шенье; «Как с древа сорвался...» (1836) с французского перевода сонета Джанни, сделанного А. Дешаном. Кроме того, ряд подражаний из греческой антологии и одно подражание арабскому стихотворению по прозаическим французским переводам (1833 и 1835). Итого мы имеем девять переводов до 1820 г., девять—с 1820 до 1830 гг. и единичные переводы после этого (не считая переложений с прозаических текстов). Из переведенных поэтов по количеству переводов занимают первые места Вольтер, Парни и Шенье; из прочих мы имеем единичные переводы. За немногими исключениями (Маро, Пелиссон, Арно, Мериме и Дешан), Пушкин переводил поэтов XVIII в.

Из этого списка совершенно явствует, что переводы последнего периода занимают особое место: по большей части, это—переводы с переводов (или с того, что Пушкин считал переводами), при этом с переводов прозой. Перевод сонета Джанни едва ли не вызван интересом Пушкина к искусству итальянских импровизаторов в связи с темой «Египетских ночей» («знаменитый Джанни, наиболее удивительный из импровизаторов»,—писал Сисмонди). Остальные продиктованы желанием ознакомить русских читателей с образцами литератур, им чуждых. Единственный перевод из А. Шенье, сделанный в 1835 г., в действительности начат в 1825 г.; в 1835 г. Пушкин его закончил и отделал. Таким образом, о переводах Пушкина в собственном смысле можно говорить только по отношению к первым двум периодам его жизни. В это время он переводит поэтов, входящих, так сказать, в его поэтический обиход, поэтов, которых он любил и которым подражал. Кстати, все эти поэты вообще охотно переводились русскими поэтами. Для Пушкина нехарактерно обращение к редким, мало известным образцам. И это тесно связано с функцией перевода у Пушкина. К переводам Пушкина применимо определение Вяземского: «Всякий переводчик, переводя стихотворца, всегда хочет присвоить языку отечественному стихи подлинника» («Письмо к издателю «Сына Отечества», 1824 г.). Цели перевода связаны с основами деятельности арзамасцев и ведут не столько к передаче подлинника, сколько к обогащению языка, на который делается перевод. Недаром не в обычае было указывать источник перевода. Так, Пушкин свои переводы иногда печатал без указания подлинника («Морфей», «Уединение», «Прозерпина» и др.)[8]. Переводы были именно «присвоением». И переводы целых стихотворений являются частным случаем обогащения русского языка за счет французского. Пушкин не стеснялся переносить в свои произведения отдельные фразеологические формулы, заимствованные из французской поэзии. Типичным примером этого служат стихи из «Евгения Онегина»:

Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй...
(Глава IV, строфа XXXIX)

переведенные дословно из А. Шенье:

Le baiser jeune et frais d'une blanche aux yeux noirs.
(Au chevalier de Pange)

Или более раннее:

Мне кажется: на жизненном пиру
Один, с тоской, явлюсь я, гость угрюмый,
Явлюсь на час—и одинок умру.
И не придет друг сердца незабвенный
В последний миг мой томный взор сомкнуть...
(Горчакову)

Эти стихи почти дословно переведены из знаменитой предсмертной оды Жильбера:

Au banquet de la vie, infortuné convive,
J'apparus un jour, et je meurs:
Je meurs, et sur ma tombe, où lentement j'arrive,
Nul ne viendra verser des pleurs.

Точно так же в «Торжестве Вакха» (1817) мы читаем:

Их вдохновенные движенья
Сперва изображают нам
Стыдливость нежного смятенья,
Желанье робкое, а там
Восторг и дерзость наслажденья...

Эти стихи повторяют эпизод из «Les Déguisements de Venus» Парни:

La danse qui peint avec grâce
L'embarras naissant du désir,
Et celle ensuite qui retrace
Tous les mouvements du plaisir.

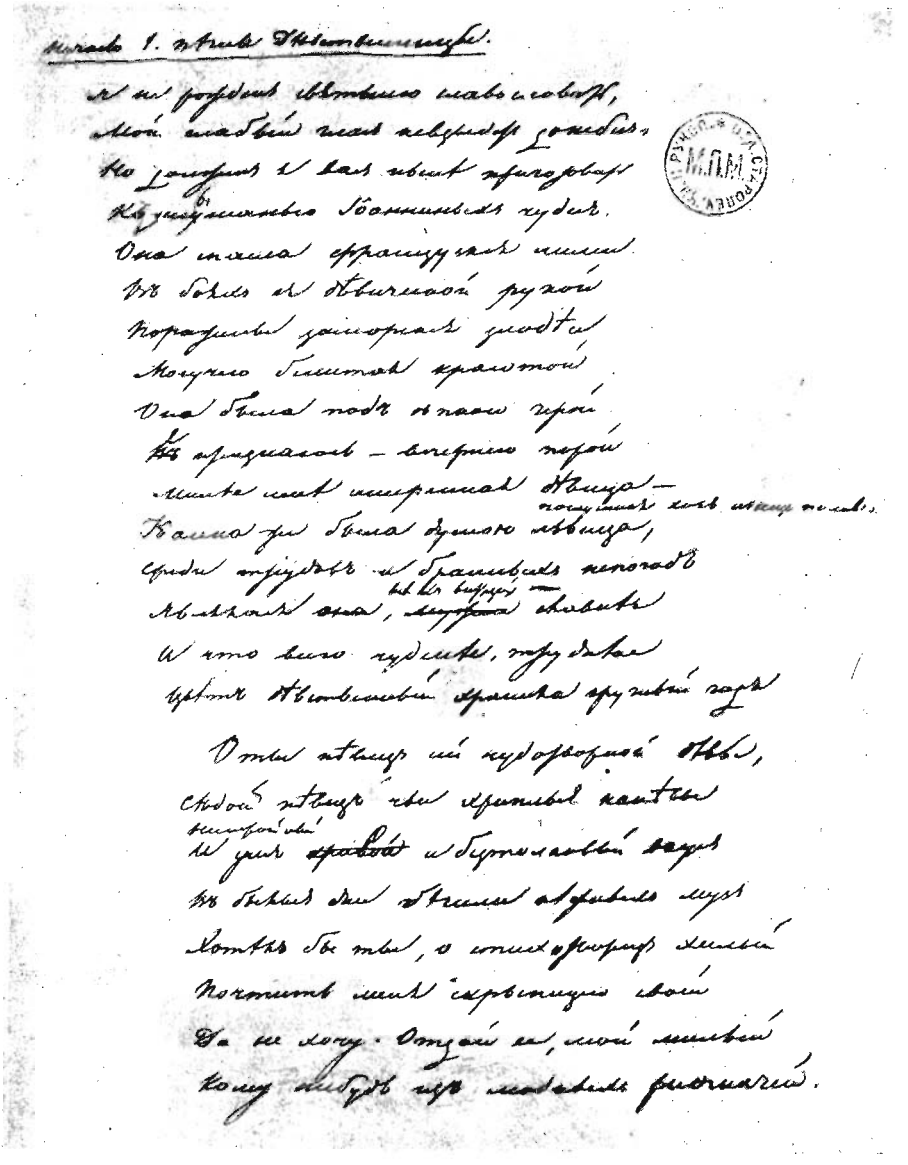
Стихи Парни были переведены Батюшковым, и Пушкин ценил его перевод; но как раз данный эпизод был сильно изменен в переводе:

Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!—

Таких перенесений французской фразеологии у Пушкина много. Он свободно включал подобные заимствования в свои стихи. Это было законное присвоение русскому поэтическому языку оборотов французской лирики. Но эти приемы присвоения только размером отличаются от переводов. В конце концов от простых галлицизмов, которые всегда «были милы» Пушкину, т. е. от заимствования отдельных слов и оборотов, до передачи целых произведений мы наблюдаем ряд промежуточных явлений, неразрывно связанных одно с другим. И подобно тому, как эти стихи рождались у Пушкина в процессе оригинального творчества, точно так же неотъемлемы от собственного творчества его переводы. Их цель—не передача в точности оригинала, а обогащение своего поэтического достояния формами, существовавшими на чужом языке.

Лишь один перевод стоит особняком: это попытка передать гекзаметрами идиллию А. Шенье «Слепец». Пушкин этим переводом как бы хотел вернуть стихам А. Шенье их античную оболочку, которой они не могли иметь в подлиннике. Это не столько перевод, сколько реконструкция творческого замысла Шенье, своеобразная интерпретация поэзии Шенье.

Вообще же переводы Пушкина до 1830 г. следует изучать не столько в плане компаративизма в узком смысле слова, сколько в плане его стилистики, сближая явления переноса поэтических формул из французской лирики в русскую с явлениями фразеологического заимствования



АВТОГРАФ ПУШКИНСКОГО ПЕРЕВОДА „ДЕВСТВЕННИЦЫ" ВОЛЬТЕРА (1825 г.)
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

у предшественников и переноса в свои произведения уже готовых формулировок, найденных другими.

Эти явления не были индивидуальной особенностью творческой работы Пушкина; так же поступали и его ближайшие предшественники и почти все его современники. Переводы Пушкина с французского резко отли-

чаются от его переводов с других языков. Ни одним языком, кроме французского, он не владел с достаточной уверенностью, которая позволяла бы так же свободно передавать в русских стихах текст подлинника. Поэтому обычно переводы с английского или с латинского он делал при помощи французских переводов или предварительно сам переводил текст на французский язык. Даже с итальянского он, повидимому, не решался переводить без помощи французского или русского языка. Так, в его переводе из Альфиери настолько чувствуется влияние русского перевода А. С. Шишкова, что П. В. Анненков просто считал этот перевод за стихотворное переложение прозы Шишкова[9] (что, впрочем, несправедливо). Поэтому стилистическое значение этих переводов не равносильно переводам с французского, в которых Пушкин никогда не затруднялся в понимании подлинника.

## II

С точки зрения восприятия Пушкиным французской литературы необходимо различать три основных периода: первый период—ученичества, начинающийся в лицее и продолжающийся почти до 1820 г. Второй период—романтический, когда и в России и во Франции борьба классиков и романтиков достигает особенной остроты. Этот период, сам по себе неоднородный на всем своем протяжении, заканчивается около 1830 г. Наконец, последний период, характерной особенностью которого является господство прозы в художественной литературе.

Первый период в основном характеризуется влиянием французской классической литературы, в частности, безусловным преклонением перед авторитетом великих писателей XVII в. и, может быть, в еще большей степени перед авторитетом Вольтера, который, кроме того, является и непосредственным предметом подражания. Параллельно с тем в лирике Пушкина сказываются черты подражательности, причем для раннего периода характерно влияние Грессе, особенно его послания «La Chartreuse», вызвавшего уже ряд подражаний на русской почве (Батюшкова, Вас. Пушкина). Одновременно Пушкин подражает и французской мифологической лирике середины XVIII в., в частности, Ж.-Б. Руссо (перевод одной его эпиграммы и подражание его кантатам в «Леде»). Но уже в ранний период, наряду с анакреонтическими и эпикурейскими мотивами, свойственными эпигонской лирике XVIII в., и популяризированными русскими подражателями, замечается некоторое увлечение оссианизмом, и, в частности, оссианистическими поэмами Парни. Примерно с 1816 г., на первое место в лирике Пушкина выступают элегические мотивы, в которых совершенно отчетливо видно увлечение элегиями Парни и можно угадывать влияние элегий Бертена и особенно унылых мотивов Мильвуа. Этот элегический период после окончания лицея смыкается со вторым периодом творческой жизни Пушкина—с периодом романтических исканий.

В лицее плеяда французских классиков XVII в. является для Пушкина мерилом совершенства в поэзии. Достоинство русских писателей определяется сопоставлением их с французами. В «Городке» мы имеем длинный параллельный перечень русских и французских имен. Фон-Визин и Княжнин оказываются русскими параллелями Мольеру, Озеров—Расину, Крылов и Дмитриев—Лафонтену и т. д. Литературных врагов карамзинизма, убеждения которого всецело разделялись Пушкиным, он клеймит сравнениями с врагами Буало и Расина—Шапеленом и др. Но в то же время

самая подражательность Пушкина не была самостоятельна. В своих подражаниях он шел по путям, уже проложенным Батюшковым и другими старшими его современниками.

Период после 1820 г. является для Пушкина временем гораздо большей самостоятельности в выборе образцов. Вопрос о непогрешимости классиков им пересматривается не без влияния книги г-жи де Сталь «О Германии». Этот пересмотр происходит одновременно с пересмотром вопроса о русских авторитетах. Он уже не верит в непогрешимость карамзинской школы. Имена Озерова, Дмитриева и особенно Василия Пушкина теряют прежнее обаяние. Переход к романтизму не был для Пушкина медленным развитием тенденций, порожденных еще в период арзамасства, и в этом путь Пушкина расходится с путем Вяземского,— недаром полемика с Вяземским (не нарушавшая их дружественных отношений) характерна именно для этих лет.

Мы наблюдаем в эти годы увлечение лирикой Андре Шенье. Его стихи отражаются в крымских элегиях, писанных одновременно с байроническими поэмами. Затем, параллельно с увлечением «Чайльд-Гарольдом», Пушкин зачитывается «Адольфом» Констана и романами Шатобриана и г-жи де Сталь. Эти чтения отражаются в создании «Онегина». Вместе с тем, под влиянием политических споров, возбуждаемых революционной обстановкой на Западе, Пушкин обращается к Руссо и перечитывает его произведения. В 1825 г., в связи с работой над «Борисом Годуновым», Пушкин обращается к проблемам драматургии. Этот интерес к драматургии заставляет его с особенным вниманием следить за полемикой между французскими классиками и романтиками. Мимо его внимания не проходят, повидимому, ни статьи на страницах «Globe», ни манифесты романтиков, вроде предисловия к «Кромвелю», ни предшествовавшая им полемика вокруг трагедий Манцони, ни книга Стендаля о Расине и Шекспире. Особый интерес к проблемам драматургии, выдвигавшимся в период романтической полемики, Пушкин проявляет в 1828—1829 гг., когда готовит предисловие к «Борису Годунову». Этот интерес не падает и к 1830 г., когда Пушкин излагает свои взгляды на драму в разборе «Марфы» Погодина. Тесная связь этих взглядов с тем, что писалось по данному вопросу во Франции, несомненна. К этому же времени происходит у Пушкина и некоторое примирение с романтическими поэтами Франции, к которым вначале он относился с предубеждением. Здесь сказалось отчасти и то, что наиболее яркие представители романтизма, покинув феодально-клерикальные позиции, заключили союз с либерализмом. Несомненно также и влияние, оказанное на Пушкина группой «Globe», с одной стороны, и группой Мериме и Стендаля, с другой. Пушкин признает дарование Гюго, а в особенности Сент-Бёва, как автора книги «Жизнь и стихотворения Жозефа Делорма». Эта книга дает ему повод написать рецензию, в которой уже нет ноток резкого отрицания молодой романтической школы во Франции.

Следующий период, начиная с 1830 г., характеризуется тем, что Пушкин чувствует себя окончательно освободившимся от всякой подражательности иностранным образцам; с прямым ученичеством он покончил значительно раньше—еще около 1820 г.

К этому периоду относится его особый интерес к новой исторической школе во Франции. Подготовленный к разработке исторических сюжетов изучением романов В. Скотта, Пушкин принимается за углубленное изу-

чение истории. Знакомство с трудами Гизо, Тьера, Тьерри, Баранта и других обогащает его исторические и социально-политические концепции. Он чувствует настоятельную необходимость самому приступить к самостоятельной разработке исторических вопросов. Первой попыткой в этой области является относящийся к 1831 г. план истории Французской революции. Оставив эту тему, Пушкин обращается к истории русского крестьянского движения и пишет историю Пугачева, после чего переходит к теме Петра.

Характерным является интерес Пушкина к французской прессе. До 1830 г. мы почти не располагаем прямыми свидетельствами, какие газеты и журналы мог читать Пушкин, но несомненно, что он знал основные политические органы монархистов и либералов. Почти с полной уверенностью можно говорить, что он читал «Journal des Débats» и «Globe». Можно думать, что ему были знакомы журналы романтиков, например, «Conservateur littéraire», знал он «Revue encyclopédique», где довольно часто упоминалось его имя; но обо всем этом можно скорее догадываться, чем утверждать. Форма «Литературной Газеты» показывает, что ее основателям, в числе которых первое место принадлежало Пушкину, были известны литературные газеты типа «Corsaire», «Voleur» и т. п., занимавшиеся перепечатками наиболее интересного литературного материала. Эти, ныне забытые, издания пользовались большим распространением в свое время и едва ли не содействовали популярности новеллистического жанра во Франции.

Начиная с 1830 г., мы имеем совершенно конкретные следы того, как часто обращался Пушкин к французской прессе. В его бумагах находятся выписки из министерского «Journal des Débats» и из монархической «Gazette de France». В переписке упоминается «Temps», «National», «Globe» (до того, как эта газета стала сен-симонистским органом). Читал Пушкин «Revue de Paris» (см. письмо Нащокина от 8 января 1832 г.). В библиотеке Пушкина сохранились номера парижских журналов «Revue Britannique» и «Revue Rétrospective».

Параллельно с тем он не оставляет изучения исторического романа, что приводит его к внимательному знакомству с новой прозой во Франции. Это изучение прозы происходит в те же годы, когда он сам осуществляет ряд прозаических замыслов, начиная от «Повестей Белкина» и кончая «Капитанской дочкой».

30-е годы—расцвет французской прозы. На сцену выходят Бальзак, Стендаль, Ж. Санд и другие менее крупные их современники, оставившие, однако, свой след в истории французской прозы: А. Карр, Фр. Сулье, Э. Сю и др. и целая плеяда достаточно забытых писателей, вроде таких, как П.-Д. Жакоб, Друино, Масон, Ремон и пр., авторов романов, которые поставлял француз Юлии в «Обыкновенной истории» Гончарова и которые составляли «новую школу,—по свидетельству Гончарова,—наводнявшую тогда Францию и Европу» (см. «Обыкновенная история», часть 2-я, гл. III). Независимо от того, будем ли мы разделять скептическое отношение Гончарова, с которым он объединяет в одну фалангу Жанена, Бальзака и Друино, или признаем литературные заслуги за этой «новой школой», нельзя отрицать оживления в прозаической литературе во Франции в годы, непосредственно следовавшие за Июльской революцией. Споры о театре сменились спорами о новых романах, и в письмах и заметках Пушкина отразился его живой интерес к французской прозе.

СТАТУЯ ВОЛЬТЕРА РАБОТЫ ГУДОНА
Рисунок Энгра, 1799—1806 гг.
Эрмитаж, Ленинград

## III

Знакомство Пушкина с французской литературой до «великого века» значительно. Но всё же оно не выходит за пределы школьного курса и носит на себе определенные следы той классической интерпретации этого периода французской литературы, которая дана в дидактических стихах Буало и в «Лицее» Лагарпа. А эти учителя не были достаточно компетентны в истории литературы средних веков и Возрождения. О возникновении французской поэзии Пушкин писал в своей статье 1825 г. «О поэзии классической и романтической»: «Поэзия проснулась под небом полуденной Франции — рифма отозвалась в романском языке... Ухо обрадовалось удвоенным повторениям звуков. Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее всевозможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы — явились virelet, баллада, рондо, сонет и проч.». В основе этих слов едва ли не лежат стихи Буало из его «Art Poétique»:

Durant les premiers ans du Parnasse françois
Le caprice tout seul faisait toutes ses lois.
La rime, au bout des mots assemblés sans mesure,
Tenait lieu d'ornements, de nombre et de césure*...

или в другом месте той же поэмы:

Tout poème est brillant de sa propre beauté.
Le rondeau, né gaulois, a la naïveté;
La ballade, asservie à ses vieilles maximes,
Souvent doit tout son lustre au caprice des rimes**.

Помимо заимствования из Буало, здесь можно усмотреть, пожалуй, еще следы поверхностного знакомства с книгой Сисмонди «De la littérature du Midi de l'Europe», где утверждалось, что «la rime fut le fondement de la poésie provençale»***, но автор сопровождал это утверждение многочисленными оговорками.

Первый поэт, которого Пушкин называет по имени, тот же, который назван в «Art Poétique»:

Villon sut le premier, dans ces siècles grossiers,
Débrouiller l'art confus de nos vieux romanciers****.

Сведения, которыми располагал Пушкин о Вильоне, выходят за пределы того, что говорится о нем у Буало и Лагарпа, но в общем, повидимому, не свидетельствуют о близком знакомстве с его произведениями. В статье «О ничтожестве литературы русской» (1834), в общем повторяющей историческую часть статьи 1825 г., говорится: «У французов Вильон воспевал в площадных куплетах кабаки и виселицу и почитался первым народным

---

* В течение первых лет существования французского Парнаса
Законодательствовал один только каприз.
Рифма в конце слов, собранных без размера,
Заменяла украшения, ритм и цезуру.

** Всякое стихотворение блещет своей собственной красотой.
Рондо, родившееся в Галлии, отличается наивностью,
Баллада, подчиненная своим старым правилам,
Часто обязана своим блеском своеволию рифм.

*** Рифма лежала в основе провансальской поэзии.

**** Вильон первый сумел в те грубые века
Распутать смутное искусство наших старых романистов.

поэтом!». Эти сведения о Вильоне Пушкин получил еще в лицее. Об этом можно судить по началу поэмы «Монах» (1813):

А ты поэт, проклятый Аполлоном,
Испачкавший простенки кабаков,
Под Геликон упавший в грязь с Вильоном....

Так Пушкин характеризовал русского поэта-порнографа Баркова.

В той же статье Пушкин продолжает: «Наследник его Марот, живший в одно время с Ариостом и Камоенсом,

Rima les triolets, fit fleurir la ballade»*.

Здесь зависимость от Буало обнаруживается не только цитатой, которая, кстати, сделана по памяти (эта же цитата находится и в первой редакции статьи 1825 г.). У Буало это место читается (непосредственно после процитированных стихов о Вильоне):

Marot, bientôt après, fit fleurir les ballades,
Tourna des triolets, rima les mascarades**.

Только обращением к Буало можно объяснить наименование Маро наследником Вильона.

Знакомство с Маро относится еще к лицейской поре. Пушкин, следуя указаниям Буало («imitons de Marot l'élégant badinage»), перевел его эпиграмму 1537 г. «De soy mesme» («Старик»). Этот перевод не свидетельствует о большом знакомстве с творчеством Маро, так как иначе вряд ли Пушкин воспроизводил бы стихи Буало о его триолетах[10].

Речь может итти лишь о знакомстве Пушкина с эпиграммами Маро, а возможности этого знакомства не следует преуменьшать. Репутация этого поэта в XVIII в. исключительна. Когда были забыты Ронсар и Плеяда и оставлен в почтительном покое Малерб, произведения Маро приобрели неожиданную популярность. Правда, из всего им написанного перечитывались одни только эпиграммы. Через Лафонтена, популяризировавшего иронический стиль архаизмов, воспроизводивший «наивный» язык старофранцузских новеллистов, архаизация поэтического языка превратилась в особую струю французской поэзии. Большую роль сыграл в этом отношении Ж.-Б. Руссо своими эпиграммами. Его нарочито архаистический стиль получил название «маротического». Этот маротический стиль, отражавший непосредственность и простоту старофранцузских поэтов, получил особую популярность в эпоху, когда намечались элементы нового сентиментального направления. В своих «Eléments de Littérature» энциклопедист Мармонтель (известный своими упреками по адресу Буало, в котором он осуждал отсутствие чувствительности) писал под словом «Marotique»: «Желательно, чтобы не оставляли языка доброго старого времени; он сохраняет в памяти и может воскресить старинные обороты, обладавшие изяществом, старинные слова, приятные на слух и имеющие ясный и точный смысл». Под словом «эпиграмма» он писал: «Руссо, подражая Маро, превзошел его со стороны вкуса, точности и правильности стиля; но легкость, простота, наивная грация, свойственные этому стилю, являются естественным даром, не допускающим подражания. После Маро только Лафонтен обладал этим свойством в высшей степени, в такой сте-

* Рифмовал триолеты и заставил цвести балладу.
** Маро, вскоре после этого, заставил цвести баллады,
Слагал триолеты, рифмовал маскарады.

ЗАРИСОВКА СТАТУИ ГУДОНА, СДЕЛАННАЯ ПУШКИНЫМ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА (1832 г.)

Публичная библиотека, Ленинград

пени, что, оставляя позади себя свой образец, он как бы отказал своим последователям в надежде когда-нибудь приблизиться к нему».

Архаизмы в духе Маро приобрели особую функцию наивно-иронического стиля, применявшегося в пародиях и эпиграммах. Существовал особый архаистический стиль, который был далек от высокой торжественности и, наоборот, сочетаясь с просторечием, передавал какое-то особое, «маротическое», лукавство и непосредственность, «забавную» важность и применялся преимущественно в афористическом жанре эпиграмм. Этот стиль отразился в эпиграммах Вяземского 1821—1825 гг. (преимущественно в переводах из Ж.-Б. Руссо); не прошел он бесследно и для Пушкина (см. его «Движение», начало перевода из «Девственницы» Вольтера, его эпиграмму на Каченовского 1829 г.: «Журналами обиженный жестоко» и перевод из Пелиссона 1830 г.).

Во всяком случае, маротический стиль и вместе с тем имя Маро были популярными в начале XIX в., и если Пушкин и не изучал углубленно Маро, то из поэтов его века он был ему известен лучше других.

Мнение, высказываемое Пушкиным по отношению к Плеяде, также отражает формулировку Буало: «Люди, одаренные талантом, будучи поражены ничтожностью и, должно сказать, п о д л о с т ь ю французского стихотворства, вздумали, что скудость языка была тому виною, и стали стараться пересоздать его по образу древнего греческого. Образовалась новая школа, коей мнения, цель и усилия напоминают школу наших славяно-руссов, между коими также были люди с дарованиями. Но труды Ронсара, Жоделя и Дюбелле остались тщетными. Язык отказался от направления ему чуждого и пошел опять своей дорогою» («О ничтожестве литературы русской», 1834 г.).

Данная тирада характерна тем, что повторяет не очень точные исторические оценки Буало («Ronsard, qui le suivit, par une autre méthode...» и т. д.) уже в годы, когда творчество поэтов Плеяды было достаточно популяризировано работами романтиков, в частности, Сент-Бёвом в его книге о XVI в. Но пропаганда романтиков не убедила Пушкина, и в 1836 г. в статье «Вольтер» (напечатанной в «Современнике») он это и высказал, противопоставив «ясный язык Вольтера» «напыщенному языку Ронсара».

Конечно, художественные принципы Плеяды не были близки Пушкину, и совершенно естественно, что он не разделял увлечения Ронсаром и Дюбелле, но его отрицательное отношение к этим поэтам, обусловленное предвзятой точкой зрения, вполне определилось уже при первом, повидимому, очень поверхностном, знакомстве Пушкина с их произведениями.

Любопытно, что так же отрицательно относился Пушкин и к Малербу, хотя и солидаризировался с характеристикой, данной в поэме Буало, из которой он привел выписку в 8 стихов («Enfin Malherbe vint...» и т. д.).

«Но Малерб ныне забыт, подобно Ронсару,—сии два таланта, истощившие силы свои в борении с усовершенствованием стиха... Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о механизме языка, нежели о мысли—истинной жизни его, независящей от употребления!». В подготовительном наброске к статье «О поэзии классической и романтической» о Малербе сказано: «Малерб держится 4 строками оды к Дюперье и стихами Буало». Стихи оды Малерба—это известное четверостишие:

Mais elle était du monde, où les plus belles choses
Ont le pire destin,
Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin*.

Стихи Буало—это уже упомянутый пассаж из «Art Poétique»: «Enfin Malherbe vint...». Эти стихи Пушкин и сам цитировал не раз, в частности, в статье 1825 г. «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен Крылова». В том же наброске имеется отзыв Пушкина о других поэтах, предшествовавших Буало,—отзыв отрицательный: «Менар—чистый, но слабый; Ракан, Вуатюр—дрянь...».

Можно без большого преувеличения утверждать, что французская поэзия до классиков XVII в. Пушкину была чужда.

Однако, это отрицание, повидимому, не было огульным. Любопытен один факт, который свидетельствует, по меньшей мере, о некотором внимании, проявленном Пушкиным по отношению к старофранцузской поэзии. Сохранилась запись, сделанная его собственной рукой и содержащая 162 стиха из «Roman du Renard». Однако, это не простая копия, а попытка модернизации языка, очевидно, для собственных нужд, потому что он оставлял без перевода некоторые, более известные, слова, в роде moult, ferit, fors, onques и т. д. (некоторые в качестве архаизмов были знакомы Пушкину по новой литературе). Повидимому, эта запись свидетельствует лишь о том, что Пушкин собирался заниматься старофранцузским языком, и этот учебный перевод 162 стихов был его первым опытом. К этому заключению приводят его ошибки (например, путаница двух значений si—так и если), характерные для начинающего. Можно предположить,

* Но она принадлежала миру, в котором прекрасные вещи имеют самую горькую судьбу,
И, как роза, она прожила лишь столько, сколько живут розы,—одно утро.

что этой попыткой и исчерпываются занятия Пушкина старофранцузским языком.

Но как бы то ни было, обращение именно к «Roman du Renard» показывает, что Пушкин интересовался произведениями, имеющими народное происхождение. В частности, любопытно, что в библиотеке Пушкина было два издания этого романа, и в 1835 г. он приобрел еще издание Chabille, содержащее дополнения, варианты и поправки. Вообще интерес Пушкина к фаблио и романам засвидетельствован наличием в его библиотеке сборников фаблио («Les contes du gay Sçavoir», собр. F. Langlé, 1823, «Fabliaux ou contes», собр. Legrand d'Aussi в 4 томах, 1829) и одного издания «Le Roman de Berte aus grans piés».

Но если Пушкину поэзия до XVII в. была чужда, нельзя сказать того же про французскую прозу. В статье 1825 г. мы читаем: «Проза уже имела сильный перевес. Монтень, Рабле были современниками Мароту» (в статье 1834 г. это получило следующую редакцию: «Проза уже имела решительный перевес. Скептик Монтень и циник Рабле были современники Тассу». Здесь характерно слово «уже», свидетельствующее о высокой оценке, которую Пушкин давал прозе 30-х годов). Это противопоставление Монтеня и Рабле их современникам не является оригинальным мнением Пушкина. Еще Лагарп писал в «Лицее»: «Deux hommes seuls, mais sous des rapports aussi éloignés que les degrés de leur mérite, peuvent attirer l'attention: ce sont Rabelais et Montaigne»*.

Культ Монтеня вполне объясним в пушкинское время. Это едва ли не единственный писатель XVI в., признанный еще в XVIII в. Стиль и жанр «Essais» чрезвычайно культивировался в конце XVIII и начале XIX в. Пушкин сам не прошел мимо этого увлечения «мыслями», написав «Отрывки из писем, мысли и замечания», примыкающие к этому жанру (в его афористической форме). Так, в наброске предисловия к этим отрывкам Пушкин приписывал некоему «приятелю» слова: «Пиши всё, что ни попало,—мысли, замечания литературные и политические, сатирические портреты и т. п. Это очень легко. Так писывал Сенека и Монтень».

Во всяком случае, несомненно, что Монтеня Пушкин знал не только по указке историков. Он его читал, перечитывал и цитировал. Так, в проекте предисловия к «Борису Годунову» он писал: «Как Монтень, я могу сказать о моем сочинении: „C'est une œuvre de bonne foi"». В набросках к заметке о V. Hugo Пушкин замечает: «Монтень, путешествовавший по Италии, не упоминает ни о Микель-Анджело, ни о Рафаэле». Надо думать, что это мнение основано не на просмотре «Table analytique», а на хорошем знании «Essais». Монтень, повидимому, входил в круг постоянного чтения Пушкина. В 1835 г., выехав ненадолго из Петербурга в Михайловское, он писал жене: «Пришли мне, если можно, Essais de M. Montaigne — 4 синих книги, на длинных моих полках. Отыщи».

Что касается Рабле, то мы не знаем, в какой степени знаком был Пушкин с его произведениями. Конечно, произведения его (в изд. 1823 г.) входили в состав библиотеки Пушкина, но Пушкин нигде его не цитирует. Едва ли не единый раз Пушкин упоминает имя Рабле в письме к Осиповой 5 ноября 1830 г.: «Mais le bonheur... c'est un grand *peut-être*, comme le disait Rabelais, du paradis ou de l'éternité»**. Однако, приведенные слова

* Только два человека, но в столь же разных отношениях, сколь различны их достоинства, в состоянии привлечь к себе внимание: это Рабле и Монтень.

** Но счастье... это большое *может быть*, как говорил Рабле о рае или о вечности.

Рабле—не цитата из его книги, а элемент известнейшего анекдота о его смерти, и стали «летучим словом», которое встречается в литературе на правах поговорки.

Из других прозаиков XVI в. Пушкин упоминает Брантома. В письме жене 6 ноября 1833 г. находим следующие слова: «К хлопотам, неразлучным с жизнию мужчины, не прибавляй беспокойств семейных, ревности etc., etc.—не говоря о cocuage, о коем прочел я на-днях целую диссертацию в Брантоме». Речь идет о первом Discours из «Dames galantes».

О некотором интересе к прозе XVI в. свидетельствует и состав библиотеки Пушкина, где мы, между прочим, находим «Cymbalum mundi» Bonaventure Despériers, «Новеллы королевы Наваррской» и пр.

Но, в общем, можно заключить, что знакомство Пушкина с писателями XVI в. не выходило за пределы классических традиций и пропаганда романтиков никак не отразилась на его вкусах.

Настоящая литература во Франции, с точки зрения Пушкина, начиналась только с середины XVII в.

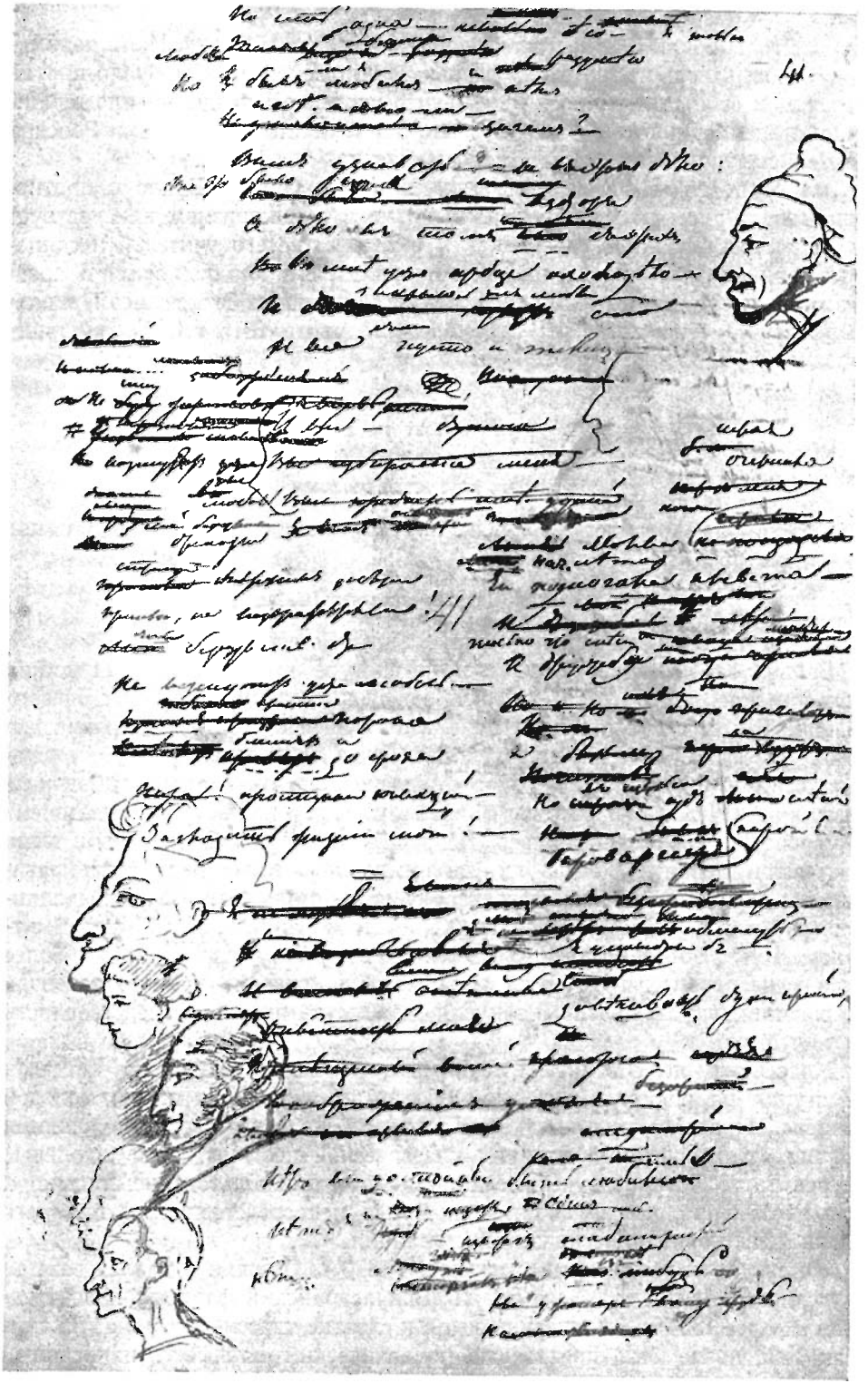
«Во Франции просвещение застало поэзию в ребячестве без всякого направления, безо всякой силы. Образованные умы века Людовика XIV справедливо презрели ее ничтожность и обратили ее к древним образцам. Буало обнародовал свой Коран—и французская словесность ему покорилась» («О поэзии классической и романтической», 1825, то же в более развитой форме в редакции 1834 г.).

## IV

Классики XVII в. были той школой литературы, на которой вырос Пушкин, и это отражалось на его творчестве во все стадии его жизни, даже когда он был далее всего от позиций классицизма.

Вождь и теоретик классиков Буало-Депрео наложил свой след на литературное сознание Пушкина. В лицейские годы Пушкин на уроках французской словесности и у Кошанского должен был, конечно, изучать Буало, как образцового автора и как «законодателя вкуса». Это изучение отразилось в первых же произведениях молодого поэта. Первое напечатанное стихотворение Пушкина «Другу стихотворцу» представляет собой дидактическое послание в духе Буало. В нем поучения начинающему поэту перемежаются с сатирическими выпадами против неудачников-поэтов. Автор пользуется случаем, чтобы заявить приверженность карамзинизму, поставив имя Дмитриева в ряд с Державиным и Ломоносовым, и одновременно сделать выпад против «славян» «Беседы» под прозрачными именами Рифматова, Графова и Бибруса. Здесь мы видим воспроизведение всех основных приемов Буало-сатирика. Особенно близко послание Пушкина в IX сатире («A son esprit», 1667 г.).

Характерно, что ведет Пушкина к сатирической форме Буало. Это—боевой дух литературной борьбы, литературное самоутверждение с наступлением на враждебную партию. Здесь уже, в этом первом послании, задана аналогия между борьбой Буало с Cotin'ами, Pradon'ами и со всеми хранителями традиций вчерашнего и борьбой карамзинистов с шишковистами-«славянами». Эта аналогия через 20 лет сформулирована Пушкиным в столько раз уже цитированной статье; Плеяда там охарактеризована в следующих словах: «Образовалась новая школа, коей мнения, цель и усилия напоминают школу наших славяно-руссов, между коими были также люди с дарованиями». Но несомненно, что Плеяду Пушкин осо



НАБРОСКИ ПРОФИЛЕЙ ВОЛЬТЕРА И МИРАБО НА ЧЕРНОВИКАХ ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЫ „ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА“ (1824 г.)

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

знавал только, как течение, враждебное классицизму Буало. И это понимание основывалось не только на фактах исторической борьбы Буало против Плеяды и ее традиций, но и на том, что наследие Плеяды именно романтики старались противопоставить наследию классицизма, именами Ронсара и Дюбелле побивали имена Буало и Расина.

Это откровенное перенесение характеристик борьбы Буало с противниками на русскую борьбу карамзинизма с шишковизмом присутствует в творчестве Пушкина (равно как и в творчестве его учителей и единомышленников) на протяжении всего периода его карамзинизма и арзамасства, т. е. почти до 1820 г. Так, боевого арзамасца Вяземского Пушкин называет «русским Шапелем и Буало» (27 марта 1816 г.), своему дяде-арзамасцу он пишет 9 апреля 1816 г.

Дай бог...
Чтобы Шихматову на зло
Воскреснул новый Буало,
Расколов, глупостей свидетель.

Секретарю «Арзамаса», Жуковскому, Пушкин адресует программное послание 1817 г., где пишет:

Явится Депрео—исчезнет Шапелен,

с явным намеком на борьбу «Арзамаса» и «Беседы».

Борьба за передовое течение в литературе выражалась у Пушкина культом классицизма и Буало, как вождя классиков и наиболее боевого бойца. Так себе представляют положение вещей и его друзья-арзамасцы. Так, Вяземский и в 1830 г. определял свою литературную группировку аналогиями с «великим веком»: «Мудрено ли, что люди возвышенные мыслями и чувствами своими, сближаются единомыслием и сочувствием? Мудрено ли, что Расин, Мольер, Депрео были друзьями? Прадоны и тогда называли, вероятно, связь их—духом партии, заговором аристократическим. Но дело в том, что потомство само пристало к этой партии и записалось в заговорщики. Державин, Хемницер и Капнист, Карамзин и Дмитриев, Жуковский и Батюшков, каждый в свою эпоху современники и более или менее совместники, были также сообща главами тайного заговора дарования, вкуса, против безвкусия, изящества против посредственности и ничтожества»[11].

Классицизм лег в основу литературного мышления Пушкина, когда он выступил на широкую литературную арену в качестве вождя молодой школы. Правда, трудно отделить степень непосредственного влияния Буало от отраженного влияния классической поэтики через школьные курсы Батте, Лагарпа и учебные пособия, которыми пользовались лицеисты. Но несомненно, что Пушкин знал Буало непосредственно, и для него были ясны корни классицизма во Франции.

Но ситуация резко изменилась после 1820 г. Пушкин оказался вождем русского романтизма, а его поэма «Бахчисарайский фонтан», напечатанная в марте 1824 г., являлась поводом к схватке классиков с романтиками, так как поэме был предпослан романтический манифест, написанный Вяземским в резко полемической форме (под названием: «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова»). Хотя Пушкин старался держаться в стороне от споров, ему пришлось солидаризироваться со своими сторонниками, романтиками, против

классиков, на него нападавших. В письме в редакцию «Сына Отечества» он отметил, что «Разговор» Вяземского «писан более для Европы вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны».

Пушкин создал свою концепцию романтизма, сложившуюся у него не без влияния г-жи де Сталь и ее книги «О Германии». В романтиках 20-х годов он еще не видел тех, кто осуществлял его собственный идеал романтизма, и ждал чего-то другого, более смелого. Можно думать, что феодально-клерикальные симпатии группы Гюго и Ламартина отпугивали Пушкина от новой школы. Но, не солидаризируясь с романтиками, Пушкин уже не сохранял прежнего пиэтета к классикам. Вряд ли ему могли быть близки взгляды Оже, Баура-Лермиана, Фелеца, Гофмана, Кольне и прочих «чемпионов классицизма»[12]. Уже постановка вопроса о романтизме и классицизме в книге г-жи де Сталь должна была привести Пушкина к пересмотру его взглядов на классицизм. Это совпало с пересмотром отношения Пушкина к карамзинизму, точнее, к старшему поколению карамзинистов. Пушкин уже перестал преклоняться перед именами Озерова и Дмитриева; естественно, в острый период критики классицизма он уже не мог остаться на школьной позиции слепого преклонения перед именами писателей века Людовика XIV.

В начале 20-х годов, набрасывая план статьи о французской литературе, Пушкин пишет: «Буало убивает французскую словесность, его странные суждения». Первую фразу, конечно, надо понимать лишь в том смысле, что Буало отверг традиции старой литературы и боролся против последних представителей этой традиции. Именно эту фразу в самой статье («О поэзии классической и романтической») он развернул в уже цитированное место о «коране» Буало.

Что касается второй фразы, то в ней содержится указание на спорность отдельных афористических положений Буало, принимаемых за непреложные тезисы в школьной теории и в классической критике. Особенно, по-видимому, восставал Пушкин против афоризма: «Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème»*. Вяземский определял этот афоризм, как «классицизм во всей наготе своего деспотизма». В 1824 г. в «Мнемозине» В. Кюхельбекер написал статью в защиту высокой поэзии, понимаемой им в романтическом смысле, против элегического направления в русской лирике. В этой статье В. Кюхельбекер коснулся и данного афоризма: «Буало, верховный, непреложный законодатель в глазах русских и французских Сен-Моров и Ожеров, объявил: «Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème». Есть однако же варвары, в глазах коих одна отважность предпринять создание эпопеи взвешивает уже всевозможные сонеты, триолеты, шарады и, может быть, баллады». Пушкин откликнулся на статью Кюхельбекера несколькими замечаниями, из которых одно связано с данным местом:

«Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème. Хорошая эпиграмма лучше плохой трагедии... Что это значит? Можно ли сказать, что хороший завтрак лучше дурной погоды?».

Что касается до исторической оценки классицизма в статьях 1825 и 1834 гг., то она там отнюдь не безоговорочна. Но упреки Пушкина направлены преимущественно по адресу классической практики и очень мало

---

* Безупречный сонет один стоит длинной поэмы.

касаются теории. Основной упрек по адресу классиков XVII в.—это их зависимость от двора Людовика XIV: «Все великие писатели сего века окружили престол Людовика XIV. Все писатели получили свою должность. Корнель, Расин тешили короля заказными трагедиями, историограф Буало воспевал его победы и назначал ему писателей, достойных его внимания. Боссюэт и Флешье проповедывали слово божие в его придворной капелле, камердинер Мольер при дворе смеялся над придворными» («О ничтожестве литературы русской», 1834). Это же обвинение—в примечании к первой главе «Онегина»: «Так, Буало, под видом укоризны, хвалит Людовика XIV».

Что касается, собственно, теоретических взглядов, то естественно, что Пушкин очень быстро освободился от строгих «правил» классицизма, хотя и считал, что «борьбе романтиков против классических «пут» придается слишком большое значение». Так, на спор о трех единствах, формулированных в известном двустишии Буало, он отозвался указанием, что вопрос о трагедии гораздо глубже вопроса о единствах и о «правдоподобии», которым пытались обосновать эти единства. «Rien de plus ridicule que les petits changements de règles reçues»*,—писал он по поводу «единств» в 1829 г. (один из проектов предисловия к «Борису Годунову»), но это не мешало ему решительно не соблюдать единств в своей трагедии.

«Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка?» (о «Борисе Годунове», 1828).

Точно так же скептически отозвался Пушкин о романтической полемике вокруг правил стихосложения, установленных поэтикой Буало. В рецензии на книги Сент-Бёва он писал: «Нам показалось, что Делорм слишком много придает важности нововведениям так называемой романтической школы французских писателей, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных оборотов и т. п. Всё это хорошо, но слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества» («Литературная Газета», 5 июня 1831 г.). В ироническом тоне о романтической борьбе с цезурой говорится в черновых строфах «Домика в Коломне», где характеризуется александрийский стих, «выняньченный» «степенным Буало».

Но эта позиция Пушкина, осуждавшего романтиков за слишком шумливую борьбу с «правилами» Буало, не была позицией классика. Сам он отвергал эти правила для себя и в тех же строфах «Домика в Коломне» именовал учение Буало «пудреной пиитикой». Слова «пудра», «парик» не были чужды словарю Пушкина. А ведь именно слово «perruque» было самым язвительным ругательством романтиков по адресу классиков. Правда, пущено оно было еще в книге де Сталь «О Германии».

И для Пушкина характерно смешанное отношение к Буало, в котором для него соединяется и «поэт, одаренный мощным талантом и резким умом», и глашатай обветшалых истин, придворный Людовика XIV, век которого прошел вместе с веком пудреных париков. Это отношение к Буало мы слышим в стихах:

Французских рифмачей [illegible] уровый судия,
О, классик Депрео, к тебе взываю я:
Хотя, постигнутый неумолимым роком,

* Нет ничего смешнее мелких изменений общепринятых правил.

В своем отечестве престал ты быть пророком,
Хоть дерзких умников простерлася рука
На лавры твоего густого парика,
Хотя растрепанный новейшей вольной школой,
К ней в гневе обратил ты свой затылок голый;
Но я молю тебя, поклонник верный твой,
Будь мне вожатаем. Дерзаю за тобой
Занять кафедру ту, с которой в прежни лета
Ты слишком превознес достоинства сонета,
Но где торжествовал твой здравый приговор
Минувших лет глупцам, вранью тогдашних пор.

(1833)

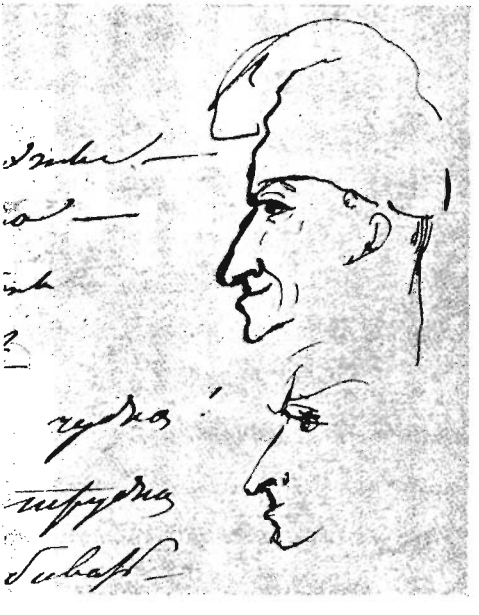
Сквозь эту иронию к «густому парику» Буало в приведенных стихах слышится уважение к Буало—сатирику и полемисту, к его здравому разуму, трезвости и ясности мысли, которые всегда роднили французских классиков с Пушкиным.

Но Буало был преимущественно теоретиком. Подлинным представителем классической поэзии XVII в. был Расин. Недаром у Пушкина эти имена часто сочетаются. Франция для Пушкина—«отечество Расина и Буало» (Вяземскому 5 июля 1824 г.), французский классический стих—«стихосложение Расина и Буало» (о Мильтоне, черновой набросок 1836 г.).

Также соединены эти имена в строфах «Домика в Коломне» (по поводу романтических реформ александрийского стиха):

О что б сказал поэт законодатель,
Гроза несчастных мелких рифмачей,
И ты, Расин, бессмертный подражатель,
Певец влюбленных женщин и царей...

Из двух трагических авторов XVII в. Пушкин, несомненно, отдавал предпочтение Расину. Корнеля он знал гораздо меньше и ценил одного его «Сида». В этом сказались и его воспитание в традициях XVIII в., когда



НАБРОСКИ ПРОФИЛЕЙ ВОЛЬТЕРА В ТЕТРАДИ ПУШКИНА (1824 г.)

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

имена Расина и Корнеля казались совершенно несоизмеримыми, и комментарий Вольтера, принижавшего литературные достоинства Корнеля, и, вероятно, оппозиция романтикам, превозносившим корнельскую трагедию. В статье о В. Гюго Пушкин писал о французах: «Если обратим внимание на критические результаты, обращающиеся в народе и принятые за литературные аксиомы, то мы изумимся их ничтожности или несправедливости. Корнель и Вольтер, как трагики, почитаются у них равными Расину, Ж.-Б. Руссо доныне сохранил прозвище великого». Хотя последнее замечание определенно направлено против классиков, так как ни один романтик не принимал Ж.-Б. Руссо, как поэта,—первое положение едва ли не направлено против V. Hugo, который сопоставлял эти три имени французских трагиков. Подобное сопоставление находится и в предисловии к «Кромвелю» (напр., «on lapide aujourd'hui tout ce qui s'élève avec Corneille, Racine et Voltaire»*), а может быть, Пушкину были известны строки V. Hugo о Вольтере из статьи 1823—1824 гг., позднее включенной в «Littérature et Philosophie mêlées»: «Nous ne doutons pas que si Voltaire, au lieu de disperser les forces colossales de sa pensée sur vingt points différents, les eût toutes réunies vers un même but, la tragédie, il eût surpassé Racine et peut-être égalé Corneille»**. Во всяком случае, Hugo везде отдавал предпочтение Корнелю перед Расином.

До 1820 г. Расин был для Пушкина совершенно непорочным писателем. Он назван в «Городке» (в сочетании с именем Озерова) в числе любимых поэтов Пушкина. Правда, имя Расина не часто встречается в ранних произведениях Пушкина, но его театральные интересы, классический репертуар, виденный им в петербургской драме, всё поддерживало представление о Расине, как о вершине трагического в искусстве.

Но критика трагической системы Расина у Сталь и у Шлегеля должна была отразиться на убеждениях Пушкина. Образу трагика-Расина противопоставляется образ Шекспира. Еще в 1822 г. он начинает писать пьесу «Вадим» по всем правилам классической драматургии. Через три года он написал «Бориса Годунова», произведение, ознаменованное решительным переходом на сторону шекспировского метода в драматургии. Это были как раз годы романтической полемики.

В проектах предисловий к «Борису Годунову», относящихся к 1828—1830 гг., вопрос—Расин или Шекспир—для Пушкина уже решен: «Я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина». В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» («Московский Телеграф», 1825) Пушкин писал: «Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже строгую музу у старого Корнеля? Придворные Людовика XIV».

В статье «О драме» (по поводу «Марфы» Погодина, 1830) Пушкин развивает эту мысль с большой полнотой. В первой статье, указав на народное происхождение драматического искусства, Пушкин останавливается на вопросе о влиянии придворного общества на драму, когда она «перенеслась в чертоги по требованию образованного, избранного общества». Он указывает, что выгоды, обусловленные влиянием образованного зрителя

* Теперь побивают всё, что возвышается, именами Корнеля, Расина и Вольтера.

** Мы не сомневаемся в том, что если бы Вольтер, вместо того, чтобы распылять огромные силы своей мысли между двадцатью различными предметами, направил бы все их к одной цели—трагедии, он превзошел бы Расина и, быть может, сравнялся бы с Корнелем.

НАБРОСОК ПРОФИЛЯ ВОЛЬТЕРА
В ТЕТРАДИ ПУШКИНА (1828 г.)
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

(большая естественность, простота, спокойствие), более чем уравновешиваются отрицательным влиянием зависимости поэта от вкусов придворных кругов. Поэт «не предавался вольно и смело своим вымыслам». Он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по состоянию. Он боялся унизить такое-то высокое звание, оскорбить таких-то спесивых своих зрителей—отсюда робкая чопорность, смешная надутость, вошедшая в пословицу («un héros, un roi de comédie»), привычка смотреть на людей высшего сословия с каким-то подобострастием и придавать им странный нечеловеческий образ изъяснения. У Расина, например, Нерон не скажет просто: «Je serai caché dans ce cabinet»,—но: «Caché près de ces lieux je vous verrai, Madame». Агамемнон будит своего наперсника и говорит ему с напыщенностью: «Oui, c'est Agamemnon...».

Но, противопоставляя систему Расина системе Шекспира, Кальдерона и Гёте, Пушкин не отрицает его трагических достоинств: «Кальдерон, Шекспир и Расин стоят на высоте недосягаемой—и их произведения составляют вечный предмет наших изучений и восторгов». Исходя из того положения, что цель трагедии—«судьба человеческая, судьба народная» и признавая в Расине драматурга, рисующего человеческую судьбу, Пушкин заключает: «Вот почему Расин и велик, несмотря на узкую форму своей трагедии».

С этими отзывами, предназначавшимися к печати, следует сопоставить интимный и потому менее осторожный отзыв о Расине, вызванный неудачным переводом «Федры», встретившим излишне благосклонный прием у критики. Пушкин писал брату (1824): «А чем же и держится Иван Иванович Расин, как не стихами, полными смысла, точности и гармонии! План и характер Федры верх глупости и ничтожества в изображении». За этими словами следует резкий разбор характеров «Федры»—Тезея, Ипполита и Терамена. Расину противопоставляется Байрон, владевший тогда воображением Пушкина.

Именно драматический план и драматические характеры—вот то, чего искал Пушкин у Шекспира и чего не находил в классическом театре Франции. Как мы увидим, трагедии романтиков немногим более удовлетворяли требованиям Пушкина.

Старший современник—и учитель, и соперник Расина—Корнель в мень-

шей степени привлекал внимание Пушкина. Он ему отводит второе место. Не следует забывать, что репутация Корнеля сильно пала в XVIII в. Вольтер писал: «Хотя в театре удержалось лишь 6—7 его пьес из 33, тем не менее, он остается отцом театра. Он первый поднял национальный гений, и это одно заставляет простить около 20 его пьес, которые, за исключением немногих мест, представляют собой самое скверное, что мы имеем, и по слабости стиля, и по холодности интриги, по нелепым и неуместным любовным завязкам, и по нагромождению вычурных рассуждений, столь противных духу трагического. Но будем судить великого человека по его лучшим произведениям, а не по его ошибкам» («Век Людовика XIV»). Для Пушкина это—«старый Корнель», «поэт испанский». Когда в 1822 г. Катенин перевел «Сида», Пушкин писал ему: «Поздравляю тебя и старого моего Корнеля. Сид кажется мне лучшею его трагедиею». Этот перевод внушил Пушкину стихи из первой главы «Евгения Онегина»:

Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый...

Ср. упоминание о «лавре Корнеля» в стих. «Ответ Катенину».

Трагедия Корнеля восхищала Пушкина смелостью разрешения проблемы единства времени: «Истинные гении трагедии никогда не заботились о каком-либо другом правдоподобии, кроме правдоподобия характеров и положений. Посмотрите, как смело Корнель поступил в Сиде: А, вам угодно соблюдение правила о 24 часах? Извольте!—и тут же нагромоздил событий на целых 4 месяца».

Пушкин чувствовал различие между драматическими системами Расина и Корнеля. И, считая первого представителем чистого классицизма, он относил Корнеля к разряду романтических писателей (в своем понимании романтизма, т. е. менее зависящим от античных образцов и более связанным с традицией старой национальной литературы); отмечая, что французская словесность вся покорилась уставам Буало, он делал исключение для Корнеля: «Старый Корнель один остался представителем романтической трагедии, которую так славно вывел он на французскую сцену» (1834). Конечно, в этом сказалось и то, что Корнель был поэтом, по преимуществу ценимым романтиками.

Именами Расина и Корнеля ограничивалось для Пушкина знакомство с трагиками XVII в. Их старшего современника, Ротру, Пушкин не читал («Старика Rotrou, признаюсь, я не читал»—письмо Катенину 12 сентября 1825 г.); современника и соперника Расина—Прадона Пушкин знал лишь в нелестной характеристике, данной ему сторонниками Расина, и употреблял его имя, как бранное:

Изменник! С Аполлоном
Ты, видно, заодно;
И мне прослыть Прадоном
Отныне суждено.

(Дельвигу, 1815)

Брат Корнеля, Тома Корнель, совершенно не упоминается Пушкиным[13]. Из других трагиков, выступивших после Расина и Корнеля, в отзывах Пушкина, и то случайно, встречается «ужасный» Кребильон, собственно, уже принадлежащий XVIII в., но о котором упоминаю здесь, так как он предшествует деятельности Вольтера, знаменующей литературу XVIII в.

Две трагедии Кребильона были поставлены в русской драме: в 1809 г. давали «Радомиста и Зенобию» в плохом переводе Грузинцева (о нем имеется отзыв Жуковского) и в 1811 г.—«Атрея» в переводе Жихарева, тоже плохом (упоминания об этом переводе находятся в протоколе приема Жихарева в «Арзамас»). Из этих двух постановок первая удержалась в репертуаре. Неумеренные «ужасы» Кребильона должны были уравновесить однообразие классического репертуара. Повидимому, в театральных кругах велись разговоры о гипертрофическом трагизме Кребильона. Вероятно, отголосками этих разговоров являются намеки на «Атрея» Кребильона (1707), которые находятся в письмах к Катенину и Кюхельбекеру, а они, как известно, были во многих вопросах единомышленниками. Так, в письме о «Сиде» (1822) Пушкин, отстаивая трагичность пощечины, которую наносит Дон Гомец Дону Диего (против чего возражал Вольтер), говорит: «Боже мой, она должна была произвести более ужаса, чем чаша Атреева». Под «Атреевой чашей» здесь разумеется финальная сцена трагедии Кребильона, где Атрей преподносит Тиесту чашу, наполненную кровью Плистена, сына тиестова. В 1825 г. в письме к Кюхельбекеру, сказав каламбур, Пушкин отмечает его: «Colembourg! Reconnais-tu le sang?»*. Это примечание само по себе каламбурно (sens—sang) и, кроме того, является цитатой по памяти из той же сцены: это слова Атрея, подносящего чашу: «Méconnais-tu ce sang?»[14]. И здесь, повидимому, мы имеем дело с намеком, взаимно понятным и восходящим к старым беседам. Как бы то ни было, оба отзыва свидетельствуют об ироническом отношении к сгущенным эффектам трагедий Кребильона и до известной степени комментируют слова Пушкина в его статье о драме, где среди недостатков примитивной трагедии указаны «ужасы» и «отвратительные страдания». Чувство трагической меры Пушкин воспитал в себе на пьесах Расина, и эксцессы Кребильона были ему чужды.

Но вернемся к классикам XVII в.

Едва ли не крупнейшим писателем этого века Пушкин считал Мольера. На Мольере он был воспитан, и можно вполне доверять показаниям его сестры, что первые литературные опыты молодого Пушкина были французские пьески, откровенно подражавшие Мольеру. В «Городке» (1815) Мольер именуется исполином, и к нему присоединяются русские имена Фон-Визина и Княжнина. И этот восторг перед Мольером поддерживался тем фактом, что пьесы Мольера входили в репертуар того времени и в русском театре шли немногим реже, чем во французском. В эти годы шли: «Скапеновские обманы» (постановка 1814 г.), «Мнимый больной» (1815), «Мизантроп» (1816), «Дон-Жуан» (1816), «Ученые женщины» (1818), «Скупой» (1819). О Вальберховой в «Мизантропе» писал Пушкин в «Моих замечаниях об русском театре». Если вспомнить темы пушкинской поэзии в лицейский период, с мифологизмом, анакреонтикой и прочим наследием минувшего вплоть до галантных мадригалов, то мы поймем, что интерес Пушкина к Мольеру не ограничивался его классическим наследием высоких комедий, а распространялся и на его балетные сценарии и интермедии, гармонировавшие с условными фавнами и нимфами поэзии XVIII в. Мне кажется, что следом такого интереса к Мольеру является стихотворение «Блаженство» (1814), в котором можно сблизить диалог сатира с куплетами сатира в «Amants magnifiques».

* Каламбур! Узнаешь кровь?

У Пушкина:

Верь мне: стон в бедах напрасен.
Лучше, лучше веселись,
В горе с Бахусом дружись.

У Мольера:

Aux amants qu'on pousse à bout
L'amour fait verser des larmes;
Mais ce n'est pas notre goût.
Et la bouteille a des charmes
Qui nous consolent de tout*.

Хорошее знание Мольера явствует из наличия у Пушкина цитат, хотя и скупых, но, повидимому, приведенных по памяти. Таковы цитаты из «Bourgeois gentilhomme» в письме к жене (1834), из «Мизантропа» в «Опыте отражения некоторых не-литературных обвинений» (1830), из «Тартюфа» в заметке о Нулине (1830), примечание о «Fourberies de Scapin» в статье «Вольтер» (1836) и в плане биографическом, упоминание известного афоризма «Je prends mon bien où je le trouve» в первой главе «Путешествия в Арзрум». Любопытно, что в 1836 г., повидимому, подбирая цитату для статьи, Пушкин на память набросал несколько стихов из «Ученых женщин» в переводе И. Дмитриева.

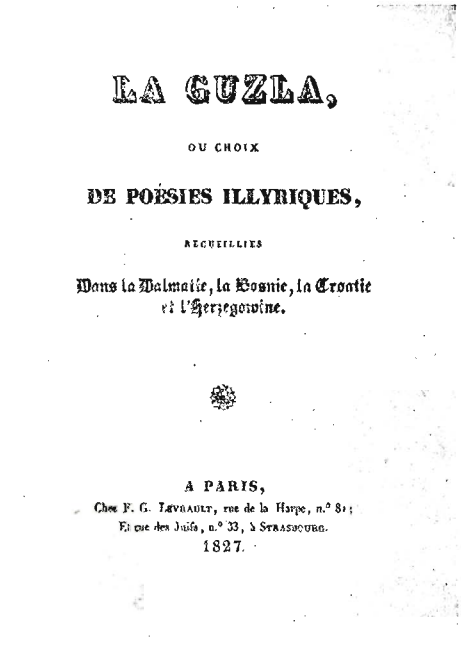
Но Мольер, главным образом, привлекал Пушкина боевой стороной своих произведений. Для Пушкина основной заслугой было обличение жеманства и лицемерия, которое он находил в комедиях Мольера, обличение, не потерявшее значения и для начала XIX в.: «Не странно ли в XIX веке воскрешать чопорность и лицемерие, осмеянные некогда Мольером» (об А. Мюссе, 1830). Особенно актуально было изобличение лицемерия, ярко расцветавшего в 20-х годах, в период смены различных мистических течений различного политического оттенка, но преимущественно реакционных, заключивших союз с аракчеевщиной и сопровождавшихся гонением на всякую мысль и всякое просвещение. Естественно, что любимым произведением Пушкина был «Тартюф», наиболее часто упоминаемый у Пушкина: «Бессмертный Тартюф, плод самого сильного напряжения комического гения» (А. Бестужеву, 1825); в этой формуле «Тартюф» провозглашается не только лучшим произведением Мольера, но и лучшим комическим произведением всей мировой литературы. И Пушкин отдавал должное художественному замыслу, причисляя «Тартюфа» к числу немногих мировых произведений, в которых «есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию» («О смелости выражений», 1827).

Но отношение Пушкина к Мольеру изменилось так же, как и к другим классикам в период его увлечения Шекспиром. Шекспировская система поглотила всё его внимание. Народную форму его драм он противопоставил «придворному обычаю» классиков, включая и Мольера. В статье 1834 г. это резко сформулировано: «Камердинер Мольер при дворе смеялся над придворными»[15].

Но в период противопоставления Шекспира классикам Пушкин выделяет Мольера по одному признаку. В Шекспире его поражает широта изобра-

* Когда любовники доведены до крайности,
Любовь заставляет их проливать слезы;
Но нам это не по вкусу.
А в бутылке есть чары,
Которые во всем нас утешают.

жения характеров. Из всего классического наследия только в комедии Мольера он находит такое изображение характеров, которое приближалось бы к реалистическому психологизму Шекспира. Пушкин писал: «Высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, и нередко близко подходит к трагедии» («О драме», 1830). Это положение давало основание сближать с Шекспиром не трагиков, а именно Мольера, что соответствовало и объективному положению вещей. В начале XIX в. Мольер был единственный из классиков, не потерявший своего обаяния перед зрителем. Кстати, он был драматург, не утративший своего значения в глазах романтиков. Естественность сопоставления Шекспира с Мольером


LA GUZLA,

OU CHOIX

DE POÉSIES ILLYRIQUES,

RECUEILLIES

Dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzegovine.

A PARIS,

Chez F. G. Levrault, rue de la Harpe, n.° 81;
Et rue des Juifs, n.° 33, à Strasbourg.

1827.

ТИТУЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ КНИГИ ПРОСПЕРА МЕРИМЕ „ГУЗЛА" ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПУШКИНА
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

явствует хотя бы из того, что, независимо от Пушкина, эти имена сопоставлял Шатобриан в своем «Опыте об английской литературе» (1836).

У Пушкина сохранилась заметка, относящаяся к последним годам его жизни. В ней он сравнивает трактовку сходных характеров у Мольера и у Шекспира. Гарпагону противопоставлен Шейлок, Тартюфу—Анджело. Сравнение, как и можно было угадать, далеко не в пользу Мольера. «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков... У Мольера скупой скуп и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женой своего благодетеля, лицемеря; принимает имение под сохранение, лицемеря; спрашивает стакан воды, лицемеря... Анджело—лицемер, потому что его главные действия противуречат тайным страстям» (из пачки «Table Talk», 1834).

Было бы неправильно принимать эту заметку за объективную критическую характеристику Мольера. Еще в 1822 г. почти в тех же выражениях

Пушкин писал о присущих классической традиции методах выведения драматического характера. Эта заметка скорее является самопризнанием, раскрытием собственного понимания трактовки характеров, с понятной в таких условиях утрировкой противоположных приемов. Под этим углом зрения надо расценивать не столько мнение Пушкина о Мольере, сколько собственное творчество Пушкина. И в этом отношении характерен опыт болдинской осени 1830 г. Далеко не случайно, что из трех оригинальных маленьких трагедий две совпадают по теме с комедиями Мольера «Скупой» и «Дон-Жуан». В другом месте мне приходилось подробнее вскрывать генетическую зависимость Пушкина от образов Мольера[16]. Характерным является то, что Пушкин отправляется не непосредственно от комедий Мольера, а учитывает все наслоения, которыми они обросли к его времени. «Скупой» воспринимается сквозь всю полемику вокруг приговора Ж.-Ж. Руссо, осудившего эту комедию за имморальность, выразившуюся в остром изображении конфликта отца с сыном[17]. И именно эту ситуацию выбирает Пушкин, чтобы трактовать ее по-своему. Точно так же тип Дон-Жуана осложняется у Пушкина романтизированной интерпретацией его в опере Моцарта, быть может, не без влияния гофманского понимания этой оперы. И в обоих случаях Пушкин показывает, как можно давно трактованный сюжет сделать предметом новых, совершенно оригинальных произведений, по отношению к которым всякий разговор о «влиянии» и «заимствовании» излишен. Но эта оригинальность Пушкина покоится на твердом основании изучения своих предшественников. Изучив Мольера, он научился делать иначе, чем Мольер.

Повидимому, учитывая великое значение школы Мольера, Пушкин указывал Гоголю на необходимость учиться у него. Анненков со слов самого Гоголя передает следующее: «Пушкин, говорил Гоголь, дал мне порядочный выговор и крепко побранил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинакова, и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах и интригах, что в великих писателях нечего смотреть на форму, и что куда бы он ни положил добро свое—бери его, а не ломайся». Но чтобы представить себе, о каких именно чертах творчества Мольера беседовал Пушкин с Гоголем в последние годы своей жизни, достаточно вспомнить слова Гоголя о Мольере, когда, под влиянием этих бесед, он изменил свой взгляд на него: «О, Мольер, великий Мольер! ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры, так глубоко следил все тени их» («Петербургские записки», 1836).

Если мы при этом вспомним, что сюжет «Ревизора» сообщен Гоголю Пушкиным[18], то ясны будут и мотивы этих бесед. Заметив в Гоголе театральный комический талант, Пушкин указал ему на Мольера, как на лучшую школу комического автора, и при этом указал на разработку комических характеров, как на центральное достоинство мольеровской комедии.

Еще одно имя «великого века» необходимо вспомнить в связи с Пушкиным—имя Лафонтена. Он относится к числу самых ранних впечатлений Пушкина. Известно по воспоминаниям сестры, что в детстве Пушкин писал французские басни, очевидно, в подражание Лафонтену. Конечно, изучение его басен входило и в лицейский курс. Но здесь же, в лицее, уже не на уроках, Пушкин узнал и другие произведения Лафонтена: его фривольные сказки и его «Любовь Психеи и Купидона». Что касается

второго произведения, то вслед за Карамзиным Пушкин признал превосходство русской версии Богдановича над повестью Лафонтена. Что касается сказок, то их он считал непревзойденными[19].

И ты, певец любезный,
Поэзией прелестной
Сердца привлекший в плен,
Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!
Ты здесь—и Дмитрев нежный
Твой вымысел любя,
Нашел приют надежный
С Крыловым близ тебя.—
Но вот наперсник милый
Психеи златокрылой!
О добрый Лафонтен,
С тобой он смел сразиться...
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты побежден!

Непосредственно за этими стихами, характеризующими Лафонтена, как баснописца и автора «Психеи», следует упоминание о Вержье и Грекуре, учениках Лафонтена в жанре сказок.

Басня, как таковая, не отразилась в творчестве Пушкина. Это был не его жанр. Поэтому и в первый, подражательный период творчества мы не найдем явных следов увлечения Лафонтеном, однако, кое-какие следы имеются. Так, сказка «Амур и Гименей» является по замыслу продолжением басни Лафонтена «L'Amour et la Folie». Отмечая эпикурейский характер поэзии Лафонтена, Пушкин, несомненно, высоко ставил рустические идиллические мотивы его поэзии и, в частности, воспевание сельской жизни в «Le Songe d'un habitant de Mogol», басне, переводившейся Жуковским и Батюшковым. О ней говорится в послании Юдину:

Вот здесь, под дубом наклоненным,
С Горацием и Лафонтеном
В приятных погружен мечтах...

Вскоре Пушкину пришлось переоценить приговор свой над «Psyché», произведенный под влиянием категорического мнения Карамзина. Эта переоценка произведена в творческом плане. В поэме «Руслан и Людмила» есть эпизод с волшебным замком, традиционный в фантастической поэме и имеющийся и у Ариосто (остров Альцины), и у Камоэнса (остров Венеры), и у Тассо (сад Армиды). Но ближе всего эпизод «Руслана» (в сочетании с перенесением Людмилы по воздуху) к эпизоду волшебного замка Купидона, который был известен Пушкину в трех версиях: по Апулею, по Лафонтену и по Богдановичу. Сличая этот эпизод «Руслана» со всеми тремя версиями, мы увидим, что гиперболические формы Богдановича, переходящие в «бурлеск», заменяются формами, более близкими Лафонтену. Чувство меры, проявленное Пушкиным в описании пребывания Людмилы в замке Черномора, несомненно, воспитано на классическом повествовании Лафонтена. Чтобы не входить в детали, остановлюсь на одном эпизоде. У Апулея Психею окружают невидимые слуги. Лафонтен

вводит «группу нимф», мотивируя подробно свое отступление от латинской версии мифа. Богданович развивает это, окружая Душеньку толпами, где слуги, «в тесноте толкаясь головами», наперерыв стараются ей угодить. Пушкин идет по пути Лафонтена, излагая этот эпизод так:

Три девы, красоты чудесной,
В одежде легкой и прелестной,
Явились, молча подошли
И поклонились до земли.

То же самое мы наблюдаем и в других деталях.

В 20-е годы—период романтической полемики—перед Пушкиным во всей ясности стал вопрос о народности в литературе, понимаемой в смысле ее национального своеобразия. Идеал классической универсальной литературы, осуществляющей отвлеченные формы красоты, пригодной для любого народа и любой исторической обстановки, уступил место пропаганде национальных форм искусства. Восторжествовала формула, выдвинутая де Бональдом в 1806 г.: «La littérature est l'expression de la société»*. Проблема народности возникла в русской журнальной критике по поводу выхода в свет «Бахчисарайского фонтана», вокруг полемики Вяземского с И. Дмитриевым о классицизме и романтизме. На эту полемику отозвался и Пушкин. В этой полемике, естественно, выплыло имя Лафонтена. «Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов», — писал Пушкин, подробно характеризуя, какие национальные черты перешли в творчество того и другого («О предисловии Лемонте», «Московский Телеграф», 1825).

Классицизм XVII в. строился на отрицании принципа национальной литературы. Это, конечно, не мешало ему быть воплощением глубоко национальных, французских устремлений; но он возник в период, когда идея мировой гегемонии, всемирной монархии определяла направление мысли. Последняя вспышка этой идеи—империя Наполеона—совпадает с последними днями господства классической идеи универсальной красоты.

Но Лафонтен занимал совершенно оригинальное место среди классиков XVII в. Будучи другом Расина и Буало, он далеко не до конца разделял их идеи. Его поэзия возникала из совершенно иных традиций. Это-то и было причиной того, что его басни и сказки воспринимались, как наиболее национальное во французской литературе. В статье 1825 г. «О поэзии классической и романтической» Пушкин выводит его из ряда классиков и причисляет к романтикам (опять-таки в своеобразном понимании этого слова, о котором говорилось в связи с Корнелем): «Не нужно думать, однакож, чтобы и во Франции не осталось никаких памятников чистой романтической поэзии. Сказки Лафонтена и Вольтера и Дева сего последнего носят на себе ее клеймо». А в статье 1834 г. подчеркивается и причина этого—независимость Лафонтена от покровительства Людовика XIV: «Бедный дворянин (несмотря на господствующую набожность) печатал в Голландии свои веселые сказочки о монархиях... Зато Лафонтен умер без пенсии...».

Именно сказки Лафонтена, создавшие новый жанр шутливого повествования, были Пушкину особенно близки. Традиция фривольных сказок, представленная многочисленными подражателями Лафонтена в XVIII в.

* Литература является выразительницей общества.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К КОМЕДИИ МОЛЬЕРА „УЧЕНЫЕ ЖЕНЩИНЫ"
Рисунок неизвестного художника французской школы первой половины XVIII в.
Эрмитаж, Ленинград

(среди этих подражателей был и Вольтер), была еще жива, когда Пушкин формировался, как поэт. Об этих подражателях писал Пушкин: «Легче превзойти гениев в забвении всех приличий, чем в поэтическом достоинстве».

В своих сказках Лафонтен, пользуясь сюжетами старофранцузских и итальянских новеллистов, создал особый стиль непринужденного повествования, определившего характер реалистической комической поэмы XIX в. Недаром в связи с «Графом Нулиным» Пушкин вспомнил «сказку доброго Лафонтена». Пушкинская поэма принадлежит к той же традиции [20].

Конечно, перечисленные имена не исчерпывают всего круга интересов Пушкина. В его произведениях мы встречаем цитаты и упоминания «Писем» Севинье, «Характеров» Лабрюйера, «Телемахиды» Фенелона и пр., но удельное значение этих писателей для Пушкина значительно меньше.

## V

XVIII в. играл особую роль в творчестве Пушкина. Его традициями определялись основные течения литературы, современной годам воспитания и формирования Пушкина. Основательным знакомством с классиками XVII в. Пушкин обязан XVIII в., в традиции которого входил культ «великого века». Литературу XVIII в. Пушкин знал в еще большей степени, чем предшествующую. В его произведениях встречаются упоминания о давно забытых писателях этого века, которые ему были хорошо известны.

Роль XVIII в. характеризуется преимущественно влияниями идеологического порядка. Вольтер, Руссо и энциклопедисты—вот центральные фигуры. Публицистов и мыслителей этого века Пушкин перечитал основательно. Подобно своему герою, Пушкин

Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля...

Об этом свидетельствуют цитаты из их произведений и характеристики, им данные (например, в «Арапе Петра Великого»).

Но центральными фигурами остаются Вольтер и Руссо. Эти два имени определяют два основные течения философской мысли, отразившиеся и на идеологах Французской революции и на политических учениях начала XIX в. Вольтер, вождь «вольнодумцев», подвергший окружавший его мир разрушительной критике, сильный своей иронией и скептицизмом, оказал решительное влияние на Пушкина с юных лет. Еще в детстве Пушкин окружен был «вольтерианцами», среди которых первое место занимал литератор А. М. Пушкин. Чтение укрепило Пушкина в поклонении Вольтеру. Известные стихи из «Городка» показывают степень увлечения Пушкина:

Сын Мома и Минервы,
Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый,
Ты здесь, седой шалун!
Он Фебом был воспитан,
Издетства стал пиит;
Всех больше перечитан,
Всех менее томит.
Соперник Эврипида,
Эраты нежной друг,
Арьоста, Тасса внук—
Скажу-ль?.. отец Кандида—
Он—всё, везде велик
Единственный старик!

Знакомство Пушкина с творчеством Вольтера началось с самых юных лет. В первой же поэме Пушкина «Монах» (1813) мы читаем:

Певец любви, фернейский старичок,
К тебе, Вольтер, я ныне обращаюсь.
Куда, скажи, девался твой смычок,
Которым я в Жан д'Арке восхищаюсь...

И вся поэма, еще по-детски неумелая, является подражанием «Pucelle» Вольтера.

Такой же восторженный отзыв о «Pucelle» мы находим в «Бове» (1814).

Не бывал я греховодником,
Но вчера, в архивах роясь,
Отыскал я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Катехизис остроумия,
Словом: Жанну Орлеанскую.
Прочитал,—и в восхищении
Про Бову пою царевича.
О Вольтер, о муж единственный!
Ты, которого во Франции
Почитали богом некиим,
В Риме дьяволом, антихристом,

Обезьяною в Саксонии!
Ты, который на Радищева
Кинул было взор с улыбкою,
Будь теперь моею Музою!

Это магистральное влияние «Pucelle» характерно не только для лицейских лет. Это же влияние заметно и на «Руслане и Людмиле», оно же сказывается и в последующей «Гавриилиаде». Пушкин даже пытается перевести «Pucelle». В 1827 г. он в «Арапе Петра Великого» характеризует регентство обширной цитатой из Вольтера, приведенной, конечно, без указания «опасного» источника. Но одной поэмой не ограничивается интерес Пушкина к Вольтеру: он его изучает всего, как писателя, как мыслителя, как человека. Писатели XVII в. были в представлении Пушкина преимущественно литературными явлениями. Их биографии он знал плохо (вспомним ошибочные характеристики: «камердинер» Мольер, «дворянин» Лафонтен). Биографию Вольтера он изучает уже в лицее. В дневнике он 10 декабря 1815 г. записывает: «Поутру читал «Жизнь Вольтера» (повидимому, речь идет о «Vie de Voltaire» par Condorcet). Пушкина рано привлекает лирика Вольтера, о чем можно судить по лицейским переводам. К числу любимых его произведений относится «Кандид» (см. «Городок» и «Сон», 1816). Вероятно, в подражание Вольтеру, он пишет в лицее философский роман, от которого сохранилось лишь общее заглавие: «Фатама или разум человеческий» (ср. «Candide ou l'Optimisme») и название третьей главы: «Право естественное». Несколько позже, в 1822 г., Пушкин писал о прозе Вольтера: «Вольтер может почесться лучшим образцом благоразумного слога. Он осмеял в своем *Микромегасе* изысканность тонких выражений Фонтенеля, который никогда не мог ему того простить». Ср. в «Лицее» Лагарпа: «Voltaire qui dans son *Micromegas* se moquait un peu des faux ornements qui déparent *les Mondes* de Fontenelle...» (XVIII siècle, Philosophie, Ch. I, sect. I*). В той же статье Пушкин излагает свой взгляд на прозу, явившийся результатом изучения прозы Вольтера: «Точность и краткость—вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей, без них блестящие выражения ни к чему не служат».

Уже в лицее Пушкин знакомится с Вольтером-трагиком («Соперник Эврипида»). Трагедии Вольтера входили в это время в репертуар русского театра. По окончании лицея Пушкин имел возможность видеть на русской сцене «Заиру» (см. «Мои замечания об русском театре»), «Меропу», «Магомета», «Танкреда»[21], «Семирамиду».

В 20-е годы интерес Пушкина к истории привел его к изучению исторических трудов Вольтера. В черновом письме Вяземскому, 5 мая 1824 г., заключается отзыв о Вольтере-историке: «Французы ничуть не ниже англичан в истории. Если первенство чего-нибудь да стоит, то вспомните, что Вольтер первый пошел по новой дороге и внес светильник философии в темные архивы истории». Достаточно просмотреть примечания к «Полтаве», чтобы убедиться, как внимательно относился Пушкин к историческим работам Вольтера.

Боевое значение произведений Вольтера не притупилось и в XIX в. Если до 20-х годов мотивы вольтеровских произведений были терпимы

* Вольтер в своем «Микромегасе» слегка насмехался над фальшивыми прикрасами, которые безобразят «Множественность миров» Фонтенеля.

правительством, как наследие екатерининской эпохи, когда внешний культ Вольтера был высок и дворянское «вольтерьянство» было в достаточной степени безобидно, то после 1825 г. это имя стало одиозно для официальных кругов. Переиздавая в 1828 г. «Руслана и Людмилу», Пушкин принужден был исключить из поэмы упоминание о Вольтере («Не прав Фернейский злой крикун», из IV песни) и ослабить эротические эпизоды, слишком напоминавшие «Pucelle» и воспринимавшиеся, как элемент «вольномыслия». Позднее, уже насильственно, имя Вольтера устраняется из предисловия к «Истории Пугачевского бунта»[22].

К 1828 г. относится дело о «Гавриилиаде». Пушкину пришлось отрекаться от собственного произведения и тем стать в положение Вольтера, отрекавшегося от «Pucelle», а так как «Гавриилиада» кое в чем являлась поэмой «вольтерьянской» и, в частности, имела точки соприкосновения с тою же «Pucelle», то Пушкин эту аналогию ощущал очень остро. Вероятно, под влиянием этого сближения судьбы Вольтера с собственной судьбой он незадолго до смерти написал «pastiche» на тему об отречении Вольтера от «Pucelle»: «Последний из свойственников Иоанны д'Арк»—род шутливой литературной мистификации, увидевшей свет уже после его смерти.

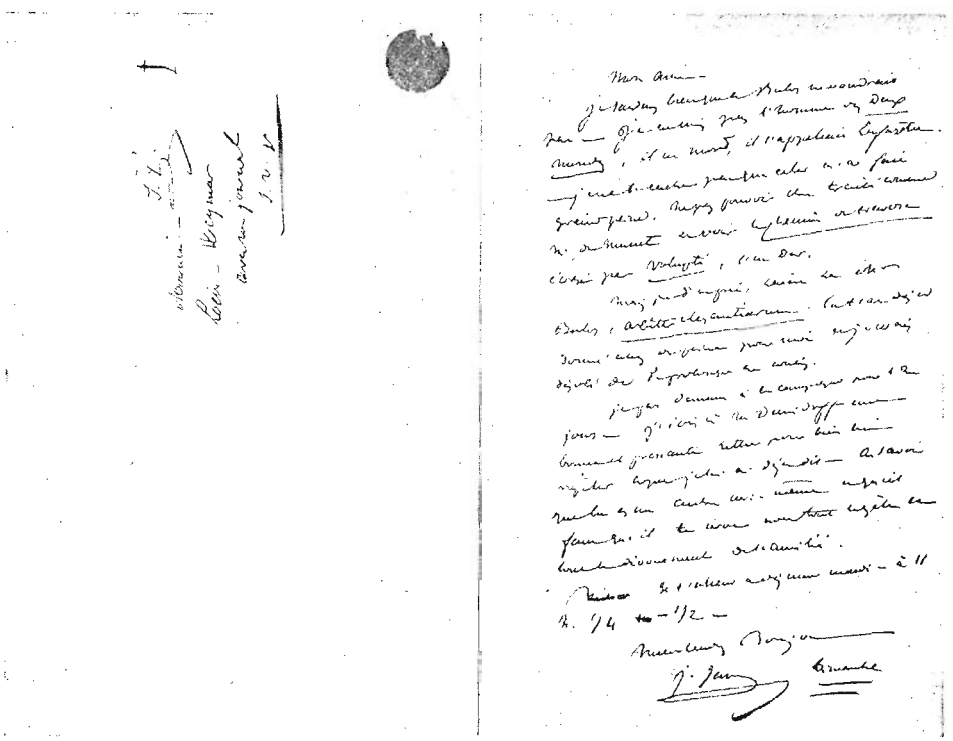
Итак, в 20-е годы Пушкину пришлось пересматривать свое отношение к Вольтеру по двум линиям: в плане литературном, в связи с отказом от системы классицизма, представителем которого являлся Вольтер, и в плане идеологическом. Следы этого пересмотра мы находим в статье 1834 г. «О ничтожестве литературы русской». Переходя от классиков XVII в. к их наследникам, Пушкин пишет:

«Ничто не могло быть противуположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя... Вольтер, великан сей эпохи, овладел и стихами, как важной отраслью умственной деятельности человека. Он написал эпопею с намерением очернить кафолицизм. Он 60 лет наполнял театр трагедиями, в которых, не заботясь ни о правдоподобии характеров, ни о законности средств, заставил он свои лица кстати и некстати выражать правила своей философии. Он наводнил Париж прелестными безделками, в которых философия говорила общепонятным и шутливым языком, одною рифмою и метром отличавшимися от прозы. И эта легкость казалась верхом поэзии. Наконец, и он однажды, в своей старости, становится поэтом, когда весь его разрушительный гений со всею свободою излился в циничесой поэме...».

При оценке этой тирады следует делать корректив на цензуру. Хотя статья Пушкина осталась в рукописи, он, несомненно, готовил ее для печати и принужден был ввести в нее утверждения, не вполне передававшие его собственные убеждения. Конечно, в 1834 г. взгляды Пушкина были не те, что в юности, и на «Pucelle» он смотрел иными глазами, чем в 1813 или в 1825 г.: выпады против идеологических основ произведений Вольтера здесь, конечно, формулированы «для внешнего употребления». Но нельзя отрицать искренности Пушкина в оценке художественного метода Вольтера. В самом деле, создатель «Евгения Онегина», «Повестей Белкина», «Пиковой дамы», ставивший своей задачей наиболее полное отражение действительности в своих произведениях, не мог примириться с голым дидактизмом и схематизмом. И надо признать, что именно художественная сторона произведений Вольтера в наименьшей степени выдержала испытание времени. Однако, интерес к Вольтеру не ослабел у Пушкина и в последние годы его жизни. Он не только перечитывал Вольтера (о чем

свидетельствуют цитаты в его произведениях и письмах), но даже делал попытку более близкого знакомства с его наследием. В 1832 г. он добился разрешения заниматься в личной библиотеке Вольтера, приобретенной Екатериной и после его смерти перевезенной в Эрмитаж[23].

Одной из последних статей Пушкина является статья о Вольтере, появившаяся в III книге «Современника» 1836 г. Статья эта написана по поводу только что опубликованной переписки Вольтера с президентом де Броссом и проникнута большой любовью к Вольтеру. В ней Пушкин писал: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы



АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖЮЛЯ ЖАНЕНА К ЛЕВЕ-ВЕЙМАРУ, ПОДАРЕННЫЙ ПОСЛЕДНИМ ПУШКИНУ В 1836 г. И СОХРАНИВШИЙСЯ В АРХИВЕ ПУШКИНА

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное как отрывок из расходной тетради или записки к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов». В пояснение к этим словам необходимо заметить, что Пушкин хранил у себя автограф Вольтера — незначительный клочок бумаги (начало послания Фридриху, февраль 1737 г.).

В этой статье Пушкин касается преимущественно биографии Вольтера, в частности, его «слабостей». Эти слабости вызывались компромиссностью поведения Вольтера, отразившейся и в его отношениях с Фридрихом. Здесь Пушкин не воздерживался от жестоких упреков по адресу Вольтера: «Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости

в уважении людей». Но для Пушкина эта компромиссность получила в 30-е годы особое, автобиографическое значение. Отношения Вольтера к Фридриху Пушкиным воспринимались на фоне его личного ложного положения при дворе. И нельзя не уловить автобиографического смысла в заключительных абзацах статьи: «К чести Фридриха II скажем, что сам от себя король, вопреки природной своей насмешливости, не стал бы унижать своего старого учителя, не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал б его на посмеяние света, если бы сам Вольтер не напрашивался на такое жалкое посрамление». Нельзя было в 1836 г. написать яснее: Николай I, не обладавший природной насмешливостью, всё же надел на Пушкина шутовской камер-юнкерский кафтан, хотя Пушкин и не напрашивался на него[24]. И тем же ощущением ложного положения при дворе, ощущением поэта, насильственно удерживаемого в чуждом ему «большом свете», продиктованы заключительные строки статьи: «Что из этого заключить? Что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет, и что, наконец, независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы».

Имя Руссо занимает значительно меньше места в творчестве Пушкина. Упоминание его имени в «Городке» рядом с именем Карамзина, без всякой характеристики, показывает, что в лицейское время он был для Пушкина главой чувствительного направления, сентиментальным прозаиком. По-видимому, по-настоящему к чтению сочинений Руссо Пушкин приступил только в 1820 г. К 20-м годам относятся довольно частые упоминания и цитаты из Руссо. Так, 29 апреля 1822 г. в черновике письма Гнедичу упоминается Пигмалион (ср. мотив Пигмалиона в IV гл. «Онегина»), в декабре 1822 г. Пушкин пишет Вяземскому: «Должно смотреть на поэзию, с позволения сказать, как на ремесло. Руссо не впервой соврал, когда утверждает, que c'est le plus vil des métiers. Pas plus vil qu'un autre»*. В первой главе «Онегина», писанной в 1823 г., есть ссылка на «Исповедь» (ч. II, кн. IX). В письме Вяземскому от сентября 1825 г. говорится об «Исповеди» и о том, что Руссо «уличили» в искажении фактов. Затем имя Руссо почти совершенно исчезает.

В основе этого интереса к Руссо в 20-е годы лежат декабристские настроения и байронизм Пушкина (для него неразделимые). Южные декабристы, с которыми Пушкин встречался в Кишиневе и Каменке, были ближе к якобинству, чем северные, а якобинцы и их наследники—карбонарии—сохраняли традиции руссоизма с его непримиримым отношением к социальным и моральным основам европейского общества. Байрон в своих поэмах является глашатаем тех же идей Руссо, хотя и несколько измененных и подвергнутых эстетической обработке. Этот руссоизм прямо отразился и в «Кавказском пленнике», и с особенной силой в «Цыганах» (наиболее сильная страница, с этой точки зрения, не вошла в окончательный текст поэмы; это речь Алеко к сыну, напоминающая некоторые страницы «Исповеди»[25]). Руссоизмом продиктованы строки стихотворения «К морю», посвященные смерти Байрона:

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?

* Что это самое подлое ремесло. Не более подлое, чем другое.

Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран.

Подобные настроения заставили Пушкина непосредственно обратиться к произведениям Руссо. До нас дошло одно свидетельство, как произведения Руссо являлись предметом оживленных споров в декабристской среде Кишинева. В ноябре 1821 г. Екатерина Орлова писала брату из Кишинева: «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек—вечный мир аббата Сен-Пьера»—далее следовало изложение идей Пушкина. Подтверждением этого письма являлась запись Пушкина, опубликованная лишь в 1930 г. Из этой записи следует, что споры велись на основании изложения и критики проекта «Paix perpétuelle», принадлежащих Ж.-Ж. Руссо.

В этой записи интересно одно место. Указывая на мнение Руссо о проекте Сен-Пьера, Пушкин отмечает то место, где Руссо с характерной для него робостью, противоречащей радикализму его взглядов, советует не осуществлять проекта «вечного мира» (представлявшего собой своеобразную «Лигу наций» в условиях XVIII в.) из опасения потрясений, так как это осуществление потребовало бы ужасных средств («des moyens violents et redoutables à l'humanité»)*. Пушкину эта боязнь потрясений не была свойственна, и он возражал: «Il est évident que ces terribles moyens dont il parlait, c'étaient les révolutions—or nous y sommes»**. Именно в революциях, развернувшихся в начале 20-х годов, Пушкин видел залог успеха радикальной ломки европейского общества.

Для Пушкина характерно недоверчивое и ироническое отношение ко взглядам Руссо (ср. выше: «Руссо не впервой соврал»). Поддавшись влиянию руссоизма, он не стал поклонником Руссо, а после 1825 г., под влиянием взглядов молодой французской исторической школы, он освободился от руссоизма как в сфере идеологии, так и в сфере художественных приемов, оставив руссоистский байронизм ради новых методов изображения действительности, восторжествовавших в «Евгении Онегине».

Говоря о Руссо, нельзя обойти молчанием одного факта. В характеристику женских образов своих произведений Пушкин систематически вводит мотив увлечения «Новой Элоизой» Руссо. Татьяна воспитана на романах:

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё,
Она влюбилася в обманы
И Ричардсона и Руссо.

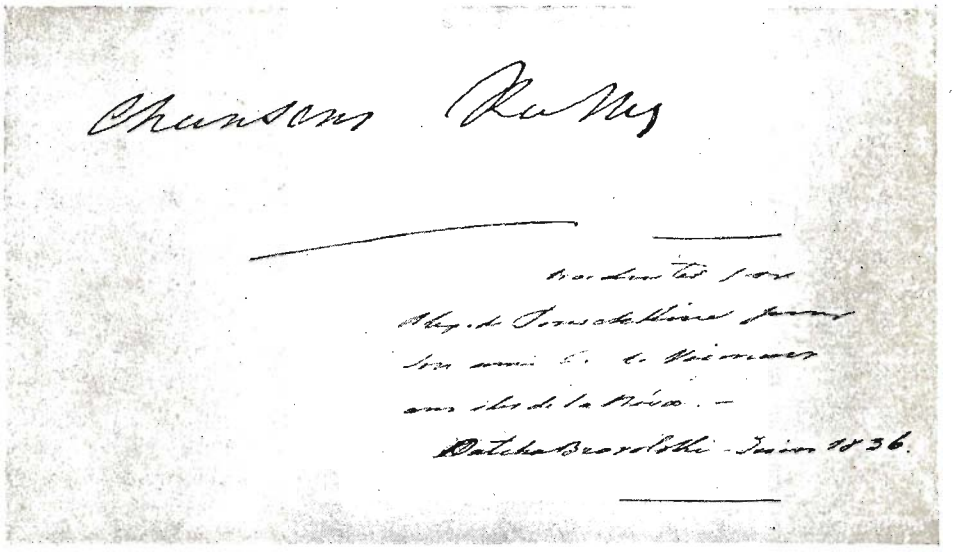
Среди романических персонажей, облекавшихся для Татьяны в единый образ Онегина, фигурирует «любовник Юлии Вольмар», себя она воображает героиней любимых романов—Кларисой, Юлией, Дельфиной,

Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвеньи шепчет наизусть
Письмо для милого героя...

---

* Средств ужасных и жестоких для человечества.

** Ясно, что эти ужасные средства, о которых он говорил,—революции—и вот они настали.



ОБЛОЖКА РУКОПИСИ ПУШКИНСКОГО ПЕРЕВОДА НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН, СДЕЛАННОГО ПО ПРОСЬБЕ ЛЕВЕ-ВЕЙМАРА

Наверху рукою Пушкина: „Chansons Russes". Внизу рукою Леве-Веймара: „Traduites par Alex. de Pouschkine pour son ami L. de Veimars aux îles de la Néva. — Datsha Brovolcki. — Juin 1836"

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

Зависимость письма Татьяны, равно как и письма Онегина, от эпистолярных романов XVIII и начала XIX вв. несомненна. Конечно, здесь может итти речь не о текстуальной зависимости, а об общности тона, общей зараженности любовной патетикой писем Юлии и Сен-Прё[26]. Чтения Полины из «Рославлева» охарактеризованы так: «Библиотека большей частью состояла из сочинений писателей XVIII века. Французская словесность, от Монтескье до романов Кребильона, была ей знакома. Руссо знала она наизусть». В «Метели» Марья Гавриловна, услыша начальные слова объяснения Бурмина, «вспомнила первое письмо St.-Preux». Несомненно, к таким же поклонницам Руссо принадлежала и Маша Троекурова: «Огромная библиотека, составленная большею частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение... Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание...». Уездная барышня «с французской книжкою в руках» («Онегин», глава VIII), те барышни, «которые почерпают знание света и жизни из книжек», в которых «уединение, свобода и чтение рано развивают чувства и страсти» («Барышня крестьянка»), все они в представлении Пушкина были поклонницами Руссо и его Юлии.

Это—черта художественной манеры Пушкина в обрисовке своих героинь и несомненное свидетельство о бытовой популярности романов Руссо в первой половине XIX в.

Именами Руссо и Вольтера не ограничивается знакомство Пушкина с прозаиками и мыслителями XVIII в. Про него можно было бы сказать то же, что он сказал про свою героиню: он знал французскую литературу от Монтескье до романов Кребильона-сына. Об этом свидетельствуют и состав его библиотеки, и упоминания писателей в его произведениях, и цитаты.

В «Арапе Петра Великого» Ибрагим изображен в парижском обществе эпохи Регентства «на ужинах, одушевленных молодостию Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтескье и Фонтенеля». Образы этих писателей были Пушкину близки. Шолье входил в обязательный список поэтов-эпикурейцев, знакомых еще с лицейской скамьи. Монтескье и Фонтенель наравне со скептическим Белем («Словарь» которого Пушкин цитировал в «Путешествии из Москвы в Петербург», заимствовав оттуда анекдот о Бенсераде) были для Пушкина значительнейшими предшественниками энциклопедистов. Любопытно внимание, уделенное Пушкиным фигуре Фонтенеля. В строфах по поводу библиотеки Онегина в черновиках седьмой главы мы находим среди имен философов и его имя:

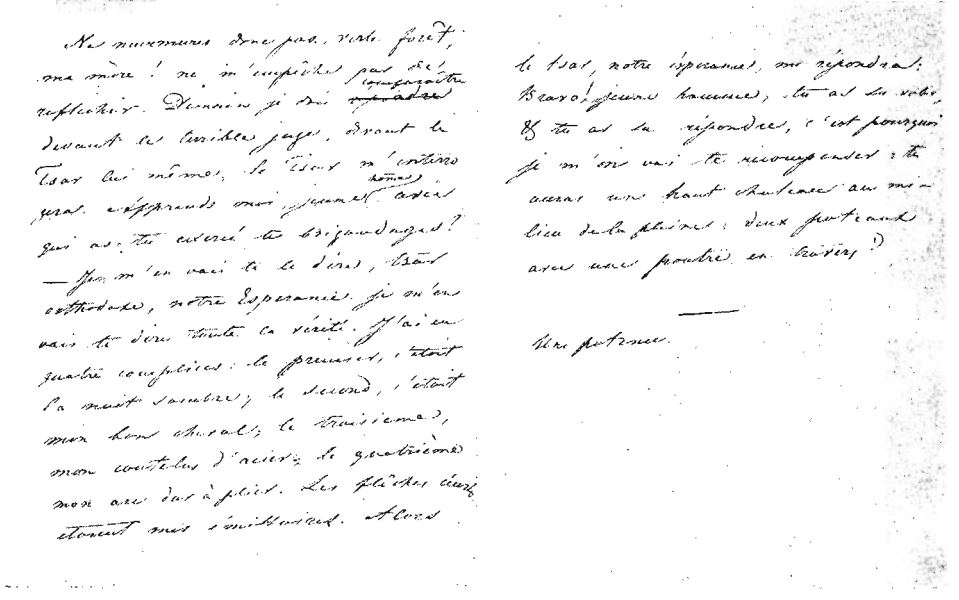
Юм, Робертсон, Руссо, Мабли,
Барон д'Ольбах, Вольтер, Гельвеций,
Локк, Фонтенель, Дидрот...

За чтение Фонтенеля Пушкин усадил Онегина в восьмой главе. Как показывают варианты, Фонтенель был знаком Пушкину не только, как автор «Множественности миров»; Онегин

Прочел идильи Фонтенеля...

Эти идиллии, или эклоги, Пушкин знал еще по «Лицею» Лагарпа, где они фигурируют с весьма нелестными характеристиками.

Наконец, отдельные изречения Фонтенеля сохранились в памяти Пушкина. Так, в «Современнике» 1836 г. была помещена статья А. Тургенева «Париж». Приведя мнение Aimé Martin о «Jocelyn» Ламартина («le plus beau livre qui soit sorti de la main des hommes»), автор продолжает: «Руссо (или кто, не помню) мог сказать это о подражании Христу». К этому месту Пушкиным сделано краткое, но точное примечание: «Fontenelle *Изд.*»



АВТОГРАФ ПУШКИНСКОГО ПЕРЕВОДА НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ „НЕ ШУМИ, МАТИ ЗЕЛЕНАЯ ДУБРОВУШКА", ИЗ ЧИСЛА ПОДАРЕННЫХ ЛЕВЕ-ВЕЙМАРУ
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

(«Современник», № 1, стр. 294). В самом деле, это слова Фонтенеля в его «Жизни Корнеля», где он говорит о стихотворном переложении «Подражания Христу» и характеризует оригинал: «Ce livre, le plus beau qui soit parti de la main d'un homme».

Фонтенель привлекал внимание Пушкина, повидимому, как участник спора «anciens et modernes», противник Расина, представитель modernes и одновременно апологет своего дяди Корнеля.

Повидимому, в ассоциации с Фонтенелем в список писателей в седьмой главе «Онегина» попал немедленно за цитированными строками перечня другой участник спора «древних и новых»—друг Фонтенеля, Ламот. Мы не знаем, в какой степени Пушкин был знаком с творчеством Houdar-Lamotte, хотя и можем утверждать, что еще с лицея ему должны были быть известны его басни, неоднократно переводившиеся на русский язык, равно как и песни: из «Лицея» Лагарпа Пушкин знал о парадоксальных мнениях Ламота по поводу оды и трагедии, но прямых указаний на это в произведениях Пушкина мы не имеем. Лишь однажды в статью Пушкина попало косвенное свидетельство о жестокой полемике Ламота и Ж.-Б. Руссо. В статье о Полевом цитируется стих:

Maître renard, peut-être on vous croirait.

Это цитата по памяти из эпиграммы Ж.-Б. Руссо на Ламота. Эпиграмма построена на сопоставлении лисы, утратившей хвост, с Ламотом и заключается двустишием:

Maître Houdar, peut-être on vous croirait,
Mais par malheur, vous n'avez pas de queue.

Но едва ли не первое место среди писателей XVIII в. занимают энциклопедисты.

У Пушкина мы встречаем и «важного» Гримма, «странствующего агента французской философии» (Александр Радищев, 1836 г.; ср. письмо к жене от 17 апреля 1834 г.: «Читаю Гримма»), и «демократических писателей XVIII века»—«добродетельный Томас, прямодушный Дюкло, твердый Шамфор и другие, столь же умные, как и честные люди, не бессмертные гении, но литераторы с отличным талантом», которые «приуготовили крики: „Аристократов к фонарю“» («Разговор», 1830 г.—ср. «Литературная Газета» от 9 августа 1830 г.). Но больше всего Пушкин уделяет внимания вождю энциклопедистов—Дидро, характеристику которого он дал в послании «К вельможе»:

...За твой суровый пир
То чтитель промысла, то скептик, то безбожник,
Садился Дидерот на шаткий свой треножник,
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедывал. И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деисту,
Как любопытный скиф афинскому софисту.

В статье 1834 г. («О ничтожестве...») Пушкин характеризует «пылкого Дидерота», как «самого ревностного апостола» Вольтера. В одном из планов «Капитанской дочки» Пушкин хотел вывести Дидро в Петербурге при дворе Екатерины (куда Дидро приехал в 1773 г.) и сделать его участником в развязке романа.

Мы находим в произведениях Пушкина упоминания и о других мыслителях века, например, Бюффона, в котором он видел «великого живо-

писца природы». Упоминает он и романистов, начиная с Лесажа и «резвого» Гамильтона[27] и кончая статьями Мерсье и эротическими романами конца века: «Liaisons dangereuses», «Chevalier de Faublas», повестями Кребильона и пр. С театром XVIII в. Пушкин был знаком значительно шире, чем с театром XVII в. Достаточно назвать имена Пирона («Метромания»), Грессе («Méchant»)[28], Saurin («Беверлей»), Седен («La Gageure imprévue»).

Отметим здесь возможную связь одного замысла Пушкина с комедией Лесажа. Как свидетельствовал Гоголь, сюжет «Ревизора» дан ему Пушкиным. Есть документ, подтверждающий это,—план комедии, сохранившийся в бумагах Пушкина[29]. В этом плане совершенно явно присутствуют два элемента: сюжетный и бытовой. Бытовые подробности ведут нас к русской обстановке: «ярмонка», «губернатор», «губернаторша». Повидимому, дело идет о Нижнем-Новгороде. Что касается сюжетных элементов, то они явно нерусского происхождения. Герой называется Криспином. Это—имя из итальянского театра, маска плутоватого слуги, вошедшая в оборот во французском театре, где имя это приобрело нарицательный характер. Криспин фигурирует на французской сцене с 1654 г. Если снять русский элемент, то от схемы остается следующее: Криспин является под видом другого лица. В семье, куда его приняли, он сватается за дочь и одновременно ухаживает за женой хозяина. Других сюжетных данных в плане Пушкина нет. Самой известной из французских комедий, в которых фигурирует Криспин, была комедия Лесажа «Crispin rival de son maître» (1707). В ней Криспин является в семью Оронта под именем Дамиса, за которого заочно просватана дочь Оронта, Анжелика. Первое же появление Криспина в роли Дамиса сопровождается грубыми комплиментами его по адресу жены Оронта, благосклонно ею принимаемыми. Совпадение это вряд ли случайно. Повидимому, Пушкин просто отправлялся от схемы комедии Лесажа, отлично ему известной. Взяв чисто внешнее соотношение персонажей, он намеревался заполнить эту схему совершенно оригинальным материалом. Все эти элементы перешли и в комедию Гоголя с существенным изменением в одном пункте: рассчитанный обман Криспина заменен в роли Хлестакова мистификацией, внушенной ему самими обманутыми. Естественно, что в «Ревизоре» не осталось, за исключением эпизода с дочерью и матерью, и то сильно измененного, никаких следов связи с комедией Лесажа.

Но, естественно, из всех комических авторов XVIII в. более всего Пушкин уделяет внимания Бомарше.

Произведения Бомарше входили в русский репертуар. Пушкин видел «Севильского цирюльника» еще в лицее, в крепостном театре Толстого, как о том свидетельствует «Послание к Наталье», где упоминаются Опекун и Розина (повидимому, дело идет об опере Паизиелло на сюжет Бомарше). По окончании лицея он мог видеть в Петербурге «Фигарову женитьбу» (позднее, в 1829 г., она была поставлена в новом переводе под названием «Свадьба Фигаро»), в Одессе Пушкин, видимо, не раз слышал оперу Россини «Il Barbiere di Seviglia» (в черновиках «Онегина» упоминается среди одесских постановок «La Gazza ladra, il Barbiere»), а позднее в Москве—оперу Моцарта. В 1831 г. на сцене Петербургского драматического театра был выведен сам Бомарше в переводной комедии «Бомарше в Испании». В 1829—1830 гг. Пушкин слышал рассказ о Бомарше от Юсупова, и отзвуками этих рассказов являются стихи из послания «К вельможе»:

...Услужливый, живой,
Подобный своему чудесному герою,
Веселый Бомарше блеснул перед тобою.
Он угадал тебя: в пленительных словах
Он стал рассказывать о ножках, о глазах,
Об неге той страны, где небо вечно ясно...

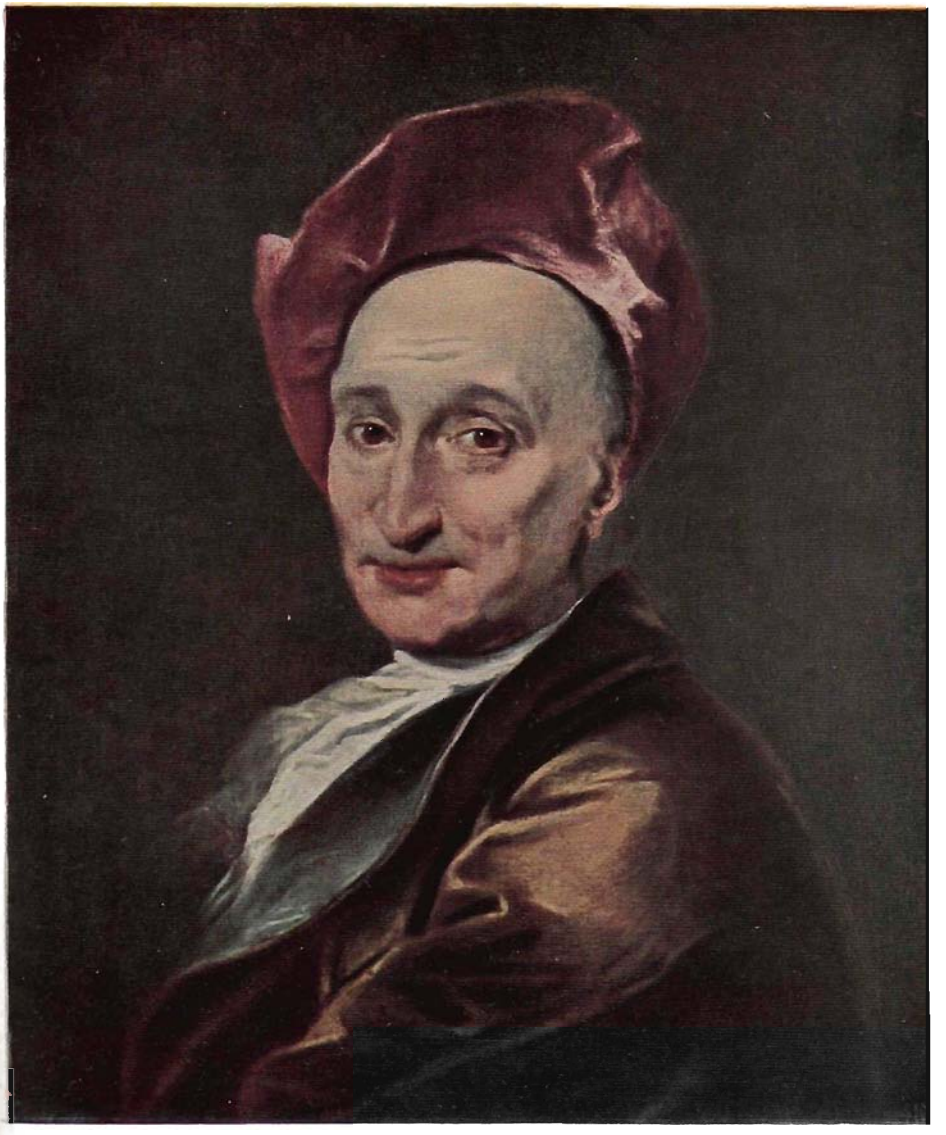
В 1830 г. в «Моцарте и Сальери» снова отразился образ Бомарше. Еще раньше чтение Бомарше отразилось на строфе XII первой главы «Евгения Онегина» (см. «Revue de Littérature Comparée», 1937, № 1, p. 233). В письме Вяземского, 14 августа 1831 г., мы находим цитату из «Mariage de Figaro», в набросках к «Египетским ночам» (1835)—из «Barbier de Seville».

Для Пушкина Бомарше был, кроме всего, политической фигурой. О нем он писал в статье 1834 г. («О ничтожестве...»): «Бомарше влечет на сцену, раздевает и терзает всё, что еще почитается неприкосновенным. Старая монархия хохочет и рукоплещет».

Именно боевое значение комедий Бомарше, явившихся отражением революционных настроений французской буржуазии, и определяет ту долю внимания, которую уделил ему Пушкин.

Поэзия XVIII в. была еще ближе Пушкину, чем драма, потому что она непосредственно определила начальные шаги его. Он был воспитан на преклонении перед именами, которые казались в XVIII в. великими, а вскоре были совершенно забыты. Пушкин был свидетелем глубокого поворота в литературном сознании. В лицее ему проповедывали, что величайшие поэты Франции—Ж.-Б. Руссо—одописец и Делиль—создатель описательных поэм. К 1830 г. репутация обоих этих поэтов резко пошатнулась, и о них уже никто, кроме законсервировавшихся классиков, не говорил серьезно.

В период первых дней пребывания в лицее мы еще видим у Пушкина наивное восприятие традиционных оценок. Он еще верит в величие этих имен. Среди первых его опытов мы находим перевод весьма слабой эпиграммы Ж.-Б. Руссо («Супругою твоей я так пленился»—ср. «J'ai depuis peu vu ta femme nouvelle»), а в «Леде» он воспроизводит довольно точно искусственную форму «кантат» того же поэта. Но вскоре схоластические авторитеты перестали на него действовать. Склоняясь к образам более близким ему, хотя и принадлежащим к кругу утвержденных традицией, он уже не испытывает обаяния имени Ж.-Б. Руссо. Но окончательное освобождение приходит много позднее. Еще в 1825 г. имя Ж.-Б. Руссо было для него громким. Бестужеву он писал: «Мы не знаем, что такое Крылов,—Крылов, который (в басне) столь же выше Лафонтена, как Державин выше Ж.-Б. Руссо». А известно, что Пушкин считал Крылова почти равным Лафонтену и только в пределах русского национального восприятия допускал предпочтение Крылова Лафонтену. Тем самым и Ж.-Б. Руссо ставится почти на один уровень с Державиным, по крайней мере, может служить мерой для определения значения Державина. Правда, для самого Пушкина вопрос об одах и кантатах Руссо был уже решен (в плане статьи «О поэзии классической и романтической» имеется фраза: «Руссо в одах дурен»), и в данном случае мы видим след обаяния традиционного авторитета. Впрочем, в одной сфере поэзии и в 1825 г. Пушкин отдавал должное Ж.-Б. Руссо и вслед за Вяземским сам не избегал подражаний ему,—это область эпиграммы, имевшей у Руссо форму короткого повествования.



ФОНТЕНЕЛЬ
Портрет маслом Гиацинта Риго, 1730-е гг.
Музей изобразительных искусств, Москва

Пушкин писал Вяземскому 25 января 1825 г. по поводу одной его «эпиграммической сказки» («Черта местности»): «Ты один можешь ввести и усовершенствовать этот род стихотворения. Руссо в нем образец, и его похабные[30] эпиграммы стократ выше од и гимнов». Сам Пушкин в том же году пишет цикл «эпиграммических сказок» («Движение», «Дружба», «Соловей и кукушка», «Совет»). Впоследствии он высоко оценил этот жанр эпиграмм у Баратынского, писавшего не без влияния Ж.-Б. Руссо. Следы обращения Пушкина к эпиграммам Руссо мы встречаем и в 1830 г., когда он приводит в статье о Полевом уже упомянутую цитату из эпиграммы против Lamotte-Houdar.

Преодолевая в лицее безразличную подражательность, Пушкин обращается к образцам более созвучным требованиям времени. Он уже испытывает на себе влияние карамзинизма, и от лирики риторической и описательной обращается к лирике индивидуалистической, передающей радости и горести поэта. Сперва он направляется по пути анакреонтизма и эпикурейства, если не считать не слишком глубоко захвативших его мотивов оссианизма. Образцом для ряда его произведений является Грессе. По формулам посланий Грессе (и в первую очередь его послания «La Chartreuse»), уже имевших свое отражение в русской поэзии (в посланиях Батюшкова и Вас. Пушкина), он пишет «К сестре» и «Городок». Грессе для него дорог и как автор стихотворной сказки «Vert-Vert». Он пишет о нем:

Так нежился певец прелестный,
Когда Вер-Вера воспевал
Или с улыбкой рисовал
В непринужденном упоеньи
Уединенный свой чердак.
(«Моему Аристарху», 1815)

Эта привязанность оказалась более прочной. В письме Рылееву 25 января 1825 г. он ставит «Вер-Вер» в число мировых образцов «легкого и веселого в поэзии», наряду со сказками Лафонтена, «Orlando furioso» Ариосто, «Pucelle» Вольтера и «Reineke Fuchs» Гёте. В 1835 г. по поводу стихотворения Дмитриева «Путешествие в Париж и Лондон» он пишет: «Для тех, которые любят Катулла, Грессета и Вольтера, для тех, которые любят поэзию не только в ее лирических порывах или в дивном вдохновении элегии, не только в обширных созданиях драмы и эпопеи, но и в младенческой игривости шутки, и в забавах ума, вдохновенного веселостию,— искренность драгоценна в поэте».

В 1836 г. в рецензии на Теплякова Пушкин приводит цитату из «Chartreuse» для характеристики традиционного мнения о «Tristia» Овидия.

Увлечение Грессе лежало в стороне от идеологического вольнодумства Пушкина, определявшегося влиянием Вольтера. Только недоразумением можно объяснить причисление Грессе к поэтам эротическим и антиклерикальным, которое встречается в пушкинской литературе.

Почти к тому же времени, что и увлечение шутливыми стихами Грессе, относится и более сильное увлечение его элегиями Парни.

Повидимому, первое обращение к Парни совпало у Пушкина с его замыслами поэмы. Так, в «Городке» мы читаем:

Воспитаны амуром
Вержье, Парни с Грекуром...

Вержье и Грекур фигурируют, конечно, как авторы эротических сказок, как подражатели Лафонтена. Следовательно, и Парни взят здесь, как поэт повествовательный, автор «La Guerre des Dieux», «Paradis perdu» и «Galanteries de la Bible». Первый перевод из Парни—отрывок его оссианистической поэмы «Asnel et Aslega».

Но вскоре Пушкину раскрывается иная сторона творчества Парни, под явным влиянием Батюшкова. Любопытно, что долгое время Парни являлся для Пушкина мерилом достоинств Батюшкова, как вообще в ту эпоху русские писатели определялись сопоставлением с французскими. Батюшков—Парни российский («Батюшкову», 1814), в нем явившийся с того света Фон-Визин предполагает «несравненного Парни» («Тень Фон-Визина», 1815). Позднее к имени Батюшкова присоединяется имя Баратынского: «Каков Баратынский? признаюсь, он превзойдет и Парни и Батюшкова» (письмо Вяземскому от 2 января 1822 г.). В плане статьи «О поэзии классической и романтической» знаменательно сближены три имени: Батюшков, Баратынский, Парни.

Постепенно для Пушкина в творчестве Парни на первое место выступает его элегия. Это совпадает с переходом Пушкина от рационалистической поэзии к «поэзии чувства». В личном творчестве Пушкина элегия занимает ведущее место, начиная с конца 1815 г. Именно элегия привела его к приятию романтизма, и первые байронические поэмы его в значительной части носят на себе следы элегических настроений. Сказывается это и на первой главе «Евгения Онегина», что отмечено и Пушкиным в предисловии к этой главе: «Станут осуждать некоторые строфы, писанные в томительном роде новейших элегий, в коих чувство уныния поглотило все прочие». Последние слова взяты из статьи Кюхельбекера 1824 г., в которой резко осуждено элегическое направление современной русской поэзии. Для Пушкина вопрос об элегии был разрешен только в 1825 г., когда он освободился от элегических настроений известной эпиграммой:

Избавь нас, боже,
От элегических куку!

Элегии Парни, «Poésies érotiques», раскрыли перед Пушкиным совершенно новый источник лирических тем. Вместо рассудочного объективизма и прозаического скептицизма, торжествовавших в поэзии XVIII в., элегия Парни раскрывала душу любящего и страдающего человека; она внесла в лирику субъективные переживания поэта, показала путь к тому индивидуализму, который в основном определил развитие литературы XIX в. и в первую очередь ознаменовал творчество Байрона. Не следует забывать, что пушкинский путь к реалистическим формам от зрелого периода шел через индивидуализм и аналитический психологизм в искусстве. Эти течения были, каждое в свое время, прогрессивными факторами, и зрелый Пушкин представляет в своем творчестве синтез всего предшествующего творческого опыта. Элегическим направлением ознаменована новая школа русской поэзии первой половины 20-х годов, школа молодых поэтов, с Пушкиным и Баратынским во главе.

Лицейские элегии Пушкина во многом обязаны Парни. Недаром в среде комментаторов Пушкина XIX в. господствовало убеждение, что чуть ли не бо́льшая часть лицейских произведений переведена из Парни. За счет Парни были отнесены и «Леда», и «Гроб Анакреона», и «Фавн и пастушка»,

и многие другие. На самом деле, подражательность Пушкина значительно меньше. У Парни нет образцов для данных произведений. Кроме того, не следует забывать, что Парни был не единственный элегический поэт, которого читал Пушкин. Несомненно знакомство Пушкина с Бертеном, другом и поэтическим единомышленником Парни, несомненно также и некоторое, хотя бы и кратковременное, увлечение унылой элегией Мильвуа, первого лирика Франции эпохи Империи. Это увлечение сказалось, например, в описании могилы Ленского в седьмой главе «Онегина», кое в чем совпадающей с известнейшей элегией Мильвуа: «La Chute des feuilles». В бумагах Пушкина сохранилась собственноручно сделанная им копия другой известной элегии Мильвуа: «Le Souvenir». В черновике письма к Вяземскому 1823 г. мы читаем: «Millevoye ни то ни се, но хорош только в мелочах элегических». Имена Парни и Мильвуа встречаются неоднократно в замечаниях Пушкина на экземпляре «Опытов» Батюшкова[31].

Для периода увлечения Пушкина элегией Парни характерна одна черта. Имя Парни появляется у него обычно в сочетании с именами античных поэтов:

Наследники Тибулла и Парни
(«Любовь одна...», 1816 г.)

Анакреон, Шолье, Парни
(«Моему Аристарху», 1815 г.)

Где нежился Тибулл, Мелецкий и Парни
(«Шишкову», 1816 г.)

Он бог Парни, Тибулла, Мура
(«Ты богоматерь...», 1824 г.)

С этим гармонируют слова «Парни—древний» (черновик письма к Вяземскому 1823 г.). Для понимания последней формулы необходимо иметь в виду, что полемику классиков и романтиков Пушкин, по классической привычке, расценивал, как аналогию борьбы «anciens et modernes» эпохи Буало, причем его симпатии были на стороне «anciens», вождем которых был Буало. Слово «древний» значило одновременно и классик и поэт, проникнутый чувством античных образцов поэзии.

Элегия Парни (и в еще большей степени элегия Бертена, иногда превращавшаяся в комбинацию цитат из Катулла, Проперция и Тибулла) воспринималась Пушкиным на фоне того неоклассицизма, к которому принадлежал и Батюшков и который явился школой и для него самого. Этот неоклассицизм с его поклонением древности получил на Западе окончательное завершение в эпоху империи Наполеона и отразился во всех отраслях искусства вплоть до архитектуры. Он-то и известен под именем style Empire. Александровский ампир являлся параллельным развитием на национальной русской почве тех же устремлений, а иногда и механическим перенесением в Россию форм французского искусства. В России поклонники ампира группировались вокруг А. Н. Оленина, в салоне которого бывал и Пушкин по окончании лицея и связь с которым зафиксирована иллюстрацией А. Н. Оленина к первому изданию «Руслана и Людмилы». В литературе александровский ампир воссоединил мотивы элегии Парни и Мильвуа с мотивами оссианизма. Батюшков и Озеров—два крупнейших представителя этого направления, от которого Пушкин освободился, лишь пройдя сквозь увлечение Байроном.

Пушкин не скоро расстался со своим пристрастием к Парни. Его «Гавриилиада» 1820 г. носит на себе несомненные признаки близкого знаком-

ства с антирелигиозными поэмами Парни—«La Guerre des Dieux» и другими, собранными в его сборнике «Porte-feuille volé» (этот сборник в первом издании 1805 г. находился в библиотеке Пушкина, помимо позднейших изданий 1827—1829 гг.). Когда же Парни под напором романтиков разделил участь устаревших классиков, Пушкин писал в «Онегине», приступая к письму Татьяны:

Я знаю: нежного Парни
Перо не в моде в наши дни[32].

Любопытны первоначальные редакции этого двустишия. Среди них, например, такая:

Следы прелестного Парни
Ужель забыты в наши дни?

В черновых строфах, относящихся к этому месту, имя Парни произнесено было с еще бо́льшей значительностью: самое письмо Татьяны объявлялось «письмом на языке Парни», и Пушкин продолжал:

*Но мне еще милее будет*
Язык Вольтера и Парни [*вар.:* Расина и Парни]

Очевидно, «нежность», «любезная небрежность», «безумный сердца разговор и увлекательный и вредный», эта непосредственная страстность и искренность чувств, которые вложил Пушкин в письмо Татьяны, напоминали ему элегии Парни, предмет его юношеских увлечений.

Стиль Парни с его атмосферой древности (весьма, впрочем, условной, в чем Пушкин должен был скоро убедиться) подготовил Пушкина к восприятию элегических мотивов нового поэта, открытого в 1819 г., Андре Шенье. Прежде, чем перейти к этому поэту, хотя и жившему в XVIII в., но по своей литературной судьбе связанного с XIX в., остановимся на мелких поэтах XVIII в., так или иначе отразившихся в творчестве Пушкина.

В период анакреонтики и эпикурейства Пушкин сравнительно часто упоминает имя Шолье, типичного представителя эпикурейской поэзии эпохи Регентства. Его имя названо и позднее в «Арапе Петра Великого» среди имен, характеризующих общество времен Регентства, наряду с Монтескье, Фонтенелем и молодым Вольтером. Встречается и имя друга Шолье—Лафара. Но эти имена, подобно имени Шапеля, принадлежащего еще XVII в., свидетельствуют лишь о знакомстве Пушкина с их стихами и лишь определяют общую зависимость молодого Пушкина от эпикурейской поэзии.

Хорошо знал Пушкин стихотворные сказки последователей Лафонтена, начиная от Вержье и Грекура и кончая Imbert и Gudin (произведения которых находятся в его библиотеке). Одну такую сказку («Каймак» Сенесе) он даже пытался переводить (в 1821 г.). Но из всех сказок XVIII в. он в конце концов ценил только сказки Вольтера (к 1825 г. относится попытка перевода его «Ce qui plait aux dames»).

Без значительного влияния прошла для Пушкина поэзия мадригалов и героид, предшествующая элегии Парни и известная по именам Дора, Колардо и др. Имя Дора вместе с Флорианом, Мармонтелем, Гишаром, Жанлис ( а в черновике еще Жокур) Пушкин относит к числу «бездарных писак, грибов, выросших у корней дубов» («О ничтожестве литературы русской»). На слова Вяземского об Озерове: «Чтение стихов Колардо родит

в нем вдохновение» Пушкин иронически заметил: «Это дает мерку дарования Озерова». В этих резких отзывах, может быть, сказался поклонник Парни, которого превозносили именно за то, что он преодолел традиции Дора и Колардо, противопоставив их деланной поэзии лирику искренности и непосредственности. С неменьшим отрицанием говорил Пушкин о сентиментальных поэтах конца века — о Флориане и Легуве. В период своего увлечения Байроном он говорил: «Английская словесность начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной. Тогда и некоторые люди упадут,

НАБРОСКИ ПРОФИЛЕЙ МИРАБО И НАПОЛЕОНА В ТЕТРАДИ ПУШКИНА (1824 г.)
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

и посмотрим, где очутится Ив. Ив. Дмитриев с своими чувствами и мыслями, взятыми из Флориана и Легуве» (Гнедичу, 27 июня 1822 г.). Несколько иначе относился Пушкин к поэту конца века Э. Лебрену, известному своими революционными одами и язвительными эпиграммами. Ему посвящены стихи «Вольность» (1817), где он обращается к «гордой певице Свободы»:

Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.

Любопытно, что среди книг, выписанных Пушкиным в Михайловское, были и «Œuvres de Lebrun» (письмо брату, ноябрь 1824 г.).

Эпиграммы Лебрена Пушкин помнил наизусть и одну из них («Oh, la maudite compagnie...») процитировал в письме к Хитрово 21 января 1831 г.

Вообще эпиграмма конца века сыграла свою роль в творчестве Пушкина, а школа Лебрена играет большую роль в развитии этого жанра. Проблема эпиграмматического рода поэзии занимала Пушкина, что мы видим в его замечаниях об эпиграммах Вяземского и Баратынского. У самого Пушкина мы находим образцы эпиграмм в духе Лебрена—короткие и язвительные, и в духе более близкого ему Ж.-Б. Руссо—приближающиеся к апологу и «эпиграмматической сказке».

Совершенно отрицательно отношение Пушкина к кумиру века—описательному поэту Делилю, особенно превознесенному в период Реставрации, как певца Александра и Бурбонов. Меткую характеристику его мы встречаем в черновых строфах «Домика в Коломне»: «И ты, Делиль, парижский муравей»; здесь справедливо сравниваются его дидактические поэмы с бесформенными муравьиными кучами. Ему были чужды мелочность стилистических ухищрений Делиля и сложность его метонимических перифраз, переходящих в стиль загадок (см. «О смелости выражений», 1827 г., письмо брату от декабря 1824 г.; ср. статью 1836 г. «О Мильтоне»: «Не говорим о переводе в стихах аббата Делиля, который ужасно исправил его грубые недостатки и украсил его без милосердия»).

Знаком был Пушкин и с другими описательными поэмами. Так, не лишено вероятия предположение А. Эфроса, что упоминание о Микель Анджело в «Моцарте и Сальери» связано с примечанием к поэме Лемьера «La Peinture 1769» (Chant III), где говорится о предании, будто бы Микель Анджело убил натурщика, ему позировавшего, чтобы наблюдать его агонию[33]. Ср. у Пушкина: «Гений и злодейство две вещи несовместные»; у Лемьера: «Je ne puis croire que le crime et le génie soient compatibles».

С бо́льшим сочувствием относился Пушкин к пародической описательной поэме, в частности, к «Гастрономии» Бершу, на которую он ссылается в отрывке из поэмы «Сон» (1816):

Я не хочу, как общий друг Бершу,
Предписывать вам тяжкие движенья[34].

## VI

Литература XIX в. была для Пушкина уже не наследием прошлого, а явлением его современности. Ее он воспринимал в процессе развития собственных сил. Из нее он брал уже не то, что далее развивало и продолжало традицию, а то, что помогало эту традицию преодоле́ть, что обогащало его опыт.

Первые сильные впечатления от литературы XIX в. Пушкин получил вскоре по выходе из лицея.

Знакомство Пушкина с политической жизнью Франции и его интерес к политической литературе замечаются еще в ранние годы и затем на протяжении всей его жизни. Об этом свидетельствуют хотя бы имена публицистов и политических деятелей, встречающиеся в его сочинениях и письмах. Так, им упомянуты Лафайет (в черновиках «Романа в письмах»: «Охота тебе Лафайетом сидеть на скамеечке оппозиционной», в письме к Хитрово от 21 августа 1830 г.; Лафайета же вместе с Могеном имеет в виду Пушкин под именем «народных витий» и «мутителей палат» в стихах о Польше). Сийес (в письме к Бестужеву, май—июнь 1825 г., приводятся слова о нем Мирабо; повидимому, его же речь приписана Пушкиным Бальи в замечаниях о Генеральных штатах 1789 г.), Рабо де Сент-Этьен (замечания о Генеральных штатах, письмо к Вяземскому от 5 июля 1824 г.), Талейран

(письмо к Хитрово от 21 августа 1830 г.), Ж. Фуше (его мемуары Пушкин читал в мае 1825 г. в Михайловском), Ж. де Местр («О записках Сансона», где упоминается «поэтическая и страшная страница», внушенная палачем—эпизод из «Первого разговора» в «Soirées de Saint-Pétersbourg»), Манюэль (черновик первой главы «Онегина»; упоминание его имени связано с исключением его из палаты депутатов), Прадт («Граф Нулин», письмо к Вяземскому от 1 сентября 1822 г., к брату в феврале 1825 г., черновик «Онегина», глава четвертая, строфа XLIII), Ламене (письма к Вяземскому от 2 января и к Хитрово от 26 марта 1831 г.), министры Реставрации Виллель, Мартиньяк, Полиньяк, Пероне, Мортемар и др.

Одним из первых впечатлений Пушкина в петербургский период 1817—1819 гг. было ознакомление с произведениями передовых французских либералов. В это время только что появилась книга m-me de Staël «Considérations sur la Révolution Française». Эта книга произвела огромное впечатление на русских либералов, в частности, на Тургеневых, которые играли большую роль в деле формирования политических убеждений Пушкина. Повидимому, с нее началось знакомство Пушкина с творчеством Сталь. Вскоре он знал все главные ее произведения: ее романы «Delphine» и «Corinne», ее книгу «De l'Allemagne», ее путевые записки «Dix années d'exil».

С 1822 г. знакомство Пушкина с произведениями Сталь отражается в его произведениях. Он цитирует ее в «Исторических замечаниях»; повидимому, не без влияния одного ее замечания, там приводимого, написан в том же году «Кинжал».

Первые главы «Евгения Онегина» полны упоминаний имени Сталь. Ее произведения указаны среди любимых книг как Татьяны, так и Онегина. Один из эпиграфов взят из «Considérations». В примечаниях даны цитаты из «Dix années d'exil».

В 1825 г. Пушкин публично выступил в защиту своей любимой писательницы. Возмутившись легкомысленной статьей А. Муханова по поводу «Dix années d'exil», он напечатал в «Сыне Отечества» резкую отповедь. Здесь он писал: «Из всех сочинений г-жи Сталь книга Десятилетнее изгнание должна была преимущественно обратить на себя внимание русских. Взгляд быстрый и проницательный, замечания разительные по своей новости и истине, благодарность и доброжелательство, водившие пером сочинительницы—всё приносит честь уму и чувствам необыкновенной женщины». Узнав от Вяземского, кто именно был автор возмутившей его статьи, он писал ему: «M-me de Staël наша, не тронь ее». Мы видим в Пушкине убежденного сторонника Сталь. И в самом деле—ее политические произведения глубоко отразились в политическом мышлении Пушкина. Не учитывая концепции Сталь, мы не сможем оценить надлежащим образом ни отношение Пушкина к Французской революции, ни смысл его социально-исторических замечаний (об аристократии и т. п.). Книга «О Германии» явилась первой систематической критикой классической традиции, с которой познакомился Пушкин. Уже по следам Сталь он позднее обратился к изучению Шлегеля. Голос Сталь был тем убедительнее для Пушкина, что он приходил из Франции. Смысл критики Сталь состоял в разрушении универсального идеала классической красоты и в принципе национальной самобытности. Сталь сыграла огромную роль в разрушении китайской стены, воздвигнутой между французской литературой и литературами иных народов. Она пробудила интерес к германской литературе,

вслед за чем, естественно, возник интерес к английской литературе. Книгою «Corinne» Сталь много сделала для пропаганды итальянской культуры и отчасти английской. Освобождением от гегемонии французской традиции Пушкин обязан Сталь, и нет ничего удивительного, что очередной период творчества Пушкина ознаменован увлечением Байроном.

Не меньшее впечатление произвела на Пушкина книга «Dix années d'exil». Написанная в форме путевых беглых заметок, она содержит ту же пропаганду национального возрождения, что и книга «О Германии». Сталь отводит много места наблюдениям над русским крестьянством, замечаниям о русской песне, о нравах и характере русского народа. Попутно она рисует московское и петербургское общество в период наступления армии Наполеона. Впечатления от этой книги отразились в ряде произведений Пушкина, иногда совершенно неожиданно. Так, кое-что из «Записки о народном воспитании» совпадает с замечаниями Сталь. Некоторые цитаты из этой книги неоднократно повторялись Пушкиным. Но больше всего отразилась эта книга на «Рославлеве», где Пушкин с большим сочувствием вывел Сталь в качестве действующего лица, описав ее появление в московском обществе в 1812 г.

Как бы резюмируя содержание ее книги, Пушкин говорит о ней устами героини: «Пускай она вывезет о этой светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере она видела наш добрый простой народ и понимает его».

Книга Сталь вышла в 1821 г., но Пушкин, повидимому, ознакомился с ней позднее. Любопытно отметить различие в описательных приемах путевых записок Пушкина до и после ознакомления с книгой Сталь. Письмо к брату от 24 сентября 1821 г. о поездке на Кавказ и в Крым еще сохраняет традицию живописных путешествий. Наоборот, как и в книге Сталь, совершенно отсутствует всякий элемент живописности в «Путешествии в Арзрум».

Как уже говорилось, одним из первых сильных впечатлений Пушкина по выходе из лицея было появление стихов А. Шенье, изданных Латушем в августе 1819 г. Пушкин ознакомился с Шенье незадолго до своей высылки на юг. То, что он читал его еще в Петербурге, доказывается наличием в стихотворении «Дориде» стиха: «И ласковых имен младенческая нежность». Стих этот воспроизводит стих Шенье: «Et des noms caressants la molesse enfantine». Стихотворение Пушкина было напечатано в «Невском Зрителе», вышедшем в свет в марте 1820 г.

Но, повидимому, с особенной остротой восприняты были Пушкиным стихи Шенье во время его пребывания в Крыму. Под несомненным влиянием Шенье написаны крымские стихотворения, объединенные в издании 1826 г. под рубрикой «Подражание древним». Это род антологических фрагментов, проникнутых острым восприятием южной природы. Крым с его средиземноморским пейзажем воспринимается, как уголок древней Греции. «Эллинизм» этих фрагментов соответствовал новому этапу неоклассицизма, этапу, непосредственно предшествовавшему эпохе романтизма. Латинские ассоциации, порожденные элегиями Парни и Бертена, уступают место эллинистическим ассоциациям, вызванным стихами А. Шенье.

Повидимому, вскоре после выхода в свет книги А. Шенье Пушкин ознакомился с отзывами на нее на страницах литературной прессы Франции. Он услышал голоса, причислявшие А. Шенье к романтикам. Реакцией

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЖОКОНДЕ" ЛАФОНТЕНА
Рисунок Эйзена, 1790-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

на это явились строки в черновике письма к Вяземскому, оспаривавшие его мнение о романтизме Шенье: «Никто более меня не уважает, не любит этого поэта, но он истинный грек, из классиков классик. C'est un imitateur savant...* От него так и пышет Феокритом и Анфологией. Он освобожден от итальянских concetti и от французских antithèses, но романтизма в нем нет еще ни капли» (ноябрь 1823 г.). Позднее, оспаривая мнение французской критики, Пушкин писал: «Андрей Шенье, поэт напитанный древностью, коего даже недостатки проистекают из желания дать французскому языку формы греческого стихосложения, попал у них в романтики» (1830).

Пушкин пишет переводы и подражания его идиллическим фрагментам. А. Шенье становится любимым поэтом Пушкина. Собираясь издавать свой сборник стихов, он хочет взять эпиграф к сборнику из А. Шенье (письмо к брату от 15 марта 1825 г.).

В конце 1825 г., незадолго до декабрьских событий, Пушкин пишет свою монументальную элегию «Андрей Шенье», где описывает последний вечер поэта. Элегия эта одновременно воспроизводила лирический облик Шенье и являлась очень сложной аллегорией, в которую Пушкин вложил определенное автобиографическое содержание, изобразив свое заключение в Михайловском. Известно, что не пропущенные цензурой строфы элегии с надписью «на 14 декабря» дошли до сведения полиции и послужили предметом длительного разбирательства в разных инстанциях, результатом чего было учреждение над Пушкиным полицейского надзора.

* Это — ученый подражатель...

Приверженность к поэзии А. Шенье осталась у Пушкина на всю жизнь. В 1835 г. он закончил начатый в 1825 г. перевод одного фрагмента А. Шенье и напечатал его в первом номере своего «Современника».

Воспринятые Пушкиным мотивы А. Шенье перекрещивались с впечатлениями от поэзии Байрона. Вскоре, точно так же на фоне общего увлечения Байроном, Пушкин обратился к другим произведениям новой французской литературы. В эти годы проблема романтического героя стояла перед ним на очереди. Чайльд-Гарольд оказал несомненное влияние на его концепцию этого героя. Но Чайльд-Гарольд был не одинок в галлерее типов разочарованного представителя европейской современности. Три французских романа рисовали тот же тип: «Адольф» Констана, «Рене» Шатобриана и «Оберман» Сенанкура. Это были французские эквиваленты «Вертеру»[35]. Повидимому, все эти три произведения были прочитаны Пушкиным. Сомнения возможны только по отношению к «Оберману», но всё же велика вероятность знакомства Пушкина и с этим романом. В библиотеке Пушкина сохранилось первое издание романа 1804 г.; однако, никаких прямых свидетельств о знакомстве Пушкина с этим произведением до нас не дошло. Совершенно иначе обстоит дело с двумя первыми.

С Б. Констаном Пушкин, повидимому, впервые познакомился, как с политическим писателем. Можно говорить о несомненной роли политического учения Констана в системе взглядов Пушкина. Подробный анализ здесь мог бы многое вскрыть. Явными признаками знакомства Пушкина с политическими сочинениями Б. Констана являются выписки из них и цитата в «Путешествии из Москвы в Петербург» (в главе о цензуре).

Здесь мы остановимся только на отношении Пушкина к основному литературному произведению Б. Констана — «Адольф». Пушкин, повидимому, ознакомился с «Адольфом» еще в Петербурге. Возможно, что ему указал на этот роман Вяземский, читавший его еще в 1816 г. («Адольф» был напечатан в 1815 г.). Пушкина поразила новизна романа, резко отличавшегося от романических приемов тогдашних французских имитаций английского романа, вроде произведений г-жи Котен («Мальвина» и др.). Позднее, в 1829 г., Пушкин выразил это словами героини: «Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек! Что есть общего между Ловласом и Адольфом?» («Роман в письмах»). В «Адольфе» Пушкин увидел тип человека, больного «недугом времени», ощущением вечного недовольства и тоски. В 1830 г., характеризуя роман, Пушкин писал:

«*Адольф* принадлежит к числу *двух или трех романов*,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой
Себялюбивой и сухой,
Мечтаньям преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

[«Евгений Онегин», гл. VII].

Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона».

Естественно, что «Адольф» очень связан с замыслом центрального произведения Пушкина, романа в стихах «Евгений Онегин».

Указания на зависимость типа Онегина от Адольфа мы находим в черновых рукописях «Онегина». В строфе XXXVIII, где характеризуется основная черта Онегина:

Недуг, которому причину
Давно бы отыскать пора,

о самом Онегине сказано:

Но как Адольф угрюмый, томный
В гостиных появлялся он.

В предисловии к первой главе в черновой редакции читаем: «Другие будут ощущать характер главного лица, опять напоминающего Адольфа».

В черновиках той строфы VII главы «Онегина», которую сам Пушкин процитировал для характеристики романа, были названы точно «Мельмот», «Рене», «Адольф» Констана (в других редакциях названы «Коринна» Сталь и романы В. Скотта).

Вяземский предпринял перевод «Адольфа» на русский язык. Перевод этот обсуждался им вместе с Пушкиным. Пушкин придавал большое значение этому переводу. Он видел в нем первую попытку передать на русском языке сложность психологических переживаний. Помимо прочего, он усматривал в переводе обогащение языка психологических понятий («метафизического языка», по выражению Пушкина), т. е. того языка, которого не выработала предшествующая русская литература: «С нетерпением ожидаем появления сей книги. Любопытно видеть, каким образом опытное перо кн. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы». Перевод вышел в сентябре 1831 г. с посвящением А. Пушкину: «Прими мой перевод любимого нашего романа. Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего, что принявшись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему»[36].

Второй роман, «в котором отразился век»,—это «Рене» Шатобриана. Рене представлял собой разновидность того же типа упрямого мечтательного скитальца: «Ce dégoût de la vie que j'avais ressenti dès mon enfance revenait avec une force nouvelle. Bientôt mon cœur ne fournit plus d'aliment à ma pensée, et je ne m'apercevais de mon existence que par un profond sentiment d'ennui»*.

Как мы видели, Пушкин поставил этот роман в число любимых книг Онегина. В первой главе романа, в пропущенной IX строфе, Пушкин, характеризуя воспитание Онегина, писал:

Нас пыл сердечный рано мучит.
Очаровательный обман,
Любви нас не природа учит,
А Сталь или Шатобриан.

Хотел Пушкин ввести роман Шатобриана и в круг чтения Татьяны. Стихи главы второй первоначально читались:

* Отвращение к жизни, которое я испытывал с раннего детства, возвращалось с новой силой. Вскоре мое сердце не доставляло больше пищи моей мысли, и ощущение жизни мне давало только глубокое чувство скуки.

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
Шатобриана и Руссо.

Скептические афоризмы из «Рене» цитировались Пушкиным. Одну цитату мы находим в тексте «Онегина» (она вскрыта самим Пушкиным в примечаниях), другую—в письме к Кривцову 10 февраля 1831 г.: «Il n'est de bonheur que dans les voies communes»* (цитата, повидимому, по памяти; у Шатобриана: «Il n'y a de bonheur...»). Эта же цитата и в той же форме находится в «Рославлеве».

Но Шатобриан имел для Пушкина значение не только, как автор пессимистического «Рене». Для Пушкина Шатобриан—первый романтик, друг m-me de Staël (см. «Рославлев») и поэт природы (ср. «Евгений Онегин», гл. IV, строфа XXVI). Руссоизм Шатобриана, его противопоставление двух культур—европейской и первобытной—сыграли свою роль в романтический период творчества Пушкина. Нельзя обойти Шатобриана и его романы «Атала» и «Рене» в анализе замысла «Кавказского пленника» [37]. О шатобриановской идеализации первобытного уклада Пушкин писал в «Джоне Теннере» (1836): «Шатобриан и Купер оба представили нам индейцев с их поэтической стороны и закрасили истину красками своего воображения». Но в 1820—1824 гг. Пушкин иными глазами смотрел на поэтические описания Шатобриана. Именно в эти годы он перечитывал его основные произведения, «Les Martyrs» и «Génie du Christianisme», как о том свидетельствуют черновые заметки об Овидии и о А. Шенье.

Влияние Шатобриана не следует, конечно, преувеличивать. Многое в нем было Пушкину совершенно чуждо. Религиозные рассуждения в «Мучениках» и в «Гении христианства», да и в прочих его произведениях могли только отталкивать Пушкина. Политическая позиция Шатобриана в качестве французского министра иностранных дел во время внушенной им интервенции французских войск в дела Испании была враждебна взглядам Пушкина, который за развитием испанской революции следил с исключительным сочувствием и сохранил об этом память на всю жизнь.

Однако, переход Шатобриана с 1824 г. в оппозицию, его защита некоторых либеральных мероприятий, в частности, принципиальная защита свободы печати, всё это до известной степени подкупало Пушкина. Не без учета пропаганды Шатобриана Пушкин ввел в статью «О ничтожестве литературы русской» тезис о религии, как «источнике поэзии». То, что после 1830 г. Шатобриан не пошел на компромиссы, не оказался среди искателей мест, а сохранил свою независимость, внушало Пушкину уважение к нему. Об этом он писал в 1836 г. по поводу вышедшего в свет перевода «Потерянного рая», сделанного Шатобрианом: «Первый из современных писателей, учитель всего пишущего поколения, бывший некогда первым министром, несколько раз посланником, Шатобриан на старости лет перевел Мильтона для куска хлеба. Каково бы ни было исполнение труда, им предпринятого, но самый сей труд и цель оного делает честь знаменитому старцу. Тот, кто, поторговавшись с совестью, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властию, почестями, богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от

* Счастье только на проторенных дорогах.

палаты пэров, где долго раздавался его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестию».

Шатобриан обладал в глазах Пушкина особым обаянием старшинства. Пушкин застал уже сложившейся репутацию этого писателя и уже признанным его авторитет. Иначе обстояло с молодыми романтиками, вступавшими в литературу у него на глазах. Первое определение романтизма, как направления, которое должно обновить литературу, Пушкин прочитал в книге m-me de Staël «О Германии». Вскоре он прочел первые произведения романтиков. Они не отвечали его ожиданиям. Монархические, религиозные и феодальные мотивы, ознаменовавшие первые шаги романтиков, были ему чужды, особенно в годы его ссылки на юг, когда повышение революционной деятельности на Западе и в России отражалось в усилении чаяний близкой победы идей свободы. Романтизм m-me de Staël был связан с либерализмом. Романтизм новой школы был монархическим.

Первые отзывы о поэтах-романтиках мы находим в черновике письма Вяземскому от 4 ноября 1823 г.: «Первые д у м ы Ламартина в своем роде едва ли не лучше Дум Рылеева; последние прочел я недавно и еще не опомнился—так он вдруг вырос». «La Vigne—школьник Вольтера—и бьется в старых сетях Аристотеля[38]. Романтизма нет еще во Франции, а он то и возродит умершую поэзию. Помни мое слово—первый поэтический гений в отечестве Буало ударится в такую бешеную свободу, что что̀ твои немцы. Покамест во Франции поэтов меньше, чем у нас». В этих

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „СОБАЧЕНКЕ“ ЛАФОНТЕНА
Рисунок Эйзена, 1790-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

словах чувствуется впечатление, произведенное знакомством с «Nouvelles Méditations poétiques» на общем фоне недовольства романтиками. Стихи Ламартина занимают Пушкина некоторое время. Он цитирует его «Poète mourant» (в письме брату, январь 1824 г.). Не отослав чернового письма Вяземскому, он переписывает его 5 июля 1824 г., и там появляются новые фразы: «Tous les recueils de poésies nouvelles dites Romantiques sont la honte de la littérature française*. Ламартин хорош в Наполеоне, в Умирающем поэте, вообще хорош какой-то новой гармонией».

В остальном формулировки почти не меняются. Пушкин продолжает ждать от «первого гения» какого-то необыкновенного «литературного карбонаризма».

Итак, Ламартин принимается в общем положительно, но с большими оговорками и с отрицанием за ним права на имя романтика. Конечно, Ламартин был для Пушкина только очередным этапом в развитии элегии, наследником Мильвуа.

Когда в 1825 г. он просит брата прислать ему «Le Dernier chant du pèlerinage d'Harold», он добавляет: «То-то чепуха должна быть!». Это не мешает ему почти одновременно в письме к Вяземскому 13 июля 1825 г. цитировать вторую «Méditation» из первого сборника Ламартина («L'homme, à Lord Byron»), что свидетельствует, что стихи Ламартина он перечитывал. Тем не менее, поклонником его он не становится из-за отсутствия в нем «истинного романтизма». В письме к Бестужеву 30 ноября 1825 г. он говорит: «Под романтизмом у нас разумеют Ламартина. Сколько я не читал о романтизме, всё не то». Повидимому, до Пушкина доходят уже прямым или косвенным путем споры о романтизме, поднятые в «Le Globe», и он уже знает о попытках найти новые формы романтической литературы на путях союза романтизма с либерализмом. И чем больше растет популярность Ламартина, тем менее ценит его Пушкин. Он вкладывает достаточно презрения к этому поэту, когда заставляет говорить о нем легкомысленного графа Нулина:

Какой писатель нынче в моде?
—Всё d'Arlincourt и Ламартин...

После 1830 г., когда Ламартин издал свои «Harmonies poétiques et religieuses», Пушкин окончательно осудил его за ханжество в поэзии. Лирики «благочестивой» Пушкин не признавал. Он стал говорить о полном падении поэзии во Франции и писал: «Первым их лирическим поэтом почитается теперь несносный Беранже, слагатель натянутых и манерных песенок, не имеющих ничего страстного, вдохновенного, а в веселости и остроумии далеко отставших от прелестных шалостей Коле[39]. Не знаю, признались, наконец, они в тощем и вялом однообразии своего Ламартина, но тому лет десять они ставили его наравне с Байроном и Шекспиром». Повидимому, таково было последнее мнение Пушкина о Ламартине, и он его не менял (ср. «Мнение Лобанова», 1836 г.).

Несколько сложнее отношение Пушкина к В. Гюго. Долгое время он его знал очень мало. Впрочем, единственным романтиком, более или менее известным в России, до 1830 г. был только Ламартин. Вяземский писал в «Литературной Газете» 14 августа 1830 г.: «Ламартин из новейших поэтов

* Все сборники новых стихотворений так называемых романтических—позор французской литературы.

французских более других знаком читателям нашим. После него Казимир де ла Винь и частью Беранже. Но имена Виктора Гюго, Сент-Бёва (Sainte-Beuve), издавшего первый том своих стихотворений под псевдонимом Жозефа Делорма, а другой недавно под названием «Утешений»—«Les Consolations», Альфреда Де Виньи, переводчика Венецианского Мавра и следовавшего в переводе своем Шекспиру столько, сколько французская совесть, хотя и ультра-романтическая, следовать позволяла, едва знакомы нам и по одному слуху». Первое упоминание о Гюго, как о поэте, мы встречаем у Пушкина в мае 1830 г. Он получил от Е. М. Хитрово «Hernani» и писал ей: «C'est un des ouvrages du temps que j'ai lu avec le plus de plaisir. Hugo et Sainte-Beuve sont sans contredit les seules poètes de l'époque, surtout Sainte-Beuve»*. Это был период решительного перехода Гюго в либеральный лагерь, что могло сыграть свою роль в том внимании, которое уделял его произведениям Пушкин. Кроме того, «Эрнани» было наиболее крупным, боевым литературным событием эпохи.

В черновиках «Домика в Коломне» Пушкин упоминает о романтическом походе против чинного классического александрийского стиха:

Hugo с товарищи, друзья натуры,
Его гулять пустили без цезуры.

Первоначально Пушкин хотел поместить в эти стихи имя Сент-Бёва. Но дальнейшие отзывы о Гюго становятся всё холоднее. В том же 1830 г. Пушкин характеризует «Les Orientales» «важного Гюго», как «блестящие, хотя и натянутые».

В письме Погодину в сентябре 1832 г. Пушкин дает волю своему желчному отношению к французской современной поэзии: «Хочется мне уничтожить, показать всю отвратительную подлость нынешней французской литературы. Сказать однажды вслух, что Lamartine—скучнее Юнга, и не имеет его глубины, что Béranger—не поэт, что V. Hugo—не имеет жизни, т. е. истины, что романы A. Vigny—хуже романов Загоскина, что их журналы невежды, что их критики почти не лучше наших Теле-скопских и графских. Я в душе уверен, что 19 век, в сравнении с 18-м в грязи (разумею во Франции). Проза едва-едва выкупает гадость того, что зовут они поэзией».

В том же году он начинает критическую статью о Гюго, где пишет: «Ныне Victor Hugo, поэт и человек с истинным дарованием... издал под заглавием „Les Feuilles d'automne" том стихотворений, очевидно, написанных в подражание книжке Сент-Бёва „Les Consolations"». Этими словами Пушкин включает и Гюго в фалангу поэтов, вступающих на путь благочестивой «порядочности».

Последние отзывы о Гюго уже поражают своей резкостью. Они относятся к 1836 г. и находятся в статье «О Мильтоне». Пушкин касается «Кромвеля», драмы, в которой усматривали образец, которому подражал будто бы Пушкин в «Борисе Годунове» («Борис», написанный за два года до «Кромвеля», увидел свет только в 1831 г., т. е. через четыре года после драмы Гюго; см. письмо Плетневу от 7 января 1831 г.). «Кромвель», по мнению Пушкина,—«одно из самых нелепых произведений человека, впрочем, одаренного талантом». Он отмечает «спотыкливый ход драмы, скучной и чудовищной».

* Это одно из произведений современности, которое я прочел с наибольшим удовольствием. Гюго и Сент-Бёв, бесспорно, единственные французские поэты нашего времени, особенно Сент-Бёв.

В зачеркнутой части отзыва Пушкин так характеризовал попытку Гюго реформировать театр: «Драма «Кромвель» была первым опытом романтизма на сцене Парижского театра. Виктор Юго почел нужным сразу уничтожить все законы, все предания французской драмы, царствовавшие из-за классических кулис. Единство места и времени, величавое однообразие слога, стихосложение Расина и Буало—всё было им ниспровергнуто; однако справедливость требует заметить, что В. Юго не коснулся единства действия и единства занимательности; в его трагедии нет никакого действия и того менее занимательности».

С гораздо большим сочувствием отнесся Пушкин к Сент-Бёву. Он хорошо знал его, как критика, когда ознакомился с его сборником «Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme». Об этом сборнике и о следующем, «Les Consolations», Пушкин поместил большую рецензию в «Литературной Газете» 1831 г. Особенно приветствовал он первый сборник, находя в авторе «необыкновенный талант». Высшей похвалой явилось то, что одну из элегий он признал «достойной стать наряду с лучшими произведениями Андрея Шенье» («Toujours je la connus pensive et sérieuse»)*.

Вместе с тем, Пушкин протестует против «болезненных» «медицинских» описаний, находит в стихах поэта «мечты печальных слабостей и безвкусные подражания давно осмеянной поэзии старого Ронсара». Удивляясь своенравию французского стихосложения, Пушкин, однако, не разделяет убеждения в разумности романтических нововведений. Второй сборник произвел на Пушкина отрицательное впечатление: «Здесь автор является исправленным советами приятелей, людей степенных и нравственных». «Можно даже надеяться, что в третьем своем томе Дёлорм явится набожным, как Лафонтен, и совершенно порядочным человеком. К несчастию, должен признаться, что, радуясь перемене человека, мы сожалеем о поэте».

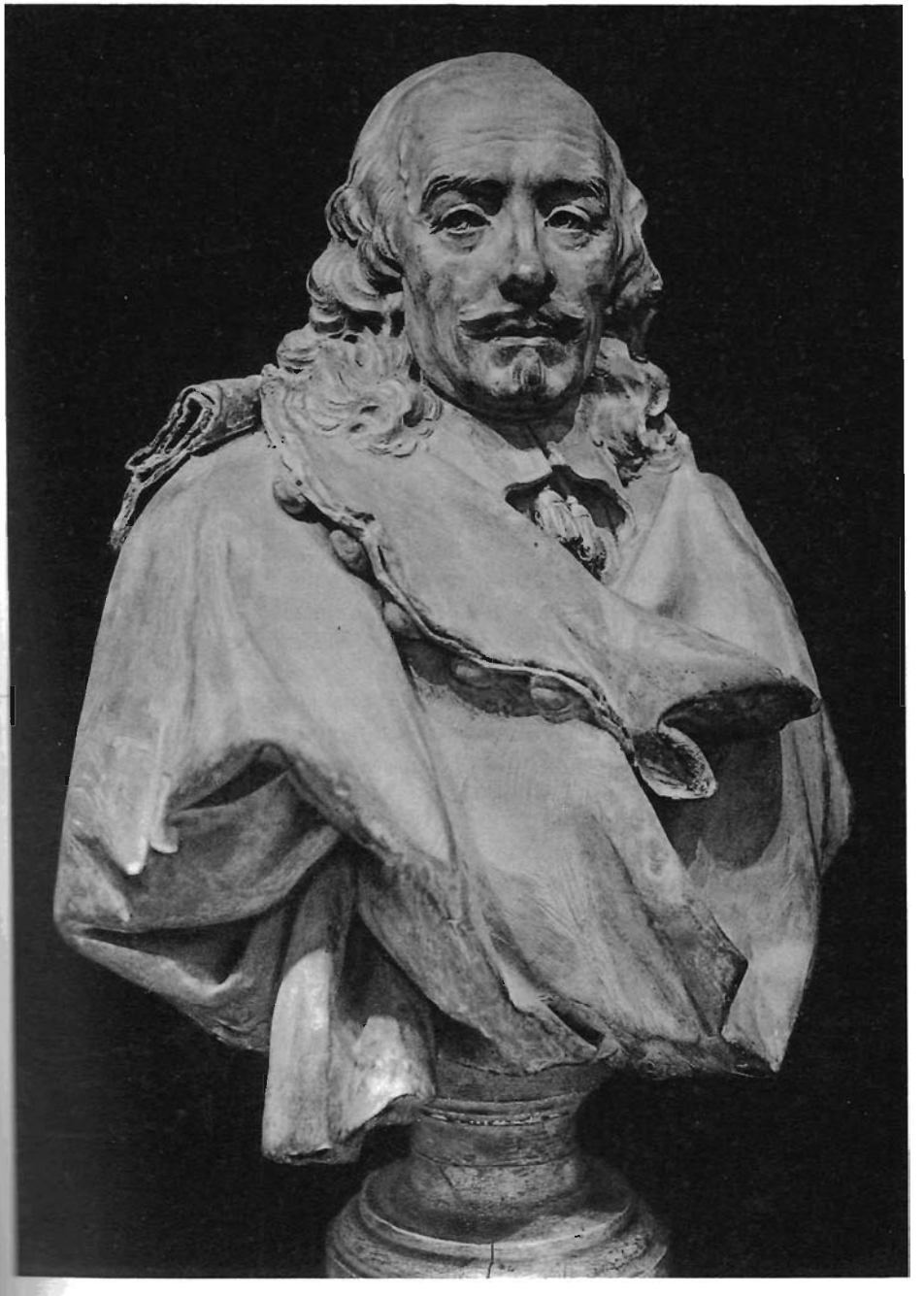
Однако, знакомство со стихами Сент-Бёва не прошло, повидимому, бесследно для Пушкина. Сент-Бёв указал Пушкину на поэтов Англии, до того времени ему чуждых. Пушкин обратился к Вордсворту и под двойным влиянием Сент-Бёва и Вордсворта написал, например, свой «Сонет».

В эти годы лишь один поэт безусловно привлекает симпатии Пушкина—это А. Мюссе, выступивший с первым своим сборником. «Musset взял, кажется, на себя обязанность воспевать одни смертные грехи, убийства и прелюбодеяние... Сладострастные картины, коими наполнены его стихотворения, превосходят, может быть, своею живостию самые обнаженные описания покойного Парни». «Откровенная шалость маленького повесы так изумила, так понравилась, что критика не только его не побранила, но еще и сама его взялась оправдывать». «Слава богу! давно бы так, м. г. Не странно ли в XIX веке воскрешать чопорность и лицемерие, осмеянные некогда Молиером». И Пушкин находит в стихах Мюссе «живость необыкновенную», находя более всего достоинства в «Porcia»; «драматический очерк «Les marrons du feu» обещает Франции романтического трагика, а в повести «Mardoche» Musset первый из французских поэтов умел схватить тон Байрона в его шуточных произведениях, что вовсе не шутка». Так, защищая Musset, Пушкин поднимает знамя против чопорности и лицемерия.

Повидимому, Пушкин отдал и творческую дань А. Musset, написав своего «Пажа» «на мотив» его романса «L'Andalouse».

---

* Я всегда знал ее задумчивой и серьезной.



ПЬЕР КОРНЕЛЬ
Работа Ж. Ж. Каффиери. Терракота, 1770 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

Если, в общем, современная Пушкину поэзия не встретила открытого признания с его стороны, то иначе он отнесся к прозе. Вопросами художественной прозы Пушкин был увлечен с середины 20-х годов. Его увлечение романами В. Скотта привело его самого к первому опыту исторического романа в 1827 г. Интерес к историческому роману совпадал для Пушкина с интересом к истории. Новая историческая школа Франции привлекала его. Работы Гизо, Тьера, Минье, Баранта, Тьерри и других были ему хорошо известны. В 1831 г. он сам задумывает писать историю Французской революции, и это толкает его на интенсивные исторические изучения. По намеченному им плану, изложению истории революции должен был предшествовать очерк феодального средневековья. В этом Пушкин следовал знакомой схеме де Сталь, которая начинает свою историю революции очерком истории Франции. Этот очерк начинается фразой, цитированной Пушкиным за год до того в статье о «Юрии Милославском». Вовлекая в изучение средние века, Пушкин расширял хронологические рамки своих интересов.

От исторического романа Пушкин перешел к роману бытовому и социальному. Незадолго до 1830 г. во Франции наметился расцвет прозы. Пушкин с большим сочувствием и внимательно следил за появлением новых романов. Не всё он принимал с одинаковым сочувствием, и некоторые его оценки весьма расходятся с общепринятыми мнениями. Но не следует забывать, что до нас дошли лишь отрывочные высказывания, по большей части в письмах, имеющих интимный и случайный характер. Обычно, это—мнения, высказанные под непосредственным впечатлением от прочитанного.

Так, очень строго отнесся Пушкин к «Cinq-Mars» А. де Виньи, имевшему огромный успех как во Франции, так и в России. В статье 1836 г. «О Мильтоне» он дал резко отрицательный разбор романа. Он писал: «Чопорный, манерный граф Виньи и его облизанный роман» и обвинял его в «эффектах, о которых бедный Вальтер Скотт и не подумал!».

Иначе отнесся Пушкин к историческому роману Мериме. В предисловии к «Песням западных славян», в большей части переведенных из Мериме, он пишет: «Мериме, острый и оригинальный писатель, автор «Театра Клары Газюль», «Хроники времен Карла IX», «Двойной ошибки» и других произведений, чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы» (1835).

Однако, из произведений первого периода наибольшее впечатление на Пушкина произвели романы Жюля Жанена. В апреле 1830 г. он писал Вяземской: «Vous avez raison de trouver *l'Ane* délicieux. C'est un des ouvrages les plus marquants du moment. On l'attribue à V. Hugo—j'y vois plus de talent que dans le *Dernier jour* où il y en a beaucoup»*. Здесь речь идет о стернианском романе Ж. Жанена «L'Ane mort et la femme guillotinée», действительно характерном для эпохи. Другой роман, о котором здесь говорится,—это «Le Dernier jour d'un condamné» В. Гюго. О нем в том же году Пушкин писал в связи с уголовными записками Видока: «Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновений для романа, исполненного огня и грязи». Однако, повидимому, этот резкий отзыв

* Вы правы, найдя, что «Осел» восхитителен. Это—одно из замечательнейших произведений нашего времени. Его приписывают В. Гюго. Я нахожу в нем более таланта, чем в «Последнем дне», в котором его много.

вызван полемическими соображениями: в 1830 г. Пушкин не раз высказывался против уголовных романов. Есть основания думать, что Пушкин в достаточной степени оценил достоинства романа Гюго. Один исследователь указал на сходство, повидимому, не случайное, между сюжетом «Пиковой дамы» и эпизодом из главы XXXII романа, в которой жандарм просит приговоренного явиться к нему после смерти и назвать три счастливых номера, на которые он мог бы выиграть в лотерее.

Другой роман Ж. Жанена, «Исповедь», повидимому, тоже произвел впечатление на Пушкина. Сохранился и набросок стихотворения «Тебя пою на темной лире», в котором находится строка «но Анатоль не понимал». Это точный перевод фразы, несколько раз повторенной в романе.

Относительно третьего романа, «Barnave», мы имеем довольно неопределенное восклицание в письме к Е. М. Хитрово: «Mais Barnave... Barnave...» (конец 1831 г.). Надо думать, что за этим восклицанием кроется сочувственное отношение к роману.

К 1831 г. относятся письма Пушкина к Е. М. Хитрово, у которой он доставал французские романы. В них мы находим несколько любопытных отзывов.

В майском письме содержится резкий отзыв об «ужасных» повестях Сю[40]: «Plock et Plick est misérable. C'est un tas de contre-sens, d'absurdités qui n'ont pas même le mérite de l'originalité»*. Именно подобные романы имел в виду Пушкин, когда писал в 1836 г.: «Словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр.—Эта словесность, давно уже осужденная высшею критикою, начинает упадать даже и во мнении публики».

Одновременно с тем, Пушкин читает «Rouge et noir» Стендаля. В мае 1831 г. он пишет к Е. Хитрово, от которой получал французские романы: «Je vous supplie d'envoyer le second volume de Rouge et noir. J'en suis enchanté»**. Закончив чтение, он пишет: «Rouge et noir est un bon roman, malgré quelques fausses déclamations et quelques observations de mauvais goût»***. Оговорки, вызываемые осторожностью в выражении своего мнения, не ослабляют силы общего приговора. Роман Стендаля, несомненно, был высоко оценен Пушкиным и, возможно, повлиял на концепцию героя «Пиковой дамы», написанной через два года. Наконец, почти одновременно Пушкин читает «Notre Dame de Paris», роман, только что появившийся и пользовавшийся огромным успехом. В том же письме Пушкин писал: «On conçoit fort bien votre admiration pour la Notre Dame. Il y a bien de grâce dans toute cette imagination. Mais, mais... je n'ose dire tout ce que j'en pense. En tout cas la chute du prêtre est belle de tout point, c'est à en donner des vertiges»****. Отзыв неясный и двусмысленный, как и все отзывы о В. Гюго, содержащий и признание крупного таланта и в то же время недовольство целым.

---

* «Plock et Plick» жалок, это куча противоестественной чепухи, пошлостей, не имеющих даже интереса оригинальности.

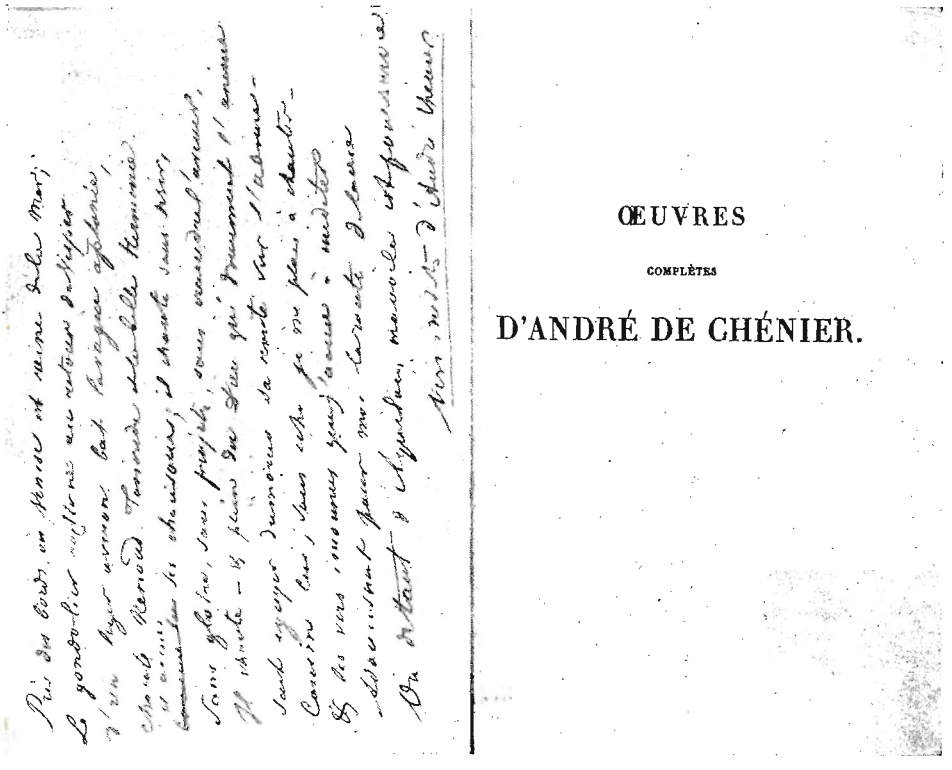
** Умоляю вас прислать второй том «Красное и черное». Я в восхищении.

*** «Красное и черное»—хороший роман, несмотря на фальшивую риторику, встречающуюся в некоторых местах, и на несколько замечаний дурного вкуса.

**** Ваше восхищение «Notre Dame» вполне понятно. Во всем этом вымысле много изящества. Но, но... я не смею сказать всего, что об нем думаю. Во всяком случае, падение священника великолепно со всех точек зрения; от него просто кружится голова.

Французские романы настолько интересовали Пушкина, что в 1832 г. он собирался писать о них. Сохранился план статьи, содержащей перечень романов, намеченных к разбору. Он любопытен составом романов: «Barnave», «Confession», «Femme guillotinée»—Eugène Sue—De Vigny, Hugo—Balzac «Scènes de la vie privée», «Peau de chagrin», Contes bruns, drolatiques—Musset «Table de nuit».

Три первых романа—произведения Жанена, любимого романиста Пушкина; в число произведений Бальзака включены «Contes bruns». Объяс-




ТИТУЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ПЕРВОГО ТОМА СОЧИНЕНИЙ АНДРЕ ШЕНЬЕ (1819 г.) ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПУШКИНА С ЕГО ЗАПИСЬЮ „НЕИЗДАННЫХ СТИХОВ" ШЕНЬЕ

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

няется это, повидимому, тем, что Пушкин пользовался не парижским изданием сборника, а брюссельским 1832 г., вышедшим с титулом «Contes bruns par de Balzac» (J. P. Meline, libraire-éditeur). В действительности, в этом сборнике лишь два рассказа принадлежат Бальзаку, остальные написаны Ш. Рабу и Ф. Шалем (по 4 рассказа). Последняя книга—сборник повестей Поля Мюссе, брата Альфреда. Сохранилась запись Н. А. Муханова от 29 июня 1832 г. о разговоре с Пушкиным «о новейшей литературе и нововышедших в свет книгах. Он находит, что лучшая из них «Table de nuit» Musset»[41].

В этом списке характерно преобладание произведений Бальзака. Уже к тому времени Бальзак выдвигался на первое место среди французских прозаиков. К сожалению, не сохранилось ясных отзывов Пушкина о Бальзаке. Две оценки, встречаемые у него, скорее отрицательны. Так, в письме

к Хитрово, вероятно, относящемся к 1832 г., мы читаем: «Comment n'avez vous pas honte d'avoir parlé si légèrement de Karr. Son roman a du génie et vaut bien le marivaudage de votre Balzac» *. Повидимому, это сказано по поводу романа Карра «Sous les tilleuls». Другой отзыв, без точного указания, о ком идет речь, тоже, повидимому, имеет в виду Бальзака: «В слоге г. Павлова, чистом и свободном, изредка отзывается манерность; в описаниях—близорукая мелочность французских романистов» («Три повести» Н. Павлова, 1836 г.). Упоминается имя Бальзака в статье «Мнение Лобанова» 1836 г.: «Лесаж и Вальтер Скотт служили им (русским оригинальным романам) образцами, а не Бальзак и не Жюль Жанен». Однако, это замечание, сказанное из полемических соображений, не отражает собственного мнения Пушкина.

В этих отзывах можно усмотреть отрицание Пушкиным стиля Бальзака, специфические особенности которого не принимались и французскими современными критиками. Однако, вряд ли это в достаточной степени отражает взгляды Пушкина. Отношение его к Бальзаку гораздо сложнее и требует подробного анализа, еще не сделанного. Первой попыткой такого анализа являются замечания А. А. Ахматовой в связи с книгой Бальзака «Physiologie du mariage»[42]. Пушкин упоминает это сочинение в набросках к «Египетским ночам». Хозяйка салона на смущение молодого человека, не решающегося рассказать неблагопристойную черту из жизни Клеопатры, заявляет: «Вчера мы смотрели «Antony»[43], а вон там у меня на камине валяется «La Physiologie du mariage». Неблагопристойно! Нашли чем нас пугать!».

Анализ показывает, что в прозаических отрывках Пушкина, являющихся как бы лабораторными опытами большого романа из жизни русского общества, имеется немало фразеологических совпадений с Бальзаком. Не все совпадения достаточно отчетливы, чтобы с несомненностью констатировать зависимость Пушкина от Бальзака, но некоторые как будто свидетельствуют о реминисценции, по крайней мере, в совокупности. Одна же параллель—в «Станционном смотрителе», повидимому, исключает возможность случайного совпадения. У Бальзака: «J'aperçus une jolie dame assise sur le bras d'un fauteuil, comme si elle eût monté un cheval anglais»**; у Пушкина: «Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле».

Повидимому, если это и не реминисценция, то очень близкий стилистический оборот, а отсюда напрашивается вывод, что раздраженные отзывы Пушкина вызывались не столько самими стилистическими приемами Бальзака, сколько обилием деталей, нарушавших классическое чувство меры, свойственное Пушкину. Наконец, не исключается возможность того, что мистические повести типа «Seraphita» могли произвести на Пушкина раздражающее впечатление. Во всяком случае, в собственных опытах Пушкина мы найдем больше сходства с Бальзаком, чем с лирическим стернианством романов Жюля Жанена или с сентиментальной чувствительностью Карра или с дендизмом Поля Мюссе. Не забудем, что ассоциации с повестями Бальзака наблюдаются у Пушкина не раз. Повидимому, выбор имени героя «Пиковой дамы» подсказан повестью «L'Auberge Rouge».

* Как вам не совестно было так легко отозваться о Карре; в его романе есть дарование, и он стоит изысканности вашего Бальзака.

** Я заметил красивую даму, сидящую на ручке кресла, словно наездница на английской лошади.

В письме к жене от 4 мая 1836 г. Пушкин сообщает, что Нащокин называет редакторов «Московского Наблюдателя» «Les Treize». Это несомненное перенесение в бытовое словоупотребление впечатления от повестей Бальзака, входящих в состав «Histoire des Treize».

За всей этой совокупностью по существу мелких фактов всё же чувствуется, что для Пушкина вопрос о Бальзаке занимал центральное место в его отношении к французской прозе; и здесь, быть может, раздраженность отзывов свидетельствует о большой требовательности, как и наоборот, за благосклонными отзывами часто может скрываться равнодушие (таков, например, отзыв Пушкина о романе Burat de Gurgy «La Prima donna et le Garçon boucher»: «Il y a du vrai talent dans tout cela»* (ноябрь 1831 г.).

Имена других писателей той же эпохи у Пушкина встречаются случайно. Старший представитель эпохи, Нодье, упоминается еще в «Онегине», где его «Jean Sbogar» включен в состав книг, которыми увлекалась Татьяна. Александра Дюма Пушкин знал только, как драматурга (упоминаются его пьесы «Christine», «Antony» и «Angèle»). Отзывы о Жорж Санд скорее отражают светские разговоры, чем собственное мнение Пушкина. Так, в набросках к «Египетским ночам» в салонном разговоре произносится по поводу сюжета Клеопатры: «Этот предмет должно бы доставить маркизе Жорж Занд, такой же бесстыднице, как ваша Клеопатра. Она ваш египетский анекдот переделала бы на нынешние нравы...». Следует к этому заметить, что в замысле Пушкина была именно такая переделка. Другой отзыв мы находим в письме к жене около того же времени (сентябрь 1835): «Ты мне прислала записку от m-me Kern; дура вздумала переводить Занда и просит, чтобы я сосводничал ее со Смирдиным. Чорт побери их обоих! Я поручил Ан. Ник. отвечать ей за меня, что если перевод ее будет так же верен, как она сама верный список с m-me Sand, то успех ее несомнителен». Здесь выдают себя принужденный тон и напускное презрение, с которым Пушкин говорит о Керн и заодно о Санд с женою, на что были личные основания. Во всяком случае, и этот отзыв говорит о Санд очень мало и скорее дает меру представления о писательнице, сложившегося в сознании Натальи Николаевны[44].

Существенное значение для оценки взгляда Пушкина на французскую прозу имеет статья его «Мнение Лобанова». Следует принять во внимание, что на французский роман было объявлено гонение, как на «развратительный» и отражающий вредный дух политических направлений, восторжествовавших после Июльской революции. Это гонение велось административно-цензурными мерами, а идеологическое оправдание его взяли на себя руководители Российской академии. Особенно громким было выступление М. Е. Лобанова 18 января 1836 г. Речь эта затем была издана особой брошюрой. Пушкин (состоявший членом Российской академии) не оставил обвинений Лобанова без ответа и напечатал в «Современнике» статью: «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной». Необходимо учитывать особую подцензурную трудность полемики на страницах «Современника» и весьма официальные источники точки зрения Лобанова, который обвинял французскую литературу в безнравственности, в революционном и антирелигиозном направлении и т. п. Этим объясняются риторические уступки Пушкина обвини-

* Во всем этом много истинного таланта.

телю. Несмотря на эти уступки, Пушкин пункт за пунктом разбивает все положения речи Лобанова. Пушкин отклоняет его обвинения по адресу всего народа Франции, фактической справкой разбивая его аргументы. Он вступается за право романиста свободно избирать свою тему, резко возражая против требований морального дидактизма. «Зачем же в нынешних писателях предполагать преступные замыслы, когда их произведения просто изъясняются желанием занять и поразить читателя?». Пушкин оспаривает мнение, что французская проза явилась следствием Июльской революции. «Литературные чудовища начали появляться уже в последнее время кроткого и благочестивого Восстановления (Restauration). Начала сему явлению должно искать в самой литературе. Долгое время покорствовав своенравным уставам, давшим ей слишком стеснительные формы, она ударилась в крайнюю сторону, и забвение всяких правил стала почитать законной свободою. Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риторами, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности, сама собой уничтожилась». «Торжество порока» в современных романах Пушкин объясняет реакцией на «жеманную напыщенность» дидактических романов, кончавшуюся наградой добродетели. Отмечая влияние новой французской школы на русскую литературу, Пушкин констатирует, что влияние это слабо, а в поэзии и совсем незаметно. Статья заключается протестом против морализма и особенно против мер, какими этот морализм насаждался: «Некоторые моралисты утверждают, что и восьмнадцатилетней девушке нельзя позволить чтение романов: из того еще не следует, чтобы цензура должна была запрещать все романы».

Если в данной статье мы не находим открытых положительных оценок французской прозы, то не следует забывать, что появление таких оценок в печати и не было возможно. Важно то, что Пушкин отбил атаку на французский роман и заодно и на французский народ.

Несомненно, французская проза представлялась для Пушкина столь значительным явлением, независимо от достоинств и недостатков отдельных фактов, что он совершенно не мог сохранить равнодушия при наступлении, исходившем из официальных кругов Уварова, Шишкова и пр. И он возвысил свой голос, к сожалению, приглушенный цензурными условиями времени.

Проза Франции—это последние сильные впечатления Пушкина.

## VII

Подводя итоги сказанному, мы должны отметить принципиальное различие в отношении Пушкина к французской литературе, предшествовавшей ему, и литературе ему современной: это различие заключалось в том, что литературу Франции XVII и XVIII вв. Пушкин расценивал, как литературу отстоявшихся образцов и фиксированных репутаций. Это была литература ясной традиции. Пушкин менял свое отношение ко всей классической школе вообще, что не мешало ему эту традицию, взятую в самой себе, рассматривать, как систему определившихся соотношений. Все внутренние споры минувших веков казались Пушкину решенными, и он не склонен был пересматривать их. Так, вопрос о соотношении Плеяды и классиков «века Людовика XIV», несмотря на пропаганду романтиков, остался для Пушкина решенным так, как это было у Лагарпа. И положительные авторитеты и писатели, осужденные приговором классической критики, остались для Пушкина в общепринятой оценке. Он не пытался

№ 15.

Ouvrages nouveaux en tout genre, français, anglais, italiens, &c.

Abonnement aux recueils périodiques.

# Fd. Bellizard & Co.

Libraires, Editeurs de la Revue étrangère, du Journal des enfans. (Дѣтскій Журналъ.) &c.

Commission pour la librairie étrangère.

Cartes géographiques, globes, gravures, lithographies.

Au pont de Police, maison de l'Eglise Hollandaise.

Fourni à Monsieur A. de Pouschkinn

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Suivant compte fourni le 21 Mars 1836 il nous était dû | R. 2,172 90 Cop. |
| | | A déduire | |
| 1836 Avril | 23 | Reçu à compte 50 demi Impériales | 975 |
| | | Resté dû | R. 1,197 90 Cop. |
| " | 15 | Encyclopédie des gens du monde Tom. V 1re partie – 8° | 8 |
| " | 18 | Dictionnaire de l'Académie 2 Vol. – 4° | 45 |
| " | 27 | Laplace Théorie des probabilités – 4° | 35 |
| | | Essais philosophiques sur les probabilités – 8° | 6 |
| | | Lacroix Traité des probabilités – 8° | 8 |
| Mai | 5 | Bibliothèque latine française Tom. 147 – 8° | 8 50 |
| " | 25 | Tomini Tableau analytique – 8° | 10 |
| | | Herschel Découvertes dans la lune – 8° | 4 50 |
| | | La Bedouine 2 Vol. – 18° | 7 |
| | | Jocelyn 2 Vol. – 18° | 5 |
| | | Quinet Napoléon – 8° | 10 |
| | | Aventures d'un renégat 2 Vol. – 8° | 18 |
| | | Paris & les Parisiens Tom. 1 & 2 – 8° | 18 |
| | | Confessions 2 Vol. – 8° | 18 |
| | | Livre mystique 2 Vol. 8° | 18 |
| | | Il vivere – 18° | 3 50 |
| | | Rienzi 2 Vol. – 18° | 7 |
| " | 26 | Hoffmann Contes fantastiques Tom. 1 à 16 – 12° | 56 |
| | | Hamilton Les hommes & les moeurs aux E. U. 2 – 8° | 16 |
| " | 29 | Histoire de la chute de l'empire romain – 8° | 7 |
| | | Les halieutiques – 8° | 9 |
| | | Oeuvres choisies de Stanislas – 8° | 10 |
| | | Vie d'Alexandre le Grand – 8° | 10 |
| | | Transporté | R. 1,535 40 Cop. |

СЧЕТ ПЕТЕРБУРГСКОГО КНИЖНОГО МАГАЗИНА БЕЛИЗАРА НА ИНОСТРАННЫЕ КНИГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПУШКИНЫМ В АПРЕЛЕ И МАЕ 1836 г.

Литературный музей, Москва

реабилитировать ни Шапелена, ни Прадона (в противоположность его же попытке реабилитировать в русской литературе Тредиаковского). Его мнения менялись по отношению ко всей классической литературе вообще, а не по отношению к внутренней расстановке сил в ее пределах. Изменение общей оценки классиков относится к 20-м годам, к периоду байронизма Пушкина и романтической полемики во Франции. С этого момента начинается для Пушкина эпоха собственно современной литературы, имеющей уже не учительный, а весьма дискуссионный характер. Французы перестают быть непосредственными руководителями творческой практики Пушкина. Но в то же время литературная полемика тех лет привлекает к себе его внимание. Он следит за журнальной и газетной критикой, причем вопросы политические для него тесно переплетаются с вопросами литературными. Хотя Пушкин и недоверчиво относился к романтическим опытам, особенно в 20-х годах, он чувствовал себя связанным с передовыми течениями как в политике, так и в литературе.

Главный результат романтической полемики для Пушкина сводился к пересмотру эстетических основ классицизма. Осудив во французской традиции то, что он расценивал, как продукт придворного общества, он искал обновления в литературе на основе народных традиций и источников творчества. Именно это противопоставление литературы придворной и народной определяет драматургические искания Пушкина и основную линию его драматургического развития от «Вадима» до «Бориса Годунова». Именно так осмысливал он свой переход с позиций французского классицизма на пути шекспировского театра.

Также под знаком народности ставилась Пушкиным и проблема создания национальной литературы, подготовленная идеями m-me de Staël. Возникновение идеи национальной литературы на развалинах классического идеала универсальной красоты обусловило одну характерную черту в разрешении этой проблемы у Пушкина. Он никогда не понимал литературу национальную, как литературу национально ограниченную, и еще менее, как националистическую. Разрушение классического универсализма влекло за собой конец гегемонии французской литературы в ее классическом обличье, ибо именно французский классицизм был носителем идеи универсализма. На смену национальной гегемонии Франции выдвинулась практика международного обмена в литературе, и недаром именно в книге «О Германии» сформулированы основные литературные идеи m-me de Staël. Для Пушкина первым этапом в приближении к концепции национальной литературы был период подражательный, но объектом подражания являлась уже не французская, а английская литература.

Таковы были основные итоги ревизии классической традиции.

В дальнейшем романтическая полемика и литературная практика современной Пушкину французской литературы вели к постановке и разрешению конкретных проблем литературы.

Естественным продолжением задач, поставленных еще классической литературой, были проблемы драматургии. Идеологическая драматургия Вольтера, гражданские трагедии М.-Ж. Шенье подготовили дальнейшие попытки театральной реформы. Идеи игровой, живописной трагедии, не построенной на обязательности любовного сюжета, высказанные еще Вольтером, повлекли за собой дальнейшую разработку вопросов театра. Споры о единствах характеризуют этот период борьбы, проходящей под знаком утверждения принципов шекспировского театра. Связь творческой

практики с общими интересами Пушкина подчеркивалась его неоднократными попытками теоретического предисловия к «Борису Годунову» (в форме письма), причем он подчеркивал, что пишет романтическую трагедию и ожидает практического результата—реформы сцены. А в это время именно во Франции развертывается полемика о театре и о романтической трагедии, именно во Франции развивается особый жанр литературных манифестов в виде писем-предисловий к новым пьесам. Все вопросы о единствах и вообще о задачах романтической драматургии ставятся с особой остротой. И если в области практики «Борис Годунов» предшествует трагедиям романтиков, в области теоретического обсуждения вопросов драматургии Пушкин идет вслед за французскими критиками.

С отмиранием остроты проблемы драматургии во Франции и Пушкин отходит от опытов драматургии. Последняя его попытка—«Сцены из рыцарских времен»—уже не связана с чисто драматургическими опытами и не имеет в виду сценической реформы. Она относится к периоду стабилизации. Впрочем, и здесь нельзя отрицать связи опытов Пушкина с историческими хрониками во Франции вроде произведений Вите, и особенно Мериме, с «Жакерией» которого «Сцены» Пушкина имеют непосредственные точки соприкосновения.

Проблемы романтической лирики в меньшей степени интересовали Пушкина. Поэзия во Франции шла не теми путями, как в России. Ламартин не определял той «большой дороги», по которой хотел итти Пушкин. Не затрагивает Пушкина и живописная лирика В. Гюго; медитативная поэзия Сент-Бёва ему гораздо ближе. Но именно в области лирики Пушкин чувствует себя наиболее чуждым французской практике и даже провозглашает французский народ антипоэтическим.

Всё свое внимание Пушкин переносит с поэзии на прозу. После В. Скотта наиболее внимания Пушкин уделил французским прозаикам. Пушкин был современником «больших дебютов» во французской прозе, и его интерес к ней имеет вследствие этого особый характер.

По отношению к французской прозе следует различать читательскую и творческую реакцию Пушкина. Как читатель, он увлекался романами Ж. Жанена; в творчестве его они никак почти не отразились. Его привлекали замыслы социального романа, выразившиеся в многочисленных планах и набросках, не доведенных до полного осуществления. Только свой замысел исторического романа Пушкин довел до конца.

Проблема современного романа выходила у Пушкина за пределы чисто литературных интересов. Литературные замыслы в этой области переплетались с вопросами публицистического порядка, с вопросами социального расслоения, исторических корней и судеб русского общества. В прозаических набросках Пушкина, начиная с «Романа в письмах», много публицистики. Так же неразделим интерес Пушкина к французской прозе от интереса ко всей французской жизни и культуре. Едва ли историки и публицисты Франции играли меньшую роль, чем поэты и романисты, в формировании сознания Пушкина, включая сюда и его литературно-творческое сознание. Эта тема, лежащая за пределами настоящего обзора, требует особой разработки, и, несомненно, исследование вопроса, чем Пушкин обязан французским политическим писателям, позволило бы многое расшифровать в литературном творчестве Пушкина. Необходимо помнить, что его восприятие жизни было интегральным и в своем творчестве он не замыкался от впечатлений всего многообразия культурной жизни.

Конечно, ни французское воспитание, ни усвоение французской традиции, ни постоянный интерес к фактам французской жизни не сделали из Пушкина «француза». Однако, есть черты, индивидуально свойственные Пушкину, которые как бы роднили его с французской традицией; эти черты—ясность мысли, положительность и трезвость оценок, остроумие и конкретность изображения. Эти свойства Пушкина присутствуют также и в лучших образцах французской литературы. Именно эти свойства содействовали плодотворности обращения Пушкина к французской культуре: такие писатели, как Вольтер, развивали в Пушкине свойства его природного дарования. Но это как раз те черты творческого облика Пушкина, которые не могут быть вдвинуты в рамки «влияний» и «подражаний», ибо именно эта ясность и трезвость мысли Пушкина и вывели его на свой оригинальный путь в русской литературе, сохраняющий все черты своеобразия и на более широком фоне мировой литературы.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. П. Керн, Воспоминания, Л., 1929, стр. 346, «Пушкин и его современники», вып. IX—X, стр. 247 и 259, «Путеводитель по Пушкину», М., 1931, стр. 141, «Временник Пушкинской комиссии», вып. I, стр. 148.

[2] «Летописи Государственного Литературного Музея», I, Пушкин, стр. 452. Необходимо учитывать, что сведения, заключающиеся в рассказах Ольги Сергеевны, записанных ее мужем, противоречат сведениям, сообщаемым с ее слов ее сыном (Л. Павлищев, Воспоминания об А. С. Пушкине, М., 1890, стр. 14—15); эти противоречия не вполне объясняются присущей Л. Н. Павлищеву неточностью.

[3] «Восстание декабристов. Материалы», т. III, стр. 44; это было до 1808 г.

[4] Ф. Ф. Вигель, Записки, М., 1928, т. I, стр. 131 и сл.

[5] [Lesur C.-L.], Annuaire historique universel pour 1825, par C.-L. Lesur, p. 247.

[6] «Пушкин и его современники», вып. XXVIII—XXIX, стр. 79.

[7] В статье H. Mongault, Pouchkine en France, сделано предположение, что Сент-Бёв мог ознакомиться с этой статьей через Мериме. Это предположение маловероятно. Рецензия Пушкина напечатана анонимно, и его авторство впервые установлено только в 1909 г. Неверно и указание, будто эта рецензия напечатана в «Современнике» (см. «Revue de Littérature Comparée», 1937, № 17, p. 150).

[8] Подзаголовки «Подражание Парни», которые мы встречаем в прежних изданиях, принадлежат не Пушкину, а его редакторам, главным образом, Ефремову. Этими подзаголовками был введен в заблуждение Г. Лозинский, который пишет: «Il signale lui-même les emprunts qu'il fait à Voltaire, à Parny etc.»*. («Revue de Littérature Comparée», 1937, № 1, «La Littérature Française et Pouchkine», p. 43).

[9] П. Анненков, Пушкин. Материалы для его биографии..., 1855, стр. 350—351.

[10] У Пушкина было издание Маро 1824 г. в двух томах. По большей части оно осталось неразрезанным.

[11] «О духе партии, о литературной аристократии».—«Литературная Газета», 1830, 21 апреля.

[12] О классиках из «Journal des Débats» и «Gazette de France» Пушкин иронически отзывался в статье об Альфреде Мюссе по поводу известной «Ballade à la lune»: «Воспевает луну такими стихами, какие осмелился бы написать разве только поэт блаженного XVI века, когда не существовал еще ни Буало, ни гг. Лагарп, Гофман и Кольне» (кстати, все издания воспроизводят рукописное «XIV века»; принимая во внимание обычную у Пушкина в римских цифрах описку, мы не можем не исправить этого места: ясно, что речь идет о таких поэтах, как Dubartas и его последователи; невозможно себе представить, о каком поэте XIV в. мог бы Пушкин здесь писать).

[13] Если не считать упоминания Брянского в роли Тезея из «Ариадны» Т. Корнеля («Мои замечания о русском театре», 1820).

[14] В поэтике Мармонтеля под словом «Déclamation» эта фраза цитируется: «Reconnais-tu ce sang?», что уже совсем близко к цитате Пушкина.

---

* Он отмечает сам заимствования, которые он делает у Вольтера, у Парни и т. д.

[15] Как справедливо отмечалось, слово «камердинер» не соответствует действительному положению Мольера (см. P a t o u i l l e t, Pouchkine et Molière.—«Revue de Littérature Comparée», 1937, № 1, p. 68), но Пушкин довольствовался буквальным переводом звания Мольера, без оценки действительного его значения, чтобы резче подчеркнуть зависимость Мольера от двора Людовика XIV.

[16] «„Маленькие трагедии" Пушкина и Мольер». — «Пушкин, Временник Пушкинской комиссии Академии наук СССР», вып. II.

[17] Насколько эта проблема конфликта, пронизывающая все критические отзывы о «Скупом» на протяжении конца XVIII и начала XIX вв., была актуальна в пушкинское время, показывают следующие места из книги Стендаля «Racine et Shakespeare»: «On siffle l'Avare de Molière (7 février 1823), parce qu'un fils manque de respect à son père*. Утверждая имморальность Мольера в своем понимании этого слова, Стендаль пишет: «Encore moins Molière est-il immoral, parce que le fils d'Harpagon manque de respect à son père, et lui dit: je n'ai que faire de vos dons»** (éd. Calmann-Lévy, pp. 37 et 67).

[18] Это показание Гоголя подтверждается нахождением в бумагах Пушкина плана комедии: «Криспин приезжает в губернию на ярмарку. Его принимают за Ambassadeur(?). Губернатор честный дурак. Губернаторша с ним кокетничает. Криспин сватается за дочь». О близости этого плана к комедии Лесажа «Grispin rival de son maître» см. дальше. Слово Ambassadeur является догадкой, недостаточно обоснованной. Читавшие этот автограф, ныне недоступный, расшифровали это слово, как «Audass» (?) и еще какой-то значок слева («Пушкин и его современники», вып. XVI, стр. 111).

[19] Об этом можно судить по позднейшим отзывам. См. письмо к Рылееву от 25 января 1825 г., статью о «Графе Нулине» (1825); не исключается возможность сюжетной зависимости «Домика в Коломне» от сказки «La Gageure des trois commères».

[20] Насколько живы были сюжеты сказок Лафонтена в сознании Пушкина, показывает один факт, относящийся, вероятно, к 1827 г. Излагая содержание одного французского романа о Беральде Совийском, Пушкин пишет: «Berald devint le favori et le confident de l'Empereur et le Joconde de la cour»***. Имени Жоконда нет в оригинале (см. «Рукой Пушкина», стр. 501). Конечно, это имя, характеризующее роль героя, взято из знаменитой сказки Лафонтена «Joconde», о которой Буало написал целую диссертацию. Предполагать, что Пушкин обратился непосредственно к Ариосту, у которого Лафонтен заимствовал сюжет, или к опере Николо на сюжет Лафонтена, нет никаких оснований. Кстати, у Ариосто имя героя звучит иначе: Giocondo (Orlando furioso, canto XXVIII).

[21] Когда в 1828 г. Вяземский запросил Пушкина, не знает ли он, откуда запомнились ему четыре французских слова—обрывок стиха,—Пушкин немедленно ответил ему нужной цитатой из «Танкреда» и, очевидно, по памяти, потому что сообщенный им текст не совпадает с печатным и имеет прозодическую ошибку (первый hémistiche: «Un jour e l l e pleurera...», см. письмо от 1 сентября 1828 г.).

[22] На требование М. Яковлева: «Нельзя ли без Вольтера?» Пушкин отвечал: «А почему же? Вольтер человек очень порядочный, и его сношения с Екатериной суть исторические», однако, принужден был уступить.

[23] См. работу Д. П. Я к у б о в и ч а, Пушкин в библиотеке Вольтера.—«Литературное Наследство», 1934, № 16—18, стр. 910.

[24] Автобиографический характер этого места разъясняется следующей записью Бартенева, сделанной со слов Нащокина: «Многие его обвиняли в том, будто он домогался камер-юнкерства. Говоря об этом, он сказал Нащокину, что мог ли он добиваться, когда три года до этого сам Бенкендорф предлагал ему камергера, желая его ближе иметь к себе, но он отказался, заметив: «Вы хотите, чтоб меня также упрекали как Вольтера!» (ср. С. Г е с с е н и Л. М о д з а л е в с к и й, Разговоры Пушкина, стр. 210).

[25] См. работу Г. О. В и н о к у р а, Монолог Алеко.—«Литературный Критик», 1937, № 1.

[26] В пушкинском номере «Revue de Littérature Comparée» (pp. 50—51) совершенно правильно пересмотрены аргументы В. Сиповского, которыми он обосновывал зависимость письма Татьяны от писем Юлии. Конечно, «метод» В. Сиповского весьма порочен, и ни о каком прямом заимствовании говорить не приходится. Но подражательность письма указана самим Пушкиным. Возможно, что «Дельфина» сыграла бо́льшую

---

* Освистывают «Скупого» Мольера (7 февраля 1823 г.) потому, что там сын непочтителен к своему отцу.

** Еще меньше заслуживает Мольер обвинения в безнравственности за то, что у него сын Гарпагона непочтителен к своему отцу и говорит ему: «На что мне ваши дары».

*** Беральд сделался любимцем и доверенным лицом императора и стал Жокондом при его дворе.

роль, чем «Новая Элоиза». Во всяком случае, справедливо заключение автора: «Бесполезно было бы отрицать общее влияние стиля Руссо» (стр. 52).

[27] В «Мемуарах герцога Граммона», написанных Гамильтоном, усматривали сходство с одним эпизодом из «Капитанской дочки». Пушкин упоминает Гамильтона в лицейском послании сестре и в «Записках Моро де Бразе» («Прелесть Гамильтона»,—речь идет о «Мемуарах Граммона»).

[28] В письме к Катенину от 19 июля 1822 г. Пушкин пишет про комедию Грессе: «Комедия, которую почитал я непереводимою»; эти слова свидетельствуют о высокой оценке данного произведения. В письме к Бестужеву в январе 1825 г. он, критикуя поведение Чацкого, апеллирует к героям «Méchant»: «Cléon Грессетов не умничает с Жеронтом, ни с Хлоей».

[29] План этот приведен выше, см. прим. 18-е.

[30] Этот эпитет объясняется тем, что существует «IV книга» эпиграмм Руссо, обычно опускаемая в популярных изданиях; в этой книге собраны эпиграммы о монахах весьма фривольного содержания. Пушкин имеет в виду все вообще эпиграммы Руссо, включая и эту «IV книгу».

[31] Из других поэтов-меланхоликов в поле зрения Пушкина попал Мальфилатр, из поэмы которого «Нарцисс» Пушкин взял эпиграф к третьей главе «Онегина». Сочинения рано умершего Мальфилатра были в библиотеке Пушкина, но то, что стих взят из наиболее популярного отрывка поэмы, приводимого в «Лицее» Лагарпа, заставляет предполагать не очень глубокое знакомство его с этим поэтом.

[32] Характерно непосредственно следующее за этими стихами обращение к Баратынскому.

[33] А б р. Э ф р о с, Рисунки поэта, М., 1930, стр. 118—120.

[34] Из прочих поэтов XVIII в. у Пушкина встречаются имена Коле, Ваде, Пирона, Буфлера, Гишара.

[35] Одну французскую повесть «вертеровского» типа—«Валерия» Крюднер—Пушкин упоминает в «Евгении Онегине» с большим сочувствием.

[36] Вопросу об отражении «Адольфа» в творчестве Пушкина посвящен специальный этюд А. А х м а т о в о й, «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина,—где прослежено это отражение за пределами «Онегина», в частности, в повести «На углу маленькой площади...» и в «Каменном госте». См. «Пушкин, Временник Пушкинской комиссии», I, стр. 91—114.

[37] В. Сиповский в своем доказательстве этого тезиса несколько дискредитировал положение неправильными цитатами. Аргументы Сиповского, конечно, отпадают, но самый тезис не теряет своего значения.

[38] Пушкин знал Делавиня преимущественно, как драматурга, и ценил его не очень высоко. Он писал Вяземскому 25 мая 1825 г.: «Ты, кажется, любишь Казимира, а я так нет. Конечно, он поэт, но все не Вольтер, не Гете... Далеко кулику до орла!». В 1830 г. он называет его «несносным» (Плетневу 9 декабря 1830 г.). Его «La Parisienne ne vaut pas la Marseillaise. Ce sont des couplets de vaudeville» (письмо к Е. М. Хитрово 21 августа 1830 г.).

[39] Отношение Пушкина к Беранже несколько неожиданно. Он совершенно отрицал политическое значение его песен. По поводу «Le Roi d'Yvetot» он писал: «Признаюсь: вряд ли кому могло войти в голову, чтоб эта песня была сатира на Наполеона. Она очень мила (и чуть ли не лучшая изо всех песен хваленого Béranger), но уж конечно в ней нет и тени оппозиции». Возможно, что мнение Пушкина объясняется особым характером репутации этого поэта в России, в качестве автора фривольных песен. Поклонником Béranger был Василий Львович, вкусов которого Пушкин не разделял.

[40] Имеются в виду две повести E. S u e, изданные под названием «Plick et Plock. Scènes maritimes», 1831. Это была первая книга Сю.

[41] «Русский Архив», 1897, кн. I, вып. 4, стр. 654.

[42] А. А х м а т о в а, назв. работа, стр. 114.

[43] Пьеса Д ю м а.

[44] Повидимому, уверенно можно говорить о знакомстве Пушкина с романом «Les Mauvais Garçons» Руайе и Варбье; фронтисписную виньетку романа он перерисовал в своей черновой тетради; кое-какие следы этого знакомства можно найти в сцене сражения в «Дубровском». Другая виньетка, перерисованная Пушкиным, заимствована из романа А. Гиро «Césaire». Роман этот привлек внимание Пушкина только в связи с именем автора, когда-то участвовавшего в романтических группировках. Самый роман принадлежал к чуждому Пушкину направлению слезливого клерикализма.

# П. А. ВЯЗЕМСКИЙ и ФРАНЦИЯ

Статьи В. Нечаевой и С. Дурылина

Под общим заглавием «П. А. Вяземский и Франция» мы печатаем документы и статьи, относящиеся к изучению истории отношений Вяземского к французской литературе и журналистике 1810—1830 гг. Первые две работы — «Французская литература и П. А. Вяземский в преддекабрьскую эпоху» (В. С. Нечаевой) и «П. А. Вяземский и „Revue Encyclopédique"» (С. Н. Дурылина)—охватывают период политической оппозиционности в биографии Вяземского и его единомыслия с либерально-конституционным движением во Франции 20-х годов XIX в. Работа В. С. Нечаевой, на основании ряда неизданных высказываний и выписок Вяземского из французских писателей XVIII и XIX вв., дает обзор его основных привязанностей в области французской литературы в преддекабрьскую эпоху. Статья С. Н. Дурылина впервые раскрывает историю литературных сношений Вяземского с одним из виднейших представителей либеральной журналистики начала XIX в.—с Марком-Антуаном Жюльеном де Пари, другом Робеспьера и редактором «Revue Encyclopédique». Третья работа—«П. А. Вяземский в Париже в 1838—1839 гг.» (В. С. Нечаевой)—рисует Вяземского уже за рубежом 14 декабря 1825 г., в эпоху, когда он делал первые, но уже достаточно определенные шаги к примирению с крепостнической государственностью Николая I.

Посещение Вяземским Парижа в 1838—1839 гг.—это эпилог наиболее интенсивной поры его интересов в области французской литературы и общественно-политической жизни Франции. Никогда уже после эти его интересы не были столь плодотворны и жизненны для него. Но это, вместе с тем, и эпилог лучшей поры его жизни, когда он «шел с веком наравне»—дорогой прогрессивной политической мысли и освободительной поэзии. Публикуемые в последней работе письма Вяземского издаются впервые.

## I. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА и П. А. ВЯЗЕМСКИЙ В ПРЕДДЕКАБРЬСКУЮ ЭПОХУ

«...Воображение зовет меня в Италию, какое-то своенравие—в Гишпанию, ум—во Францию, душа—в Германию... По настоящему, должно повиноваться уму постоянно, на время отдать себя воображению и сделать маленькую уступчивость своенравию: вот как судьба расположит моею жизнью; если желания мои до нее доходят»[1].

Так писал Вяземский А. И. Тургеневу в 1819 г. из Варшавы, где его давняя тяга в Европу и, в частности, во Францию, под влиянием тесной связи, соединявшей Польшу с Европой, нашла свое отчетливое выражение.

Ум звал Вяземского во Францию, и, повинуясь ему, он хотел бы именно ее избрать местом своего постоянного пребывания. Действительно, вся история умственного развития Вяземского определяла этот выбор.

В годы детства Вяземский находился под влиянием отца, европеизированного вельможи, стремившегося, по насмешливому замечанию совре-

менника, «в Пензе создать Лондон». Исколесивший в молодости все страны Европы и женившийся на иностранке, отец Вяземского и в России окружал себя иностранцами, следил за иностранной литературой, был поклонником энциклопедистов и Наполеона. Его сын рос на руках гувернеров-французов и усвоил французскую речь ранее, чем русскую. Пребывание в пансионе иезуитов в Петербурге содействовало укреплению у мальчика европейских симпатий. Первые литературные опыты Вяземского показывают в нем прилежного ученика французских поэтов XVII—XVIII вв., да и все дальнейшее поэтическое творчество Вяземского было отмечено влиянием этих первых литературных учителей. Из поэтов пушкинской плеяды Вяземский теснее всех связан с французской литературой.

Однако, не только поэзия Вяземского, но и все его политические и общественные взгляды в первую половину жизни складывались под воздействием общественной и политической жизни Франции. После короткого периода (1812—1815), когда война с Наполеоном и взятие Парижа вызвали взрыв бурного патриотизма в среде, к которой принадлежал Вяземский, начинается период его все углубляющейся критики России. Параллельно растет его интерес к общественно-политической жизни Европы и, прежде всего, Франции. Именно сочинения французских писателей оказали наибольшее влияние на укрепление либеральных и оппозиционных настроений Вяземского преддекабрьской поры. Первое место здесь—по времени и силе оказанного воздействия—принадлежит Вольтеру.

Писатель-Бриарей! Колдун! Протей-писатель!
Вождь века своего, умов завоеватель,
В руке твоей перо—сраженья острый меч
. . . . . .
Покаюсь: я люблю с тобою рассуждать;
Во след тебе итти от важных истин к шуткам
И смело пламенеть враждою к предрассудкам.

Так характеризует Вяземский Вольтера и свою любовь к нему в стихотворении 1817 г. «Библиотека»[2]. В своей переписке и дневниковых записях он постоянно цитирует Вольтера, а в 1818 г. отзывается на новое издание его писем специальной статьей, которая, однако, не была пропущена цензурой[3].

Но откровеннее, чем в стихах и статье, предназначенных для печати, раскрывает Вяземский значение Вольтера в своих «Записных книжках». Здесь он прямо ставит его имя в связь с французской революцией и, защищая Вольтера, высказывает свое отношение к революции и роли писателей в ней.

«Запоздалые в ругательствах, коими обременяют они Вольтера, называют его зачинщиком французской революции. Когда и так было бы, что худого в этой революции? Доктора указали на антонов огонь. Больной отдан в руки неискусному оператору. Чем виноват доктор? Писатель не есть правитель. Он наводит на прямую дорогу, а не предводительствует. Требуйте ответа от творца: зачем добро постигается здесь часто страданиями творения? А теперь, когда кровь унята и рана затягивается, осмелитесь сказать, что революция не принесла никакой пользы! Народы дремали в безнравственном расслаблении. Цари были покойнее, но достоинство человечества не было ли посрамлено? Как ни говорите, цель всякой революции есть на деле, или в словах, уравнение состояний,

обезоружение сильных притеснителей, ограждение безопасности притесненных; предприятие в начале своем всегда священное, в исполнении трудное, но не невозможное до некоторой степени»[4].

Вслед за Вольтером на развитие политических и социальных взглядов Вяземского оказали сильное влияние сочинения Монтескье и Дидро.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ
Акварель С. Дица, 1838 г.
Исторический музей, Москва

Вяземского пленяют четкость и остроумие формулировок Монтескье, и он заносит в свои записные тетради:

«Душа республиканского правления—добродетель, монархического—честь, деспотического—страх. Светозарное разделение Монтескье. Здесь глубокомыслие кроется под остроумием. Сначала пленишься им, а после убедишься».

«Монтескье говорит: le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité.

Tous les coups portèrent sur les Tyrans, aucun sur la tyrannie. Montesquieu».

[Народ достоин удивления, когда выбирает тех, кому должен доверить долю своей власти.

Все удары падали на тиранов и ни один на тиранию (Монтескье, «Дух законов»)].

«Все счастие народа, сказал Монтескье, состоит в мнении, которое он имеет о кротости правительства. Министр недогадливый хочет всегда показать вам, что вы невольники; хотя и было бы так, долг его то утаивать»[5].

Еще более выразительны цитаты из Дидро, который был учителем Вяземского—атеиста, материалиста и скептика. «Злопамятный бог», «бог-палач» («И где отца искал—нашел я палача») поздних стихотворений Вяземского[6] вспоминаются при чтении тех страниц его рукописи «Записной книжки» за 1818—1819 гг., где он цитирует Дидро. Вот эти записки, не вошедшие в печатный текст «Записных книжек», конечно, вследствие идеологических принципов издателя.

Первая цитата на стр. 26 рукописи тщательно зачеркнута карандашом, но все же может быть прочтена: «Ce Dieu, qui fait mourir Dieu pour apaiser Dieu, est un mot excellent du Baron de la Hontan (Diderot)».

[Этот бог, заставляющий умирать бога, чтобы умиротворить бога,—прекрасное выражение барона де ла Гонтан (Дидро)].

Далее не зачеркнуто:

«Зачем наказывать виновного, когда уже никакой пользы от наказания его извлечь не можешь? Наказывающему для одного себя должно быть весьма жестоким и злым».

Опять тщательно зачеркнуто:

«Какой добрый отец хотел [бы] походить на нашего небесного отца?».

Далее не зачеркнуто:

«Какая соразмерность между обидчиком и обиженным? Смесь нелепостей и ужасов! И за что так ⟨гневается⟩ раздражен этот бог? Не подумаешь ли, что я могу учинить что-нибудь в пользу или вопреки его славы, в пользу или вопреки его спокойствия, в пользу или вопреки его благополучия.

Хотят, чтобы бог жег злого, против него бессильного, в пламени бесконечном и едва позволили бы отцу осудить на смерть преходящую сына, восставшего против его жизни, чести и благосостояния!

О христиане! Итак у вас два различных понятия о благости и злобе, истине и лжи. Вы, следственно, нелепейшие из догматистов или запальчивейшие из пирронистов (Diderot)».

На стр. 32а читаем вновь цитату из Дидро:

«In dolore paries [genes]. Tu engendreras dans la douleur, dit Dieu à la femme prévaricatrice. Et que lui ont fait les femelles des animaux, qui engendrent aussi dans la douleur? (Diderot)».

[В муках будешь рожать ты,—сказал бог женщине, нарушившей запрет. Но что сделали ему самки животных, которые также рожают в муках? (Дидро)].

Можно было бы привести не мало подобного рода цитат из переписки Вяземского этого времени. Эти цитаты свидетельствуют не только о пристальном внимании Вяземского к сочинениям Вольтера, Дидро, Гольбаха и других энциклопедистов, но и о горячем сочувствии его идеям французской просветительной философии XVIII в.

В своей книге о Фонвизине Вяземский негодует на Фонвизина за то, что он осмелился с порицанием отнестись к торжествам по случаю приезда

Вольтера в Париж: «Разве один граф Мейстер [Жозеф де Местр] мог перещеголять фон-Визина, и то, когда он воздвигал памятник Вольтеру рукою палача». «Париж,—пишет Вяземский,—был в то время род вселенского собора умов и знаменитостей, куда из разных концов Европы стекались для совещания о важных вопросах наук, искусств и философии; род избранного салона, куда отборные члены человеческого общества спешили после трудов, совершенных ими в пользу отечества и ближних, вкушать удовольствия просвещенного досуга, возвышенные награды самолюбия и сии нравственные наслаждения, которые можно назвать плодами одной зрелой образованности, одного зрелого общежития».

Политические писатели и ораторы либерально-оппозиционной Франции 1810—1820 годов: г-жа де Сталь, Бенжамен Констан, Фуа, Жюльен, Гизо, которыми увлекался в эти годы Вяземский, были в его глазах преемниками энциклопедистов и философов-просветителей.

Обильным чтением иностранной, в первую очередь французской, литературы отмечены как годы жизни Вяземского в Варшаве, так и более поздние годы жизни в Москве. В 20-х годах Вяземский ежегодно покупал все доступные привозные новинки в книжных магазинах, выписывал из Парижа по оказии то, что нельзя было достать иначе, получал книги от друзей и т. д. Почти все его письма испещрены упоминаниями о читаемых им французских книгах[7]. Интерес к политической жизни современной Франции возбуждал особое внимание к ее периодике, к журналам и газетам. Все симпатии Вяземского в этот период были на стороне левой, оппозиционной прессы. Однако, он следил и за реакционными изданиями, как, например, за «Conservateur», но, возмущенный, дал ему однажды такую уничтожающую характеристику (24 июля 1819 г.):

«Что за иеремиада этот парижский «Conservateur»! Точно нищий, заливающийся притворными слезами и по любви к Христу ненавидящий богачей. Вот что значит совесть! Конечно, Шатобриан—красноречивейший из французских писателей нынешнего времени, но голос его не убеждает, потому что он совестью не управляем, или совестью, но не чистою, а отуманенной предрассудками или чадом озлобленного самолюбия.

Все удары его косвенны, и самые искры истины бледнеют в разноцветных огнях лжи; вспыхнув, угасают, а с ними и вечный пламень, неприметно сгоревший в этом фейерверке. Он и братия так восстают против полезнейших и священнейших завоеваний нашего века, что усилия их, благие против иных злоупотреблений, издыхают в их бешеных судорогах. Им надобно бы расставить оберегательные огни по опасным скалам, а они разливают пожар по всему берегу. Впрочем, нет худа без добра; торжество никогда на стороне их не будет; одна умеренность (но не равнодушие) все превозмогает. Революционисты должны падать, либералисты устоять»[8].

Большой интерес высказывал Вяземский к антироялистическому изданию, проникнутому симпатиями к Бонапарту,—«Le Nain Jaune», или «Желтый Карла», как его называли по-русски современники Вяземского. Ядовитые шутки этого журнала, направленные против консервативных писателей и политических деятелей, неоднократно использовались Вяземским в применении к русским мракобесам. Вяземский, между прочим, внес в «Записную книжку» следующую любопытную заметку о «Le Nain Jaune» и о влиянии его на русских читателей: «Желтый Карла» может научить шутить забавно. Наша молодежь учится по нем тайнам государственных наук. Это—«Кормчая книга» наших будущих преобра-

зователей»[9]. Запрещенный при Бурбонах, «Le Nain Jaune» впоследствии превратился в журнал «Liberal», который также внимательно читался Вяземским. Особенно привлекали его внимание сообщения о России и Польше, обличавшие невежество и произвол царской власти.

Для периода варшавской жизни Вяземского характерно стремление опереться в своих оппозиционных настроениях на передовое, либерально-конституционное движение европейских стран и Франции, прежде всего, и установить связь между этим движением и делом подготовки «будущих преобразователей» России. Писателей Запада, боровшихся с феодальной реакцией в Европе, Вяземский рассматривает, как своих политических союзников. Он негодует на близорукость консерваторов, не способных понять исторической неизбежности наступления в Европе новой эры буржуазных конституций. Раздраженный, он пишет Тургеневу 7 декабря 1820 г.: «Я слышал от этих дураков: «На месте царей сослал бы я куда-нибудь на отдаленный остров всех этих крикунов (говоря о B. Constant, Gerene и других) и все пошло бы, как по маслу». Врали! Вы не знаете, что эти имена, которые вас пугают, только что ходячие знаки капитала, который разбит по рукам целого поколения возмужавшего и мужающего. Истребите их—явятся другие»[10].

В плане этого осознания себя, как одного из представителей «мужающего поколения Европы», как одного из деятелей общеевропейского либерально-оппозиционного движения, и надо рассматривать внимание Вяземского к передовым освободительным течениям Франции своего времени. Вяземский—не сторонний наблюдатель горячих политических и журнальных боев, имевших место во Франции в эти годы, а заинтересованный участник этих боев, хотя и находящийся на самом отсталом в то время и отдаленном участке поля сражения.

Не только образ мыслей, но и самый стиль сочинений французских либералов являлся образцом для прозы Вяземского. Он решительно противился стилевым исправлениям своих друзей, в которых не находил «ни капли конституционной крови» (например, в Жуковском), и защищал шероховатость стиля против обезличивающего подглаживания и подчистки языка.

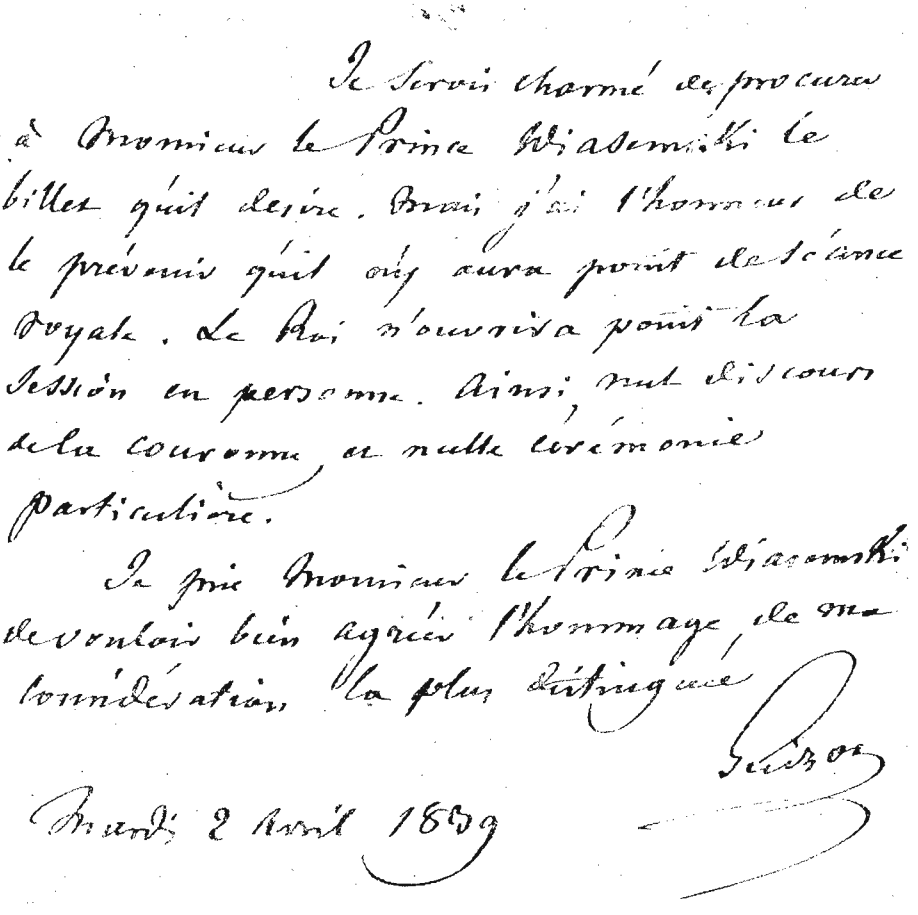
«Я в письме к Карамзину называю некоторые свои пятна родимыми пятнами. Этих стирать не должно, а не то сотрешь кожу и будешь ободранною рожей. Нынешние французские писатели: Benjamin, Etienne, Guizot, Kératry, Bignon так ли пишут, как блаженныя памяти Batteux и другие писатели légitimes? Тут делать нечего: политические события и перья очинили на другой лад. Живописный, неровный, остроконечный слог Монтеня более подобает нам, чем другой, округленный, чинный и вытягивающий пальцы по квартерам. Образ политических мыслей невольно отзывается и в образе излагать мысли свои и не политические» (письмо к А. Тургеневу 30 янв. 1822 г.)[11].

Из поименованных Вяземским писателей наибольшее значение для него в этот додекабрьский период имел Бенжамен Констан. Но, прежде чем перейти к нему, скажем несколько слов о названном вслед за ним Этьене.

Рабо де Сент-Этьен (1743 — 1793) — политический деятель, автор нескольких исторических трудов и сочинений политического характера — очень импонировал Вяземскому[12]. В его «Записной книжке» находится одна чрезвычайно выразительная выписка—перевод или пересказ из

какого-то произведения этого писателя. Эта выписка не была напечатана в опубликованном тексте «Записных книжек». Приводим ее здесь:

«Rabaut de Saint-Etienne: Как жестоки быть не могут войны, которые последуют за объявлением прав, но объявление сие провозгласившие должны избежать упреков; прежде надлежало бы жаловаться тому, что печатание было изобретено. Поток мнений только оттого становится



АВТОГРАФ ПИСЬМА ГИЗО К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ ОТ 2 АПРЕЛЯ 1839 г.
Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

широким и стремительным, что он накопляется многими ручьями и пробивается через поколение».

«Христиане долго таили свой евангелий и тогда только его обнародовали, когда оказались в силе. Евангелий объявления прав вверен был народу нескромному и легкомысленному, который все говорит, что знает. Вот все, на что можно жаловаться рассудительно: но объявление прав настигло, как комета исчезнувшая показывается в свое время: астрономы ее предсказали».

«Невыгода народов заключается в их невежестве, рассеянии, в разнообразности языков, обычаев, законов и нравов и в нелепости народных

ненавистей. Цари пользуются войсками, золотом народов и навыком власти: они все говорят одним языком, имеют послов, лазутчиков, переписки и договоры, быстроту хотения, согласия и исполнения, а к тому же все знают, что они и братья двоюродные».

Далее Вяземский выписывает довольно длинные рассуждения о том, как распространяется и укрепляется в народе «истина», и заключает выписку следующей цитатой:

«Вся политика Франции заключается отныне в распространении просвещения и свободе печатания. Букварь будет учителем грядущего поколения и начальные училища Франции училищами рода человеческого».

Последние слова Этьена вполне разделялись Вяземским в эту эпоху. Сам он полной горстью черпал из французской литературы и журналистики нужные ему знания и аргументы в своей оппозиции самодержавию. Наиболее авторитетным учителем для него был в это время Бенжамен Констан, как известно, оказавший большое влияние и на взгляды ряда декабристов (Оболенский, Рылеев, Поджио и др.).

Бенжамену Констану и его журналу «Minerve» посвящены многие восторженные строки Вяземского в его переписке. «Читаешь ли Минерву, катехизис друзей положительной свободы?»—спрашивал Вяземский Тургенева 3 декабря 1818 г. и восклицал с восхищением: «Какой твердый и ясный ум у этого Benjamin! Отними иногда личное пристрастие, личные выгоды, и он важнейшие политические, т. е. государственные, задачи решит, как дважды два—четыре»[13]. Вяземский был искренно огорчен, когда Б. Констан не прошел в палату депутатов, несмотря на специальное воззвание, с которым Констан обратился к избирателям. «Мне грустно: как можно было не избрать Benjamin?»—замечает Вяземский в письме к тому же Тургеневу. Его не смущают изменения в политических взглядах и отношениях Б. Констана. Наоборот, он берет его под свою защиту, внося в «Записную книжку» следующие размышления: «Мы должны служить не тому и не другому, но той нравственной силе, коей тот или другой является представителем. Я меняю кафтан, а не лицо. И если Benjamin переносил свои мнения от двора Наполеона ко двору Людовика и обратно, то может он избежать осуждения; но дело в том, чтобы переносить мнения, а не слова»[14].

Цитаты из журнала Б. Констана «Минерва» в «Записной книжке» и письмах к А. Тургеневу показывают, что Вяземский внимательно следил за этим журналом и скреплял его авторитетными высказываниями свои собственные политические мнения. Когда «Минерва» прекратила существование, Вяземский стал читателем газеты «La Renommée», которую основал Б. Констан в 1819 г. и которая через год была запрещена. Участие Б. Констана в «Le Courrier Français» в качестве редактора с 1820 г. привлекло внимание Вяземского и к этому журналу.

В течение всех 20-х годов Вяземский прислушивался ко всем известиям о Б. Констане, получаемым из печатных источников и письменных (переписка с А. Тургеневым и др.), а в конце этих лет приступил к переводу его романа «Адольф». В своем посвящении перевода Пушкину Вяземский написал следующие строки, которые выражают всю глубину уважения его к автору переводимого романа: «Прими мой перевод любимого нашего романа. Смиренный литограф, приношу великому живописцу бледный снимок с картины великого художника. Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего, что, приняв-

щись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему...».

Переводя в 1829—1830 гг. роман Б. Констана, Вяземский питал надежду познакомить с переводом самого автора романа и, может быть, познакомиться с ним самим при поездке в Париж. «Если встречаешь где-нибудь Benjamin Constant, скажи ему, что он скоро получит от меня перевод мой «Адольфа» его. Перевод кончен и переписывается»,—писал Вяземский в Париж А. Тургеневу 25 апреля 1830 г., на что последний ему отвечал 2 июня того же года: «Я уже заявил Бенжамену Констану о твоем намерении прислать ему перевод его романа»[15]. Однако, смерть Б. Констана в 1830 г. разрушила надежды Вяземского на личное знакомство, и он разочарованно записал в дневнике под 24 декабря 1830 г.: «Все мои европейские надеждишки обращаются в дым. Вот и B. Constant умер; а я думал послать ему при письме мой перевод «Адольфа». Впрочем, Тургенев сказывал ему, что я его переводчик. Редеет, мелеет матушка Европа. Не на кого будет и взглянуть. Все ровня останется»[16].

Если с Б. Констаном Вяземскому не удалось познакомиться, то с другим политическим деятелем Франции, Гизо, интерес к которому возник у Вяземского в самом начале 20-х годов, ему впоследствии удалось сблизиться и лично.

В конце 1820 г. Вяземский читал с большим вниманием книгу Гизо: «Du gouvernement de la France depuis la restauration et du ministère actuel», которая выдержала в этом году в Париже три издания. Цитируя ее в письмах к А. Тургеневу, Вяземский давал о ней следующий отзыв: «Есть много дельного... Есть много портретов не столь блестящею кистью, как у Констана, написанных, но хорошо образующих лица отставных и действующих делотворцев Франции» (21 ноября 1820 г.)[17].

Вяземский сделал попытку перевести отрывки из книги Гизо на русский язык и, предполагая их напечатать в «Сыне Отечества», послал свою работу А. Тургеневу для помещения в печать. Интересно, что Вяземский ощутил большие трудности при переводе либеральных политических рассуждений Гизо «на наш язык неволи» и очень остерегался исправлений перевода петербургскими друзьями, которым либерализм этот был более чужд, чем ему, и которые более его боялись цензуры.

«Зачем не печатаете вы моего Гизо, расставщики новых и строчных препинаний!—восклицал Вяземский в письме к А. Тургеневу в феврале 1821 г.—Исправьте что хотите: прозу отдаю вам. Пускай и цензура чего не пропустит: точки да точки! Они отныне будут вывескою мыслящего пера. Пускай и всего не пропустят и то не бесплодно. Архивы ценсорские завалятся моим письмом. Придет день суда и расправа учинится. За что же вам, друзьям моим, зажимать мне рот?»[18].

Перевод Вяземского так никогда и не появился в печати. Но интерес его к Гизо не только не ослаб, но все возрастал в течение всех 20-х годов.

Для более полной характеристики французских интересов Вяземского в 20-х годах скажем еще несколько слов о его пристальном внимании к современной ему французской художественной литературе.

Прежде всего надо отметить, что Вяземский был одним из первых поклонников в России великого песенника, демократа Беранже. В одной из ранних «Записных книжек» Вяземского (1813—1821), куда он вносил лишь записи о близко интересовавших его вещах, мы находим тексты ряда песен Беранже: «La fée Urgande», «La petite fée» (1817), «Le ventru» (1818), «La

sainte alliance des peuples» (1818), «Nouvel ordre du jour» (1823), «Le bon Dieu» (1820), «Le Dieu des bons gens» (1817), «La mort du roi Christophe» (1820), «Les Mirmidons ou les funérailles d'Achille» (1819), «Le cinq Mai» (1821).

Тексты этих песен Вяземский, очевидно, получал с оказией из Парижа и иногда ранее их появления во французской печати.

Получая в Варшаве новинки из Парижа, Вяземский слал друзьям в Петербург вместе с другими новостями и новые песни Беранже и просил Пушкина перевести их на русский язык (письмо к А. Тургеневу от 17 ноября 1818 г.). Одну из присланных песен, а именно «La petite fée», приятель Вяземского, Плещеев, положил на музыку и исполнял ее в собрании петербургских друзей.

Несомненно, что собственные сатирические песни Вяземского, с их характерным повторяющимся припевом, созданы не без влияния знаменитого французского песенника.

С большим уважением относился Вяземский к г-же де Сталь. Еще в 1817 г. он посвятил ей следующие строки:

О, долго будешь ты воспоминаньем славен,
Коппет! где Неккеру, игре народных бурь
Блеснула в тишине спокойствия лазурь,
И где изгнанница тревожила из ссылки
Деспота чуткий ум и гнев, в порывах пылкий.
В сияньи, он робел отдельного луча:
И мир поработив владычеству меча,
С владычеством ума в совместничестве гордом
Он личного врага воюя в мненьи твердом,
Державу мысли сам невольно признавал.

В 1822 г. Вяземский поместил в «Сыне Отечества» (ч. 79, № 29) небольшую статью по поводу изданного некоим Габбе—офицером, служившим в Варшаве,—сочинения под названием «Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольстейн». В этой статье Вяземский дал чрезвычайно высокую оценку французской писательницы: «Следы, ею проложенные, глубоко врезались на почве французской литературы, и влияние ее на умы и души современников принадлежит истории». Кроме того, Вяземский отметил, что в жизни г-жи де Сталь «с л о в о было заодно с д е л о м... Вся жизнь ее была красноречивым дополнением к красноречивым творениям».

В той же плоскости интереса к оппозиционной либеральной литературе Франции лежит увлечение Вяземского романом Шарля Нодье: «Jean Sbogar». Не зная еще автора произведения, Вяземский давал ему следующую восторженную характеристику: «Есть ли у вас «Jean Sbogar», новый роман и не русским ли он сочинен?.. Тут есть характер разительный, а последние две или три главы—ужаснейшей и величайшей красоты. Я, который не охотник до романов, проглотил его разом» (20 окт. 1818 г.)[19].

Несмотря на охлаждающие отзывы друзей, Вяземский продолжал восторгаться произведением Шарля Нодье, цитировал его в письмах и в скобках приписывал: «„Jean Sbogar", который, что ни говорите, очаровательный роман».

Повествование Нодье о разбойнике-философе, написанное в духе социальных идей Французской революции, оказалось родственным личным

переживаниям Вяземского этого периода. В одном неопубликованном письме к А. И. Тургеневу от 9 марта 1820 г. находим отрывок, в котором Вяземский использует высказывания Жана Сбогара, чтобы ярче обрисовать свои собственные переживания:

«...Я уверен, мне никогда в русском обществе нельзя будет ужиться: я почти постигаю Jean Sbogar'a, когда он говорит о невнимании к нему девиц, ослепленных блеском света и ласкательствами изнеженных обожателей: «Я с исступлением думал тогда, что сладостно будет мне отучить их некогда от предубеждений их надменности, проливая кровь перед ними или пугая заревом пожара!»—и переношу это чувство к ареопагу гостиных...».

Подводя итоги беглому обзору высказываний Вяземского в преддекабрьскую эпоху о французской политической и художественной литературе, можно констатировать, что Франция в эту пору подлинно являлась для него руководительницею в его политических убеждениях, литературных вкусах и работе. К Франции, точнее, к либеральной Франции, находившейся в оппозиции к реставрированной монархии Бурбонов, были направлены все стремления, мечты и личные надежды Вяземского.

Возможность реакционного влияния царской России на политику Европы приводила Вяземского в ужас: «Что же за власть ума, что за владычество просвещения, если этот труп может наложить руку на Европу живую? Я первый скажу: Франции, если спросили бы меня, кому хозяйничать в Европе: ей или России в нынешнем ее положении» (письмо к А. Тургеневу, ноябрь 1819 г.)[20].

ШАРЛЬ НОДЬЕ
Фарфор завода Миклашевского, 1850-е гг.
Частное собрание, Москва

Во Франции Вяземский видел своего союзника в оппозиции самодержавной и крепостнической России, из которой в минуты отчаяния был готов бежать хотя бы навсегда.

В. Нечаева

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

| | |
|---|---|
| О. А. | Остафьевский архив князей Вяземских. Изд. гр. С. Д. Шереметева, тт. I—IV, СПБ. 1899—1908; т. V в двух выпусках под ред. и с примеч. П. Н. Шеффера, СПБ. 1909—1913. |
| Вяземский | Полное собрание сочинений кн. П. А. Вяземского, 12 томов. Изд. С. Д. Шереметева. СПБ. 1878—1886. |
| R. E. | «Revue Encyclopédique». |

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О. А., I, стр. 337. Письмо от 25 октября 1819 г.

[2] Перечисляя в этом стихотворении «путеводителей, наставников, друзей» своей поэзии и своего умственного развития, Вяземский в первую очередь называет французские имена. Среди них, кроме Вольтера,—Андре Шенье («певец и мученик свободы»), Ж.-Ж. Руссо («враг общества и человека друг»), г-жа де Сталь («Плутарховых времен достойная Коринна, философ мудростью и пламенем поэт») и др. См. П. А. Вяземский, Избранные стихотворения. Ред. В. С. Нечаевой. «Academia», 1935, стр. 146 и сл.

[3] Вяземский, I, стр. 65—70. Статья написана по поводу книги «Lettres inédites de Voltaire». Paris, 1818.

[4] Запись Вяземского о Вольтере публикуется полностью впервые по рукописному тексту его «Записной книжки». В тексте, опубликованном в соч. Вяземского (т. IX, стр. 30), находим лишь первые 6 строк. Остальное опущено, конечно, по идеологическим соображениям издателя.

[5] Последние две цитаты из Монтескье также опущены в печатном тексте «Записных книжек» и публикуются впервые по рукописи.

[6] П. А. Вяземский, Избранные стихотворения. Ред. и комм. В. С. Нечаевой. «Academia», 1935, №№ 143 и 144.

[7] В архиве Вяземского, находящемся в ГАФКЭ, сохранился интересный документ—список-счет книгам, купленным Вяземским в одном из книжных магазинов в 1818—1820 гг. (магазин Glückberg). Приводим его здесь, как свидетельство о чтении пушкинского современника незадолго до декабрьского восстания.

1818

1—Al. à la Minerve, 1818
21—Malvine en Français, 2 vol.

Octobre
5—L'officieux
17—Wallenstein tragédie
» Almanach des Dames

Novembre
11—Campagne de Belgique
24—Poésie de Chénier

Décembre
2—Pièces de théâtre
3—L'Allemagne Fédérative
» Souvenirs et Portraits
» Der Election
» Cours de Politique
14—Fables de Lafontaine, 2 vol. papier velin
» Lettres inédites de Voltaire
» Conversation sur l'Economie politique

1819

Mai
7—Eloge de Romilly
» Lettre de Napoléon à Carnot

Novembre
15—Correspondance Politique
17—Précis historique sur la Révolution
» Historia Polska, Bandkiego
» Dictionnaire d'Anecdote

1820

Janvier
4—Œuvres de Mirabeau
» Œuvres de M-me de Staël
» Jugement sur Napoléon
» Louis XVI et ses défenseurs

Février
3—Lionel
» Mémoires de Joséphine
» Congrès de Carlsbad
» Soupers de Momus
» Poésie de Charrin
10—Nain Jaune
» Le nouveau Caveau
» Clenarvin [?]
» Œuvres de M-me de Staël
» Dictionnaires des abus
» Le Royaume de Westphalie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mai | 7 Mémoire d'un homme célèbre | Février | 10 Œuvres de Lord Byron |
| | » Examen de Sturdza | | 22—Document sur Napoléon |
| | » Belizaire | Mars | 1—Chanson de Ségur |
| | » L'Esprit de vérité | | » Œuvres de Lebrun |
| | 21—Thérèse Aubert, Correspondance de Napoléon | | 6—Abécédaire |
| | | | 30—Fabres de Jaufret |
| Juin | 22—Satyre de Juvenal | | » Les animaux parlants |
| | [2]9—3-e Recueil sur S-te Hélène | Juin | 15—Manuel pour la jeunesse |
| | » Marie Stuart | Août | 18—Lord Byron 4. 5. 6. 7. Œuvres de M-me de Staël |
| Août | 31—Reflexion sur l'histoire | | 21—Histoire universelle par Muller |
| | » Mémoire sur le partage de la Pologne | | 31—Mémoires sur Napoléon |
| Novembre | 15—3-e Congrès de Carlsbad | Septembre | 9—Journal de la diète |
| | » Leçons pour les Enfants | | » Dyavynaz [?] |
| | » Table de la Littérature | | 12—Elections p. Pradt |
| | » Fragment de la Littérature | | B. Constant |
| | » Jérusalem délivré par R. Lormion | | Annuaire de Peinture, 1819 |

Обилие в этом списке исторических и политических сочинений, касающихся современного состояния Европы, особенно характерно для Вяземского этих лет. Многочисленные сочинения того же рода получал Вяземский от А. Тургенева, который имел особенно благоприятные условия для того, чтобы получать новинки из Парижа. Тургенев получал книги ящиками от брата Сергея, находившегося за границей, при посредстве курьеров и многочисленных знакомых, возвращавшихся из заграничных путешествий. Все книжные новинки скоро попадали в руки Вяземского для прочтения.

[8] О. А., I, стр. 273—274.

[9] Вяземский, IX, стр. 11.

[10] О. А., II, стр. 117.

[11] О. А., II, стр. 242.

[12] Иного мнения был о нем Пушкин, который в письме от 5 июля 1824 г. охарактеризовал его: «Рабо де С-т Этьен—дрянь». См. «Переписка Пушкина», изд. Академии наук, т. I, стр. 123.

[13] О. А., I, стр. 161.

[14] Вяземский, IX, стр. 23.

[15] О. А., III, стр. 196 и 205.

[16] Вяземский, IX, стр. 155.

[17] О. А., II, стр. 106.

[18] Там же, стр. 156.

[19] О. А., I, стр. 133.

[20] Там же, стр. 347.

## II. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ и «REVUE ENCYCLOPÉDIQUE»

В биографии Вяземского 1821 г. знаменателен: до этого года поэт и критик, он в то же время—крупный чиновник, своею деятельностью в царстве Польском вызывавший одобрение императора Александра I; после этого года он—«революционер и карбонар», высланный из Варшавы по приказу цесаревича Константина Павловича и проживающий на положении опального изгнанника в своей подмосковной вотчине, Остафьеве[1].

«Либералист» и сторонник независимости или, по крайней мере, автономии Польши, Вяземский в 1812—1821 гг. принял живое участие в показных конституционных опытах, предпринятых тогда Александром I на польском участке его самодержавно-российского поместья. Эти опыты Вяземский принял настолько всерьез и проявил при этом столько конституционного пыла и «либералистского» жара, что дождался в 1821 г.

грубого окрика со стороны Александра I: ему был объявлен «гнев государя» и запрещен въезд в Варшаву. Вяземский занял тогда слишком левую позицию для того, чтобы аракчеевское правительство Александра могло ее терпеть. Он—на-зло заправилам Священного союза—направо и налево объявлял себя солидарным с конституционалистами оппозиционной Франции. На старости лет он признавался: «Политическая трибуна представителей французского народа была в то время богата великими и красноречивыми ораторами. Я, грешный человек, особенно любовался и увлекался красноречием ораторов левой стороны»[2].

О своих «либеральных банкетах» в Варшаве (подлинное выражение Вяземского) он уведомлял А. И. Тургенева: «У меня каждый раз прения французской палаты, преют за варшавским обедом»[3].

В одном своем отрывке Вяземский хорошо выразил свои обвинения, предъявлявшиеся им тогда правительству Александра I: «В обществе, где я не имею законного участия по праву того, что я член оного общества, я связан. Читая газеты, видя, что во Франции и Англии человек пользуется полнотою бытия своего нравственного и умственного, видя там, что каждая мысль, каждое чувство имеет свой исток и применяется к общей пользе, я не могу смотреть на себя иначе, как на затворника в тюрьме»[4].

В этом отрывке—весь Вяземский, с его подлинным социальным мироощущением. Он не вносит ни одной политико-социальной поправки к аристократическому конституционализму Франции и Англии 20-х годов: там, будто бы, «человек пользуется полнотою бытия своего». Распространяется ли там эта «полнота» на «экономическое» бытие, включает ли она в себя все слои населения, об этом Вяземский умалчивает. Он ждет либеральных реформ от правительства. Конституционализм и социальный реформизм должны предохранять Россию от революции. Вяземский был слишком умен, чтобы не знать, что в крепостной России крестьянскую революцию можно надеяться «предотвратить» лишь чем-то более существенным, нежели «свобода печатания» для неграмотного крестьянства, и потому он был сторонником освобождения крестьян на выгодных для дворянства условиях.

Неспособность правительства Александра в 20-х годах воспринять идею реформизма выводила Вяземского из себя, толкая его на резкие политические высказывания в стихах и прозе, которые далеко превышали действительную наличность его либерализма.

Свою «опалу» в Остафьеве Вяземский склонен был расценивать, как гражданскую победу, и с гордой горечью писал А. И. Тургеневу: «Неужели почитаешь меня больным от неудачи по службе? Клянусь тебе честью, что предложи мне теперь первое место в государстве или приятнейшее по вкусам моим, при нынешнем положении дел, которого не одобряю, отказался бы я от всего без малейшего усилия»[5].

Однако, он не мог не понять, что последовательное фрондирование и продолжение варшавских опытов либеральной проповеди через посредство перлюстрируемых писем может кончиться для него плохо, и, еще не засев прочно в Остафьеве, извещал того же приятеля: «Посадили на диэту. Письма мои ни дать ни взять будут статьи «Северной Почты» [правительственная газета]. Тс! Уж и тут не проговорился ли я? Да, правда, она покойница: вступиться некому»[6].

К 1824 г. Вяземский вполне уже ощутил всю «прелесть» опального прозябания в Москве и Остафьеве, под тайным надзором полиции, под тщательной

МАРК-АНТУАН ЖЮЛЬЕН ДЕ ПАРИ
Редактор „Revue Encyclopédique"
Литография 1830-х гг.
Институт Маркса-Энгельса-Ленина, Москва

цензурой перлюстраторов, под враждебным нашептыванием великосветской и чиновничьей молвы, которая готова была сделать из конституционалиста-аристократа опасного «карбонария» и «якобинца». 13 августа этого года Вяземский, при вести о ссылке Пушкина в Михайловское, с худо скрытым отчаянием жаловался А. И. Тургеневу:

«Умнейшие из нас, дельнейшие из нас, более или менее, а все вывихнуты: у кого рука, у кого язык, у кого душа, у кого голова в лубках». Не без параллели с самим собой, Вяземский восклицает о Пушкине: «Или не убийство—заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской?»[7].

Через год (конец августа 1825 г.) Вяземский уже слал Пушкину в Михайловское уроки политического «благоразумия», которому сам научился в Остафьеве: «Покорись силе обстоятельств и времени. Ты ли один терпишь, и на тебе ли одном обрушилось бремя невзгод, сопряженных с настоящим положением не только нашим, но и европейским?.. Хоть будь ты в кандалах... их звук не разбудит ни одной мысли в толпе, в народе, который у нас мало чуток... Оппозиция у нас—бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях... Она не в цене у народа. Не ты один на черной доске у судьбы: есть тоже имена честные, но так как они не подписываются в журналах, то их давно уже нет в помине»[8].

Письмо это подводит итог той оценке политического положения в России, а также и за границей, которая сложилась у Вяземского в годы его опалы; не только Россия, но и Европа находятся во власти торжествующей священно-союзной реакции, и нет никакой надежды на то, чтобы положение скоро изменилось. Вывод как для Пушкина, так и для самого Вяземского отсюда должен быть только один: благодарить судьбу, что рука царствующего Скалозуба назначила в опале быть: одному — в Михайловском, другому — в Остафьеве, а не где-нибудь подальше и похолоднее. Что у Вяземского были основания так думать, свидетельствуют слова следователя по делу декабристов, Николая I, сказанные автору «Доне-

сения» по этому делу, Д. Н. Блудову: «Отсутствие имени его [Вяземского] в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других»[9]. Из всех поэтов пушкинской плеяды, кроме самого Пушкина, Вяземский в 20-х годах был на наибольшем подозрении у правительства.

В новой, остафьевской опале Вяземский оставался горячим сторонником либеральных идей французских конституционалистов.

Через И. Л. Туркула, занимавшего пост главного директора канцелярии статс-секретариата царства Польского, и через других приятелей с видным служебным положением Вяземский имел возможность получать из-за границы книги и журналы, доступ которым в Россию был затруднен или прямо воспрещен. На письменном столе Вяземского не переводились парижские новинки: г-жа де Сталь (посмертные сочинения), Бенжамен Констан, Гизо, Биньон (книга о конгрессе в Троппау), Беранже.

Пристрастию Вяземского к левой французской парламентской трибуне соответствовало его увлечение левыми органами парижской прессы.

В их числе особою любовью Вяземского пользовались журналы Марка-Антуана Жюльена—«Le Constitutionel» и «Revue Encyclopédique». Вяземский интересовался писательской и журнальной деятельностью этого замечательного человека, имевшего старую и заслуженную репутацию вождя левой прессы еще со времени революции 1789 г. Биография Жюльена (Marc-Antoine Jullien de Paris, 1775—1848) чрезвычайно ярка. Он учился в парижском Collège de Navarre et de Montaigu, когда взятие Бастилии вовлекло его в революцию; он разбрасывал по улицам написанные им самим воззвания с призывом: «Разрушить Бастилию—этого мало. Надо ниспровергнуть трон». Один из его учителей, участвовавший в «Journal du Soir», брал его с собою в Национальное собрание и поручал пятнадцатилетнему мальчику составлять отчеты для газеты. Он писал и печатал уже статьи и стихи, когда в 1792 г. вступил в клуб якобинцев и сделался горячим сторонником Робеспьера. Семнадцатилетний юноша пользовался таким доверием своих политических единомышленников, что в 1792 г. ездил в Англию с дипломатическим мандатом (brevet). В 1793 г. Жюльен был уже военным комиссаром в Западных Пиренеях и с таким успехом произвел экстренный набор в трех департаментах, что Комитет общественного спасения призвал его в Париж, дал ответственное поручение совершать объезды городов южных и западных провинций, поднимая на местах революционный дух, собирая сведения об общественном настроении и прослеживая происки контрреволюционеров*.

В Сен-Мало он стал во главе отряда волонтеров, действовавших против вандейцев, и после победы дал этому городу имя «Commune de la Victoire». Жюльен пользовался большой популярностью в провинции, но, как ярый робеспьерьянец, нажил себе там также много врагов и подвергался арестам и преследованиям. Вернувшись в Париж после 9-го термидора, Жюльен подвергся преследованию, как сторонник Робеспьера, в частности, ему ставилась в вину его переписка с последним. Комитет общественного спасения назначил ему 15 дней для представления отчета об его политической поездке, а затем Жюльен был арестован и освобожден лишь в октябре 1795 г. по амнистии IV года. Недолго пробыв начальником

---

* Находясь в Бордо в 1794 г., Жюльен написал патриотическую пьесу: «Les engagements des citoyennes». Текст ее впервые публикуется в первом выпуске настоящего издания по рукописи Жюльена, обнаруженной в СССР.

бюро законов, он подал в отставку и весь отдался деятельности журналиста. Сотрудник «Journal du Soir», «Anti-Fédéraliste», «Bulletin politique», он основал «Orateur plébéien», в котором восставал против надвигающейся реакции. Жюльен принял участие в заговоре Бабёфа. Ему удалось, однако, скрыться в деревню, а затем бежать в Италию. Здесь он обратился с письмом к Наполеону, прося, чтобы он принял его в армию. Наполеон поручил ему редактирование газеты «Courrier de l'Armée d'Italie»; впрочем, Жюльену вскоре пришлось отказаться от этого дела, так как он не желал поступиться независимостью своих воззрений. Жюльен встречался не раз с Бонапартом в практической работе: ездил в экспедицию в Египет в качестве военного комиссара, участвовал в битве под Аустерлицем и т. д. За визит к г-же де Сталь Наполеон выслал его из Парижа, а в 1813 г. Жюльен был арестован за статью против императора. В эту пору Жюльен выступал в печати решительным противником Бонапарта и его военного режима. Воцарение Бурбонов застало его во главе ярко-оппозиционного органа «L'Indépendant», переименованного позднее в «Le Constitutionnel». После запрещения «L'Indépendant» Жюльен уехал в Швейцарию, куда ездил и раньше к знаменитому Песталоцци, педагогическими идеями которого очень интересовался. С 1818 г. он весь отдался изданию «Revue Encyclopédique» и редактировал этот орган до 1831 г. Бурная жизнь революционера и политического деятеля не помешала Жюльену стать одним из образованнейших людей своего времени. Политик и публицист, он был, как ученый, сведущ в физике, как специалист, он интересовался естествознанием и получил известность, как писатель по вопросам педагогики.

Вяземский, как видно из письма его к А. И. Тургеневу от 29 декабря 1835 г., был знаком с сочинением Жюльена «Essai sur une méthode qui a pour objet de bien régler l'emploi du temps», вышедшем в 1818 г. Жюльен был известен ему и как поэт: Вяземский был знаком с его известным стихотворением «La France en 1825, ou mes regrets et mes espérances», включенным в собрание стихов Жюльена, вышедшее в 1825 г. в Париже вторым изданием.

Вяземский знал Жюльена и еще с одной стороны, мало для всех известной, но особенно примечательной для Вяземского.

В 1817—1818 гг., с ведома и с некоторым участием самого Карамзина, два петербургские француза, Сен-Тома и Жоффре, предприняли перевод «Истории государства Российского» на французский язык. Но одновременно Жюльен и Fursi-Laisné объявили в 1818 г. в Париже подписку на свой перевод этого труда, выпустив особый «Prospectus» и переведя, для образца, знаменитое «Предисловие» Карамзина к его «Истории». Перевод петербургских французов, вышедший в Париже уже в 1819 г.—«Histoire de l'Empire de Russie» (traduite par M. M. St. Thomas et Jauffret, 8 v.), помешал предприятию Жюльена и Fursi-Laisné: оно не осуществилось, но вызвало, однако, к себе большой интерес со стороны Вяземского и всех друзей и врагов Карамзина[10]. Сам Карамзин, как явствует из неизданного письма его от 30 сентября 1818 г. к Сен-Тома, сочувствовал своим петербургским, а не парижским переводчикам[11].

Вяземский был прилежным читателем «Constitutionnel» и особенно «Revue Encyclopédique» Жюльена. «Графиня Разумовская прислала мне из Парижа несколько номеров Constitutionnel,—сообщает А. И. Тургенев Вяземскому в июле 1817 г.—Пришлю тебе, но не потеряй». Вяземский

тогда же спешит ускорить получение газеты: «Присылай мне Constitutionnel». Это были последние номера издания, только что запрещенного Бурбонами и доставленные, конечно, не по почте, а с оказией, оттого ими так и дорожили русские «либералисты»[12].

Столь же заботливо снабжал Тургенев Вяземского, сидевшего в Остафьеве, и выпусками «Revue Encyclopédique» (см., например, письмо от ноября 1821 г.)[13]. Интерес Вяземского и его друзей к «Revue Encyclopédique» понятен. Это было широко поставленное, глубоко осведомленное обозрение европейской культурной жизни, мысли и искусства. Если сам Гёте был постоянным читателем и ценителем «Revue Encyclopédique»[14], то для Вяземского и его друзей, живших в каземате аракчеевской России, «Revue» Жюльена было настоящим окном, сквозь которое веяло свежим воздухом европейской культуры и общественности.

Журнал привлекал внимание русского читателя и потому, что уделял много внимания русской жизни и литературе; редакция «Revue Encyclopédique» была осведомлена в них лучше любого из заграничных изданий. Деятельным сотрудником журнала в 1824—1825 гг. и секретарем редакции был стихотворец и критик Эдм-Иоахим Геро (Edm-Ioachim Hérau, 1791—1836), проведший десять лет (1809—1819) в России, хорошо овладевший русским языком и считавшийся в эту пору едва ли не лучшим во Франции знатоком русской литературы. В «Revue Encyclopédique» Геро часто выступал с критическими статьями о русской литературе и с переводами из русских писателей.

В 1823 г. Вяземский, усердный читатель «Revue Encyclopédique», получил предложение стать ее сотрудником. Вероятнее всего мысль залучить Вяземского в сотрудники была подсказана Жюльену Э. Геро, который не мог не быть знакомым с литературной деятельностью Вяземского и, может быть, встречался с ним в Петербурге в 1817—1818 гг.

2 февраля Вяземский поручил А. И. Тургеневу: «Попроси Туркуля от меня, чтобы он подписался в Варшаве для меня на «Revue Encyclopédique». Меня вызывают быть русским корреспондентом редакции»[15]. Кто именно и как приглашал Вяземского к сотрудничеству в 1823 г. и что ответил на это Вяземский, нам неизвестно, но в следующем 1824 г. предложение было повторено непосредственно Жюльеном.

На этот раз на приглашение Вяземского могли натолкнуть Жюльена русские сотрудники его журнала—С. Д. Полторацкий (1803—1884) и Я. Н. Толстой (1791—1867). Оба они участвовали в «Revue Encyclopédique» с первых номеров 1824 г. Оба хорошо знали Вяземского, как писателя, и были с ним знакомы—один по Москве, другой по Петербургу. Вяземский ответил обширным и весьма замечательным письмом, остававшимся до сих пор неизвестным:

*Перевод:* Остафьево (в 25 верстах от Москвы), 21 мая (ст. стиля) 1824 г.

С истинным удовлетворением имел я честь получить ваше письмо от 1 марта 1824 г. в ответ на мое прошлогоднее. Ваше доверие мне льстит, и я был бы счастлив, если бы имел возможность дать на него ответ, достойный вас и вашего периодического издания. Но, по совести, вы просите невозможного, требуя сведений главным образом о фактах, которые могут характеризовать развитие и успехи цивилизации на нашей родине. Разве вы не знаете, что Россия находится в еще совсем младенческом возрасте

и что говорить вам о ней—значит делать крайне жестокую критику той опеки, которая держит ее в состоянии запоздалого детства? Беседовать с вами о наших академиях, о наших ученых обществах, литературных, филантропических и т. д.—это значило бы составлять газетные статьи; но для этого надо сначала запастись совестью газетного писаки, на что я чувствую себя неспособным. Я вижу свою национальную гордость не в том, чтобы торжествовать по поводу того, что̀ у нас есть, а в том, чтобы сожалеть о недостающем. Я не принадлежу к нищим, старающимся выставить напоказ богатства, которых они не имеют, а скорее принадлежу к тем, которые нарочно показывают свои лохмотья, потому что считают себя достойными лучшей судьбы. И все мои благомыслящие соотечественники, конечно, разделяют мое мнение.

Посмотреть на нас—кажется, что мы обладаем всем наравне с другими нациями, но все наше богатство лишь в словах и в декоративной роскоши. Как арлекин, двигающий ногами и не трогающийся с места, мы делаем вид, что двигаемся, а на самом деле не идем вперед. Конечно, при всем этом, время все же течет и подземное невидимое течение событий, тем не менее, подталкивает нас вперед, хотя ни правительство, ни большинство из нас не обращают на это внимание.

Несомненно, что, заснув в пеленках нашей кормилицы, в один прекрасный день мы проснемся взрослыми. До той поры предоставим наемным панегиристам или тем, кто принимает слепое тщеславие за национальную гордость, хвастаться нашими успехами; мы, прочие, помолчим, если уже нам никак не позволено говорить правду. Удовольствуйтесь же на этот раз, милостивый государь, сведениями не о том, что делают взрослые люди, но о том, чем забавляются дети.

Мы любим сочинять стихи, и мы сочиняем их иногда довольно хорошо. Едва выйдя из колыбели, мы лепечем стихи! С прозой, которая требует лучшего питания, мы справляемся довольно плохо, и, за исключением «Истории России» г. Карамзина, мы можем смело сказать, что не имеем ни одного большого прозаического произведения. К тому же, и вышеназванное произведение является у нас плодом, до срока созревшим, который был бы лучше оценен в Европе, чем в России.

Я решил присоединить к моему бюллетеню несколько отрывков из моей статьи о жизни и трудах г. Дмитриева, не из-за пристрастия к себе самому, но потому, что эти отрывки могут дать вам некоторое представление о нашей литературе и о том, как на нее смотрят в России. Если бы я имел в моем распоряжении другие материалы, более подходящие для моей цели, то, поверьте, я не выставил бы себя вперед. Я надеюсь иметь вскоре хороший немецкий перевод этой статьи полностью, так же как и двух других моих небольших литературных работ, касающихся Державина (нашего первого поэта-лирика) и Озерова (нашего единственного поэта-трагика, достойного этого имени), и я надеюсь их вам послать. Нам очень трудно, чтобы не сказать невозможно, найти здесь кого-нибудь, кто мог бы хорошо переводить с русского на французский; немцы выучивают наш язык с большей легкостью, чем ваши соотечественники, к тому же я думаю, что хороший немецкий перевод для вас будет понятнее, чем плохой французский, который мы должны бы были предложить за неимением лучшего. Во всяком случае, вот маленький литературный бюллетень и четыре выдержки из упомянутой статьи; делайте с ними, милостивый государь, то, что хотите, что сможете. Я присоединяю к этому немецкий пере-

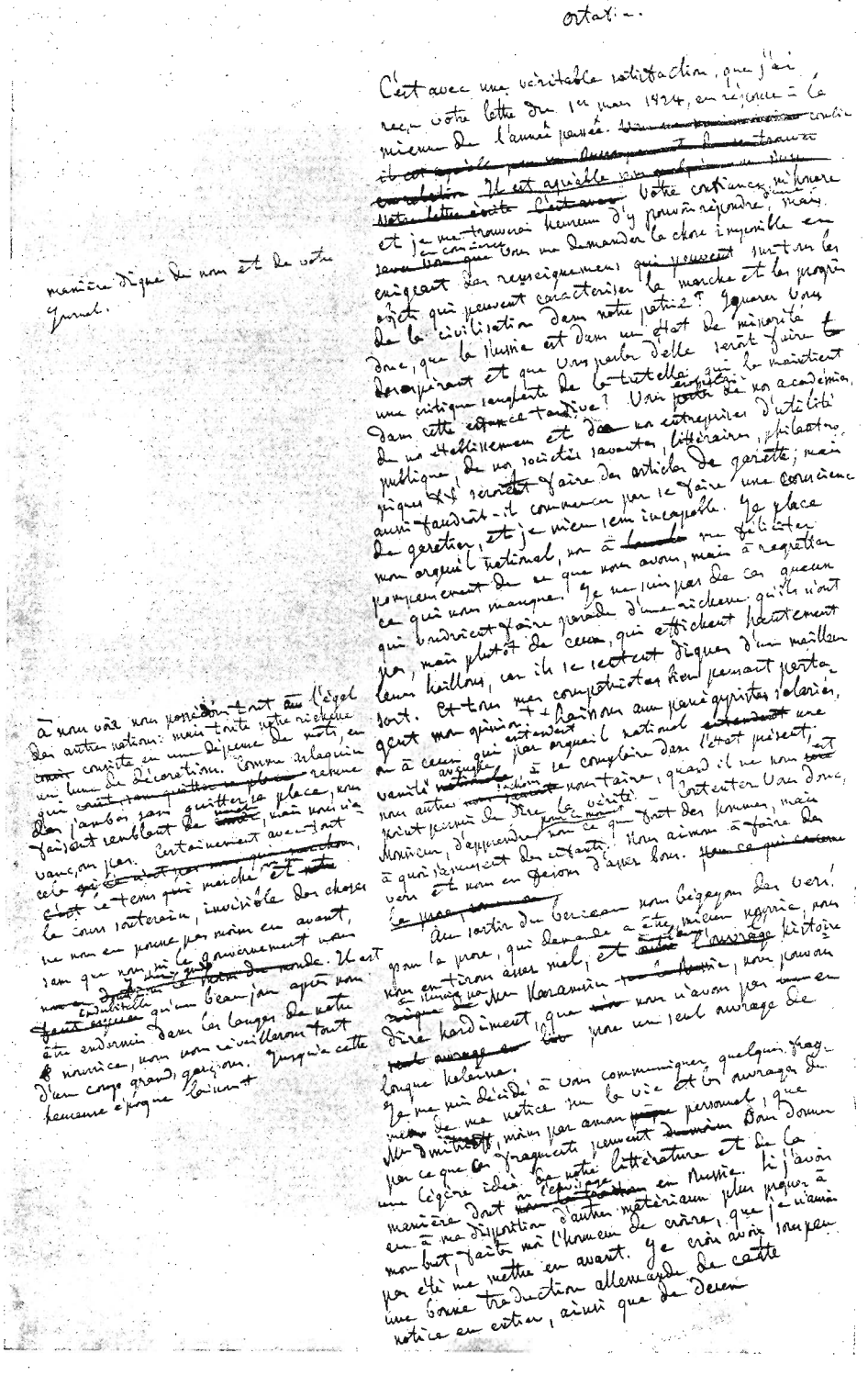
вод одного предисловия, написанного мною в форме диалога, к новой поэме Пушкина, экземпляр которой я вас прошу принять, как легкий дар нашей северной музы. Удастся ли мне когда-нибудь явиться к вам, чтобы прочесть ее и приучить ваш взыскательный слух к звукам языка, который вовсе не такой варварский, как то думают в Европе? Вы найдете в этой безделушке несколько соображений о нашей поэзии и ее отношении к так называемой поэзии классической и романтической. Я только слегка коснулся предмета и принужден был сообщить моим размышлениям быстроту диалога. В общем, судите меня больше по тому, что я лишь слегка наметил, чем по тому, что я сказал: благодаря нашей цензуре, во всех наших речах слабой стороной является то, что мы высказываем, и сильной то, что мы умалчиваем. Знаете ли вы, что нам совершенно не позволено высказывать откровенно даже чисто литературные суждения, если они затрагивают общепринятые мнения?

Наша литература имеет свое узаконение, совершенно такое, как власть.

Я был бы очень рад сообщить вам некоторые материалы о Польше, но наши сношения с этой страной очень стеснены; несмотря на то, что ее изо всех сил стремятся обрусить и очистить, погасив в ней огонь всякой живой жизни, все же она еще кажется слишком опасной и слишком подверженной эпидемиям правительству, которое учредило между нами и Польшей санитарный кордон, находящийся в руках второго герцога Ангулемского. Мне в особенности было бы трудно оказать вам какую-либо пользу в этом отношении, так как мои сношения с поляками взяты под строжайший надзор после пребывания моего в течение нескольких лет в Варшаве, в качестве чиновника при русском сенаторе Новосильцеве, и после того, как я был оттуда удален, как запятнанный либерализмом.

Впрочем, поляки деятельнее нас и более жаждут славы; я уверен, что вы легко сможете завязать постоянные сношения с Польшей через поляков, которые много разъезжают по свету и обычно навещают Париж. Насколько я знаю, один из них, по имени г-н Морозевич, должен туда приехать и провести там зиму; я вам советую с ним познакомиться; это—благомыслящий молодой человек, глубоко знающий свою страну. Единственное препятствие, которое представляется для нас в подобных связях, это—страх вызвать неудовольствие со стороны правительства; удостоверено, что всякий русский или поляк, про которого узнают, что он состоит неофициальным корреспондентом каких-либо иностранных журналов, кончает тем, что попадает на плохой счет у правительства, даже если он и не преследуется за мнения, высказанные им в его писаниях. Можно, кажется, утверждать, что один из ваших корреспондентов уже потерпел на службе за те сведения о литературе, которые он вам посылал. По крайней мере, такой слух прошел у нас при немилостях, обрушившихся на одного молодого офицера. Постарайтесь, пожалуйста, милостивый государь, проникнуться важностью этих соображений и избавить меня от неприятностей, которые могли бы последовать для меня из нашей переписки. Не нужно удивляться, если маленькие литературные сплетни могут сойти в глазах властей за государственное преступление и если им придадут такую важность, что станут разыскивать их автора всеми имеющимися в распоряжении Священного союза способами.

Во всяком случае, я вас прошу, милостивый государь, никогда не называть меня открыто в числе ваших корреспондентов, хотя я с удовольст-



СТРАНИЦА ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ ПИСЬМА П. А. ВЯЗЕМСКОГО К ЖЮЛЬЕНУ ОТ 21 МАЯ 1824 г.

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

вием носил бы это лестное звание, и сохранять наши сношения в полнейшей тайне. Если вы когда-нибудь удостоите меня письмом, то только при посредстве тех из моих соотечественников, которых я вам назову, или лиц, скромность которых вам известна. Со своей стороны, я буду сохранять такую же осторожность.

Это письмо вам будет вручено моим родственником, князем Гагариным, едущим в Париж для поправления здоровья,—я беру смелость рекомендовать его вашему доброму вниманию и прошу вас принять его благосклонно. Когда-то я смогу последовать его примеру и приехать для того, чтобы исцелиться среди вас если не от физических страданий, то, по крайней мере, от нравственного маразма, который, действительно, является для нас отечественною болезнью и который поражает тех из нас, кто имеет потребность жить и не довольствуется прозябанием. Надежда провести несколько лет в Париже—одна из наиболее привлекательных для меня надежд. Но время, когда я мог бы ее осуществить, еще неизвестно!

В ожидании примите, милостивый государь, выражение моего самого глубокого уважения.

Вяземский

P. S. Знаете ли вы, что номера вашего журнала в редком случае приходят к нам необезображенными ножницами цензуры! Большая часть книжек попадает к нам с изъятием нескольких листов!

Примите со снисхождением черновик моего бюллетеня и плохую копию заметок, которые к нему приложены; я нахожусь у себя в деревне и совершенно не имею возможности привести все в порядок. Что касается собственных имен, которые вы не сумеете разобрать, то потрудитесь обратиться к «Русской антологии» г-на де Сен-Мора, который, во всяком случае, правильно передает их орфографию[16].

Письмо Вяземского к Жюльену имеет значение первостепенного памятника русской политической литературы второй половины 20-х годов. По своему содержанию, чувству и тону—это письмо декабриста без декабря.

Вяземский, не стесняемый условиями почтовой цензуры, высказал Жюльену в своем письме в двух словах всю правду о России аракчеевского священно-союзного режима и обрисовал положение в ней мыслящего человека и писателя. Он резко отстранил от себя, как писателя, самую возможность говорить о крепостной России так, как говорят в «Revue» Жюльена о культурных странах Европы, т. е. знакомить с их достижениями в искусстве, науке, общественности. Не называя фамилии, Вяземский метил тут в поставщика сведений о России в «Revue Encyclopédique»—того же S. P., под которым скрывался известный впоследствии библиограф, юный тогда С. Д. Полторацкий. Ему обязано было «Revue» сведениями о ничтожных журналах Булгарина «Северный Архив» и «Литературные Листки». Он силился представить пред Европой казовую сторону русского просвещения, когда сообщал «Revue» то об открытии семинарии в далеком Туринске, то об учреждении школ взаимного обучения в Петербурге, Гатчине, Туле, Иркутске, Риге, Астрахани и т. д., то о Практической академии коммерческих наук в Москве и т. д. Не обошел Полторацкий и «успехов» русской промышленности, рассказывая французам о «преуспеянии» крепостных суконных фабрик[17].

Заостряя эту часть своего письма против Полторацкого, Вяземский писал Жюльену, что говорить о России правду—значит дать «жесточайшую

критику опеки (une critique sanglante de la tutelle), держащей ее [Россию] в состоянии запоздалого детства». Но такую политическую критику самодержавия, образец которой много лет спустя дал Н. И. Тургенев в «La Russie et les Russes», Вяземский сознательно и твердо отстраняет от себя: это был бы гражданский подвиг, для которого он не чувствует в себе достаточно сил.

Еще недавно Вяземский стремился как можно шире пропагандировать польские конституционные опыты Александра I, тщетно пытаясь через русские журналы знакомить с ними общество. Теперь он решительно отклоняет просьбу Жюльена снабжать «Revue» подобными материалами о Польше, направляя его к полякам, живущим в Париже: «Правительство,—объясняет свой отказ Вяземский,—установило между нами и Польшей санитарный кордон, находящийся в руках второго герцога Ангулемского». «Второй герцог Ангулемский»—это, конечно, цесаревич Константин Павлович: чтобы понять, лестная ли это была аттестация, надо вспомнить, что герцог Людвиг-Антон Ангулемский был в 1823 г. главнокомандующим французских войск, посланных в Испанию для подавления революционного движения, вырвавшего конституционную хартию у Фердинанда VII. Испанская революция, как известно, вызвала самое горячее сочувствие у декабристов, у Пушкина и у самого Вяземского.

Но опасны для русского писателя не только сношения политико-литературные, а и просто литературные. Вяземский прямо просит Жюльена «избавить» его от всех неприятностей, которые могла бы навлечь на него прямая переписка с редактором либерального парижского журнала. Он ссылается на пример русского офицера, пострадавшего по службе за литературные бюллетени, посылаемые в парижское «Revue». Кажется, можно догадаться, кто этот офицер (Вяземский в письме нарочито скуп на имена): вероятнее всего, это Петр Андреевич Г а б б е (1796 г.—умер после 1833 г.), штабс-капитан лейб-гвардии Литовского полка, стоявшего в Варшаве, брат полковника М. А. Габбе, привлекавшегося, но без последствий, по делу декабристов. Вяземский познакомился с Габбе в Варшаве и сошелся близко на почве общих политических взглядов и любви к литературе. Поэт и прозаик, Габбе выпустил в 1822 г. в Петербурге «Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольстейн». Эту работу Габбе о писательнице, ценимой Пушкиным и всем кругом «либералистов», Вяземский встретил хвалебным отзывом в «Сыне Отечества». «Литовской гвардии офицер, который в Варшаве при звуке барабанного и палочного боя пишет о г-же Сталь, удивительнее Невтона», — восклицает Вяземский (в письме к А. И. Тургеневу)[18].

Основное утверждение письма Вяземского — к у л ь т у р н а я б е д н о с т ь Р о с с и и, политическая немощность общества, ничтожность идей, скудность творческих достижений, при непомерной гордыне самооправдания и самовосхваления, — предвосхищает идеи знаменитого «Философического письма» Чаадаева, за которые он объявлен был, по приказу Николая I, сумасшедшим. Редактору «Энциклопедического Обозрения» Вяземский с суровой прямотой объявляет, что, в сущности, в России нечего—пока еще нечего—«обозревать», и это «нечего» распространяет и на литературу.

Вяземский становится здесь в противоречие даже с передовыми литературными деятелями 20-х годов. Как на образец «национальной гордости», подмененной «слепым чванством», устраивающим «выставку

наших успехов» в литературе, Вяземский мог бы через год указать редактору «Revue Encyclopédique» даже на статью декабриста А. А. Бестужева: «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» («Полярная Звезда на 1825 год»). Начав статью с утверждения, что «у нас нет литературы», Бестужев перешел затем к противоположным уверениям, что у нас есть все: и критика, и много талантливых писателей, а кончил заявлением, тогда же квалифицированным А. И. Тургеневым, как «самохвальство патриотизма»: «Журналы наши не так, однако ж, дурны, как утверждают некоторые умники, и вряд ли уступают иностранным. Назовите мне хоть один сносный литературный журнал во Франции, кроме „Revue Encyclopédique“». Вяземский, в качестве свидетельства скудости тогдашней русской литературы, приводит отсутствие сколько-нибудь ценных писателей-прозаиков, за исключением Карамзина. Это точка зрения и Пушкина: в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» («Московский Телеграф», 1825) Пушкин жаловался: «Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных», а в заметке 1822 г. «О слоге» вопрос «чья проза лучшая в нашей литературе» решал: «Карамзина», но с оговоркой: «Это еще похвала небольшая». В 1823 г. Пушкин писал Вяземскому: «Прозу-то, ради Христа, не забывай; ты да Карамзин—одни владеете ею»[19]. Карамзинист Вяземский, имея в виду критические выступления Каченовского, Арцыбашева, Н. Муравьева, Лелевеля и др. против карамзинской «Истории», находил даже, что за границей лучше и вернее оценили его историческую прозу: он разумел не только самого Жюльена, но и тот факт, что «Историю» перевели на французский, немецкий, итальянский языки. Из всей русской литературы Вяземский выбрал для «Revue» лишь четырех писателей—тех, о которых писал сам: Державина (статья в «Вестнике Европы», 1816 г., вызванная его смертью, ч. 88, № 15, и в «Сыне Отечества», за тот же год, ч. 23, № 37), Дмитриева («Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева», приложенное к 6-му изданию «Стихотворений И. И. Дмитриева», СПБ. 1823 г.), Озерова (статья «О жизни и сочинениях В. А. Озерова», напечатанная в 1817 г., при I части сочинений В. А. Озерова), Пушкина (знаменитый «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова», напечатанный при издании «Бахчисарайского фонтана», 1824 г.)[20].

Примечательно, что Вяземский посылал Жюльену не целую статью свою о Дмитриеве, а отрывки из нее. Почему он это делал, можно догадаться, вчитавшись в его письмо к А. И. Тургеневу от 2 февраля 1823 г.: «Дмитриевскую рукопись начнут переписывать с первой недели... Или цензура все пропустит, или ничего не напечатаю, разумеется, здесь. Но тогда переведу ее с помощью других на французский язык и напечатаю в Париже, как памятник нашего варварства. Клянусь честью, что это сделаю». Тогда же Вяземский посылал статью свою на просмотр будущему декабристу Н. И. Тургеневу и спрашивал его брата: «Доволен ли Николай Иванович некоторыми намеками, сколками мнений? Тут пульс одной истины бьется непрестанно, невидимый, но ощутительный»[21]. В статье о Дмитриеве Вяземский дорожил прикровенным, но искренним выражением некоторых своих общественно-политических мнений. Цензура исключила из его статьи все подобные места, и эти-то отрывки он и послал Жюльену в журнал, ни в чем их не изменяя.

Посылая «бюллетень» и отрывки своей статьи, Вяземский учил редактора-европейца, как должно читать статьи, присылаемые из страны самодержавного рабства: «В наших речах слабо то, что высказывается, и сильно то, что умалчивается». Такое же точно руководство к чтению своих статей Вяземский, через шесть лет, дал А. И. Тургеневу: «Не забывай, что мы говорить, т. е. выговаривать не можем, а только заикаться. Меня более других должно читать междустрочно...»[22].

Воспользовался ли Жюльен для своего журнала «маленьким литературным бюллетенем» Вяземского и четырьмя выдержками из его статьи о Дмитриеве, посланными при письме?

«Маленького бюллетеня» Вяземского мы не находим на страницах «Revue Encyclopédique» ни в 1824, ни в 1825 гг., но в августовской книжке журнала за 1824 г. (т. XXIII), в третьем отделе, носящем название «Bulletin bibliographique», напечатана небольшая анонимная заметка по поводу 6-го издания стихотворений И. И. Дмитриева, вышедшего со вступительной статьей Вяземского (М., 1823 г.): «Poésie de Dmitrieff, nouvelle édition, revue et corrigée et diminuée par l'auteur». Заметка эта дает положительную характеристику Дмитриева в духе предисловия Вяземского к его сочинениям. Равно возможны два предположения: или это краткие résumé предисловия Вяземского, сделанные кем-либо из русских сотрудников Жюльена, или же это извлечение из «маленького бюллетеня» Вяземского. Заметка о Дмитриеве сопровождается таким пояснением редакции: «Отрывки этого предисловия [Вяземского к сочинениям Дмитриева], которые дошли до нас, слишком обширны для того, чтобы их можно было привести здесь. Мы можем почерпнуть из них некоторые данные для статьи о состоянии литературы в России, которую готовит один из наших сотрудников»[23]. Это «пояснение» показывает, что письмо Вяземского к Жюльену было своевременно вручено ему кн. В. Ф. Гагариным. Отрывки из статьи Вяземского о Дмитриеве не были напечатаны в «Revue Encyclopédique», но они вошли в работу другого сотрудника журнала Жюльена: в 1825 г. Я. Н. Толстой напечатал там обширный «Обзор главнейших произведений русской литературы» (т. XXVI, стр. 870—900), где немало места уделено Дмитриеву.

В том же, августовском, номере «Revue Encyclopédique» за 1824 г. помещена рецензия на трехтомное издание «Стихотворений Жуковского»[24]. Рецензия опять анонимная и опять изложена в духе и тоне писаний Вяземского о Жуковском.

27 октября 1824 г. Вяземский спрашивал у А. И. Тургенева: «Где этот «Courrier de Londres», из которого выписаны статьи о Дмитриеве и Жуковском? Между нами: скажи Жуковскому, чтобы он не очень спесивился европейскою известностью своею... И как это в «Courrier»: извлечением ли из другого журнала, или в числе сообщенных статей от корреспондента? Мне любопытно знать все это наверное; расскажи»[25]. Смысл этого места возможно истолковать так: Вяземский предполагает, что «Courrier» перепечатал из «Revue Encyclopédique» его заметки о Дмитриеве и Жуковском и что последнему не следует гордиться «европейскою известностью», так как ее источник—приятельская статья Вяземского. В сентябрьской книжке «Revue Encyclopédique», в том же отделе «Bulletin bibliographique», помещены также анонимные отзывы о 10 и 11 томах «Истории государства Российского» Карамзина, о «Бахчисарайском фонтане» Пушкина и об альманахе «Полярная Звезда на 1824 год»[26]. Заметка о по-

следней вряд ли принадлежит Вяземскому,—при его авторстве возможен ли был бы такой отзыв в ней: стихи Вяземского «полны тонким юмором». Вряд ли принадлежит Вяземскому и более обширная (2 страницы) заметка об «Истории» Карамзина, полемизирующая с некоторыми мнениями историка: как известно, Вяземский хранил неизменный пиэтет к этому произведению историографа. Что же касается заметки о «Бахчисарайском фонтане», то она одинаково могла быть и извлечением из «маленького бюллетеня» Вяземского и кратким изложением его же предисловия к поэме Пушкина, экземпляр которой он послал Жюльену.

В той или иной форме, но сотрудничество Вяземского в «Revue Encyclopédique» является фактом несомненным,—только опальный Вяземский прилагал все усилия, чтобы сделать его никому неизвестным.

Самое предложение сотрудничества со стороны виднейшего представителя оппозиционной журналистики Франции подняло дух в опальном Вяземском, появление стихов и статей которого в русских изданиях неизменно встречало различные цензурные преграды. С призывом Жюльена к работе в его журнале Вяземский почувствовал себя деятелем европейского просвещения, а не русским чиновником, выкинутым со службы царским пинком. Таков объективный смысл тех лирических набросков, которыми завершается в черновой рукописи письмо Вяземского к Жюльену. Наброски эти не сложились в законченное стихотворение, но их «лирическое волнение» достаточно ясно проступает сквозь эти нестройные ряды строк[27].

СОН ЧУВСТВ И МЫСЛЕЙ

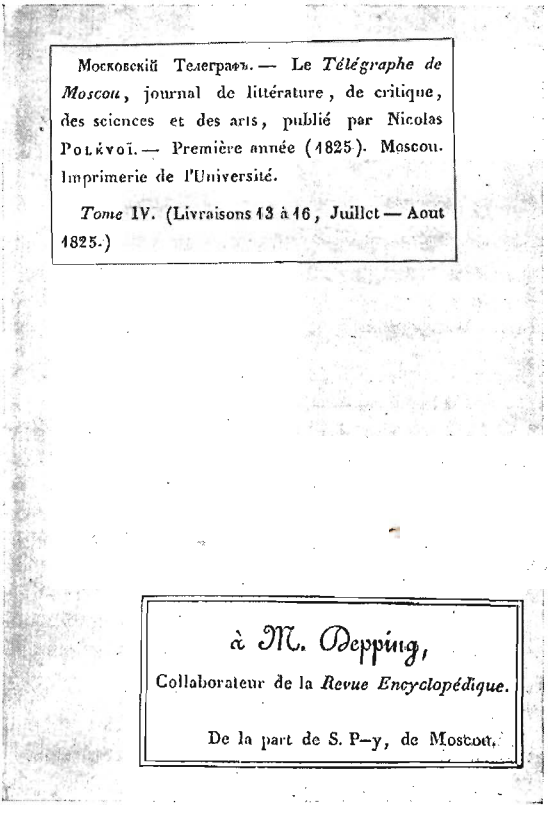
Что вдруг встревожило души моей дремоту
Все чувства ожили во мне
Я ожил но к чему? надежд
Движеньем
Ступил в святилище юности моей
Забытое давно движенье
Что пробудило сон
опустошенный путь
Постигнешь ли борьбу мою
И сердца пламенные грезы?
Я от людей печаль таю
И улыбаюся сквозь слезы
Священ. память вдруг
На зов мечты зовут синеющ
Желанья темные
Увижу пред собой грядущее как прежде
Опустошенная тропа
На собственной надежде
Не снова ли обузданный
Гляжу вокруг себя: грядущего рубеж
Безмолвие.

В неизданном еще письме Вяземского от 13 декабря 1825 г. к В. Ф. Гагарину, через которого было доставлено Жюльену письмо Вяземского, есть загадочная фраза: «Что поделывает суп Жюльен Корсаковых? Я хотел бы знать, что бумаги и письма по этому поводу находятся в твоих руках и преданы огню,. потому что иначе я боюсь разбудить спящую

кошку»[28]. Корсаков, упоминаемый в этой фразе, — приятель Вяземского и Пушкина, Григорий Александрович Римский-Корсаков, гвардейский полковник, навлекший на себя в 1821 г. гнев Александра I своим «вольномыслием» и вышедший тогда же в отставку. В июле 1823 г. он выехал из Москвы за границу, предварительно проведя сутки у Вяземского, в Остафьеве, и пробыв за границей до 1826 г.[29]. Общая молва гласила, что только благодаря своему отсутствию из России в 1823—1826 гг., Корсаков избежал привлечения по делу декабристов. Загадочная фраза Вяземского в письме, шедшем с оказией, писана в самое тревожное время: в последний день междуцарствия, накануне выступления декабристов на Сенатской площади, и нет сомнения, что «суп Жюльен» — в ней такое же конспиративное иносказание, как и «спящая кошка»: Вяземский желал, чтобы его шурин Гагарин истребил все бумаги, свидетельствовавшие о его тайном сотрудничестве в левом органе французской прессы. Так, кажется, можно истолковать смысл этой загадочной фразы встревоженного Вяземского, написанной накануне 14 декабря.

Ряд последующих фактов закрепляет связь между письмом Вяземского к самому Жюльену и припиской о «супе Жюльен».

С января 1825 г. начал выходить в Москве «Московский Телеграф» Н. А. Полевого. Это был первый русский журнал, порвавший с традициями усадебно-дворянского периода русской литературы. По верному суждению Анненкова, «Московский Телеграф» был совершенной противоположностью духу, господствовавшему у нас в эпоху литературных обществ; он их заместил, образовав новое направление в словесности и кри-


Московскій Телеграфъ. — Le *Télégraphe de Moscou*, journal de littérature, de critique, des sciences et des arts, publié par Nicolas Polévoï. — Première année (1825). Moscou. Imprimerie de l'Université.

*Tome* IV. (Livraisons 13 à 16, Juillet — Aout 1825.)

à M. Depping,
Collaborateur de la *Revue Encyclopédique*.

De la part de S. P—y, de Moscou.

ЭКЗЕМПЛЯР IV ТОМА „МОСКОВСКОГО ТЕЛЕГРАФА“ 1825 г., С НАКЛЕЙКАМИ НА ОБЛОЖКЕ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ ОТПРАВКИ В „REVUE ENCYCLOPÉDIQUE“

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

тике. С его появлением укрепился тип русского литературно-общественного журнала вообще, журнал приобрел свой голос в деле литературы, вместо прежнего назначения: быть открытой ареной для всех писателей, поприщем для людей с самыми различными мнениями об искусстве[30]. Журнал Полевого имел беспримерный успех: первые книжки его потребовали второго издания. Вся литературная реакция ополчилась против него. Вяземский был, вместе с Полевым, зачинателем «Московского Телеграфа»: по его собственному позднейшему признанию, он был «в полном смысле крестным отцом „Телеграфа“», более того: «В кабинете дома моего в Чернышевом переулке зачато было дитя, которое после наделало много шума на белом свете»[31].

«Крестный отец» оказал самое прямое влияние на первые шаги своего крестника: именно Вяземскому журнал Полевого обязан тем, что он попытался стать русским двойником парижского «Revue Encyclopédique». Уже в первом номере «Телеграфа», перечисляя подписчикам лучшие заграничные издания, которыми он намеревался пользоваться для своего журнала, Полевой на п е р в о м месте назвал «Revue Encyclopédique»; в плане же и в построении самого журнала Полевой попытался перенять всю сложную постройку парижского «Обозрения». Это бросалось в глаза современникам Полевого. По словам Белинского, «„Revue Encyclopédique“ служила для него [Полевого] и сокровищницей новых идей и нередко снабжала его статьями, которые ему стоило только переделывать и приделывать к чему было ему нужно». Такое же заключение делал и Булгарин: «Н. А. Полевой взял за образец «Revue Encyclopédique», но не мог исполнить своего предприятия в таком виде и объеме, потому что не имел ни материальных средств французского журнала, ни таких сотрудников»[32].

Еще более ценно свидетельство секретаря редакции «Revue Encyclpédique», Э. Геро, который уже в октябре 1826 г. писал в своем журнале о «Московском Телеграфе»: «Ему назначено быть одним из лучших русских журналов». Отмечая «занимательность и разнообразие» журнала Полевого, Геро сообщает: «Он разделяется на четыре части: «Науки и искусства», «Изящную словесность», «Критику и библиографию», «Новости и смесь». Первая и вторая части походят на наше отделение «Записки и известия»... Третья представляет, в меньшем объеме, наши два отделения «Разборы» и «Библиографический бюллетень»... Четвертая часть соответствует нашему отделению «Ученых и литературных новостей»; впрочем, в ней желательно видеть расположение и выбор более строгие, более удовлетворительные».

Давая ряд советов, направленных на улучшение своего русского подражателя, влиятельный сотрудник «Revue Encyclopédique» заключал: «Мы желали бы войти с «Московским Телеграфом» в сношения обменом издания их на наше; это дало бы нам возможность, со своей стороны, делать у них выгодные займы для пополнения наших картин сравнительного просвещения»[33]. Полевой поместил эту заметку Геро в своем журнале: лестным мнением знаменитого французского журнала он хотел ответить на нападки и вылазки многочисленных русских врагов «Телеграфа». В 1831 г. Полевой поместил описание редакции «Revue Encylopédique» (№ 21), а за все годы обильно пользовался в своем издании материалом из журнала Жюльена.

Очень интересен отклик «Revue Encyclopédique» на декабрьское восстание.

В отзыве на «Донесение следственной комиссии», переведенное на французский язык, читаем:

«Из этого донесения явствует, что с 1816 г. в России образовалось много тайных обществ, целью которых было изменить образ правления; люди разных общественных положений вступали в эти общества; большинство принадлежало к военным, совершившим походы 1813, 1814 и 1815 годов. Только тот, кто не имеет понятия о развитии человеческого духа, только тот мог бы обольщаться надеждой, что эти люди, пройдя по всей культурной Европе, вернувшись с триумфом с войны, успех коей был вызван стремлением к освобождению,—что эти люди вступят в пределы своей страны, управляемой деспотически, не принеся с собой никакой новой идеи, никаких пожеланий реформ. Сам император Александр хорошо понимал этот результат последних войн, когда на польском сейме 1818 г. он торжественно, во всеуслышание провозгласил свои либеральные идеи и обещал произвести перемены в образе правления в России. Вскоре удалось отвратить этого государя от просвещенного пути, которому он хотел следовать. Никаких перемен не было внесено в деспотизм, хотя осторожнее было бы царю самому сделать уступки прогрессу просвещения»[34].

К этим словам журнала Жюльена Вяземский мог бы «руку приложить». Это была его собственная точка зрения: «Реформы есть громоотвод революции».

В 1826 г. Вяземский остается неизменным читателем журнала Жюльена. 26 июня, в тяжелую пору ожидания расправы с декабристами, он пишет А. И. Тургеневу из Ревеля: «У тебя мои два № «Revue Encyclopédique». Да из своего дай мне то, чего здесь нельзя достать. Ты опять будешь на европейском рынке—что тебе запасаться харчью. Подумай об нас, степных». В ноябре 1826 г. он просит Тургенева подписаться для него на «Revue Encyclopédique», но непременно кружным благонадежным путем «пересылать его ко мне и Жуковскому через Перовского»[35].

Живая связь «Московского Телеграфа» с Парижем, как центром европейской образованности и общественности, представляется Вяземскому столь важной и нужной, что он—вынужденный к тому тяжелыми условиями года расправы с декабристами—решается на мистификацию. В декабре 1826 г. в «Московском Телеграфе» появляется «Письмо из Парижа (Извлечение)», без подписи. «Письмо» с немалой гражданской смелостью дает апологию политической поэзии и поэта, как политического деятеля. «Вы спрашиваете,—говорит безыменный парижский корреспондент «Телеграфа»,—что делает поэзия во Франции? Делает политику». Ссылаясь на греческих трагиков, на Байрона, на Жуковского в «Певце во стане русских воинов», как на поэтов, «делавших политику», корреспондент пишет: «Вы видите, что я готов назвать поэзиею политическою всякую народную или гражданскую поэзию, объемлющую возвышенные, общественные истины. И почему поэту не быть наравне с оратором, стражем народных выгод и блага общественного? Каждый орудием своим, один поэзией, другой витийством, может распространять мнения, которые он почитает полезными для благосостояния сограждан, и вытеснять из общества почитаемые им за пагубные...». Классицизм и романтизм, на взгляд корреспондента,—только слабые оттенки основного разделения: «Все частные оттенки сливаются в две цельные, яркие черты, размежевавшие как писателей, так и всех французов на две стороны: левую и правую».

Либерализм или ультрароялизм слышатся даже «в нотах музыканта и в А+В»: от политической борьбы не укроется ни один художник. Корреспондент удивляется лишь тому, что «литературные либералы часто оказываются в рядах политических тори, и наоборот»[36].

Письмо это помечено: «Париж, 30 ноября». Его следовало пометить «Москва»: его автором был сам Вяземский. Больше чем через полвека перепечатывая письмо в первом томе собрания сочинений, он признавался: «Это письмо и следующие из Парижа писаны просто в Москве. Участвуя в «Телеграфе», хотел я придать этому журналу разнообразие и, так сказать, движение жизни». Материалом для письма были французские газеты и журналы, тот же «Revue Encyclopédique» и письма парижских приятелей. «Из них,—признается Вяземский,—составлял я свои подложные письма, которые в то время читались с живым любопытством»[37].

Но Вяземский хотел компетентного суда над собой, как над «парижским корреспондентом» самого левого из русских журналов, стремившегося быть двойником «Revue Encyclopédique», и в январе 1827 г. он дал А. И. Тургеневу поручение: «Пошли в Париж Жюльену мое письмо из Парижа: пускай видят они, как мы судим о них»[38]. Он имеет в виду здесь свое «Письмо», напечатанное в 12-й части «Московского Телеграфа» за 1826 г.

В том же 1827 г. Вяземский решил, что пора заменить московского «парижского корреспондента» «Телеграфа»—парижским, и в июне дал А. И. Тургеневу, жившему в Париже, поручение «сыскать корреспондента парижского для «Телеграфа», разумеется, за деньги, Геро или кого другого». Дело с Геро почему-то не наладилось, и вместо него Вяземский решил залучить в парижские корреспонденты «Телеграфа» другого сотрудника журнала Жюльена—Я. Н. Толстого[39]. С Толстым дело наладилось, и скоро в «Телеграфе» стали печататься его «парижские письма».

В том же 1827 г. «Revue Encyclopédique» сочло нужным познакомить французского читателя с основными фактами жизни и деятельности Вяземского—поэта и критика и дало ему следующую оценку:

«Произведения Вяземского носят отпечаток живого и просвещенного ума; его стиль отмечен вдохновением, сжатостью, яркою самобытностью; его поэзия исполнена идей и острот, блещущих изобретательностью и доставляющих наслаждение. Но то, что преимущественно отличает его,—это убеждения, согласованные с прогрессом просвещения и современным состоянием наших знаний»[40].

В глазах либерального «Revue Encyclopédique» и ее редактора Жюльена московский поэт и критик был единомышленником.

Неизвестно, познакомился ли Вяземский с Жюльеном лично, когда, наконец, попал в конце 30-х годов за границу.

С. Дурылин

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Характеристику политических воззрений Вяземского 1820—1830 гг. и его отношений к Александру I и Николаю I см. в работе Н. Кутанова, Декабрист без декабря.—«Декабристы и их время», II, изд-во Общества политкаторжан, М., 1932.

[2] Вяземский, II, стр. XVII.

[3] О. А., II, стр. 45—46.

[4] Вяземский, IX, стр. 45—46.

[5] О. А., II, стр. 353.

[6] О. А., II, стр. 192.

[7] О. А., III, стр. 73—74.

[8] П у ш к и н, Переписка. Под ред. В. И. Саитова, I, СПБ. 1908, стр. 279—280.

[9] В я з е м с к и й, II, стр. 96—97; IX, стр. 107.

[10] О. А., I, стр. 179, 192, 557, 565; М. П. П о г о д и н, Н. М. Карамзин, М., 1866, ч. II, стр. 259—263.

[11] Н. М. Карамзин писал 30 сентября 1818 года, из Царского села, переводчику St. Thomas:

Милостивый государь! С чрезвычайным интересом прочел я ваши справедливые замечания на перевод г. Жюльена, так же, как и ваше ласковое письмо: примите мою самую сердечную благодарность. Я в восторге от вашего благородного образа мыслей. Со стороны журналиста, несомненно, была допущена нескромность; не думайте, прошу вас, чтобы я был способен подозревать вас в соучастии в этой оплошности. Впрочем, надеюсь, что это не будет иметь никаких последствий. Мы рассчитываем вернуться в город к 7 октября. Я покажу вам тогда примечания к IX тому, которые должны быть переведены. Примите пока уверение в почтительных чувствах, с которыми я имею честь, милостивый государь, оставаться вашим нижайшим и покорнейшим слугою

Карамзин

Письмо на французском языке. Хранится в Литературном музее в Москве.

[12] О. А., I, стр. 79, 81. В 1825 г. А. И. Тургенев в Париже познакомился с Жюльеном, посетил по его приглашению заседание Филотехнического общества и тогда же писал Вяземскому: «Если случай будет, то пришлю вам и продолжение процесса против «Le Constitutionnel» (О. А., III, стр. 137). Речь шла о суде, которому была предана редакция «Constitutionnel» по обвинению в оскорблении господствующей во Франции религии.

[13] О. А., I, стр. 230.

[14] А. И. Тургеневу случилось в 1827 г. быть даже передатчиком пакета от Жюльена к Гёте. См. этот эпизод в моей работе: «Русские писатели у Гёте в Веймаре».—«Литературное Наследство», 1932, вып. 4—6, стр. 299—300.

[15] О. А., II, стр. 298.

[16] Письмо (подлинник на французском языке) печатается по копии с белового текста, сделанной С. Д. Полторацким и носящей заглавие: «Lettre du prince Pierre Wiasemsky à M. Marc-Antoine Jullien, Fondateur-Directeur de la Revue Encyclopédique, 1824. (Copiée sur le manuscrit autographe, qui se trouve chez M. Auguste Jullien fils à Paris, le 28/16 avril 1839)».

Письмо было найдено в рукописном отделении Публичной библиотеки им. В. И. Ленина в Москве А. А. Сабуровым. Вскоре затем В. С. Нечаевой был найден своеручный черновик письма Вяземского, хранившийся в Остафьевском Архиве в ГАФКЭ; черновик не имеет обращения, даты, подписи, и он короче беловой копии. Копирование письма Вяземского Полторацким у сына Жюльена может служить косвенным подтверждением того, что Полторацкий, как виновник приглашения Вяземского в журнал Жюльена, дорожил памятью его участия в нем.

[17] R E, 1824, XXI, mars, pp. 701, 709; v. XXII, avril, pp. 137—138, 224—225; v. XXII, mai, pp. 480—482; v. XXII, juin, pp. 650—651, 732; v. XXIII, juillet, pp. 233—234.

[18] Алфавит декабристов, под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса, Л., 1925, стр. 60—61; В я з е м с к и й, I, стр. 806, О. А., II, стр. 253, 276—277.

[19] П у ш к и н, Сочинения, изд. Академии наук, т. IX, стр. 11, 20; Переписка, т. I, стр. 67.

[20] Для правильной транскрипции имен русских писателей Вяземский рекомендовал Жюльену обратиться к книге: E m i l e D u p r é d e S a i n t M a u r e, Anthologie russe, suivie de poésies originales, dédiée à sa majesté l'empereur de touts les Russes, P., 1823. Автор антологии провел четыре года в России и бывал здесь в кругу русских писателей.

[21] О. А., II, стр. 298. Вяземский сетовал, что для публичного чтения в Обществе любителей российской словесности был неудачно выбран отрывок из его статей: «Тут можно было бы прочесть то, до чего, вероятно, дотронется цензура» (там же, стр. 327).

[22] О. А., III, стр. 208.

[23] R E, 1824, v. XXII, août, p. 383.

[24] Poésies de Joukovsky, Nouvelle édition. 3 vol. R E, 1824, v. XXIII, août, pp. 383—385.

[25] О. А., III, стр. 85—86.

[26] R E, 1824, v. XXII, septembre, pp. 641—644.

[27] Черновые стихотворные наброски Вяземского сообщены редакции «Литературного Наследства» В. С. Нечаевой, нашедшей их в бумагах Остафьевского Архива.

[28] Неизданное письмо Вяземского к В. Ф. Гагарину сообщено мне А. А. Сабуровым.
[29] М. О. Гершензон, Грибоедовская Москва, изд. 3-е, М., 1928, стр. 138—139, 156—167.
[30] П. В. Анненков, А. С. Пушкин. Материалы для биографии. СПБ. 1873, стр. 176.
[31] Вяземский, I, стр. XLVIII—XLIX, т. X, стр. 217.
[32] Полн. собр. соч. Белинского, СПБ. 1901, IV, стр. 366; «Северная Пчела», 1840, № 65.
[33] Н. Козмин, Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой, как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. СПБ. 1903, стр. 10, 30—34. Примером литературной связи «Revue» и «Телеграфа» может служить полемика, вызванная появлением в 1825 г. известного французского и итальянского перевода басен Крылова, изданного гр. Г. В. Орловым, с предисловием Лемонте и Сальфи («Fables des russes tirées du recueil de M. Kriloff... precédées d'une introduction française de M. Lemontey et d'une préface italienne de M. Salfi»). В № 17 «Телеграфа» Пушкин выступил с разбором предисловия Лемонте, а в № 18 Полевой уже напечатал рецензию Геро на издание Орлова, помещенную в 26 томе «Revue». С Геро вступил в полемику «Сын Отечества», поместив анонимные «Некоторые замечания» на его рецензию (1825, ч. 104, № 23). Декабрьские события прервали полемику. В 1827 г. все вошло в берега, и в апрельской книжке этого года Геро выступил с поздним ответом «Сыну Отечества»; Полевой не замедлил перевести этот ответ («М. Т.», 1827, часть 16, № 14).
[34] M. A. «Conspiration russe». R E, 1826, v. XXXI, septembre, p. 763—764. Отзыв, без сомнения, принадлежит русскому перу.
[35] «Архив братьев Тургеневых», вып. 6, под ред. Н. К. Кульмана, П., 1921, стр. 34, 47.
[36] «Моск. Телеграф», 1826, ч. XII, отд. II, стр. 51—54, 56, 61, 64.
[37] Вяземский, I, стр. 222.
[38] «Архив бр. Тургеневых», вып. 6, стр. 53.
[39] О. А., III, стр. 166—167.
[40] R E, 1827, v. XXXVI, octobre, pp. 216—219.—Russie. Reclamation. Littérature russe. Joukowsky, Chakhovsky, Merzliakov et Viazemsky.
В очерке даются верные библиографические сведения о Вяземском, отмечается его последнее стихотворение «Запретная роза» и с сочувствием приводятся выдержки из первого «Письма из Парижа», сочиненного Вяземским и написанного по случаю смерти генерала Фуа, либерального наполеоновского генерала.

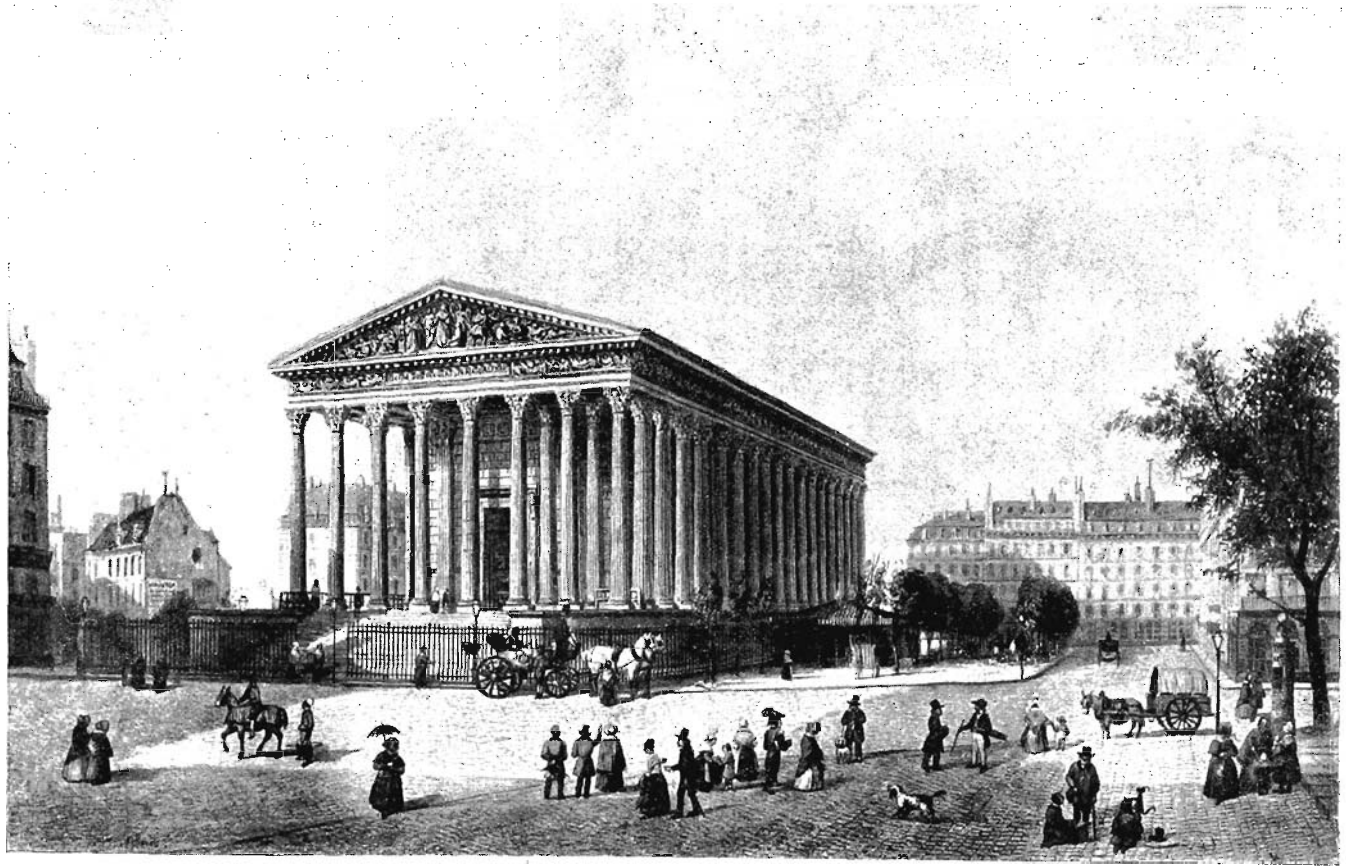
## III. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ В ПАРИЖЕ В 1838—1839 гг.

### 1

Учиться у Франции, чтобы потом культурный и политический опыт ее применить на родине, в России,—эта мысль была очень близка Вяземскому в молодые годы. Свое стремление во Францию для этой цели он объяснял, и очень справедливо, некоторыми особенностями своего характера, который делал ему особенно близким французскую политическую и литературную школу.

«Надобно непременно ехать в Париж года на два. Галиани говорил: «В Петербурге, Стокгольме философы растут в теплицах; в Париже—на открытом воздухе». Теперь метафизическая философия уступила место метаполитической философии, и родимый край ее—все тот же Париж.

В Англии учиться труднее, чем во Франции; там задачи уже разрешены, а здесь их еще решают. Поле, уже покрытое созревшею жатвою, не откроет вам науки земледелия; ступайте учиться ему там, где только что начали пахать, и следуйте постепенно за шагами земледельца... Не знаю, как и когда приступить мне к исполнению намерения, но я твердо в нем стою. Я не могу учиться по книгам; я похож на этих детей, коих непокорное внимание сбрасывает с себя труд; их учат шутя, разговаривая с ними... разговор врезывается в мою память; чтение в ней рисуется и скоро стирается. Ты скажешь мне, что я имею лучший способ все знать только



ЦЕРКОВЬ ЛА МАДЛЕН В ПАРИЖЕ
Акварель Франсуа Виллере, 1840-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

поверхностно; ты прав, но вот отчего и надобно мне ехать туда, где все легко отражается»[1].

Намерение уехать или хотя бы съездить в Париж становилось с каждым годом все более твердым, и в начале 1821 г. Вяземский уже лелеет определенный план путешествия на Запад. 4 марта он пишет А. Тургеневу, до которого уже дошли слухи о намерении Вяземского: «В Карлсбад или к другим водам поеду неотменно, буде не препятствия непредвидимые; Кострома и Париж оспоривают мое будущее»[2].

«Непредвидимые препятствия» не замедлили, однако, возникнуть и на долгое время отодвинули осуществление замысла Вяземского. «Кострома» взяла верх над Парижем, и Вяземский через месяц после цитированного письма уехал из преддверия Запада, из Варшавы, не на Запад, а в Москву, чтобы оттуда годами совершать поездки в Кострому, Пензу, Саратов, продолжая лишь в мечтах строить планы путешествия в Париж.

Годы «опальной» жизни Вяземского, когда он, по повелению Александра I, принужден был покинуть место своей службы в Варшаве, выйти в отставку и жить под тайным надзором в Москве, отмечены были непрекращающимся глубоким интересом к французским политическим событиям и литературе. Этот интерес приобретает постепенно привкус горькой обиды за свое бессилие принять активное участие в общественно-литературной жизни Европы. Отметим бегло, что в эти годы опалы особенное внимание Вяземского привлекают два французских сочинения, оба связанные с переживаниями опальных изгнанников и оба заставляющие его сравнивать прочитанное с собою, с собственным положением, в одном случае серьезно, в другом, конечно, с большой долей юмора.

Это, во-первых, книга г-жи Сталь «Les dix années d'exil», о которой он пишет Тургеневу: «Очень любопытно и занимательно и сродно для меня ссылочного» (12 октября 1821 г.)[3].

Вторым сочинением об опальном изгнаннике была нашумевшая в свое время книга Лас-Каза о Наполеоне на острове св. Елены, «Mémorial de Sainte-Hélène», изданная в 1823—1824 гг. Об этой книге Вяземский в 1836 г. написал: «Мемориал Ласказа есть, без сомнения, одна из важнейших книг нашего столетия» (статья «Наполеон и Юлий Цезарь»), а незадолго до смерти, в 1875 г., еще раз вспомнил эту книгу и время, в которое он зачитывался ею: «Наше тогдашнее поколение было более или менее под Наполеоновским обаянием. Вытерпенные им оскорбления и страдания на жгучей скале, осуществление и олицетворение в нем древнего баснословного Промефея, который также имел свою скалу и своего пожирающего ястреба в лице Гудзон-Лова, записки Лас-Каза, записки доктора Антомарки и другие красноречивые защитительные речи в пользу Наполеона и обличительные против жестокосердия к о в а р н о г о А л ь б и о н а, поэтические проклинания Байрона в том же смысле, патриотические и остроумные песни Беранже, все это пробуждало в нас живые сочувствия к падшему Наполеону» (приписка 1875 г. к статье «Наполеон. Поэма Э. Кине»)[4].

Чтение книги Лас-Каза возбудило в Вяземском желание перевести ее в извлечениях на русский язык. Проект Вяземского не был им осуществлен, но образ Наполеона на острове св. Елены все время рисовался перед Вяземским в период его опалы и привел его к смелой, хотя и в шутку проведенной параллели между участью Наполеона и своей собственной. Тайным надзором, цензурой Вяземский ощущал себя скованным, насиль-

СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
Акварель Франсуа Виллере, 1840-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

ственно молчащим или говорящим совсем не то, что рвалось у него наружу. Бунтуя против цензорских тисков, против приглаживания житейски-мудрыми друзьями, Вяземский нарисовал однажды свой писательский путь, каким бы он хотел его видеть в идеале:

«Ради бога, не касайтесь мыслей и своевольных их оболочек; я хочу наездничать; хочу, как Бонапарт, по выражению Шихматова:

Взбежать с убийством на престол,

попрать все, что кидается мне под ноги, развенчать всех ваших князьков; разрушить систему уделов, которая противится единству целого; престолы ваших школьных держав подгнили, академические скипетры развалились в щепки... Пожалуй, проклинайте меня в церквах, называйте антихристом, а я все-таки буду шагать от Сены до Рейна, от Рейна до Эльбы, от Эльбы до Немана и так далее. А там и кончу жизнь свою на пустынной скале, оставляя по себе на память язык потрясенный и валяющиеся венцы разбитые и престолы раздробленные; а там и придут разжалованные мною цари подбирать обломки своих венцов и кое-как подправлять их и сколачивать свои престолы и сядут на них и бариться на них будут; а там и зазевают читатели, и возьмет их тоска и скажут они все в один голос: «Жаль, что нет этого куролесника; от него приходилось иногда ушам жутко, и грамматика от него морщилась и язык, стиснутый его железным кулаком, подчас визжал и ревел, но за то при нем было весело, было чего послушать, было чего ожидать; дух жизни, хотя и бурный, воспламенял сердца»... (письмо к А. И. Тургеневу, 3 июля 1822 г.)[5].

Вяземский в своем остафьевском «заточении» имел своих «пигмеев», которые отравляли его жизнь, своего «Гудзон-Лова» (губернатора на

острове св. Елены)—цензора Красовского. Это сравнение сделал сам Вяземский, предлагая «выбить золотую медаль в тысячу рублей в честь того, который поколотит его или по крайней мере огреет его арапником, как Лас-Каз Гудзон-Лова» (письмо 7 декабря 1822 г.)[6].

Когда царская цензура зажала рот Вяземскому, он с надеждой обратился туда, где постоянно находил себе идеологических союзников в своей оппозиции самодержавию. Напечатать в Париже то, что не пропускает цензура в России,—вот к какому плану приходит Вяземский в результате цензурных препятствий, на которые постоянно натыкались его сочинения при публикации.

Впервые эта мысль возникла у него еще в 1819 г., когда цензура задержала его статью «О новых письмах Вольтера». Появившиеся в это время в «Liberal» отголоски на злободневные события в Варшаве вдохновляют его на связь с иностранным журналом.

«Я рад, однако же,—писал он Тургеневу 11 июля 1819 г.,—что есть в Европе апелляционный суд народов... Ущипни меня в Архангельске,—крик мой раздастся во Франции. Не послать ли моего «Вольтера» в «Либераль»? Хорош бы тут был Каченовский»[7].

В 1819 г. Вяземский, вероятно, не осуществил бегло брошенной мысли. Но в опальные годы жизни в Москве эта мысль вновь и вновь должна была возвращаться к нему. Она окрепла в нем и являлась уже не как случайный вызов, а как твердое, хорошо продуманное намерение, которое и было им частично осуществлено. В 1823—1824 гг. Вяземский вступил в сношения с издателем «Revue Encyclopédique» М.-А. Жюльеном и сделался сотрудником его журнала (см. об этом выше специальную статью С. Н. Дурылина).

По собственному выражению Вяземского, во второй половине 20-х годов его томила «т о с к а п о ч у ж б и н е»: он стремился хоть на короткое время вырваться в «обетованную землю»—во Францию. Надежда не покидала его, и время от времени он делал какие-то попытки расстаться с Россией, так или иначе. Не без затаенной этой мысли он продавал в 1823 г. имение, объясняя это следующим образом: «Мне хочется непременно развязаться с судьбою: каждый день затягивает новую петлю». «Хочу дышать под вольным небом». В 1824 г. он поручил в Париже навести справки, во что обойдется ему жизнь там с семьей, и писал жене, которая была в это время в Одессе: «Я получил из Парижа от Волкова, коменданта, бюджет расходов, необходимо потребных нам в Париже. По его расчету страшно: около 60 000 рублей! Но Депре обещался мне выписать другой счет и найти человека, который взялся бы за определенную сумму с о д е р ж а т ь нас и дом наш, не считая разумеется т о г о, что я мог бы взять на с о д е р ж а н и е! А ты в Одессе рассчитывай до копейки, что можно там прожить»[8].

Благоразумная В. Ф. Вяземская, однако, охладила пылкие стремления мужа следующим трезвым замечанием в ответном письме: «Да остепенись хоть раз... Avant de penser à Paris, pensons à une réunion, celle qui peut se faire à moins de frais est à Kieff ou Odessa, où avec économie on peut vivre à raison de 24 mille roubles et fort bien avec 30»[9].

В 1825 г. Вяземский не мог себе простить, что не поехал путешествовать с Ал. Тургеневым, и завидовал его пребыванию в Париже. В канун знаменательного дня, 13 декабря 1825 г., Вяземский, сидя в Остафьеве, предавался мечтам о Париже и так рассуждал о нем в письме к другу:

«Для себя не желаю, чтобы ты ехал в Англию: довольно с тебя будет и Парижа, который, что ни говори, сосредоточие европейского просвещения... Париж как то более про нас писан. В нем есть всего: и жижицы и гущи. Кому недосуг переваривать пищу, тот пьет и сыт; у кого же желудок не скороспелка, тот—жуй, ешь и вари себе на досуге. Неужели никогда не удастся мне побывать в Париже? Мне кажется, что мы созданы друг для друга. У меня достало бы чувств на все его ощущения: как колоссу с золотою головою и ногами глиняными, климат парижский был бы впору и голове и ногам моим. Как не вздумалось мне ехать с тобою? Я часто жалею теперь об этом. Общими силами ездить выгоднее: лучше видишь и менее издерживаешь. А если я не запрягусь в дышло, то мне непременно нужно год побегать, побрыкать, побеситься на вольном воздухе. Чувствую, что кровь моя густеет от застоя»[10].

События, происшедшие в Петербурге на следующий день после этого письма, надолго отодвинули для Вяземского возможность осуществить свою мечту. Жизнь складывалась так, что чем далее, тем нереальнее становилась возможность вырваться из власти «русского бога», и безнадежностью, иронией над самим собою начинают звучать слова Вяземского о Париже, о возможности побывать в нем. Для Вяземского была ясна закономерность того явления, что какая-нибудь Авдотья Сильверстовна Небольсина, прославившаяся именинными балами на всю Москву и больше всего на свете боявшаяся, чтобы на этих балах ее «гости не спорили громогласно и запальчиво», благополучно побывала в Париже, а он, Вяземский, проспоривший всю свою молодость с правительством, обществом и журналистами, попасть в Париж не мог. Ощущая себя «изгнанником на родине», он писал в минуту отчаяния: «Я—европейское растение: мне в Азии смертельно. В Азии и лучше меня живут—не спорю, да я жить не могу: черви меня заедают» (12 ноября 1827 г.)[11].

В минуты горькой иронии к себе, к России, к русскому обществу он дал следующее безнадежное сравнение себя с Моисеем, не достигшим своей «обетованной земли»:

«Что делает Жуковский в Париже? Вот русского судьба! Были в Париже Авдотья Сильверстовна Небольсина, Василий Петрович Титов, Василий Андреевич Жуковский, а меня не было да и верно не будет; а не то не было бы у нас морозов летом, оттепелей зимою, пословицы «Не суйся, середа, прежде четверга», Петра Великого и Михайлы Трофимовича Каченовского, роговой музыки и Фишетки Бартеневой и того и другого, и третьего и десятого. Будь я в Париже и не бывай в нем Небольсина и Жуковский, и вся Россия сделалась бы а н д е р ф и г у р н о в а к о м е д и я. Я, не видавший Парижа, и умерший, как Моисей, не зревший обетованной земли,—одна из необходимостей старого завета нашего. А продолжения впредь мне не дождаться и Парижа не видать, вот те Христос: я в этом уверен. Жуковский, посмотри на него за меня хорошенько вдоль и поперек, спереди и сзади... Сохрани свято и ненарушимо натуральный запах парижский и окури меня им, мой благодетель!» (письмо к А. И. Тургеневу в Париж 6 июня 1827 г.)[12].

## 2

Вяземский оказался плохим пророком: он увидал свою «обетованную землю», попал в Париж и много раз бывал в нем в течение второй половины жизни. Но он попал в него тогда, когда Россия «роговой музыки»,

Титовых и Небольсиных жестоко перемолола его на свой лад, когда он потерял право противопоставлять себя официальной николаевской России.

Он попал в него вице-директором департамента внешней торговли, после восьмилетней чиновничьей службы по министерству финансов. Прошло десять лет со времени его последнего «бунта» против правительства, когда, оскорбленный Николаем по доносу Булгарина, он решил «экспатрироваться»—бежать прочь из России, если ему не дадут «полного и блестящего удовлетворения». Однако, из России он не бежал, хотя удовлетворение, которое ему было дано, не было ни полным, ни блестящим. После письма Николаю I, после «Исповеди», поданной на рассмотрение правительству, он вступил на службу, избрав, по желанию царя, место, глубоко антипатичное ему по характеру работы. С отвращением выполняя первоначально свои служебные обязанности, он постепенно втягивался в новую деятельность; проблемы государственной и частной торговли, дела таможенные, организация банков, промышленных выставок и т. п. начинают его занимать и помимо долга службы. «Коммерческая Газета» начинает брать перевес над «Литературною Газетой», хотя Вяземский и продолжает, по привычке, горячо ратовать за литературные предприятия своих друзей, Дельвига и Пушкина. В течение 30-х годов собственная литературная деятельность Вяземского временно иссякает, почти сходит на-нет. Это годы, когда совершается им переоценка ценностей, мнений, авторитетов, когда из либерала-оппозиционера выковывается будущий консерватор-реакционер, когда автор «Русского бога» (1828) медленно превращается в автора «Святой Руси» (1848). Первая поездка в Париж Вяземского приходится как раз на середину этого периода, на 1838—1839 гг.

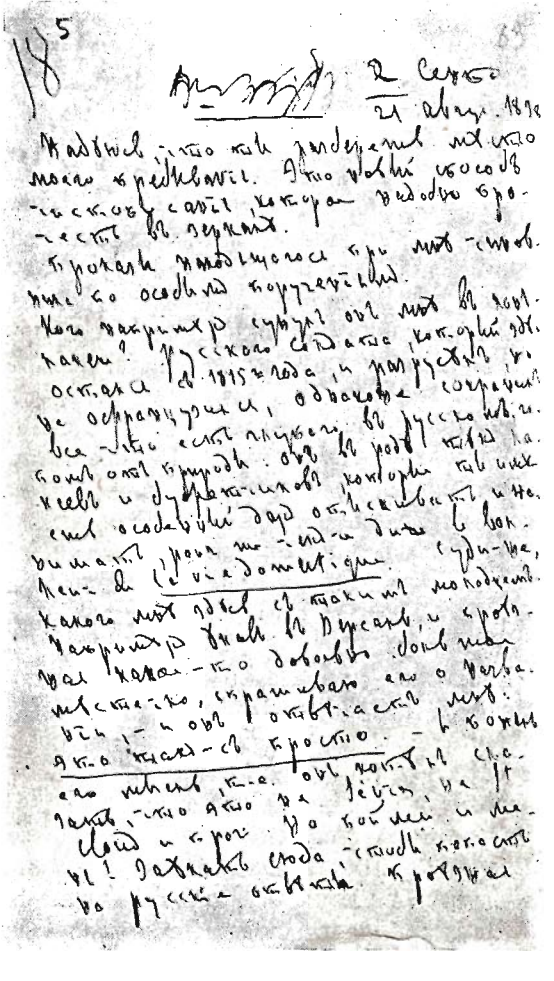
Смена авторитетов и мнений не могла не найти своего отчетливого выражения в отношении Вяземского к Франции. Слишком ярко светила ему издали «обетованная земля» в годы «вольнодумства», чтобы, осудив последнее, Вяземский не поспешил также осудить источник своего политического и журнального либерализма.

С другой стороны, изменилась и сама Франция. Июльская революция 1830 г. поставила у власти финансовую и промышленную олигархию, страной правили банкиры и биржевые короли. В политике Франция стала оплотом буржуазной реакции, душившей всякое либерально-оппозиционное и, тем более, революционное движение. В литературе, наряду с победой романтизма над классицизмом и уверенными ростками буржуазного реализма, господствовали писатели, открыто находившиеся на службе у буржуазной реакции,—Скриб, Поль де Кок и др. Журналистику, политическую жизнь и быт пронизывал дух продажности, стяжания, всемогущества, богатства и отсутствия идеалов. В этой Франции Людовика-Филиппа Вяземский менее всего мог узнать «обетованную землю» своей вольнодумной юности. Чужда ему теперь и политическая борьба «молодой Франции», стремящейся найти исход из того общественного болота, в которое погрузила страну Вольтера Июльская монархия. Аристократ и дворянский идеолог Вяземский испытывает враждебность к социально-политической и культурной активности французской радикальной мелкой буржуазии 30-х годов.

В письмах в Париж к тому же Тургеневу Вяземский с болезненным раздражением пишет теперь о «министерских передрягах» во Франции

и противопоставляет им прочно налаженный политический порядок Англии. Политических деятелей Франции он награждает презрительными кличками «болтунов» и «актеров». Политическая борьба между различными группами правящей верхушки буржуазии, с одной стороны, между правительством и либеральной и республиканской оппозицией — с другой, что приводило к столь частой в 30-х годах смене министерств, мало интересует Вяземского и раздраженно воспринимается им лишь, как «министерские дрязги». Пятнадцать лет ранее он переживал французские парламентские бои, как свое личное, кровное дело, и, находя в них ответы на многие вопросы, поставленные русской жизнью, горячо аплодировал Б. Констану и другим. Теперь он высказывает опасение, что конечным результатом этих «передряг» будет то, что «привалит... такое министерство, что только и будет кричать: «Держи лево!» и все и всех перебьет». Наблюдения политической жизни Франции 30—40-х годов все более рождали в Вяземском боязнь перед теми социальными силами, которые хотели «держать лево». И именно после победы этих сил, хотя и кратковременной, после революции 1848 г., Вяземский впервые объявил себя сторонником порядка «православия, самодержавия и народности».

Поворот в отношении к французской политике не замедлил сказаться прежде всего на отношении к французской журналистике. Прежнего



АВТОГРАФ ПИСЬМА П. А. ВЯЗЕМСКОГО К ЖЕНЕ ИЗ ПАРИЖА ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 1838 г.

Местоотправление письма — „Paris" — написано справа налево и заштриховано

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

благоговения перед нею не осталось и следа. Теперь Вяземский сравнивает ее с кабатчиками, спаивающими народ. «Вся Франция двигается, восстает и падает от готовых фраз. Это—самодержавие слов. Доктринеры пали, потому что журналисты нашептали хмельной Франции, как жиды-корчмары пьяным мужикам, слово: доктринеры, которое смысла не имеет, а система министерства осталась та же. La chose est restée moins l'habileté et la loyauté des hommes qui soutenaient le principe. На что это похоже»[13]. В письме от 2 ноября 1836 г. он подчеркнул свое изменившееся отношение следующей фразой: «У меня, например, душу прет от прений французских журналов, которые я прежде читал с верою и страхом». Тот же поворот заметен и в отношении Вяземского к художественной литературе Франции. Он восхищается теперь не «поэзией, делающей политику», а дворянской поэзией Альфреда де Мюссе, оплакивающего гибнущую аристократию, его поэма «La confession d'un enfant du siècle» приводит Вяземского в восторг.

Правда, он чутко оценил достоинства только что появившегося романа Бальзака «Le père Goriot», но, в общем, стал значительно консервативнее и в вопросах литературы. Ламартин находит в нем уже менее резкого критика, а имя Шатобриана начинает произноситься им с уважением и без критики. Политический консерватизм ведет его в вопросах литературы еще далее в прошлое, и он высказывает в письме к Тургеневу по этому поводу мысли, которые, вероятно, привели бы его в негодование в начале 20-х годов:

«Французам простота никак не дается. Они чувствуют необходимость этой стихии в поэзии, но язык ли, нравы ли или чорт знает что, противится этому. Формы простые, но выражение так же натянуто и чопорно. Едва ли Расин не прав, и стих его—единственно возможный стих во французском языке; в нем французская поэзия хозяйкою дома; в других она подкидыш. А может быть и вообще форма века Людовика XIV есть единственно возможная форма для Франции. Верно то, что, выбившись из нее, она делала только попытки республики, империи или императории, монархии конституционной, и нельзя поручиться, что через год не попадет она в первую или другую «moins l'empereur», как прекрасно было сказано, а в первую «moins les victoires» вероятно» (7 марта 1836 г.)[14].

Раздражение, вызываемое современным политическим состоянием Франции, резкая его критика не препятствовали Вяземскому попрежнему зачитываться всякого рода новинками, получаемыми из Франции, ждать их с нетерпением, с волнением вскрывать полученные посылки из Парижа и восторгаться или разочаровываться, в зависимости от их содержания. Мысль о поездке в Париж, конечно, продолжала быть чрезвычайно заманчивой, хотя уже была чужда того страстного порыва, который ее отличал в 20-х годах.

Вяземский впервые попал в Париж во время своей второй поездки за границу, в 1838 г. Получив служебный отпуск, о продлении которого он потом должен был несколько раз ходатайствовать, Вяземский выехал из Петербурга один, без семьи, морем в Германию для лечения глаз. Однако, затаенная мысль о посещении Парижа или, вернее, сожаление, что не он является целью поездки, не было чуждо Вяземскому при отъезде. «Отчего не выкопаете вы целительных вод в Париже?»—шутя спрашивал он Тургенева в письме от 25 февраля 1838 г.

Пройдя курс лечения в Киссингене, Вяземский должен был отправиться

„НЕУДОБСТВА ПРОГУЛКИ В ЭКИПАЖЕ ПО ПАРИЖУ"
Рисунок в альбоме П. И. Челищева, 1839 г.
Литературный музей, Москва

на морские купанья в Булонь или в Англию. По пути к морю он решил заехать в Париж и провести там несколько дней. Выезжая за границу, Вяземский не имел разрешения на посещение Парижа и, вероятно, оформил это дело полулегально, через русских посланников во Франкфурте-на-Майне и Париже. Поэтому он предпочитал не называть в письмах к семье место своего путешествия, а заставлял лишь догадываться о нем. Первое упоминание о предполагаемой поездке в Париж появляется в письме к жене от 2 августа 1838 г.: «Я думаю,—пишет Вяземский из Франкфурта,—всего вернее заехать по дороге в местечко безымянное—

Ты, кого не называю,
А в душе всегда ношу

и пробыть там недели две в виде беглого солдата или контрабандиста. Только прошу не выдавать и продавать меня, а писать попрежнему во Франкфурт, до дальнейшего распоряжения»[15].

В письме от 7/19 августа опять читаем намек на путешествие в Париж: «Благословите меня, батюшки, благословите меня, матушки! Еду не на огненном судне, а в огненный город, а куда не скажу...».

Далее в письмах из Страсбурга находится описание пути из Франкфурта и шутливое изображение переживаний в ожидании Франции. Ее первый вестник—часовой во французской форме—вызвал следующие строки в письме: «Воображение мое улыбнулось при этом виде. Мне казалось, что наконец совершается со мною давно ожиданное таинство». В своих дорожных наблюдениях над европейскими нравами Вяземский невольно поражается их контрастом с нравами России.

Но уже первые впечатления от Франции по пути в Париж вызывают в Вяземском какое-то смутное разочарование. Письмо от 22 августа, которое мы печатаем ниже, содержит ироническую фразу: «Cette belle France—Тамбовская губерния». Пребывание в Париже изо дня в день уси-

ливало это разочарование, причины которого сам Вяземский правильно находил и в самом себе и в изменившейся Франции.

Вяземский прибыл в Париж 25—26 августа и пробыл в нем 10 дней. Ниже мы печатаем его письма к семье из Парижа от 31 августа, 2 и 3 сентября. Продолжая скрывать в письмах название города, он то именует Париж Франкфуртом-на-Сейне, то надписывает какие-то каракули, которые советует прочесть отраженными в зеркале. В Париже Вяземского встретили А. И. Тургенев и Ф. Ф. Гагарин, которые и были его руководителями при обзоре Парижа в течение этих 10 дней.

Во всех впечатлениях Вяземского, описанных в этих письмах, характерно то, что он невольно сверяет свой воображаемый Париж, каким он представлял его себе десятки лет, с Парижем действительным, и подлинный город кажется ему недостаточно людным, кипучим, слишком смирным, «благочинным». Он делает вывод, что народ в Париже «не беспокойнее другого». Причина же его волнений в том, что «ему подливают каждое утро чашку дурмана: журналы, вот что мутит народ». Далее следует глубоко личная фраза, в которой Вяземский 1838 г. отрекается от Вяземского—сотрудника журналов Жюльена и Гизо: «Тяжела мне эта исповедь, а таить греха нечего».

Первые внешние впечатления от Парижа переплетаются с беглыми сообщениями об интересных встречах и знакомствах, которые пока немногочисленны и случайны.

Утром 5 сентября Вяземский вместе с А. И. Тургеневым выехал через Булонь в Англию, где в Лондоне и Брайтоне пробыл до середины ноября.

На обратном пути из Англии Вяземский вновь заехал в Париж, предполагая остаться в нем всего 4 дня, но пробыл в нем около двух недель, с 16 по 29—30 ноября. В декабре он был уже во Франкфурте-на-Майне. Письма к семье во время этого второго посещения Парижа наполнены, главным образом, личными делами, и мы печатаем из них лишь выдержки, содержащие впечатления от пребывания в Париже (письма от 19 и 29 ноября).

Следующее посещение Парижа состоялось очень скоро и имело, очевидно, вполне легальный характер. Встретившись во Франкфурте с женой и младшей дочерью и прожив там два месяца, Вяземский в конце января вместе с семьей направился, по совету франкфуртского доктора, для дальнейшего лечения в Париж. В Париже Вяземский смог пробыть немного более двух месяцев и за этот промежуток написал несколько длинных писем с описанием парижской жизни, которые мы публикуем ниже почти полностью, исключая небольшие семейные и деловые сообщения. Письма эти адресованы старшей дочери Вяземских, Марии Петровне, в замужестве Валуевой.

Пребывание в Париже окончилось для Вяземского служебной неприятностью. Его длительный отпуск приходил к концу, и нужно было хлопотать о его продлении. Между тем, в Петербурге стали смотреть на пребывание Вяземского в Париже, как на развлечение и на забаву, а не как на серьезное лечение, и прямой начальник Вяземского, граф Канкрин, отказался хлопотать перед Николаем о продолжении отпуска. Вяземский, предполагавший провести летом еще один курс лечения в Киссингене, был чрезвычайно взволнован и возмущен отказом. Он просил Валуевых принять все меры к тому, чтобы выхлопотать отпуск, использовав про-

текцию в. к. Михаила и его жены, через А. О. Смирнову. Однако, выхлопотать отпуск Вяземскому не удалось. В начале апреля 1839 г. Вяземский был принужден спешно выехать из Парижа. 15 апреля он был во Франкфурте, а в мае вернулся в Петербург.

В одном из писем с дороги, из Берлина, Вяземский написал жене следующие строки, которые резюмируют его впечатления от главных стран Европы, в которых он побывал: «Англия—рай человеческий, рай рукотворный, умотворный, как Италия—рай небесный [в Италии Вяземский был в 1835 г.]. Только эти две страны и стоят чего-нибудь, а все прочее хоть потопом залей».

Франция, как «обетованная земля», не существовала более для Вяземского. Пережитое разочарование тяготило его самого, и он старался дать себе отчет, почему при обилии чрезвычайно интересных и острых впечатлений Париж все же не только не втягивал его в себя, но с каждым днем все более отталкивал. «Отчего это? Трудно решить эту физиологическую и психологическую задачу»,—рассуждал он в письме от 28 февраля 1839 г. к Валуевым.

«Кто тут виноват? Я ли? Париж ли? Вероятно, оба. Я от того, что слишком стар, слишком исключителен, слишком целен... Здесь, где политика во все вмешивается, одна из главных стихий окружающей вас атмосферы и входит во все поры умственные и сердечные, нельзя с моим расположением оставаться нейтральным,—особенно в настоящую минуту, где все приняло новое движение».

Указание Вяземского на политику, как на главную причину его разочарования во Франции, совершенно бесспорно.

В течение пятнадцати лет, незаметно для себя, но постоянно и неуклонно, Вяземский отходил от либерализма молодых лет и становился убежденным защитником реакции. Ко времени посещения Парижа процесс этот, в сущности, был завершен, хотя и оставался не осознанным.

Надвигавшаяся революция 1848 г. заставила Вяземского до конца продумать свое политическое credo и со всей откровенностью выразить, с одной стороны, ненависть к революционной демократии и преданность самодержавию—с другой.

Но и в 1839—1840 гг. Вяземский угадывал в постоянном движении политической жизни Франции назревающую опасность и, опасаясь будущего, резко критиковал настоящее.

Критика эта приобретала тем более раздраженный характер, что невольно должна была вызывать в Вяземском мысли о крахе его молодого «вольномыслия», источником которого была передовая Франция 1810—1820 гг. Теперь вся эта полоса жизни воспринималась Вяземским, как печальное заблуждение молодости, и старческое брюзжание сопровождало его отзывы о городе, когда-то бывшем для него «обетованной землей».

**В. Нечаева**

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О. А., I, стр. 161—162.
[2] О. А., II, стр. 172.
[3] О. А., II, стр. 216.
[4] Вяземский, II, стр. 256.
[5] О. А., II, стр. 268.
[6] Там же, стр. 286.

[7] О. А., I, стр. 266.
[8] О. А., V, вып. I, стр. 17.
[9] Перевод: «Прежде чем думать о Париже, подумаем о местной жизни, в Киеве или в Одессе, которая потребовала бы меньших издержек и где экономно можно жить с 24 тысячами и очень хорошо с 30-ю». О. А., V, вып. 2, стр. 115.
[10] «Архив братьев Тургеневых», вып. 6, стр. 21.
[11] О. А., III, стр. 167.
[12] Там же, стр. 162—163.
[13] Там же, стр. 297 и 306—307. Перевод: «Все осталось попрежнему, кроме умения и честности людей, которые поддерживали принципы».
[14] Там же, стр. 311. Перевод: «Без императора», «без победы».
[15] Как это, так и следующие цитируемые письма Вяземского к жене не опубликованы.

## ПИСЬМА П. А. ВЯЗЕМСКОГО ИЗ ПАРИЖА 1838—1839 гг.

### 1

22 августа [1838 г.][1]

Странное дело! Я не нахожу Франции во Франции. Уж мой чиновник[2] не завез ли меня куда-нибудь в другое место! Чего доброго? Все тихо, все безмолвно! Нет ни одной водевильной сцены. Ни слова я не слышу о политике. Cette belle France—Тамбовская губерния. Правда, что еду по вшивой Шампании и с этой стороны Франция не лицом продает свой товар. Подъезжаю к Эперне[3], все шампанское, выпитое мною во всю жизнь, разыгралось однако ж во мне и что-то стало теплее на душе. Я подбавил еще свеженького и что-то поэтическое забурчало в желудке. Подле меня в дилижансе сидит французский солдат вовсе не скрибовской школы, а меланхолик. Il va en convalescence[4], то-есть имеет 3-х месячный отпуск после болезни и едет к родным своим, у которых надеется насытиться счастием и говядиною, ибо жалуется на госпитальный голод и вообще на худое солдатское содержание. 1 франк на 20 дней. Воля ваша смешно сказать, а что-то есть унылое—может быть болезненное и недовольное—в общем чувстве Франции. Судить по первому взгляду глупо, и я не сужу, а передаю бегло, не успевая договаривать и объяснять впечатления мои. Но оно так. Может быть и зеркало мое тускло, и без сомнения и эта причина должна войти в соображение, но должна быть и правда, независимая от меня. Я верю своим предчувствиям и инстинктам.

[1] Письмо написано по дороге из Страсбурга в Мец.
[2] «Чиновник»—часто встречающееся у Вяземского шутливое иносказание для обозначения неудач, постигавших его. Он приписывал эти неудачи воображаемому «чиновнику особых поручений» или «титулярному советнику», якобы, к нему приставленному,—шутка, очень характерная для николаевской эпохи.
[3] Эперне—город в Шампани.
[4] Он едет на поправку.

### 2

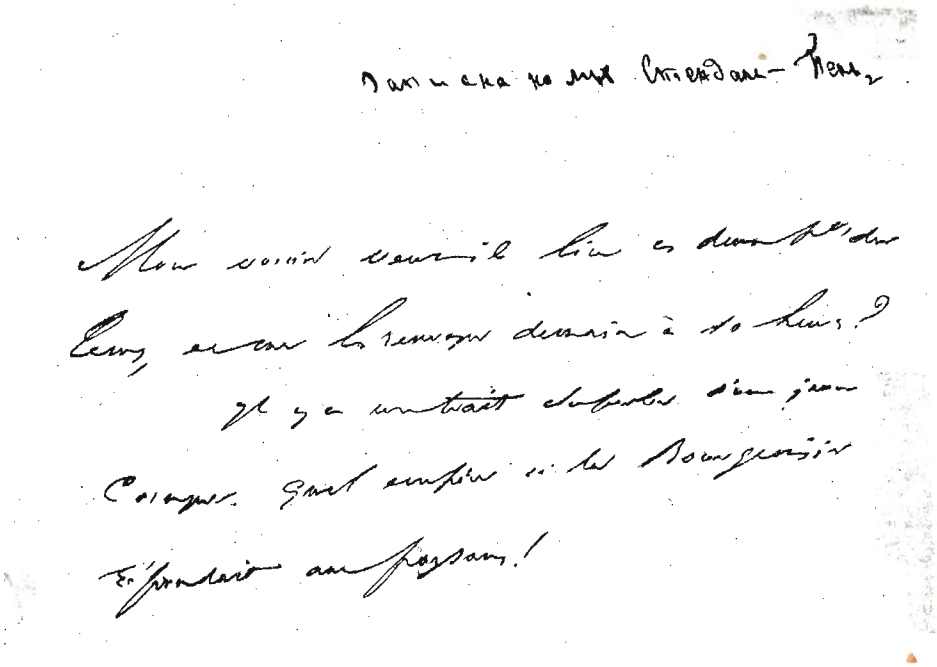
19/31 августа 1838 г.

Франкфурт на Сейне[1]. Кажется так, а если ошибаюсь городом, или рекою, то извините. Я всегда худо знал женографию, а с тех пор что шатаюсь по морю и по земле, то еще пуще сбиваюсь с толку.

Нужно ли мне представиться к Поццу-ди-Боргу[2],—спрашивал в Берлине кажется какой-то Огарев.—Да он в Париже, отвечают ему.—Нет, я говорю о здешнем Поцце-ди-Борге—дело в том, что он полагал, что все наши послы и посланники именуются Поццо-ди-Борго. А для меня, чтобы не обре-

менить памяти своей, то что город, то Франкфурт. Пожалуй Франкфурт переносись куда хочешь, а я в нем засел, и ты пиши мне во Франкфурт, ей богу, во Франкфурт, только не poste-restante, а poste-courante[3]. Впрочем, франкфуртские Поццы-ди-Борги знают где меня сыскать.

После этих эпиграфов приступим к делу, то-есть к бреду. Я начну бредить. Слушайте, не верьте, а слушайте. Уф! Comme toutes ces plaisanteries sont froides[4], и ничуть не умны. Уж не поглупел ли я? Попробуем еще. Не уж ли я в самом деле в... в... в... в... Сила крестная с нами! Выговорить не могу. Так дух и спирает. Чертенята в глазах пляшут, в глазах рябит, в ушах звучит, в голову стучит!



АВТОГРАФ ЗАПИСКИ СТЕНДАЛЯ К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Сверху помета рукою Вяземского
Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

Добросовестным и присяжным туристом въехал я в город на империале дилижанса в сообществе с полдюжиною кроликов, которых кондуктор где-то купил дорогою, чтобы здесь перепродать их с барышем. Город с этой стороны не очень выгодно представляется, и я мог бы остаться и в купе. На дворе messagerie[5], куда пристал дилижанс около шести часов утра, нашел я поджидающих меня Тургенева и Гагарина[6]. Проводили они меня в rue Neuve, St. Augustin, Hôtel [название нрзб.], где уже наняли для меня комнату. Первою заботою моею было пойти в китайские бани на булеваре. Славно! Вымазали мне голову какою-то яичницею с eau-de-Cologne, намазали тело каким-то благовонным тестом, после намылили неапольским мылом, взбитым горою, как праздничное блюдо la crème fouettée, все это с приговорками французскими, объясняющими мне, qu'on me faisait prendre un bain de voyageur[7]. Все эти припарки и под-

мазки стоили мне около десяти франков, а простая водяная баня стоит около трех. Но мне нужно было дать себе аристократическую баню, чтобы смыть с себя демократическую грязь, которою запачкался я в своем дилижансе. Потом первые часы моего пребывания были посвящены на беглое обозрение оглавления некоторых частей города. Нет, соврал! первое посещение мое было православное. День был воскресный, и я пошел в нашу церковь, где нашел молодых Репниных, Дурнова, Шипова. Оттуда занес я карточку к нашему послу, которого уже видел во Франкфурте, в том что на Майне. Город был в движении. У нас родился внук, которого мы прозвали le gamin de Paris[8], и Тюлерийский дворец и сад были обставлены национальною гвардиею, которая ходила поздравлять королевскую фамилию. Несмотря на этот торжественный и экстренный случай, мне казалось, так много наслышался я о здешнем кипучем народонаселении, что везде довольно просторно и плавно, по той же причине, по которой с первого раза храм св. Петра кажется не так уже огромным как уверяли. Впрочем и в самом деле пора теперь глухая, да и по воскресеньям менее народа на улицах, нежели в другие дни.

Город расходится по окрестностям, и не сосредоточивается в главных пунктах будничной деятельности. Но между тем я все-таки стою на своем: первое впечатление противоречит ожиданиям. Нет этой кипучей бездны под глазами. Может быть и то, что я уже знаю Рим и Неаполь. Например публика театров очень смирна, смирнее нашей. Гораздо менее рукоплесканий и вызовов. Все благочинно, хотя в антрактах и накрывают голову шляпою. Правда что здешняя публика имеет право выражать и свое неудовольствие, когда ей вздумается, но я свистков еще не слышал. Впрочем, слушая мой рассказ, помните всегда, что мой чиновник по особым поручениям вечно при мне, следовательно все не так делается, как бы делалось без меня. Например я очень мало встречаю пригоженьких лиц на улицах: Les grisettes élégantes вероятно запираются по домам моим титулярным советником, когда он меня выгоняет на улицу. В первый день обедал я с Гагар[иным] и Тург[еневым] у Мещерских[9] aux champs Elysés. Вечером был я в Variété смотреть баядерок, заправских баядерок, род наших московских цыганок, но пляска наших живее. Эти ломаются и гнутся. Из Variété пошли в Concert... Та же зала, в которой даются знаменитые балы, претворившаяся в сад. Сняты крыша и пол. Битком набито, но также все молчаливо и благопристойно. На другой день был на заседании Академии наук, видел несколько лиц известных мне по именам: Arago[10] и проч. Встретил тут Гумбольдта. Доселе видел я еще мало знаменитостей. Вчера в театре указали мне J. Janin и Balsac. Последний имеет что-то копьевское в лице, широкое и жирное[11]. Был на вечере M-me Ancelot[12]. Встретил там римского Стендаля[13]. Та же мужиковатость, но здесь он веселее. Хвалят книгу его Les mémoires d'un touriste. Обедал у Л. Веймара[14] и у жены его. Живет барином, щегольски и роскошно. Портит мне здешнюю жизнь то, что хочется скорее уехать купаться. Выеду вероятно во вторник, то-есть 4-го сентября н. с., итого проведу здесь 10 дней. На возвратном пути кину еще недели три в эту широкую и всепожирающую пасть, но кину их с большим расчетом, т. е. распределю время свое порядочнее. Язва путешествий это необходимость все видеть, то-есть глупая обязанность, на которую добровольно и мученически обрекаешься un faux point d'honneur, un article de foi mal entendu[15]. Чтобы приятно путешествовать, надобно решиться ни за чем не бегать и

видеть только то, что попадается вам на дороге. Но на это нужно время и не спешить. Путешественник похож на человека, который опоздает к обеду и должен догонять обедающих. Надобно проглотить и старое и следовать за текущим, а здесь каждая минута сует что-нибудь в горло. Соберу воспоминания свои и надеюсь в Брайтоне[16] привести их в порядок.

Погода здесь прекрасная, персики и дыни—объядение, Пале-Рояль обворожительно мил, красив, чист, роскошь кофейных домов ослепительна. Фанни Ельслер[17] восхитительна, я не видал Taglioni[18] в cachucha[19], но без

ИЗ ПАРИЖСКИХ ЗАРИСОВОК П. И. ЧЕЛИЩЕВА, 1840 г.
Литературный музей, Москва

ума от здешней, оркестр оперы чудесной, то-есть французской, итальянского теперь нет, слышал Дюпре[20] в Huguenots и в Muette de Portici, видел балет Le diable boiteux, пожертвовал Фанни Ельслер фейерверком и иллюминациями по случаю Парижского графа, на которого сердятся здесь, говоря, что это попятный шаг к феодальным понятиям. Здешний народ не беспокойнее другого, но ему подливают каждое утро чашку дурмана: журналы, вот что мутит народ. Тяжела мне эта исповедь, а таить греха нечего. Сейчас иду к M-me Récamier[21]. Здешний город еще тем хорош, что в шесть дней моего пребывания получил я четыре письма от вас. Полуэктовы[22] здесь, но ждут из России решения возвратиться ли или ехать на зиму в Италию. Я ездил с ними в St. Germain по железной дороге.

Поймете ли вы что из письма моего? Пишу как угорелый. Нет времени собраться с мыслями. Каждое утро здешнее стоустое и сторукое чудовище ревет и машет и призывает в тысячу мест. Как тут успеть, и как голове не кружиться.

Обнимаю вас, мои милые. Дайте опомниться в Брайтоне. Как волны не будут стучать и колотить меня в голову, но все не здешним чета. Не забудьте. Франкфурт на Сейне.

20 авг[уста]
1 сент[ября] [1838 г.]

[1] Т. е. Париж, по шутливо-эзоповскому выражению Вяземского.

[2] Поццо ди Борго, граф (1764—1842),—русский посол в Париже (1814—1835).

[3] Почта до востребования и почта, следующая за адресатом.

[4] Как все эти шутки скучны.

[5] Messagerie—почтовый двор, станция.

[6] Гагарин Федор Федорович (1787—1863)—брат кн. В. Ф. Вяземской.

[7] Что мне была устроена баня путешественника.

[8] Называя внука короля Луи-Филиппа «le gamin de Paris», Вяземский перефразирует иронически его официальный титул—le comte de Paris.

[9] Мещерские—кн. Элим Петрович Мещерский и его жена, урожд. В. С. Жихарева. Э. П. Мещерский (1808—1844) находился в Париже при русской миссии и был корреспондентом министерства народного просвещения. О нем см. в настоящем сборнике специальную работу проф. Андре Мазона.

[10] Arago Доминик-Франсуа (1786—1853)—французский ученый, физик и астроном.

[11] Внешность Бальзака Вяземский сравнивает с Копьевым, известным в допожарной Москве остряком. Вяземский рассказывает в «Старой записной книжке» несколько анекдотов, связанных с именем Копьева, и называет его «большой проказник», «злой шутник». См. Вяземский, VIII, стр. 157, 325, 365, 467.

[12] Г-жа Ансело Виргиния (1792—1875)—писательница, автор многих романов и пьес. Жена драматурга Жака Ансело, автора книги «Six mois en Russie», на которую Вяземский написал рецензию, напечатанную в «Московском Телеграфе» в 1827 г., ч. XV, стр. 216—235.

[13] Со Стендалем Вяземский впервые познакомился в Риме в 1833—1834 гг., поэтому он и называет его здесь «римский». В одном из неопубликованных писем Вяземского к сыну, Павлу Петровичу, читаем: «Скажи Смирновой, что Бель-Стендаль говорит мне всегда: mon général. Это напоминает мне, что, когда Шаликов представился в первый раз Дмитриеву, он также говорил ему: mon général» (письмо от 5/17 января 1834 г.).

В альбоме Вяземского сохранился автограф следующей записки Стендаля:

Mon voisin veut-il lire ces deux [pièces?] du [Temps?] et me les renvoyer demain à 10 heures?

Il y a un trait superbe d'un jeune cosaque. Quel empire si la bourgeoisie répondait au paysan!

[Не угодно ли моему соседу прочесть эти две статьи «Temps» и вернуть их мне завтра в 10 часов?

Там есть замечательные слова одного молодого казака. Какая мощь, если бы буржуазия пошла навстречу крестьянину!]

*Сверху рукою Вяземского написано:* «Записка ко мне Стендаля-Бейля».

[14] Loeve-Veimars Франсуа-Адольф (1801—1854)—французский литератор. Познакомился с Вяземским во время приезда в Петербург в 1836 г. и бывал у него в доме. Жена Л.-Веймара была русская, урожд. Голынская.

В альбоме Вяземского сохранился автограф следующего письма Пр. Мериме к Леве-Веймару, который, очевидно, и подарил его Вяземскому:

Cher ami,

Lundi soir si vous voulez nous coulerons à fond la grande affaire des reçus et du nom du club qui préoccupe beaucoup de gens. Nous nous réunirons à 8 heures chez Blanc.

Armand Bertin que j'ai recolé aujourd'hui m'a dit que Mr. le Duc d'Orléans nous donnait dix mille francs pour sa cotisation. Cela prouve que nous faisons grand bruit. Je l'ai engagé à ne pas démentir la nouvelle.

Il serait important d'avoir quelques adhésions de gens de qualité pour attirer le monde dans notre club. Chessard dit que vous avez un certain nombre de feuilles volantes avec des adhésions, il faudrait les envoyer ou les apporter lundi afin de les coller dans le régistre. Vous savez qu'un nom en attire d'autres.

Mr. de Fitzhames accepte avec reconnaissance.

Tout à vous
Pr. Mérimée

6 mai.

*Адрес:* Monsieur Loeve-Veimars
Rue de Provence

*Перевод:*

Милый друг,

Если хотите, в понедельник вечером мы покончим с разбором счетов и с названием клуба—с этим великим делом, которое занимает сейчас многих людей. Мы соберемся к восьми часам у Блана.

Арман Бертен, которого я сегодня завербовал, сказал мне, что герцог Орлеанский вносит десять тысяч франков.

Это доказывает, что мы нашумели. Я попросил его не отрицать этих слухов.

Было бы важно иметь среди наших членов несколько известных лиц, чтобы привлечь публику в наш клуб. Шессар говорит, что у вас есть листки со списками новых членов, нужно будет прислать их или принести в понедельник, чтобы вклеить в регистрационную книгу. Вы знаете, что одно имя притягивает другие.

Г-н де Фитцам с благодарностью соглашается.

Ваш
Пр. Мериме

6 мая.

*Адрес:* Господину Леве-Веймару
Улица Прованса.

[15] Ложное понятие о чести, плохо понятый символ веры.

[16] Брайтон—приморский город в Англии, морской курорт.

[17] Фанни Эльслер—знаменитая танцовщица. В 1848—1851 гг. выступала в Петербурге и Москве с исключительным триумфом.

[18] Тальони (1804—1888)—знаменитая танцовщица.

[19] Качуча—танец, один из наиболее популярных номеров Эльслер.

[20] Duprez Жильбер-Луи—французский певец, тенор (1806—1896).

[21] Салон г-жи Рекамье давно посещал А. И. Тургенев, который и ввел в него Вяземского.

[22] Полуэктовы—вероятно, родственники Вяземского по жене, сестра которой, Любовь Федоровна Гагарина, была замужем за Б. В. Полуэктовым.

## 3

Paris, $\frac{\text{2 сент[ября]}}{\text{21 авг[уста]}}$ 1838 [г.]

[Слово «Paris» написано справа налево и заштриховано]

Надеюсь, что ты разберешь место моего пребывания. Это новый способ чистописания, которое надобно прочесть в зеркале.

Проказы находящегося при мне чиновника по особым поручениям.

Кого например сунул он мне в лон-лакеи? Русского солдата, который здесь остался с 1815-го года, и разрусел, но не офранцузился, однакоже сохранил все что есть глупого в русском, глупом от природы. Он в роде тех лакеев и буфетчиков, которых ты имеешь особенный дар отыскивать и нанимать, pour me rendre dur le bonheur de la vie domestique[1]. Суди же, каково мне здесь с таким молодцом. Например ехал в Версаль, и проезжая какое-то довольно большое местечко, спрашиваю его о названии, а он отвечает мне: это так-с просто. Я понял его мысль, то-есть он хотел сказать, что это не Sèvre, не St. Cloud и проч. Но пойми и меня! Заехать сюда, чтобы попасть на русские ответы. Проезжая мимо

St. Cloud, начал он мне описывать его: б ь ю т ф о н т а н ы д а ж е б е с п о д о б н о и так далее. Ах, ты бестия! а между тем совестно мне прогнать его. А уж как подает мне одеваться! Как нижняя губа его отвисала! Невыразимо и невообразимо, особенно когда отвыкнешь от избранных тобою!

На днях пели Te deum в церкви Notre Dame, король, все семейство, все газетные знаменитости тут были. Л. Веймар дал мне шесть билетов, чтобы выбрать любое место. Ни один не удался. Все было битком набито, и я в десятых рядах никого и ничего не видал. Уж только после видел мельком короля, когда он проезжал в карете и кланялся народу в окошко, и должно отдать справедливость неустрашимости его, довольно высовывал голову свою из кареты. Впрочем около кареты телохранителей бездна, и полицейских предосторожностей тьма, как и везде здесь, и гораздо более запретительных мер, нежели у нас: тут не ходи, здесь не езди, и проч. Одно возбудило мое особенное внимание: когда король вступил в церковь, раздались крики: Chapeaux bas, chapeaux bas![2] Следовательно, в церкви были люди и в шляпах, и никто не заботился о уважении к х о з я и н у д о м а, а только о уважении к г о с т ю. Следовательно, здесь все-таки более монархического, нежели религиозного чувства. Правда, и то, что вероятно одна полиция кричала: Chapeaux bas! — Радостные крики были довольно умеренны, и только в некоторых правительственных журналах отозвались на другое утро громогласно.

Оттуда по соседству зашли мы à la Morgue[3]. Грешно жаловаться в этом случае на титулярного советника, но и тут сделал он свое дело: ни одного тела не было налицо и следовательно не мог я поверить описание J. Janin в Âne mort et la femme guillotinée[4], и не стоило мне ходить туда.

А это например каково? Хоть дать тебе целый год отгадывать, не отгадаешь ты, какие первые лица попались мне здесь навстречу: твой цветочный маляр, и этот шут музыкант, что жил в Варшаве у Левицких и разыгрывал с Новосильцевым[5] à quatre mains. Все это меня бесит, и подливает желчь в чашу здешнего упоения. Во мне *я* занимает более места, нежели в ком-нибудь. Мой внутренний мир так чувствителен, чуток, похотлив, раздражителен, что внешний мир со всем могуществом своих впечатлений, не всегда может пересилить его. Корми хоть птичьим творогом, но если попал волос в горло, то все-таки будет тошно. Посади на престол, но если неравно булавка попадет между подштанниками и сидячею частью тела, то не усидишь и на престоле. То-есть, разумеется, булавка острым концом в тело, как мастерски умеет пришпиливать ее мой титулярный советник, когда захочет выслужиться.

В Версаль прислал он меня в день, когда никого не впускают во дворец. Но Вернет[6] выручил меня из беды, дал письмо к королевскому архитектору [одно слово нрзб.] (которого жена воспитывалась вместе с в. к. Еленою Пав[ловною]) и я, хоть бегло, но обозрел главное.

Вернет пишет огромную картину взятие Константина, в знаменитой зале du jeu de peaume.

Версаль великолепен и вообще все, что я видел из окрестностей здешних, очень красиво. Берега Сейны живописны, светлы, хорошо обстроены.

[1] Чтобы отравить мне счастье домашней жизни.
[2] Шляпу долой! Шляпу долой!
[3] В морг.
[4] «Мертвый осел и казненная женщина»—роман Ж ю л я Ж а н е н а.

[5] Новосильцев Николай Николаевич (1766—1838) — ближайшее начальство Вяземского во время его службы в Варшаве в 1817—1821 гг. (вице-президент совета управления Варшавского герцогства).

[6] Вернет (Vernet) — французский художник Орас Верне (1789—1863), автор батальных и исторических картин. Вяземский познакомился с ним в Риме в 1834 г. и виделся позднее в Петербурге, куда Верне приезжал летом 1836 г. В альбоме Вяземского (ГАФКЭ) сохранилась записка к нему Ораса Верне, факсимиле которой мы здесь воспроизводим.

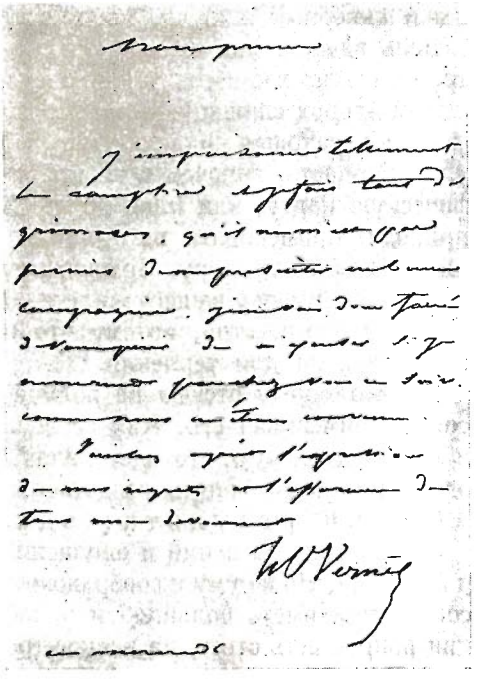
4

3 сентября н. с. [1838 г.]

Я был у M-me Récamier. Милая, приветливая старушка. Встретил там Шатобриана и Балланша[1]. Шатобриан не носит на себе вывески своей, что-то похожее на какого-то Хилкова, которого я где-то встречал, кажется отец Щербатовой. Разговор был довольно посредственный, point de mots à citer[2]. Вероятно мое чужое лицо мешало.

M-me Récamier кланяется Андрею Карамзину[3] и сказала мне: ce jeune homme nous a beaucoup intéressé[4]. Дайте скорее стакан воды Софии Николаевне[5]. Кровь в голову ударила. Был я у моего и пушкинского любимого поэта: Alfred Musset. Кажется, добрый малый и не избалован. Поклонение мое было ему приятно и лестно, особенно когда стал я ему читать наизусть стихи его. Здешние авторы друг с другом не знакомы. Все разделены на шайки и на журнальные артели.

Вечером в опере: дают новую оперу Benvenuto Cellini, музыка Берлиоза, который пишет музыкальные фельетоны в Journal des Débats. Я слышал несколько сцен из сей оперы на репетиции. Скажи Одоевскому[6], что вероятно она ему понравилась бы, а заключаю я это из того, что она должна походить на Жизнь за царя, потому что мне показалась она довольно скучна. Много шума и вероятно ученого, но сердца ни чуть не шевелит, и ничего не наигрывает на наши неученые уши. Здешние обеды вовсе



АВТОГРАФ ПИСЬМА ОРАСА ВЕРНЕ К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

не совместны с спектаклем. Садишься за стол в 7-м, а иногда и в 8-м часу, а тут и спектакль начинается. Вообще мало времени в здешних сутках, да и всей природы человеческой мало: куда здесь с одним желудком, с одною головою, двумя глазами, двумя ногами и так далее. Это хорошо для Тамбова: а здесь с таким капиталом жить нельзя. Вчера чета л. веймарская[7] в своей щегольской коляске заезжала за мною и ездили мы в St. Cloud, где играли воды. Великолепности нет, но очень мило, и падение вод красивое, все в зелени, народа много и тень Наполеона тут шатается и толкает вас воспоминаниями, которые не хуже версальских, или по крайней мере не жиже. Если Людовик XIV мог сказать: l'état c'est moi, Наполеон имел на веку своем дни, в которые мог сказать: le monde c'est moi[8]. Из St. Cloud повезли они меня обедать к Вери, лучшая здесь ресторация. Устрицы свежие, как мать их родила. Вообще здесь царство объядения. На каждом шагу хотелось бы что-нибудь съесть. Эти лавки, где продаются фрукты, рыба, орошаемая ежеминутно чистою водою, бьющею из маленьких фонтанов, вся эта поэзия материальности удивительно привлекательна. Между тем тут же вонь, улицы . . . . . как трактирный нужник, и много шатающейся гадости в грязных блузах. Живи и жить давай другим. Требование отменной чистоты везде и всегда есть также деспотизм. На чистоту надобно много издерживать времени, а время здесь дорого, дороже нежели где-нибудь. Из общих и главных вольностей здешней конституционной жизни замечательны две: кури на улицах сколько хочешь, и . . . где попадется. И то и другое имеет свою приятность и я ими пользуюсь. Разве это не стеснение естественных нужд человека, когда например, как в Петербурге, хоть лопни, а не найдешь нигде гостеприимного угла для излияния потаенной скорби.

Что мне здесь не нравится:

бороду долго бреют и намыливают губы, белый хлеб не хорош, худо испечен, а местами прожжен, да и пресен, т. е. fade. Мороженое снеговато, знаменитый Тортони не стоит нашего покойного Чернышева—дрожки наши скверный экипаж, но и кабриолеты нехороши, особенно, когда ездишь вдвоем, потому что кучер, в синей блузе, или в грязной куртке трется около вас и сидит у вас на коленях—фиакры чище, но едут почти шагом—город слишком велик и разбит и много времени тратишь на разъезды и переходы—никак не могу ориентироваться в здешнем лабиринте, улиц пропасть, впрочем я на это хорош: я никак не могу понять географическую карту, или план дома. Портные здешние мучители. Раз пять приходит примеривать вам платье. Надобно давать им séance, как живописцу, или скульптору. Брюлов скорее схватит ваше лицо, нежели здешний портной мерку вашего жилета. Да нет и хорошего портного, да и шьют долго, добросовестно, потому что не хотят сшить кое-как, но тягостно и пилительно для терпения.

Вероятно уеду отсюда не получив заказанного платья, хотя три утра сряду примеривал его. Как зазвонит в дверях колокольчик, так дрожь и берет меня: чую, что идет палач. Надобно раздеться, чтобы примерно одеться, и потом опять раздеться.

Общий результат здешней недели.

По итогу впечатлений и ощущений я далеко не обворожен, хотя многое и нравится. Но по уму и соображениям полагаю, что здешнее житье должно современем иметь большую и непобедимую прелесть привычки. На всякий вопрос есть ответ, на всякое требование удовлетворение. Чувствуешь,

ИЗ ПАРИЖСКИХ ЗАРИСОВОК
П. И. ЧЕЛИЩЕВА, 1839 г.
Литературный музей, Москва

что здесь можно жить как хочешь. Это петербургский английский магазин образованной жизни. Чего хочешь, того просишь, даже уединения, тишины: и это найдешь. В маленьких городах, ou peut-être petite ville quoique grande capitale[9], труднее сосредоточиться в себе самом, или в тесном круге. Мимотекущие и мимоидущие задевают вас, как ни жмись к стенке. Здесь много проселочных больших дорог: там все столбовые дороги. Все это мои догадки, потому что бешеная, угорелая, собачья жизнь путешественника, который на несколько дней заброшен в этот кипучий котел, не дает времени размышлению. Повторяю: путешественник благоразумный и независимый должен решиться ничего не видать, т. е. не кидаться по пятам глупого лон-лакея на все что ему велят смотреть в силу de guide du voyageur[10]. Главное на первой поре напитаться окружающею атмосферою, и ждать впечатлений: они сами придут, и тогда милости просим! Все готово в вас к принятию их, они чередуются и каждое оставляет след по себе, и четкими буквами записывается в вашем внимании. А если пуститься напролом в их толпу, то вместо ясных следов вынесешь только из этой суматохи боевые знаки: шишки на память, синие пятна и раскваш енную рожу.

Пантеон здание прекрасное, но пустое, бесполезное, ждет жильцов и не дождется. Кто определит кого принять за grand homme?[11]. Наполеон, чтобы населить эту пустыню, декретировал que tous les sénateurs étaient des grands hommes[12], и большая часть населения обязана сенату. Солдат, который водил нас по храму, указывая на гробницу Руссо, сказал наизусть: ici repose l'homme de la nature et de la vérité[13]. Подобный храм в наше время есть анахронизм. В век христианский смерть освящается одною религиею, и гробницы в храме, не ей воздвигнутом, не что иное как журнальные статьи, qui n'ont pas de lendemain, не только d'immor-

talité[14]. Придут новые господа, новый порядок и все это бессмертие вон, как уже и было.

L'arc de triomphe[15] едва ли не лучшее здание, но и тут trop d'individualité, d'actualité, trop de noms propres[16], которые время может вымарать не завтра, так через год.

Обнимаю вас—я послал тебе Charivari et Corsaire[17].

[1] Ballanche Пьер-Симон (1776—1847)—французский писатель, автор ряда историко-философских и религиозно-философских сочинений.
[2] Нет ничего, что стоило бы передавать.
[3] А. Н. Карамзин (1814—1854)—сын историка, путешествовал по Европе и жил в Париже в 1836 г.
[4] Этот молодой человек нас очень интересовал.
[5] Карамзиной (1802—1856)—сестре А. Н. Карамзина.
[6] Владимиру Федоровичу.
[7] Чета л. веймарская—т. е. Леве-Веймар и его жена.
[8] «Государство—это я» и «Мир—это я».
[9] Или, может быть, в маленьком городе, хотя и в большой столице.
[10] Путеводителя.
[11] Великого человека.
[12] Что все сенаторы были великими людьми.
[13] Здесь покоится человек природы и истины.
[14] Которые не имеют завтрашнего дня, не только бессмертия.
[15] Триумфальная арка.
[16] Слишком много личности, современности, слишком много собственных имен.
[17] «Charivari» и «Corsaire»—названия известных сатирико-юмористических журналов.

5

19 ноября 1838 г.

...Чтобы ты поняла отчего не могу так скоро отделаться от Парижа, расскажу тебе мой вчерашний день: утром чтение у M-me Récamier des mémoires inédits de Chateaubriand[1], и Шатобриан со мною кокетничает, и извиняется и совестится, что чтение, то-есть читанный отрывок не довольно интересен. После обеда получаю записочку от к. Ливен[2], которая приглашает меня к себе и знакомит с Гизо et une conversation d'une heure à nous trois[3]. Вечером упоительная Фанни Ельслер и сумасводительная качуча. Третьего дня дон Giovanni—Рубини[4], Гризи, Тамбурини-Лаблаш. Завтра Норма[5]. Нельзя хотя не поотведать того и другого и третьего. Вечером сегодня был я à la Comédie Française. Молодая жидовка Rachel воскресила Расина-Корнелия, qu'on va voir comme une nouveauté[6]. Давали Cinna[7]. Роль ее малозначительная, но видно, что она с большим талантом. Прочие актеры смешны до крайности: французские хрипуны.

[1] У г-жи Рекамье неизданных мемуаров Шатобриана.
[2] Кн. Ливен Дарья Христофоровна (1786—1857), урожд. Бенкендорф,—сестра шефа жандармов.
[3] И часовая беседа между нами тремя.

В альбоме Вяземского (ГАФКЭ) сохранилось следующее письмо к нему Гизо:

Je serois charmé de procurer à Monsieur le Prince Wiasemski le billet qu'il désire. Mais j'ai l'honneur de prévenir qu'il n'y aura point de séance royale. Le Roi n'ouvrira point la session en personne. Ainsi, nul discours de la couronne, et nulle cerémonie particulière.

Je prie Monsieur le Prince Wiasemski de vouloir bien agréer l'hommage de ma considération la plus distinguée.

Guizot

Mardi, 2 avril 1839.

*Адрес:* Monsieur le Prince Wiasemski
Rue St. Honoré 366.

*Перевод:*

Я был бы счастлив предоставить князю Вяземскому билет, который он хотел иметь. Но, однако, должен предупредить его, что королевского выступления не будет. Король лично не откроет сессии. Итак, никакой королевской речи и никаких особых церемоний. Я прошу князя Вяземского принять уверение в моем совершенном уважении.

Вторник, 2 апреля 1839. Гизо

*Адрес:* Князю Вяземскому
ул. св. Оноре, 366.

[4] Опера «Дон Жуан» Моцарта.
[5] Опера Беллини, 1831 г.
[6] Которых идут смотреть, как новинку.
[7] «Цинна»—трагедия Корнеля, 1639 г.

6

29 ноября 1838 г.

... Теперь могу с спокойной совестью оставить Париж; ибо видел émeute, не большую, а порядочную. Студенты не дали профессору Lerminier[1] (который из либералов передал себя министерству) начать свой курс, шукали, ревели, кидали ему медные гроши, говоря: puisque c'est de l'argent que tu veux, en voilà![2]. Но всего забавнее, что я наконец очутился с ним в комнате, которую заперли, чтобы спасти его от поруганий толпы, и видя, что он выскочил в окно, qui était de plein-pied[3], должен был так же последовать его примеру, чтобы не быть за него ответчиком.

Если в. к.[4] не получает Шаривари, покажи ему эти листики, которыми честят Парижского графа. Наглость ни на что не похожая, да и бессовестность. Все-таки герцогиня Орлеанская женщина и мать[5]. А смешно! Посылаю и Корсара. Здешние сердятся на это графство и находят тут политическое намерение мало по малу возвратиться к старому порядку. Да ведь надобно же было как-нибудь да окрестить его? Вообще рождение произвело мало впечатления. Где же здесь думать о третьем поколении? Мало ли, что еще быть может и при двух уже существующих. Если нынешний порядок устоит при нынешнем, да еще при сыне, то дело в шляпе или в короне. Здесь не до внуков, здесь день мой—век мой.

[1] Мятеж, бунт.
Лерминье Эжен (1803—1857)—литератор и профессор. С 1830 г. читал в Коллеж де Франс курс сравнительного права и пользовался большой симпатией слушателей за свои либеральные взгляды. Своим переходом в ряды сторонников правительства Лерминье настолько дискредитировал себя в глазах студентов, что вынужден был в 1839 г. покинуть кафедру.
[2] Так как ты хочешь денег, вот тебе!
[3] Которое было на уровне земли.
[4] в. к.—великий князь Михаил Павлович.
[5] Герцогиня Орлеанская—жена старшего сына короля Луи-Филиппа, принцесса Мекленбургская, мать только что родившегося внука короля, которому дан был титул графа Парижского.

7

8 февраля 1839 г.

Погода преподлейшая, день темный, сырой, и мокрою тряпкою лежит на душе. Да к тому же и твои письма не светлы. Все это из меня делает что-то довольно скучное. Одна италианская опера меня электризирует. Вчера давали Puritani[1]. Так и хотелось бы душу приковать к этим звукам. Голос Леблаша как божий гром перекатывается. Рубини, Гризи, не знаю чему их приравнять, но когда они поют, и душа поет, теплится, благоухает, плачет, а ушки смеются. Только и хорошего здесь, что они. Впрочем, я никого и не знаю. Знакомых не видал, а с новыми знакомиться

не тянет. Завтра на бале у Стакельберг увидим весь бомонд. Посмотрим. Палаты закрыты, следовательно одним спектаклем, утренним спектаклем, менее. О закрытии палат много толков и суждений. Некоторые думают, что новая палата будет еще недоброжелательнее для правительства. Но во всяком случае, по моему мнению, правительству другой меры не предстояло. Оно поступило законно и даже добросовестно. Нельзя же было королю выбрать новое министерство в мнениях палаты, разбитой на несколько шаек, соединившихся для ниспровержения, но без единодушия и без единогласия для созидания. Одна надежда, что весь этот кипяток в одном Париже и то в нескольких верхушках и вертушках, но что Франция желает спокойствия и будет уметь благоразумными выборами отклонить предстоящую грозу. Во всяком случае король еще успеет поддаться левой стороне, если выборы будут в ее пользу. От всей этой каши тошнит.

Между тем все идет по обыкновенному порядку. Карнавал бесится: ночью по улицам такой шум, вой, что подумаешь, не . . . глориозные затеиваются? Нет, ничуть. Маски изволят забавляться. В домах по несколько балов в вечер. Театры битком набиты. Когда эти дьяволы успевают бунтовать, помышлять о ниспровержении престолов, и ставить все вверх дном.

[1] Опера «Пуритане» Беллини, 1834 г.

8

25 февраля [1839 г.]

О здешней жизни сказать нового нечего. Но вы, ради бога, не говорите Смирнихе[1], что я так фонвизинствую. Она сейчас запоет «Тебе бога хвалим!» и наша взяла. Дело в том, что я все-таки не согласен во многом с нею, и что я более прежнего du juste milieu. Он один прав, а все прочее дрянь, или безумие. Впрочем по всем предположениям значительной перемены в ходе дел от новых выборов не будет и выборы останутся в том же смысле. Это сказали мне и люди правительственные и Гизо, который кажется раскаивается и по крайней мере совестится, что заварил подобную кашу и имеет нужду оправдываться.

[1] А. О. Смирновой—урожд. Россет. Отрицательные отзывы свои о Париже Вяземский сравнивает с отрицательными, часто бранными отзывами в «Письмах из путешествия» Фонвизина, бывшего в Париже в 1778 г. Вяземский вспоминает о спорах с консервативно настроенной Смирновой и, отгораживаясь от единомыслия с нею, настаивает на том, что он сторонник «juste milieu»—«золотой середины», которую отстаивали Гизо и партия так называемых доктринеров.

9

Париж—(Puisqu'il faut bien l'appeler par son nom[1])

28/16 февр[аля] [1839 г.]

Вчера минуло месяц, что мы здесь, и за исключением нескольких дней, что я был жертвою пиявок, вот более трех недель, что я верчусь в здешнем мире. Но со всем тем я не впиваюсь еще пиявкою в здешние соблазны, напротив, каждый день отбивает мою жажду. От чего это? Трудно решить эту физиологическую и психологическую задачу. Кто тут виноват? Я ли? Париж ли? Вероятно, оба. Я от того, что слишком стар, слишком исключителен, слишком ц е л е н. Если в чем-нибудь что-нибудь одно мне очень не нравится, если какое-нибудь из внутренних, из коренных моих убеждений оскорблено, обмануто, то я противлюсь, запираюсь наглухо от всех

других впечатлений, et je boude[2]. Здесь, где политика во все вмешивается, одна из главных стихий окружающей вас атмосферы и входит во все поры ваши умственные и сердечные, нельзя с моим расположением оставаться неутральным, особенно в настоящую минуту, где все приняло новое движение. Возникший здесь процесс огадил мне французов, и эта тошнота разлилась на все. Личное честолюбие некоторых и безумие, или легко-

ГИЗО
Миниатюра на кости работы Поля Делароша, 1837 г.
Эрмитаж, Ленинград

мыслие почти общее навели на меня уныние, ибо я еще был верующий. Даже и замечательные лица потеряли для меня весь свой интерес, ибо я им уже не верю.

Что скажут мне они нового, какими убеждениями проникнут они меня, когда уже оголились они предо мною в действиях своих? Что нового узнаю я от Гизо о Гизо, когда я читал, что он говорил и писал, и вижу, что он делает? Знаю, что он будет лгать передо мною, как лжет перед Франциею и перед светом, и вероятно перед собою, себя обманывая и закрывая глаза,

чтобы не видать куда он идет, ибо Гизо не разрушителен по побуждению, но только по самолюбию, и на время, надеясь на себя и на свои силы и думая, что когда власть попадется ему в руки, он сумеет и сможет восстановить то, что он ныне колеблет. Я был у него, и он в нескольких словах резюмировал мне то, что говорил в палате и после писал, имея нужду оправдываться не только перед всемирным трибуналом, но и частно. Он говорил мне, что всей этой передряге придают излишнюю важность, что это дело совершенно домашнее, что в представительном правлении равновесие властей должно быть в строгой и совершенной соразмерности, для полного развития каждой власти отдельно и для правильного и совокупного действия соединенных властей, что по его убеждению нынешнее министерство излишне нагружает правительственную власть, ослабляя другое начало, и что для восстановления равновесия и вследствие того благоразумного укрепления самой царской власти, должно было вооружиться против министерства. Разумеется, отвечать мне ему было нечего. Слушаюсь, да и только. Нечего было мне говорить ему, что монархия июльская, за которую он, однако же, стоит, не довольно еще оселась и раздобрела, чтобы можно было поминутно в глазах ее внутренних противников легитимистов, республиканцев и наполеонистов и в глазах недоброжелательной к ней Европы ажитировать вопросы, которые более или менее касаются до самого ее существования. Нечего было ему сказывать, что по моему похожи они на диких, о коих говорит Монтескье, подрубающих дерево, чтобы сорвать плод, а они подрубают, чтобы очистить от некоторых сухих ветвей.

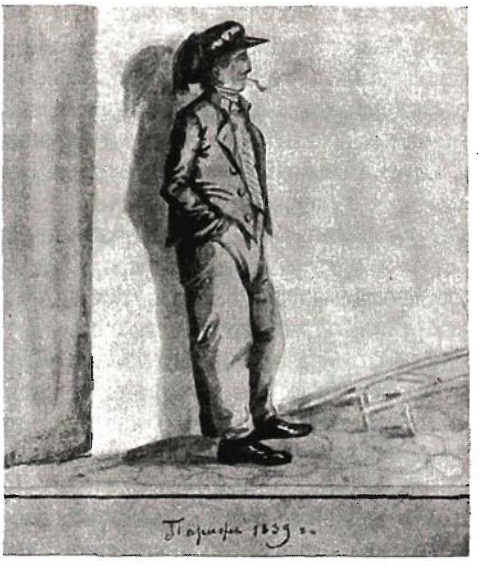
Третьего дня был я у Тьера[3]—и салон его и разговор собеседников напомнил мне литературные вечера Воейкова, в которых все время проходит в сплетнях о Грече, Булгарине, Полевом. Тут ни слова о литературе, здесь ни слова о Франции, о государственных началах, о нравственной политике, а сплетни о министрах и своих противниках. Видишь, что дело идет не о убеждениях совести и ума, а только о лицах. Теща Тьера, рыбачка настоящая, poissarde[4], кричит и ругает противников зятя своего. Но дом их прекрасен, что-то италианское в наружности, с садом, двором, устланном по сторонам зеленым дерном. Самый дом на площади St. George, перед фонтаном. Тьер не велик ростом, что-то вроде Нессельрода[5], в очках, голос несколько писклявый, что-то мещанское, чиновническое в ухватках, хотя с примесью заемного барства, впрочем довольно внимателен и учтив. Они в таком чаду и умнейшие из французов так привыкли судить все поверхностно и по некоторым внешностям и опухлостям, что и Тьер по поводу ночных заседаний английского парламента серьезно говорил мне, что вероятно войдут они скоро в употребление и во Франции, ибо с каждым днем умножается и утверждается сходство между обоими государствами. И это говорит член и один из предводителей коалиции, которая никогда не могла бы устроиться в Англии по несбыточности своей, по безнравственности и по бесприличности. Здесь переняли английское представительное правление точно так же, как переняли английский романтизм. Тьеры, Гарнье-Пажесы[6] точно такие же конституционалисты, как В. Гюго, Дюмасы, Шекспиристы. Присвоили себе неограниченную свободу все говорить, все писать, не уважать ни единством времени, ни единством истины и святости некоторых начал, которые везде и всегда должны пребыть ненарушимы, присвоили себе выражение, но не присвоили смысла, и думают, что они сравня-

лись с англичанами, и еще превзошли их, ибо преувеличили и сбили до нельзя некоторые их крайности. Тут же Мериме (автор de la double méprise et de Clare Gazul) ратовал, как ужасно действие Сальванда[7], министра просвещения, что он предлагал пристроить к университетскому зданию концертную залу, et une chapelle![8] и все слушатели ахали от удивления и ужаса, и говорили, что Сальванди безумец. Пожалуй, еще зала концертная дело, может быть, лишнее, но что же мудреного и непостижимого в том, что в христианском государстве думают построить церковь. И при таких понятиях они полагают, что Франция с каждым днем более и более сливается с Англиею, в которой стихия монархическая и стихия религиозная так же сильны, как и стихия свободы. Скажите Соболевскому[9], что приятель его Мериме должен быть подляшка; я видел его и у Л. Веймара и у Тьера, и каждой партии подслуживается он, принося ей на жертву другую. Одно из главных бедствий здесь это могущество грамотности и пера. Кто пишет и пишет хорошо, тот уже признает себя способным быть государственным человеком и лезет в депутаты, чтобы попасть в министры. Таким образом всякое правило благоразумное в некотором отношении, в известных пределах, здесь обращается во зло неуместным применением и безграничным расширением. Оттого французы испортили много хорошего: представительство, свободу печатания, самый романтизм. Все они пересолили, и перебагрили кровью, расшибая лоб себе и другим излишним усердием. Разумеется, безграмотность и невежество должны быть преградами к почетным местам, но из того не следует, чтобы дар слова и дар пера, чтобы каждый краснобай и каждый журналист имели право управлять государством. Все понятия сбиты с места. Давайте пищу и действие всем capacités[10], это необходимо, но смешно думать, что всякая capacité, всякая специальность на все годится. Здесь, например, скульптор Давид[11] влюблен не в Галатею[12], а в депутат-

ИЗ ПАРИЖСКИХ ЗАРИСОВОК
П. И. ЧЕЛИЩЕВА, 1840 г.
Литературный музей, Москва

ство, спит и видит, как попасть в палату и попадет. Другое здешнее бедствие, это способность, с которой французы составляют ярлычки, как например les doctrinaires, или le roi règne et ne gouverne pas[13] и тысячу других. Выставят такой ярлык и пойдут толки, споры, прения, междоусобия. О деле, о Франции нет уже и в помине: готовы все поставить вверх дном, затеять новую революцию, чтобы оправдать свой, или оборвать чужой ярлык. Например, ныне без этого ярлыка le roi règne et ne gouverne pas никак нельзя было бы поднять всю эту передрягу, ибо в существе дело и вообще положение Франции ни в чем не изменилось. Molé точно то же делал, что Тьер и Гизо, когда они были министрами. Дух тот же, материально Франция процветает, следовательно фактами нельзя никак оправдать необходимость или даже пользу этого ополчения против министерства. Но пустили в народ ярлык, и теперь готовы драться за него. По всему более и более убеждаюсь, что представительное правление не годится для французов. Они не умеют обходиться с свободою: свобода должна быть религия, а французы или фанатики, или кощуны. Французы болтуны и краснобаи: трибуна для них театр, а не судилище, не святилище. Из представительного правления взяли они одну театральную, декорационную представительность. Это тоже род ярлыка на пустой склянке. Да и посмотрите, когда Франция была сильна и опасна Европе? Всегда в руках деспотизма: при Людовике XIV, во времена terreur[14], и при Наполеоне. И теперь она может быть опасна для Европы, подобно больнице, в которой содержатся бешеные без присмотра: они могут разбежаться и наделать много шума и бед, но скоро сами перебесятся и перепадают в изнеможении. Нельзя предвидеть, чем все это кончится, но так устоять не может. Разрешение задачи, предлагаемое республиканцами или легитимистами, равно безнадежно и не прочно. Если французы неспособны к представительной монархии, то еще менее способны они к республике, если республика посреди Европы и дело сбыточное, чему не верю: новая реставрация[15] тем же кончится, чем первая и вторая. В нынешних обстоятельствах то, что есть, было бы лучшим умирительным средством, но и оно не довольно действительно. После революции, после Наполеона Франции нельзя возвратиться к тому же и сознаться, что она попустому проливала кровь свою, бесилась и страдала четверть века. Старшая ветвь[16], как ни прививай ее, чужими ли штыками, вандейскими ли кинжалами, но срастись с Франциею уже не может. Это мое убеждение. К тому же и ветвь бесплодная, гнилая, отжившая свою пору. Разумеется будь Гейнрик 5-й другой Наполеон, то можно ему будет овладеть Франциею, но par droit de conquête, et non par droit de naissance[17]. Казалось бы, что Франция могла сказать о Филиппе[18], что Вольтер сказал о боге: Si Dieu n'existait pas il faudroit l'inventer[19]. В нем сливались два противуположные начала, в нем воплощались революция и монархия, с ним и овцы были целы и волки сыты. Монархическая Европа могла видеть в июльской революции домашний переворот, une question de nom propre et non de principe[20], то, что, впрочем, виделось и не во Франции: самохвальство французов утешалось тем, что они на своем поставили, и сделали après coup[21] то, что в праве были сделать прежде, ибо нет сомнения, что после падения Наполеона, если le gouvernement provisoire[22] вместо Людвига XVIII предложил бы Louis-Philippe, то союзники не стали бы спорить, ибо о Бурбонах не смели они и думать, и очень были бы рады этому разрешению трудной задачи: кого посадить

ИЗ ПАРИЖСКИХ ЗАРИСОВОК
П. И. ЧЕЛИЩЕВА, 1839 г.
Литературный музей, Москва



на престол. Вот на что не довольно обратили внимание европейские державы, недоброжелательные июльской революции: elles l'ont prise trop au sérieux[23]. Это было дело совершенно домашнее, неблагоприятное, неблаговидное, согласен, но зная французов, должно было сказать им спасибо, и за то, что они не сделали хуже. Теперь, может быть, сделают хуже и Европе нужно будет вмешаться, и силою войти в общее треволнение. Новому правительству должно было дать руку помощи, non pour ses beaux yeux[24], но для собственной пользы, ибо в лице Филиппа, как ни называй его usurpateur[25], но все-таки сосредоточилось правило монархическое, хотя несколько искаженное, но еще довольно могущее. Оттого и устремлены были на него кинжалы цареубийц, ибо знали что, убивая в нем представителя монархического правила, ранят одним ударом и других представителей. Филипп, окруженный и подкрепленный доверием и уважением Европы, то-есть не он, а трон его, был бы более уважен и во Франции, и не столь доступен покушениям вандейским и республиканским. Сентиментальная политика никуда не годится: в ней может быть почтенное добродушие, но нет предусмотрительности, нет той благоразумной уступчивости, которою умиряются, обезоруживаются и нейтрализуются обстоятельства.

Думать, что Франция с потрясенными своими понятиями, с искоренением всех возможных правил и преданий, вырванных из почвы кровавыми бурями, может приютиться и притихнуть под сенью абстракции о légitimité, или du droit divin[26], она, которая не признает никакой законности, кроме положительной, и мало верит в бога, оставляя его в покое, только с тем, чтобы и он не вмешивался в чужие дела, так думать, значит не знать Франции и мечтать о золотом веке, когда чугунный век так и несется по железной дороге и мнет и сокрушает все, что ему навстречу ни попадается.

Вот вам политическая физиономия Парижа: она мне не по нутру. Теперь посмотрим на общежительную, на социальную. Во-первых, отделить ее совершенно, или даже несколько значительно, от другой здесь невозможно: это два сросшиеся сиамца. Здешние салоны мне не нравятся. В них

мало приветливости. Все так сыты до пресыщения, до удушия, что нужно разве много времени, или особенный случай, чтобы залакомить собою. Общества все очень многолюдны и народ все кочующий из одного салона в другой: это беспрерывная ярмонка. Учтивая хозяйка, например, duchesse de Bozan, скажет каждому слов пять приветливых, и только: другие и того не скажут—поклонятся, да и полно. Все приезжают на 10 минут, ибо в один вечер надобно перебывать в трех и более домах. Хорошо, когда уже сроднишься с общим разговором, то успеешь и налету поменяться словами, которые в связи с предыдущими и с последующими, но чужому, постороннему что сказать тут при этой вечной передвижке, кроме пошлых слов обрядного пустословия? Балы? Признаюсь, не нахожу в них ничего особенно блистательного. Кроме балов Стакельберга, американца Торна, которые имеют что-то праздничное, ибо покои просторны, другие балы толкотня, в которых только и видишь фрачные или голые спины стоящих перед тобою. Голые спины, еще не худо, были бы хороши, но право очень мало красивых спин и красивых лиц, удивительно мало, особенно же мало стройных, элегантных (т. е. от природы) женщин, мало блистательных, воздушных, поэтических или разительных красавиц. Все лучшие иностранки: англичанка Дорсе, испанка Алканизес, италиянка Belgioso, нечто в роде привидения, прозрачная, луноватая, но ярко отмеченная живыми черными глазами и особенным выражением, еще несколько англичанок и только. Из здешних более всех мне нравится герцогиня Валомбрез. Глаза прекрасные, но нет талии. Вообще в физиономии здешнего общества нет ничего привлекательного, нет этой auréole du bon goût, d'élégance, du comme il faut[27], которую я думал найти. Все это вроде M-me Hervo. Наружность и обхождение мущин—хотя красавцев гораздо более нежели красавиц—грубы, неловки и пошлы. Или бородачи на распашку, или затянутые купчики в воскресный день. Борода небритая пробивается не только на лице, но и во всем. Толкаются, ходят по ногам, только что не по голове, и заботы нет. Если вы услышите: excusez[28], то знайте, что это иностранец. Между тем это движение беспрерывное, но без цели, без души, становится скоро утомительно. В молодости может оно быть увлекательно, но на меня оно наводит уныние и какое-то оцепенение, любопытство же мое слабо возбуждено этим зрелищем, ибо после Италии, Неаполя и Лондона оно для меня не ново. Вообще Париж живет, я думаю, несколько еще и старою славою своею. Хотя французы и говорят: il n'y a qu'un Paris au monde[29], но не надобно забывать, что в отношении многолюдства, общежительной деятельности, роскоши пособий, другие столицы также много приобрели, и ныне несоразмерность между ними и Парижем не столько ощутительна, как прежде. Париж уже не представляет совершенно новой физиономии. Не говоря уже о Лондоне, который гораздо выше Парижа, но и все другие столицы подросли к нему хоть по плечу. Главная неотъемлемая прелесть здесь спектакли, а особенно же для меня Италианская опера, которая также не коренная, а заезжая красавица, в которую я так влюблен, что готов бы следовать за нею на край света, хоть в Камчатку; она украсила бы для меня и Камчатку. И еще Фанни Ельслер, также, слава богу, не француженка. Стало, могу без неблагодарности, ругать Францию сколько душе угодно. К счастию моему и герцогиня Валомбрез принадлежит Италии. На совести моей никого и ничего не осталось французского. Войти в приятные сношения с литераторами очень трудно и почти невозможно, во-первых

потому, что здесь нет литературной жизни и нет сношений между литераторами. Они чужды друг другу, а если не чужды, то как кошки с собаками. Надо самому их отыскивать по углам. Некоторые мелкотравчатые знаются между собою, но бог с ними, а верхушки все живут каждая особняком. Доселе познакомился я покороче и полюбил Alfred Musset и St. Beuve. Особенно последний добросовестный литератор, художник в душе и очень приятного обхождения. Другой моложе и, кажется, разгульнее, следовательно труднее уловить его. Ламартин занимается теперь литературою из милости. Я был у него и наружностью своею он мне понравился. На днях я должен познакомиться с Нодье, который, сказывают, очень приятен.

Что же остается еще? Уличная, бродяжная фланерная жизнь, которая здесь имеет свою прелесть, но при известном расположении духа, которого во мне теперь как-то нет. Для этого нужна и хорошая погода, а во все это время была пакостная, нужно и какое-то благоволение к земле и к народу, по которой и между которым ходишь, а я имею какую-то досаду, дуюсь на все и на всех. Меня бесит, что встречаю французов, в каждом лице думаю видеть члена коалиции и каждому хочется мне сказать: свинья, или подлец, или безумец. Хороша здесь б о н-ш е р, но кроме того что она ш е р а[30], мне еще и глаза мои ш е р ы, и поневоле должен я воздерживаться. На улице красивых хорошеньких женщин очень мало, этих картинных гризеток нет, следовательно глазам заглядываться нечего. Я не встречал еще ни одной женщины, с которою весело было бы в другой раз встретиться. Владыко ли живота моего ограждает меня ангелом целомудрия от соблазнов, или просто состарившийся мой живот мешает глазам моим хорошо вглядываться, но оно так. Здешняя толпа при всей живости своей не имеет ничего увлекательного, ce n'est pas une vivacité intelligente[31], нет в ней добродушия, добросовестности немецкой, нет поэтической яркости италианской. Что-то тупое, бессмысленное, машинальное, ни дать, ни взять то, что наша толпа. Разумеется, здесь более движения нежели у нас и движения постоянного, непрерывного и общего, но не знаю, как выразить, как объяснить: движение не живое, это метель, рябит в глазах, но не рисуется живописными формами, не дробится, не отсвечивается блистательными отпрысками. Самая буйная веселость здешних публичных маскарадов не имеет убедительной истины: ce n'est pas du libertinage, c'est une sensualité sauvage[32]. Они не оттого неблагопристойны, что слишком веселы, и что веселость их разливается через край, нет, им весело, или любо, что они могут быть неблагопристойны. Pourvu qu'il y aye de l'excès il leur est égal de pousser à l'excès la saleté, ou le libertinage. Ils aimeroient tout autant faire leur grand besoin en public et au milieu de la salle, qu'autre chose[33].

2 марта
18 февр[аля]

Довольно ли наблевал я желчи на Париж? Между тем soyons juste[34], как говорит сестра моей здешней приятельницы, я все-таки питаю какое-то тайное, внутреннее убеждение, что здесь со временем можно ужиться и хорошо устроиться. В противоречие с другими, которые пьянеют от Парижа с первых приемов, мне он не нравится по внешностям своим, по тем впечатлениям, которыми он с первого раза обдает ум и сердце, но я угадываю, чувствую, верю верою, что можно отыскать в нем много

хорошего, но не надобно бросаться в поток и плыть с толпою: надобно отыскать другие протоки по своим силам и склонностям. Во-первых, независимость жизни и действий есть большая прелесть; к тому же все под рукою. Чего хочешь, того просишь и найдешь, и одна душа мера. Всякая специальность найдет себе пищи вдоволь. Всего хуже здесь политическая сторона, стихия, а она-то и преобладает всем. Натурально, она и ошибет новичка, с первого раза, и если испарение ему не по нутру, его огадит. Но после опомнишься, и окружишь себя атмосферою более симпатическою. К тому же меня несколько примирили с Парижем сегодня вчерашние письма ваши, доставленные нам Фелькерзамом. Вижу, или лучше сказать вспомнил, что и у вас не все пахнет розами, а разными навозами, и что меня и там кое от чего тошнило. Видно у меня такая природа тошная, тошноватая, et тошнота pour тошнота не знаю еще которая сноснее.

La duchesse de Bozan, disoit l'autre jour, je viens des bouffons.—Qu'y a-t-on donné?—Othelo[35]. Вот чем эти сен-жерменские дамы поддерживают святость монархических преданий. Если коалиции гадки, то правая сторона ужасно глупа и смешна. Вы знаете, что в старину Итальянскую оперу называли: les bouffons[36]. Более всех мне здесь нравится comme type du comme il faut[37], графиня Аппони, а еще более к. Ливен. Я недавно начал опять ездить к последней, потому что по смерти мужа она не принимала, да и теперь принимает не многих. От этих двух дам только удостоился я знаков приветливости и внимательности, то-есть d'une politesse intentionnée[38]. От прочих видел я только учтивость банальную, а в наши лета этого не довольно, чтобы залучить. Свечина также очень добра, но не имею времени к ней ездить, и как она ни умна, но меня не очень тянет к ней[39]. А Тургенев сердится, и не понимает, как могу предпочитать спектакль и les b r a i l l e u r s  i t a l i e n s[40] беседе ее. Приедет он оттуда, и говорит мне: как жаль, что тебя не было у Свечиной, elle étoit admirable, elle s'est surpassée.—De quoi a-t-elle donc parlé?—De la sainte Vierge![41]—Да Христос с нею! Что она нового может сказать о богородице, и для того ли приехал я в Париж на несколько недель, чтобы слушать ее акафисты? Но здесь на религию мода, особенно в Сен-Жерменском приходе, et il est de bon ton[42] говорить несколько слов в пользу богородицы, и называть Отелло и Норму les bouffons. В литературе нет ничего замечательного. Новые романы Gabriel, Gerfaud[43] довольно посредственны. Первое сочинение моей приятельницы Ансело, c'est de l'eau[44]. Ethes я не читал, но тоже, говорят, не очень спиртуозно. Ламартин печатает том мелких стихотворений. Не ожидаю чего-нибудь отличного, но все, без сомнения, будет лучше его человеческих поэм, бесчеловечно длинных и скучных[45]. Мало еще знаю маленькие театры. За то матушка ваша купается в них до часу пополуночи. Меня более всего влечет и занимает музыка, потому и бываю только в операх италианской и французской всегда с сердечным наслаждением, особенно в италианской. Сегодня услышу в первый раз и к сожалению в последний Somnambula[46], мою милую и грустную римскую знакомку. Ее не давали еще при мне и не дадут более до закрытия оперы, то-есть до отъезда б у ф о н о в в Лондон. Во французской опере один Дюпре[47] хорош, но оркестр, хоры и вообще все исполнение превосходно. Был я один раз и в концерте du Conservatoire и вспоминал о Смирнихе, тем более, что сидел может быть на том самом месте, где пупенька ее трепетала и потела от музыкального

удовольствия, ибо я был в киселевской ложе[48]. Давали симфонию Бетховена. Совершенство! Из французских, настоящих буфонов видел я только Le peintre dans le mari vengé, et Arnel dans les impressions de voyage[49]. Le peintre славная и уморительная карикатура. Но как они не забавны, а забава эта у меня еще впереди, и в Петербурге. Vernet и Paul Minet также очень смешны, а я здесь хочу запасаться тем, чего, может быть, уже никогда не удастся мне и отведать. Не только потому, что, может быть, уже не придется быть в Париже и в Лондоне, но и потому, что музыка, то-есть певческая, падает. Нынешние певцы стареют, а подставы не подрастает. Здесь много кричат о Garcia, сестре Малибран, и называют ее un revenant, то-есть воскресшею сестрою. Она не пела еще на театре. Я слышал ее в Берлине и во Франкфурте, и признаюсь, не разделяю общих ожиданий и восторга. Все поджидали хорошей погоды и чтобы стало теплее для пилигримства по Парижу и окрестностям. Я уже почти все видел в первые проезды, но надобно показать жене и Надиньке. Между тем время уходит, а я не намерен здесь заживаться и проживаться. Доживем еще весь март, да и полно. С другой стороны жаль, потому что весна здесь лучшая пора. Окрестности парижские мне очень нравятся. Сюда приехала Завадовская. Я еще не встречал ее и не видал носа, который, сказывают, покраснел. Рахманова грудью пробивается во все салоны, а Обрескова . . . Но всех фешенебельнее из русских дам здесь Елим Мещерская[50] и ею открываются салоны и для Мещерских к. Василия, которого дочка, впрочем, очень мила, и сама по себе, и здесь нравится. Они едут, т. е. Мещерские Basile, на днях, в Италию. Я был с ними недавно

ИЗ ПАРИЖСКИХ ЗАРИСОВОК П. И. ЧЕЛИЩЕВА, 1840 г.
Литературный музей, Москва

в театре и к. Василий ужасно бушевал с ouvreuse. При выходе я взялся было за сюртук, полагая, что мой, но ouvreuse говорит мне, non, ce n'est pas le votre, c'est celui de ce M-r qui est si colère[51]. Он уморительно смешен. На днях ходил я смотреть M-lle George, но не на сцене, а у нее дома. Я знавал ее в Москве, почти лет тридцать тому, то-есть до 12-го года. Точно развалившаяся башня, но есть еще что-то величественное, а на сцене, сказывают, и напоминающее и древнюю красоту; пойду смотреть ее dans le Manoir de Montlouvier[52], уродливой драме, которая, уверяют, не без интереса. Она хочет ехать в Петербург. Вы спросите у меня парижские bons-mots? Право, нет их, или до меня они не доходят. Je n'ai entendu encore rien de fort spirituel chez la nation la plus spirituelle du monde[53], как уверяют французы словесно и письменно. Даже и Charivari притупел, хотя и не прикусил язык, и ругает короля и министров и всех некоалиционных во всю ивановскую. Le bon mot et la repartie sont morts avec Talleyrand[54]. Вот например сегодняшние шутки шариварские: Un proverbe dit: «Comme on fait son lit on se couche». En ce cas le ministère d'avril devra s'endormir dans la fange. Depuis l'avènement de la crise électorale le système (т. е. король) s'ingère à faire peur. Il est assez laid pour cela. A la fin de ce mois les ministres d'avril courent grand risque d'être traités comme vagabonds. Ils n'auront pas de chambre à eux[55].

Напротив, полагают, что большинство выборов будет в пользу министерства, но маленькое большинство, которое впрочем не разрешит всех затруднений настоящего кризиса. Вчера к. Ливен говорила, что по ее убеждению, через шесть лет не будет представительного правления во Франции. Дай то бог, потому что она не умеет с ним совладеть et qu'elle gâte le métier pour les autres[56], но не надеюсь на эту хорошую развязку. Французы еще много и долго будут безумствовать и пакостить. Унять же нельзя, car qu'y touche s'y pique[57], а сами они не уймутся. Разве два-три поколения передижерируют[58] эту кашу, а не прежде.

[1] Париж (потому что нужно же его назвать своим именем).

[2] И я сержусь.

[3] В 1839 г., когда Вяземский познакомился с Тьером, последний находился в отставке, занимался научной работой, но в то же время руководил оппозицией в парламенте и участвовал в коалиции против министерства Моле.

[4] Рыбная торговка, грубая, нахальная женщина.

[5] Нессельроде К. В., граф (1780—1862),—русский канцлер и министр иностранных дел при Николае I.

[6] Братья Garnier-Pagés Этьен-Жозеф-Луи и Луи-Антуан (1807—1847 и 1803—1878)—французские политические деятели, из которых старший возглавлял республиканскую партию при Луи-Филиппе, а второй был левым депутатом палаты при Луи-Филиппе, членом временного правительства в 1848 г. и автором «Histoire de la révolution de 1848».

[7] Salvandi Нарцисс-Ахилл, граф (1756—1856),—писатель, историк, министр народного просвещения при Луи-Филиппе.

[8] И капеллу.

[9] Соболевский А. С. (1803—1870)—друг Пушкина, был посредником между Мериме и русской литературой.

[10] Способностям.

[11] David d'Angers Пьер (1788—1856)—знаменитый французский скульптор и одновременно политический деятель.

[12] Галатея—мифическая статуя, ожившая, благодаря страстной любви к ней художника.

[13] Доктринерами именовались сторонники партии правого центра, т. н. умеренные консерваторы, возглавлявшиеся Гизо. Король царствует, но не управляет—формула конституционалистов, принадлежавшая Тьеру.

[14] Во времена террора [т. е. в 1793—1794 гг.]
[15] Т. е. реставрация.
[16] Старшая ветвь, т. е. Бурбоны, братья Людовика XVI, царствовавшие в 1814—1830 гг. под именами Людовика XVIII и Карла X. В 1830 г. революция заставила последнего отречься от престола в пользу своего малолетнего внука (сына убитого герцога Беррийского). Легитимисты называли его Генрихом V, хотя быть королем ему не пришлось, так как трон был отдан Луи-Филиппу Орлеанскому.
[17] По праву завоевания, а не по праву рождения.
[18] Короле Луи-Филиппе.
[19] Если бы бог не существовал, его нужно было бы выдумать.
[20] Вопрос имени, а не принципа.
[21] После переворота.
[22] Временное правительство.
[23] Они приняли ее слишком всерьез.
[24] Не ради его прекрасных глаз.
[25] Узурпатором.
[26] О легитимности (законности) или божественном праве.
[27] Нет этого ореола хорошего вкуса, элегантности, порядочности.
[28] Извините.
[29] Париж—единственный в мире.
[30] Бон-шер—хороший стол; шер—дóроги. Не поддающаяся переводу двусмысленность.
[31] Это не живость ума.
[32] Это даже не распущенность, это дикая чувственность.
[33] Им безразлично, что доводит до эксцесса, будь то даже грязь или распущенность. Они в равной мере готовы удовлетворить свою большую нужду при публике, посреди зала, как и сделать что-либо другое.
[34] Будем справедливы.
[35] Герцогиня де Бозан однажды сказала: я возвращаюсь от буфонов.—Что там давали?—Отелло.
[36] Гаеры, шуты.
[37] Как тип аристократический.
[38] Умышленной, подчеркнутой вежливости.
[39] Свечина С. П., урожд. Соймонова (1782—1857), с которой А. И. Тургенева связывали старинные отношения, тайно перешла в католичество, уехала в Париж и возглавляла салон, имевший большое значение в определенных кругах. Вяземского, давнего атеиста, не могли притягивать религиозно-нравственные темы, которые были излюбленными в салоне Свечиной.
[40] Итальянских горланов, т. е. певцов итальянской оперы.
[41] Она была восхитительна, она превзошла себя!—О чем же она говорила?—О святой деве!
[42] Считается признаком хорошего тона.
[43] «Gabrièlle»—роман г-жи Ансело, P., 1839; «Gerfaud»—роман Ch. de Bernard (1804—1850), P., 1838.
[44] Это—вода.
[45] Вяземский имеет в виду философско-религиозные письма Ламартина: «L'homme», «Le prince», «L'Immortalité».
[46] «Сомнамбула»—опера Беллини (1831), которую Вяземский, очевидно, слышал в Риме в 1834 г.
[47] Дюпре—см. примеч. 20-е к письму второму.
[48] Вяземский вспоминает на концерте в консерватории А. О. Смирнову, у которой в конце 30-х годов был роман с Н. Д. Киселевым, бывшим в те годы секретарем русского посольства в Париже.
[49] Le Peintre и Arnel—фамилии актеров, игравших в пьесах «Le mari vengé» и «Les Impressions du voyage». Встречающиеся далее имена Vernet и Paul Minet, вероятно, также имена французских актеров в Петербурге.
[50] Завадовская Е. М., урожд. Влодек; Рахманова, Е. А., урожд. Волкова; Обрескова, урожд. Зееланд,—вторая жена сенатора М. А. Обрескова; Мещерская В. С., урожд. Жихарева,—жена кн. Элима Петровича Мещерского.
[51] Работница говорит мне: нет, это не ваш, это того господина, который в таком гневе.
[52] Замок Монлувье.
[53] Я еще не слышал ничего особенно остроумного от народа наиболее остроумного в мире.

54 Остроумные слова и ответы умерли вместе с Талейраном.

55 Пословица говорит: «Как постелешь постель, так и будешь спать». В [illegible]

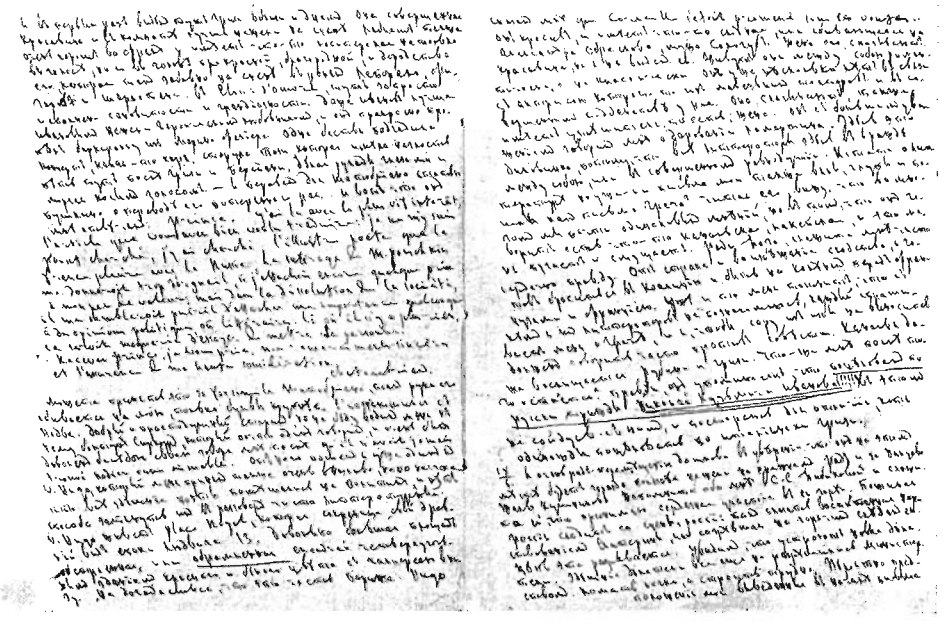
вернулся в Россию. Обладал исключительной красоты тенором, пел в Риме, Париже, Лондоне.

[4] Villèle Жан-Баптист-Серафен-Жозеф, граф (1773—1854),— французский политический деятель, глава ультрароялистов в эпоху Реставрации. Его слова в переводе: «Французов надо покупать не один раз, а каждый день».

[5] Мейендорф Александр Казимирович, барон (1798—1805). В 30-х годах был направлен департаментом мануфактур и внутренней торговли во Францию агентом по части мануфактурной промышленности и торговли. Был склонен к разного рода реформаторским проектам, по большей части терпевшим неудачу.

[6] Социальный барон.

[7] Жена Мейендорфа, Елизавета Васильевна, занималась живописью.



АВТОГРАФ ПИСЬМА П. А. ВЯЗЕМСКОГО К ДОЧЕРИ ИЗ ПАРИЖА ОТ 14 МАРТА 1839 г.
Страницы 2-я и 3-я, содержащие текст переписанного Вяземским письма к нему Шатобриана
*Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва*

11

14/2 марта [1839 г.]

Жаль мне Сперанского! И за него, и за Россию, и за Валуева[1]. Нетерпеливо ожидаю известия от вас о перемене, которая последует в участи Валуева. Мы получили письма ваши и письмо Булгакова[2], но ты, кажется, говоришь о стихах Хомякова, которых нет. Нового о себе сказать нечего. Министерства еще нет, но по всем вероятностям министерство будет совершенно левое, под влиянием Тьера хотя и под председательством Сульта[3]. Тьер связан обязательствами пред Одилон Барро[4] и его шайкою, а Гизо не хочет подчинить себя их требованиям, а с ним и прочие доктринеры. Таким образом полагают, что новое министерство будет недолговечно, ибо в камере составится против него сильная оппозиция, из 221 приверженцев падшего министерства, к коим пристанут доктринеры, если не тотчас совести ради, то немного погодя. Я вчера встретил Гизо у к. Ливен. Он казался довольно смутен, извинился предо мною, что у меня еще не был, сказывая qu'il étoit tellement occupé, fort sottement je

l'avoue[5],—прибавил он. Ему предлагали посольство в Лондоне, но он не хочет быть обязан Тьеру, считая себя равным ему, и требует внутреннего министерства, которого левая сторона, ныне господствующая, дать ему не хочет, ибо оно имеет натурально большое влияние на дела и на мнения в государстве, и может парализировать все покушения касательно внешних сношений и вообще всех перемен, которые левая сторона имеет в виду. Если, и кажется нет в том сомнения, Тьер будет министром иностранных дел, то вероятно Баранту[6] не усидеть в Петербурге. Да чорт ли в этой проклятой политической разноголосице, которая дерет уши и души! То ли дело стройноголосица моих милых италианцев? На днях был утренний концерт, в котором они все пели и никогда не имел я подобного музыкального наслаждения. Это было лучше лучшей оперы. Все были в голосе, в духе и прекрасный выбор музыки. Персиани выделывала чудеса, выливала стройные, звучные перлы в арии Somnambula. Восторг и рукоплескания, коими наградили пение ее, подбили и подстрекнули соперничество и ревность Гризи, которая также превзошла себя. Я в первый раз видел тут Гризи вблизи и днем. Она совершенная красавица и в комнате лучше, нежели на сцене. Лаблаш также очень хорош во фраке и имеет что-то юпитерское не только в голосе, но и в голове прекрасной, благородной, и дородство его, которое так забавно на сцене в ролях Лепарело, Фигаро и шарлатана в Elixir d'amoure[7], тут запросто исполнено сановитости и грандиозности. Даже Иванов лучше Ивановым, нежели героическим любовником и он прекрасно пропел баркароллу из Марино Фалиеро[8]. Одна бестия подгадила концерт, какая-то харя, старуха Тоси, которая имела наглость петь тут после Гризи и Персиани, делая рулады глазами и моргая косым голосом. Я перевел для Шатобриана статью Пушкина о переводе его потерянного рая[9] и вот что он мне отвечал:

Prince, j'ai lu avec le plus vif intérêt l'article que vous avez bien voulu traduire: je ne m'y suis point cherché; j'y ai cherché l'illustre poète que la France pleura avec la Russie. Le suffrage de M. Pouchkine me donneroit trop d'orgueil, si j'attachois encore quelque prix à mon peu de valeur; mais dans la dissolution de la société, il me sembleroit puéril d'attacher une importance quelconque à des opinions politiques ou littéraires: là où il n'y a plus rien, ce seroit moquerie d'essayer de mettre sa personne.

Recevez, Prince, je vous prie, mes remerciments sincères et l'assurance de ma haute considération.

Chateaubriand

Можете принять это за facsimilé Шатобриана, так рука его сбивается на мою, только буквы крупнее. Я познакомился с Нодье. Добрый и простодушный старик, но на беду водил меня к нему болтун Сиркур[10], который почти один говорил, и очень был доволен беседою своею, говоря мне после qu'il n'avait jamais trouvé Nodier aussi aimable[11]. От него пошел я уже один к V. Hugo, который меня принял также очень вежливо, но по несчастию все здешние поэты помешались на политике, и нет способа затянуть их в разговор чисто литературный. V. Hugo живет Place Royale, которая сохранила свой древний вид эпохи Людовика XIII. Довольно большая площадь, обстроенная или о б р а м л е н н а я, encadrée четвероугольным зданием красного и белого цвета с галлереею внизу. Не дога-

ИЗ ПАРИЖСКИХ ЗАРИСОВОК П. И. ЧЕЛИЩЕВА, 1840 г.

Литературный музей, Москва

даешься, что это часть Парижа. Hugo сказал мне que Corneille s'étoit promené sous ce voût[12]. Он красив, и имеет что-то сходное или сбивающееся на Александра Обрескова, мужа Сологуб. Жена его, сказывают, красавица, но я не видал ее. Живут они между собою романтически, а не классически. Он уже несколько лет в связи с актрисою которого-то из маленьких театров и в совершенном подданстве у нее. Она, сказывают, также имеет утешителя, то есть жена. Он с большим уважением говорил мне о даровании Ламартина. Здесь это диковинка, потому что все литераторы здесь во вражде между собою, или в совершенном равнодушии. Кстати о литературе: неужели письма мои также вялы, глупы и пошлы как письма Греча? Читая его, вижу, что во многом мы почти одинакового мнения, но в том, что он говорит, есть что-то канальское, лакейское, и это меня пугает и смущает. Ради бога, скажите мне чистосердечно правду. От страха и во избежание сходства, я готов броситься в коалицию и быть на коленях перед французами и Франциею. Уж и то меня тошнит, что с кем я из литераторов ни познакомлюсь, каждый спрашивает меня о Грече[13], и я, чтобы сору из избы не выносить, должен говорить часто против совести. Каналья даже восхищается Рубини и Гризи. Что же мне после того остается? Правда, он упоминает, что поцеловал по-русски трижды Николая Кузьмича Иванова[14] (!!!!). В этом не сойдусь с ним, и постараюсь для отличия, хотя однажды поцеловать по-италиански Гризи.

[1] Эти строки являются откликом Вяземского на смерть Сперанского, последовавшую 11 февраля 1839 г. Сперанский был начальником по службе П. А. Валуева (1814—1890), мужа дочери Вяземского, Марии Петровны, к которой обращено настоящее письмо. Сожаления о Сперанском «за Россию» характеризуют сильное поправение Вяземского. В эпоху жизни в Варшаве Вяземский презирал Сперанского за его измену либеральным убеждениям первых лет деятельности и так определил свое отношение к нему: «Стал ненавистен мне угодник самовластья», 1819 г.

[2] Булгаков А. Я. (1781—1863)—московский почт-директор, старинный приятель Вяземского.

[3] Soult (1769—1851)—маршал Франции, военный министр и министр иностранных дел при Луи-Филиппе.

[4] Barro Одилон (1791—1875)—французский политический деятель, руководитель умеренно левой, поддерживавший министерство Тьера.

[5] Сказывая, что он был так занят, и очень глупо, уверяю вас,—прибавил он.

[6] Barante Проспер-Брюньер (1782—1866)—французский посланник в Петербурге с 1835 по 1841 гг.

[7] «Любовный напиток»—опера Доницетти (1797—1848).

[8] Опера Доницетти.

[9] Вяземский перевел для Шатобриана статью Пушкина «О Мильтоне и Шатобриановом переводе Потерянного Рая», которая была напечатана после смерти автора в V томе «Современника» за 1837 г.

*Перевод письма Шатобриана:*

Князь! С живейшим интересом прочел я статью, которую вы изволили перевести: я отнюдь не искал в ней себя; я искал в ней знаменитого поэта, которого Франция оплакивает вместе с Россией. Одобрение г. Пушкина преисполнило бы меня гордостью, если бы я еще придавал какую-нибудь цену своему скромному значению; но при настоящем разложении общества мне казалось бы ребячеством придавать какую-либо важность мнениям политическим и литературным: там, где не существует более ничего, смешно было бы пытаться выставлять свою личность. Примите, князь, я вас прошу, выражения моей искренней благодарности и уверения в моем глубоком уважении.

Шатобриан.

Письмо Шатобриана было напечатано нами вместе с другими выдержками из писем Вяземского, касающимися Пушкина, в «Лит. Наследстве» № 16—18, стр. 811.

[10] Circourt Адольф, граф (1801—1879),—французский публицист и литератор, женатый на русской и находившийся в приятельских отношениях с А. И. Тургеневым.

[11] Что он никогда не видел Нодье столь любезным.

[12] Что Корнель прогуливался под этим сводом.

[13] Вяземский имеет в виду книгу Греча, вышедшую в 1839 г.: «Путевые письма из Англии, Германии и Франции».

[14] О Н. К. Иванове см. прим. 3-е к 10-му письму.

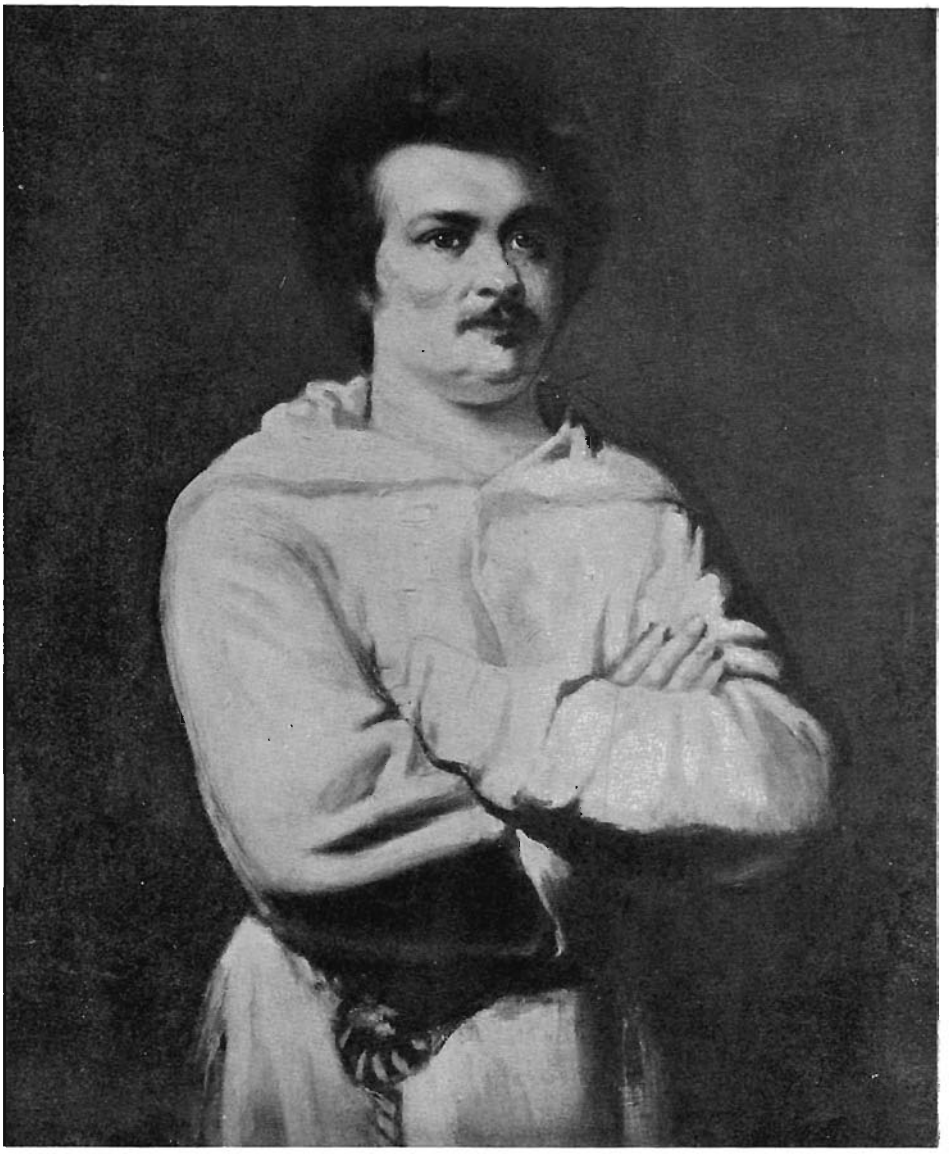
12 18/6 марта [1839 г.]

Здешние деятели все еще не разрешились министерством. Ломать легко, а строить трудно. Вероятно, предположения мои, выведенные в начале письма, сбудутся. На днях встретил и слушал у дюшессы Бозан знаменитого Берье[1]. Краснобай и только. Легитимисты для меня преступнее других здешних возмутителей. Другие по крайней мере добросовестны в своих видах: революция, то есть республика для них цель, а для легитимистов она средство. Они знают, что нынешняя Франция не хочет реставрации, а доказательство тому, что число приверженцев ее в камере ничтожно, но они надеются, что если Франция снова взбесится и обагрится потоками крови, то, может быть, авось, от утомления и в отчаянии прибегнет она опять к старшим Бурбонам. Они не скрывают этих помыслов и этой надежды. Et c'est ici le parti vertueux, le parti moral[2], которая так судит и располагает судьбами Франции. Между тем я еще познакомился довольно коротко с гг. Lésage, Soufflard, Eugénie Aliette и проч. à la cour d'assise[3]. Третьего дня был я там от 9-10 ч[аса] утра до шестого с женою и к. Мещерскою Basile. Вчера был день комплектный: утром слушал Гризи, Рубини и весь италианский туалет, вечером видел Ельслер в качуче, а позднее с четверть часа разговаривал у австрийского посла с дюшессою Валомбрез.

[1] Berryer Пьер-Антуан (1740—1868)—сын известного адвоката Никола Берье (1757—1841), сам также адвокат, прославившийся выступлениями в ряде политических процессов и политический деятель. Один из виднейших легитимистов, принадлежавший к группе легитимистов, сочетавших приверженность к традиционной монархии с защитой либеральных идей.

[2] И такова здесь партия добродетельная, партия нравственная.

[3] В зале суда.



БАЛЬЗАК

Портрет маслом Луи Буланже, 1836 г.

Реплика с портрета, подаренного Бальзаком Ганской и находившегося в Верховне

„Буланже удалось изобразить в моем портрете, — и это мне в нем и нравится, — ту мою настойчивость в духе Колиньи или Петра Великого, ту мою непоколебимую веру в будущее, которые составляют основу моего характера" — писал Бальзак Ганской в октябре 1836 г.

Версальский музей

# БАЛЬЗАК В РОССИИ

Исследование Леонида Гроссмана

Легенда о писателях, далеко не всегда основанная на проверенных фактах, склонна объяснять известный интерес Бальзака к России и славянству его личным романом с Евой Ганской. На самом деле тяга Бальзака в нашу страну далеко не исчерпывается сентиментальными побуждениями и обращает нас к важнейшим обстоятельствам его литературной, деловой и политической биографии.

Величайший мастер романа всегда мечтал о большой государственной деятельности. Даже любимейшее дело его жизни—литература—нередко раскрывалось ему, как путь к парламенту, министерствам, посольствам. Когда в 1836 г. он готовился учредить «партию интеллигентов» (le parti des intelligentiels), он резервировал для себя в этом новом объединении сферу международных сношений. Он начинает тогда же вести в органе своей группы, «Chronique de Paris», отдел иностранной политики, исподволь готовя себя к будущей деятельности крупнейшего европейского дипломата. Под конец жизни он выражает желание занять пост французского посла в Англии или России.

В самом разгаре своей творческой активности Бальзак мечтает утвердиться в Петербурге и достичь здесь того, что ему не удавалось в Париже Луи-Филиппа: стать влиятельным политическим деятелем, признанным великим писателем, крупной общественной фигурой. Вождь европейской литературы в столице русской империи, советчик царя по вопросам государственной важности—вот о чем мечтал великий и неистощимый фантаст, готовясь к поездке в страну гипербореев. Он хотел прожить в России, подобно автору «Петербургских вечеров» Жозефу де Местру, под сенью абсолютной власти, защищая ее авторитет и укрепляя своим пером ее влияние. Одновременно он стремился разделить с Ганскими и Мнишками обладание целыми уездами Киевщины, Подолии и Волыни, чтобы на личном опыте укрепить свои политические теории о крупной земельной собственности, как единственной основе государственной мощи и культурного процветания страны.

Все это наложило глубокий отпечаток на зрелый период его биографии. Начиная с 30-х годов, Россия становится крупнейшей ставкой в азартной жизненной игре Бальзака. Он отправлялся в Петербург завоевателем и рассчитывал вернуться с величайшими трофеями. Вот почему, вероятно, сам он отмечает странную смесь разнородных элементов в своих письмах к Ганской: «Как я перемешиваю любовь и дела, славу и деньги!»[1]. Такими контрастами, действительно, переполнены его эпистолярные признания. Исследователи этого романа останавливали до сих пор свое внимание исключительно на любви. Не побоимся же включить в круг нашего изучения и дела, и славу, и деньги.

План завоевания России оказался одной из последних иллюзий Бальзака, которую, как и все прочие, ему суждено было непоправимо утратить. Вот почему наша тема была бы достаточно безотрадной, если бы она развивалась лишь по этим практическим предначертаниям великого писателя. В плане политических, денежных и романических связей ряд крушений ожидал у нас Бальзака. Ему не удалось стать ни советником Николая I, ни крупным украинским землевладельцем, ни руководителем русского общественного мнения, и, вне всякого сомнения, он не нашел личного счастья в своем предсмертном браке, напоминающем медленную агонию.

Но за всеми печальными эпизодами этой государственной, финансовой и матримониальной карьеры высятся гениальное творчество Бальзака и его неомрачаемая слава. Именно это придает истории его пребывания в России глубокое и неумирающее значение. Впечатление, произведенное им на всю молодую плеяду русских романистов,—«Преступление и наказание», написанное под непосредственным влиянием «Человеческой комедии», интерес к ней Льва Толстого, школа романа, пройденная Гончаровым по страницам «Шагреневой кожи» и «Евгении Гранде», наконец пристальное внимание к творцу «Бедных родственников» первого классика пролетарской литературы, Горького,—все это высоко поднимает тему о Бальзаке в России над биографическим уровнем, который сам писатель пытался здесь установить. Как все замыслы Бальзака, и это стремление его вступить в жизнь нашей страны неожиданно разрослось до огромных размеров и стало мощным оплодотворяющим фактором для целого ряда литературных поколений.

Чтобы понять смысл этого творческого воздействия и оценить его последствия, обратимся к истории русских скитальчеств великого европейского романиста, породивших сложные и богатые взаимоотношения в интеллектуальной жизни двух стран.

---

По теме своей наша работа примыкает к целой ветви науки о Бальзаке,—к изучению его жизни и творчества в разрезе сравнительного литературоведения. Мировое значение великого романиста вызвало не мало исследований о его взаимоотношениях с другими народами и странами. Таковы многочисленные монографии и этюды на темы: «Бальзак в Италии», «Бальзак в Англии», «Бальзак в Соединенных Штатах», «Бальзак в Польше» и т. п.

Примыкая к этой категории исследований, разработка темы о «Бальзаке в России» представляет и ряд весьма существенных особенностей как для биографии писателя, так и для истории его творчества. Нужно помнить, что Бальзак жил в Петербурге, венчался в Бердичеве и неподалеку от Киева заканчивал «Человеческую комедию». Это оставило свои следы в литературных воспоминаниях современников, в государственных архивах нашей страны и обогатило иные из ее географических пунктов ценными культурно-историческими реликвиями.

Автор этой работы строил ее на мемуарных и эпистолярных свидетельствах, нередко затерянных в нашей старой печати, на хранящихся в СССР неизданных документах о Бальзаке, восполненных некоторыми «русскими материалами» из известного рукописного собрания Шпульберка де Лованжуля в Шантильи под Парижем, а также на непосредственном обследовании мест пребывания французского романиста в империи Николая I.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

# ОТЪЕЗД БАЛЬЗАКА В РОССИЮ

I. РУССКОЕ ПОСОЛЬСТВО В ПАРИЖЕ.—БАЛЬЗАК ВИЗИРУЕТ СВОЙ ПАСПОРТ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ПЕТЕРБУРГ.—ДИПЛОМАТ ВИКТОР БАЛАБИН И ЕГО ОТЗЫВ О ФРАНЦУЗСКОМ РОМАНИСТЕ.—БАЛЬЗАК В 1843 г.—ДЕПЕША ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ КИСЕЛЕВА О ПУТЕШЕСТВИИ БАЛЬЗАКА В РОССИЮ. II. КНИГА КЮСТИНА „РОССИЯ В 1839 г." И ПРОЕКТ РУССКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВО ФРАНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРО БАЛЬЗАКА ДЛЯ ОПРОВЕРЖЕНИЯ ЭТОГО ПАМФЛЕТА. III. СЛОЖНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЗИОНОМИИ БАЛЬЗАКА: РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ КРИТИКА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРИ СУБЪЕКТИВНОЙ СКЛОННОСТИ РОМАНИСТА К РЕАКЦИОННЫМ ВОЗЗРЕНИЯМ.—ОТЗЫВЫ ВИКТОРА ГЮГО И ЭМИЛЯ ЗОЛЯ.—МАРКС И ЭНГЕЛЬС О БАЛЬЗАКЕ.—ПЛАНЫ ПИСАТЕЛЯ УТВЕРДИТЬСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ И СОЗДАТЬ ЗДЕСЬ ЛИТЕРАТУРУ, ТЕАТР И ЖУРНАЛИСТИКУ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА.—ДЕЛОВЫЕ И МАТРИМОНИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. IV. ВИЗИТ К БАЛЬЗАКУ С. П. ШЕВЫРЕВА.—ПОРТРЕТ РОМАНИСТА В КОНЦЕ 30-х ГОДОВ. V. ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ И ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ НА ПАКЕТБОТЕ „ДЕВОНШИР".

### I

14 июля 1843 г. оказалось удачным днем для молодого русского дипломата Виктора Балабина. Счастливый случай предоставил ему в это утро полную возможность отдаться его излюбленному развлечению наблюдателя парижской жизни, не выходя из своего служебного кабинета. Он мог на этот раз изучать знаменитостей Франции не в местах их обычных сборищ—не в залах Тюильри, оранжереях австрийского посла или ложах итальянской оперы, а за своим собственным деловым бюро в помещении русского посольства. В этот день сюда явился сам Бальзак визировать свой паспорт для поездки в Петербург.

Это было, без сомнения, одно из крупнейших служебных событий за весь недолгий срок пребывания в Париже молодого дипломатического чиновника. Victor de Balabine, как его называли в гостиных Июльской монархии, всего только год разбирал архивы и редактировал депеши в отеле на Вандомской площади. Он попал сюда прямо из канцелярий Нессельроде у Певческого моста. Просвещенный путешественник, любитель литературы и музыки, не лишенный художественной жилки, Балабин стремится изучить Париж во всех его крупных культурных учреждениях и выдающихся общественных личностях. Исторические памятники, дворцы, рестораны, театры, тюрьмы, палаты, Сорбонна, Коллеж де Франс, Академия, Консерватория, Школа искусств—все это посещается, осматривается и описывается в его дневнике, поразившем впоследствии Эрнеста Додэ живостью зарисовок и мастерством описаний. Здесь мелькают имена видных французских ораторов, ученых, политиков и дельцов, артистов и писателей от Гизо и Тьера до Сент-Бёва и Мериме. В первые же месяцы своего пребывания в Париже Балабин успел побывать у «изящного поэта» Альфреда де Виньи, очаровавшего его своим приемом; он уже любовался в обществе сухим и стройным Ламартином с его выправкой английского лорда; он обедал с Эженом Сю, небрежно скрывавшим свою профессию популярного автора под равнодушным обличьем великосветского льва. Нетрудно поэтому представить себе, с каким интересом этот русский парижанин готовился визировать паспорт самому Оноре де Бальзаку, знаменитейшему из французских писателей, которого ему еще ни разу не пришлось видеть в парижском свете.

Разочарование было полным. Летом 1843 г. Бальзак нисколько не походил на изящных поэтов позднего романтизма, пленивших Балабина своими аристократическими манерами. Строитель «Человеческой комедии» уже вступил в последнее десятилетие своей жизни. Он еще далеко не закончил своего творческого поприща,—впереди «Блеск и нищета

куртизанок», «Кузен Понс», «Кузина Бетта»,—но он уже ощущает некоторую усталость, и врач все настоятельнее предписывает ему перерывы в работе. Он заметно отяжелел, обрюзг и даже слегка опустился.

Житейская борьба давно уже стряхнула с него все остатки его раннего дэндизма, когда он писал свой «Трактат об изящной жизни», заводил интриги с герцогинями, появлялся в «ложе тигров» и щеголял в театрах модными фраками с точеными золотыми пуговицами, тонким полотняным бельем, шелковыми чулками и легендарной тростью с набалдашником, осыпанным драгоценными камнями. Давно миновала пора собственных выездов, кабриолетов, тильбюри, грумов, обедов в Роше де Канкаль и вечеров в легитимистских салонах, где модный романист появлялся, блистая перстнями, распространяя запах дорогих духов и ослепляя общество остроумием и легкостью своей непринужденной импровизации. Он уже не мечтал иметь триста шестьдесят пять жилетов, по одному на каждый день в году, и перестал присваивать себе герб одной из знатнейших дворянских фамилий королевской Франции—д'Антрагов, от которых, якобы, ведут свой род Бальзаки. Теперь, когда ему неопровержимо доказывают, что он не имеет ничего общего с этой древней родословной, он с горделивым безразличием великолепно роняет: «Тем хуже для нее!»...

Да, поистине—тем хуже для нее. Ибо среди яблок геральдического древа д'Антрагов не окажется кружка с именем Оноре, означающим самую могучую творческую силу французской литературы. Сквозь усталость и болезни, деловые неприятности и преследования кредиторов, сквозь зависть литературных кругов и журнальную травлю он, с неуклонной бодростью и железной энергией своих крестьянских предков, неутомимо ведет свою глубокую творческую борозду. Беспримерна производственная сводка, данная им в письме к Ганской от 25 августа 1842 г.: «Помимо «Кинолы» (пьеса в пяти действиях), я в этом году написал: 1) «Мнимую любовницу»; 2) «Альбера Саварюса»; 3) четвертую часть «Мемуаров двух новобрачных»; 4) предисловие к «Человеческой комедии»; 5) «Жизненный дебют» (два тома in octavo); 6) «Жизнь холостяка в провинции», которую я заканчиваю для «Прессы»; 7) я начал «Тщеславца поневоле» [впоследствии «Депутат из Арсиса»] (два тома in octavo); 8) я должен в этом месяце сдать «Давида Сешара» в редакцию «Вестника»; 9) я написал «Злость одного святого» для «Семейного Музея»; 10) я написал «Любовь двух животных» для Этзеля; 11) я пересмотрел корректуры новых изданий «Луи Ламбера» и «Серафиты»; 12) я прочел и выправил набор трех томов «Человеческой комедии»,—а мы только в сентябре!.. Не говорю уже о нескольких начатых работах, как «Братья утешения» и др.».

И такая работа шла безостановочно. «Я написал «Онорину» в три дня—с 25 по 28 декабря—и напишу теперь в три дня «Последнюю любовь»,—сообщает он в одном из следующих писем.—И я пишу эти вещи, продолжая работу над четырьмя томами «Депутата из Арсиса», где движется сотня персонажей...»[2].

Неудивительно, что к началу 40-х годов этот могучий труженик начинает ощущать зловещие признаки переутомления. Он с тревогой замечает, что его несокрушимая энергия поколеблена, ему кажется, что он на исходе своих сил, что он вскоре потеряет рассудок; злоупотребление крепким кофе привело его к «сильнейшим нервным страданиям» и резкому ослаблению сердечной деятельности. Он чувствует, «как постоянная работа стирает человека», как «тело постарело в этом гигантском труде». А между

тем, «битва сменяется битвой»: «После пятнадцати лет беспрерывного труда я не в силах выдерживать более эту битву один!—пишет он 29 апреля 1842 г.—Создавать, всегда создавать! Но ведь сам бог создавал только шесть дней»[3].

Накануне поездки в Петербург, в апреле 1842 г., он весь во власти своего жестокого рабочего режима: он ложится спать в семь часов вечера, сейчас же после обеда, и встает в три часа утра. Он собирается вставать в два часа ночи и работать шестнадцать часов без перерыва. «Двадцать четыре часа, из которых семь принадлежат сну, всегда слишком коротки. Большую часть времени я не слежу за своим телом,—пишет он

ОТЕЛЬ НА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ, ГДЕ ПОМЕЩАЛОСЬ В 1840-х гг. РУССКОЕ ПОСОЛЬСТВО В ПАРИЖЕ (ПЕРВОЕ ЗДАНИЕ СЛЕВА)

Современная литография

Музей Карнавале, Париж

в том же письме.—У меня нет времени принимать ванны, купаться или бриться. А сколько людей хотят меня видеть наряженным, как дэнди, который тратит столько же времени на свой туалет, сколько я на писание»[4].

Среди таких беспрерывных забот и трудов, деловой суеты и творческих подъемов Бальзак налаживал свое путешествие в Россию. Отрываясь от рукописей и корректур, покидая свою мастерскую, где все казалось охваченным вихрем беспрерывного движения, он должен был ехать через весь Париж в канцелярию иностранной миссии проставлять в казенных книгах свою знаменитую подпись и получать из рук посольского служащего право свидеться с Эвелиной Ганской.

И вот они стоят друг против друга—создатель «Человеческой комедии», заполнивший современную Европу воображаемым миром своих героев,

и петербургский чиновник министерства иностранных дел, уже успевший в свои тридцать лет забронировать себя непроницаемым снобизмом избранного круга аристократов, канцлеров и суверенов. С нескрываемым интересом взирали друг на друга этот бесстрастный наблюдатель, несколько заинтригованный славою представшего перед ним мирового писателя, который, в свою очередь, пристально фиксировал в своем зорком сознании характерный образ современного дипломата, причастного к тому миру международной политики, который всегда так прельщал своими драмами и триумфами творческую фантазию и политическое тщеславие Бальзака.

Виктор Балабин оставил, вероятно, самую жестокую характеристику знаменитого романиста в его обширной литературной иконографии, где имеется не мало шаржей и карикатур.

«Предо мною предстал маленький человечек, толстый и жирный, физиономия булочника, внешность башмачника, объем бочара, манеры шляпочника, одежда кабатчика. У него нет ни гроша—следовательно, он едет в Россию; он едет в Россию—стало быть, он без гроша»[5].

Эта презрительная и явно преувеличенная характеристика несравненно более обличает надменный снобизм царского дипломата, чем образ знаменитого романиста. Балабин с высоты своих аристократических традиций и вкусов усвоил привычку расценивать свысока деятелей Июльской монархии, сподвижников и подданных короля-буржуа. Премьер Луи-Филиппа, Гизо, показался ему щуплым учителем французского языка или отставным актером, а французский посол в Петербурге, Барант, удивил его своими скромными и обыденными манерами, нисколько не напоминающими государственного деятеля, видного историка и оратора. Неудивительно, что литератор Бальзак, измученный своим трудом и заботами, получил такую высокомерную оценку в дневнике этого посольского служащего.

Виктор Балабин не обратил внимания на черты Бальзака, неизменно восхищавшие современников,—светлый лоб, львиную гриву, огненные глаза, «два черных алмаза», по живописному выражению Теофиля Готье, «глаза, способные склонить долу зрачки орла, читать сквозь стены и груди, поразить бешеного хищника, глаза властелина, ясновидца и укротителя». Дипломатический чиновник равнодушно выполнил свою служебную операцию и бесстрастно отпустил знаменитого посетителя, без особых выражений преклонения перед его мировой славой.

Но за кулисами посольства посещение Бальзака было расценено, как крупное событие.

Поверенный в делах Киселев решил в этом случае подняться над уровнем будничных консульских функций и достигнуть высоты больших дипломатических соображений. Вскоре после визита Бальзака была отправлена в Петербург специальная шифрованная депеша о его предстоящем путешествии в Россию.

*Перевод:*

Его сиятельству графу Нессельроде

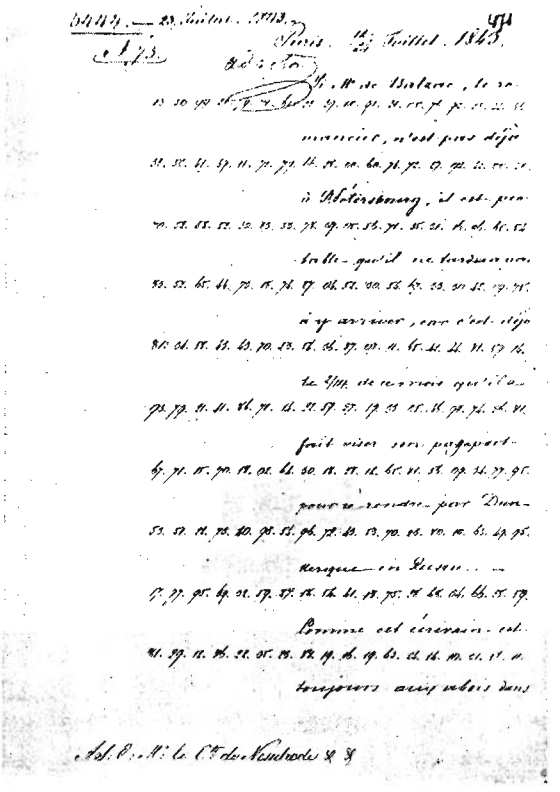
№ 73 Париж, 24/12 июля 1843 г.

Если г. де Бальзак, романист, еще не прибыл в Петербург, он, вероятно, вскоре будет там, ибо он еще 2/14 сего месяца визировал свой паспорт, чтобы отправиться через Дюнкирхен в Россию. Так как этот писатель на-

ШИФРОВАННАЯ ДЕПЕША
ПО ПОВОДУ ОТЪЕЗДА БАЛЬЗАКА
В ПЕТЕРБУРГ

Депеша была отправлена 12/24 июля 1843 г. поверенным в делах в Париже Киселевым министру иностранных дел Нессельроде

Архив внешней политики, Москва



ходится в постоянных денежных затруднениях, а в настоящее время он стеснен более, чем когда-либо, весьма возможно, что литературная спекуляция является одной из целей его поездки, несмотря на противоположные свидетельства газет. В этом случае, идя навстречу денежным потребностям г. де Бальзака, можно было бы использовать перо этого автора, который сохраняет еще некоторую популярность здесь, как и вообще в Европе, чтобы написать опровержение враждебной нам и клеветнической книги г. де Кюстина. По этому поводу я считаю себя обязанным предупредить ваше сиятельство, что, согласно предпринятым мною шагам, присланное мне остроумное опровержение книги г. де Кюстина должно появиться первоначально в «Revue de Paris» и затем в фельетоне или приложении к «Quotidienne». Надеюсь, что этот журнал и эта газета примут и ту исправленную статью, о скором прибытии которой ваше сиятельство изволили меня известить[6].

Таким образом, по планам русского посольства в Париже, поездка Бальзака в Петербург приобретала и некоторое политическое значение. Оно было обусловлено одной литературной сенсацией весьма заметного международного интереса.

## II

Как раз незадолго перед тем, в начале 1843 г., появилась известная книга маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», столь ошеломившая русское правительство своим памфлетическим тоном. Родовитый французский путешественник, отец и дед которого были гильотинированы в эпоху

террора, приехал в Россию с самым искренним намерением найти здесь веские аргументы для борьбы с либерально-конституционными веяниями буржуазной французской монархии. Представительному правлению своей родины, вышедшей из двух революций с опрокинутыми принципами королевского абсолютизма, отпрыск аристократической Франции старого режима решил противопоставить образец сильной, единоличной, неограниченной власти, крепко сковавшей бесчисленные народности Азии и Восточной Европы. Королю баррикад Луи-Филиппу он решил противопоставить властителя «божьей милостью» Николая I, шаткости конституционного королевства—незыблемость самодержавной империи.

Но когда Кюстин объездил Россию, побывал при дворе и в обществе, исколесил почтовые тракты от Петербурга до Москвы, Ярославля и Нижнего, видел Шлиссельбург, познакомился с фельдъегерями, ямщиками, крепостной деревней, российскими канцеляриями, арестантами, губернаторами, судьями и полицией, он не только отказался от своего первоначального замысла, но написал обширный четырехтомный памфлет, в котором впечатления от его путешествия были облечены в негодующую форму сатирической публицистики.

Книга Кюстина произвела ошеломляющее впечатление как в Европе, так и в России. «Без сомнения, это—самая занимательная и умная книга, написанная о России иностранцем»,—писал в 1843 г. Герцен. Франция Луи-Филиппа, столь демонстративно отвергаемая Николаем I, встретила этот политический памфлет с восторгом. «Россия в 1839 году» не переставала переиздаваться и получила чрезвычайное распространение во всей Европе.

Перед фактом этого небывалого успеха русское правительство увидело себя в необходимости опровергнуть «клевету» Кюстина. Известный правительственный публицист Греч, французский адвокат Дюэ, парижский агент III отделения Я. Н. Толстой, чиновник министерства иностранных дел К. К. Лабенский и его недавний сослуживец И. Г. Головин изощрялись в опровержении и дискредитировании Кюстина наряду с прославлением Николая I и его «мудрого» правления. Поверенный в делах во Франции Киселев устраивал в дружественных России изданиях различные статьи против Кюстина, направляемые в Париж непосредственно от Нессельроде. Но вся эта защита, исходящая из под казенных перьев официозных публицистов и государственных чиновников, была бессильна опровергнуть талантливую и умную книгу французского путешественника. В разгаре этой полемики представитель русского императора в Париже узнал об отъезде в Петербург одного из самых знаменитых писателей Франции. Киселев, потративший столько усилий на организацию полемики с Кюстином, счел своим долгом немедленно же указать министру иностранных дел о представляющейся возможности удачно разрешить очередную международную заботу императорского правительства—использовать в нужных целях перо Бальзака.

Поскольку переговоры на эту тему велись в редакциях крупных парижских изданий, сам писатель, видимо, был осведомлен о них, тем более, что сведения об этом проникли и в печать[7]. Маркиза Кюстина он знал лично и с давних пор. Еще в 1831 г. он посвятил ему свой рассказ «Красная гостиница», именно ему он хотел поручить в 1839 г. передачу своих рукописей Ганской и с ним он советуется в 1843 г. о своем собственном путешествии в Россию. Книга Кюстина произвела на него сильное впе-

чатление, и с ее европейским успехом он заметно считался. Весьма возможно, что перспектива открытой полемики с этим модным памфлетом прельщала Бальзака. В парижских редакциях ходило не мало толков о романических целях его путешествия в Россию для свидания с какой-то таинственной «иностранкой». Чиновники русского посольства подошли к этому вопросу по-деловому: «Он едет в Россию—стало быть, у него нет ни гроша, у него нет ни гроша—стало быть, он едет в Россию». Трезвые дипломаты сделали практический вывод: необходимо использовать эту

ПОРТРЕТ БАЛЬЗАКА РАБОТЫ ЖЮЛЬЕНА, ПОМЕЩЕННЫЙ В XVIII ТОМЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЖУРНАЛА „REVUE ÉTRANGÈRE" ЗА 1836 г.

поездку в интересах государства и придать будущей книге путевых впечатлений Бальзака нужный политический смысл.

Ни в редакциях, ни в посольстве не ошиблись: Бальзак, действительно, торопился на любовное свидание, но, как всегда, обуреваемый целым роем деловых, литературных и политических планов.

## III

Бальзак был глубоко неудовлетворен своим положением во французском обществе Июльской монархии. Легитимист и, стало быть, политический противник Луи-Филиппа, он не пользовался вниманием правительства. Несмотря на свое желание и право, он не был ни академиком, ни членом законодательных палат. Его огромное литературное значение не было признано французской критикой. Журналисты осыпали его на-

смешками, литературные враги плели обычную клевету, многочисленные кредиторы преследовали его по пятам. Между тем, он знал, что в России Николая I сторонники Бурбонов пользуются исключительным почетом.

Тему России Бальзак тесно связывал в своем представлении с личностью ее верховного правителя. Это в значительной степени предопределялось политическим исповеданием романиста.

И в этом отношении его облик отличается крайней сложностью. Виктор Гюго над раскрытой могилой Бальзака произнес знаменитую формулу: «Помимо его ведома, желанья или согласия, творец этого огромного и необычайного создания принадлежит к могучей расе революционных писателей»[8]. Значительно позже Э. Золя писал: «Несмотря на его подчеркнутый интерес к монархическим идеям, Бальзак нашел восторженных поклонников только среди молодого поколения, влюбленного в свободу»[9].

Достаточно известны высокие оценки Бальзака Марксом, как писателя «вообще замечательного по глубокому пониманию реальных отношений». Не менее известен обстоятельный отзыв Энгельса: «Бальзак, которого я считаю гораздо более крупным художником-реалистом, чем все Золя прошлого, настоящего и будущего, в своей «Человеческой комедии» дает нам самую замечательную реалистическую историю французского «общества», описывая в виде хроники нравы год за годом, с 1816 до 1848, все усиливающийся нажим поднимающейся буржуазии на дворянское общество, которое оправилось после и опять, насколько это было возможно (tant bien que mal), восстановило знамя старой французской политики»[10].

Величие Бальзака и его значение для нашей эпохи наиболее выпукло выступают в этих характеристиках великого романиста, данных основоположниками марксизма. По свидетельству Поля Лафарга, Маркс ставил Бальзака вместе с Сервантесом выше всех романистов: «Бальзака он ставил так высоко, что собирался написать критику его крупнейшего произведения «Человеческая комедия», как только окончит свое сочинение по политической экономии»[11]. Намерение это не было выполнено, но в сочинениях Маркса рассеян ряд отдельных высказываний, дающих широкое представление о его воззрениях на творца «Человеческой комедии». Особенное значение Маркс придавал большому социальному роману Бальзака «Крестьяне», в котором отразились наблюдения романиста над сложными методами борьбы земельных арендаторов, мелкопоместных собственников и сельских ростовщиков с крестьянской массой, труд которой систематически дезорганизуется этой сворой хищников.

«В своем последнем романе «Крестьяне» Бальзак, вообще замечательный по глубокому пониманию реальных отношений, метко изображает, как мелкий крестьянин даром совершает всевозможные работы на своего ростовщика, чтобы сохранить его благоволение, и при этом полагает, что ничего не дарит ростовщику, так как для него самого его собственный труд не стоит никаких затрат. Ростовщик, в свою очередь, убивает таким образом двух зайцев зараз. Он избавляется от затрат на заработную плату и все больше опутывает петлями ростовщической сети крестьянина, которого все быстрей разоряет отвлечением от работ на собственном поле»[12].

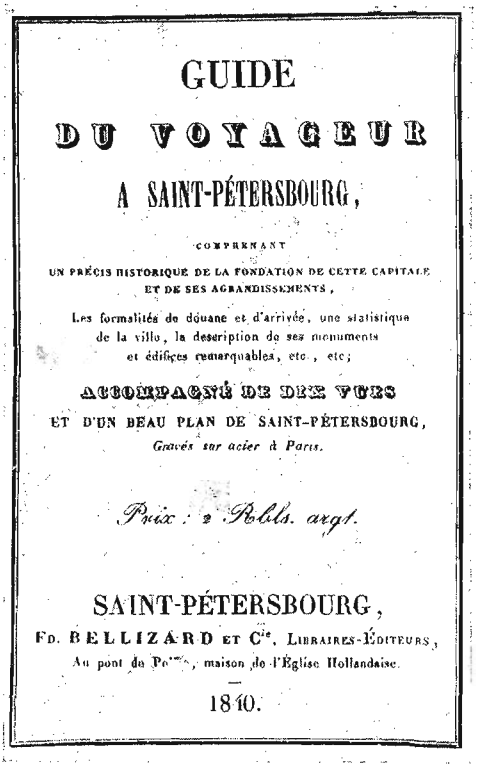
С такой же замечательной верностью Бальзак, по мнению Маркса, изображает денежное обращение в современном обществе, в котором не перестают дифференцироваться новые, более сложные формы обогащения.

Образы его скупцов замечательно отражают эти особенности современной финансовой жизни. Бальзаку ясна ошибочность «народного предрассудка», «который смешивает капиталистическое производство с накоплением сокровищ». «В действительности изъятие денег из сферы обращения было бы прямою противоположностью их употребления в качестве капитала, а накопление товаров в смысле собирания сокровищ—бессмыслицей». К этому месту своего изложения Маркс делает примечание: «Так у Бальзака, который основательно изучил все оттенки скупости, старый ростовщик Гобсек рисуется уже впавшим в детство в тот период, когда он начинает собирать в своих кладовых накопленные товары»[13].

Маркс обратил внимание и на «теорию воли» Бальзака, отметив высокой похвалой его рассказ «Неведомый шедевр». В этой превосходной новелле старый живописец говорит другому художнику: «Вы недостаточно проникаетесь формой вашего создания, вы недостаточно проявляете к ней любви и упорства во всех уклонах и отступлениях вашей работы. Красота строга и причудлива, она не дается так просто, нужно поджидать урочный час, выслеживать ее, схватить и держать крепко, чтобы принудить к сдаче. Форма—это Протей, гораздо более неуловимый и более богатый ухищрениями, чем Протей в мифе. Только после долгой борьбы ее можно приневолить показать себя в своем настоящем виде. Вы все довольствуетесь первым обликом, какой она вам представляет, или, в крайнем случае, вторым, третьим. Не так действуют победоносные борцы. Эти непобедимые художники не дают себя обмануть всеми неверными изворотами, но упорствуют, пока не принудят природу показать себя совершенно нагой и в своей истинной сути. Так поступал Рафаэль...». Наряду с «Неведомым шедевром» Маркс называет и «Примиренного Мельмота»: «Это два маленьких шедевра, полных прелестной иронии». Наконец, в письме к Энгельсу от 25 февраля 1867 г. Маркс называет пьесу Бальзака «Mercadet», а в письме от 14 декабря 1868 г. роман «Сельский священник»[14].

Таковы основные и характерные черты бальзаковского творчества, отмеченные Марксом. Советское литературоведение сумело разработать эти плодотворные наблюдения автора «Капитала», углубленно изучая в «Человеческой комедии» изображение капиталистического общества в беспрерывных битвах его отдельных групп за политическое и финансовое могущество. Оно показало Бальзака, как обличителя всех воротил буржуазного общества—банкиров, промышленников, арендаторов, скупцов, ростовщиков, всех носителей всеобъемлющего «финансового принципа», медленно и неотвратимо разлагающего этот мир. Оно глубоко вскрыло, наконец, стремление этого мощного и правдивого художника очертить энергичные натуры великих мастеров, строителей, творцов, подчас даже бунтарей, восстающих против этого чудовищного строя и как бы возвещающих в свой «жестокий век» о неизбежности его крушения.

Но часто у этих же авторов, столь высоко оценивших революционное значение Бальзака, мы находим указания на чрезвычайную сложность политического облика романиста. «Он был легитимистом»,—категорически сообщает Виктор Гюго в своих воспоминаниях о последней встрече и беседе с Бальзаком, когда тот упрекал его в «демагогии»[15]. Это отмечает в своем отзыве и Энгельс: «Бальзак политически был легитимистом. Его великое произведение—непрестанная элегия по поводу непоправимого развала высшего общества; его симпатия на стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой,



GUIDE

DU VOYAGEUR

A SAINT-PÉTERSBOURG,

COMPRENANT

UN PRÉCIS HISTORIQUE DE LA FONDATION DE CETTE CAPITALE ET DE SES AGRANDISSEMENTS,

Les formalités de douane et d'arrivée, une statistique de la ville, la description de ses monuments et édifices remarquables, etc., etc;

ACCOMPAGNÉ DE DEUX VUES

ET D'UN BEAU PLAN DE SAINT-PÉTERSBOURG,

*Gravés sur acier à Paris.*

*Prix : 2 Rbls. arg.*

SAINT-PÉTERSBOURG,

Fd. BELLIZARD ET C^ie^, Libraires-Éditeurs,

Au pont de Po[illegible], maison de l'Église Hollandaise.

1840.

„ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПЕТЕРБУРГУ", КОТОРЫМ БАЛЬЗАК ПОЛЬЗОВАЛСЯ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В РУССКОЙ СТОЛИЦЕ

его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставляет действовать аристократов, мужчин и женщин, которым он глубоко симпатизирует. Единственные люди, о которых он говорит с нескрываемым восхищением, это его наиболее ярые противники—республиканские герои Cloitre Saint-Merri, люди, которые в то время (1830—1836) были действительно представителями народных масс. То, что Бальзак был принужден итти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он в и д е л неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он в и д е л настоящих людей будущего там, где в это время их только можно было найти—это я считаю одной из величайших побед реализма, одной из величайших особенностей старика Бальзака»[16].

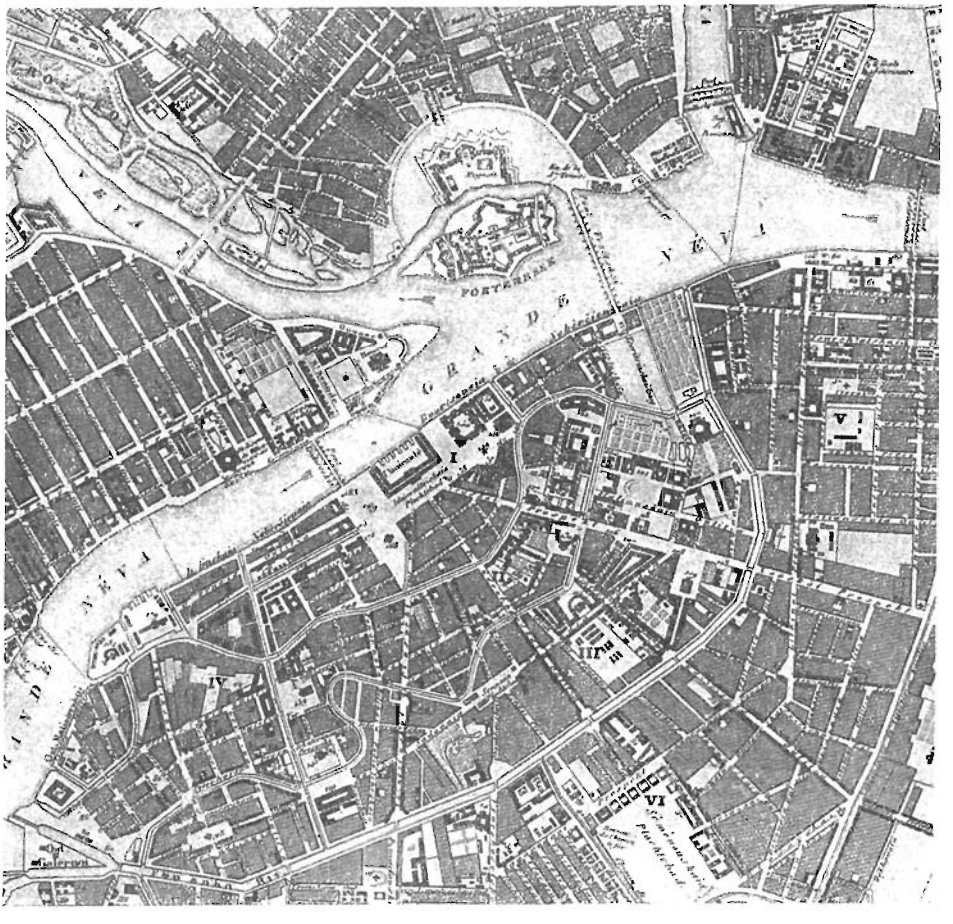
Объективно, по своему характеру и выводам, творчество Бальзака проникнуто глубокой критикой того капиталистического общества, в котором ему пришлось жить и бороться, и потому оно несет в себе огромный революционный смысл. По фактам же политической биографии, по существу своих официальных деклараций Бальзак принадлежит противоположному стану. Вот как новейший исследователь экономических и политических воззрений Бальзака изображает эволюцию его убеждений:

«Его воспитывали в монархических чувствах, если верно, что отец его написал письмо Людовику XVIII против дарования хартии[17]. Живя уединенно в Париже около 1822 г., Бальзак должен был пройти через некоторый кризис сомнений и, может быть, даже революционных идей, поскольку мы знаем, что один из его издателей предлагает ему умерить пыл своих политических писаний, следы чего сохранились

в отношениях его героев, Рюбампре и Лусто. В 1824 г. он—убежденный монархист; около 1830 г. он переживает кризис в сторону либерализма, быть может, не без личной заинтересованности. Отсюда несколько критических замечаний о Реставрации и среди ряда возражений несколько комплиментов Луи-Филиппу и либерализму. Но, начиная с 1831 г., его позиция установлена: отныне он будет защищать Бурбонов. В 1848 г. он выскажет несколько любезностей буржуазии. В целом же Бальзак стремился возвратить Францию ко временам Людовика XIV; ему приходилось, однако, признавать, что история не повторяется и что человечество шагает с неудержимой силой вперед к своему освобождению. Такие заявления, впрочем, редки у него и относятся лишь к 1830 г. Два или три года спустя они уже стали для него невозможны» [18].

Эта сложность политической физиономии романиста определила его отношение к современной России, как и его оценку личности ее повелителя. Здесь именно выступили на первый план отрицательные свойства его программы и обозначились все теневые стороны его государственного мировоззрения.

Он мечтал создать в России литературу, театр и журналистику евро-




ПЛАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕТЕРБУРГА ИЗ „GUIDE DU VOYAGEUR à SAINT-PÉTERSBOURG"

Бальзак изучал этот план, готовясь к поездке в Россию

пейского типа. Он знал о своей популярности на севере: «Человеческая комедия»,—писал он,—«благодаря России, которая требует много экземпляров, становится выгодным делом»[19]. Он имел в виду перенести в Петербург работы над своим огромным романическим циклом и одновременно широко развернуть здесь свою деятельность политического автора.

Мечтая занять место среди русских писателей, Бальзак нисколько не стремится проникнуться передовыми идеями этой новой для него страны. В литературу, которая со времени Радищева и особенно в бальзаковскую эпоху, в лице поэтов-декабристов, Пушкина, а в 40-е годы—всей плеяды будущих корифеев русского романа, стремится к падению рабства и к ликвидации самодержавия, Бальзак собирается внести свои незыблемые принципы защиты крупного землевладения, абсолютизма, в частности, свой культ личности и дела Николая I. К счастью для его славы, он не развернул в Петербурге деятельности публициста, и его последующее огромное влияние на русскую литературу исходило всецело из той исключительной сокровищницы творческих ценностей, где все было очищено его гением великого художника.

Россия могла помочь осуществлению и его деловых проектов. Достаточно известно страстное желание великого романиста составить себе крупное состояние. Не ограничиваясь своей творческой работой, он сам очертя голову кидался в различные предприятия, постоянно стремясь быть не только великим художником, но и крупным дельцом-организатором.

Бальзак чутко воспринимал и учитывал новый, индустриальный характер своей эпохи. Промышленность, торговля, усложненный денежный оборот, рост банковской деятельности—все это нашло в нем пристального и пытливого наблюдателя. С начала 30-х годов все рассуждения его о проблеме современности подчинены основной идее, что хозяйство есть принцип производства ценностей, а умственная деятельность и материальная продукция по существу своему родственны и близки.

«После 1830 года,—говорит он в «Знаменитом Годиссаре»,—идеи стали ценностями. Быть может, со временем мы увидим особую биржу идей; ведь уже теперь мысли котируются, собираются, ввозятся, продаются, оплачиваются и приносят прибыль»[20].

В «Человеческой комедии» техник-изобретатель и хозяин-предприниматель выступают рядом с художником-творцом. Проблема умственной работы и художественной продукции здесь отчетливо предстает, как некое задание хозяйственного порядка. Бальзак мечтал об организации умственных работников в новые корпорации и о включении духовного труда в новейшую систему кредитования. Он не мог понять, почему общество, столь заботливо относящееся к нуждающимся, больным и преступникам, так равнодушно и беспощадно к выдающимся умам. «Государство должно было бы обеспечить таланты, как оно оплачивает штыки»,—говорит его Луи Ламбер.

В этой фразе слышится тяжелый вздох самого писателя. Бальзак был убежден, что художнику необходима обеспеченность, что великим творцом можно стать, лишь обладая материальной независимостью. В молодости он писал своей сестре: «Если б я имел ежегодную ренту в 1500 франков, я мог бы работать для славы...». Впоследствии, изнуренный от борьбы с кредиторами, среди беспрерывной творческой работы, он мечтал о каком-либо щедром банкире, ценителе искусства, который откроет ему свою

кассу для спокойного осуществления его замыслов. Но банкир, конечно, не являлся, а потребность в деньгах постоянно росла.

И вот, стремясь осуществить свое писательское призвание, он бросается во всевозможные предприятия, часто самые рискованные и фантастические, чтобы только обосновать свою будущую независимость мыслителя и обеспечить себе творческую свободу.

Тяга Бальзака в Россию останется непонятной вне его склонности к деловым планам. Помимо издательских и театральных проектов, он усматривал здесь и другие пути к независимому существованию. Нужно помнить, что для Бальзака брак всегда представлял собою некоторую сделку, которую, по законам современного общества, необходимо было довести до максимальной выгоды.

Он открыто заявлял об этом. Уже в 1821 г. он пишет своей сестре: «Подыщи мне какую-нибудь богатую вдову... Я дам тебе пять процентов с приданого»[21]. «Вот поистине трезвое размышление для двадцатилетнего юноши,—замечает не без основания исследователь «Деловой жизни» Бальзака,—в этом возрасте человек обычно убаюкивает себя самыми сладостными надеждами и всемерно готов пожертвовать деньгами ради любви!»[22]. В 1838 г., несмотря на роман с Ганской, он сообщает Зюльме Карро, что готов сделать «хорошую партию», если бы только случай представился к тому. Ему нужна «женщина лет тридцати, обладающая состоянием в три или четыре сотни тысяч франков», при условии, впрочем, чтобы она отличалась добротой и была хорошо сложена[23]. В 1842 г. он настоятельно рекомендует Ганской выдать дочь «за человека умного и способного, но в особенности—богатого...»[24].

Отношение Бальзака к Ганской не могло быть свободно и от таких его обычных установок. Весьма характерно, что в первом же его письме о встрече с Эвелиной, описывая своей сестре это свидание, Бальзак не забывает упомянуть среди восхищений внешностью своей новой подруги и ее «колоссальное богатство». И когда в 1849 г. он считал свою ставку на брак окончательно проигранной, он сообщает об этом матери: «Придется снова надеть на себя ошейник нужды...»[25]. Бальзак, действительно, имел основание впоследствии назвать имя своей невесты в списке крупнейших польских богачей: в своем «Письме о Киеве» он говорит о «знаменитых состояниях Браницких, Ганских, Потоцких, Сангушек, Чарторыйских и др.»[26].

Увлечение Эвелиной Ганской сразу раскрывает перед ним перспективы в обоих направлениях—финансовой мощи и политического влияния. Будущий брак с иностранкой, о котором Бальзак заговорил при первом же свидании с ней в Невшателе, указывал ему широкие пути к блестящей карьере и неслыханным богатствам. Он станет видным государственным деятелем в императорском Петербурге и одновременно богатейшим землевладельцем Волынской и Киевской губерний. Ганская была для Бальзака той «блестящей партией», которая открывала ему даже двери Французской академии, освобождая его от долгов. В своих письмах 1842 г. он откровенно заявляет Эвелине, что женитьба на ней естественно и неизбежно доставит ему кресло академика.

Деловое достоинство брака определялось в то время не только состоянием, но и родовитостью будущей супруги. Бальзаку чрезвычайно импонировали титулы. Уже в конце ноября 1832 г. он сообщает Зюльме Карро, что получил «божественное письмо от одной русской или польской кня-

гини»[27]. Между тем, г-жа Ганская представляла весьма скромную польскую фамилию, хотя по рождению она и принадлежала к аристократическому роду Ржевусских. Бальзак чрезвычайно ценил, что эта семья, согласно глухому преданию, якобы, находилась в какой-то отдаленнейшей степени свойства с Лещинскими, к роду которых принадлежала жена Людовика XV. Хотя степень этого свойства была неуловима и, видимо, достаточно иллюзорна, Бальзак постоянно напоминает в своих письмах об этом мнимом родстве своей суженой с королевским домом Франции. В своих обращениях к ней он не иначе называет Марию Лещинскую, как «ваша тетка», не упуская из виду, что предстоящий брак породнит и его с представителями старшей ветви Бурбонов. Племянница Ганской, Катерина Радзивилл, рассказывает, что вскоре после свадьбы жена Бальзака застала его за письмом к графу Шамборскому (внуку Карла X и претенденту на королевский престол Франции): писатель выражал последнему представителю династии свои чувства по поводу состоявшегося вступления в его фамилию[28]. Эпизод этот, который можно было бы принять за анекдот, вполне подтверждается тем извещением о своем венчании, которое Бальзак послал своему парижскому врачу, доктору Наккару:

«Узнав, что я стал мужем внучатной племянницы королевы Марии Лещинской, зятем флигель-адъютанта его величества императора всероссийского—графа Адама Ржевусского (который является тестем графа Орлова), племянником графини Розалии Ржевусской, первой статс-дамы ее величества императрицы, зятем графа Генриха Ржевусского, этого Вальтера Скотта Польши в той же мере, в какой Мицкевич является ее лордом Байроном, отчимом графа Мнишка, представителя одной из славнейших фамилий севера и пр. и пр., я стану, вероятно, мишенью для бесчисленных шуток»[29].

Но сам Бальзак не шутил, и, выписывая свое послание, как некий манифест, он верил, что эти титулы ничтожных людей, с которыми он породнился, возвеличивают его более, чем «Человеческая комедия»...

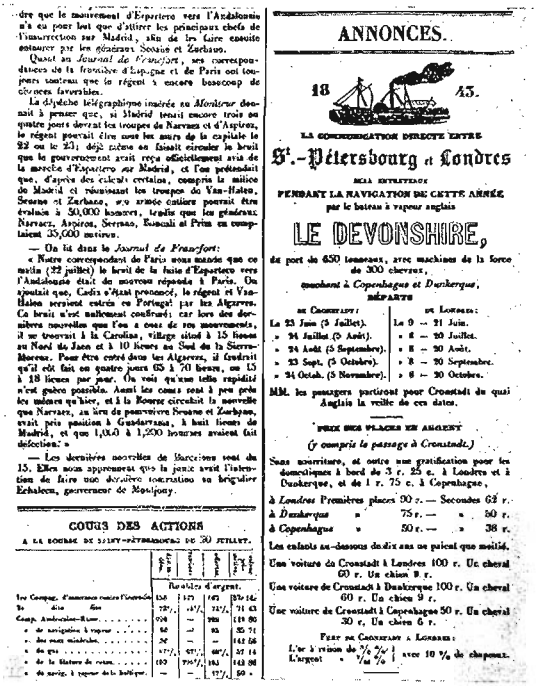
По возвращении в Париж писатель в одной деловой бумаге даже был назван графом де Бальзак[30].

Эти сложные вожделения, планы и замыслы необходимо учитывать при изучении русских симпатий Бальзака. С начала 30-х годов Петербург для него—символ большой и почетной государственной активности; поместье Ганских Верховня—реальное средоточие несметных имущественных благ и родовитых связей.

Этот мотив звучит в его переписке. В августе 1833 г. он сообщает Зюльме Карро: «Если б я проиграл мой процесс, я оставил бы литературу и Францию и поступил бы на службу в Россию, как Поццо ди Борго»[31]. Уже в 1834 г. романист пишет Ганской, что готов навсегда поселиться в Верховне; тогда же он собирается провести целый год на Украине и в Крыму; на всю зиму 1835 г. он строит планы прожить в имении Ганских, усиленно работая над романом из военной жизни, для которого хочет посетить Вену, чтобы лучше описать сражения под Ваграмом и Эсслингом. Творческие проекты меняются, но основное намерение остается неизменным: «Хочу бежать из Парижа, хочу в полной тишине писать моего Филиппа II»,—сообщает он Ганской 20 июня 1834 г.—«Какая славная зима вдали от парижских забот, в работе над трагедией, в борьбе с трагедией, смеясь по вечерам с вами и с хозяином поместья, для которого я специально буду сочинять „Смехотворные сказки“». Слухи

РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ ПАРОХОДА „ДЕВОНШИР", НА КОТОРОМ БАЛЬЗАК ПРИБЫЛ В КРОНШТАДТ

Объявление в „Journal de Saint-Pétersbourg" *от 10 июля 1843 г.*



dre que le mouvement d'Espartero vers l'Andalousie n'a eu pour but que d'attirer les principaux chefs de l'insurrection sur Madrid, afin de les faire cerner et entourer par les généraux Seoane et Zurbano.

Quant au *Journal de Francfort*, ses correspondances de la frontière d'Espagne et de Paris ont toujours soutenu que le régent a encore beaucoup de chances favorables.

La dépêche télégraphique insérée au *Moniteur* devait à penser que, si Madrid tenait encore trois ou quatre jours devant les troupes de Narvaez et d'Aspiroz, le régent pourrait être sous les murs de la capitale le 22 ou le 23; déjà même on faisait circuler le bruit que le gouvernement avait reçu officiellement avis de la marche d'Espartero *sur* Madrid, et l'on prétendait que, d'après des calculs certains, compris la milice de Madrid et réunissant les troupes de Van-Halen, Seoane et Zurbano, une armée entière pourrait être évaluée à 50,000 hommes, tandis que les généraux Narvaez, Aspiroz, Serrano, Esteuali et Prim en comptaient 35,000 autres.

— On lit dans le *Journal de Francfort*:

« Notre correspondant de Paris nous mande que ce matin (22 juillet) le bruit de la fuite d'Espartero vers l'Andalousie était de nouveau répandu à Paris. On ajoutait que, Cadix s'étant prononcé, le régent et Van-Halen seraient entrés en Portugal par les Algarves. Ce bruit n'est nullement confirmé; car lors des dernières nouvelles que l'on a eues de ces mouvements, il se trouvait à la Caroline, village situé à 15 lieues au Nord de Jaen et à 10 lieues au Sud de la Sierra-Morena. Pour être entré dans les Algarves, il faudrait qu'il eût fait en quatre jours 65 à 70 lieues, ou 15 à 18 lieues par jour. On voit qu'une telle rapidité n'est guère possible. Aussi les cours sont à peu près les mêmes qu'hier, et à la Bourse circulait la nouvelle que Narvaez, au lieu de poursuivre Seoane et Zurbano, avait pris position à Guadarrama, à huit lieues de Madrid, et que 1,000 à 1,200 hommes avaient fait défection. »

— Les dernières nouvelles de Barcelone sont du 15. Elles nous apprennent que la junte avait l'intention de faire une dernière tentative auprès du brigadier Echalecu, gouverneur de Montjouy.

COURS DES ACTIONS

ANNONCES.

18 43.

LA COMMUNICATION DIRECTE ENTRE

St.-Pétersbourg et Londres

SERA ENTRETENUE

PENDANT LA NAVIGATION DE CETTE ANNÉE

par le bateau à vapeur anglais

LE DEVONSHIRE,

du port de 650 tonneaux, avec machines de la force de 300 chevaux,

*touchant à Copenhague et Dunkerque,*

DÉPARTS

| DE CRONSTADT: | DE LONDRES: |
|---|---|
| Le 23 Juin (5 Juillet). | Le 9 — 21 Juin. |
| » 24 Juillet (5 Août). | » 6 — 20 Juillet. |
| » 24 Août (5 Septembre). | » 8 — 20 Août. |
| » 23 Sept. (5 Octobre). | » 8 — 20 Septembre. |
| » 24 Octob. (5 Novembre). | » 6 — 30 Octobre. |

MM. les passagers partiront pour Cronstadt du quai Anglais la veille de ces dates.

PRIX DES PLACES EN ARGENT

*(y compris le passage à Cronstadt.)*

Sans nourriture, et outre une gratification pour les domestiques à bord de 3 r. 25 c. à Londres et à Dunkerque, et de 1 r. 75 c. à Copenhague,

à *Londres* Premières places 90 r. — Secondes 62 r.
à *Dunkerque* » 75 r. — » 50 r.
à *Copenhague* » 50 r. — » 38 r.

Les enfants au-dessous de dix ans ne paient que moitié.

Une voiture de Cronstadt à Londres 100 r. Un cheval 60 r. Un chien 9 r.

Une voiture de Cronstadt à Dunkerque 100 r. Un cheval 60 r. Un chien 9 r.

Une voiture de Cronstadt à Copenhague 50 r. Un cheval 30 r. Un chien 6 r.

FRET DE CRONSTADT A LONDRES:

L'or à vision de 3/4 2/6 | avec 10 % de chapeau.
L'argent » 1/8 2/6 |

о намерении Бальзака посетить Россию распространились в русском обществе уже в середине 30-х годов. Сестра Пушкина, Ольга Сергеевна Павлищева, пишет мужу 31 января 1836 г. из Петербурга: «A propos: nous attendons Balzac, on prétend qu'il est déjà à Kieff»[32].

Эта мечта о поездке на Украину проходит через все «Письма к иностранке». Поместье Ганских становится для него мысленным приютом, далеким и верным убежищем от всех невзгод: «Мне остается только спрятаться в Верховне и накопить достаточно рукописей и денег, чтобы вернуться и расплатиться со всеми долгами»,—пишет он в 1836 г.—«Я стремлюсь в Верховню, как в оазис среди пустыни». В 1837 г. он вырабатывает особый дешевый маршрут своей поездки: Гавр, Гамбург, Берлин, Бреславль, Лемберг, Броды (часть путешествия водою). «Сделайте меня управляющим Верховни,—пишет он в одном из следующих писем,—и вы убедитесь, что тот, кто создал Гранде, понимает в хозяйственной экономике». «Я часто молюсь надежде и всегда обращаюсь к Украине» (10 мая 1840 г.)[33].

Мысли о поездке в Россию нередко связывались для Бальзака с текущими общественными или деловыми соображениями. Об этом сообщает нам С. П. Шевырев, посетивший Бальзака в 1839 г. и описавший свое посещение в живом очерке, напечатанном в «Москвитянине» за 1841 г. Нам необходимо задержаться на этом этюде, представляющем интереснейший русский источник для биографической характеристики романиста.

## IV

Московский профессор Степан Петрович Шевырев принадлежал к тому кругу русских людей, с которым Бальзак сравнительно мало общался. Среди его «северных» знакомых мы находим немного представителей литературы и науки. Правда, Шевырев принадлежал к миру официального российского просвещения, был видным столпом Московского универси-

тета в эпоху возглавления русской науки идеологом николаевской монархии Уваровым (с которым Бальзаку привелось, как мы увидим ниже, переписываться). Но при этом Шевырев проявлял непосредственный интерес к выдающимся явлениям художественной современности, лично знал Гёте, Пушкина, Гоголя, много путешествовал по Европе, а под конец жизни даже выступал с лекциями о русской литературе во Флоренции и Париже. Этюд Шевырева «Визит к Бальзаку» представляет собою чрезвычайно ценное мемуарное свидетельство о французском писателе.

Шевырев посетил Бальзака в 1839 г. на его даче Ле-Жарди в Севре. Он встретил перед домом человека «в соломенной шляпе с большими полями, в длинном-предлинном белом канифасном сюртуке, который широко развевался кругом его довольно полного тела... Из под шляпы сверкали черные быстрые глаза и горели розовые полные щеки человека, как бы запыхавшегося от дел хозяйских... Несколько работников суетилось по двору... Я обратился к канифасному сюртуку с вопросом о том, здесь ли живет г-н де Бальзак, и получил в ответ: «C'est moi, Monsieur». Тут внимание мое от белого халата-сюртука обратилось на живую, выразительную физиономию писателя, который стоял передо мною в сельском неглиже, как помещик, занятый стройкой своего дома». Следует выразительный портрет Бальзака: «Толстенький, кругленький человек небольшого роста, на коротеньких ножках; грудь и плечи широкие; короткая шея, лицо овальное, румяное, полное, свежее, несколько загорелое от сельской жизни; черные волосы, коротко обстриженные; глаза того же цвета, беглые, живые, с огнем, который загорается при одушевленном разговоре; нос прямой и округленный... физиономия вообще одушевленного сангвиника, который жадно ловит впечатления внешние и более живет в природе, чем внутри себя. Во всех движениях его необыкновенная быстрота и живость; речь звонкая и скорая; смех простодушный, сердечный, искренний. Всем своим внешним бытом, особенно последнею чертою яркого смеха, своим остроумным беглым разговором и наивною непринужденностью он много напомнил мне нашего Пушкина»[34].

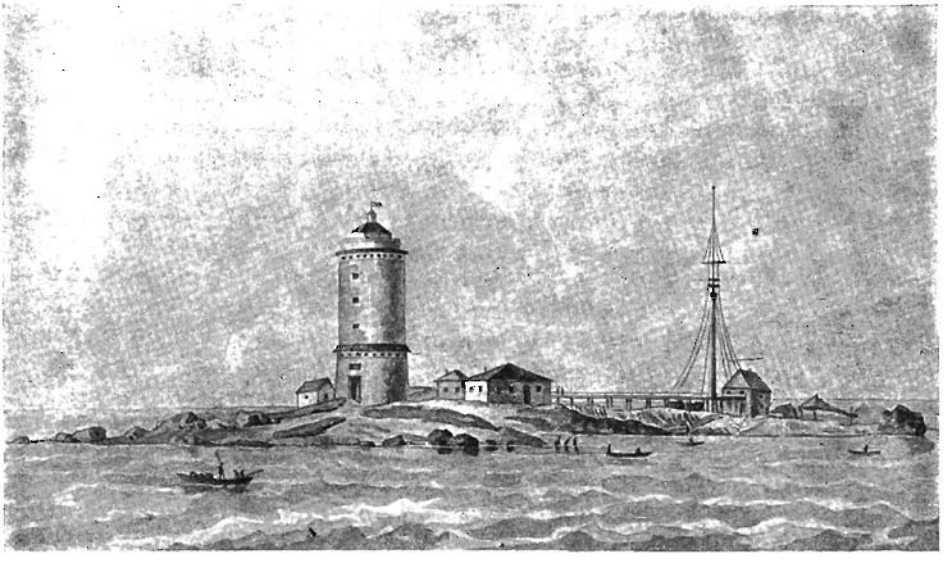
Шевырев излагает довольно подробно свою беседу с Бальзаком (о профессорской деятельности в России, о положении литературы во Франции, о международной охране авторских прав, о творческой работе романиста). Представляют интерес следующие слова Бальзака, записанные Шевыревым: «Я много работал. План мой велик. Я намерен обнять всю историю современных нравов во всех подробностях жизни, во всех сословиях общества. Это составит 40 томов. Это будет род Бюффона нравоописательного для всей Франции...—Я слышал, что вы имеете намерение посетить Россию,—правда ли это?—спросил его Шевырев.—Мы давно вас ожидали. Однажды разнесся слух, что вы в Одессе и даже в Москве. Русские дамы были особенно нетерпеливы вас видеть...—Да, я имел это намерение,—отвечал Бальзак,—и теперь еще имею. Оно может исполниться, особенно тогда, когда закон о литературной собственности во Франции, о котором теперь рассуждают, пройдет через обе палаты. В таком случае общество литераторов намерено было отправить меня депутатом в Россию для того, чтобы отнестись с просьбою к высшей власти об учреждении взаимности этого закона между обоими государствами!».

Когда на прощание Шевырев обратился к Бальзаку с вопросом, не позволит ли он объявить приезд его в Москву, он услышал в ответ: «Да, может быть, если общество литераторов пошлет меня для нашей цели».

Перспектива такой поездки была в то время весьма реальна. Бальзак в очень уверенном тоне писал тогда же Ганской: «Если палата депутатов примет закон о литературной собственности, я наверное поеду в Петербург и вернусь через Украину»[35].

Но Бальзаку не пришлось осуществить этот проект. Вскоре его увлекает план другой деловой поездки.

В январе 1843 г. он полагает приехать в Петербург с крупным деловым поручением, касающемся дела кораблестроения в великих державах. Речь шла о миллионах государственной экономии. Предприятие оказалось вздорным. И Бальзак, потратив несколько дней на разъезды, расспросы и надежды, отказался от поездки.



ТОЛБУХИН МАЯК В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ, У ВХОДА В ПЕТЕРБУРГ
Акварель неизвестного художника
Русский музей, Ленинград

Тяжелые условия и трудный литературный быт Парижа заставляют его подчас мечтать о полной эмиграции. В 1839 г. он заявляет Шевыреву, что незадолго перед тем «готов был ехать в Россию просить у государя место канцеляриста в каком-нибудь суде: так приходилось мне плохо!..». 3 июля 1840 г. с нескрываемой болью и грустью он сообщает Ганской, что собирается оставить Францию и литературу и отправиться в Бразилию: «Настоящей творческой энергии мне хватит только на десять лет» (на самом деле, ему оставалось жить ровно десять лет). Осенью он твердо решает провести всю зиму в Верховне, обрести, наконец, «восемь месяцев мира, спокойствия, постоянной работы, но без напряжения, восемь месяцев полного забвения всех мучений». Но в ноябре поездка снова отменяется. Правда, теперь Бальзак начинает думать о России, как о месте постоянного жительства; в 1841 г. он готов стать петербургским литератором: «Когда я писал вам недавно: я еду,—я сомневался в возможности жить во Франции среди отчаянных битв, пожирающих мою жизнь, и я возымел мысль отправиться от вас в Петербург, отказавшись от Франции.

Но последнее усилие освободило меня от когтей издателя, которому я должен был сто тысяч!..». К этому времени Бальзак и в политике становится другом России и высказывается за франко-русский союз, в противовес английской ориентации своего правительства. По мнению Бальзака, «союз [Франции] с Россией—высшая форма счастья»[36].

К началу 40-х годов, в связи с кончиной Ганского, все эти мечты и планы начинают принимать реальные очертания. На очереди поездка в Россию. 9 апреля 1842 г. он пишет Эвелине Ганской: «Я сделаюсь русским, если вы не усматриваете к этому препятствий, и я отправлюсь к царю просить разрешения нашего брака. Вот уже два года, как я мечтаю поселиться в Петербурге, чтобы заняться там романом и театром и судить о европейской литературе,—в последние дни я возвращаюсь к этим мечтам. Напишите мне ваше мнение на этот счет. Я хотел предпринять первое путешествие, чтобы обследовать почву, людей и обстоятельства. Меня удержало незнание языка»[37].

Накануне своего отъезда в Петербург, 1 июля 1843 г., Бальзак говорил своим издателям: «Я не знаю, вернусь ли, Франция мне надоела. Я охвачен сильной страстью к России. Я влюблен в абсолютную власть. Я увижу, так ли это прекрасно, как мне кажется. Жозеф де Местр долго прожил в Петербурге; быть может, и я останусь там»[38].

Такой широтой, сложностью и разнообразием отличается тяга Бальзака в далекую северную империю. Недаром один из его любимых героев, старик Горио, мечтает перед смертью уехать в Россию, чтобы составить состояние. «Я знаю, как добыть денег,—бормочет умирающий,—я отправлюсь в Одессу делать крахмал. Я кое-что смекаю еще. Я заработаю миллионы...»[39]. Вероятно, Одесса попала в бред агонизирующего Горио непосредственно с почтового штемпеля первого письма Ганской, а мечты старика об обогащении в России отразили заветные помыслы его автора.

## V

«Я испытаю живейшее наслаждение при виде Петербурга,—пишет он Эвелине Ганской.—Путешествие это наиболее экономное из всех, за исключением, впрочем, петербургской жизни. Но в этом отношении я рассчитываю на вашу практичность и верю, что вы сумеете выбрать мне дом, где я мог бы жить и питаться. Я желал бы найти жилище с пансионом. Со мною не будет багажа, и я не причиню вам лишних затруднений. Я домчусь к вам, как стрела, я возвращусь, в тоске от разлуки с вами, с последним пароходом. Я желал бы жить недалеко от вас и оставаться неизвестным. Но это невозможно: есть паспорта. Сообщите мне, нужно ли с июня по октябрь оберегаться от холода, дабы я знал, какие вещи взять с собою. Если я буду работать над чем-нибудь, то только над «Ричардом—Губочным сердцем», а это не вызовет никаких затруднений»[40]. В одном из следующих писем он сообщает: «О, я намерен отдыхать, вести животную жизнь, ни о чем не думать, стать cockney* Санкт-Петербурга на всем протяжении этих блаженных месяцев—июня, июля, августа, сентября и октября! Четыре месяца без газет, книг, корректур (épreuves), за исключением тех, которые вы доставите мне!**. Я хотел бы только быть совершенно спокойным, не видеть слишком много людей, жить в нескольких шагах от вас и существовать на подобие устрицы»[41].

---

* Обывателем.

** Игра слов: épreuve—корректура и испытание.

Бальзак подготовился к путешествию в Россию. Он точно знает расписание рейсов между Дюнкирхеном и портами Балтики, он осведомлен о бытовых условиях русской жизни. Он первоначально хочет поселиться в известном трактире Демута[42], но, узнав от самого Кюстина, что в России нет порядочных гостиниц, просит Ганскую устроить его «в честной семье». Он изучает в Париже план Петербурга и даже конкретно представляет себе, «что̀ означает Большая Миллионная»—улица, на которой проживает Эвелина. Он мечтает расширить свой маршрут и посетить Москву. С визированным паспортом в кармане ему оставалось теперь только условиться в агентстве о своей каюте на пакетботе «Девоншир», который ровно через неделю должен был отплыть в Петербург. Директор пароходной компании обещал окружить его заботами и дать лучшую каюту на палубе[43].

Плавание прошло благополучно и без промедлений. Пароход «Девоншир», совершавший рейсы между Лондоном и Петербургом, с заходом в Дюнкирхен, Гамбург, Любек и Копенгаген, причалил в Кронштадте в субботу 17/29 июля утром[44].

В начале осени 1845 г. литературный ученик Бальзака и первый переводчик «Эжени Гранде», молодой инженер Достоевский, возвращался в Петербург из Ревеля, через Кронштадт. По приезде он писал своему брату: «Ты желаешь побыть в Петербурге. Но если приедешь, то приезжай сухим путем, потому что нет ничего грустнее и безотраднее въезда в него с Невы и особенно ночью...».

Но суда дальнего плавания прибывали в Кронштадт утром, и пассажиры после таможенного досмотра и проверки паспортов доставлялись другим пароходом к Английской набережной днем или ранним вечером. Через несколько лет друг Бальзака, Теофиль Готье, плыл на закате Финским заливом, приближаясь к Петербургу. Акварельными красками оделись небо, вода и побережье; мерцающий и холодный свет северного неба с оттенками опала и стали окутывал предметы. Вдали медленно вычерчивался между млечными отливами воды и перламутровым небом строгий силуэт столицы, вспыхивая на остроконечных изломах металлическими блестками куполов и стрел. «Нельзя было представить себе ничего великолепнее этого золотого города на этом серебряном горизонте, где вечер блистал белизною утренней зари»[45].

По некоторым указаниям в письмах Бальзака можно допустить, что его первое впечатление от Петербурга, куда он прибыл в холодное и облачное утро, было ближе к видению Теофиля Готье, чем к угрюмой гравюре Достоевского.

Вероятно, свидание с Ганской после восьми лет разлуки способствовало бодрому настроению путешественника. В одной из тетрадей ее дневника Бальзак записал о своем приезде в Петербург: «Я прибыл 17 июля (по польскому стилю) и имел счастье около полудня увидеть и приветствовать мою дорогую графиню Еву в доме Кутайсова на Большой Миллионной. Я не видел ее с Вены, и я нашел ее такой же прекрасной и юной, как тогда. Между тем прошло семь лет, в продолжение которых она пробыла в своих пустынных нивах, как я в обширной человеческой пустыне Парижа. Она приняла меня, как старого друга»...[46].

Нам необходимо обратиться к этой обитательнице «пустынных нив» Киевской губернии, чтобы уяснить себе возникновение «русской главы» в биографии французского романиста.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

Œuvres complètes (M. Lévy) — Œuvres complètes de H. de Balzac. Paris, Michel Lévy frères, 1869—1876, 24 vol.

Œuvres complètes (Conard) — Œuvres complètes de Honoré de Balzac. Texte revisé et annoté par Marcel Bouteron et Henri Longnon. Illustrations de Charles Huard, gravées sur bois par Pierre Gusman, Paris, L. Conard, 1912—1932, 37 vol. (en cours).

Редакторы издания решили не нумеровать его томов, что представляет некоторые трудности при цитировании. Но установленный Бальзаком план «Человеческой комедии» и хронологическая последовательность в выходе томов издания Конар дают возможность их точной нумерации в библиотечных каталогах и библиографических описаниях. Мы следуем этой системе в наших ссылках, обычно называя в тексте само произведение.

Lettre sur Kiew — H. de Balzac. Lettre sur Kiew. Fragment inédit. Ornée de quatre illustrations et de trois facsimilés. Cahiers balzaciens, № 7, publiés par Marcel Bouteron, éditions Lapina, Paris, 1927.

Correspondance — Correspondance de Honoré de Balzac. 1819—1850. Paris, Calmann-Lévy, 1876, 2 vol.

Lettres à l'Etrangère — H. de Balzac, Œuvres posthumes. Lettres à l'Etrangère. Paris, Calmann-Lévy, 3 vol., t. I (1833—1842), 1899; t. II (1842—1844), 1906; t. III (1845—1846), 1933.

Этот важнейший источник биографии Бальзака, к сожалению, еще не опубликован полностью (он доведен до 1847 г.). Таким образом, последние три с половиной года жизни Бальзака остаются пока еще вне освещения этими замечательными письмами-дневниками. Нам приходится особенно пожалеть об этом, так как эти годы тесно связаны в жизни Бальзака с Россией. Правда, значительная часть этого периода (свыше двух лет) проведена Бальзаком вместе с Ганской и не могла поэтому особенно обогатить их переписку. Но, тем не менее, несколько месяцев в 1847 г. и полгода в 1848 г., когда Бальзак и Ганская находились в разлуке, должны были дать особенно богатый материал (приготовления к поездкам на Украину, политические события, последние творческие планы, работа для театра). Судя по небольшим отрывкам, проникшим в печать (напр., в книге D. Milatchitch, Le théâtre de Balzac, P., 1930), такое предположение вполне подтверждается. Нам остается надеяться, что другие источники этого

периода бальзаковской биографии оберегли нас от крупных пробелов или ошибок.

| | |
|---|---|
| Correspondance avec Zulma Carraud | Honoré de Balzac, Correspondance inédite avec Madame Zulma Carraud (1829—1850). Collection «Ames et Visages», Paris, Armand Colin, 1935. |
| Balzac and Souverain | Balzac and Souverain. An unpublished correspondence edited by Walter Scott Hastings. Doubleday. Page and Company. Garden City, New-York, 1927. |
| Floyd | Juanita Helm-Floyd, Les Femmes dans la vie de Balzac. Traduction et introduction de la princesse Catherine Radziwill, Paris, 1926, Plon et Nourrit, 1926. |
| Bouteron | Marcel Bouteron, La véritable image de Madame Hanska. Collection «Les images du temps», éditions Lapina, Paris, 1929. I. Apologie pour Madame Hanska, pp. 1—39. II. Lettres de Madame Hanska à sa fille la comtesse Anna Mniszech (1847—1854), pp. 1—98. |
| Korwin-Piotrowska | Sophie de Korwin-Piotrowska, Balzac et le monde slave. Madame Hanska et l'œuvre balzacienne, Paris, Honoré Champion, 1933. |

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Lettres à l'Etrangère, II, 44.
[2] Ibid., II, 63, 101.
[3] Ibid., II, 20, 22, 30, 37.
[4] Ibid., II, 35—36.
[5] Balabine (Victor), Journal de Victor de Balabine, secrétaire de l'ambassade de Russie. Publié par Ernest Daudet, P., 1914, Emil-Paul, 141.—Это тот самый Балабин, о котором Маркс упоминает в статье «Предстоящий мирный конгресс» (напечатанной в «New-York Daily Tribune», № 5624, от 30 апреля 1859 г.). В то время Балабин занимал пост русского посланника в Вене, и к нему была обращена нота австрийского премьер-министра графа Буоля от 23 марта 1859 г., которую анализирует в своей корреспонденции Маркс (Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, XI, ч. II, 125 и сл.).
[6] Архив внешней политики. Фонд Министерства Иностранных Дел, канцелярия, № 136. Шифрованное донесение Киселева—Нессельроде от 12/24 июля 1843 г., лл. 60—63. Ср. публикацию J. W. Bienstock'a в «Mercure de France» 1924, № 635.
[7] Приятель Бальзака Филарет Шаль рассказал в печати, что знаменитый романист отправился в Россию, рассчитывая на желание царя опровергнуть каким-нибудь блестящим французским пером книгу маркиза де Кюстина (E. Werdet, Balzac, sa vie, son humeur et son caractère, P., 1859, 126). Сам Бальзак по возвращении из Петербурга писал Ганской (14 ноября 1843 г.): «Здесь ходят слухи, что я напишу опровержение Кюстина и что я вернулся, нагруженный серебряными рублями. Я отрицаю только рубли» (Lettres à l'Etrangère, II, 225).
[8] Hugo (V.), Actes et paroles, P., 1875—1876, Michel Lévy, I, 532.
[9] Zola (E.), Les romanciers naturalistes. Balzac, Stendhal, Gustave Flaubert, Edmond et Jules de Goncourt, Alphonse Daudet, P., 1881, G. Charpentier, 50.
[10] Отзывы Маркса и Энгельса о Бальзаке приведены в статье: «Marx et Engels au sujet de Balzac»—«Littérature internationale», 1933—1934, VI, 128—129. С более точным указанием источников в сборнике «Sur la littérature et l'art. Karl Marx, Fr. Engels. Choisis, traduits et présentés par Jean Freville» P., 1936, 147—151.—На русском языке—в статье Ф. Шиллера, Маркс и Энгельс о Бальзаке и реализме в литературе,—«Литературное Наследство», 1932, II, 5—14.

[11] Лафарг Поль, Воспоминания о Марксе (в издании «К. Маркс. Избранные произведения в двух томах под ред. В. В. Адоратского, М., 1933», I, 62).

[12] Маркс, К., Капитал. Критика политической экономии. Издание восьмое. Партиздат, 1935, III, 12.

[13] Ibid., I, 463-е прим.

[14] Маркс и Энгельс, Сочинения, М., 1932, XXIII, 396; XXIV, 146—письма от 25 февраля 1867 г. и от 14 декабря 1868 г.

[15] Hugo (V.), Choses vues, P., 1913, Ollendorf, II.

[16] Из письма Ф. Энгельса к Маргарэт Гаркнес 1888 г.—«Литературное Наследство», II, 1932, 2—5.

[17] Так утверждал сам Бальзак.—Œuvres complètes (M. Lévy), XXII, 443.

[18] Blanchard (M.), La campagne et ses habitants dans l'œuvre de Honoré de Balzac. Etudes des idées de Balzac sur la grande propriété, P., 1931, 328. См. также Arrigon, (L.-J.) Les années romantiques de Balzac d'après les documents nouveaux et inédits, P., 1927, особенно главы «Ambitions politiques» (V) и «Balzac devient carliste» (VII).

[19] Lettres à l'Etrangère, II, 153.

Русские читатели были действительно поставлены в особенно благоприятные условия для знакомства с творчеством Бальзака. Благодаря изданию в Петербурге французского журнала «Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts», крупнейшие произведения Бальзака появлялись одновременно в Париже и в России. При жизни Бальзака здесь были напечатаны в оригинале: «История тринадцати», «Евгения Гранде», «Серафита», «Искания абсолюта», «Лилия в долине», «Покинутая женщина», «Старая дева», «Драма на берегу моря», «Госпожа Фирмиани», «Пьеретта», вторая часть «Изнанки современной истории», статьи Бальзака «Теория походки», «Путешествие из Парижа на Яву» и др. Здесь же были перепечатаны критические статьи о Бальзаке де Молена, Ипполита Люкаса и пр.—«Revue étrangère», томы: I—IV (1832), V—VIII (1833), тт. IX, X, XII (1834), XVI, XVIII, XX (1836), XXIX, XXX (1839), XXXIII (1840), LXVIII (1848), LXIX (1849).

Публикация бальзаковских романов в «Revue étrangère» причиняла, как известно, их автору не мало огорчений. Издатель Бюлоз продал этому журналу набор романа «Лилия в долине», переслав в редакцию гранки без последней авторской корректуры. Петербургский текст оказался крайне несовершенным; возмущенный Бальзак привлек Бюлоза к суду и 1 июля 1836 г. выиграл дело. Об этом процессе см. Werdet, Balzac, 102—110; Lettres à l'Etrangère, I, 308 и сл.

За 30—40-е годы большинство произведений Бальзака появилось и в русских журналах. Так, в «Сыне Отечества» были напечатаны: «Рекрут», отрывок из «Шагреневой кожи», «Ростовщик Корнелиус», «Госпожа Фирмиани», «Красный кабачок», «Пьеретта», «Зефирин Маркас» («Сын Отечества», 1832—149, 152; 1833—159—160, 155, 162; 1840—2, 16).

В «Библиотеке для Чтения»: «Отец Горио», «Провинциальный Байрон», «Необыкновенная женщина», «История величия и падения Цезаря Биротто», «Похождения парижского дэнди», «Графиня де Ванднесс», «Дуняша», «Светские приятельницы», «Модеста Миньон», «Маленькие несчастья супружеской жизни», «История бедных родственников»: 1) «Кузина Лиза», 2) «Кузен Понс, или два музыканта» («Библиотека для Чтения», 1835, т. 8; 1838, тт. 26, 29; 1839, тт. 34, 36; 1840, тт. 39, 42; 1845, т. 69; 1846, т. 74; 1847, тт. 80, 81, 82, 83).

В «Телескопе»: «Невеста-аристократка» («Бал в местечке Со»), «Страсть художника» («Sarazine»), «Эль Вердюго», «Кошелек», «Две встречи», «Граф Шабер», «Один из тринадцати», «Другой из тринадцати», «Дед Горио», «Девушка с золотыми глазами», «Совет» («Телескоп», 1831, ч. 6; 1832, ч. 8; 1833, ч. 13; 1835, тт. 14, 15, 16, 25, 26, 27, 30).

В «Репертуаре и Пантеоне»: «Евгения Гранде» в переводе Ф. Достоевского (1844, кн. 6—7).

В «Северном Архиве»: «Шагреневая кожа» («Северный Архив», 1832, ч. 53).

В «Московском Наблюдателе»: «Пагубный дар» (1836, № 7—8).

Наряду с этими многочисленными журнальными переводами вещи Бальзака одновременно выпускаются на русский книжный рынок и отдельными изданиями, частью в сборниках, частью самостоятельно. Укажем на некоторые из них: 1) «Сцены из частной жизни», СПБ. 1832—1833; 2) «Женщина в тридцать лет», СПБ. 1833; 3) «Госпожа Фирмиани», М., 1833; 4) «Созерцательная жизнь Лудвига Ламберта», СПБ. 1835; 5) «Темные рассказы опрокинутой головы», СПБ. 1836; 6) «Шуаны, или Бретань в 1799 г.», М., 1840; 7) «Старик Горио», М., 1840; 8) «Житие холостяка в провинции», СПБ. 1843.

. Некоторые произведения Бальзака появились в сборниках, как, например: «Сорок одна повесть лучших иностранных писателей», изданы Ник. Надеждиным, М., 1836, или «Новейшие повести и рассказы», М., 1835 и др.

Таким образом, «Человеческая комедия» в своей значительной части появилась на русском языке еще при жизни Бальзака.

[20] Œuvres complètes (Conard), X, 9.

[21] Correspondance, I, 27.

[22] Failletaz (Emmanuel), Balzac et le monde des affaires, P., 1932, 129—130.

[23] Correspondance, I, 308. Ср.: Correspondance avec Zulma Carraud, 298.

[24] Lettres à l'Etrangère, II, 8.

[25] Correspondance, II.

[26] Lettre sur Kiew, 42.

[27] Correspondance avec Zulma Carraud, 99.

[28] Floyd, introduction, VII.

[29] Цитируем по статье Boissier (Gaston), La canne de M. de Balzac.—«Le Temps», 12 июня 1908 г.

[30] Spoelberch de Lovenjoul, Etudes balzaciennes. Un roman d'amour, P., Calmann-Lévy, 1896. Так назван Бальзак в квитанции из дома сумасшедших, куда он поместил своего слугу.

[31] Correspondance avec Zulma Carraud, 157.

[32] «Пушкин и его современники», XXIII—XXIV, 212.

[33] Lettres à l'Etrangère, I, 342, 373, 413, 438, 535.

[34] Шевырев С. П., Парижские эскизы. Визит к Бальзаку.—«Москвитянин», журнал, изд. М. Погодиным, М., 1841, т. I, № 2, стр. 357—383. В статье Шевырева следующие разделы: I. Бальзак между литераторами Парижа.—II. Как трудно в Париже отыскать адрес Бальзака. —III. Бальзак-помещик.—IV. Разговор с Бальзаком. Этот мемуарный очерк Шевырева обратил на себя внимание на Западе; уже в 1840 г. он был переведен на немецкий язык: S. Schevireff, Ein Gespräch mit Balzac, Erinnerung an Paris.—«Deutsche Blätter für Literatur und Leben», 1840, Febr. Недавно статья эта была перепечатана в журнале «Querschnitt», 1925, X, 881—885 и в «Vossische Zeitung», 13 сентября 1925 г. Это, видимо, послужило толчком к появлению статьи на французском языке: S. Shévyriov, Une visite chez Balzac en 1839.—«Revue de littérature comparée», avril—juin 1933.

Шевырев в своей статье приводит следующее письмо, полученное им от Бальзака:

Monsieur,

La République des lettres a des usages, aux quels se soumettent les éxistences les plus occupées. Je suis jusqu'à mercredi prochain à la campagne, où j'aurai l'honneur de vous recevoir. Vous appartenez à un pays qui a bien des droits à mon estime et à mon admiration et je pense que vous venez du pays. Agréez mes compliments...

De Balzac

Aux Jardies à Sèvres, Chemin vert, près le parc St. Cloud.

*Перевод* [С. П. Шевырева]:

Республика Словесности имеет обычаи, которым подчиняются люди самые занятые: до будущей среды я остаюсь в деревне, где буду иметь честь вас принять. Вы принадлежите стране, которая имеет много прав на мое уважение и удивление. Я думаю, что вы оттуда. Примите мой привет...

Де Бальзак

Ле-Жарди в Севре, Зеленая дорожка, близ парка Сен-Клу.

Письмо это не вошло в издание «Correspondance» Бальзака. Шевырев приводит письмо со следующим разъяснением: «В моей записке я сказал Бальзаку, что не имею никаких других прав на его гостеприимство, как звание иностранца, питающего к его таланту личное уважение, и имя русского, принадлежащего стране, на которую он своим дарованием производит влияние сильное. Дня через три я получил очень любезный ответ».

В переписке Шевырева с Н. А. Мельгуновым (хранится в Рукописном отделении Публичной библиотеки в Ленинграде) имеется указание, что последний писал Бальзаку в ноябре 1835 г. из Ганау, но ответа от него не получил.

Имеются еще два-три отзыва русских наблюдателей Бальзака, опубликованных в 30—40-е годы.

Виктор Строев, описавший Париж в 1838—1839 гг., отметил по личным впечатлениям, что Бальзак «одевается неопрятно и нечисто», ходит «в старом синем сюртуке и жел-

тых нанковых панталонах. Шляпа его измята, как будто на ней просидел кто-нибудь в течение целого дня» и пр. (Строев В., Париж в 1838 и 1839 годах. Путевые записки и заметки, ч. I).

Н. И. Греч наблюдал Бальзака в ресторане Верри и оставил в своих путевых письмах зарисовку этого «оригинального и отличного от толпы» человека: «он роста невысокого, плотен, дороден, имеет с виду лет около сорока от роду. Лицо у него полное, румяное; волосы русые, бакенбарды во всю щеку, усы и небольшая борода. Он обедал в обществе с одним приятелем, ел и пил с аппетитом, много разговаривал и смеялся, не обращая внимания на других посетителей ресторана» (Греч Н. И., Путевые письма 1817 и 1835 гг., ч. II, 139). Ряд упоминаний о Бальзаке имеется также в «Парижских письмах» Греча (П., 1847 г.). Здесь, в частности, подробно излагаются все те толки, которые ходили в Париже по возвращении Бальзака из России, сообщается о вывезенных им оттуда вкусах и привычках и т. п. Но в большинстве случаев сведения, сообщаемые Гречем, представляют собой пересказ вздорных слухов.

Не заслуживает также никакого доверия напечатанный в «Русском Архиве» рассказ некоего А. Н. Андреева о Бальзаке («Давние встречи. I. Бальзак»,—«Русский Архив»,1890, 536).

Приведем еще одну «русскую» характеристику Бальзака, в нашей печати неизвестную. Она принадлежит перу русской знакомой Бальзака — Софьи Козловской: «Он не может считаться красивым, будучи малого роста, жирным, круглым, коренастым, имея широкие квадратные плечи, большую голову, нос, подобный резине, очень красивый, но почти беззубый рот, черные волосы цвета стекляруса, жесткие, с проседью. Но в его карих глазах такой огонь и такая сила, что помимо вашей воли, вы вынуждены признать, что существует мало голов подобной красоты!»—Abraham (Pierre), Balzac. Ed. Rieder, P. [1929], 6. Отзыв относится к 1836 г.

[35] О визите к нему Шевырева Бальзак упомянул в своих письмах к Ганской. Он писал ей 2 июня 1839 г.: «На этих днях меня навестил один русский профессор из Москвы, г. Шевырев, а я люблю все, что кончается на *е в* по причине Бердичева. Я ребячливо верю, что это приближает меня к вам». См. Lettres à l'Etrangère, II, 513.

[36] Ibid., I, 29, 106, 127, 164, 169, 342, 373, 413, 438, 542, 544, 545, 546, 555.

[37] Ibid., II, 26.

[38] Ibid., II, 181.

[39] Œuvres complètes (Conard), VI, 493.

[40] Lettres à l'Etrangère, II, 145. «Ричард — Губочное сердце» был задуман еще в конце 20-х годов, когда и были сделаны первые наброски этой «народной драмы», происходящей в парижском предместье в среде ремесленников и мелких торговцев. Бальзак неоднократно возвращался к ней в 1835, 1840 и затем в 1847—1848 гг., но окончательной редакции не оставил. Ранняя версия напечатана у Milatchitch [Douchan Z.], Le théâtre inédit de Honoré de Balzac. Edition critique d'après les manuscrits de Chantilly., P., 1930, 114—141.

[41] Lettres à l'Etrangère, II, 163.

[42] Путеводитель по Петербургу, которым пользовался Бальзак, в первую очередь рекомендовал «гостиницу Демут на Мойке у Полицейского моста», как наиболее посещаемую «избранным русским и иностранным обществом» («Guide du voyageur à Saint-Pétersbourg», St.-P., 1840, 82).

[43] Lettres à l'Etrangère, II, 182.

[44] Об этом пароходе и пароходных обществах, с которыми имел дело Бальзак, мы находим сведения в «Северной Пчеле» от 29 июня 1843 г., № 142. «Еще на днях, в фельетоне нашей газеты, вспоминали мы о битве Гаврского и Дюнкирхенского пароходных обществ. Гаврское, повидимому, восторжествовало и уже вновь возвысило свои цены, не улучшив ни внутреннего устройства парохода, ни кухни. Но вот появился пароход Девоншир, открывавший сообщения на линии между Петербургом, Копенгагеном, Дюнкирхеном и Лондоном, и в один миг цены опять понизились до того, что с вас берут за проезд в Гавр дешевле, нежели за месяц перед сим вы заплатили бы только до Копенгагена». («Смесь. Петербургские вести. Пароход Девоншир и соперничество»).

[45] Gautier (Théophile), Voyage en Russie, P., 1857, I, 107—109.

[46] Lettres à l'Etrangère, II, 185 (запись от 2 сентября 1843 г.). Говоря о том, что он не видел Ганскую со времени свидания в Вене и что с тех пор прошло «семь лет», Бальзак делает ошибку в подсчете годов. Венские встречи происходили в мае—июне 1835 г., т. е. ровно за восемь, а не за семь лет до петербургского свидания.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

# ЭВЕЛИНА ГАНСКАЯ

I. КАНОНИЗАЦИЯ ГАНСКОЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КРИТИКЕ.—ЛЕГЕНДА И ФАКТЫ.—ОКЛЕВЕТАНА ЛИ ГАНСКАЯ?—СВИДЕТЕЛЬСТВА БАЛЬЗАКА В ЕГО „ПИСЬМАХ К ИНОСТРАНКЕ". II. РОД РЖЕВУССКИХ: ВОЕННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДКОВ ЭВЕЛИНЫ.—ГЕРОИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ ФАМИЛИИ, ПЛЕНИВШИЕ БАЛЬЗАКА. III. МОРАЛЬНЫЙ УПАДОК ФАМИЛИИ К НАЧАЛУ XIX ВЕКА: АДАМ И ГЕНРИХ РЖЕВУССКИЕ, КАРОЛИНА СОБАНСКАЯ. ИХ ОРИЕНТАЦИЯ НА РУССКИЙ ЦАРИЗМ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НИКОЛАЕВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.—ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ГАНСКОЙ. IV. ЕЕ ХАРАКТЕР И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ.—ФОРМУЛА БАЛЬЗАКА: „ТЫ БОГАЧКА, А Я БЕДНЯК!". V. БРАК ЭВЕЛИНЫ С ВАЦЛАВОМ ГАНСКИМ.—ЛЕГЕНДА О „ЗАТВОРНИЧЕСТВЕ" МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ.—РАССЕЯННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ГАНСКИХ В КИЕВЕ И ОДЕССЕ.—НАЧАЛО ПЕРЕПИСКИ С БАЛЬЗАКОМ. СВИДАНИЕ В НЕВШАТЕЛЕ.—ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ БАЛЬЗАКА С ГАНСКИМИ.—ВСТРЕЧИ БАЛЬЗАКА С ЭВЕЛИНОЙ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ ЕВРОПЫ.—СМЕРТЬ ВАЦЛАВА ГАНСКОГО В 1841 г.—СТАВКА БАЛЬЗАКА НА ПЕТЕРБУРГСКОЕ СВИДАНИЕ 1843 г.

### I

Во французском литературоведении и критике установилось странное положение: «Чернить память госпожи де Бальзак—это значит кидать тень на Бальзака и его чудесный ум». Так формулирует это положение журнал «Chronique des lettres françaises» (1927, № 29—30, 622). Мы не собираемся развенчивать Ганскую, но нам ясно, что жизнь великих творцов раскрывает свой подлинный, почти всегда трагический и ценный смысл только в свете суровой правды. Не канонизировать и благообразно округлять с ложной целью «возвеличения» должны мы образы гениальных мастеров прошлого, а изучать их в той драме их жизни, в которой ярче всего раскрываются их характер, их мужество, их стойкость и благородство. Мы не боимся вникать в семейные драмы Пушкина, Толстого, Достоевского. И мы не только не снизили этим их образов, но нередко раскрыли в них неведомые черты самоотверженности и героизма. Отношение Бальзака к Ганской не было, на наш взгляд, той благообразной и благополучной идиллией, какою стремятся изобразить ее из ложно понятого семейного достоинства современные Ржевусские и Радзивиллы. В жизни Бальзака, столь богатой незаметными и затаенными драмами, его связь с Ганской получила самый подлинный смысл глубоко скрытой личной трагедии. И, последовательно изучая его биографию, пристально всматриваясь во все ее трудные и болезненные эпизоды, нигде не испытываешь такого глубокого сочувствия к этому великому и доверчивому человеку, как перед лицом его «дорогой звезды», холодной, далекой и равнодушной, как все звезды.

Между тем, французские исследователи настойчиво проводят в последнее время защитительную тенденцию в отношении к Ганской. Один из лучших знатоков Бальзака, редактор собрания его сочинений в издательстве Conard, руководитель серии «Cahiers balzaciens», Марсель Бутрон, даже написал специальную «Апологию госпожи Ганской». «Ее обвиняли в том,—говорит этот исследователь,—что она была злым гением Бальзака, что она испортила ему жизнь, измучила его сердце, ставила препятствия его труду, отравила его последние минуты; даже любовь ее была подвергнута сомнению»[1]. Марсель Бутрон ставит себе задачей «исправить эту несправедливость и восстановить подлинный облик этой оклеветанной женщины»[2]—проблема, несомненно, большой трудности, поскольку главные из этих обвинений исходили от самого Бальзака, которого никто не решится заподозрить в оклеветании любимой женщины. А, между тем, именно со страниц знаменитых «Писем к иностранке» звучат эти тяжелые укоры в моральных мучительствах, унижениях, недостатке чувства и участия.

«Вы внушаете мне такое глубокое отвращение к жизни, что я тоскую по какой-нибудь катастрофе»,—пишет Бальзак Ганской 7—9 июня 1842 г. И такие жалобы звучат на всем протяжении его переписки: «Ты повернула кинжалом в моей ране...», «Твое письмо причинило мне столько страданий... Я пребывал семь часов подряд в отчаянии, близком к самоубийству...», «Глубокую печаль внесло в мою душу твое последнее письмо...». Бальзак даже сравнивает любовь к нему Ганской с милостыней, которую бросают нищему, он постоянно пишет о ее «жестоких словах», «жестоких письмах», он с горечью прочитывает ее издевательские советы ему жениться на какой-нибудь богатой парижанке[3]. Бальзака удручает безразличие Ганской к условиям его работы, к его творческой активности: «Итак, вы заставили меня потерять весь январь и половину февраля, уверяя: «я выезжаю завтра—через неделю» и заставляя меня ждать ваших писем и, наконец, корчиться в припадках бешенства, на какие только я способен! Все это вызвало ужасающую разруху в моих делах, и вместо полной свободы с 15 февраля мне предстоит еще целый месяц геркулесовых работ...»[4].

Он не уверен ни в ее любви, ни в ее дружбе, ни в ее верности, ни в ее уважении. Когда в 1842 г. он по-дружески соблазняет Ганскую своим приездом в Петербург, чтобы облегчить ей выигрыш сложного наследственного процесса, она отвечает ему резким и категорическим приказом оставаться в Париже: «Сидите спокойно там, где вы находитесь, и предоставьте мне действовать». Бальзак был совершенно подавлен[5]. Как трогательно и грустно его недоуменное замечание в одном из позднейших писем: «Есть одна вещь, которая всегда удивляет меня,—это т в о е н е д о в е р и е к м о и м с п о с о б н о с т я м». И он это пишет Ганской уже после двенадцати лет знакомства, 1 января 1845 г.[6]. Поистине творец «Человеческой комедии» имел право удивляться!

Таковы главные обвинения, направленные против Ганской. В том, что она испортила жизнь великому артисту, измучила его сердце, ставила препятствия его труду, не умела ценить и весьма мало любила его, упорно и, как всегда, с неопровержимой убедительностью обвинял ее сам Бальзак. Читая его жалобы, понимаешь, почему Эвелина сочла нужным собственноручно сжечь все свои письма к мужу (как сообщает об этом ее племянница Радзивилл, присутствовавшая при этом аутодафе). Не мало материалов для характеристики ее холодной и расчетливой натуры было этим уничтожено. Но письма Бальзака сохранились, и эта обвинительная речь писателя продолжает звучать сквозь все оправдательные восхваления «иностранки».

В своей книге «Muses romantiques», в которой Бутрон не ставит себе задачей «апологию» Ганской, он трактует свою тему с большей свободой и несравненно ближе к истине. Он нисколько не скрывает здесь от читателя, что Бальзак испытывал тяжелые страдания от характера Ганской, особенно же от ее невыносимой ревности, и что эти отношения весьма отрицательно отзывались на жизни и деятельности писателя. «В продолжение трехнедельного пребывания Бальзака в Вене Ганская не перестает устраивать ему сцены на Пратере, в саду Вольтера, на прогулках, в письмах и даже на его квартире, в гостинице de la Poire, где сцена была столь ужасной, что Бальзак содрогался, вспоминая ее через много лет»[7].

В другой статье о Ганской Бутрон признает, что «ее прекрасные уста подчас трепетали от ревнивого гнева жестоким бешенством» («ces belles lèvres, que, parfois, la colère de la jalousie faisait frémir de fureur cruelle»[8]).

Но в своей «апологии» Ганской Бутрон ограничивается сплошными восхвалениями. Вероятно, потому эта работа, посвященная идеализации Ганской, не встретила особенного сочувствия в Польше, где она могла бы рассчитывать на успех и признание. Польский писатель Бой-Желенский передает впечатление от лекций Бутрона о Ганской, прочитанных в Варшаве: «Его слушали с интересом, но одновременно и с некоторым снисхо-

ЭВЕЛИНА ГАНСКАЯ
Миниатюра М.-М. Даффингера, 1835 г., подаренная Ганской Бальзаку
Местонахождение оригинала неизвестно
Воспроизводится по гелиогравюре Дюжардена

дительным удивлением. Во имя чего расточает он столько энтузиазма? С кем он так настойчиво ведет борьбу? Кого он хочет убедить таким способом?». «Личность Эвелины Ганской,—пишет далее польский писатель,—осталась несколько чуждой ее соотечественникам, но приобрела взамен права гражданства в истории французской литературы». Это различие точек зрения понятно: в трагическую эпоху своей родины Ганская приняла ориентацию на русское самодержавие, что̀ никак не может ввести ее в круг чтимых в Польше фигур прошлого. Во французской же литературе в качестве жены Бальзака она окружена со стороны некоторых

исследователей (к счастью, не всех) подлинным культом. Такая «семейная» точка зрения, близкая к позиции ее родственниц, вроде Катерины Радзивилл, совершенно неуместна в плане научной биографии и литературной истории. Она затемняет истину и препятствует правильному пониманию жизненной драмы Бальзака[9].

Попытаемся же не на основе «защитительных» тенденций, а по сохранившимся и достоверным документам установить истину об этих отношениях, внимательное рассмотрение которых замечательно раскрывает нам психологию, нравы, быт, политический фон и социальную сущность любопытной, тревожной и драматической эпохи: Луи-Филиппа во Франции, Николая I у нас.

«Русская графиня», о которой ходило столько толков в парижском окружении Бальзака[10], была чистокровной полькой, представительницей старинного рода магнатов и патриотов Ржевусских. Муж ее, Вацлав Ганский, был также истый поляк, довольно скромного происхождения, никогда никакого титула не носивший и никем не величавшийся графом. Жена его попросту, по-буржуазному, называлась в обществе «госпожей Ганской»—«madame Hanska», даже без прибавления «облагораживающей» частицы de. Настоящее имя ее было Эвелина, но оно показалось Бальзаку слишком длинным и недостаточно выразительным для охвата его чувств: «О моя дорогая Ева,—пишет он в одном из писем 1833 г.,—позвольте мне сократить ваше имя; в таком виде оно лучше скажет вам, что вы представляете для меня весь ваш пол, вы для меня единственная женщина в мире; вы одна наполняете его, как первая женщина для первого мужчины». Такие признания, как известно, нисколько не мешали увлекающемуся романисту поклоняться попутно графине Висконти, герцогине де Кастри, «неизвестной» Луизе и многим другим знаменитым или анонимным парижанкам. Это представляется нам тем естественнее, что сохранившиеся портреты «иностранки», несмотря на обычную льстивость художников, являют мало приятное и далекое от совершенной красоты лицо светской дамы 30-х годов, в придачу еще чрезвычайно склонной к полноте, с короткой талией и двойным подбородком. Вскоре Бальзак начнет деликатно сравнивать свою подругу с рубенсовскими женщинами. Современники, восхищавшиеся красотой старшей сестры—Каролины Собанской, были весьма сдержанного мнения о внешности Ганской: «Плотная, чтобы не сказать толстая, невысокая женщина лет 40 с широким лицом и далеко не элегантной походкой»,—так описывает Ганскую в момент приезда Бальзака в Петербург в 1843 г. писатель Болеслав Маркевич[11].

Что же касается взаимных отношений Бальзака и Ганской, то подлинная история их почти двадцатилетней переписки с редкими и подчас довольно короткими личными свиданиями, иногда с перерывом в целые восемь лет,—когда оба корреспондента переживали новые увлечения,—заставляет основательно пересмотреть создавшуюся легенду и со всей трезвостью и спокойствием установить подлинный характер этой романической истории, являющей на самом деле типичные черты «головной» любви.

«Письма к иностранке»—замечательный памятник этой интеллектуальной связи, в которой одновременно раскрываются перед нами трагическое величие писателя-труженика и «бесплодные усилия любви» неистощимого мечтателя. Когда он говорит здесь о писательском труде, о своих замыслах, планах, изнурительной и радостной работе, о мучительной борьбе с издателями, журналистами, соперниками, о препятствиях, усилиях и победах

ВЕРХОВНЯ
Литография по рисунку Наполеона Орды, 1840-е гг.
Музей краеведения, Бердичев

своего творческого пути, о странном и печальном положении писателя в современном обществе и о значении его призвания и подвига для всех времен,— он пишет страницы глубокой и пережитой правды, потрясающие своей искренностью и драматизмом. Мы видим писателя в его мастерской и невольно преклоняемся перед размахом этой творческой энергии, мощно и радостно проявляющей себя в полном одиночестве, среди «каменной пустыни» Парижа. Он поистине имел право сравнивать себя с бедняком-рудокопом из копей Швеции и шутя назвать себя в одном из этих писем «резчиком, литейщиком, ваятелем, каторжником, художником, мыслителем и поэтом».

Это главный, это п о д л и н н ы й Бальзак. Его следует изображать, как это сделал Роден, именно в такие минуты, всецело одержимого творческими видениями. Стихия его труда—вот проявление его силы, его мужества, его могучего очарования. В рабочей комнате, над своей рукописью, с пером в руках Бальзак внушает нам глубочайшее восхищение и вырастает перед нами в гигантскую фигуру. Это поистине героический борец, сраженный своим трудом, но уже одержавший ослепительную победу и высоко возносящий над своей головой для всех грядущих поколений бессмертный трофей—«Человеческую комедию».

В своей личной и общественной жизни, в своих интимных связях, деловых отношениях, политических планах Бальзак поразительно видоизменяется. По знаменитому стиху Бодлэра:

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

Когда в тех же письмах он обращается к теме своей влюбленности в Ганскую, он становится искусственно приподнятым и будничным, несмотря на всю изысканность расточаемых эпитетов. «Роза Востока», «звезда Севера», «небесный ангел», «маяк»,—вся эта сентиментальная реторика привлекается великим писателем на помощь для выражения того сложного ощущения, которое связывалось для него с образом Ганской.

Можно ли представить себе что-либо искусственнее и напряженнее характеристики Ганской в посвящении ей «Модесты Миньон»: «Ангел в любви, демон по своей фантазии, ребенок по своей вере, старец по опыту, муж разумом, женщина сердцем, гигант в своих упованиях, мать по страданию и поэт по своим снам»?.. Не отнимает ли этот набор образов всякую возможность цельного представления о живой женщине, и не имеем ли мы право заключить перед этой серией холодных метафор об искусственности внушившего их чувства?

Правда, Ганская была чрезвычайно тщеславна. Ее племянник, Станислав Ржевусский, сообщает в своих воспоминаниях[12], что тетка его чрезвычайно гордилась своей принадлежностью к одной из стариннейших фамилий польской аристократии и, как все представители ее семьи, отличалась «мрачной и заносчивой» дворянской спесью. Это заметно отразилось впоследствии на истории ее запоздалого брака с одним из величайших писателей мировой литературы, который с точки зрения ее знатной родни был только мещанином и «сочинителем».

Между тем, сам Бальзак высоко ценил род Ржевусских, стремился породниться с ним, отлично изучил прошлое фамилии и в своем творчестве отразил ряд эпизодов из истории этой видной польской родословной. Предки Эвелины представляли для него не только семейный, но и значительный литературный интерес.

ВАЦЛАВ ГАНСКИЙ
Акварель И. Крихубера, 1835 г.
Частное собрание, Варшава

II

Будущая жена Бальзака, несомненно, унаследовала характерные черты представителей своего рода, давшего Польше ряд властных и честолюбивых деятелей, не лишенных авантюризма и своеобразной театральной героики. В основе их государственной активности мы неизменно находим горделивое миросозерцание аристократического класса старой Польши с его представлением о рыцарственных и патриотических доблестях. Это воззрения богатейших землевладельцев и собственников феодальных замков, фольварков, лесов и пашен. В общении с западными соседями не переставала утончаться кряжистая порода этих воинов и рабовладельцев, выделивших из своей среды ряд любителей искусств, ученых, музыкантов, поэтов и писателей. Страсть к литературе стала одной из родовых черт Ржевусских, ярко отметившей в XVIII и XIX столетиях виднейших представителей фамилии. Участники войн Яна Собесского и Яна-Казимира, турецкой, русской и шведской, депутаты конференций и чрезвычайные послы, они облачались торжественными званиями и чинами старинной польской администрации, занимая посты великих коронных гетманов и референдариев, епископов, каштелянов, сенаторов и военных министров.

От Ганской Бальзак узнал героические предания ее фамилии и характеристики наиболее выдающихся из ее предков, не раз волновавших фантазию поэтов. Мицкевич в одной из своих поэм описал бешеную скачку по пустыне знаменитого «эмира» Ржевусского (дяди Ганской), который, отправившись в 1815 г. на Восток, провел два года в Алеппо, Багдаде, Дамаске и Мекке, ослепляя туземцев своей роскошью, щедростью и бесстрашием.

Бальзак в своих письмах к Ганской упоминает жену «эмира», Розалию Ржевусскую, дочь красавицы Розалии Любомирской, оставившей глубокий след в преданиях рода. В 1788 г. эта блестящая представительница польской знати XVIII в. посетила Париж и была принята ко двору. Ее дружба с Дюбарри и письмо, в котором она выражала сочувствие к судьбе Марии-Антуанетты, привели ее к аресту, суду революционного трибунала и смертному приговору. В 1794 г. она была гильотинирована[13]. Бальзак изобразил ее в «Госпоже де ла Шантри».

Дочь ее, Розалия Любомирская-младшая, имела большое влияние на Эвелину Ганскую и на ее сестер. Основой политических идей этой представительницы фамилии неизменно оставались: «ужас перед Францией», благоговение перед абсолютизмом. Она, как известно, чрезвычайно настойчиво возражала против проектов брака своей племянницы с Бальзаком, и в своих письмах романист даже называет ее своим «заклятым врагом».

«Эмир» Ржевусский был известен, как ученый-ориенталист и поэт. Литература вообще была прочной традицией фамилии, и этим отчасти объясняется необычайный роман одной из представительниц рода с знаменитым французским писателем. Отметим, что отец Эвелины Ганской—Адам-Лаврентий Ржевусский—напечатал в конце XVIII в. несколько политических трактатов, считался другом крупнейших французских энциклопедистов и переписывался с Вольтером.

Таковы были предки Ганской, история которых так импонировала ее будущему мужу: «В моей «Мнимой любовнице»,—писал своей невесте Бальзак,—я с детской радостью блеснул именем Ржевусских среди самых славных фамилий Севера»[14]. Необходимо отметить, впрочем, что блеск этого имени начинает заметно меркнуть к эпохе знакомства великого романиста с одной из представительниц знаменитого рода.

## III

С падением Польши явный моральный упадок сказывается и в семье Ржевусских. С начала XIX в. новое поколение фамилии изменяет традициям героического патриотизма и непримиримой борьбы с поработителями родины. Эвелина Ганская, ее братья и сестры не принадлежат, разумеется, к числу польских революционеров, идущих борьбой против царской России. Землевладельческие и классовые интересы тесно связывают их с императорской властью. Они не останавливаются перед пропагандой полного подчинения отчизны петербургскому самодержавию, перед участием в подавлении польских восстаний, перед провокацией и политическим шпионажем в пользу царского правительства. Пока благородные мученики за идею независимой родины погибают в сибирских рудниках, растоптанные с беспощадной ненавистью Николаем I, братья и сестры Ржевусские цепко держатся за свои поместья и бесчисленных крепостных, декларируя свою восхищенную верноподданность «великому императору».

Отсюда их богатства, успехи, влияние. Младший брат Эвелины, Адам, служа в русской гвардии, особенно отличился при подавлении польского восстания 1831 г. Прикомандированный к главнокомандующему русской армией графу Дибичу-Забалканскому, он принял самое деятельное участие в усмирении инсургентов. За польскую кампанию Адам Ржевусский получил золотую саблю, ордена и назначение флигель-

адъютантом к императору. В 60-х годах, после второго польского восстания, он состоял командующим войсками Киевского военного округа. Он скончался в 1888 г. в Верховне, которая перешла к нему от Ганских, в чине генерала-от-кавалерии «свиты его императорского величества»[15].

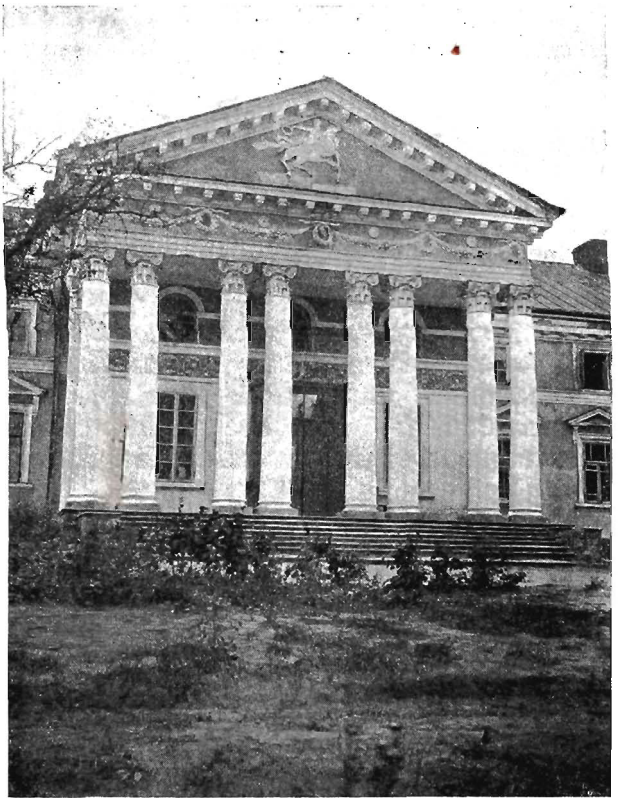
Другой брат Эвелины, Генрих Ржевусский, автор исторических новелл из эпохи Станислава-Августа и крупнейший представитель клерикально-шляхетского направления, стал официальным царским публицистом в Польше. Он решительно объявил свою нацию «разложившимся организмом» и проповедывал для своей родины полный отказ от идеи национальной независимости. Такая проповедь вызвала в Польше всеобщее возмущение. «Генрих Ржевусский стал подлинным предметом ненависти для своих соотечественников, особенно когда в 1850 г. в варшавской газете, основанной им, чтобы служить делу родины[16], он выдвинул тезис, что христианство предписывает не только повиноваться существующему образу правления, независимо от его природы, но еще слиться с ним»[17].

Когда прусский король Фридрих-Вильгельм IV усомнился в искренности и благонадежности этого публициста, Николай I поторопился успокоить его: «Не бойтесь, il est plus russe que moi et plus royaliste que vous»[18].

Старшая сестра Эвелины, Каролина Собанская (которой Пушкин посвятил стансы «Что в имени тебе моем?..»), была фактической женой начальника военных поселений в Новороссии генерала Витта, крупнейшего политического сыщика и провокатора, известного предателя декабристов. В своей темной деятельности Витт имел в лице Собанской верную и ловкую сотрудницу. По свидетельству Вигеля, она «писала тайные его доносы, потом из барышей поступила в число жандармских агентов» и проч[19].

Недавно открытые новые архивные документы подтверждают и дополняют сообщения Вигеля о работе Собанской в тайной политической полиции. Наместник царства Польского Паскевич в письме к Николаю I от 2 января 1832 г. с большой похвалой отзывался о деятельности Собанской, доставлявшей графу Витту «наблюдения и известия»[20]. Из письма самой Собанской к Бенкендорфу видно, что во время польского восстания она сообщала ему важнейшие сведения, а ее письма к Витту, восходившие к самому наместнику, «помогали ему делать важные разоблачения». В письме к Бенкендорфу она называет себя преданнейшей верноподданной Николая I, восхищается подавлением польского восстания и возмущается «якобинцами», т. е. восставшими поляками. Рассказ ее о совместной работе с Виттом в разгромленной Варшаве и затем в Дрездене, где, пользуясь своей принадлежностью к польской нации и, очевидно, к патриотической фамилии Ржевусских, она добивает провокацией и шантажом участников и сторонников восстания, в том числе своих друзей и родственников—Сапег, Потоцких, Любомирских,—поистине вызывает в читателе «необоримое отвращение» (по слову о ней Вигеля).

Неудивительно, что варшавский наместник Паскевич, говоря о Ржевусских, с таким удовлетворением отмечает «пример целого польского семейства, совершенно законному правительству преданного»... Своей ревностной службой царизму виднейшие представители фамилии—Генрих, Адам и Каролина Ржевусские—действительно, вполне заслужили такое доверие самодержавия.



ГЛАВНЫЙ (ЮЖНЫЙ) ФАСАД ДОМА В ВЕРХОВНЕ
С фотографии, принадлежащей „Литературному Наследству"
Снято в сентябре 1936 г.

Необходимо отметить, что так низко Ганская не пала. Но мы знаем, что она неизменно сохраняла тесную дружбу и с братом Генрихом, и с сестрой Каролиной, вполне разделяя их политические убеждения и ориентацию на русское самодержавие. В первую же пору своего знакомства с Бальзаком в Женеве, в январе 1834 г., Ганская заявляет ему о Николае I: «Без него куда бы мы зашли?»[21].

В своем письме к главноуправляющему III отделением Орлову от 20 января 1851 г. из Парижа Ганская называет Николая I «великим человеком, могущественным монархом»; «он навсегда останется для меня моим императором»,—пишет она,—«разве он не является отцом той огромной семьи, длительная принадлежность к которой преисполняет меня гордостью?»[22]. В этих выражениях много общего с письмами Собанской к Бенкендорфу, и если у нас нет оснований предполагать аналогичные отношения Ганской к русским властям, не приходится сомневаться в глубокой реакционности ее воззрений. В письме к дочери от 5 мая 1850 г. она называет социализм и коммунизм ядом и отравой[23]. При этом, как почти вся польская знать, Ганская отличалась антисемитизмом. В письме к дочери от 15 августа 1849 г. она предлагает свой план переселения евреев в ее поместьях, уделяя для них самые бесплодные участки, состоящие сплошь из одного песку, и мимоходом роняет иронические замечания о еврейской внешности, сильно напоминающие выпады юдофобской журналистики[24].

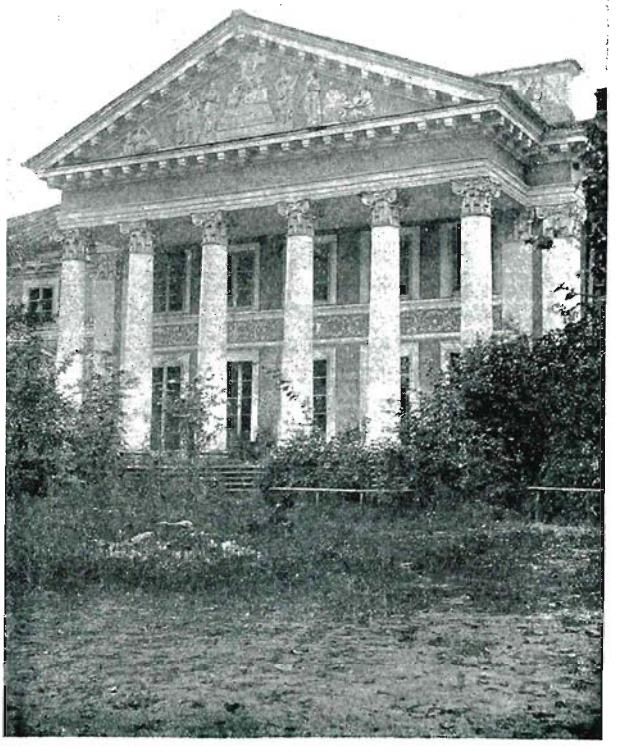
К сожалению, во всех этих направлениях Ганская оказывала заметное влияние на своего французского друга, и мы увидим ниже, как на образах

польских евреев у Бальзака (Абрамка в «Кузене Понсе» или Моисей Гальперсон в «Изнанке современной истории») явно отразились расовые воззрения его верховенской приятельницы.

IV

Признаем все же ряд достоинств будущей г-жи де Бальзак, чтобы с таким же беспристрастием судить и о теневых сторонах ее натуры: женщина несомненного ума, наделенная особенной, повидимому, наследственной, любовью к литературе, не лишенная даже некоторых литературных и музыкальных способностей, она представляла собой характерный тип великосветской польской женщины прошлого столетия с ее утонченным обаянием «славянской парижанки». Она была прекрасной матерью и боготворила свою единственную дочь. Бесспорным правом на почетное признание является некоторое сотрудничество Ганской в творческой работе Бальзака: как известно, в «Модесте Миньон» он переработал в роман новеллу, сочиненную его украинской корреспонденткой.

Впрочем, следует помнить, что женщинам рода Ржевусских был свойственен «холодный блеск ума, напоминающий ледяное мерцание сталактитов»[25]. Это, несомненно, относится и к Ганской. В семье она считалась менее одаренной, чем другие представители фамилии: по словам преданной племянницы и воспитанницы Ганской—Екатерины Радзивилл, «госпожа де Бальзак, быть может, не обладала даром столь же блестящей беседы, как ее братья и сестры. Ум ее не был лишен некоторого педантизма, она умела лучше слушать, чем говорить, но все, что она высказывала, было



СЕВЕРНЫЙ ФАСАД ДОМА В ВЕРХОВНЕ

С фотографии, принадлежащей „Литературному Наследству"

Снято в сентябре 1936 г.

верно и метко, и перо ее было красноречиво... Близкие побаивались ее, но относились к ней с глубоким уважением...»[26].

Сам Бальзак говорил впоследствии о «колоссальном образовании» Ганской и уверял, что она может писать новеллы «не хуже Жорж Санд»[27]. Это было, конечно, одной из обычных гипербол Бальзака, решавшегося сравнивать Верховню с Лувром, а Вишневец с Версалем. Ганская, в духе великосветского воспитания, хорошо владела французским языком, но, весьма слабо английским и совершенно не знала немецкого[28]. Она много читала, но больше всего «душеспасительные» книги мистиков наряду с новейшими французскими романами. Она проявляет интерес к истории, но, главным образом, в плане старинных родословных и придворного быта[29]. Бальзак в одном из своих писем уверяет, что Ганская знает историю Франции «до малейших подробностей секретных кабинетов короля и интимных ужинов королевы»[30]. Такими анекдотическими придворными тайнами, видимо, исчерпывался историзм Ганской. О литературных вкусах ее можно судить по тому, что она рекомендовала Бальзаку «Лондонские тайны» Поля Феваля. Не смевший противоречить ей Бальзак все же деликатно возразил: «Это, пожалуй, немного лучше, чем Дюма и Сю; но это все же не хорошо»[31].

Совершенно несомненно, что значение творчества Бальзака не могло быть воспринято Ганской в его гигантском размахе и глубоких перспективах. Она даже позволяла себе подсмеиваться над грандиозным планом «Человеческой комедии», называя ее «la grrrande Comédie»[32]. Со своей позиции читательницы романов она и отдаленно не могла охватить размер этого всеобъемлющего творческого замысла, восхищавшего современных поэтов и вдохновившего Теодора де Банвиля на эту великолепную строфу:

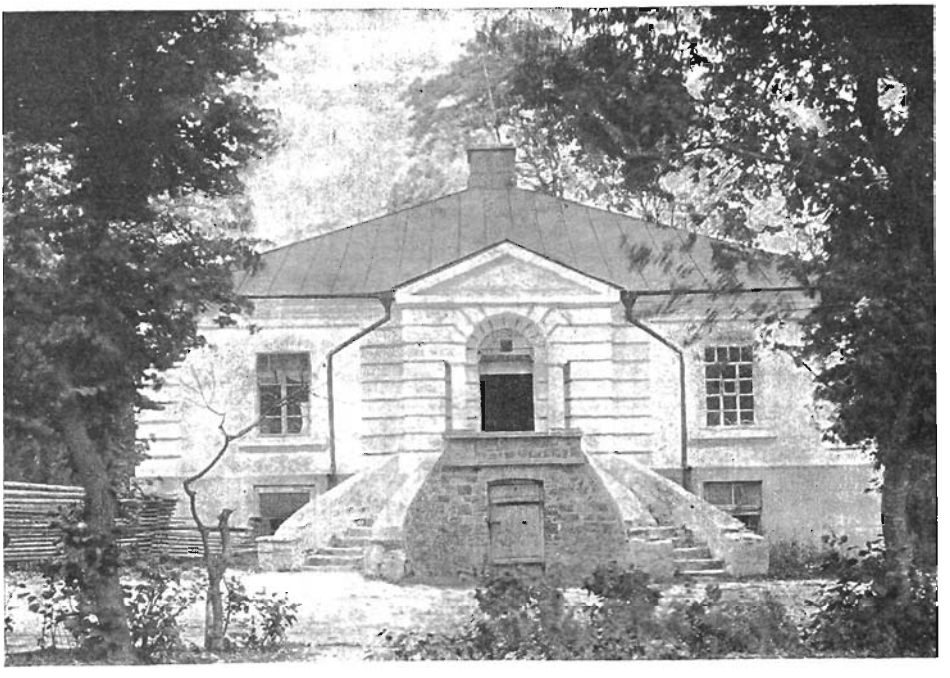
Balzac, superbe, mène
La Comédie humaine
Et nous fait voir à nu
L'Homme ingénu...[33]

Наряду с литературными склонностями, Ганская восприняла от своих предков и властный характер, не лишенный тщеславия и заносчивости; он проявлялся часто в бурных вспышках, тяжелых для окружающих, и представлял в основном болезненную смесь мистицизма и чувственности, свидетельствующую о некоторой истеричности натуры. Подозрительная, ревнивая, резкая, чувственная, религиозная до ханжества, придающая огромное значение деньгам, титулам, власти,—такой выступает приятельница Бальзака из сохранившихся документов. В одном из своих писем к ней Бальзак говорит о ее «августейшем деспотизме», в другом пишет о ее «ужасных нервных припадках, столь напугавших его». Обычные восхищения перемежаются в его письмах со скептическими нотками: «Я заметил в ваших глазах признаки жестокого бешенства... В вас есть нечто резкое в первое мгновение»[34]... В письмах к матери Бальзак называет Ганскую «личностью крайне осторожной, даже недоверчивой»[35].

Племянник Ганской, Станислав Ржевусский, в статье, посвященной защите своей тетки, вынужден все же признать, что «г-жа Бальзак имела чрезвычайно тяжелый характер» («un fort mauvais caractère»). Она была «заносчива, высокомерна, подозрительна, даже немного сварлива... Быть может, это был ее единственный недостаток, но она обладала им во всей полноте... Ее вспышки гнева никогда не переходили границ светских

приличий, но они возникали без всякого повода и разрастались до неслыханной резкости». Даже с самыми миролюбивыми и расположенными к ней людьми, как ее младший брат Адам Ржевусский, как единственная дочь Анна Мнишек, «г-жа де Бальзак находила повод ссориться, хотя ей всегда во всем уступали... Совершенно несомненно, что даже и в молодые годы этот прямолинейный и своеобразный характер не отличался ни легкостью, ни уживчивостью. Бальзак должен был не мало выстрадать от нее—это не подлежит никакому сомнению».

Глубокое различие их интеллектов всячески усиливало этот скрытый разлад: «Литературные советы и указания, которые она расточает ему



СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС В ВЕРХОВНЕ
С фотографии, принадлежащей „Литературному Наследству"
Снято в сентябре 1936 г.

в своей переписке,—продолжает племянник Ганской,—не всегда свидетельствуют об уверенном вкусе, и не приходится сомневаться, что некоторые из ее писем должны были вызвать возмущение великого писателя... Госпожа де Бальзак никогда не поняла до конца огромное значение и весь социальный смысл этого гигантского творчества. Она не отдавала себе отчета и в испытаниях, пережитых неутомимым создателем «Человеческой комедии», в горестях его битвы за жизнь, в его трагическом труде, в моральном одиночестве, бесконечных страданиях и бесчисленных унижениях, на какие был обречен этот великий человек. Она и отдаленно не понимала трагической силы и остроты тех испытаний, о которых сообщает ей автор «Человеческой комедии». Словом, «идеальная» подруга неутомимого мастера неизменно судит о его страданиях с точки зрения счастливых мира сего, богачей, повелителей, которые всегда будут рассматривать тяжелые испытания бедности и все неравенства социального состоя-

ния с несколько презрительным безразличием. И не раз бесконечно жестокое в своей бессознательной сухости слово должно было ранить в самое сердце этого великого человека, доведенного до отчаяния и дошедшего до последних границ своих сил и своего мужества»[36].

Нельзя не признать эти соображения глубоко убедительными. Племянник Ганской, представитель того же рода Ржевусских, превосходно понял главную причину разлада, который так ощущается на всем протяжении взаимоотношений Бальзака и Ганской: это их принадлежность к разным социальным слоям, создающая столько непримиримых противоречий в кастовом обществе их эпохи. Салонная аристократка, богатейшая землевладелица, крупнейшая помещица, никогда в жизни не знавшая труда или борьбы за существование, и величайший труженик, непрерывно ведущий борьбу пером, писатель-профессионал, редактор и журналист, неутомимо «чеканящий монету чернильницей», но всегда в недостаточном количестве для расплаты с долгами и недолгого досуга,— таковы столь глубоко несхожие социальные облики великого романиста и его долголетней подруги. «Ты богачка, а я—бедняк!», с горечью и глубоким пониманием писал он своей корреспондентке об этом непоправимом разладе их экономического бытия[37]. Графине Ржевусской противостоял внук простого пахаря, сохранивший в своей внешности могучий отпечаток народного типа, а в своей деятельности те черты трудоспособности, воли, упорства в достижении поставленной цели, которые так характерны для его предков-земледельцев. Но по своим родителям он уже принадлежал к той восходящей буржуазии, которая после 1789 г. стремилась, по формуле аббата Сийэса, «стать всем». Это не мешало ему искренно презирать буржуазию и всегда мыслить себя представителем старой дворянской Франции, легитимистом, сторонником наследственных майоратов, слугою Бурбонов. Эта «аристократическая» маска так и не пристала к его лицу, и Бальзак сошел в могилу, как он прожил всю свою жизнь,—тружеником, разночинцем, работником пера, все еще не выплатив крупных долговых сумм, несмотря на весь свой беспрерывный труд, подорвавший и изранивший его могучий организм. Этот социальный тип писателя-строителя, лишенного средств и безмерно обогащающего современное общество своим трудом, был глубоко чужд «пассивной мечтательнице» верховенского замка. Непримиримая отчужденность, лежавшая в самой основе их натур, сказывалась до самого конца их мучительных взаимоотношений.

Такое «социальное неравенство» и было первоосновой глубокого и непоправимого надрыва этой странной связи. Ее болезненный и тяжелый характер всячески углублялся личными свойствами Ганской. Здесь особое значение играет та «экзальтированность натуры», которую отметил в ней ее младший брат, Адам Ржевусский. Эта экзальтация легко возбуждалась перед явлениями модных успехов и славы. Не приходится сомневаться, что громкое имя Бальзака сыграло решающую роль в романе Эвелины Ганской. Женщинам семейства Ржевусских было вообще свойственно влечение к знаменитостям. Им импонировали мировые репутации, их привлекали поэты, романисты, музыканты. Перед Каролиной Собанской склонились Мицкевич, Пушкин и Сент-Бёв; Эвелина Ганская числила среди своих поклонников Франца Листа и Бальзака. Особое женское тщеславие здесь, несомненно, господствовало над чувством, над дружбой или сердечной привязанностью.

Такие характеры не приносят счастья своим близким и часто приводят общую жизнь к катастрофе. Это в полной мере сказалось в браке Бальзака, какими бы сроками ни определить его—пятью ли месяцами или семнадцатью годами.

## V

Эвелина Ржевусская вышла замуж в феврале 1819 г., едва достигнув 18-летнего возраста (она родилась в селе Погребищах Киевской губернии 24 декабря 1800 г.)[38]. Ганский был старше своей невесты на 22 года. Здоровье его было, видимо, подточено «грехами молодости» (по новейшим данным, он умер от прогрессивного паралича)[39]. При этом Ганский отличался мелочным и мстительным характером: имя его, по свидетельству Станислава Ржевусского, осталось в памяти его крестьян нарицательным обозначением жестокости. Но этот крепостник был чрезвычайно богат: он обладал безбрежными латифундиями в Киевской и Волынской губерниях и десятками тысяч «душ». Состояние его исчислялось в четырнадцать миллионов[40]. Эта цифра, видимо, убедила Эвелину Ржевусскую.

Сохранившиеся деловые записи раскрывают сущность денежных отношений будущих супругов. Родители Эвелины, Адам и Юстина Ржевусские, заключили 7 февраля 1819 г. предбрачную сделку с Вацлавом Ганским «в том, что они определили для нее приданого 200 тысяч злотых и на экипировку 40 тысяч злотых». По получении этой суммы Ганский был обязан совершить пожизненную запись на общее с женою право владения и поль-

ЧАСОВНЯ В ВЕРХОВЕНСКОМ ПАРКЕ, ГДЕ ПОХОРОНЕН ВАЦЛАВ ГАНСКИЙ („ВЕРЖХОВЕНСКА КАПЛИЦА“)

С фотографии, принадлежащей „Литературному Наследству“

Снято в сентябре 1936 г.

зования своими имениями: 1) ключом Пулинским Волынской губернии Житомирского уезда, 2) ключом Верховенским Киевской губернии Сквирского уезда и 3) ключом Гарностай-польским Киевской губернии Радомысльского уезда. Приданое Ганской, видимо, было только некоторой данью обычаям ввиду огромного состояния ее мужа[41].

В биографической литературе о Бальзаке создалась прочная легенда о том, что ипохондрик Ганский крепко запер молодую жену в своем замке, среди «пустынных нив», и что, предоставленная только мечтам и чтению, Эвелина загрустила по духовной связи и написала свое первое письмо Бальзаку. Ее нередко даже прямо называют «затворницей» роскошного замка Верховни[42]. Русские источники опровергают эту легенду. Ганские с первых же лет брака много разъезжают, постоянно бывают в Киеве и Одессе, вращаются в пестром русско-польском обществе юго-западного края. Ганская гостит у своей сестры Собанской, где бывает почти исключительно мужское общество, знакомится здесь с Пушкиным и Мицкевичем. Она флиртует и с одним из интереснейших представителей молодого одесского общества — Александром Раевским, другом и «демоном» Пушкина, ироническим скептиком, производившим неотразимое впечатление на женщин. Пушкин довольно прозрачно пишет Раевскому в октябре 1823 г. из Одессы: «J'ai eu de vos nouvelles, on m'a dit qu'Atala Hansky vous avait rendu fat et ennuyeux...»[43]. В конце 30-х годов в Киев съезжаются на зиму Олизары, Ивановские, Ганские, Пржездецкие и др. «Но звездою польского и всего киевского общества была Эвелина Ганская, урожд. гр. Ржевусская, сестра Собанской и гр. Адама Ржевусского»[44]. В своих письмах Бальзак также называет ее «царицей киевских балов», уговаривает ее не продолжать на родине развлечений ветреной Вены, не утомляться до упаду танцами: «Я вижу, киевские празднества увлекают вас так, словно Киев—Париж»[45].

Таким образом, Ганские, несомненно, вели обычную в то время жизнь крупных русских помещиков, широко разнообразя свой деревенский быт разъездами по крупным городам и всевозможными развлечениями.

В самом имении общество состояло из швейцарки-гувернантки Генриетты Борель и двух кузин помещика — девиц Вылежинских. Постоянным гостем поместья был и молодой брат указанных кузин, Тадеуш Вылежинский, ставший ближайшим другом Эвелины. Неожиданная смерть его в 1844 г. была для Ганской несравненно большим ударом, чем кончина мужа.

В «Мнимой любовнице» Бальзак изображает Ганскую в лице графини Лажинской, тайно любимой польским эмигрантом Тадеушем Пазом. Это не кто иной, как Тадеуш Вылежинский. Бальзаку было известно горячее чувство, связывавшее Ганскую и ее родственника. По поводу смерти последнего он писал ей: «Сообщение ваше о смерти Тадеуша огорчило меня. Вы мне столько рассказывали о нем, что я любил того, кто вас так любил... Бедная моя подруга, я буду любить вас за всех, кого вы утратите»[46].

В начале 30-х годов возникает ее знаменитый эпистолярный роман, обеспечивший ей право на интерес литературных исследователей.

Биографы Бальзака не раз излагали историю этой необычайной связи. Напомним ее основные моменты. В эпоху первых успехов романиста его издатель Госслен передал ему 28 февраля 1832 г. письмо с почтовым штемпелем Одессы и подписью «иностранка». В письме выражались

высокие похвалы автору «Сцен частной жизни» и высказывалось сожаление по поводу безотрадного скептицизма «Шагреневой кожи». За первым письмом последовали другие. Наконец, 7 ноября неизвестная корреспондентка объявила о своем желании иметь от адресата подтверждение в получении ее посланий: «Несколько слов от вас в газете «La Quotidienne» дадут мне уверенность, что вы получили мое письмо и что я могу писать вам без опасения. Подпишитесь: «к Э. Г. от Б.».

Сильно заинтересованный этой эпистолярной интригой, Бальзак не замедлил откликнуться. В номере «Quotidienne» от 9 декабря 1832 г. появилась следующая заметка:

«Г. де Б. получил предназначенное ему послание; он только теперь имеет возможность сообщить об этом через посредство этой газеты и сожалеет, что не знает, куда адресовать свой ответ. К Э. Г. от де Б.»[47].

Эта газетная заметка открывает долголетнюю переписку, представляющую ценнейшее собрание авторских исповедей о труде писателя и являющую в целом как бы литературную автобиографию Бальзака почти за двадцать лет.

Но самое начало этого «прекраснейшего из романов» отдает шуткой, легкой интрижкой, эпистолярной забавой. Первое письмо к Бальзаку было написано не собственноручно, а с помощью гувернантки-швейцарки и даже ее рукою[48]. Свое второе письмо Бальзак, в свою очередь, поручил написать своей подруге, болтливой мадам Карро, так что изумленная Ганская потребовала объяснений: что за два разных почерка? «У меня столько же почерков, сколько дней в году»,—пытался довольно неубедительно оправдываться Бальзак. Так беспечно начинались отношения, которым суждено было развернуться в такую длительную и сложную драму.

Эвелина Ганская повела свою переписку с романистом под самым строгим анонимом. «Для вас я Иностранка и останусь ею всю мою жизнь: вы н и к о г д а не узнаете меня»... «Через год она пригласила его в Невшатель»,—не без коварства замечает Андре Бельсор[49]. Бальзак помчался на свидание. Согласно преданию о их первой встрече, было условлено, что они сойдутся в аллее общественного сада и романист узнает свою даму по книге или цветку в ее руке. Когда она увидела разыскивающего ее Бальзака с его увесистым корпусом, на коротеньких ножках, ее охватило непреодолимое желание скрыть поскорее условленный знак; но в это время она увидела его глаза и невольно протянула ему цветок и книгу.

Племянница Ганской, тщательно опровергающая в ее биографии все, что, по ее мнению, могло бы снизить в глазах потомков образ ее знаменитой родственницы, опровергает приведенную общераспространенную «легенду» об этом первом свидании в общественном саду и уверяет, что Бальзак просто и согласно правилам великосветского этикета нанес первый визит своей даме в гостинице, где семейно проживали Ганские. Для нас это различие особенного значения не имеет. Но в интересах истины следует все же отметить, что Бальзак в записке к Ганской от 26 сентября 1833 г., на другой же день по приезде в Невшатель, назначает первое свидание в городском саду. «Я пойду на гулянье предместья от часу до четырех. Я пробуду там все это время и буду любоваться озером, которого я еще не знаю...»[50]. Таким образом, родственная версия в данном случае отпадает, как и в целом ряде других[51]. С равным правом Катерина Радзивилл, тщательно соблюдая приличия, уверяет, что в этом первом знакомстве не было

ничего романического[52]. Здесь уже приходится оспаривать благонравную племянницу госпожи Ганской. Для биографии Бальзака важно установить, что его подлинный брак с Эвелиной Ганской осуществился не в Бердичеве, через семнадцать лет,—когда окончательно изнуренный писатель, терявший зрение, еле дышавший и с трудом передвигавшийся, был обвенчан за пять месяцев до смерти с чрезвычайно располневшей и страдавшей ревматизмом пятидесятилетней женщиной, а в 1833 г., когда оба они были молоды, полны сил и надежд, когда время еще принадлежало им и будущность была полна для них неисчерпаемыми возможностями. О возникшей связи совершенно отчетливо свидетельствует первое же письмо Бальзака к Ганской после невшательского свидания (от 6 октября 1833 г.), в котором он называет ее «своей дорогой супругой»: «Тела наши заключили союз, как и наши души» и проч.[53]. Сестре своей Бальзак тогда же сообщает: «Я поклялся ждать, а она хранить для меня свою руку и сердце»...

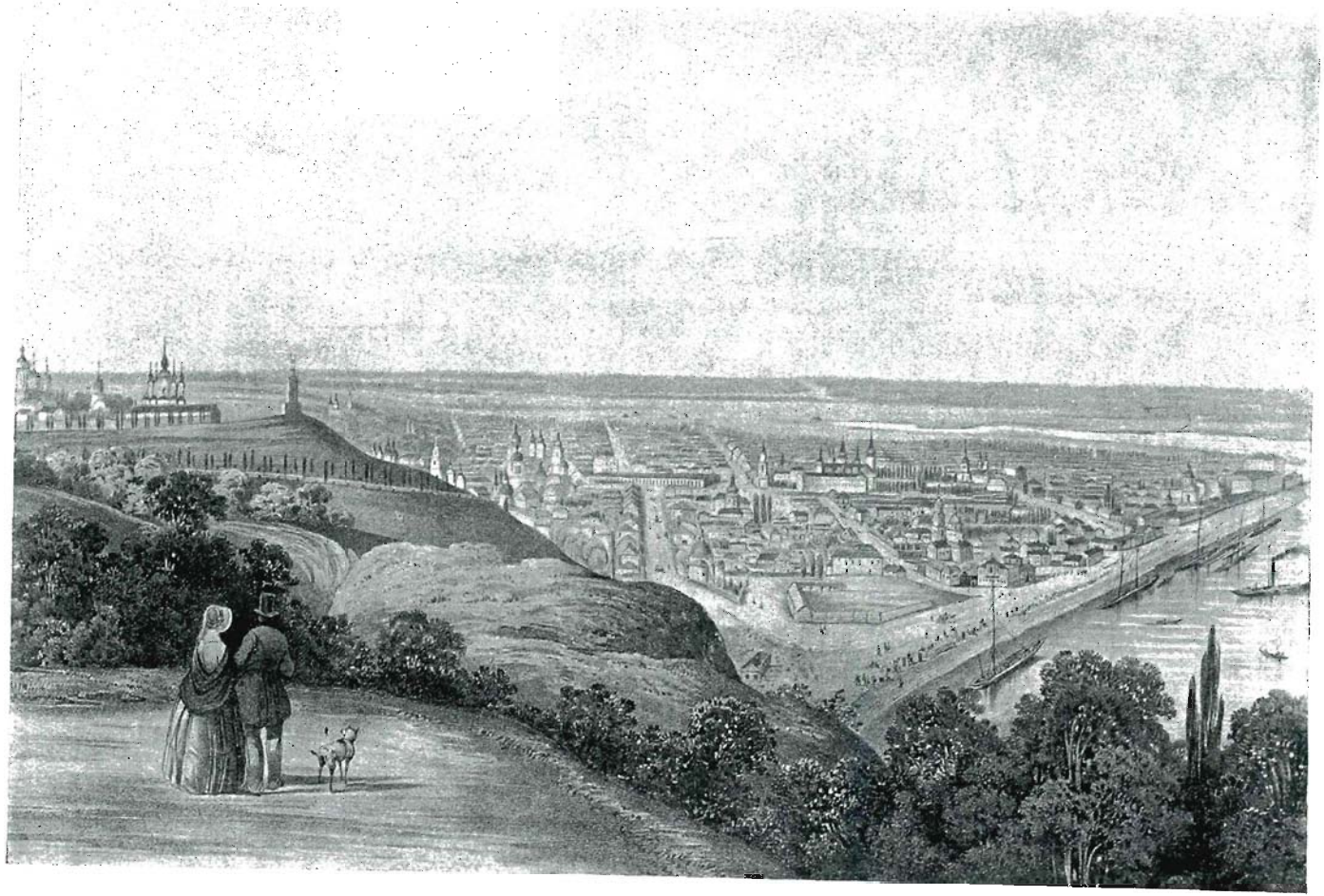
Это обручение при живом муже и чересчур откровенное долголетнее ожидание его смерти, это соглашение соединиться навеки над его гробовой плитой несколько смущает современного читателя. Для великого сердцеведа и учителя общества, каким был Бальзак, это грядущее личное счастье, обусловленное смертью, кажется не соответствующим масштабам его фигуры мыслителя и моралиста. Но «la morale est dans la nature des choses», и трудно представить себе что-либо печальнее завершения этого романа — бракосочетания агонизирующего Бальзака с постаревшей и равнодушной к нему женщиной.

Первое впечатление Ганской о Бальзаке было весьма благоприятным, судя по письму, которое она написала 10 декабря 1833 г. своему брату Генриху Ржевусскому.

«Мы заключили в Швейцарии очаровательное знакомство с г. де Бальзаком, автором «Шагреневой кожи» и стольких других чудесных произведений. Знакомство это превратилось в настоящую связь, которая продлится, надеюсь, всю нашу жизнь. Бальзак очень напоминает тебя, дорогой Генрих, он весел, смешлив, любезен, как ты, он даже по внешности имеет нечто общее с тобой, а оба вы похожи на Наполеона. Быть может, у тебя более холодный и менее экспансивный характер, быть может, ты менее высказываешь свою симпатию и нежность. Бальзак же настоящий ребенок, если он любит, он это высказывает с наивной откровенностью детства, еще не знающего, что слово должно скрывать мысль. Если вы ему не понравились, он, может быть, и не выскажет вам этого, но он возьмет книгу—не для чтения, но чтобы избавить себя от общения с неприятным существом. Словом, общаясь с ним, трудно понять, как сочетается с такими познаниями и таким превосходством столько свежести, очарования, детской наивности в мыслях и чувствах»[54].

Первые встречи Бальзака с Ганской далеко не сплошь носили романический характер. В Невшателе и через полгода в Женеве супруги Ганские вели с знаменитым писателем весьма обстоятельные беседы на политические, философские и религиозные темы. Круг общих интересов определился вопросами крупного землевладения, особенно занимавшими украинского помещика, и проблемой социальной роли католицизма, чрезвычайно увлекавшей его супругу[55].

Мистицизм Ганской был известен в тогдашнем обществе, как и ее дар писать письма. Приведем один отзыв о Ганской, ускользнувший от внимания исследователей: «Литературный Париж не успел познакомиться с мадам



„ВИД СТАРОГО КИЕВА СО СТОРОНЫ ЦАРСКОГО САДА"
Литография с рисунка М. Сажина
Русский музей, Ленинград

де Бальзак,—писала «Библиотека для Чтения» в некрологе романиста,—но те, которые ее знают, могут засвидетельствовать об ее уме, приятном даре слова, начитанности, особенно в мистическом роде, удивительном таланте писать прелестные записки, который Лист называл le don suprême des billets, а также и о том, что объемом талии она не уступает своему знаменитому супругу, что возраст ее, по самому умеренному счету, принадлежит именно к тем, которые покойник так любил прославлять, и что, судя по следам, в небальзаковском возрасте она была примечательно хороша собой»[56].

Это, несомненно, свидетельство лица, знавшего Ганскую, вероятно, во время ее пребывания в Петербурге в 1843—1844 гг.

К этому времени отношения успели упрочиться, несмотря на сравнительно редкие встречи «обрученных». С большими перерывами они назначают друг другу свидания: в 1834 г.—Женева, в 1835 г.—Вена. Наконец, в конце 1841 г. Бальзак случайно узнает на обеде у Шарля Нодье, что Ганская свободна. Один из присутствующих, приехавших с Украины, сообщает ему о смерти Ганского. «Я объяснил этому иностранцу, который сопровождал г. де Жюльвекура,—писал вскоре Ганской Бальзак,—что переписка между вашими степями и Парижем столь затруднительна, что я ничего не знаю об этом; он же не в курсе вашего процесса. Мы говорили весь вечер о литературе, и я о многом расспрашивал Жюльвекура, который имеет счастье быть женатым на русской из Москвы и который горячо советовал мне отправиться жениться в Россию, где я пользуюсь, по его словам, огромной популярностью»[57].

Бальзак, действительно, узнал о смерти Ганского с некоторым опозданием. Событие произошло еще 10 ноября 1841 г.

Вот что сообщает нам об этом метрическая запись, которую впоследствии Бальзак не раз упоминает в своих письмах, подготовляя свою женитьбу[58].

*Перевод с польского:*

ВЫПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ О ПОХОРОНАХ ПРИХОДСКОГО ПАВОЛОЦКОГО КОСТЕЛА В СЛЕДУЮЩИХ СЛОВАХ:

Тысяча восемьсот сорок первого года ноября десятого дня помер в селе Верховной г. Вацлав Ивана сын Ганьский, предводитель дворянства Волынской губернии и кавалер, из старости, снабженный св. тайнами, помещик-дворянин, вотчинник волостей Вержховенской, Пулинской и Гарностайпольской, имеющий от роду шестьдесят три года. Оставил после себя жену двуименную, Еву-Констанцию из графов Ржевусских и дочь триименную Анну-Марианну-Юзефу, имеющую тринадцать годов. Похоронен г. к[сендзом] Викентием Кумановским, настоятелем Паволоцкого приходского костела того и года и месяца четырнадцатого дня в фамильной могиле при Вержховенской каплице в этом же приходе и там же помер. Что верно из книги выписано, при приложении костельской печати собственноручным подписом утверждаю.

Викарий Паволоцкого приходского костела
ксендз Констан Кубилович

Ноября 21 дня 1841-го года, м. Паволоч
№ 30 [М. П.]

Сей перевод учинил и в верности с подлинным свидетельствую переводчик Киевской палаты гражданского суда губернский секретарь В. Тышковский[59].

Ганская, видимо, не торопилась исполнить свое невшательское обещание. Но сам Бальзак считал, что препятствие к его счастью отпало и он поведет теперь свою суженую, согласно взаимному обещанию, к венцу. Во всяком случае, он твердо решает посетить «молодую вдову» на ее родине и начать новую жизнь в неразрывном союзе с прекрасной иностранкой на самых верхах аристократического общества России и Европы.

Он не предвидит, сколько разочарований готовит ему всегда завистливая к его планам судьба.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Bouteron, I, 39. «Apologie pour Madame Hanska» появилась раньше в «Revue des Deux Mondes», 15 mai 1924.

[2] Bouteron, I, 1.

[3] Lettres à l'Etrangère, II, 45; III, 31, 43, 46, 49, 149.

[4] Correspondance, II, 123—124.

[5] Lettres à l'Etrangère, II, 45.

[6] Ibid., III, 2.

[7] Bouteron, Muses romantiques, P., 1934, 65.

[8] Bouteron, Un nouveau buste de m-me Hanska.—«Pologne littéraire», 15 décembre 1932, № 75.

[9] Boy-Żelenski, La chance de Marcel Bouteron.—«Pologne littéraire». 1930.

[10] Хорошо осведомленный в обстоятельствах жизни Бальзака его издатель Эдмон Верде сообщает о «молодой русской даме», пленившей романиста, жене «московского боярина» графине Ганской (Ed. Werdet, Balzac, sa vie, son humeur et son caractère, P., 1859, 376).

[11] Маркевич Б., Полное собрание сочинений, П., 1885, т. XI, 419—421 (статья «Бальзак и его женитьба»).

[12] Rzewuski (S t.), Le mariage de Balzac.—«Nouvelle Revue», 15 janvier 1906, 201.

[13] Отчет о судебном заседании 3 флореаля II года (апрель 1794), когда вместе с Любомирской были судимы еще 12 лиц, напечатан в № 221 «Moniteur» за 1794 г.

[14] Lettres à l'Etrangère, II, 54.

[15] «Русский биографический словарь», том Рейтерн—Гольцберг. П., 1913, 165—167.

[16] Речь идет здесь об основанной Генрихом Ржевусским первой большой газете в Варшаве «Dziennik Warszawski», субсидировавшейся русским правительством.

[17] Korwin-Piotrovska, 50.

[18] Берг Н. Б., Записки о польских заговорах и восстаниях, М., 1873, 141.

[19] Вигель Ф. Ф., Записки, ред. и вступ. статья С. Я. Штрайха, М., 1928, II, 301.

[20] Письмо Паскевича к Николаю I от 2 января 1832 г. открыто в Архиве революции в Москве М. М. Чистяковой. Отрывки из этого письма см. в книге «Рукою Пушкина»—несобранные и неопубликованные тексты под ред. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского и Т. Г. Зенгер, М.—Л., 1935, 189. О Собанской см. также: «Пушкин», статьи и материалы Одесского дома ученых под редакцией М. П. Алексеева, Одесса, 1926, вып. III, 84—86 (там же и библиография).

[21] Lettres à l'Etrangère, II, 107.

[22] Куликов С. Н., О. Бальзак. Неизданные письма—«Звенья», М.—Л., «Academia», 1934, III—IV, 315.

[23] Bouteron, II, 35.

[24] Ibid., II, 23.

[25] Wasylewski (St.), O Milosci romantycznej, Poznan, 1928, 205, ср. Korwin-Piotrowska, 36.

[26] Floyd, 198—199.

[27] Письмо к Ганской от 12 сентября 1845 г. Приведенная фраза опущена редакторами Correspondance (II, 383) и приведена по автографу письма в Œuvres complètes (Conard), XXIII, 395. Также в Lettres à l'Etrangère, III, 99.

[28] «... Si j'avais su l'allemand», пишет г-жа Бальзак дочери из Дрездена 9 мая 1850 г. (Bouteron, II, 45). По словам племянницы и воспитанницы Ганской—Катерины

Радзивилл, тетка ее навсегда сохранила некоторый иностранный акцент в своей французской речи. (Catherine Radziwill, Les derniers jours de m-me de Balzac.—«Revue mondiale», 15 février 1927, 333). Сама Ганская признавала это. Предлагая в 1851 г. молодому писателю Шанфлёри выправить написанное ею продолжение «Крестьян» Бальзака, она пишет ему: «Сколько бы я ни была француженкой по закону и по сердцу, у меня всегда останется в писаниях, как и в речи, легкий иностранный акцент, а вы могли бы «офранцузить» варварское наречие бывшей соотечественницы Мазепы». (Spoelberch de Lovenjoul, La genèse d'un roman de Balzac. «Les paysans», P., 1901, 306).

[29] «Votre fureur heraldicomane»,—писал ей Бальзак.—Lettres à l'Etrangère, I, 236.

[30] Correspondance, II, 204.

[31] Lettres à l'Etrangère, III, 160.

[32] «La grrrande Comédie», comme vous dites en vous moquant de votre pauvre esclave...» Lettres à l'Etrangère, II, 83.

[33] Banville (Théodore de), L'Aube romantique.

[34] Lettres à l'Etrangère, I, 293, 178, 406.

[35] Correspondance, II, 380.

[36] Rzewuski (St.), Le mariage de Balzac.—«Nouvelle Revue», 15 janvier 1906, 193—195.

[37] Lettres à l'Etrangère, III, 5.

[38] Дата рождения Ганской установлена Korwin-Piotrowska (см. ее книгу, 20—21, прим.).

[39] Floyd, 194. Автор пользовался непосредственными указаниями племянницы и воспитанницы Ганской, Катерины Радзивилл.

[40] В письме к Зюльме Карро из Женевы 30 января 1834 г. Бальзак называет Ганского «крупным землевладельцем, у которого можно изучать природу на протяжении сотни тысяч арпанов леса».—Correspondance avec Zulma Carraud, 199.

[41] Приводим тексты «предбрачной сделки» и «пожизненной записи»:

*Перевод с польского:*

№ 692. Выпись из книг Житомирского уездного суда 1819 г., мая месяца 2 дня. Копия с предбрачной сделки графами Адамом и Юстиной Ржевусскими с помещиком Вацлавом Ганским 7 февраля 1819 года заключенной в том, что они графы Ржевусские соглашаясь выдать дочь свою Еву Констанцию в замужество за него Ганского, определили для нее приданого 200 тысяч злотых и на экипировку 40 тысяч злотых; по получении этой суммы 240 тысяч злотых, Ганский обязался судебным порядком заквитовать Ржевусских и оную [сумму] для будущей своей жены обеспечить на вотчинном своем имении формальным порядком; сверх сего будущие супруги обязались пред ближайшими земскими актами записать общее дожизненное право на имение как наследственное, так и могущее поступать в их владение.

Эта предбрачная сделка 2 мая 1819 года адвокатом Змиевским явлена в Житомирском уездном суде и выпись с оной дворянином Шостаковским 11 апреля 1825 года представлена для записи в книги Киевской гражданской палаты.

№ 705. Выпись из книг Житомирского уездного суда 1819 г., мая месяца 13 дня. Пред актами Житомирского уездного суда и предо мною, вице-регинатом присяглым тех же акт, Августином Якубовским явясь лично помещики: бывший волынский губерский предводитель дворянства и кавалер орденов св. Анны, св. Владимира и св. Ивана Иерусалимского, Вацлав Ганский и Ева Ганская, урожденная графиня Ржевусская, будучи здравы телом и умом настоящею обоюдною дожизненною записью добровольно сознали, что они, сознавающие сходно предостережению предбрачной сделки между сенаторами империи Адамом и Юстиною из Рдултовских графами Ржевусскими супругами с одной, а помещиком Вацлавом Ганским... и кавалером с другой стороны, заключенной в Погребыщах настоящего 1819 года февраля 7 дня, предположили совершить между собою обоюдную пожизненную запись и вслед за сим помещик Вацлав Ганский, исполняя обязательства упомянутой предбрачной сделки, а более доказывая приверженность к супруге своей Еве из графов Ржевусских Ганской, вотчинные свои имения, как то: ключ Пулинский, состоящий Волынской губернии в Житомирском уезде, ключ Верховенецкий, Киевской губернии в Сквирском уезде и ключ Гарностайпольский той же Киевской губернии в Радомысльском уезде положенные, ничего из оных не исключая со всеми ременантами, доходами равно всякие денежные суммы где-нибудь находящиеся и еще за волею господнею собраться могущие, серебра, мобелия, на случай прежней кончины его Вацлава Ганского записываем и подвергаем дожизненному владению Евы из графов Ржевусских Ганской, и что она, Ева из графов

Ржевусских Ганская, до самой продолжительной жизни своей поясненными имениями и всем вообще движимым и недвижимым имуществом будет в праве владеть и распоряжать, доходы получать, всех польз искать и все то в свою же пользу обращать, а то без всякого от кого-либо препятствия предостерегет, а если бы по воле господней Вацлав Ганский с кончиною своей, оставив детей, прижитых с упомянутой женой своей Евою из графов Ржевусских, в таком случае возлагает на нее обязанность за достижением теми ж детьми совершеннолетия освободив из под дожизненных прав своих половину из целого имения со всеми ременантами, уступить им таковые, буде же они дети прежде достижения совершенных лет, или же по завладению половиною имения кончили жизнь, тогда уступленное им имение возвратиться должно в дожизненное ее же Евы из графов Ржевусских Ганской владение.

Равным образом помещица, Ева из графов Ржевусских Ганская, исполняя обязательства предбрачной сделки и желая доказать преданность к мужу своему Вацлаву Ганскому, на случай прежней смерти от мужа, предоставляет пожизненному владению мужа Вацлава Ганского суммы свои, то есть как приданную по предбрачной сделке значущуюся, так и всякое прочее имущество, из какого бы ни поступили источника, и дает ему совершенное право до кончины его таковыми суммами и всем имуществом, какое бы в течение жизни достаться могло Еве Ганской по наследству, распоряжаться, доходы получать и те употреблять в свою пользу.

Таким способом обеи сознающие исполнив взаимные относительно себя обязанности сию обоюдную пожизненную запись заверяют сдержать, а то силою добровольного своего сознания.

Вацлав Ганский, Ева из графов Ржевусских Ганская.

«Дело гражданского департамента Государственного совета о дожизненной записи, составленной помещиком Вацлавом Ганским и женою его Евой, урожденной графиней Ржевусской». Началось 20 ноября 1843 г.—кончено 17 января 1844 г. На 45 листах. Ленинградское отделение Центрархива (ЛОЦИА).

К л ю ч о м называлось в старину в западных губерниях России «поместье из нескольких сел и деревень с местечком; ключ разделен на фольварки и управляется ключвойтом, головою»; в более общей форме «замежованные под одну межу зѐмли, селения; волость, вотчина». (Д а л ь В., Толковый словарь живого великорусского языка, П.—М., 1905, II, 307). «В больших имениях, которых владельцы польского происхождения, сохранился старинный польский порядок управления имениями; они разделяются обыкновенно на к л ю ч и, в которых учреждаются ключевые управления, подчиненные главноуправляющему всем имением» (Ф у н д у к л е й И. Статистическое описание Киевской губернии, П., 1847, II, 257).

[42] B o u t e r o n, I, 2.

[43] П у ш к и н, Письма, под ред. Б. Л. Модзалевского, М.—Л., 1926, I, 56: «Я имел о вас известия, мне передавали, что Атала Ганская превратила вас в несносного фата...». Следует исправить обычное указание, что в конце 40-х годов Ганская получила прозвище Atala по одному из персонажей водевиля «Скоморохи» («Les saltimbanques») Дюмерсана и Варена (B o u t e r o n, 20—21). Водевиль этот был поставлен впервые в театре «Варьетэ» 25 января 1831 г. (Œ u v r e s c o m p l è t e s (Conard), XIX, 374), между тем Пушкин называет Ганскую «Аталой» уже в октябре 1823 г. Очевидно, в момент шутливого переименования всей верховенской семьи (Бальзак—«Бильбоке», Мнишек—«Гренгале», Анна—«Зефирина») сама Ганская предпочла взять свое старинное романтическое прозвище.

[44] И к о н н и к о в В. С., Киев в 1654—1855 гг. Исторический очерк. Киев, 1904, 328—330.

[45] L e t t r e s à l'E t r a n g è r e, I, 304, 306, 309, 516.

[46] F l o y d, 232.

[47] Ответ Бальзака воспроизведен факсимиле у L o v e n j o u l, Un roman d'amour, P., 1896.—Газета «La Quotidienne» была основана в 1792 г. для борьбы с революцией и неизменно сохраняла в течение полувека крайне реакционное направление. В эпоху Реставрации она стала органом партии «ультрароялистов», при Луи-Филиппе отстаивала насильственные меры для торжества «легитимизма». Контрреволюционная программа органа была причиной разрешения его в николаевской России, где из французских газет получались еще «Le Moniteur Universel», «Le Journal des Débats», «L'Echo Français». Мы видели выше, что «Quotidienne» обслуживала царское правительство, и парижский представитель России Киселев помещал в этой газете опровержения книги Кюстина.

Судя по письму Ганской, «La Quotidienne» выписывалась в Верховню. Газета эта неоднократно называется в произведениях Бальзака (см., например, «Бал в местечке Со», «Дочь Евы», «Покинутая женщина», «Беатриса» и др.).

[48] Племянница Ганской, Катерина Радзивилл, уверяет, что первые письма ее тетки к Бальзаку были написаны ее братом, писателем Генрихом Ржевусским, под ее диктовку (F l o y d, 267). Свидетельство это не заслуживает доверия. Катерина Радзивилл пустила в оборот немало ложных слухов и подложных писем в целях наивной реабилитации Ганской (см. ниже, прим. 51-е). Генрих Ржевусский был писателем; либо он самостоятельно написал эти письма, либо он их совсем не писал. Наивный, «женственный» стиль их исключает первое предположение. Следует думать, что Ганская продиктовала свое первое письмо своей доверенной и другу — гувернантке Генриетте Борель.

«По первым же письмам Ганской к Бальзаку, — замечает Гюг Ребель, — видно, что она ничего не поняла в мужественном гении романиста. Ее неприятно поразила «Шагреневая кожа», ее возмутили «Озорные сказки». По обоим сохранившимся письмам «иностранки» можно заключить, что они написаны женщиной не высокого ума; в них чувствуются только экзальтированность мысли, претенциозность и расплывчатая мечтательность». R e b e l l (Hugues), Les inspiratrices de Balzac, Stendhal, Mérimée, P., 1902, 31—33.

[49] B e l l e s s o r t (André), Balzac et son œuvre, Perrin, P., 1924, 113.

[50] L e t t r e s à l'E t r a n g è r e, I, 44.

[51] Катерина Радзивилл опубликовала в американском журнале «Forum» (1925, I, 40—49; II, 189—196) 17 писем Ганской к ее брату Адаму Ржевусскому. Они были перепечатаны «Revue hebdomadaire» (1924, 20 декабря) и даны полностью в приложении к книге F l o y d (283—311). Все эти письма, несомненно, подложны и сочинены из своеобразных родственных побуждений реабилитации. Публикаторша сообщает, что лишена возможности произвести фотографические снимки с писем, так как оригиналы их находятся в Европе и почему-то недоступны для племянницы Ганской, специально изучающей биографию своей знаменитой тетки. «Стиль этих писем,—предусмотрительно заявляет К. Радзивилл,—может показаться осведомленному читателю несхожим с опубликованными ранее письмами Евы Бальзак, но нужно иметь в виду, что это интимные письма, написанные сестрой брату...». Между тем, письма, опубликованные К. Радзивилл, совершенно лишены интимной живости тона—это литературные статьи о Бальзаке и его творчестве, явно сочиненные в нашу эпоху. Автор этих писем—якобы, г-жа Ганская—в духе позднейшей критики сравнивает «гиганта» Бальзака с Сен-Симоном, сравнивает «Человеческую комедию» с «Речью о всемирной истории» Боссюэ, делает замечания о необузданном воображении Бальзака, предсказывает будущий рост его славы. Между тем, из подлинных писем Бальзака мы узнаем, что Ганская подсмеивалась над грандиозным планом «Человеческой комедии», иронизировала над замыслами своего друга и, видимо, не отдавала себе правильного отчета о размерах и значении его творчества. Письма, опубликованные Радзивилл,—это защитительная речь в пользу Ганской, построенная на следующих тезисах: 1) Ганская была несчастна в первом браке, и этим оправдывается ее обращение к Бальзаку; 2) Бальзак был в жизни мещанин, не умевший даже прилично есть в обществе, и это должно было отталкивать от него аристократку Ганскую, глубоко, впрочем, оценившую его гений писателя; 3) во время полуторагодичной жизни Бальзака на Украине Ганская не допускала с ним совместной «супружеской» жизни, и отношения их ограничивались, согласно предписаниям высшего света, исключительно совместными чтениями и беседами; 4) за право обвенчаться с Бальзаком Ганской пришлось вести отчаянную борьбу со всеми своими родственниками—братьями, сестрами, тетками, и это должно было сильно отравить и подорвать ее доброе отношение ко второму мужу. Все эти тезисы либо совершенно неверны, либо крайне преувеличены.

[52] F l o y d, 196.

[53] L e t t r e s à l'E t r a n g è r e, I, 45.

[54] B o y-Ż e l e n s k i, Une lettre inédite de m-me Hanska.—«Pologne littéraire», 15 sept. 1934.

[55] S p o e l b e r c h d e L o v e n j o u l, La genèse d'un roman de Balzac. Les paysans, Paul Ollendorf, P., 1901, 7.

[56] «Библиотека для Чтения», 1850, X.

[57] L e t t r e s à l'E t r a n g è r e, II, 90.

[58] «Хорошо было бы уже загодя иметь свидетельство о смерти г. Г[анского]», — пишет Бальзак Ганской 22—25 июня 1846 г. И в письме через несколько дней: «С теми бумагами, о которых я говорю, с твоей метрикой, брачным свидетельством и свидетельством о кончине г. Г[анского] нас смогут обвенчать в каком-нибудь пограничном городке, это не подлежит сомнению» (L e t t r e s à l'E t r a n g è r e, III, 269, 280).

[59] Упомянутое выше дело гражданского департамента Государственного совета (ЛОЦИА).

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

# ПЕТЕРБУРГ

I. ОБЛИК НИКОЛАЕВСКОГО ПЕТЕРБУРГА.—ВПЕЧАТЛЕНИЯ БАЛЬЗАКА. БЕРЛИН И ПЕТЕРБУРГ В ЕГО ПИСЬМАХ.—ЗНАКОМСТВО С РУССКИМ БЫТОМ. II. ПИСЬМО М. Д. НЕССЕЛЬРОДЕ О ПРИЕЗДЕ БАЛЬЗАКА.—РЕШЕНИЕ ПРАВЯЩИХ КРУГОВ ИГНОРИРОВАТЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЛИТЕРАТОРА.—„Я ПОЛУЧИЛ ПОЩЕЧИНУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ КЮСТИНУ".—БАЛЬЗАК И НИКОЛАЙ I.—КЮСТИН, КНЯЗЬ КОЗЛОВСКИЙ И БАЛЬЗАК.—ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПАРАД В КРАСНОЕ СЕЛО. III. СДЕРЖАННОСТЬ РУССКОЙ ПЕЧАТИ К БАЛЬЗАКУ ВО ВРЕМЯ ЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИИ.—„ЛИСТОК ДЛЯ СВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ".—СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ „СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ".—IV. КРУШЕНИЕ МАТРИМОНИАЛЬНЫХ ПЛАНОВ БАЛЬЗАКА.—ЕГО ПОЯВЛЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ФРАНЦУЗСКОЕ ПОСОЛЬСТВО, ПАВЛОВСКИЕ КОНЦЕРТЫ, МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР, ГОСТИНЫЕ.—ЗНАКОМСТВО С О. А. ЖЕРЕБЦОВОЙ.—СЕМЕЙСТВО СМИРНОВЫХ. V. ВСТРЕЧА БОЛЕСЛАВА МАРКЕВИЧА С БАЛЬЗАКОМ И ГАНСКОЙ.—ЗАРИСОВКА „С.-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ".—„ГОЛУБОЙ САЛОН ОКНАМИ НА НЕВУ".—РАЗОЧАРОВАНИЕ БАЛЬЗАКА В РОССИИ.—ЕГО ПОЗДНЕЙШИЙ ПЛАН СТАТЬ ПОСЛОМ ФРАНЦИИ В ПЕТЕРБУРГЕ

## I

Представший взгляду Бальзака Петербург архитектурно совпадал с описанием города в прологе «Медного всадника», а в бытовом отношении с «Невским проспектом» Гоголя. Просторные ансамбли, величественные перспективы, «строгий, стройный вид», пленивший Пушкина,—чугунные ограды, береговой гранит, адмиралтейская игла и Марсово поле—все пребывало неизменным и через десятилетие, протекшее с момента написания поэмы. Это был сравнительно новый Петербург, недавно лишь принявший в своих главных частях стиль классического зодчества, а в своем уличном быту—обличье николаевской империи. В начале 30-х годов Росси закончил постройку зданий Сената и Синода, Александринского театра с Театральной улицей и Публичной библиотеки. Незадолго перед тем он завершил оформление Дворцовой площади сооружением арки Главного штаба. В момент приезда Бальзака шла постройка постоянного моста через Неву и перекрытие Крюкова и Адмиралтейского каналов. Исаакиевский собор уже принял вчерне свои очертания. На цоколях египетских сфинксов у Академии художеств только что были высечены новые надписи. В своих письмах к Ганской Бальзак вспоминает место их прогулок—маленький сквер, который «с такой тщательностью разбивают перед Троицким мостом, но где пока красуются только веники, подающие надежду стать когда-нибудь деревьями»[1]. Жизнь вокруг показалась ему глубоко скованной. Он, видимо, сразу ощутил ту зловещую чинность и регулярность «главной коммуникации» Петербурга, ужас которой так гениально запечатлел в своей городской новелле молодой Гоголь.

Бальзак жил в самом парадном районе николаевской столицы, рядом с дворцами и посольствами, в первой Адмиралтейской части, где не было ни одного деревянного дома, на Большой Миллионной улице, где после пожара 1737 г. петербургские богачи стали строить свои хоромы.

Он особенно любил Дворцовую набережную, куда выходили окна гостиной Ганской, и мост перед Эрмитажем, по которому должен был часто сопровождать свою даму. Вскоре по возвращении в Париж, 20 ноября 1843 г., Бальзак пишет Ганской, что часто развертывает план Петербурга в своем экземпляре «Guide du voyageur à St.-Pétersbourg», «рассматривает на карте Дворцовую набережную и долго любуется гравюрой, изображающей эту набережную и мост перед Эрмитажем»[2].

О впечатлениях Бальзака от Петербурга мы можем судить по письму его к Ганской из Берлина на обратном пути во Францию от 14—17 октября 1843 г. Сравнение прусской столицы с только что оставленной царской

резиденцией дает представление об этих путевых впечатлениях французского романиста. Тип города и характер населения схвачены живо и верно.

«Угрюмый Берлин несравним с пышным Петербургом. Прежде всего можно было бы выкроить десятка два таких мелких городков, как бранденбургская столица, из территории великого города обширнейшей из европейских империй, после чего ему бы осталось еще достаточно застроенного пространства, чтобы покрыть двадцать маленьких Берлинов, выкроенных из его безграничных просторов. Но на первый взгляд Берлин кажется более заселенным, ибо я видел несколько прохожих на улицах, чего вы не часто увидите в Петербурге! Пространства застроены с расчетом выделить красоты города, и этой хитрости, вероятно, Берлин обязан впечатлением большей населенности, чем Петербург; я бы сказал, большего о ж и в л е н и я, если бы речь шла о другом народе»[3].

Из этой сравнительной характеристики двух столиц видно, что Бальзак почувствовал и оценил величественный стиль Петербурга, размах его планировки и торжественность архитектуры. Но одновременно ощутил и мертвенную скованность населения, по стиху Пушкина: «гнет неволи, строгий вид...».

От его наблюдательного взгляда не скрылась и неприглядная изнанка Петербурга—черные дворы, запущенный конец Невского, переходящий в грязное предместье, какие-то характерные и отталкивающие черты большого скученного города, которые вскоре выступят в повестях русских учеников Бальзака—в физиологических очерках и зарисовках натуральной школы.

Бальзак прибыл в Петербург в пасмурный прохладный день. Солнце не встретило его в северной столице и не выглянуло в течение всего дня: склонный верить в приметы, Бальзак мог истолковать это, как некоторое предзнаменование[4].

Он сразу же вступил в бытовые условия российской действительности; в первых же его петербургских записках к Ганской имеются упоминания о русских постелях, насекомых, хозяйках и слугах.

Ганская, видимо, предоставила ему в полное распоряжение своего лакея Леона, который с грехом пополам объяснялся по-французски. Бальзак шутя называл его в своих письмах Леонэ-Леони, по роману Жорж Санд. Писатель поселился против дома Кутайсова, где проживала Ганская, в доме Титова, повидимому, у некоей madame Tardif, упоминаемой в одной из следующих записок[5].

Пребывание в Петербурге оказалось для Бальзака, как почти все этапы его жизненного пути, рядом глубоких разочарований. Его надежды и ожидания рухнули сразу во всех направлениях—политическом, литературном, общественном и, наконец, в самом главном для него—в плане завоевания личного счастья.

## II

Через неделю после приезда Бальзака в Петербург, 24 июля 1843 г., законодательница мнений высшего столичного круга, в свое время столь ненавистная Пушкину, супруга канцлера Марья Дмитриевна Нессельроде писала своему сыну:

«Бальзак, лучше всех описавший чувства женщин, в настоящее время у нас в городе, удивленный, я думаю, что не ищут знакомства с ним. Никто, насколько по крайней мере мне известно, не сделал ни малейшей попытки

АНГЛИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
г. к ней причалил пароход, доставивший Бальзака из Кронштадта
Акварель Э. Гертнера, 1838 г.
Эрмитаж, Ленинград

попасть к нему. В Россию его привлекла, кажется, одна польская дама, сестра графа Ржевусского, которая здесь по судебному делу, а несколько лет тому назад она с этим писателем путешествовала. Он бранит Кюстина; это так и должно быть, но не следует считать его искренним»[6].

В Петербурге, где вся общественная жизнь строго регламентировалась органами власти, это сообщение Нессельроде свидетельствует о каких-то высших указаниях. Петербургскому свету было, очевидно, предписано игнорировать Бальзака (как незадолго перед тем представителя Франции, Казимира Перье[7]), столичной печати еле разрешалось упоминать о нем. Эта настороженная подозрительность к романисту всего официального Петербурга в значительной степени объяснялась недавним впечатлением от книги Кюстина. Бальзак ex professo, в качестве французского писателя, был на сильнейшем подозрении у петербургских властей и как бы отвечал перед ними за памфлет против царской России, написанный другим французским автором. Знаменитый романист в принципе считался способным на такой же выпад и не внушал ни малейшего доверия Николаю и Бенкендорфу.

По поводу отъезда Александра Дюма в Россию Жюль Жанен в 1858 г. писал: «Мы поручаем его гостеприимству России и искренно желаем, чтобы он удостоился лучшего приема, чем Бальзак... Тот явился в Россию не во-время—тотчас после г. Кюстина—и потому, как это часто случается, невинный пострадал за виновного».

«В этот приезд его в Россию ему как-то не оказали подобающего внимания, он не был принят во дворце, а следовательно, и в более богатых и знатных домах, и бедный Бальзак утешал себя тем и говорил даже об этом своим друзьям: «J'ai reçu le soufflet, qui a été destiné à Custine»[8].

Это было весьма чувствительным ударом по всей русской программе Бальзака. Петербург интересовал его, прежде всего, как резиденция современного повелителя, наиболее напоминавшего ему Людовика XIV. Он прибыл сюда не как турист или бытописатель, а как носитель определенной политической идеологии. Не архитектура и быт Петербурга, а кулисы русской власти, принципы верховного управления, природа самодержавия в первую очередь занимали его.

Ганская всячески внушает Бальзаку «культ Романовых», прочно установившийся в ее семье после отхода Привислянского края под скипетр русского самодержца. Писатель принимает ее политическое credo, во многом соответствующее его сложившимся воззрениям[9].

Большой политический труд, о котором он упоминает в своей переписке, получил впоследствии некоторое освещение в письме Ганской к Орлову. Здесь весьма категорически излагаются легитимистские воззрения Бальзака, который якобы «собирался разгромить порочное учение, вот уже сколько лет разъедающее человечество» и даже преклонялся перед Николаем I, личность которого «успокаивала его тревоги за будущность Европы».[10] Необходимо, конечно, всемерно учитывать официальный характер этого письма и высокий правительственный пост его адресата. По интимной переписке Бальзака с Ганской нетрудно заключить, что эти восхищения царем не всегда отличались полной искренностью. Национальное чувство Ганской несомненно не раз восставало против неумолимой руссификаторской политики Николая I, несмотря на охрану им ее имущественных и сословных прав. После пережитого полуофициального «бойкота» в петербургском свете, Бальзак также заметно охладевает к русскому императору.

ЗИМНЯЯ КАНАВКА
Любимое место прогулок Бальзака в Петербурге
Рисунок В. Садовникова, 1833 г.
Собрание В. К. Лавровского, Ленинград

Это отношение к Николаю I, к русской политике, к ее влиянию на международные дела неизменно сказывалось и в последующие годы. Если Бальзак прекрасно понимал, что положение Польши может изменить только русская революция, он считал всегда такой исход нереальным. В 1845 г. Бальзак писал Ганской: «Доколе будет длиться существующая система, я не предвижу для Польши ничего, кроме бедствий. Вас хотят уничтожить во что бы то ни стало... Только революции—которые невозможно ни представить себе, ни предвидеть—могут изменить пророческое слово Костюшки: Finis Poloniae. Я все это высказал графу [т. е. Ганскому] в Женеве (в 1834 г.), убеждал его спасти свое состояние, переведя его за границу и выбрав себе другую родину. Чем дальше, тем это становится настоятельнее. Через десять лет карта Европы будет перекроена из-за Востока. Польша станет прусской; берега Рейна—французскими; четыре княжества—австрийскими и Черное море—русским озером, а судьба мира решится, как всегда, в Средиземном море. Стать пруссаками—вот в лучшем случае ваше будущее. Все это может изменить только русская революция... [Но] русский император проживет достаточно, чтобы сделать невыносимым положение польского богача». «Император Николай хочет единства своей империи *во что бы то ни стало*, он должен разрушить католицизм и польскую нацию. Это совершенно необходимо. На его месте, будучи русским, православным и императором, я поступил бы точно так же. Он ничего не может предпринять с таким ядром у ноги, как Польша, особенно же с другим ядром—Кавказом»... И, переходя к семейным делам, Бальзак заключает: «Нужно защищать состояние. Мнишек, которого я лично не знаю, поли-

тически неприемлем, как всё, что имеет отношение к королевской власти старой Польши...»[11].

Несмотря на такой «легитимизм» Бальзака и его полную солидарность с верноподданностью Ганской, Николай I до конца сохранил к французскому писателю позицию неприступности. Через несколько лет это создало ряд осложнений в матримониальных планах великого романиста.

Из своего прекрасного парижского далека Бальзак представлял себе Россию в неясных очертаниях. Вот почему он мог допустить, что царь лично займется наследственной тяжбой Ганской или приблизит его к своему двору в качестве политического советника. Между тем, ему было известно, что ряд его книг запрещен в России. В марте 1835 г. он пишет Ганской: «Русский император запретил «Горио», вероятно, из-за личности Вотрена». По поводу «Серафиты» и «Луи Ламбера», составляющих «Мистическую книгу», он заявляет в октябре 1835 г. Ганской: «Император Николай не запретит для вас этих книг». Бальзак ошибался: он не предвидел всей сложности в установках царской цензуры. «Мистическая книга» была запрещена Комитетом иностранной цензуры в 1836 г. на том основании, что мнения героев книги и самого автора «могут подать повод к предположениям, противным истинной вере»[12].

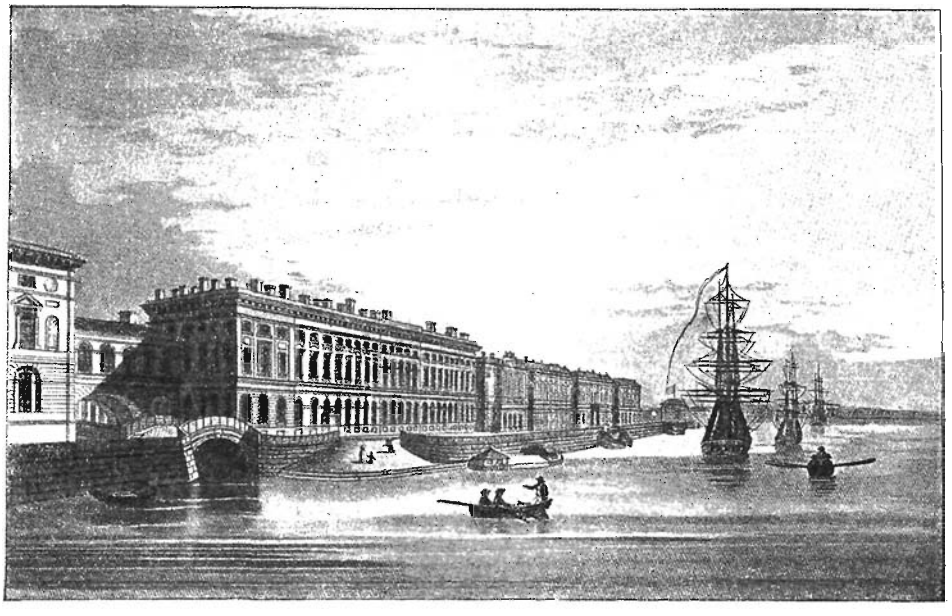
За десять недель своего пребывания в Петербурге Бальзаку пришлось во многом разочароваться. Впоследствии он занес в свою запись о путешествии в Россию несколько горестных впечатлений, облеченных, впрочем, в достаточно юмористическую форму:

«Немало глупцов утверждало, что его величество император всероссийский возымел мысль опровергнуть книгу г. де Кюстина каким-либо французским пером и предложил мне за это достаточное количество крестьян во время моего пребывания в Петербурге. Заявляю поэтому, что мне действительно пришлось видеть императора Николая на расстоянии пяти метров, что меня он никогда не видел, а стало быть, и не говорил со мной, и что, наконец, он уехал в Варшаву через шесть дней после моего приезда в его столицу,—это позволило бы мне в стиле путевых впечатлений сказать, что он бежал от меня. Далекий от мысли снабжать меня деньгами, он, напротив, забрал их у меня, чтобы отвезти меня из Петербурга в Тауроген, в карете с его гербами, запряженной подчас двадцатью лошадьми, обычно называемой во Франции мальпостом. Это случилось после того, как он разрешил мне пробыть шесть недель в Петербурге, где я никого не видел[13]. Все, что говорилось и писалось о красоте императора, вполне подтверждается; не существует в Европе, а стало быть, и в других частях света человека, которого можно было бы сравнить с ним. Ледяное выражение лица вызывается им намеренно, ибо он может, подобно Наполеону, обворожительно улыбаться. В наши дни император Николай—единственный представитель власти, как ее изображает «Тысяча и одна ночь». Это—калиф в мундире. Падишах Стамбула в сравнении с русским царем—простой супрефект. Я жалею, что не мог наблюдать это великое явление древности, уничтоженное англичанами в Азии и повсюду, куда шагнула с аршином в руках Ост-Индская компания: ведь единовластие настолько ослабело в Персии, что Китай и Япония являются теперь единственными странами, повелитель которых имеет такое же значение, как и в России»[14].

А, между тем, Бальзак действительно имел намерение выступить с опро-

вержением Кюстина. В своем неоконченном «Письме о Киеве» он довольно обстоятельно высказывается «насчет книг, опубликованных до сих пор о России». «Заявляю во всеуслышание,—пишет Бальзак,—что никто из авторов этих сочинений не был в России. Коммерсанты-французы, развернувшие свою деятельность в разных русских городах и в различных частях империи, все становятся русскими, и по возвращении во Францию они не высказывают ничего, что не было бы в пользу императора и русского народа. С ними, поэтому, не приходится считаться. А для комми-вояжеров идей, для любопытных Петербург и Москва исчерпывают всю Россию. Они торопятся осмотреть обе столицы, соединенные превосходной дорогой в шестьсот верст, и воображают, что они осмотрели Россию. А, между тем, они видели Россию как те, кто, побывав в Кантоне, видели весь Китай; по возвращении в их описаниях на одно правильное наблюдение приходятся сотни вымыслов о государстве более обширном, чем римская империя эпохи Августа. Таково мое мнение о знаменитом произведении г. де Кюстина. Если изъять из этой книги все мысли князя Козловского, чье имя можно назвать, ибо он умер, если обойти две или три романических версии, сообщенных для нее самим императором, в ней останутся только эпиграммы о неизбежных явлениях, порожденных климатом, ряд совершенно ошибочных мнений о политике, описание русского великолепия и ряд общих мест в чрезвычайно нарядном облачении. Г-жа де Сталь в некоторых страницах своего «Десятилетия в изгнании» лучше описала Россию, нежели это сделал г. де Кюстин»[15].

Упомянутый здесь князь Петр Борисович Козловский принадлежал к парижским знакомым Бальзака; о нем романист сообщает в январе 1838 г. Ганской: «Вы, вероятно, слышали об этом чрезвычайно остроумном дипломате, который находится с князем Паскевичем в Варшаве»[16]. О Козловском



ДВОРЦОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ И МОСТ ПЕРЕД ЭРМИТАЖЕМ

Гравюра из „Guide du voyageur à Saint-Pétersbourg", упоминаемая Бальзаком в письмах к Ганской

сохранились весьма хвалебные отзывы Вяземского, Плетнева и даже Пушкина, который обратился к нему с фрагментом:

Ценитель умственных творений исполинских,
Друг бардов Англии, любовник муз латинских...

Знаток римских поэтов, Козловский особенно ценил Ювенала и горячо рекомендовал Пушкину переводить его. Кюстин в начале своей книги рассказывает о встрече на палубе парохода с русским вельможей князем К., который совершенно увлек его своей беседой, политическими анекдотами, тонкими суждениями, меткими характеристиками. Бальзак дружил и с дочерью Козловского «от его непризнанного брака»—Софьей, или Soffka, с которой переписывался[17].

Придворные круги Петербурга, обжегшись на приеме Кюстина, официально игнорировали Бальзака. Не без иронического намека романист шутил в одной из своих петербургских записок к Ганской: «Русский император расценил меня в 32 рубля, что и было сообщено мне посланным Бенкендорфа, вручившим мне вид на жительство»[18]. Есть, впрочем, косвенные указания, что, несмотря на внешнюю позицию индиферентизма, Николай I не отнесся вполне безразлично к пребыванию Бальзака в Петербурге. В архиве Ганской сохранилось письмо к ней княгини Разумовской из Петергофа от 19 июля 1843 г. «Я узнала вчера от императора, что некий классический автор, который, на мой взгляд, наилучшим образом понял и изобразил женское сердце, только что прибыл к нам. Это не любопытствующий путешественник, который является для памфлетического описания страны, это художник совершенной женщины, явившийся сюда, чтобы освежить свой дар приближением к одной из них». Здесь и намек на книгу Кюстина, и прямое указание на интерес Николая I к приезду Бальзака[19].

Единственная любезность, оказанная Бальзаку правительством, не носила официального характера. На одном парадном обеде Бенкендорф спросил Льва Нарышкина, знаком ли он с Бальзаком. Тот отвечал, что он лично его не знает, но хорошо знаком с лицом, которое постоянно встречается с романистом. «В таком случае, предложите г. де Бальзаку приехать завтра на парад в Красное село в 10 часов утра. Пусть явится от вашего имени в двухэтажный дом против церкви, где квартирует свита императора, и тогда вы его приведете ко мне, где ему будет приготовлен экипаж»[20]. Следует думать, что приглашение Бенкендорфа исходило от самого Николая I, который чрезвычайно любил щеголять перед иностранцами выправкой своих войск. На этом параде 9 августа 1843 г. Бальзак и видел Николая I «на расстоянии пяти метров».

Этим ограничились знаки внимания, оказанные французскому автору петербургским двором.

## III

Такая позиция правящих кругов определила крайнюю сдержанность русской печати к Бальзаку за все время его пребывания в России.

Интерес к жизни и личности Бальзака сказывается в ряде статей русской журналистики 30-х годов. «Оказывается, что он жил весьма роскошно,—резюмирует содержание этих очерков историк русской печати того времени.—Обстановка его комнат составляла предмет всеобщих толков в Париже. Он носил черный фрак, столь же фантастический, как его

ДОМ В КОТОРОМ ЖИЛ БАЛЬЗАК В ПЕТЕРБУРГЕ

Быв. дом Титова на Б. Миллионной Верхний этаж—позднейшей надстройки

С фотографии, принадлежащей „Литературному Наследству"

Снято весной 1937 г.

сказки на манер Рабле. Длинные волосы упадали по плечам. Визиты своих поклонников он принимал в великолепном будуаре. В этом святилище он покоился на широком диване, завернувшись в широкий халат из белой фланели, с золотыми кистями и с малиновым бархатным капюшоном, который прикрывал его голову. У Бальзака были три замечательные трости. По трости легко можно было узнать его на улице»[21].

О степени популярности у нас Бальзака в 30-е годы можно судить по любопытной статье, появившейся в «Современнике» 1838 г. за подписью Ничипор Кулеш и под интригующим заглавием: «Бальзак в Херсонской губернии» (как известно, французский романист никогда не заезжал туда).

«Дамы Херсонской губернии сходят с ума по Бальзаку,—читаем здесь.—Произнесите имя французского новеллиста—и вы увидите, до какой степени может воспламениться херсонская аристократка. Вам расскажут по хронологическому порядку все его произведения, все действующие лица, все сильные места. Когда вам начнут напоминать сцены из частной жизни Евгении Гранде, «Шагреневую кожу», тогда запрячьте ваше сердце дальше, как можно дальше —вы влюбитесь, непременно влюбитесь в рассказчицу...». Когда в газетах появилось известие, что Новороссийский край посетит маршал Мармон, тотчас же пронесся слух, что «для составления живописного описания путешествия» маршала будет сопровождать Бальзак. Мармон действительно посетил Херсон и Одессу в сопровождении какого-то господина, которого приняли за Бальзака. «Хотя блеск нашего просвещения сосредоточивается в Петербурге и Москве,—говорит воображаемому Бальзаку его провинциальная русская поклонница,—но я назову вам более ста дам нашей губернии, которые

прочитали каждое прекрасное ваше произведение». После ряда забавных qui pro quo выясняется, что воображаемым Бальзаком является доктор Руго. Но автор этой корреспонденции утешает провинциальных читательниц: «Я слышал, что Бальзак очень завидовал Руго, когда он по возвращении в Париж рассказал ему встречу на Буге. Желая быть признательным за приготовленный для него прием, он начал повесть, в которой главное действующее лицо—херсонская помещица. Теперь он остановился за нравами и местностью, для изучения которых в настоящем или будущем году непременно явится в Новороссию»[22].

Бальзак, как мы знаем, действительно собирался побывать в Одессе (и впоследствии хотел посетить Крым, кавказское побережье, Тифлис и особенно Москву). Все это осталось в плане его неосуществленных пожеланий. Но по приведенным материалам можно заключить, что его книги уже в то время проникли во все углы России, возбуждая в читательских кругах живой интерес к личности их автора. Сам Бальзак сообщал подчас факты своей широкой популярности в России, впрочем, нередко явно анекдотические. Таково его сообщение из Верховни: «Какой-то богатый мужик (un riche moujik) прочел все мои произведения, ставит во здравие мое по воскресеньям свечу св. Николаю и даже обещал деньги людям сестры г-жи Ганской, чтобы только взглянуть на меня»[23]. Трудно допустить, чтобы русские журналы, в которых печатались переводы Бальзака или отдельные издания его произведений, проникали в такую глушь, как украинские деревни, при отсутствии в тогдашней России железных дорог, при почти поголовной неграмотности крепостного крестьянства.

«Journal de Saint-Pétersbourg» ничем не отмечает приезда знаменитого романиста; только в отделе объявлений встречается изредка его имя: книжные магазины извещают о поступивших в продажу книгах Бальзака, да какой-то скульптор предлагает публике бюсты и барельефы различных знаменитостей, в том числе и автора «Евгении Гранде»[24].

Во всех петербургских газетах заметки о прибытии «Девоншира» помещаются без указания, что среди пассажиров находится и знаменитый романист. Это вызвало вскоре специальную статейку в малораспространенном издании «Листок для светских людей», указавшем на странное умолчание печатью факта прибытия Бальзака в Петербург. В июльском выпуске издания появилась статья:

ПРИЕЗД БАЛЬЗАКА

Одна из самых любопытных статей в объявлениях наших ведомостей, без сомнения: П а р о х о д с т в о, известия о прибытии и отбытии пароходов, с показанием главных пассажиров.

В одном из последних нумеров ведомостей было напечатано: «Того же числа (т. е. 17-го июля) прибыл пароход Д е в о н ш и р из Лондона, с 20-ю пассажирами».

И только! Да и стоит ли распространяться? В числе этих пассажиров все народ простой, и еще какой-то Француз с премудреной фамилией, а при нем отметка: homme de lettres. Нужно ли объявлять об homme de lettres? Что за важная такая особа homme de lettres!.. По-боку его!

А этот homme de lettres,... никто иной, как знаменитый Бальзак, автор «Евгении Гранде» и «Отца Горио», один из главнейших литераторов нынешней Франции, глубокий знаток сердца человеческого, романист увле-

кательный, все сочинения которого известны почти наизусть всему нашему высшему обществу, всем любителям увлекательного чтения!

Вот что напечатано о его отъезде из Парижа в одном из последних нумеров «Journal des Débats»: «Бальзак уехал в Петербург. Его побудило к этому путешествию расстроенное здоровье. Говорят, что он отказался от всех предложений, сделанных ему многими издателями, на счет обнародования наблюдений его в странах, по которым он проедет, так как единственной целью его поездки отдохновение, необходимое после многолетних занятий». Сказывают, что он проведет у нас всю будущую зиму[25].

Через пять дней, 22 июля/5 августа, «Северная Пчела», наконец, сообщает:

«Прежде всего поделимся с читателем известием, любопытным для всех любителей литературы,—на пароходе Д е в о н ш и р, прибывшем из Лондона и Дюнкирхена в прошлую субботу 17 числа, приехал известный французский писатель Бальзак. Говорят, что он намерен провести у нас всю зиму... На первый случай не можем сообщить ничего более этого»[26].

Через несколько дней газета печатает большую статью о новейшем французском романе, в котором творчество Бальзака подвергается довольно суровой критике.

«Г-н де Бальзак, посетивший теперь наш Петербург, как говорят для отдыха и поправления здоровья,—гораздо выше Сулье, но его последнее произведение носит отпечаток промышленности. Прежний гений уступил место спекуляциям, жадность к славе подавлена чувством, управляющим

ЛИСТОКЪ ДЛЯ СВѢТСКИХЪ ЛЮДЕЙ.

ПРІѢЗДЪ БАЛЬЗАКА.

одна изъ самыхъ любопытныхъ статей въ объявленіяхъ нашихъ вѣдомостей, безъ сомнѣнія: *Пароходство*, извѣстія о прибытіи и отбытіи пароходовъ, съ показаніемъ главныхъ пассажировъ.

Въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ вѣдомостей было напечатано:

«Того же числа (т. е. 17-го іюля) прибылъ пароходъ *Девонширъ* изъ Лондона, съ 20-ю пассажирами.»

И только! Да и стоитъ ли распространяться? Въ числѣ этихъ пассажировъ все народъ простой, и еще какой-то Французъ съ премудрецкими замашкой, а при немъ отмѣтка: homme de lettres. Нужно ли объяснять объ homme de lettres? Что за важная такая особа homme de lettres! Это, вѣроятно, человѣкъ съ письмами. Много видали мы такихъ заморскихъ пріѣзжихъ: у всѣхъ у нихъ куча рекомендательныхъ писемъ... По бѣлу его!

А этотъ homme de lettres, этотъ человѣкъ съ письмами, никто иной, какъ знаменитый Бальзакъ, авторъ *Евгенія Гранде* и *Отца Горіо*, одинъ изъ глубокихъ литераторовъ нынѣшней Франціи, глубокій знатокъ сердца человѣческаго, романистъ увлекательный, всѣ сочиненія котораго извѣстны почти наизусть всему нашему высшему обществу, всѣмъ любителямъ увлекательнаго чтенія!

Вотъ что напечатано о его отъѣздѣ изъ Парижа въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ Journal des Débats:

«Бальзакъ уѣхалъ въ Петербургъ. Его побудило къ этому путешествію разстроенное здоровье. Говорятъ, что онъ отказался отъ всѣхъ предложеній, сдѣланныхъ ему многими издателями, на счетъ обнародованія наблюденій его въ странахъ, по которымъ онъ проѣдетъ, такъ какъ единственною цѣлью его поѣздки отдохновеніе, необходимое послѣ многолѣтнихъ занятій.»

Сказываютъ, что онъ проведетъ у насъ всю будущую зиму.

КОНДУКТОРСКІЯ ОТМѢТКИ.

(Окончаніе.)

ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА.

Остановки движимся мой у заставы, возлѣ того мѣста, гдѣ рельсы пересѣкаютъ шоссе. Я радъ: любопытно взглянуть на этотъ великолѣпный поѣздъ. Гдѣ предѣлъ уму человѣческаго! Что — изобрѣтеніе пороха! Что — изобрѣтеніе компаса! — Ничего! — Кто знаетъ, кто поднесъ настоящимъ образомъ пищу этого геніальнаго блага, котораго наслѣдная чистая невократима, кто новыхъ міру временъ, — только тотъ оцѣнитъ достойнымъ образомъ важность этой быстроты! Ни одна лишняя минута не потерянъ въ жизни. Вотъ они, — крылья, о которыхъ мечтали тысячелѣтія. Но крылья служатъ только одному, а здѣсь готовы летать въ огромныхъ вагонахъ!

«Куда же мчится эта тьма пассажировъ?»

— Въ Павловскій вокзалъ.

ДѢДЬКА.

«Готовъ — не готовъ.»

Въ заключеніе моемъ „взглядѣ на столицу“ это необходимый родъ людей. Когда ребенокъ, му-

„ПРИЕЗД БАЛЬЗАКА“
Статья в „Листке для светских людей“ от 24 июля 1843 г.

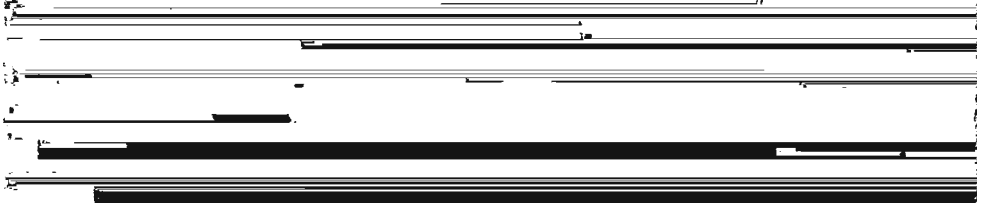
всеми делами общества. Так кого же винить? Верно не его. Он должен повиноваться своему веку». Следует ироническая критика произведений Бальзака: «La ténébreuse affaire», «Honorine», «Dinah Piedefer»[27]. «Оставим, однако, европейскую знаменитость,—заключает рецензент.—У Бальзака столько обожателей в читающем мире, что голос одного неизвестного рецензента не тронет его, а всего вероятнее и не дойдет до него. У нас же талант его верно еще в бо́льшем уважении, нежели в самой Франции, и мы вовсе не намерены поколебать чьей-то веры в дарование этого писателя. Напротив, от всей души сознаемся, что видим в нем одного из лучших романистов нашего века. «Eugénie Grandet», «Ne touchez pas à la hache» [первоначальное заглавие «Histoire des Treize»], «Un des Treize» и множество других романов доставили автору неувядаемый венок; но с той же откровенностью говорим мы, что Dinah оставляет в сердце самые неприятные чувства. Этот журналист, продающий свою любовь за деньги, самое отвратительное создание. В обществе можно отвороти́ться, уйти от такого человека, но роман Бальзака поневоле читаешь до конца. Зачем же подобные картины?»[28].

Под конец пребывания Бальзака в Петербурге «Северная Пчела» снова возвращается к его творчеству, помещая на своих столбцах маленькую антологию его афоризмов («Л ю б и м ы е в ы р а ж е н и я Б а л ь з а к а»), но попутно касаясь и больного вопроса о книгах иностранцев, посвященных России.

«Бальзак пробыл у нас месяца два—и уезжает. Многие теперь думают: что-то он напишет о России? Впрочем, это лишь литературное любопытство, с некоторого времени Россия чувствует все свое достоинство и очень мало заботится об отзывах иноземцев, зная наперед, что правды нельзя ожидать от туристов, которые сведения свои с о б и р а ю т с о с л о в п р и я т е л е й, а не по собственному изучению жизни народной и частной. Бальзак, однако, один из самых замечательных писателей Франции. Он хорошо изучил человеческое сердце, и цветистые его сентенции поневоле остаются в памяти читателей»[29].

Наконец, в прощальной заметке газета упоминает и тему женитьбы Бальзака, идя, вероятно, по стопам французских бульварных листков:

«Сегодня, в субботу, знаменитый Бальзак, как мы слышали, уезжает из Петербурга. Мы даже не видали его в лицо. С господами туристами-писателями весьма опасно встречаться. Предприняв описание своего путешествия, они, по большей части, говорят или слепо, или несправедливо о важных предметах, и для подкрепления своего мнения ссылаются на первого, кто им пришел на память, заставляя его говорить нелепости. Впрочем, в подвижных указателях путешественников верно не было недостатка Бальзаку, как и Мармье! Уж, конечно, нашлись люди, которые объявили Бальзаку, под секретом, что они великие мужи, а противники



воображая, что я поступлю, как Леве-Веймар[37]. В этом г. Брессон меня всемерно поддержал, заявив, что француз должен жениться только на француженке, на что я отвечал ему, что вполне с ним согласен и что именно так и поступлю».

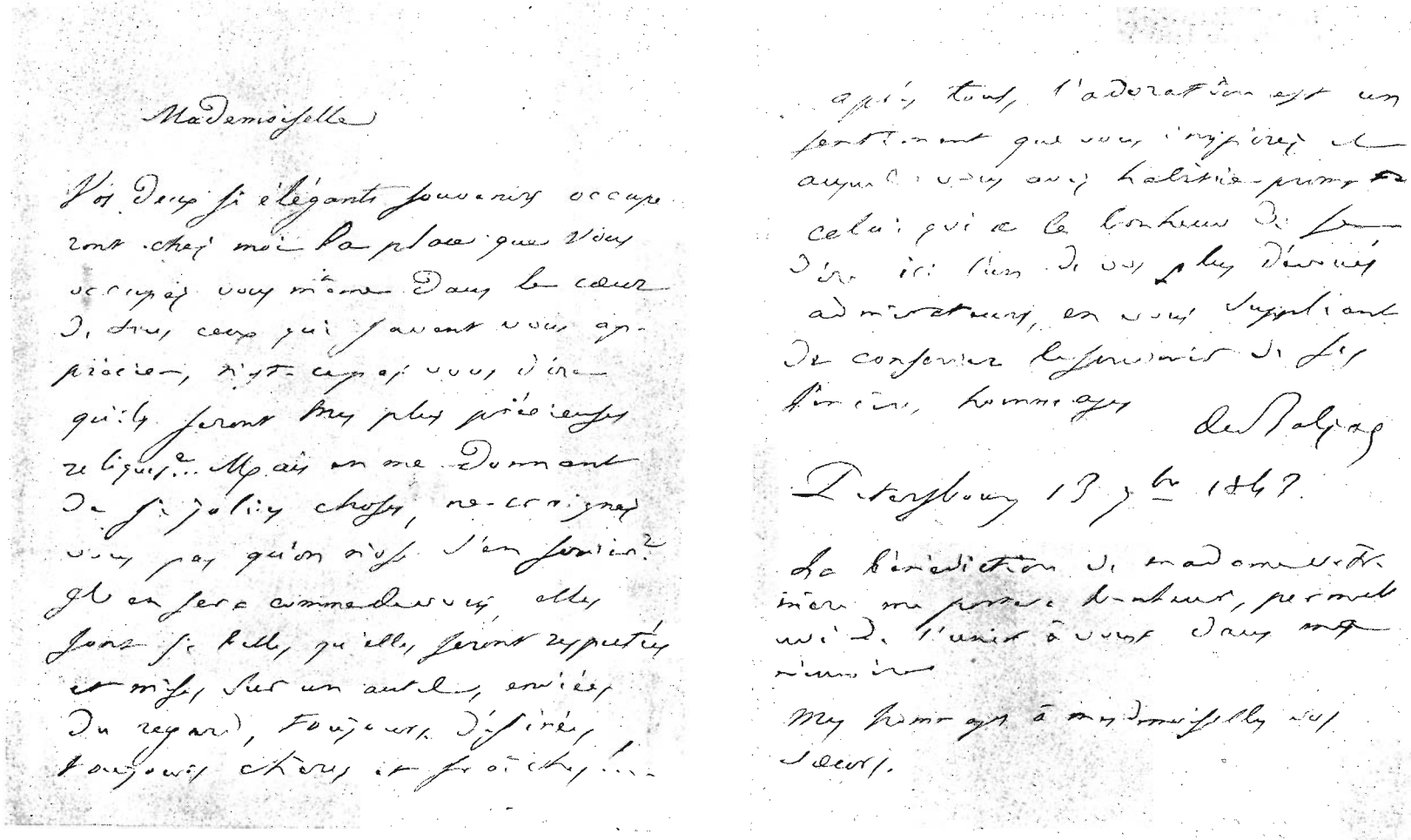
Он заканчивает письмо извинениями за резкость, в которых звучат новые укоры: «Подумайте о моем горе, о моей печали, о моем страдании, и вы проникнетесь сочувствием и снисходительностью к несчастному изгнаннику»[38].

Но жалобы Бальзака не производили должного впечатления на его рассудительную подругу. И теперь, будучи совершенно свободной, она продолжает строить свои отношения с ним, как в 30-е годы,—на принципе временных свиданий и случайных встреч, ни к чему не обязывающих. Только через семь лет, уже в разгаре предсмертной болезни Бальзака, когда «несчастный изгнанник» еле прошел расстояние от кареты до алтаря, Ганская решилась изменить эту 17-летнюю тактику. Сбылось зоркое предсказание романиста о том, что счастье придет к нему, когда он станет «пустым мешком» и уже не сможет им воспользоваться. В Петербурге, когда Бальзак видел перед собой, по крайней мере, еще десять лет «мужества, таланта и молодости», в этом «счастии» ему было отказано.

Все эти политические и личные неудачи привели к тому, что знаменитый путешественник сравнительно мало появлялся в обществе и на гуляньях. Но он все же не вполне замкнулся в особняке Ганской, и светский Петербург получил возможность видеть иногда популярного романиста. Секретарь французского посольства д'Андре пригласил его в миссию, где он, очевидно, побывал. Он осматривал государственные драгоценности. Он посетил павловские концерты. Художник П. П. Соколов, известный иллюстратор Грибоедова и Пушкина, видел Бальзака летом 1843 г. в Павловске. «Однажды вечером на музыке появился знаменитый Бальзак в какой-то большой серой куртке и большой шляпе из итальянской соломы, с физиономией довольно скучающей»[39].

Бальзак посетил Михайловский театр, где играла отличная французская труппа во главе с известной Аллан. «Французские спектакли на Михайловском театре были блистательны и многолюдны все лето», сообщает «Северная Пчела»[40]. Знакомый Бальзака, Шанфлёри, рассказал впоследствии со слов Григоровича, что публика в Михайловском театре устроила знаменитому романисту овацию[41]. Но сам Григорович ничего не записал об этом в своих «Литературных воспоминаниях», в которых много говорит о своем юношеском увлечении Бальзаком. К тому же нужно помнить, что общественные демонстрации были невозможны в николаевском Петербурге, и овации в театре по адресу присутствующих допускались лишь

парижские мелкие журнальцы преследовали его сатирою и эпиграммами.



Mademoiselle

Vos deux si élégants souvenirs occuperont chez moi la place que vous occupez vous même dans le cœur de tous ceux qui savent vous apprécier, n'est-ce pas vous dire qu'ils seront mes plus précieuses reliques?... Mais en me donnant de si jolies choses, ne craignez vous pas qu'on n'ose s'en servir? Il en sera comme de vous, elles sont si belles, qu'elles seront respectées et mises sur un autel, enviées du regard, toujours désirées, toujours chères et fraîches!...

après tout, l'adoration est un sentiment que vous inspirez et auquel vous avez habitué promptement celui qui a le bonheur de se dire ici l'un de vos plus dévoués admirateurs, en vous suppliant de conserver le souvenir de ses sincères hommages

De Balzac

Petersbourg 13 7bre 1843.

La bénédiction de madame votre mère me portera bonheur, permettez-moi de l'unir à vous dans mes souvenirs

Mes hommages à mademoiselle vos sœurs.

АВТОГРАФ ПИСЬМА БАЛЬЗАКА К СМИРНОВОЙ, НАПИСАННОГО В ПЕТЕРБУРГЕ 13 СЕНТЯБРЯ 1843 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

придворных и международных интриг. Родная сестра известного фаворита Екатерины II, Платона Зубова, Ольга Жеребцова стала любовницей посла Великобритании при русском дворе, Джоржа Уитворта, который превратил ее в верное орудие своих политических целей. Когда международная ориентация Павла I приняла нежелательное для Англии направление, в кружке екатерининских вельмож и гвардейцев, объединившихся вокруг Жеребцовой, был подготовлен заговор, инспирированный Уитвортом и приведший к цареубийству 11 марта 1801 г. К этому моменту английский посол вместе с Жеребцовой уже находились за границей. Эта «высокая старуха со строгим лицом, носившим следы большой красоты», по описанию Герцена, пользовалась значительным влиянием в петербургском «свете», в котором сохранила независимость своих резких суждений. Герцену казалось, что она оценила в нем «возникающие всходы другой России», но Бальзаку Жеребцова подарила небольшой бюст Николая I на малахитовом цоколе, переданный впоследствии писателем в музей города Буржа[43].

Знакомые и приятельницы Ганской, видимо, усиленно приглашали к себе французскую знаменитость. Сохранилось письмо к Ганской некоей Елены Смирновой, достаточно характеризующее отношение к нему женского общества столицы. «Узнав о приезде г. де Бальзака, я прежде всего преисполнилась радостью и счастием за вас, а затем, сознаюсь, сомнением и грустью. Сумеют ли у нас оценить и принять знаменитого человека? Дай бог, чтобы он составил себе благоприятное мнение о России. Я жажду увидать и услышать его. Вы проявили высшую любезность, пригласив его сопровождать вас в Петергоф, где мы будем счастливы принять его»[44].

Бальзак, видимо, откликнулся на это приглашение. Сохранился автограф его письма, адресованного дочери Смирновой, по поводу присланных ему знаков внимания:

*Перевод:*

Mademoiselle, два ваших столь изящных сувенира займут в моей жизни то место, которое сами вы занимаете в сердцах всех, умеющих оценить вас,—не значит ли это, что они составят мои драгоценные реликвии? Но, даря мне такие красивые предметы, не опасаетесь ли вы, что я не посмею пользоваться ими? С ними будет поступлено, как и с вами,—они так прекрасны, что станут предметом почитания и поклонения, на зависть взору, всегда дорогие и юные!... В сущности, поклонение есть чувство, внушаемое вами и к которому вы так быстро приобщили того, который имеет счастье считать себя в числе ваших самых преданных поклонников, прося вас сохранить воспоминание о его искреннем уважении.

де Бальзак

Петербург, 13 сентября 1843 г.

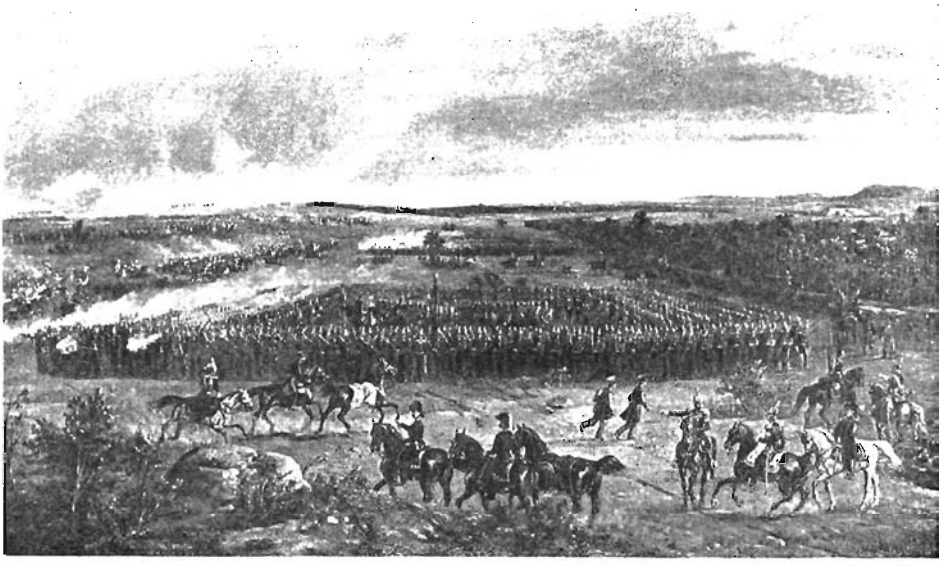
Благословение вашей матушки принесет мне счастие, разрешите мне соединить его в моей памяти с вами.

Мои почтительные приветствия вашим сестрам[45].

## V

Сохранилось воспоминание об одном из таких появлений Бальзака с Ганской в петербургском обществе. Писатель Болеслав Маркевич довольно живо описал впоследствии свою встречу с ними:

«Летом 1843 г. (я за несколько месяцев перед тем поступил на службу в Петербург),—сообщает Маркевич,—на даче у С. С. Б-вой, имел я случай увидать французского писателя, с произведениями которого познакомился, еще бывши ребенком (лет 14 отроду прочел я в первый раз «La recherche de l'inconnu»[46], печатавшееся в «Revue étrangère», французском журнале, много лет издававшемся в Петербурге книгопродавцем Белизаром) и к которому питал с тех дней самое восторженное сочувствие. Его привезла к хозяйке дачи неожиданно—по крайней мере, для гостей, собравшихся у нее в тот вечер,—богатая польская дама, г-жа Ганска, на которой



МАНЕВРЫ В КРАСНОМ СЕЛЕ 11 АВГУСТА 1848 г.
На параде в Красном селе Бальзак присутствовал летом 1843 г.
Картина маслом Г. Шварца
Военно-артиллерийский музей, Ленинград

впоследствии женился Бальзак и с которой он приехал в то время в Петербург из ее подольского имения[47]. В изящной, полной цветов и растений гостиной сидело общество за чаем, когда они вошли в комнату: плотная, чтобы не сказать толстая, невысокая женщина лет 40, с широким лицом и далеко не элегантною походкою, и за ней такой же невысокий и плотный, с длинными русыми волосами «à la moujik», по моде 30-х годов, мужчина... Я в первую минуту не поверил даже, когда—не помню теперь, кто—сидевший подле меня за столом шепнул мне на ухо: «Это Бальзак...». Бальзак, автор «Eugénie Grandet» и «Père Goriot»—этот грузный, с каким-то спящим и грубым лицом человек, «похожий на пехотного майора из бурбонов, отрастившего себе волосы, как дьякон»,—подумалось мне,—и мне сделалось как-то ужасно грустно. Не таким представляло себе мое двадцатилетнее воображение великого писателя (к тому же первого, которого

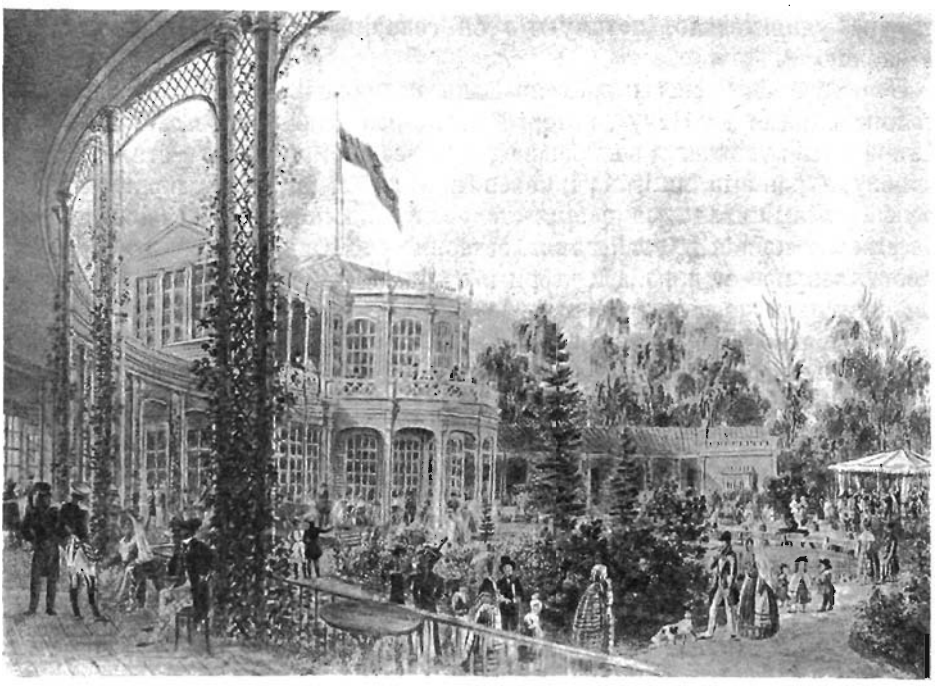
мне суждено было видеть), и, только внимательнее вглядываясь в него, признал я некоторое сходство оригинала с литографированным его портретом, который я, в пору моего студенчества, выдрал из той же «Revue étrangère» и, вставив его под стекло, повесил в моей комнате, рядом с подобным же портретом Жорж Санд, в мужском костюме и с такою же, как у него, длинною прическою... Хозяйка тотчас же представила вошедших сидевшим подле нее дамам. Начался общий разговор: дамы то и дело обращались к Бальзаку то с тем, то с другим вопросом. Он отвечал немногословными, обрывчатыми фразами, а затем и совсем замолк, насупившись, с видом более еще, чем прежде, сонным. На меня он произвел впечатление человека, не почитающего нужным метать перлы перед обществом, неспособным понимать его*, и мне в то же время стало досадно на него и обидно за всех нас. А у него, может быть, в это время просто голова болела, или ему действительно спать хотелось от утомления целого дня, проведенного, как объясняла госпожа Ганска, в обозрении всех достопримечательностей Петербурга. Спутница его зато не умолкала все время; говорила она бойко, отчетливо и чрезвычайно книжно, с удовольствием, очевидно, слушая сама себя и как бы давая понимать остальным слушающим, что она гораздо еще более, чем привезенная ею знаменитость, заслуживает быть центром общего внимания. Но о чем она говорила, я решительно не помню. Глаза мои не отрывались от Бальзака, в глазах, в улыбке которого мне упорно хотелось все отыскать «l'éclair du génie», как я выражался тогда мысленно. Но никакого éclair, кроме усталости или скуки, подметить мне было не дано. Часа через полтора-два он повел как бы молящим взглядом на г-жу Ганску. Она вняла ему и поднялась с места. Они простились и уехали.

Под таким далеко не поэтическим освещением пришлось мне увидеть этих двух лиц, отношения которых друг к другу представляют собою, между тем, весьма занимательный роман, с перипетиями, тянувшимися на пространстве более 20 лет»[49].

Приведем еще одну малоизвестную зарисовку Бальзака в эпоху его петербургского пребывания. Она принадлежит автору его некролога в «С.-Петербургских Ведомостях», где имеется и следующее описание: «...Подобно Наполеону, г. Бальзак тучнел, по мере того, как росла его слава. Когда он был у нас в России, мы видели его уже не тем поэтическим бледным юношей, о котором сейчас говорили, а веселым и румяным толстяком. Представьте себе небольшого человечка, широкоплечего, большей частью довольно худо одетого, с длинными, черными, плоскими, небрежно причесанными волосами, полным, румяным и веселым лицом, с большим смеющимся ртом и усами, с выражением лица, которое можно было бы назвать простым, если бы его маленькие, но чрезвычайно живые и проницательные глаза не придавали ему насмешливо-умного оттенка и живости. Говорят, что он имел особенный дар нравиться женщинам, и

---

* Насколько это впечатление мое было неосновательно, служит доказательством отзыв покойного Рамазанова, который несколько дней после вечера, о котором я говорю здесь, уехал из Петербурга за границу в одной почтовой карете с Бальзаком, возвращавшимся на родину. В весьма интересных воспоминаниях своих об этом отъезде своем и пребывании за границей, напечатанных в «Русском Вестнике» несколько лет назад, художник не нахвалится обходительностью, веселостью и сообщительностью обращения знаменитого спутника своего, с которым доехал до самого Дрездена, сколько мне помнится[48].



ГУЛЯНЬЕ В ПАВЛОВСКОМ КУРЗАЛЕ
На концерте в Павловске Бальзак присутствовал летом 1843 г.
Акварель В. Садовникова, 1840-е гг.
Публичная библиотека, Ленинград

БОЛЬШОЙ ПЕТЕРГОФСКИЙ ДВОРЕЦ
В Петергофе Бальзак бывал летом 1843 г.
Акварель В. Садовникова, 1845 г.
Эрмитаж, Ленинград

это не удивительно, потому что он говорил очень умно, увлекательно и изящно»[50].

Большую часть своего времени Бальзак проводил у Ганской в «голубом салоне окнами на Неву», который он не раз вспоминал в своих письмах. Его память художника воспроизводит во всех деталях «зал в стиле рококо», бронзу, экран à la Louis XVI, ковер, кресла, камин, вазы с плющом и даже белый чайный стол и самовар в столовой. Он вспоминает в своих письмах беседы «в особняке Кутайсова» и вечерние расставания, когда собеседники прогуливались от дивана к двери и от двери к дивану, никак не решаясь окончательно проститься[51].

В Париже он любуется гуашью художника Кольмана, изображающей петербургский салон Ганской, и жалеет, что акварелист не изобразил и противоположной части гостиной[52]. Здесь Бальзак читал иногда вслух свои произведения. Анна Мнишек вспоминала впоследствии эти чтения[53].

В отличие от других иностранных писателей, живших в Петербурге, Бальзак не оставил своих описаний русской столицы. Он не последовал в этом отношении по стопам Жозефа де Местра, судьба которого в России так пленяла его. В «Петербургских вечерах», как известно, дана замечательная картина летней ночи на Неве, лодок с оркестрами роговой музыки, памятника Петру, «простирающего свою повелительную руку над городом...». Это описание было полностью приведено в том французском путеводителе по Петербургу, по которому Бальзак готовился к своему путешествию. Но оно не вдохновило его на аналогичные страницы[54].

Есть все же некоторые основания предполагать, что Петербург навеял Бальзаку один художественный замысел, правда, оставшийся неосуществленным. Образ Петра, изваянный Фальконетом и Растрелли, место заточения царевича Алексея—Петропавловская крепость, которую романист ежедневно видел из окон Ганской, предания о небывалой судьбе полковой прачки Марты, ставшей российской императрицей Екатериной I,— все это отложилось впоследствии в обширный план исторической драмы об «одиноком законодателе», окруженном со всех сторон врагами. В 1847—1848 гг. Бальзак усиленно готовился создать на эту тему «шекспировскую трагедию», которая, впрочем, по условиям времени и личных обстоятельств, так и не была написана (см. ниже, гл. VI).

Не подлежит сомнению, что Бальзак уезжал из Петербурга глубоко разочарованным. Письма к Ганской по пути в Париж совершенно недвусмысленно свидетельствуют о резкой перемене его воззрений на Россию и русских. Прямым указанием на бестактность отношения к нему петербургского правительства отзывается его сообщение из Берлина:

«Гумбольдт нанес мне сегодня визит и провел у меня добрые четверть часа, имея поручение передать мне приветствие от короля и принцессы прусской. Если бы я задержался здесь на неделю, меня бы чествовали». Еще характернее следующее восклицание: «О, дорогая, принимаю все несчастия, но с вами; пусть Россия, но с вами!». Даже сравнение с антипатичной Бальзаку Пруссией — не в пользу Петербурга. «Необходимо признать, что для приезжающего из России Германия имеет особый неопределимый вид, который не объясняется еще пока волшебным словом свобода, но который можно передать выражением свободные нравы или свобода в нравах»[55].

Несмотря на свой легитимизм, Бальзак почувствовал глубокую скованность русской жизни, схваченной во всех ее проявлениях тисками страш-

ного николаевского самодержавия, не оставлявшего ни тени свободы даже в нравах, даже в частной жизни русских подданных. Вероятно, личные переживания в связи с замаскированным отказом Ганской значительно углубили эти безотрадные впечатления.

Бальзак не скрывал в берлинском обществе своего отрицательного впечатления от николаевского Петербурга. Герцогиня Дино, племянница Талейрана, с которой писатель встретился у французского посла Брессона, писала 16 октября 1843 г., что Бальзак отзывается о России «так же зло, как и Кюстин; но только он не опубликует на эту тему своих путевых впечатлений, он собирается работать над сценами из солдатской жизни, из которых некоторые разыгрываются, кажется, в России[56].

ТРОИЦКАЯ ПЛОЩАДЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
Место частых прогулок Бальзака и Ганской
Картина маслом Ф. Перро, 1840-е гг.
Собрание Э. Ф. Голлербаха, Ленинград

После Петербурга Бальзак надолго оставляет мечты о политической карьере в России. Только великое сотрясение 1848 г. вызывает некоторый рецидив этих честолюбивых проектов романиста. Рассчитывая на предстоящее возвращение Бурбонов, он ждет для себя высших почестей и отличий: «Я хочу получить высокое назначение за границу,—говорил он в 1848 г. молодому литератору Вакри,—я колеблюсь между посольством в Лондоне и посольством в Петербурге»[57]... Еще одна «утраченная иллюзия» Бальзака! Необходимо отметить, что в 1843 г. он сам со всей трезвостью отказался от таких вожделений. Покидая Россию, он оставляет в силе только планы личного счастья на Украине: писатель продолжает верить, что он станет со временем счастливым супругом владелицы Верховни. Мы увидим сейчас, что и в таком ограниченном виде проблема России не получила в биографии Бальзака желанного разрешения. Ему

суждено было вступить в нашу страну другими путями, о которых он мало думал и которые оказались самыми верными и одновременно самыми почетными.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Correspondance, II, 58.

[2] Lettres à l'Etrangère, II, 217. Гравюра эта приложена к стр. 256 путеводителя, где она носит название «Palais d'hiver et de l'Hermitage (Quai de la Cour)». См. «Guide du voyageur à Saint-Pétersbourg», 1840, 256. Бальзак в своих письмах ошибочно называет этот путеводитель «Guide de l'étranger à Pétersbourg» (см. Lettres à l'Etrangère, II, 217).

[3] Correspondance, II, 46—47.

[4] О впечатлениях Бальзака от неприглядной «изнанки Петербурга» см. у Н. А. Рамазанова (приложения к настоящей статье).—Приведем сводку погоды в день приезда Бальзака в Петербург:

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 17 ИЮЛЯ

| | Утра в 8 часов | Полдень | Пополуд. 4 часа | Вечера 8 часов |
|---|---|---|---|---|
| Баром. при 13⅓ РР . . . . . | 29,61 | 29,57 | 29,71 | 29,74 |
| Термометр Реомюра . . . . . | + 12,5 | + 12,5 | + 14,2 | + 12,0 |
| Ветры . . . . . | 0,3 слабые | 3 умер. | тоже | тоже |
| Состояние атмосферы . . . . . | пасмурно | тоже | облачно | пасмурно |

„Северная Пчела", 1843, 24 июля, № 163, 652.

[5] Lettres à l'Etrangère, II, 185, 190.

[6] «Русский Архив», 1910, II, 137. Бальзак, видимо, знал М. Д. Нессельроде. 12 января 1841 г. он просил своего издателя Суверэна «послать г-же Нессельроде экземпляр «Пьеретты» от имени Софьи Козловской» (Balzac and Souverain, 45).

[7] Общественный бойкот французского поверенного в делах, Казимира Перье, временно заменявшего посла Баранта, был вызван следующими обстоятельствами. Когда традиционное приветствие Луи-Филиппу от дипломатического корпуса в день нового 1842 г. должен был произнести представитель России, граф Пален, Николай I, считая такое выступление не соответственным своей антипатии к французскому королю, спешно вызвал Палена в Петербург. Немедленно же французское правительство отдало распоряжение поверенному в делах Франции в Петербурге, молодому Казимиру Перье, чтобы 6 декабря французское посольство не явилось в Зимний дворец поздравлять царя с его именинами под простым предлогом нездоровья его главы. Инструкция была в точности выполнена. Небывалая демонстрация произвела сенсацию в придворных кругах. Неофициальным высочайшим приказом Казимир Перье был немедленно же отлучен от петербургского общества и как бы отброшен в тесный круг дипломатического корпуса. Ни один русский не смел переступить порога французского посольства. Все балы и приемы, на которые еще до 6 декабря получили приглашение супруги Перье, были отменены. Вскоре Перье обратился к Гизо с мольбой прервать его трудное положение и предоставить ему отпуск (Guizot (F.), Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, Leipzig—Bruxelles, 1864, t. VI, 335—342).

[8] Панаев И. И., Петербургская жизнь.—«Современник», 1858, VIII; ср. Соколов П. П., Воспоминания, редакция Э. Голлербаха, Л., 1930, 324—325; «Из записок Е. Н. Львовой».—«Русская Старина», 1880, IX, 209.

[9] Lettres à l'Etrangère, II, 106—107.

[10] Письмо Ганской к Орлову из Парижа 20 января 1851 г.—«Звенья», III—IV.

[11] Lettres à l'Etrangère, III, 35, 41. Мнишек—претендент на руку дочери Ганской Анны и вскоре ее муж.

[12] Lettres à l'Etrangère, 277—278. Из других произведений Бальзака тем же комитетом были запрещены в 1829 г. «Le dernier Chouan» (д. № 248); в 1832 г. «Contes drôlatiques» (д. № 824); в 1849 г. «La cousine Bette» (д. № 1133); в 1852 г. «Maximes et pensées de H. de Balzac» (д. № 981); «Traité de la vie élégante» (д. № 1991).—Отзыв о «Livre mystique» с предложением запрещения книги в России подписан 27 февраля 1836 г. цензором В. Соцем. Комитет иностранной цензуры согласился с ним. (ЛОЦИА. Фонд Комитета цензуры иностранной. Рапорты. 1836 г., I, лл. 167—170).

доставить меня в Верховню. Благодаря заботам г. Равеля, этого самодержца жилетов и законодателя мод на Украине, я выехал в два часа в еврейской бричке...»[5].

От Бердичева оставалось 60 верст до конечной цели поездки. «Я, наконец, увидел настоящие степи,—продолжает свое описание Бальзак,—ибо Украина начинается в Бердичеве. Все, что я видел до того, ничего не стоило. Это пустыня, царство хлеба, это прерия Купера и ее безмолвие. Здесь начинается украинский чернозем и жирная почва, идущая в глубину на пятьдесят футов и ниже, которую никогда не удобряют и всегда засевают под хлеб. Этот вид навел на меня уныние, я впал в глубокий сон и лишь в половине шестого был разбужен криком израильтянина, приветствующего обетованную землю. Я увидел некое подобие Лувра или греческого храма, озолоченного солнечным закатом и господствующего над долиной—над третьей долиной, какую я видел после границы»[6].

II

Первое впечатление от Верховни вполне оправдало прежнее представление о ней Бальзака, сложившееся по рисункам и рассказам.

Еще в декабре 1840 г. Бальзак получил от Ганской большой пейзаж Верховни. «Я сам привез [от банкиров, получивших посылку],—пишет он,—этот ящик, сколоченный из северного дерева, которое, раскалываясь, распространило вокруг чудесный запах, возбудивший во мне тоску по вашей стране. Если вы отапливаетесь этим деревом, какое наслаждение шевелить жар в ваших каминах; это более, чем удовольствие... Я наслаждался, созерцая это полотно; вы мне не говорили, что у вас перед лужайкой протекает река, ни что вы обладаете целым Лувром. Все это чрезвычайно красиво, стройно, свежо; фабрики нарядны, и у нас здесь нет лучших[7]. Но как печален задний план! Как угадываешь степи и всю эту страну, лишенную возвышенностей... Взгляды мои будут теперь всегда устремлены на ваши окна и на колонны вашего перистиля, и, обдумывая мои замыслы, я буду прогуливаться по вашей лужайке» (16 декабря 1840 г.)[8].

Что сталось с парком и замком Верховни после Октябрьской революции?—вот вопрос, сильно занимающий французских литературоведов. Постараемся дать на него исчерпывающий ответ.

3 сентября 1936 г. в первом часу пополудни пишущий эти строки выехал из Бердичева в Верховню. Расстояние, на которое Бальзаку, судя по его описанию, пришлось потратить около четырех часов[9], было покрыто легковой машиной бердичевского горсовета в какой-нибудь час времени. Общий пейзаж проселочных дорог Украины мало изменился за протекшие 90 лет: остались безбрежные поля, ветряные мельницы, деревянные мосты через речки, кое-где редкие рощи, густые лужайки, по временам выбеленные мазанки и кривые улицы украинской деревни. Проходящие колхозницы называли на расспросы шофера знаменитое поместье, столь известное нам по письмам Бальзака, как и по его «Поискам абсолюта». И трудно было без волнения въезжать в живописный поселок Верховни с его широким прудом и крутой возвышенностью, плато которой занято просторным помещичьим домом, где так драматически пытался отстоять свое право на жизнь и любовь умирающий Бальзак.

В иностранной печати не раз появлялись всевозможные измышления о разрушении этого крупного культурного памятника. «Жилище это,—категорически заявляет о Верховне автор книги «Женщины в жизни

Бальзака», Жуанита Гельм-Флойд[10],—жилище, в котором все реликвии Бальзака, в том числе и портрет его, писанный Буланже, тщательно сохранялись родственниками его жены, было совершенно разрушено большевиками со всеми его художественными ценностями». Автор переведенной у нас книги «Необычайная жизнь Оноре де Бальзака», Рене Бенжамен, писал в «Echo de Paris»: «Если говорить о поместье Верховня с тем благоговением, какого оно заслуживает, необходимо признать, что большевики устроились в нем, что они его, несомненно, ограбили и опустошили и, быть может, даже зажигают свои трубки письмами Евы и Оноре»[11]. Не говоря о прочем, достаточно указать, что переписка Бальзака с Ганской находится целиком во Франции, и было бы, конечно, мудрено закуривать на Украине «люльки» документами парижских архивов. Но чего ни

УКРАИНСКАЯ ЯРМАРКА
Литография В. Штеренберга, 1840-е гг.
Исторический музей, Москва

пишут в антисоветской прессе! Гораздо удивительнее, что автор объемистой монографии о «Госпоже Ганской и творчестве Бальзака», доктор литературоведения София Корвин-Пиотровская, совершенно в таком же духе трактует эту тему: «Во что превратилась в руках представителей СССР эта великолепная резиденция?»—ставит она вопрос о современном состоянии Верховни.—«Мы знаем (?!), что в настоящее время она служит убежищем для умалишенных; быть может, она подверглась непоправимым изменениям»[12]. Ничего позорного бы, конечно, не было, если бы помещичий дом Ганской, в тридцати комнатах которого при Николае I жила семья из трех душ, превратился теперь в психиатрическую лечебницу, где получали бы излечение сотни душевнобольных. Но дом Верховни служит теперь другой, не менее жизненной и прекрасной цели: он превратился в специальную школу, в которой потомки бессловесных рабов знаменитой польки получают широкое образование и становятся полноценными, куль-

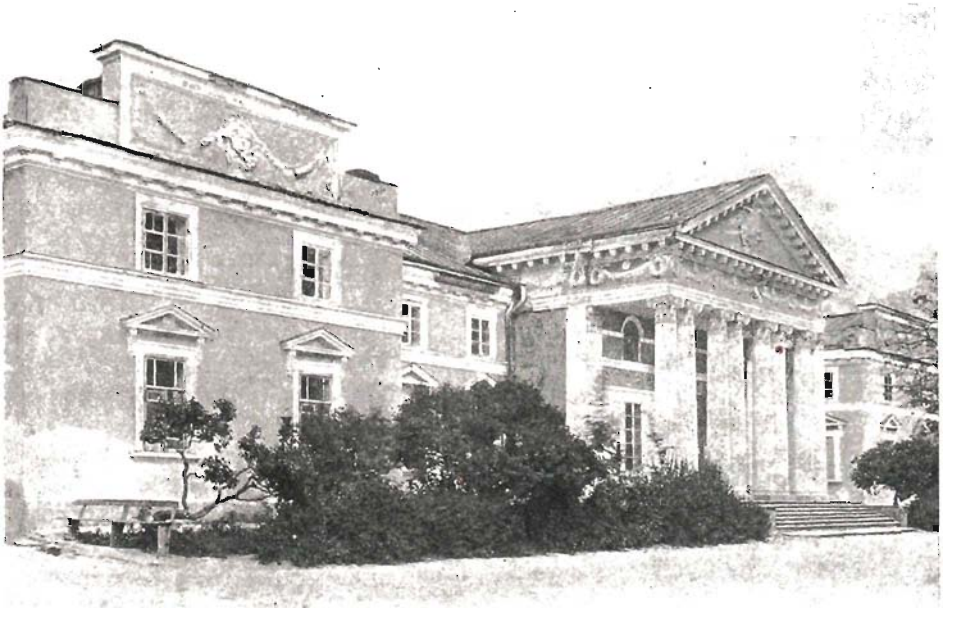
турными работниками своей социалистической родины. Гостиные и приемные покои Ганских стали аудиториями агрономического факультета «Верховенского сельскохозяйственного техникума полеводства» с четырехгодичным курсом, выпускающего агрономов для колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций. Заместитель директора по учебной части техникума, Ф. М. Пахроменко, ознакомил меня с программой этой превосходно организованной школы и был моим гидом по отлично сохранившемуся зданию. Я как раз застал в ходу ремонтные работы по реставрации лепных украшений фасада, местами обветшавших от времени. Сопровождавший меня фотограф И. Я. Бродецкий произвел ряд снимков с дома Эвелины Ганской, по которым можно видеть, как старинный лепной орнамент, зарисованный на гравюрах середины прошлого столетия, тщательно сохранен от всех разрушений времени и погоды.

Помещичий дом в Верховне был построен, вероятно, около 1800 г. в ампирном стиле, который, как известно, начал создаваться еще до «Наполеоновской империи», с первых же лет Французской революции. Колоннада с коринфскими капителями и лепным фронтоном украшает фасад двухэтажного здания шириною в тринадцать окон. В здании выдержаны растянутость всего корпуса, столь характерная для ампирных зданий, однородность фасада, вытянутость стен, их гладь и линейность[13]. От главного корпуса идут вглубь два крыла, украшенные скромным орнаментом из медальонов и гирлянд. В доме около тридцати комнат, что было более чем достаточно для семьи Ганских, но не совсем оправдывало гиперболическое и вполне бальзаковское сравнение Верховни с Лувром. Согласно фамильным преданиям, здание было воздвигнуто либо итальянскими архитекторами, либо французом Блерио[14]. Но мы знаем, что в русских поместьях было принято возводить архитектуру «дворянских гнезд» к знаменитым именам итальянских зодчих (над чем подсмеивался Тургенев). На самом деле, эти просторные и изящные здания строились обычно талантливыми местными архитекторами, часто крепостными зодчими. Весьма вероятно такое именно архитектурное происхождение и верховенского дома, вопреки всем легендам о его франко-итальянских строителях.

Бальзак был в восхищении от своего помещения. В ноябре 1847 г. он сообщает своей сестре: «У меня восхитительная квартирка, состоящая из гостиной, кабинета и спальной; кабинет отделан розовым гипсом; в нем камин, роскошные ковры и удобная мебель; в окнах зеркальные стекла, так что я могу охватить взглядом весь пейзаж. Можешь по этому судить, что представляет собою этот верховенский Лувр, где имеется еще пять или шесть таких же аппартаментов для гостей»[15].

Старый щвейцар здания, Семен Романович Шевчук, служивший у последних Ржевусских и запомнивший все фамильные предания, повел нас в «квартиру Бальзака». Ее сейчас же узнаешь по описаниям самого романиста в его украинских письмах. Мы поднялись по внутренней деревянной лестнице на второй этаж; невольно возникали в сознании столь печальные упоминания этих маршей в письмах безнадежно больного романиста: «Я не могу одолеть двадцати ступеней» и проч.[16] С площадки лестницы—вход в «гостиную» Бальзака. Три его комнаты—салон, кабинет и спальня—находятся в левом крыле здания (если стать к нему лицом), на втором этаже. Главный фасад дома, куда выходят два окна гостиной романиста и одно окно его кабинета, обращен на юг; левый боковой фасад, куда

выходят окна кабинета и спальной писателя, обращены на запад; в этих окнах сохранились цельные зеркальные стекла, о которых упоминал в своих письмах Бальзак. Квартира его расположена наиболее благоприятно—она занимает юго-западную часть строения, т. е. наиболее обеспеченную солнцем. В кабинете, отделанном теперь под мрамор, сохранился старинный угловой камин, перед которым отогревался от украинских морозов и ветров утомленный и хворый гость владелицы замка. Здесь Бальзак заканчивал «Человеческую комедию». Из окон расстилается и теперь вид на лужайки, заросли парка, далекие поля,—безбрежная панорама, которою писатель восхищался в своих письмах к родным.



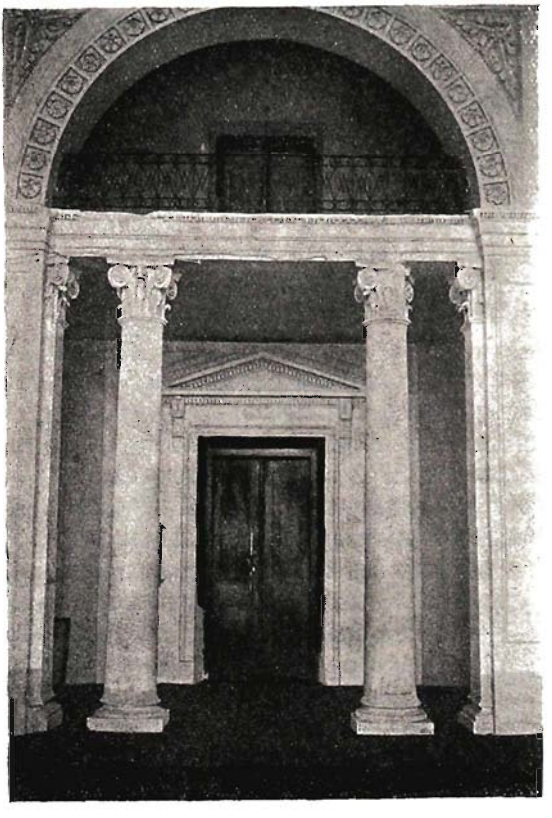
ГЛАВНЫЙ ФАСАД ДОМА В ВЕРХОВНЕ
Крайние окна второго этажа (слева)—гостиная и кабинет Бальзака
С фотографии, принадлежащей „Литературному Наследству"
Снято в сентябре 1936 г.

Отсюда Бальзак спускался по вечерам в приемные комнаты, столовую, большой зал в два света, с хорами. Лепной карниз зала поддерживается широким фризом с барельефами на мифологические темы игр и плясок. Зал выходит на второй перистиль здания из шести колонн, откуда раскрывается весь старый парк с его глубоким оврагом, пересеченным старинным мостом довольно необычной архитектуры. Недалеко от дома в саду белеет стройная часовня—«Вержховенска каплица», где похоронены Вацлав Ганский и его малолетние дети. Все постройки самого конца XVIII или начала XIX в.—главное здание, служебные корпуса, часовня, мост—находятся в полной сохранности. Парк, конечно, сильно разросся, и в настоящее время было бы невозможно воспроизвести главный фасад здания en face, как на старинных гравюрах бальзаковской эпохи,—он почти совершенно скрыт листвой широко раскинувшихся деревьев.

## III

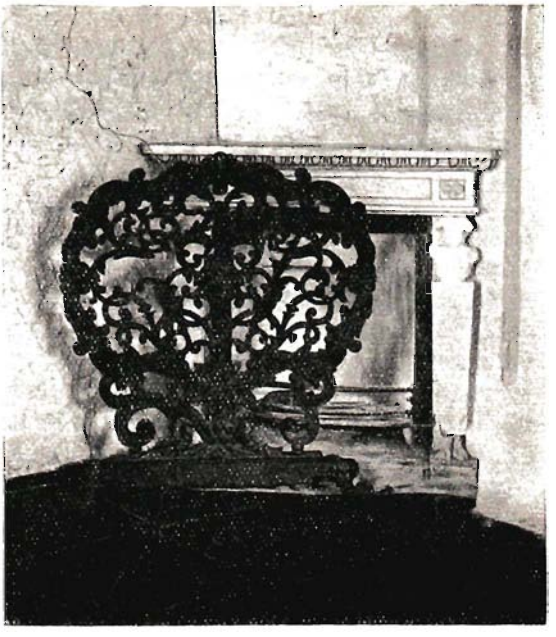
На Украине Бальзак мог непосредственно ознакомиться с некоторыми социально-политическими явлениями, издавна занимавшими его,—именно здесь он мог увидеть те крупнейшие земельные владения, каких уже не было во Франции. Дробление больших поместий после Французской революции, замена богатейших помещиков незначительными собственниками, появление средней и мелкой буржуазии, которая повела беспощадную борьбу с земельными аристократами,—все это, как известно, чрезвычайно волновало Бальзака.

Еще в эпоху Реставрации, в 1824 г., он написал статью в защиту майоратов («Du droit d'ainesse»). Он указывает в ней, что исключительное право старшего сына наследовать в земельном имуществе отца восходит к феодальному праву, которое закрепляло плоды побед за теми, кто завоевал территории, и в силу этого оказалось первым условием установления монархии во Франции. Оно остается, по мнению Бальзака, главной основой сильной королевской власти и вернейшим источником всякого социального благополучия. Даже литература, по его словам, может процветать только под сенью больших состояний, сосредоточенных в руках знаменитых фамилий. Система концентрации крупных земельных имуществ в руках знати является, таким образом, основой государственного могущества и культурного процветания нации. Система же дробления земельных имуществ раскрывает «грозную перспективу новой революции». Обеднение земельной аристократии, превращение «великих землевладельцев» через два-три поколения в мелких буржуа представляет величайшую полити-



БОЛЬШОЙ ЗАЛ С ХОРАМИ В ВЕРХОВЕНСКОМ ДОМЕ
С фотографии, принадлежащей „Литературному Наследству"
Снято в сентябре 1936 г.

КАМИН В КАБИНЕТЕ БАЛЬЗАКА В ВЕРХОВЕНСКОМ ДОМЕ
С фотографии, принадлежащей „Литературному Наследству"
Снято в сентябре 1936 г.



ческую опасность для королевской Франции. Внуки богатейших помещиков окажутся лишенными избирательных прав, погрузятся в бесцветное и бесславное прозябание, от чего промышленность и искусства придут в полный упадок, иссякнут таланты, и прежняя единодержавная власть станет достоянием многих, если не всех. Это приведет к порабощению нации. Единственное средство сохранения и упрочения наследственной монархии заключается в системе поддержки крупной земельной аристократии на основе права старшинства[17].

Июльская революция нисколько не видоизменила этих воззрений романиста и даже, вероятно, способствовала их дальнейшему развитию и углублению. Мы знаем, что в начале 30-х годов, в момент его первого знакомства с Ганскими, ему пришлось обратиться к этим именно темам.

В 1834 г. в Женеве, сообщает историк произведений Бальзака Шпульберк де Лованжуль, Ганская обратилась к романисту с просьбой написать для нее и для ее мужа два романа: «Католический священник» и «Крупный помещик». Бальзак ответил на эту просьбу «Серафитой» и «Крестьянами»[18]. Католическая тема занимает Бальзака, помимо «Серафиты», посвященной Эвелине Ганской, еще в «Деревенском враче», «Сельском священнике», «Изнанке современной истории» (частично написанной в имении Ганской). Роман «Крестьяне», о котором сохранился, как мы видели, отзыв Маркса[19], является самым крупным социальным романом Бальзака. Сам он писал о его главной идее Теофилю Готье в 1839 г.: «Роман «У кого земля, у того война» (первоначальное заглавие «Крестьян») представляет собою борьбу в глубине деревень крупных помещиков с пролетариями и деморализацию последних в результате их отказа от католического учения».

Бальзак в этой книге исходит из положения, что страна неразрывно связана с территорией, что народ ведет беспрестанную борьбу за завоевание земли и что подлинное овладение почвенными богатствами возможно только на основе крупной земельной собственности («la grande propriété»).

Герой романа, генерал Монкорне, приобрел огромное поместье, приносящее доход в 60 000 ливров. В управление своим имением он вносит всю суровость военной дисциплины, с целью достигнуть высших результатов в своей хозяйственной деятельности и тем наилучшим образом послужить своей стране. Но мелкие собственники, завидующие состоянию Монкорне, привлекают на свою сторону крестьян, не понимающих, что их, якобы, подлинный враг—это ничтожные буржуа, стремящиеся стать крупными помещиками. В результате напряженной борьбы мелкие собственники, сумевшие резкими нападками на власть и богатство привлечь на свою сторону крестьян, побеждают крупного владельца. Генерал Монкорне покидает свое поместье, которое захватывает целая свора мелкопоместных хищников. А с исчезновением крупного землевладения возникают непреодолимые трудности для эксплоатации земли.

В посвящении своих «Крестьян» Бальзак называет это произведение самым значительным из всех своих творений. Историк его произведений, Шпульберк де Лованжуль, разделяет это авторское мнение: «„Крестьяне“,—пишет он,—вот, вероятно, самый замечательный шедевр из всех написанных Бальзаком; именно здесь он показал взаимоотношения разных классов французского общества и подлинное положение крупных земельных собственников». Первая версия этого произведения так и была озаглавлена: «Le grand propriétaire» («Крупный землевладелец»). Затем следовали другие, также весьма характерные заглавия: «Qui terre a, guerre a» («У кого земля, у того война»), «La cabane et le château» («Хижина и замок») и, наконец, «Крестьяне» (под этим заглавием начало романа появилось в газете «La Presse» в декабре 1844 г.).

В предисловии, или, вернее, в посвящении, к своему роману Бальзак со всей точностью сформулировал свой основной замысел. Он возражает против деятельности новейших партий, призывающих к восстанию рабочих, как в свое время их предшественники возбуждали третье сословие. «Никто из этих Герострáтов не нашел в себе мужества отправиться в глубь деревень, чтобы изучить на месте постоянный заговор тех, кого мы еще называем слабыми, против тех, кто еще считает себя сильными, т. е. крестьянина против помещика... Среди головокружения от демократических идей, которое захватило стольких ослепленных писателей, не следует ли, наконец, изобразить крестьянина, который лишает значения самый свод законов, сообщая крайнюю зыбкость праву собственности? Я покажу вам этого неутомимого землекопа, этого грызуна, который разрывает на части почву, ни на минуту не прекращает ее дележа и превращает арпан земли в сотню отрезков, побуждаемый к тому мелкой буржуазией, превращающей его в своего помощника и одновременно в свою добычу. Этот антисоциальный элемент, созданный революцией, когда-нибудь поглотит буржуазию, как буржуазия поглотила дворянство. Возвышаясь над законом в силу своего ничтожества, этот Робеспьер об одну голову и сотню миллионов рук безостановочно действует, притаившись во всех общинах, утвердившись в муниципальных советах, вооруженный во всех кантонах Франции в качестве национального гвардейца, каким он стал после Июльской революции, которая забыла, что Наполеон предпочел свое крушение вооружению масс»[20].

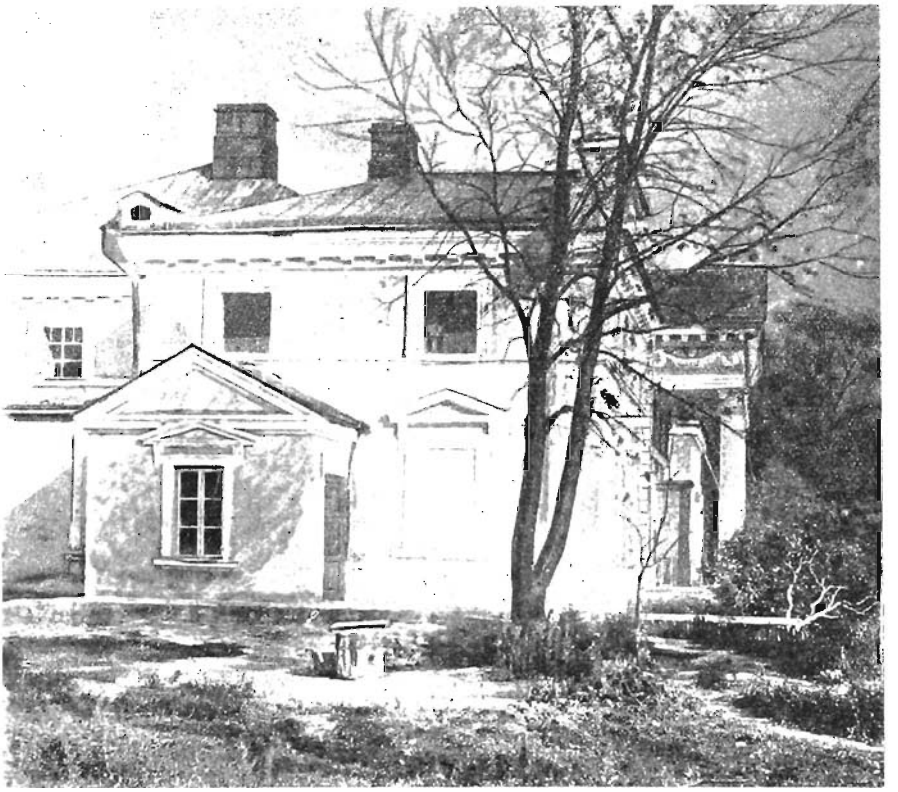
Эта именно преданность Бальзака порядкам старого режима не только в политическом, но и в социально-экономическом плане обратила его «русские планы» от Петербурга к Украине, от императорской столицы

к безбрежному «океану пажитей», от посольств и министерств, которые оказались для него закрытыми, к латифундиям Ганских, где он мог стать, по его собственному выражению, «украинским принцем Альбертом».

Площадь одной Верховни равнялась 21 000 гектаров земли. В 30—40-е годы в деревне насчитывалось 3035 крепостных душ одного мужского пола. В помещичьем доме было 300 дворовых. А помимо Верховни, Ганским принадлежали такие же обширные поместья — ключ Гарностайпольский, ключ Пулинский и имение Павлоч, купленное Ганской в 1833 г. у ее брата Эрнеста.

Это была поистине grande propriété, столь ценимая Бальзаком.

Писатель восхищен хозяйственными масштабами украинских землевладельцев: «Поместье [Ганских] величиною в наш департамент. Мы не представляем себе протяженности и плодородия этих земель, которые никогда не удобряются и ежегодно засеваются хлебом. Хотя молодой граф [Мнишек] со своей юной графиней [Анной Ганской] обладают вдвоем двадцатью тысячами крестьян мужского пола—или около того,—что составляет сорок тысяч душ, потребовалось бы четыреста тысяч [sic!] человек, чтобы возделывать все эти земли. Здесь засевают лишь столько, сколько можно собрать... Несмотря на плодородие почвы, превращение сырья в деньги чрезвычайно затруднительно, ибо управители воруют, и нехватает рабочих рук для молотьбы хлеба (который здесь молотят машинами). И, тем не



ВХОД В КВАРТИРУ БАЛЬЗАКА В ВЕРХОВЕНСКОМ ДОМЕ
Два верхние окна (справа) — спальня и кабинет Бальзака
С фотографии, принадлежащей „Литературному Наследству"
Снято в сентябре 1936 г.

менее, мы не имеем представления о богатстве и мощи России; нужно это видеть, чтобы поверить. Это могущество и это изобилие—целиком в земле, и это обстоятельство превратит со временем Россию в хозяйку европейского рынка по сельским продуктам»[21]. «Ты не в состоянии вообразить себе,—пишет он своему зятю Сюрвилю 9 февраля 1849 г.,—неисчерпаемые богатства этой обширнейшей империи. Россия и Англия—вот две единственные подлинные силы, причем мощь Англии создана искусственно, а Россия непосредственно владеет огромными запасами сырья для всех видов промышленности»[22].

В одном из последующих писем эта мысль приобретает политический оттенок. «Англия обязана своим благосостоянием феодальному закону, который предоставляет родовые земли и замки старшему в семье. Россия опирается на феодальное право самодержавия. Вот почему обе эти страны находятся сегодня на пути поразительного процветания»[23].

Впоследствии, уже незадолго до смерти, прожив около года на Украине, Бальзак писал 18 декабря 1849 г. своему издателю Суверэну: «Ни одна страна в мире не может сравниться спокойствием с той, в которой я теперь живу, и только ее могущество можно сопоставить с безопасностью жизни в ней. Я сильно опасаюсь, что наша бедная страна долго не сможет достигнуть такого великолепного благополучия. Россия—богатейшая в мире страна, она особенно поражает размерами своей торговли»[24].

Бальзак восхищается и Верховней Ганских, и Вишневцом Мнишков, где он неоднократно гостил. У мужа Анны Ганской, по словам Бальзака, «необъятное имение величиной в департамент Сены и Марны, орошаемое тремя реками—Днепром, Припетью и Тетеревом», а замок его на Волыни представляет собою «Польский Версаль». Он дарит своей жене четверик восточных жемчужин из приданого «царицы» Марины Мнишек.

Историческое поместье Вишневецких в тогдашней Волынской губернии, действительно, славилось своим дворцом, построенным в первой половине XVIII в. одним из видных представителей рода—князем Михаилом-Сервацием. Здание было сооружено, под его личным наблюдением, в сложном архитектурном стиле, сочетающем конечный период французского Ренессанса с приемами конструкции и орнаментикой начала XVIII в. Вишневецкий замок стал средоточием замечательных художественных коллекций—картинной и портретной галлерей, богатейшей библиотеки, собрания ценных рукописей, гербовников и пр. В эпоху посещения Вишневца Бальзаком все эти ценности еще были в сохранности (только в 1852 г. Юрий Мнишек вывез значительную часть картин и книг в Париж).

Бальзак восхищен размахом русско-польского быта: «В Верховне можно иметь у себя дома все виды промышленности: здесь свой пекарь, обойщик, портной, сапожник, прикрепленные к усадьбе. Я понимаю теперь потребность в трехстах дворовых, о которых говорил мне в Женеве покойный г. Ганский, к услугам которого был целый оркестр»[25].

Впрочем, он отмечает и некоторые противоречия быта: «Рядом с величайшей роскошью ощущаешь недостаток в самых обыкновенных предметах европейского комфорта... Это поместье—единственное, обладающее карселевыми лампами и больницей. Зеркала здесь в десять футов, а стены без обоев...». В другом письме он сообщает: «Мы отапливаемся здесь соломой (а Верховня—дворец). В неделю здесь сжигают в печах все количество

УГОЛОК ПАРКА В ВЕРХОВНЕ И СТАРИННЫЙ МОСТ
С фотографии, принадлежащей „Литературному Наследству"
Снято в сентябре 1936 г.

соломы, какое можно увидеть в Париже на Сен-Лоранском рынке». Его поражает медлительность жизни и сообщений: «Почту отправляют с верховым в Бердичев, т. е. за 60 верст...».

Мнишки привезли Ганской в подарок Грёза, Ватто, Ван-Дейка, Кранаха, Каналетти, предназначенных для парижского особняка супругов Бальзак. «Какие сокровища в этих знатных польских домах! Поразительно, как такие ценности здесь уживаются с варварством»[26].

На Украине, как известно, возник один из любопытнейших деловых планов Бальзака. Зять Ганской, граф Мнишек, богатейший юго-западный землевладелец, насчитывал в своем поместье двадцать тысяч десятин строевого леса и мог в любую минуту продать шестьдесят тысяч дубовых стволов. Имение его было расположено у самой русской границы, т. е. у начала галицийской дороги, ведущей к краковской железнодорожной колее, откуда с помощью Рейна и Эльбы нетрудно было бы доставить товар в Париж. Франция нуждалась в огромном количестве дубового леса для постройки железнодорожных путей. Бальзак отправляет спешный запрос своему зятю Сюрвилю: сколько должна стоить перевозка этого груза из России во Францию? Что стоят в Париже 60 000 дубовых стволов длиною в 10 футов каждый, из которых можно сделать 60 000 балок и столько же железнодорожных шпал? Если каждый дубовый отрезок принесет только двадцать франков прибыли, это составит, по расчету Бальзака, барыш в один миллион двести тысяч франков.

Родственники Бальзака, повидимому, признали это предложение обычной для него фантазией и отклонили сделку. Будущее, однако, оправ-

дало в этом проекте великого романиста и доказало правильность его деловых расчетов[27].

Фрибургский профессор, доктор Гааз, написал в 1902 г. письмо в газету «Temps», в котором сообщал: «Лет 15 тому назад Броды были куплены тремя торговцами леса из Лемберга за 800 000 австрийских флоринов. После среза леса одна южногерманская фирма приобрела Броды за 3 600 000. Не превосходят ли значительно эти цифры воображение Бальзака и не доказывают ли верность его деловых соображений?»[28].

Но не один лес привлекает внимание Бальзака. Он непосредственно осматривает хозяйственное обзаведение Верховни, посещает фабрику, гумно, плотины, изучает, наблюдает, строит выводы и проекты. Он, как всегда, отлично запоминает цифры и предлагает разумные нововведения. «На-днях я отправился на верховенский фольварк[29], где складывают скирды и молотят хлеб машинами; и вот для одной этой деревни было собрано двадцать скирд в 30 футов вышины, на 50 шагов длины и 12 ширины. Но воровство управителей и расходы сильно снижают прибыль. Мы не представляем себе во Франции здешнего быта». Фабричное производство имения вызывает его пристальный интерес: «... Здесь отличная суконная фабрика. Мне шьют из здешнего сукна шубу на меху сибирской лисы, чтобы я мог провести зиму, и сукно это не хуже французского. Здесь выделывают десять тысяч штук сукна в год»[30].

Бальзак выступает и в качестве хозяйственного культуртрегера. Еще в 1837 г. он писал своей подруге: «Скажите г. Ганскому, что я нашел способ выращивать марену в России»[31]. Он пытается теперь привить киевскому хозяйству некоторые европейские открытия и методы. Его ужасают русские плотины из смеси соломы с землей. Он выписывает из Парижа книгу о способах производства бетона и водоустойчивой извести.

При этом интересе к хозяйственным целям и производственным накоплениям крупного поместья Бальзак наблюдал русских крестьян лишь мимоездом, из своей кибитки. Они производили на него впечатление счастливого и веселого населения. «...Я видел группы крестьян и крестьянок, идущих на работу или возвращающихся с поля весело, беззаботно, почти всегда с пением»... Бальзак сравнивает их с французским крестьянством, гораздо менее, по его мнению, счастливым. «И это вполне естественно: когда я узнал об условиях существования русских и польских крестьян, я превосходно понял причину их счастья. Без малейшего парадокса можно утверждать, что русский крестьянин во сто раз более счастлив, чем двадцать миллионов французского народа, т. е. тех, которые не считаются богачами и, если хотите, состоятельными людьми». Бальзак описывает розовыми красками барщину и заключает: «Вот почему крестьянин живет с беззаботностью ребенка. Его кормят, ему платят, и рабство, нисколько не представляя для него зла, становится для него источником счастья и покоя»[32].

Об этом же Бальзак пишет С. С. Уварову, в ответ на письмо, незадолго перед тем полученное от него.

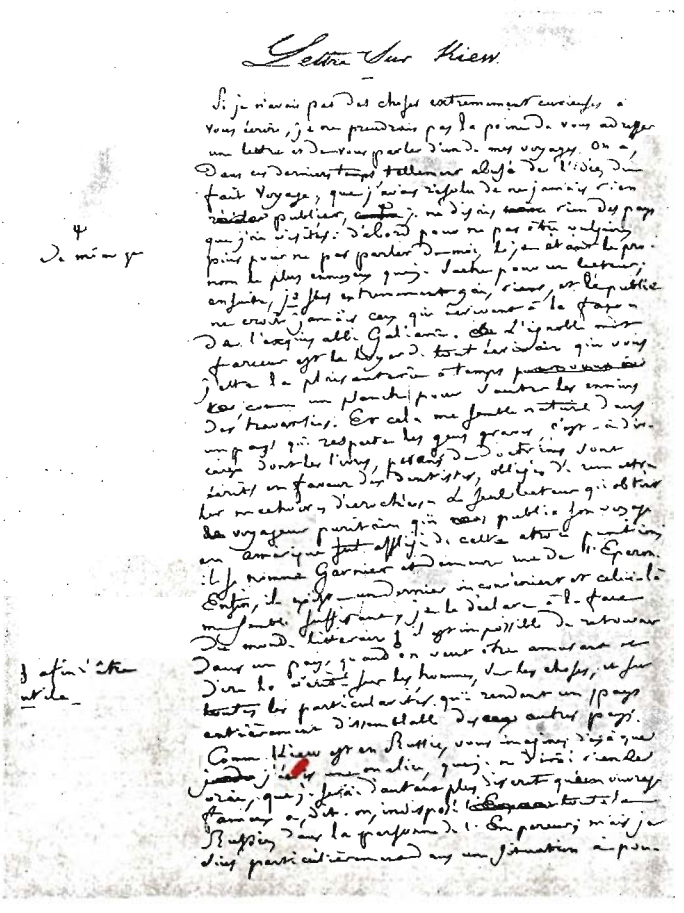
*Перевод:*

Октябрь 1847 г., Верховня

Граф,

Я только что вернулся из Киева, где оказанный мне прием дал мне понять, как много я обязан вашему сиятельству, без сомнения, столь

быстро и столь лестно рекомендовавшему меня властям этого великого русского Рима. Поистине, я готов допустить, что автор «Похвалы Гёте» соизволил увидеть во мне своего собрата. Несколько дней перед тем я получил ваше любезное письмо, которым вы удостоили меня, в ответ на сообщение, какое я имел честь написать вам из Парижа; но, проделав весь путь от Парижа до Верховни всего в одну неделю, я был лишен возможности немедленно же выразить вам свою благодарность, так как должен


Lettre sur Kiew

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ БАЛЬЗАКА „LETTRE SUR KIEW"
Собрание Лованжуля, Шантильи

был несколько оправиться от дорожной усталости. Быстрота передвижения помешала мне воспользоваться вашим любезным покровительством на границе; но тот же счастливый случай, который свел меня в пути от Парижа до Брод с несколькими услужливыми путешественниками, ставшими моими переводчиками, внушил мне еще до отъезда мысль взять записку у г-на Киселева к начальнику таможенного округа пограничной стражи в Радзивиллове. Г-н Гаккель оказал мне широкое гостеприимство, вполне достойное России, и облегчил мне возможность доехать до здешних мест. Так как приходится применяться, будучи французом, к обычаям страны, в которую едешь, то я проделал весь путь в простой кибитке, но едва ли

не с быстротой самого императора. Я был очень рад узнать, что мои друзья находятся от меня на расстоянии всего только 6 дней пути, так как перерывы железнодорожной колеи от Гамма до Ганновера и от Масловца до Кракова, заставившие меня потерять 48 часов, теперь уже застроены. В настоящее время шестидневный путь соединяет Париж с Бердичевым, и, следовательно, из Парижа в Одессу можно попасть в три раза скорее паровозом, чем из Марселя в Одессу пароходом. Что получится в результате этого неожиданного сближения двух великих держав? Боюсь, как бы они не создали ряд малых.

Очутившись впервые в этой части вашего огромного государства, я, вероятно, не вызову вашего удивления, граф, сообщив вам, как велико было мое изумление, когда вместо той пустыни, о которой до сих пор со времени рокового для нас 1812 г. с ужасом вспоминает Франция, я увидел великолепную Beauce* в 60 лье длины и не знаю какой ширины, неисчерпаемую по своему плодородию; и если Beauce является Украиной Парижа, то вы обладаете здесь Beauce Европы. На своем пути я видел группы крестьян и крестьянок, идущих на работу или возвращающихся с поля весело, беззаботно, почти всегда с пением; так как едва ли для меня устроили театральное шествие крестьян, подобно тому, как Крым был населен Потемкиным для Екатерины, то, наслаждаясь этим разлитым повсюду глубоким покоем, проезжая по деревням без нищих, я невольно сравнивал этот живой и благоденствующий организм с истощенной Галицией, кричащей о милостыне всеми своими костями, и я не удивлялся желанию многих галичан видеть императора России своим повелителем... Но, как говорят во Франции о монетах в пять су, не будем касаться политики. Как видите, я увлекся беседой с высокопоставленным лицом, забыв в порыве благодарности и глубокой признательности, что говорю с министром.

Надеюсь, что ваше сиятельство простите мне это и примете уверения в глубоком почтении, с которым я имею честь пребывать

вашим преданнейшим и покорнейшим слугой

де Бальзак[33]

Так выражает Бальзак воззрения усадебных гостиных, в которых протекает его жизнь.

В доме Ганских крепостных пороли за малейшую провинность. Бальзак об этом знал, но не приходил в ужас от этих рабовладельческих обычаев. Он просит сестру, из Верховни в ноябре 1847 г., подтверждать получение каждого его письма, «потому что гонцы напиваются, теряют письма, и хотя их за это секут, но корреспонденцию уже не воротишь»[34].

Так за изящным фасадом верховенского замка и прелестными пейзажами усадьбы развертывались ужасающие картины рабовладельческого быта.

Изучим по неизданным материалам этот социальный фон последней главы из биографии автора «Крестьян».

## IV

Киевский и волынский помещик, Вацлав Ганский, произвел на Бальзака весьма благоприятное впечатление. Судя по письмам романиста,

* La Beauce—обширная область Франции, орошаемая Сеной, Луарой, Вокулером и др., представляет собой равнину, почти сплошь засеянную под хлеб. Славится своим плодородием и считается «житницей» Франции.—*Л. Г.*

это был культурный и внешне воспитанный человек; он собирал автографы знаменитых людей, увлекался музыкой Россини, внимательно читал произведения французского писателя, ставшего другом его семьи, ценил его «Смехотворные сказки» и «Деревенского врача», вел с ним беседы о европейской политике. В мае 1836 г. он посылает Бальзаку ценную малахитовую чернильницу, а для утоления страсти своей дочери к чтению «истощает для нее книжные лавки Петербурга». Бальзак сочувственно отзывается об этом «достопочтенном украинском маршале»[35].

Иным изображают его фамильные предания и архивные документы о крестьянском движении на Украине. Его племянник (по жене), Станислав Ржевусский, рисует его «мстительным и суровым помещиком, чье ненавистное имя остается до сих пор на Украине синонимом жестокости; он,

ОБЩИЙ ВИД ВИШНЕВЕЦКОГО ЗАМКА
Во время своих поездок на Украину Бальзак останавливался в поместье Мнишков, Вишневце
С фотографии 1900-х гг.

видимо, был, как и многие другие в ту крепостную эпоху, свирепым и скаредным тираном»[36].

Архивные материалы вполне подтверждают эту характеристику. Из официальных документов явствует, что крестьяне Ганского были обременены непосильной работой, подвергались жестокой эксплоатации, хищническим оброкам и налогам. Сам хозяин всячески уклонялся от принятия жалоб от крестьян, отказывался разговаривать с ними, и установленный режим беспощадно проводил его родственник, Кароль Ганский, управлявший его поместьями. Большое количество крестьян находилось в бегах, другие восставали против власти помещика, подвергались заключению в острог, избиению плетьми и другим тяжким карам. Характерен следующий документ из секретной части канцелярии киевского генерал-губернатора[37]:

«Крестьяне помещика Вацлава Ганского, имеющие жительство Радомысльского уезда в деревнях, относящихся по управлению к Гарностайпольскому так называемому ключу, постепенно беднеют и разоряются, особенно со времени польского бунта, в который крестьяне Вацлава Ган-

ского, по примеру прочих соседних крестьян, представляли своих управляющих и экономов связанными к военному губернатору. Весьма многие, прежде хорошие хозяева, имеющие довольство в хлебе и скоте, до того разорились, что ни одного вола не имеют во дворе, и хлеба собственного после жатвы не достанет у них и на три месяца. Два или три человека только в деревне найдется, у которых достает хлеба до новой жатвы. Причиною тому: крайнее утеснение работами, так что всегда почти по целым неделям держат на работах помещичьих всякого из крестьян, кто может работать, и поэтому они не имеют времени заняться своим хозяйством. Управляющий имением, Кароль Ганский, после бунта польского отобравший хорошие участки земли, которыми издавна пользовались крестьяне, в пользу помещика, заменил самыми бедными в истребленных лесах и болотах. В этом году требовали подушного оклада от всех крестьян и за единолетних мальчиков. В зимние вечера налоги сильные бывают на пряжи для женщин, так что дают третью долю льна или конопли, а требуют пряжею еще двух частей. Маленьких детей связанными гоняли в поле для работы. От крайнего притеснения многие крестьяне находятся в бегах—и притом большая часть таких, которые оставили свое семейство и бедное хозяйство, не находя способов поддерживать его... Если же удавалось управляющему иногда беглых словить, то ограбя донага и в кандалах по полугоду держал на своих работах».

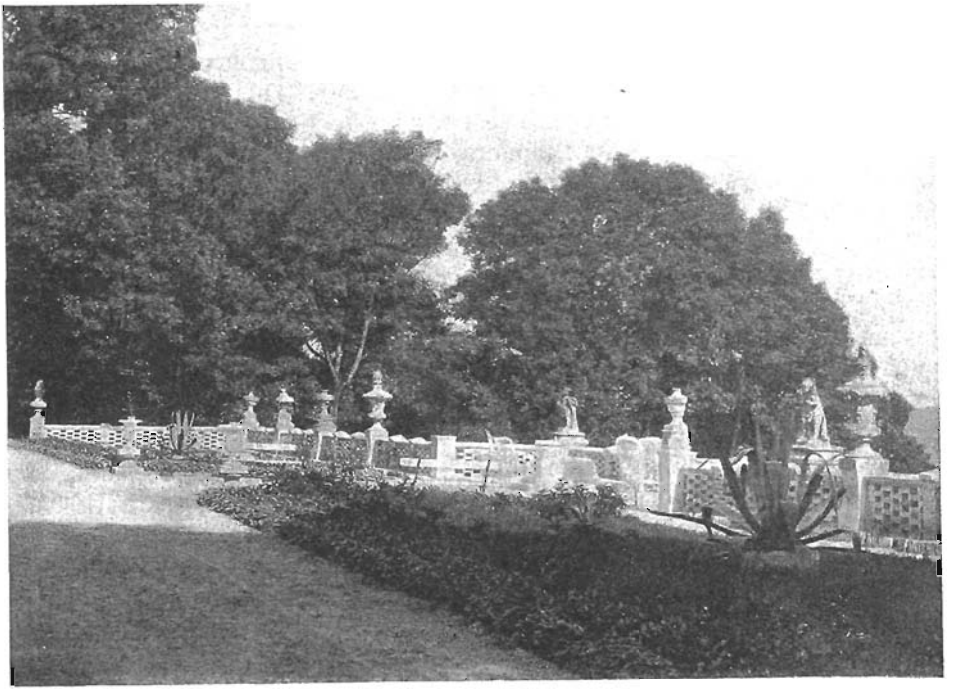
Такое обращение с крестьянами вызывало глухое брожение, нередко прорывавшееся открытыми возмущениями [38].

Ганский принимал «все меры к обузданию» непокорных, но тщетно. Так, 15 февраля 1839 г. произошло возмущение «с явным уклонением от повинностей и зависимости владельческой власти»; когда один из крестьян был взят под арест, он был освобожден насильственно двадцатью другими. «10-го прошлого апреля бывшие на работе с топорами 112 человек при требовании от них топоров в обеспечение, что они выйдут на работу в следующий день, собравшись в карре и держа топоры в руках, воскрикнули к двум бывшим при них экономам: „Идите, берите, коли хочете смерти“». Суд постановил обвиняемых крестьян, «наказав при полиции через нижних ее служителей каждого сорока ударами плетьми, водворить на месте жительства, внушив им и всем крестьянам гарностайпольского имения должное помещику Ганскому и его экономии повиновение».

Таков был на Украине—в поместьях друзей Бальзака—подлинный быт крепостных, который представился романисту таким радостным, беззаботным и счастливым.

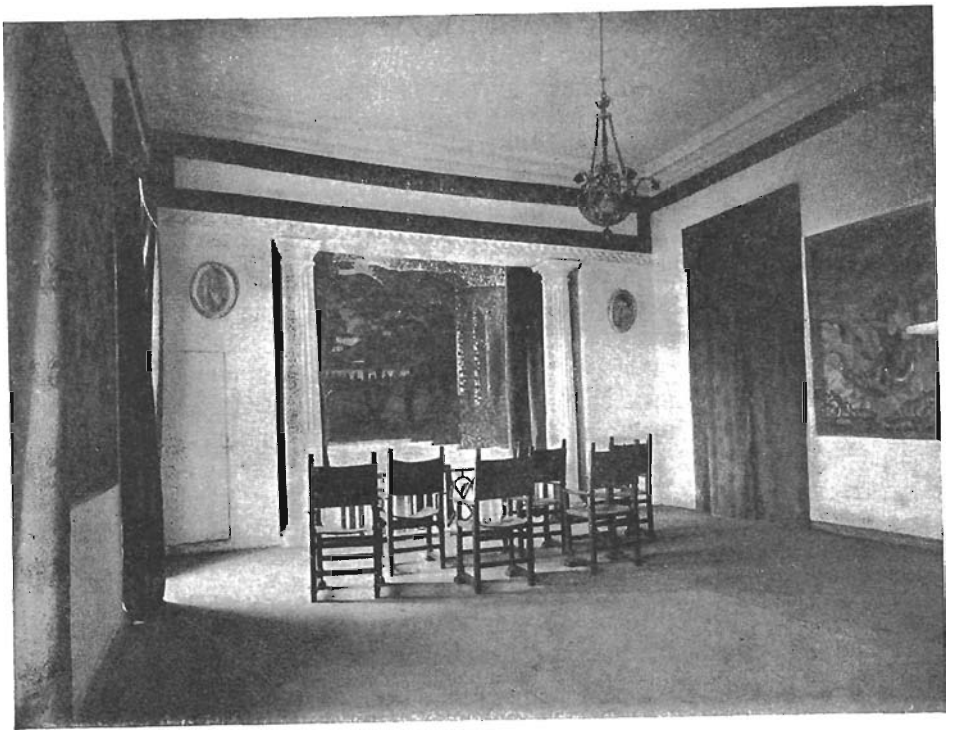
## V

В помещичий дом Верховни, где обитатели предавались полной праздности, Бальзак внес начало труда и некоторые принципы рабочего режима. За четыре месяца, которые он здесь провел (октябрь 1847—январь 1848), он усиленно писал, словно чувствуя, что заканчивает свою литературную деятельность. «Я здесь работаю, как в Париже»,—пишет он родным. Он сообщает о своем режиме в Верховне: «Так как в настоящее время я много работаю, чтобы опубликовать по возвращении рукопись и уплатить долги, я завтракаю у себя и схожу вниз лишь к обеду; но обе дамы и граф Юрий наносят мне маленькие визиты. Здесь совершенно патриархальная жизнь, без малейшей заботы» (ноябрь 1847 г.)[39]. И действительно, за этот краткий срок своего первого пребывания в Верховне Бальзак



ТЕРРАСА НА РЕКУ ГОРЫНЬ В ВИШНЕВЕЦКОМ ЗАМКЕ

С фотографии 1900-х гг.



ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ В ВИШНЕВЕЦКОМ ЗАМКЕ

С фотографии 1900-х гг.

пишет всю вторую часть «Изнанки современной истории», под заглавием «Посвященный» («L'initié»), драму «Мачеха» (поставленную в Париже в мае 1848 г.), наконец, «Письмо о Киеве»[40]. Он заканчивает свой жизненный труд в николаевской России, в крепостном поместье, в глубоко реакционной среде польских аристократов, предавшихся русскому царизму, и необходимо признать, что социально-политическая атмосфера семейства Ганских заметно отразилась на его последних произведениях.

Автор одного из лучших исследований о Бальзаке, Андре Ле-Бретон, подводит итог идейной пропаганде романиста: «Он не захотел или не смог стать выразителем лучших чаяний, захвативших в то время молодое поколение. Его Мишель Кретьен являет единственное выражение республиканской мысли 30—40-х годов, но это еле намеченный образ, остающийся в тени. Он не рассказал нам ни о июльских днях, ни о беспрерывных восстаниях эпохи Луи-Филиппа. Сен-симонизм или фурьеризм, все разнообразные формы единой мечты о всеобщем счастии и братстве казались ему пустыми бреднями, и он мимоходом упоминал о них только для насмешек. Он даже иронизирует над «негрофилами», требующими освобождения черных рабов»[41]. Мы уже видели, что и рабство русского крестьянства не возмущало Бальзака, а в качестве претендента на руку и владения Ганской он также отрицательно относился и к вопросу об освобождении крепостных в России.

Живя у Ганских, постоянно беседуя с богатейшими юго-западными помещиками, в лице самой хозяйки дома и ее зятя Юрия Мнишка, Бальзак в произведениях, написанных в Верховне, заметно проникается их воззрениями. Его неоконченное «Письмо о Киеве»[42] свидетельствует о приверженности автора к «самодержавной» власти («я предпочитаю управление одного человека господству толпы») и дает изображение русских крестьян, как дикарей, способных только на пьянство и безделье без попечительной власти крепостных душевладельцев.

Следы того же влияния сказываются и на эпилоге «Человеческой комедии», написанном в украинском поместье, т. е. на второй части «Изнанки современной истории». Этот «второй эпизод» романа, как бы представляющий собой самостоятельную повесть, озаглавленную «Посвященный» («L'initié»), чрезвычайно характерен для позднего Бальзака: среди оживления социальных учений и политических тревог конца 40-х годов он излагает здесь свою морально-религиозную доктрину, вполне согласованную с реакционными вкусами его владетельной невесты. Культ Польши и католицизма, противопоставление коммунизму религии, проповедь исцеления современных социальных зол «Подражанием Христу» (известной книгой Фомы Кемпийского, посланной Ганской Бальзаку в начале их знакомства), вражда к еврейству, преданность старой, дореволюционной Франции («именем Людовика XVI и Марии-Антуанетты, которых я видела на эшафоте, именем сестры короля, во имя Христа, я вас прощаю...»)—вся эта смесь мистики, национализма, расовой ненависти и феодальных симпатий чрезвычайно характерна для воззрений Ганской.

Вот как излагает свою общественную миссию главный герой повести, стремящийся противопоставить идеям революционного преображения общества церковно-филантропические меры: «Я поступаю подмастерьем на большую фабрику, где все рабочие заражены коммунистическими доктринами и стремятся к социальному разрушению и даже убийству своих хозяев, не сознавая, что это умертвит промышленность, коммерцию,

производство. Я пробуду там, быть может, целый год, ведя кассу, бухгалтерию и вникая в существование ста или ста двадцати семейств тех бедняков, которых свела с прямого пути нужда, прежде чем это успели сделать дурные книги». Социалистической пропаганде противопоставляется учение «нашей святой матери церкви», т. е. католической религии[43].

Весьма характерно рассуждение Бальзака о единственной плодотворной ассоциации «для совместного действия», т. е. о католической церкви. Ни тайные общества, ни промышленные союзы, ни политические ассоциации, якобы, не могли достигнуть полной преданности и абсолютной дисциплины своих членов; единственные подлинные общества — это религиозные братства. Единственный выход из социального тупика современности—«в католических добродетелях»[44].

В повести выведен врач Гальперсон, польский еврей, коммунист, друг революционера Лелевеля, эмигрант 1831 г. Он знаменит своими врачебными дарованиями и своей скупостью: его мрачная физиономия выражает предельную хитрость и алчность. Он требует двести франков за визит, а в случае выздоровления больного—тысячу экю. Он неумолим в делах, но собирает деньги для какой-то особой цели (вероятно, для восстановления Польши). Вся повесть окрашена таким национальным колоритом: «Из Польши нередко выходили такие странные, таинственные люди. Помимо этого врача, мы имеем сегодня Гене-Вронского, этого математика-ясновидца, поэта Мицкевича, вдохновенного Товянского, Шопена с его сверхестественным талантом. Великие народные потрясения всегда выдвигают таких разбитых гигантов»[45].

Героиня повести—внучка храброго поляка, флигель-адъютанта Наполеона, генерала Тарловского, который был другом Станислава Понятовского. Бабка ее—графиня Соболевская из Пинска. Сама Ванда поет заунывные польские песни, навевающие грусть и восхищение. Она страдает истерией и особой болезнью польских и литовских болот—колтуном[46]. Эти мотивы последней повести Бальзака явственно свидетельствуют о месте ее зарождения и разработки. Зимою 1847 г. в Верховне Бальзак читал вслух «Посвященного» Ганским и Юрию Мнишку. Он даже называет в своих письмах эту повесть «детищем Верховни»[47].

Действительно, рукопись имеет помету: «В е р х о в н я, У к р а и н а, д е к а б р ь 1847 г.» Эта дата знаменует окончание «Человеческой комедии». Более к своей серии романов Бальзак уже не вернется. Прихотливая история его творчества должна была завершиться—как в сущности и его личная судьба—за тысячу верст от его любимого Парижа, на чужбине, средь украинских степей. Великий Бальзак венчался в скромном приходском костеле унылого Бердичева и завершал свой грандиозный труд в маленьком кабинете верховенского дома, среди мертвой тишины глухого уезда николаевской России[48].

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] L e t t r e s u r K i e w, 15.
[2] K o r w i n - P i o t r o w s k a, 437.
[3] «Киевская Старина», 1898, V, 45, статья «Бердичевская ярмарка».
[4] М е р д е р А., Бердичев в сороковых годах.—«Русская Старина», 1901, IV, 119—121.
[5] L e t t r e s u r K i e w, 70—71.
[6] L e t t r e s u r K i e w, 71—72.
[7] Бальзак принял за «нарядные фабрики» служебные флигеля, построенные по обеим сторонам главного фасада здания и составляющие с ним один архитектурный ансамбль.

Фабричные постройки отстояли очень далеко от помещичьего дома и были расположены на противоположном берегу пруда.

[8] Lettres à l'Etrangère, I, 548—549.

[9] Lettre sur Kiew, 88.

[10] Floyd, 243.

[11] Benjamin (René), Chez le neveu de Balzac.—«Echo de Paris», 4 juillet 1920. Сведения о том, что в Верховне до последнего времени сохранились рукописи Бальзака, не подтверждаются фактами. Писатель действительно дарил Ганской рукописи своих произведений, которые по его словам составляли „целую библиотеку в огромном сундуке" (Lettres à l'Etrangère, II, 153). Рукопись „Серафиты" была послана Ганской в Петербург с маркизом Кюстином. Таким образом в 40-х гг. Верховня представляла собой подлинную сокровищницу литературных автографов Бальзака. Но все эти рукописи были вывезены в 1850 г. в Париж, где в момент смерти Ганской они сильно пострадали (см. прим. 37 к гл. VII).

[12] Korwin-Piotrowska, 78.

[13] Некрасов А. Н., Русский ампир, М., 1935.

[14] Rzewuski (Adam), Reminiscences du séjour d'Honoré de Balzac à Wierzchownia par son neveu.—«Messager polonais», Varsovie, 29 и 30 мая 1928 г., №№ 1009 и 1010. Сведения, сообщенные в печати племянником Ганской, Адамом Ржевусским, не заслуживают доверия. Неверно, что Бальзак венчался в кармелитском монастыре Бердичева; что Ганская во время болезни Бальзака выписывала врачей и профессоров из Киева (его лечили исключительно верховенские медики—отец и сын Кноте); что Ганские относились мягко и благодушно к своим крепостным и т. д. С таким же основанием Адам Ржевусский уверяет, «что Юрий Мнишек был знаменитым ученым», а «Станислав Ржевусский оставил имя драматурга и критика во французской (!) и польской литературе». Наконец, в этой же статье находим измышление о том, что после Октябрьской революции Верховню, якобы, превратили в дом умалишенных.

[15] Correspondance, II, 320.

[16] Ibid., II, 443.

[17] Œuvres complètes (Lévy), XXIII, 1—13.

[18] Spoelberch de Lovenjoul, La genèse d'un roman de Balzac—«Les Paysans», P., 1901, 1—8 и сл. Тема «Крестьян» Бальзака звучит в неизданном письме его вдовы к канцлеру Горчакову от 17 января 1861 г. из Парижа: «Нужно было, подобно мне, долго прожить в западных губерниях, чтобы узнать, с каким цинизмом там целые семейства бывают разорены мелкими служащими—судейскими, управителями, подлинными хищниками, которые набрасываются на имения и пожирают их, угнетая крестьян по мере того, как они разоряют помещика» (письмо Евы де Бальзак к канцлеру А. М. Горчакову 17 января 1861 г. из Парижа.—Архив внешней политики, Москва. Письмо не издано).

[19] Маркс, Капитал, 1935, III, 12.

[20] Œuvres complètes (Lévy), XIV, 233.

[21] Correspondance, II, 319.

[22] Ibid., II, 365.

[23] Correspondance, II.

[24] Balzac and Souverain, 86—87.

[25] Correspondance, II, 321—325. О Вишневце см. Лукомские, В. и Г., Вишневецкий замок.—«Старые Годы», 1912, III, 3—40.

[26] Ibid., 419—420. Верховня представляла некоторый интерес и в археологическом отношении. В местности имелся один из древних курганов (Антонович В. Б., Археологическая карта Киевской губернии. Изд. Моск. археологич. общества, М., 1895, 59).

[27] [Ярон С. Г.], Киев в 80-х годах. Воспоминания старожила. Киев, 1910, стр. 3—15. Псевдоним раскрыт в брошюре: Живоглядов А. П., Несколько слов по поводу воспоминаний Сергея Григорьевича Ярона «Киев в 80-х годах», Киев, 1910.

[28] «Balzac et ses 60.000 chênes de Pologne».—«Revue biblio-iconographique», 1902, 480—481. В 70-х годах 6 000 дес. векового дубового леса были проданы новым владельцем *для «выборочной» рубки за 900 тыс. руб.* (см. ст. Лукомских «Вишневецкий замок», стр. 37. Ср.: «Процесс о Вишневецком имении по иску гр. Плятера против Толли». Киев, 1888, и «Киевлянин», 1888, №№ 25—26 и 48—50).

[29] «Имение разделяется обыкновенно на экономии, или фольварки; ими заведывают экономы из вольных людей, большею частью польские дворяне и люди из бывшей шляхты; меньшими фольварками иногда заведывают свои крестьяне, и таких называют приказчиками» (Фундуклей И., Статистическое описание Киевской губ., II, 256).

[30] Correspondance, II, 324, 326. Фабрика Ганских не принадлежала к крупнейшим предприятиям суконного производства на Украине (каким считалась,

напр., Таганская фабрика Понятовских, организованная в 1816 г. бельгийцем Янсом и изготовлявшая в 40-е годы изделий на 300 000 р. сер. в год), но она считалась старинной и отличалась хорошим устройством. Цифру 10 000 следует считать ошибочной—вероятно, Бальзак написал «штук сукна» вместо «аршин сукна».

[31] Lettres à l'Etrangère, I, 442.

[32] Lettre sur Kiew, 65—66.

[33] Автограф.—Рукописное отделение Исторического музея, Москва («архив Уварова»).

В Киевском областном историческом архиве сохранилось «Дело о доставлении писем от генерал-губернатора к французскому литератору Бальзаку, имеющему прибыть в западные губернии России к графам Мнишкам. Началось 2 сентября 1847 г. Кончилось 14 октября 1847 года. Канцелярии киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора. На 10 листах». Составляющие это «дело» несколько мелких документов, которые мы приводим, дают ряд дополнительных штрихов к украинской главе биографии Бальзака.

1. 2 сентября 1847 г. Отпуск предписания киевского генерал-губернатора Бибикова кременецкому исправнику, № 7304 (л. 1—об. 1).

В скором времени имеет быть у графов Мнишков в м. Вишневце известный французский писатель Бальзак. Поручаю вашему высокоблагородию по прибытии его тотчас вручить ему прилагаемое при сем письмо. А если бы он не находился в имении Мнишков около Бердичева, то немедленно препроводить это письмо к тому исправнику, в уезде коего он будет находиться, для вручения Бальзаку. Об исполнении мне по сему донести.

2. 10 сентября 1847 г. Рапорт кременецкого земского исправника Майбороды из м. Радзивиллова киевскому генерал-губернатору Бибикову, № 1173 (л. 2—об. 2).

Вашему высокопревосходительству во исполнение предписания от 2-го числа сего сентября за № 7304 имею честь почтительнейше донести, что известный французский писатель Бальзак 31 числа прошедшего августа прибыл из-за границы в м. Радзивиллов, а отсель того же числа отправился в Бердичев, из Бердичева же предполагает ехать в с. Верховню, имение помещицы Ганской, состоящее в Сквирском уезде. Почему о вручении Бальзаку препровожденного при прописанном выше предписании вашего высокопревосходительства письма сообщено мною сего же числа за № 1172 к сквирскому земскому исправнику, с тем, чтобы по вручении оного прямо от себя донес вашему высокопревосходительству. Земский исправник Майборода.

3. 16 сентября 1847 г. Отпуск предписания правителя канцелярии киевского генерал-губернатора Бибикова сквирскому исправнику, № 2730 (л. 3).

Покорнейше прошу ваше высокоблагородие прилагаемое при сем генерал-губернатора письмо к французскому литератору Бальзаку, находящемуся в Сквирском уезде в с. Черниховке [ошибочно вместо: с. Верховне], доставить немедленно по принадлежности, если же он куда выехал, то приказать отправить письмо немедленно же туда, где он есть.

4. 18 октября 1847 г. Отпуск письма киевского генерал-губернатора Бибикова министру внутренних дел Л. А. Перовскому (л. 4):

Милостивый государь Лев Алексеевич! Долгом поставляю уведомить ваше высокопревосходительство, что в Киевскую губернию приехал известный французский писатель Бальзак, а киевским гражданским губернатором выдан ему паспорт на пребывание в Киевской губернии. Говорят, что он прибыл сюда, чтобы жениться на вдове помещице Ганской, урожденной графине Ржевусской.

5. 3 октября 1847 г. Рапорт сквирского земского исправника киевскому генерал-губернатору Бибикову, № 1814 (л. 7).

Присланное при предписании вашего высокопревосходительства от 16 сентября за № 7730 письмо к французскому литератору Бальзаку, находящемуся в с.Верховне Сквирского уезда, вручено по принадлежности с распиской. О сем имею честь вашему высокопревосходительству почтительнейше донести. Земский исправник [подпись].

6. 10 октября 1847 г. Рапорт сквирского земского исправника киевскому генерал-губернатору Бибикову, № 1851 (л. 8).

Присланное кременецким земским исправником 10 сентября за № 1172 письмо от вашего высокопревосходительства на имя известного французского писателя Бальзака вручено ему по принадлежности с распискою. О сем почтительнейше честь имею донести вашему высокопревосходительству. Земский исправник [подпись].

[34] Correspondance, II, 328.

[35] Письмо Вацлава Ганского к Бальзаку от 15/27 мая 1836 г. напечатано в Lettres à l'Etrangère, I, 330—331.

[36] Rzewuski (St.), Le mariage de Balzac, «Nouvelle Revue», 15 janvier 1906.

[37] Все нижецитируемые документы о крестьянских волнениях в имениях Ганских взяты нами из Киевского областного исторического архива. Фонд генерал-губернатора, секретная часть. 1840 г., б/н, лл. 109—110.

[38] Приведем выразительную выписку из путевого журнала некоего ротмистра Стогова от 15 сентября 1840 г.:

«Радомысльского уезда, помещика Вацлава Ганского, Гарностайпольского ключа крестьяне: Алексей Приходько и Роман Демиденко принесли мне жалобу в том, что будучи утруждены со стороны экономии несоразмерной работой, хотели просить об уменьшении оной помещика своего Ганского, приезжавшего в Радомысльский уезд в м. Гарностайполь, но экономия не допустила их к помещику.

Они отправились в Киев и подали жалобу губернатору. Управляющий Гарностайпольским ключом, явившись также в Киев, получил разрешение отправить непокорных крестьян из киевской полиции и отправил под конвоем своих казаков в город Радомысль. Еще до выезда из Киева просили они дозволить им видеть помещика своего Вацлава Ганского, но опять к нему не были допущены. В Радомысле посажены были в острог, где им перебрили головы, а потом через три недели отослали в м. Чернобыль и содержатся там уже две недели...».

Крупный интерес представляет также дело Радомысльского уездного суда от 24 ноября 1839 г., из которого видно, что «помещик Вацлав Ганский подал жалобу киевскому генерал-губернатору на своих крестьян Гарностайпольской волости, которые с некоторого времени подверглись лености и пьянству и, при взыскании с них за то, оказались дерзкими и выходящими из должного повиновения, за каковые поступки и подачу в 1831 и 1832 гг. вымышленных ложных и несправедливых жалоб до 10 человек из них по решению правительствующего сената в 1832 г. наказаны плетьми и для приведения их в послушание главное начальство вынуждено было употреблять военную команду, и с того времени хотя казалось, что они усмирились, однакож последствия доказали, что раз вкравшись, зло не скоро может искорениться». (Из материалов Киевского областного исторического архива. Фонд генерал-губернатора, секретная часть, 1840 г.).

[39] Correspondance, II, 326—327.

[40] Дата и место написания «L'initié» помечены на рукописи романа. См. Œuvres complètes (Lévy), XII, 763. О других работах Бальзака в Верховне см. Ferry (Gabriel), Balzac après le 24 février 1848.—«Revue hebdomadaire», 9 juillet 1898.

[41] Le Breton (André), Balzac. L'homme et l'œuvre. P., Armand, 1905, 135.

[42] Lettre sur Kiew, 36, 43—44, 65—68.

[43] Œuvres complètes (Lévy), XII, 674, 737.

[44] Ibid., XII, 679.

[45] Ibid., XII, 735.

[46] Болезнь эта даже вошла в медицинскую терминологию с признаком своего географического происхождения: она называется по-латыни plica polonica, по-французски plique polonaise. Как раз перед приездом Бальзака в Верховню киевский профессор А. П. Вальтер защищал в 1845 г. свою диссертацию на доктора медицины, трактующую о колтуне. В своей повести Бальзак отразил, вероятно, отголоски различных мнений по поводу диссертации проф. Вальтера, дошедших до него через верховенского доктора Кноте. См. Биографический словарь профессоров и преподавателей Киевского университета, под ред. В. С. Иконникова, Киев, 1884, 85—86.

[47] Письма к Ганской 26 июля и 24 августа 1848 г. См. Korwin-Piotrowska, 444. Во французской критике 1848 г. этот роман Бальзака встретил весьма отрицательную оценку. В «Voix du Peuple» Прудона была помещена статья Таксиля Делора об «Изнанке современной истории», резко осуждающая Бальзака (Ferry, op. cit., 245). Основные тенденции своего последнего романа Бальзак имел в виду развить и в задуманном им в 1848 г. другом произведении, «Ecce Homo». В журнале «Evénement» 1848 г., редакции которой Бальзак обещал этот философский роман, сообщалось, что он посвящен теме «христианского милосердия» (Ferry, op. cit., 251).

[48] Находясь в Верховне, Бальзак, конечно, продолжал задумывать новые произведения, а подчас и делать первые наброски к ним. «Сколько романов, задуманных в те долгие месяцы кажущейся праздности, которые он провел в России!—восклицает Шпульберк де Лованжуль.—Сколько неизданных страниц, помеченных Верховней, нашли мы среди его бумаг—бесспорные доказательства труда, которого ничто не могло прервать, даже ужасающие приступы болезни, которая вскоре должна была его унести!» (Spoelberch de Lovenjoul, La genèse d'un roman de Balzac—«Les Paysans», P., 1901, 302).

## ГЛАВА ПЯТАЯ

# КИЕВ

I. ПОЕЗДКИ БАЛЬЗАКА В КИЕВ.—„СЕВЕРНЫЙ РИМ".—ЗАМЫСЕЛ „ПИСЬМА О КИЕВЕ". II. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА: ЛАВРА И СОФИЯ.—РАЗОЧАРОВАНИЕ БАЛЬЗАКА.—КИЕВ В ОПИСАНИЯХ Г-ЖИ СТАЛЬ, УКРАИНСКИХ И РУССКИХ ПОЭТОВ. III. ИНТЕРЕС БАЛЬЗАКА К СОВРЕМЕННОСТИ.—КОНТРАКТОВЫЕ ЯРМАРКИ. IV. ОБЕД РУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА В ЧЕСТЬ БАЛЬЗАКА.—КИЕВСКИЕ ЗНАКОМСТВА.—ГУБЕРНАТОР ФУНДУКЛЕЙ: АРХЕОЛОГИЯ И СЕКРЕТНЫЙ НАДЗОР.—ПОМОЩНИК ПОПЕЧИТЕЛЯ КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА М. В. ЮЗЕФОВИЧ; ПИСЬМА К НЕМУ БАЛЬЗАКА.—КИЕВ В РИСУНКАХ М. М. САЖИНА.—ШАФЕР БАЛЬЗАКА ГУСТАВ ОЛИЗАР.—„ВИЦЕ-КОРОЛЬ ТРЕХ ГУБЕРНИЙ" БИБИКОВ; ЕГО ПЕРЕПИСКА С ЗНАМЕНИТЫМ ОБИТАТЕЛЕМ ВЕРХОВНИ. V. КИЕВСКАЯ ХОЛЕРА 1847 г.—НЕДУГИ БАЛЬЗАКА.—ПОЧЕМУ КИЕВ НЕ ПОНРАВИЛСЯ РОМАНИСТУ И ДАЖЕ НЕ БЫЛ ОПИСАН В ЕГО „LETTRE SUR KIEW"

## I

За время своего пребывания в Верховне Бальзак несколько раз посетил Киев. Судя по его переписке, он был здесь осенью 1847 г., зимой и весной 1849 г., в январе—феврале 1850 г.; по другим указаниям, он был здесь и в апреле 1850 г., перед самым отъездом во Францию. Его призывали в Киев официальные дела и потребность увидеть древний русский город. «Я должен посетить Киев,—пишет Бальзак сестре 8 октября 1847 г.,—этот с е в е р н ы й Р и м, город с тремя стами церквей, чтобы приветствовать генерал-губернатора, вице-короля трех губерний величиною с империю, и получить у него вид на жительство»[1].

Киев по рассказам и описаниям представлялся Бальзаку центром восточной церкви, средоточием религиозных древностей, богатейшим хранилищем православных реликвий.

Следует иметь в виду, что незадолго перед тем, в апреле 1846 г., Бальзак посетил Рим, который привел его в восхищение. «Город цезарей и пап» особенно поразил его пышностью католического культа: триста церквей, собор Петра, торжественные богослужения (Бальзак провел в Риме пасхальную неделю)—все это произвело на него сильнейшее впечатление. «Рим, несмотря на краткий срок моего пребывания в нем, останется одним из величайших и прекраснейших воспоминаний моей жизни»[2].

Аналогичных впечатлений Бальзак ждал и от Киева, о чем сам писал в своих путевых заметках: «После того, как я повидал католический Рим, я испытывал живейшее желание видеть Рим православный. Петербург—еще город-младенец, Москва только что вступила в мужественный возраст, но Киев—это Вечный город Севера»[3].

Вот почему древняя столица Приднепровья столь привлекает творческое внимание Бальзака. Если условия его поездки в Петербург в 1843 г. не дали ему возможности написать книгу о России, он решает теперь, в 1847 г., описать свое путешествие на Украину.

Сохранившееся начало рукописи, озаглавленной «Письмо о Киеве», дает довольно отчетливое представление о плане и характере всего намеченного очерка. Он был задуман, как серия корреспонденций в парижскую газету «Journal des Débats» в виде дружеских писем к ее редактору Арману Бертену. Последний, с целью возбудить интерес к этой публикации, поместил в своей газете 4 сентября 1847 г. следующую заметку:

«Наш знаменитый романист Бальзак только что выехал в Киев. Он отправляется в южную Россию через Галицию и Подолию. Бальзаку придется проехать по странам, которые лишь изредка посещаются европейцами, но зато ему всюду будет предшествовать его знаменитое имя»[4].

Приехав в Верховню, Бальзак приступил к записи своих путевых впечатлений. Сохранилось пятьдесят пять листков веленевой бумаги, на которые занесены непосредственные впечатления писателя об этапах его путешествия в нашу страну. Эта незаконченная работа Бальзака, недавно лишь впервые опубликованная (1927), представляет для нас особый интерес, как единственная его попытка дать целое произведение о современной России. Оно выдержано в тоне живой и быстрой беседы, с беглыми зарисовками, мелькающими анекдотами, сценками, остротами. Путевые впечатления здесь перемежаются с размышлениями автора о немецкой флегме, о русском послушании, о парижских поляках, о галицийских евреях, о польских магнатах и украинских крепостных. Манера письма свидетельствует, что жанр «путешествий», столь мало использованный Бальзаком, так же полно развернул бы его повествовательный дар, как и все прочие испробованные им словесные виды. Рукопись его носит при этом явственные следы всегда присущего ему полонофильства. Правда, эти национальные симпатии окрашены определенным социальным оттенком: Бальзак на стороне «покорившихся поляков» (т. е. украинских землевладельцев), а не «бессмысленных парижских эмигрантов» с их революционными утопиями. Он с увлечением рассказывает о богатствах знатных польских родов, он подробно описывает «славу опочившей Польши»— Краковский собор с его гробницами Баториев и Ягеллонов.

Задача и главная тема задуманной книги Бальзака, как показывает заглавие,—дать подробное описание центра Украины, столь связанного с историей Польши.

«Подавляющее большинство французов не знает, что такое Киев,— замечает Бальзак в самом начале своего изложения.—Итак, Киев—это столица Украины, это священный град России, бывшая метрополия, татарский и русский Рим, старшая сестра Москвы, резиденция князей* в те времена, когда князья еще зависели от великих орд...»[5].

Тема в историческом разрезе представлялась чрезвычайно значительной и драматичной.

«... Из всего этого я сделал заключение, что даже если бы у меня не было друзей, живущих вблизи Киева, я все же поехал бы в Киев в интересах литературы и этнографии» («vérité locale»)[6].

Бальзак отправляется из Парижа в Киев с уверенностью, что ради этого города, где незадолго до него представляли европейскую культуру актриса Жорж, Гектор Берлиоз и Лист, стоит проделать восьмидневное путешествие через Францию, Бельгию, Германию, Австрию и Украину всеми способами сухопутного передвижения—в дилижансах, вагонах, кибитках и бричках.

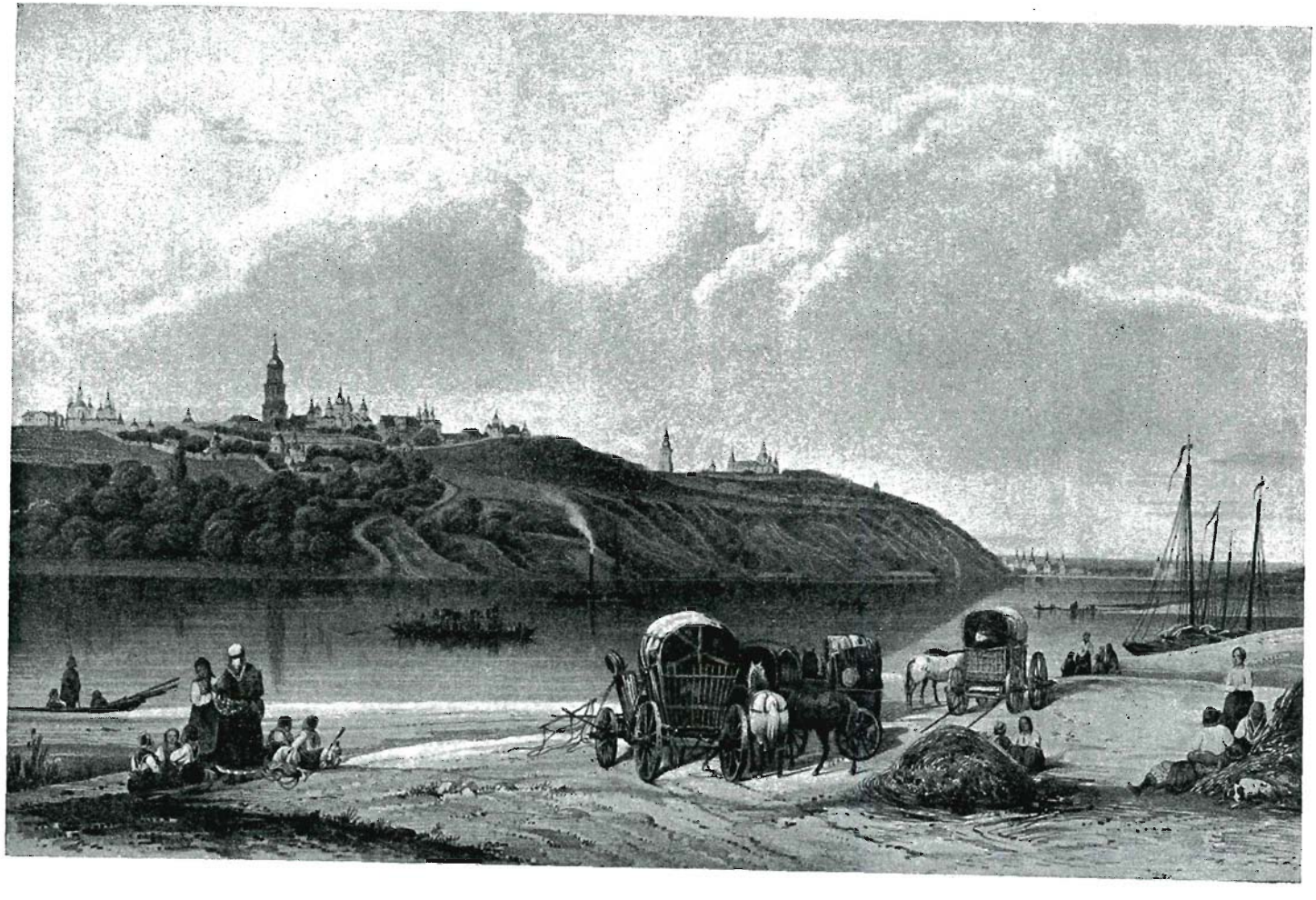
## II

«Итак, я, наконец, отправился в Киев,—сообщает Бальзак сестре в ноябре 1847 г.,—и обе дамы [Ганская с дочерью] сопровождали меня...»[7].

Путешествие российских помещиков из имения в город, хотя бы на один месяц, при отсутствии железных дорог, представляло чрезвычайно громоздкое предприятие. Мы знаем по «Евгению Онегину», как мелкопоместная Ларина снаряжала в Москву целый обоз, состоящий из «боярского

---

* Мы позволяем себе перевести термин Бальзака «tzars» исторически более точным— князья.



„ВИД КИЕВА ИЗ-ЗА РЕКИ ДНЕПРА"

Литография с рисунка М. Сажина

Часть киевских зарисовок Сажина была литографски воспроизведена в альбоме И. Лауфера, подаренном Бальзаку М. В. Юзефовичем
Бальзак намеревался украсить этими литографиями лестницу своего парижского дома

Русский музей, Ленинград

возка» с упряжкой в восемнадцать кляч и трех кибиток, полных «всякого добра...». Можно представить себе, насколько обширнее и наряднее был поезд богатейшей Ганской! Бальзак в двух строках сообщает о сложности такой экспедиции: «Необходимо нанять для этого дом [в Киеве], отправить туда экипажи, лошадей, посуду, кухонную утварь, постели, мебель и пр.»[8]. В сезон контрактов за наем дома в семь комнат на две недели платили в Киеве 2500 руб. ассигнациями (по тем временам весьма крупную квартирную плату)[9].

Судя по старинной карте Киевской губернии, приходилось ехать сначала проселочной дорогой, а затем большой дорогой на Фастов и Васильков; лучшая шоссейная дорога делала большой крюк на Сквиру и Белую Церковь; первым маршрутом от Верховни до Киева, судя по масштабу, приходилось ехать около 80 верст, вторым, т. е. в объезд по шоссе, около 100 верст[10]. Вероятно, состояние дорог в связи с временем года определяло выбор пути.

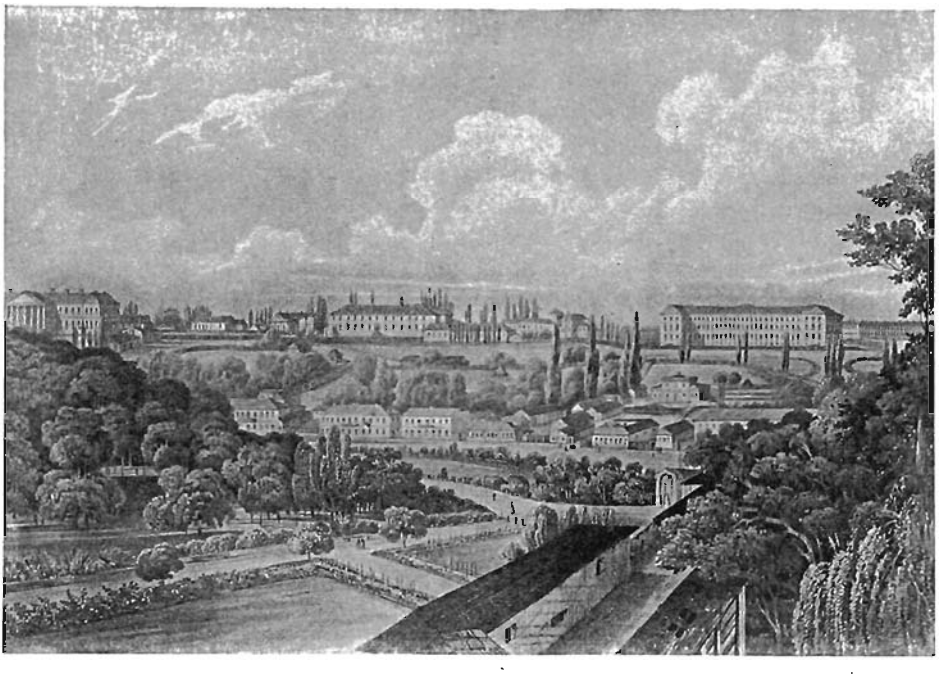
Но все это снаряжение не оправдалось в глазах Бальзака конечной целью поездки: «Итак, я увидел северный Рим, православный город с тремя стами церквей, богатства Лавры, степной святой Софии». Город решительно не понравился писателю: «На это можно взглянуть один раз»,—сообщает он в том же письме[11].

Между тем, очарование старого Киева обычно сказывалось в записках путешественников и в описаниях поэтов. Мадам де Сталь, посетившая приднепровскую столицу почти за 40 лет до Бальзака, отметила среди убогих хат, похожих на бивуачные шатры, великолепные дворцы и церкви, создающие в лучах заката впечатление праздничной иллюминации. Киевские пещеры напомнили ей римские катакомбы, а Днепр поразил чистотой и ширью своих потоков[12]. Поэтический колорит легендарного города с его казаками и бурсаками замечательно схвачен в повестях Гоголя и в поэмах Шевченко, а тема Киева не перестает звучать в строфах Козлова, Рылеева, Подолинского, Хомякова, Бенедиктова, Тютчева, Фета. Летом 1825 г. здесь побывал проездом на Кавказ Грибоедов и оставил в своих письмах восторженный отзыв о «древнем Киеве» с его «мраком пещер» и «зеленью тополей»[13].

Лесков, переехавший в Киев как раз в 1849 г., т. е. в эпоху заездов сюда Бальзака, внес в свои мемуары восхищенные описания «этого милого города в его дореформенном виде с изобилием деревянных домиков», «с тихим Печерском и облегавшими его урочищами», «которые были застроены как попало, но очень живописно...». Автор «Запечатленного ангела» оценил, как художник, надбережные хатки над днепровской кручей, придававшие «прекрасному киевскому пейзажу особенно теплый характер», и своеобразные нравы населения, сохранявшие подчас в своем быту отпечаток «стародавнего запорожского духа...»[14].

Но Бальзака мало заинтересовали киевские древности. Он всегда считал, что Россия начинает представлять интерес для европейца лишь с эпохи Петра I[15]. Имена Аскольда, Ярослава, Владимира, Нестора ничего не говорили ему. Поклонник католического искусства, он остался равнодушен к памятникам восточной церкви. Но если пещеры, гробницы и мощи киевских затворников и целебников, столь умилявшие толпы богомольцев, не могли пленить посетителя Нотр-Дам и св. Петра, оставались все же и здесь замечательные образцы архитектуры и живописи—византийский стиль древней Софии и блестящий образец рококо в Андре-

„ПЕРСПЕКТИВА КИЕВА С СОБОРОМ"
Литография с рисунка М. Сажина
Русский музей, Ленинград



„ВИД КИЕВА С ПАРКОМ"
Литография с рисунка М. Сажина
Русский музей, Ленинград

евской церкви Растрелли; оставались фрески и мозаики Софийского собора, старинная лаврская иконопись, весь живописный и пестрый городок на Печерском склоне, изящные очертания Кирилловского монастыря. В 1842—1843 гг. оживилось изучение старинных росписей Киева. Как раз в 40-е годы известный художник-археолог Ф. Г. Солнцев возобновил стенную живопись в лаврском Успенском соборе. Тогда же были открыты в Софии фрески XI в. (по определению Солнцева—«древняя живопись альфреско, которою храм сей был расписан при Ярославе»).

Но Бальзака все это мало привлекало. В Киеве, как и повсюду, автора «Цезаря Биротто» более всего занимала слагающаяся на его глазах современность в характерных проявлениях деловой борьбы и денежных оборотов.

## III

Киев в 40-е годы из старой, патриархальной провинции превращался в важный стратегический пункт и большой губернский центр. Три основных района города еще были разделены пустырями и оврагами, но на Печерске уже шла ломка домов под крепостные сооружения, кельи Никольского монастыря превращались в казармы, застраивалась Кловская возвышенность (Липки), очищалась площадь перед Софийским собором для постройки здания присутственных мест, укреплялись откосы гор, через холмы старых валов пробивались новые улицы, начинала приобретать характер торгового русла «Крещатицкая долина». В начале 40-х годов было закончено здание университета, построенное архитектором В. И. Беретти. В конце десятилетия стали сооружать цепной мост по проектам английского инженера Шарля де Виньоля. Масштабы города, судя по статистическим данным, представляли для тогдашней России черты крупной провинции. Верхнее урочище еще напоминало большое село, но уже в 1845 г. в Киеве считалось восемьдесят улиц и тридцать переулков, около шестидесяти фабрик и заводов, до пятидесяти тысяч населения и около двухсот тысяч ежегодно приезжающих (благодаря паломничеству и контрактовым ярмаркам)[16].

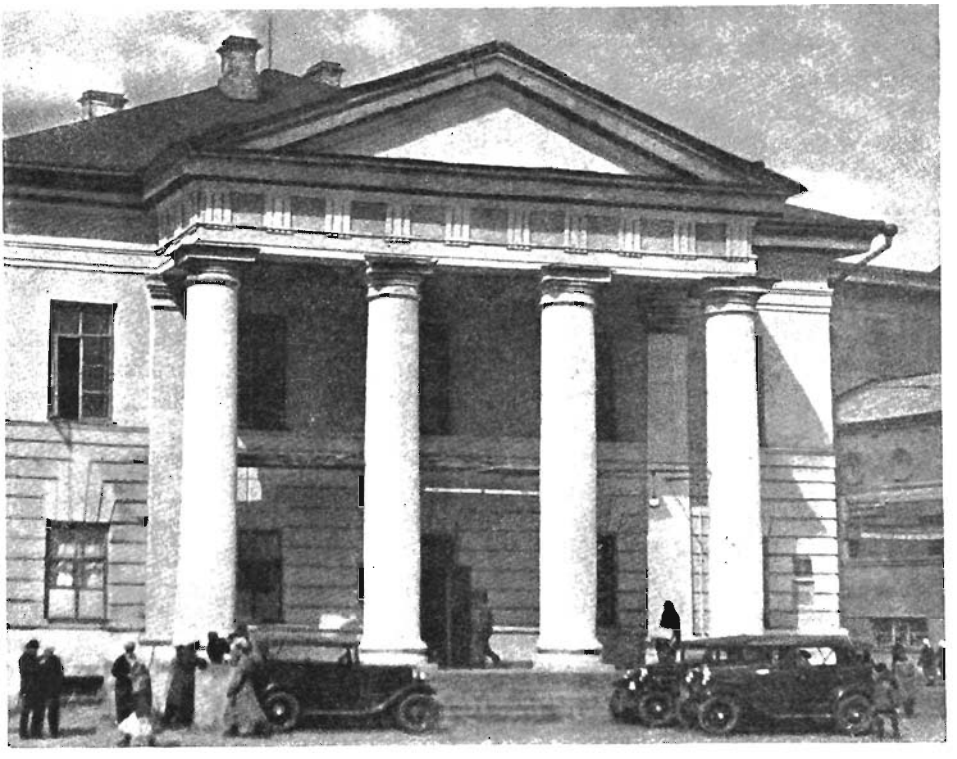
Бальзак посещал Киев и в самом разгаре зимнего сезона, во время знаменитых деловых съездов Приднепровья, происходивших на масляной. Он писал об этом родным: «В течение 15 или 20 дней контрактовой ярмарки в Киеве, куда съезжаются со всех концов России,—столько движения, дел, развлечений, что невозможно написать письмо...». В марте 1849 г. он сообщает сестре, что видел на контрактовой ярмарке в Киеве великолепные персидские ковры и мебель изумительной работы[17].

Это была «биржа» Украины по сельскохозяйственным делам, сопровождавшаяся настоящим карнавалом. Контрактовые съезды перенесены в Киев в 1797 г. из Дубно, куда, в свою очередь, они были переведены в 1774 г. из Львова[18]. В 1-й половине XIX в. они приобрели большой размах. Их посещали Гоголь, Мицкевич, Шевченко, Франц Лист, Крашевский. Путешественники сравнивали их с знаменитой лейпцигской ярмаркой. Оживление и празднества киевских контрактов воспевали и описывали известные польские авторы—Мицкевич (в «Пане Тадеуше»), Крашевский и Коржаневский.

Во время контрактов, рассказывает историк старого Киева, сюда съезжались почти все помещики юго-западного края со своими семействами. «Многие жители Заднепровья жили здесь открыто и весело; приезжие

вели большую игру и разъезжались обыкновенно на первой неделе поста... Концерты давались в Контрактовом доме и привлекали многочисленную блестящую публику. Там же бывали общественные балы».

Главной целью контрактовых ярмарок были крупные сделки: с первых лет своего существования контракты становятся центром хлебной торговли и вообще всех сделок, имевших связь с землевладением и сельским хозяйством. Хлебные сделки почти всего приднепровского края совершались исключительно на киевских контрактах. Не менее значительно было количество сделок по продаже и покупке имений, по залогу их, по сдаче в аренду или «посессию» и т. п.



ЗДАНИЕ КОНТРАКТОВОГО ДОМА НА ПОДОЛЕ В КИЕВЕ
Бальзак бывал на контрактовых ярмарках в Киеве в 1849 и 1850 гг.
С фотографии, принадлежащей „Литературному Наследству"
Снято в сентябре 1936 г.

Иногда под шум и оживление контрактовых ярмарок вершились крупные политические дела. Олизар рассказывает о переговорах польских заговорщиков с будущими декабристами и достигнутом между ними соглашении как раз в Киеве в начале 1823 г., во время контрактовой ярмарки. С русской стороны он называет Пестеля, Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина[19].

В период контрактов город видоизменялся. Особое оживление охватывало место деловых встреч и всю его округу. «В сезон контрактов Подол становился, как в старое время, центром городской жизни. Наибольшее оживление царило теперь на площади перед Контрактовым домом. Паны, шляхта, евреи, купцы, крестьяне, чиновники, лошадники, балагулы,

ксендзы, священники, военные—все снуют здесь взад и вперед. Кроме польского языка и еврейского жаргона, можно услышать русскую и малорусскую речь, немецкий, армянский, турецкий и татарский языки... К крыльцу Контрактового дома подъезжают кареты, дормезы, сани. Лицевая сторона дома, четыре огромные колонны, поддерживающие фронтон его и все стены на пространстве широкой лестницы, чуть не под самую крышу и потолок облеплены всякого рода объявлениями...». Сохранились обстоятельные описания внутреннего быта «крещенской ярмарки» в Киеве: «Товары помещаются для продажи во временных балаганах, занимающих всю площадь перед Гостиным двором, а лучшие—в Контрактовом доме и в магазинах смежных с ним домов. В верхнем этаже Контрактового дома временные лавки устраиваются с обеих сторон вдоль окон, а середина образует просторную залу, установленную скамьями, на которых контрактующие переговариваются о делах и заключают сделки. В этой же зале артисты дают концерты, разыгрываются лотереи для приютов, бывают балы и маскарады. Нижний этаж во время ярмарки занимается, где только можно, вдоль стен и при подпорах, рядами лавок, по местам, не довольно освещенным дневным светом, но от входа есть по обеим сторонам большие светлые залы с богатыми товарами, которые притом располагаются самым заманчивым образом. Посетители здесь в шубах и в шляпах»[20].

Таким наблюдал великий живописец городов Франции «северный Рим», охваченный деловой лихорадкой. Киев оказался к нему гостеприимнее Петербурга. Впечатление от книги Кюстина успело сгладиться. Бальзак, по отзывам жандармов, и в 1843 г. и в последующие приезды держал себя «благородно». Если это и не ослабило бдительности политической полиции, то, во всяком случае, снимало с него то подобие общественного бойкота, которое ему пришлось испытать в Петербурге сейчас же после выхода «России в 1839 году». В Киеве все обстояло по-иному. Военный начальник края, гражданский губернатор, ряд официальных лиц, видные представители русского и польского общества неизменно выражают здесь Бальзаку свое внимание и почтение, чествуют его, подчеркивают высокую честь, оказанную их городу знаменитым европейцем.

Все это объяснялось и заметным повышением к этому времени общих интересов киевского общества. С учреждением в 1834 г. университета оживилась культурная жизнь города. В 1837 г. был организован музей древностей, в 1843 г.—«Археологическая комиссия для разбора древних актов». Над реставрацией стенной живописи здесь работает с начала 40-х годов знаток древних фресок Солнцев. Воспитанник Академии художеств Сажин был приглашен для зарисовки открываемых древностей. С 1849 г. правителем канцелярии Бибикова состоит известный впоследствии славянофил Юрий Самарин, в 1846 г. начинает читать курс истории в Киевском университете Костомаров (правда, очень быстро прекративший его). «При Бибикове история с археологией поистине были модными науками в Киеве: ими увлекалось и киевское чиновничество, и киевский beau-monde; волею-неволею увлекалось и польское дворянство»[21].

Бальзак познакомился с виднейшими представителями официальной учености и киевского «света»—И. И. Фундуклеем, археографом М. В. Юзефовичем, нумизматом бароном С. И. Шодуаром, с археологом-любителем, в лице самого начальника края, и, наконец, с поэтом и отчасти политическим деятелем, знакомым Пушкина и Мицкевича, графом Густавом

Олизаром, которому суждено было вскоре сыграть весьма заметную роль в одном из важнейших событий жизни романиста.

## IV

«В зиму 1850 г.,—сообщает историк Киева,—побывал на киевских контрактах знаменитый французский писатель Бальзак, посетивший юго-западный край, чтобы жениться на Эвелине Ганской, урожденной гр. Ржевусской. В честь его губернатором Фундуклеем был дан обед, на котором присутствовали представители русского и польского общества»[22]. Олизар также упоминает в своих мемуарах «обед, данный в Киеве И. И. Фундуклеем в честь Бальзака», на котором присутствовал среди прочих гостей и бывший офицер Семеновского полка Астафьев, отнесшийся с участием к Олизару в Петербурге в 1826 г., во время его ареста по делу декабристов[23].

Инициатор общественного банкета в честь Бальзака, киевский гражданский губернатор И. И. Фундуклей, был историком и археологом. Получивший по наследству от отца огромное состояние, он считался щедрым благотворителем и приобрел в силу этого общественную популярность. С 1839 г. он состоял киевским губернатором. Ему вменяли в заслугу улучшение быта заключенных и заботы о женском образовании. В качестве ученого он участвовал в составлении «Обозрения Киева в отношении к древностям» и «Обозрения могил, валов и городищ Киевской губернии»[24]. Как раз во время пребывания Бальзака в Киеве, в 1849 г., Фундуклей был избран членом-корреспондентом археологического и нумизматического общества и почетным членом Киевского университета[25].

Чествуя Бальзака, Фундуклей одновременно выполнял тайные правительственные функции. В «Красном Архиве» М. П. Алексеев опубликовал характерное дело «о надзоре за французским литератором Бальзаком», сохранившееся в архиве бывшего одесского градоначальства. В отношении от 4 ноября 1848 г. начальник Киевской губернии Фундуклей сообщил одесскому военному губернатору: «Государь император всемилостивейше соизволил французскому литератору Бальзаку, бывшему здесь в прошлом году, приехать обратно в Россию, но с строгим над ним надзором. Бальзак прибыл в Сквирский уезд и получил от меня вид на пребывание в Киевской губернии и проезд в г. Одессу. Имею честь просить ваше превосходительство, если Бальзак прибудет в Одессу, приказать иметь за ним строгий надзор, о последствиях которого не оставьте уведомить меня». Во исполнение этого отношения одесский военный губернатор предписанием за № 492 от ноября 1848 г. предложил одесскому полицеймейстеру «по приезде вышеупомянутого лица в Одессу, немедленно учредить за ним бдительный полицейский надзор и о последствиях мне донести». За неприбытием Бальзака в Одессу дело было прекращено[26].

Приятельские отношения установились у Бальзака с помощником попечителя Киевского университета, М. В. Юзефовичем. Это был крупный полтавский помещик, отличавшийся в молодости некоторым вольнодумством и даже «щеголявший демократизмом» (по его собственному определению). Во время турецкой кампании 1827—1828 гг. он служил в действующей армии и встретился здесь с Пушкиным. Это доставило ему честь быть упомянутым в «Путешествии в Арзрум». В эпоху знакомства с Бальзаком Юзефович уже давно оставил «декабристские» увлечения своей молодости и, видимо, уже занимал те охранительные позиции, которые в старости

решительно отбросили его в стан крайней реакции[27]. Сохранились три неизданных письма Бальзака к Юзефовичу, дающие представление об их отношениях и о киевских впечатлениях романиста[28].

*Перевод:*

Верховня, октябрь 1847 г.

Милостивый государь,

Только здесь я мог развернуть и рассмотреть прекрасные виды Киева, которые вы сделали честь и удовольствие мне прислать. Шлю вам тысячу благодарностей, которые прошу благосклонно принять, несмотря на это невольное опоздание.

Я не имею, однако, нужды, милостивый государь, в этом вещественном воспоминании, чтобы хранить память о благосклонном приеме, который вы и все другие власти этой обширной столицы соблаговолили мне оказать и который, надеюсь, я заслужил своим искренним восхищением Россией, но я помещу Киев, по своем возвращении, среди тех городов, которые я люблю видеть вновь и пейзажи которых украшают лестницу моего дома. И вот иногда, мимоходом, я возвращаюсь в эти места. Киев и его купола, Киев и его холмы вместе со своими садами и сокровищами мне улыбнется, рассеет скуку от литературных трудов, я вновь увижу особняк Фундуклея и всех его обитателей, столь любезных ко мне. Я скажу: «Да, это было время отдыха, это было прекрасное время!».

Эта уверенность заставляет меня сожалеть о невозможности, со своей стороны, оставить в Киеве иные воспоминания, как только об этом дне. Вас же, милостивый государь, прошу принять почтительные приветствия, с которыми честь имею быть вашим покорнейшим и послушнейшим слугой.

де Бальзак

*На обороте 2-го листа:*

От г. де Бальзака господину Юзефовичу,
помощнику попечителя Киевского университета, в Киев.

ОСОБНЯК И. И. ФУНДУКЛЕЯ В КИЕВЕ, ГДЕ БЫВАЛ БАЛЬЗАК В 1850 г.
С фотографии начала 1870-х гг.
Частное собрание, Киев

И. И. ФУНДУКЛЕЙ
Портрет маслом Г. Гольпейна, 1845 г.
Музей украинского искусства, Киев

Очевидно, об упомянутых видах Киева Бальзак пишет своей сестре в ноябре 1847 г.: «Я привезу для лестницы моего дома виды Киева, нарисованные одним немцем и превосходно литографированные»[29]. Писатель имеет в виду редкое издание: «Виды Киева, изданные И. Лауфером, тетрадь 1-я. Киев, 1846 г.». На обложке имеется и перевод этой надписи на французский язык. Из пяти листов этого альбома, описанных в первом томе известного «Каталога русских иллюстрированных изданий» Н. Обольянинова (точное количество листов, составлявших альбом, не установлено), только одна литография воспроизводит рисунок самого Лауфера. Это—воспроизводимый нами на стр. 269 «Вид института благородных девиц в Киеве». Четыре же остальных сделаны по рисункам другого художника—М. М. Сажина. Его кисти принадлежат: 1) вид Толкучего рынка на Подоле; 2) вид Киева со стороны царского сада; 3) вид площади театра; 4) вид Киева из-за Днепра. Размер каждой литографии без полей — 27 см × 40 см. Подписи под ними на русском и французском языках[30].

О Сажине и его зарисовках Киева находим некоторые сведения в мемуарной повести Н. С. Лескова «Печерские антики»: «В Киеве в то время проживал академик С.-Петербургской академии художеств, акварелист Михаил Макарович Сажин. Он составлял для Дмитрия Гавриловича [Бибикова] акварельный альбом открытых при нем киевских древностей...»[31]. Краткие сведения об этом пейзажисте имеются в «Списке русских художников» С. Н. Кондакова, в «Русском биографическом словаре» и некоторых мемуарах[32].

Уроженец Костромской губернии, Михаил Макарович Сажин, «живописец перспективный и пейзажный», был с 1834 г. приходящим учеником Академии художеств, в 1839 г. получил 2-ю серебряную медаль за «Виды

с натуры близ Старой Ладоги», в 1840 г.—звание неклассного художника за два вида Невы, в 1855 г.—звание академика живописи за картину «Внутренний вид Киево-Софийского собора». В 1846 г. он вместе со своим товарищем по академии Т. Г. Шевченко принимается за серию киевских видов, которыми восхищались Ф. А. Бруни и Н. А. Рамазанов: «Что за живописные местности и какое уменье в выборе точек для картины!»[33].

Бальзак, действительно, повез в Париж для лестницы особняка на ул. Фортюне образцы первоклассного пейзажного искусства. Старый Киев, в котором первобытная природа так живописно сочеталась с архитектурными памятниками древности, нашел в этом старинном акварелисте замечательного изобразителя. Тонкость рисунка и совершенство техники здесь сочетаются с теплым лиризмом, свидетельствующим о подлинной влюбленности мастера в свой сюжет. В этом отношении киевские виды Сажина перекликаются с соответственными строфами нашей старинной лирики[84].

Второе письмо Бальзака к Юзефовичу, написанное значительно позднее, снова трактует художественную тему.

*Перевод:*

Январь 1850 г.

Милостивый государь,

Имею честь выразить вам мою бесконечную благодарность за удовольствие, которое вы доставили мне, бедному больному, прислав для просмотра этот обширный труд. Так как это единственный способ обладания сокровищами Москвы, не похитив их, я постараюсь достать для себя это издание, как только оно будет закончено, ибо в качестве библиомана я поставил себе за правило иметь только полные издания.

Будучи прикован к постели в течение пяти или шести первых дней моей болезни, я имел возможность просмотреть эти сокровища старины только вчера и третьего дня; они заставили меня очень живо пожалеть о том, что я не видел Москвы. Особенно хорош кубок эпохи Ренессанса, который превосходит все известные мне изделия XVI в. Какая драгоценность!

Я очень хотел бы знать, когда приблизительно будет закончено это издание и сколько оно будет стоить, чтобы присоединить его к работам подобного же рода, какие я уже имею в своей библиотеке. Впрочем, я надеюсь выйти через два-три дня и лично получить у вас эти сведения, одновременно выразив вам устно мою признательность за тот прекрасный день, какой вы доставили мне на этой неделе, омраченной киевским кашлем, который можно отнести к разряду наиболее тяжелых.

Пока же примите, милостивый государь, вместе с уверением в моем почтении и выражение моей благодарности.

де Бальзак

Следует думать, что Бальзак получил от Юзефовича художественное издание «Московская оружейная палата» А. Вельтмана (М., 1844), снабженное действительно замечательными изображениями царских регалий, уборов, облачений, оружия, утвари, карет и пр. Как указывает во вступлении автор, в Московской оружейной палате «сберегается древний наследственный царский чин, становые и воинские государские одежды, древняя русская булатная броня с золотой насечкой и драгоценными камнями, столовая утварь с узорочным чеканом, изукрашенная алмазами,

„ВИД ТОЛКУЧЕГО РЫНКА НА ПОДОЛЕ"
Литография с рисунка М. Сажина
Русский музей, Ленинград

изумрудами и яхонтами, бирюзой и жемчугами; всевозможные формы древних сосудов разных веков, московского изделия, русского мастерства и искусства иноземного в вещах, присылавшихся в дар от императоров греческих, германских, королей английских, датских, шведских, литовских, польских, от шахов персидских и султанов турецких»[35].

Таким образом, в книге широко представлены изделия старинных русских мастеров панцырного и оружейного производства, швейного искусства, золотых и резных дел, наряду с образцами творчества европейских и восточных художников, поднесенными в дар московским властителям. Примечательнейшие из этих предметов весьма искусно зарисованы карандашом анонимного рисовальщика (они литографированы некоим Дрегером). В книге несколько десятков рисунков. Внимание Бальзака остановил замечательный «кубок эпохи Ренессанса». Это, вероятно, изображенный на листе, приложенном к странице 130-й, кубок с подписью: «Поднесен великому государю Никитою Ивановичем Романовым, 1648, весу 33 фунта 95 з., вышины 1 аршин 15 вершков». Тут же и французская надпись: «Un grand bocal offert au tzar Alexis par le Bojar Nikita Romanoff en 1648». Кубок, действительно, отличается исключительной тонкостью и богатством чекана.

Приведем и прощальную записку Бальзака к тому же Юзефовичу.

*Перевод:*

Киев, 6 февраля 1850 г.

Милостивый государь,

Болезнь вынуждает меня, к моему большому сожалению, покинуть Киев, не доставив себе удовольствия еще одной беседы с вами, которая была бы для меня отголоском парижских разговоров.

Я не сделал ни единого шага из моей комнаты, и хотя я надеялся до последнего момента иметь возможность выйти, сегодня я решился покориться судьбе.

Прошу вас, милостивый государь, сохранить обо мне некоторую память и не отказать в любезности вознаградить меня за столько лишений, когда через месяц, перед отъездом в Париж, я приеду сюда на несколько дней, чтобы нанести прощальные визиты властям и привести в порядок тот важный документ, который зовется паспортом.

Прошу вас, милостивый государь, принять уверение в глубоком уважении, с которым я имею честь быть вашим нижайшим и покорнейшим слугою.

де Бальзак

Среди киевских знакомых Бальзака наиболее примечательным был, несомненно, граф Густав Олизар, который вскоре организовал вместе с Мнишком венчание Бальзака с Ганской и даже был единственным свидетелем на их свадьбе (если не считать родных). Очевидно, в семье Ганских к нему относились с исключительным доверием и сам писатель был к нему расположен.

Личность этого «шафера Бальзака» представляет значительный интерес по своему положению в русско-польском обществе, связям и влиянию. Поэт-романтик и польский патриот, близкий к декабристам, он пережил драматический роман, безнадежно увлекшись Марией Раевской, будущей Волконской (т. е. родной сестрой того Александра Раевского, который,

по свидетельству Пушкина, увлекался Эвелиной Ганской в Одессе в 1823 г.). Но девушка не отвечала на его увлечение: «Различье народности и религии препятствовало мне найти в ее сердце желаемый ответ на мою склонность»,—пишет в своих мемуарах Олизар. Отец Марии—воспетый Жуковским, пользовавшийся большим уважением Пушкина, генерал Раевский, ответил на предложение Олизара сердечным и тонким письмом, в котором все же совершенно категорически указал на непреодолимую преграду к браку в различии исповеданий и национальностей и в «понимании своего долга»[36].

Олизару и его несчастной любви посвящен крымский сонет Мицкевича «Аю-Даг» и стихотворение Пушкина:

Певец! издревле меж собою
Враждуют наши племена...

После отказа Раевских Олизар поселился в Крыму в полном уединении, продолжая писать стихи в честь любимой девушки.

Крымское уединение Олизара было нарушено арестом по делу о 14 декабря и заключением в Петропавловскую крепость. Он был вскоре освобожден, но затем вторично арестован в Киеве и препровожден в Варшаву, где предстал перед военно-следственной комиссией Константина Павловича. Впоследствии Олизар женился на одной из своих волынских знакомых, графине Юзефе Ожаровской. Во время польского восстания 1830—1831 гг. он не скрывал своего сочувствия соотечественникам и был выслан русским правительством на жительство в Курск. После освобождения и путешествия в Италию Олизар на двадцать лет поселился в своих юго-западных имениях. По свидетельству русского издателя его мемуаров, он приобрел всеобщее расположение веселым нравом и любезностью. Впрочем, отношение Олизара к России и к русскому обществу характерно для польского патриота, земельные владения которого находятся на русской территории. Он поддерживает знакомство «с некоторыми из высокопоставленных в официальном отношении лиц», но остается верен культу Польши. Он даже выступил в печати с резкой критикой сатирических

ГУСТАВ ОЛИЗАР
Зарисовка Николая Раевского в альбоме Ек. Н. Раевской-Орловой, 1821 г.
Собрание Ел. Н. Орловой, Москва

Д. Г. БИБИКОВ
Миниатюра неизвестного художника
Местонахождение оригинала неизвестно

очерков своего друга Генриха Ржевусского против польской шляхты. После восстания 1863 г. Олизар выехал в Дрезден, где и скончался в 1865 г.

Таков был человек, чествовавший Бальзака на киевском обеде и вскоре сыгравший такую заметную роль в крупнейшем событии его личной жизни.

Памятником пребывания Бальзака в Киевской губернии остаются также два его письма к генерал-губернатору Д. Г. Бибикову. Этот характерный администратор николаевского времени мог, между прочим, интересовать Бальзака и как участник войны 1812 г., сражавшийся под Витебском, Смоленском и Бородиным и даже потерявший на Бородинском поле руку.

В среде Ганских имя киевского сатрапа, несомненно, вызывало двойственное к себе отношение: официальную преданность представителю российского самодержца и скрытый протест против неумолимого руссификатора юго-западного края. Назначенный в 1837 г. киевским военным губернатором и генерал-губернатором подольским и волынским, он уже в 1840 г. получает благодарственный рескрипт Николая I «за благоразумное содействие мерам, предпринятым к слиянию западного русского края с древним отечеством природных его жителей». Сам Бибиков заявлял, что он проводил эти мероприятия «со злостью». Неудивительно, что при этом нередко сказывалось административное самодурство неограниченного повелителя края: когда Бибиков узнал, что группа молодых людей распевала в ресторане польские патриотические песни, он прислал к ним регента и приказал им разучить под его руководством «Боже царя храни». Лесков в своих киевских очерках прямо отмечает, что от методов управления Бибикова «отдавало каким-то непонятно бесцеремонным и грубым самовластием»[37].

Ко времени пребывания Бальзака на Украине Бибиков был в зените славы и влияния. В 1848 г. он был назначен членом Государственного совета, вскоре после отъезда Бальзака—в 1852 г.—министром внутренних дел[38].

Бальзак обменялся с Бибиковым несколькими письмами. Переписку их открыл сам киевский генерал-губернатор; получив извещение Уварова о предстоящем приезде Бальзака на Украину, Бибиков счел нужным обратиться к писателю с приветственным письмом.

*Перевод*:

Киев, 2 сентября 1847 г.

Господин де Бальзак,

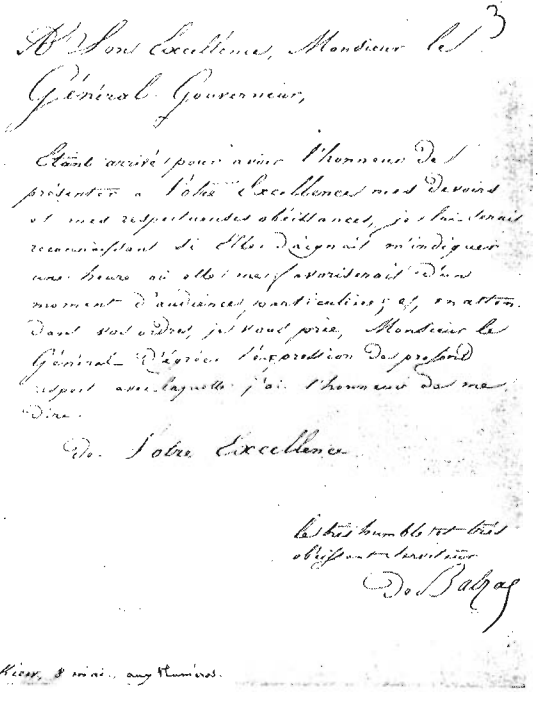
Я только что получил от министра народного просвещения графа Уварова письмо, возвещающее мне ваш приезд в губернии, управление коими мне вверено, и я тороплюсь вам переслать его.

Свидетельствуя вам мое особенное удовольствие, при мысли, что вы будете жить в наших краях, я прошу вас, милостивый государь, обращаться непосредственно ко мне, как только представится в этом необходимость, и пользоваться мной для любых поручений, которые я выполню с истинным наслаждением.

Примите также уверение в моих лучших чувствах к вам.

Ваш покорный слуга
Дмитрий Бибиков[39]

Бальзак, видимо, имел в виду ответить на это письмо личным представлением Бибикову, но, судя по их последующей переписке, начальник края не оказался в Киеве в первое посещение города французским писателем, осенью 1847 г. Только во время второго пребывания Бальзака на Украине, зимою 1849 г., он обменялся с киевским губернатором следующими письмами.



АВТОГРАФ ПИСЬМА БАЛЬЗАКА К Д. Г. БИБИКОВУ ОТ 8 МАЯ 1849 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

*Перевод:*

Верховня, февраль 1849 г.

Его превосходительству генералу Бибикову,
члену Государственного совета, генерал-губернатору и проч., в Киев

Как только я узнал о возвращении вашего превосходительства в Киев, я решил лично засвидетельствовать вам свое уважение, поблагодарить за содействие, оказанное вами мне в прошлом году, и просить вас о продолжении вашего доброго отношения; но непрерывные бронхиты, дань климату, помешали мне выехать в намеченное время. Дабы не причинить ущерба своему здоровью, я вынужден отложить путешествие до весны, а потому прошу ваше превосходительство извинить мне невольное запоздание моего визита, который, если бы не являлся для меня долгом, послужил бы выражением признательности вашему превосходительству за оказанное покровительство и за то спокойствие, каким, благодаря вашему неусыпному и постоянному попечению, наслаждаются в этих областях; это спокойствие составляет столь славный для России контраст с волнениями, происходящими в Европе и Франции, от которых я ищу прибежища у моих друзей.

Прошу вас, г. генерал-губернатор, принять выражение моих почтительных чувств, с которыми остаюсь вашего превосходительства нижайшим и почтительнейшим слугой.

де Бальзак[40]

На это письмо Бальзака Бибиков вскоре отвечал.

*Перевод:*

Получив с истинным удовольствием адресованное вами в феврале письмо, спешу выразить вам свою признательность за добрую память обо мне. Поверьте, сударь, что я был бы всегда рад видеть вас в нашем городе и почел бы приятным долгом исполнять все ваши пожелания, поскольку это в моей власти.

Вы поступили хорошо, избрав на некоторое время убежищем нашу страну, потому что, действительно, только у нас можно теперь насладиться полной безопасностью. Благодаря его императорскому величеству, мы видим Россию спокойной, и волнения Европы с их плачевными последствиями не способны увлечь нас; мы знаем по опыту других, что спокойствие в государстве есть одно из величайших благодеяний, которое всемогущий дарует народам.

Примите выражение и т. д.

[Подпись][41]

Киев, 5 марта 1849 г.

Весною Бальзак, действительно, собрался в Киев. 9 апреля 1849 г. он сообщает матери, что вскоре представится генерал-губернатору: «Это обязанность, предписанная всем иностранцам, но которую постоянные простуды заставили меня откладывать»[42]. На этот раз сердечное заболевание задерживает представление: 30 апреля писатель сообщает об этом матери и сестре, рассчитывая в самом начале мая выехать в Киев[43]. Следующая записка Бальзака к Бибикову свидетельствует, что в мае 1849 г. это представление, наконец, состоялось.

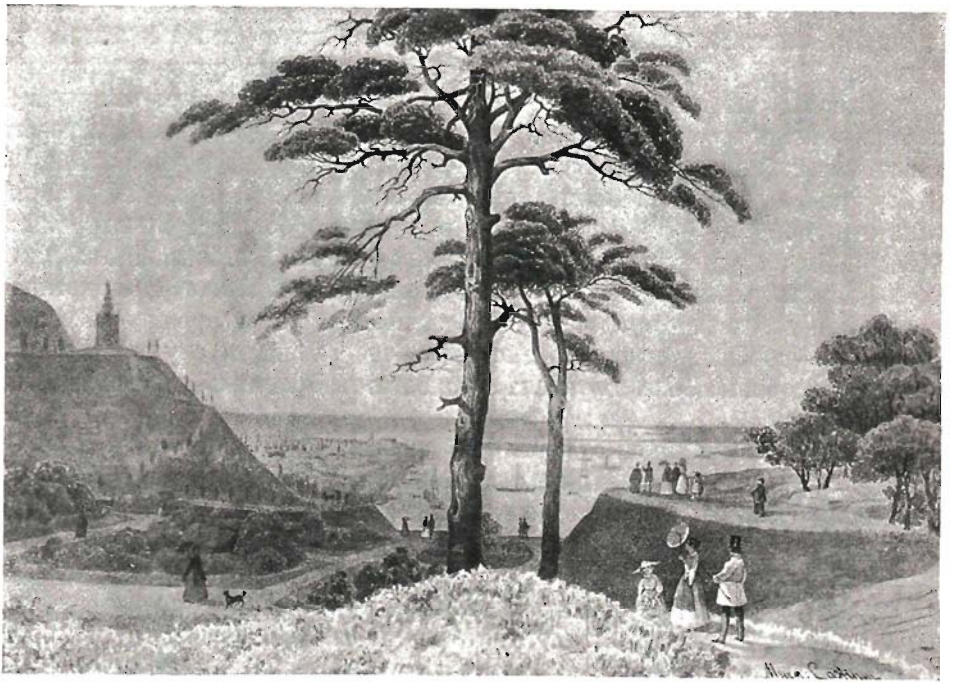
*Перевод:*

Его превосходительству генерал-губернатору

Прибыв, чтобы засвидетельствовать вашему превосходительству почтение и готовность к услугам, я был бы признателен вам, если бы вы соблаговолили назначить мне час для частной беседы; в ожидании ваших распоряжений прошу вас, г. генерал, принять выражение глубокого уважения, с коим имею честь пребывать нижайшим и покорнейшим слугой вашего превосходительства.

де Бальзак

Киев, 8 мая [1849 г.], в номерах[44].



„ВИД НА ПАМЯТНИК КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ В КИЕВЕ"
Рисунок М. Сажина
Русский музей, Ленинград

Предметом этой «частной беседы» были матримониальные дела Бальзака: через две недели, 22 мая 1849 г., Ганская обратилась к Бибикову с особым письмом на эту тему. Официальный Киев оказался главным этапом в сложных переговорах Верховни с Петербургом о предстоящем бракосочетании русской подданной Ганской с иностранцем Бальзаком.

V

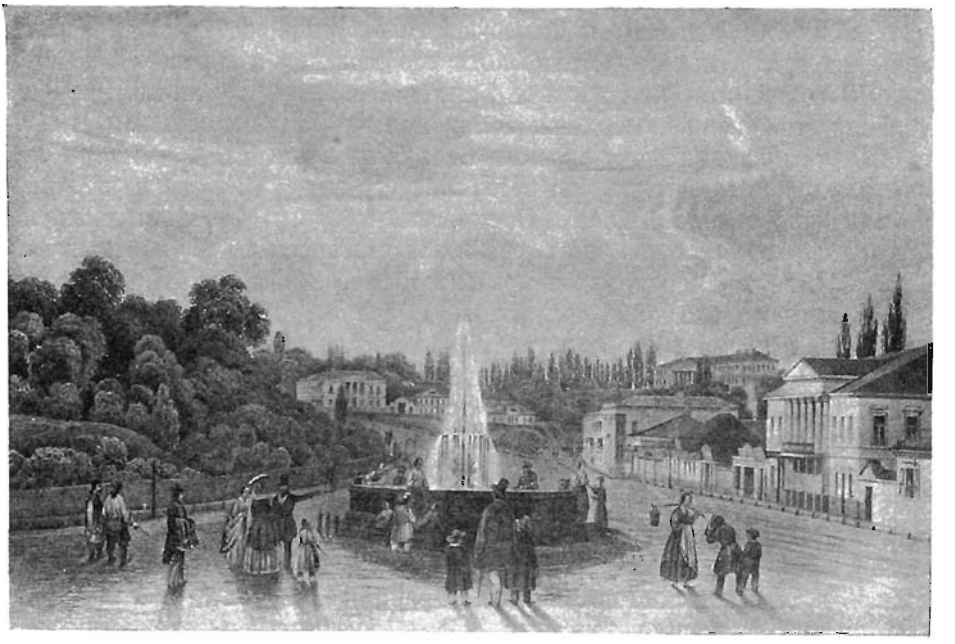
В биографиях Бальзака можно нередко встретить указания на его увлечение Киевом и, якобы, пристальный интерес к памятникам «второго Царьграда». «Он посетил Киев, этот живописный город, который преисполнил его восхищением, он объездил всю Украину, интересуясь каждой вещью, каждым социальным классом, каждой избой по пути...»[45]. Или: «Он посетил южную Россию, любовался Киевом, изучал нравы, интересовался памятниками, отдался еще раз с наслаждением своему ре-

меслу туриста и наблюдателя»[46]. Все это—общие и готовые суждения, совершенно не соответствующие фактам и документам. Киев, как мы видели, не понравился Бальзаку. Первобытный по своему благоустройству город с его незамощенными улицами, оврагами и канавками, отсутствием освещения, обилием нищих и уродов слишком резко контрастировал с кварталом Божон, где рядом с домом Ротшильда заканчивался отделкой особняк Бальзака. Памятники православия не пробудили интереса в этом убежденном поклоннике Ватикана и готических соборов. Контрактовые ярмарки могли заинтересовать его некоторыми привозными товарами, но он находил цены чрезвычайно высокими и любовался выставленными вещами совершенно бескорыстно. К тому же прибавился ряд отрицательных впечатлений о городе, вероятно, способствовавших полному охлаждению к нему Бальзака. В первом же письме к сестре из Верховни, от 8 октября 1847 г., писатель сообщает ей, что в Киеве холера, «которая и производит опустошения вполне добросовестной холеры». «Впрочем, не беспокойтесь обо мне,—шутит он в том же письме,—ибо холера убивает только богатых дядюшек, а мое состояние еще не достаточно значительно, чтобы холера удостоила меня своим вниманием...»[47]. Но в следующем письме (ноябрь 1847 г.) он пишет об эпидемии в более серьезном тоне: «Холера беспощадно свирепствует в наших краях. В Саратове она уже унесла девять тысяч человек, а в Киеве, где я уже побывал, она уносила от сорока до пятидесяти человек в день». «Холера прошла и через Верховню,—сообщает он в том же письме,—теперь она, по слухам, в Вене; но все мы здоровы. Болезнь унесла сына богатой Браницкой, в пятидесяти верстах от нас»[48].

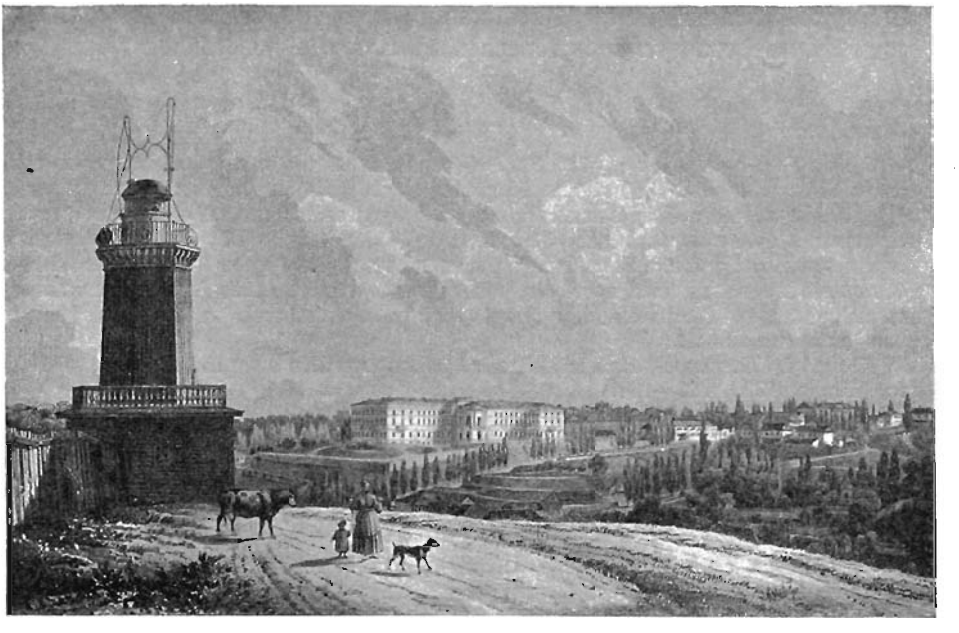
Смертность от киевской холеры 1847 г. была действительно очень высока: по официальным сведениям, из 1680 заболевших умерло 990[49].

Но если грозная эпидемия пощадила Бальзака, общее состояние его здоровья оставляло желать много лучшего. Сам писатель склонен был обвинять в этом киевский климат. 3 марта 1849 г. Бальзак пишет сестре: «Я схватил в Киеве—уже в четвертый раз—простуду, заставившую меня долго и жестоко страдать... Я не покидал комнаты в течение двадцати дней. И моим единственным развлечением было видеть госпожу Жорж Мнишек перед отъездом на бал в нарядах царского великолепия...»[50]. Через год, 28 февраля 1850 г., он дает такие же сведения о себе: «Увы! Путешествие в Киев было пагубным для моего здоровья. Со второго же дня моего пребывания, пока я разъезжал с визитами к начальствующим лицам, страшный и гибельный вихрь, называемый здесь м е т е л ь ю, пронесшийся по течению Днепра, быть может, с побережий Черного моря, прохватил меня, несмотря на плотно облегавшую меня шубу, и я получил самую ужасную простуду, какую когда-либо испытывал в жизни. Я лихорадил четыре дня и двадцать дней не выходил из комнаты. Бронхи, легкие—все было поражено... Нет, решительно мой организм отказывается акклиматизироваться здесь»[51]. Между тем, общая картина болезни Бальзака не оставляет сомнений, что причиной его последнего заболевания был не столько «русский климат» (как известно, не отличающийся особенной суровостью на Украине), сколько в конец расстроенный артериосклерозом организм, которому оставалось всего полгода жизни.

Следует заметить, что обычные высказывания самого Бальзака и некоторых его исследователей относительно его путешествий 1847—1848 гг., как о поездках «на север», не отличаются точностью. Киев и Париж лежат



„ВИД ПЛОЩАДИ ТЕАТРА В КИЕВЕ"
Литография с рисунка М. Сажина
Русский музей, Ленинград



„ВИД ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ В КИЕВЕ"
Литография с рисунка И. Лауфера
Русский музей, Ленинград

почти на одной параллели—Париж под 48°, Киев под 50° северной широты. Отправляясь из Франции на Украину, Бальзак ехал не на север, а только на восток. Это, конечно, не исключает целого ряда особенностей в климатических условиях обеих стран, хотя соображения о гибельном действии «русского климата» на здоровье Бальзака едва ли обоснованы. Общие условия его жизни в Верховне были, конечно, неизмеримо здоровее его парижского режима и обстановки. Беда была в том, что в просторы степной Украины и в богатый быт верховенского замка Бальзак привез непоправимо надорванное сердце. Прекрасная природа Киевщины оказалась бессильной восстановить этот разбитый героическим трудом организм, но она, конечно, неповинна в предсмертной болезни Бальзака.

Все эти переживания послужили причиной того, что задуманное в Париже «Письмо о Киеве» осталось недописанным и «Journal des Débats» не получил обещанных корреспонденций. Старый Киев, столь восхищавший своей живописностью и древностями наших мастеров кисти и слова, представлял для Бальзака российскую провинцию николаевского времени, бессильную чем-либо прельстить или зачаровать искушенного парижанина. К тому времени Бальзаку уже вообще было не до туризма. Больной и усталый писатель был более всего озабочен на Украине личной драмой своей жизни, а со времени своего второго приезда в Верховню—и политическим потрясением Франции после 1848 г. Эти великие треволнения заслонили присущие ему прежде интересы странствующего наблюдателя и не пробудили его творческого внимания к древностям «северного Рима», пленявшим не только русских поэтов, но и многочисленных французских путешественников XVII—XVIII вв.[52]. Сложные события, наполнившие последнюю главу биографии Бальзака, не дали ему возможности сосредоточиться на новом жанре путевых записок, и, к великому сожалению для нас, Киев, как и Петербург, так и не получил своей «грамоты на бессмертие» под пером гениального живописца Парижа.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Correspondance, II, 323. К. Радзивилл сообщает, что Бальзак приезжал в Киев в апреле 1850 г. для оформления своего брака гражданским порядком; в Бердичеве не было французского консула, и для этого пришлось ехать в Киев, где регистрация брака и состоялась 3/15 апреля 1850 г. (Floyd, 251). В имеющихся у нас документах о браке Бальзака (см. главу VII и примечания к ней) об этом ничего не говорится, но из них явствует, что брачное свидетельство Бальзака посылалось для надлежащего оформления в Петербург, в министерство иностранных дел и во французское посольство.

[2] Gigli (Giuseppe), Balzac in Italia. Contributo alla biografia di Onorato di Balzac, Milano, 1920, 193—198.

[3] Lettre sur Kiew, 15.

[4] Ibid., 75.

[5] Ibid., 13—14.

[6] Ibid., 16.

[7] Correspondance, II, 352.

[8] Ibid., II, 432.

[9] Иконников В. С., Киев в 1654—1855 гг. Исторический очерк, К., 1904, 350.

[10] Специальная карта Киевской губернии 1852 г. Приложение к «Статистическому описанию Киевской губернии», изд. И. Фундуклеем, П., 1852, 1.

[11] Correspondance, II, 326—327.

[12] Staël (M-me de), Œuvres, XV, 190—191.

[13] Грибоедов А. С., Сочинения, под ред. Н. К. Пиксанова, П., 1917, III, 175.

[14] Лесков Н. С., Сочинения, П., 1903, XXXI, 4—5.

[15] Œuvres complètes (M. Lévy), XXII, 35.

[16] Закревский Н., Описание Киева, К., 1868; Иконников, op. cit., 192 и сл.; Петров Н. Н., Историко-топографические очерки древнего Киева, К., 1897, 71.
[17] Correspondance, II, 377, 435.
[18] Шероцкий, К. В., Киев, К., 1918, 170.
[19] Копылов А. Ф., Мемуары графа Олизара.—«Русский Вестник», 1893, IX, 104.
[20] Иконников, op. cit., 348—349 и Закревский Н., Описание Киева, М., 1868, 390.
[21] Ibid., 270.
[22] Ibid., 351.
[23] Копылов А. Ф., Мемуары графа Олизара.—«Русский Вестник», 1893, IX, 117.
[24] 1) «Обозрение Киева в отношении к древностям, изданное по высочайшему соизволению киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем». Киев, в типографии Вальнера, 1847, 62 гравированные таблицы. 2) «Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии, изданное киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем». Киев, в типографии Феофила Гликсберга, 1848, 17 таблиц.
[25] «Русский биографический словарь», том Фабер—Цявловский, 251.
[26] Алексеев М. П., Бальзак в России (архивная справка).—«Красный Архив», 1923, III, 307.
[27] Нечкина М. В., Декабрист Н. И. Лорер и его «Записки». Вступительная статья к книге «Записки декабриста Н. И. Лорера», М., 1931, 37—41.
[28] Все три письма к М. В. Юзефовичу были сообщены редакции «Литературного Наследства» в 1934 г. В. М. Базилевичем. Подлинники их находятся в Киеве.
[29] Correspondance, II, 327.
[30] Симзен-Сичевский О., Художник старого Киева, приятель Шевченко—М. М. Сажин.—«Київські збірникі історії й археології побуту й мистецтва». К., 1931, I, 372-373.
[31] Лесков Н. С., Сочинения, П., 1903, XXXI, 28.
[32] Кондаков С. Н., Список русских художников к юбилейному справочнику Академии художеств. П., 1914, 174; «Русский биографический словарь», том Сабанеев—Смыслов, 1904, 54; Чужбинский, А., Воспоминания о Т. Г. Шевченко, П., 1861, 25. Ср. «Київські збірникі...», 1931, I, 367—369.
[33] Рамазанов Н., Материалы для истории художеств в России, М., 1863, I, 259—261.
[34] В Историческом музее в Москве сохранилась большая коллекция киевских видов Сажина. Это 45 рисунков лавры, церквей, монастырей, софийских фресок, Асколъдовой могилы, понтонного моста, университетского здания и других частей города и его окрестностей.
[35] [Вельтман, А.] Московская оружейная палата, М., 1844, 3—4.
[36] Копылов А. Ф., Мемуары графа Олизара.—«Русский Вестник», 1893, IX, 117.
[37] Лесков Н. С., Сочинения, П., 1903, XXXI, 6.
[38] «Русский биографический словарь», том Бетанкур—Бякстер, СПБ. 1908, 23. Ряд анекдотов о деятельности Бибикова в Киеве см. в «Киевской Старине», 1882, VII.
[39] Collection Lovenjoul, A. 312, fol. 2. Ср. Korwin-Piotrowska, 438. В подписи ошибка: Андрей вместо Дмитрий.
[40] Автограф.—Институт литературы АН СССР («Пушкинский дом»). Дашковское собрание.
[41] Отпуск письма, в том же собрании.
[42] Correspondance, II, 391.
[43] Ibid., II, 397, 402.
[44] Автограф.—Институт литературы АН СССР («Пушкинский дом»). Дашковское собрание.
[45] Séché (Alphonce) et Bertaut (Jules), Balzac, Louis-Michaud, P., s. a., 180.
[46] Faguet (Emile), Les grands écrivains français. Balzac, P., Hachette, 1913, 18.
[47] Correspondance, II, 323.
[48] Ibid., 325.
[49] Иконников, op. cit., 201. Вскоре был издан «Отчет о холерной эпидемии, бывшей в Киеве в 1848 году, составленный проф. А. Вальтером, Ф. С. Цыцуриным и Н. И. Козловым», К., 1848. В «Киевских губернских ведомостях» были напечатаны статьи о холере: 10 октября 1847 г. (№ 41) и 26 июня 1848 г. (№ 26).
[50] Correspondance, II, 377.
[51] Ibid., II, 436.
[52] Французские путешественники Боплан, Линаж, Шерер, Гарран де Кулон, Лезюр, Дамаз де Реймон, Кастельнò, графиня Отпуль и Л.-П. де Сегюр оставили свои свидетельства о Киеве (Lettre sur Kiew, notes, 77).

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

# БАЛЬЗАК В 1848 г.

I. ОТЪЕЗД БАЛЬЗАКА ИЗ ВЕРХОВНИ ВО ФРАНЦИЮ В ЯНВАРЕ 1848 г.— ПРИБЫТИЕ В ПАРИЖ „НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ". — БАЛЬЗАК В ТЮИЛЬРИ В ДЕНЬ ОТРЕЧЕНИЯ КОРОЛЯ. — ОТНОШЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ К ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. — ОЦЕНКА БАЛЬЗАКОМ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОССТАНИЯ В ГАЛИЦИИ В 1846 г. — НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ БАЛЬЗАК В БОРЬБЕ БУРЖУАЗИИ С ПРОЛЕТАРИАТОМ? II. ЕГО УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 1848 г. — БАЛЬЗАК НА СОБРАНИИ ЛИТЕРАТОРОВ: ЕГО ИЗБИРАЮТ ДЕЛЕГАТОМ К ЛЕДРЮ-РОЛЛЕНУ. — БАЛЬЗАК И „ЛИХОРАДКА НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА". — ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БАЛЬЗАКА К ПРЕЗИДЕНТУ КЛУБА ВСЕМИРНОГО БРАТСТВА: „ИСПОВЕДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЕРЫ". — РЕВОЛЮЦИЯ 1848 г., КАК „ВОЙНА ТРУДА И КАПИТАЛА" (К. МАРКС). — СТАТЬЯ БАЛЬЗАКА О ТРУДЕ И КАПИТАЛЕ („LETTRE SUR LE TRAVAIL"). — ИДЕАЛ „МОЩНОЙ МОНАРХИИ". III. ПЕРВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ УСПЕХ БАЛЬЗАКА — ПЬЕСА „МАЧЕХА" НА СЦЕНЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ТЕАТРА. — „ПЕТР I И ЕКАТЕРИНА". IV. СТРЕМЛЕНИЕ БАЛЬЗАКА „СПАСТИСЬ ОТ ТРЕВОЛНЕНИЙ ПАРИЖА" НА УКРАИНЕ. — ПЕРЕПИСКА С УВАРОВЫМ И ОРЛОВЫМ О РАЗРЕШЕНИИ НА ВЪЕЗД В РОССИЮ. — РЕЗОЛЮЦИЯ НИКОЛАЯ I: „ДА, НО С СТРОГИМ НАДЗОРОМ". — ПЛАН БАЛЬЗАКА НАПИСАТЬ В РОССИИ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН О НАПОЛЕОНОВСКОМ ПОХОДЕ 1812 г. — НАМЕРЕНИЕ РОМАНИСТА ПОСЕТИТЬ С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ЗИМОЙ 1849 г. МОСКВУ. V. „КОРОЛЬ НИЩИХ". — ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАДЕЖДЫ И ЧАЯНИЯ ОБИТАТЕЛЕЙ ВЕРХОВНИ: ГЕНРИХ V И НАСЛЕДСТВО СВ. ЛЮДОВИКА

## I

Приезд в Верховню в 1847 г. так же мало приблизил к осуществлению главную мечту Бальзака о браке с Ганской, как в свое время его путешествие в Петербург. К концу года Бальзаку стало ясно, что его «величайшее желание еще далеко от своего исполнения: г-жа Ганская еще нужна своим детям» и пр.[1]. Бальзаку необходимо оставить Верховню, чтобы вернуться к парижской деятельности и не играть сомнительной роли нахлебника в доме, где он не может стать мужем и хозяином. Деловые обстоятельства способствуют ускорению его отъезда[2]. Несмотря на жестокие морозы, он в самом разгаре зимы (около 20 января 1848 г. по ст. стилю) выезжает из имения Ганской и за неделю, а по его собственному выражению, «за несколько часов до революции», приезжает 4/16 февраля в Париж[3].

Февральские события захватывают и его в свой круговорот, но не в качестве активного участника революции, а как ее скептического наблюдателя. В самый день отречения Луи-Филиппа, 24 февраля, когда революционные отряды заняли королевский дворец и огромная толпа парижан вслед за ними проникла в Тюильри, Бальзака видели в Маршальском зале. Его приятель, молодой Шанфлёри, записал тогда же:

«Бальзак одним из первых вошел в Тюильри в день 24 февраля. Я был более изумлен, встретив его в Маршальском зале, чем самой революцией и бегством короля. Среди повстанцев, среди ружейной пальбы странно было видеть человека, приверженного монархическим традициям. Актер Монроз, игравший в пьесе «Средства Кинолы», в сутолоке узнал от Бальзака, что он явился взять лоскут бархата с трона. Автор «Человеческой комедии» чрезвычайно любил такие исторические достопримечательности»[4].

Между тем, события быстро развертываются. Трон выносится на улицу. Толпа устраивает торжественное шествие. Четверо рабочих несут на своих плечах королевское кресло, их сопровождают национальные гвардейцы с кусками пурпура, узорчатого штофа, парчи, придворных мундиров и ливрей на остриях штыков. На площади Бастилии раскладывается костер, толпа хороводом начинает кружиться вокруг пылающего хвороста, учащая свой бег и ускоряя ритм пляски, пока последние остатки трона не превращаются в груду пепла[5].

Такие картины восставшего Парижа наблюдал Бальзак сейчас же по возвращении из своего украинского затишья. Сцены народного возму-

щения не вызывали сочувствия в этом стороннике «сильной власти». Дня через три после свержения Луи-Филиппа Шанфлёри посетил Бальзака в его особняке на улице Фортюне, который обставлялся для будущей супружеской жизни. В своих воспоминаниях Шанфлёри записал:

«Г-н де Бальзак в 1848 г. оставил Францию; он не любил республики, или, по крайней мере, не доверял будущему»[6].

О том же свидетельствует Жюльен Лемер. В марте 1848 г. Бальзак заявил ему, что единственной сферой деятельности для активных натур во Франции остается политика.

«Но для этого нужно быть молодым, а я стар»,—с глубоким вздохом заключил писатель.

«Человек, написавший «Крестьян» и «Бедных родственников», всегда молод»,—не без основания возразил ему Лемер[7].

Но ему не удалось переубедить романиста.

По переписке Бальзака мы знаем, что политические события революционного года шли вразрез с его планами и особенно с его сложившимися воззрениями.

Собственно, падение орлеанской династии не могло встретить его возражений. Мы знаем, как иронически он относился к Луи-Филиппу, как держал себя в стороне от правительственных кругов Июльской монархии, которая, в свою очередь, игнорировала его и ни к каким официальным почестям не допускала. Победа демократии, установление республики, стремление осуществить идеи утопического социализма—все это резко противоречило его политической программе. Мы знаем, что революционное движение никогда не привлекало Бальзака и что за два года перед тем крестьянское восстание в Галиции крайне встревожило его. 7 марта 1846 г. он писал Ганской:

«О, сам бог привел вас в Неаполь... Оставайтесь же в Риме, осуществляйте план вашего путешествия, возьмите как можно больше денег, ибо Украина, Подолия и Волынь возмутились. Сто одиннадцать галицийских помещиков убиты крестьянами, хотевшими вовлечь своих господ в бунт против их повелителя—австрийского императора... Мятеж или восстание поднялись одновременно по всей старой Польше (прусской, австрийской и русской); движение к о м м у н и с т и ч е с к о е. Дрожу за вашего кузена Леонтия. Восставшие взяли Подгорцы [поместье Мнишков на Волыни]. Вот ужасы. Обе стороны беспощадны. Священники, женщины, дети, старцы, все поднялись»[8].

Не меньшее впечатление, конечно, произвело на Бальзака восстание парижского пролетариата. Центральным деятелем революции 1848 г. являлся рабочий класс, который неизмеримо глубже, чем революционная буржуазия XVIII в., отодвигал в прошлое бальзаковский идеал «старой Франции». В разразившихся классовых боях буржуазии с пролетариатом Бальзак оказался на стороне буржуазии, к которой всегда относился критически со своих легитимистских позиций. В апреле 1848 г. Бальзак даже отказывается от постановки своей пьесы «Мещане» на том основании, что буржуазия «благородно пролила свою кровь, защищая цивилизацию, находившуюся под угрозой» и «на утро после этой битвы ее нельзя сатирически выводить на сцену»[9].

Он приветствует июньские дни 1848 г. и победу буржуазии, устанавливающей свою диктатуру во Франции. В июле 1848 г. он пишет царскому министру Уварову: «Мы искупили свои ошибки ужасной июньской битвой».

ФЕВРАЛЬСКИЕ ДНИ 1848 г. В ПАРИЖЕ
Народ выносит королевский трон из Тюильри
Современная литография
Музей революции, Москва

II

Бальзак не остался безучастным к бурной жизни Парижа. В 1848 г. Шанфлёри видел его на одном собрании литераторов; в мае, по предложению Ледрю-Роллена, литературные деятели собрались в одном из помещений Академии для обсуждения вопроса о судьбе художественных изданий. В пестрой толпе журналистов и лиц разных профессий поражало полное отсутствие настоящих писателей...

«Вдруг входит Бальзак, и все собрание обращает свои взгляды на этого полного человека в перчатках и зеленом фраке. Он быстро оглядел собравшихся, узнал меня и сейчас же сел рядом, не подозревая, что занимает место на крайней левой».

Шло довольно беспорядочное обсуждение правительственного предложения, и «г. де Бальзак много смеялся общей неразберихе». Когда же он оказался единогласно избранным в делегацию к Ледрю-Роллену, великий романист, выразив свою благодарность за доверие, отклонил эту честь, сошел с кафедры и оставил зал заседания.

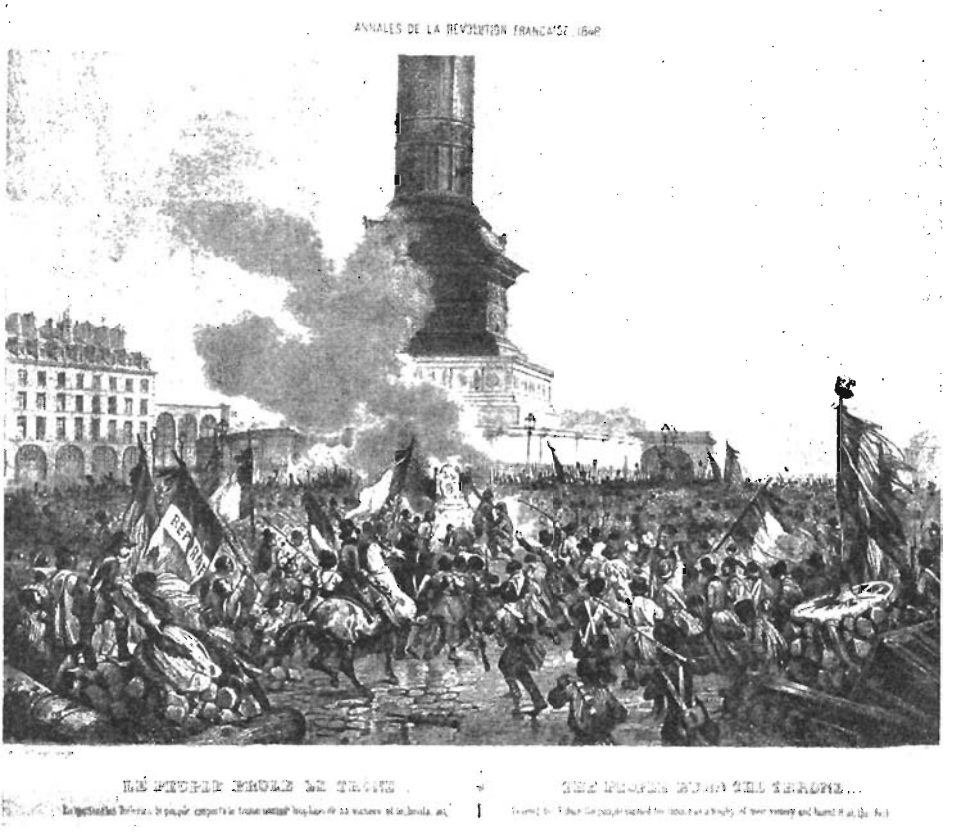
Таким наблюдал Бальзака молодой Шанфлёри на одном из собраний революционной Франции 1848 г.

По его словам, Бальзак даже склонен был принять участье в политической жизни Франции. Его давнишние мечты о депутатстве оживились неожиданным ходом событий. «На несколько мгновений его захватила

лихорадка «народного представительства», вследствие чего он даже опубликовал в газетах письмо на этот случай. Но представляете ли вы себе г. де Бальзака в народном клубе?»[10].

Письмо это, действительно, появилось в печати в апреле 1848 г. под заглавием «Исповедание политической веры» и с обращением «к господину президенту клуба всемирного братства в Париже». Это ответ на сообщение, что Бальзак внесен названным клубом в список кандидатов в Национальное собрание и приглашается выразить свои политические убеждения на общем собрании членов.

Бальзак предпочел ответить в печати. Он заявил, что примет обязанности народного представителя, если они будут ему доверены, так как «мандат 1848 г. является для избранника актом преданности Франции, самоотверженности, пренебрежения опасностью». Свою политическую программу он свел к заявлению о необходимости создать, наконец, прочное правительство на более длительный срок, чем 15 или 18 лет, как это наблюдалось во Франции после 1789 г. В заключение Бальзак опроверг распространившиеся слухи о том, что он, якобы, поторопился вернуться из России на родину, чтобы выставить свою кандидатуру. Он указал, что неуклонно продолжает свои литературные занятия, «которые дают работу типогра-




ФЕВРАЛЬСКИЕ ДНИ 1848 г. В ПАРИЖЕ
Народ сжигает королевский трон
Современная литография
Музей революции, Москва

фиям, театрам, книготорговле, газетам. Эти виды промышленности, эти предприятия питают двадцать родов торговли, в настоящее время пришедших у нас в упадок, и стремление объединить и оживить их снова является также одной из наших задач»[11].

Такая профессиональная программа писателя показалась недостаточно убедительной политической декларацией, некоторые газеты объявили ее реакционной, и Бальзак не оказался в числе народных представителей 1848 г.

Он приготовил еще одну большую политическую статью по вопросу о текущих событиях. Она свидетельствует о том, что со своих позиций романист довольно верно определял их ход и расценивал их сущность. Маркс, как известно, определил революцию 1848 г. во Франции, как «гражданскую войну в ее самом страшном обличии—войну труда и капитала». Это отчасти было ясно и Бальзаку. Весьма характерна в этом отношении его статья, написанная весною 1848 г. в Париже,—«Письмо о труде», в котором он ставит себе задачей открыто высказаться насчет «республиканских утопий». Он выступает здесь против социалистического принципа организации труда, защищая независимость производства и коренные интересы частных и государственных богатств. Новая «тираническая система» должна привести, по его мнению, к дезорганизации промышленности; установление принципа равенства в индивидуальном труде представляется ему противоестественным. Он защищает единственную организационную силу промышленной жизни—к а п и т а л. Вместо регламентации и организации труда государство должно, по примеру Англии, п о к р о в и т е л ь с т в о в а т ь п р о д а ж е, т. е. находить и открывать новые рынки национальной продукции. Бальзак протестует против той «жестокой войны, которую объявляют к а п и т а л у, т. е. самой жизни и крови промышленного о р г а н и з м а». Он берется доказать, что «к а п и т а л—э т о т р у д в п р о ш л о м, который субсидирует т р у д в н а с т о я щ е м, и что испытывать его, посягать на собственность каким бы то ни было способом, это значит препятствовать будущему труду»[12]...

В своих письмах 1848—1849 гг. Бальзак высказывается о революционных событиях гораздо решительнее и откровеннее. «Доколе крепкая и мощная монархия не будет у нас восстановлена,—пишет он своему зятю Сюрвилю,—во Франции нечего будет делать. Я даже допускаю, что в ближайшее время возникнет якобинское движение; но я думаю, что оно окажется последним и что вскоре покончат с этой невозможной республикой, которая стоит нам и всей Франции стольких утрат и несчастий»[13].

Считая, что до восстановления сильной власти ему нечего делать во Франции, где литература пришла в полное расстройство, Бальзак решает снова удалиться из революционного Парижа на безмятежную Украину. На этот раз путешествие в Россию представляло ряд новых трудностей. Весной 1848 г. Николай I «по случаю возникших во Франции смятений» запретил русским консулам выдавать французским подданным паспорта на въезд в Россию[14]. Приходилось хлопотать об особом разрешении. О своей потребности укрыться от политических бурь своей родины под щит самодержавной России Бальзак пишет Уварову, довольно обстоятельно излагая в этом письме свое отношение к текущим политическим событиям.

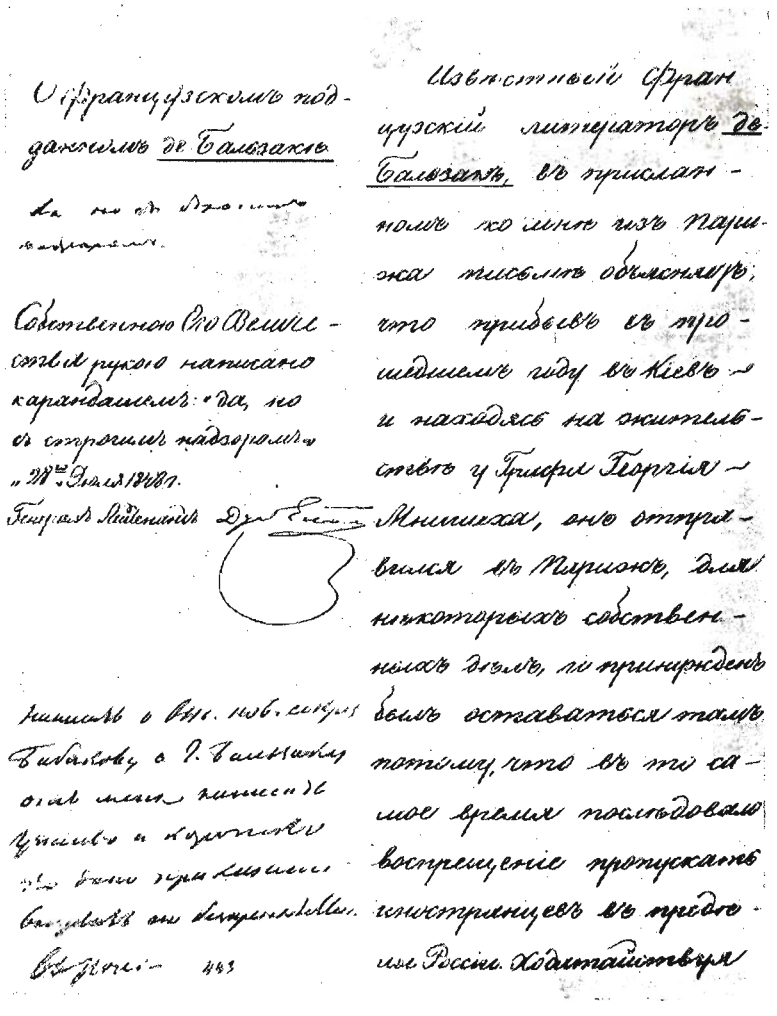
*Перевод:*

Его сиятельству графу Уварову,
министру народного просвещения, в С.-Петербург

Париж, 14 июля 1848 г.

Граф,

Благосклонность вашего сиятельства ко мне в прошлом году дает мне смелость просить о продлении вашего милостивого содействия, и все по



„ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ ДОКЛАД" А. Ф. ОРЛОВА ОТ 28 ИЮЛЯ 1848 г.
О РАЗРЕШЕНИИ БАЛЬЗАКУ ПРИЕХАТЬ В РОССИЮ
Сверху резолюция Николая I: „Да, но с строгим надзором"
Архив революции, Москва

поводу того же самого дела. Мое пребывание в поместье графа Мнишка[15] было прервано в феврале т. г. личными делами, для устройства которых я вынужден был выехать на несколько дней в Париж, где я был застигнут врасплох революцией, подобно тому, как путешественник в китайских водах бывает неожиданно захвачен тайфуном. Я должен был поставить на сцену пьесу, написанную мною на Украине, и закупить для графа Мнишка, всецело поглощенного энтомологией, самую знаменитую и

богатую коллекцию насекомых, а именно коллекцию Дюпона. Сейчас я, больше чем когда-либо, хотел бы вернуться на Украину, прежде всего, чтобы самому присмотреть за выгрузкой знаменитой коллекции Дюпона, которая будет отправлена через Марсель, Константинополь и Одессу, а затем, чтобы спастись от треволнений Парижа, где книжное дело, быть может, возродится только года через три, где газеты не помещают больше фельетонов, так как переполнены событиями и полемикой, и где театры увидят вновь зрителей лишь тогда, когда у нас будет прочное правительство. Те, кто любят свою страну, граф, а я, признаюсь, люблю ее горячо, все в большом унынии; и я покидаю ее сейчас только потому, что в 50 лет, после 25-летней работы днем и ночью, я могу служить ей только своим умственным трудом, а сейчас, когда разнуздались все грубые страсти, он ей не нужен. Это не жалоба и не обвинение, это просто факт, о котором, к несчастью, говорят наши газеты всему миру, освещаемому заревом наших пожаров. Мне, рожденному во времена Директории, казалось, что я вновь пережил ту эпоху за эти 4 месяца, когда правительство, руководимое поэтом Ламартином, требовало, чтобы такая страна, как Франция, была представлена ремесленником, а не талантом, наборщиком Данги, а не поэтом, экс-пэром Франции, Гюго... Мы искупили свои ошибки ужасной июньской битвой, но это только одна из ран давнего поединка между варварскими руками Парижа и его культурной головой. Увы, подобные вещи можно говорить только человеку вашего положения и вашего ума. Как русскому министру, вам, быть может, будет приятно знать, что кандидат на кресло Шатобриана просит вас о милостивом разрешении вернуться в Россию, чтобы найти там покой и безопасность у своих друзей. Мне сообщали, что генерал Бибиков, которому вы соблаговолили рекомендовать меня в прошлом году, справлялся недавно у графа Мнишка, не думаю ли я вернуться. Это лукавый вопрос со стороны правителя, прекрасно знающего, что путешественник сохранил только хорошие воспоминания и о стране, и о ее правителях. Я уже выражал вам свою благодарность за прием столь милостивый, что он возбудил даже зависть; наши газеты помещали всевозможные басни об оказанном мне гостеприимстве. Личные привязанности мои на Украине делают ее для меня второй родиной, и вы не должны сомневаться в том благоговейном чувстве, с которым писатель, всецело преданный монархическим идеям, повинуется законам вашей страны. В силу этого я надеюсь, что вы не откажете мне и в дальнейшем в своем покровительстве и устраните все препятствия, могущие возникнуть для въезда французского гражданина в империю после парижских событий. Так как я собираюсь написать несколько вещей, то мне придется прибегнуть к вашей помощи еще раз, чтобы отправить их из моего убежища в парижские театры, если в этом встретятся какие-либо затруднения.

До моего отъезда из Парижа, который последует только после вашего ответа, у меня есть время для получения письма, которым вы меня удостоите. Я также имею честь обратиться с просьбой к графу Орлову, в ведении которого находится, повидимому, предмет моего ходатайства и моего домогательства. В надежде получить благоприятный ответ, примите, граф, заранее выражение моей благодарности за все сделанное вами для меня и глубокого почтения, с которым я имею честь пребывать

вашего сиятельства покорнейший и преданнейший слуга

де Бальзак

14, ул. Фортюне, квартал Божон.

В случае, если я получу разрешение, я проеду через пограничную станцию Радзивиллов, где я встречу тех же людей, которые были столь любезны по отношению ко мне в прошлом году[16].

III

Следует остановиться на одном литературном сообщении этого письма: «Я должен был поставить на сцене пьесу, написанную мною на Украине...». Действительно, 25 мая 1848 г. парижский Théâtre historique ставил новую пьесу Бальзака «Мачеха» («La marâtre»).

ПЕРЕПРАВА НАПОЛЕОНА ЧЕРЕЗ БЕРЕЗИНУ
Гравюра Федорова по рисунку Скотти 1814 г., висевшая в Верховне
Музей краеведения, Бердичев

Это был первый театральный успех знаменитого романиста. Все предыдущие попытки его утвердиться на сцене терпели полную неудачу. Когда директор Исторического театра спросил Бальзака о его новой драме, романист отвечал ему:

«Это будет нечто ужасное... Но поймите меня правильно. Речь идет не о какой-нибудь громоздкой мелодраме, в которой предатель поджигает дома и держит в страхе их обитателей. Нет, я мечтаю о салонной комедии, где все мирно, спокойно, приветливо. Мужчины невозмутимо играют в вист при свете свечей под мягким зеленым абажуром. Женщины смеются и беседуют над своими вышивками. Пьют патриархальный чай. Словом, все возвещает порядок и гармонию. И вот под всем этим бушуют страсти,

драма зреет и движется, пока, наконец, не прорывается, как пламя пожара. Вот чего я хочу»[17].

Бальзак выступал здесь сценическим новатором или, во всяком случае, решительным обновителем забытого и оставленного жанра. «Мачеха» была обозначена самим автором в подзаголовке его пьесы, как «и н т и м н а я д р а м а», и, во многом, действительно обращалась к старинной «мещанской драме». Критик «Revue des Deux Mondes» с сочувствием отмечал попытку Бальзака «восстановить трагедию домашнюю, семейную, интимную, идущую на смену героической комедии». «В проявлениях этой мирной, однообразной патриархальной жизни, в которой рассеянный зритель заметит только невинное времяпровождение и приветливые улыбки, есть нечто от тревожной тишины и скрытого беспокойства, которые предшествуют буре и располагают к волнению». Критик ставит в заслугу Бальзаку его умение доказать, что «вокруг какой-нибудь кушетки и ломберного стола человеческие страсти могут сплести такую же подлинную трагедию, как и в идеальном мире исторических героев»[18].

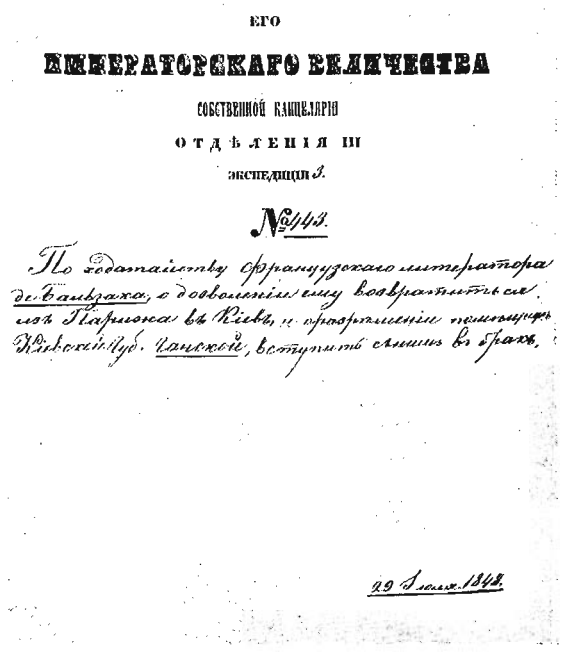
Другой театральный критик, поэт Теофиль Готье, писал по поводу новой пьесы: «„Мачеха“ Бальзака принадлежит к той школе истинной драмы, которую блистательно открыли в прошлом столетии Дидро, Мерсье и Бомарше. Это—самая логическая концепция интимной и буржуазной трагедии. Невидимая драма растет и разыгрывается в этом мирном и дремлющем доме, в котором величайшими событиями кажутся перипетии традиционной партии виста»[19].

Таким образом, сам драматург и авторитетнейшие критики его отмечали в «Мачехе» новую театральную форму. Пьеса Бальзака как бы демонстративно ликвидировала романтический театр и выдвигала на смену ему борьбу страстей в ежедневной обстановке, намечая новые компоненты для назревающей психологической драмы. Этой формулой, как увидим ниже, под непосредственным впечатлением «Мачехи» увлекся молодой Тургенев.

Драма Бальзака имела большой успех. Это обращает его к новым театральным замыслам, среди которых особое место занимает драма из русской истории—«Петр I и Екатерина». Еще за год до того, в 1847 г., Бальзак изложил директору Исторического театра Гоштейну план задуманной им на эту тему пьесы. Пролог ее был построен на занимательном эффекте повторения аналогичной ситуации: в харчевне на большой дороге красавица-служанка пленяет поочередно солдата, офицера и самого царя, выслушивая в нарастающей прогрессии их обещания всяческого улучшения своей судьбы и своего быта—теплой хаты, прекрасного дома и, наконец, царского дворца. Но это забавное начало должно было, по словам Бальзака, развернуться в «колоссальное предприятие», тем более, что предстоящее путешествие в Россию дало бы ему возможность собрать на месте необходимые материалы о русских нравах и обычаях. Весною 1848 г. он снова обращается к этому замыслу, веря, что ему обеспечен огромный театральный успех. Он сообщает 16 апреля 1848 г. Ганской: «„Петр и Екатерина“—это обширная драма в шекспировском духе, но дополненная неслыханной роскошью костюмов и декораций. Она представит историю Петра Великого и его второй жены. Сцены опалы и смерти его сына, пленения великого визиря на Пруте, коронации Екатерины I привлекут к себе внимание всего Парижа. Три или четыре декорации покажут Петербург. Сюжет пьесы со стороны литературного замысла—это постепенное восхождение женщины из народа до высокого звания императрицы и соот-

ОБЛОЖКА ДЕЛА III ОТДЕЛЕНИЯ О БАЛЬЗАКЕ, 1848 г.

Архив революции, Москва



ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

СОБСТВЕННОЙ КАНЦЕЛЯРІИ

ОТДѢЛЕНІЯ III

ЭКСПЕДИЦІИ 3.

№ 443.

По ходатайству французскаго литератора де Бальзака, о дозволеніи ему возвратиться изъ Парижа въ Кіевъ, и о разрѣшеніи помѣщицѣ Кіевской губ. Ганской, вступить съ нимъ въ бракъ.

29 Іюля 1848.

ветственное нисхождение великого законодателя из-за его разгулов и вспышек гнева, ставящих его ниже жены, пока борьба этих двух сил не завершается катастрофически смертью Петра...»[20].

Замысел заметно вызревает в процессе обдумывания сюжета. Уже 21 мая 1848 г. Бальзак сообщает Ганской: «Я начинаю понимать драму Петра и Екатерины. Она должна показать борьбу законодателя со всем окружающим миром: женою, сестрою, сыном, духовенством, народом. Это не легко будет выразить в драме из-за обилия героев. Но нужно победить все трудности»[21].

Так от занимательной обстановочной пьесы Бальзак поднялся до широкого понимания подлинного драматизма судьбы и образа Петра. К сожалению, ему не дано было воплотить этот замысел. Вскоре он выразил своему антрепренеру сомнения, возможно ли в 1848 г., «после битвы пролетариев», рассчитывать на интерес парижского зрителя к такой исторической пьесе. Он предпочел приступить к работе над веселой комедией «Меркаде», а задуманная трагедия о Петре так и не вышла из стадии замыслов, обдумывания и переговоров. Успех «Мачехи» был, кажется, единственным отрадным переживанием Бальзака за весь 1848 г. Оно не могло возместить ему горестей, разочарований и потерь, вызванных политической бурей, от которой он рассчитывал теперь укрыться в усадьбе далекой Киевщины.

## IV

Одновременно с письмом к Уварову Бальзак отправил аналогичную просьбу, хотя и в более официальном и деловом тоне, «министру полиции» Орлову (14 июля 1848 г.)[22].

28 июля Орлов получил письма Бальзака и Уварова. Осторожный министр народного просвещения не брал на себя ходатайства за французского

литератора, просил только сообщить ему «смысл ответа», который будет дан иностранцу, намекая, впрочем, на возможность положительного решения:

«Очень известный французский писатель, г. де Бальзак,—писал Уваров,—приезжал в прошлом году в Россию, где он прожил довольно долго; генерал Бибиков, которому я рекомендовал Бальзака, по просьбе последнего, был весьма доволен его поведением и очень благожелателен по отношению к нему, так как мнения де Бальзака более литературного, чем политического свойства, и он никогда не вмешивался в политические дела»[23].

В этом духе Орлов представил Николаю I 28 июля 1848 г. «всеподданнейший доклад о французском подданном де Бальзаке», в котором указывал, что названный проситель во время его пребывания в Петербурге в 1843 г. и на Украине в 1847 г. «вел себя благородно и ни в чем предосудительном не замечен». «Принимая во внимание неукоризненное поведение де Бальзака во время прежнего пребывания его в России,—заключал Орлов,—а также и ходатайство о нем графа Уварова, я полагал бы, с моей стороны, возможным удовлетворить настоящую просьбу де Бальзака о дозволении ему прибыть в Россию»[24].

Но Николай I оказался подозрительнее и строже своего шефа жандармов. Он не согласился на такое простое и безоговорочное разрешение и наложил резолюцию «да, но с строгим надзором».

Орлов немедленно же послал секретное сообщение Бибикову о приказе императора[25], а самому писателю направил безупречно учтивый утвердительный ответ

*Перевод*:

С.-Петербург, $\frac{30 \text{ июля}}{11 \text{ августа}}$ 1848 г.

Господину де Бальзаку и пр.

Милостивый государь,

Доставляю себе удовольствие сообщить вам в ответ на письмо, каким вы изволили почтить меня 14 сего месяца, что нашим пограничным властям уже даны распоряжения не чинить никаких препятствий вашему въезду в Россию, в виду того, что цель предпринимаемого вами путешествия носит чисто научный характер.

Прошу вас, милостивый государь, принять по этому поводу уверение в моем совершенном почтении.

Граф Орлов[26]

В более дружеском тоне было составлено ответное письмо Уварова:

*Перевод*:

С.-Петербург, 5/17 августа 1848 г.

Я счастлив сообщить вам, милостивый государь, что е. в. император, ознакомившись с письмом, которое вы направили графу Орлову, как и с тем, которым вы изволили почтить меня, отдал приказ, чтобы въезд в империю был для вас открыт. Граф Орлов сообщает мне, что он принял в этом направлении все необходимые меры; мне остается выразить вам надежду, что вы найдете у нас отдохновение от грозы, потрясающей политический мир. Разделите же с нами, милостивый государь, то состояние полной безопасности, которым мы пользуемся; вы убедитесь в том, что ни одно из обстоятельств, потрясших Европу, ни на мгновение не задержало пра-

вильного и мирного развития, которое вы наблюдали у нас в прошлом году; быть может, вы даже найдете, что нашим отголоском на столь печальные события было стремление теснее сомкнуться вокруг национального начала, оберегающего наши судьбы и возбуждающего наши драгоценнейшие запросы.

Не сомневайтесь в том, что усилия, предпринятые в последнее время во Франции с целью восстановить порядок, угрожаемый в самой основе своей, возбуждают сочувствие всех понимающих как важность совершающегося, так и его плачевное направление.

Примите, милостивый государь, искреннее выражение моего совершенного к вам уважения.

Граф Уваров

ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ
Рисунок неизвестного художника, 1840-е гг.
Исторический музей, Москва

На конверте [по-немецки]: «Из России, porto»; [по-французски] «Господину О. де Бальзаку, квартал Божон, улица Фортюне, 14, Париж»[27].

Бальзак отвечал Уварову благодарственным письмом, представляющим интерес и по изложению некоторых литературных замыслов романиста.

*Перевод:*

Париж, 26 августа 1848 г.

Я хочу вас поблагодарить отсюда за вашу любезность и быстроту, с которой вы дали ход моему прошению. Ваш благоприятный ответ, так же как и графа Орлова, застал меня накануне одной из тех ужасных битв, в которых мы, писатели, часто бываем разбиты,—накануне первого представления моей новой пьесы во Французской Комедии. Если я буду побежден, путешествие меня утешит. Я надеюсь иметь возможность выразить вам лично в Петербурге всю мою благодарность. Я намерен описать наше великое поражение 1812 г. и хочу видеть Москву. Мои друзья обещают мне устроить

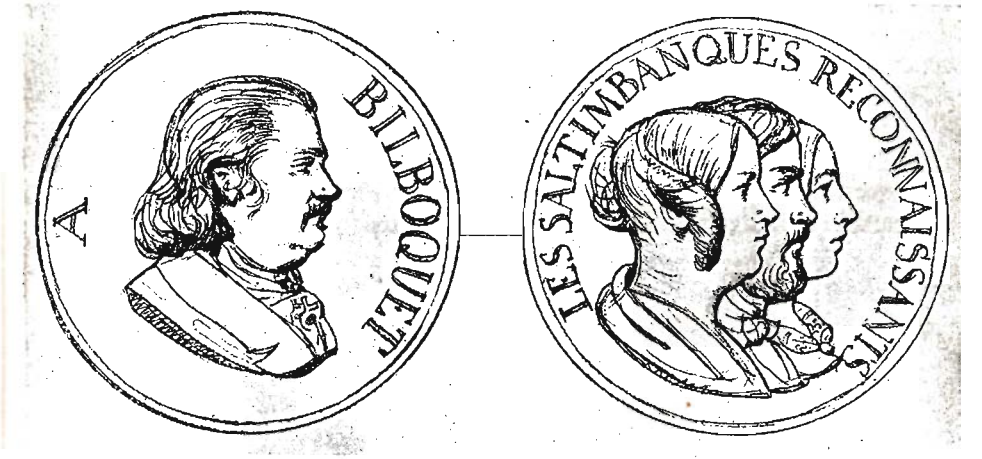
это путешествие и провести со мной конец зимы в С.-Петербурге. Если ничто этому не помешает, я смогу отдать вам свой долг, удостоившись чести личного знакомства с вами, в равной мере я заплачу когда-нибудь свой долг русскому гостеприимству, описав стойкое мужество ваших войск, противостоящее бешеному натиску французов. Уже в первое свое путешествие в Петербург я очень жалел о том, что не зарисовал двух или трех самых знаменитых русских генералов, чтобы описать их с натуры, на этот раз я исправлю эту ошибку; кроме того, у меня будут эскизы военного обмундирования (безделица, которая мешала мне до сих пор заняться 1812 г.). Хотя я надеюсь быть на Украине в конце сентября, я все же не хочу, чтобы ваше сиятельство подумали, что я не чувствую вашего милостивого ко мне отношения; вот почему я написал, посреди всех своих приготовлений к бою и к путешествию, это небольшое письмецо, чтобы дать вам знать, что ваше письмо мгновенно разрешило все мои сомнения. Что же касается милости, оказанной мне императором, то мне кажется, что по отношению к нашим государям, как и к нашим отцам, мы невольно всегда оказываемся неблагодарными; они дают нам жизнь, а мы никогда не можем отплатить им тем же.

Благоволите принять, граф, выражение почтения, с которым я имею честь пребывать

вашего сиятельства
покорнейший и преданнейший слуга
де Бальзак[28]

Бальзак говорит здесь об одном из главных замыслов намеченного и оставшегося неосуществленным отдела «Человеческой комедии»—«Сцены из военной жизни». Трагедия разгрома великой армии и крушения наполеоновского могущества должна была составить один из центральных эпизодов всей серии. Личность Наполеона, как известно, чрезвычайно прельщала фантазию Бальзака, и образ императора проходит по целому ряду его произведений, хотя нигде и не был им выдвинут на первый план. Наполеон появляется в рассказе «Вендетта», в «Темном деле», в «Полковнике Шабере», в «Семейном согласии», «Тридцатилетней женщине» и, наконец, в «Изнанке современной истории». Он выступает перед нами то первым консулом, то уже императором в эпоху Иены, Эйлау, в 1813 г. и пр. Поход Бонапарта в Россию представлялся романисту особенно благодарной темой «наполеоновской эпопеи» как по ее основному драматизму, так и по некоторым возможностям автора изучать и трактовать с достаточной осведомленностью события русской истории. Один из эпизодов 1812 г.—катастрофа французской армии на Березине—послужил Бальзаку материалом для его раннего рассказа «Прощание» и для одной драматической страницы в «Сельском враче». Он считал, что эта тема далеко не исчерпана, и уже в первую свою поездку в Россию готовился по-новому разработать ее. Бонапарт представлялся ему типичным представителем латинской расы, сочетающим в себе характерные черты ее задорной воинственности и тонкого макиавеллизма. Недаром он родился на французском острове, согретом итальянским солнцем. Корсиканец чувствует себя в своей стихии и неизменно торжествует в странах Средиземноморья: он теряется на севере и терпит крушение в России. Эти мысли Бальзака о Наполеоне (развиваемые, между прочим, в «Сельском враче») сказались бы, вероятно, на разработке исторического романа о русском походе. Если бы не тяжелая

болезнь Бальзака, которая сковала его с осени 1848 г., он, конечно, осуществил бы свой план поездки в Москву и зарисовки с натуры знаменитых русских полководцев. Нарастающее расстройство здоровья и упадок творческих возможностей заставили романиста отказаться от этого большого плана его работ на 1849 г. и провести почти весь этот период в задумывании ходких пьес, которые также не были написаны. Но, вероятно, взгляд Бальзака не раз останавливался на висевшей в одной из комнат Верховни гравюре, изображающей поражение Наполеона при переправе через Березину («Défaite de Napoléon au passage de la Bérésina»). Старинный художник изобразил французского императора в момент, когда он достиг противоположного берега в сопровождении одного из своих маршалов и мамелюка, а мост через Березину рушится под взрывами снарядов вместе с всадниками и пехотинцами. Мы видели эту гравюру, хранящуюся теперь в Берди-




БАЛЬЗАК, ГАНСКАЯ, ЕЕ ДОЧЬ АННА И ЗЯТЬ ЮРИЙ МНИШЕК
Рисунок Юрия Мнишка с шутливой надписью:
„Бильбоке [прозвище, данное Бальзаку в Верховне] от признательных скоморохов"
Коллекция Лованжуля, Шантильи

чевском музее и как бы иллюстрирующую последнюю творческую драму Бальзака—замысел его исторической фрески, оставшийся неосуществленным. Писатель, любивший сравнивать себя с Наполеоном и поставивший себе даже девизом «завершить пером то, что тот не успел осуществить шпагой», мог перед этой картиной великого разгрома проводить такие же аналогии и с горечью раздумывать о крушении в России своих последних надежд, планов и предначертаний.

## V

Во время своего последнего пребывания в Верховне Бальзак обращается к замыслу исторической пьесы «К о р о л ь  н и щ и х», о которой сообщает своим друзьям в Париж. Замысел этот относится к раннему периоду бальзаковского творчества—еще к 20-м годам. Но он был оставлен и забыт на целых двадцать лет, чтобы снова всплыть в сознании Бальзака в 1848 г., когда он решил сосредоточиться на драматургической деятельности. В не изданных еще письмах к Ганской от 6 и 18 августа 1848 г. Бальзак говорит об этом замысле, а в письме от 29 августа сообщает тему драмы:

«При Людовике XIII был в Париже король нищих, синдик, ведавший всеми делами голытьбы и назначавший каждому нищему его место и квартал при условии общей и взаимной поруки заниматься своим ремеслом в определенном округе. Этот король нищих при Людовике XIII был поочередно кальвинистом и католиком. Он оказал ряд услуг Генриху IV, который назначил его своим пожизненным королем нищих. Но при кардинале он был забыт. Вот философская идея: король низов, презирающий жизнь и отправляющий неограниченную власть, потешается и веселится, в то время как подлинный король Франции томится от скуки. Верховный владыка завидует властелину низов, и этот последний всегда оказывается в лучшем положении, чем тот. Людовику XIII докучает его министр; того же обожает его главный помощник, считающий своего начальника великим человеком. Я не рассказываю вам самого сюжета драмы, который чрезвычайно увлекателен: король нищих незаслуженно обвинен в преступлении»[29].

Бальзак рассчитывал написать эту пьесу быстро, в одну неделю. Но он уехал из Парижа, не успев осуществить этого намерения, к которому он снова обращается в Верховне. «Я окончил пьесу «Король нищих»,—пишет он сестре в январе 1849 г.,—пьесу, которая принесет Гоштейну, я уверен, сто сорок блестящих представлений (вроде «Жирондистов»), а мне двадцать тысяч франков»[30]. Но, несмотря на такие заявления, пьеса не была написана, и никаких набросков к ней не сохранилось.

31 августа 1848 г. датировано краткое благодарственное письмо Бальзака Орлову из Парижа.

*Перевод:* Париж, 31 августа 1848 г.

Его сиятельству графу Орлову, министру высшей полиции империи

Имею честь, граф, поблагодарить ваше сиятельство за ваш благосклонный и быстрый ответ на мое ходатайство.

Мне не хотелось уехать, не поблагодарив вас еще отсюда, ибо, если вы это дозволите, я надеюсь иметь честь выразить вам благодарность лично в случае, если этой зимой я буду возвращаться через Санкт-Петербург. Умоляю ваше сиятельство продлить мне свое покровительство. Однажды оказанная милость обязывает, и во имя ее я рассчитываю на ваше расположение в дальнейшем.

Примите, граф, почтительное выражение чувств признательности, с которым имею честь быть вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою.

де Бальзак[31]

За неделю перед тем, 22 августа, Бальзак более подробно писал о целях своей поездки директору радзивилловской таможни Гаккелю: «Не знаю, во что превратится Франция—вероятно, в русскую провинцию, если происходящее продолжится,—в настоящий момент готовится ужаснейшая битва в Национальном собрании, и если я не тороплюсь с выездом, не знаю, разрешат ли нам в дальнейшем свободу передвижения. Я еду в Россию за миром и спокойствием»[32]. Он уезжал надолго: «Я покидаю Францию на очень длительный срок»,—пишет он 8 сентября 1848 г. г-же Деборд-Вальмор[33].

В сентябре романист пустился в путь, а в начале октября в III отделение была представлена волынским гражданским губернатором «ведомость об иностранцах, прибывших из-за границы с 16 по 22 сентября», в кото-

рой был «показан между прочими: Французский подданный, литератор Гоноре де Бальзак, следующий из Парижа в Киевскую губернию на жительство». На это сообщение последовало распоряжение Орлова штаб-офицеру корпуса жандармов Киевской губ. Белоусову:

Государь император, по всеподданнейшему моему докладу просьбы известного французского литератора де Бальзака, всемилостивейше соизволил на обратный приезд его в Россию, но с строгим за ним надзором. Усматривая ныне из представленной начальником Волынской губернии семидневной об иностранцах ведомости, что упомянутый Бальзак уже прибыл в наши пределы для следования в Киевскую губернию на жительство, предлагаю вашему высокоблагородию, во исполнение монаршей воли, иметь строгое секретное наблюдение за этим иностранцем, образом его жизни, занятиями и связями в обществе, и о последствии буду ожидать вашего донесения.

Генерал-адъютант граф Орлов[34]

Бальзак, мечтавший одно время стать русским литератором, неожиданно подвергся участи, столь характерной для этого сословия николаевской империи: в продолжение полутора лет своего последнего пребывания в Верховне (с сентября 1848 г. по апрель 1850 г.) он находился под строгим надзором киевских жандармов. К сожалению, их донесения (вероятно, о переписке Бальзака, его разъездах, женитьбе, отъезде во Францию) в архивах не сохранились. В Верховне менее всего, как мы знаем, сочувствовали республиканской Франции и способны были пропагандировать социализм. О политических настроениях маленького общества на этом «островке» среди океана пажитей можно судить и по весьма характерному письму Анны Мнишек к ее матери от 20 апреля 1850 г., т. е. еще в эпоху Второй республики: «Мне снилось всю ночь, что Генрих V принял наследство св. Людовика и моего обожаемого Людовика XIV. Дай, господи, чтобы этот сон осуществился! О, прекрасная Франция моих сновидений!»[35].

Вот о чем мечтали у каминов Верховни в долгие зимние вечера 1848—1850 гг., когда великий романист развивал семье Ганских-Мнишек свои политические виды на будущее. Возможное в ту переходную эпоху восстановление Бурбонов на престоле Франции сулило ему, автору «Шуанов», находившемуся в течение 18 лет в оппозиции Луи-Филиппу, ряд высоких почестей—Академию, законодательный корпус, быть может, пэрство Франции. Еще к 1837 г. относится работа Бальзака «Шесть королей», в которой он дает идеализированные портреты Людовиков (от XIII до XVIII), восхищается эпохой «короля-солнца», противопоставляет «разнузданную толпу» 1793 г. «казненному страдальцу», хвалебно живописует даже Людовика XVIII. Все это должно было получить полное признание в случае новой реставрации.

Такими перспективами блестящего будущего тешил себя Бальзак среди невзгод текущего, всевозможных политических осложнений, материальных трудностей, матримониальных неудач, а главное—тяжелых недугов. С осени 1848 г. давнишние расстройства его здоровья чрезмерным трудом и сильными возбудителями принимают резкий характер. С 1849 г. врачи признают его сердечную болезнь неизлечимой, и, несмотря на усилия медицины и благоприятные условия жизни на воздухе, в тишине, в богатом поместье, Бальзак медленно и неотвратимо умирает.

Последнее пребывание романиста в Верховне—печальный эпилог его жизни, когда сердце все заметнее отказывается ему служить, зловеще слабеет его зрение, изменяют органы дыхания, останавливается творческая работа. И если мы вспомним, что как раз в эти годы, когда молодая Европа была окрылена борьбой за новую историческую эру освобожденного труда и всемирного братства рабочих, слабеющий Бальзак строил свои планы феодальной реставрации и писал в своих письмах о «бессмысленном восстании демократии»[36],—не вправе ли мы будем заключить, что скрывшийся в усадьбе Ганской от вихря современной истории великий писатель уже переживал закат своей творческой мысли?

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Correspondance, I, 325, письмо Бальзака к сестре от 6 ноября 1847 г.

[2] В 1846 г. Бальзак вместе с Ганской приобрел на 60 000 фр. акций Северной железной дороги. В начале 1848 г. выяснилась необходимость внести за них дополнительную сумму, и Бальзак поторопился выехать в Париж. Ferry (G.), Balzac après le 24 février 1848.—«Revue hebdomadaire», 9 juillet 1898, 237.

[3] Correspondance, II, 331.—G. Ferry, op. cit., 237.

[4] Champfleury, Notes historiques sur M. de Balzac—в книге: Baschet (Armand), Varietés littéraires. Honoré de Balzac, Blosse, 1851, 230.

[5] Стерн Даниель, Февральская революция—в сборнике «Революция 1848 г. во Франции», «Academia», 1934, 114—115.

[6] Champfleury, op. cit., 220.

[7] Lemer (Julien), Balzac, sa vie, son œuvre, P., 1892, 165. Ср., Ferry (G.), op. cit., 243.

[8] Lettre à l'Etrangère, III, 228.

[9] Correspondance, II, 332.

[10] Champfleury, op. cit., 220.

[11] «Profession de foi politique. Au citoyen président du club de la fraternité universelle à Paris».—Œuvres complètes (M. Lévy), XXII, 787—789.

[12] Balzac, Lettre sur le travail. Рукопись из собрания Шпульберка де Лованжуля.—«Revue des Deux Mondes», 1-er septembre 1906, 51—62.

[13] Correspondance, II, 364.

[14] Куликов С. Н., О. Бальзак. Неизданные письма.—«Звенья», III—IV, 294.

[15] В это время Юрий и Анна Мнишки жили в Верховне, и Бальзак счел удобнее сказать в официальном письме о своем пребывании у графа Мнишка, а не у Ганской.

[16] Автограф.—Исторический музей, Москва. Ср. Korwin-Piotrowska, 443.

[17] Hostein (Hyppolite), Historiettes et souvenirs d'un homme de théâtre, P., 1872.

[18] «Revue des Deux Mondes», 1848, II, 1813.

[19] Gautier (Théophile), Histoire de l'art dramatique en France depuis vingt-cinq ans», P., 1859, 3-e série.

[20] Неизданное письмо из собрания Лованжуля. Отрывок приведен в книге: Milatchitch (Douchan Z.), Le théâtre inédit de Honoré de Balzac, P., 1930, 40—41.

[21] Milatchitch, op. cit. 42.

[22] Приводим перевод письма по тексту, опубликованному в «Звеньях», III—IV, 295—298:

Графу Орлову, министру полиции, в С.-Петербург

Париж, 14 июля 1848 г.

Имею честь обратиться к вашему сиятельству, хотя я лично вам неизвестен, в надежде, что вы соблаговолите благосклонно принять просьбу, составляющую предмет настоящего письма.

В прошлом году, граф, я прибыл в Россию с намерением прожить там долгое время у графа Георгия Мнишек на Украине, близ Бердичева; я, в действительности, пробыл там несколько месяцев; но так как одно денежное дело вызвало меня на несколько дней в Париж, то граф Мнишек, который с увлечением занимается энтомологией, воспользовался моим возвращением сюда, чтобы договориться о приобретении наиболее замечательной из всех известных коллекций насекомых, коллекции Дюпона, и наша февральская революция захватила меня врасплох, как гроза, меня так же, как и стольких других.

В настоящее время я желал бы вернуться в Россию к друзьям, которыми имею счастье там обладать, не только для того, чтобы искать отдыха и спокойствия, которые можно найти в Европе лишь в пределах вашей империи и Англии, но также и для того, чтобы присутствовать при выгрузке и распаковке коллекции насекомых. Эта коллекция, которая должна прибыть через Марсель и Одессу, состоит из 23 000 видов, весит 800 килограммов и требует величайшей заботливости для того, чтобы избежать какой-либо утери; я наблюдал за ее погрузкой и желал бы быть свидетелем того, что и при перегрузке будут приняты все необходимые меры предосторожности.

Между тем, до меня дошел слух, что въезд французов в империю может оказаться сопряженным с некоторыми затруднениями; чтобы знать, до какой степени обоснованы эти газетные слухи, я и обращаюсь к вашему сиятельству с просьбой содействовать моему приезду, если вы то сочтете уместным, причем имею честь обратить внимание вашего сиятельства на отсутствие каких-либо оснований, могущих вызвать мое недопущение.

Я уже два раза совершал поездку в пределы государства его величества императора всероссийского, и мне кажется, что я всегда держался и буду держаться поведения человека, который лучше всякого другого француза знает, каким уважением он обязан по отношению к законам чужой страны, в особенности, когда его благосклонно принимают в ней.

Если затруднения, о которых говорят,—одна из тысячи клевет, распространяемых о русском правительстве и свидетельствующих о выдумках прессы, мне останется удовольствие обращения к вам, граф, так что в другой раз я не буду вам совсем неизвестен; а путешественники всегда нуждаются в покровительстве.

Я был бы неблагодарным, если бы я, равным образом, не обратился в данном случае к графу Уварову, в ведении коего я считал себя состоящим в прошлом году и который в высшей степени любезно оказал мне услугу, рекомендовав меня генералу Бибикову.

Если ваше сиятельство соблаговолите удостоить меня ответом, я подожду его, прежде чем пускаться в путь; я рассчитываю выехать через пограничное местечко Радзивиллов и прошу ваше сиятельство верить в мою глубокую признательность за хлопоты, которые я вам причиняю.

В надежде на благоприятный ответ, имею честь, граф, быть вашего сиятельства нижайшим и покорнейшим слугой.

Де-Бальзак

[23] Там же, 298—299.
[24] Там же, 299—300.
[25] Там же, 300.
[26] Автограф.—Collection Lovenjoul. Ср. «Звенья», III—IV, 300.—В Архиве внешней политики (Москва) сохранилась официальная переписка о выдаче Бальзаку паспорта на проезд в Россию,—отношение Орлова к Нессельроде от 30 июля 1848 г., письмо Нессельроде к Киселеву от 2 августа 1848 г. и письмо Киселева к Нессельроде от 18 августа 1848 г., которое приводим:

Милостивый государь, граф Карл Васильевич,

Вследствие почтеннейшего отношения вашего сиятельства от 2 августа за № 6734 о последовавшем французскому литератору де Бальзаку высочайшем соизволении приехать в Россию, имею честь уведомить, что императорское посольство засвидетельствовало 17/29 числа текущего месяца за № 9918 паспорт этого иностранца на проезд в Россию.

С совершенным почтением и таковою же преданностию имею честь быть, милостивый государь, вашего сиятельства покорнейший слуга

Киселев

[27] Автограф.—Collection Lovenjoul, A. 315. Fo. 218.
[28] Автограф.—Исторический музей, Москва.
[29] Milatchitch, op. cit., 25—26.
[30] Correspondance, II, 360; см. также письмо к Лоран-Жану от 1849 г.—Ibid., II, 339.
[31] «Звенья», III—IV, 301—302.
[32] См. в «Приложениях» к настоящей работе.
[33] Correspondance, II, 333.
[34] «Звенья», III—IV, 303.
[35] Korwin-Piotrowska, 358.
[36] Correspondance, II, 359, 394, 401, 429.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

# ЖЕНИТЬБА И СМЕРТЬ

I. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА О ПРЕДСТОЯЩЕМ БРАКЕ.— ОБРАЩЕНИЕ БАЛЬЗАКА К НИКОЛАЮ I ЧЕРЕЗ УВАРОВА.— ПИСЬМО ГАНСКОЙ К БИБИКОВУ.— ОТВЕТЫ УВАРОВА И ДУБЕЛЬТА.— РАЗРЕШЕНИЕ БРАКА ПРИ ТОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКОНА ОБ УТРАТЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РУССКОЙ ПОДДАННОЙ, ВЫХОДЯЩЕЙ ЗА ИНОСТРАНЦА.— ПРЕДСТОЯЩИЙ РАЗРЫВ. II. СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ БАЛЬЗАКА.—НОВОЕ РЕШЕНИЕ ГАНСКОЙ.—ВЕНЧАНИЕ 2/14 МАРТА 1850 г. В БЕРДИЧЕВЕ.— ТЯЖЕЛОЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. III. ПРИЕЗД В ПАРИЖ УМИРАЮЩЕГО ПИСАТЕЛЯ.— АГОНИЯ, СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ БАЛЬЗАКА, ПО СТАТЬЯМ И НЕКРОЛОГАМ РУССКОЙ ПЕЧАТИ.— РОЛЬ ГОСПОЖИ ДЕ БАЛЬЗАК У СМЕРТНОГО ОДРА ЕЕ МУЖА.— СВИДЕТЕЛЬСТВО ОКТАВА МИРБО. НАСЛЕДСТВО БАЛЬЗАКА.— ВТОРОЕ ВДОВСТВО ЭВЕЛИНЫ.— ПОЛНОЕ РАЗОРЕНИЕ.— СМЕРТЬ ГОСПОЖИ ДЕ БАЛЬЗАК В 1882 г.— СУДЬБА „ПИСЕМ К ИНОСТРАНКЕ"

### I

Приехав снова в Россию, Бальзак решается, наконец, предпринять тот важнейший шаг, о котором он мечтает с начала 30-х годов: обратиться к Николаю I в целях благополучного устройства своего союза с Ганской без каких-либо жертв и потрясений. Пачка деловых писем Бальзака, Ганской, Уварова, Бибикова, Дубельта отмечает одну из последних глав этого интимного романа в момент его официального оформления. В январе 1849 г. Бальзак обращается за разрешением своей участи к царю через Уварова.

*Перевод:*

Его сиятельству графу Уварову, министру народного просвещения,
в С.-Петербург

Верховня, около Бердичева,
3 января 1849 г.

Граф,

Не удивляйтесь, что я прибегаю к вашей благосклонности в том исключительно щекотливом положении, в котором я сейчас нахожусь. Вы—единственный мой покровитель в России и вы милостиво доказали мне это своим попечением, за которое я вам буду благодарен всю свою жизнь. Ваше сиятельство оправдали те надежды, которые у меня возникли, когда, основываясь на всеобщей молве о вас, я возымел счастливую мысль обратиться к вам. Я не стану, однако, оскорблять человека с вашим умом, достойного занимаемого им высокого положения, настоятельной просьбой о сохранении глубочайшей тайны, какой требует это дело, ради которого я обращаюсь к вам. Благородный человек угадывает это сразу. К тому же ваше сиятельство можете видеть, что я доверяюсь вам всецело. Это абсолютное доверие делает, мне кажется, честь нам обоим. Я хочу вас просить, граф, одновременно и о совете и о новом доказательстве вашего милостивого ко мне расположения, так как речь идет о самом важном, об единственном деле моей жизни; не достаточно ли вам сказать, вам—писателю и мыслителю, что это больше, чем дело, что это вопрос жизни. Я люблю, вот уже скоро 16 лет, достойную и добродетельную женщину, настолько известную этими своими качествами, что эти два эпитета приходят на ум каждому, произносящему ее имя. Это чувство—я признаюсь вам здесь в том, что известно только ей,—является объяснением всех тех усилий, которые я делал, чтобы стать чем-то бóльшим, чем я был бы без этой поставленной перед собой цели. Эта особа—русская подданная, и ее полнейшая благонадежность не только не может быть заподозрена, но, несомненно, оценена, так как вам в России все известно,—самым же ярким доказательством ее является то, что единственное препятствие, задерживающее

наш брак, заключается в этом подданстве, так как она не хочет выходить замуж за иностранца без разрешения своего августейшего повелителя,—однако, она разрешила мне хлопотать об этом. Я не только не ропщу на эту покорность, но нахожу ее вполне естественной,—мои политические убеждения отнюдь не позволяют мне критиковать, а тем более нарушать законы какой бы то ни было страны. Судьба тех, кто не разделяет этих принципов, могла бы послужить мне уроком и внушить мне эти убеждения, если бы я уже издавна их не придерживался. Впрочем, меня ничуть не страшит то, что счастье моей жизни зависит всецело от его вел. российского императора, и мое упование на счастливый исход почти переходит в уверенность, до такой степени я убежден, что его рыцарская доброта

БАЛЬЗАК В 1842 г.
Дагерротип Надара
Частное собрание, Париж

равна его могуществу; но я абсолютно не знаю, в какую форму облечь мое прошение; я не знаю, какому министру его надо направить, чтобы оно было доложено государю; я не знаю, достаточно ли этого письма; наконец я не знаю, кого взять в ходатаи, если только дело взаимной привязанности, освященной временем, нуждается в защите перед его императорским величеством, когда решать будет его сердце. Если бы это зависело от вас, граф, все мое беспокойство прекратилось бы.

Недруги, враги, даже завистники,—так как я больше горжусь этой привязанностью, чем всем, что она мне продиктовала,—столько говорили об этом в надежде создать препятствия, что, быть может, для вас не явится новостью имя этой особы; но зато я могу сообщить вам о ней то, что явится ее хвалой и одновременно наилучшим основанием для получения той милости, о которой я умоляю его величество.

Г-жа Ганская вдова в течение 6 лет, но она не хотела и слышать о замужестве, пока не выполнит своих материнских обязанностей—не выдаст замуж

свою единственную дочь и не введет ее во владение отцовским, довольно значительным состоянием. Что же касается личного состояния г-жи Ганской, то оно достаточно скромно для того, чтобы моя просьба была совершенно бескорыстна; к тому же и это состояние переходит к ее дочери, г-же Жорж Мнишек. Таким образом, могущий возникнуть в подобных обстоятельствах вопрос о передаче русского недвижимого имущества в руки иностранца не является существенным, если только подобный пустяк мог бы служить препятствием. Наконец, в силу вполне естественного желания сочетать наше французское право с русскими законами, мы хотим вступить в брак, если только его величество разрешит этот брак, сохранив имущество раздельным. Покорность г-жи Ганской приказаниям его величества является не только естественным чувством, но еще и чувством благодарности, так как она помнит и будет всегда помнить, что его величество соизволил утвердить постановление Государственного совета, положившее конец процессу об ее правах.

Что касается меня, если его величество соизволит оказать мне милость, о которой я имею честь просить, то я никогда не забуду, что проработав в течение 20 лет,—быть может, скажут, бесплодно во славу своей родины и никогда ничем не поощренный,—единственную награду, на которую я претендую за все свои труды, я получу от его величества российского императора. Но так как не надо никогда обвинять свою страну, то следует сказать, что мои легитимистские убеждения заставляли меня держаться так же далеко от прежнего правительства, как и от нынешнего. Во Франции же, как и во многих других странах, никогда не вспоминают о тех, кто ничего не просит.

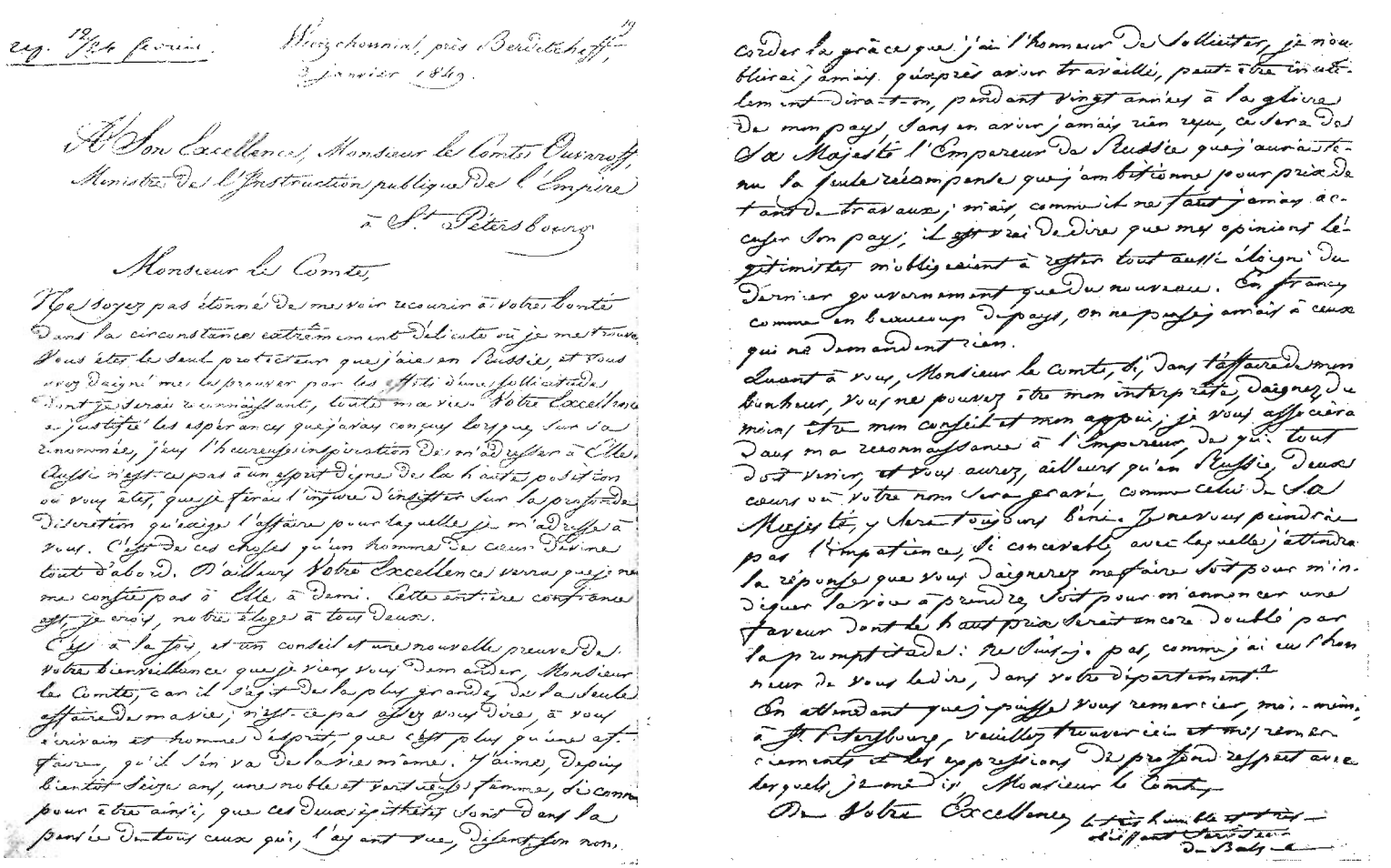
Что же касается вас, граф, то если вы не можете быть ходатаем в деле моего счастья, то окажите мне хотя бы милость быть моим советником и помощником; я присоединяю вас к своей благодарности императору, от которого все зависит, и ваше имя будет начертано вне пределов России в двух сердцах, в которых также будет всегда благословенно и имя его величества. Я не стану вам описывать столь понятного нетерпения, с каким я буду ждать вашего ответа, которым вы соблаговолите либо указать мне тот путь, который я должен избрать, либо объявите мне милость, огромная ценность которой будет еще удвоена быстротой ее дарования. Не нахожусь ли я, как уже имел честь говорить вам об этом, в вашем ведении?

В ожидании возможности лично поблагодарить вас в С.-Петербурге, примите пока мою письменную благодарность и выражения глубокого почтения, с которым, граф, остаюсь вашего сиятельства

покорнейшим и преданнейшим слугою.

де Бальзак[1]

В феврале последовал ответ Уварова на письмо Бальзака. Внешне любезный и благожелательный, он произвел на просителя впечатление отказа. Между тем, Бальзаку не отказывали в его ходатайстве относительно женитьбы на Ганской, но только указывали на существующие законы, согласно которым русские подданные женского пола, сочетающиеся браком с иностранцами, лишаются своих прав на земельные владения в России[2]. Французскому романисту не ставили специальных препятствий к осуществлению его матримониальных планов, но и не шли на какие-либо льготы и преимущества в обход существующих узаконений. Вот что писал Уваров:



ПИСЬМО БАЛЬЗАКА К С. С. УВАРОВУ ОТ 3 ЯНВАРЯ 1849 г. ИЗ ВЕРХОВНИ
Страницы первая и последняя
Исторический музей, Москва

*Перевод:*

С.-Петербург, 12/24 февраля 1849 г.

Милостивый государь,

Длительная болезнь является единственной и невольной причиной того, что я задержал ответ на ваше письмо от 3 февраля. Я весьма тронут, будьте в том уверены, тем доверием, которое вы оказываете мне в деле, всю важность коего я вполне сознаю. Обязательство, которое вы намереваетесь принять на себя, не может встретить никаких затруднений, и, разумеется, никто не станет вам препятствовать. Итак, по этому основному вопросу вы можете быть вполне спокойны; что же касается необходимых формальностей, то они точно указаны в законе, касающемся браков с иностранцами. Вы легко получите все нужные сведения по этому вопросу. Если же возникнет какой-нибудь дополнительный вопрос, генерал Бибиков, я уверен, не откажется разъяснить вам его.

Вот, милостивый государь, сведения, которые могу сообщить вам; надеюсь, что они покажутся вам удовлетворительными. Мне остается только выразить вам мои наилучшие пожелания и поблагодарить вас за сердечность вашего письма, относящуюся как к правительству, так и ко мне лично. При нынешних обстоятельствах вы, несомненно, оцените спокойствие, в котором мы живем, и наше стремление разрешать домашние, внутренние дела, не допуская влияния пагубных зарубежных событий. От всего сердца желаю вам, по устройстве и укреплении вашего личного счастья, найти силы и покой для литературных занятий; ибо надо надеяться, что спокойствие будет снова обретено и что забвение идей, поддерживающих порядок и цивилизацию, окажется лишь призраком, который исчезнет при свете рассудка и разума.

Прошу вас принять уверения в совершенном почтении.

Граф Уваров[3]

Поскольку в своем письме Бальзак указывал, что он не собирается «нарушать законы» и что «личное состояние Ганской переходит к ее дочери», он мог бы удовлетвориться полученным ответом. Но, очевидно, целью письма, хотя и не высказанной явно, было разрешение будущей г-же Бальзак сохранить свои имущественные права в России; по этому вопросу Уваров ограничился указанием на существующие законы о браке с иностранцами. В Верховне это было понято, как отклонение представленного ходатайства.

С горечью писатель сообщает сестре о полученном им, якобы, «высочайшем» отказе:

«Я дошел до того, что позволил себе написать в Петербург, чтобы получить разрешение верховного повелителя, но он не только не дал своего согласия, но еще указал нам через своего министра, что на все есть законы и что мне остается только подчиниться им»[4].

Следует отметить, что редакция Бальзака не вполне точна: разрешение на брак он получил, а об имущественных правах Ганской он не ходатайствовал и даже, вероятно, считал для себя неудобным выступать с такой просьбой. Тем не менее, ответ Уварова вызвал со стороны Ганской острый кризис ее отношений к Бальзаку. По его собственному свидетельству, речь зашла о разрыве: «Устав от борьбы, госпожа Ганская решила послать меня в Париж распродать все на улице Фортюне. Ведь она здесь богата, любима, уважаема; она здесь ничего не тратит; она страшится переехать

в место, где не видит ничего, кроме волнений, долгов, расходов и новых людей... В 45-летнем возрасте денежные соображения оказывают огромное давление на весах судьбы...»[5].

Перед окончательным решением предпринимается еще одна попытка. То, что неудобно было сделать Бальзаку, берет на себя сама Ганская.

ЭВЕЛИНА ГАНСКАЯ
Портрет маслом Жана Жигу, 1852 г.
Частное собрание

Она обращается 22 мая 1849 г. к Бибикову с ясно выраженной просьбой «сохранить, несмотря на замужество с иностранцем», свое русское поместье.

*Перевод:*

22 мая 1849 г.

Генерал,

Г-н Бальзак, которого вы приняли с такой любезной предупредительностью, сказал мне, что он посвятил вас в свои планы относительно

меня, а также рассказал о том содействии, которое вы сделали честь обещать ему в этом отношении... Все, что я знаю о его характере на основании шестнадцатилетнего знакомства, обеспечивает мне в нем верную поддержку в годы старости. Я не предвижу, по крайней мере, со своей стороны, никакого препятствия к моему союзу с ним, и мне только остается просить благосклонного ходатайства вашего превосходительства перед его величеством императором для получения его милостивого согласия. Вы окажете мне, генерал, еще бо́льшую любезность, получив для меня, если это возможно, разрешение сохранить (несмотря на замужество с иностранцем) небольшое поместье, которым я владею в Киевской губернии и которое составляет все мое состояние.

Кто был в течение стольких лет счастливою и верною подданною нашего великого и обожаемого государя, тот без сожаления не может отказаться от подобного повелителя, и хотя я никогда не перестану быть в душе его подданной, я хотела бы оставаться на всю свою жизнь, если это возможно, его подданной и на деле, и по закону.

Моя дочь, г-жа Мнишек,—моя единственная наследница; в виду моих лет и моих немощей, я не буду иметь других. Законное препятствие, запрещающее иностранцам владеть земельной собственностью в России, не может касаться меня, поскольку я передала зятю управление имениями, пожизненную ренту от которых я хотела бы сохранить.

Во всяком случае, что бы ни произошло, будьте уверены, генерал, что я всецело полагаюсь на то, что его величество решит относительно меня; я никогда не имела в своем скромном уединении иных желаний, как только исполнять монаршую волю великого государя, призывая на него и на его августейшее семейство все небесные благословения.

Простите, генерал, вольность, с которой я докучаю вам среди попечений и тяжелых забот, которые поглощают ваше драгоценное время. Меня страшит мысль о ничтожестве моих интересов по сравнению с теми делами, которые привлекают все ваше внимание, но я успокаиваю себя тем, что также принадлежу к той большой семье, которой в течение долгих лет вы управляете с такой мудростью и достоинством и которая обязана вам своим спокойствием и безопасностью.

Я надеюсь, генерал, что могу рассчитывать на вашу покровительственную и благожелательную поддержку и что вы не откажете содействовать успеху моих надежд, чтобы я могла всегда называть вас с в о и м н а ч а л ь н и к о м и с в о и м г е н е р а л-г у б е р н а т о р о м.

Что бы ни произошло, во всяком случае, будьте всегда уверены в моих чувствах глубокого уважения и преданности, с которыми имею честь быть вашего превосходительства покорнейшая и послушнейшая слуга

Е. Ганская

Верховня,
Киевской губ. Сквирского уезда[6].

Бибиков дает ход ходатайству Ганской[7] и вскоре получает ответ из III отделения:

Милостивый государь,
Дмитрий Гаврилович,

Государь император, по всеподданнейшему докладу г. генерал-адъютанта графа Орлова, препровожденной при отношении вашего высокопревосходительства от 28 минувшего мая, № 224, у сего возвращаемой

просьбы помещицы Киевской губернии Ганской, не соизволил изъявить высочайшего согласия на ходатайство г-жи Ганской о дозволении ей и по заключении брака с французским подданным, литератором Бальзаком, сохранить право владения недвижимым в Киевской губернии имением, так как это совершенно противно существующим узаконениям.

КІЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 17.

Издаются при Губернском Правлении и выходят по Субботам еженедѣльно. Цѣна за полный экземпляръ на годъ съ доставкою ТРИ руб. 60 коп. серебромъ.

Статьи и объявленія для помѣщенія въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ доставляются казенныя въ Губернское Правленіе, а частныя въ Редакцію Вѣдомостей.

29-го АПРѢЛЯ 1850 ГОДА.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ

(Общій.)

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

О ВЫѢЗДѢ ПОМѢЩИЦЫ ЕВВЫ ГАНСКОЙ, УРОЖДЕННОЙ ГРАФИНИ РЖЕВУСКОЙ ЗА-ГРАНИЦУ.

Помѣщица Эвва Ганская, урожденная Графиня Ржевуская, по выходѣ въ замужество за Французскаго подданнаго Гонората де Бальзака получила отъ Г. Начальника губерніи паспортъ на выѣздъ за-границу. О чемъ Губернское Правленіе публикуетъ для всеобщаго свѣдѣнія съ тѣмъ, что если гдѣ окажется недвижимое имѣніе ея Ганской, нынѣ де Бальзакъ, безъ продажи или передачи наслѣдникамъ ея въ такомъ случаѣ было бы подвержено секвестру на основаніи существующихъ узаконеній.

ВЫЗОВЪ И КЪ РУКОПРИКЛАДСТВУ

Кіевская Палата Гражданскаго Суда, на основаніи 2,1118 ст. X тома Св. Зак. Гражд. вызы-

СТРАНИЦА „КИЕВСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ" ОТ 29 АПРЕЛЯ 1850 г.
Официальное объявление о выезде Ганской за границу

За отсутствием графа Алексея Федоровича и по поручению его, имею честь сообщить о таковой монаршей воле вам, милостивый государь, покорнейше прошу принять уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Л. Дубельт[8]

18 июня 1849 г.

Дело Бальзака было, казалось, безнадежно проиграно. Он довольно недвусмысленно пишет родным о разрыве, ибо говорить о новой «отсрочке» в виду возраста обоих уже не приходилось. Но, согласно русской пого-

ворке, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Весною 1849 г. Бальзак серьезно заболевает, к зиме 1850 г. его состояние становится безнадежным, и это печальное обстоятельство убеждает, наконец, Ганскую пойти под венец.

## II

Предсмертная болезнь Бальзака подготовлялась годами: чрезмерный труд, злоупотребление наркотиками или возбудителями, постоянная напряженность мозга и нервов,—все это медленно и верно разрушало его сердечную систему. В сущности, еще в 1848 г. издавна назревавшая болезнь принимает тревожные формы. Гюго передает, что за несколько дней до отъезда Бальзака на Украину, в сентябре 1848 г., он встретил отъезжающего писателя на одном из парижских бульваров: «Бальзак уже жаловался на здоровье и дышал тяжело»[9].

С 1849 г. начинается медленное умирание романиста. В апреле у Бальзака сильнейший припадок сердечной болезни. Он не только не в состоянии ходить, но не в силах причесаться без одышки и сердцебиения; появляются припадки «ужасающих удуший»; он не в состоянии подняться к себе по лестнице в двадцать ступеней. Врачи ставят диагноз «простой гипертрофии сердца»,—«чтобы не испугать меня»,—добавляет слишком проницательный больной, которому, впрочем, становится ясным, что один из врачей считает его конченным человеком. И неудивительно: однажды утром он испытывает приступ такой мучительной боли в месте солнечного сплетения, что он опрокинут на диване, словно ударом молнии, и исходит рвотой, считая, что настал его последний час. Его укладывают, но малейшее движение вызывает неслыханные боли. Врач ни на минуту не оставляет его; только «после 25 часов агонии» он в состоянии принять лекарство.

В сентябре открывается болезнь легких и бронхов и сильно ослабевает зрение. Врачи ставят диагноз «головной перемежающейся лихорадки» («fièvre céphalalgique intermittente»), опасаются воспаления мозга. «Я худ, как в 1819 г.», пишет Бальзак. К этому времени он становится почти полным инвалидом, еле движется, с трудом дышит, периодически теряет зрение, не в состоянии писать, даже читать. Происходит нечто невероятное в жизни этого могучего строителя: работа выпадает из его рук. Бальзак явно умирает.

Приходится преклоняться перед мужеством и оптимизмом писателя в эту безнадежную эпоху его жизни. Его не покидают надежда на выздоровление и вера в возможность нового творчества, он находит в себе силы говорить о прелести наступающего «полдня» или «лета». В октябре 1849 г., в разгаре своей болезни, он пишет своему издателю в Париж: «Я возвращусь с многочисленными трудами, которые завершу этой зимой»...[10]. Изредка только прорывался правдивый и трезвый голос безнадежности. В феврале 1848 г. он пишет начинающему писателю Шанфлёри, посвятившему ему свою книгу: «Вы вступаете в жизнь, а мы из нее уходим; вы молоды, а мы стары...». Он приветствует литературного дебютанта за его уважение к уходящим «добросовестным труженикам». Под конец жизни Бальзак с глубоким достоинством говорит о своем выполненном труде. С большим спокойствием принимает он самые тяжелые и несправедливые удары. Об одном из них он узнает в Верховне. Еще с 1833 г. Бальзак мечтал попасть во Французскую академию. В 1839 г. он официально выдвинул свою кандидатуру, но с большим благородством поторопился снять

ЗДАНИЕ КОСТЕЛА СВ. ВАРВАРЫ В БЕРДИЧЕВЕ, ГДЕ ВЕНЧАЛСЯ БАЛЬЗАК

С фотографии, принадлежащей „Литературному Наследству". Снято в сентябре 1936 г.

ее, узнав о заявке Виктора Гюго, которого признавал первым кандидатом. Только через десять лет, накануне смерти, уже закончив «Человеческую комедию», Бальзак снова официально выдвигает свою кандидатуру на одно из двух освободившихся к тому времени кресел—Шатобриана и Вату. Происходят поистине постыдные выборы: Бальзак получает всего два голоса, и избранными оказываются такие литературные «знаменитости», как Ноайль и Сен-При. По этому поводу Бальзак роняет несколько горьких и великолепных строк в письме от 9 февраля 1849 г. из Верховни к литератору Лоран-Жану:

«Академия предпочла мне г. де Ноайля. Он, вероятно, лучший писатель, чем я; но я лучший джентльмен, чем он, ибо в свое время я отказался от баллотировки, узнав о кандидатуре Виктора Гюго»[11].

Два домашних врача Верховни, отец и сын Кноте, несомненно, сообщили Ганской о безнадежном состоянии больного, достаточно очевидном и для непосвященных. Сама Ганская заявляла впоследствии, что стала женой Бальзака лишь для того, чтобы иметь право ходить за ним в болезни, признанной неизлечимой... Впрочем, этим правом она не злоупотребляла. Только теперь, уже в предвидении агонии великого писателя, рискуя потерять навсегда блестящее наследие его имени и творчества, Ганская, наконец, идет под венец. С обычной доверчивостью к людям Бальзак 28 февраля 1850 г. снова сообщает матери о своих надеждах: «Мои четыре или пять последовательных болезней, страдания моей акклиматизации на Украине тронули эту прекрасную душу и пересилили страх, который она, как женщина благоразумная, испытывала перед моими долгами,—и я вижу, что все пойдет на лад...». Ганская, впрочем, тщательно стремится к соблюдению полной тайны обряда. Первоначальный план обвенчаться в Житомире приходится отменить ввиду наплыва туда при-

езжих на масленицу: «Здешние дамы во главе с кн. Васильчиковой заявили, что если Бальзак сюда приедет, его отпустят лишь после того, как изучат, наподобие китайской редкости»,—сообщает своей теще Юрий Мнишек, подготовляющий с Густавом Олизаром предстоящую свадьбу. Оба шафера решают перенести венчание в Бердичев. Житомирский прелат, Виктор Ожаровский, соглашается выехать и совершить обряд в бердичевском костеле. Вопреки правилам, никакого «оглашения», или «обыска брачного», не происходит, хотя в официальном акте об этом и говорится.

В Бердичеве имелся великолепный костел при монастыре «босых кармелитов», но, избегая всякой торжественности и огласки, устроители свадебного обряда выбирают наиболее скромный общий приходской костел (так называемый «фарный»). Попавшее в печать предание о том, что Бальзак венчался, якобы, в великолепном кармелитском храме, которое мне пришлось слышать даже от научных сотрудников Бердичевского музея, расположенного в самом помещении кармелитского монастыря, категорически опровергается свидетельством самого Бальзака: согласно его извещениям, он венчался в «приходской церкви», «в церкви святой Варвары». Именно так назывался «фарный костел» на главной улице, построенный Варварой Радзивилл и имевший в алтаре большое изображение святой Варвары.

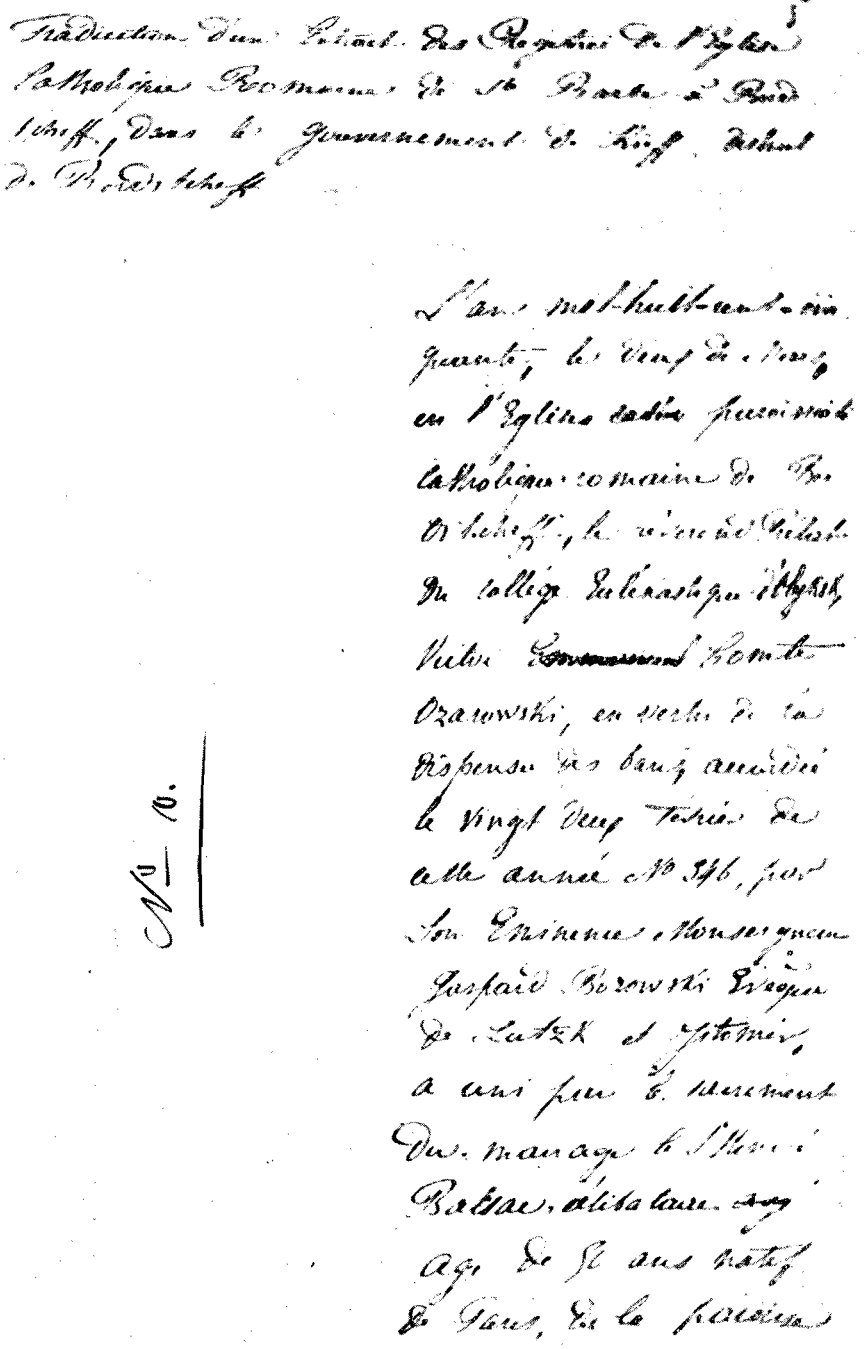
В совершенно необычный для свадьбы час, на рассвете, 2/14 марта 1850 г. Ганская, наконец, исполняет свое невшательское обещание 1833 г.

Вот как об этом свидетельствует брачный акт Бальзака, сохранившийся в Архиве внешней политики (Москва) и в печати до сих пор не известный:

ПЕРЕВОД ВЫПИСИ ИЗ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. ВАРВАРЫ В Г. БЕРДИЧЕВЕ КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ БЕРДИЧЕВСКОГО УЕЗДА

№ 10. Тысяча восемьсот пятидесятого года, марта второго дня, в приходской римско-католической церкви г. Бердичева его преподобие прелат Олыкской духовной коллегии граф Виктор-Эммануил Ожаровский, вследствие церковного оглашения, произведенного двадцать второго февраля сего года за № 346 его преосвященством Гаспаром Боровским, епископом Луцким и Житомирским, сочетал таинством брака г. Оноре Бальзака, не состоявшего в браке, 50 лет от роду, родившегося в Париже в приходе св. Филиппа и имеющего разрешение своей матери, с графиней Евой Ржевусской, 46 лет от роду, вдовой Ганской, владеющей землями Верховни и состоящей прихожанкой римско-католической церкви м. Паволочь. В виду того, что никакого препятствия к заключению означенного брака не было обнаружено предварительным обыском и взаимное согласие обеих сторон было установлено, брачный союз между г. Оноре Бальзаком, законным сыном Бернара-Франсуа Бальзака и Анны-Каролины-Лауры Саламбье с Евой Ржевусской, законной дочерью графа Ржевусского и Юстины Рдултовской, был торжественно освящен перед достойными доверия свидетелями: графом Густавом Олизаром, графом Юрием Мнишком, предводителем дворянства Киевской губернии, каноником Иосифом Белоблоцким и некоторыми другими лицами, при сем присутствовавшими. Настоящее свидетельство было со всей точностью выписано из метрических книг церкви г. Бердичева и снабжено печатью названной церкви 2 марта 1850 г.

Подпись: священник приходской церкви св. Варвары в Бердичеве каноник Иосиф Белоблоцкий[12].



БРАЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО БАЛЬЗАКА
Первая страница
Архив внешней политики, Москва

du St Philippe et muni de l'autorisation de sa mère, avec Eve Comtesse Rzewuska agée de 46 ans veuve Hanski, propriétaire de la terre de Wechowni et paroissienne de l'Eglise catholique romaine de Pawlowski. Aucun empêchement n'ayant été constaté par l'enquête préalable, et le consentement mutuel des deux parties contractantes ayant été constaté le mariage du St Honoré Balsac fils légitime de Bernard François Balsac et d'Anne Caroline Laure Sallambier, avec Eve Rzewuska, fille légitime du Comte Rzewuski et de Justine Rdultowski, a été solennellement célébré devant témoins dignes de foi; le

Ste Gustave Olizar, le Ste Georges Mnichek, maréchal de la noblesse du gt de Kieff, le Chanoine Joseph Bialoblocki et plusieurs autres personnes qui y ont assisté. Le présent acte a été exactement extrait des régistres de l'Eglise de Berditcheff et revêtu du sceau de l'Eglise le 2 Mars 1850

Signé: le Curé de l'Eglise paroissiale de St Barbe à Berditcheff ~~P. Probostch.~~

Le Chanoine Joseph Bialoblocki.

Le six Mars 1850 En vertu d'un Ouvrage de S. M. l'Empereur le consistoire ecclésiastique catholique romain de Lutzk et Jitomir certifie ~~affirme~~ par les présents ~~acte~~ que l'acte de mariage ~~est authentique et~~ a été exactement extrait des régistres de la Paroisse de Berditcheff et dûment revêtu de la signature du Chanoine Joseph Bialoblocki

БРАЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО БАЛЬЗАКА

Вторая страница

Архив внешней политики, Москва

Бальзак подробно описал своим родным, как посланец житомирского епископа, «славный старейшина польского католического духовенства» и «шурин графа Олизара», благословил его брак в бердичевском костеле св. Варвары[13]. Великий романист забыл, что в книге, которая так пленила на заре его славы молодую Ганскую, в своей «Физиологии брака», он утверждал: «Брак—это смертельный бой, вступая в который супруги испрашивают у неба благословения...». Не подтвердила ли последняя глава биографии Бальзака всю верность этого афоризма?

После венчания в тот же день новобрачные оставили Бердичев и к 10 час. вечера прибыли в Верховню.

Заветная мечта писателя сбылась—наконец, женат. «Я не знал ни счастливой юности, ни цветущей весны,—пишет он своему старому другу, Зюльме Карро,—зато я буду иметь самое солнечное лето, самую нежную осень»[14]. Но перед ним—ровно пять месяцев сплошной агонии при нарастающем холоде и равнодушии Ганской. И, в сущности, дата венчания Бальзака, 2/14 марта 1850 г., отмечает начало развода для долголетнего и изжившего себя союза.

Племянник Ганской, Станислав Ржевусский, признает, что разлад, видимо, сказался сейчас же после замужества и был естественным следствием столкновения двух сильных и легко возбудимых натур, ставших еще более раздражительными в той атмосфере лихорадки и горечи, которая подчас свойственна медленным агониям[15].

Соотечественник Эвелины, польский писатель И. Крашевский, совершенно правильно отметил, что «г-жа Ганская явилась в Париж получить наследство человека, который любил ее с таким постоянством, союз с которым она откладывала от года к году и которого она все же не выпускала из своей власти, пока он не заплатил жизнью за ее любовь. С одной стороны, обожание до идолопоклонства, с другой—ледяное равнодушие»[16].

Умирающий Бальзак с величайшим трудом, с тяжелыми припадками удушья, мигренями, слабостью и в полном состоянии упадка сердечной деятельности и расстройства кровообращения еле выдерживает переезд из Верховни в Париж.

Его записка к дубенскому городничему, А. А. Чернилевскому, свидетельствует и о трудностях путешествия и о нервности больного писателя.

[Дубно, конец апреля 1850 г.]

Милостивый государь,

Не знаю, соблаговолите ли вы вспомнить меня, но я так хорошо запомнил вашу любезность в [18]47 г., что мне было жаль проехать Дубно, не доставив себе удовольствия приветствовать вас, ибо я с чрезвычайной поспешностью везу больную жену на пиренейские воды[17]. И вот я вынужден писать вам, пользуясь пером еврейской корчмы и на бумаге сего заведения. Нам не дают лошадей, уже запряженных в почтовую карету, а хозяйский приказчик осмелился потребовать у нас денег, чтобы отпустить нам лошадей. Если бы вы знали, в каком состоянии дорога от Житомира до Дубно, сколько раз мы чуть не лишились жизни, вы признали бы требование к о ш е л ь к а  и л и  ж и з н и на этих проклятых дорогах чрезмерным. Однако, для меня есть маленькое утешение в этом пустячном происшествии. Это возможность подать вам настоящей запиской знак памяти вместе с просьбой принять мою благодарность за прошлое и выра-

жение наилучших чувств, с какими имею честь пребывать вашим нижайшим и покорнейшим слугой.

де Бальзак[18]

30 апреля 1850 г. Ганская пишет из Брод дочери о Бальзаке: «Припадки удушья учащаются, он в состоянии крайней слабости, совершенно лишен аппетита, а обильные выпоты окончательно расслабляют его. В Радзивиллове его нашли столь изменившимся, что с трудом узнали»[19]. «Я в ужасном состоянии для молодожена»,—сообщает сам писатель одному из своих парижских друзей в разгаре свадебного путешествия, из Дрездена 11 мая 1850 г.[20].

На самом деле, физическое состояние его было безнадежно. С Бальзаком повторилась судьба Фирдоуси, рассказанная нам Гейне: когда сбылись, наконец, заветнейшие желания великого иранского поэта и караван с посланными ему почетными дарами султана вступал в западные ворота города, из восточных выходила погребальная процессия с телом Фирдоуси.

III

В конце мая 1850 г. новобрачные, наконец, в Париже, у знаменитого особняка, обставленного с таким старанием и любовью. Но вступить в него они не могут: ворота закрыты, их никто не впускает в ярко освещенный дом. Оказывается, слуга Бальзака только что сошел с ума. Приходится звать слесаря, взламывать замки, заботиться об отправке заболевшего лакея в дом сумасшедших. Бальзак совершенно подавлен.

Ганская писала дочери 7 июня 1850 г.: «Бильбоке [прозвище Бальзака, данное ему в Верховне] прибыл сюда... в несравненно более ужасном состоянии, в каком ты когда-либо видела его: он не может ни сидеть, ни ходить и постоянно впадает в обморочное состояние... Мы обязаны этим дурному состоянию дорог в нашей cara patria [дорогой родине], и если Настька рассказала тебе подробности этого ужасающего путешествия, ты не удивишься, что последствия его сказались так плачевно на здоровье нашего бедного больного. К этому прибавились обстоятельства приезда сюда: после двух утомительнейших суток без пищи и без сна обнаружить своего управителя, которому был доверен весь дом, в состоянии внезапного сумасшествия, да еще узнать об этом без всякой подготовки,— все это могло подорвать и более крепкое здоровье...»[21].

Воздух родины, на который так рассчитывали окружающие, оказался недостаточным для восстановления деятельности разрушенного сердца. Бальзак медленно и непоправимо гаснет среди картин, бронзы, фарфора и художественных редкостей в своем великолепном особняке[22], выстроенном в XVIII в. одним видным парижским банкиром. Теофиль Готье был поражен роскошью в убранстве и обстановке внутренних помещений: столовая, обшитая старым дубом, зал, обитый дамасским шелком с золотыми пуговками, библиотека, уставленная «булевскими» шкафами с бронзовой и черепаховой инкрустацией, ванная комната из черного и желтого мрамора, галлерея с верхним светом, мягко освещающим ценное собрание картин, среди которых имелись оригиналы Порбуса и Гольбейна; на всех этажерках редкостные безделушки, саксонский и севрский фарфор, китайские вазы...

— Недаром же вас считают миллионером,—заметил смеясь тонкий знаток искусства Теофиль Готье.

ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАКА
Карикатура из „Livre des 400 auteurs"

«Я беднее, чем когда-либо,—отвечал Бальзак.—Из всего этого мне ничего не принадлежит. Я омеблировал особняк для моего друга. Я здесь только сторож и привратник...».

Действительность придала особый смысл этой фразе: Бальзаку оставалось жить всего три месяца.

20 июня 1850 г. он приписал к письму, продиктованному им на имя Теофиля Готье, одну только строчку: «Я не могу ни читать, ни писать...»[23].

«Это был отчаянный крик сраженного мыслителя и труженика,— замечает Теофиль Готье,—и я навсегда сохранил, как реликвию, эту безнадежную строчку, вероятно, последнюю написанную творцом «Человеческой комедии»[24].

Вскоре русский журнал «Современник» в некрологе Бальзака кратко и точно, очевидно, по французским газетам, изложил ход его предсмертной болезни: «Четыре врача, в числе которых был доктор Луи, были призваны на консультацию и нашли болезнь его смертельною; они могли только поддержать его жизнь на несколько суток, препятствуя распространению водяной болезни; но, наконец, на левой ноге образовался нарыв. Началось разложение крови. Известный хирург Ру сделал удачную операцию, которая подала еще надежду. Напрасно: показалось начало антонова огня; повторение операции доказало только бессилие науки перед смертью...»[25].

17 августа жена Гюго отдала визит госпоже Бальзак и привезла мужу известие, что друг его умирает. Гюго отправился на улицу Фортюне. Было поздно. Луна еле светила из-за туч. Служанка, вся в слезах, сказала Гюго: «Он умирает. Барыня ушла к себе. Врачи оставили его со вчерашнего дня. У него рана на левой ноге. Открылась гангрена... С одиннадцати часов утра он хрипит. Он не переживет ночи». Гюго попросил проводить его к умирающему. «Мы прошли по коридору,—рассказывает в своих воспоминаниях поэт,—поднялись по лестнице, устланной красным ковром и уставленной художественными произведениями, вазами, статуями, картинами, мебелью с инкрустацией, проследовали снова по коридору, в конце которого я заметил открытую дверь. До меня донесся хрип, резкий и зловещий»... Бальзак в своей постели лежал на груде подушек из красного шелка с иссиня-черным лицом и с открытым и пристальным взглядом;

в профиль он напоминал Наполеона. У кровати стояли старуха-сиделка и слуга. Гюго взял умирающего за руку, которая не ответила на его пожатие. «Я спустился вниз,—продолжает Гюго,—унося в памяти это посиневшее лицо. Проходя по залу, я увидел снова бюст Бальзака—неподвижный, бесстрастный, горделивый и как бы сияющий в полумраке... И я невольно сравнил смерть с бессмертием...».

— Европа теряет сейчас одного из своих великих мыслителей, господа,—сообщил Гюго в тот же вечер своим гостям[26].

На другой день, в полночь 18 августа, Бальзака не стало.

Русские журналы поместили обстоятельные некрологи, полные сочувствия к скончавшемуся писателю, подробные описания его похорон, биографические сводки и пр.

«Московские Ведомости» отмечали, что «литературный мир понес огромную потерю» и кончина Бальзака «погрузила в печаль всех образованных людей». «С.-Петербургские Ведомости», помещая обширную биографию и литературную оценку Бальзака, указывали, что скончавшийся писатель «интересен для нас, русских, не только, как литератор, но и еще потому, что был женат на нашей соотечественнице и жил долгое время в России»[27].

«На похоронах его,—сообщает «Современник»,—было все, что есть во Франции самого знаменитого в литературе, науке и искусствах, и при отпевании присутствовало более двух тысяч человек».

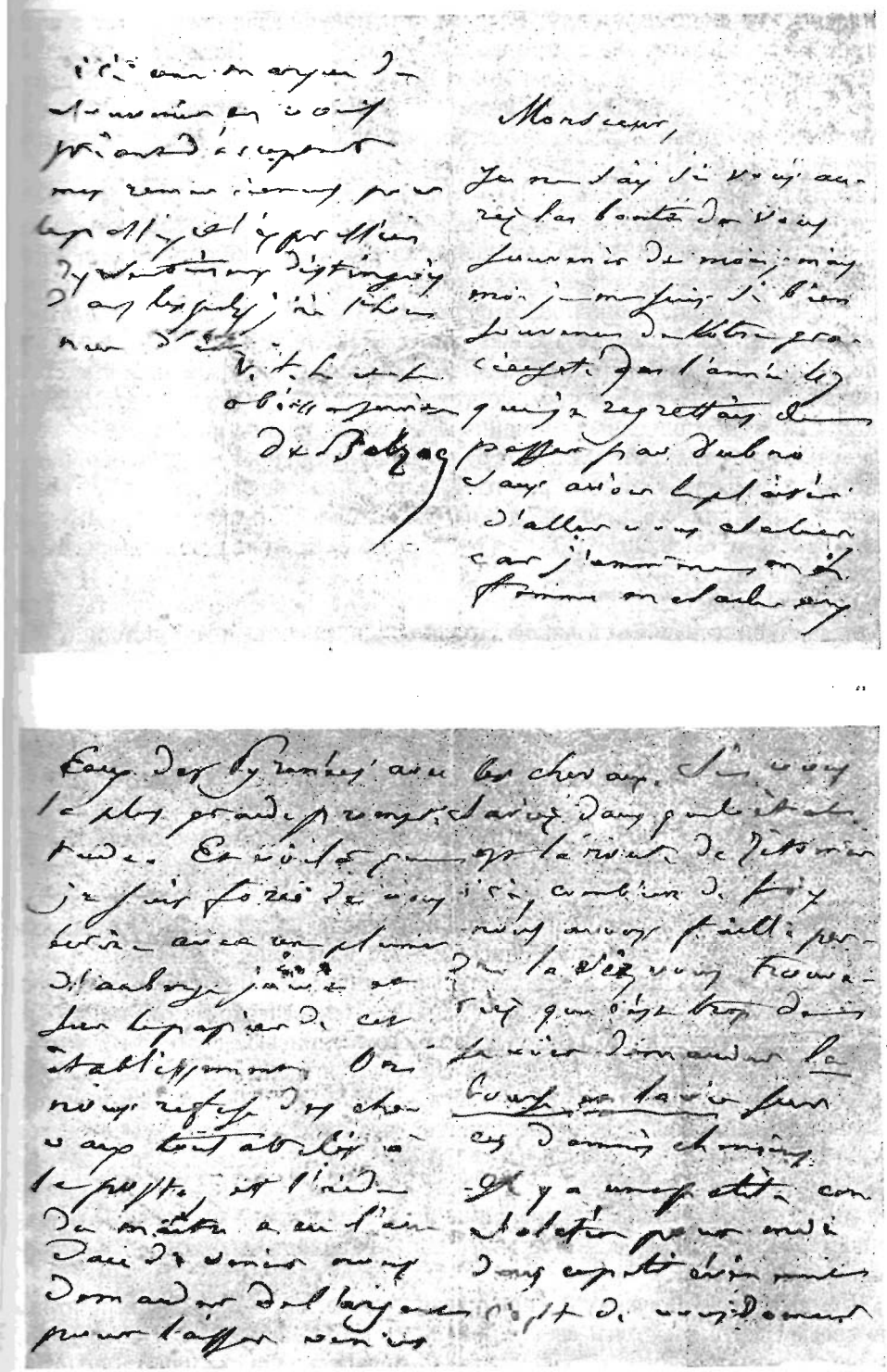
Журналы называют среди присутствовавших на погребении Виктора Гюго, произнесшего замечательное надгробное слово, Сент-Бёва, Жерара де Нерваля, Дюма-сына, Курбе, Берлиоза, Амбуаза Тома, Давида, Вильмена, министра внутренних дел, русского поверенного в делах и пр.

В заключение своего некролога «Москвитянин» называет Бальзака «глубоким мыслителем и тонким наблюдателем», обладавшим прекрасным дарованием и представлявшим собою одно из лучших явлений новейшей французской словесности. «Современник» сообщал, что умерший писатель «оставил портфели, наполненные планами и начатыми романами... За месяц до смерти Бальзак сам говорил, что он кончил только половину своего дела. В течение двух последних лет он изучил все битвы времен революции и империи. «Сцены военной жизни» уже были совершенно готовы в голове его; таким образом, он должен был дополнить не оконченную им эпопею XIX века».

«Библиотека для Чтения» писала: «Познания Бальзака по многим статьям, которые до него считали невозможными к передаче в литературной форме, были изумительны. История банкротства Цезаря Биротто останется образцовой историей делового производства... То же можно сказать о множестве эпизодов из жизни ученых и ремесленных, которыми усеяны его книги»...

«Библиотека для Чтения» не без некоторой иронии упомянула в своей статье и жену Бальзака, которую в России многие знали[28].

Французская печать лишь значительно позже попыталась осветить роль госпожи де Бальзак в самый момент смерти ее мужа. В 1907 г. известный романист Октав Мирбо опубликовал в газете «Temps» (ноябрь 1907) рассказ о последних часах Бальзака со слов художника Жана Жигу. Если верить этому рассказу, Ганская по приезде в Париж охладела к Бальзаку и вступила в связь с модным портретистом Жигу. В момент смерти Бальзака она находилась на своей половине в обществе художника; сиделка с трудом достучалась в ее спальню, чтобы сообщить ей, что Бальзак скон-



АВТОГРАФ ПИСЬМА БАЛЬЗАКА К ДУБЕНСКОМУ ГОРОДНИЧЕМУ ЧЕРНИЛЕВСКОМУ, 1850 г.

Публичная библиотека, Ленинград

чался; только тогда, полуодетая и растрепанная, жена писателя отправилась к его смертному одру. Рассказ этот получил подтверждение в описании Гюго, не заставшего в комнате агонизирующего Бальзака его жены; не лишено интереса, что кисти Жана Жигу принадлежит известный портрет Эвелины Ганской (он был выставлен в Парижском салоне в 1852 г.). Наконец, совершенно точно известно, что впоследствии Жан Жигу долгое время был гражданским мужем г-жи Бальзак[29].

Биограф Ганской, Марсель Бутрон, сообщает в своей монографии о ней, что «Эвелина приняла молодого автора, к которому Бальзак относился дружески,—Шанфлёри. Это посещение имело для слишком чувствительной Эвелины самые печальные последствия: Шанфлёри стал ее любовником, а затем через год, утомившись от неподходящей связи, он прервал отношения и вернулся в богему. Связь Евы с Шанфлёри имела печальные последствия для творений Бальзака. Вдова романиста, захваченная страстью к своему молодому любовнику, во что бы то ни стало хотела доверить ему завершение неоконченных романов Бальзака. Шанфлёри, отдавая себе отчет в своих силах, отказался от этого кощунства, но, к сожалению, посоветовал своей любовнице поручить это предприятие некоему Рабу, который и выполнил его в ущерб таким творениям Бальзака, как «Депутат из Арсиса» и «Мещане»[30]. Таким же способом были «закончены» и «Крестьяне».

Трудно представить себе более печальную посмертную участь. Сам Бальзак, описавший столько страшных наследственных историй, не мог бы придумать ничего ужаснее этого отношения «дорогой звезды» к его рукописям.

Помимо «романических» мотивов, это кощунственное «окончание» его произведений представляло и крупный материальный интерес. Достаточно сказать, что однотомный роман «Крестьяне» вырос после смерти его автора в тринадцать томов!

Вообще в управлении литературным наследием Бальзака бывшая владелица Верховни проявила большую деловитость, предприимчивость и распорядительность.

«Она была назначена по завещанию наследницей всего имущества Бальзака,—сообщает биограф Ганской,—это был колоссальный пассив»[31]. Быть может, юридически это достаточно точно, но все же, когда речь идет о Бальзаке, не следует забывать о «Человеческой комедии». Каковы бы ни были вороха векселей за его подписью, *его литературное наследие*—даже в деловом отношении—представляло могущественный актив! И если взять в целом наследство, оставленное Бальзаком его жене, если вспомнить, что уже за время ее вдовства вышел ряд изданий «Человеческой комедии» и писем ее творца,—не только ни о каком пассиве не придется говорить, но нужно будет признать, что творчество великого романиста стало после его смерти источником обогащения любимой им женщины и, может быть, надолго отсрочило ее разорение.

Шпульберк де Лованжуль, признавая, что госпожа Бальзак выплатила до своей смерти все долги своего покойного мужа, замечает: «Необходимо, впрочем, отметить, что в продолжение этого периода эксплоатация «Человеческой комедии», если говорить только о ней, принесла весьма существенные доходы, которые значительно облегчили материальные обязательства, взятые на себя госпожей Евой де Бальзак»...[32].

19 АВГУСТА. — СУББОТА.

# САНКТПЕТЕРБУРГСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

## ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

№ 186. 1850.

| ЦѢНА ОДНОЙ ГАЗЕТЫ. | | | | | | ЦѢНА ГАЗЕТЫ СЪ ПРИБАВЛЕНІЯМИ. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безъ доставки. | Руб. | Коп. | Съ доставкою. | Руб. | Коп. | Безъ доставки. | Руб. | Коп. | Съ доставкою. | Руб. | Коп. |
| На полгода | 4 | — | На полгода | 5 | 50 | 1. На полгода | 7 | — | 1. На полгода | 8 | 50 |
| На мѣсяцъ подписка не принимается. | | | | | | 2. На мѣсяцъ | 1 | 25 | 2. На мѣсяцъ | 1 | 50 |

## ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Санктпетербургъ, 18 *Августа*.

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.

Главнокомандующему Королевско-Датскою Арміею, Генералъ Маіору *Крогу*.

Отдавая полную справедливость политіямъ примѣрнаго мужества и отличной распорядительности, оказанныхъ вами 24-го и 25-го прошедшаго Іюля, въ сраженіи при Идштедтѣ, гдѣ предводительствуемыя вами храбрыя Датскія войска достойно поддержали законныя права своего Монарха, Августѣйшаго Союзника и Друга Нашего, и желая изъявить особенное Наше къ вамъ благоволеніе, Всемилостивѣйше жалуемъ васъ кавалеромъ ордена *Св. Анны первой степени*. Препровождая алмазами украшенные знаки сего ордена, пребываемъ Императорскою Нашею милостію къ вамъ благосклонны.

На подлинной Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

«НИКОЛАЙ.»

Въ Петергофѣ, Августа 7-го дня, 1850 года.

Высочайшимъ Приказомъ по Военному Вѣдомству о чинахъ гражданскихъ отъ 14 Августа, производятся, со старшинствомъ: за отличіе по службѣ. Изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры. Младшій Ординаторъ Царскосельскаго Военнаго госпиталя, *Трофимовъ*. За выслугу лѣтъ. Изъ Надворныхъ въ Коллежскіе Совѣтники. Чиновникъ особыхъ порученій VI-го класса при Военномъ Министрѣ, *Богомолецъ*. Изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники. Цейхвартеры Артиллерійскихъ гарнизоновъ: Ивангородскаго, *Сорожиновичъ*. Рижскаго, *Замостьевъ*. Подвижныхъ запасныхъ парковъ: № 16 го, *Корабельниковъ*. Изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры. № 14 го, *Леонтьевъ*. № 18-го, *Темрукъ Черкасъ*. Рижскихъ мѣстныхъ Артиллерійскихъ парковъ, *Малышевичъ*. Херсонскаго Артиллерійскаго гарнизона, *Рыжковъ*. Оренбургскаго Оружейнаго Арсенала, *Оненъ*. Охтенскаго Капсюльнаго заведенія, *Худяковскій*. — Назначаются. Дивизіонный Докторъ 9-й Пѣхотной дивизіи, Коллежскій Совѣтникъ *Цытовичъ* — Главнымъ Докторомъ Новогеоргіевскаго Военнаго госпиталя. Секретарь Попечителя Императорской Медико-Хирургической Академіи, Надворный Совѣтникъ *Крубергъ* — Правителемъ Канцелярія Попечителя.

Высочайшимъ Приказомъ по Морскому Вѣдомству отъ 9 Августа производятся: за отличіе по службѣ. Изъ Полковниковъ въ Генералъ-Маіоры. Начальникъ Морской Артиллеріи въ Архангельскѣ, *Усовъ*, съ увольненіемъ отъ службы, съ мундиромъ и пенсіономъ полнаго жалованья. Увольняется отъ службы, за болѣзнію. 22-го флотскаго экипажа Лейтенантъ *Передекинъ* 3-й, Капитанъ-Лейтенантомъ.

Государь Императоръ объявляетъ Монаршее Свое благоволеніе Флигель-Адъютанту Его Величества, 18-го Флотскаго экипажа Капитанъ-Лейтенанту Барону *Фредериксу*, за успѣшныя его дѣйствія противъ Горцевъ, при форрѣ Головинскомъ. (Р. И.)

Высочайшимъ Приказомъ по Гражданскому Вѣдомству отъ 3 Августа (№ 152), производятся за выслугу лѣтъ: *изъ коллежскихъ въ статскіе совѣтники*. Совѣтникъ Минской палаты государственныхъ имуществъ *Порциянко*, со старшинствомъ съ 18 Іюля 1849 года. *Изъ надворныхъ въ коллежскіе совѣтники*. Исправляющій должность предсѣдателя Минской палаты уголовнаго суда *Волоцкій*, со старшинствомъ съ 6 Іюля 1848 года. *Изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники*. Членъ Новогрудскаго уѣзднаго комитета для надзора за правильною продажею горячихъ напитковъ, *Пильческій*, со старшинствомъ съ 7 Января 1850 года. *Изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры*. Дѣлопроизводитель минской палаты государственныхъ имуществъ *Болтуцъ* и контролеръ *Омяблоцкій*, и Минскій окружный начальникъ *Нероновъ*, со старшинствомъ: *Нероновъ* съ 31 Декабря 1846, *Болтуцъ* съ 31 Декабря 1847, *Омяблоцкій* съ 1 Января 1850 года. За отличіе: *изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники*. Столоначальникъ канцеляріи намѣстника, Кіевскаго *Абессаломовъ*. *Изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры*. Начальникъ отдѣленія той канцеляріи *Мицулинъ*, со старшинствомъ съ 30 Іюля 1849 года.

По указу Его Императорскаго Вели-

## ФЕЛЬЕТОНЪ.

### ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКЪ.

НЕКРОЛОГЪ.

Еще одна изъ знаменитостей нашего вѣка угаснула! Умеръ *Бальзакъ*! Французъ по происхожденію, писатель на языкѣ для насъ чужомъ, онъ однако же интересенъ для насъ Русскихъ не только какъ литераторъ, но еще и потому, что былъ женатъ на нашей соотечественницѣ и жилъ долгое время въ Россіи. Было время когда стыдились признаться, что не читали «Старика Горіо» или «Евгенія Гранде». Съ тѣхъ поръ любовь къ *Бальзаку* значительно охладѣла и новые писатели заставили многихъ позабыть о немъ; но въ библіотекахъ истинныхъ любителей литературы вы до сихъ поръ найдете полное собраніе его сочиненій. Нѣкоторыя сочиненія *Бальзака* до сихъ поръ остаются еще настольною книгою въ нѣкоторыхъ семьяхъ и матери позволяютъ читать ихъ своимъ дѣтямъ на равнѣ съ романами *Вальтеръ-Скотта*. Все это даетъ Г. *Бальзаку* право на мѣсто въ этой газетѣ и мы считаемъ долгомъ предложить читателямъ его біографію и критическую оцѣнку его литературныхъ трудовъ.

Литературная біографія Г. *де Бальзака*, говоритъ одинъ изъ его критиковъ, сосредоточивается въ слѣдующихъ, нѣсколько тщеславныхъ, но справедливыхъ строкахъ одного изъ предисловій къ его сочиненіямъ: «le style des êtres souffrants ou fouldroyés ne ressemble pas au style de ceux, dont la vie s'est écoulée sans catastrophe.» — Слогъ людей страждущихъ или раздавленныхъ грозою не похожъ на слогъ тѣхъ, чья жизнь протекла безъ потрясеній. Бросимъ же бѣглый взглядъ на это *разбитое* существованіе.

*Оноре де Бальзакъ* (Honoré de Balzac) родился въ Турѣ, 20 Мая 1799 года; онъ умеръ, слѣдовательно, на 52 году отъ рожденія. Онъ не былъ, по собственнымъ его словамъ, *дворяниномъ* (gentilhomme) въ историческомъ смыслѣ этого слова, потому что происходилъ отъ первобытныхъ обитателей Франціи, т. е. Галловъ, а не отъ завоевавшаго Францію племени, для котораго историческій смыслъ слова «дворянинъ» имѣетъ такое важное значеніе. Но, прибавляетъ онъ, я сознаюсь въ этомъ, чтобы противупоставить гордость гордости: отецъ мой гордился своимъ происхожденіемъ отъ завоеваннаго племени и отъ фамиліи, которая сопротивлялась въ Оверни нашествію завоевателей, фамиліи, изъ которой происходитъ родъ *d'Antraigues* *). Отецъ Г. *Бальзака*, бывшій секретаремъ Большаго Совѣта (Grand Conseil) при *Людовикѣ XV* и лишившійся этого мѣста во время революціи, отдалъ сына своего, въ царствованіе *Наполеона*, въ Вандомскій коллегіумъ, гдѣ сынъ и получилъ первое образованіе. *Бальзакъ* выказывалъ съ раннихъ лѣтъ качества свойственныя людямъ съ возвышенною природою, двѣнадцати лѣтъ, говорятъ его критики, онъ уже писалъ плохіе стихи, заслуживъ отъ своихъ товарищей прозвище «поэта» и проводилъ большую часть своего времени въ разрѣшеніи самыхъ глубокихъ метафизическихъ задачъ, вмѣстѣ съ необыкновеннымъ другомъ своимъ *Людовикомъ Ламбертомъ*, о которомъ онъ написалъ потомъ цѣлую книгу (Louis Lambert или Le livre mystique). Послѣ Вандомскаго коллегіума Г. *Бальзакъ* учился въ пансіонѣ Г. *Лепитра*, гдѣ и довершилъ свое образованіе.

*) D'Antraigues — старинная Французская фамилія.

Получивъ степень бакалавра (bachelier), Г. *Бальзакъ*, не имѣвшій состоянія, но за то одаренный предпріимчивымъ духомъ человѣка сознающаго свои силы, бросился очертя голову въ водоворотъ, называемый литературною жизнію. Желающіе имѣть понятіе о томъ, какъ онъ жилъ тогда въ Парижѣ, могутъ прочесть интересный романъ его «Un grand homme de province à Paris (Великій провинціалъ въ Парижѣ)» въ которомъ онъ описывалъ, говорятъ, тогдашнюю жизнь свою. Съ рѣдкою неустрашимостію и необыкновеннымъ постоянствомъ добивался онъ славы и извѣстности, написалъ до сорока томовъ, но всѣ они не устояли противъ критики и даже не доставили ему желаемаго. Г. *Бальзакъ* не унывалъ, продолжалъ писать, безпрестанно *перемѣняя* псевдонимы, въ надеждѣ, что хоть одинъ изъ нихъ доставитъ ему удачу. Онъ писалъ подъ именемъ *Гораса де Сентъ Обена*, *Вилергле*, *Лорда Руна* (R'hoone), но ни одна изъ этихъ вымышленныхъ фамилій не принесла ему счастія, его не хотѣли читать и всѣ сорокъ томовъ, пролежавъ на полкахъ книжныхъ лавокъ, перешли сперва къ *букинистамъ* а отъ нихъ въ мелочныя лавочки. Всѣ эти произведенія, которыхъ мы не станемъ далѣе пересчитывать, потому что они давно уже забыты всѣми, были написаны отъ 1821 до 1827 года. Надо замѣтить, что отъ большей части изъ нихъ Г. *Бальзакъ* впослѣдствіи отказывался, а объ остальныхъ говорилъ, что они написаны не имъ однимъ, а въ сообществѣ съ нѣсколькими сотрудниками. Удивительно послѣ этого, какъ рѣшился Г. *Бальзакъ* дозволить перепечатаніе большей части этихъ недостойныхъ его дарованія сочиненій, подъ псевдонимомъ *плодовитѣйшаго* изъ современныхъ романистовъ (le plus fécond de nos romanciers), псевдонимомъ, который не трудно было разгадать.

Не довольствуясь одними литературными попытками, молодой писатель пыталъ счастія въ спекуляціяхъ, былъ книгопродавцемъ и типографщикомъ; но и это ему не удалось. Онъ нажилъ большіе долги и принужденъ былъ, чтобы расплатиться, снова приняться за перо, которое, до тѣхъ поръ, такъ плохо служило ему. «Я хотѣлъ, говорилъ онъ впослѣдствіи, заплатить огромный для меня долгъ и жить прилично. Я хотѣлъ достигнуть до этого великаго результата посредствомъ гусинаго пера, бутылки чернилъ и нѣсколькихъ дестей бумаги, въ городѣ, гдѣ литераторъ не пользуется довѣренностію и гдѣ надо имѣть не только дарованіе, но и счастіе и сверхъ того работать день и ночь, чтобы зарабатывать шесть тысячь франковъ въ годъ; а долгъ мой былъ такъ великъ, что мнѣ приходилось платить семь тысячь франковъ въ годъ однимъ процентовъ». Благодаря своей настойчивости и мужеству, Г. *Бальзакъ* вышелъ побѣдителемъ изъ этой борьбы. Въ 1829 году появился «Послѣдній Шуанъ» (Le dernier Chouan), первая свѣтлая точка его поприща. Эта книга, уступающая можетъ быть послѣдующимъ вымысломъ и наблюдательностію, исчитается нѣкоторыми критиками однимъ изъ лучшихъ по слогу произведеній Г. *Бальзака*. Авторъ выражаетъ въ ней ясно все что хочетъ сказать, и запутанныя до нелѣпости фразы встрѣчаются въ ней гораздо рѣже, нежели въ другихъ его произведеніяхъ. Послѣ этой книги извѣстность Г. *Бальзака* росла съ каждымъ днемъ, *Физіологія брачной жизни* (La Physiologie du Mariage) *Шагреневая кожа* (La peau de chagrin) *Исторія тринадцати*

НЕКРОЛОГ БАЛЬЗАКА В „САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЯХ“ ОТ 19/31 АВГУСТА 1850 г.

Сам писатель это безошибочно предвидел. В ответ на упреки за долги и безденежье он уверенно отвечал: «Мое состояние — это мое творчество. А творчество мое стоит миллиона и даст его»[33].

Одновременно писатель так же безошибочно предвидел и другое обстоятельство: «К несчастью, творчество мое составит состояние, когда мне уже не нужно будет никакого состояния»,—писал Бальзак Ганской 8 апреля 1842 г.[34].

Но существование своей возлюбленной Бальзак, несомненно, обеспечил неутомимым творческим трудом, подорвавшим его жизнь.

После смерти Бальзака, сообщает племянница Ганской, вдова его осталась жить в особняке на улице Фортюне, переименованной вскоре в Rue Balzac. С ней поселились ее дочь и зять. Последний вел все денежные дела семьи и заключил с известным издателем Мишелем Леви договор на исключительное право переиздания всех произведений Бальзака. Эвелина Ржевусская-Ганская-Бальзак, ставшая теперь женою художника Жана Жигу, приобрела «великолепный замок Борегар в окрестностях Вильнев-Сен-Жорж», где проводила летние месяцы[35].

Психическое расстройство неожиданно поразило Юрия Мнишка. Возраст и недуги не давали возможности самой Ганской вести денежные дела семьи. Управление имуществом перешло к ее дочери, совершенно неопытной в практической жизни. Состояние Ганских стало быстро таять, и вскоре полное разорение обрушилось на последних представительниц семьи. От огромного состояния Ганских, Мнишков и, прибавим, Бальзака ничего не осталось!

Госпожа Бальзак скончалась 9 апреля 1882 г. (нов. ст.) в знаменитом особняке, где она еще находилась только из милости его новых владельцев. Ее похоронили на кладбище Пер-Лашез, рядом с могилой Бальзака. Сейчас же после похорон Анна Мнишек, за год перед тем овдовевшая, полунищей оставила дом, уже не принадлежавший ей[36]. Кредиторы, дельцы, управители заполнили последнее жилище Бальзака. Многое было расхищено, разбросано, утрачено навсегда. Знаменитый собиратель автографов Шпульберк де Лованжуль разыскал у соседнего лавочника письма Оноре к его обожаемой Еве[37].

Поистине, следует обратиться к шекспировской формуле «нет повести печальнее на свете...». Знаменитое двустишие не может найти более полного и соответственного применения, чем к истории Эвелины Ганской и Бальзака.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Автограф.—Исторический музей, Москва. На первой странице письма рукой Уварова помечено: «Rep. 12/24 février» (ответил 12/24 февраля). Ср. Korwin-Piotrowska, 457—459.

[2] К «записке», составленной 8 июня 1849 г. в канцелярии III отделения для Орлова по поводу просьбы Ганской сохранить права на недвижимое имущество в России при вступлении в брак с Бальзаком (см. ниже, прим. 7-е), приложена выписка из соответственного законоположения—указа 17 апреля 1834 г.: «Лицо женского пола, вступившее в законный брак с иностранцем, не состоящим ни в службе России, ни в подданстве, какого бы она и он ни были вероисповедания, следует состоянию и месту жительства своего мужа. Но оставляя... отечество и вступая по мужу в чужеземное подданство, жена не может уже владеть в России недвижимым имуществом и обязана при выезде продать оное в срок, общим законом установленный, именно в полгода».—«Звенья», III—IV, 313.

[3] Автограф.—Collection Lovenjoul. A. 315. Fo. 218—221. Связанные с этим письмом два обращения Уварова к начальнику III отделения Орлову см. в «Звеньях», III—IV, 311—312.

[4] Correspondance, II, 380.

[5] Ibid., II, 380—381.

[6] Киевский областной исторический архив (КОІА). Фонд канцелярии генерал-губернатора.

[7] 28 мая 1849 г. Бибиков переслал письмо Ганской в Петербург, в III отделение, с соответствующим отношением на имя Орлова. Канцелярия III отделения 8 июня составила на основании этих документов «записку» для Орлова, к которой были приложены «справка» о политической благонадежности Бальзака и, добавленная 9 июня, выписка из свода гражданских законов (см. выше, прим. 2-е). Очевидно, в самые ближайшие дни дело Ганской было доложено Николаю I. На «записке» рукой Орлова написано: «Высочайше повелено отказать, как противное существующим законам. Гр. Орлов». См. «Звенья», III—IV, 312—313.

[8] Киевский областной исторический архив (КОІА). Фонд канцелярии генерал-губернатора.

Позднейшие документы об имущественных отношениях владельцев Верховни в начале 1851 г. сообщают ряд существенных подробностей о деловой стороне второго замужества Ганской. 20 января 1851 г. Ева де Бальзак обратилась из Парижа с просьбой к А. Ф. Орлову об охране имущественных прав ее дочери Анны Мнишек, которой грозит конфискация всех ее земельных владений в виду пенсии, которую она выплачивает своей матери, вышедшей замуж за иностранца. Письмо это опубликовано в «Звеньях», III—IV, 315—320. Орлов поторопился обратиться к Бибикову с следующим письмом, сохранившимся, как и другие нижеприводимые документы, в Киевском областном историческом архиве, фонд канцелярии генерал-губернатора.

Отношение III отделения киевскому генерал-губернатору Бибикову № 223 от 20 января 1851 г. (лл. 10—11).

Милостивый государь,
Дмитрий Гаврилович,

Вашему высокопревосходительству известно, что государь император, вследствие всеподданнейшего доклада моего просьбы помещицы Киевской губернии Ганской, всемилостивейше дозволил ей в июне 1849 года вступить в брак с французским литератором де Бальзаком, на основании общих узаконений, без сохранения права владения недвижимостию в России.

Г-жа Бальзак объясняет ныне в письме ко мне из Парижа, что до выезда еще из России она передала дочери своей, графине Мнишек, все права на отцовское ее имение, выговорив себе только некоторое из доходов имения пожизненное содержание; а что по заключении уже брака с Бальзаком она доставила дочери своей формальное отречение от всякого в России имущества, не упомянув, однако же, в этом акте о пожизненном содержании, которого она, впрочем, никогда не получала и не требовала. Сие последнее обстоятельство послужило будто бы киевским судебным местам поводом к наложению запрещения на имение ее дочери, графини Мнишек, а потому г-жа Бальзак просит защиты прав ее дочери, обязываясь в скорейшем времени прислать из-за границы отречение от получения всякого пожизненного от дочери содержания.

Не находя, с своей стороны, повода, в этих обстоятельствах, к наложению запрещения на имение графини Мнишек и полагая, что сведения, дошедшие до г-жи Бальзак, вероятно, не основательны, я не менее того счел обязанностию сообщить о сем вашему высокопревосходительству, с покорнейшею просьбою, для доклада его императорскому величеству, почтить меня уведомлением: сделано ли какое-либо распоряжение по этому предмету, почему и на каком основании.

Примите, милостивый государь,
уверение в совершенном моем почтении и преданности.
Граф Орлов

На соответственный запрос Бибикова (№ 541, л. 12—12 об.) ему представлена была записка советника Киевского губернского правления Янкулио.

Записка по делу о помещице Ганской, вышедшей в замужество за французского подданного де Бальзака

По выходе Ганской за де Бальзака, его превосходительство господин начальник губернии, выдав ей паспорт на проезд за границу, предложить изволил губернскому

правлению от 10 марта 1850 года сделать надлежащее распоряжение касательно имущества Ганской, остающегося в России.

Губернское правление, имея в виду, что Ганская вместе с выходом за иностранца замуж обязана была остающееся в России недвижимое имение ее по силе 1370 ст. 9 тома и 707 ст. 5 тома устава о пошлинах (изд. 1842 г.) продать или переуступить детям своим, и что она имела имение Киевской губернии, в Бердичевском, Радомысльском и Сквирском уездах,—требовало от земских исправников означенных сведений, как Ганская распорядилась с имением своим, сделав с тем вместе распоряжение о пропечатании в «Киевских губернских ведомостях» во всеобщее сведение объявления об оставлении Ганскою чрез выход за иностранца замуж отечества с тем, что если где окажется недвижимое имение ее без продажи или передачи наследникам,—в таком случае подвержено было бы это имение секвестру на законном основании.

По собранным от бердичевского, радомысльского и сквирского земских исправников сведениям оказалось: что Ганская, по мужу де Бальзак, недвижимое населенное имение свое, в тамошних уездах состоящее, переуступила во владение дочери своей, графине Мнишек с тем, чтобы ей уплачивала ежегодно наличными деньгами по 9000 руб. серебром, и что графиня Мнишек введена только во владение имениями, состоящими в Радомысльском и Сквирском уездах, а на имение, состоящее в Бердичевском уезде, не получила ввода.—Почему Губернское правление предписало сквирскому земскому исправнику истребовать от графини Мнишек отзыв: почему она доселе не испросила ввода ее во владение имением, состоящим в Бердичевском уезде, и таковой представить в Губернское правление вместе с документом, по которому Мнишек обязалась уплачивать матери своей по 9000 руб. серебром, и сведением, каким образом и с чьего разрешения доставляются эти деньги к матери ее.

Вследствие этого предписания сквирский исправник представил 26 генваря отзыв графини Мнишек, в котором она пояснила, что ввод на имение, в Бердичевском уезде состоящее, она уже получила, а что касается обязательства ее уплачивать матери своей ежегодно по 9000 руб. серебром, то таковое состоялось тогда еще, когда мать ее была в вдовстве и не намеревалась выйти во второй брак за иностранца,—но она таковых денег матери не уплачивала, а мать ее актом, в парижских присутственных местах совершенным, отказалась от получения тех денег в пользу ее, Мнишек, какового акта она ежедневно ожидает.

Этот отзыв еще не разрешен, а составляется только проект журнала.

Советник Янкулио

Наверху докладной записки помета карандашом рукой Бибикова: «Так и отвечать гр. Орлову. 29 января».

Не лишен интереса и представленный на запрос Бибикова секретный рапорт председателя Киевской палаты гражданского суда Чернова ген.-губернатору Бибикову от 30 января 1851 г., за № 111 (л. 18—19).

Рапорт

На предписание вашего высокопревосходительства от 29 генваря сего года за № 541 о доставлении сведений, состоит ли под запрещением, по какому случаю и с которого времени находящееся в Киевской губернии имение бывшей Ганской, вышедшей замуж за иностранца Бальзака, которое перешло к дочери ее, графине Мнишек, честь имею донести, что после смерти помещика, Вацлава Ганского, досталось дочери его Анне, по мужу Мнишек, в наследство недвижимое имение в Радомысльском—Гарностайпольский, в Сквирском—Верховенский и в Волынской губернии Житомирском уезде—Пулинский ключи, с предоставлением всего того имения в дожизненное владение жене своей, Еве Ганской, матери Анны Мнишек. Из числа того имения помещица Анна Мнишек, за согласием дожизненной владелицы, заложила Гарностайпольский ключ в С.-Петербургском опекунском совете. За сим 9 июня 1850 года явлена в сей палате дарственная запись Евою Адамовою дочерью, по первому браку Ганскою, а по второму де Бальзак, на основании которой подарила дочери своей и единственной наследнице, графине Анне Вацлавовне Мнишек, собственное свое имение, состоящее Киевской губернии Бердичевского уезда, с. Паволоч, в коем по 8 ревизии числится мужеского пола душ 505, оцененное в 70 т. руб. серебром. Из означенных 505 душ на 269 наложено в 1837 году запрещение, в обеспечение лежащего на них долга Государственному заемному банку. Более же запрещений на имение помещицы Евы Ганской, по второму браку де Бальзак, а также сведений вообще о имениях ее, перешедших к дочери ее, графине Анне Мнишек, никаких нет.

Председатель Чернов

3 февраля 1851 г. эти сведения были дополнительно сообщены в кратком отношении Бибикова за № 612 Орлову (л. 20 — 20 об.), а 15 февраля начальник III отделения послал вдове Бальзака ответ на ее письмо (см. «Звенья», III—IV, 323—324).

[9] Hugo (Victor), Choses vues, Ollendorf, P., 1913, II, 67.

[10] Balzac and Souverain, 75—76.

[11] Correspondance, II, 372.

[12] Архив внешней политики (Москва). «Дело по отношению киевского генерал-губернатора о переводе и засвидетельствовании метрики французского подданного Гонората де Бальзака». Для окончательного оформления этот брачный акт должен был пройти через житомирскую консисторию, канцелярии двух военных губернаторов—Житомира и Киева и, наконец, через министерство иностранных дел. Экземпляр акта, сохранившийся в Архиве внешних сношений, имеет ряд соответствующих удостоверений. Документ был переслан канцлером Нессельроде к представителю Франции маркизу де Кастельбажаку при следующем сообщении от 17 апреля 1850 г. за № 3620: «Французский подданный Оноре де Бальзак обратился к г. военному губернатору Подолии и Волыни с просьбою засвидетельствовать прилагаемое удостоверение о его бракосочетании с Евой Ганской в бердичевской римско-католической церкви во имя св. Варвары и доставить ему указанный документ в Париж через посредство г. французского консула в Петербурге. Канцлер Российской империи граф Нессельроде в виду этого имеет честь, по просьбе генерал-адъютанта Бибикова, переслать вышеназванный документ как в подлиннике, так и в засвидетельствованном французском переводе генералу Кастельбажаку».

Брачный документ Бальзака сохранился в архиве во французском переводе с польского языка, на котором написан подлинник. Следует отметить, что документ этот изобилует рядом официальных неточностей: Бальзак родился не в Париже, а в Туре; в приходе св. Филиппа только находился его новый особняк; в письмах из Верховни он не испрашивал у своей матери разрешения на венчание, а по недостатку времени и не успел бы его получить; возраст Ганской в акте указан неправильно; наконец, ни оглашения, ни «обыска брачного» не производилось, как это явствует из переписки Юрия Мнишка с Ганской перед ее венчанием.

[13] Об этом см. в письмах Бальзака к матери и сестре на другой день после венчания 15 марта 1875 г.: «... mon mariage a été béni et célébré dans l'église Sainte-Barbe de Berditchev» (Correspondance, II, 442), «hier à Berditchev dans l'église paroissiale de Sainte-Barbe...» (ibid., II, 443).

[14] Correspondance avec Zulma Carraud, 325.

[15] Rzewuski (S), Le mariage de Balzac.—«Nouvelle Revue», 15 janvier 1906, 191.

[16] Kraszewski (J.-I.), Рецензия на «Correspondance de Balzac» в польском журнале «Bluszcz» от 16 мая 1877 г., № 20, 154—155, цитируется по выдержке, приведенной у Kowin-Piotrowska, Balzac en Pologne, P., H. Champion, 1933, 51.

[17] Здоровье Ганской в 40-е годы пришло в расстройство, и она неоднократно обращалась к знаменитостям французской и немецкой медицины; в конце 40-х годов она страдала сильными припадками подагры и, видимо, общим нарушением обмена (сильное пополнение). Бальзак и Ганская предполагали по возвращении в Париж отправиться лечиться на воды пиренейских курортов и на морские купанья в Биаррице.—Correspondance, II, 445, 452, 456.

[18] Автограф.—Ленинградская Публичная библиотека. Рукописное отделение, «собрание Вакселя», № 106. Адресат письма—Алексей Алексеевич Чернилевский, городничий в Дубно, устанавливается по «описи», приложенной к «собранию Вакселя», и по «Адрес-календарю» на 1848 и 1850 гг.

О своем знакомстве с дубенским городничим (maître de police) Бальзак упоминает в описании своего путешествия в Россию в 1847 г. «Наконец, в 2½ часа [ночи с 11 на 12 сентября 1847 г.] добрался я до Дубно; тут меня задержали на станции. Уверенный в своем проводнике [данном Гаккелем в Радзивиллове], я бросился на диван, твердый, как походная кровать, и заснул на нем в первый раз за девять дней... Утром местный городничий, прекрасный русский, недавно женившийся, в мундире с орденами, приехал в своей коляске, запряженной четверкой, и застал меня врасплох за чашкой кофе. Все формальности с подорожной были уже закончены. Городничий, бывший гвардейский офицер, высказал большое сожаление по поводу того, что я так тороплюсь—его жене очень хотелось бы, чтобы я у них позавтракал, но это было отложено до моего обратного проезда, и я уехал дальше в 10 часов...».—Lettre sur Kiew, 61—62.

[19] Bouteron, II, 27.

[20] Correspondance, II, 457. Письмо к редактору «Constitutionnel», Луи Верону.

[21] Bouteron, II, 49.

[22] Необычайная роскошь бальзаковского особняка подробно описана в книге Jarry, (Paul), Le dernier logis de Balzac, P., 1924.

[23] Correspondance, II, 459.

[24] Gautier (Théophile), Portraits contemporains, P., 1874, 127—128.

[25] «Современник», 1850, XXIII, 101.

[26] Hugo (V.), Choses vues, II, 67—69.

[27] «Московские Ведомости», от 24 августа 1850 г. Известие о кончине Бальзака, стр. 1077.

«Санкт-Петербургские Ведомости», № 186, от 19 августа 1850 г.

[28] «Современник», 1850, XXIII, 103—107, «Москвитянин», 1850, № 18, кн. 2, 43—46; «Библиотека для Чтения», 1850, X, 101—107.

[29] На другой день по опубликовании статьи Мирбо, т. е. 11 ноября 1907 г., Анна Мнишек заявила резкий протест против «ужасающей клеветы» Мирбо; по ее словам, она сама познакомила свою мать с Жаном Жигу два года спустя после смерти Бальзака. Октав Мирбо, уступая протесту дочери, не включил своего рассказа в книгу «Автомобиль 628 E8», в которой он должен был появиться. На защиту вдовы Бальзака выступили впоследствии в печати ее родная племянница Катерина Радзивилл и крупный исследователь Бальзака Марсель Бутрон. Следует, впрочем, согласиться с Шарлем Леже, который в статье «Иностранка и Жигу» («Mercure de France», 15 juin 1927) признает неудавшимися все попытки реабилитации Ганской. Перу Шарля Леже принадлежит монография о Ганской «Eve de Balzac», P., 1927. Она, к сожалению, осталась нам незнакомой. Отзыв о ней см. в «Nouvelles littéraires», 12 mars 1927 (статья Charensol).

[30] Bouteron, I, 34.

[31] Bouteron, I, 32.

[32] Spoelberch de Lovenjoul, Une page perdue d'Honoré de Balzac, P., 114, 115.

[33] В 1851—1853 гг. вышло восьмитомное издание «Œuvres illustrées de Balzac» (chez Gustave Havard); в 1853—1854 гг.—пятитомное (J. Janet); в 1856—1859 гг.—собрание сочинений в 45 томах («Librairie nouvelle»), с дополнительными 10 томами; в 1859—1867 г.—«Œuvres de jeunesse»; в 1869—1876 гг.—наиболее известное издание Кальман-Леви в 24 томах. Кроме того, с 1855 г. продолжалось издание Houssiaux, начатое при жизни Бальзака и законченное в конце 50-х годов тремя последними томами (XVIII—XX). Оно было переиздано в 1874 и 1877 гг. В 1867 и в 1868 гг. иллюстрированное издание Havard (1851—1853) было переиздано Мишелем Леви. В 1876 г. вышло двухтомное издание писем Бальзака. (См. Talvart (Hector) et Place (Joseph), Bibliographie des auteurs modernes de langue française, 1801—1927, P., 1928, I, 172—176). Отметим здесь, что на всем протяжении нашей работы незаменимым библиографическим пособием была для нас новейшая «Бальзакиана» Ройса: «A Balzac bibliography compiled by William-Hobart Royce. Writings relative to the life and works of Honoré de Balzac. The University of Chicago press, Chicago-Illinois [1929]». В ряде случаев нам служил справочник: Blanchard (Marc), Témoignages et jugements sur Balzac. Essai bibliographique, recueil de jugements, P., 1931.

[34] Correspondance, II, 24.

[35] Radziwill (Catherine), Les derniers jours de m-me de Balzac.—«La Revue Mondiale», 1927, 4 (15 février), 332—337.

[36] Юрий Мнишек умер в 1881 г. в возрасте 58 лет.—Œuvres complètes (Conard), XXIX, 326. Анна Мнишек скончалась 22 мая 1915 г., в возрасте 89 лет. Последние 25 лет своей жизни она прожила в монастыре крестовых сестер в Париже, на ул. Вожирар, сохранив до конца свои умственные способности.—Floyd, 261.

[37] В одной из новейших работ о Бальзаке приведены ужасающие подробности разгрома его литературного наследия: «После смерти писателя документы, которыми он пользовался в своей работе, оказались почти совершенно расхищенными. Не был составлен полный инвентарь его библиотеки; в течение одной недели тысячи томов, которые служили ему в работе, были распроданы с молотка... Но даже эта потеря книг писателя не могла бы считаться невознаградимой, если бы восемь ящиков с рукописями, которым Бальзак придавал такое значение, были тщательно сохранены. Но этого не случилось. Как только супруга Бальзака, в свою очередь, скончалась, произошло возмутительное разграбление автографов «Человеческой комедии»: дело дошло до того, что на парижских улицах подбирали тетради с заметками великого романиста к его задуманным произведениям. Из восьми ящиков с рукописями Бальзака едва ли удалось восстановить содержимое полутора ящиков». Prioult, (A.) Balzac avant la Comédie humaine (1818—1829). Contribution à l'étude de la genèse de son œuvre, George Courville, P., 1936, avant-propos, IX.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

# БАЛЬЗАК И НАША СТРАНА

I. СЛОЖНОСТЬ ТЕМЫ „БАЛЬЗАК В РОССИИ": РАВНОДУШИЕ ПИСАТЕЛЯ К РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЕГО ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ.—НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ БАЛЬЗАКА В КРУПНЕЙШИХ ФАКТАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ РОССИИ.—ЧТО ЗНАЛ ОН О ПУШКИНЕ?—„ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ" КРУГ ЕГО ЗНАКОМЫХ.—РОССИЯ И РУССКИЕ В РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БАЛЬЗАКА (РАССКАЗ „ПРОЩАНИЕ", „ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА").—СЛУЧАЙНЫЕ РУССКИЕ ГЕРОИ ЕГО ПОЗДНЕЙШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.—БЕЗРАЗЛИЧИЕ РОМАНИСТА К РУССКОМУ НАРОДНОМУ ИСКУССТВУ.—ИСТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ О XVIII ВЕКЕ. II. ВОЗДЕЙСТВИЕ БАЛЬЗАКА НА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.—ИНТЕРЕС К НЕМУ В ПУШКИНСКОЙ СРЕДЕ.—ВЯЗЕМСКИЙ, А. Н. ВУЛЬФ, БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ В ИХ ОТЗЫВАХ О БАЛЬЗАКЕ.—БИБЛИОТЕКА ПУШКИНА.—ГОГОЛЬ.—ОЦЕНКИ БАЛЬЗАКА В ЖУРНАЛИСТИКЕ НИКОЛАЕВСКОЙ ЭПОХИ („ТЕЛЕСКОП", „СОВРЕМЕННИК", „БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ", „ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА").—ЭВОЛЮЦИЯ МНЕНИЙ БЕЛИНСКОГО О БАЛЬЗАКЕ.—ВОСХИЩЕНИЕ МОЛОДЫХ—ГЕРЦЕНА, ГРИГОРОВИЧА И ДОСТОЕВСКОГО.—„МАЧЕХА" БАЛЬЗАКА И „МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ" ТУРГЕНЕВА.—СВИДЕТЕЛЬСТВА ГОНЧАРОВА, ЧЕРНЫШЕВСКОГО, ЩЕДРИНА И Л. ТОЛСТОГО.—ОТВЕТ ГОРЬКОГО ОКТАВУ МИРБО. III. В ЧЕМ БАЛЬЗАК ОСТАЕТСЯ НАШИМ СОВРЕМЕННИКОМ: БАЛЬЗАК, КАК СОЗДАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО РОМАНА, КАК ИЗОБРАЗИТЕЛЬ ТРУДА, КАК МАСТЕР РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ.—„ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ" В СТРАНЕ СОВЕТОВ

## I

«Русская глава» в биографии великого романиста охватывает, как мы видели, весьма обширный период его жизни и деятельности. Бальзак в России—большая и сложная тема. Она велика, если вспомнить, какое влияние имел могучий зодчий «Человеческой комедии» в России, какое впечатление он произвел на Достоевского, в какой огромной степени один из величайших романов русской и мировой литературы—«Преступление и наказание»—обязан своим зарождением и замыслом Бальзаку.

Но эта тема достаточно безотрадна, если от творчества мы перейдем к личной биографии романиста. Правдивое изучение сообщений и фактов подтверждает здесь общее явление из истории этой жизни и мысли: Бальзак велик, как художник, как романист, как мастер широких фресок современности. Теоретик, политик, делец, историк, государственный деятель, моралист или социальный мыслитель—во всех этих качествах Бальзак не поднимается на изумительную высоту своего романического искусства.

Но каковы бы ни были его теории, доктрины и планы, он оправдывает и утверждает себя в своем художественном творчестве. Здесь подлинное торжество и величие Бальзака, в этом его неоспоримые права на наше признание и поклонение.

К сожалению, тема России не прошла через горнило творческих вдохновений Бальзака и осталась в плане его деловых соображений. Он, знавший Петербург и Киев, украинскую усадьбу и деревню, проживший в нашей стране в общем свыше двух лет, не заинтересовался ни русским народом, ни русской поэзией, ни русской мыслью, ни русским общественным движением и в своем творчестве прошел мимо России и русских. Он восхитился здесь только Николаем I, он хотел приобрести себе—творцу «Человеческой комедии», великому мировому писателю—жалкое звание волынского и киевского помещика. Виной тому, несомненно, была и Ганская, внушившая ему свою вражду к русским и свою приверженность к российскому самодержцу, оберегавшему крепостнический строй.

Характерно, что до знакомства со своей польской подругой Бальзак проявил однажды интерес к живой России, культурной и революционной. В самом начале своей деятельности, в 1830 г., в своем еженедельнике «Фельетон политической прессы» («Le feuilleton des journaux politiques»), в рецензии на книгу J.-B. May «Saint-Pétersbourg et la Russie en 1829», Бальзак обнаруживает знакомство с европейской «россикой», называет

«Историю» Карамзина, отмечает важность «заговора 1825 года», выражает сожаление, что Франция не имеет ценного исследования о народе, «призванном играть такую великую роль в будущем»[1]. Но после знакомства с Ганской такие заявления сменяются у Бальзака скептическими отзывами о России, за которой он признает только политическую и даже экономическую мощь в условиях крепостничества и самодержавия.

Правда, Бальзак судил не о народе и не о его лучших творческих представителях, а о той особой среде, с которой преимущественно общался. Поистине удивителен круг русских знакомых Бальзака. Писатель, столь интенсивно живущий литературной жизнью эпохи, с таким интересом относящийся к профессиональному быту работников пера, к их деятельности, к их продукции, к их борьбе, не знает положительно ни одного русского поэта, романиста или драматурга. Когда скульптор Рамазанов осведомляется у него о тогдашнем классике Державине, имя это ничего не говорит Бальзаку. За время его дружбы с Ганской были убиты Пушкин и Лермонтов, скончался Белинский, появился и создал все свои шедевры Гоголь, выступили в печати молодые—Достоевский, Тургенев, Гончаров, Герцен, Островский. За этот краткий сравнительно период русская литература дала «Медного всадника», «Капитанскую дочку», «Мертвых душ», «Ревизора», «Героя нашего времени», «Бедных людей», «Сон Обломова». Кончал свою деятельность Жуковский, начинал Некрасов. Что знал об этом Бальзак? Как раз накануне первой поездки его в Петербург появилась в «Revue de Paris» статья Мармье «О литературном движении в России». Помимо характеристики русского языка, который пленил французского исследователя своей музыкальностью, Мармье дает в своей статье обзор произведений Пушкина, Гоголя, Грибоедова, Жуковского, Крылова, Вяземского, Баратынского, Языкова, Веневитинова, Батюшкова, Одоевского, Каролины Павловой, Ростопчиной, Загоскина, Павлова, Соллогуба; из писателей XVIII в. он называет Державина и Фонвизина[2]. Ни одно из этих имен ни разу не было упомянуто Бальзаком.

Не лучше обстояло дело и с русским общественным движением. Если в своей рецензии 1830 г. на книгу Ж.-Б. Мэя «С.-Петербург и Россия в 1829 г.» Бальзак отмечает важность «заговора 1825 года», в дальнейшем мы не находим у него никаких следов интереса к деятельности декабристов, Чаадаева, Герцена или Бакунина, с которым общалась в те годы Жорж Санд. Бальзак находился в России, когда разразилось «дело Петрашевского», когда молодой Достоевский, переводчик «Евгении Гранде» и верный ученик творца «Человеческой комедии», был возведен на эшафот для расстрела и затем сослан на каторгу. Что слышал об этом великий французский романист, как воспринял он это событие, потрясшее русское общество, как расценил образ действий Николая I? Мы об этом ничего не знаем.

В этом равнодушии творца «Человеческой комедии» к русской культуре имеется один поразительный факт. Бальзак посетил Россию вскоре после смерти Пушкина и общался с целым рядом лиц, хорошо знавших поэта. В первую очередь здесь следует, конечно, назвать Эвелину Ганскую, которую Пушкин лично знал в Одессе и которую он называет в своих письмах тем же прозвищем, какое впоследствии так часто встречается в письмах Бальзака: Atala. Муж ее, Вацлав Ганский, встречался с Пушкиным в Одессе и, вероятно, за свою ипохондрию фигурирует в письмах поэта под именем байроновского Лары. Бальзак знал сестру Эвелины—Каролину Собан

„CONTES BRUNS“ БАЛЬЗАКА
Экземпляр из библиотеки Пушкина
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

CONTES

# BRUNS

PAR

**DE BALZAC.**

BRUXELLES.

J. P. MELINE, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
RUE DE LA MONTAGNE, N° 51.

1832

скую, которой посвящены пушкинские стансы «Что в имени тебе моем?». Он общался с такими близкими знакомыми Пушкина, как Александр Тургенев, Горчаков, Мицкевич, Шевырев, Густав Олизар, Юзефович, Козловский,—все это лица, которым Пушкин посвящал свои строфы, о которых он упоминает в своих записях или которые о нем оставили замечательные воспоминания. И несмотря на это, Бальзак не оставил ни малейшего свидетельства своего интереса к русскому поэту, который уже привлекает к себе весьма пристальное внимание в Европе 40-х годов.

Круг интересов и встреч Бальзака в России чрезвычайно ограничен. Он знает только русских «великосветских» людей и высших чиновников, т. е. круг, соответствующий основным интересам Ганской. Это преимущественно «высший свет», «международная аристократия», титулованная знать. Князь Козловский и дочь его Софья, князь Тюфякин, княгиня Голицына и графиня Орлова, г-жа Самойлова, которую он посещал в Милане, «женщина из холодной России, княгиня Багратион», которая слыла в Париже прообразом Федоры из «Шагреневой кожи», графиня Шувалова, с которой он встречался на вечерах у австрийского посла, графы Разумовские, с которыми он знакомится в Вене, русские дипломаты—Поццо ди Борго, Пален, Киселев, Балабин, Горчаков, русские чиновники и администраторы вроде начальника петербургской таможни Тимирязева, генерал-губернатора Бибикова, киевского гражданского губернатора Фундуклея, влиятельного петербуржца Данзаса, который должен открыть путь Ганской к министру юстиции Панину,—вот преимущественный круг русских знакомых Бальзака. Русские немцы из среды николаевских бюрократов, как Ленц и Гаккель, дополняют этот круг[3]. Характерно его сообщение Ганской: «В настоящий момент я осажден русскими: одна княгиня, имя которой я не пытался узнать, хочет увезти меня с собою

в путешествие; графини, называющие себя вашими кузинами, просят меня навестить их и проч., и проч.»[4]. В письме к Софье Козловской от 6 марта 1842 г. Бальзак называет ее друзей и, очевидно, своих знакомых: Трубецкую, Нарышкину, Разумовскую, девицу Краевскую, некоих «Макановых» (Мухановых?)[5]. Все это та же среда крупного российского дворянства. К ней же относятся и Мятлевы и гр. Лаваль. С другими кругами его связи случайны. Шевырев посетил его по собственной инициативе, Александр Тургенев, с его обширными культурными интересами, несомненно, сделал первый шаг к сближению[6], скульпторы Рамазанов и Климченко были его случайными попутчиками.

Никакого развития эти культурные связи не получили. В эпоху, когда Проспер Мериме общается с Баратынским, Андреем Карамзиным, переводит Пушкина, а вскоре затем и Гоголя, Бальзак, претендующий на русское подданство, не обнаруживает ни малейшего интереса к русской литературе, науке, интеллигенции, общественной мысли. Официальная и землевладельческая Россия исчерпывает его интерес и внимание к стране, которую он готов избрать своей родиной.

Отсюда странное явление в творчестве Бальзака. В интернациональном обществе «Человеческой комедии» среди французов, итальянцев, немцев, испанцев, англичан, поляков, венгерцев, голландцев, евреев, даже черногорцев чрезвычайно редко появляются русские. Тема России в творчестве Бальзака разрабатывается до его знакомства с Ганской и почти совершенно исчезает из его произведений после их встречи. К раннему периоду относится небольшая повесть «Прощание», напечатанная в «La Mode» от 15 мая и 5 июня 1830 г. (под первоначальным заглавием «Солдатские воспоминания»). Вторая глава ее была названа «Переход через Березину». Трагедия отступления великой армии здесь изображена на основе исторических свидетельств: события 27 и 28 ноября 1812 г., развернувшиеся вокруг возвышенностей Студзянки, на безнадежном фоне снежных равнин, составляют главное содержание рассказа. В «Шагреневой коже» (1831 г.) главная героиня Федора—русская, женщина из народа, ставшая властительницей парижского общества, ослепительная красавица, остроумная и бессердечная, доводящая до отчаяния испытанных сердцеедов. Это один из мастерских образов Бальзака, хотя как раз национальная характеристика Федоры может быть подвергнута сомнению. Блистательная львица кутящего Парижа представляет собою скорее международный тип и менее всего выражает характер тех «русских женщин» 20-х годов, которые последовали в Сибирь за своими мужьями-декабристами. Но этим событием, которое вдохновило Дюма на целый исторический роман, Бальзак не заинтересовался.

Остальные русские, выведенные в «Человеческой комедии», проходят на заднем плане, в тени, появляются случайно и, в сущности, совершенно теряются в густой толпе бальзаковского города. Это всегда великосветские и титулованные персонажи, никакого отношения не имеющие к подлинной России 20—40-х годов, с ее поэтами, композиторами, живописцами, архитекторами, мыслителями и революционными деятелями. Какой-то русский князь и княгиня Галактион, которые мелькают в целом ряде произведений Бальзака («Утраченные иллюзии», «Старик Горио», «Дочь Евы», «Беатриса», «Тайны княгини Кадиньян», «Мещане»), какая-то русская княгиня Нарцикова («Годиссар») и другая наша соотечественница княгиня Щербелова («Старая дева», «Крестьяне», «Кабинет древностей»)—

вот, кажется, все русские герои Бальзака. Случайно и поверхностно облечены они своим национальным признаком, ни в чем не выражая России Пестеля, Пушкина, Гоголя, Глинки, Кипренского, Брюллова, Мочалова.

Русское искусство не вызывает ни его внимания, ни сочувствия.

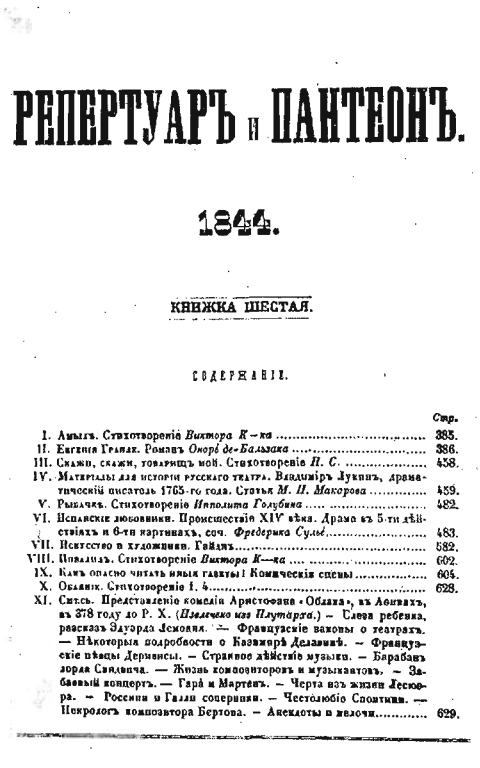
«Я чрезвычайно не доверяю в к у с у русских,—пишет он Ганской,—хотя я и видел у госпожи Самойловой в Милане деревянную скульптуру спальной, полученной из России и напоминающей по резьбе обработку китайцами слоновой кости. Это стоило бы больших денег в Париже, вот и все, и меня поразила только дешевизна!»[7].

Он получил как-то в подарок от Ганской украинский ковер, образец замечательного прикладного искусства, воспринявшего тонкие декоративные влияния, идущие с Балкан, из Малой Азии и Закавказья. Взгляд его останавливался подчас в Париже на этих «красных и зеленых квадратах и полосах»[8], но он, видно, так же мало ценил художественное ткачество украинских кустарей, как и резное искусство русских крепостных резчиков по дереву. Прожив столько времени в украинской деревне, Бальзак ни разу не заинтересовался местной архитектурой деревянных церквей, росписью хат или живописным орнаментом гончарных изделий. Все внимание его в плане искусства было сосредоточено на драгоценных полотнах знаменитых живописцев Запада, собранных в галлерее Мнишков. Блеск этих славных имен совершенно затмил в его глазах смиренных народных художников по тканям и керамике.

По фамильным преданиям Ржевусских, Бальзак оказался чувствительнее к украинской музыке и, якобы, с интересом слушал заунывные «думы», которые играл по вечерам верховенским обитателям виолончелист Моисей[9]. Но точные (а не легендарные) сведения о его музыкальных интересах на Украине (его письма и сочинения) свидетельствуют лишь о его внимании к фортепианной игре Анны Мнишек, т. е. к музыке европейских композиторов, и, в частности, к Шопену, которого он с восхищением называет во 2-й части «Изнанки современной истории» (написанной в Верховне). Он упоминает здесь с похвалой и польские песни (которые напевает его героиня Ванда), но об украинских или русских напевах мы не находим у него ни слова.

Бальзак проявил интерес лишь к искусству чекана на Украине: «У нас здесь имеется один человек,—пишет он в Париж своему другу Лоран-Жану,—изумительно обрабатывающий железо; если ты пришлешь мне рисунок кубка, хотя бы и самый затейливый, он сможет выковать его из железа или серебра. Это Бенвенуто Челлини, выросший среди Украины, как гриб»[10].

В ряду французских писателей, посетивших Россию, в ряду таких авторов, как госпожа де Сталь, Жозеф де Местр, Стендаль, Дюма, Теофиль Готье—если говорить только о современниках Бальзака,—он стоит особняком. Прожив довольно долго в нашей стране, он почти ничего не оставил нам о русских городах, пейзажах, нравах, плясках, песнях или языке, который вызвал такое восхищение г-жи де Сталь «нежностью и блистаньем своих звуков, словно предназначенных для музыки и поэзии»[11]. Бальзак остался и здесь в пределах практики: он знал несколько ходких русских слов, как «бричка», «кибитка», «подорожная», «почтовая карета», «мужик», «огня», «какой», «другой», «кнут» и пр. Но художественные особенности русской и украинской речи не привлекли его внимания.



# РЕПЕРТУАРЪ и ПАНТЕОНЪ.

## 1844.

### КНИЖКА ШЕСТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ.


| | | Стр. |
|---|---|---|
| I. | Амылъ. Стихотвореніе *Виктора К—ка* | 385. |
| II. | Евгенія Гранде. Романъ *Оноре де-Бальзака* | 386. |
| III. | Скажи, скажи, товарищъ мой. Стихотвореніе *П. С.* | 458. |
| IV. | Матеріалы для исторіи русскаго театра. Владиміръ Лукинъ, драматическій писатель 1765-го года. Статья *М. И. Макарова* | 459. |
| V. | Рыбачекъ. Стихотвореніе *Ипполита Голубина* | 482. |
| VI. | Испанскіе любовники. Происшествіе XIV вѣка. Драма въ 5-ти дѣйствіяхъ и 6-ти картинахъ, соч. *Фредерика Сулье* | 483. |
| VII. | Искусство и художники. Гайдмъ | 582. |
| VIII. | Инвалидъ. Стихотвореніе *Виктора К—ка* | 602. |
| IX. | Какъ опасно читать иныя газеты! Комическія сцены | 604. |
| X. | Обаяніе. Стихотвореніе I. 4 | 628. |
| XI. | Смѣсь. Представленіе комедіи Аристофана «Облака», въ Аѳинахъ, въ 378 году до Р. Х. (*Извлечено изъ Плутарха.*) — Слева ребенка, разсказъ Эдуарда Лемоана. — Французскіе законы о театрахъ. — Нѣкоторыя подробности о Казимирѣ Делавинѣ. — Французскіе пѣвцы Дерминсы. — Странное дѣйствіе музыки. — Барабанъ лорда Сандвича. — Жизнь композиторовъ и музыкантовъ. — Забавный концертъ. — Гара и Мартенъ. — Черта изъ жизни Лесюера. — Россини и Галли соперники. — Честолюбіе Спонтини. — Некрологъ композитора Бертона. — Анекдоты и мелочи | 629. |


## ЕВГЕНІЯ ГРАНДЕ.

РОМАНЪ Г-НА ОНОРЕ ДЕ-БАЛЬЗАКА*.

### ГЛАВА I.

*Провинціальные типы.*

Иногда въ провинціи встрѣчаешь жилища, съ виду мрачныя и унылыя, какъ древніе монастыри, какъ дикія грустныя развалины, какъ сухія, безплодныя, обнаженныя степи; заглянувъ подъ крыши этихъ жилищъ, и въ самомъ-дѣлѣ часто найдешь жизнь вялую, скучную, напоминающую своимъ однообразіемъ и тишину монастырскую, и скуку обнаженныхъ, дикихъ степей. Право, проходя возлѣ дверей такого дома, невольно сочтешь его необитаемымъ; но скоро однакожъ разувѣришься: подождавъ немного, непремѣнно увидишь сухую, мрачную фигуру хозяина, привлеченнаго къ окну шумомъ шаговъ на улицѣ.

Такой мрачный видъ унылія, казалось, былъ отличительнымъ признакомъ одного дома въ городѣ Сомюрѣ. — Домъ стоялъ на концѣ улицы, неровной, кривой, ведущей къ старинному замку; улица эта, почти всегда пустая и молчаливая, замѣчательна звонкостію своей неровной, булыжной мостовой, всегда сухой и чи-

* Это одинъ изъ первыхъ и, безспорно, изъ лучшихъ романовъ плодовитаго Бальзака, который, въ послѣднее время, замѣтно *исписался*. Сколько намъ извѣстно, романъ этотъ въ русскомъ переводѣ напечатанъ не былъ, а потому мы надѣемся угодить многимъ изъ нашихъ читателей, помѣстивъ его въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ.» *Ред.*

СТРАНИЦА ПЕРВОПЕЧАТНОГО ТЕКСТА „ЕВГЕНИИ ГРАНДЕ“, В ПЕРЕВОДЕ Ф. ДОСТОЕВСКОГО „Репертуар и Пантеон“, книжка шестая за 1844 г.

Факты новой русской истории вызывали иногда интерес Бальзака, и, в частности, полный авантюризма и переворотов Петербург XVIII в. В его романах встречается имя Петра I, с волевой натурой которого он сравнивает свой собственный характер (а в устах Бальзака это большая похвала), он даже составляет, как мы видели, план исторической драмы «Петр I и Екатерина», впрочем, не получивший разработки. В «Банкирском доме Нюсенжан», в «Депутате от Арсиса» и в «Катерине Медичи» он называет Потемкина в ряду таких блестящих политиков, как Мазарини, маршал Ришелье и герцог Лозен. В «Блеске и нищете куртизанок» встречается имя Пугачева рядом с именами Робеспьера и Лувеля. В «Письме о Киеве» передан эпизод из отношений Павла I с Суворовым. Устами Вотрена излагается биография Бирона, но в мало достоверных анекдотах, не выдерживающих исторической критики[12]. Всегда интересовавшие Бальзака столкновения России с Францией (в 1812 г.) и с Польшей (в 1831 г.) вызывают иногда на его страницах имена А. И. Чернышева (в «Блеске и нищете куртизанок»), великого князя Константина Павловича (в «Кузине Бетте»), Николая I (в «Шагреневой коже», «Мнимой любовнице»)[13]. Но все эти исторические темы и имена не получают развития в его творчестве и остаются в нем случайными намеками и упоминаниями.

Если вспомнить, сколько места уделено в «Человеческой комедии» полякам и Польше, какие значительные натуры выведены им в лице Лагинского, Тадеуша Паза, Адама Верховни, Ванды, сколько раз великий ро-

манист называет на своих страницах имена Сапег, Радзивиллов, Мнишков, Чарторыйских, Лещинских, Понятовских, Любомирских и пр., как внимательно всматривается в фигуры Гене-Вронского, Грабянки, Мицкевича, Шопена,—станет ясным, что вместе с культом Польши он воспринял от Эвелины Ганской и ее враждебное отрицание всего русского[14].

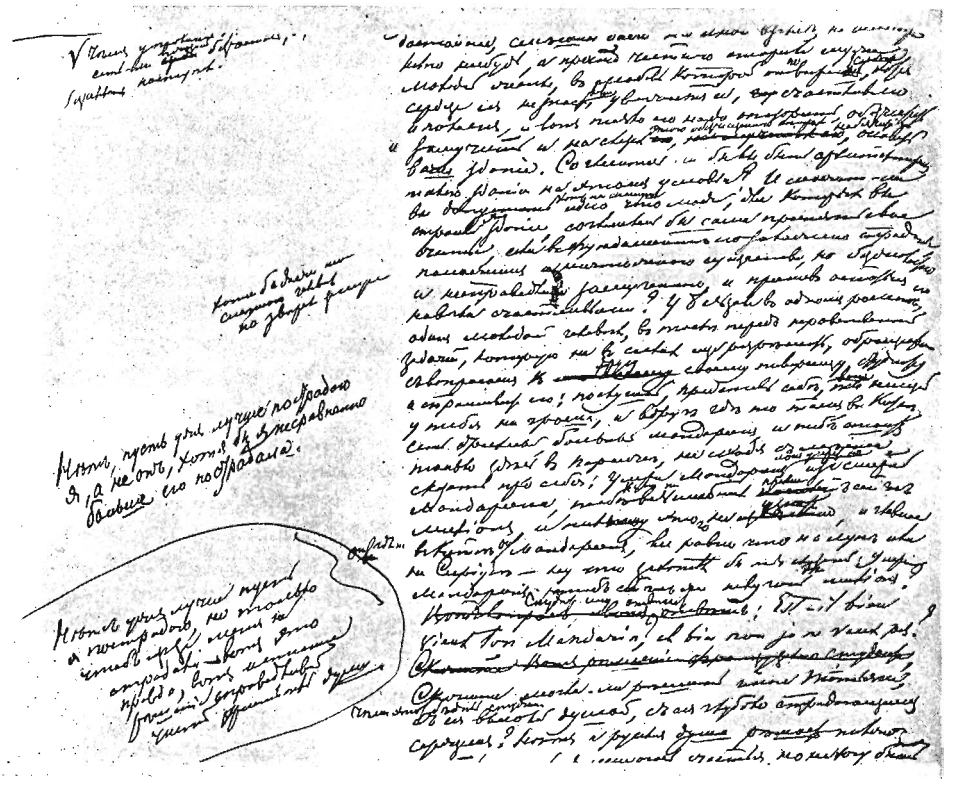
Но гений великого романиста и здесь спасает его от крушения и поднимает эту тему его биографии на огромную высоту.

Бальзак не отразил в своем творчестве России, но Россия глубоко вобрала в себя творчество Бальзака, и в этом — неизмеримая заслуга великого романиста. Нам необходимо остановиться на этой теме в заключение нашей работы.

II

С первых же шагов своей деятельности Бальзак вызывает пристальный интерес в среде Пушкина и его друзей, т. е. в самом культурном и и передовом кругу нашей тогдашней литературы.

В письме к А. И. Тургеневу от 8 сентября 1835 г. Вяземский восхищается реализмом «Старика Горио». Сам Александр Тургенев в письме к К. С. Сербиновичу из Парижа от 2/14 ноября 1835 г. пишет о Бальзаке: «Он заглядывает в самые сокровенные, едва приметные для других, щелки человеческого сердца и нашей искони прокаженной натуры. Он физиолог и анатом души»[15]. Бестужев-Марлинский пишет Н. Полевому



СТРАНИЦА ЧЕРНОВИКА „РЕЧИ О ПУШКИНЕ" ДОСТОЕВСКОГО, С ЦИТАТОЙ ИЗ БАЛЬЗАКА
В печатный текст речи цитата (из „Старика Горио") не вошла

Публичная библиотека, Ленинград

26 января 1833 г.: «Я люблю пытать себя Бальзаком... Какая глубина, какая истина мыслей, и каждая из них, как обвинитель, светом озаряет углы и цепи светской инквизиции — инквизиции с золочеными карнизами, в хрустале, в блестках и румянах»[16].

Друг Пушкина, Вульф, записывает в 1833 г. в своем дневнике: «Прочел знаменитого Бальзака, которого до сих пор знал только по слуху. Небольшая повесть его «La Vendetta» передо мной оправдала его европейскую славу. Слог его истинно превосходный и мне показался выше всего, что я ни читал нынешних и прежних французских писателей»[17].

Сам Пушкин, видимо, перенес на Бальзака свое общее разочарование французской литературой 30-х годов: Лесажа и Вальтер-Скотта он предпочитает Жюлю Жанену и Бальзаку, а в одном из писем к Хитрово, в 1832 г., говорит об «изысканности» французского романиста[18]. Но в пушкинской библиотеке имелись крупнейшие произведения раннего Бальзака: «Le médecin de campagne», «Le Lys dans la valée», «Le livre mystique» («Louis Lambert», «Séraphita», «Les proscrits»), «Scènes de la vie privée» (6-й том брюссельского издания 1836 г.), ранний роман Бальзака «Le centenaire ou les deux Beringheld» и «La fleur de poi» (первоначальное заглавие «Contrat de mariage»); имелось также в русском переводе «Созерцательная жизнь Лудвига Ламберта»[19]. В записи Пушкина к его статье «О новейших [французских] романах» (1832 г.) названы «La peau de chagrin», «Contes bruns», «Contes drôlatiques» и «Scènes [de la vie privée]»[20].

Мы не располагаем таким же количеством данных о знакомстве с Бальзаком Гоголя, но следует думать, что их встреча не прошла бесследно. Имя Бальзака встречается у Гоголя в рецензии, помещенной в «Современнике» Пушкина, на книгу «Сорок одна повесть лучших иностранных писателей» (изд. Н. Надеждиным, М., 1836), где фигурирует и автор «Шагреневой кожи»[21].

Знаменитое место «Шинели» Гоголя—насмешки чиновников над Акакием Акакиевичем — сильно напоминает сцены издевательств над стариком Горио. Вообще вопрос об отношении Гоголя к Бальзаку, представляющий ряд интересных материалов (например, бюрократический мир в «Чиновниках» Бальзака и в «Мертвых душах»), до сих пор еще не поставлен в нашей исследовательской литературе.

Бальзак, как мы видели выше, прекрасно знал, что он пользуется в России «огромной популярностью». Но едва ли он детально представлял себе характер и размеры своей русской репутации. Вокруг имени Бальзака шла у нас в 30—40-х годах оживленная борьба. «Бесконечному преклонению» соответствовало страстное отрицание. Но такое столкновение мнений, несомненно, способствовало росту славы романиста.

Заполняя свои страницы всеми новинками Бальзака, русская журналистика 30—40-х годов попутно старается дать подробную критическую оценку его творчеству. С этой целью она помещает переводные критические этюды о Бальзаке и ряд самостоятельных отзывов о нем.

«Телескоп» печатает в 1834 г. под рубрикой «Знаменитые современники» большую критическую статью о Бальзаке из «Revue des Deux Mondes». Русский журнал не обозначает имени автора, но точный перевод дает возможность безошибочно определить его. Это первая статья Сент-Бёва о Бальзаке, представляющая до сих пор одну из лучших характеристик его творчества. Она интересна и как показатель раннего признания у нас Бальзака. Устами французского критика русский журнал уже в 1834 г.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОГО ИЗДАНИЯ „ОЗОРНЫХ СКАЗОК" БАЛЬЗАКА В ПЕРЕВОДЕ Ф. СОЛОГУБА
Гравюра В. Фаворского, 1920 г.
Частное собрание, Москва

признает Бальзака «самым известнейшим из нынешних романистов, писателем настоящей минуты по преимуществу», «обладающим тайной магического очарования».

Историк русской журналистики пушкинской эпохи сообщает в своих очерках:

«Обширная и хорошая статья о Бальзаке была помещена в «Северной Пчеле» 1838 г. В ней, в историческом порядке, указаны были наиболее замечательные произведения Бальзака. Между ними сильному порицанию подверглись его «Шутовские повести». По поводу их он был назван подражателем Рабле; рассказы его были названы грязными и превосходящими бесстыдством повести Бокаччио и Маргариты Наваррской. Зато об его «Сценах из частной жизни» автор отозвался с большой похвалой, указывая в них на необыкновенную тонкость наблюдения и искусство подготовлять интерес»[22]. К этому произведению Бальзака с большой похвалой отнеслись в одной статье и «Отечественные Записки» 1839 г., весьма невысоко поставив, одновременно, его философские повести. Вообще же о Бальзаке было сказано, что он владеет сильным талантом и мастерством живописного изображения. В другой статье в том же журнале был приведен отзыв Жюля Жанена о романе Бальзака «Великий человек провинции в Париже»[23]. Статья Жюля Жанена о Бальзаке была напечатана и в «Библиотеке для Чтения».

В 1841 г. в «Современнике» появляется без подписи переводная статья о Бальзаке, признающая его «чудным романистом», «волшебником слова», представителем новой творческой ветви—«литературы отчаяния»[24].

В 1846 г. «Библиотека для Чтения» помещает переводную статью Ипполита Кастилья (т. 79), отмечающую сплетение влияний Рабле и Вальтер-Скотта в этом провозвестнике новой «м о р а л и  с и л ы».

Наконец, в «Литературной Газете» 1847 г. (№№ 24—25) помещен перевод большой статьи Лерминье о «Человеческой комедии». Критик признает

в Бальзаке «редкую способность наблюдения и светлый проницательный взгляд», «верное изображение нравов нашей эпохи», но считает необходимым отметить склонность к преувеличениям и малоправдоподобным построениям.

Самостоятельная русская критика долгое время колебалась в признании Бальзака. Здесь сказывалось отчасти насмешливое отношение правого крыла русской журналистики ко всей литературной плеяде молодой Франции, во главе с Жорж Санд и Гюго. Но большинство отзывов о Бальзаке носит сочувственный характер и обнаруживает повышенное внимание к романисту. «Знание сердца изумительное,—определяет «Библиотека для Чтения» в 1845 г. основную черту Бальзака,—особенно женского сердца». В 1848 г. тот же журнал по поводу постановки в Париже бальзаковской драмы «Marâtre» дает весьма сочувственную общую характеристику его творчества: «Отличительное качество Бальзака—знание мельчайших изгибов человеческого сердца, психологический анализ, доведенный до утонченности»[25].

Особым было отношение к Бальзаку Белинского: от признания и высокой оценки он шел к отрицанию и развенчанию.

В начале 30-х годов Белинский признавал высокое мастерство Бальзака. В своей первой знаменитой статье «Литературные мечтания» Белинский ставит в пример однообразным российским беллетристам мастера французской прозы: «Посмотрите на Б а л ь з а к а: как много написал этот человек и несмотря на то, есть ли в его повестях хотя один характер, хотя одно лицо, которое бы сколько-нибудь походило на другое? О, какое непостижимое искусство обрисовывать характеры со всеми оттенками их индивидуальности... Сколько женских портретов вышло из плодотворной кисти Бальзака и между тем повторил ли он себя хотя в одном из них?..».

Вскоре Белинский изменил это восторженное мнение о Бальзаке. Он дает отрицательные отзывы о бальзаковских «Contes bruns», появившихся в русском переводе под заглавием «Темные рассказы опрокинутой головы», и в статье 1836 г. «О критике и литературных мнениях „Московского Наблюдателя“». Наконец, в статье «Русская литература на 1845 г.» Белинский как бы формулирует мотивы своих отрицательных суждений, называя Бальзака «Гомером Сен-Жерменского предместья, знакомого ему только с улицы...». Социальным симпатиям Белинского был резко враждебен демонстративный легитимизм Бальзака[26].

Следует отметить, что с годами отрицательное отношение к Бальзаку в русской критике заметно изживается. В самый год смерти Бальзака Дружинин включает его «Историю тринадцати» в число пяти лучших европейских романов (вместе с «Векфильдским священником», «Клариссой Гарлов» и пр.). В лице Бальзака он видит могучую реакцию болезненному направлению романтической литературы[27].

Молодое литературное поколение 40-х годов глубоко и творчески воспринимает Бальзака. В кружке Герцена зачитываются «Шагреневой кожей», и сам писатель-эмигрант выразил впоследствии свое преклонение перед психологическим даром французского романиста, перед его исключительным умением «описывать сложные мудреные блаженства, сбивающиеся на страдания, и страдания, сбивающиеся на блаженства»[28].

Еще сильнее впечатление начинающих беллетристов: «Бальзак был любимым нашим писателем,—вспоминает Григорович свои молодые чтения совместно с Достоевским,—говорю «нашим» потому, что оба мы одинаково им зачитывались, считая его неизмеримо выше всех французских писате-

лей»[29]. Особенно сильное впечатление производит Бальзак на молодого Достоевского, который еще летом 1838 г. прочитывает «всего Бальзака». К этому времени относятся его слова: «Бальзак велик! Его характеры—произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека».

По рассказу Григоровича, товарища и близкого свидетеля первых литературных шагов Достоевского, Бальзак оставался его любимым писателем и по окончании инженерного училища. «Я перевел «Евгению Гранде»—чудо, чудо!»—пишет он в эту эпоху брату. «Он положительно бредит этой бальзаковской повестью». «Я кончаю роман в объеме «Eugenie Grandet»,—определяет он свое первое создание. Даже лавры бальзаковских героев не дают ему покоя. Когда в ту же эпоху ему приходится составить шуточное объявление для сатирического альманаха Некрасова, он вдохновляется фельетоном бальзаковского Люсьена из «Illusions perdues».

Отсюда столь заметное влияние Бальзака на ранних произведениях Достоевского и особенно на «Преступлении и наказании». В школе бальзаковских романов закалил свое мастерство романиста Достоевский, дебютировавший переводом «Евгении Гранде» и вспомнивший великие и жгучие проблемы «Старика Горио» в своем последнем создании—в «Речи о Пушкине»[30].

В момент первого театрального успеха Бальзака—премьеры «Мачехи»—в Париже находился молодой Тургенев. С обычной восприимчивостью к новым сценическим жанрам он пристально всмотрелся в тему и технику бальзаковской драмы и затем переработал их в своем «Месяце в деревне».

Центральная нить интриги—борьба двух женщин, полюбивших одного молодого человека, или, точнее, беспощадный поединок замужней женщины и юной девушки, связанных семейно, но неожиданно ставших соперницами,—составляет основную ткань бальзаковской драмы и довольно близко к ней разрабатывается и в пьесе Тургенева[31].

Из молодой плеяды романистов 40-х годов школу Бальзака, несомненно, проходил Гончаров. Недаром он называл имя французского классика и в «Обыкновенной истории» (правда, несколько критически), и в «Литературном вечере» (на этот раз с величайшим преклонением: «Диккенс, Теккерей, Бальзак, Пушкин, Лермонтов, Гоголь не родятся на каждом шагу...»)[32]. Автор крупнейшего исследования о Гончарове, проф. Андре Мазон, по этому поводу замечает: «Довольно значительное сходство сюжетов «Обыкновенной истории» Гончарова с «Орасом» Жорж Санд и особенно с «Утраченными иллюзиями» Оноре де Бальзака напоминает французскому читателю эти романы. Краткий трактат о брачной политике Петра Ивановича Адуева, повидимому, непосредственно заимствован из „Физиологии брака“»[33]. Характерно, что в «Обыкновенной истории» названа «Шагреневая кожа» и что Гончаров читал также «Озорные сказки», «Тридцатилетнюю женщину», «Евгению Гранде».

Бальзак—писатель и человек был высоко ценим нашим великим демократическим критиком и революционером Н. Г. Чернышевским. В 1856 г. он писал в «Современнике», выступая против «ожесточенной клеветы» «завистников и врагов» знаменитого романиста:

«Люди, имеющие свой расчет в том, чтобы чернить характеры людей, таланты которых не могут помрачить в глазах публики, кричали о Бальзаке как о легкомысленном и холодном эгоисте; читатели пасквилей, не знающие личности, против которой направлена была злоба, и не отгадавшие низких причин, направлявших ее, часто верили этим пустым

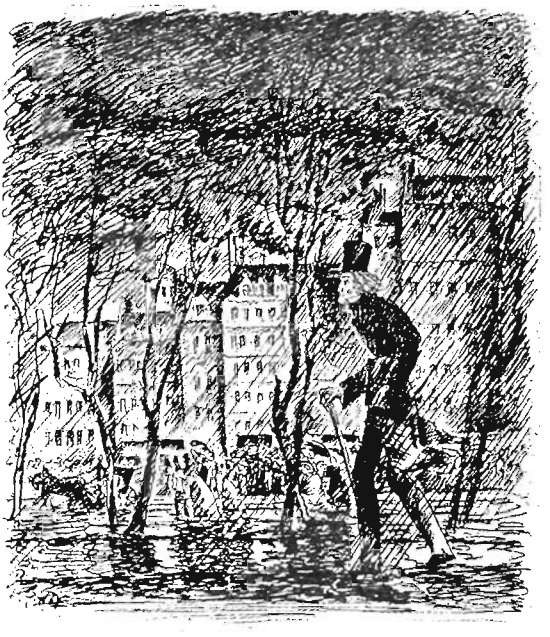


ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ШАГРЕНЕВОЙ КОЖЕ" БАЛЬЗАКА
Рисунок А. Кравченко, 1932 г.
Частное собрание, Москва

выдумкам. Нам чрезвычайно приятно было в воспоминаниях сестры Бальзака [Лауры Сюрвиль] найти новое подтверждение той истины, которая известна по опыту каждому, кого случай ставил в близкие отношения с истинно-талантливыми писателями: обыкновенно сердце этих людей таково, что заставляет или любить или уважать их как людей: поэзия едва ли может жить в дурном сердце... Каждый факт убеждает нас в том, что Бальзак-человек заслуживает столько же уважения, как и Бальзак-писатель... Бальзак привлекает к себе каждого из людей, способных ценить под забавными причудами доброе и прямое сердце»[34].

В начале 1880-х годов Салтыков-Щедрин писал, что в «Бальзаке, несмотря на его социально-политический индиферентизм, невольно просачивалась тенденциозность; потому что в то тенденциозное время [1840-е гг.] не только люди, но и камни вопияли о героизме и идеалах». Щедрин относит Бальзака к категории «сильных писателей», наряду с Жорж Санд и Флобером[35].

В дневниках и письмах Льва Толстого встречается ряд упоминаний о Бальзаке, иногда критических и даже отрицательных, в ряде случаев—восторженных. В Париже 16/28 февраля 1857 г. Толстой записывает в своем дневнике: «Читал «Honorine». Талант огромный». Во второй редакции «Детства» имеется обстоятельная критика описания Пятой симфонии Бетховена в «César Birotteau». Толстой возражает против метафор и образов Бальзака (ангелы, дворцы, фонтаны), бессильных передать впечатление от музыки. В письме к С. А. Толстой от 9 апреля 1882 г. из Ясной Поляны в Москву Толстой пишет: «Взял я с собой Бальзака и с удовольствием читаю в свободные минуты»[36].

В 1911 г. на запрос «Общества друзей Бальзака» Горький послал Октаву Мирбо свой отзыв о великом романисте: «Вспоминать о творчестве Бальзака мне так же приятно, как приятно путнику, идущему по скучной, бесплодной долине, вспомнить когда-то пройденный им край—плодородный, богатый красотой и силой... Мне пришлось проглотить бесчисленное количество

томов Дюма-отца, Понсон дю Террайля, Буагобея, Законне, Габорио, Ксавье де Монтепена и с десяток других авторов, прежде чем в руки мои попал томик Бальзака,—это была «Шагреневая кожа». Ясно помню то неописуемое наслаждение, с которым я читал страницы, где описывается лавка антиквария,—это описание остается для меня одним из лучших образцов пластики слова. Другое место в этой книге, поразившее меня своим мастерством,—диалог на банкете, где Бальзак, пользуясь только бессвязными фразами застольного разговора, рисует лица и характеры с поражающей отчетливостью.

Я стал искать Бальзака, и следующая его книга, прочитанная мною, была «Père Goriot»—это окончательно победило меня, и долгое время я чувствовал себя Растиньяком, грозящим миру местью за попранное достоинство человека, за те боли, которыми люди наполнили его грудь...

«Человеческая комедия» была прочитана мною уже лет в двадцать; эта книга нанесла сильнейший удар моему неоформленному романтизму, я почувствовал в ней гений Бальзака и полюбил его горячей любовью, как, вероятно, любят учителя и друга.

Я не могу учесть, я не знаю, чем я лично обязан Бальзаку, но что его влияние вообще на русскую литературу было значительно, это несомненно и засвидетельствовано однажды Львом Толстым. Он спросил меня:

— Кого вы читаете больше других?

Я сказал.

— Это хорошо. Но читайте больше французов, Бальзака, у которого в оное время учились писать все, Стендаля читайте, Флобера, Мопассана. Они умеют писать, у них удивительно развито чувство формы и умение концентрировать содержание...

На этом кончу мое письмо к вам.

Бальзак—бесконечная тема и непосильная для меня, к тому же воспоминания о нем слиты в моей жизни с ее труднейшими днями, а это—волнует. Мне хочется сказать еще, что книга играла в моей жизни роль

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ШАГРЕНЕВОЙ КОЖЕ“ БАЛЬЗАКА
Рисунок А. Кравченко, 1932 г.
Частное собрание, Москва

матери и что книги Бальзака наиболее дороги мне той любовью к людям, тем чудесным знанием жизни, которые с величайшей силою и радостью я всегда ощущал в его творчестве»[37].

Мы видим, что за столетие, протекшее с первых выступлений Бальзака, факты его творческой деятельности не переставали оказывать глубокое воздействие на ход и развитие русской литературы. Еще при жизни своей он произвел самое действенное впечатление на младшее поколение своих русских современников, строивших у нас романическую литературу. Но воздействие его шло дальше и глубже. Освобожденная страна тщательно изучает Бальзака, наново переводит его, выпускает наиболее полное собрание его сочинений, воплощает на лучших сценах его творческие образы и вместе с Марксом, Энгельсом и Горьким преклоняется перед его творческой мощью.

Поистине Бальзак не умирает в нашей стране. Не тот Бальзак, которого влекли в Петербург и Верховню его неистощимые деловые проекты, а тот борец и мастер, над страницами которого горел и трепетал юный Достоевский, у которого учился искусству романа Лев Толстой, к созданиям которого жадно припал один из самых народных русских писателей, величайший из представителей пролетарской литературы, недавно отошедший от нас Максим Горький.

## III

Чем же объясняется близость этого легитимиста и католика к передовым течениям современной литературы?

Прежде всего освободительными тенденциями и огромной познавательной силой его художественного творчества. Именно эти черты вызвали высокую оценку Бальзака Энгельсом, признавшим творца «Человеческой комедии» зорким изобразителем современной социальной борьбы: «Он описывает, как последние остатки этого образцового для него общества постепенно погибли под натиском вульгарного денежного выскочки или были развращены им; как grande dame, супружеские измены которой, были лишь способом отстоять себя, вполне отвечавшим тому положению, которое ей было отведено в браке, уступила место буржуазной женщине, которая приобретает мужа для денег или нарядов; вокруг этой центральной картины он группирует всю историю французского общества, из которого я узнал, даже в смысле экономических деталей, больше (например, перераспределение реальной (real) и личной собственности после революции) чем из книг всех профессиональных историков экономистов, статистиков этого периода взятых вместе».

Не подлежит сомнению, что в сложном и многообразном творчестве Бальзака, в котором сталкивались самые крайние течения, сказался ряд идей, роднящих его с задачами нашей эпохи. Это, прежде всего, основная направленность творческих интересов Бальзака на коллектив, на современное поколение в целом, на «человека-массу», на новое общество во всех его характерных типах и отношениях. Недаром первоначальным заглавием «Человеческой комедии» было «Социальные этюды» («Etudes sociales»), и только в 1841 г., под влиянием одной беседы о «Божественной комедии» Данте, Бальзак находит, наконец, счастливую формулу: «„Человеческая комедия“,—пишет он в сентябре 1841 г.,—вот заглавие моей истории общества, изображенного в действии...»[38]. Заглавие замечательно

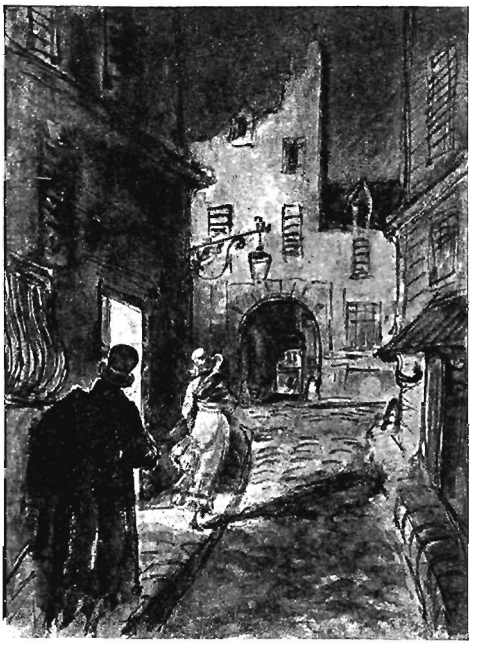


ИЛЛЮСТРАЦИЯ К НОВЕЛЛЕ БАЛЬЗАКА „ДЕВУШКА С ЗОЛОТЫМИ ГЛАЗАМИ"
Рисунок В. Бехтеева, 1937 г.
Собрание художника, Москва

отвечало основному замыслу Бальзака. Еще в 1834 г. Париж представился ему «адом, который получит когда-нибудь своего Данте...».

В июле 1842 г. Бальзак написал свое предисловие к «Человеческой комедии». С первых же строк он определяет основную идею своей эпопеи, как «сопоставление человеческого со звериным».

Он дорожит единством своих творений, построенных на этом основном и всеобъемлющем принципе. Идея единства композиции в животном и растительном мире, провозглашенная знаменитым естествоиспытателем Жофруа де Сент-Илером и сочувственно признанная старцем Гёте, переносится Бальзаком в новую область—в сферу общественных отношений.

Он выдвигает положение, что общество выращивает из людей, в зависимости от среды и обстановки их деятельности, столь же различные типы, как и разновидности в зоологии. Это великое разнообразие социальных видов необходимо классифицировать и описывать, т. е., другими словами, строить историю нравов своего времени. Он хочет заинтересовать читателя той грандиозной драмой с тысячами участников, какую представляет современное общество.

Он исходит при этом из положения, что человек от природы ни добр, ни зол—он рождается с инстинктами и способностями. Общество не только не развращает его, как утверждал Руссо, оно его совершенствует и улучшает. Но личный интерес невероятно развивает дурные наклонности. Отсюда, по Бальзаку, те битвы и столкновения, которые ложатся в основу жизни общества. Отобразить их во всей множественности положений—вот цель романиста. «Нелегкой задачей было зарисовать две или три тысячи выразительных обликов целой эпохи»,—заявляет Бальзак. Но не только лица,—местности и события также группируются в типы. «Вот почему мое создание имеет свою географию и свою генеалогию, свой гербовник, своих вельмож и мещан, своих ремесленников и крестьян, своих политиков и щеголей, свою армию—словом, целый мир».

Изобразить этот мир во всех его проявлениях, дать динамическую

историю современного общества — таково было основное и господствующее стремление Бальзака. Именно оно сообщает всему циклу его творений тот характер обширной социальной фрески, которая остается до сих пор наилучшим свидетельством о быте и нравах буржуазного общества во Франции. Независимо от своих личных тенденций и политических симпатий, Бальзак остается бесспорным основателем новейшего социального романа.

«Нужно изобразить все классы, и план мой обязывает меня быть всеобъемлющим»,—пишет Бальзак в 1835 г. по поводу своего романа «Брачный контракт». Эта огромная задача уже в эпоху Бальзака требовала особых изучений, наблюдений, встреч, разговоров и чтений. Именно она выработала точный и мощный творческий метод писателя—новый вид всеобъемлющего реализма, основанного на опыте, наблюдении, анализе и самом пристальном изучении действительности. «Я был наделен огромной силой наблюдения — писал о себе Бальзак — ибо помимо собственной воли я был брошен в самые разнообразные профессии».

Он признавал впоследствии чрезвычайную трудность уловить характерные черты, отличающие солдата от рабочего, администратора от адвоката, ученого от политика или нищего от священника. Вот почему для изображения современности во всем живом разнообразии ее типов необходимо было погрузиться в жизнь и в самой гуще проносящихся событий собрать материал для своей живописи.

Так и поступил Бальзак. Он сумел уже в молодости накопить огромный жизненный опыт, не переставший служить ему для творчества.

Он рос среди врачей, солдат и священников, свидетельствуют его биографы; юношей он служит у нотариуса и адвоката; вскоре затем он типограф, коммерсант, делец, в постоянном общении с миром судебных установлений благодаря своим тяжбам, в еще большем соприкосновении с миром банкиров, ростовщиков, менял, биржевиков в силу своих денежных затруднений. Сам он—журналист, кандидат в палату депутатов, драматург,

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К НОВЕЛЛЕ БАЛЬЗАКА „ДЕВУШКА С ЗОЛОТЫМИ ГЛАЗАМИ"
Рисунок В. Бехтеева, 1937 г.
Собрание художника, Москва

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К НОВЕЛЛЕ БАЛЬЗАКА «ДЕВУШКА С ЗОЛОТЫМИ ГЛАЗАМИ»
Рисунок В. Бехтеева, 1937 г.
Собрание художника, Москва

модный беллетрист. Он вхож во все круги общества, и во всех кварталах Парижа он чувствует себя дома. При этом он объездил всю Францию, он побывал в Швейцарии, Италии, на Корсике, в Австрии, Германии, России. Всюду он всматривался в людей и запоминал навсегда особенности лиц, нравов и состояний.

Стремясь выразить в своем творчестве «все социальные типы и отношения», Бальзак изображает современное общество в его основных пластах: крестьянство, парижские рабочие (этот класс появляется сравнительно изредка в «Человеческой комедии» и зачерчен мимоходом), мелкая и крупная буржуазия, средняя и высшая бюрократия и, наконец, родовая аристократия, которой теоретически принадлежали его симпатии. Но на самом деле он искренне симпатизировал только умственным труженикам—писателям, ученым, художникам, композиторам, изобретателям, философам. Подлинные герои Бальзака—это писатель д'Артез, это мыслитель Луи Ламбер, музыкант Каналис, композитор Гамбара, химик Бальтазар Клаэс, изобретатель Сешар, живописец Френгофер или великий поэт Данте, изображенный им в замечательной исторической новелле. Вот истинные носители ценностей в «Человеческой комедии», пред подвигом которых безоговорочно склоняется ее автор. Недаром Бальзак даже в политическом плане хотел создать «партию интеллектуальных работников» («le parti des intelligentiels»). Эти замыслы Бальзака соответствовали устремлениям современных ему утопических социалистов, с их ставкой на умственный труд, на науку и искусство, и даже возвещали ту высокую оценку ученого, мыслителя, художника, инженера, которая так характерна для социалистического общества.

Сам Бальзак был не только беспримерным тружеником литературы, он был и величайшим поэтом труда. Кажется, никто не передавал с таким волнением тревоги, отчаяния и радости рабочей кельи. Он говорит в одном из своих последних романов о «великолепии человеческого труда», об этой

«торжественной битве человека с природой». Он восхищается «работой великого терпения», отмечающей подлинных мастеров искусства. Недаром он выработал свою особую теорию воли, придавая ей исключительное значение в применении к творчеству.

«Нет великих талантов без великой силы воли,—пишет он в одном из своих романов.—Эти две родственные силы необходимы для постройки огромного здания человеческой славы. Избранные люди поддерживают свой мозг в условиях умственного производства и, как рыцари, имеют всегда свое оружие наготове».

Такие великие уроки энергии давал в своем творчестве Бальзак. Для работников мысли, для тружеников слова он остается незаменимым учителем бодрости, взнузданной воли, неслабеющего подъема сил. В основе всего творчества Бальзака лежит представление о человеческой энергии, способной выдерживать высочайшую степень напряжения. Его искатели и философы постоянно говорят нам о предельной «концентрации сил», и сам он определяет искусство, как высшее сосредоточение природы. Действовать, покорять, усиливать—вот его программа.

Только такое исключительное творческое мужество дало ему возможность меньше чем в двадцать лет запечатлеть в своей гигантской фреске весь быт и всю «цивилизацию» капиталистического общества Июльской монархии. Сила и мощь его художественного дарования привели к тому, что, помимо его личных желаний, эта широкая картина нравов приняла характер обвинительной речи против господствующих классов эпохи, сумевших закабалить не только труд, но и мысль, фантазию и творчество современного поколения.

Вот почему Бальзак занял одно из выдающихся мест в культурном наследстве, воспринятом страной социализма. Его великая способность, вопреки своим теоретическим установкам и официальным воззрениям, разоблачать глубокую неправду окружавшего его мира, выказывая свою скрытую солидарность с его отважнейшими разрушителями и преобразователями, при беспощадной правде его изображений,—делают его одним из самых любимых и читаемых авторов Советского Союза. Не в этом ли лучшее раскрытие всей глубины и всего жизненного значения обширной, сложной и драматической темы о Бальзаке в России?

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Œuvres complètes (M. Lévy), XXII, 35—36. В 1840 г., в своем журнале «Revue parisienne», Бальзак имел в виду развернуть целый периодический отдел под заглавием «Русские письма», посвященный, впрочем, не столько России, сколько вообще современной политике. В программной статье к первому выпуску журнала отмечалось по поводу этой рубрики, что в ней «г. де Бальзак оставляет роман для трибуны, книжный рынок для политики, авторов для министров». Но журнал вышел только три раза (25 июля, 25 августа и 25 сентября 1840 г.), и намеченный отдел не получил развития. Loumet (Louis), Honoré de Balzac, critique littéraire et directeur de journal. Вступительная статья к сборнику: «Honoré de Balzac, critique littéraire». P., 1912, 18—22.— Отметим, что в одном из ранних романов Бальзака (написанных до «Человеческой комедии») часть действия происходит в России, около Тобольска, но в стране совершенно условной и фантастической (см. Prioult (A.), op. cit., 150—153).

[2] Изложение статьи Мармье о русской литературе было напечатано в «Северной Пчеле», 1843, 17 июля (№ 157), т. е. в самый день приезда Бальзака в Петербург.

[3] От Ленца Бальзак узнает, что поклонником его творчества был министр юстиции Дашков (d'Askoff,—пишет Бальзак—l'ancien ministre de la justice, aujourd'hui mort.—Lettres à l'Etrangère, II, 77). Это Д. В. Дашков, государственный деятель, отчасти писатель, автор «путешествий» и статей о Лагарпе, Шишкове и др.

В парижских архивах сохранились пять папок «писем, адресованных Бальзаку разными лицами» (см. Korwin-Piotrowska, 471); среди них имеются, несомненно, и письма русских; мы знаем, что Бальзаку писали Н. А. Мельгунов, С. П. Шевырев, В. Ф. Ленц; письма Бальзака к Шодуару или Гаккелю свидетельствуют о переписке, т. е. об ответах этих корреспондентов; какие-то «русские графини» осаждали Бальзака, по его собственному свидетельству, приглашениями; светские отношения Бальзака с Киселевыми, Разумовскими, Козловскими и др., вероятно, выразились в записках. Личный архив романиста, к которому мы не имели доступа, несомненно, должен пролить свет на историю русских отношений Бальзака, хотя нельзя предполагать, чтобы он значительно изменил известную нам картину этих отношений.

[4] Lettres à l'Etrangère, II, 117.

[5] Correspondance, II, 30.

[6] В парижских «дневниках» А. И. Тургенева (находятся в Институте литературы АН СССР, в Ленинграде) сохранились, между прочим, следующие следы его знакомства с Бальзаком. Запись от 4 декабря 1835 г.: «У Мятлевых на балу. Вся Парижская Русь там. Представил Бальзака Лавальше». Запись от 9 марта 1836 г.: «У Жерара с Бальзаком о Сведенборге, коего ставит выше Якова Бема, St. Martin и всех. Бальзак также не любит Ламартина. Ему не пристало быть Шателем,— сказал он». Эту фразу Бальзака Ал. Тургенев повторил и в своей «Парижской хронике», напечатанной в пушкинском «Современнике» (1836, № 4): «И Бальзак видит в Ламартине отступника, он сказал мне: il a pris le rôle de Châtel (епископ французской церкви, оставивший католицизм)». Запись от 20 апреля 1836 г.: «Вечер у Miss Clarc. Мериме рассказы. Оттуда к Жерару. С Бальзаком о многом и многих».

[7] Lettres à l'Etrangère, II, 20.

[8] Ibid., III, 163.

[9] Rzewuski (Adam), Réminiscences du séjour d'Honoré de Balzac à Wierzchownia.—«Messager Polonais», 19 и 30 мая 1828, №№ 121 и 122.

[10] Correspondance, II, 339.

[11] Staël (M-me de), Œuvres, 1830, XV, 215.

[12] Веневитинов М., Бальзак о Бироне.—«Русский Архив», 1898, II, 277—290.

[13] Œuvres complètes (M. Lévy), XVI, 41, 117; XVII, 48; XXI, 391. Бальзак проявлял также интерес к текущей русской политике и довольно внимательно следил за ней по большой парижской печати. Он упоминает в своих письмах статьи о современном положении России из «Journal de Débats», «Constitutionnel» и «La presse» (статьи о Сибири, Николае I и пр.).

[14] Кроме русского правительства, оберегающего помещичьи права Ганских, все русское находится под строгим бойкотом в их среде. Почти невероятно, что выросшая в Киевской губернии, постоянно посещавшая для балов и развлечений Киев, жившая подолгу в Петербурге дочь Эвелины, Анна Ганская, до самого замужества не знала русского языка. Только муж Анны, Юрий Мнишек, научил ее подписываться по-русски и пробовал сообщить ей кое-какие познания в языке страны, чьей официальной подданной она числилась (Korwin-Piotrowska, 54). Весьма характерно опубликованное недавно письмо Ганской, от 19 июля 1869 г. из Villeneuve-St.-Georges, в котором она откровенно выражает свою вражду к России и русским и признает российской нацией только тех, «кто носит форму придворную или военную в Петербурге» (письмо опубликовано в статье Ф. Я. Савченко, Бальзак на Украине.— «Україна», 1924, I—II, 148).

[15] «Русская Старина», 1881, V, 202.

[16] Письмо А. А. Бестужева к Н. Полевому от 26 января 1833 г.—«Русский Вестник», 1861, IV, 430.

[17] Вульф, А. Н. Дневники (любовный быт пушкинской эпохи). Ред. П. Е. Щеголева, изд. «Федерация», М., 1929, 363.

[18] «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», Л., 1927, 217 (в ст. Томашевского Б. В., Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово).

[19] Модзалевский Б. Л., Библиотека Пушкина.—«Пушкин и его современники», IX—X, П., 1910, стр. 4, 147; Модзалевский Л. Б., Библиотека Пушкина. Новые материалы.—«Литературное Наследство», 1934, № 16—18, стр. 1015.

[20] Пушкин, Полное собрание сочинений. М., ГИХЛ, 1936, VI, 169.

[21] Гоголь Н. В., Сочинения, изд. X, ред. Н. Тихонравова, СПБ. 1889, V, 528.

[22] «Северная Пчела», 1838, № 131, стр. 523.

[23] Весин С., Очерки истории русской журналистики 20-х и 30-х годов, П., 1881, 342.

[24] «Современник», 1841, XXIV, 15—46.

[25] «Библиотека для Чтения», 1845, т. 61, стр. 69; 1848, т. 49, «Смесь», стр. 58—61.

[26] Белинский В. Г., Сочинения, ред. С. А. Венгерова, I, 375—376; II, 456.—

Достоевский впоследствии писал (в «Дневнике писателя», 1876 г.), что «к Бальзаку, который дал в 30-х годах такие произведения, как «Эжени Гранде» и «Старик Горио», так был несправедлив Белинский, совершенно проглядевший его значение во французской литературе». В другой статье Достоевский объясняет это тем, что такие писатели, как Бальзак или Виктор Гюго, «не приходились под мерку нашей слишком уж реальной критики того времени» (Достоевский Ф. М., Сочинения. Гос. Изд., М.—Л., XI, 31; XIII, 525).

Характерен рассказ молодого Григоровича: «Увлечение Бальзаком было причиной, что Белинский, к которому в первый раз повел меня Некрасов (в 1843—1844 г.), сделал на меня впечатление обратное тому, какое я ожидал». Когда Григорович упомянул, что Достоевский переводит «Евгению Гранде» «Белинский разразился против общего нашего кумира жесточайшей бранью, назвал его мещанским писателем, сказал, что если бы только попала ему в руки эта «Евгения Гранде», он на каждой странице доказал бы всю пошлость этого сочинения» (Григорович Д. В., Литературные воспоминания, ред. В. Л. Комаровича, «Academia», 1928, 136).

[27] «Современник», 1850.

[28] Герцен, Скуки ради (1868). Сочинения, ред. М. Лемке, М.—П., 1923, XXI, 176. Впрочем, в письме Герцена к Н. А. Захарьиной, из Владимира, от 16 февраля 1838 г., имеется мало почтительное упоминание о Бальзаке (там же, II, 84).

[29] Григорович Д. В., Литературные воспоминания, ред. В. Л. Комаровича, «Academia», 1928, 135.

[30] См. о Бальзаке и Достоевском наши работы: «Бальзак в переводе Достоевского», вступ. статья к изданию «Евгении Гранде» («Academia», 1935), также «Бальзак и Достоевский» в «Библиотеке Достоевского» (перепечатано в «Поэтике Достоевского» и «Творчестве Достоевского»).

[31] Впоследствии Тургенев мало ценил Бальзака. В 1882 г. он писал редактору журнала «Изящная литература»: «Я бы скорее взялся перевести несколько страниц из Монтеня или Рабле, но уже не Бальзака, которого я никогда не мог прочесть более десяти страниц сряду, до того он мне противен и чужд».—«Первое собрание писем И. С. Тургенева», П., 1884, 505.

[32] Гончаров И. А., Полное собрание сочинений, П., 1899, XI, 64.

[33] Mazon (André), Un maître du roman russe Ivan Gontcharov, P., 1914, 29, 310, 325.

[34] «Современник», 1856, 9, отд. V, стр. 1—24—анонимная статья «Бальзак». Принадлежность статьи Чернышевскому (выбор и перевод отрывков из воспоминаний о Бальзаке его сестры и Жорж Санд, предисловие и послесловие) устанавливается рукописью, хранящейся в Доме-музее Н. Г. Чернышевского в Саратове (№ 4155).

[35] Щедрин Н. (Салтыков М. Е.), Полное собрание сочинений, XIV («За рубежом»), изд-во «Художественная Литература», Л., 1936, 202.

[36] Упоминания о Бальзаке у Толстого см.: 1) Толстой Л. Н., Полное собрание сочинений («Юбилейное издание»), I, 177; VII, 52, 115, 123, 124; 2) «Письма Л. Н. Толстого к жене, М., 1915, стр. 163; 3) Гусев Н., Летопись жизни и творчества Толстого, М.—Л., 1936 (по именному указателю: Бальзак).

[37] Письмо Горького было опубликовано в № 14 журнала «La Revue» от 15 июля 1911 г. на французском языке. Оригинал напечатан И. Груздевым в «Молодой Гвардии», 1927, № 1, 183—184. В статье «О том, как я учился писать» Горький делает аналогичные признания: «Настоящее и глубокое воспитательное влияние на меня, как писателя, оказала «большая» французская литература—Стендаль, Бальзак, Флобер... Это действительно гениальные художники, величайшие мастера формы... Совершенно поражен был я, когда в романе Бальзака «Шагреневая кожа» прочитал те страницы, где изображен пир у банкира и где одновременно говорят десятка два людей, создавая хаотический шум, многогласие которого я как будто слышу. Но главное—в том, что я не только слышу, а и вижу, кто как говорит, вижу глаза, улыбки, жесты людей, хотя Бальзак не изобразил ни лиц, ни фигур гостей банкира. Вообще, искусство изображения людей словами, искусство делать их речь живой и слышной, совершеннейшее мастерство диалога всегда изумляло меня у Бальзака и французов. Книги Бальзака написаны как бы масляными красками, и когда я впервые увидал картины Рубенса, я вспомнил именно Бальзака. Читая безумные книги Достоевского, я не могу не думать, что он весьма многим обязан именно этому великому мастеру романа». Так же хвалебно Горький отзывается о Бальзаке в статьях: «О работе неумелой, небрежной, недобросовестной», «По поводу одной полемики», «Беседы о ремесле», «О мещанстве» и др. См. Горький М., О литературе. Статьи 1928—33 гг., М., 1933, 82, 104, 170, 185—186, 246; Горький М., Публицистические статьи, Л., 1933, 91, 368.

[38] Lettres à l'Etrangère, I, 565.

## *ПРИЛОЖЕНИЯ*

I. ПИСЬМА БАЛЬЗАКА, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО ПРЕБЫВАНИЕМ В РОССИИ: П. Ф. ГАККЕЛЮ, БАРОНУ С. И. ШОДУАРУ, ЛЕНЦУ. II. ДВЕ ЗАПИСКИ БАЛЬЗАКА: ТИПОГРАФУ ВЕРДЕ И ГРАФАМ САНСЕВЕРИНО. III. ПИСЬМА СКУЛЬПТОРА Н. А. РАМАЗАНОВА О ЕГО ПУТЕШЕСТВИИ С БАЛЬЗАКОМ. IV. АВТОГРАФЫ ПИСЕМ БАЛЬЗАКА В СОБРАНИЯХ СССР

## I. ПИСЬМА БАЛЬЗАКА, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО ПРЕБЫВАНИЕМ В РОССИИ

### Бальзак—П. Ф. Гаккелю

Направляясь в 1847 г. на Украину, Бальзак должен был переехать русскую границу в Радзивиллове. Перед отъездом из Парижа он посетил русского поверенного в делах, Н. Д. Киселева, и получил от него рекомендательную записку к начальнику радзивилловского таможенного округа. Им в то время был Павел Францевич Гаккель, который отнесся к знаменитому путешественнику с большим вниманием (Бальзак упоминает обо всем этом в письме к Уварову из Верховни от октября 1847 г.—см. выше, стр. 238). В результате завязавшегося знакомства возникла переписка, отчасти деловая (поскольку французский романист выписывал в Верховню книги и различные вещи из Парижа через радзивилловскую таможню), отчасти приятельская, вызванная добрыми отношениями Бальзака с самим Гаккелем и с членами его семьи.

Известный собиратель автографов Бальзака, Шпульберк де Лованжуль, в конце XIX в. обратился к проживавшему в то время в Тифлисе сыну Гаккеля — председателю кавказского цензурного комитета, Михаилу Павловичу Гаккелю, с вопросом о судьбе писем знаменитого романиста к его отцу. 22 октября 1891 г. М. П. Гаккель послал Лованжулю 9 писем-автографов Бальзака с просьбой вернуть ему обратно подлинник одного лишь письма, а с остальных восьми прислать копии. Просьба эта, конечно, была выполнена. На основе этих копий (они хранятся в Музее писателей Грузии, в Тбилиси) и с обширными цитатами из них была написана статья Г. Бебутова, По страницам Бальзака («Звезда», 1934, II, 156—165). Мы заимствуем из этой статьи следующие сведения о радзивилловском корреспонденте Бальзака. П. Ф. Гаккель в 1815 г. поступил на военную службу, в Петровский гренадерский полк, в 1821 г. был переведен в лейб-гвардии Семеновский полк, где его застал день 14 декабря 1825 г. Об этом событии Гаккель готовился написать историческую хронику, от которой сохранились лишь наброски плана и подготовительные заметки из дневника (опубликованы в изданной Академией наук СССР «Летописи занятий постоянной историко-археографической комиссии» за 1926 г., XXIV, Л., 1927, 238—266). В 1830 г. Гаккель оставил военную службу с чином полковника и был определен по министерству финансов в таможенное ведомство. Он был начальником таможенного округа сначала архангельского, а с 1847 г. радзивилловского.

Довольно обстоятельную характеристику Гаккеля оставил нам сам Бальзак в своем «Письме о Киеве» («Lettre sur Kiew»), где он описывает и самый переезд через границу: «Я увидел у русской заставы чиновника с красивым и умным лицом, во всем похожего на француза высшего общества... Заметив много орденов на груди этого чиновника, я побоялся ошибиться, так как не мог представить себе, что сам г. де Гаккель выйдет мне навстречу; но когда я приблизился к нему с поклоном, он спросил меня на отличнейшем французском языке и без малейшего акцента, я ли это; на мой ответ он назвал себя: «де Гаккель, начальник пограничного округа...». По знаку г. статского советника превосходный экипаж с четверкой в упряжке подъехал к нам; слуги взяли мои чемоданы и поместили их на козлах... «Долг прежде всего!—сказал мне г. де Гаккель.—Нужно явиться в таможню и подвергнуться осмотру». И действительно, мы прошли в здание, охранявшееся караулом, мой чемодан был открыт и осмотрен с величайшей предосторожностью. Затем г. де Гаккель сказал мне: «Разрешите оставить вас на попечение моих людей, так как г-жа де Гаккель рассчитывает, что вы окажете ей удовольствие принять участие в нашей трапезе, и мне необходимо предупредить ее...». Представленный г-же Гаккель, я узнал, что их семейство недавно только переехало в Радзивиллов из Архангельска, где муж был десять лет начальником таможни... Это не только умный, но и образованный человек. Управление таможнями во Франции не имеет ничего общего с полномочиями г. де Гаккеля в Радзивиллове. Его управление охватывает расстояние в полтораста верст вдоль границы, где ему вверены функции политического и коммерческого надзора, что ставит под его начальство огромное количество служащих. Оклад его—в 40 тысяч франков, и сам он подчинен только киевскому генерал-губернатору» («Lettre sur Kiew», 53—55, 61—62).

Из девяти публикуемых писем Бальзака к П. Ф. Гаккелю восемь печатаются по автографам из «Collection du Vicomte Spoelberch de Lovenjoul (Institut de France)» и

одно (от 22 августа 1848 г.)—по автографу, находящемуся в частном собрании в Москве.

Тексты писем из «Collection Lovenjoul» в копиях сообщены редакции «Литературного Наследства» г. Анри Монго, благодаря любезному посредничеству проф. Андре Мазона и с разрешения хранителя этого архивного собрания, г. Марселя Бутрона. Всем этим лицам редакция выражает свою благодарность.

## 1

Верховня, 15 сентября (франц. стиля) [1847 г.]

Милостивый государь,

Отсылая вам солдата, которого вы мне отрядили, я не могу не выразить вам глубокой благодарности за заботы обо мне, а в частности, за услуги, оказанные мне этим молодцом. Без него мне не сделать бы ни шага. Я очень утомил его, а потому взял на себя смелость предоставить ему отдых на один день; к сожалению, я решительно не имел возможности написать вам в день своего приезда[1]. Во Франции говорят: т а щ и т ь с я н а ч е т ы р е х л о ш а д я х, а я т а щ и л с я в к и б и т к е, что одно и то же[2].

Я, разумеется, почту за счастье поблагодарить вас лично на обратном пути, но мне хочется теперь же выразить вам свою благодарность и сказать, что путешествие, начавшееся под вашим любезным покровительством, прошло весьма благополучно.

Будьте добры, милостивый государь, засвидетельствовать мое почтение вашей супруге[3], поклониться от меня превосходнейшему майору и принять выражение наилучших чувств, с коими имею честь пребывать вашим премного обязанным слугой

О. де Бальзак

*Адрес:* Генералу Гаккелю,
начальнику русской пограничной стражи
в Радзивиллове[4]

Автограф.—Collection Lovenjoul. A. 283 Fo. 107.—Ср. K o r w i n - P i o t r o w s k a, 438—439, и L e t t r e s u r K i e w, 85.

[1] Ср. L e t t r e s u r K i e w, 56, где Бальзак пишет: «Я объяснил свои затруднения г. Гаккелю [невозможность объясняться и расплачиваться на почтовых станциях ввиду незнания языка.—*Л. Г.*]; с очаровательной любезностью он обещал мне устранить все препятствия: он предоставлял в мое распоряжение одного из своих слуг, который будет платить вместо меня на станциях и за честность которого он ручался».

[2] Бальзак буквально повторяет это размышление и в L e t t r e s u r K i e w, 62.

[3] Матильда Гаккель, по происхождению француженка.

[4] В этом и следующих письмах Бальзак неточно обозначает чин и должность Гаккеля. Последний был в это время «начальником радзивилловского таможенного округа» и имел чин «статского советника» (так его называл и сам Бальзак в L e t t r e s u r K i e w, 60). Вероятно, Бальзак из принятой в то время любезности повышал чин своего адресата.

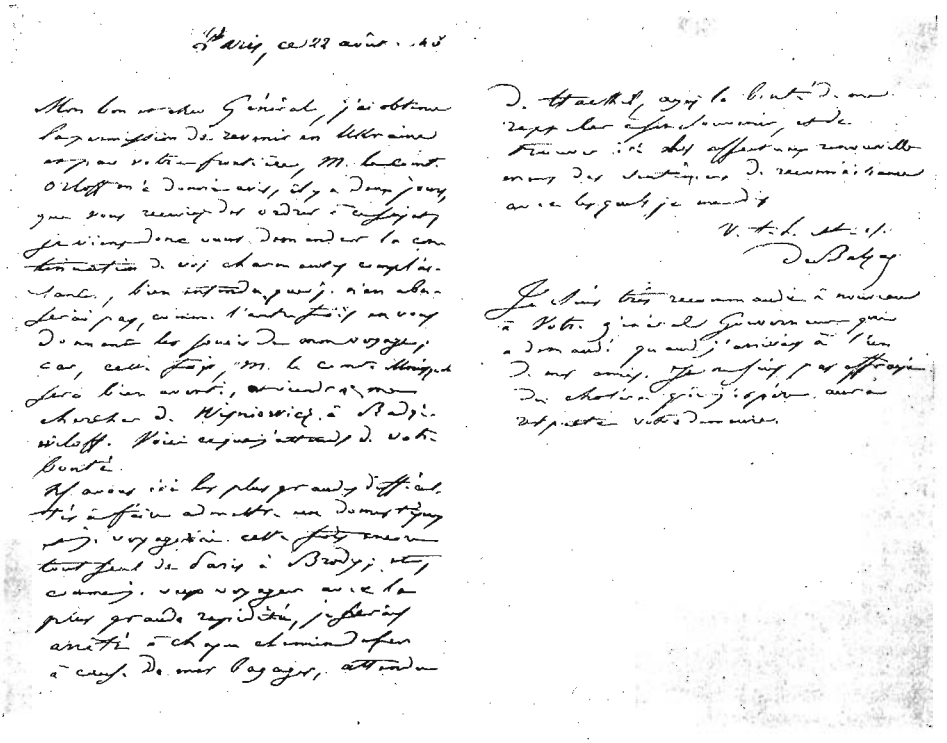
## 2

Париж, 22 августа 1848 г.

Добрейший и любезнейший генерал,

Я получил разрешение вернуться на Украину и через вашу границу. Два дня тому назад граф Орлов известил меня, что вам послано соответствующее распоряжение[1]. Прошу вас попрежнему не отказать мне в вашей очаровательной любезности; разумеется, я не злоупотреблю ею, как в тот раз, доставлением вам хлопот, связанных с моим путешествием, ибо на этот раз граф Мнишек, извещенный мною, приедет из Вишневца в Радзивиллов встретить меня. А от вашей доброты я жду вот чего:

У нас здесь большие затруднения с прислугой, и я пускаюсь в путешествие в этот раз совсем один из Парижа до Брод[2]. И хотя я и намерен путешествовать с максимальной быстротой, но буду задерживаться на каждой железной дороге из-за багажа, потому что я не знаю ни слова по-немецки, так как потратил всю жизнь на изучение французского, на котором начинаю писать довольно порядочно. Поэтому я запломбировал



АВТОГРАФ ПИСЬМА БАЛЬЗАКА К П. Ф. ГАККЕЛЮ ОТ 22 АВГУСТА 1848 г.
Страницы первая и последняя
Частное собрание, Москва

свои вещи на здешней парижской таможне и отправил их в Радзивиллов до востребования на таможне, поручая их вам и вам их адресуя, чтобы они сохранились в надежном месте до моего приезда.

Итак, через несколько дней я буду иметь удовольствие увидеть вас и вашу супругу. Ужасный грохот нашей революции, которая всех нас разорила, заглушил сплетни французской прессы по поводу моего последнего путешествия, и я думаю, что на этот раз мне удастся сохранить драгоценную привилегию инкогнито[3]. Мне хочется рассказать вам о многом. Не знаю, что станется с Францией; если так будет продолжаться, она превратится в русскую провинцию. Сейчас, когда я пишу вам, готовится ужасное сражение в Учредительном собрании[4], и если я не поспешу тотчас же уехать,—как знать, сохранится ли за нами потом с в о б о д а передвижения. Я направляюсь в Россию в поисках куска хлеба и спокойствия. Россия теперь моя возлюбленная, а Франция—законная жена; по примеру многих мужей, я чаще буду бывать у возлюбленной, нежели у жены.

Мой багаж будет состоять из трех-четырех укладок, я забираю с собой только необходимое для жизни, да еще связку научных книг, которые я отошлю вам для направления в киевскую цензуру. На этих связках имеется следующая надпись: «Для г. генерала Гаккеля, начальника пограничной стражи, в таможню, до востребования».

В ожидании, что я буду иметь удовольствие видеть вас и лично выразить свое уважение вашей супруге, прошу вас напомнить ей обо мне и принять горячее чувство благодарности, с которым имею честь пребывать в[ашим] н[ижайшим] и п[окорнейшим] [слугой]

де Бальзак

Меня опять рекомендовали вашему генерал-губернатору [Бибикову]; он спрашивал у одного из наших друзей[5], когда я приеду. Холера не пугает меня, надеюсь, она не осмелится заглянуть в ваш дом[6].

*Адрес:* Генералу Гаккелю,
начальнику русской пограничной стражи
в Радзивиллове

Автограф.—Частное собрание, Москва. Копия в Collection Lovenjoul, A. 283 Fo. 137.

Нахождение этого письма в СССР объясняется следующими строками из письма сына Гаккеля к Шпульберку де Лованжулю от 22 октября 1891 г.: «Я спешу, сударь, послать вам девять писем-автографов Бальзака, прося вас принять их от одного из пламенных обожателей его гения,—кроме все-таки одного, датированного 22 августа 1848 г., который я желал бы сохранить, как память о дружбе Бальзака с моим отцом. Потому я был бы вам очень обязан, если вам будет угодно его вернуть». В ответном письме Лованжуль писал: «Я оставляю восемь писем и возвращаю вам только прилагаемое здесь девятое от 22 августа 1848 г.» (см. Г. Бебутов, По страницам Бальзака, «Звезда», 1934, II, стр. 159).

[1] См. выше, в гл. IV, письмо Орлова к Бальзаку от 30 июля 1848 г.

[2] Галицийский город в семи верстах от тогдашней русской границы—Радзивиллова.

[3] Иронические статьи о поездке Бальзака в Россию появились в «Charivari» от 17 декабря 1847 г., в «La Silhouette» от 26 сентября 1847 г. и проч. Несколько позднее 7 октября 1848 г. «Journal pour rire» сообщал, что Бальзак оставил Францию ради России, «где свирепствует холера, и—что еще хуже—в лютую зиму... и—что еще ужаснее—чтобы жениться!» (Balzac and Souverain, 71).

[4] 22 августа 1848 г. Учредительное собрание в специальном заседании отклонило законопроект о «полюбовных сделках» между кредиторами и должниками, несмотря на резкие протесты представителей мелкой буржуазии, очутившейся теперь под угрозой банкротства. «Мелкая буржуазия в ужасе поняла, что, разбив рабочих, она беспрекословно предала себя в руки своих кредиторов» (Маркс К., Классовая борьба во Франции.—Маркс и Энгельс, Сочинения, VIII, 30).

[5] У Юрия Мнишка, зятя Ганской. См. об этом выше, в гл. VI, письмо Бальзака к Уварову от 14 июля 1848 г.

[6] О холере 1848 г. см. выше, в гл. V.

## 3

Верховня, 8 октября 1848 г.

Любезнейший и добрейший г. Гаккель,

Прошу вас оказать мне еще одну любезность. Если министр финансов[1] даст разрешение на мой багаж, позвольте мне не возвращаться в Радзивиллов, потому что я, признаться, несколько устрашен чрезмерными тратами, которые вызовет этот переезд и которые превысят расходы по путешествию из Парижа до Радзивиллова. Поскольку я делил их с графом Мнишек, мое путешествие обошлось в 220 франков; а если ехать одному, поездка в Радзивиллов в один только конец обойдется вдвое дороже. Мне нужно перевезти багаж, который не поместится в одну кибитку, и эта тысяча франков составит тем более обременительный для меня расход, что я должен еще съездить в Киев представиться генерал-губернатору. Это ужасная вещь, уверяю вас, при настоящем финансовом положении Франции.

Вы так добры, так внимательны ко мне, что я слепо полагаюсь здесь на вас. Если, с разрешения министра, будет получен пропуск через таможню и можно будет выслать мне мои вещи, не вскрывая трех укладок, то вы доставили бы мне большое удовольствие, сообщив об этом, и я был бы искренно признателен вам.

Если же вы не можете сделать этого, тогда вызовите меня в Радзивиллов, и небольшое денежное огорчение будет возмещено удовольствием видеть вас, равно как и добрую и обаятельную г-жу Гаккель, которой я здесь свидетельствую мое нижайшее почтение.

На случай, если бы вы смогли пощадить мой кошелек, увы, очень отощавший за время революции, я присоединяю здесь письмо для русского консула[2], который получит у Гальперина в Бродах[3] необходимые средства для оплаты накладной; прося его об этой небольшой услуге, я разъясняю ему, как отправить в Бердичев эти три укладки.

Я, разумеется, подожду вашего ответа, прежде чем ехать в Киев, потому что, если министр, паче чаяния, не согласится на пропуск моего багажа,—что позволило бы вам исполнить мою просьбу,—я выхлопочу в Киеве разрешение отправиться в Броды за своими вещами. Я едва отдохнул от долгой и утомительной дороги, и эта поездка на границу изнурила бы меня окончательно. Итак, я всецело в ваших руках. А потому надеюсь, что, если министр отнесется ко мне благосклонно, вы будете столь добры и избавите меня от трат и утомления.

Во всяком случае, зная ваше дружеское отношение ко мне, я всецело полагаюсь на вас. Примите заранее мою благодарность, а также глубокую признательность за вашу прежнюю любезность и уверение в почтении, которое я питал и всегда буду питать к вам.

В[аш] н[ижайший] и п[окорнейший] слуга

де Бальзак

Мой адрес: в Верховню, близ Бердичева.

*Адрес:* Генералу Гаккелю,
начальнику русской пограничной стражи
в Радзивиллове

Автограф.—Collection Lovenjoul. A. 283 Fo. 147.

[1] Министром финансов был в это время (с 1844) Ф. П. Вронченко (1779—1852). Переписку с ним Бальзака (см. следующие письма к Гаккелю) не удалось разыскать. На свой запрос в ЛОЦИА редакция «Литературного Наследства» получила следующий ответ от 5 марта 1937 г.: «Центральный государственный архив народного хозяйства сообщает, что в материалах фондов министерства финансов не сохранилось ни переписки Бальзака с министром финансов Вронченко, ни переписки начальника радзивилловского таможенного округа П. Ф. Гаккеля с министерством финансов, ни других каких-либо документов по вопросу о разрешении пропуска вещей Бальзака, задержанных в 1848 году в радзивилловской таможне».

[2] Русским консулом в Бродах был в это время Эдуард Георгиевич Краузе. Бальзак познакомился с ним еще во время первой своей поездки на Украину, в 1847 г., и отозвался об этом знакомстве так: «Я нашел в русском консуле в Бродах человека весьма любезного, каковы почти все русские должностные лица за границей» (L e t t r e s u r K i e w, 46).

[3] Банкирский дом, который, по словам Бальзака, «царствовал в Бердичеве» (L e t t r e s u r K i e w, 44—46) и имел отделение в Бродах. Некоторые посылки из Парижа писатель поручал направлять по адресу: «г. де Бальзаку, в Броды, банкирский дом Гальперин и сыновья» (B a l z a c a n d S o u v e r a i n, 77).

## 4

Верховня, 12 октября 1848 г.

Любезный и добрейший г. Гаккель,

Я не выслал вам ключей вместе с первым письмом только потому, что не знал, как это сделать, и, не зная здешних законов и обычаев, боялся нарушить существующие правила. Но тотчас же по получении вашего письма я послал ключи в Бердичев Зильберштейну, и теперь, благодаря вашему обещанию, я спокоен. Не знаю, как благодарить вас за доброе письмо, служащее для меня свидетельством дружбы, которая заставила бы меня полюбить Россию, если бы у меня и без того не было стольких оснований питать сердечную привязанность к ней. Что за страна, где можно найти человека такого сердца, как ваше, человека, сочетавшего ум и изящество с умением оказывать услуги! Не думайте, что я отказываюсь от удовольствия видеть вас и провести день в кругу вашей семьи. Мы старые друзья, и я могу признаться вам, что, к счастью для меня, мне суждено часто ездить из Радзивиллова в Париж и v i c e-v e r s a [a], и потому если не по пути из Парижа, когда я очень тороплюсь к своим друзьям, то, по крайней мере, возвращаясь, я смогу вознаграждать себя за огорчения, причиняемые

[a] Обратно.

мне разлукой с ними. В противном случае вы не любили бы меня. Вы слишком знаете жизнь и понимаете, что чувства требуют взаимности.

Итак, на этот раз я шлю вам письменную благодарность за заботы. Не зная, когда я буду в Париже, я хочу исполнить обещание, данное г-же Гаккель; она доставила мне чрезвычайное удовольствие, благосклонно отозвавшись о моих произведениях, и я уже принял меры, чтобы их выслали в Броды к г. Краузе. По рассеянности я забыл упомянуть об этом в своем последнем письме и надеюсь, что, несмотря на задержку пересылки, г-жа Гаккель будет иметь полного Бальзака к новому году[1]. Если я помогу вам этим скоротать несколько зимних вечеров, то тем самым, находясь душою с вами, начну расплачиваться за вашу доброту.

Я надеюсь, что вы не откажете в любезности передать г. Давыдову, что одна из моих трех укладок с вещами, самая важная, запертая на два замка, заколочена вдобавок крышкой на гвоздях; а потому, по открытии ключами, крышку нужно приподнять д о л о т о м и осторожно. Во второй укладке, с обувью и разными свертками, находятся три или четыре моих трости, положенные поперек; ввиду ценности набалдашников, прошу вас приказать получше уложить их, чтобы они не поломались, ибо, строго говоря, им там не место.

Тысячу извинений за эти мелкие, но очень нужные подробности, которыми, однако, я больше не буду надоедать вам, потому что непостижимое запаздывание дилижансов заставляет меня отказаться от отправки вещей этим путем, и в дальнейшем я уже не буду расставаться с ними. Вот уже месяц, как весь мой багаж состоит из небольшого дорожного мешка, с которым я приехал, и вы не можете себе представить всех моих лишений. Если бы рассказать вашему министру финансов, что я осужден щеголять все время в одних и тех же панталонах, он выслал бы разрешение быстрее, ибо подобное наказание не значится ни в одном из известных уголовных кодексов.

Будьте добры попросить г. Краузе, прежде чем платить по накладной, удостовериться, что все три укладки — в сохранности, ибо запоздание крайне беспокоит меня; передайте ему тысячу благодарностей и не забудьте предупредить его о посылке, какую он получит для г-жи Гаккель.

Передайте вашей супруге мое глубокое почтение и примите выражение сердечного уважения, с которым я имею честь пребывать в[ашим] н[ижайшим] и п[окорнейшим] слугой.

де Бальзак

*Адрес:* Генералу Гаккелю,
начальнику русской пограничной стражи
в Радзивиллове

Автограф.—Collection Lovenjoul. A. 283 Fo. 149.

[1] В своем письме к издателю Houssiaux от 26 октября 1848 г. Бальзак дает поручение о высылке в Радзивиллов одного экземпляра «Человеческой комедии» по адресу: «Г-ну Краузе, русскому консулу в Бродах, для передачи его превосходительству генералу Гаккелю, статскому советнику, начальнику пограничного округа, кавалеру многих орденов и пр., в Радзивиллов» (B a l z a c a n d S o u v e r a i n, 76—77). Здесь это письмо Бальзака опубликовано с неправильной датой 1844 г. вместо нужного 1848 г.

## 5

Верховня, 20 октября 1848 г.

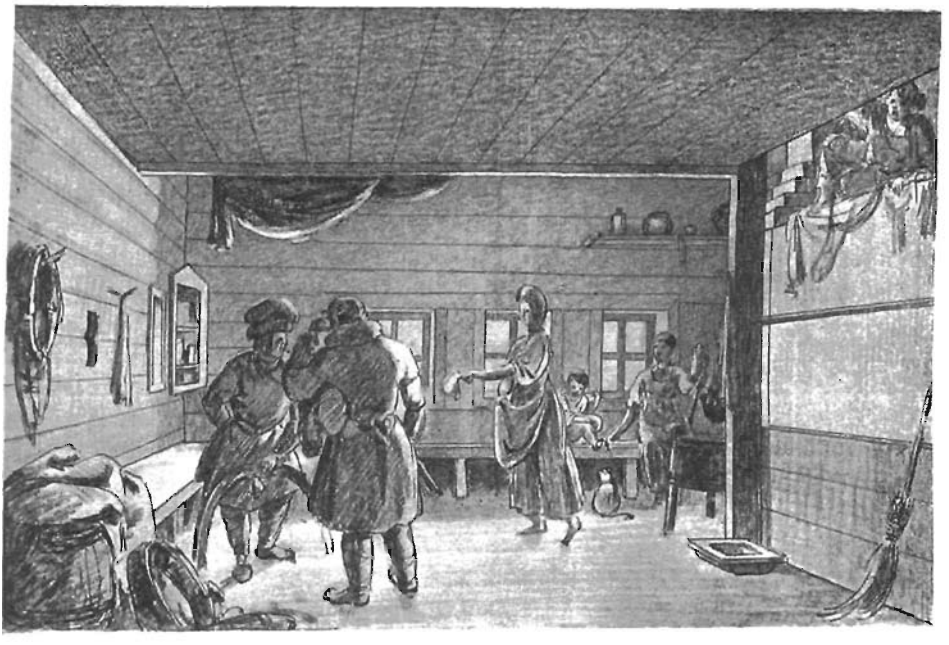
Любезный и добрейший г. Гаккель,

Тысячу извинений за все доставленные вам хлопоты. Но не приходите в отчаяние и потерпите еще немного. Я написал министру, прося об изменении всех его распоряжений на б е з у с л о в н о е р а з р е ш е н и е пропуска моих вещей после вскрытия укладок; я объяснил ему, что поеду в Петербург и Москву лишь через несколько месяцев[1] и не могу обходиться без вещей.

Таким образом, задержка не меняет ничего, но попросите г. консула сообщить торговому дому, который должен получить мои укладки в Бродах, чтобы они написали в Краков и во Львов, и чтобы написали поскорее.

Наконец, если вы совершаете объезд, прошу вас сказать г. Краузе, чтобы подождали вашего возвращения и чтобы представили мои укладки в вашу таможню, ибо потребуется добрых три недели, пока министр получит мое письмо и пока ответ придет в Радзивиллов.

Теперь я хорошо искушен в таможенных порядках и в другой раз захвачу с собой слугу, дабы больше не расставаться со своими вещами.



ВНУТРЕННИЙ ВИД ПОЧТОВОЙ СТАНЦИИ
Рисунок К. Зеленцова
Исторический музей, Москва

Примите выражение моих дружеских чувств и передайте вашей супруге и дочерям почтительный поклон имеющего честь пребывать в[ашим] н[ижайшим] и п[окорнейшим] [слугой]

де Бальзак

*Адрес:* Генералу Гаккелю,
начальнику русской пограничной стражи
в Радзивиллове

Автограф.—Collection Lovenjoul. A. 283 Fo. 152.

[1] Этого своего намерения Бальзак, как известно, не осуществил.

6

Верховня, близ Бердичева, 27 ноября [1848 г.]

Добрейший и любезнейший г. Гаккель,

Итак, вы кладете конец моим злоключениям, которые становятся невыносимы, ибо я более не в силах ходить в дорожном платье! Министр письмом доверяет в а м вскрыть мои вещи и предусматривает даже случай, если у меня окажутся запрещенные предметы; он поручает вам отправить список, чтобы он мог вынести решение. Но, умоляю

вас, теперь, когда я нахожусь в ваших руках, напишите министру, что мои укладки не заключают в себе ничего, кроме обыденных вещей, и отправьте их на Бердичев. Тем самым вы дадите мне возможность работать, прилично одеться и благословлять вас.

Надеюсь, что вы вернулись из объезда в добром здоровье и что вы сможете избавить меня от дальнейших ожиданий, ибо, если потребуется еще обращение к г. Вронченко, лучше оставить все в Бродах, так как на ответ от него нужен будет целый месяц.

Заранее благодарю вас за все ваши услуги, но уверен, что рано или поздно увижу вас лично. Министр милостиво предоставил все на ваше полное усмотрение! Будьте добры выразить мое глубокое почтение вашей супруге и милым дочкам и примите выражения живейшей признательности и всех чувств, с которыми имею честь пребывать вашим нижайшим и покорнейшим слугой.

де Бальзак

*Адрес:* Генералу Гаккелю,
начальнику русской пограничной стражи
в Радзивиллове

Автограф. — Collection Lovenjoul. A. 283 Fo. 153.

## 7

Верховня, 6 декабря [1848 г.]

Добрейший и любезнейший г. Гаккель,

Приношу вам тысячу благодарностей за вашу доброту и заверяю вас, что она принесла свои плоды: мои вещи со мной, особенных повреждений нет. Только лампа совершенно разбита, но я выпишу другую и выхлопочу у министра разрешение на ввоз.

Я получил письмо от моего издателя[1] с сообщением, что вам выслан в адрес г. Краузе в Бродах экземпляр моего Полного собрания сочинений, который я прошу вашу супругу принять. Посылка находится в дороге. В ней имеются, кроме того, научный труд и две книги для меня, которые я просил бы запломбировать для цензуры в Киеве и при случае отослать мне[2].

Я почту за счастье в первый же раз, когда буду проездом в Радзивиллове, сделать на каждой книге небольшое упоминание о подношении; это является авторской привилегией, и мне хотелось бы воспользоваться ею в данном случае[3].

Передайте, пожалуйста, мое глубокое почтение вашей супруге, напомните обо мне барышням и примите выражение сердечного уважения, с которым я имею честь пребывать в[ашим] н[ижайшим] и п[окорнейшим] [слугой].

де Бальзак

*Адрес:* Генералу Гаккелю,
начальнику русской пограничной стражи
в Радзивиллове

Автограф. — Collection Lovenjoul. A. 283 Fo. 154.

[1] Издатель Бальзака, Ипполит Суверэн, вошел с ним в деловые сношения еще в 1835 г. и с тех пор не переставал выпускать его крупнейшие произведения. Переписка с ним романиста и ряд заключенных ими договоров и других деловых документов были недавно опубликованы отдельным томом в Нью-Йорке (см. Balzac and Souverain).

[2] «Научный труд»—повидимому, «Словарь медицинских наук» (Dictionnaire des sciences médicales»), ср. ниже с письмом Бальзака к барону Шодуару от 15/27 декабря 1848 г. «Две книги для меня»—два экземпляра «Бедных родственников» («Кузина Бетта» и «Кузен Понс»). О высылке этих книг Бальзак писал к Houssiaux 26 октября 1848 г. (Balzac and Souverain, 76—77.—Письмо неправильно отнесено издателем к 1849 г. вместо нужного 1848 г.).

[3] М. П. Гаккель сообщал Шпульберку де Лованжулю 22 октября 1891 г.: «...Я прочел с восхищением уже в 20-летнем возрасте «Человеческую комедию» в издании Фюрн и К°, 1846—1847, каждый том которого носит автограф Бальзака: «Господину Гаккелю в знак уважения от автора» («Звезда», 1934, II, 165). Это первое издание

«Человеческой комедии»: «Œuvres complètes de M. de Balzac, édition en 17 volumes in-8°, publiée par Furne, J.-J. Dubochet et J. Hetzel de 1842 à 1848»; издание иллюстрировано гравюрами с рисунков Мейсонье, Анри Монье, Тони Жоанно и др.; оно просмотрено и переработано автором; после смерти Бальзака это собрание сочинений было закончено тремя дополнительными томами в издании Houssiaux (XVIII—XX), P., 1855.

8

Верховня, 22 декабря [1848 г.] / 3 января [1849 г.]

Добрейший и любезнейший г. Гаккель,

Будьте настолько любезны засвидетельствовать г. Краузе мою признательность за его заботы, пока я не смогу сам что-нибудь сделать для него.

У вас есть, насколько мне известно, «Человеческая комедия»; для меня должны притти два экземпляра дополнительного тома и том Вика о «Сооружениях»[1]. Я взываю к вашей доброте и прошу вас запломбировать эти книги для цензуры и отослать их мне сюда. Но я просил бы вас подождать с этой посылкой, потому что будет еще и другая. Из Парижа мне должны прислать большой «Словарь естественной истории»[2] для графа Мнишек и о д н о в р е м е н н о две железных коробки с шоколадом[3]. Тогда г. Краузе мог бы соединить эти две посылки—ту, которая пришла, и ту, которая придет, и переслать их мне через посредство конторы Гальперина, который, несомненно, имеет мою фактуру в Радзивиллове.

Простите, что я докучаю столь высокому должностному лицу, как вы, такими мелочами. Но я вижу в вас не начальника пограничной стражи, а доброго и отменного друга.

Мои здешние друзья были тронуты тем, что вы сожалели о невозможности заехать сюда; вы и ваше семейство были бы встречены сердечно, потому что мои друзья считают, что кто обязывает меня, обязывает их самих; они безгранично признательны вам за то, что вы отнеслись ко мне так, как отнеслись бы они сами. Они всегда останутся признательны вам, им говорили так много похвального о г-же Гаккель, что они уже знают ее. Передайте же ей мое глубокое и сердечное почтение и примите мои пожелания, чтобы вы и ваше семейство были в добром здоровье и чтобы все шло по вашему желанию.

Примите благодарность и дружеские чувства, с которыми я счастлив неизменно пребывать в[ашим] н[ижайшим] и п[окорнейшим] [слугой].

де Бальзак

*Адрес:* Генералу Гаккелю,
начальнику русской пограничной стражи
в Радзивиллове

Автограф.—Collection Lovenjoul. A. 283 Fo. 155.

[1] Книга Вика о гидравлических известях и бетонах понадобилась Бальзаку для имения Ганской, где изыскивали способ укрепления прудовых плотин. Об этой книге Бальзак пишет из Верховни своей матери 26 октября 1848 г., прося ее узнать у Сюрвиля точное заглавие: «Попроси Суверэна приобрести ее за мой счет и переслать мне ее через контору дилижансов; нужно получить пломбу на эту книгу в радзивилловской таможне и представить ее в киевскую цензуру» (C o r r e s p o n d a n c e, II, 336). Ср. также ниже письмо Бальзака к барону Шодуару от 15/27 декабря 1848 г. и B a l z a c a n d S o u v e r a i n, 77.

[2] Под «большим словарем естественной истории» Бальзак имеет в виду «le Grand Dictionnaire d'Histoire Naturelle» A. d'Orbigny, который он выписал через своего издателя Суверэна в октябре 1848 г. (B a l z a c a n d S o u v e r a i n, 76.—Цитируемое письмо Бальзака неправильно отнесено здесь издателем к 1849 г. вместо нужного 1848 г.).

[3] Парижский шоколад прибыл в Верховню 7 апреля 1848 г., но в сильно поврежденном виде, так как в таможне изъяли газеты, которыми были заполнены пустоты ящика. По этому поводу Бальзак просит свою мать в письме от 9 апреля 1849 г. не заполнять коробок французскими газетами, ибо этого может оказаться достаточным для его высылки из России; даже инструкция о пользовании лампой, выписанной Бальзаком

из Парижа, поступила, по его словам, в петербургскую цензуру, где в ней пытаются раскрыть тайный политический смысл (Correspondance, II, 390).

## 9

Верховня, 3/15 февраля [1849 г.]

Добрейший и любезнейший г. Гаккель,

Спасибо вам за доброе и милое письмо, которое я получил от вас несколько дней тому назад; прошу вас не забыть обо мне при встрече с превосходнейшим г. Краузе. «Словарь естественной истории», который я жду, не может быть выслан мне раньше конца марта, ибо последний том появится только в феврале, т. е. через две недели. Но мне послали конфеты, о которых я говорил вам, вместе с другими книгами и вложили пару щипцов, затребованных мной в качестве образца, дабы наладить в России это производство. На самом деле, этот предмет здесь настолько в загоне, что я не мог найти его нигде, а ремесленники, несмотря на все пояснения, даже не понимают, что это такое. В России нет каминов, а потому, вероятно, нет и таможенного запрета на этот совершенно незнакомый прибор; поэтому я почел себя обязанным снабдить вас образчиком. Может быть, я заблуждаюсь, но я рассчитываю на вашу доброту и надеюсь, что ввоз в Россию этой диковинки не будет запрещен.

Когда придет эта вторая посылка, не будете ли вы добры запломбировать все книги, чтобы я отослал их, по примеру предыдущих, в киевскую цензуру, и вынуть из этой посылки две коробки и щипцы, попросив радзивилловского представителя Гальперинов послать пакет возможно скорее в их контору в Бердичев на мое имя, потому что конфеты в конце концов могут пропасть. Этот пакет тоже адресован в Броды, г. консулу; прошу вас выразить ему мою благодарность за все заботы и любезности в отношении меня, пока я не смогу лично засвидетельствовать ему свою признательность. Знакомством с ним и его добрыми услугами я отчасти обязан вам; но как еще сочетать с этим то, что я уже питаю в сердце к вам!

Надеюсь, что вы будете добры передать вашей супруге уверение в моем почтении и напомнить обо мне вашим дочкам. Боюсь, как бы г-жа Гаккель не нашла «Человеческую комедию» грубым шаржем. Скажите ей, что это в небольших дозах превосходный яд, который становится опиумом, если их увеличивают.

Дом Гальперинов оплатит все издержки в Бродах и Радзивиллове; я договорился с ним здесь. Вопрос к таможне: облагают ли у вас скрипки? Я жду прибытия двух-трех скрипок, они предназначаются для подарка. Возьмут ли с меня за право ввоза? Как поступают у вас с королем инструментов?

Позвольте послать вам тысячу выражений дружбы и засвидетельствовать вам свою сердечную преданность.

де Бальзак

*Адрес:* Генералу Гаккелю,
начальнику русской пограничной стражи
в Радзивиллове

Автограф. — Collection Lovenjoul. A. 283 Fo. 169.

## Бальзак — барону С. И. Шодуару

Два публикуемых ниже письма Бальзака не имеют иных указаний на адресата, кроме обращения к «барону», киевскому ученому. Фамилию «барона» пришлось устанавливать по косвенным признакам.

В киевском обществе, окружавшем Бальзака, была одна баронская фамилия — Шодуары. Они владели имением Ивницы близ Житомира. В имении была богатая библиотека с рукописной частью, где сохранялись разные автографы. После революции библиотека и рукописи Шодуаров поступили частично в библиотеку Всеукраинской академии наук и в Институт польской пролетарской культуры. После ликвидации этого института и вторая часть научных собраний из имения Шодуаров перешла во Всеукраинскую академию наук. Здесь и были обнаружены два публикуемых

письма Бальзака. Таким образом, их происхождение из библиотеки Шодуаров почти с несомненностью устанавливает и личность адресата этих писем, которого Бальзак называет «ученым» и к которому обращается, как к лицу влиятельному в киевском обществе. Этим лицом мог быть лишь барон Станислав Иванович Шодуар (1792—1858), известный нумизмат, почетный смотритель Киево-Печерского дворянского училища и член совета Киевского института. В 1841 г. он был в числе основателей киевского «Исторического общества» вместе с Фундуклеем, Юзефовичем, Ржевусским и др. Общество не было утверждено, но в 1843 г. была учреждена Киевская временная комиссия для разбора древних актов, в работах которой Шодуар принимал деятельное участие (Иконников В. С., Киев в 1654—1855 гг. Исторический очерк, К., 1904, 281, 297).

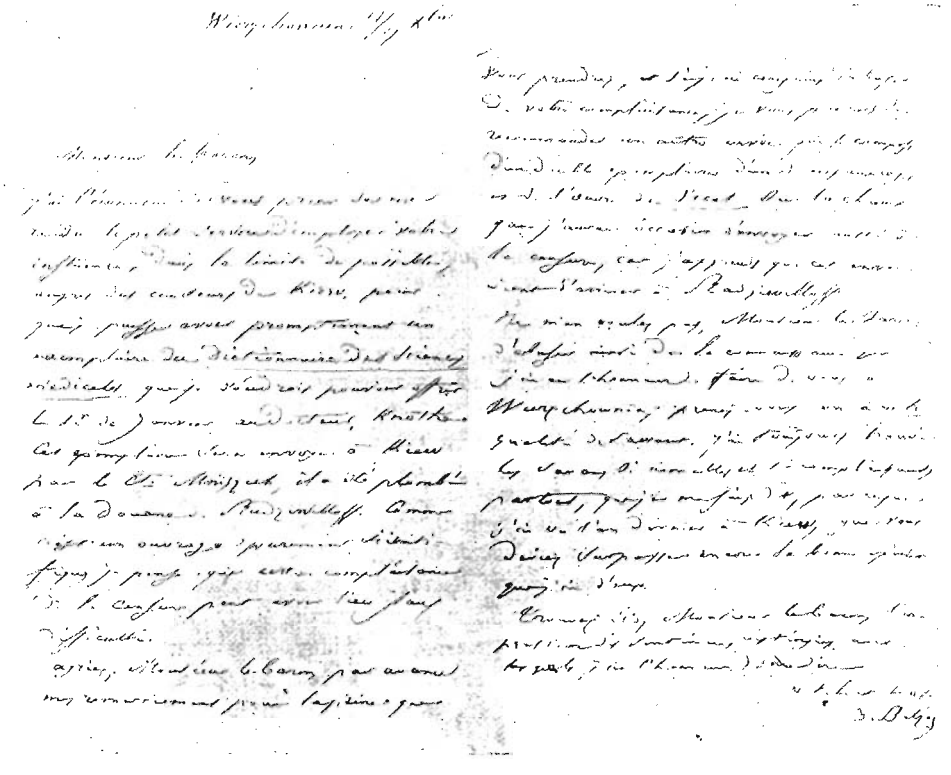
1

Верховня, 15/27 декабря [1848 г.]

Барон,

Имею честь просить вас оказать мне небольшую услугу—использовать, в пределах возможного, свое влияние на киевских цензоров, чтобы я мог незамедлительно получить экземпляр «Словаря медицинских наук», который мне хочется преподнести 1 января д-ру Кноте[1]. Книга будет отправлена в Киев графом Мнишек, она снабжена пломбой радзивилловской таможни. Поскольку это труд чисто научный, я надеюсь, что для цензуры такая снисходительность не представит затруднений.

Примите, барон, заранее мою благодарность за хлопоты: если бы я не боялся злоупотребить вашей любезностью, я просил бы вашего содействия к получению второй посылки, которая состоит из двух экземпляров одного из моих сочинений и труда Вика об извести[2]; эту посылку я также направлю в цензуру; по моим сведениям, она уже пришла в Радзивиллов.



АВТОГРАФ ПИСЬМА БАЛЬЗАКА К С. И. ШОДУАРУ ОТ 15/27 ДЕКАБРЯ 1848 г.

Всеукраинская академия наук, Киев

Не гневайтесь на меня, барон, за злоупотребление знакомством, которым вы удостоили меня в Верховне; вините в этом то обстоятельство, что вы—ученый. Я всегда находил ученых такими любезными и предупредительными, а основываясь на наших прошлогодних встречах в Киеве, я решил, что вы должны еще превзойти мое доброе мнение о них.

Примите, барон, выражение моих почтительнейших чувств, с которыми остаюсь вашим нижайшим и покорнейшим слугой.

де Бальзак

Автограф.—Рукописное отделение библиотеки ВУАН, Киев.

[1] Доктор Кноте—верховенский врач, которого Бальзак высоко ценил. Он пишет о нем с большими похвалами своей сестре и Зюльме Карро: «Здесь у меня разразилась ужасающая болезнь сердца, подготовленная пятнадцатью годами каторжных работ, и вот я уже восемь месяцев в руках врача, состоящего при замке и поместьях моих друзей и представляющего собой—в глуши Украины—великого медика» (Correspondance, II, 416, 421).

[2] См. об этих книгах выше, в примечаниях к письмам Бальзака к Гаккелю.

## 2

[Конец декабря 1848 г.—начало января 1849 г.]

Барон,

Прошу вас принять мою благодарность за услугу и особенно за любезную поспешность, с какой вы ее оказали. Книга эта—новый «Словарь медицинских наук», который мне хотелось преподнести д-ру Кноте.

Позднее я получу еще некоторые книги, выписанные мною из Парижа, и опять прибегну к вашей любезности. Однако, верьте, что моя благодарность далека от всякого другого чувства, кроме признательности за милое письмо, написанное вами в ответ на мою просьбу.

Примите, барон, подтверждение моих наилучших чувств, с которыми пребываю вашим нижайшим и покорнейшим слугой.

де Бальзак

Автограф.—Рукописное отделение библиотеки ВУАН, Киев.

## Бальзак — В. Ф. Ленцу

Автограф публикуемого письма поступил в Рукописное отделение Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград, в 1857 г. от статского советника Ленца одновременно с автографами писем Шопена, Листа, Берлиоза и Сю («Отчет Публ. библ. за 1857 г.», стр. 98).

На верхнем поле имеется полустертая карандашная надпись бывшего владельца автографа: «Original von Balzac an mich. Paris 42».

Тем самым с несомненностью устанавливаются адресат и дата публикуемого письма. Корреспондент Бальзака—петербургский чиновник и довольно известный музыкальный критик В. Ф. Ленц; в письмах Бальзака к Ганской подробно изложена история их знакомства.

[Париж, октябрь 1842 г.]

Сударь,

Я чрезвычайно тронут вашей милой настойчивостью, но ваш приезд совпал у меня со множеством работ, которых требуют от меня журналы, и с рядом тягостных забот, которые не дают мне покоя. Я с удовольствием принял бы вас у своей сестры, г-жи Сюрвиль (28, rue du Faubourg Poissonière), завтра, в пятницу, от двух до трех часов пополудни. Мне хотелось предложить вам завтрак в обществе г. Гозлана и В. Гюго, но первый занят на репетициях своей комедии, а второй находится на даче[1].

Примите мой самый горячий привет и выражение моих наилучших чувств.

де Бальзак

Автограф.—Рукописное отделение Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.

[1] 19 октября 1842 г. Бальзак писал Ганской: «Здесь один русский изводит меня просьбами о свидании; зовут его г. Ленц. Я избегаю всех русских, чтобы не порождать сплетен, но этот проявляет исключительную настойчивость. Он допустил даже некоторую оплошность, полагая, что меня можно увидеть, пригласив на обед. Я только что ответил ему, что в Париже не русские должны принимать парижан, но парижане русских, что он напрасно считает меня единственным талантом во Франции и что я угощу его обедом в Роше де Канкаль в обществе мыслителей и поэтов». 21 октября 1842 г. Бальзак продолжает: «Я виделся с русским у моей сестры; это чиновник петербургского министерства юстиции... О вас я не произнес ни слова, но служба этого молодого чиновника в министерстве юстиции заставила меня быть чрезвычайно обходительным с ним [намек на процесс Ганской]. Я пригласил его на будущий четверг на обед в Роше де Канкаль в обществе Гюго, Леона Гозлана и одного из моих друзей, столь же остроумного, как они...». 29 октября Бальзак сообщает: «Третьего дня мы обедали с русским, и хотя мой друг-художник заболел и не мог присутствовать, обед удался на-славу. Г-н Ленц должен был почувствовать, что мы богаты интеллектами, если не капиталами. Этот молодой или старый чиновник, ибо такие лица не имеют возраста, уезжает в Петербург. Я подумал было вручить ему маленькую посылку (перстень для вас), но на вопрос «кому? для кого?» я ответил, что, вероятно, не смогу приготовить это ко дню его отъезда, который назначен на послезавтра. Если он может быть полезен вам, вы мне сообщите. Посылку же доверю только какому-нибудь французу из посольства» (Correspondance, II, 72—73). В письме от 11 ноября 1842 г. Бальзак пишет: «А я, признаться, не знал, что имел друга в лице князя Дашкова (le prince d'Askoff), бывшего министра юстиции, ныне покойного. Об этом сообщил мне молодой Ленц» (там же, 77). Ганская, видимо, дала о Ленце в ответном письме весьма отрицательный отзыв, так как Бальзак пишет ей 7 декабря 1842 г.: «Нам, Гозлану, Виктору Гюго и мне, не нужно было ожидать вашего отзыва, чтобы самим убедиться в том, что г. Ленц сумасшедший. Но зачем же бранить меня за то, что я сделал? Вы не знаете, каким преследованиям я противостоял. Он был семь или восемь раз у моих книготорговцев, он постоянно писал мне, и, что́ бы вы ни говорили, нужно признать, что это было достаточно унизительно—позволить третировать себя в Париже русскому» [Бальзак, очевидно, имеет в виду приглашение на обед, полученное им от незнакомого иностранца.—*Л. Г.*] (Correspondance, II, 87). Впрочем, из дальнейших сообщений видно, что французские писатели вели с Ленцем весьма содержательные беседы: «Во время обеда в Роше де Канкаль Гюго удивил русского, заявив: «Я знаю, что я заставлю страдать Бальзака, утверждая, что Расин был посредственным человеком, ибо он верен Расину...».—«До последнего издыхания, отвечал я, ибо в нем совершенство. «Береника» никогда не будет превзойдена, «Гофолия»—самая романтическая и самая смелая из всех существующих пьес и «Федра»—величайший образ новейшего театра» (Correspondance, II, 94). Отвечая Ганской, Бальзак сообщает 22 декабря: «Я более не видел Ленца» (Correspondance, II, 96). Очевидно Ганская виделась в Петербурге с Ленцем и беседовала с ним о Бальзаке, ибо 2 марта 1843 г. очередное «письмо к иностранке» сообщает: «Маленький Ленц может быть вам полезен; нередко крыса прогрызает сеть; но, между нами, я нахожу его немного неблагодарным, после исключительного приема, который я оказал ему» (Correspondance, II, 117). Во время пребывания Бальзака в Петербурге, Ленц виделся с ним и рассказал об этом в своих воспоминаниях («Русский Архив», 1878, I, 441).

Упоминаемый в письме к Ленцу Леон Гозлан—французский журналист и друг Бальзака (1803—1866). Он создал жанр особой интимной и анекдотической биографии великого писателя, отчасти возродившийся во Франции в наши дни. Такова его книга «Balzac en pantoufles», J. Hetzel et C^ie^, Bruxelles, 1856 (неоднократно переиздавалась). Вскоре после смерти Бальзака отрывки из этой книги Гозлана появились и на русском языке: Гозлан Леон, Воспоминания о Бальзаке.—«Библиотека для Чтения», 1854, CXXIII, и «Московские Ведомости», 1854, № 5.

## II. ДВЕ ЗАПИСКИ БАЛЬЗАКА: ЭД. ВЕРДЕ И ГРАФАМ САН-СЕВЕРИНО

### Бальзак—Эд. Верде

Эдмон Верде был одним из самых деятельных издателей Бальзака в 30-е годы; он даже стремился стать его единственным издателем. В 1834 г. он приобрел у Бальзака за 36 000 франков право издать его «Этюды нравов в XIX веке» в 12 томах и вскоре затем приступил и к другому собранию сочинений Бальзака, в 20 томах, под общим заглавием «Философские этюды». Эдмон Верде опубликовал свои воспоминания о Бальзаке в книгах: 1) «Portrait intime de Balzac; sa vie, son humeur et son caractère. Par

Edmond Werdet, son ancien libraire-éditeur». P., E. Dentu, A. Silvestre, 1859; 2) «Souvenirs de la vie littéraire: Portraits intimes: Maurice Alhoy, Godefroy Cavaignac, Honoré de Balzac, Léon Gozlan, Jules Sandeau». P., E. Dentu, 1879.

В первой книге помещены пять писем Бальзака к Верде, из которых четыре вошли позднее в Correspondance, №№ 101, 152, 168, 169, а пятое не было перепечатано (Royce (W.-H.), A Balzac bibliography. Chicago, [1929], 225—226). Мы публикуем шестое письмо Бальзака к Верде, до сих пор остававшееся неизданным.

Maître Верде, [1836—1837 г.]

Раз «Неведомый шедевр» вошел в XVIII том, следует оставить «Заупокойную обедню атеиста» и «Фачино Кане» для XIII тома.

Посылаю вам «Заупокойную обедню атеиста», передайте ее Бодуэну и постарайтесь, чтобы ваш друг просмотрел ее.

«Заупокойной обедней атеиста» начинается XIII том, похлопочите, чтобы сегодня же выправили ее—завтра я просмотрю «неизданный этюд», который следует непосредственно после «Заупокойной обедни атеиста». Я из сил выбиваюсь, чтобы написать 3-й выпуск, который согласовался бы со вторым и четвертым. «Фачино Кане» попадет за этим неизданным этюдом, таким образом, на этой неделе мы будем иметь полностью тома XIII и XVII. Плон отпечатает нам два тома «Проклятого дитяти» и «Бургонь ле Федон»; вы сможете выпустить их в свет 5 окт[ября].

Но, ради бога, добейтесь от вашего друга Бодуэна просмотра корректур 3-го выпуска. Неизданный этюд называется «Тайна Руджиери», следовательно, в этом выпуске вы будете иметь почти все неизданное. Только «Красная гостиница» и 1-я часть «Проклятого дитяти» известны читателям[1].

Автограф.—«Альбом автографов П. А. Вяземского». ГАФКЭ, Москва.

[1] Письмо относится ко времени выхода 20-томного собрания сочинений Бальзака в издании Эдмона Верде под общим заглавием «Философские этюды»: «Etudes philosophiques par M. de Balzac, 4-e édition, revue et corrigée». Paris, Librairie de Werdet 18, rue de Quatre-Vents (Sèvres, impr. A. Barbier), 1835—1840, in-12°. Произведения, названные Бальзаком, вышли в этом издании в 1836—1837 гг., чем определяется приблизительная дата написания этого делового сообщения. Все издание делилось на томы и объединяющие их выпуски или серии (livraisons), каждый выпуск состоял из пяти томов, все издание—из четырех выпусков-серий.

### Бальзак—графам Сан-Северино

О графине Фанни Сан-Северино Порция, сестре князя Альфонса Сан-Северино, камергера австрийского императора, см. Gigli (Giuseppe), Balzac in Italia, Milano, 1920, 7. Письмо ее к графине Маффей с рекомендацией Бальзака см. Œuvres (Conard), XIX, 369. [Милан, 1837 г.]

Г-н Бальзак заходил, чтобы засвидетельствовать свое уважение графине Сан-Северино и побеседовать с графом относительно некоторых сведений, касающихся миланской провинции; он просит графа Сан-Северино сообщить, в котором часу можно было бы явиться к нему с уверенностью застать его дома, чтобы выразить свое почтение.

Автограф.—«Альбом Голицына», ГАФКЭ, Москва. Фонд 86, стр. 47.

## III. ПИСЬМА СКУЛЬПТОРА Н. А. РАМАЗАНОВА О ЕГО ПУТЕШЕСТВИИ С БАЛЬЗАКОМ

Возвращаясь осенью 1843 г. из Петербурга в Париж, Бальзак часть пути до Дрездена проделал вместе с молодым русским скульптором Н. А. Рамазановым. Последний оставил об этом путешествии чрезвычайно живые и содержательные записи. Рамазанов заносил чуть ли не на каждой почтовой станции в путевой дневник свои впечатления от знаменитого французского писателя и свои разговоры с ним, часто на весьма значительные темы (преимущественно об искусстве). Страницы эти переносились художником в письма к родным. Все это придает его сообщениям характер большой непосредственности и достоверности. Во всей обширной мемуарной литературе о великом романисте мы не встречали более полной и содержательной записи о «Бальзаке

Н. А. РАМАЗАНОВ
Акварель М. Ф. Каменской
Собрание И. И. Рыбакова, Ленинград

в дороге», и немногие сохранившиеся «разговоры» с ним содержат столько его высказываний о скульптуре, архитектуре и живописи.

Автор эти путевых заметок, Николай Александрович Рамазанов (1817—1867),— скульптор и писатель по вопросам искусства, был воспитанником Академии художеств, где учился у Б. И. Орловского и С. И. Гальберга. В 1836 г. он получил 2-ю серебряную медаль за лепку с натуры, в 1837 г.—1-ю серебряную медаль за барельеф, изображающий «Искушение в пустыне», в 1838 г.—2-ю золотую медаль за группу «Милон Кротонский, терзаемый львом», в 1839 г. оканчивает курс Академии с 1-й золотой медалью за скульптуру «Фавн с козленком». Он приступает затем к работе над статуями «Весна» и «Леда» для Зимнего дворца и участвует в исполнении памятников: Карамзину в Симбирске и Державину в Казани, оставшихся неоконченными после смерти С. И. Гальберга, осуществляя вторую работу в сотрудничестве с К. М. Климченко. По окончании этих работ Рамазанов вместе со своим сотрудником отправляется пенсионером Академии в Рим, куда и выезжает в конце сентября 1843 г. в одном дилижансе с Бальзаком.

Впоследствии, с 1847 по 1866 гг., Рамазанов состоял преподавателем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и сотрудничал по вопросам искусства в «Русском Вестнике» и «Москвитянине», защищая традиции классицизма в живописи и скульптуре. В 1849 г. он получил звание академика, в 1858 г.—профессора скульптуры. Рамазанов интересен и как мемуарист: его воспоминания о Брюллове, о Сильвестре Щедрине, «об отжившем театральном мире Петербурга и о пребывании В. А. Каратыгина в Риме» сообщают ряд ценных сведений. В 1863 г. в Москве им были изданы «Материалы для истории художеств в России». Литературная деятельность этого скульптора-искусствоведа встретила одобрение Ф. И. Буслаева. Рамазанов оставил большое количество скульптур и рисунков, в том числе бюст Пушкина, маску и бюст Гоголя, эскизы группы «Освобождение крестьян», фигуры для московской этнографической выставки и др. («Русский биографический словарь», том Притвиц—Рейс, П., 1910, 482—487. «Воспоминания о Н. А. Рамазанове».—«Голос», 1867, № 329).

Письма Рамазанова, в которых подробно описано его путешествие из Петербурга в Рим в 1843 г., после смерти скульптора были напечатаны в «Русском Вестнике» (1877, XI; 1878, II и IV) под заглавием «Русский художник за границей в соро-

ковых годах. Семейные письма покойного Николая Александровича Рамазанова». Для журнала письма были обработаны в цельную статью, причем значительно утратилась непосредственность записи Рамазанова, улетучились подробности, даже записанные Рамазановым слова Бальзака были даны в обработке и со значительными сокращениями. Правда, Рамазанов, плохо владея французским языком, записал их явно неправильно, что и побудило, очевидно, редакцию журнала прибегнуть к сокращениям, исправлениям и замене французского текста русским. Отказавшись от каких-либо пропусков, мы, тем не менее, сочли также нужным подвергнуть французские тексты Рамазанова некоторой правке, главным образом, в отношении орфографической и грамматической правильности. В остальном мы предлагаем читателю все записи Н. А. Рамазанова о Бальзаке в их подлинном виде. Отбор этих отрывков из всей серии писем Рамазанова определяется нашей основной темой, но в ее пределах мы стремились к исчерпывающей полноте.

Письма Рамазанова публикуются по подлинникам, хранящимся в Историческом музее в Москве. Текст их приготовила к печати Н. А. Брюханенко.

## 1

Первым приятным впечатлением для наших глаз был Ямбург. Нарва уже поразила нас особенностью своей архитектуры. Вам известна жадность, с которою мы обогащаем свои альбомы в поездках; около Нарвы встречались местечки, которые напрашивались на карандаш; но быстрота, с которою катится почтовая карета по шоссе, и скорая перемена лошадей на станциях отняли всякую возможность занести в альбом то, что нас интересовало. В Нарве в трактире Петербург, где мы остановились завтракать, Бальзак любопытствовал узнать, какое блюдо нам подали; я назвал: миноги, и он, рассмотрев их пристально, сделал гримасу, которую можно безошибочно перевести на русский язык словами: фу, какая бяка! Миноги были началом моего с ним знакомства[1]; но все еще не того знакомства, которого я искал;—мы лишь изредка перебрасывались всеупотребительными вопросами и ответами путешественников, куда, откуда, зачем вы едете и т. д. Один рижский негоциант, хорошо говоривший по-французски и сидевший с ним рядом в карете, был постоянным его собеседником. В Вайваре он [Бальзак] заметил мне, что les sculpteurs russes fument autant que les sculpteurs français[а];—я было придрался к этому замечанию, надеясь поговорить с ним о самой скульптуре французов; но рожок кондуктора заставил меня в ту же минуту броситься в карету.

В Эвве у самого трактира перед нами раскинулась грязная площадь, усеянная несметным числом крестьян, собравшихся на Pferdemarkt[б]. В самых живописных группах они то толпились, то расходились, то объезжали свои живые покупки; вдали рисовалась небольшая церковь и несколько берез, так что вся эта картина как бы нарочно была поставлена по рисунку Теньера. Я и мой товарищ[2] были готовы разделить пополам труд, только бы успеть накинуть на скорую руку миленькую картинку; но время оставалось только на обед, который также не мало занимает путешественника. В Эвве мы обедали с Бальзаком и он угостил нас превосходным сотерном; русская природа не выдержала, я поставил на стол бутылку Saint Péray.—Nous buvons à la gloire des artistes et des écrivains[в],—сказал я.

— Je vous souhaite des succès à Rome, messieurs[г],—сказал он нам. Мы его благодарили.

— Et pourquoi n'iriez vous pas à Paris, nous avons beaucoup de belles statues.—A Rome il y a plus d'antique qu'en France,—отвечал я.—Nous avons aussi d'admirables statuaires,—продолжал он,—David est le plus grand sculpteur[3], il surpasse même Torwaldsen et celui de [вырвано][д],—тут он забыл фамилию скульптора, которого может быть также

[а] Русские скульпторы курят не меньше, чем французские.

[б] Конский базар.

[в] Мы пьем во славу художников и писателей.

[г] Желаю вам успеха в Риме, господа.

[д] Но почему бы вам не поехать в Париж, у нас много прекрасных статуй.—В Риме больше античных статуй, чем во Франции.—У нас также есть превосходные ваятели. Давид—величайший скульптор, он превосходит даже Торвальдсена и...

по пристрастию ставил ниже своего соотечественника.—Vous voulez dire Tenerani, peut-être,—сказал я ему.—Non, Tenerani ce n'est rien, mais c'est Bartolini[а] [вырвано] Бальзака, потому что не верю в его охуждения, подумал я.

После похвал Давиду он начал хвалить съеденную им спинку жареной индейки; между тем кондуктор пришел объявить, что подают экипаж. Мы вышли на крыльцо; восемь лошадей, запряженных в карету, рисовали красивую дугу, заворачивая на всем скаку к подъезду трактира. Бальзак заметил, что мы любуемся этим.—C'est très bien dessiné, ce mouvement des chevaux[б],—сказал он,—а мы заключили из этого, что Б[альза]к чувствует прелесть рисунка. Вот уселись и поехали далее. В Н е н н а л е нас застал ночью ужаснейший ветер, который туземцы приписывали близ находящемуся озеру Пейпус; предоставляю вам разобрать это. Я знаю только то, что мы терпели жестокий холод. Рано утром мы приехали в Д е р п т. Что-то грустно было на душе, и я очень был рад, нашедши фортепиано; присел, пофантазировал; надоело—присел к Бальзаку. Последний негодовал на бифстек:—Il faut avoir bien faim pour manger ça; c'est un tour de force[в],—говорил он; потом держал красноречивую речь против табаку; доказывал медицински и психологически, что это совершенное подобие опиума, что это яд, который разрушает физического и нравственного человека, вредит пищеварению, ослабляет память и фантазию и заключил, сказавши: et qu'est ce qui peut-être mieux que d'inventer?[г]. Я с удовольствием слушал его остроумные доводы и в то же время не без удовольствия докуривал мою сигару. В В а л к е нам посулили обед в какой-то кондитерской; мы мечтали об обеде: но увы это была лишь одна мечта. Проходились напрасно, видели лишь только вывеску со сладкими пирогами. Забавно было видеть Бальзака, закутанного в шубу, в огромных меховых сапогах, с меховой шапкой на голове и с женской муфтой на руках, путешествующего по грязи и ворчавшего:—Voilà une ville![д]. Я ждал с минуты на минуту града ругательств на всех русских со стороны раздосадованного француза, но на счастье в эту самую минуту нам встретился какой-то франт города Валка, который своим костюмом и какою-то особенно важной поступью рассмешил Бальзака и всех нас наповал. Булочница Робенальт прехорошенькая женщина, которая замечательнее всего в Валке; у ней мы заморили червяка, запаслись булками. Достигли Г у л ь б е н а и мечта осуществилась, здесь мы обедали славно; повеселели, не исключая и Бальзака, который разговорился.—Êtes-vous sculpteurs ou allez vous seulement étudier la sculpture?—спросил Бальзак.—Mon camarade et moi nous avons déjà deux monuments à Pétersbourg,—ответил я.—Quels monuments et où sont ils situés?—A Karamzine et à Derjavine, ils seront situés, l'un à Simbirsk et l'autre à Kasan.—Karamzine... Ah, c'est celui qui a écrit l'histoire de la Russie; et combien vous a-t-on donné d'argent... [вырвано] nous avons reçu vingt six mille roubles... [вырвано] vous amuser très bien... [вырвано]—Et combien recevez vous de la Couronne pour vivre à Rome?—Trois mille roubles par an et un millier de roubles pour le voyage.—C'est assez[е],—заметил он.

---

[а] Вы, вероятно, хотите сказать Тенерани?—Нет, Тенерани ничего не стоит, но Бартолини...

[б] Прекрасно вычерчен этот бег лошадей.

[в] Нужно быть очень голодным, чтобы есть это; это подвиг!

[г] А что может быть лучше, чем создавать?

[д] Ну и город!

[е] Вы уже скульпторы или только собираетесь учиться скульптуре?—Мой товарищ и я сделали в Петербурге уже два памятника.—Какие памятники и где они стоят?—Карамзину и Державину, а поставят их один в Симбирске, а другой в Казани.—Карамзин... Ведь это тот, что написал историю России, а сколько дали вам денег?.. Мы получили 26 000 рублей...—вы отлично развлечетесь... А сколько получаете вы от казны на жизнь в Риме?—3 000 р. в год и с тысячу на путешествие.—Этого достаточно.

Карамзина Бальзак знает[4], имя же Державина я нарочно повторял несколько раз, но имя нашего поэта ему неизвестно. Разговор перешел на дороги[5] в России и на другие предметы. Б[альза]к встал из-за стола в очень веселом расположении духа; при расплате он кричал девушке, ударяя пальцами в кошелек:—Mademoiselle, combien coute mon diner? C'est la langue universelle![а]—прибавил он смеючись. Между Гульбеном и Стаканом нас застала в лесу очаровательная лунная ночь; месяц перегонялся с нами, бегая по развесистым ветвям елей и сосен. Брик, следовавший за нами в некотором расстоянии, рисовался красивым темным пятном в тумане. В Вольмаре негоциант, ехавший с Бальзаком, объявил ему, что он оставит его в Риге, и Бальзак обратился ко мне: Vous parlez allemand?—спросил он меня.—Oui, un peu!—Voulez vous me défendre en Prusse?—Avec plaisir, je ferai tout ce que je pourrai pour vous[б],—отвечал я, и он благодарил меня за готовность помогать ему в сношениях с немцами[6].

На этой же станции нам прислуживала горбатая, крайне уродливая старушка, которую Бальзак прозвал la sorcière [в], и удивлялся, как я ее не нарисую; но что за охота марать альбом старыми лицами, когда беспрестанно встречаются хорошенькие, пухленькие и румяные личики молоденьких немочек, портреты которых не успеваешь делать, а могла бы составиться целая галлерея деревенских красавиц. Вольмар мы проезжали поздно вечером, когда все окна обывательских домов были освещены свечами; удивленный Бальзак спросил, что это значит; мы отвечали, что сегодня [26 сентября] в царском доме праздник...

... Въехавши в узкие улицы Риги, загроможденные высокими домами оригинальной архитектуры, мы встретили шумную деятельность торгового города. Мостовая, усеянная ельником, гремела от беспрестанно проезжавших экипажей и длинных повозок, которые были запряжены красивыми и дородными лошадьми.—Что означает этот ельник? Вероятно его разбрасывают по улицам для очищения воздуха?—спросил я доктора, смотря на узкие улицы и высокие дома, не пропускавшие лучей солнца на мостовую. Доктор, тот самый молодой человек, которого я назвал в письме к вам и с которым мы [осматривали] некоторые части города, отвечал, что рижане делают это просто из любви к зелени; лучше сказать из страсти; они даже не говорят: мы живем на даче, а обыкновенно выражаются словами: мы живем в зелени (im Grünen). Мы остановились в порядочном трактире, а Бальзак остался в карете на почтовом дворе, в чем после раскаивался...

В Риге негоциант оставил нас и я по просьбе Бальзака сел вместе с ним[7]. Он чрезвычайно был рад, что я сменил больного негоцианта, не соглашавшегося открывать окна кареты, и тотчас же напустил на меня несколько струй сквозного ветра.—C'est plus sain et on peut tout voir![г]. Я сам люблю прохладу и ветер и потому охотно с ним согласился. Первым моим старанием было завязать с ним разговор, назвав по именам несколько знаменитостей Франции и расспрашивая о красоте народных памятников, которыми гордится Франция, я задел за живую струну француза и Бальзак залился в похвалах своему отечеству. Приятно было видеть эту привязанность к родной земле, которая высказывалась в порывистой речи, в заблестевших огнем глазах, в каждом движении Бальзака; но неприятно было слышать в то же время его сравнения и отзывы о других землях. Господи! да неужели только и есть хорошего, что во Франции; неужели только и можно быть счастливу на берегах Сены, Роны и т. п.? Меня это бесило; но я молчал, желая выслушать до конца все, что говорил Бальзак о законах,

---

[а] Сколько стоит мой обед, барышня? Это всеобщий язык!

[б] Вы говорите по-немецки?—Да, немного.—Хотите быть моим защитником в Пруссии?—Я с удовольствием сделаю для вас все, что смогу.

[в] Колдуньей.

[г] Так здоровее и можно все видеть!

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА Н. А. РАМАЗАНОВА К РОДНЫМ (ОСЕНЬ 1843 г.) С ОПИСАНИЕМ ЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ С БАЛЬЗАКОМ

Исторический музей, Москва

полиции, войске, искусствах, науках и пр. во Франции.—Nous avons les plus grands sculpteurs en France[а],—говорил Бальзак и назвал группу Леандра и Геро, созданную Этексом[8], которую превозносил выше всего античного; а уж Торвальдсен и другие известные скульпторы, в сравнении с Этексом, в глазах французского литератора нипочем!—Dites-moi, monsieur, comment donc a-t-on confié à M. Lemaire le fronton de la Madeleine?[б]—спросил я его, едва сдерживая свою улыбку.—Ah, c'était une autre chose: il y a eu un concours pour les jeunes artistes et parmi eux Lemaire fut le premier; mais ce sera une leçon pour la France de ne pas donner à concourir dans de grandes choses comme celle-là à des jeunes gens. Mais le fronton de votre église d'Isaac n'est pas bon lui non plus[в]. Бальзак предупредил меня своим приговором о своем соотечественнике. После Этекса он назвал Давида, сделавшего между прочими произведениями бюсты Шатобриана, Виктора Гюго, Гёте, Беранже и колоссальный бюст Бальзака, который и подарил последнему; чтобы сделать бюст Гёте, художник ездил в Веймар.—David a formé beaucoup d'élèves et la plupart sont allemands; David a fait aussi mon médaillon que j'ai apporté ici (à Pétersbourg) pour une dame; il est très bien fait[г]. Тут он упомянул еще молодого скульптора Прео, сделавшего его статуэтку; художника этого Бальзак в благодарность свез в Рим. Я хотел узнать его мнение о памятнике Петра Великого, о группах б[арона] Клодта и о некоторых других произведениях скульптуры в Петербурге, и он отнесся о них как нельзя лучше; но не мог не сказать тут же:—Mais nous avons aux Champs Elysées deux superbes chevaux de marbre, ce sont, je crois, les plus beaux du monde[д].

Подъезжая к М и т а в е, я сказал Бальзаку, что в этом городе похоронен герцог Бирон[9].—Nous irons le voir si nous avons le temps.—Est ce que c'est toujours la Livonie?—спросил он меня, указывая на окрестности.—Oui, mais au lieu de rencontrer les braves chevaliers de Livonie nous voyons toujours des paysans qui transportent de la farine et des pommes de terre[е]. Я спросил Бальзака, не беспокою ли его моими расспросами о том, о сем, что он может быть занят созданием чего-нибудь, и я его развлекаю?—Non, non, jeune sculpteur, il faut s'amuser en voyage[ж].

Приехали в Митаву; Бальзак крепко проголодался, а хорошенькие прислужницы как нарочно медлили обедом. В Риге сел на мое место вместе с Климченкой старик, который несмотря на преклонные лета удивил нас своей живостью. В Митаве он подсел к фортепианам, которые едва держались на ножках; на билете их было написано: Carl Codel, Amsterdam. 1806. Старик начал поколачивать косточками своих пальцев по слоновым косточкам инструмента, которые чуть ли не были ровесницами между собою; он играл на какой-то особенный такт какой-то танец. Мы полюбопытствовали узнать от него о цели его путешествия. Он с видом, что называется, бывалого человека отвечал, что он лифляндский помещик, путешествует для своего удовольствия, большой люби-

---

[а] У нас во Франции самые выдающиеся скульпторы.

[б] Скажите, сударь, каким же образом доверили г. Лемеру фронтон церкви св. Магдалины?

[в] А, это совсем другое дело: состоялся конкурс молодых художников, и среди них Лемер занял первое место. И это послужит уроком для Франции впредь не давать на конкурс молодым людям таких больших заданий. Но фронтон вашего Исаакия тоже нехорош.

[г] Давид воспитал много учеников, и большинство из них немцы. Давид сделал также медальон с моим изображением, который я привез сюда (в Петербург) для одной дамы [Ганской]; медальон превосходно сделан.

[д] А у нас в Елисейских полях есть два великолепных мраморных коня, мне думается, что это лучшие в мире.

[е] Мы осмотрим [могилу Бирона], если у нас будет время. Это все еще Лифляндия?—Да, однако, вместо храбрых ливонских рыцарей мы встречаем лишь крестьян, везущих муку и картошку.

[ж] Нет, нет, юный скульптор, в дороге надо развлекаться.

тель балетов и по его расчетам должен застать Фанни Эльслер в Берлине; что, наконец, от последней он в восхищении. Мы едва держались от смеха, глядя на эту старую, низенькую фигурку, прикрытую старою же, с несметным числом воротничков шинелью и говорившую скороговоркой разом на немецком, французском и русском языках, и на всех трех прескверно.

В Митаве мы встретили А. П. Лоди и едва узнали друг друга. В усах, постарел и кажется, далеко ли еще мы отъехали от Петербурга, а уж так были рады встрече с русским. Я сказал ему, что с нами обедает Бальзак, который в это время негодовал на бурду, поданную нам под именем супа.—Chez nous, on donne ça aux cochons [а],—кричал он и в то же время отвечал очень мило на приветствия Лоди. Мы простились с последним, послав всем вам поклоны. Бальзак был угомонен яичницей, которая составляла единственное его утешение в продолжение всей дороги; в этом же трактире мы нашли акватинту «Суд Париса», последний и три богини во французских костюмах. Приехавши в Т а у р о г е н, Бальзак был в большом ударе, и неудивительно: он привык к хорошему, изысканному столу и нашел здесь прекрасный завтрак и хороший чай[10].—Est ce que c'est vraiment un sculpteur? [б]—спросил меня Бальзак, указывая на моющегося Климченку. Я отвечал на его вопрос утвердительно.—Mais il est trop propre pour un sculpteur [в].

Перед завтраком он спросил у нас почтовой бумаги; мы его снабдили и в то же время сами писали письма, которые, не знаю, получили ли вы. Из треска сквернейших перьев составилось такое трио, которому мы немало смеялись[11]. По окончании писем Бальзак вытащил из своей корзинки бутылку сотерну.—Voilà la dernière bouteille, il faut la boire glorieusement! [г] — вскрикнул он и бутылки как не бывало. При расплате девушка начала болтать с ним по-немецки; он отвечал ей преравнодушно:—Jeune fille, je ne te comprends pas, mais ça m'est égal [д]. Отирая рот салфеткой и вставая из-за стола, Бальзак вскрикнул:—Vive Taurogen et son illustre famille! [е]. Подъезжая к заставе нашей границы с Пруссией, мы совершенно не заметили часового, который вместе со своею будкой был скрыт за зеленью, а перед нами на всем необъятном пространстве прохаживались только две курицы.—Voyez, un grand empire comme la Russie est gardé par des poules [ж], — едва выговорил Бальзак, рассмеясь своему замечанию, и я вторил ему невольно. Вот и Пруссия! Продолжение моего вояжа возьмите прочесть у Каминских; а им дайте прочесть это письмо. Я и дальше буду так поступать с моими письмами. Прощайте, я надеюсь с вами увидеться в следующем письме в Берлине или в Мюнхене.

## 2

Вот и Пруссия! Начались хлопоты с деньгами; я сам плохо понимал последние, да на беду Бальзак по-немецки, что говорится, ни слова; пришлось и за него рассчитываться. Проезжая пограничные места России, мы очень редко встречали селения, а все пустые поля, или длинные леса; тем чувствительнее для наших глаз был переход в Пруссию, которая похожа на картину, написанную аккуратною немецкой кистью, где помещены и овцы, и гуси, и свиньи.—Ce sont des cochons prussiens,—заметил Бальзак, который хотя при въезде в Пруссию и говорил: Ça ressemble à un pays, c'est plus animé! [з], но не переставал сердиться то на скверный хлеб, то на тухлую говядину, то на пере-

[а] У нас это дают свиньям.
[б] Что он на самом деле скульптор?
[в] Но он очень чистоплотен для скульптора.
[г] Вот последняя бутылка, ее надо распить на-славу!
[д] Девушка, я тебя не понимаю, но мне это безразлично.
[е] Да здравствует Тауроген и его знаменитое семейство!
[ж] Смотрите, великая Российская империя охраняется курами.
[з] Это прусские свиньи.—Здесь уже похоже на страну, здесь больше жизни.

соленое масло. В Mannio я едва мог найти ему молока: тут мы вспомнили слова Лоди, говорившего, что мы до Кенигсберга ничего порядочного не достанем. Нас как молодых людей, не избалованных роскошью, это не пугало; но Бальзак выходил из себя:—Dans quelle partie du bœuf trouve-t-on cette viande là?! Bon Dieu! quel pays![а] и тому подобные восклицания повторялись беспрестанно; да еще дряхлый обожатель Фанни Эльслер, взявший снова место в дилижансе до Тильзита, выводил литератора из терпения своими докучливыми и невнятными расспросами, так что Бальзак потерял совершенно свое веселое расположение. Забавно было видеть, как он сердился во сне на неудобство своего изголовья—его все бесило:—Ah, Dieu, comme je perds mes cheveux,—жаловался он.—Il faut que vous les coupiez (советовал ему я).—C'est le temps qui les coupe le mieux! Ce sont les travaux nocturnes,—перебил он меня.—Est ce que vous travaillez toujours la nuit?—спросил я его.—Toujours[б],—ответил он.

Кондуктор, узнавши от меня, что со мною едет Бальзак, французский литератор, немедленно начал с ним разговор изломанным французским языком. Бальзак просил меня пересказать слова кондуктора.—Il dit, que votre profil ressemble à celui d'un écrivain,—передал я Бальзаку. Он захохотал любезности кондукторской, ответил:—Il est difficile de se ressembler mieux[в]. В Штаргарде[12] на нас упал ужаснейший дождь;—C'est le bouillon, que nous avons eu ce matin[г],—сказал Бальзак, не переменяя прежнего расположения духа. Выплывши из Штаргарда, я предложил Бальзаку для рассеяния пересмотреть мой альбом, имея в виду в то же время узнать, как он смотрит на искусства. Ему особенно нравились рисунки, сделанные бойко, на скорую руку: сейчас видно француза; однако он поразил меня тут же чрезвычайно тонким замечанием, свойственным самому опытному художнику, именно рассматривая знакомый вам рисунок «Купанье Венеры», которую погружают в воду зефиры. Этот рисунок многим нравился; я и сам был доволен его составом; но слова Бальзака:—Il y a trop d'enfants, ça gêne la figure principale[д] навели меня на улучшение этой группы.

В Тильзит приехали около четырех часов вечера и остановились в Hôtel de Russie. Первым делом было омовение. Бальзак, переменяя белье, щеголял и хвалился перед нами своею грудью и торсом; я ему сказал, что лучшей модели для Бахуса не желал бы иметь. За обедом шутили и смеялись вдоволь; после обеда Бальзак пошел к директору почты, дочери которого сказали, что они умрут, если его не увидят[13], а мы еще не знали, что предпринять. Mädchen[е] советовала нам итти в театр:—heute spielt man Komödie[ж],—говорила она и потом принялась объяснять достоинства игры Листа, который незадолго до нас был в Тильзите. Мы слушали ее болтовню охотно, потому что у нее очень мило двигался ротик. Наконец я узнал, что в отеле есть рояль, и, сходивши при лунном свете купить сигар, мы с Климченкой воротились в прекрасно меблированную комнату нижнего этажа, где нашли очень недурной рояль, на котором я играл родные песни. Климченко, облокотясь на диван, призадумался; я перестал играть и тоже призадумался, я был между вами в эти минуты. Перебрав на клавишах все, что могло мне напомнить лучшие минуты моей жизни в Петербурге, я возвратился в свою комнату. Поздно вечером Бальзак воротился от почт-директора; громко и радостно объявил нам, что он переговорил с последним, и мы рано утром другого дня

---

[а] В какой части говяжьей туши можно найти подобное мясо? Боже, что за страна!

[б] О боже, ведь этак я останусь без волос.—Вам надо остричь их.—Лучше всего стрижет их время—работа по ночам.—Разве вы всегда работаете ночью?—Всегда!

[в] Он говорит, что ваш профиль похож на профиль писателя.—Трудно более походить на себя самого.

[г] Это бульон, что нам давали нынче утром.

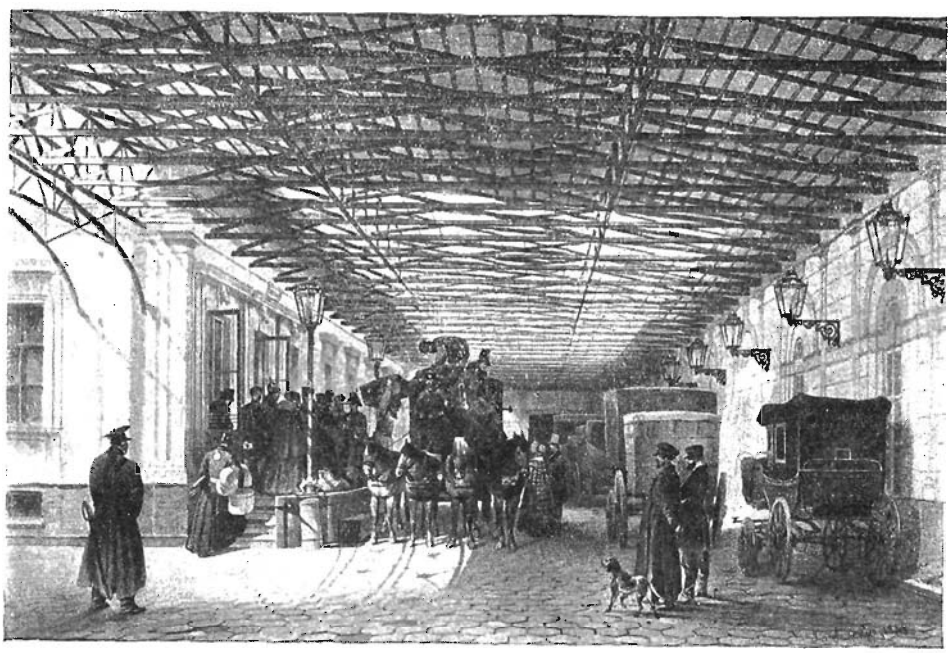
[д] Слишком много детей, это мешает главной фигуре.

[е] Служанка.

[ж] Сегодня играют комедию.

едем с легкой почтой. Вслед за этим мы начали укладываться спать; в комнате была одна кровать, и мы предоставили ее милому Бальзаку, который не переставал хлопотать обо мне, когда я поместился на диване, потом о Климченке, которого он бранил за недогадливость и сам уложил для него шубу вместо тюфяка на стульях, а вместо простыни прикрыл ее полотенцем; мы благодарили его за внимание и хлопоты и, смеясь остротам француза, заснули сладчайшим сном.

В Кенигсберг приехали около 6 часов вечера и прямо начали хлопотать об отправлении в Берлин; но хлопоты оказались излишними—места Бальзаку и нам были уже записаны, и мы снова благодарили Бальзака. Обедать отправились в Hôtel de Berlin, француз все боялся опоздать, торопился; однако мы успели покушать вдоволь



ОТПРАВКА ДИЛИЖАНСА ИЗ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНТОРЫ ДИЛИЖАНСОВ
Рисунок Л. Премацци, 1848 г.
Исторический музей, Москва

и похохотать над вкусом немцев, которые гипсовую фигуру Наполеона раскрасили разными красками и поместили на кронштейне в столовой отеля. За столом мы еще много смеялись над Климченкой, который, развернув свой билет, прочитал, что он едет из Кенигсберга в Тильзит, т. е. обратно, и опрометью бросился в почтамт, дабы успеть исправить ошибку аккуратных немцев. Кенигсберга мы почти не видали; с почты в трактир, потом опять на почту, там в карету, вот и все...

По дороге к Фридбергу дождь был нашим вторым кондуктором; не раз Бальзак, отворив окно кареты, которое уж должен был запирать от брызг, говорил с видом отчаяния:—Nous sommes toujours en Prusse![а]—и потом старался развеселить себя, покрикивая два слова, которые он только и выучил:—geschwind, Wasser![б].

От Кёница до Фридберга я уступил свое место одной немочке, которая хотя была и не в первой поре, но недурна. Я был разжалоблен ее положением, потому что она была принуждена сидеть между тремя сигарокурами и пересаживаться под дождем из ка-

[а] Мы все еще в Пруссии!
[б] Быстро, вода!

реты в карету на каждой станции. Когда мы остановились в Ландсберге, меня мучила ужасная жажда и я торопился достать пива; в это самое время старик высокого роста, весьма почтенной наружности, с ленточкой Красного орла, подошел к окну дилижанса, около которого сидел Бальзак, и рекомендовался ему, показывая ему какую-то книжку. Из движений того и другого можно было угадать, что они говорили друг другу вежливости. Пиво помешало мне слышать их разговор; я поспел только к последним словам Бальзака ...est agréable de rencontrer un confrère! [а]. После я узнал, что старик этот был Неренберг, доктор, философ, астроном и почт-директор. Сцена была умилительна!

По выезде из Ландсберга мы увидели закатывающееся солнце, которое, осветив простенький пейзаж, превратило его в бесподобную картину. Я это заметил Бальзаку.—Oui, le soleil est un grand artiste [б],—сказал он. Стало вдруг тепло, светло; мы ощущали всю прелесть прекрасного осеннего вечера и тем сильнее он на нас подействовал, что явился после стольких дождей и несносных ветров. Я говорил Бальзаку, что мы намерены сделать вояж пешком по Саксонской Швейцарии.—Eh bien,—подхватил он,—nous ferons ce voyage ensemble; j'enverrai mes paquets à Francfort! Nous prendrons des bâtons, un cheval... le cheval est nécessaire. Comme je suis un vieillard je le monterai quelquefois et vous aussi quand vous serez fatigués.—Vous n'êtes pas encore un vieillard, bien que plus âgés que nous,—заметил я. Et quel âge avez vous?—спросил он меня.—Vingt six.—Et votre camarade?—La même chose,—ответил я.—Et tous les deux ensemble vous êtes plus âgés que moi,—сказал Бальзак, засмеявшись.—Alors nous monterons le cheval à deux et vous irez toujours à pied [в],—сказал я ему. Мы смеялись и обдумывали план нашего пешеходства. После этого он стал благодарить за помогу ему в сношениях с немцами:—Merci, merci beaucoup, mes compagnons. Je vous donnerai mon adresse, pour que vous me trouviez à Paris;—là je me cache et sans adresse il serait difficile de me trouver [г]. Тут он обещал доставить нам возможность видеть в Париже все любопытное, избегая лишних издержек; показать дворцы, галлереи, chambre des députés [д].

Дорогой и дрянной ужин в Кюстрине изменил совершенно доброе расположение духа Бальзака, так что последний в сердцах воскликнул:—Si ça continue comme ça, j'irai tout droit de Berlin à Paris [е]. Покой часто в минуты голода оказывал нам услуги и на этот раз не отказался сомкнуть наши вежды; шоссе, с своей стороны, такого мягкого характера—только и делает, что убаюкивает в карете. К утру, в 6 часов, кондуктор толкнул меня под локоть и вскрикнул:—Voilà Berlin! [ж].

## 3

Приехали в Берлин в 6 часов утра и остановились в Hôtel de Russie[14]. Это был первый большой город, который мы встретили на пути; первые два дня мы бегали по его улицам вдвоем с Климченкой, не отдаляясь, впрочем, от его центра, где соединено все любопытное. В отеле нас испугала дороговизна; пошли наудачу отыскивать обед по-

---

[а] Приятно встретить собрата.

[б] Да, солнце великий художник.

[в] Ну что ж, мы совершим это путешествие совместно. Я отправлю свои вещи во Франкфурт. Мы возьмем палки, лошадь... лошадь необходима. Так как я старик, я буду влезать на нее время от времени, и вы также, когда устанете.—Вы еще не старик, хотя и старше нас.—А сколько вам лет?—Двадцать шесть.—А вашему товарищу?—Столько же.—Оба вместе вы старше меня.—Вот мы вдвоем и займем лошадь, а вам придется все время итти пешком.

[г] Спасибо, большое спасибо вам, спутники. Я дам вам свой адрес, чтобы вы могли разыскать меня в Париже. Там я прячусь, и без адреса вам трудно будет меня найти.

[д] Палату депутатов.

[е] Если так будет продолжаться, из Берлина я прямо поеду в Париж.

[ж] Вот и Берлин!

дешевле и попали в колбасную лавку Юнга, где наелись к а р б о н а д о (прекрасное блюдо) и потом учились по-немецки у очень хорошенькой дочери хозяина—Матильды. Сам Юнг был некогда в Петербурге, жил на острове [Васильевском] и встретил и угощал нас, как своих знакомых. На третий день, 15 октября, Бальзак, узнавши, что мы уже кое-что поразведали, просил походить с ним по городу; а вечером, в 6 часов, звал в свой номер отобедать. Мне любопытно было слышать сравнительное мнение Берлина с Петербургом[15] со стороны Бальзака, которое необходимо должно было воспоследовать, и я охотно отправился с ним. Мы вошли в Lustgarten и приблизились к музею Шинкеля, на наружной стене которого теперь пишутся фрески.

Стройность и так сказать стильность этого здания делают его лучшим в прусской столице. Расположение зал прекрасно, в особенности в нижнем ярусе, где находятся антики, между которыми отличаются Ариадна, Бахус, Мальчик с виноградом, Меркурий; Флора и Аполлон замечательны драпировками. Большая часть всех этих антиков без головы, рук и ног, которые реставрированы иногда удачно, но чаще очень не хорошо. В верхнем этаже размещены картины, и как нельзя лучше. Круглая зала прекрасна;—она, как и другие, нисколько не обременена украшениями, которые были бы излишними в музеуме, где должны играть главную роль сокровища скульптуры и живописи. Шинкель совершенно понял это и все внимание, как это видно, обратил на пропорции.—Un beau monument, que ce Musée de Schinkel; il est bâti en pierre et non en brique, comme l'on fait à Pétersbourg[а]. Внутри Бальзак не был и, повидимому, мало интересовался. На цоколе музеума поставлена бронзовая группа Кисса: Амазонка на коне поражает тигра. Это произведение мне нравилось еще в гравюре, приложенной когда-то к художественной газете, и потому я несколько раз приходил любоваться этой красивой группой, исполненной жизни, несмотря на слова Бальзака, что в лошади недостает бешенства, что хвост ее должен бы был расстилаться в воздухе, что голова ее не имеет достаточно огня и что Амазонка копьем не может убить тигра. На чьей стороне будет верх, неизвестно; в группе видна одна борьба, а что касается до хвоста, то французский литератор забыл, что художник имел дело не с пером, а с металлом. На площадке перед музеумом находится огромная чаша из маркграфского камня; полирование ее производилось паровой машиною в силу десяти лошадей и продолжалось два года с половиною. Она Бальзаку чрезвычайно понравилась. Отсюда мы перешли через большую площадь, посреди которой фонтан, к королевскому дворцу. Хотя Бальзак и старался меня уверить, что он красивее петербургского Зимнего дворца, но я все-таки отдаю преимущество Растрелли.—C'est plus majestueux [б],—говорил он и тут же осыпал чрезмерными похвалами Лувр, который он называл чудом и насчитал ужасные суммы, на него потраченные; превозносил также в нем плафон, написанный Энгром. В берлинском королевском дворце он окритиковал только главные ворота, которые, несмотря на свою огромность, точно не представляют ничего величественного.—Il faut qu'une petite porte paraisse grande,—voilà l'architecture! [в]—говорил он. Я, по привычке моей, усиленной еще любопытством, почти бегал по городу; запыхавшийся Бальзак беспрестанно сдерживал меня:—Vous allez trop vite, jeune sculpteur! [г].

Каждый раз я просил извинения и потом забывшись снова утомлял его скорой ходьбою.—Je sens la fatigue du voyage; il faut être très fort pour voyager comme cela! [д]—жаловался Бальзак, переваливаясь с ноги на ногу. Прохожие беспрестанно останавливались и глазели на него; я подозреваю, не узнавали ли его по известной всем его кари-

---

[а] Прекрасное здание—музей Шинкеля. Он выстроен из камня, а не из кирпича, как делают в Петербурге.

[б] Это величественнее.

[в] Надо, чтобы маленькие ворота казались большими,—вот тогда это архитектура!

[г] Вы идете слишком быстро, юный скульптор!

[д] Я чувствую усталость от путешествия; надо быть очень выносливым, чтобы так путешествовать!

катуре; к тому же широчайший фрак, порядочное пузинько, на шее яркий малиновый платок, полная, цветущая физиономия и какая-то особенная походка увальня, которая подала повод здесь русским студентам прозвать его карикатицей, не могли не останавливать на себе глаз мимопроходивших. Переходя через мост Schlossbrücke [а], спутник мой остановился и вскрикнул:—C'est très élégant: nous n'avons pas cela à Paris! [б]. И точно, тумбы из шлифованного гранита, соединенные бронзовыми, хорошего рисунка, решетками, придают большую красоту этому мосту; жаль только, что перила, идущие от него по набережной, составляют совершенную ему противоположность своею бедностью и безобразием. С моста мы сошли по прямому направлению в Липовую аллею (Unter den Linden). Здесь университет (осн. в 1809 г.)—очень красивое здание.—Mais c'est un peu nu; avec des colonnes en style corinthien, il fallait faire quelques ornements sur la façade; les côtés ne correspondent pas au portique [в]. Я готов повторить слова Бальзака, в этом случае. Когда мы подошли любоваться статуей Блюхера, то он мне заметил:—C'est mieux que la statue de Souvoroff [г]. Я сам думал так и потому согласился; на барельефах, помещенных на пьедестале, смесь мифологии с действительностью—нелепа, на что спутник мой в свою очередь тоже согласился[16].—Quelles sont ces statues? [д]—спросил меня Бальзак, указывая на две мраморные статуи, помещенные по бокам королевской караульни (построенной также по проекту Шинкеля).—Ce sont les statues de Scharnhorst et de Bulow [е]. Они достоинством ниже статуи Блюхера. Мы продолжали нашу прогулку по Unter den Linden.—On commence à faire des étoffes et d'autres objets de manufacture comme à Paris [ж],—говорил Бальзак и продолжал:—Berlin est plus intelligent que Pétersbourg, plus animé, plus gai; on voit qu'on vit pour soi.—C'est très propre! A Pétersbourg c'est l'extérieur qui est beau et ce qu'il y a dans les cours... c'est affreux! La perspective Newsky se termine par des cochonneries et ici l'allée des Tilleuls finit par une belle chose; on va de monument en monument. Berlin ressemble à Paris plus que Pétersbourg.—La porte de Brandenbourg est bien disposée [з]. Точно, ворота Бранденбургские, построенные Лангансом, очень хороши; но колесница, поставленная на них, еще более занимала меня: она была пленницей французов и снова воротилась в Берлин. Желая разыграть вполне роль чичероне, я и это объяснил Бальзаку, не разбирая, понравится ли французу или нет маленький эпизод из войны 1814 года.—Voilà la maison de l'ambassade de France [и],—перебил меня Бальзак. Это был старинный берлинский дом, около самых Бранденбургских ворот[17]. Мы возвращались уже назад по той же самой улице, Бальзак остановился.—Voilà une belle maison!—вскрикнул он.—C'est la maison de l'ambassade de Russie [к],—ответил я, и точно, дом нашего посольства едва ли не лучший на Unter den Linden.—Проходя мимо магазина эстампов, Бальзак обратил внимание на висевший в нем портрет.—

---

[а] Дворцовый мост.

[б] Это очень нарядно. У нас в Париже этого нет!

[в] Но оно несколько голо. При колоннах коринфского стиля следовало бы сделать какие-нибудь украшения на фасаде. Боковые стороны не вяжутся с портиком.

[г] Это лучше, чем статуя Суворова.

[д] Это что за статуи?

[е] Это статуи Шарнхорста и Бюлова.

[ж] Начинают изготовлять ткани и прочие фабричные изделия, как в Париже.

[з] Берлин культурнее Петербурга, в нем больше оживления, он веселее; видно, что здесь живут для себя.—Здесь очень чисто, Петербург красив снаружи, а что делается во дворах... Это ужасно! Невский проспект заканчивается какими-то свинушниками, а здесь Аллея лип—прекрасным сооружением; идешь от памятника к памятнику. Берлин больше похож на Париж, чем Петербург.—Бранденбургские ворота хорошо расположены.

[и] Вот дом французского посольства.

[к] Какой красивый дом!—Это дом русского посольства.

Ah, voilà le portrait de Liszt!—Vous pouvez vous trouver vous même ici,—заметил я.—Oh, non, jamais je n'ai permis de faire mon portrait; cela a l'air comédien. Ce que c'est que d'être une célébrité? Nous savons cela quand nous sommes morts[а].

В 6 часов в комнате Бальзака был приготовлен щегольски сервированный стол, с бутылкой Шато-Марго и графином чудесной мадеры.—Je vous donne un petit dîner fin, pour vous remercier, et pour faire nos adieux[б 18].—Из Берлина он хотел ехать на Франкфурт. Обед был очень сытен и изящен, и неудивительно! Бальзак, так увлекательно описывающий обеды, сам назначал блюда.—En Allemagne on ne sait pas manger; il faut absolument que vous veniez en France,—c'est le pays de la cuisine et des danseuses[в],—говорил он. Мы ели с Климченкой с большим аппетитом, Бальзак не отставал, в то же время шутил и беспрестанно подливал нам то того, то другого вина.—Ça sera trop!—заметил я ему, отстраняя свой стакан.—Vous même vous buvez

БАЛЬЗАК
Медальоны работы Давида д'Анже, бронза, 1842 и 1843 гг.
Один из этих медальонов Бальзак привез в 1843 г. в Петербург в подарок Ганской

beaucoup moins que nous.—Je ne bois jamais de vin, je prend toujours de l'eau.—Et dans votre jeunesse?—Jamais!—Et vous avez décrit avec tant de verité les orgies de la jeunesse.—Ah, vous vous rappellez, sans doute, la scène de La Peau de chagrin!—прервал Бальзак.—Oui, monsieur, ça m'étonne que sans éprouver la chose vous ayez pu faire un portrait aussi vrai de la nature![г]. Разговор прерван был появлением нового блюда, которое Бальзак рекомендовал в особенности. Он очень, повидимому, привык ко всем комфортам, потому что во все продолжение вечера был

---

[а] Ах, вот портрет Листа!—Вы можете найти здесь и себя.—О, нет, я не позволяю делать своих портретов. В этом есть какое-то позерство. А что такое быть знаменитым, это мы узнаем после смерти.

[б] Я хочу угостить вас скромным, но тонким обедом, чтобы отблагодарить вас и распроститься с вами.

[в] В Германии не умеют есть. Вам непременно нужно приехать во Францию. Это страна гастрономии и танцовщиц.

[г] Это будет уже лишнее!—Сами вы пьете много меньше нас.—Я никогда не пью вина, я пью только воду.—А в молодости?—Никогда.—Между тем вы описали с такой правдивостью юношеские оргии.—Вы вспомнили, наверное, сцену из «Шагреневой кожи»?—Да, сударь, меня удивляет, как могли вы, сами не испытав этого, дать такое верное изображение натуры!

очень прихотлив и разборчив; только Hôtel de Russie, содержатель которого Tagor, весьма ловкий и приятный человек, мог наконец угодить всем его сибаритским желаниям. Надо было видеть, как он восхищался, в самом деле прекрасными, фаянсовыми тарелками и вообще всем сервизом стола.—C'est très agréable de voir les fruits, les différents verres, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Tout cela fait un beau tableau [а]. Я полюбопытствовал и спросил его:—Quel âge avez vous?—Trente six! [б]. Молодится, подумал я[19].—Mais vous perdez vos cheveux à Berlin, aussi.—C'est toujours les travaux! Est-ce que je parais plus âgé que je ne le suis?—Au contraire, vous êtes frais, on voit que vous avez bien conservé votre santé.—J 'aime la santé plus que la fortune!—Avec la santé on peut tout avoir! [в]—прибавил я и предложил выпить за его здоровье. За сим последовали шутки, и мы, похохотавши вдоволь, поблагодарили его, распрощались, и так как наша природа не любит в подобных случаях оставаться в долгу, то я обратился к нему с следующей речью: Vous ne refuserez pas, monsieur, de venir demain déjeuner avec nous?—Avec plaisir [г],—ответил Бальзак. Мы расстались, пожелав друг другу спокойной ночи.

...В день именин короля мы были у королевской караульни, около которой прекрасно играла военная музыка и было большое собрание офицеров.—C'est triste, malgré que ce soit aujourd'hui la fête du Roi! [д]—говорил Бальзак. Нас очень интересовала Вильгельмова площадь, на которой, мы знали, что находятся мраморные статуи героев Семилетней войны: князя Ангальт-Дессауского, Шверина, Винтерфельда, Кейта, Цитена и Зейдлица;—взяли фиакр и Климченко разбранил меня за напрасную трату пяти зильбергрошей. Средина площади служит для объездки лошадей и окружена деревьями, между которыми едва заметны помещенные статуи, не имеющие решительно художественного достоинства. Чуть было не забыл сказать о театре Шинкеля, который хотя и очень хорош, но имеет характер слишком серьезный; в нем только и играть софокловы трагедии. Бальзак им чрезвычайно восхищался.—Quand les statues et les bas-reliefs seront exécutés en bronze, cela sera superbe! [е]—кричал он. Погоревший театр при нас уже отстраивали; здание Академии художеств имеет свой характер, но далеко до Кокоринова... [20].

17 октября[21] Бальзак пришел утром в нашу комнату и сказал, что на другой день едет с нами вместе в Лейпциг, и хлопотал очень, чтобы успеть видеть тот погребок, в котором пивал Гофман. Он нас надоумил и мы, после довольно долгих поисков, узнали, что эта Weinstube [ж] в Scharlottenstrasse, в № 32. Сейчас туда! Нам показали ту комнату, тот самый стол, за которым Гофман просиживал целые вечера и ночи. Над самым столом висит картинка, сделанная, если не ошибаюсь, самим Гофманом; на ней изображен портрет фантастика, смеющегося над своим приятелем Девриеном, хорошим актером, который запил как-то вечером вместе с Гофманом и совершенно позабыл, что должен в этот вечер играть. На картинке взят момент, когда Девриен опомнился, но это уже было за полночь; на столе опорожненные бутылки шампанского. Бальзак досадовал, что хозяина погребка не было дома; у него хранятся несколько рукописей этого писателя, которые он давал хозяину от вечера до вечера на сбережение. Вечером нас собралось пять человек,—сели на фиакр и покатили в Hunterslokal. Там нашли

---

[а] Очень приятно смотреть на фрукты, на стекло различной формы и различного цвета. Все это вместе дает красивую картину.

[б] Сколько вам лет?—Тридцать шесть!

[в] Но вы и в Берлине теряете волосы.—Это все результаты трудов! Разве я выгляжу старше своих лет?—Напротив, вы свежи, видно, что вы отлично сохранили свое здоровье.—Я ценю здоровье больше богатства.—При здоровье можно иметь все.

[г] Вы не откажетесь, сударь, пожаловать завтра к нам позавтракать?—С удовольствием!

[д] Скучно, хотя сегодня и тезоименитство короля.

[е] Когда статуи и барельефы будут выполнены в бронзе, это будет великолепно!

[ж] Погребок.

пространную залу, освещенную очень хорошо люстрами: множество столов были расставлены в разных направлениях, и каждый был занят или целыми семействами, или партией ремесленников, или ватагой шалунов, или группой студентов, которые большею частью были очень серьезны. Когда мы вошли, уже оркестр музыки гремел каким-то вальсом; мы заняли также особенный стол и совершенно нечаянно встретили еще троих русских, с которыми уже познакомились за прекрасным table d'hôte'ом в нашем отеле. Они, присоединившись к нам, начали шампанским, которое здесь очень дешево; нам оставалось кончить тем же,—мы так и сделали. Немцы, наслаждаясь музыкой, сопровождали звуки глотками пива из огромнейших стаканов, а немочки, между которыми было очень, очень много хорошеньких, вязали чулки или хозяйничали в своем кружке, разливая чай. Тихое удовольствие царствовало повсюду, и, несмотря на большое число присутствующих, было очень скромно и тихо; никому не запрещалось и прогуливаться здесь; но на это решались только те, которые были половчее, потому что приходилось лавировать в узких промежутках между столами.

18 октября[22] нашу поклажу сложили в один фиакр, а сами мы сели в другой. Tagor, содержатель, очень хлопотал об удобстве нашей отправки и мы распрощались. Салиаников хотел также с нами ехать в Лейпциг, а оттуда в Дрезден и, положивши свой сюртук в мой чемодан, просил взять ему также билет на железной дороге; но не явился в назначенный час,—мы ждали, ждали, наконец боялись уже опоздать; Бальзак бесился... Мы поехали! Только что выехали на Unter den Linden, видим, поклонник Шеллинга бежит сломя голову по тротуару,—мы ему кричим, машем руками. Он отвечает, что паспорт его еще не визирован, что он бежит в полицию.—Вот до чего доводит философия!—подумал я. Бальзак спросил меня, что он говорит и почему не садится. Я объяснил, в чем дело, и нетерпеливый француз снова начал кричать и горячиться; спустя же несколько времени сам начал хохотать, а потом опять сердиться, и эти переходы повторялись, пока мы не доехали до железной дороги. Я не мог надивиться в нем этой переходчивости от досады к смеху и обратно. Мы поспели к самому часу отправления машины; сели в вагон, раздался свисток,—мы понеслись, а билет Салианикова остался у меня в кармане. Бальзак покатился со смеху.

Поездка по железной дороге из Берлина в Лейпциг была для нас совершенным наслаждением. Втроем мы занимали целое отделение вагона; дилижансы нам надоели ужасно. Погода была прекрасная; беспрестанно мелькали города со своими церквами, башнями, с толпами любопытного народа, бежавшего смотреть поезд машины. В некоторых из этих городов мы останавливались на самое короткое время, в которое одни пассажиры высаживались и прибывали другие; во время остановок являлись с услугами, большею частью всегда хорошенькие, немочки (политика хитрых немцев трактирщиков), предлагая кофе, бутерброды, шнапс. Солнечный день, почти каждые полчаса появление нового города, беспрерывная перемена в лицах пассажиров, часто возобновлявшийся смех Бальзака,—все располагало нас быть веселыми, и мы, кажется, не миновали ни одной немочки, чтобы не отведать либо бутерброда, или шнапсу, или фруктов. Бальзак не мог надивиться постоянству нашего аппетита, да не мало удивлялся и немцам, которые ели на каждом шагу. На половине дороги мы пересели в открытую линейку, чтобы лучше любоваться окрестностями; но к вечеру раскаивались, потому что при поднявшемся ветре прозябли, а Бальзак, так не знал куда деваться от холода, жался, вертелся,—смешно и жалко было смотреть на него!—Холод, перед которым он скоробился, заставил его еще с большим усердием расспрашивать о лучших отелях Лейпцига у немецкого студента, в изношенной фуражке, в очках, с длиннейшими волосами, который назвал Hôtel de Rome. В 6 часов было уже совершенно темно, только бесчисленные огни в окнах городских домов сказали о Лейпциге. При выходе из вагона мы окружены были фалангой лонлакеев, которые прожужжали нам уши, крича: Hôtel de Breslau, Hôtel de Saxe, Hôtel такой, другой,

иной; вслед за этим ватага мальчишек приступила к нам при выходе на улицу, хватая наши мешки, зонтики, дабы отнести в отель. Такой уже несносно-услужливый народ! Однако мы храбро выдержали атаку и отправились в Hôtel de Rome. Бальзак взял номер рядом с нами; начались хозяйственные распоряжения: он отпер дверь в нашу комнату и как содержатель отеля говорил по-французски, то сам заказал и обед; нам уже не впервые приходилось полагаться на его вкус и потому мы оставались в полной надежде пообедать хорошо,—что и случилось. В Бальзаке, несмотря на то, что он, по словам его, кроме воды ничего не пьет, явилось желание испробовать хорошего вина, и он, взявши карту, читал: Haut Sauterne... bonsoir! Moselle... bonsoir! Madère... bonsoir! [а]. И так продолжал прощаться и с другими винами, пока глаза его не встретились с лафитом;—он спросил бутылку и выпил не без удовольствия, которое не замедлило высказаться в его расположении пошалить, как шалили и мы грешные, опорожнив бутылку мадеры. Началось веселье; я показывал фокус с рюмками, и в ту минуту, когда ловкость моя должна была увенчаться успехом, Бальзак меня рассмешил и я брызнул вином на скатерть, проиграв в то же время бутылку вина, которая шла на пари с Климченкой. Вслед за этим Климченко принялся учить Бальзака по-русски; мы хохотали ужасно,—наконец, утомленные дорогой, почувствовали наклонность ко сну, но прежде захотели пересчитать наши деньги. Бальзак волочился постоянно за моими червонцами, которые при каждом удобном случае выменивал на свои наполеондоры.—Ils sont si gracieux! [б]—приговаривал он, любуясь голландскими золотыми.—Vous aimez beaucoup l'or, à ce qu'il me semble?—спросил я его.—Ah, oui, je voudrais bien avoir un million comme cela [в],—и он потрёс в руке маленький боченок, наполненный наполеондорами, который заменял ему мешок.—Et de quoi êtes vous embarrassé,—vous, qui êtes le maître de la Peau de Chagrin?—Он, засмеявшись, ответил:—Je ne me plains pas que la nature m'ait refusé la richesse de l'imagination [г]. В эту минуту явилась горничная, которая принесла нам чистые полотенца к утру.—Jeune fille, parlez-vous français? [д]—спросил ее Бальзак. Она закраснелась и ответила: Nein!—Bonsoir [е],—сказал он; это нам напомнило его выбор [вин] и мы снова пустились хохотать.

В 5 часов утра Бальзак проснулся первый и разбудил нас криками: к а к о й! д р у г о й!—Не знаю, почему он напал именно на эти слова и каждый раз, произнося их, спрашивал, что они значат, потом прибавлял: Je suis un véritable perroquet! [ж]. Естественность обхождения, доступность и частое веселое расположение духа привязали нас к Бальзаку и совершенно неожиданное путешествие с ним останется навсегда в нашей памяти одним из приятнейших воспоминаний. Он рассказывал о своих вояжах, о своих намерениях, о Париже и пр. Однако я закалякался, а машина готова отправиться; мы мигом собрались. Бальзак, проученный накануне холодным ветром, взял второе место, а мы, как артисты, жадные до красот природы, сели на третьи места.

4

...Хочу спросить вас, почему слово Дрезден звучит как-то особенно для художников, имеет в себе что-то манящее, привлекательное и представляется как бы сокровищницей чего-то великого, чему мы научились удивляться по слухам, по преданию

---

[а] Сотерн—прощай!.. Мозель—прощай!.. Мадера—прощай!

[б] Они так привлекательны.

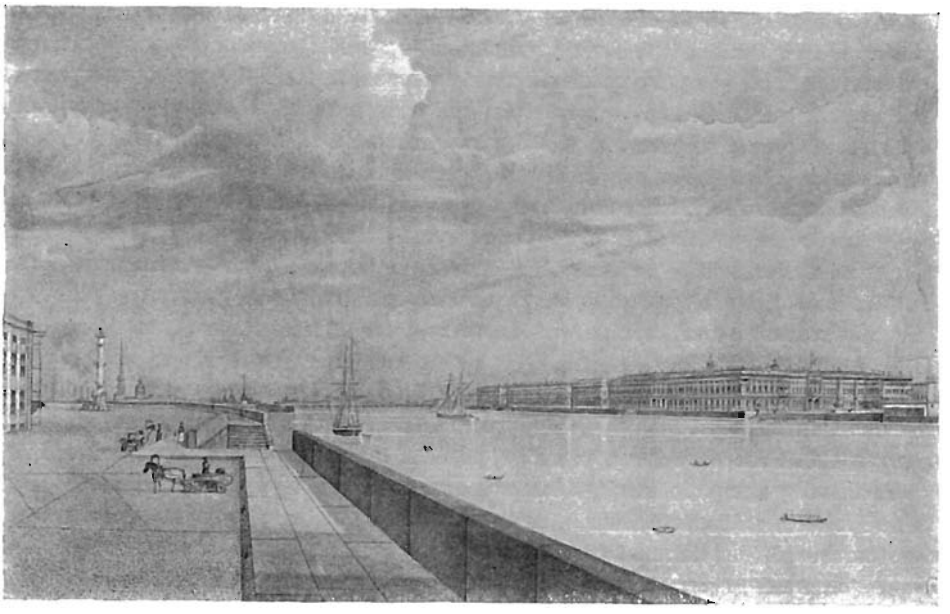
[в] Мне кажется, вы очень любите золото?—Да, конечно, я весьма хотел бы иметь миллион вот таких.

[г] Что же мешает вам, вам, создателю «Шагреневой кожи»?—Я не могу пожаловаться на природу, что она отказала мне в богатстве воображения.

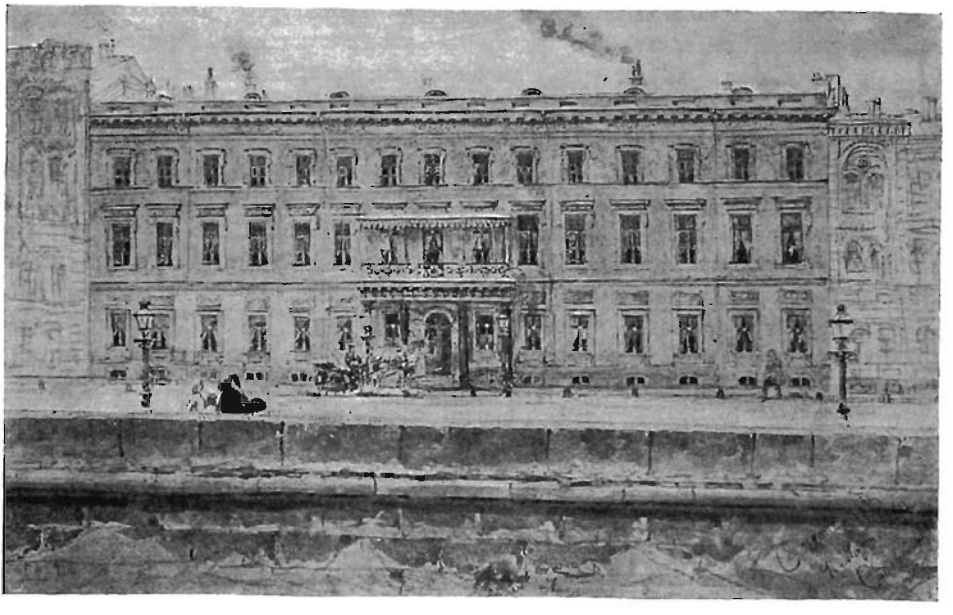
[д] Девушка, говорите вы по-французски?

[е] Нет!—Прощай!

[ж] Я настоящий попугай!



ВИД НА ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
Рисунок М. Воробьева
Русский музей, Ленинград



ДОМ ФРАНЦУЗСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ПЕТЕРБУРГЕ
Акварель В. Садовникова, 1860 г.
Музей города, Ленинград

еще с малолетства? Католическое духовенство хотело причислить умершего Рафаэля к лику святых; нам остается боготворить того, кто свел небо на землю. Может быть вы от меня ожидаете описания дрезденской Мадонны? Это невозможно! Скажу только, что с первого взгляда она меня не поразила,—и чтобы созерцать это видение, надо возвыситься до него; нужно очищение души, которая сбросила бы с себя всю скорлупу ежедневных впечатлений и отдалась бы вся единственному чувству—чувству веры. Вглядываясь более и более в чудо Рафаэля, удивляешься, как художник стал на эту высоту творчества! Чтобы передать нам божественные лики, он должен был сам в себе найти те неземные чувства, которыми одушевил их.—Sacré Dieu! Comment l'homme a-t-il pu faire une chose pareille?![а]—вскрикнул Бальзак, всплеснул руками, когда мы выходили из галлереи.—Mais c'est drôle de mettre des rideaux![б]—заметил он, и это меня взбесило; чтобы вывести французского литератора из заблуждения, я рассказал ему, как создалась эта картина, что для него было новостью; я только пожал плечами...[23].

На другой день по приезде я, Климченко и Бальзак шлялись по городу с 12 часов до 7 вечера и наконец заблудились[24], каждый из нас хотел похвастать памятью местности и снова вводил в новую ошибку, так что мы, переходя долго от незнакомого к незнакомому месту, добрели до большой аллеи, покрытой народом; оттуда же, переходя с террасы на террасу, вышли на высокий берег Эльбы, откуда нам открылся вид очаровательный, освещенный закатывающимся солнцем. Мы долго любовались красивыми берегами Эльбы, не нарушивши молчания и предавшись каждый своим мечтам; но вскоре тихое наше наслаждение было нарушено звуками музыки, которые раздавались в находившемся сзади нас, так называемом, дрезденском Бельведере. Мы не замедлили войти в последний, где нашли уже большое общество, разделенное на маленькие кружки, помещавшиеся за отдельными столами с чаем или пивом. Не желая изменить обычаю земли, мы спросили пива, закурили сигарки, а сердца наши закурились фимиамом любви к скромным хорошеньким немочкам, которых было очень много, с своими маменьками и папеньками. Оркестр музыкантов, сыграв увертюру из «Оберона», начал выполнять самые милые вальсы; в антрактах я сообщал Климченке свои замечания об обществе, он мне отвечал тем же; мы хохотали, острили, пенили свои кружки. Вдруг раздался оглушительный аккорд оркестра и заиграли престранный галоп, с пением музыкантов, в который примешано было и Крамбамбули.—On joue de la musique à faire fuir les chiens![в]—вскрикнул Бальзак, который после усталости был совершенно не в духе[25], но наш смех рассеял его, и он улыбаясь начал бить головою такт.—Voulez vous un cigare?[г]—спросил я скрипача Эрнста, француза, который с нами сидел за одним столом.—Je n'ai pas besoin de fumer[д],—ответил он и указал на дым, стоявший столбом в зале...

В остальные дни нашего пребывания в Дрездене мы часто посещали Галлерею и сверх того видели Японский дворец, в котором очень замечательны две античные группы, прекрасно реставрированные. Обе изображают Пана и Гермафродита, не совсем в приличном положении, от которого впрочем Гермафродит убегает. Бальзак просил нарисовать ему их и переслать в письме в Париж; я их и начертил в книжку Климченки. Центавр похищает..., забыл имя бабы, извините! Небольшая, но прекрасная бронзовая группа; прочие антики, все реставрированные, не богаче Берлинского музея, но встречаются недурные вещи. В Японском же дворце мы нашли всевозможные фарфоры: саксонский, японский, китайский, английский, голландский, неаполитанский и пр.

---

[а] Чорт возьми, как это человек мог создать подобную вещь?!
[б] Но смешно было написать занавески!
[в] От такой музыки сбегут и собаки!
[г] Хотите сигару?
[д] Мне нет надобности курить.

Здесь также из фарфора модель памятника Августу III, многосложного сочинения, которое предполагалось выполнить в настоящую величину из фарфора. Потом памятник Екатерине II; она представлена в фигуре Славы, в шлеме Минервы и сидящею около трех пальм, на одной из которых помещен медальон императрицы; тут же находится и фарфоровый портрет собачки Екатерины. Прохаживаясь в нижних комнатах Японского дворца, видишь перед собою целое царство фарфоров, превосходных по качеству и принимающих на себя всевозможные виды и формы; то они обращаются в изображения великих людей, то в китайскую вазу, то изображают диких зверей, то игрушку; а домашним фарфоровым птицам, собакам, кошкам и числа нет. Несмотря на всю затейливость формы и красок, которыми блестят фарфоровые вазы, помпейские горшки гораздо больше обличают вкусу и изящества, стоя с ними рядом. Сверх того, мы здесь встретили три бокала для шампанского, принадлежавшие Августу Крепкому, из которых два чуть-чуть не по сажени; любопытно бы было видеть после этого брюхо Августа Крепкого, которое необходимо бы было поместить рядом с этими бокалами для исторической верности. Забыл сказать вам, что человек, водивший нас по Японскому дворцу, научил нас ударять пальцами по китайским вазам, дабы не только увидеть, но и услышать их достоинства, и я вам признаюсь, что мне странно показалось, как до сих пор из этого фарфора не придумают какого-нибудь инструмента, потому что звуки, которые мы издавали, ударяя по вазам, были так полны, звонки и нежны, что мы в этом необыкновенном концерте нашли огромное удовольствие, которым и воспользовались сколько позволило время и терпение сторожа, боявшегося, чтобы мы под конец не разбили оркестра. После Японского дворца мы были в Grüne Gewölbe и не мало удивлялись богатству бриллиантов и других драгоценных камней в этой галлерее[26]. В бытность мою в Москве Оружейная палата переделывалась, ее нельзя было видеть, а потому я не могу сравнивать эти две знаменитые сокровищницы. Здесь же мы встретили работы некоего Динтлингера, из которых заслуживает особенного внимания Монгольский дворец, представленный в очень малом виде, по рисункам и описаниям. Маленькие фигурки с вершок, сделанные из золота с наведенною эмалью, обличают искусного художника, который, сохранив архитектуру Монгольского дворца, поместил самого Великого могола, окруженного двором и принимающего послов, как-то китайского и пр. Камин, украшенный всевозможных родов каменьями, великолепен; он был приготовлен в подарок императору Павлу I. Первые два куска фарфора, найденные в Мейссене, который теперь так славен своими изделиями, обработаны в вазы и занимают почетное место. Не без большого удовольствия мы нашли здесь портрет императора Петра I, написанный братом Динтлингера, у которого Петр проживал бывши в Дрездене; портрет очень схож. В той же комнате нам указали золотой ковш—подарок Иоанна Васильевича, на котором вычеканен царский титул. Здесь много также работ из слоновой кости; потом нас очень заняли карикатуры, сделанные из перлов, неправильная форма которых подала идею художнику сделать уморительные лица; но будет об этом,—перейдем к Цвингеру (зверинец); так называется дворец во вкусе рококо, от которого Бальзак пришел в восторг; но на самом деле он красив только вследствие давности, которая его сделала очень живописным[27]. Посреди заключающейся в нем площади поставлена статуя Фридриху-Августу, которая делает монументальный эффект,—и нас не мало поразило, когда мы увидели около пьедестала памятника совершенно иссохшие лавровые и цветочные венки, которые бросали в день рождения покойного короля, и они не были тронуты в продолжение месяца с места. Цвингер совершенно необитаем; одна пыль заняла все апартаменты; в нем же есть натуральный кабинет, над которым не мало потешался насмешливый Бальзак,—и точно, все чучела зверей и птиц изъедены блохами и вшами. Лев оплешивел, павлин без хвоста, какая-то необыкновенная утка, совершенно ощипанная, опустив голову как будто напрашивалась в соус.—Церковь Frauenkirche очень замечательна хорошей архи-

тектурой рококо; караульня городская выстроена по рисунку Шинкеля; но беднее берлинской.

В один прекрасный день, я вследствие прочтения Бальби предложил своим спутникам отправиться во дворец Марколини осмотреть его отдельные картины и сады; мы проходили полдня, расспрашивали, разведывали, устали страшным образом, но дворец Марколини как будто провалился сквозь землю. Всех больше был рассержен Бальзак, надевший, как нарочно, в этот день башмаки; он все ворчал:—Le caillou n'est pas tendre! [а]. Наконец, мы попали в давно желанный дворец, в котором и тени не осталось прежнего великолепия, и на место прекрасной группы Нептуна с морскими божествами, об которой говорит Бальби, мы нашли статую фламандца, облокотившегося на бочку и курящего трубку.

На последних днях нас нашел в Дрездене Салиаников, об странностях которого я вам писал в первых письмах из Берлина, и познакомил нас с молодыми композиторами Селецким[28] и Стаковичем, которые присоединились к нам в прогулках,—и мы все вместе преприятно проводили время. Нет ничего досаднее как делать знакомства в путешествии; только что сойдешься с лицом покороче и захочешь быть вместе, глядь, оно прощается, едет в совершенно другую сторону или тебя торопят с ним проститься и сесть в дилижанс. Так случилось и здесь; мы отправились вместе обедать в трактир, раскупорили бутылку шампанского, поцеловались и через пять минут уже махали им платками на железной дороге. Совершенно забыл рассказать о встрече нашей с какими-то русскими дамами в театре, которые, услышав родной язык, беспрестанно оборачивались к нам и рассматривали нас с ног до головы; мы со своей стороны также были очень довольны, слышавши их говорившими по-русски, и презабавно было, когда они и мы вслух рассуждали об игре актеров, мы слегка и осторожно противоречили им, на что они делали свои возражения; но заметьте, что мы не смотрели друг на друга и не сделали знакомства; дамы же, к чести русских дам, были прехорошенькие. «Гугенотов» мне не удалось здесь слышать, о чем я очень до сих пор сожалею. Как-то пошел в «Фенеллу», но серкль уже был занят. Почти постоянно каждый вечер мы были в Бельведере, и всегда с новым удовольствием. Как-то воротившись поздно в наш отель (de Rome), мы спросили ужинать; вслед за нами вошли с большой компанией мужчин две стройные и прекрасно одетые дамы. Мы остолбенели, а Бальзак начал чесать себе брюхо; это были такие типы немецкой красоты, каких я еще никогда не видывал,—и хотя теперь живу уже полтора года в рассаднике красот, но эти две головы очаровательных немок до сих пор не изглаживаются из памяти. Я предложил Бальзаку выпить их здоровье мадерой, на что он охотно согласился;—этот толстопузый француз, которого русские прозвали нашим дитей, непременно собирался итти с нами пешком в Саксонскую Швейцарию; но намерения его переменились и он отказался, чему мы впрочем были очень рады. Этот увалень, наконец, нам стал в тягость. Накануне отъезда Бальзака, артист Эрнст надул меня гадчайшим образом, продав мне по золотому коленкоровые рубашки за тонкие полотняные;—тут только я догадался, что нужно ознакомиться короче с житейскими потребностями. В Дрездене же я купил часы, которые через три дня так заходили неверно, как больной, вставший с постели, а потом стрелки начали бегать вперегонку;—я проклял честность немцев и запер часы в чемодан,—жалею теперь, что не пожертвовал ими в Grüne Gewölbe.

В последний вечер мы поужинали с Бальзаком, и он все считал и пересчитывал свои деньги в боченочке, выменивая у меня беспрестанно мои большие золотые на его маленькие. Отложив горсточку червонцев, он определил ее на вояж до Франкфурта. —Mais si je dépensais plus, je serais un Sardanapale! [б]—вскрикнул он. Он написал мне в альбоме две строки на память и свой адрес в Париже. 22 октября я проснулся, но уже

---

[а] Булыжник не очень-то мягкий!

[б] Но если бы я истратил больше, я был бы Сарданапалом!

Н. А. РАМАЗАНОВ
Автопортрет в письме к родным из Рима, 1843 г.
Исторический музей, Москва

не нашел Бальзака, узнавши между прочим, что он будил меня, я поторопился на железную дорогу, где нашел его уже сидящим в вагоне. Он мне желал счастливого пути, советовал ехать через Мюнхен на Вену, выхваляя ужасно последний город; потом обещал увидеться в Риме и звал в Париж; я ему пожелал также доброй дороги, мы поменялись приветствиями; он благодарил меня за внимательность в путешествии.—Adieu!—сказал он;—adieu![a]—сказал я, и вагоны покатились[29]...

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Первые краткие сообщения о Бальзаке Рамазанов дает 27 сентября (ст. ст.) 1843 г. из Риги: «Из Берлина надеюсь написать письмо со всеми подробностями и нечто о Бальзаке, с которым в Риге сажусь рядом»; в тот же день из пограничного Таурогена (на расстоянии 782 верст от Петербурга) Рамазанов пишет: «Столько интересного, любопытного, что едва успеваешь записывать, да еще руки зябнут; да и Бальзака слушать хочется, который крайне словоохотлив...».

[2] Климченко Константин Михайлович (1816—1849)—скульптор, товарищ Рамазанова по Академии художеств, где получил с 1834 по 1839 гг. ряд наград за свои лепные работы. Выпущенный из Академии в 1839 г., он вылепил в 1840—1841 гг. барельеф с изображением Карамзина и его семейства для памятника историку в Симбирске. В 1843 г. Климченко отправлен пенсионером Академии в Рим, где и скончался. (Русский биографический словарь, 1897, том Ибак—Ключарев, 738).

[3] Давид д'Анже (David d'Angers) Пьер-Жан (1788—1856)—французский скульптор, резцу которого принадлежат громадный барельеф на фронтоне Пантеона, представляющий собрание знаменитых французских деятелей, много статуй и особенно портретных бюстов и медальонов, в том числе и Бальзака. «Давид подарил моей сестре рисунок моего профиля, сделанный им для медальона. Это шедевр. Но мы будем иметь мраморный бюст в нашем салоне. Давид закончит его к выставке 1844 г.» (Lettres à l'Etrangère, II, 115). «Как жаль, что невозможность передать в скульптуре взгляд заставила художника придать мне этот вдохновенный вид, который ничуть не лучше естественного!» (ibid., II, 134). В 1842 и 1843 г. Давид отлил в бронзе два медальона с изображениями Бальзака в профиль и en face. Как это явствует из слов Бальзака, приводимых ниже Рамазановым, писатель привез один из медальонов в Петербург Ганской. Резцу Бартолини принадлежал бюст Ганской (Флоренция, 1839).

[4] Бальзак упоминает имя Карамзина в своем отзыве о книге J.-B. Mау; см. выше, гл. VIII, стр. 315—316.

[5] О русских дорогах Бальзак писал Ганской 14 октября 1843 г.: «Шоссейная дорога от Петербурга до Тильзита хороша лишь на двух перегонах—от Петербурга до Нарвы и от Риги до Таурогена; так что добрая половина пути отвратительна, особенно после дождя, а мы ехали, увы! как раз в такую погоду. Можете себе представить испытанную нами тряску! Но кареты превосходны, ибо они ее выдерживают; все русское при-

[a] Прощайте!

способлено к суровому существованию... Поистине чудо проделать этот переезд в три с половиной дня—это дает наилучшее представление о русском упорстве. Мы ехали с упряжкой в восемь лошадей, а иногда и в десять. Но там, где шоссе в исправности,—оно великолепно» (Correspondance, II, 44—45).

[6] Из Берлина 14 октября 1843 г. Бальзак сообщает Ганской: «Моими попутчиками оказались два скульптора, из которых один изъясняется по-французски вроде Леона-Леони [лакея Ганской], и я только что прогулялся с ним по городу. Оба эти юноши были чрезвычайно внимательны ко мне на всем протяжении пути, особенно после Риги, где меня покинул мой первый спутник француз. Характер художников всюду одинаков» (Lettres à l'Etrangère, II, 197).

[7] «Негоциант, говоривший по-французски, покинул меня в Риге,—пишет Бальзак Ганской 28 сентября/10 октября 1843 г., но я еду, кажется, до Берлина, с двумя скульпторами, которых ваш великолепный повелитель отправляет в Рим и из которых один немного изъясняется по-французски» (Lettres à l'Etrangère, II, 195).

[8] Этекс (Etex) Антуан (Тони) (1808—1888)—французский скульптор, художник, архитектор и гравер. Его мраморная группа Héro et Léandre, выставленная в «Салоне» только в 1845 г., находится ныне в Лондоне.

[9] Бальзак упоминает имя Бирона в «Человеческой комедии». См. выше, гл. VIII, стр. 320.

[10] В письме к Ганской от 14 октября 1843 г. Бальзак писал: «Я буквально ничего не ел, ибо нечего есть по этой дороге; но сами станции чрезвычайно красивы, и всюду подают чудесный русский чай» (Correspondance, II, 45).

[11] Первое письмо Бальзака к Ганской с дороги помечено: «Тауроген, вторник, 28 сентября—10 октября 1843 г., в полдень». Далее следует: «Дорогая графиня, философ, уверявший, что невозможно писать пером харчевни, утверждал великую истину: вы бы, несомненно, рассмеялись, увидев, как я держу здесь свое перо...». Письмо заканчивается указанием: «...пишу вам в ожидании обеда» (Lettres à l'Etrangère, II, 194—195).

[12] В рукописи Рамазанова ошибочно назван Штутгарт, через который не мог проходить маршрут из Петербурга в Берлин. Штаргард (Stargard)—небольшой город в провинции Померании (Восточная Пруссия).

[13] «Весь отдых длился лишь двенадцать часов в Тильзите; из них три часа пришлось отдать директору почты, к которому у меня были рекомендации и который оказал мне достаточно услуг, чтобы я провел у него вечер за чаем» (Lettres à l'Etrangère, II, 195).

[14] Бальзак приехал в Берлин в субботу 14 октября 1843 г. в 6 час. утра, о чем в тот же день сообщил Ганской. «Я остановился в Hôtel de Russie—здесь чувствуешь себя превосходно устроенным, и моя хозяюшка, вероятно, с удовольствием узнает, что здесь очень дешево» (Lettres à l'Etrangère, II, 195, 197).

[15] Сравнение Петербурга с Берлином имеется в письмах Бальзака к Ганской (см. выше, гл. III, стр. 200).

[16] Памятник Суворову в Петербурге работы скульптора М. И. Козловского; по мнению некоторых искусствоведов, это—один из лучших европейских монументов (см. Курбатов В., Петербург, П., 1913, 456).

[17] В день приезда в Берлин, 14 октября, Бальзак сделал визит французскому посланнику при прусском дворе, графу Карлу де Брессону, а 16 октября присутствовал на большом обеде в посольстве (Correspondance, II, 47—48, см. также выше, стр. 221 и примеч. 37-е к гл. III).

[18] Об этом в письме к Ганской: «Два эти молодых человека изъяснялись за меня в харчевнях, и я пригласил их здесь на обед (разумеется, обед, рассчитанный на художественную богему!). Это еще самый скромный вид благодарности, какую я мог выразить перед нашей разлукой этим услужливым юношам за их заботы обо мне (Correspondance, II, 46). 15 октября он сообщал Ганской: «Я угостил двух моих скульпторов обедом, состоявшим из супа, дикой козы, рыбы под майонезом, макарон о-гратен, полбутылки мадеры, бутылки бордо и легкого дессерта.—Ecco, Signorina! В восемь часов я распростился с моими гостями и лег спать...» (Lettres à l'Etrangère, II, 198).

[19] Бальзак родился 20 мая 1799 г., и в описанный момент (сентябрь 1843 г.) ему исполнилось 44 года. В январе 1842 г. Бальзак писал Ганской: «Давид [скульптор], которому я позирую для медальона в ожидании бюста, сказал мне: «Вам можно дать тридцать лет». А между тем, мне скоро пойдет сорок четвертый» (Lettres à l'Etrangère, II, 108).

[20] Т. е. до здания Академии художеств в Петербурге—одного из значительнейших произведений петербургской архитектуры XVIII в.,—воздвигнутого в 1765—1772 гг. по планам архитекторов Деламота и Кокоринова и законченного арх. Фельтеном.

[21] Ошибка Рамазанова: следует читать 16 октября. По письмам Бальзака к Ганской видно, что во вторник 17 октября Бальзак выехал из Берлина в Лейпциг железной дорогой.

[22] 17 октября, вторник.

[23] Свои впечатления от Дрезденской галлереи Бальзак бегло описывает в письме к Ганской от 19 октября 1843 г., отмечая Корреджо, Рубенса, Рафаэля и ставя выше всего Мадонну Гольбейна (Correspondance, II, 53—55).

[24] В четверг 19 октября 1843 г. Бальзак сообщает Ганской: «Вчера, т. е. на утро после приезда, пропустив часы посещения Галлереи, я прогулялся по всему городу...» (Lettres à l'Etrangère, II, 203).

[25] «Вы не представляете себе, какой у меня грустный вид,—пишет Бальзак Ганской из Дрездена (19 октября).—Два моих скульптора поминутно спрашивают меня, вернее, тот из них, который изъясняется по-французски: «Да что это с вами»?.. (Lettres à l'Etrangère, II, 204).

[26] На Бальзака собрание дрезденских драгоценностей не произвело впечатления: «Сокровищница—пустяк,—пишет он Ганской 19 октября 1843 г.,—алмазы на три или четыре миллиона не могут ослепить того, кто только что видел драгоценности Зимнего дворца» (Lettres à l'Etrangère, II, 204).

[27] В письме к Ганской от 19 октября 1843 г. Бальзак пишет: «Что же касается дворца, начатого Августом Сильным, то это один из замечательнейших образцов архитектуры рококо... нет ничего ни в России, ни тем менее в Пруссии, ни вообще в северных странах, что было бы равно этому» (Lettres à l'Etrangère, II, 203—204).

[28] См. «Записки» П. Д. Селецкого, часть I (1821—1846). Издание редакции «Киевской Старины», Киев, 1884, стр. 162, 163 и 164. [«В Дрездене я] познакомился со многими русскими путешественниками, в числе которых находился художник Рамазанов, приехавший в Дрезден из Петербурга с Бальзаком...».

[29] Бальзак выехал из Дрездена в субботу 22 октября 1843 г. и 25-го прибыл в Майнц, откуда 26-го отправился в Кельн и через Аахен, Льеж и Брюссель, пробыв четыре дня в Бельгии, приехал в Париж 3 ноября (Lettres à l'Etrangère, II, 206—207).

## IV. АВТОГРАФЫ ПИСЕМ БАЛЬЗАКА В СОБРАНИЯХ СССР

Знаком «*» отмечены письма, впервые по автографу опубликованные в настоящей работе.

1.* Бибикову Д. Г.—Верховня, февраль 1849 г.

Собрание Дашкова. Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград.—См. выше: глава V, 266.

2.* Ему же—Киев, 8 мая [1849 г.].

Собрание Дашкова. Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград.—См. выше глава V, 267.

3.* Верде (Werdet) Эдмону—[Париж, 1836—1837 гг.].

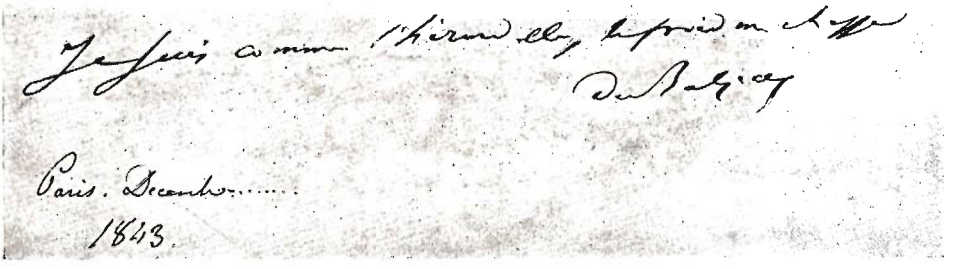
«Альбом автографов П. А. Вяземского». Гос. архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва.—См. выше: приложения, 347—348.

4.* Гаккелю П. Ф.—Париж, 22 августа 1848 г.

Частное собрание, Москва.—См. выше: приложения, 336—338.

5.* Голицыной Е. И.—альбомная запись. Париж, декабрь 1843 г.

«Альбом Е. И. Голицыной» («Princesse Nocturne»). Собрание А. Б. Гольденвейзера, Москва.—См. воспроизведение на этой странице.



„Я — КАК ЛАСТОЧКА, МЕНЯ ГОНИТ ХОЛОД. ДЕ БАЛЬЗАК"
Автограф Бальзака в альбоме Е. И. Голицыной, с ее пометкой: „Париж. Декабрь 1843 г."
Собрание А. Б. Гольденвейзера, Москва

6.* Ленцу В. Ф.— [Париж, октябрь 1842 г.].

Рукописное отделение Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.—См. выше: приложения, 346—347.

7. Орлову А. Ф., графу,—Париж, 14 июля 1848 г.

Дело № 443 III отделения, 3-й экспедиции, 1848 г. «По ходатайству французского литератора де Бальзака о дозволении ему возвратиться из Парижа в Киев и о разрешении помещице Киевской губернии Ганской вступить с ним в брак», лл. 1—2. Архив революции, Москва.—Опубликовано: сб. «Звенья», III—IV, 295—298; см. также выше, гл. VI, 288—289.

8. Ему же—Париж, 31 августа 1848 г.

Названное дело № 443 III отделения, лл. 15.—Опубликовано: сб. «Звенья», III—IV, 301—302; см. также выше: глава VI, 286.

9.* Сан-Северино (San-Severino), графам,—[Милан, 1837 г.].

«Альбом Голицына». Гос. архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд 86, л. 47.—См. выше: приложения, 348.

10.* Смирновой—Петербург, 13 сентября 1843 г.

«Альбом Шиповой». Архив Института литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. 244/195.—См. выше: глава III, 216.

11. Собанской-Чиркович К. А.—[Верховня, январь 1849 г.].

«Альбом Каролины Собанской». Всеукраинский исторический музей, Киев.—Опубликовано: Correspondance, II, 362—364 (письмо CCCLI).

12.* Уварову С. С.—Верховня, октябрь 1847 г.

Альбом автографов «Письма знатных иностранцев к графу С. С. Уварову». Исторический музей, Москва.—См. выше: глава IV, 238—240; ср. Korwin-Piotrowska, 439—440.

13.* Ему же—Париж, 14 июля 1848 г.

Названный альбом автографов. Исторический музей, Москва.—См. выше: глава VI, 277—279.

14.* Ему же—Париж, 26 августа 1848 г.

Названный альбом автографов. Исторический музей, Москва.—См. выше: глава VI, 283—284.

15.* Ему же—Верховня, 3 января 1849 г.

Названный альбом автографов. Исторический музей, Москва.—См. выше: глава VII, 290—292.

16.* [Чернилевскому А. А.]—[Дубно, март 1850 г.].

Собрание Вакселя, № 106.—Рукописное отделение Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.—См. выше: глава VII, 303—304.

17.* [Шодуару С. И.] барону—Верховня, 15/27 декабря 1848 г.

Рукописное отделение библиотеки Всеукраинской академии наук, Киев.—См. выше: приложения, 344—346.

18.* [Ему же]—[Верховня, конец декабря 1848 г.—январь 1849 г.].

Рукописное отделение библиотеки Всеукраинской академии наук, Киев.—См. выше: приложения, 346.

19.* Юзефовичу М. В.—Верховня, октябрь 1847 г.

Частное собрание, Киев.—См. выше: глава V, 258.

20.* Ему же—[Верховня], январь 1850 г.

Частное собрание, Киев.—См. выше: глава V, 260.

21.* Ему же—Киев, 6 февраля 1850 г.

Частное собрание, Киев.—См. выше: глава V, 262.

---

В 1933 г. в Киеве были обнаружены корректурные гранки «Давида Сешара» с собственноручной правкой Бальзака. К сожалению, эти ценные творческие документы не могли быть нами изучены.

# «КНЯЗЬ ЭЛИМ»

Статья prof. André Mazon (Париж)*

Образ князя Элима Мещерского — «князя Элима», как называли его парижане в 30-х годах, — привлекает мое любопытство уже более двадцати лет, и, чтобы осветить его, я собирал все документы, какие мог достать.

Этот молодой писатель, умерший в Париже в 1844 г., в возрасте 36 лет, был в области художественной литературы, так же как в области официозной и славянофильской идеологии, одной из самых живых связей между своей родиной и романтической Францией Людовика-Филиппа. Его деятельность заслуживает всестороннего освещения, что я и предполагал сделать вначале. Однако, у меня нехватило на это времени, нехватает и теперь, и я уже потерял надежду когда-либо найти досуг для этой работы. Я счастлив поэтому представившейся мне возможности предложить на страницах «Литературного Наследства» вниманию историков литературы хотя бы помещаемые ниже заметки, далекие от того, чтобы претендовать на исчерпывающее освещение фигуры князя Элима. Впрочем, тексты документов, в них сообщаемые, при всей своей разрозненности, научают нас большему, нежели всегда несколько произвольный синтез монографии.

## НЕСКОЛЬКО ОТПРАВНЫХ ПУНКТОВ

Князь Элим Мещерский был единственным сыном Петра Сергеевича Мещерского (1779 г. — 31 июля 1856 г.) и Екатерины Ивановны Чернышевой (25 мая 1782 г. — 22 декабря 1851 г.)[1].

Через своего отца он был близок к религиозному движению конца царствования Александра I и к среде одновременно аристократической и свободомыслящей в церковных вопросах.

Петр Сергеевич занимал различные высокие посты[2]. Он был, в частности, прокурором «святейшего синода» с 24 ноября 1817 г. по 2 апреля 1833 г., находясь сначала в подчинении министру духовных дел, который был в то же время министром народного просвещения (указ от 19 ноября 1817 г.), а потом, с мая 1824 г., в непосредственном подчинении царю, в роли, аналогичной роли министра исповеданий[3]. Как известно, это подчинение прокурора синода министру народного просвещения, а позднее царю, свидетельствовало, так же как и покровительство, оказываемое Библейскому обществу, о недоверии Александра к православному синоду.

---

* Перевод с французской рукописи — П. Перцова под редакцией автора. Переводы стихов — М. Талова.

Петр Сергеевич был «уволен» от своих обязанностей прокурора в 1833 г. и назначен членом сената. Он председательствовал в Библейском обществе, где Александр Тургенев был секретарем. В 1823 г. он был помощником главного попечителя Человеколюбивого общества[4]. За высокопоставленным чиновником нам не видно, каков был человек, но мы угадываем мистика или, по крайней мере, набожного человека, уклончивого, с налетом ханжества. «Человек благочестивый и кроткий»—по определению архимандрита Фотия[5]; «тишь да гладь да божья благодать»—по другому свидетельству[6]. Этот «святой» человек, имевший, кстати сказать, в 1833 г. серьезный долговой процесс, не жил со своей женой; он женился вторым браком на Прасковье Егоровне Поповой, князь же Элим жил по преимуществу у своей матери.

Эта последняя была дочерью генерала (генерал-поручика) и сенатора Ивана Львовича Чернышева и сестрой князя Александра Ивановича Чернышева—генерала, отличившегося во французской кампании и ставшего военным министром, а позже председателем Государственного совета; она приходилась племянницей Ланскому, фавориту Екатерины. Именно ей было суждено направлять карьеру сына, поселиться подле него за границей и открыть в Париже литературный салон, самый блестящий из парижских салонов середины 30-х годов. Мы угадываем в ней женщину, способную отстаивать интересы князя Элима, нежно-деспотическую, любящую играть видную роль; такой, по крайней мере, рисуют ее нам непосредственные или литературно приукрашенные свидетельства современников.

Князь Элим родился в 1808 г. Он получил блестящее воспитание, дополненное пребыванием на Западе; Веймар и Франция сыграли тут главную роль[7]. Карьера его далась ему легко: это карьера дипломата-литератора, но более литератора, нежели дипломата. Он был определен в возрасте 15 лет в коллегию иностранных дел, потом последовательно причислен к миссиям в Дрездене (1828—1830), в Турине (1831—1833) и, наконец, к посольству в Париже (1833—1840); одновременно он состоял парижским корреспондентом русского министерства народного просвещения. Его произведения, за исключением нескольких русских стихотворений, как мы увидим, все написаны по-французски. Около 1840 г. он женился на Варваре Степановне Жихаревой, дочери сенатора С. П. Жихарева (1787—1860), одного из участников «Арзамаса», друга Чаадаева, оставившего нам любопытные мемуары, весьма поучительные для начала XIX века[8]. Варвара Степановна, родившаяся в 1819 г., молодая, красивая, привлекала к себе внимание московского общества своими успехами, а позже своими похождениями[9]. От этого брака родилась единственная дочь, Мария Элимовна, вышедшая впоследствии замуж за Павла Петровича Демидова, князя Сан-Донато. Князь Элим умер в Париже 2/14 ноября 1844 г.; он был похоронен в Царском селе, в церкви на Казанском кладбище[10]. Его вдова, несколько времени спустя, вышла вторично замуж за графа Борбон дель Монте.

## ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ОДНОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ

Дипломатическая карьера князя Элима была только видимостью. Документы говорят здесь сами за себя:

I

Июля 29 дня 1823 г.[11]

Его импер. величество высочайше повелеть соизволили князя Элима Мещерского, сына обер-прокурора святейшего правительствующего синода, кн. Мещерского, определить в ведомство госуд. коллегии иностранных дел актуариусом, с позволением продолжать науки.

Граф Нессельроде

Это повеление сопровождается заявлением князя Элима, удостоверяющим, что он не принадлежит и не будет принадлежать ни к какой масонской ложе.

II

Далее идет следующее письмо матери князя Элима:

Сего 19 марта 1825 г.

Государь!

Я начинаю с того, что призываю всю снисходительность вашего императорского величества к той смелости, с какой приступаю к моим мольбам. Материнская заботливость послужит мне извинением, а прекрасная душа вашего величества, к которой никогда не обращаются понапрасну, внушает мне мужество изложить мои пожелания с полнейшей искренностью.

Я посвятила все малые силы и средства, уделенные мне небом, воспитанию моего сына; все мое честолюбие заключалось единственно в мысли сделать его когда-нибудь достойным служить с честью своему государю и своему отечеству. Провидение, казалось, сжалилось надо мной, и мой сын, которому исполнилось семнадцать лет, только что выдержал все университетские экзамены самым удовлетворительным образом. Прискорбное состояние моего здоровья принуждает меня снова покинуть отечество на несколько лет; самое горячее желание моего сердца заключалось бы в том, чтобы согласовать эту тяжкую необходимость с тем попечением, которое одна только мать может иметь над моральной жизнью молодого человека в начале его карьеры. К вашей неисчерпаемой доброте, государь, решаюсь я обратиться с ходатайством об этой великой милости. Мой сын состоит актуариусом при коллегии иностранных дел; причислив его к миссии в Дрездене, с жалованьем, более чем необходимым в нашем положении, ваше величество осчастливите мать, которая живет только для своего ребенка и будет вечно благословлять августейшего виновника спасительного благодеяния.

Вынужденная уехать в первых числах марта, я осмеливаюсь умолять вас, государь, довершить милость, мною испрашиваемую, дав ваше решение ранее вашего отъезда.

Вручая в ваши руки, государь, драгоценнейшие интересы своей жизни, остаюсь с глубочайшим почтением

вашего императорского величества
всенижайшая верноподданная
Екатерина Мещерская

Прошение княгини было удовлетворено несколькими неделями позже, 23 апреля. Жалованье, назначенное новому атташе при дрезденской миссии, составляло 600 рублей в год [12].

III

Письмо от апреля 1825 г. (без обозначения числа), подписанное князем Элимом («Актуариус кн. Елим Мещерский»), служит препроводительной бумагой в министерство иностранных дел при университетском свидетельстве: «Получив из комитета Импер. Спб. университета аттестат в учинении мне испытаний в науках, имею честь представить оный при сем...».

Аттестат гласит:

«Князь Мещерский оказал следующие сведения. Российский язык знает по правилам грамматики и сочиняет на оном правильно; переводит с английского языка на российский удобно; в правах естественном, римском, частном, гражданском, с применением сего последнего к российским законам, и в российской истории имеет основательные; в уголовных законах средние; в государственной экономии хорошие; во всеобщей древней и новой истории и хронологии очень хорошие; во всеобщей географии хорошие, в российской географии очень хорошие; в российской статистике хорошие; в арифметике хорошие; в геометрии хорошие; в физике довольно хорошие познания; сверх того сочиняет на французском языке хорошо, на немецком языке очень хорошо и переводит с латинского языка на российский удобно... В засвидетельствование того дан ему кн. Мещерскому сей аттестат от Импер. санкт-петербургского университета 19 марта 1825 г.»[13].

IV

Приказ от 2 августа 1826 г. жалует князя Элима камер-юнкером. Об этом пожаловании хлопотали еще в предыдущем году, но получили отказ, присланный в письме А. Чернышева, помеченном Петергофом, 20 июля 1825 г.[14].

В том же самом году постановлением от 27 июля князь Элим получил звание «переводчика коллегии иностранных дел»[15].

В следующем году, по письму В. В. Ханыкова, ему было пожаловано право носить кавалерский крест веймарского ордена Белого сокола. Старомодный придворно-канцелярский стиль этого письма достаточно обрисовывает среду, в которой вращался молодой человек.

Его сиятельству графу Нессельроде и пр.

Дрезден, сего 3/15 ноября [1827 г.]

Граф,

Его высочество великий герцог Веймарский соблаговолил пожаловать кавалерский крест ордена Белого сокола князю Мещерскому, камер-юнкеру, причисленному к императорской миссии в Дрездене. Его королевское высочество изъявили мне при этом, что ему было желательно сделать таким путем нечто приятное для матери князя. Княгиня Мещерская, пребывавшая в Веймаре в течение двух или трех лет, приобрела там благорасположение великогерцогского двора.

Князь Мещерский испрашивает разрешения императора, нашего августейшего повелителя, носить этот знак отличия, и я считаю своим долгом представить вашему сиятельству просьбу, обращенную им ко мне по этому делу.

Я позволяю себе в то же время воспользоваться этим случаем, чтобы засвидетельствовать перед вашим сиятельством прекрасные качества князя

Мещерского, который по своему служебному рвению и старанию с пользой применить все свои способности, а также по своим знаниям и своему осмотрительному поведению представляется мне заслуживающим быть рекомендованным вниманию вашего сиятельства.

Имею честь быть с чувством глубокого почтения,
граф, вашего сиятельства
всенижайшим и всепокорнейшим слугой
В. Ханыков[16]

V

23 апреля 1829 г. князь Элим переводится в миссию в Турине при поверенном в делах, графе Строганове; его годовое содержание увеличивается на 200 рублей[17].

27 июля он производится в титулярные советники[18]. В начале 1830 г., по письму графа Воронцова-Дашкова, помеченному Турином, 27 января—8 февраля 1830 г. и адресованному министру иностранных дел, ему разрешено отправиться в Ниццу, ввиду состояния его здоровья[19]. В 1832 г. он получает четырехмесячный отпуск для поездки в Россию; отсутствует на службе с 9 апреля по 30 августа, а 30 августа оказывается причисленным к парижскому посольству, к Поццо ди Борго (формулярный список 1830 г., № 48 и № 118).

В департаментских архивах Ниццы не сохранилось иных сведений, кроме виз, последовательно данных князю Элиму французским консульством этого города: 5 октября 1830 г. (виза для Марселя); 6 ноября 1831 г. (виза для Экса, в Провансе); 17 августа 1841 г. (виза для Франции и Швейцарии).

## «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АТТАШЕ»

Князь Элим достиг теперь поворотного пункта своей карьеры. Роль дипломата интересовала его очень мало, и можно предполагать, что Поццо ди Борго, этот «великий интриган», как охарактеризовал его Николай I в одной из бесед с Барантом[20], не очень-то ценил сотрудничество юного атташе, слишком утонченного, слишком склонного к поэзии и фантазерству, чтобы хорошо разбираться в политике. Министр народного просвещения Уваров выразил желание иметь в Париже корреспондента для своего ведомства; князь Элим только и мечтал, как бы уйти от дипломатических дел, а посол был вполне готов ему в этом содействовать. Граф Нессельроде, министр иностранных дел, уладил все наилучшим образом и, наверное, в полном согласии с пожеланиями княгини Мещерской: он оставил князя Элима при посольстве, разрешив ему в то же время стать корреспондентом министерства народного просвещения с особым содержанием. Таким образом, начиная с 1833 г., русское посольство в Париже приобрело «интеллектуального атташе» — первого, какого знали дипломатические канцелярии Европы.

I

Князь Элим посылает следующее письмо Поццо ди Борго:

Париж, 14/26 апреля 1833 г.

Господин посол!

Я узнал, что господин Уваров просит ваше сиятельство указать ему корреспондента для министерства народного просвещения.

Занятия, которым я посвятил себя уже несколько лет, моя любовь к наукам и искусствам и личные связи с многими выдающимися европейскими учеными заставляют меня питать надежду, что я мог бы с некоторой пользой заниматься вышеуказанной корреспонденцией. Я беру на себя, вместе с тем, смелость признаться, господин граф, что я пришел к убеждению, что служба по народному просвещению, более отвечающая моим вкусам и моим привычкам, открывает мне больше возможностей проявлять с успехом мое рвение к служению его величеству и что я испытываю живейшее желание отдать слабую дань моих усилий этой отрасли, столь важной для благосостояния нашего отечества.

Я считаю поэтому своим долгом воспользоваться случаем, который представляет мне запрос, адресованный вашему сиятельству господином министром, и обращаюсь к вам с убедительнейшей просьбой о благосклонном вашем предстательстве перед господином вице-канцлером и господином Уваровым, дабы его величество удостоили предоставить мне вышеуказанное поручение и одновременно перевести меня в ведомство министерства народного просвещения.

Поверьте, граф, что одно лишь ясно выраженное призвание к этому роду занятий способно заставить меня превозмочь сожаление, которое я испытываю, оставляя службу, отмеченную для меня в течение десяти лет добрым отношением моих начальников и приобретшую для меня особую ценность с тех пор, как я имею счастье находиться в распоряжении вашего сиятельства, благосклонность которого ко мне останется навсегда запечатленной в моем сердце. Я считал бы поэтому особою милостью, если бы мог, будучи переведен в ведомство министерства народного просвещения, продолжать входить в состав вверенного вашему попечению посольства, оставаясь в нем до тех пор, пока мое пребывание в Париже будет считаться нужным.

Вручая с доверием свою судьбу в ваши руки, господин посол, имею честь быть с глубочайшим почтением

вашего сиятельства
всенижайший и всепокорнейший слуга
Элим Мещерский

II

Посол передает прошение князя Элима министру иностранных дел, сопровождая его следующим письмом:

Его сиятельству графу Нессельроде

Париж, $\frac{28 \text{ апреля}}{10 \text{ мая}}$ 1833 г.

Господин вице-канцлер!

Господин Уваров, министр народного просвещения, просил меня отношением от прошлого 22 марта указать ему надежного и деятельного корреспондента, который на условиях годового вознаграждения взялся бы держать его в курсе всего наиболее примечательного, что происходит в области наук и искусств, в частности, в курсе мер, принимаемых французским правительством в отношении учреждений народного просвещения.

Я уже намеревался заняться этим поручением, когда атташе моего посольства, камер-юнкер князь Мещерский, узнав о нем, выразил мне

ЭЛИМ МЕЩЕРСКИЙ

Портрет маслом неизвестного художника, 1830-е гг.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

свое пожелание взять на себя эту корреспонденцию. Он послал мне по этому случаю письмо, при сем прилагаемое, в котором он излагает мотивы, побуждающие его высказать желание быть переведенным в ведомство народного просвещения — на должность, к которой уже давно подготовляли его и его вкусы и его занятия. Это соображение, равно как и то, что он не сможет добросовестно исполнять одновременно двойные обязанности служащего канцелярии посольства и корреспондента министерства народного просвещения, вынуждают его ходатайствовать через мое посредство о благосклонном согласии вашего сиятельства на оставление князем Элимом Мещерским ведомства иностранных дел и о переведении его в ведомство народного просвещения. Живой интерес, который я питаю к князю Мещерскому в воздаяние всех его достойных уважения качеств, заставляет меня охотно итти навстречу его пожеланиям и поддерживать его просьбу перед вашим сиятельством и перед г. Уваровым. Я отдаю в то же время должное князю Мещерскому, что он ревностно и неизменно добросовестно старался исполнять обязанности, налагаемые на него должностью, которую он в течение шести месяцев занимал в моем посольстве.

Имею честь быть с глубочайшим почтением, господин вице-канцлер, вашего сиятельства всенижайшим и всепокорнейшим слугой

Поццо ди Борго

III

Граф Нессельроде, министр иностранных дел, депешей от 6 июня 1833 г., № 2317, извещает русского посла в Париже, что «князь Элим Мещерский, оставаясь атташе при парижском посольстве, имеет право посылать г-ну Уварову донесения о правительственных мерах, принятых во Франции в отношении учреждений народного просвещения. Руководящая инструкция для ведения корреспонденции будет прислана ему без замедления министерством народного просвещения».

IV

Министр народного просвещения пытается воспользоваться этим решением, но наталкивается на сопротивление Николая I, который не видит никакой необходимости в том, чтобы иметь в Париже корреспондента по вопросам народного просвещения («не вижу в сем особой нужды»):

№ 47
23 марта
1834 г.

*О назначении титулярного советника князя Мещерского корреспондентом министерства народного просвещения с жалованьем по 2000 руб. в год из хозяйственных сумм департамента народного просвещения.*

В июле 1833 года, с согласия вице-канцлера и посла в Париже, графа Поццо ди Борго, поручил я состоящему при тамошнем посольстве, в звании камер-юнкера, титулярному советнику князю Мещерскому, для испытания, временно исправлять должность корреспондента министерства народного просвещения. В продолжение всего сего времени князь Мещерский оправдал мои ожидания, исполняя с усердием и успехом все делаемые ему поручения и доставляя министерству многие полезные сведения, из коих некоторые вошли в издаваемый журнал при департаменте народного просвещения.

Сверх того, находясь в постоянной с ним переписке, я не мог не заметить похвальных его познаний и правил, так что все сие заставляет меня всеподданнейше испрашивать высочайшего вашего императорского величества дозволения на утверждение князя Мещерского настоящим корреспондентом министерства народного просвещения, с назначением ему жалованья по 2 000 руб. в год из хозяйственных сумм департамента народного просвещения.

Сергий Уваров

Его императорского величества собственной рукою написано карандашом: «не вижу в сем особой нужды». 24 марта 1834 г. Уваров[21].

V

Письмо князя Элима министру народного просвещения от 1/13 октября 1834 г. показывает, что, тем временем, дело было все-таки улажено и что, очевидно, царь дал себя убедить:

Господин министр! Париж, 1/13 октября 1834 г.

С чувством некоторого смущения и досады вижу я себя вынужденным занять драгоценное время вашего превосходительства беседой о моей особе. Мне тем труднее говорить о своих личных интересах, что я чувствую, как далек я от того, чтобы заслужить милость, какой вы удостоили почтить меня. Поэтому я взываю не к вашему чувству справедливости, а к вашей благосклонности, чтобы изложить вам те затруднительные обстоятельства, в которых я нахожусь, и те пожелания, которые осмеливаюсь иметь.

Я содержу в течение года на свои средства доверенного человека, которым пользуюсь для нахождения вновь появившихся книг, а также розыска тех лиц, в которых мне может встретиться надобность при моих занятиях; он служит мне, кроме того, переписчиком. Без помощи такого рода мне было бы невозможно исполнять сколько-нибудь прилично ту задачу, которую ваше превосходительство удостоили на меня возложить. Я плачу этому лицу сумму, соответствующую ста рублям в месяц.

Я должен добавить к этому расходу стоимость разъездов по Парижу и канцелярские и почтовые издержки, неизбежно связанные с моей нынешней должностью. Их следует оценить, по меньшей мере, в триста рублей в год, что составляет в итоге 1 500 рублей в год, не считая многочисленных издержек другого рода, которые влекут за собой общественные связи, поддерживаемые мною в интересах службы его величества. Мое жалованье, составляющее 6 000 рублей ассигнациями, сокращается, таким образом, почти на треть.

Мне совестно занимать ваше превосходительство этими мелочами, но вам, может быть, небезызвестно тяжелое имущественное положение моих родителей. Мое жалованье для меня не роскошь, а необходимость.

Денежная награда, которой ваше превосходительство удостоили пожаловать меня, покрыла в этом году дефицит в моем скромном бюджете, и если за последнее время результаты моей работы стали более значительными, то этим—должен признаться—я обязан увеличению моих ресурсов.

Итак, я позволяю себе просить ваше превосходительство соблаговолить возместить мне за время второго года моей деятельности те издержки, которые я осмелился выше исчислить.

Я вижу себя вынужденным — вопреки собственному желанию — к просьбе столь для меня тягостной, но я прошу ваше превосходительство принять

в соображение, что двое молодых людей, посланных в Париж министром финансов, — гг. Теплов и Шерер — получают каждый на тысячу рублей больше жалованья, нежели я...

Элим Мещерский

Нет надобности говорить, что князь Элим и на этой новой своей службе оставался в тесных сношениях со своим посольством и своим послом — сношениях одновременно политических и светских. Так, австрийский посол во Франции, граф д'Аппоньи, отметил в своем дневнике под 23 июля 1834 г.: «Граф Поццо и князь Голицын сделали нам в прошлый понедельник очень милый сюрприз. Ночью наш сад Бельвю, озеро, башня и хижина вдруг осветились. Заметив это одним из первых и прервав партию на биллиарде с леди Стюарт, я поспешил известить общество, собравшееся в салоне. Все побежали к дверям. У входа в одну из садовых беседок помещался оркестр Мюзара; графиня Поццо, м-ль Дельен, княгиня Голицына, г. Мейендорф, князь Мещерский и князь Голицын запели куплеты в честь посланницы, царицы Бельвю. Когда концерт кончился, красные и синие бенгальские огни озарили деревья, озеро, старую башню; потом поднялись снопы пламени и ракет...»[22]. Как ни втянулся в литературные круги новый корреспондент министерства народного просвещения, он принадлежал еще вполне миру дипломатов.

VI

Однако, в конце лета 1836 г. князь Элим должен был покинуть Париж и прервать свою службу. Он указал или, вернее, ему посоветовали указать Бенкендорфу на Якова Николаевича Толстого, как на лицо наиболее способное его заменить [23]. Толстой, бывший штабс-капитан гвардии, до 1825 г. заигрывал с либеральным движением тайных обществ. В 30-х годах, стараясь загладить грехи юности, он поставил себе задачей патриотически сражаться с теми неразумными французами — Баур-Лормианом, Альфонсом Рабе, Ансло, Виктором Манье, герцогиней д'Абрантес, — которые осмеливались высказывать какие-либо критические суждения об императорской России. Что этот человек находился в связи с III отделением, не приходится сомневаться; самое вмешательство шефа жандармов Бенкендорфа уже говорит за это. Правительство Николая I отнюдь не интересовалось мечтательным и мистическим патриотизмом князя Элима: ему нужен был в Париже человек более чуткий к действительности, нежели к теориям, если не агент полиции, то уж, во всяком случае, политический наблюдатель, — и авантюристический темперамент Толстого давал в этом отношении полную гарантию[24]. Впрочем, князь Элим сохранял, повидимому, свое место, по крайней мере номинально, вплоть до 28 апреля 1840 г.[25]. Вот документы, освещающие этот период его карьеры:

№ 333
29 генваря 1837 г.

*Его в-пр-ву С. С. Уварову*

Милостивый государь,
Сергей Семенович!

Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного гвардии штабс-капитана Якова Толстого назначить корреспондентом министерства народного просвещения в Париже, куда он вслед за сим должен отправиться.

О сей высочайшей воле я честь имею сообщить вашему превосходительству для вашего к исполнению по оной распоряжения, пребывая с совершенным почтением и преданностью

вашего превосходительства покорнейший слуга
граф Бенкендорф[26]

№ 1472
24 ноября 1837 г.

*В департамент народного просвещения*

Канцелярия министерства народного просвещения, вследствие приказания его высокопревосходительства, покорнейше просит департамент народного просвещения о доставлении ей на счет хозяйственных сумм оного векселя в 700 фр. на имя корреспондента нашего министерства в Париже, отставного гвардии штабс-капитана Якова Толстого, для удовлетворения оными г. Лебланка за исполнение разных поручений, кои возлагаемы на него были надворным советником князем Елимом Мещерским во время исправления им должности корреспондента нашего министерства в Париже и за переписку в продолжение 4-х лет бумаг.

Директор Новосильский[27]

VII

Письмо графа Нессельроде к Уварову от 26 апреля 1840 г. сообщает ему повеление об отчислении князя Элима из ведомства народного просвещения и о назначении его снова, но совершенно номинально, к миссии в Турине:

№ 1221
Апреля 26 дня 1840 г.

*Его в-пр-ву С. С. Уварову*

Милостивый государь,
Сергей Семенович!

Государь император высочайше повелеть соизволил: состоящего в ведомстве министерства иностранных дел и командированного к министерству народного просвещения надворного советника князя Елима Мещерского поместить к миссии нашей в Турине, с получаемым им жалованьем.

Сообщая о сей монаршей воле вашему высокопревосходительству для сведения, возобновляю вам, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

гр. Нессельроде

На документе рукою Уварова написано: «Исключить из ведомства м-ва нар. пр.»[28].

№ 545
27 апреля 1840 г.

*Его сиятельству К. В. Нессельроде*

Милостивый государь,
граф Карл Васильевич!

По сообщенному мне вашим сиятельством от 26 сего апреля высочайшему повелению о помещении надворного советника князя Мещерского к миссии в Турине, я сделал распоряжение о несчитании его более прикомандированным к министерству народного просвещения.

Сообщая о сем вам, милостивый государь, для сведения, возобновляю уверение в совершенном почтении и преданности.

гр. Уваров[29]

Князь Элим, вероятно, никогда не вступал в исполнение обязанностей по этой новой должности при туринской миссии. Более чем когда-либо его дипломатическая карьера была теперь только видимостью. Мы знаем, что он сохранил своим главным местопребыванием Париж до самого дня своей смерти—2/14 ноября 1844 г.

Виктор Балабин отмечает в своем дневнике под 20 ноября этого года: «Одни приходят, другие уходят; в числе последних—бедный Элим Мещерский, только-что умерший от водянки, которой разрешились все недуги, мучившие его уже столько лет»[30].

Письмо Гоголя к Н. М. Языкову, датированное Гомбургом близ Франкфурта, 5 июня 1845 г., свидетельствует о воспоминании, которое оставил среди друзей князя его горестный конец: «Я худею теперь и истлеваю не по дням, а по часам; руки мои уже не согреваются вовсе и находятся в водянисто-опухлом состоянии. Припадки прочие все те же, которые сопровождали бедного Элима Мещерского (умершего тоже от изнурения сил) за неделю до его смерти. Вот тебе состояние моей болезни, которой не хочу от тебя скрывать»[31].

Эмиль Дешан, Вилем Тенен, Анаис Сегала посвятили прекрасные статьи этому французскому поэту русского происхождения, который ушел, не достигнув полного расцвета своих сил[32].

## ВСТРЕЧИ И ДРУЖБЫ

### I

В этой жизни, разделенной между двумя странами, сторона, обращенная к России, остается в тени. Каковы были годы юности князя? Кто были его ближайшие друзья среди соотечественников? В какие романические интриги вовлекал его порывистый и впечатлительный характер? Все эти вопросы остаются без ответа. Случайные свидетельства позволяют нам догадываться о знакомствах, встречах, но нет ни следа какой-либо длительной дружбы. Александр Тургенев был знаком с княгиней Екатериной Ивановной; князь Элим не мог его не знать[33]. Именно князю Элиму, который, повидимому, был для него лишь случайным встречным, Чаадаев доверил рукопись одного из своих знаменитых писем, стоивших ему стольких неприятностей,—письмо (I) VI—«Первое»; имя корреспондента министерства народного просвещения, над которым тяготеет подозрение в болтливости или, по меньшей мере, в неосторожности, фигурирует в судебном следствии над обвиняемым в 1836 г.[34]. Композитор М. И. Глинка в июне 1836 г. выражает свое удовольствие по поводу знакомства в Турине с молодым атташе русской миссии[35]. От Мещерского же получил и С. А. Соболевский, находившийся в это время в Турине, альманах «Северные Цветы», о котором он (Соболевский) высказывает самые суровые суждения, не щадя ни Баратынского, ни даже Пушкина[36]. Мы знаем, что Пушкин в 1831 г. послал князю Элиму экземпляр «Бориса Годунова» со своей надписью и что князь Элим, в свою очередь, подарил Пушкину свой экземпляр «Dernières Paroles» Антони Дешана, с дарственной надписью последнего; но мы не имеем никаких иных указаний на личные сношения поэтов[37]. Князь А. А. Шаховской, польщенный тем, что эпиграф к «Письмам русского» (Ницца, 1832) взят у него, посылает автору велеречивое письмо[38]. Помощник редактора журнала министерства народного просвещения, А. А. Краевский, находится, само собой разумеется, в регу-

лярных письменных сношениях с корреспондентом министерства в Париже: князь вообразил на этом основании, что со стороны Краевского существует настоящая дружба; эта воображаемая дружба привела позже к большому разочарованию.

Варнгаген фон Энзе отмечает в своем дневнике под 18 июня 1836 г.:

«Был здесь недавно князь Мещерский, личность весьма известная в веймарском кружке, человек благородных чувств и высокого образования. Убедившись, что служебная карьера не представляет его деятельности завидной цели и что его умственные способности требуют существенной пищи, он решился посвятить себя интересам промышленным и другим общественным вопросам и учреждениям. Одним словом, истый сен-симонист, хотя, может быть, пренебрегает этим словом. Он сообщает свои проекты отчасти и непосредственно императору, который покровительствует ему»[39].

Свидетельство, конечно, лестное, но в нем нужно видеть не более, как фантазию или пересказ чьих-то выдумок, и его одного было бы достаточно, чтобы доказать, что автор совсем не знал того князя Элима, которого он представляет нам каким-то сен-симонистом, всецело поглощенным экономическими и социальными планами, к которым, якобы, прислушивается царь.

Археолог И. М. Снегирев принимает в августе 1836 г. в Москве князя Элима в сопровождении Леве-Веймара; он показывает гостям достопримечательности Кремля и Китай-города[40]. Историк Погодин, обязанный князю Элиму переводом на французский язык своей пресловутой вступительной лекции о «всемирной истории»[41], находит своего переводчика

Кн: Элиму Мещерскому.

БОРИСЪ ГОДУНОВЪ,

СОЧИНЕНІЕ

АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
1831.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ „БОРИСА ГОДУНОВА" С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПУШКИНА ЭЛИМУ МЕЩЕРСКОМУ

Литературный музей, Москва

в Париже в мае 1839 г. и отмечает в этот день: «Встретился [16 мая 1839 г. в Париже] с любезным князем Элимом Мещерским, в котором при европейском образовании много русского духа и который с успехом знакомит Европу с Россией»[42]. В сентябре 1844 г. композитор М. И. Глинка встречает снова, на этот раз в Париже, князя Элима, который переводит некоторые из его романсов. Глинка посещает Версаль в обществе кн. Элима и графа Виельгорского. Он направляется затем в Испанию, чтобы повидать Листа, и опять-таки князь Элим подготовляет ему поездку и помогает ему вступить в сношения с г-жей Суза[43].

Естественнее всего искать русских друзей князя Элима в Париже. Здесь первоисточники его художественной и духовной жизни; здесь должны были происходить сближения на почве общих интересов и общих стремлений. Но нам нехватает материалов, и мы вынуждены ограничиться беглыми указаниями и часто даже только предположениями. Феофил Толстой вдохновил Элима на двенадцатый сонет «Бореалий»: «Когда наш бледный друг...». Элим, вероятно, был знаком со своим коллегой по дипломатической службе и собратом по поэзии — тем самым Ксаверием Ксавериевичем Лабенским, или «Иваном Полониусом» — атташе лондонского посольства, а потом секретарем Нессельроде, который занимает столь любопытное место среди малых романтиков 30-х годов[44]. Граф Григорий Шувалов — мы это знаем, благодаря виконту де-Мелёну, — усердно посещал салон княгини Мещерской, прежде чем перейти из положения поэта на положение члена ордена барнабитов[45]. Мы склонны предположить, что через него князь Элим мог войти, в свою очередь, в салоны С. П. Свечиной и А. С. де Сиркур. Мы нащупали бы здесь одну из связей, может быть, основную связь корреспондента русского министерства народного просвещения с маленькой группой русских, увлеченных католической мыслью, — но эта связь ускользает от нас. Во всяком случае, благодаря переписке Ботэна, мы узнаем, что общий порыв религиозных симпатий заставил князя Элима одновременно с Андреем Николаевичем Муравьевым, который был старше его возрастом, состоявшем при синоде, поддерживать письменно богословские собеседования со «страсбургским философом»[46]. Мы ничего не знаем о Сливицком, том любимом друге, которого князь Элим потерял в Париже в 1835 г., о чем он сам сообщает в одном из писем к А. А. Краевскому (см. ниже, стр. 471).

## II

С французской стороны несколько друзей выступают перед нами в полном свете. Самыми близкими были, без сомнения, Эмиль Дешан и Жюль де Сен-Феликс.

Общее увлечение Шекспиром сблизило князя Элима и буржуа-дилетанта Эмиля Дешана — сочинителя песен, поэта, критика, человека, обладавшего тонким вкусом. Консульство ума Дешана было открытым для иностранных влияний; по верному определению г. Анри Жирара, сравнившего его с г-жей де Сталь, это был «европейский ум с французской душой». Не было в салоне княгини Мещерской гостя, который посещал бы его с таким постоянством и которого слушали бы с таким вниманием. Ему именно князь Элим в 1838 г. и передал на рассмотрение рукопись «Бореалий»; ему поручил он напечатание этой книги и ему посвятил вступительное к ней стихотворение — то самое «Письмо к Эмилю Дешану», которое под видом восторженного признания в дружбе дает в действительности не что

иное, как патриотическое и религиозное исповедание веры автора[47]. Нет более очевидного свидетельства доверия князя Элима к этому другу, как письмо к нему от 6/18 января 1838 г.:

Петербург, 6/18 января 1838 г.

Дорогой Эмиль, вот мой труд. Бросаю вам тюк моих стихов, не зная, как он будет принят; но я так уверен в вашей любезности, так слепо верю я в вашу дружбу, что отвечаю за вас. И, наконец, если у вас нет возможности ни заняться этой публикацией, ни даже пересмотреть со вниманием мои рукописи, я знаю, что вы, во всяком случае, постараетесь найти кого-нибудь, кто окажет мне эту услугу, хотя, разумеется, никто не сможет вас з а м е н и т ь.

Итак, то, что я скажу здесь о материальных подробностях издания моей книги, предназначается для вас или для того лица, для того «Dio ignoto», которым я охотно буду обязан вам.

Хотя моя книга состоит из с т и х о в, и хотя даже хорошая поэзия с трудом находит себе в настоящее время издателей,—я думаю, что буду счастливее многих других. Сумел же Жюльвекур напечатать свою «Балалайку»! Затем, мое имя, как ни мало значительно оно в литературе, уже известно в Париже, далее я—русский—о!—потом я князь—о! о!—наконец, дело идет о более чем тысяче стихов, переведенных из незнакомой поэзии,—а!.. все это вместе взятое должно возбудить любопытство и привлечь зевак. А главное, при французской любезности, при наличии стольких писателей, бывших моими друзьями, я не останусь без статей в журналах, а это обстоятельство весьма убедительное для издателя.

Я не претендую на продажу моей рукописи—я ее предоставляю безвозмездно тому, кто возьмется ее опубликовать. Но, дорогой друг, если вы найдете, что мой труд может рассчитывать на некоторый успех и, следовательно, можно будет поставить некоторые условия книгопродавцу, то вот мои условия.

Сен-Феликс должен вам, я знаю, небольшую сумму. Нельзя ли устроить так, чтобы этот долг был вам уплачен моей книгой? Это доставило бы мне большое удовольствие. Не говорите об этом ничего Сен-Феликсу. Затем я хотел бы получить в мое распоряжение 25 бесплатных экземпляров, не считая нескольких экземпляров для распространения во Франции; число последних будет невелико, так как большая часть экземпляров, предназначаемая для распространения в Париже, вошла бы в непременную рассылку издателям ежемесячников и влиятельным журналистам, которые все или почти все мне знакомы.

Перейдем к типографским вопросам. Я хотел бы, чтобы том имел формат и шрифт «Voix intérieures» и такую же бумагу, если это возможно; чтобы, так же как там, на странице было по 18 или по 20 строк в тех случаях, когда нет промежутков между строфами или абзацев; и чтобы самые промежутки были такие же, как в книге Гюго. Нужно, чтобы корректор последил за тем, чтобы звездочки, поставленные переписчиком там и сям в моей рукописи для обозначения промежутков, не были воспроизведены при печатании. Промежутки следует отмечать просто пустыми местами. Пусть корректор оставит перед каждым новым стихотворением титульную страницу с номером произведения, как это сделано в моей рукописи. Что касается сонетов и терцин, он волен держаться распо-

ложения, принятого в рукописи, или же помещать на первой странице одно четверостишие или одну терцину, а остальное помещать на второй*. Мне особенно хотелось бы, чтобы интерпунктуация соблюдалась тщательно и орфография собственных и других имен воспроизводила верно принятую мною. Обложка книги должна быть самого общеупотребительного цвета, с одним только титулом и без всяких типографских украшений — самого отвратительного, что я только знаю после отвратительной книги. Все три рукописи должны составлять один том и следовать друг за другом в порядке, указанном в оглавлении, помещенном в конце «Русских этюдов». Все это мелочи и весьма скучные, но что ж поделаешь! Весь этот избыток подробностей кажется мне необходимым.

— Бедный Эмиль! Как я вас жалею! Кстати, мне приходит в голову одна мысль: я начинаю бояться, а вдруг вы не получили письма, которое я вам послал с неделю тому назад? Там я говорил вам о моей работе по существу и сообщал об ее посылке; это письмо — только продолжение предыдущего.

Но я надеюсь, что русская почта не сыграла со мною такой скверной шутки, и продолжаю, как если бы был уверен, что это письмо до вас дошло.

Вы найдете, я думаю, что с технической стороны мои стихи достаточно обработаны; в первый раз в жизни я имел досуг отдаться серьезно моим версификаторским склонностям, и я надеюсь, что в дальнейшем добьюсь еще большего, если у меня хватит времени. Но как мучительно не иметь возможности вдохновляться беседами и пользоваться советами человека, преданного искусству!

Представьте себе, что моя книга возникла в одиночестве и среди полного молчания. Не у кого спросить совета или поощрения! У меня еще мало связей с нашими местными поэтами, и потом, хотя они говорят и понимают по-французски, — они не умеют ни чувствовать тонкостей поэтического языка, ни оценить особенностей французского искусства.

Вы увидите, однако, что, благодаря усердным занятиям, я, кажется, совершил не слишком много погрешностей против вашего прекрасного языка. Порой случалось, что я ошибался в счете слогов. Я употребил слово Chris-tia-nis-me, как если бы в нем было 4 слога, а не 5, и я сказал еще...

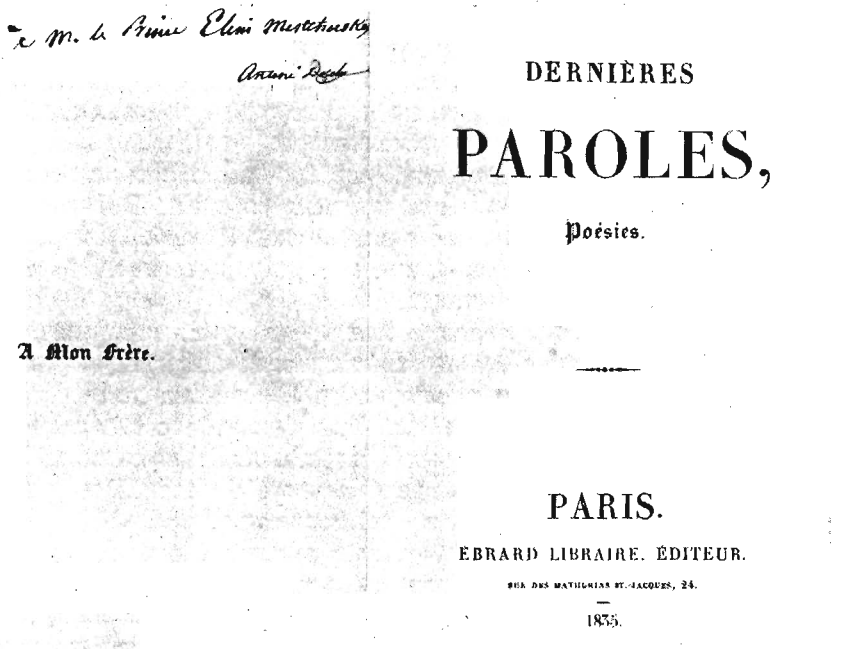
Князь Элим Мещерский[48]

Предисловие к «Бореалиям» является необходимым дополнением к этому письму. В нем князь Элим, скрывая свое авторство, приписывает его воображаемому, якобы, умершему поэту «Б. де Ж.», в котором, однако, не трудно разгадать самого князя Элима. «Нужно добавить, — читаем мы там, — что автор побывал в Париже, где многие знаменитости в области искусства и поэзии почтили его своей дружбой. Между ними он особенно сошелся с одним весьма известным поэтом, пользующимся всеобщей любовью как за свои прекрасные стихи, так и за то радушие, с которым он приветствует все, что могло бы походить на талант, и даже то, что на него не походит. Это человек в высшей степени доброжелательный, и притом без всякой банальности, ибо резкость при прекрасной душе и возвышенном уме называется добротой; человек весь — сердце, весь —

* Эпиграфы должны быть помещены на отдельной странице — рядом с титульной страницей, как в моей рукописи.

порыв, весь — восторг, весь — крик одобрения: одним словом, г. Эмиль Дешан, и этим все сказано»[49].

Жюль де Сен-Феликс принадлежал к старой провансальской семье. «Родившись в Лангедоке, он на этой римской земле привязался ко всему, что хранило след народа кесарей, и лучшие стихи, им написанные, были продиктованы ему любовью к латинской древности. Эмиль Дешан сравнивал его с Шенье. Италия была для него тем, чем Греция для автора «Идиллий». Она внушила ему «Nuits de Rome» и «Poésies romaines», роман «Cléopâtre» и поэму «Cynthia», которую он обработал для театра и тщетно старался поставить в Comédie Française. Легитимист в эпоху торжества




ЭКЗЕМПЛЯР „DERNIÈRES PAROLES" АНТОНИ ДЕШАНА С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА ЭЛИМУ МЕЩЕРСКОМУ. БЫЛ ПОДАРЕН ПОСЛЕДНИМ ПУШКИНУ

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

либеральной буржуазии, он объявил себя романтиком, когда это движение пошло на убыль. Как дипломат, он пережил крушение своей карьеры после июльской революции; как поэт, он был принесен в жертву Понсару и его ученикам»[50].

Князь Элим восхищался им и заимствовал у него эпиграфы для трех стихотворений в «Бореалиях»:

Часто с печалью и жалобой
. . . . . .
Под своим крылом прикрытым
Это ангел позабытый.

(Эпиграф к VI стихотворению «Книги любви»; мы знаем, что эти стихи были внушены Сен-Феликсу графиней Шуваловой, женой графа Григория Шувалова).

Четыре прыжка, моя кобылица, и потом десять и еще тридцать...

(Эпиграф к XIV стихотворению «Кавалькада»).

Женщине и випере
Должно жить в одной пещере.

(Эпиграф к XXII стихотворению «Две женщины»).

Этот дворянин в литературе, потерпевший неудачу во всех своих начинаниях, внушал князю Элиму не только восхищение, но и самую нежную дружбу и самую чуткую преданность. Мы видели в письме к Эмилю Дешану, как он старается осторожно устроить дело с долгом, о котором он случайно узнал[51]. Для княгини Екатерины Ивановны этот друг Элима сделался чем-то в роде приемного сына, и она женит его в Ницце на своей крестнице. Жюль де Сен-Феликс 15 августа 1840 г. радостно извещает об этом браке Дешана[52]. «И на расстоянии может быть верная дружба, а моя дружба, дорогой Эмиль, всегда следила за вами глазами и сердцем. Духовно я не покидал Парижа, по крайней мере, мне так кажется, и вы должны были встречать меня несколько раз—то в виде книги, то в отголосках воспоминаний. Сегодня я сообщу вам в письме, отправленном издалека, о важном и счастливом для меня событии. Вот уже несколько дней, как я женат, и женат на милой молодой особе, крестнице вашей почтенной княгини Мещерской, m-lle д'Арну Дессольсе, дочери контр-адмирала, носящего это имя.

Вы, без сомнения, встречали в свое время у княгини милую девочку, которую звали Мальвиной. Она отлично вас помнит, так как вас никогда не забывают; она стала с тех пор молодой и весьма примечательной девушкой. Теперь она—моя жена... Наша свадьба состоялась в Ницце, у нашей доброй княгини, и была отпразднована восхитительно, может быть, даже с бóльшим шумом, нежели бы я этого желал. Все лучшее здешнее общество приняло участие в этом торжестве.

Княгиню здесь все очень любят, мою дорогую Мальвину тоже. Ницца, по-моему, прелестное место, и как бы хотел я основать здесь небольшую колонию по моему выбору и вкусу. Как бы вас здесь любили и почитали, милый Эмиль. Ваши труды завоевали вам на этом прекрасном берегу симпатию тысяч людей, которых вы не знаете и с которыми вам было бы очень приятно встретиться в наших виллах и под нашими лимонными деревьями.

Семья Мещерской издавна к вам искренне расположена,—вы это знаете...

Я предполагаю появиться на три недели в Париже в октябре. У меня два денежных дела, которые нужно продвинуть; но так как мои сельскохозяйственные дела прежде всего требуют моего присутствия на юге, то я буду в Париже только в качестве путешественника. Князь Элим, хотя он все еще болеет, занят поэзией более, чем когда-либо. Он кончает сейчас работу, достойную князя поэтов. Он сам расскажет вам о ней, а вскоре все заговорят об этом...».

Другие французские друзья, близко связанные с князем Элимом, это—граф Жюль де Рессегье, один из самых преданных посетителей салона княгини Мещерской, у которого взят эпиграф к XXV стихотворению «Бореалий»[53]; граф Орас де Вьей-Кастель, о котором графиня Даш рассказывает, что однажды вечером он выступал, одетый монахом, в драме из трех действующих лиц, вместе с Сен-Феликсом и князем Элимом; Александр Гиро, доставивший эпиграф к VII стихотворению «Бореалий»;

Леон де Вайи и, наконец, Альфред де Виньи. В Публичной библиотеке в Ленинграде сохранилось следующее письмо де Виньи к князю Элиму, единственное уцелевшее из числа многих, о которых любезно сообщил мне в 1914 г. Элим Демидов Сан-Донато, внук князя Элима:

15 июля 1844 г.

Я все надеялся, милый князь, что вы приедете в Париж вслед за вашим предком Артамоном Матвеевым. Ему был оказан очень хороший прием у всех ваших друзей, верность которых в любви к вам равняется лишь лени отвечать вам на письма. Я со своей стороны сознаюсь, что разделяю одновременно и это чувство и эти угрызения совести. Сейчас я не могу более устоять перед желанием вам в этом признаться, узнав, что, вопреки нашим ожиданиям, вы не приедете.

Я прочел вашего Артамона и был живейшим образом тронут как самой посылкой, так и изяществом сопроводительных стихов. Вы любезны и добры: вы не забываете ваших первых французских симпатий, ваша мысль беспрестанно возвращается ко мне. То море приносит мне ее дуновение через посредство Жана де Клеранбо, моего родственника, мореплавателя; то земля, через посредство не менее дорогого для меня молодого друга, который находится подле вас в Виши. Я думаю, что ваше сердце и впрямь принадлежит немного нам и что природа сделала вас больше чем наполовину французом. Легкость вашего слога исключительна, и вы мастерски вывели на сцену боярина Матвеева и юродивого; но мне хотелось бы, чтобы вы не ограничились одной сценой, а чтобы у вас получилась целая композиция. Не создавайте себе только иллюзий о возможности заставить какую-либо французскую публику, даже узкий круг салонов, слушать имена, заимствованные из вашей истории, если их будет слишком много. Самому Тальме не удалось бы заставить выслушивать терпеливо и с серьезным видом такие слова, как Sviatoslaf, Iaroslaf, Monomakh, Mstislaf или названия местностей: Iakoutsk потом Iénisséisk, Nertchinsk на юге, Irkoutsk на севере. Не пытайтесь делать этого в более крупном произведении, поверьте мне. Ваша вещь, в сущности, монолог, прерываемый безумцем. Это удачный этюд, и я уверен, что вслед за ним последует целая драма. Но остерегайтесь слишком длинных политических и географических рассуждений; ими чрезмерно злоупотребляли со времени вашего отъезда.

Возвратит ли вам Виши здоровье в полной мере? Увижу ли я вас снова в моей хижине, в этой маленькой, столь скромной пристани Поэзии — первой, где вы бросили якорь во Франции?

Говорят, что госпожа Мещерская здесь, в Париже. Я не навещу ее, пока не буду представлен ей вами, называющим ее своей Элоа. Несомненно, Элоа — женский род от Элима. Я, вы знаете, никогда ее не видел, и мне стыдно в этом признаться после всех чудес, которые мне о ней рассказывают, — но я надеюсь увидеть ее скоро под руку с вами. В ожидании упивайтесь водами Виши. Желаю, чтобы они обладали всеми целебными свойствами, кроме свойств летейских струй, в отношении самого молчаливого, но наименее непостоянного из ваших друзей.

Альфред де Виньи

Князь Элим посетил Виктора Гюго в 1839 г., но ему не удалось в дальнейшем поддержать отношения со своим излюбленным поэтом. Через год

он обратился к нему со следующим просительным письмом, составленным в хвалебных выражениях:

Ницца, 14 августа 1840 г.

Милостивый государь!

Прошло больше года с того дня, когда на мою долю выпало счастье беседовать с вами в вашем прекрасном салоне на Place Royale. Вполне понятно, что я говорю об этом свидании, как о событии, происшедшем как бы сегодня: великие воспоминания навсегда сохраняют свежесть настоящего; вполне естественно также, если вы не припоминаете ни этой встречи, ни даже, быть может, того, кто пишет вам эти строчки.

Дозвольте же мне напомнить вам некоторые частности нашего разговора—они связаны с тем, что побуждает меня сейчас взять на себя смелость писать вам.

Я говорил вам, между прочим, о плодотворном влиянии, оказываемом вами на русскую литературу, о вашей популярности в России и о высокой оценке ваших произведений критикой нашей страны—нужно сказать, более сведущей в поэзии, нежели критика французская. Ни один шедевр европейской литературы не чужд нашим критикам, и так как они изучают великих поэтов, то у них в силу этого шире возможности для сравнения, более возвышенная и более общая точка зрения, более изощренное поэтическое чувство «чем у тех, кто читает Буало».

Одно обстоятельство, которое покажется вам, вероятно, довольно любопытным, подтверждает мои слова. Я получил недавно стихотворение, написанное по-русски и озаглавленное: «Виктору Гюго, не избранному Французской академией». [Виктор Гюго был избран только 7 января 1841 г.—*А. М.*] Автор этих стихов—графиня Ростопчина, несколько стихотворений которой вы, может быть, прочли в переводе в моих «Boréales». Она поручила мне перевести стихотворение на французский язык и вручить его вам.

Судите, милостивый государь, как я горд и восхищен тем, что на меня возложено такое поручение. Общественное мнение России, чтобы дать вам почувствовать свое негодование и удивление, прибегло к одной из наиболее красивых из существующих в мире форм выражения, выбрало для этого одну из самых красивых женщин петербургского общества и одного из лучших русских поэтов. Оно воздало вам этим лишь должное.

Да простят ему бессмертные то, что оно оказалось более французским, чем Французская академия, а вы простите мне плохие стихи, во внимание к добрым чувствам, которые питает к вам моя страна, и к тем очаровательным словам, так хорошо высказанным по-русски, которые обращает к вам наша вдохновенная поэтесса. Я посылаю вам также собственноручно написанный автором текст, с которого сделан мой перевод. Я полагаю, что госпожа Ростопчина и ваши многочисленные почитатели в России были бы очень приятно удивлены, если бы увидели эти стихи в «Journal des Débats».

А теперь, милостивый государь, злоупотребить вашим терпением хочет уже не исполнитель чужого поручения, а—увы!—весьма эгоистический проситель.

Как настоящий челобитчик, я подсовываю под страницы русской музы три перевода из поэтических произведений Державина, нашего великого лирика XVIII в., один перевод стихотворения Александра Пушкина

и один—нашего современного поэта Бенедиктова. Эти отрывки составляют часть моих «Chants de l'aurore» («Песен утренней зари»)—труда, почти законченного и имеющего целью ознакомить Францию с главными русскими поэтами, начиная с Ломоносова, который (сто лет тому назад) был как бы Петром Великим для нашего языка и поэзии. Переводы—все стихотворные и составят два тома. Первый будет содержать написанное прозой обозрение истории русской поэзии и поэтов прошлого века; второй

ЭМИЛЬ ДЕШАН
Литография по миниатюре m-lle де ла Мориньер
Национальная библиотека, Париж

целиком посвящен новейшим поэтам. Число переведенных авторов достигнет 50—55, а число стихотворений 70—80, в общей сложности около 6 000 неизданных стихов.

Как видите, милостивый государь, я принял всерьез те слова поощрения, с какими вам угодно было отозваться о моих первых поэтических попытках...

[Далее автор просит у Виктора Гюго рекомендации к издателю Даллойе.—*А. М.*]

... Быть может, вам доставит некоторое удовольствие оказать в моем лице внимание русской публике, столь влюбленной в Виктора Гюго,

самого любимого своего французского поэта, и столь жаждущей представить Франции своих национальных поэтов.

В этой надежде я вновь приношу вам, милостивый государь, свои живейшие извинения и просьбы соблаговолить принять искреннее выражение восхищения и преданности, которые я сохраню к вам на всю жизнь.

Элим, князь Мещерский

На письме (бывшем в коллекции Барту) сохранилась сделанная рукой Виктора Гюго пометка «R[répondu]»—ответил. Однако, этот ответ Виктора Гюго остался нам неизвестным.

Свидетельства современников показывают нам еще нескольких привычных посетителей приемов княгини Екатерины Ивановны зимою на улице Ферм де Матюрен, в Париже, а летом на вилле, выходящей в парк Сен-Клу: Огюста Барбье, автора «Ямбов»; Анри Блаза де Бюри, переводчика «Фауста»; Теофиля де Феррьера, саркастического наблюдателя эксцессов романтизма; барона де Мортемар-Буасс, автора идиллической статьи «La vieille Allemagne»; д'Арлинкура, автора «Solitaire»; графа Куршана, в действительности Козана, которому мы обязаны апокрифическими «Воспоминаниями» маркизы де Креки, и даже Эжена Сю[54]. По свидетельству А. М. Каратыгиной князь Элим привил Александру Дюма вкус к русскому табаку[55].

## ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЛЕГЕНДА

### I

Благочестивый виконт де Мелён, который часто посещал эти приемы, хотя, может быть, менее охотно, нежели приемы у г-жи Свечиной, оставил нам о них забавные воспоминания, в которых просвечивает некоторая ирония[56]:

«Я часто встречал его [графа Шувалова] у одного из его земляков — князя Мещерского, где он читал свои стихи. Молодой князь, сам поэт, устраивал вечера для литераторов и некоторых друзей; они начинались в два часа ночи и проходили в чтении; по очереди каждый из допущенных в этот кружок поэтов становился скромно перед камином и начинал читать или декламировать стихи, качество которых не всегда было на высоте одушевления и блеска, с которыми они произносились.

Судьями автора являлись его сотоварищи по литературе и поэзии. Никак нельзя было обвинить их в зависти, так как они никогда не давали оратору времени окончить фразу. Подымались крики «ура», гул и трепет восторгов, так что казалось, вот-вот лопнут стекла, провалится пол. Я никогда не видел такого щедрого расточения энтузиазма. Особенно сонеты, сыпавшиеся градом, имели привилегию выводить собрание из равновесия, и я предвидел уже минуту, когда в порыве восторга оно должно будет переломать все стулья и начать кататься по земле. Правда, что, как только автор удалялся, наступало успокоение и присутствующие, отдыхая от восторгов, набрасывались на его произведения и старались выставить на вид его посредственность.

Здесь именно граф Шувалов прочел нам трагедию в пяти актах (название ее я забыл), и чтение часто прерывалось бешеными аплодисментами; пьесу нашли все же немного длинной, так как из-за нее мы пошли спать

уже среди бела дня; стихи же — их французский язык — были признаны достаточно хорошими для русского...

В общем же компания была хорошо подобрана, и в промежутках между чтением беседа была занимательной. Барбье читал здесь свои «Ямбы», и я припоминаю один разговор, прервавший овации поэтов и привлекший к себе под конец всех присутствовавших. Это Бальзак, со своей физиономией, напоминающей героев Рабле, с лукавым добродушием заспорил с Альфредом де Виньи; последний только что опубликовал «Чаттертона» — этот апофеоз непризнанного гения, кончающего с собой, чтобы не умереть с голоду.

Бальзак очень остроумно высмеивал и книгу и предисловие к ней; он утверждал, что всякий сколько-нибудь дельный человек прекрасно сумеет добиться справедливости и на этом свете и что те, кто умирали с голоду или кончали самоубийством, были просто бездарностями, которые, метя выше, чем позволяли их способности, становились жертвами вовсе не общественной несправедливости, а собственного высокомерия, — потому что хотели стать великими людьми, тогда как были сотворены, чтобы быть каменщиками или сапожниками. Виньи защищал, как мог, основную мысль своей трагедии, но ему трудно было назвать много непризнанных гениев, и в конце концов он сдался перед саркастическими стрелами своего страшного противника. На этот раз, когда кончился вечер, каждый нашел, несмотря на поздний час, что разошлись слишком рано...

Что касается Шувалова, то вскоре он приобрел известность и влияние иного свойства, чем слава поэта и положение вельможи. Допущенный в интимный круг г-жи Свечиной, он вскоре оставил поэзию и карьеру, чтобы примкнуть к католической церкви; потом, после потери жены и путешествия по Италии, он вернулся к нам барнабитом, со специальной миссией — работать над обращением России. Он восстановил этот орден во Франции, издал трогательную историю своего обращения и умер, оставив после себя репутацию святого».

## II

Графиня Даш, основываясь на своих впечатлениях и на воспоминаниях, которыми она обязана любезности Эмиля Дешана, описывает салон Мещерских с многословием, дающим нам не слишком много[57], но она воспроизводит довольно удачно образ князя Элима[58].

«Молодой человек, сопровождавший г. де Лапорта, был князь Элим Масальский * — русский, причисленный к здешнему посольству для исполнения обязанностей по литературной части. Это был поэт, писавший на своем родном языке и на нашем, которым он владел в совершенстве, и в то же время это был аристократ до кончика ногтей. Его осанку и манеры нельзя было не отметить. Его лицо являло русский, почти казацкий тип, смягченный выражением кротости и неизъяснимой меланхолии; его русые волосы, его голубые глаза, его улыбка, равно исполненная тонкости и доброты, сообщали ему обаяние, покорявшее самых строптивых. Нельзя было видеть его, не пожелав узнать его ближе и, узнав, не полюбить.

Роста выше среднего, очень тонкий, он имел несколько болезненный вид; было ясно, что он не жилец на этом свете; это, быть может, прежде

* Автор изменяет в «Масальского» фамилию Мещерского. — *А. М.*

всего и привлекало в нем. Его беседа была приятна и свободна от всякой претенциозности; нельзя было быть более простым и более естественным.

В его прекрасной душе было два недостатка: слабость и непостоянство. Впрочем, я делаю ошибку в этом определении: слабость была свойственна его душе, а непостоянство — характеру. Он был очень впечатлителен, особенно сильно действовали на него картины горя и несчастий; он создавал себе иллюзии о людях и видел их сквозь собственные совершенства. Он не верил в зло, поэтому он был жертвой и мучеником всю жизнь: его благородство погубило его. Его история печальна.

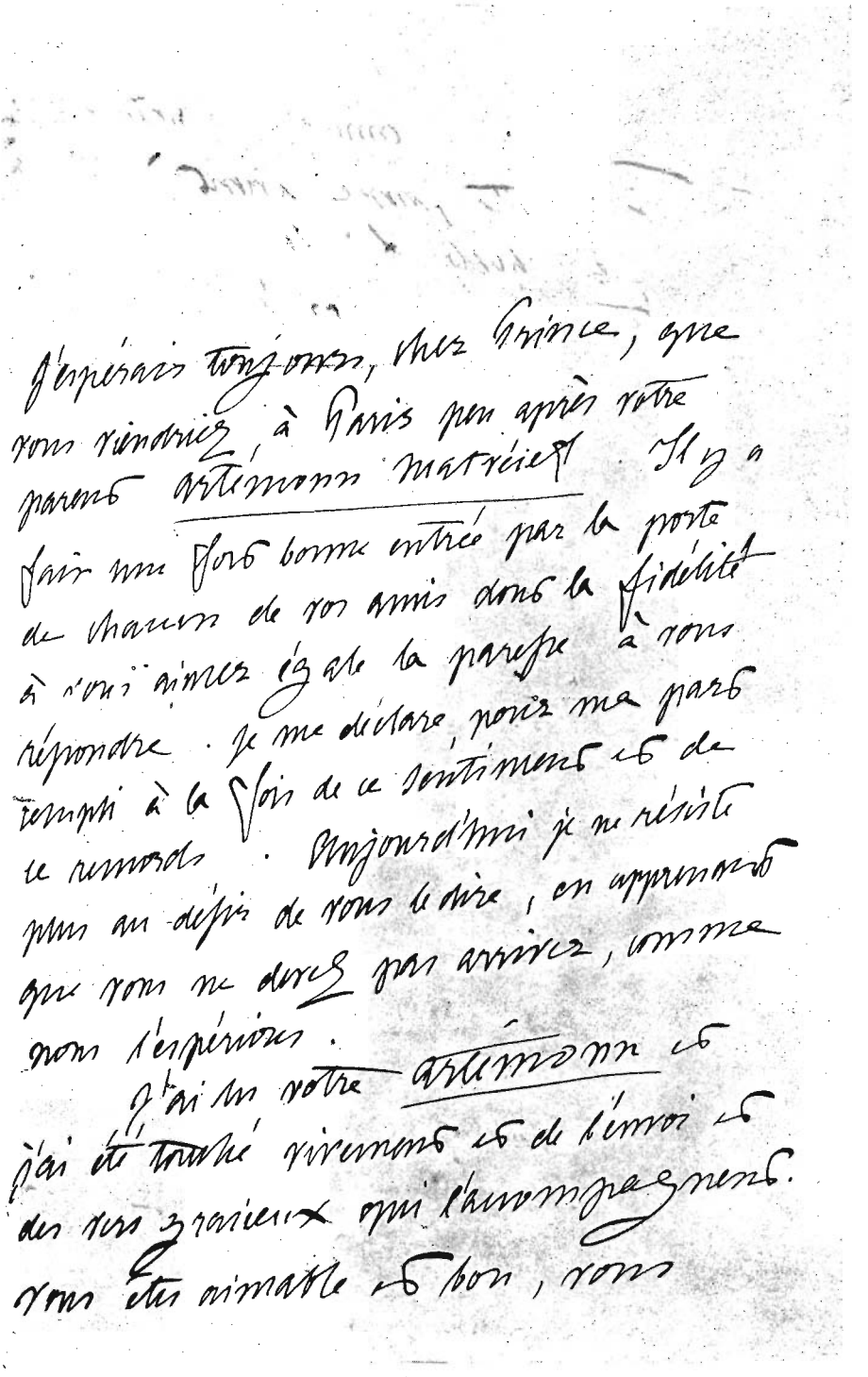
В то время он еще не дошел до этого и не думал, что когда-либо дойдет. Он радовался жизни, которая открывалась перед ним во всей своей красе. Не будучи очень богатым, он имел достаточные средства; его способности сулили ему прекрасное будущее, казавшееся еще более надежным, благодаря покровительству высокопоставленных лиц. Его мать была сестрой князя Чернышева, одного из любимцев императора Николая I — того самого Чернышева, который произвел такое сильное впечатление, когда впервые появился при дворе, и которого все женщины наперерыв оспаривали друг у друга.

Он мало занимался политикой, светские обязанности и научные занятия поглощали его время. Самый характер его службы сближал его с литературой: он должен был держать свой двор в курсе всего, что появлялось нового и примечательного; итак, у него было достаточно оснований сближаться с писателями и артистами, и прежде всего то, что с ними он в самом деле чувствовал себя в своей среде и что его вкусы влекли его к этим знакомствам».

## III

Этот привлекательный образ сохраняет еще сходство с действительностью. Но уже чувствуется, что он вполне готов для легенды. Князь Элим обладает всеми доблестями, необходимыми для героя романа. Действительно, уже в 1852 г., через каких-нибудь восемь лет после его смерти, некий молодой романист, Полен Нибуайе, служивший по консульской части и писавший только в часы досуга, преподнес французским читателям своего «Элима» — «Историю одного русского поэта», с предисловием графини Даш. Родившись в 1825 г., автор не мог знать князя лично, но ему достаточно было черпать из воспоминаний своей матери, Евгении Нибуайе, которой, по всей вероятности, одна книга ее молодости, «Catherine II et ses filles d'honneur» (Paris, 1817) открыла двери салона княгини Мещерской. Графиня Даш сделалась соучастницей этой романической выдумки, слегка перемешав в своем предисловии действительность и вымысел[59].

«Я хорошо знала того, кто звался Элимом; поэтому, когда Полен Нибуайе напомнил мне об этой моей дружбе, то я почувствовала себя счастливой, что могу говорить, как хочу, о поэте, о благородном сердце, о мученике. Жизнь Элима, эта столь рано пресекшаяся жизнь, вся целиком заключается в этих трех словах: любить, петь, страдать! У него были достоинства и недостатки, как личные, так и свойственные его касте; его достоинства были истинными добродетелями; его недостатки были лишь чуть заметными пятнами в душе столь прекрасной и столь чистой, что она отвернулась от этого мира и вознеслась на небо.



ПИСЬМО АЛЬФРЕДА ДЕ ВИНЬИ К ЭЛИМУ МЕЩЕРСКОМУ ОТ 15 ИЮЛЯ 1844 г.
Первая страница
Публичная библиотека, Ленинград

n'oubliez pas vos premières sympathies
Françaises, votre pensée revient à moi
sans cesse, quelquefois la mer m'en
apporte un souffle par Jehan de
Clérembault mon petit cousin le
navigateur, un autre jour c'est la
terre par un jeune ami non moins
cher qui est près de vous à Vichy. Je
crois que votre cœur nous appartient
vraiment quelque peu et que la
nature vous a fait plus qu'à demi
Français. Votre facilité est extrême
et vous avez mis en scène avec art
le Boyar Matvéïef et le Jourodivyi
mais j'aurais voulu que vous ne vous
fussiez pas contenté d'une seule scène
et qu'une composition entière vous eût
attaché. Ne vous faites pas illusion
sur la possibilité de faire entendre à

ПИСЬМО АЛЬФРЕДА ДЕ ВИНЬИ К ЭЛИМУ МЕЩЕРСКОМУ ОТ 15 ИЮЛЯ 1844 г.
Вторая страница
Публичная библиотека, Ленинград

un public quelconque de Français, fût-il
réduit à un salon, les noms de votre histoire
s'ils sont trop accumulés. Talma
lui-même n'eût pas réussi à faire
écouter patiemment et sérieusement
Sviatoslaf, Saroslaf, Monomakh, Mstislaf
et pour les lieux: Jakoutsk
puis Sénifiéisk, Nertschinsk au Sud au Nord Irkoutsk.
ne le tentez pas dans un plus grand ouvrage
croyez-moi. — Ceci est au fait un
monologue interrompu par le feu. C'est
une bonne étude et je suis sûr qu'elle
nous amènera un drame entier. Mais
prenez garde aux trop longs discours
politiques et géographiques on en a
beaucoup abusé depuis votre départ.
Vichy vous rendra-t-il toute la santé
que vous devriez avoir? vous reverrai-je
dans ma chaumière, dans ce petit port
si humble de la Poésie, le premier

ПИСЬМО АЛЬФРЕДА ДЕ ВИНЬИ К ЭЛИМУ МЕЩЕРСКОМУ ОТ 15 ИЮЛЯ 1844 г.
Третья страница
Публичная библиотека, Ленинград

où vous avez jeté l'ancre en France?

On dit que Madame de Mestscherski est ici à Paris. Je n'irai point la voir sans lui être présenté par vous qui la nommiez votre Eloa. Eloa devait être le féminin d'Elim assurément. Je ne l'ai jamais vue, savez-vous, et j'en ai honte après toutes les merveilles qu'on me dit sur elle, mais j'espère la voir bientôt à votre bras. En attendant enivrez-vous des eaux de Vichy. Je souhaite qu'elles aient ~~toutes~~ les vertus hors celles du Léthé pour le plus silencieux mais le moins inconstant de vos amis

Alfred de Vigny

15. juillet 1844 –

ПИСЬМО АЛЬФРЕДА ДЕ ВИНЬИ К ЭЛИМУ МЕЩЕРСКОМУ ОТ 15 ИЮЛЯ 1844 г.

Четвертая страница

Публичная библиотека, Ленинград

Элим был аристократом в самом лучшем смысле этого слова; поэтому он обладал возвышенными идеями, утонченными манерами, непоколебимыми правилами поведения. Его происхождение и его положение, вполне естественно, обеспечивали ему то место, которое его исключительная натура завоевала бы ему, если бы он не получил его свыше. Наряду с благородством и гордостью, он имел сердце из числа тех избранных сердец, которые понимают и чувствуют несчастье других с бóльшей горячностью, нежели свои собственные; у него был верный, тонкий, критический ум и блестящее воображение, словом, все необходимое, чтобы быть очень несчастным и создать много неблагодарных. За ними дело не стало.

Одной из главных страстей в его жизни было патриотическое чувство. Элим любил Россию — свою «святую Русь», как он ее называл, — в тысячу раз больше, чем всех своих возлюбленных. Этот культ занимал в его сердце меньшее место, чем почитание бога, ибо Элим был глубоко религиозен, но бóльшее, чем все другие чувства. Он мечтал о великом будущем для этой необъятной страны, еще молодой и способной достигнуть всего, как она это и доказала с тех пор и как она это докажет еще гораздо более в будущем. Он хотел, чтобы она была великой, могущественной, прославленной, словом, первой в мире, и для достижения этой цели он не жалел ничего — ни жертв, ни самоотвержения, ни трудов... Сколько раз слышала я, как он развивал с восторгом во взорах и на устах свои планы и надежды! Как он был увлекателен в этих своих блистательных утопиях, какую непреодолимую симпатию внушал даже тем, чьи взгляды были весьма далеки от его взглядов!

Как поэт, он был талантлив; он был бы еще талантливее, если бы не жил в эпоху романтических причуд, которыми он злоупотреблял, как все юные и экзальтированные умы. Бурный наплыв мыслей выражался у него иногда в непривычных словах, нередко смелых и удачных. Тогда на это была мода: важнее было быть странным, причудливым, чем точным. Какие очаровательные стихи создал он наряду со своими эксцентрическими страницами! Меланхолия нисходит в сердце и овладевает всем вашим существом; читая эти строки, уже чувствуешь, что тот, кто так пишет, недолго будет жить. Этой душе слишком тесно здесь — ей нужны бесконечность, простор, вечность!..

В сердечной жизни этого молодого и обаятельного человека было много эпизодов; было бы затруднительно рассказать их все. Полен Нибуайе выбрал самый поэтический, самый подходящий для приключений романа, и он развернул свой рассказ со свойственным ему талантом: его книга полна наблюдений, тонких замечаний, сердечных порывов...».

## IV

Уже при жизни князь Элим стал героем легенды. Так захотело то парижское общество, восхищение которого он сам насмешливо отметил: «Русский князь! — о! о!» (см. выше, стр. 387). Так захотели и хроникеры, ловящие всякие слухи. Несколько ироническое и недоброжелательное свидетельство об этом превращении мы находим в следующем эпизоде, описанном Морисом Сент-Аге (Шарлем Морисом) в его посредственном рассказе «Sous les marronniers»:

«Сигнал для начала вечеров был дан в этом году в октябре одним домом на шоссе д'Антэн, где бывали главным образом высший банковский мир, военная знать и дипломатический корпус. Среди представителей этого

последнего выделялся князь Иоахим Дартлей. Мы спешим предупредить, что это был русский князь, но настоящий, который не предлагал еще ни одной модистке и ни одной фигурантке своей руки, своего состояния и своих рабов. К тому же у него не было ни рабов, ни состояния, а должность, занимаемая им в посольстве, была ему предоставлена по особой милости императора, его господина, ставшего для него отцом, вследствие бедственного положения его семьи. Самая миссия, на него возложенная, была совершенно фиктивной и не имела никакого отношения к служебным делам: это была миссия литературная. Его поведение, его работа, даже его развлечения всецело находились под надзором царя, а князь был слишком русский, чтобы не считаться с этой властной необходимостью, одновременно господствовавшей и над его волей и над его стремлениями.

Он усвоил французский язык и французское произношение с гибкостью и легкостью, свойственной большинству молодых московитов высшего класса. В этом, следовательно, не было большой заслуги; но что составляло его особенность,—это то, что он говорил и даже писал по-французски поистине очаровательно. Он снискал себе в салонах высокую репутацию. Он создал себе, я сказал бы, нечто вроде маленького царства, и все это столько же своей любезной беседой, сколько прелестными стихами, которые он декламировал иногда, по недавно установившемуся обычаю.

Добавим, что его наружность подготовляла как нельзя лучше к тому впечатлению, которое он производил. Стройный блондин, высокого роста, с небольшой головой, с голубыми живыми глазами, с привычной улыбкой на губах, с усами по последней моде, снисходительно-любезный, с узкими руками, с тонкими, по-юношески причесанными волосами, с нежными красками лица, одетый всегда с изысканной и мягкой небрежностью, он имел ту блеклую, но притягательную наружность, опустошенную, но поэтическую, высокомерную, но вкрадчивую, холодную, но учтивую,— то русское, словом, что так нравится — увы! — иным француженкам...

Около полуночи, после исполнения нескольких музыкальных пьес и прежде, чем начать танцы, стали просить князя-поэта прочесть свои стихи. Вспоминали его триумфы прошлой зимы; летом в деревне, под деревьями, много раз повторяли удержавшиеся в памяти отрывки его свежих стихов; теперь хотели услышать новые. Закрыли фортепиано; заперли игроков в гостиной, где они немилосердно жужжали, и так как элегия, выбранная заранее для этого вечера любезным князем, обращалась к молодым девушкам, то вышло, что все, кто претендовал на это звание, т. е. почти все женщины, поспешили собраться вокруг него...

Юный иностранец стоял, окруженный бальными диадемами, душистыми локонами, сияющими лицами, нежными плечами, воздушными платьями. Все это теснилось вокруг него; он возвышался над ними своей русой головой и покорял их стройными строфами. К нему были устремлены все эти нежные взгляды, все эти шаловливые мечты, все это задумчивое внимание, и он говорил им со своей высоты вполголоса, как брат сестрам, на языке Мальфилатра и Мильвуа...

Шарль отдался, уже без критики, непосредственному впечатлению, которое произвела на его поэтическую чувствительность эта картина.., кончил тем, что стал судить дружелюбно и снисходительно, хотя не без затаенной насмешки, об этом мечтателе, который так добросовестно по-

зировал для картинки, не желая, повидимому, упустить ни одного случая, чтобы обеспечить необходимый престиж...»[60].

Впрочем, князь Элим является лишь эпизодической фигурой в рассказе, и другие замечания автора («у князя найдется рубль, чтобы выбросить бедному старому родственнику» и «ходит слух, что он может жениться на Лауре Веррье, дочери генерала Веррье») остаются без последствий. Шарль Морис дает нам здесь только пошлое эхо светских толков, где восхищение смешивается с завистью и недоброжелательством.

Не кто иной, как невинный «Journal des Demoiselles», в последний раз вызвал из забвения в 1906 г.[61] романический силуэт князя Элима: «Их было трое: Виктор Массе, Эвелина Риббекур и князь Элим Меттчерский [sic!]: они сидели вокруг редакционного стола. Тогда еще никому неизвестный автор «Свадьбы Жаннетты» писал на рукописи что-то редактору журнала, бывшему в отсутствии; Эвелина Риббекур корректировала какую-то гранку, а князь Элим Меттчерский поджидал, без сомнения, Эвелину Риббекур, просматривая журнал. То было утром 11 июля 1848 г. [анахронизм не затрудняет автора: князь Элим к этому времени был уже четыре года в могиле.— *А. М.*]. В то время как Виктор Массе собирался уходить, оставив свою записку и какую-то вокальную пьесу секретарю редакции, в помещение вошел, не постучавшись, молодой человек с густыми курчавыми волосами, широкоплечий, с весьма вызывающим видом [это был Александр Дюма-сын.—*А. М.*] и, обращаясь к князю Меттчерскому, спросил: «Редактор «Journal des Demoiselles?». «Это не я»,— ответил князь и продолжал читать. «Редактор «Journal des Demoiselles?»— вновь спросил молодой человек, обращаясь к Виктору Массе. Музыкант не ответил. Он выходил, когда мадемуазель Анжелика Арно, славившаяся своей любознательностью, поклонница Рима и Помпеи, помещавшая в «Journal des Demoiselles» свои путевые заметки, неожиданно вошла в редакцию, восклицая: «Умер Шатобриан!» Князь, очень флегматичный по северной своей природе, сказал, подняв глаза: «Каждому свой черед». Взрыв сожалений, анекдотов, воспоминаний. Между тем, курчавый молодой человек экспромптом написал на брошенных Эвелиной Риббекур гранках статью о Шатобриане, и то была первая статья Александра Дюма-сына в „Journal des Demoiselles“»[62].

Но пора для того, чтобы увидеть человека таким, каким он был в действительности, вернуться к документам, а самые надежные из них— все же те, которые принадлежат его перу: его сочинения и его переписка.

## РУССКИЙ ПОЭТ

Князь Элим писал, по преимуществу, на французском языке, очень гибком и часто блистательном, однако, не свободном от некоторых недостатков. Повидимому, русский язык был все же языком, который он знал лучше всего. Я старался разыскать в альманахах 30-х годов русские сочинения князя Элима, но мог приписать ему с полной уверенностью лишь ничтожное число стихотворений. А именно два или, самое большее, три.

### I

(«Новогодник». Собрание сочинений в прозе и в стихах современных русских писателей, изданный Н. Кукольником, СПБ. 1839, стр. 93—95. К молодой девушке, подписано: Князь Э. Мещерский, 1832).

### К МОЛОДОЙ ДЕВУШКЕ

Нет, ты меня не понимаешь!
Клянусь, небесная моя,
Ты задрожишь, когда узнаешь,
Кто я таков, откуда я.

Не детям ведаться с грехами!
Не птичке разгадать змею!
Напрасно светлыми глазами
Ты смотришь на тоску мою!

Ты ангел кротости, смиренья,
Ты дух небесной чистоты,
Улыбка скромная творенья,
Заря надзвездной красоты.

Высоко ты паришь над нами
В лучах невинности твоей!
Ты с чистыми знакома снами,
Ты в храме, как в семье своей!

Я сын порока, обольщенья,
Я спутник не благих духов,
Я горд — и не ищу прощенья,
Я рад гореть в огне грехов!

И всюду я влачусь над бездной!
Из бездны я к тебе пристал,
Дабы навеки мир надзвездной
Одной душой беднее стал!

Но что ж? Ты милою рукою
Крестишь меня! Ты надо мной
Склонилась тихо головою,
Как лилия в полдневный зной!

Скажи, ужель мои объятья
Не облили тебя огнем?
Ужель мое клеймо проклятья
Не блещет на челе твоем?

О, боже, чудо совершалось —
Ты мне открыла рая дверь!
Дитя, ты ангелом осталась
И я — не демон уж теперь!

Князь Э. Мещерский

1832

## II

(«Утренняя Заря». Альманах на 1839 год, изданный В. Владиславлевым. СПБ. 1839, типогр. Е. Фишера, стр. 67—69. Поэзия, подписано: Кн. Э. Мещерский).

### ПОЭЗИЯ

Друзья! поэзии там нет, где ум щедушный
В пыли фольянтовой ползет, как червячок,
Где сердце робкое засядет в разум душный,
Чтоб вечно в нем корпеть, как под трубой сверчок.

Там нет поэзии, где на ходулях знанья
Природу меряют, ввинтя компас к пятам,
Где шарит божий мир ученый без призванья,
Иль, словно каменщик, мир ломит по кускам.

Там нет поэзии, где бьется гордый химик
В реторте выпуклой святыню разлагать,
Иль где седой мудрец, кривясь, как пошлый мимик,
Системою своей мнит богу подражать.

Где разум без души, где знанье без смиренья —
Там жизни нет, друзья, поэзии там нет!
Она душистый пар кипящего творенья,
Созвучие того, кто рек: «да будет свет».

Она из божьих уст прямое вдохновенье,
Сиянье вечности и благодати луч;
Она сынам земли земное откровенье.
Кто ею освещен, тот зорок, тот могуч;

Тот чуток на дела творца и сотворенных;
Тот чувством то найдет, на что рассудок туп;
Тот в веру верует и, став средь братий бренных,
Покажет душу им, где видится им труп!..

Лишь вдохновенному даны ключи созданья;
Лишь он вселенную прижмет к груди своей,
Разрубит все узлы мечем предугаданья,
И факел окунет в божественный елей.

Ему вручаются все скипетры, все царства.
Он к миру старому прицепит новый мир;
Он выточит себе народ и государства;
Он выправит язык под лад цевниц и лир.

И с ним беседуют небесные светила,
И тайны вечные ему лишь говорят,
И духи всех стихий пред ним кадят кадила...
Но он — его глаза пред образом горят.

Лишь вдохновением, друзья, мы постигаем
Все, чем мы дорожим, и все, что свято нам.
Любя, мы в нашу грудь поэзию влагаем;
А свет ее блестит земле и небесам.

Лишь вдохновением постигнется Россия,
Где вера с верностью под песнями росли,
Где уж давным-давно Георгий топчет змия,
И где мы господу полмира поднесли...

Кн. Э. Мещерский

Первое стихотворение («К молодой девушке») написано на банальную романтическую тему — о демоническом человеке, спасаемом ангельской кротостью молодой девушки, тему, которую кн. Элим повторяет еще раз по-французски — в IX стихотворении «Книги любви» в «Бореалиях»

(см. ниже, стр. 186); приемы здесь, как у Лермонтова в его ранних и слабых вещах, или, скорее, как у Бенедиктова.

Второе стихотворение («Поэзия»)—более личного характера и отмечено подлинным пафосом: мы находим здесь патриотические и антиевропейские мотивы, повторенные в «Письме к Эмилю Дешану» в «Бореалиях» (см. ниже, стр. 444).

III

Одно стихотворение вызывает сомнения—это то, которое мы находим в альманахе «Комета Белы». Альманах на 1833 г., типогр. Плюшара, стр. 366—367. П е с н я. Свидетельство Барсукова («Жизнь и труды Погодина», СПБ. 1888—1907, том IV, стр. 25) неясно: в тексте стоит «кн. Мещерский», а оглавление уточняет: «кн. Э. П. Мещерский». Но принадлежность его князю Элиму правдоподобна.

ПЕСНЯ

Одно облачко на синих небесах,
Одна думушка в лазоревых глазах.
Как за облачком не вижу солнца я,
Мутен божий день сквозь слезы для меня.

Душно в тереме, дыханье заняло,
Грустно на сердце, вздыхаю тяжело.
Кабы облачко распалося грозой,
Кабы думушка горючею слезой.

Кабы вольно мне заплакать молодой,
Отереть глаза девичею фатой...
Скрылось облачко в далекие края,
За широкие, за синие моря.

В ту сторонушку, где солнышка восход...
Кто же грусть-тоску разгонит, унесет?

Князь Мещерский

Неуместно было бы приводить здесь стихи, принадлежащие перу однофамильцев, как-то:

«Царское село». Альманах на 1830 г., изданный Н. Коншиным и Б. Розеном, СПБ. 1830, типогр. Плюшара, стр. 309—310. В е с н а и о с е н ь, подписано: Князь Мещерский, Царское село, Лицей, 1828.

«Северные Цветы», 1832, стр. 149—150. С т а н ц ы, подписано: Кн. А. Мещерский.

«Одесский Альманах», 1839, стр. 256. З а т о ч е н и е, подписано: Кн. А. Мещерский.

«Молодик» (Украинский литературный сборник), 1843, I, стр. 181—183. Ж и з н ь и с м е р т ь п р и о д р е с т р а д а л ь ц а, подписано: Кн. П. Мещерский, Харьков, окт. 1841.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЭТ

I

Князь Элим был, по преимуществу, французским поэтом, и история французского романтизма с полным основанием предъявляет на него свои

права. Список его поэтических произведений краток: Керар установил его уже давно[63], и мы можем дополнить его только в мелочах.

Его поэтическое творчество состоит в основном из трех сборников, из которых два — посмертные: «Les Boréales» («Бореалии» — «Северные стихи», 1839), с одной стороны, «Les roses noires» («Черные розы», 1845) и «Les poètes

ЖЮЛЬ РЕССЕГЬЕ

Литография из серии „Galerie de la Presse, de la Littérature et des Beaux-Arts"

russes» («Русские поэты», 1846) — с другой. Стихотворение на случай, посвященное «A LL. AA. Impériale et Royales M-me la Grande-Duchesse Marie et Messeigneurs le Grand-Duc et le Prince Héréditaire de Saxe-Weimar, à l'occasion de la naissance du Prince Charles-Auguste», заслуживает лишь простого упоминания[64].

К этому нужно присоединить несколько стихотворений совсем иного качества, в том числе знаменательное «Послание к Альфреду де Мюссе», которое до сих пор оставалось незамеченным[65].

ПОСЛАНИЕ К АЛЬФРЕДУ ДЕ МЮССЕ

Из кубка твоего испил я вдохновенье;
Струей своих эфирных волн
Ты свыше вдохновенных посвященье
Мне пролил в грудь, и песен был я полн.
Воспламенил меня ты песнью пылкой лиры,
Жил под твоим я небом голубым,
И если пламенем однажды стану в мире,
То только приобщась огням твоим.

Элим, княгиня [!] Мещерская

Ницца, 11 ноября 1845 г. (королевство Сардиния)

Далее следует упомянуть о балладе, напоминающей Казимира Делавиня в его худших образцах: «La jeune mère. Ballade», появившейся в «La France Littéraire» (1836, I, стр. 481—883) и перепечатанной в «Сыне Отечества» (1838, т. 187).

К этому нужно прибавить, наконец, еще следующие три строфы, написанные для Pauline P. и Amélie R. («du Pensionnat de Vendôme»), напечатанные в «Journal des jeunes personnes» (т. II, 1834, стр. 224) и сохранившиеся на отдельном недатированном листке, находящемся у меня:

Вандомских старых стен, о ангелы, порхайте...
Касатки белые, ведите хоровод!
Но в озеро услад вы крыл не опускайте,
Скользите, не задев крылами глади вод.

Что наслаждение?.. Его коварна сладость.
Оно сродни пчеле, в чьем жале тайный яд.
Тебя приняв за цвет, о ветренная младость,
Оно тебя убьет... О, избегай услад...

Для ваших юных лет несносны наставленья.
Гляжу на вас, грустя: не всем пятнадцать лет,
Кому хотелось бы. Я потерпел крушенье;
Испытанный моряк лишь жесткий даст совет.

## II

«Бореалии» — единственный сборник, опубликованный еще при жизни поэта, и мы видели выше, какое участие Эмиль Дешан, по просьбе самого автора, принял в его опубликовании (см. выше, стр. 387). Оформление книги отвечает лучшей романтической традиции, а именно традиции «Voix intérieures» Гюго, как и хотел этого автор; типографское исполнение безукоризненно; бумага тонкая, но хорошего качества; титулы, эпиграфы и подзаголовки расположены стройно. Инструкции, данные князем Элимом его другу, были соблюдены точно. Мистификация в духе времени приписывает авторство большинства стихов умершему русскому поэту «B. de G.». Этому поэту, якобы, принадлежит первая часть книги: «Письмо к Эмилю Дешану» и «Книга любви» — это «завещание одного молодого человека, который чувствовал, как поэт, сочинял стихи, как это может делать каждый, и умер, как умирают все. Он ничего не опубликовал при жизни. Его биография похожа на биографии всех тех, кто жил для того,

чтобы любить, и, помимо этого, не представляет ничего замечательного... Автор, будучи русским по происхождению и русским душою, проникся горячей нежностью к французским стихам и к одной молодой девушке, своей соотечественнице...». Князь относит на свой счет только переводы русских поэтов, составляющие вторую часть сборника. Но это мнимое раздвоение, конечно, никого не могло ввести в заблуждение. Друзья князя знали, какое целомудренное чувство внушило ему мысль выпустить «Книгу любви» под эгидой своей жены — Варвары Жихаревой (B. de G.— инициалы ее имени во французском написании князя Элима: B a r b e d e G i k h a r e v a)[66].

Редкая книга показывает так ясно, из какой среды она вышла и чей дух веял над ней. Автор ее — явным образом русский патриот, горящий желанием открыть Западу миссию своей страны, и в то же время он — французский поэт 30-х годов, испытавший на себе влияние Мюссе, Гюго и всей группы молодых поэтов, своих друзей. Некоторые места предисловия, где Россия изображается, как избранная земля, как мистическая страна, как «омега», призванная завершить собою «книгу человечества»[67], напоминают нам тот манифест, которым явилось впоследствии предисловие де Вогюэ к его «Русскому роману». «Письмо к Эмилю Дешану» представляет собою как бы диптих: на одной из створок автор пытается объяснить сущность России и «борется с густой тьмой западных предрассудков, которая в наши дни скрывает облик России»[68], а на другой створке изложено литературное исповедание веры начинающего поэта, который дорожит духовным родством с целой плеядой французских современников. Мы встречаем здесь имена писателей и названия произведений, самых дорогих для князя Элима. Прежде всего — Альфреда де Мюссе, которого он воспевает, повторяя строки «La nuit de mai»:

Я б подражал Мюссе, но он неподражаем;
Он, вольный, так глубок, так мощен мысли взлет,
Что извращенный вкус едва ль его поймет.
Он чересчур велик для формы, он глубок,
Из раненой души мысль льется, как поток[69].

Затем идет трогательный перечень поэтов, где Виньи и Сент-Бёв затеряны среди многих забытых ныне имен:

Я б ваши песни все заимствовал у вас...
Немного быть, как вы,—желание понятно.
Ведь дружбу я вожу с к о м п а н и е й п р и я т н о й,
Воспетой Рессегье[70]: меж ними видишь ты
Элоа, чья слеза плодотворит цветы
В садах Поэзии. Под сенью их прекрасной
Жозеф Делорм пленял нас лирой сладкогласной.
Там вижу братьев я: Л а з а р а и П ь я н т о[71],
Великих мастеров; в руках их долото
Крошит безжалостно причуды злого века;
Они таврят клеймом пороки человека.
Свой заунывный глас там Антони[72] обрел,
Чье мрачное чело венчает ореол.
М а р и я![73] Ц и н т и я![74] Весталка, вняв напеву,
Венчает лаврами арморикаику-деву.

И обе видели, как, затаив удар,
Под Шпагой и Плащом скрывался Бовуар[75].
А дальше — юноши в сиянии экстаза —
Цветник, где в лилиях зрим царство сильфа Блаза[76],
И, благочестия старинного жрецы,
Меж ними Тюркети[77], Бошен[78], Гиро[79] — певцы.
То — небо горнее. Средь блещущих вершин
Сияют в нимбе там Суме и Ламартин,
И, наконец, Гюго, волшебник сей могучий
И сей Наполеон поэзии певучей.

Эпиграфы различных стихотворений «Книги любви» подтверждают это исповедание веры: князь Элим заимствует их большей частью у Мюссе (стихотворения I, V, IX, X, XIX, XXIX) и у Гюго (стихотворения XIII, XV, XVII, XXVII, XXX, XXXII), некоторые у ближайших друзей: Сен-Феликса (VI, XIV, XXII), Эмиля Дешана (XI), Жюля де Рессегье (XXV), Альфреда де Виньи (VIII), другие у молодых поэтов, которых он знал меньше: Огюста Барбье (XII), Антони Дешана (XXVIII), Шарля Довалля (XVI), Александра Гиро (XXVI), Ульриха Гуттингера (III), Жюля Лефевра (XXIV), остальные, наконец, у далеких учителей: Шенье (II), Шатобриана (XXIII), Ламартина (XXI) и Суме (XI), который оказался, таким образом, в хорошей компании.

Свидетельство самих произведений еще более ясно. Поэт отдается напевам, носящимся в воздухе, и его мечта, как он сам признавался Дешану: «немного быть, как вы». Его вдохновение нам не кажется ни очень глубоким, ни очень пламенным: его источник преимущественно — общие места, излюбленные его поколением, но оно искренно и выливается уверенно в модную форму. Оно выражается одновременно легко и гармонично, в рамках и в соответствии с литературными приемами времени. Поэт ловко играет антитезами, демоническими и серафическими клише — синтаксическими нововведениями, как-то — употребление отвлеченных понятий во множественном числе; его поэтические дерзания — вполне во вкусе салонов и всегда рискуют перейти в мадригал. Таково стихотворение IX, где тема демонизма, побеждаемого девической чистотой, трактована в духе многих поэтов одновременно и где мы находим в разбросанных, но искусно сочетающихся мазках отзвуки Ламартина, Виньи, Гюго — всей романтической лирики:

Возможно ли, чтоб я, распутный сын порока,
Душою светлою погрязший так глубоко
В нечистом омуте гнилых и злых страстей,

Возможно ли, чтоб я к тебе пришел, святая,
Ограду светлую твою переступая,
Где все ты радуешь сиянием очей;

Чтоб я, их не боясь, плененный чистотою,
Бок о́ бок пребывал с божественной красою,
Лобзаньями покрыв всю чистоту чела?

Как ледяной покров, твоя душа хранима
Крылами снежными святого серафима,
И чистотой своей меня ты привлекла.

Не потому ль, скажи, твоя любовь — горнило,
И в сталь нечистый сплав оно перекалило,
Из сердца вытравив все пятна навсегда!

Все обеляет снег, все выжгет пламень верный,
А я, чтобы себя очистить мог от скверны,
Прошел сквозь девственность и пламени и льда.

Таков и этот сонет, который автор с полным основанием снабжает эпиграфом из Гюго и который характером своим напоминает «Оды и баллады»:

O ma charmante!
Ecoute ici
L'amant qui chante
Et pleure aussi.
Victor Hugo

Любви знакомы мне два рода.
Одна — монах, и год от года
Уходит, созерцая, в скит,
Где тихо плачет и молчит.

Другая — отрок, чья природа
Светла, ему чужда невзгода.
Любовной дымкой взор повит,
Лепечет он, ваш фаворит.

Так, подле вас, о дорогая,
Как нежный отрок, вас лаская,
Все беззаботно я пою.

Вдали ж от вас сродни я тени,
Монах в тиши уединений;
Так двуобразно вас люблю.

Стихотворение X («I love you...»), вдохновленное Мюссе, и стихотворение XVII («Ecrit le dimanche des Rameaux»), самое заглавие которого достаточно обличает подражание Гюго, заканчиваются отрывистыми каденциями, не лишенными претенциозности.

Стихотворение XIII («Ce n'est pas une abeille à l'aile frémissante»), где поэт хотел «подражать» манере и оборотам русских народных песен, также перегружено романтическими украшениями.

В общем, князь Элим был тонким художником, дававшим перепевы своей школы. И если его поэзия не имеет подлинно-индивидуального характера, зато она хорошо доносит до нас эхо своей эпохи.

## III

Однако, этот поэт, который, желая быть самим собой, смог быть только эхом своего времени, обладал всеми данными, необходимыми для перевода поэтических произведений своей страны на чужой язык. Русским поэтам был нужен именно такой переводчик, как князь Элим, который мастерски владел бы одновременно двумя языками. Он сознавал высокую важность этой задачи, но знал и ее трудности, и никто не определил их удачнее, чем он сам в предисловии к «Бореалиям»[80]:

«Эти несовершенные переводы, — автор чувствует их несовершенство лучше, чем кто-либо, — эти робкие попытки составляют последнюю часть

книги. Он представляет их французским поэтам, как рудокоп-ученик приносит старшим рабочим незнакомый минерал. Их дело — решить, произведя испытание, обещает ли что-нибудь проба, стоит ли или нет эксплуатировать открытый рудник, и в особенности — не следует ли подождать прихода более опытного работника. Все же, если только будет дан сигнал, он примется за работу, продвигаясь в направлении жил, роя с увлечением, пробивая штольни. Он решается даже возвестить, что добыча будет богатейшей, если только его слишком тяжелая кирка, его плохо прилаженный молот не разобьют вдребезги алмазные или золотые сокровища, таящиеся в этой обильной почве. И более способные, нежели он, терпели неудачи, потому что работа эта трудна. Перевести — значит пересоздать; это значит — растопить прекрасное металлическое изделие, чтобы сделать его заново, согласно первоначальному образцу. Материал не меняется, но форма утрачена. Берется новая форма, иного устройства и сделанная чужой рукой; кидают в печь орла и извлекают оттуда во́рона. Еще счастлив тот, кто так понимает свою задачу. Ему иногда удается добиться успеха. Но что происходит с переводчиком, который упорствует в рабском воспроизведении образца? Перед ним поставлен живой человек, но он создает не портрет — произведение искусства, умелое отражение натуры. Нет, конечно. Он гордо показывает вам восковую куклу. Все точно в этом человеческом облике — стан, черты, тело, окраска — все, вплоть до морщин, которые могут оказаться на лице; но то, чего недостает, это тоже все: это — жизнь».

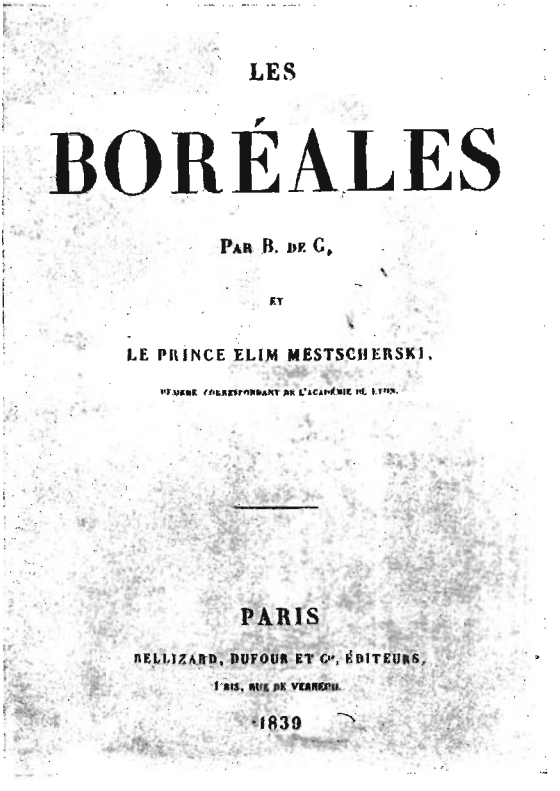
Из этих мудрых наставлений, из этих советов, которые он давал самому себе, князь Элим сумел извлечь для себя пользу. Никогда русская поэзия не имела переводчика более тонкого, более уверенного, более живого: переводчика, улучшающего произведения посредственных поэтов, с которыми он хочет нас познакомить, как, например, стихи графини Ростопчиной, переводчика, каким-то чудом сумевшего передать по-французски божественную простоту Пушкина, не отягчая и не опошляя ее. Многие из его переводов — настоящие шедевры. Достаточно привести в качестве примера пушкинское «Прощание с калмычкой», от которого не отказался бы и Альфред де Мюссе:

Adieu, cher cœur, jaune Kalmouque,
C'est à peine si je n'ai pas
Pris ta k i b i t k a pour felouque
En m'élançant après tes pas
Sur les flots du steppe là-bas.
Bien que ton front soit sans mesure,
Tes yeux rétrécis à l'excès,
Ton nez plat, tes pieds sans chaussure,
Que tu ne parles point français,
Que Shakespeare ou bien Lamartine
Soient ignorés dans ton taudis,
Qu'on te serve un thé sans tartine,
Ce triomphe de nos ladys;
Bien que, pour sembler langoureuse,
Tu ne roules pas des yeux longs
Qui sortent d'une tête creuse,
Ni ne galopes aux salons...

Qu'importe! ta grâce sauvage
Eût fait éclater dix cerveaux;
Et moi, j'y fus pris au passage
Pendant un relais de chevaux.
Qu'importe où notre cœur se loge.
Dès qu'il s'émeut, tout coin l u i sert,
Salon doré, soyeuse loge,
Ou la k i b i t k a du désert.

Двадцать пять стихотворений, переведенных в «Бореалиях», принадлежат Пушкину, Жуковскому, Баратынскому, Кольцову, Бенедиктову, Козлову, Языкову, князю Вяземскому, графине Ростопчиной, Тимофееву. Автор намеренно выбирал только молодых поэтов, оставив в стороне поэтов, предшествовавших Жуковскому,—«всю эту планетную систему, солнцем которой был Державин»[81]. Он весьма поэтически извиняется за произвольность выбора и за несовершенство своих переводов:

«Эти этюды... только зарисовки на картоне, те куски холста, на которых художник пробует краски, рисует углем контуры, закрепляет эффекты тени и света. Прежде, чем приложить руку к большой картине с ее широкими горизонтами, с ее громадным небом, с ее воздушной и земной перспективой, ее водами, ее горами, ее деревьями, ее фигурами—к этому многообразному целому, где каждая часть—портрет, художник—силен он или слаб в своем мастерстве—чертит прежде всего карандашом профиль,


LES

BORÉALES

PAR B. DE C,

ET

LE PRINCE ELIM MESTSCHERSKI,

MEMBRE CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE DE LYON.

PARIS

BELLIZARD, DUFOUR ET Cie, ÉDITEURS,

1 BIS, RUE DE VENDÔME.

1839

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ СТИХОТВОРЕНИЙ МЕЩЕРСКОГО „LES BORÉALES", 1839 г.

закрепляет форму облака, луч луны или солнца, кусок скалы, морскую волну, мерцание каскада, цветок, пучок травы»[82].

IV

Второй сборник стихов князя Элима появился весной 1845 г., через какие-нибудь полгода после его смерти. «Черные розы» («Les roses noires» par le prince Elim Mestcherski. Paris, 1845, Librairie d'Amyot, éditeur). Ничто в заглавии не указывает на посмертный характер издания, но на обложке изображены гирлянды черных роз, придающие книге траурный вид, а письмо Виктора Гюго от 11 ноября 1844 г., напечатанное в приложении, приносит княгине Мещерской дань скорби, надгробный венок, сплетенный во вкусе эпохи:

«Увы, это был светлый талант на земле, в небесах он стал лучезарной душой. Провидение дало ему все, ему ни в чем не было отказано. Во всем он был достоин зависти и нежности; это была исключительная натура, и жребий его был исключительным. Бог нарушил, чтобы дать нам его, обычный порядок вещей; он нарушил этот порядок, чтобы отнять его у нас...».

Мы имеем все основания думать, что этот сборник был приготовлен к печати еще самим князем Элимом[83] и что княгиня только дополнила его «Последними стихами»[84], а именно: «Сонетом к Эмилю Дешану по поводу его стихотворного перевода Макбета и Ромео и Джульетты» и «Размышлением, написанным князем Элимом Мещерским в ночь, предшествовавшую его последнему дню», — стихами, мощно иссеченными и твердыми, как мрамор гробницы:

Когда недуг и хворь охватят вдруг поэта,
И жизнь в конце пути, лучами не согрета,
Свое убежище, последний свой оплот
Находит лишь в мозгу, который смерти ждет,
Как побежденный царь в последней цитадели,
Чьих верных воинов еще не одолели,—
Тогда поэт следит, свидетель быв немой,
Как разрушение вступает с жизнью в бой...

В «Черных розах» перед нами тот же поэт, что и в «Бореалиях», но они лучше показывают богатство его вдохновения и успехи его поэтической техники, в которой, по правде говоря, так мало индивидуального. Вступительное стихотворение, предназначенное для оправдания названия сборника, представляет собою вариации на тему, взятую из романтической символики, причем некоторые из мотивов достигают почти парнасской четкости формы:

Над миром, чьи томятся чада,
Какой-то демон злой царит,
Но бог, оплот наш и ограда,
Мир сокровенный нам дарит.

В саду души, что зацветает,
Живет по-разному народ.
Иной поместье обретает,
Иные — малый огород.

Моим уделом были розы,
Гряда унылых, темных роз;
Душа, ты проливала слезы,
Ты их кропила влагой слез.

Скорбь, это — влага. В ней есть сила.
Любовь — огонь. Огонь же ал.
И розы влага оросила,
А солнца луч их не ласкал...

Из двух частей, составляющих сборник (I — Драмы; II — Песни), первая, несомненно, более интересна. Мы находим здесь ряд драматических опытов, быть может, отголоски тех представлений, которые князь Элим устраивал в Ницце в основанном им частном театре[85]. Одни из них вполне самостоятельны: «Артамон Матвеев — картина в одной сцене», «Форнарина — картина в нескольких сценах»[86]; «Агония Лже-Дмитрия — картина-сцена»; «Скульптор — картина в одной сцене»; «Принцесса Мария Английская у прорицателя св. Павла — картина-сцена»; «Тасс в Ферраре — отрывок драматической поэмы»; «Отрывки из реванша поэта — комедия в трех актах, в стихах». Другие заимствованы из произведений русской литературы: «Цыгане — картина в нескольких сценах» (по Пушкину); «Светлана — картина в нескольких сценах, подражание балладе Жуковского». Третьи вдохновлены германской поэзией: «Фауст у колдуньи — картина в одной сцене»; «Камоэнс — драма в одном акте, в стихах; подражание немецкому». Все эти драматические сцены трактованы в романтическом духе: лирический элемент господствует здесь безраздельно, и влияние Гюго сказывается почти на каждой странице. Такова, например, эта исповедь Переца, героя «Камоэнса», которая может сойти за пародию какой-нибудь тирады из «Эрнани» или «Рюи Блаза»[87]:

Я годы детские, сдружившися с мечтой,
Провел средь старых книг. Как бродит лишь слепой,
Во-внутрь души своей невольно обращенный,
Я по миру блуждал, и ночью озаренной
Мне были дороги безлюдье и луна.
В безмолвьи странные я слушал имена,
Дневные ропоты не досягали слуха,
И к торжищам мирским страх чувствовал я глухо —
Чего-то жаждал я, а между тем не знал,
К чему стремился сам. И вдруг как бы хорал
Меня всего потряс!.. Стихи Луизиады!
Когда их дивные я слушал серенады,
Сияло все во мне, и душу залил свет,
И расцвела душа моя, как златоцвет...
О, следовать за ним бесстрашно и упорно!
И в сердце раздались как будто звуки горна,
И я на зов летел. В ночи на огонек
Так, ослепленный вмиг, порхает мотылек...

Вторая часть «Черных роз» (II. Песни) состоит из лирических произведений — песен, романсов, од и баллад. Мы узнаем здесь интонацию первых стихов Альфреда де Мюссе, и в особенности «Orientales» и «Odes et bal-

lades» Виктора Гюго, с усвоением тех ритмов, которые эти сборники пустили в оборот. Например:

Возьми гитару,
Опять мне спой!
Нет лучше дара,
Чем голос твой.
Под сенью древа,
Как ключ, о, дева!
Душа напева,
Журчит твой глас,
Обворожая,
И обольщая,
И поражая
До смерти нас.
Твой голос нежный
Летит, небрежный,
В эфир безбрежный —
Прелестный дух,
Крылом Зефира,
Голубкой мира,
Как чья-то лира,
Ласкает слух...

Мы не находим в этом сборнике ничего, что выходило бы за пределы общепринятых тем и общеизвестных аксесуаров: («Гондола», «Светляки», «Тарантелла», «Креолка Элина» и т. п.), и его ориентализм лишь слегка освежен красками Кавказа («Грузинка в греческом костюме»). Но одно произведение выделяется среди этих лишенных оригинальности декораций: это стихотворение, названное «Моя химера», которое является ни больше ни меньше, как одой к «святой Руси»[88]. Сделал ли это сам поэт или его издатель, но она, с полным основанием, помещена в конце сборника. Она как бы последнее его слово — если не самое сильное, то, во всяком случае, самое самостоятельное. Князь Элим обнаруживает здесь вдохновение и силу стиха, достойные Хомякова и Тютчева. Никогда Россия, понятая православным патриотом-славянофилом, как носительница и традиции и прогресса одновременно, не находила для себя на французском языке более великолепного изображения:

Господь — ее опора —
Дает ей благодать.
Она в сияньи взора
Пришла благословлять;

Мудра, всем возвращает
Народам мирный сон,
В них юный сок вливает
И дух былых времен.

Идет она, святая,
К народам, без помех,
В броню их облекая
Своих преданий всех.

РОНСАР
Рисунок неизвестного художника французской школы, 1560-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

В очах ее искрится
И теплится всегда
То злых сердец зарница,
То девственных звезда.

В ней, странной, духом правой,
В ней свет сияний двух:
Архангельская слава
И голубиный дух.

В ней дышит изобилье.
Златиста, как снопы.
Ее орлины крылья,
Гранитные стопы.

Огромная химера,
Лев северных племен,
В чьих лапах без примера
Погиб Наполеон.

Как дуб широкошумный,
С безмерной добротой,
Она на мир безумный
Мир проливает свой.

Под сень своей державы,
Под теплое крыло
Париж взяла кровавый,
Поправ стопою зло.

И Францию спасая,
Сирот утешив, вдов,
С ней стерла всеблагая
След вражеских зубов.

Собрав ее отрепья,
Она в избытке сил
Вновь гнезда велелепья
Свила среди могил.

Ей слава, без сомненья,
Что с песнью на устах
Кантатой искупленья
Кровь смыла черных плах.

Анафема Франции времен Революции и Империи, монархическое исповедание веры, «credo» патриота - мистика, православный мессианизм—вся политическая и религиозная идеология князя Элима заключена в этом произведении. Предисловие к «Бореалиям», к которому мы еще вернемся, самый выбор для перевода, в числе других, стихотворения Хомякова «Остров» давали уже нам возможность вскрыть эту идеологию.

Alors une autre contrée,
Au cœur humble et plein de foi,
Surgira tout éclairée
Des rayons éteints sur toi.

Dieu la prendra pour son aire,
Il parlera par sa voix;
Puis, au bruit de son tonnerre,
Pâliront peuples et rois[89].

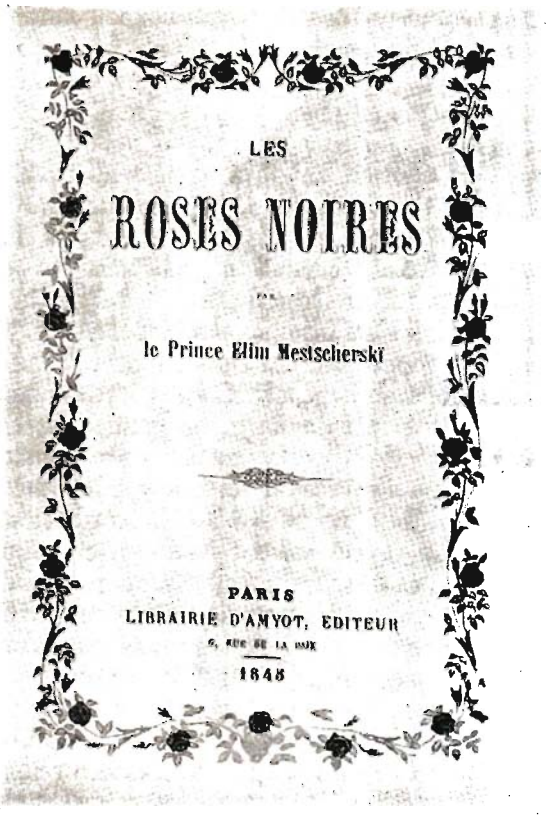
Переписка князя Элима с А. А. Краевским объяснит нам в дальнейшем еще лучше все догматы этой веры.

## V

Издательство Amyot опубликовало в 1846 г. последний сборник стихов князя Элима: «Les poètes russes traduits en vers français par le prince Elim Mestscherski», tomes I — II (imprimerie de H. Fournier et C-ie, rue Saint Benoit, 7). Издатель сообщает нам, что ему принадлежит лишь техническая сторона издания: «Эти два тома были вполне подготовлены, переписаны и заботливо исправлены самим поэтом, когда смерть похитила его на тридцать седьмом году жизни»[90]. Но к собранию, приготовленному еще автором, издатель по собственной инициативе прибавил «поэтический венок» из нескольких стихотворений его друзей и речь «О русской литературе», произнесенную князем Элимом в марсельском Атенее 28 июня 1830 г.

Этот поэтический венок не представляет большого литературного интереса. Он состоит из стихотворений, написанных — одни еще при жизни князя Элима (Жюлем де Рессегье, 1839; Жюлем де Сен-Феликсом, 1842; Эмилем Дешаном, 1843), другие — по случаю его смерти (Адольфом Дюма, Альфредом де Мартонном, Александром Конаром, бароном де Мортемаром, Роже де Бовуаром, ноябрь 1844; Жюлем де Сен-Феликсом, январь 1845; Антони Дешаном, апрель 1846; поэтессой Анаис Сегалас, май 1846). Издатель объявлял также о стихотворении Виктора Гюго, которое, однако, насколько мне известно, никогда не появилось[91].

Трактат «О русской литературе», напротив, заслуживает внимания, несмотря на то, что дело идет о юношеской работе и о сообщении, сделанном «по памяти» на тему, слишком обширную, чтобы быть исчерпанной в одном докладе. Это не что иное, как одна из первых попыток дать на французском языке полное обозрение истории русской литературы или, точнее, русской поэзии. Автор предполагал восполнить этим, в меру своих слабых сил, курс Ж.-Ж. Ампера, с которым он чувствует полное духовное согласие. «Моя работа продвинулась уже довольно далеко, когда я начал посещать литературные лекции г. Ампера — молодого профессора, который, благодаря высокому полету своих мыслей и глубине своих знаний, призван, повидимому, когда-нибудь создать во Франции эпоху. Он излагал развитие северных литератур, начиная от средних веков вплоть до наших дней, стараясь проследить постепенную эволюцию тех элементов, которым мы обязаны нарождением нового литературного жанра, господствующего в настоящее время в Англии, Германии, скандинавских странах и в России. Одна только русская литература оказалась за пределами научных исследований г. Ампера... Таким образом, работа, которую я предпринял, движимый всецело моими личными побуждениями и следуя моей личной точке зрения,




ОБЛОЖКА КНИГИ ЭЛИМА МЕЩЕРСКОГО „LES ROSES NOIRES", 1845 г.

оказалась в некотором роде дополнением к серии картин, развернутой французским профессором. Нарисованная мною картина, принадлежа к той же школе, естественно, должна была гармонировать с его курсом,— но настолько, впрочем, насколько работа ученика может приближаться к работе мастера»[92]. Все это происходило летом 1830 г. Курс Ампера составил памятный момент в истории марсельского Атенея. «Тогда членам Атенея,—пишет Ф. Тамизье,—довелось услышать еще юную, но уже полную серьезности и очарования речь. Сын гениального ученого, знаменитого математика, начинал в этой скромной зале на улице de la Darce свою литературную карьеру, столь славно завершившуюся с той поры. Молодой ученый знакомил внимательную и восхищенную аудиторию с историей северной поэзии от Эдды до Шекспира. «La Revue de Provence» дала полное и обстоятельное изложение его курса...»[93]. Лекция князя Элима была воспроизведена в «Revue de Provence» (1830) и вызвала статью в «Sémaphore de Marseille» (№ 787)[94], но она не оставила никакого следа в истории Атенея[95].

Между тем, эта лекция не заслуживала постигшего ее забвения. Для нас она представляет тот интерес, что определяет позицию, занятую автором в литературных спорах его времени. Князь Элим осуждает без всякого снисхождения те «парики», которыми французское влияние украсило головы русских писателей XVIII в. «Классицизм, не говоря более ничего нашим чувствам, нашим симпатиям, всем стремлениям нашего духа, представляет собою только мумию, в которой мы почитаем прошлое. Позволим же литературе, позволим же ей сбросить классическую тогу,

столь тяжелую и чопорную, покрой которой сейчас столь же мало в моде, как высокие воротники, парики или красные каблуки. Пусть нынешняя литература присвоит себе легкие одежды романтизма, столь же богатые оттенками, как цвета радуги, столь же разнообразные по форме, как сама природа, наконец, достаточно просторные и достаточно гибкие в своих контурах, чтобы окутать изящными складками громадный гений Байрона и гений Гёте, великого, как мироздание». Но, приобщась духу современности, наш поэт все же заботится о том, как бы не утратить чувства меры: «Будем вводить новшества, так как для новых идей нужны новые формы, новые слова, чтобы выразить новые представления; но пусть эти нововведения ничем не оскорбляют хорошего вкуса и здравого смысла». Жуковский, которого он, без сомнения, особенно ценил еще и потому, что видел в нем образец перелагателя и переводчика, имел в его глазах ту заслугу, что он «хорошо понял романтизм и, всегда мудрый и умеренный, не дал реформаторскому духу завлечь себя слишком далеко... Именно его пример предохранил русскую литературу от появления на свет романтических чудовищ, как мы видим это, к сожалению, в других странах»[96]. Итак, романтизм будет велик лишь постольку, поскольку он будет умерен и еще поскольку он будет черпать из национальных источников. Так понимали его Жуковский и Пушкин. Оба они умели «обращаться к народным традициям, окрашенным живым, своебытным колоритом чудесного..., заменить народными суевериями — этой, так сказать, домашней мифологией и обломком древней национальной мифологии — ту, которую породила религия греков и римлян... Первая поэма, которой Пушкин возвестил России пробуждение своего гения, была заимствована из старых русских преданий, украшенных всем обаянием волшебства и чародейства»[97]. Прислушиваясь к народному вдохновению, сможет поэт «найти свою область среди обширных владений человеческого духа» и таким путем прикоснуться к всемирности. «Национальное соперничество» должно «исчезнуть навсегда в мире наук и искусств». Новое поколение во Франции (выразителем его представлен Эмиль Дешан) признало, наконец, «что существует отечество, общее для всех народов, сокровища которого равно принадлежат всем: это отечество есть область человеческого духа»[98].

Со своим смешением патриотической гордости и гуманизма, где, однако, патриотизм преобладает над гуманизмом, эта лекция представляет собою защитительную речь, которая сводится к следующим трем утверждениям: русская литература хочет быть самобытной; она уже самобытна; и, в ее теперешнем обличии, она уже достаточно значительна для того, чтобы цивилизованный мир оказал ей хороший прием.

Что касается мастерства нашего поэта, как переводчика и перелагателя стихов, то оно находится вполне на высоте той задачи, которую он себе поставил, и в этом последнем сборнике столько удачных переводов, что выбор затруднителен. И здесь, как в «Бореалиях», когда дело идет о произведениях второстепенных авторов, оригинал зачастую оказывается превзойденным. Так, например, за перевод «Песни подмастерья-чеканщика»[99] барон Розен, по справедливости, обязан величайшей благодарностью князю Элиму; так же обстоит дело и с «Татарской песнью» Теплякова[100], которая в переводе кажется взятой из «Orientales» Гюго. Единственная ошибка поэта, доставляющая современным его читателям большое огорчение, — это та, что он выбрал много произведений с преходящим значением и уделил слишком мало места великим поэтам. Его первый том посвящен

писателям, которые, за исключением Карамзина, Жуковского и Батюшкова, не интересуют теперь никого, кроме историков литературы, и даже во втором томе Пушкин и Лермонтов[101] теряются в толпе милых, но эфемерных стихослагателей. Благоволение к Бенедиктову и Теплякову в этом смысле характерно. Краткие заметки, предшествующие переводам, незначительны и часто ошибочны, но есть все основания думать, что князь Элим не является их автором.

Выход в свет «Русских поэтов» оживил на некоторое время память о поэте[102]; во всяком случае, появление этой книги вызвало две превосходных заметки: Ипполита Бабу на французском языке и А. Башуцкого — на русском[103].

## ПАТРИОТ И МИСТИК

Князь Элим был таким, каким его сделало его происхождение. Он верил в превосходство и в будущее своей страны. Он верил в Россию, и его патриотическая вера была верой монархиста и православного. Эта вера страдала всеми слабостями, которыми отяготила ее сантиментальная и остро-впечатлительная натура князя: она была подозрительна и обидчива, запальчива и почти вызывающа. Если бы не любознательный ум этого человека, его художественное чутье, его светскость, — она была бы нестерпимой. Именно на князя Элима частично падает ответственность за популяризацию среди французского общества того представления о «святой Руси», которому в ту же приблизительно эпоху книга Кюстина, а несколько позже книга Галле де Кюльтюра[104] нанесли такие тяжелые удары. Все же нужно признать за ним ту заслугу, что он старался придать этой цинически откровенной политической концепции, унаследованной им от своей среды, черты интеллектуального благородства, напоминающие нам теории славянофилов. Он пытался сообщить этой концепции историческую ценность и наполнить ее если не философским, то духовным содержанием.

Посмотрим же, что представляла собою его попытка и в какой мере она была оригинальна. Обратимся для этого к фактам и документам.

### I

Начиная с июня 1830 г., будучи еще атташе при миссии в Турине, князь Элим, по собственному почину, поставил себе задачей открыть русскую литературу французским читателям. Его лекция в марсельском Атенее не преследовала иной цели.

Не удаляясь от этой цели, он, однако, умеет удержать свою патриотическую гордость в разумных границах: «Русские стали литераторами в столь же краткий промежуток времени, какой им понадобился, чтобы сделаться ремесленниками, купцами, дисциплинированными солдатами и матросами. Русская литература зародилась, выросла, созрела и расцвела, и на это понадобилось примерно столько же лет, сколько отводится на одну человеческую жизнь. Русский язык вполне отвечает той двойной тенденции, которая должна господствовать во всякой литературе,— я подразумеваю тенденцию национальную и тенденцию космополитическую, соединение которых необходимо для литературы нашего века. Поэты России имеют право на восторженное признание со стороны цивилизованного мира, как славные граждане той общей родины, о которой я го-

ворил в начале моей работы. Русская литература сравнялась во многих отношениях со своими старшими сестрами; она разделяла превратности их судьбы и ныне шествует вместе с ними к общему будущему» [105].

Князь Элим приехал тогда из Германии — Германии дружественной, где он видел вокруг себя только доброе расположение и симпатию; он чистосердечно был верноподданным царя и в известной мере гражданином мира; мысль молодого Ампера, свободная и всему открытая, еще витала в той зале, куда пригласили для выступления князя Элима. И юный патриот, несомненно, приобщился, сам того не подозревая, к этому марсельскому либерализму, столь гибкому, столь благожелательному, который приветливо принял его в новом Атенее. Но его скоро ждали другие впечатления.

## II

Достаточно пробежать французские газеты и журналы 30-х годов, чтобы учесть те испытания, которым князь Элим должен был подвергаться, читая их.

Даже общество, в котором он, по преимуществу, вращался, — общество монархическое и, с его точки зрения, благомыслящее, — безжалостно наносило раны его патриотическому самолюбию. Еще во время пребывания при миссии в Турине, ему пришлось по собственному почину стать на защиту своей страны против невежества и заблуждений общественного мнения в журнале, идеология которого отнюдь не противоречила его взглядам. Это был журнал «Revue européenne, par les rédacteurs du Correspondant», где легитимисты занимали видное место.

Собственно говоря, князь Элим должен был найти в этом органе больше поводов для энтузиазма, чем для негодования: 1831 год принес ему изложение философской системы Бадера, прекрасное письмо Ламартина о рациональной политике, не менее прекрасное письмо Шатобриана, статью Бональда против развода и, наконец, диссертацию Луи де Карне о «социальной проблеме XIX века». В ней князь Элим имел удовольствие прочесть следующее заявление: «Не ищите ничего в тине вашей цивилизации, что могло бы сообщить нашему времени индивидуальные черты,— цивилизации нарумяненной, как куртизанка, нечистое бесплодие которой ничего не может породить. Как раз наоборот: именно против этой цивилизации и городов, являющихся ее центром, направлено великое движение эпохи» [106]. Но несколько фраз о русской литературе в литературном обозрении огорчили его, а статья о военном состоянии России, впрочем, переведенная с английского, вывела его из себя, — и вот он открывает огонь, в качестве воинствующего добровольца, за подписью: «Ваш русский подписчик» («Un Russe de vos abonnés»). Дело идет для него не больше и не меньше, как о защите русской культуры и вместе с нею «святой Руси». По приводимым отрывкам можно судить о том агрессивном пыле, с которым он выполняет эту задачу.

«Говорят, что русские подражают всему миру — французам, немцам, англичанам. Я не отрицаю, что до известной степени мания подражания составляет наш порок; это следствие того положения, которое заняла Россия в смене времен. Другие страны Европы были вынуждены извлекать культуру из родной почвы; в поте лица своего они взращивали ее плоды. Небо, которое всегда было благосклонно к России, избавило ее от этой необходимости. Ей стоило только протянуть руку, чтобы получить

готовые плоды. Я по природе весьма ленивый человек и почтительно благодарю тех, кто были столь любезны и доставали для нас каштаны из огня. Но теперь мы больше не станем их утруждать этим. Урожаи последних лет в Европе были очень скудны, и я обещаю, что вам не придется больше упрекать нас в том, что мы снабжаемся у вас. У нас есть еще остатки того доброго зерна, что некогда пришло к нам из старой доброй Европы; оно превосходно принялось на нашей родине, и, если богу будет угодно, оно скоро будет давать нам настоящий русский урожай. И нам дела нет до этой молодой Европы, столь шумливой, столь заносчивой, которая, в цвете сил и здоровья, все же поит своих малюток в красных колпаках кровью, а не молоком. Так думают мои соотечественники — по крайней мере, все те, кто заслуживает имя русского.

Германия только что открыла в своих недрах рудник, который обогатит человечество на все времена. Она нашла золото науки, прошедшее сквозь горнило христианской веры, золото чистое и без примеси житейской мути, которое отныне заставит исчезнуть фальшивую монету философизма и языческой цивилизации. И Франция лучших времен (органом которой являетесь вы, милостивый государь, и ваши друзья) уже готовится черпать из этого источника. Россия также не замедлит им воспользоваться» [107].

Заключение письма объединяет в одно славное, но туманное целое литературу, культуру и религию России: «Наша литература, столь юная годами, стара по своей славе... Христианской России, «христианнейшей» даже, хотя она и не признает папской власти, предназначено, может быть, подать знак для нового устремления человечества в область подлинно возвышенного. Религиозное чувство у нас мало искажено испорченностью века, и именно оно создало лучшие памятники русской поэзии. Ода Державина, озаглавленная «Бог», была переведена на все языки и даже на китайский...» [108].

Спор производит еще более хаотическое впечатление, когда, в пылу возражений клеветникам русской армии, князь Элим притягивает христианскую философию Бадера и воспоминания о наполеоновском походе в Россию.

«Вы оскорбили научное целомудрие... Мы привыкли противопоставлять недобросовестности презрительное молчание... Доказательства, которые вам могут предъявить русские, носят, быть может, отпечаток патриотического воодушевления, но мы никогда не испытывали нужды «подкрашивать действительность», чтобы представить нашу страну в благоприятном освещении. Да, я ссылаюсь здесь на Германию, столь ученую и столь неподкупную в своих суждениях, — на того Бадера, которого я чту столько же, сколько и вы, и я спрашиваю их, не боясь быть опровергнутым, достойна ли подобная статья фигурировать в журнале, которому они делают честь своим одобрением? Я взываю к вашей доблестной армии — к этим «старым усачам», которым довелось близко познакомиться с нашими русскими усачами, чьи боевые отличия способны возбудить зависть в «ворчунах» старой гвардии; я взываю к вашим генералам, понюхавшим русского пороху; я взываю, наконец, к этой гигантской тени, чей военный гений был оценен русскими не менее, чем французами, — и я спрашиваю их: думали ли они, что сражались с армией, солдаты которой не стоят турецких, и казалось ли им, что они отступают перед грабителями с большой дороги?» [109].

Эти шумливые выступления встречали, без сомнения, благожелательный прием в кругах, близких автору, и в салонах высшей русской аристократии. Князь Элим имел слабость считать, что они обладают достаточными достоинствами, чтобы выпустить их небольшой книжкой, присоединив к ним еще несколько статей (всего шесть писем) в Ницце в 1832 г. под заглавием «Письма русского, адресованные гг. редакторам «Revue européenne, ci-devant Correspondant», снабдив ее эпиграфом из комедии «Пустодомы» А. А. Шаховского. Эта первая его книга — чрезвычайно незрелая. В ней полемика перекидывается с переводов Крылова Ипполитом Маскле на шедевры Пушкина и с польского вопроса и русской армии — на грандиозные неожиданности, которые Россия готовит Западу. Князь П. А. Вяземский судит об этой книге с насмешливой улыбкой; он подходит к ней, пожалуй, не столько, как критик, сколько, как ветеран 1812 года, задетый этим дворянином в литературе, для которого «ворчуны» были лишь предлогом для образов и красивых фраз. Он пишет И. И. Дмитриеву от 19 июля 1832 г.[110]:

«Это письма молодого кн. Мещерского, сына синодального, и письма несколько синодские, а с другой стороны, много ребяческого жара и болтовни, много самохвальства, не только патриотического, которое извинительно и даже увлекательно, когда оно поддержано дарованием, но много самохвальства личного и вовсе неприличного. Признаюсь, излишний патриотизм и в самом эпиграфе. Выходя на бой с Европою, смешно взять Шаховского герольдом своим, смешно иметь союзником себе и M. Masclet. С ним далеко не уйдешь и никого не испугаешь. Впрочем, всю книгу можно прочесть с любопытством и с желанием автору более зрелости в мыслях, ибо благонамеренность одна в подобных случаях недостаточна».

Дмитриев отнесся менее сурово к «Письмам русского».

«Люблю, когда наш вступается за наших: сыны новой Франции столько же недоброхотны и еще более невежды, как и их деды, когда им доводится говорить о России, несмотря на то, что и прежде и ныне они копышутся в ней, как домашние»[111].

А. А. Шаховской, в запутанном и велеречивом письме к князю Элиму, выразил «Письмам русского» свое полное одобрение[112]. Русские патриоты были в волнении.

Статья о Веймаре, появившаяся в сборнике «Allemagne et Pays-Bas»[113], может стать рядом с «Письмами русского», поскольку она отражает приверженность князя Элима к консервативной Германии — той «старой Германии», преданной традициям и чистой сердцем, которую хвалит в том же сборнике барон де Мортемар, и противополагает ее революционной Франции, от которой Россия должна отвернуться. Восхваление Гёте — «этого верховного первосвященника духовной аристократии» — становится здесь восхвалением дисциплины: «Его враги, — пишет князь, — обвиняют его в том, что он угождал, как придворный; это грубая ошибка: Гёте подавал высокий пример уважения к общественному порядку». Даже похвала Ж.-Ж. Амперу относится косвенно к Германии: «Ж.-Ж. Ампер — апостол северных литератур и более всех немец между французами». Хвала Германии сливается, наконец, с хвалой духовному и общественному прогрессу:

«Скипетр разума перешел от Франции к Германии. Источником научного и литературного потока, внезапно разлившегося по цивилизованному миру, был Веймар, а бассейном, его укрывавшим, герцогский двор.

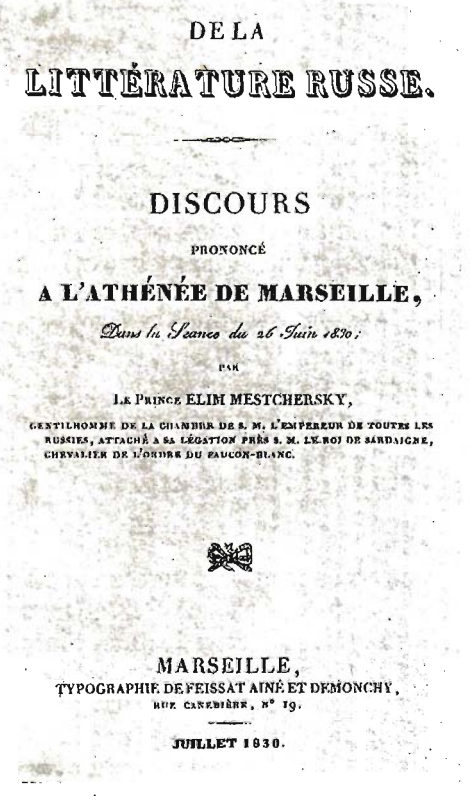
В то время как на левом берегу Рейна стремились к всеобщей нивелировке, на правой устремлялись ввысь. Что бы ни говорили, а разум — естественный враг равенства, уже по одному тому, что он всегда взлетает, а не опускается, всегда возносится, а не распластывается; это — пирамида, которая, как бы ни было широко ее основание, постепенно суживается и кончается точкой. Что бы там ни говорили, двор уже тем самым, что он объединяет все социально выдающееся, представляет собою центр притяжения для избранников мысли. Ласточкам нужно гнездо, расположенное на верхушке зданий».

Но князь Элим знает, что будущее его страны — в хороших руках: «Г-н Уваров..., который был другом Гёте..., готовит мыслящую Россию к возвышенной доле...».

III

Совершенно очевидно, что наш молодой дипломат предпочитает международным переговорам наблюдение за духовной жизнью Европы и прямое вмешательство в нее пером или словом. Задача, которой он себя посвятил, выступает все яснее и яснее: он все больше и больше сближается с французским обществом, особенно с обществом литераторов, в котором он, как поэт, скоро приобретает друзей, и все настойчивее старается дать французам правильное, с его точки зрения, представление о России.

В 1830 г. он сам принимает меры, чтобы прочесть лекцию в марсельском Атенее; к 1831 г. относится его письмо в «Revue européenne», а в 1832 г. он опубликовывает в Ницце «Письма русского». В том же 1832 г. он ста-


DE LA

LITTÉRATURE RUSSE.

DISCOURS

PRONONCÉ

A L'ATHÉNÉE DE MARSEILLE,

*Dans la Séance du 26 Juin 1830;*

PAR

LE PRINCE ELIM MESTCHERSKY,

GENTILHOMME DE LA CHAMBRE DE S. M. L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES, ATTACHÉ A SA LÉGATION PRÈS S. M. LE ROI DE SARDAIGNE, CHEVALIER DE L'ORDRE DU FAUCON-BLANC.

MARSEILLE,

TYPOGRAPHIE DE FEISSAT AINÉ ET DEMONCHY,

RUE CANEBIÈRE, N° 19.

JUILLET 1830.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ ЭЛИМА МЕЩЕРСКОГО „DE LA LITTÉRATURE RUSSE, DISCOURS PRONONCÉ À L'ATHÉNÉE DE MARSEILLE", 1830 г.

новится, по собственной просьбе, членом-корреспондентом Лионской академии. Протоколы заседаний академии сохранили следы этого мирного завоевания:

Заседание 29 мая 1832 г.: «...Г-н Мартен младший[114] представляет академии брошюру, озаглавленную «De la littérature russe, discours prononcé à l'Athénée de Marseille (Marseille, 1830, in 8°), князя Элима Мещерского. Наш коллега сообщает, что автор этой речи, молодой человек 22 лет, просит о чести быть внесенным в список членов-корреспондентов. Гг. Перико, Девильа и Булле избраны уполномоченными для рассмотрения прав нового кандидата...».

Заседание 28 августа 1832 г.: «...Г-н Булле представляет письменное сообщение по поводу ходатайства о присвоении звания члена-корреспондента, возбужденного князем Элимом Мещерским, камер-юнкером русского императора, причисленным к императорской миссии при сардинском короле и кавалером ордена Белого сокола. Князь Мещерский прислал в подкрепление своей просьбы печатную записку на французском языке, озаглавленную: «О русской литературе». Докладчик анализирует ее и дает о ней похвальный отзыв, а в заключение предлагает внести автора в список кандидатов-корреспондентов. Это предложение принято комиссией...».

Заседание 4 декабря 1832 г.: «...Настоящее заседание, будучи созванным экстренно, принадлежало к числу тех, которые академия, согласно своему уставу, посвящает выборам. Г-н Гранперре, докладчик комитета по представлению кандидатов, делает устный доклад, из которого явствует, что... число членов-корреспондентов, определенное уставом в 80 человек, сократилось, вследствие нескольких смертей, до 75; он предлагает заместить пять вакантных мест и, прочитав список кандидатов, отмечает пятерых, которых комитет считает должным представить в следующем порядке: гг. де-Ладусетт, Одиффре, Смит, Сибрарио и князь Мещерский...».

Заседание, имевшее место во вторник, 15 января 1833 г.: «...Князь Элим Мещерский прислал академии письмо, помеченное Парижем, в котором благодарит наше общество за честь, которую оно ему оказало, внося его имя в список членов-корреспондентов».

Это избрание давало князю Элиму еще одно лишнее звание — французского литератора — не более, но звание это (отныне мы его найдем на всех работах, которые он будет опубликовывать) явилось, надо сказать, очень кстати. С 30 августа 1832 г. кн. Элим был атташе парижского посольства; начиная с 14/26 апреля следующего года, через какие-нибудь четыре месяца после принятия в Лионскую академию, он возбуждает ходатайство о должности корреспондента министерства народного просвещения (см. выше, стр. 377).

## IV

Так добровольная миссия князя Элима становится миссией официальной. Письмо к князю В. Ф. Одоевскому, помеченное Констанцем, рисует нам кн. Элима летом 1833 г., совершенно одержимым своим монархическим и православным национализмом. С вежливой иронией он призывает Одоевского выступить с «красноречивой защитой» в пользу монархических чувств; он заранее радуется получить вскоре возможность «отдаться исключительно науке и искусствам».

Князю Одоевскому, в С.-Петербург

Констанц, 5 сентября 1833 г.

Не могу достаточно отблагодарить вас, дорогой князь, за вашу любезную память обо мне и за то лестное внимание, которое вы мне оказали, послав мне несколько раз ваши произведения. Как только мои занятия мне позволят, я познакомлю с ними французскую литературу, и я уверен, что это будет для нее хорошее знакомство. Я не буду вам делать комплиментов по поводу таланта, отмечающего ваши писания: он всеми признан, и мой слабый голос потерялся бы среди гораздо более авторитетных похвал, которые вы должны слышать со всех сторон. Но я не могу лишить себя удовольствия сказать вам, как я счастлив, видя, что национальные идеи поддерживаются и защищаются таким писателем, как вы. Вы открыли нашим молодым литераторам путь добра и истины: вне его нет будущего для нашей страны. Я вижу в вашей «Сказке о том, как опасно девушкам...»[115] более, чем сказку: я вижу здесь начало противодействия, которое нельзя не приветствовать в деле воспитания нашей молодежи. Ах, князь, если бы вы и далее проявляли настойчивость, предлагая нашей публике идеи национальности и религии, приодев их по-модному! Таким образом, они смогут получить доступ в наши салоны,— а именно салоны и нуждаются в них больше всего. Если и в дальнейших ваших произведениях я буду иметь удовольствие находить красноречивую защиту монархических чувств, столь глубоко связанных с русской национальностью и уже тысячу лет составляющих мощь России, то вы, мне кажется, исполните в совершенстве благородную миссию, на вас возложенную.

Мне очень жаль, дорогой князь, прервать свою беседу с вами. Дайте мне возможность продолжить ее в Париже, где я буду через несколько дней. Перемена, только что происшедшая в моей службе, позволит мне отдаться исключительно науке и искусствам, у меня будет, стало быть, больше досуга, чем прежде, чтобы посвятить вам несколько минут,— это будет для меня занятие столь же полезное, сколь приятное.

От всей души всегда ваш
Элим Мещерский.

Тысяча дружеских приветов вашему тестю и Виельгорскому[116].

Повидимому, отношения князя Элима к В. Ф. Одоевскому не достигали никогда подлинной духовной близости. Аристократическое происхождение обоих и даже некоторое родство через браки (Одоевский был женат на Ланской), их общий культ России, долженствующей сознать свою национальную сущность («народность»), наконец, свойственные обоим порывы религиозной мысли не давали еще достаточного основания для их сближения. Сходство было часто поверхностным, а различия глубокими. Князь Одоевский по матери происходил из народа: его сильный и ясный ум, его критическое чутье, философский склад его религиозного чувства, наконец, его качества человека действия не вязались с мышлением князя Элима, более восторженным, чем систематическим, с его заранее данной и предшествующей всякому философскому усилию верой, с его склонностью к увлечению словами, столь характерной для поэта, со всем его обликом слепого и преданного несбыточным мечтам патриота. Вопреки видимости, велика была разница между автором «Писем русского» и ав-

тором «Lettre-plaidoyer en faveur de la nation russe, contre M. Alphonse Karr», которое Одоевский опубликовал в Ницце в 1837 г.

Для освещения их отношений мы располагаем еще всего лишь одним письмом, относящимся, без сомнения, к 1839 г. Но и в нем выражения дружеских чувств, обычные между родственниками и коллегами, не позволяют усмотреть действительной близости между людьми:

Париж, сего 18/30 ноября [1839 г.]

Дорогой Владимир, я не отвечал на ваше письмо, потому что подыскивал корреспондента, о котором вы меня просили. Наконец, я нашел человека, способного выполнять корреспондентскую программу, намеченную вами, но, прежде чем приняться за работу, этот человек желает знать плату, назначаемую вами за статьи, и способ, по какому они будут расцениваться. Как только вы разрешите этот вопрос,— корреспонденция наладится. Было бы также хорошо, если бы вы дали мне знать, могут ли статьи посылаться вам по почте и к о м у их следует адресовать[117]. Спасибо за с л и ш к о м л е с т н ы е строки по моему адресу, которые вы напечатали в вашем журнале[118]. Что касается моего сотрудничества в энциклопедическом журнале[119], то я не могу предложить его, принимая во внимание мои работы на французском языке. Все же спасибо за память обо мне; это новое доказательство вашей дружбы, и я тронут до глубины души. Простите, дорогой Владимир, что не могу писать вам б о л е е п р о с т р а н н о: неожиданный отъезд курьера, который доставит вам эти несколько слов, меня подстегивает. У меня есть только время, чтобы обнять вас и п о ц е л о в а т ь (не истолкуйте дурно) нашу дорогую Ольгу в обе щеки. Мне очень нехватает вас обоих в Париже. Варвара шлет вам тысячу нежностей, так же как тете и кузену Ланскому. Мои «Бореалии» появились, и я рекомендую их вашему вниманию, но у меня сейчас нет экземпляра, чтобы послать вам. Прощайте, не забывайте нас!

Ваш сердечно
Элим[120]

## V

Князь Элим примыкает к тому значительному религиозно-философскому движению, которое из Германии перешло в Россию в конце 20-х годов XIX столетия. Он примыкает к нему, как Иван Киреевский, Одоевский, Погодин, как все московские «любомудры». Но примыкает он совершенно независимо от них: если его пребывание в Германии дало ему возможность изучить Шеллинга, Бадера, Деллингера (он представил даже одну из своих ранних работ Бадеру), то переезд во Францию привлек его внимание к тем французским философам, которые силились, со своей стороны, построить философскую систему, вдохновленную христианством. Эти интересы вскоре затмили в нем опыт лет, проведенных в Германии. Он начинает усматривать в развитии шеллингианства опасность для самых дорогих ему идей; он открывает у Гегеля первоисточник всех революционных угроз; и, в смятении разочарования, «страсбургский философ», аббат Ботэн, представляется ему, как вожатый того религиозного возрождения, которое должно укрепить «святую Русь» и приблизить к ней заблудший Запад. Князь Элим входит в сношения с Ботэном, и ни один документ не освещает его мысли лучше, чем диалог, завязавшийся между этими двумя деятелями.

Страсбургская школа к концу 1833 г. была в полном расцвете. Ботэн «воспринял общие основы традиционализма, сформулированные де Местром и де Бональдом». Но он преобразовал их, приняв традицию не более как за русло религиозной веры. Его философия представляла собой «теологию, основанную на пережитом опыте христианских догм, всю проникнутую мистической интуитивностью»; она «предполагала веру, как изначальное данное, и стремилась только высвободить все ее содержание, чтобы основать на нем трансцендентное знание, способное разрешить все великие проблемы». Это значит, что она противополагала себя тому «обманчивому здравому смыслу, который Ламене все более и более демократизировал». Это значит также, что князь Элим мог здесь найти сразу все — и традицию, и веру, и отвечающую его природе мистику. Он должен был увидеть здесь даже еще большее: источник христианской науки, которая примирит католицизм Ламене и католицизм Бональда, Запад и Восток, и сольет различные церкви в единую церковь знания. Таковы пылкие и наивные мечты, в которых он исповедуется аббату Ботэну, те самые, без сомнения, которые вдохновили работу, ныне утерянную, представленную им учителю[121]:

Париж, 23 марта 1834 г.

Милостивый государь!

Вы не должны удивляться тому, что все люди, искренно призывающие в своих молениях союз науки и религии, признают себя вашими учениками и радостно приветствуют ваше появление в мире философии. Я льщу себя поэтому надеждой, что вы будете настолько любезны, что простите мне смелость, с какой я беседую с вами, не имея чести быть вам лично известным. Находясь в тесных сношениях со многими немецкими философами[122], которые также трудятся над великим делом крещения божественным знанием творений науки человеческой, я изучал со всем пылом молодости проявления той философской реакции, которая как будто обнаруживается в данный момент в пользу христианства. Я принадлежу стране, где вера еще жива, где ложная философия имела мало влияния на религиозные верования, глубоко вкоренившиеся в сердце всего народа. Я — русский... и желаю ознакомить мою родину с фактами и идеями, приведшими к этому счастливому результату. Я написал несколько лет тому назад небольшую работу, которую позволяю себе, милостивый государь, предложить вашему вниманию, прося вас не отказать ознакомиться с ней и просветить меня светом своих познаний[123].

Я прошу вас принять в соображение некоторые оттенки, отличающие догматы моей веры от вашей, и то пристрастие, которого не в силах избежать юный ум, видящий свою родину не такой, какова она есть, но такой, какой она должна была бы быть, какой она может быть. Я прошу вас также направить вашу критику не столько на то, что есть в моей работе, сколько на то, чего в ней нет. Впрочем, этот маленький труд не предназначен для того, чтобы увидеть свет; я изложил в нем несколько идей, которые кажутся мне верными, но им недостает развития и обоснования, почерпнутых в обширных и глубоких исследованиях, которые я не мог еще сделать.

Имея от русского правительства поручение держать его в курсе всего наиболее значительного, что совершается в области наук во Франции, я поспешил ознакомить его с вашими сочинениями. Министр народного просвещения засвидетельствовал мне живейший интерес, внушаемый ему вашим философским направлением, обязав меня не оставлять его в неве-

дении относительно всего, чего коснется в дальнейшем ваше учение. Это, равно как и испытываемая мною умственная и сердечная потребность близости с вами, заставляет меня просить у вас дозволения войти с вами в сношения. Я не стану извиняться за мою навязчивость. Философские истины, подобно истинам религиозным, принадлежат всему человечеству; какие бы страны или какие бы люди ни несли крест науки, они должны следовать за вами по тому благотворному пути, который вы им открыли, и в праве надеяться, что вы протянете им дружескую руку.

Примите, милостивый государь, почтительное выражение моего восхищения и всех самых искренних чувств.

P. S. Будьте добры прислать мне обратно мою работу, когда вы ее прочтете.

Страсбург, 4 апреля 1834 г.

Князь!

Я прочел с живым интересом работу, которую вы соблаговолили мне сообщить. Я был подготовлен к этому чтению тем хорошим письмом, которое предшествовало ей на несколько дней. Если влечение вашего ума, равно как и вашего сердца, направляет вас ко мне, вы можете рассчитывать, что с моей стороны отклик на это будет и что отношения, которые вы соблаговолили начать, при живейшем желании моего сердца отвечать на ваш призыв, столь почетный для меня, не угаснут по моей вине. У нас с вами одни и те же взгляды на науку. Священное слово, как источник, образец и принцип человеческой науки,—вот исходный пункт. Священное слово, как завершение и необходимое дополнение ко всем знаниям человека и ко всем треволнениям жизни,—вот предел. И между этими двумя точками проложена истинная дорога христианина — прямая линия, с которой нельзя сбиться ни в области умозрения, ни в области дел. Нужно, как вы это прекрасно сказали, чтобы человеческая наука вся целиком прошла через христианское крещение, и она выйдет из него совершенно возрожденной и живой, тогда как сейчас она мертва. Вот дело, предназначенное нашему веку, который будет веком христианской философии, как тот, который ему предшествовал, был веком философии человеческой, т. е. антирелигиозной. Мы истощили, мы истрепали все, что пришло от человека и от мира, мы вынуждены обратиться к богу и его слову — и только здесь мы найдем жизнь.

Я симпатизирую большей части тех идей, которые вы изложили в вашей работе, и я восхищен отчетливостью ваших взглядов. Тут чувствуется убежденность, а это всегда приносит добро тем, кто добросовестно ищет истину. Я верю, как вы, что ваша родина предназначена сыграть великую роль в современном мире, и доказательство этому то, что все другие народы боятся ее и взирают на нее с тревогой. Может быть, мы немного расходимся с вами в объяснении русского влияния. Я сомневаюсь, чтобы оно в такой мере, как вам того хочется, было духовным и нравственным. Силы мира сего, кажется мне, слишком преобладают в вашем отечестве, чтобы это было возможно. Франция во все времена шла впереди как в добре, так и во зле, и я убежден, что это она именно исправит провиденциально все то зло, для совершения которого она была сатанически использована. Не патриотическое ли это заблуждение и с моей стороны? Однако, это заблуждение вам, быть может, вовсе не трудно будет разделить, так как вы по вашему стилю наполовину принадлежите нам, а стиль — это человек. Впрочем, француз, русский или представитель любой нации — все

мы люди и прежде всего христиане, члены великой семьи, той всемирной церкви тела Иисуса Христа, к которой мы должны принадлежать на веки веков. И в Иисусе Христе — сыне божием, спасителе людей — должны все мы соединиться, чтобы образовать одно единое тело, которого он является главой. В нем должны мы любить и поддерживать друг друга. Во имя его, князь, в нем и ради него принимаю я от всего сердца почетное предложение, которое вы соблаговолили мне сделать. У нас один господь,

ЛУИ БОТЭН

Литография из „Revue d'Alsace", 1836 г.

одно крещение! Дай бог, чтобы у нас была также единая вера и единая церковь, чтобы не было более ни Востока, ни Запада, ни Юга, ни Севера, но одна семья, одно единство, все люди едины в Иисусе Христе, как он един со своим отцом.

Благодарю вас, князь, за благосклонные сведения, которые вы соблаговолили сообщить вашему правительству о моем философском учении. Если оно одобряется вашим правительством, это признак того, что последнее одушевлено христианским духом. В таком случае я чувствую к нему уважение.

Что касается вашего уважения, столь сердечно выраженного, то оно было для меня равно приятно и почетно, и я прошу вас принять взамен уверение в моем глубоком почтении и в моих сердечных чувствах.

Ботэн

[Без даты]

Милостивый государь!

Ваше столь благосклонное письмо доставило мне чувствительное удовольствие. Верьте, что я с тем бо́льшим усердием воспользуюсь дозволением, которым вы меня удостоили, прибегать к вашему просвещенному мнению, что снисходительность, с которой вы соблаговолили принять мою работу, доказывает, что вы присоединяете к терпимости философа благость пастыря. Я весьма польщен, видя, что мои основные идеи вами подтверждаются; что касается моих взглядов на Францию, я готов принести почтительное извинение перед вами и перед ней. Я писал свою работу под впечатлением последней политической катастрофы. В это время религиозное движение в вашей стране едва только начинало проявляться; католическая философия г. де Ламене толкала к антихристианской идее суверенитета народа, а вас я тогда еще не знал. Все же я упорствую в убеждении, что христианская наука может развиваться с бо́льшей быстротой в России, чем во Франции. Там она может привиться к здоровому и мощному стволу; здесь же нужно зерно кидать на поле, покрытое плевелами. Но я твердо верю в христианское будущее цивилизованной Европы; я считаю это будущее более близким для Франции, чем предполагал когда-то, потому что добро, как и зло, быстро развиваются в этой стране.

Вы довершите вашу любезность, милостивый государь, если захотите почтить мою рукопись некоторыми критическими замечаниями и затем вернуть ее мне с почтой, ибо у меня нет другой копии с этой работы. Я буду просить вас в то же время соблаговолить ознакомить меня с изданиями, как выпущенными вами, так и подготовляемыми, дабы я мог приобрести их и дать о них отчет моему министру, согласно желанию, им высказанному. Будьте добры извинить мою навязчивость и верьте в мою живейшую признательность и сердечную преданность.

Элим Мещерский

Севр, близ Парижа, 2 июля 1834 г.[124]

Путешествие, которое мне пришлось предпринять как раз в тот момент, когда я получил посылку, любезно присланную вами через посредство г-жи де Жермини[125], заставило меня отсрочить до сегодня удовольствие выразить вам всю мою признательность за ваши интересные сообщения. Вернувшись вчера, я нашел новое свидетельство вашей благосклонной памяти. Примите же уверение в моей усерднейшей благодарности.

Ваши брошюры, присланные ранее, уже в Петербурге[126]; ваш ответ на «Слова верующего» будет незамедлительно присоединен к ним. Я счастлив, что вы вступаете в борьбу с христианским титаном. Я этого ждал. Вы призваны, мне кажется, удержать колесницу христианства над откосом, куда увлекают ее слишком пылкие умы. Книга г. де Ламене заставила меня содрогнуться. Самый смертельный враг христианства не мог бы действовать лучше. В тот момент, когда верующие люди не видят в будущем другого спасения, кроме как в усилиях склонить правителей и управляемых к истинным доктринам христианства,— в это самое время, повторяю, слуга евангелия начинает доказывать правительствам Европы, что католицизм может привести к общественному перевороту ничуть не хуже религии Робеспьера. Куда же это нас приведет? Есть от чего от всей души воскликнуть: Горе! Трижды горе!

Я ожидаю с живейшим нетерпением вашей полной формулировки некоей христианской философии[127], или лучше просто христианской философии, так как я надеюсь, что философия, вытекающая из христианства, будет единой, как само христианство. Скажите мне, милостивый государь, находится ли в пределах возможного это единство в философии, которое мне провидится, которое я призываю во всех моих молениях, или это только мечта юного и неопытного ума? Я понимаю, что Стюард, Декарт, Кант, Шеллинг, Окен, Гегель не могут согласиться друг с другом, но разве не возможно увидеть Ботэна, Ламене, Бональда, Делингера, Бадера, являющимися как бы членами одного и того же философского тела некоей церкви науки, главой которой будет Христос, так же как он есть глава церкви христианской? Так как может случиться, что мне придется когда-нибудь влиять на направление философских изысканий в моем отечестве, то я с ужасом вижу трудности, возникающие со всех сторон, как только дело идет о том, чтобы привести науку (построенную на христианской основе) к единству доктрин. Я буквально не знаю, какому святому мне молиться.

Благоволите сообщить мне, что вы думаете о философии Бадера; я до сих пор не мог обратиться к вам с вопросом о ней. Простите, милостивый государь, простите мои докучливые запросы; я считаю вас своим духовным отцом во всем, что касается научной религии; не откажите же мне в ваших советах и утешениях. Я должен также поблагодарить вас за те замечания, которыми вы почтили мое маленькое писание. Я вполне согласен с вами относительно моих преувеличений по поводу Франции. Вопреки вашему любезному ободрению, я продолжаю думать, что моя работа в таком виде, какой она имеет сейчас, не может увидеть свет.

Примите, милостивый государь, новое уверение в моем искренном почтении.

Элим Мещерский

Париж, 1 сентября 1834 г.

Милостивый государь!

Несколько времени тому назад я писал вам, чтобы поблагодарить вас за все, что вы соблаговолили прислать мне через посредство г-жи де Жермини. Сегодня я должен сообщить вам о том сильном впечатлении, которое ваши издания произвели в моем отечестве — в стране, столь подготовленной к тому, чтобы вас оценить. Я получил недавно от г. Уварова, министра народного просвещения в России, официальную бумагу, содержащую следующее место, которое я с удовольствием переписываю буквально.

«Г-н аббат Ботэн не будет, вероятно, в претензии, узнав, что он нашел у нас много читателей и друзей. Его речь о преподавании философии была превосходно переведена по-русски, как вы могли видеть, если аккуратно получаете «Журнал Министерства Народного Просвещения». Помимо того, я разослал по русским университетам циркуляр, чтобы обратить их внимание на тенденцию этого нового учения и рекомендовать прилежно следить за его развитием. Мы ждем с нетерпением выхода в свет философского словаря г. Ботэна и, надеюсь, примем его,— поскольку автор, оставляя в стороне все специально католическое[128], дает нам то, что́ он обещает: христианскую философию, столь превосходно определенную в его блестящем труде о «Конференциях».

Ваша речь о преподавании философии в XIX в. была в самом деле превосходно переведена и напечатана почти in extenso в вышеупомянутом журнале[129]. Я постараюсь достать экземпляр этого номера, чтобы послать вам. Хотя вы не знаете нашего языка, но я предполагаю, что вам, может быть, приятно иметь этот документ и знакомить с ним русских, которых вы можете встретить. Вы видите, милостивый государь, что русское правительство жадно до просвещения и до истины и что оно возлагает большие надежды на ваши дальнейшие работы. Я же не могу достаточно благодарить бога за то, что ваши философские наставления становятся известными в моей стране, и я поздравляю себя с тем, что содействовал быстрому их проникновению. Вот толчок для того христианского направления, которое я давно хотел видеть в научном развитии России,— как вы могли убедиться из того маленького сочинения, с которым я вас ознакомил. Вам, милостивый государь, принадлежит слава водрузить первые вехи на этом новом пути, открытом для Разума в России.

Пусть это счастливое обстоятельство принесет сладостное утешение вашей душе, столь христианской, столь поистине католической,— в случае, если бы вам пришлось жаловаться на несправедливость или зависть на лоне вашей родины. Я опасаюсь для вас партийного духа, страшусь некоторых умов, которые, с похвальной, без сомнения, целью, отвергают, однако, слишком категорически всякую идею прогресса. Во французском духовенстве слишком много лиц, которые смешивают то, что́ может быть изменено в религиозном учении, с принципами, которые должны оставаться незыблемыми и прочными. Ибо нет достаточного понимания того, что, если основа учения должна оставаться неизменной, его форма должна быть прогрессивной и применяться к потребностям времени.

Примите, милостивый государь, вновь мое уверение в искреннем почитании.

Элим Мещерский

Страсбург, 8 сентября 1834 г.

Князь!

Новости из России, сообщением которых вы оказали мне честь в вашем последнем письме, явились для меня сладким утешением, и я отношу значительную долю их за счет усердия, которое вы благоволили вложить в ваши послания, и за счет ваших благосклонных рекомендаций. Великая радость видеть, что истина распространяется, и так как я громко исповедую, что не имею другой философии, кроме христианского учения, то отношу всю славу к евангелию и предоставляю всю заслугу тому, кто принес нам его. Я глубоко убежден, что, если преподавание философии примет христианское направление, которое вы так правильно оцениваете,—вера скоро оживится во всех душах, и цивилизованное человечество будет еще иметь перед собою прекрасный удел. Счастлива страна, которая даст первый пример этого. Я желаю, чтобы это была моя родина, наша прекрасная Франция, обычно идущая впереди как в добре, так и во зле. Но если бы, по особому промыслу божьему, такой оказалась ваша родина, я приветствовал бы ее с почтением и любовью, ибо родина христианина там, где истина и милосердие.

Я буду вам крайне признателен, если, при ваших сношениях с г. министром народного просвещения в России, вы будете добры передать ему выражение моего уважения и моей благодарности. Я постараюсь в буду-

щем доставлять ему через ваше посредство, если вы разрешаете, все, что мне случится опубликовать.

Действительно, я встречаю во Франции, и особенно со стороны духовенства, тягостное и, решаюсь сказать, слепое противодействие, потому что, по большей части, они не знают, что́ они отбрасывают и осуждают. Но это неизбежно: всегда, когда вы призваны итти вперед и содействовать прогрессу, вы стесняете тех, кто не хочет итти, и они делают все, что могут, чтобы помешать вам двигаться. Это, к несчастию, то самое, что делает в настоящий момент церковная власть. Она так боится, чтобы кто-нибудь не упал, что не хочет, чтобы вообще ходили. Причина этой ошибки заключается в смешении, как вы отмечаете в конце вашего уважаемого письма, того, что́ неизменно, незыблемо — с тем, что́ по природе своей подвижно, изменчиво.

Да, князь, я, как и вы, верю, что в философии возможно единство, и не отчаиваюсь увидеть его водворившимся. Но это может быть только единство христианское — единство поистине вселенское. Лишь через веру в божественное слово, принятое, как принцип, как исходный пункт, сможем мы притти к соглашению друг с другом, а единажды признав это божественное слово, — таким, каким оно передано нам властью, установленной от бога, чтобы его хранить и возвещать людям[130], — достигнув соглашения в основных положениях, мы достигнем его и в вытекающих отсюда следствиях, по крайней мере, в важнейших. Но необходимо, чтобы слово основополагающее было выдвинуто перед всеми единообразно, и отсюда — необходимость во власти, божественно установленной для его возвещения, потому что разум человеческий ни в чем не может явиться основополагающим. Тогда ум человека сможет действенно проявиться, он сможет исследовать, обдумывать это глубокое слово, — и он извлечет из него сокровища света и знания, которые оно содержит. Он не сможет заблудиться, раз принцип установлен и раз власть всегда будет возвращать к нему. Таким образом, новое развитие человеческого разума должно быть соединением авторитета и свободы. Это будет свобода действовать по указаниям авторитета, а этот авторитет не может быть иным, как божественным и, следовательно, чисто духовным. Итак, судьбы философии отождествляются с судьбами религии: это два пути, приводящие к одной и той же цели.

Бадер, о котором вам угодно было спросить моего мнения, человек весьма достойный. Я считаю его искренним христианином в основе, но, может быть, слишком увлеченным идеями Сен-Мартена и Якова Бёме. Он имел бы гораздо больше влияния, если бы писал яснее. Но его стиль способен привести в отчаяние. Мало людей могут его понимать. Это абстракция, утомительная для ума и ничего не дающая душе. Но это один из самых замечательных людей века в философском отношении.

Я должен извиниться перед вами, князь, что не ответил раньше на ваше июльское письмо. Вы знаете, что конец учебного года связан для нас с увеличением занятий. Пожалуйста, не бойтесь стеснить меня как-либо своими вопросами. Для меня всегда будет удовольствием отвечать на них, поскольку это зависит от меня, и это — полезное средство, чтобы поддерживать завязавшиеся между нами отношения, для меня одновременно столь почетные и приятные. Я буду иметь честь прислать вам через несколько дней экземпляр весьма замечательной речи, произнесенной при распределении наград нашей маленькой страсбургской семинарии г. абба-

том де Боншоз[131], одним из моих друзей. Предмет ее — прогресс в церкви. Мы можем выслать вам впоследствии несколько экземпляров, если вы думаете, что это могло бы быть полезным для России.

Примите, князь, уверение в моем глубоком сердечном уважении

Ботэн

Диалог между князем Элимом и Ботэном заканчивается для нас на этом письме, но мы имеем все основания думать, что он продолжался еще некоторое время. Андрей Муравьев, который немного позже приступает к конкретному обсуждению возможностей соединения восточной и западной церквей, пишет Ботэну: «Внешне, в обрядах, нас отличает немногое, и так как я издал сейчас «Письма о богослужении восточной кафолической церкви», я попытаюсь устроить их перевод на французский язык с тем, чтобы за него взялся один из ваших добрых знакомых, князь Элим Мещерский»[132]. Несомненно, Муравьев имеет здесь в виду труд, известный французским читателям под заглавием «Lettre à un ami sur l'office divin de l'Eglise catholique orthodoxe d'Orient», который был переведен на французский язык князем Николаем Голицыным (Saint-Pétersbourg, 1851—1853)[133].

Судьба-насмешница захотела, как это констатирует Э. Боден, чтобы князь Элим сблизился с Ботэном, как крупнейшим представителем католической мысли на Западе, как раз в тот момент, когда церковный авторитет отверг страсбургскую доктрину: 1 сентября 1834 г. страсбургский епископ обличил и осудил эту доктрину или, по крайней мере, метод, на который она опиралась[134].

## VI

Князь Элим не ограничивает, однако, своего внимания к католическим мыслителям одним «страсбургским философом». Он мог еще застать в Петербурге и в Турине воспоминания о Жозефе де Местре. Он разыскивает старого виконта де Бональда в его уединении в Авейроне; он пишет ему в 1834 г.[135]:

«Будучи назначен корреспондентом русского министра народного просвещения, я получил приказание войти в сношения с выдающимися людьми во Франции... Но и независимо от моих обязанностей, личные мои чувства властно влекут меня к вам. Я шлю *учителю* привет *ученика*.

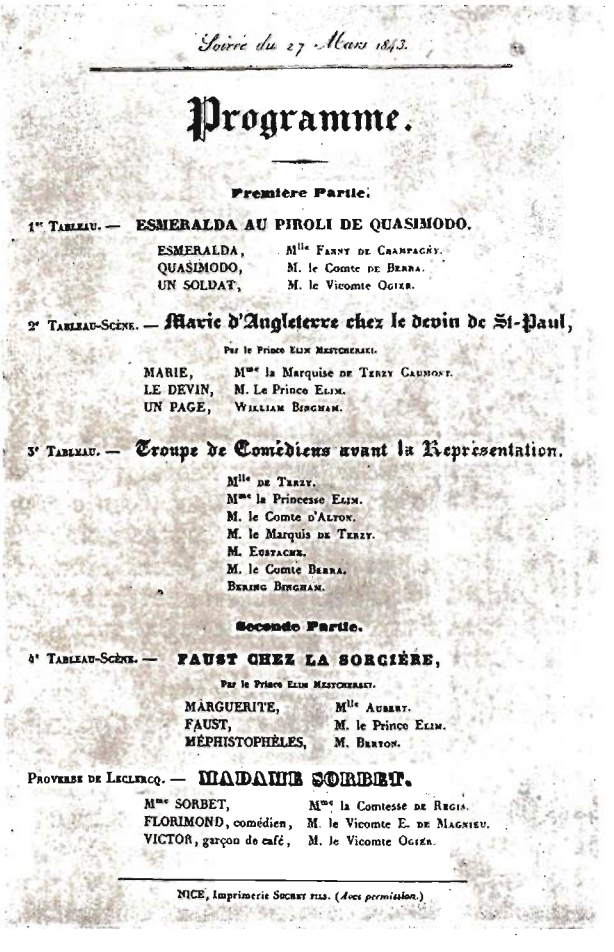
Ваши труды воспитали мою душу и мой разум. Христианская наука, христианская политика были и будут делом моей жизни. Четыре года тому назад я задумал план работы о монархической вере[136]. Я не знал еще «Démonstration philosophique»: я его предчувствовал... Но то, чего я не мог бы выразить чувством, вы раскрыли разумом. Я радуюсь теперь, что не кончил моей работы. Мне удалось бы, самое большее, мельком разглядеть то, что вы *показали*. Вы вырвали у истины яркий луч, который озарит вселенную. Неудивительно, что вас не понимают в современной Франции: когда ищут истину на земле, не видят ее на небе. Каждое ваше слово — семя, которое рано или поздно даст росток. Вы сеяли до сих пор между плевелами; но бог *начинает пахоту*... Наконец, ваше «Démonstration philosophique», не говоря о других ваших сочинениях, есть труд поистине кафолический, т. е. *вселенский*, и если Франция в данный момент не использует его, то существуют страны, лучше подготовленные почувствовать его благодетельное действие: я указываю в первую очередь на мою родину.

Я дал отчет о вашей прекрасной книге в нашем «Журнале Министерства Народного Просвещения», который выходит в Петербурге. Почему, увы, вы не знаете ближе России? Вы нашли бы 60 миллионов людей, которые явились бы подтвердить своим свидетельством авторитет ваших аксиом. Вы дали общую формулу для закона, созидающего общество, и непогрешимость вашей теории доказывается тем, что она применима к случаям общественного устройства всех времен и всех стран... Вы поистине Ньютон политических наук...».

На основании именно этого письма Анри де Бональд утверждал, что виконт де Бональд «своими сочинениями обратил русского князя Мещерского в католичество»[137]. Утверждение, по меньшей мере, смелое. Из одной заметки в «Журнале Министерства Народного Просвещения» мы узнаем, что князь Элим имел обыкновение надписывать на своих книгах, которые посылал своим друзьям, посвящение: «Православному православный»[138]. И как не различить за вежливым многословием этого письма рвение политическое более, нежели религиозное,—желание добросовестно выполнить обязанности корреспондента Уварова?

## VII

Точно так же и политическое рвение князя Элима не было только идеологическим и проявлялось не только на словах: оно подтверждалось, равным



Soirée du 27 Mars 1843.

Programme.

Première Partie.

1er Tableau. — ESMERALDA AU PIROLI DE QUASIMODO.

ESMERALDA, Mlle Fanny de Champagny.
QUASIMODO, M. le Comte de Berra.
UN SOLDAT, M. le Vicomte Ogier.

2e Tableau-Scène. — Marie d'Angleterre chez le devin de St-Paul,

Par le Prince Elim Mestchersky.

MARIE, Mme la Marquise de Terzy Caumont.
LE DEVIN, M. Le Prince Elim.
UN PAGE, William Bingham.

3e Tableau. — Troupe de Comédiens avant la Représentation.

Mlle de Terzy.
Mme la Princesse Elim.
M. le Comte d'Alton.
M. le Marquis de Terzy.
M. Eustache.
M. le Comte Berra.
Bering Bingham.

Seconde Partie.

4e Tableau-Scène. — FAUST CHEZ LA SORCIÈRE,

Par le Prince Elim Mestchersky.

MARGUERITE, Mlle Aubert.
FAUST, M. le Prince Elim.
MÉPHISTOPHÈLES, M. Berton.

Proverbe de Leclercq. — MADAME SORBET.

Mme SORBET, Mme la Comtesse de Regis.
FLORIMOND, comédien, M. le Vicomte E. de Magnieu.
VICTOR, garçon de café, M. le Vicomte Ogier.

Nice, Imprimerie Sorbet fils. (Avec permission.)

ПРОГРАММА СПЕКТАКЛЯ, ШЕДШЕГО 27 МАРТА 1843 г. В ТЕАТРЕ ЭЛИМА МЕЩЕРСКОГО В НИЦЦЕ

Частное собрание, Париж

образом, и действиями в пользу его друзей-легитимистов. Именно через его посредство самый блестящий из французских публицистов, преданных делу Бурбонов, Пьер-Себастьен Лоранти (1793—1876), препроводил в июле 1834 г. министру Уварову записку, предназначенную для доклада Николаю I: «О принадлежащем г.**** собрании печатных и рукописных произведений, гравюр, рисунков, медалей, знаков отличия и драгоценностей и других предметов, касающихся бывших и новейших тайных обществ и посвящений».

Записка ученого-коллекционера была ничем иным, как прикрытым учтивой формой предложением о продаже, и император не преминул отнестись к нему так, как того ожидал князь Элим. 21 июня Уваров переслал записку министру двора, а 3 июля 1834 г. сообщил князю и послу Поццо ди Борго об успехе своего ходатайства. Масонской литературе был обеспечен при русском дворе тем более благоприятный прием, что, по мысли монархистов, она должна была просветить самодержца насчет его врагов[139].

Но князь Элим не ограничился тем, что устроил, чтобы оказать услугу другу, покупку своим государем собрания произведений и предметов, относившихся к масонству, что вполне соответствовало его роли корреспондента министра народного просвещения. Его политический пыл был всецело к услугам легитимистской партии, и именно на него Лоранти рассчитывал, как на адвоката этой партии перед Николаем.

13 мая 1835 г.

Вот, дорогой князь, записка, которую я написал после нашего недавнего разговора. Доверяю ее вашей скромности: это дело чести. Я подпишу ее только в том случае, если вы найдете ее подходящей.

Как раз сегодня мне передали прошение на имя е. и. в., полагая, что вы можете его поддержать. Рекомендую его вашему благосклонному вниманию. Прошу и молю вас переслать его и приложить все усилия к тому, чтобы просьба этого доброго и несчастного старца увенчалась успехом. Какой ответ дать мне ему?

Примите, дорогой князь, уверения в моей преданности и уважении.

Лоранти

### ЗАПИСКА О РОЯЛИСТСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ

Лицам, так или иначе связанным с Европой, небезызвестно, что роялистская партия в глазах многих кабинетов является предметом предубеждения, и это недоверие не удивит их, если они подумают о неблагоразумных поступках, совершенных этой партией, и о взглядах, продолжающих находить себе выражение на страницах нескольких ее газет.

Однако, было бы еще опаснее, если бы эти предубеждения Европы послужили, может быть, основанием для ее политики в отношении французской революции.

Оттого, что роялистская партия совершает ошибки, французская революция не перестает оставаться разрушительным принципом для всех монархий.

И более того: несмотря даже на эти ошибки, роялистская партия продолжает оставаться охранительницей и защитницей спасительного начала для общества.

Из этого следует, что, вместо того, чтобы оставлять роялистскую партию из-за ее ошибок на произвол судьбы, правильная политика должна заклю-

чаться в том, чтобы понудить ее притти к более правильным взглядам или, по меньшей мере, вести себя по отношению к революции так, как если бы роялистская партия нападала на нее всегда умело.

Впрочем, настало время обратить внимание главнейших кабинетов на то, что нельзя скрывать от себя,—что французская роялистская партия достаточно изменилась с 1830 г. для того, чтобы позволено было не считать подлинными ее органами газеты, выражающие ее прежние взгляды.

В палате пэров, а равно и в палате депутатов, имеются роялисты, пользующиеся большим авторитетом как во Франции, так и в Европе, и их идеи не представляются ни Gazette, ни Quotidienne, хотя между ними и этими газетами продолжает оставаться общею одна и та же мысль: легитимность.

Было бы, следовательно, несправедливо переносить предубеждение против той части роялистской партии, которая следует взглядам Quotidienne или Gazette, на роялистскую партию в целом, разделяющую мысли г. герцога де Ноайль и г. Беррье и имеющую публичным своим истолкователем газету Rénovateur.

Бесполезно доискиваться, какой из существующих взглядов, по преимуществу, разделяется всей роялистской партией Франции.

Достоверно то, что ни один роялист не осмелится сказать, что ему не по пути, например, с г. Беррье. Но разве г. Беррье находится в таком положении, что на него распространяется недоверие кабинетов? И если бы вся Франция была открыто охвачена его политическими доктринами, то можно ли было бы сказать, что Европе следовало бы страшиться этого так, как если бы эти доктрины предлагали ей революцию в другой форме?

Нет нужды отвечать на этот вопрос.

Роялистская партия — представляет ли ее г. герцог де Ноайль и г. Беррье или Rénovateur — партия не Франции: это партия Европы.

Для этой партии существует в этой Европе только одно монархическое общество, объединенное одним и тем же принципом и сплотившееся для охраны социального строя.

Притязание сделать Францию изолированной и стоящей над всеми другими странами — революционное безумие, охватившее некоторые роялистские головы, потому ли, что одни из них не видели нелепости всеобщего движения, увлекающего сразу все государства Европы, потому ли, что другие думали, что такой способ понимания политики обеспечит их взглядам известную популярность.

Как бы там ни было, ошибка все та же. Но это ошибка небольшого числа умов, заблуждающихся или честолюбивых, а не всей роялистской Франции.

Роялистская Франция вместе со своими ораторами и писателями понимает, что ее дело неотделимо от дела европейских монархов.

Она не требует — боже упаси! — чтобы государи поднялись со своими армиями с целью еще раз напасть на революцию в ее очаге. Она полагает, что революция угаснет сама собой, если только состоится всеобщее соглашение о том, чтобы оспорить у нее власть. Она просит государей не казаться равнодушными к правому и неправому делу. Она просит их оказать известное воздействие, более могущественное во времена, подобные нашим, чем действия армии. Она просит их не создавать видимости, будто они санкционируют революции, когда эти революции оканчиваются или когда исход их неясен; она просит их, наконец, ради ли себя, ради ли их са-

мих — принять во внимание природу революционной мощи, мощи более опасной, когда она набирается идей, чем когда она проявляется в бурном насилии, и, таким образом, партия доказывает необходимость учредить большую лигу наций, и притом вовсе не для того, чтобы отгородить одни из них и охранять другие, а для того, чтобы все их спасти от бедствия, которое не останавливается у таможенных границ и преодолеть которое можно, только противопоставляя ему прямоту понимания и моральную мощь политики.

Такова подлинная роялистская партия Франции — партия европейская, партия социальная, партия христианская, которую следует отличать от котерий, если хотеть составить правильное понятие о ее медленной, последовательной и дальновидной деятельности.

Эта партия относится с уважением к государям, даже когда она считает себя, ради их собственной пользы, обязанной и имеющей право напоминать им о принципах, обусловливающих безопасность империи. Она не ищет пустой популярности, расхваливая французскую нацию в ущерб всем другим. Она объединяет все нации в общем принципе цивилизации, и если, признавая известные потребности современности, она порождает идеи вольности и свободы, присущие, впрочем, природе человека, то она в высшей степени связывает их с основной идеей власти, идеей-матерью, без которой невозможен ни порядок, ни даже самая свобода.

Итак, очевидно, насколько важно, чтобы кабинеты не судили о роялистской партии по бахвальству некоторых ее газет.

В этом бахвальстве содержится известная мания популярности, сбивающая с толку иных людей. Кабинеты стоят на такой недосягаемой высоте, что эти мелкие приемы текущей политики не должны влиять смущающим образом на их великие виды на будущее.

Пусть же они думают, что рассудительные французы идут по пути совершенно противоположному. Но разум всегда остается господином. Роялистская партия, в течение пяти лет пытавшаяся делать бессмысленные вещи, истощила все свои силы. Роялистская партия, в течение пяти лет взывавшая к сдержанности, к умению и дальновидности, вновь становится всесильной.

Это — та партия, которая в настоящий момент представляется противным партиям центром мощного действия, при той крайней моральной анархии, которая кончает пожирать революцию. На эту партию должна взирать Европа. Ее влияние простирается на всех людей, желающих, чтобы в конце концов установился порядок. Ее мудрые взгляды близки всем старым обломкам прежних правительств, и правильно будет сказать, что от Европы зависит укрепить ее, оказав ей доверие, и дать ей возможность подготовить без потрясений восстановление единственного порядка, способного примирить все интересы, утишить все разногласия и восстановить все права.

Париж, 11 мая 1835 г.[140]

Нет нужды подчеркивать политический интерес этой записки, столь определенной и твердой. Судьба французской монархии представлена в ней в соответствии с концепцией, близкой князю Элиму, вследствие ее связи с судьбой русского самодержавия: монархическое дело, как и его противница, революция, едино и неделимо. Но Лоранти, по всей очевидности, меньше ожидает спасения Европы от царя Николая, чем от фран-

цузской роялистской партии — «партии европейской, партии социальной, партии христианской». Подобно аббату Ботэну, он испытывает перед лицом православного государя беспокойство католика и не может удержаться от того, чтобы не высказать князю Элиму этого чувства в прощальном письме, написанном в мае 1836 г.:

Париж, улица Мезьер, № 8, 4 мая 1836 г.

Дорогой князь!

Я хочу письменно возобновить сожаления по поводу вашего отъезда, равно как мои пожелания всяческих благ вам и вашему великому отечеству. Вы уносите в себе самом сладостное свидетельство того, что вы все сделали, чтобы оставить во Франции правильное представление о моральном состоянии вашей страны и ее высоком назначении. Что касается меня, то я хотел бы быть как бы вашим соотечественником. Никто больше меня не верит в будущее России. Россия — единственная империя, шествующая в настоящее время впереди цивилизации, не компрометируя и не бросая на произвол судьбы великие интересы политического порядка. Именно это убеждение и заставило меня посвятить вам мое перо. La Quotidienne, которую я редактирую вместе с г. Мишо, будет всегда выражать идеи, согласные с вашими. Смотрите же на нас, как на эхо во всем том, что сочтете нужным предпринимать для пропаганды мыслей, благоприятствующих, говорю, не только одной вашей стране, но всему человечеству. Есть один деликатный вопрос и, как вы знаете, очень для меня серьезный: это вопрос религии. Но в этом отношении я хочу продолжать думать, что дух справедливости, свойственный императору, обещает безопасность нашим католическим братьям; я думаю, что нас часто обманывали, рассказывая нам о Польше. Вы знаете мои мысли об этом предмете, я опираюсь здесь на лойяльность объяснений, которые вы несколько раз мне представляли.

Итак, дорогой князь, трудитесь на пользу великого европейского братства: вы больше кого бы то ни было сделали для этого. Я буду помогать вам в меру своих слабых сил. Вспоминайте обо мне и будьте уверены в том, что я навсегда сохраню чувство нежной преданности, с которой имею честь быть,

дорогой князь, вашим покорнейшим
и сердечно расположенным слугою и другом
Лоранти

*Адрес*: Князю Элиму Мещерскому
Улица Фермы, № 11, Париж[141]

VIII

Не забудем, что князь Элим — чиновник. Он несет обязанности корреспондента Уварова. Он должен быть бдительным: предохранять французских читателей от информаций, враждебных России, доставлять им информации официозные или, попросту, официальные, осведомлять русское министерство народного просвещения о духовной жизни Франции. Словом, у корреспондента Уварова много дела.

Так, «Journal de l'instruction publique et des cours scientifiques et littéraires» от 3 августа 1834 г. преподносит ему статью на двух столбцах:

«О воспитании в Русской империи» (стр. 426), где он без всякого удовольствия читает, среди многих других, следующие «любезности»:

«Недавно Gazette de Berlin опубликовала план воспитания, изобретенный или принятый императором Николаем для его подданных; мысли и тайные намерения самодержца выдают себя здесь в каждой строке. Строго запрещено всем русским, каково бы ни было их положение и состояние, воспитывать своих детей вне России и в иностранных школах.

В каждом университете правительство имеет своих шпионов, которые под видом служащих наблюдают за профессорами, следят за их действиями, слушают их лекции и дают об этом отчет. Этот шпионаж, опасный для профессоров, не менее опасен и для семейств, боящихся быть скомпрометированными легкомысленными словами или ветренным поведением учащихся или же лишиться своих детей по капризу правительства... Ни один наставник не может давать уроков в частных домах, если он не получил от учебной комиссии удостоверения в моральной и научной правоспособности. Эти удостоверения выдаются только тем, кто соглашается исполнять, вместе с профессией наставника, функции доносчика. Это тайные агенты, которых правительство пристраивает при каждом семействе.

Будь то частное или общественное воспитание, но оно повсюду в России носит одновременно аристократический и военный характер. Оно рассчитано на жизнь в лагере, а не на гражданский быт; русское правительство готовит людей только для битв и завоеваний: к сведению Европы».

Корреспондент Уварова тотчас же реагировал на это выступление, но на этот раз не велеречивым протестом; умудренный опытом или вразумленный инструкциями своего министра, он знакомит редакцию «Journal général de l'instruction publique» с первыми выпусками «Журнала Министерства Народного Просвещения». Редакция не сдается, однако, заметно смягчает свое отношение, о чем свидетельствует тот факт, что через месяц, в номере от 4 сентября (стр. 375—476), отмечается получение нового журнала русского министерства народного просвещения:

«Если в этом журнале нельзя встретить ни малейшего признака независимости, потому что он составляется в канцеляриях министерства (известно, что в Русской империи цензура распространяется на все виды изданий), то в нем можно найти зато любопытные документы и весьма интересные подробности о научных и литературных учреждениях в России и за границей, богатую и разнообразную статистику, разбор всех заслуживающих внимания работ, отчеты о трудах Петербургской академии наук и Российской академии, основанной, как Французская академия, в целях усовершенствования национального языка.

Следует отметить в этом сборнике статью о реформе общественного воспитания во Франции, в которой намерения и рвение г. Гизо оценены по заслугам. Мы с удовольствием констатируем в этой статье многочисленные заимствования из «Journal général...», который начинает проникать в Россию и в Германию. Если мы позволяем себе выразить здесь чувство личного удовлетворения, то это потому, что нам приятно видеть, как народы, далекие от подчинения одинаковым политическим идеям, сближаются через посредство науки и в ее интересах,—потому что, со своей стороны, нам приятно подготовлять этот столь желательный союз.

Несколько месяцев тому назад[142] мы напечатали некоторые соображения по поводу аристократической тенденции, которой запечатлено в Русской империи общественное воспитание. Мы восставали против системы

недоверия, которая особенно тяжело отражается на иностранных наставниках. Хотя мы не переменили своего мнения, мы считаем своим долгом, беспристрастия ради, предложить нашим читателям точный перевод ответа, который дало правительство на нашу статью в своем официальном журнале»...

Не прошло и трех месяцев, а «Le Journal général de l'instruction publique» еще прогрессирует в своем добром расположении к России. В номерах

ЭЛИМ МЕЩЕРСКИЙ
Гравюра с портрета маслом неизвестного художника, 1830-е гг.
Национальная библиотека, Париж

от 6 и 28 ноября (№ 2, стр. 5—6, и № 8, стр. 34) помещена во французском переводе князя Элима «Первая лекция о всемирной истории (курс, читаемый в Московском университете)» М. Погодина[143]. Тексту предшествует несколько снисходительных строк, исходящих, повидимому, от редакции, но нам слышится в них иронический отклик на какое-то письмо или заявление в духе князя Элима:

«...Нам всегда было ясно, что космополитизм является одним из условий науки, что за наукой нужно следить и что ее нужно приветствовать во всех климатах и под всеми широтами. Итак, читатель простит нам, что

мы заставляем его несколько стремительно перейти из зал Collège de France и Сорбонны в Московский университет. В Москве, этой древней столице Московии, движение наук принимает формы весьма примечательные: там умы, проникнутые немецким мистицизмом, отдаются вдохновению, нередко неопределенному и смутному, но горячему и искреннему; там мысль, неуверенная и боязливая, любит завесы и таинственную темноту скинии, которую изредка пронизывают и озаряют молнии...».

Одновременно князь Элим занят ознакомлением читателей другого журнала, более общего характера, с русскими делами. В том же самом 1834 г. он помещает две статьи за своей подписью в «Panorama littéraire de l'Europe» (том II), а именно: «De la satire en Russie aux diverses époques de la société russe» (pp. 7—18) и «Poésies cosaques» (pp. 372—389). Обе статьи лишний раз стремятся поставить русскую литературу на место, принадлежащее ей по праву среди европейских литератур. Первая представляет довольно яркий историко-литературный эскиз. Вторая, украшенная эпиграфом, взятым из Гюго («Un Cosaque hideux...»—«Отвратительный казак...»), ставит себе целью заменить точными сведениями о казаках те обидные формулировки, которыми довольствовалось общественное мнение по отношению к ним. Чтобы «просветить казакофобов», он дает краткий, но изящный исторический очерк, сопровождаемый отрывками из былин (а именно из «Дона Ивановича» и «Завоевания Сибири Ермаком»). В наших глазах эта статья имеет то достоинство, что свидетельствует о знакомстве литератора 30-х годов с народной поэзией, в которой скоро славянофилы найдут одно из самых драгоценных сокровищ русского народа. Князь Элим вложил сюда много своего и, как поэт, заканчивает свой труд картинным сравнением: «Внимая этой нежной и наивной поэзии, рожденной мужественным сердцем донцов, скажешь, что это цветущий плющ обвился вокруг казацкой пики»[144].

Так князь Элим пользуется всяким удобным случаем, чтобы вызывать перед французами, которых он хочет просветить и изумить, созданный им образ родины—образ иконы, окруженной дымкой ладана, «христианской пирамиды», возвышающейся среди мировых чудес, и одновременно сигнального огня, озаряющего будущее народов. Он пользуется этим образом в «Письме к Эмилю Дешану»[145].

Родимый предков край! Край чудный и великий!
Не над тобою ли стал ангел светлоликий,
Сложив свои крыла и с кротостью в очах,
Как бы в отечестве, в родимых небесах!
О, завещай навек свой фимиам народу,
Зефиром сладостным взнесенный к небосводу!
Ты набожен пребудь, да будет свят твой дом,
Благословенный днесь всеведущим творцом,
Кто, алча, чтоб дышал ты верою единой,
Над миром христиан воздвиг тебя вершиной
И меж творений всех тебя лишь отличил,
Тебе быть светочем вселенной положил!
Ты, богом призренный, народ святой России,
Исполни свой завет, народом будь Мессии!

Ошибки Запада, его лживая цивилизация, его духовный, религиозный и политический упадок, его сердечная сухость—вот что оправдывает миссию

русского народа. Поэт проклинает «материализм с его грязной мишурой», «бездны золота, железа, каменного угля — этот черный хаос»; он осыпает своими насмешками «хребет промышленного века», «котел спекуляций»[146]. Но Запад скоро оправится, он уже начинает приходить в себя:

Кой-где, — о, Аруэ! — видны следы твои,
Но вызрели орлы в зародыше змеи.
И юные сыны шальных ста лет броженья
Сожгли на пламени былые заблужденья.
Европа, отрезвясь от хмеля, в тьме ночей,
Смысл здравый заняла у нас, бородачей...
Чудно́! Взошли в стране анархии без меры
Побеги русские монархии и веры[147].

Предисловие к «Бореалиям» не оставляет никаких иллюзий читателю еще прежде, чем он возьмется за чтение самого сборника: «Автор — откровенный христианин, монархист и спиритуалист...; он равняется по тем французским умам, которые освободились от ошибок XVIII в. ...В своих стихах автор носит немного длинную бороду, настоящую бороду «мужика»... Он любит, он верит, он чувствует, как эти люди в «кафтанах», ни подбородка, ни верований которых никто еще, слава богу, не коснулся»[148]. Поэт предлагает, как идеал, французам—конституционалистам и либералам после июльских дней не что иное, как «святую Русь» Николая Павловича— свою «химеру», мощь которой он восхваляет, отвечая на распространенное сравнение с «колоссом на глиняных ногах» таким двустишием:

Ее орлины крылья,
Гранитные стопы[149].

Впрочем, служебная деятельность князя Элима не ограничивается этими публичными заявлениями. Усердный чиновник, он заботился также и о том, чтобы снабжать министерство, корреспондентом которого он состоял, всеми изданиями, могущими его интересовать, и мы знаем из письма Александра Тургенева к К. С. Сербиновичу, сотруднику министра, от 2/14 ноября 1835 г., что он исполнял свою задачу добросовестно: «Жаль, что курьеры наши редки и нет оказии отсюда к вам, иначе приложил бы к письму то, что теперь есть любопытного в словесности; но вы и без меня богаты книгами новыми и суждениями о них. К н. М е щ е р с к и й в с е п о с ы л а е т в а м...»[150].

IX

Деятельность князя Элима во Франции протекала открыто, но каковы были нити, связывавшие его с русским министерством народного просвещения? Какой представлялась эта деятельность за административными кулисами? Как оценивалась она в Петербурге? Об этом мы узнаем из официальных рапортов корреспондента своему министру и полуофициальных писем, которыми он обменивался с помощником редактора «Журнала Министерства Народного Просвещения» — А. А. Краевским.

Два рапорта Уварову дополняют наши знания о духовных интересах князя Элима и осведомляют нас о некоторых начинаниях, которые он предпринял или собирался предпринять[151].

Париж, 13/25 мая 1834 г.

Господин министр!

Соблаговолите разрешить мне представить вашему превосходительству мои почтеннейшие и глубоко прочувствованные поздравления по случаю вашего нового назначения. Одновременно прошу вас принять и мою всенижайшую благодарность за то свидетельство благорасположения, которое вы пожелали мне дать, исхлопотав для меня от щедрот его величества денежное вознаграждение.

Так как отправка курьеров происходит летом менее правильно, нежели зимой, то я испрашиваю у вашего превосходительства разрешения посылать вам в текущем сезоне мои рапорты через постоянного курьера, который отправляется раз в два месяца. Если же курьер от 1/13 мая до сих пор еще не уехал, то это запоздание вызвано стечением непредвиденных обстоятельств.

Я должен просить у вас извинения в том, что моя посылка этого месяца вышла столь объемистой, и взывать к вашей снисходительности в отношении разнообразных работ, которые она содержит. Я постараюсь следующий раз менее обременять внимание вашего превосходительства. Мой несколько растянутый рапорт о христианской философии был написан с таким расчетом, чтобы он мог служить журнальной статьей, в случае, если бы ваше превосходительство захотели предать его гласности.

На этот раз я буду докучать вам философией. Помимо брошюр Ботэна и моего рапорта, я беру на себя смелость представить вам небольшую работу моего сочинения, при сем прилагаемую, о которой я позволил себе говорить вашему превосходительству в моих предыдущих письмах[152].

Вопреки поощрению г. Бадера, который читал в свое время это сочинение, и вопреки мнению г. Ботэна, который только что вернул мне его с некоторыми замечаниями (я их оставил в моей рукописи), я вполне убежден, что эта книга не может и не должна увидеть свет. Мне было 22 года, когда я писал эти страницы; они отмечены всей экзальтацией юного сердца. Я осмеливаюсь поэтому искать одобрения вашего превосходительства лишь в отношении о б щ е й тенденции этой работы и чувств, в ней выраженных. Исторические сведения, которые она дает, быть может, одни могли бы для чего-нибудь пригодиться, потому что они подкрепляют все, что я говорил и буду еще иметь случай говорить в моих рапортах по поводу нового философского направления, которое намечается в Европе. Но я повторяю: моя работа еще не сделана. Я уделяю в ней много внимания духовному будущему России. Я говорю о нем со всем, может быть, самонадеянным простодушием юности, которая верит в то, что говорит. Теперь, когда это будущее в руках вашего превосходительства, мне ничего больше не остается ни желать, ни советовать. Когда кормчий у руля, юнга должен скрестить руки и почитать себя счастливым, повинуясь приказам начальника.

Дозвольте, господин министр, вновь засвидетельствовать вашему превосходительству выражение моего уважения, преданности и благодарности.

Элим Мещерский

1/13 октября 1834 г.

Господин министр!

...Пользуюсь случаем, чтобы спросить у вашего превосходительства указаний и благосклонного одобрения по поводу одной работы, которую я намерен предпринять незамедлительно. Я думаю, что было бы полезно и даже необходимо в эпоху, в какую мы живем, составить сборник сочинений наиболее знаменитых монархических и христианских публицистов — наподобие только что появившейся книги, озаглавленной «Raison du Christianisme», о которой я даю отчет в моей сегодняшней библиографической заметке. Этот сборник заключал бы наиболее примечательные места из Боссюэта, Фенелона, де Местра, Экштейна, Лоранти, Гакера, Бональда и Ламене (из его первого труда, разумеется), касающиеся догмата легитимизма абсолютной власти и истинных принципов, на которых зиждется общество. Такого труда нехватает науке, и все серьезные люди, которым я сообщал мою идею, приняли ее с большим одобрением.

Продолжительные мои занятия в области социальных наук убедили меня в том, что христианская политика, как и религия Христа, находят себе поддержку не только в сердце человека, но также и в его разуме, и что абсолютное монархическое правление необходимо не только для какой-нибудь одной эпохи, но что эта форма, освященная временем, создана для всех времен, потому что она сообразуется с общими законами мироздания. Эта работа окажет, быть может, благотворное влияние у нас, победоносно доказав, что монархические принципы, присущие национальному чувству русского народа, согласуются с самой возвышенной философией. Чтобы обеспечить книге (в интересах дела) некоторый отзвук, я хотел бы посвятить ее русской просвещенной молодежи, в лице наследника престола.

Я убедился во время моего последнего пребывания в Петербурге, что наши молодые люди занимаются философией и социальными проблемами гораздо больше, чем я думал, — со мной говорили о Монтескье, Канте, Гегеле, Шеллинге, даже об Окене; но очень мало кто знает де Местра, Гакера или Бональда. Когда рассеянные светочи знаний этих истинных философов будут соединены воедино, тогда заблуждения ложной науки предстанут, думается мне, во всем своем безобразии и наготе и предохранят юные умы от ловушек, их окружающих.

Я ожидаю приказаний вашего превосходительства и подчиняюсь им благоговейно. А ныне прошу вас принять мои всенижайшие извинения и выражение почтительнейшей преданности.

Элим Мещерский

Итак, князь Элим пользуется тем догматическим утверждением, которое Жозеф де Местр, «теолог провидения», ввел в моду во всех монархических кругах, а именно о тождестве принципов христианства с «общими законами мироздания». Но как ни отталкивается он от «философизма», он стремится к тому, чтобы придать этим христианским истинам философскую форму. Предполагая подарить русским «Разум христианства», который должен быть в то же время Разумом России, как таковой, он не колеблясь ищет на Западе составных элементов для «сборника монархических и христианских мыслителей» и дает «отчет о христианской философии», написанный с таким расчетом, чтобы он мог служить статьей, подготовляющей осуществление проекта. Французы, и

в особенности де Местр и Бональд, должны, по его плану, занять если не весь сборник целиком, то, во всяком случае, главное место в нем: русские, по его мнению, слишком мало знают их и должны многое воспринять от них. Эти намерения отвечают, как нельзя лучше, самым сокровенным интересам и мечтам князя Элима. Они имеют, вдобавок, еще и то преимущество, что в значительной мере совпадают со взглядами его министра. Пресловутый циркуляр 1833 г. («Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности»), программа «Журнала Министерства Народного Просвещения» и статьи в первых томах этого журнала не оставляют никакого сомнения в этом отношении. «Самодержавие, православие, народность», — князь Элим уже издавна усвоил этот тройственный девиз; как и Уваров, он не отвергает, в целях разумного обоснования этого девиза, союза с Западом, но союза, освобожденного от всех опасностей, — в нем должны принимать участие одни лишь христиане и монархисты, — он должен быть священным союзом религиозной и политической мысли. Оригинальность Мещерского заключалась в том, что в эпоху, когда умы в России были обращены в сторону немецких философов, он ожидал существенной поддержки от французов.

Эту поддержку мы находим в первых выпусках «Журнала Министерства Народного Просвещения» с 1834 по 1837 гг.; это целый ряд статей и анонимных заметок, сопоставляя которые с письмами князя Элима нельзя не притти к заключению, что они внушены им, а иногда и прямо принадлежат его перу. А именно:

В январском выпуске 1834 г. (стр. 118—122) помещены выдержки из письма из Парижа от 19—31 октября к министру народного просвещения, по всей вероятности, принадлежащего князю Элиму[153], затем несколько отчетов о французских книгах, как-то: «О преподавании философии во Франции» аббата Ботэна и «О французской литературе XIX века» Киприана де Маре.

В мартовском выпуске 1834 г. (стр. 317—377) — капитальная статья А. А. Краевского о философии Ботена; некоторые места этой статьи имеют бесспорное сродство с отчетами князя.

В апрельских выпусках (стр. 78—92) и в июньском выпуске 1834 г. (стр. 444—483) — очерк А. А. Краевского о преобразовании народного просвещения во Франции.

В июльском выпуске 1834 г. (стр. 107—115)—заметки о постановке начального образования во Франции.

В сентябрьском выпуске 1834 г. (стр. 526—538) — отчеты о произведениях французских писателей, а именно: Ламартина («Судьбы поэзии»), Лакордера («Размышления о философской системе г. де Ламене») и Ботэна («Ответ христианина на Слова верующего»).

В октябрьском выпуске 1834 г. (стр. 150—152)—отчет об одном номере «Панорамы», где князь Мещерский упомянут среди сотрудников этого журнала.

В январском выпуске 1835 г. (стр. 169—187) — ряд отчетов о французских книгах, присланных князем Элимом, в частности: о «Разуме христианства и доказательствах истинности религии, извлеченных из писаний величайших людей Франции, Англии, Германии» — труде, изданном под редакцией г. Женуда (т. I, Париж, 1834)[154].

В майских выпусках 1835 г. (стр. 281—295) — отчеты, в которых аббат Ботэн и де Местр являются предметом обсуждения.

А. А. КРАЕВСКИЙ
Карикатура неизвестного художника, 1834 г.
Частное собрание, Москва

В июньском выпуске 1835 г. (стр. 550—562)—отчеты, где мы находим заметку (стр. 551) «Правда о России и о польском восстании» графа Адама Гуровского (Париж, 1834)—эта книга упоминается князем Элимом в одном из его писем (см. ниже, стр. 466).

В январском выпуске 1836 г. (стр. 231—232)—заметка, обращающая внимание читателей на журнал «La morale en action du christianisme».

В февральском выпуске 1836 г. (стр. 449—460)—несколько заметок по поводу «Примирения аббата Ботэна и его учеников со страсбургским епископом» и о «Религиозной реакции в свете суждений Сен-Марк-Жирардена».

В июльском выпуске 1836 г. (стр. 234—238)—статья, автор которой порицает безбожие Жорж Санд, улавливая, однако, в ней признаки близкого обращения.

В октябрьском выпуске 1836 г. (стр. 181—193)—статья о католическом университете.

В декабрьском выпуске 1836 г. (стр. 608—610)—заметка о прогрессе религиозности во Франции, разбитая на несколько отчетов о назидательных книгах вообще и о «Всеобщей истории христианской церкви» М. Ж. Маттера.

Дух этих статей и критических заметок мы вновь находим во вступительной речи проф. Розберга, занимавшего кафедру русского языка и литературы в Дерптском университете, речи, воспроизведенной в январском

выпуске 1838 г. (стр. 1—16), где формулирована бóльшая часть основных идей князя Элима, особенно (стр. 13) о взаимной роли Востока и Запада и о задаче примирения, выпавшей на долю России в процессе развития цивилизации.

Итак, деятельность князя Элима, как патриота и мистика, оставила след если не в кругах западников и славянофилов, то, во всяком случае, в официальном органе Уварова. В какой мере тот или другой из правых славянофилов, быть может, сам не отдавая себе отчета, черпал из этого журнала, переплавляя наполовину католические идеи в православную форму, какова была в действительности сфера влияния князя Элима,— решить трудно. Формулы, выдвинутые им, теряются в том чрезмерно упрощенном целом, каким нам представляется теперь вся эта система официального национализма. Доля его участия, а ее наличие несомненно, остается анонимной, и определить ее точно не представляется возможным. Книги и журналы, которые он присылал, встречали благосклонный прием. Его рапортами пользовались, иногда даже печатали целиком или в выдержках, но его конкретные проекты, как издание антологии христианских и монархических мыслителей, или выдача субсидий французскому журналу, посвященному русским интересам, прятались под сукно или вежливо отклонялись. Этот защитник «святой Руси» за границей всегда, видимо, представлялся Уварову и его сотрудникам, как и послу Поццо ди Борго, поэтом и идеологом неисправимо молодым и слишком склонным к фантазерству. Уже одного факта назначения в Париж Якова Толстого было бы достаточно, чтобы догадаться о недоверчивом отношении начальства к князю Элиму. Переписка князя Элима с А. А. Краевским позволит нам увидеть это отношение со всей отчетливостью и, таким образом, лучше выяснить его причины.

## X

Князь Элим отдавал себе, разумеется, отчет в том, что министр занимает слишком высокое положение и у него слишком много других забот, чтобы уделять достаточно внимания рапортам своего парижского корреспондента. Он обращается поэтому к человеку, принимавшему самое деятельное участие в редактировании «Журнала Министерства Народного Просвещения», к тому, кто, без сомнения, внимательно читал его рапорты и разумно их использовал,—к А. А. Краевскому, тогда умному и гибкому молодому чиновнику, опиравшемуся на протекцию князя В. Ф. Одоевского, который позднее стал историографом Бориса Годунова и в особенности одним из самых умелых организаторов русского журнализма — к будущему редактору-издателю «Современника», «Отечественных Записок», «Санкт-Петербургских Ведомостей», «Русского Инвалида» и «Голоса». Князь Элим надеется найти у него тот отклик, который он тщетно надеялся получить от Уварова. В следующих почтительных и комплиментарных выражениях подготовляет он себе союз с этим незнакомым, но необходимым ему союзником[155]:

Париж, 1/13 августа 1834 г.

Милостивый государь!

Только несколько дней тому назад получил я наш «Журнал Министерства Народного Просвещения» и поэтому не мог ранее ознакомиться со статьями, которые вы там поместили.

Разрешите, милостивый государь, принести вам самые искренние поздравления за ваш прекрасный перевод труда аббата Ботэна и за вашу статью о народном образовании во Франции[156].

Хотя я не имею чести быть с вами знакомым, но я льщу себя надеждой, что вы соблаговолите благосклонно принять выражение моего восхищения и просьбу разрешить мне непосредственно сноситься с вами, с которой я беру на себя смелость к вам обратиться.

Мне неизвестна степень вашего участия в редактировании «Журнала Министерства Народного Просвещения», но я почел бы себя счастливым, если бы вы соблаговолили воспользоваться моим содействием для сведений и документов, относящихся к кругу вопросов, порученных мне во Франции и которые могли бы быть полезны лично вам или же редакции журнала министерства.

В то же время я буду вам бесконечно признателен, если вы соблаговолите разрешить мне обращаться к вам время от времени с некоторыми вопросами, касающимися научной и литературной жизни, равно как и народного просвещения в нашем отечестве.

Так как подобного рода сношения могут оказаться небесполезны для службы его величества и для ваших собственных занятий, я поздравляю себя с инициативой, мной в этом отношении проявленной, равно как и с тем, что это предоставит мне случай узнать ближе человека, посвятившего свои таланты предметам столь высокого значения.

Примите, милостивый государь, уверение в моем особом уважении.

Элим, князь Мещерский

Молодой чиновник был явно польщен этими княжескими авансами, но увидел также и ту выгоду, которую может извлечь отсюда для себя, как редактора министерского журнала. Он отвечает на эти авансы комплиментами, патриотическими декларациями, от которых не отказались бы гоголевские герои, а также рядом вопросов, полных здравого смысла и практического чутья. Его письмо было написано, по счастью, с черновиком, который нам сохранили архивы:

[Недатированный черновик]

М. Г.
Князь Елим Петрович!

Внимание, которое обратили вы на некоторые статьи мои в «Журнале Министерства Народного Просвещения», почитаю я одною из лестнейших наград, каких только могли удостоиться эти слабые начатки трудов моих на литературном поприще.

Не имея чести лично знать вас, я привык уже питать к вам душевное уважение с того самого времени, как случай доставил мне удовольствие прочесть изданную вами года за три перед сим в Ницце брошюру, где с таким благородным жаром патриота, с таким высоким достоинством поборника истины защищаете вы священную для нас Россию против недругов, хулителей ее. Я русский и по рождению, и по сердцу; по закону какой-то физической и более нравственной необходимости, с самого детства мысль и чувство мои так слились нераздельно со всем русским, что общее моей родины сделалось неотвратимо моим частным; жизнь ее сделалась моею жизнью; ее слава и позор моими собственными. Обрадованный, восхищенный вашими письмами, я тогда же перевел последнее из

них, в предисловии к нему излил все то, что породили они у меня на сердце, и отправил к одному из наших журналистов для напечатания; но тот, по каким-то расчетам и боязни, не дал ему места в своем издании, и я до сего времени должен был только чувствовать, не имея возможности каким-нибудь образом передать вам свою глубочайшую признательность. Теперь прошу вас принять искреннее мое в ней свидетельство и быть уверену, что она всегда пребудет неразлучна со мною.

Но еще живейшую благодарность ощутил я, получив от вас лестный вызов на приятнейшее для меня знакомство и переписку с вами. Не только принимаю с удовольствием этот обязательный вызов, но неотступно прошу вас как можно чаще опрашивать меня в разных сферах жизни России, сделать меня своим всегдашним корреспондентом по этой части и быть уверену, что требования такого рода никогда не могут быть неприятны: минувшая и настоящая судьба Руси и литературы ее—любимый предмет дум моих и постоянных изучений. Внести светильник философии хоть в один уголок темной храмины минувшего бытия ее; озарить искрою высшего света хоть один звук ее слова—вот высокая и далекая цель, увы, которая виднеется мне только в тумане и о достижении которой я и думать не смею. Счастливым себя почту, если какие-нибудь доставленные мною сведения об отечестве нашем помогут вам в вашем трудном, но великом подвиге: знакомить с ним не понимающих его иностранцев. Да поможет вам бог в этом прекрасном, истинно полезном для славы России предприятии, и да не ослабнет ревность ваша при встрече с вековыми предрассудками тех, которые смотрят на народ русский, как на какую-то азиатскую толпу, лишенную не только умственных, но даже и нравственных достоинств! Стоит только быть беспристрастным наблюдателем настоящего бытия русской земли, чтоб увериться в противном. Тут не нужны ни лесть, ни ложно понимаемый патриотизм. Слава богу, мы достигаем такого состояния, что можем не краснеть за самих себя, если представят нас Европе в верном изображении!

С своей стороны, считаю себя чрезвычайно обязанным за дозволение относиться прямо к вам с вопросами, решение которых было бы полезно для меня собственно и для редакции «Журнала Министерства Народного Просв.». Принимая (по самой службе своей) деятельное участие в издании этого журнала, имея на руках своих литературно-ученое отделение его и занимаясь доставлением статей по этой части, всех принадлежащих собственно редакции, я имел и буду иметь часто нужду прибегать к вам во многом, и теперь, одушевленный вашим обещанием, смело буду адресовать к вам свои требования, твердо надеясь, что вы не оставите их без удовлетворения. Что же касается до моих собственных занятий,—вы оживите и ускорите их ответами на те вопросы, которые позволите иногда делать мне о ходе наук исторических и философических во Франции. Часто не имея ни времени, ни способов прочитывать все лучшие французские периодические издания, я должен бываю оставлять многое в себе без ответа, который, может быть, и нашел бы в круге газет и журналов. Но вы живете в центре европ. образованности, вы многое слышите из того, что к нам доходит в печати; у вас под рукою все способы для справок, и при добром желании вы всегда найдете возможность оказать мне величайшее пособие. Теперь вы изъявили мне это доброе желание, и я поспешу им воспользоваться... Но до времени о с в о е м умолчу, а попрошу вас на первый случай о том, что касается до пользы нашего журнала.

1) Вы много одолжили нас присылкою таблицы Язвинского и брошюрки, объясняющей его методу. Язвинский разделяет все преподавание на пять степеней, из коих для каждой придумывает особую таблицу, и потом каждую степень подразделяет, как видно, на несколько разрядов, для которых также должны быть особые таблицы. Мы имеем только одну со знаками; и не знаем вовсе тех, в которых употребляются..... или накладные квадратцы, да и самое краткое сведение, какое можно было изъять из рапорта Сабатье и статьи самого Язвинского, может дать только некоторое понятие о методе, недостаточное для желающего ближе познакомиться с нею. Вы бы чрезвычайно обязали нас, прислав все изданные Язвинским таблицы (если есть), книжки, с большею подробностью объясняющие его методу, дополнив все это известие о том, принимается ли она во французских казенных и частных заведениях, где именно и так ли употребляется, как назначал автор, не сделано ли каких в ней улучшений, и притом, если можно, доставить сведение о самых подробностях хода преподавания, которого, может быть, случай доводил до вас быть очевидным свидетелем. До меня дошли слухи, что метода Язвинского многим у нас нравится, и многие уже собираются составить по ней руководство для наших учебных заведений; а потому подробные о ней сведения теперь делаются нам необходимыми.

2) Что слышно о системе Ботэна? Имеет ли она какой-нибудь ход во Франции? Странно, что я ни в одном франц. журнале не видел его имени, не читал суждения о нем. Неужели божественные идеи его вовсе не пускают корней в почву, взрытую страстями неистовыми, неужели никто не слышит громоносного его голоса?..

Вы сделали нам прекрасный подарок присылкою его В в е д е н и я в к у р с ф и л о с о ф и и: за него не мы одни — все читатели нашего журнала благодарят вас. Изложение системы Ботэна произвело в нас то отрадное действие, которого можно было ожидать от публики, еще юной сердцем, но зреющей умом и не знакомой с тем хладом, который сжал теперь в своих ледяных объятиях большую часть образованной Франции. Сделайте же одолжение, продолжайте дарить нас вестями обо всем, касающемся до системы, и не замедлите присылкою его Manuel de philosophie, лишь только он появится.

3) В получаемых мною нумерах Journal de l'instruction publique помещаются иногда сведения о преподавании наук в Париже; но эти сведения недостаточны. Мы бы желали иметь сколь возможно обстоятельные известия о методах преподавания разных отраслей человеческого знания в училищах разных степеней, о книгах, принятых в руководство, о программах лекций и вообще обо всех особенностях преподавания наук физ., мат., истор. и словесности. Разумеется, подобные сведения невозможно собрать вдруг и обо всей Франции; но если бы вы, снизойдя на это желание наше, ограничились на первый раз Парижем и понемногу, исподволь начали собирать материалы, нужные для подробных сведений, то премного обязали бы нас.

В заключение слишком длинного письма моего прошу вас не лишать меня вперед доброго своего расположения и принять уверение в чувствах истинного уважения и совершенной преданности, с коими имею честь быть

в[ашего] с[иятельства]
покор[нейший] сл[уга]

*Неоконченный постскриптум:*

Вот пока все, что мог я припомнить теперь нужного для нашей редакции, спеша писать заранее отъезда курьера, но есть еще много вопросов, с которыми позвольте обратиться в другое время. Теперь же...

Ответ Краевского попал в цель. Он попал даже дальше, чем мог ожидать этого автор. Князь Элим открыл в этом письме признаки сродства душ, залог мистической дружбы, согласной с видами провидения: «Мне кажется, нам суждено было встретиться вместе. Возлюбим друг друга в России, а Россию во Христе».

С наивным жаром взрослого ребенка исповедуется он этому незнакомому «другу», отчества и возраста которого он не знает, в тех непреложных для него религиозных и политических идеях, которыми он одержим — вплоть до идеи соединения церквей, которое он мыслит, как возвращение католиков, разочаровавшихся в папстве, в лоно православия. Он поверяет ему тайну существования той рукописной работы, которая так дорога его сердцу, с которой он знакомил уже Бадера, Ботэна и Уварова. Он предостерегает его против Ламене и Мишле, он доставляет ему вперемежку всевозможные сведения об общественных настроениях во Франции,— словом, он открывается ему, как другу и брату. Официальные отношения в бюрократическом стиле были бы для него тяжелым бременем: ему нужна беседа сердца с сердцем, и притом в романтическом ритме:

Париж, 4/16 октября 1834 г.

Милостивый государь
Андрей . . . . . ич,

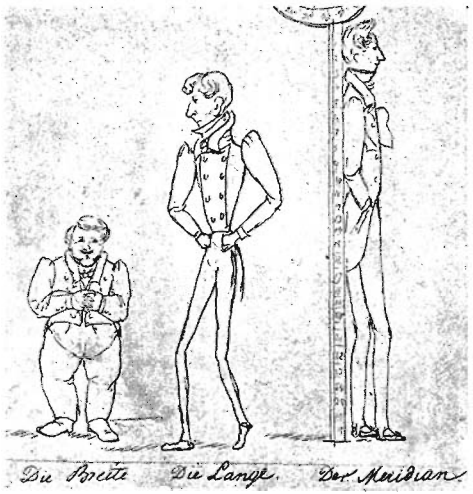
Письмо ваше тронуло меня до слез. Не нахожу слов выразить вам моей радости и благодарности. Пишу к вам по-русски, хотя уже десять лет как мне не пришлось начертить строчки на нашем любезном отечественном языке.

Будьте снисходительны к моему иностранному слогу. Язык мой о б у с у р м а н и л с я, но сердце осталось русским и православным.

Так, любезнейший Андрей . . . . . ич (не забудьте сказать мне, как вас величают), мы понимаем друг друга. Мы давно находимся в тесной умственной связи, мы, как бы сказать, давно знаем один другого, ибо я люблю, что вы любите, верую, во что вы веруете, восхищаюсь, чем вы восхищаетесь.

Я горжусь вашим одобрением,—и теперь только ставлю во что-нибудь труды мои, ибо они мне дали способ сблизиться с вами. С этой поры я вам открою мою душу, я вам поверю все мои мысли, желания, надежды на счет возлюбленного нашего отечества. Я как-то имею предчувствие, что моя искренность вам будет приятна, что изложение моих идей вам покажется порывом души пламенной, а не затеями какой-нибудь умственной кичливости. Для начала наших дружеских сношений, столь для меня лестных, я познакомлю вас немного с моею личностью.

Четыре года тому назад я в первый раз услышал, что есть на свете ф и л о с о ф и я х р и с т и а н с к а я. Молодой германец, учившийся в Мюнхене, где находятся теперь славнейшие поборники христианства в сфере наук, открыл мне путь истины. С того времени я сделался жарким патриотом, ибо тогда только я постиг величие России, тогда только я п о н я л е е. Завеса спала с глаз моих, и Россия представилась мне с в я т и л и щ е м и с т и н н о г о п р о с в е щ е н и я, а остальная Европа, в осо-



ЮНОШЕСКИЕ РИСУНКИ ЭЛИМА МЕЩЕРСКОГО

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

бенности же Франция, вертепом просвещения ложного, фокусом света не освещающего, но палящего. Видя, что основание философии на началах откровения и приноровление всех наук к сему основанию, возрождение оных духом христианства стало необходимостью нашего времени, условием sine qua non существования человечества, я уверился, что Россия предназначена провидением быть, так сказать, рычагом, коим наука поднимается к небу, светильником, коим озарится Европа светом науки христианской. Сии мысли стали моею душевною пищею, распространение оных—целью моей жизни. Я написал в 1831 г. малую книгу под заглавием Aperçu de la réaction philosophique qui se manifeste en Europe en faveur du Christianisme и вместил в нее сии предчувствия, толпящиеся во мне, почти мучившие меня[157]. Она осталась в рукописи, ибо сие творение не зрело; мне было тогда 22 года отроду. Но по сих пор я не отрекся ни от одной из моих тогдашних идей, напротив того, я ежедневно укрепляюсь в моем убеждении. Брошюра моя, которую вы читали, содержит только намеки касательно моего умственного направления и видов моих о России.

Мне кажется, что мы, русские, должны глубоко увериться в великом предназначении нашего отечества. Так, как христианин старается жить благо на земли для достижения блаженства будущей жизни, подобным образом русские должны иметь в виду будущие времена России, дабы упрочить настоящее ее благосостояние. Цель сия — просвещение христианское, долженствующее вдохнуть жизнь новую человечеству вообще; способ—учение русское, национальное, коим, в частности, основывается благоденствие России.

Журнал министерства может быть первым, главнейшим способом к сему великому делу. Вы особенно, по вашей части, кажетесь мне богом призванным, дабы служить орудием к направлению вашего журнала в духе философии христианской.

Мы должны опасаться всего более рационализма немецкого, французского, английского. Я имел случай приметить, что он глубоко проник нашу ученую сферу; и немудрено: он по сих пор один господствовал в науке европейской. Но теперь в Германии Шеллинг окрестился. Бадер, маститый философ откровения, передал дух свой многим ученикам с великими способностями. В сем же духе Гёррес преподает науки политические, Шуберт и Стефенс учат наукам естественным. Франция имеет Ботэна и Бональда, Англия Лингарда и других. Одним словом, нам надобно освободиться от влияния протестантского учения и перенимать учение католиков.

Католицизм без папизма — наша вера, а папизм уже не опасен в нынешнее время. Некоторые ревностные католические ученые даже из духовенства во Франции, и Бадер, между прочим, в Германии, не веруют уже в папу. Что же остается? Наша вера, и слава богу. Будет время — различные вероисповедания сольются и возвратятся к первоначальной церкви, а путь к сему приуготовляется наукою, в которой начинает возрождаться православие. Итак, самые высшие поясы ума человеческого опускаются — или, лучше сказать, возвышаются* к понятиям и чувствам всенародным

---

* Читали ли вы книгу 8-ю Радуги 1833? В статье «Судьба России» я нашел все мои идеи, как бы мною самим писанные.

в России, — спекуляция разума выспреннего сливается с русским народным чувством!!! Ей-ей, пора науке русской одеться в кафтан и отпустить бороду.

Вы можете судить, по сим моим мнениям, о радости, с которою я вижу ход теперешний просвещения в нашем отечестве. Дай бог здравствовать царю и нашему истинно просвещенному начальнику! Дайте мне, пожалуйста, знать, в каких сношениях вы находитесь с г. министром. Если он вам доступен, то прошу вас просмотреть мои прошлые экспедиции. В моих Notices bibliographiques находятся отчеты многим преполезным книгам в направлении христианства, о которых по сих пор журнал ваш не упомянул. Также стоит вашего внимания мой рапорт под № 16 мая месяца о христианской философии; я особенно позволю себе вам рекомендовать мою нынешнюю экспедицию. Книга Бональда о политике столь же важное явление, как философические творения Ботэна. Мой разбор профессоров парижских обнаруживает опасные их учения и, между прочим, философию Мишеля. Я заклинаю вас принимать с большою осторожностью в вашем журнале похвальные статьи сим лицам и вообще статьи ученые из Journal général de l'instruction publique.

Учение сего журнала поверхностно и отзывается рационализмом.

Annales de philosophie chrétienne, Revue européenne (по части философической, ибо политические мнения сего журнала неосновательны) могут служить вам весьма богатым источником; там вы увидите многое о Ботэне. Министр получает от меня сии журналы. Прошу вас еще убедительно для пользы журнала и вашей собственной читать творения Joseph de Местра, Ламене (только первый его увраж De l'indifférence en matière de religion и даже довольно первого тома), Лоранси (Origine des connaissances Humaines, сколько помнится), Бональда, аббата Жербе (Dogme générateur de la piété catholique), книгу аббата Лакордера против Ламене (книга сия прислана министру). Рекомендую сии журналы и творения всем вашим друзьям и оценщикам Ботэна. Я не говорю вам о новых немецких философах, не зная, известен ли вам немецкий язык.

Покорнейше вас благодарю за ваши инструкции касательно мною присылаемых известий из Франции. Вы удостоверитесь, читая мой отчет министру годовым трудам, писанный до получения вашего письма, что я намерен впредь заняться всеми пунктами, вами мне означенными. Я доставил прошедшим курьером все, что вышло в свет по сию пору относительно к язвинской методе.

Позвольте мне попросить вас о доставлении пропорции между лицами обучающимися и общим народонаселением в России, т. е. как 1 лицо относится к 10? В вашем журнале говорится только о числе учащихся в ведомстве министерства вашего.

Вы бы очень обрадовали отца моего, князя Петра Сергеевича, вашим знакомством. Если вы желаете читать мою рукопись Aperçu de la réaction etc., то он вам вручит ее. Прошу вас также сообщить ему сие письмо и велеть доставить мне копию оного. Я намарал в скорости сии строки перед отправлением курьера. Ежели вам возможно в непродолжительном времени осчастливить меня ответом (употребляю это слово не простою поговоркою), то пишите по почте.

Извините мою искренность, мое радушие. Вы видите, я открываюсь вам, как другу и брату, надеясь на сродство душ наших. Мне многое, многое остается вам сказать: мой ум просится к вам, и, если я на сей раз

заключаю нашу беседу, то это потому только, что я щажу ваше терпение. Я, с моей стороны, буду принимать с живейшею благодарностью ваши советы и сообщения. Помогая, поддерживая друг друга на трудном пути, ведущем к одной цели, нам легче будет приблизиться к оной. Мне кажется, нам суждено было встретиться вместе. Возлюбим друг друга в России, а Россию во Христе.

Вам душевно преданный
Элим Мещерский

Каких вы лет?

Возможно, что тон этого письма привел в замешательство того, кому оно было адресовано; чрезмерный пыл и экспансивная чувствительность должны были смутить человека положительного и сдержанного. Факт тот, что Краевский не спешил с ответом. Зато сам он получил от князя Элима второе, еще более настойчивое письмо, которое он, предварительно сняв с него копию, без сомнения, сообщил министру. На этот раз письмо имело вполне определенную цель: это просьба о субсидии для основания французского журнала, преданного русским интересам. А чтобы убедить богатых купцов последовать примеру Минина, автор присовокупил к своей просьбе несколько увещеваний в стиле Замоскворечья и будущего «союза русского народа», в которых странным образом «святая Русь» сочетается со «святой троицей» и где он, в свою очередь, повторяет данную французскому народу квалификацию «полуобезьяны и полутигра». Краевский решается ответить, обозначив дату своего ответа на копии, снятой им с письма князя и положенной в архив на место оригинала.

Получ. 14 ноября.
Отосл. 24 ноября.

Париж, $\frac{26 \text{ октября}}{7 \text{ ноября}}$ 1834 г.

Милостивый государь
Андрей . . . . . ич,

Я еще не получил от вас ответа на последнее письмо мое, а опять пишу к вам в уверении, что вы примете с дружбою сей новый мой отзыв.

Я должен сообщить вам весть добрую о деле важном, о деле р у с с к о м и европейском, готовящемся в Париже, и приглашаю вас в сотрудники, надеясь на вашу помощь. Вот о чем речь идет.

Уже давно лучшие умы в Германии и Франции желали учредить в Париже журнал философический и литературный для распространения спасительных начал политических, для защиты христианства в науке и для исследования хода мыслей во всех образованных частях света. Журнал, исполняющий вполне таковые условия, еще не существует, ибо дух партий во Франции сему препятствует. Потому никакой журнал, даже принадлежащий легитимистам, не смел стать за Россию, не мог говорить о ней свободно. Впрочем, никто о ней во Франции словечка не знает.

Друзья мои здешние, под моим руководством, основывают сей давно желанный и необходимый журнал.

Прилагаю prospectus сего творения.

Мои и друзей моих сношения с важнейшими мужьями Европы позволяют нам надеяться на сотрудничество Ансильона, Стефенса, Савиньи, Шеллинга, Бадера, Шуберта, Гёрреса и пр. в Германии; Ботэна, Бональда, Лоранси, Екштейна, Балланша и проч. во Франции и многих философов и писателей благомыслящих в других государствах европейских и даже в Новом свете.

Но на сей великий подвиг нужны деньги. Уже некоторые капиталы собраны; но они по сих пор недостаточны для составления акций и обеспечения успеха сего предприятия.

Ради бога, ради России уведомьте о сем некоторых образованных особ из нашего купечества,—попросите их о денежном вспомоществовании. Да будут они новыми Миниными. Да положат они свое золото для защиты святой Руси от нехристей, от умственных врагов ее! И мы вонзим знамя русское среди стана супостатов! И мы прославим бога русских пред лицом хулителей Христа. Мы покажем омраченному миру лучезарное чело белого царя. Мы воздвигнем в поле умственном всенародный храм богу трехличному.

Первая статья первого номера сего журнала будет ответом аббату Ламене, к несчастию, знаменитейшему теперешнему писателю Франции, который поместил в Revue des deux Mondes самую исступленную статью против царей вообще, а особенно против нашего государя.

Ужель, когда поляки имеют свои журналы в Париже для распространения лжи и крамолов, мы, русские, останемся назади и не станем представителями истины и спасительных начал?

Я вам когда-нибудь разовью обстоятельно, сколь важно и полезно для успехов наук философских и политических в Европе основательное познание славянской и греко-россиской стихии. Многие глубокомыслящие мужья в Германии и Франции имеют уже сие мнение. Таковая реакция будет иметь и на нас, русских, скоро ли, рано ли, благотворное действие и спасет нашу молодежь от глупого пристрастия к чужеземному, а особенно к французам, сему пустому народу, которого некий писатель назвал справедливо полуобезьяной, полутигром! Но, слава богу, есть изъятие, и есть французы, с которыми мы можем и должны вступить в союз.

Мое имя, разумеется, не покажется в журнале, я просто буду подписываться: un russe. Я буду давать ему направление умственное; но я ни в чем не участвую в денежных распоряжениях. Однакож, я ручаюсь за честность и расчетливость предприятелей: они мне давнейшие друзья. Если журнал не состоится, то капиталы будут возвращены пожертвовавшим. Они будут сохраняться законным образом у публичного нотариуса.

Итак, я вас заклинаю собрать всеми силами и в скорейшем времени сколь возможно денег. Очень бы важно было, если первый наш номер мог выйти в будущем генваре; и сие случится непременно, если вы доставите нам кое-что от нынешняго срока через 6 недель. Представьте, что с 15-тью тысячьми франков журнал будет в состоянии содержаться без опасения шесть месяцев и щедро платить лучшим здешним писателям. С капиталом 40 тысячей фр. журнал будет основан надолго, а так как основатели—мои друзья, то журнал перенесется, когда угодно будет нашему правительству, или в случае революции, в Петербург, но покамест весьма полезно, чтобы он состоял в Париже.

Доложите о сем предприятии г. министру. Я отправил об оном рапорт с первым курьером.

Вы можете прислать векселя на мое имя по почте: rue St. Florentin, 5, à Paris.

Вы получите с курьером перевод моей первой лекции Погодина, уже помещенный в Journal général de l'instruction publique. Ваш журнал и ваше сообщение будут для нас богатыми источниками.

Я постараюсь в моем ответе Ламене доказать, что основание России

именно с р е д н е е, как говорил Погодин. Великая идея! Посему-то Россия уже посредник в мире политическом, и ей кой-когда суждено быть посредником в мире умственном. Она занимает средину на полушарии, а средина сферы — центр. Я приведу в доказательство журнал министра, где именно средоточиваются лучи всемирного просвещения.

Помолитесь за меня, грешного, не достойного дотрогиваться до таких высоких мыслей. Авось, господь не оставит меня. Да поможет бог и вам. Я надеюсь на вас более, чем на самого себя.

Вам душевно преданный
К. Элим Мещерский

Потрудитесь перевесть prospectus или переделайте его понятным образом для не ученых.

Возможно, что Краевский был сначала в замешательстве и не знал, как реагировать на такой энтузиазм и на такое красноречие. Но он выпутался из затруднения самым искусным образом. Он не мог сразу спустить с небес на землю друга, брата, объявившего себя его союзником в борьбе за благое дело. И вот он храбро принимает всю эту романтическую фикцию. В своем ответе он придерживается того высокого стиля, который нравится его корреспонденту. Он многословно распространяется в его духе о христианстве и патриотической вере, он скрепляет священный союз двух молодых людей и одновременно признается в своем отчестве и в том, что ему исполнилось уже 25 весен. Но наряду с этим он вставляет, любезно, но с большой настойчивостью, несколько здравых замечаний: он напоминает о высокомерии западных людей по отношению к русским и сравнивает недоверие к ним с недоверием римлян к словам Тацита о германцах. Он напоминает о силе третьего сословия во Франции и об уважении к парламенту. Он подсмеивается над равнодушием русских купцов к журналам; он мягко вразумляет князя и не оставляет ему, несмотря на все предпринятые хлопоты, никакой надежды на успех проекта.

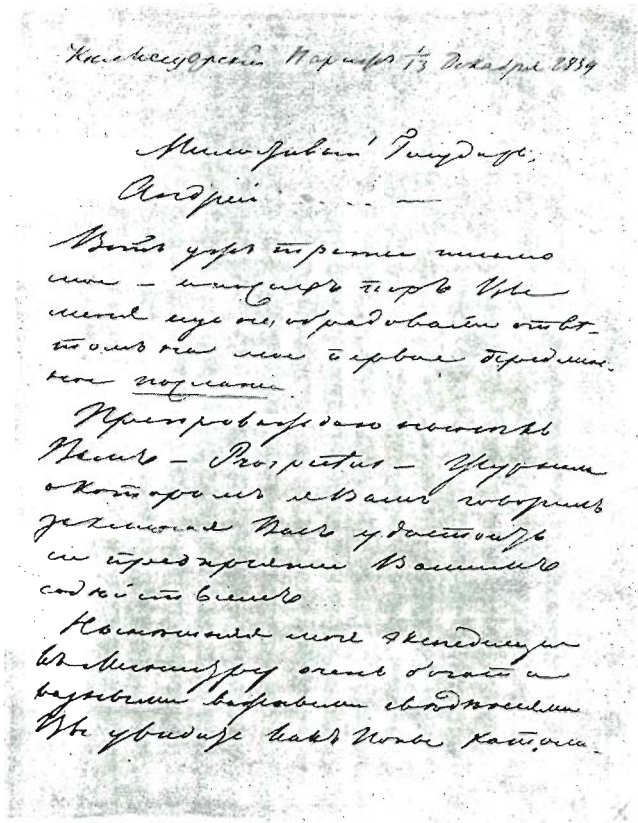
СПБ, $\frac{24 \text{ ноября}}{6 \text{ декабря}}$ 1834 г.

М. Г.
Князь Елим Петрович *

Доброта, откровенность, дружба ваша восхищают меня. Получил второе милое, прелестное письмо ваше; я носился с ним, как с сокровищем, лучшим приобретением, какое только мог сделать в жизни, читал, перечитывал по нескольку раз и за каждым словом обнимал вас в душе своей. Да, мы родные; мы встречались где-то, и встречались дружелюбно, приветствовали друг друга; мне знаком строй души вашей, мне ведом, соприсущен этот пыл юного, горячего сердца, мне ясен наклон вашего образа мыслей, мы родные; мы дети одной матери — святой Руси. Да будет же благословенна самим богом эта встреча братьев и да укрепляется союз их с каждым днем более и более.

Нетерпеливо желал я при первом же случае отвечать на второе письмо ваше, но прежде хотел видеться и познакомиться с почтенным вашим батюшкою; прошло два дня, как вдруг сильный припадок геморроя, которым я страдаю около трех лет, посадил меня дома и лишил возможности

* Кстати: отчество — Александрович, доживаю теперь на белом свете 25-й год.



Кюльмесуфский Парижъ 1/13 Декабря 1834

Милостивый Государь,
Андрей ... —

Вотъ ужъ третье письмо
мое — и можетъ быть Вы
меня еще не обрадовали отвѣ-
томъ на мое первое предложе-
ніе послать.

Препровождаю нынѣ къ
Вамъ — Prospectus — Журнала
о которомъ я Вамъ говорилъ
заклиная Васъ удостоить
сіе предпріятіе Вашимъ
содѣйствіемъ.

Нынѣшняя моя экспедиція
къ Министру очень богата и
важными важными свѣдѣніями
Вы увидите какъ Попы катол-

во многихъ пунктахъ
мы встрѣчаемся точь
въ точь Гуровскій и я.

Незабывайте меня
и примите увѣренія
въ душевной моей къ
Вамъ преданности.

Э. Мещерскій

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЭЛИМА МЕЩЕРСКОГО К А. А. КРАЕВСКОМУ ОТ 1/13 ДЕКАБРЯ 1834 г.
Страницы первая и последняя
Публичная библиотека, Ленинград

не только выходить из комнаты, но даже читать, еще менее писать что-нибудь, потом взволнованная геморроем кровь привела было меня к горячке, и я три недели не вставал с болезненного одра своего. При исходе болезни получаю третье письмо ваше; через два дня мне позволено было выйти, и я начал хлопоты... Но прежде о самом предмете хлопот.

Первое чувство, возбужденное во мне последним вашим письмом, было благодарность, чистая, глубокая благодарность за великое предприятие. Создать периодическое издание, которое было бы светильником в мрачную ночь безверия и рационализма; изливать целебный елей истин религиозных, философских и политических на язвы больного человечества — подвиг, достойный обожания. В этом же издании, как по преимуществу посвященном и с т и н е о России — то, что действительно представляет она взорам беспристрастных, — дело, достойное всей признательности и всякого поощрения со стороны русских...

Так рассуждал я между собою, и тут же произнес обет — быть вашим деятельным, неизменным сотрудником. Однакож, как другу, как брату, которому обязан я откровенностью, должен сказать, что при этом размышлении возникли в голове моей два вопроса, два н о, которые заставили меня крепко призадуматься. Вот они. Можно ли, думал я, французов и других ожесточенных хулителей Христа обратить на путь истины убеждениями здравой философии, когда всякая книжонка исступленного Ламене производит энтузиазм, читается во всех углах и покоряет себе удивление? Успехи Ламене могут быть объяснены только тем, что читающая его публика заранее образована была по философии, которой новым жрецом-факиром в наше время Ламене и которая, может быть, составляет дух века, что идеи его до него еще глубоко внедрились в сердца, а он явился только во-время и своими разглагольствованиями развивает эти идеи, теша, разумеется, этим поклонников их, которые и читают его нарасхват. Чтоб сломить вековой кедр, надобна сила многих и время; чтоб вырвать идеи, веками укоренившиеся, нужны века же, которые могут насадить и возрастить новые семена, обратив питательные соки почвы на благотворное прозябание и тем лишив пищи плевелы. Здесь, кажется, более надобно предоставить времени, чем силам людей отдельных. «L'organe des deux Mondes» теперь еще будет иметь очень-очень мало товарищей в своем великом деле; а голос одного — голос слабый: он легко заглушится шумом и криком ожесточения. Вот почему я думаю, что вы не найдете себе читателей во Франции, или найдете их очень мало, да и то между стариками, а не между молодежью, для которой преимущественно трудиться должно. Я не хочу этим сказать, что орган не должен быть издаваем; напротив: он необходимо должен издаваться, во всяком случае, никогда не начинавши итти к цели, никогда и не достигнем ее; потом же и ч т о-н и б у д ь в благом деле всегда лучше, чем н и ч е г о, а орган, при таком благонамеренном и просвещенном редакторе, будет гораздо более ч е г о-н и б у д ь; только не надобно м н о г о г о н а д е я т ь с я: почитайте его орудием сильным и пускайте из него выстрелы, сколько у вас найдется их; но не горюйте, если встретите более тел твердых, от которых отскочит заряд, чем мягких, в которые мог бы он врезаться. Приготовьтесь переносить равнодушно, если иная, и, может быть, самая наставительная мысль, пущенная вами, пролетит по воздуху, никого не встретив на пути, никого не тронув. Другой вопрос о России. Мне кажется, в органе не надобно хвалить ни добродушия нашего, ни нашего образа правления, ни семейных нравов,

ни умственного направления: вам не поверят ваши читатели; они давно уже слышали это и давно над этим смеются, почитая это делом партии или подкупа; а где смех, там нет убеждения. Западные европейцы составили себе свою систему мыслей и политической жизни, свой идеал народного благоденствия и вне этого идеала считают все вредным, глупым, невежественным; просто, в представлении их Европа — однобокая, односторонняя; они не понимают другого, восточного бока ее, не знают славянского элемента. Для француза не существует порядок общественный без камер, без конституции, без t i e r s - é t a t; он ни за что не поверит вам, что может на свете существовать просвещенное неогранич. монархич. правление, где монарх — отец, а подданные — дети, безусловно повинующиеся отцу своему и не помышляющие о революциях, без которых французу жизнь не в жизнь; он не поверит, говорю, потому, что этот мирный образ существования не в крови его, не в германском элементе, 13 веков господствующем на Западе Европы, а в славянском, которого представителями мы — русские. Отделенная всегда от Запада и языком и верою и политическим бытом, Россия не прикасалась к нему ни в одной точке, сама-собою росла, утверждалась, крепла и теперь развивается духом не по годам, а по часам, доказывая тем, что ей очень хорошо жить в той форме, в которой живет теперь. А француз этому засмеется, ему покажется это самой нелепой выдумкой. Да и напрасный труд уверять его: он не убедится — д о в р е м е н и: римляне не хотели верить ничему, что Тацит рассказывал им о германцах, ибо все это не согласовалось с римскою формою жизни; они и не верили до тех пор, пока германцы не вышли из лесов своих и не сели на развалинах Рима. То же будет и с Россиею: со временем вдруг предстанет она изумленной Европе могучею, просвещенною, ученою, в своей оригинальной форме, оказывающею повсюду духовную власть примера и превосходства; тогда Европа пустится изучать Россию, познакомится с ее историею и сознается, что, кроме тевтонского мира, есть другой мир, что, кроме их политических систем, есть другие системы, при которых люди действительно могут блаженствовать, и то, что француз считает теперь нелепостью, ложью, будет для него тогда истиною, ясною, как свет духовный. А до того времени — что ни говорите — все напрасно, никто вам не поверит, ибо никто не имеет основание в суждении о России. Будем стараться все посильными трудами своими делать для священной родины нашей елико возможно больше, чтоб дать ей ход быстрейший побед умственного образования, а что болтают иностранцы о ней — до этого и дела нет: пусть их лают на ветер; их же горлу наклад. Для журнала же вашего лучшим делом казалось бы простое изложение фактов исторических и статистических о России, фактов неопровержимых, основывающихся на достоверных известиях. Тут же разумею я и опровержение вздорных известий (а не суждений) их о России — также фактами. Но, пожалуйста, не хвалите ее, не выпрашивайте ей славы, не унижайте этим себя, как достойный представитель отечества своего, перед скоморохами, которым не понять, что значит святая Русь.

Вот, мой милый, добрый Елим Петрович, что надумал я, размышляя о вашем предприятии. Quot capita, tot sensus. Может быть, я заблуждаюсь, но откровенность требовала высказать все на-чистую. Впрочем, опять повторяю, я, во всяком случае, ваш сотрудник, всегдашний, бессменный.

Теперь вы слушайте отчет в моих хлопотах.

Прежде всего отправился я к министру*. Он принял участие в благонамеренном вашем деле и велел извиниться перед вами, что за множеством занятий сам не может писать к вам о вашем предприятии и, говоря о том-о сем касательно журнала, выронил несколько слов, обнаруживших, что его образ мыслей несколько сходен с моею думою об о р г а н е, хотя я сам ничего об этом не говорил ему; да и вообще вам только одним поверяю я все, что пришло мне в голову; впрочем же повсюду ограничивался только одною просьбою о содействии, о вспомоществовании, не вступая ни в какие рассуждения, чтобы ими не расхолодить порыва, могущего возникнуть в душах благородных.

С неделю тому назад был я у князя Петра Сергеевича, получил от него ваш А п е р ç u, о котором скажу в другое время, отдал второе ваше письмо для снятия с него копии и указал ему на князя Алекс. Никол. Голицына, могущего подать значительную помощь вашему предприятию: он обещал переговорить с ним, потом отдал программу и объяснил дело графу Серг. Григор. Строганову, великодушному и просвещенному русскому меценату; он хотел предложить об этом своим знакомым; а знакомство его: двор и высший круг здешнего общества; если можно чего-нибудь надеяться, то от него. Далее отдал программы князю Вл. Федор. Одоевскому, который через своих знакомых хотел просить Павла Ник. Демидова и других. Он надоумил меня: теперь в Париже молодой кн. Волконский Григорий, который коротко знаком с Анатолием Никол. Демидовым; попросите-ка его вступиться в это дело. Еще просил я содействовать о р г а н у одну из почтеннейших здешних дам, которая обещала собирать подписку. Кроме того, обещала мне доступ к 2 почетным здесь лицам, именно для сего дела. Завтра пишу в Москву к Погодину и другим своим знакомым, пошлю им программы и буду просить их участия. Вот все, что до сих пор успел я сделать. Во всем этом мало еще утвердительного. Но как же быть? Напрасно вы так поздно дали нам знать о своем намерении: в такое короткое время ничего нельзя успеть; однако, будем надеяться, хоть трудно, но что-нибудь да сделается же; а вы, если уже имеете какие-нибудь способы, начинайте благое дело, авось, бог поможет. До сих пор еще я ни от кого не получал ответа и решился писать для того только, чтобы не оставлять вас долго в неизвестности. Я не хотел придавать этому делу слишком большой гласности, не печатал известия в наших газетах; ибо, если из печати узнают иностранцы о денежном сборе в России, тотчас окружат чистое, святое дело ваше сатанинским хохотом, называя вас и сотрудников ваших орудиями, настроенными, подкупленными нашим правительством. На что давать врагам веселиться?.. Лучше это дело сделается тихомолком (если сделается). Да и к чему бы послужил мой печатный вызов? Если не поможет высший круг нашего общества, то никто не поможет; ибо тут только могут п о н я т ь и п о д д е р ж а т ь благое литературное предприятие; из остальных же читателей многие поймут, да дать ничего не в силах; прочие же с деньгами, да не поймут дела. К послед-

* Вы спрашивали, доступен ли мне министр. По большей части нет: я только помощник редактора, а докладывает по делам журнала, испрашивает разрешения и объясняется с министром всегда редактор, у которого, как говорил я вам, на руках часть официальная, хозяйственная, журнальная и проч. и который старее меня и летами, и чином, и службою по министерству, да притом же сам был некогда старшим цензором, а потому и поставлен во главу редакции. Фамилия его — Сербинович, он просил меня изъявить вам чувствительнейшую благодарность за все бесценные ваши труды для нас.

нему разряду причитаю я и наше купечество: скажите русскому купцу, что иностранцы обижают Россию, ругаются над святынею, он закричит: «подавай их сюда; и кулаки, и деньги на штыки готовы!..». А журнал!!! для него орудие непонятное, он не увидит в нем никакой пользы и, следовательно, не даст денег. Наше купечество теперь только что выучилось грамоте, чтобы читать библию и иногда газеты: литература же ему еще вовсе незнакома.

До земли кланяюсь вам за прекрасные известия, помещенные в разных рапортах ваших к министру. Я все получил их, — но, к сожалению, многие, залежавшись, устарели для журнала министерства. Озабоченный бесчисленными делами редактор забывает передавать их в редакцию, и они лежат без движения; сведения же о том, когда получает он присылы из Парижа, почти никто не имеет. Однако, теперь уж этого не будет; каждый месяц мы станем спрашивать его, нет ли чего-нибудь от вас. Вы же, с своей стороны, сделайте одолжение, уведомляйте меня каждый раз, когда пошлете ему что-нибудь замечательное. Да еще: если будете присылать статьи библиографические, выставляйте при титуле книги год ее издания, это нужно для точности журнальной. Вчера получил я от министра книгу Бональда и два рапорта ваши, в дополнение к тем, которые уже у меня теперь: De la philosophie chrétienne и о профессорах парижских; я успел прочесть только последний и прочел с большим удовольствием, особенно свод фанфаронад Мишеля и Лерминье. Не знаю, позволит ли министр напечатать его в журнале, а желательно бы было; на-днях предложу.

Напишите мне что-нибудь о предприятии Дюкеннеля — писать курс словесности; он поместил в XXXII № Revue européenne статью Philosophie de la littérature; направление его мне нравится; издает ли он что-нибудь отдельно и надежный ли это человек?

Сделайте одолжение, извещайте нас, и сколько можно больше, о движении немецкой философии и литературы, указывая, разумеется, преимущественно на то, что наиболее сообразно с нашим направлением. Кстати: мне сказывал один русский путник, недавно возвратившийся из Германии, о лекциях Шеллинга (нового Шеллинга, окрестившегося); от них что-то припахивает аббатом Ламене, а не христ. философиею; этот путник—человек ученый и, кажется, не мог бы обмануться.

Что система Жакото: в движении у французов или уж прошла, как мода? Присылки ваши, относящиеся до методы Язвинского, у министра; я еще не видел их, но, вероятно, скоро увижу. Болезнь замедлила на время ход всех трудов моих.

Не могу еще сказать вам об отношении числа учащихся к неучащимся в России: у министерства народного просвещения под ведением только половина всех учебных заведений; прочие же находятся в ведомствах духовном, военном и проч.; мы давно уже собираем справки и к началу будущего года, я думаю, приведем в возможность составить пропорцию.

Слышали ли вы о предпринимаемом у нас издании Энциклопедического лексикона? Дело великое. Он будет иметь характер чисто русский и назначается исключительно для русских. Иностранные энциклопедии допустятся в него не иначе, как полежав на прокрустовом ложе, изготовляемом единодушным направлением сотрудников.

Дошли ли до вас еще слухи о книге священника Сидонского: Введение в науку философии? Это оригинальное, замечательное

явление. Если вы его не читали, я вам пришлю ее. Сидонский недавно перевел и издал еще «Психическую антропологию» Шульца. Он человек во всех отношениях достойный уважения: один начавший писать у нас книги по части философии. Замечательно и то, что священник, духовная особа, а не светская, у нас провозвестником истин философских.

Прощайте, добрый, милый друг Елим Петрович; замучил я вас письмом моим. Что делать, от избытка сердца уста глаголят. Как только узнаю что о ходе нашего дела, тотчас извещу. Навещайте и вы меня своими письмами. Прощайте, целует вас

преданный вам всею душою
А. Краевский

P. S. Академик Остроградский просил меня переслать письмо к парижскому академику Навье.

Прошло несколько дней. Ответ Краевского еще не дошел до Парижа. Князь Элим теряет терпение и 1/13 декабря снова пишет краткое напоминание Краевскому, представляя в то же время непосредственно самому министру свой проект основания нового журнала «L'Organe des deux Mondes» (Орган двух миров), посвященного русским интересам.

Париж, 1/13 декабря 1834 г.

Милостивый государь
Андрей . . . . . .

Вот уже третье письмо мое — и по сих пор вы меня еще не обрадовали ответом на мое первое предлинное п о с л а н и е.

Препровождаю ныне к вам prospectus журнала, о котором я вам говорил, заклиная вас удостоить сие предприятие вашим содействием...

Нынешняя моя экспедиция к министру очень богата разными важными сведениями. Вы увидите, как попы католические нападают на бедного Ботэна.

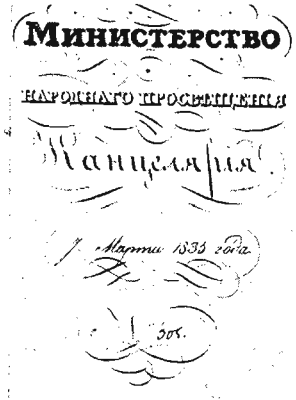
Язвинский составляет карты для истории российской по руководству Карамзина. С будущим курьером я вам препровожу оные и доставлю, надеюсь, сведения о различных методах преподавания.

Прилагаю при сем весьма примечательную брошюру Гуровского о России. Поляк образумился и весьма глубоко проник и с т и н у о Р о с с и и. Вы увидите, что во многих пунктах мы встречаемся точь в точь, Гуровский и я.

Не забывайте меня и примите уверение в душевной моей к вам преданности.

Э. Мещерский

Письмо к министру носит совершенно официальный характер. Князь Элим, следуя канцелярским навыкам, собственноручно поместил в нем содержание на полях: «О новом журнале, основываемом во Франции в русских интересах». Мы узнаем из этого документа, что новый журнал должен составить оппозицию «Revue des deux Mondes», название которого он, без сомнения, перенял намеренно. Этот журнал должен продолжать дело, с которым не справилась «Panorama littéraire» [158], и взять у «Correspondant», преобразовавшегося в «Revue européenne», его лучших сотрудников. Инициатива проекта исходит, повидимому, от князя Элима и его друга Сен-Феликса. Этот последний должен стать главным редактором;



**Министерство**
**Народнаго Просвещенія**
**Канцелярія**

7 Марта 1835 года

№ 505.

Дубрѣтъ. — Вполнѣ сообщу по сему предмету отзывъ Графа

Его Сіят. Графу А. Х. Бенкендорфу

Милостивый Государь,

Графъ Александръ Христофоровичъ

Я имѣлъ счастіе всеподданнѣйше докладывать Его Императорскому Величеству объ извѣстномъ Вашему Сіятельству предположеніи издавать въ Парижѣ новый журналъ, о коемъ при семъ прилагается печатное объявленіе. Его Императорское Величество Высочайше повелѣлъ мнѣ передать сіе дѣло Вашему Сіятельству на дальнѣйшее соображеніе.

Во исполненіе сей Высочайшей воли, честь имѣю препровождать при семъ къ Вамъ, Милостивый Государь, копію съ представленія по сему предмету Исправляющаго должность Корреспондента Министерства Народнаго Просвѣщенія, состоящаго при Миссіи нашей въ Парижѣ, Князя Мещерскаго и въ случаѣ послѣдованія какого либо по сему распоряженія, покорнѣйше прошу почтить меня увѣдомленіемъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего Сіятельства

Покорнѣйшимъ слугою

Сергій Уваровъ

А. Х. БЕНКЕНДОРФУ ОТ 7 МАРТА 1835 г. ПО ПОВОДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭЛИМА МЕЩЕРСКОГО ИЗДАВАТЬ ВО ФРАНЦИИ ЖУРНАЛ

Слева — помета Дубельта

Архив революции, Москва

вокруг него сплотятся его друзья, являющиеся в то же время друзьями князя. Князь Элим за кулисами сохранит за собой верховное руководство предприятием. Ему удалось договориться с близкими ему легитимистами относительно политических формулировок, фигурирующих в проспекте и которые он по-своему резюмирует следующим образом для министра: «Журнал в интересах России и христианской философии, освобожденной от всего специально-католического» (эти последние слова подчеркнуты в оригинале) [159]. Проспект, судя по некоторым деталям, носит характерный для князя Элима отпечаток, и можно без излишней смелости предположить, что он его автор.

Париж, 1/13 декабря 1834 г.

Господин министр!

О новом журнале, основываемом во Франции в русских интересах.

Когда в одном из моих последних рапортов я передавал вашему превосходительству высказываемое мне со всех сторон пожелание получать во Франции более точные сведения о России, я не надеялся найти так скоро возможности реализовать намерения, которые я осмелился изложить вашему превосходительству.

Имею честь предложить ныне на рассмотрение прилагаемый при сем проспект нового философского и литературного обозрения, которое должно появиться в Париже в будущем году.

Обозрение преследует цель составить оппозицию «Revue des deux Mondes» — цель, которую ставил себе журнал «Panorama littéraire», только что слившийся с «Mode», но которой не смог достичь по несостоятельности.

Будучи исключительно преданным консервативным принципам, новое обозрение будет защищать в метафизике (и во всех отраслях естествознания) христианскую философию; в политических науках оно заменит искусственные философические теории доктринами христианскими и естественными; оно будет бороться с безнравственностью и тлетворной тенденцией нынешней литературы, исходя в своей критике из точки зрения христианского искусства; оно будет, наконец, играть роль архива для современной истории, столь искаженной революционерами.

Сокровенная мысль этого издания преследует, если это только осуществимо, еще более возвышенную цель. Она стремится учредить научную пропаганду в пользу истинных доктрин, созданную на основе союза всех выдающихся людей Европы, являющихся носителями консервативных принципов. В этих видах редакторы обозрения уже вошли в постоянные сношения с Мюнхеном и Берлином, и их связи с заграницей расширяются со дня на день.

Издание подобного рода было предметом самых горячих пожеланий лучших умов Германии и Франции. Гг. Ансильон, Шеллинг, Бадер, Гёррес, Молитор высказались в этом смысле. Гг. Шатобриан, Бональд, Ботэн, Балланш, Лоранти, Ламартин и др. обещали журналу покровительство или сотрудничество и усиленно поощряли его организаторов.

Рядовые сотрудники журнала набираются из числа наиболее выдающихся писателей «Revue européenne» и лучших философских журналов Франции. Среди них находится г. Кюрис (переводчик труда Молитора) [160], которому Шеллинг доверил рукописи своей новой, подлинно христианской философии.

Журнал не будет обсуждать никаких вопросов текущей политики, и на этом основании он объявляет себя независимым ни от какой партии. Он избежит вследствие этого политической ненависти, которая постаралась бы с первого же момента его появления очернить его во Франции, и, во всяком случае, он будет менее навлекать ее на себя. Вот почему влиятельные люди легитимистской партии, и среди них г. Лоранти, не сочли нужным быть объявленными в проспекте. Г-н де Сен-Феликс, который будет подписываться за редактора, хотя он и был сотрудником нескольких легитимистских журналов, известен только по своему прекрасному таланту поэта. Это именно он, побуждаемый мною, и замыслил основать настоящее обозрение.

Проект, снабженный пост-скриптумом для России, издан в 300-х экземплярах. Я позволяю себе препроводить некоторое количество вашему превосходительству, умоляя соблаговолить ознакомить с ним публику, если издание будет иметь счастие получить ваше одобрение.

Несмотря на то, что проспект говорит об ежемесячном издании, может быть, придется сделать журнал трехмесячником, ибо по сию пору он не богат средствами.

Так как я уже два года тесно связан с г. Сен-Феликсом и его товарищами, эти господа любезно предоставили мне право участия в руководстве журналом. Я, конечно, буду соблюдать самую тщательную анонимность. Если до сих пор я подписывал некоторые мелкие свои публикации, то это для того, чтобы облегчить себе сношения с здешними литераторами.

Эта маленькая уловка мне вполне удалась.

Редакция поручила мне, господин министр, молить о высоком покровительстве вашего превосходительства в пользу предпринимаемого издания. Она обязала меня даже не скрывать от вас, что денежная помощь его императорского величества обеспечила бы материальный успех обозрения, этого первого журнала, который появится во Франции в интересах России и в интересах христианской философии, освобожденной от всего специально католического (см. выше, стр. 433).

Я должен также признаться вашему превосходительству, что некая мысль о будущем склонила меня обеспечить себе прямое влияние на это издание и облегчить, насколько могу, осуществление этого проекта. Так как настоящее издание имеет миссию концентрировать все новейшие благие достижения Европы в области познания, — оно может, в случае революции и с того момента, как его величество обнаружит таковую волю, быть перенесенным в Петербург. Таковы намерения редакторов.

Россия и Франция — два полюса цивилизованного мира — так пишет мне г. де Бональд. Так как истинные светочи сосредоточены на одном конце земного шара, силою вещей они распространяются и на другой. В эпоху Ренессанса духовная культура перекочевала с Востока на Запад. Новый Ренессанс, симптомы которого видимы, пойдет с Запада на Восток. Таковы, по крайней мере, предвидения многих глубоких мыслителей Европы.

Имею честь быть с высочайшим и глубочайшим почтением, г. министр,
вашего превосходительства
всенижайший и всепреданнейший слуга
Элим Мещерский

## ОРГАН ДВУХ МИРОВ

### Проспект

Интеллектуальное движение нашего века выдвигает необходимость в периодическом издании, которое отмечало бы современный ход идей не только во Франции, но также и в остальном мире.

Мыслящие люди всех стран поняли потребность эпохи. Мы думаем, что мы исполняем священный долг, осуществляя их идею.

Мы взываем ко всем, кто отмечен возвышенностью духа и благородством души, и протестуем против опалы, которой были подвергнуты некоторые народы. Пришло время национальностям самим заговорить и проявиться.

Им нужен орган; в этих видах мы основали наше обозрение.

Две идеи ныне поделили между собою мир: наука, слишком враждебная христианству; христианство, слишком пренебрегающее наукой.

Между тем, будущее человечества зависит от слияния религии и философии.

Девятнадцатый век предназначен, повидимому, разрешить эту проблему.

Мы убеждены, что отныне невозможно существование ни философии, ни искусства, ни литературы, ни даже промышленности — вне христианства. Германия, столь смелая в своем мышлении, столь настойчивая в своих исканиях, дает нам, между прочим, блестящее тому доказательство.

Такова наша доктрина.

Наука в наши дни пользуется двумя различными методами: она или пренебрегает фактами и подгоняет их к своим системам, или же добросовестно изучает факты и извлекает из них идеи.

Мы принадлежим к этой последней школе, которая исправит много ошибок.

Мы думаем, что для того, чтобы итти вперед, нужно хранить достигнутое.

Уважение к прошлому, вера в будущее — таков будет наш девиз.

Не полагаясь слишком на свои собственные силы, но сильные делом, нами защищаемым, мы объединяемся вокруг истины, будучи убеждены, что люди благих намерений во всех странах и во всех партиях захотят нас понять и присоединиться к нам.

У нас нет недостатка в корреспондентах. Каждая страна будет иметь своего представителя на этом конгрессе идей. Мы насчитываем уже сотрудников среди самых выдающихся людей Англии, России, Германии, Италии, Испании, Соединенных Штатов и т. д. Итак, наше издание будет не простым журналом, но настоящим О р г а н о м Д в у х М и р о в.

Это дело — дело совести; оно не преследует никаких выгод: не зависи ни от какой партии, мы одни, быть может, сумеем гарантировать справедливость для каждого, милосердие для всех.

---

Цена абонемента на шесть месяцев: 25 франков.

---

Первый номер этого издания появится в январе в виде сборника в 6 — 7 страниц, как месячный выпуск.

Обращаться к г. Верньеру, ответственному редактору, улица С.-Флорантен, № 5, Париж 163[161].

Вышепомещенный доклад князя Элима министру народного просвещения снабжен на первой странице следующей надписью, сделанной чернилами рукой самого министра:

«Государь император повелел дело сие передать графу Бенкендорфу. 5 марта 1835 г. Уваров»[162].

Следует препроводительное письмо Уварова графу Бенкендорфу с копией доклада князя Элима и приложением печатного проспекта «Organe des deux Mondes». На полях письма карандашная помета начальника канцелярии III отделения Л. Дубельта: «Убрать. Я лично сообщу по сему предмету ответ графа»[163]. «Дело» кончается на этом письме. Проект князя Элима не получил, повидимому, никакого движения. Эта «христианская философия», даже «освобожденная от всего специально-католического», ничего не говорила графу Бенкендорфу.

Факт тот, что после четырехмесячного молчания князь Элим пишет Краевскому, чтобы сообщить ему, среди прочего, что «La France littéraire» будет принимать подписку, предназначенную для «Органа Двух Миров», если такая окажется.

Париж, 1/13 апреля 1835 г.

Друг мой Андрей Александрович,

Я давно собирался писать к вам, но кончина Сливицкого, мною душевно любимого, и разные другие горестные обстоятельства мне по сих пор препятствовали исполнить искреннейшее желание сердца моего. Теперь я пишу к вам второпях. Курьер отправляется скорее, чем ожидали.

Благодарю, благодарю вас за распрекрасное письмо. О нем поговорю много-много из Страсбурга. Я отправляюсь в сей город через несколько дней к нашему любезному аббату Ботэну. Там я подслушаю кое-что полезное для нас и напишу вам и министру обстоятельно о его учении, — вам же о распространении сих идей в России и применении их к великому, прекрасному образу мыслей.

Я не пишу о новых методах во Франции, ибо там столько метод, сколько шарлатанов. Вообще лучшие умы в Европе ныне не веруют в новые методы преподавания и почитают их следствием механического направления пагубного духа прошлого столетия. Об этом более в другой раз.

Прилагаю при сем Prospectus France littéraire (несколько экземпляров). Наш предпринятый журнал будет издаваться ныне редактором France littéraire (отчет подробный об этом найдете в моем нынешнем донесении к министру, под № 8). Ради бога, присылайте мне столь много разнообразных статей о России, сколь вам можно будет. В апрельской книге Франс Литерер будет помещена прекрасная статья Ботэна против пантеизма.

Уведомьте подписчиков в Organe des deux Mondes о преобразовании этого журнала. Подписка к France littéraire принимается у Белизара в Петербурге. Попросите Погодина, Максимовича поработать для этого журнала. Я вам отвечаю, что французы не будут кричать: je connais mon terrain, и об этом-то более в будущий раз.

Кстати, присылаю вам несколько экземпляров моего перевода V лекции Погодина. Прошу покорно препроводить к нему от меня 5 экз. и уверить его в моем искреннем уважении. Вот дух, в котором история должна быть преподаваема.

Навье послал мне прилагаемые тетради для Остроградского. Прочие же книги, которые вы желали получить, вывелись в лавках и будут вскоре вновь изданы с нужными прибавлениями страниц. Как скоро они выйдут в свет, я их вам пришлю.

Рекомендую вам мои нынешн.: Notices bibliographiques, также критику на экономиста Росси. Отчего вы не поместили в вашем журнале отчет мой о книге Бональда? Больно, больно мне — это мое любимое дитя.

Прошу поблагодарить от меня г. Сербиновича за память, а вас за слишком лестную статью о Poésies cosaques. Вы, видно, читали ее сердцем, а не критическим рассудком — слава богу для меня. Нельзя ли бы перевести на русский язык статью г-жи Олешкевичевой Jugements sur la France? В ней много полезного для русских. Ваша январск. кн. жур. мин. отлична. Слово Максимовича превосходно. Статья Фишера очень замечательна, — но он пречестной и препочтеннейший рационалист. Почитайте-ка новую книгу Ботэна и увидите, что значит христианская философия.

Ваш духом и душевно преданный
Элим Мещерский

Краевский не ответил на письмо князя Элима от 1/13 апреля. Последнего это нисколько не взволновало, однако, он считает, что редакция «Журнала Министерства Народного Просвещения» не пользуется должным образом его сообщениями.

В своем беспокойном мистицизме он опасается также, как бы редакция, сама не отдавая себе в этом отчета, не стала слишком терпимой к духу рационализма; вне откровения нет истины, и союз науки с религией возможен лишь при условии, чтобы одна вытекала из другой. Одержимость этими спиритуалистическими формулами отягощается у князя Элима симптомами болезни; его кругозор на ближайшее время будет ограничен этими двумя категориями забот: Страсбург и аббат Ботэн, потом Эмс и врачи и опять Страсбург.

Париж, мая 30 дня 1835 г.

Любезнейший Андрей Александрович,

Находясь в хлопотах отъезда, пишу к вам только два слова. Прошу вас покорно отдать от моего имени в какое-нибудь училище восточных языков прилагаемые два манускрипта и также сообщить Prospectus de la France littéraire желавшим подписаться на Organe des deux Mondes. Присылайте, присылайте нам статейки, если можно, на французском языке: будем помещать их в Франс Литерер. Что моя статья о Бональде? Что моя критика профессоров французских? Как бы я рад был видеть их в вашем журнале! Нельзя ли бы вам почаще помещать статьи из Annales de philosophie chrétienne? Ради бога, держитесь более духу католиков (scientifiquement parlant) в выборе иностранных статей. Рационализм убьет нас. Ваш Фишер рационалист. Сидонский ужасный рационалист. Не

довольно развивать для нас философию в духе не отрицательном касательно христианства. Надобно утвердить ее положительно на откровении; не то беда, поверьте: беда. Я из опыта знаю, как ложно предположение, что философия и религия могут с о й т и с ь вместе, — нет, они не сойдутся в истинно логическом уме, ежели они не выходят одна из другой. Я только знаю теперь Максимовича и Андросова, которые имеют в науке точку зрения и с т и н н о - п р а в о с л а в н у ю. Друг мой, бог вам дал возможность противуборствовать злу в вашем журнале и указывать путь к истинной науке.

Не теряйте из виду ответственность, на вас наложенную. Извините мою искренность — я говорю с вами из души и ч у в с т в у ю, что ваша душа д о л ж н а понять меня. Здоровье мое что-то плохо — не знаю, долго ли мне можно будет трудиться с вами. Я нравственно и физически утомлен, — а еще ничего - н и ч е г о не сделал. В голове моей только несколько идей, коих приложение может быть полезно нашему отечеству. Но сил недостает осуществить сии идеи. Я вам их завещаю. Вы найдете в моем манускрипте D e l a f o i d a n s l a s c i e n c e зародыши всего умственного направления моего. Как досадно, что у вас нет корреспондента в Германии! Еду на-днях в Страсбург. Потом буду лечиться в Эмсе и возвращусь учиться в Страсбург. Пишите мне туда.

Обнимаю вас душевно.

Э. Мещерский

Связь между князем Элимом и избранным им другом становится решительно весьма непрочной. Только в конце января следующего года Краевский отвечает, наконец, на приведенные выше два письма — от 13 апреля и от 30 мая. Его ответ дружествен, но поверхностен и лукав. Он признает, что этот век есть еще век фраз («мы живем еще в веке фраз»), хвалит молодых людей за то, что они не хотят больше парить в облаках и получили вкус к положительным знаниям («проходит чад заоблачных высокопарений и все, даже самые пылкие головы, обращаются теперь к знаниям положительным»), извиняется, что не напечатал статью о Бональде, так же как и статью о парижских профессорах, потому что министр не желает знакомить русских читателей с их идеями, и упрашивает князя доставлять ему тайным путем запрещенные книги, в которых он нуждается для своих работ: ибо «подобает избегать ересей, но позволительно знать их». Начало письма трактовано в остроумной манере XVIII в. (бог легкомысленно именуется тут «отцом светов»); середина письма полна замечаний, неприятных для мистика, и сам Ботэн не получил пощады; конец пахнет либерализмом и бросает вызов цензуре. Краевский утратил тон, подходящий для своего корреспондента, или же пренебрег им. Что мог ответить князь? Его ответ от 21 марта 1836 г. вежлив, но краток. Переписка двух друзей прекратилась на этом, как и их дружба, построенная на духовном сродстве, существование которого вообразил себе князь Элим. «Роман» продолжался всего каких-нибудь два года и ограничился обменом писем: эти люди, повидимому, никогда не встречались.

29 января 1836 г.

Почтенный друг мой, князь Елим Петрович!

Давным-давно не беседовал я с вами, хотя столь же давно желал побеседовать. Виною этого было лето, обыкновенно расстраивающее весь

порядок, течение дел нашей жизни. По плохому здоровью своему, ослабляемому беспрестанно разнообразными хлопотливыми и с напряжением мозга сопряженными работами, я должен был воспользоваться прошлым летом для того, чтоб взять отдых и на свободе позаняться своею скотиною (m o n  a n i m a l), как говаривал блаженной памяти Руссо. Поэтому я взял отпуск и поехал на юг России, чтобы маленьким путешествием порассеять и подкрепить себя; но, приехав в Москву, разболелся и остался там на руках одного известного медика, который кое-как искусственными водами поднял меня на ноги. Главное лечение мое состояло в том, чтоб я ничего, совершенно ничего не делал, не читал, даже не мыслил и на время превратился бы в полу-четвероногое: таким образом, я у б и л для души целые три месяца, зато теперь довольно бодр и здоров. Странно, непостижимо это двойственное существо — человек! Созданный для неба и поставленный на землю, он должен стремиться удовлетворить этому двустороннему влечению, чтоб жить в п о л н о м смысле слова, и никогда еще не умел он уравновесить обоих этих направлений, найти средний путь, с которого бы мог не уклоняться ни в ту, ни в другую сторону. Пренебреги здоровьем тела, — ты сделаешься невольным самоубийцею, ты восстанешь против временного, но не менее того важного назначения своего: ж и т ь  н а  з е м л е, р а з в и т ь  ф и з и ч е с к и е  и  д у х о в н ы е  с в о и  с и л ы; предайся же заботам о теле, — ты позабудешь свое вечное небо, и взор твой, как взор животного, привыкший склоняться к земле, не посмеет уже воззреть на высоту небесную. И найдет ли когда-нибудь человек эту средину желанную? Господи! Неужели только там, во светлых селениях своих, ты успокоишь его и избавишь от печали, болезни и воздыхания? Что ж ему делать здесь, на земле, с бренным телом своим, которое влечет его к темному праху и попечение о котором отводит его от тебя, отца светов!

Долго, долго еще не разгадаем мы вполне этой огромной проблемы.

Как вы, мой почтенный Елим Петрович, уладили с своим здоровьем? Освежил ли тело ваше Эмс и душу Ботэн? Что делает теперь Ботэн? Ради бога, не сетуйте на мое продолжительное молчание; если б вы знали, как я занят и озабочен, то верно бы простили меня; напишите поскорее и подробнее о том, что вы знаете о его занятиях. Все, изданное им доселе, может быть принято только за попытку, за надежду произвести что-то, а обещанного во «Введении» полного развития всей его системы до сих пор нет как нет, даже нет к тому и приступа.

Что же, неужли он удовольствуется только тем, что вбросит в мир мысль, а развитие ее предоставит другим? Это было бы очень прискорбно. Друзья истины в России (смею и себя назвать в числе их) не удовлетворяются одними его фразами, хотят дела: начнется ли оно? Все что-то не верится: мы живем еще в веке фраз! Я бы униженнейше просил вас написать мне, как можно подробнее, о труде Ботэна и других с ним гармонирующих, но преимущественно о самом Ботэне. Всего бы лучше вы сделали, если б, кроме письма, которое бы осталось между нами, прислали об этом еще подробнейшее письмо, которое бы я мог напечатать в журнале: многие, как мне известно, в разных углах России интересуются Ботэном и из нашего журнала с удовольствием узнали бы об нем новости. Между прочими любопытствующими назову ректора Киевской академии архимандрита Иннокентия, человека высокой учености и смиреннейшей веры: об ораторском искусстве его можете судить по выпискам, сделанным в нашем

журнале, из его «Страстной седмицы». Да, скажите, что за ссора у Ботэна была с страсбургским епископом и как они дошли до примирения, объявленного в Gazette de France? Я ничего об этом не знаю; притом же я недавно только узнал, что вы возвратились в Париж.

При всем желании моем увеличить число подписчиков на France littéraire, я не мог ничего сделать: у нас французские журналы читаются только литературные, да еще две-три политические газеты, и то весьма немногими. Напрасно редактор France littéraire поместил статью герцогини д'Абрантес о Екатерине II: с такими статьями он еще менее найдет подписчиков в России. Сделайте одолжение, присылайте министру (С. С. Уварову) еще один экземпляр этого журнала для попечителя Казанского учебного округа.

Осенью, по возвращении из Москвы, я нашел оба последние ваши письма, полученные здесь в июне, хотя одно из них писали вы в начале апреля, а другое в конце мая, перед своим отъездом из Парижа. Приложенные к ним prospectus я разослал куда только мог, а Погодину переслал 5 экз. переведенной вами его лекции. Усерднейше благодарит вас г. Острогradский за доставление тетрадей от Навье, а я благодарю вдвое за исполнение этой моей просьбы. На сотрудников русских для France littéraire не надейтесь: у нас так мало деятельности, что едва-едва станет на 2—3 собственные периодические издания. Антропов с прошлого марта издает свой журнал (Московский Наблюд.). Максимович расстроился в здоровье, так что принужден отказаться от ректорства в университете св. Владимира; а Погодин трудится теперь над доказательствами подлинности Несторовой летописи, которую силится уничтожить у нас новая историческая школа. Две восточные рукописи, вами присланные, принес я от имени вашего в дар Академии наук, ибо в Институте восточных языков таких вещей много, а в Академии, сколько мне известно, мало. Ваша статья о Бональде не напечатана потому, что министр не хочет, чтоб наш журнал трогал так глубоко политику; а разбор профессоров парижских, как и рецензию на книгу Бональда, он читал с большим удовольствием и благодарит вас за них, но не хочет приводить у нас в известность начал этих господ.

Мне кажется, напрасно вы восстаете, мой почтенный Ел. Петрович, на новые методы обучения. Я согласен, что они механические, но ведь и ребенок еще машина; когда же начнут в нем развиваться высшие его элементы, благоразумный наставник сумеет вдохнуть в этот прекрасно устроенный механизм дыхание жизни. Поверьте, что все зависит от наставника. Я недавно видел в гатчинском Воспитательном доме чудеса от методы Жакото. Дети там не простые машины, но у них развито и мышление и чувство до неимоверной степени: они понимают и головой и сердцем. Итак, все-таки, прошу вас, извещайте меня обо всех улучшениях метод обучения: я буду приводить их в известность, с нужными ограничениями, замечаниями и проч. Надобно, сколько возможно, заботиться о доставлении лучшего воспитания будущему поколению: наше собственное—плохо. Посодействуйте этому, прошу вас.

Вы обещали много поговорить со мною из Страсбурга о последнем моем письме к вам, но до сих пор еще не исполнили своего обещания. Не забудьте его.

Вы премного бы обязали меня ответом на вопрос: можно ли от вас с курьером получать французские книги, которым ход у нас не дозволен (разу-

меется, чтоб это не подвергало вас никаким неприятностям, — избави боже: я ни за что не решился бы просить вас при таком условии). Часто я нуждаюсь во многих пособиях и, как декан по части истории в одном из здешних военно-учебных заведений, имею на то некоторое право; но просьба о дозволении выписывать эти книги обыкновенно бывает сопряжена и с затруднениями и с несправедливостями со стороны книгопродавцев. Нельзя ли хоть присылать их на имя редакции «Журнала Министерства Народного Просвещения», сделав эту надпись на наружный пакет, а внутренний адрес на мое имя. Так, например, я очень хотел бы и даже мне нужно было бы прочесть Histoire de la révolution française, par Thiers, такого издания, которое полнее и лучше, но здесь нигде ее нет; и многое, многое желал бы я иметь, чего здесь нельзя достать, а прочесть-то очень хочется и надобно. В этом случае я руководствуюсь словами апостола Павла: «подобает о ереси знать, не подобает творить»; а знать-то все-таки подобает. Прошу вас отвечать мне на это; только, ради бога, не подвергайте себя никакому риску.

Вот вам новости об нас. В нашей литературе заметно начинается движение и стремление к дельному учению; проходит чад заоблачных высокопарений, и все, даже самые пылкие головы, обращаются теперь к знаниям положительным, к работе усидчивой и деятельной; появляются книги научающие, а не сбивающие с толку; пишутся новые учебные руководства по всем отраслям наук, приноровленные к нашим потребностям и духу, а не переведенные с иностранного. С будущего года, есть надежда, появятся и периодические издания для чтения и просвещения народу, для озарения его ума (до сих пор еще тусклого и недеятельного) светом православной веры, сознанием своих человеческих и гражданских обязанностей, указанием на благоденствие власти, им правящей, и просвещенного любовию ко всему родному русскому... Дай бог, дай бог. Я, как ребенок, предаюсь этой обольстительной надежде и, как ребенок, прыгаю от радости...

Теперь прощайте. Любите и не забывайте обнимающего вас всем объемом души своей.

А. Краевский

Париж, 21 марта 1836 г.

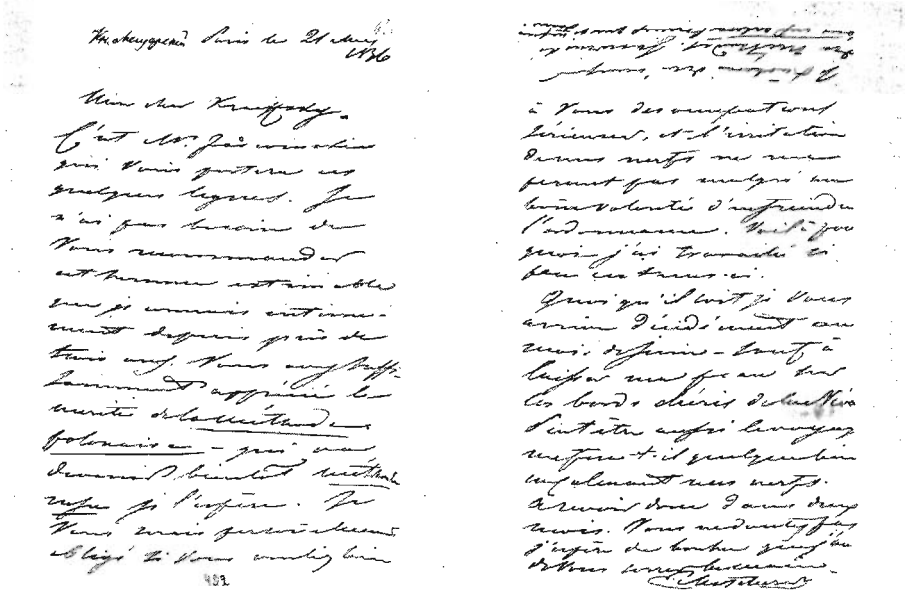
Дорогой Краевский!

Эти несколько строк вам доставит г. Язвинский. Мне нет нужды рекомендовать вам этого почтенного человека, которого я близко знаю около трех лет. Вы достаточно оценили достоинства польского метода, который, надеюсь, скоро станет русским методом. Я буду особенно вам обязан, если вам угодно будет стать проводником г. Язвинского через трудности его нового положения и доставить ему хорошие знакомства среди людей, могущих быть ему полезными.

Сегодня я не отвечаю на ваше прелестное письмо, полученное мною на-днях. Оставляю за собой право вскоре поговорить с вами подольше и по-русски. Будьте добры попросить у министра посланную ему мною в прошлом ноябре большую статью о г. Ботэне и его учении. В этой работе вы найдете все разъяснения по поводу этого философа и его произведений, о чем вы меня просили. Я удивляюсь и поистине огорчен, что вы не познакомились с лучшим, по-моему, произведением, написанным мною до сих пор.

Мое здоровье нехорошо. Я не выхожу из грудной простуды и из небольших лихорадок, сопровождающих такого рода болезни. Врачи запретили мне, как и вам, серьезные занятия, а нервное возбуждение не позволяет мне, при всем желании, нарушать это предписание. Вот почему все это время я так мало работал.

Как бы там ни было, я непременно приеду к вам в июне месяце, чтобы сложить свои кости на милых берегах Невы. Но, может быть, путешествие принесет мне и пользу, успокоив мои нервы.



АВТОГРАФ ПИСЬМА ЭЛИМА МЕЩЕРСКОГО К А. А. КРАЕВСКОМУ ОТ 21 МАРТА 1836 г.
Страницы первая и последняя
Публичная библиотека, Ленинград

Итак, до свидания через два месяца. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я буду счастлив пожать вашу руку.

Э. Мещерский

Постараюсь заняться м е т о д а м и. Язвинский расскажет вам о них лучше, чем могу это сделать я.

## ИТОГИ

Деятельность князя Элима в качестве «интеллектуального атташе» прекращается в 1836 г. Она заканчивается печально—разочарованием, о котором главные заинтересованные лица не говорят ни слова, но которое очевидно: министр Уваров не нашел корреспондента, какого желал; Краевский отныне не принимает больше сообщений из Парижа, столь односторонних и столь непримиримых, и его колкость не щадит даже аббата Ботэна; граф Нессельроде и его посол в Париже также не удовлетворены, так, по крайней мере, нам кажется; а сам князь Элим убеждается, что он не на своем месте. Его болезненное состояние дает ему весьма кстати

предлог прекратить службу; Яков Николаевич Толстой, с одобрения графа Бенкендорфа, замещает его.

Князь Элим, со своей стороны, никогда не пользовался одобрением шефа жандармов[164].

Таким образом, князь Элим оказался возвращенным поэзии и салонам. Здесь он — в своей стихии. Отныне он будет поддерживать духовную связь между своей страной и Францией Людовика-Филиппа теми способами, какие сам найдет нужными, не ожидая ничьих инструкций и одобрения. Он будет служить, сам того не подозревая, как бы резонатором официального национализма и нарождающегося славянофильства. Французам он будет говорить о величии «святой Руси», об ее роли в будущем, и вместе с русскими и парижскими своими друзьями-легитимистами он будет поносить буржуазный либерализм и вольтерианский скептицизм и мечтать вслух о торжестве христианского учения, которое объединит православных и католиков и где не будет места для папы. И, что, пожалуй, важнее всего, он переведет французскими стихами, всегда гладкими и часто хорошо отчеканенными, немало шедевров русской поэзии. Французский романтизм обязан ему тем, что он приотворил дверь на русский Восток, и историк литературы отведет ему место рядом с Лабенским — в этой группе «малых романтиков», творчество которых так любопытно иллюстрирует вторую треть XIX в.

Князь Элим родился аристократом, под сенью Библейского общества и синода, и это обстоятельство составляло одновременно его силу и его слабость. Он обладал тонким умом и благородной душой; его хотели сделать дипломатом, а был он поэтом, патриотом, мистиком. Но он не знал жизни, не знал людей, и суровый воздух их повседневного существования был ему чужд. Он жил чувствами, образами, словесными иллюзиями, пленник своей верности прошлому; его происхождение обрекло его быть тепличным растением.

Ему нет места в лихорадочном Париже эпохи, последовавшей за июльской революцией — среди народа, только-что завоевавшего себе режим либеральной монархии и уже ожидающего республики. Он не любит этот народ — «полуобезьяну, полутигра». Правда, ему нравится иметь салон в Париже, но он тоскует по николаевской России и по маленьком немецком дворе, куда его влекут воспоминания детства; у него нет других друзей, кроме французских и сардинских легитимистов, он переносит французов лишь постольку, поскольку замечает у них симптомы абсолютистской реакции и религиозного пробуждения. Трудно представить его себе иным, нежели таким, каким были, по изображению де Брольи, некоторые русские аристократы в Париже: одетые с иголочки, знающие наизусть последний модный роман и рассуждающие о современной политике, как француз из Faubourg Saint-Germain. С таким русским невольно пускаешься в откровенную беседу, как с соотечественником; «и вдруг какой-нибудь жест, какая-нибудь интонация голоса дают вам почувствовать, что вы находитесь лицом к лицу с самым ожесточенным врагом вашей родины»[165].

Не потому ли та «святая Русь», апостолом которой провозгласил себя князь Элим, находила себе сторонников лишь в немногих салонах? Общественное мнение относилось к ней подозрительно. Барон Маскле, французский консул в Ницце, отмечает 3 февраля 1831 г.: «Говорят, что все русские должны будут покинуть Францию, где парижане, охваченные энтузиазмом,

вызванным варшавским восстанием, охотно распевают «Варшавянку» Делавиня... Княгиня Мещерская, жена прокурора синода, только что прибыла в Марсель. У нас здесь находятся генерал-майор граф Кирилл Иванович Гудович, г-жа Кайсарова, жена начальника главного штаба русской армии, графиня Пален, дочь покойного генерала-аншефа, баронесса Пален, ее родственница, полковник Михайлов и его жена...». Именно в Ницце двенадцать лет спустя, в ноябре 1843 г., произошел инцидент, вызвавший столкновение князя Элима с двоюродным правнуком Декарта, маркизом Претр де Шатожироном, который исполнял тогда обязанности французского консула в этом городе. Французский часовщик Матье, уроженец Вальса в департаменте Ардеш, подал жалобу в консульство на князя Мещерского: «Я представил ему,—писал он,—счет на 25 франков. Он велел мне притти к себе и там, в присутствии комиссара, обозвал меня лентяем, канальей и негодяем. Он приказал, именем царя и своего посла, засадить меня в тюрьму и сгноить там. Комиссар просил простить меня, а я должен был просить прощения у прислуги. Тогда князь уплатил мне не 25 франков, а 30. Я не хочу взять эти пять франков. Он позвал к себе двух карабинеров и хотел заставить меня в их присутствии просить прощения у своих слуг».

17 ноября Шатожирон посылает жалобу графу Рудольфу де Местру, сыну Жозефа, губернатору Ниццарского округа. 19-го Местр отвечает, что так как Матье обозвал лжецом одного из слуг князя, такого же француза, как и он сам, и дурно отзывался в одном кафе о князе, то он, в качестве губернатора, не будет вмешиваться в это дело. 23-го Шатожирон настаивает на своей жалобе: князь Мещерский «нарушил частное и публичное право». 25-го губернатор присылает консулу высокомерный ответ. 29-го виконт Серюрье, поверенный в делах французского посольства в Турине, высказывает одобрение поведению консула и квалифицирует, как «нелойяльные и неуместные», письма графа де Местра. 17 декабря Шатожирон передает губернатору жалобу часовщика, настаивая на том, что считает ее «столь же наивной, как и умеренной», и добавляет, что комиссар полиции «удостоверил подлинность этой прискорбной сцены». 23-го он обращается одновременно во французское посольство в Турине и министерство иностранных дел в Париже, обвиняя губернатора в том, что он «пристрастен к антифранцузски настроенным русским, будучи воспитан в идеях своего отца, и что он является врагом нашей июльской революции и принципов, ее создавших». Уже 26-го посол поздравляет консула с прекрасным ответом на письмо князя—«нелойяльное по существу и непристойное по форме», и воздает «должное недобросовестности губернатора Ниццы»[166].

Эпизод, разумеется, мелкий, но он безжалостно вскрывает изнанку «святой Руси».

А об этой изнанке «святой Руси» не перестает сообщать французам либеральная пресса 30-х годов, начиная с «Le Journal général de l'instruction publique» вплоть до «Revue de deux Mondes» и до «Revue européenne», вопреки протестам, которые помещает там князь Элим (см. выше, стр. 422). Сам аббат Ботэн вынужден выразить своему корреспонденту сомнение относительно «духовного и нравственного влияния», на которое тот рассчитывает со стороны империи царей: «Силы мира сего,—пишет он лукаво,—кажется мне, слишком преобладают в вашем отечестве, чтобы это было возможно» (см. выше, стр. 430).

Что касается среднего француза той эпохи, то он еще менее, чем этот философ, обманывался насчет сущности «святой Руси» Николая I, и, конечно, это его голос узнаем мы в номере «Charivari» от 11 марта 1839 г. (понедельник), на другой день после появления «Бореалий»:

«Достоинства литературной формы г. Б. де Ж. далеко не искупают в наших глазах его антифилософских и антифранцузских идей, но мы находим в данном случае два извиняющих обстоятельства. Первое—то, что он умер; второе, что мы считаем более лойяльным и более полезным бороться с этими идеями в лице князя Элима Мещерского, который, как нам сообщают, и поныне здравствует и заявил, что безоговорочно разделяет эти идеи.

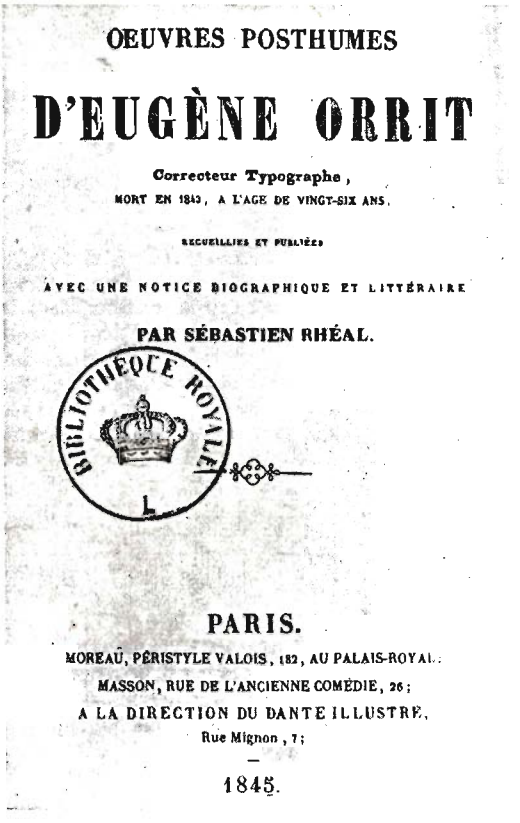
Князь Элим Мещерский признает, что ему принадлежит, не считая общего московитского духа «Бореалий», только вторая часть сборника, переводы и подражания русским поэтам, которые, если ему верить, вырастают тысячами на Северном полюсе... Стих князя Элима Мещерского менее неправилен, чем у г. Б. де Ж. Он лучше умеет распределять краски и избегать неприятных созвучий, словом, у него больше уменья. Однако, никогда он не бывает более изящным, чем когда он удачно подражает французской форме: он сам в этом сознается с похвальной скромностью.

Но почему тогда эта постоянная анафема французским идеям?.. Неужели вы думаете, что они не находятся ни в какой связи с формой и что та свобода, которой вы нас попрекаете и которой мы обязаны философии, не оказала могущественного влияния на положение, занимаемое ныне Францией в интеллектуальной Европе, как и на все другие наши достижения, которыми вы восхищаетесь? Когда вы ищете, когда вы так пламенно желаете знакомства с нашими поэтами, разве вам не приходит на ум, что в России многие из этих людей были бы, быть может, прикреплены к земле ваших поместий, отданы во власть податей и кнута. Что касается меня, то я не верю, что бы вы там ни говорили, что в подобных социальных условиях они смогли бы создать свои шедевры, а если бы даже они их и создали, то разве не находилось бы сейчас большинство этих поэтов в рудниках Сибири по милости вашего великодушного царя?

С другой стороны, я хорошо знаю, что задача правительства отнюдь не заключается в том, чтобы создавать поэтов, и вы были бы вполне правы в своем идолопоклонстве перед русскими учреждениями, если бы они, по крайней мере, приносили счастие наибольшему числу людей. На это вы как раз и претендуете. Однако, ваша, по меньшей мере, странная аргументация сводится к тому, что русский народ счастлив, потому что он терпелив, потому что он свят среди наносимых ему ран, но чем более оздоровляют его раны, тем глубже должны они быть и тем более должны они вызывать угрызения совести у тех, кто их наносит. А что до благополучия, которое испытывает в этом святом своем терпении народ, то об этом я хотел бы узнать от него самого, а не от вас, боярин»[167].

Да, конечно, он был «боярином», этот патриот и мистик, политические и религиозные формулировки которого заставляют нас теперь улыбаться, показывая нам, в то же время, одну из разновидностей русского национализма в один из самых любопытных периодов его развития. Но он был также и поэтом,—и именно поэту воздает хвалу Альфонс Карр тоном проповедника в двойном надгробном слове, которое противопоставляет и одновре-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЭТА-ТИПОГРАФЩИКА EUGÈNE ORRIT, 1845 г.



OEUVRES POSTHUMES

D'EUGÈNE ORRIT

Correcteur Typographe,

MORT EN 1843, A L'AGE DE VINGT-SIX ANS.

RECUEILLIES ET PUBLIÉES

AVEC UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

PAR SÉBASTIEN RHÉAL.

BIBLIOTHÈQUE ROYALE

PARIS.

MOREAU, PÉRISTYLE VALOIS, 182, AU PALAIS-ROYAL.

MASSON, RUE DE L'ANCIENNE COMÉDIE, 26;

A LA DIRECTION DU DANTE ILLUSTRÉ,

Rue Mignon, 7;

1845.

менно демократически соединяет в общем трауре поэта-князя и поэта-пролетария.

«Я получил два томика стихов двух умерших поэтов. Мне прислали их матери обоих.

Один, Элим Мещерский, был князем, другой, Эжен Орри, — рабочим-печатником. Обе матери, разумеется, не знают и никогда не видели друг друга, но они сошлись в выражении своего горя: обе они издали сочинения своих сыновей; обе они потребовали от славы цветов на возлюбленные их могилы. У обеих было то же чувство гордости и то же чувство жалости.

Эти два томика, авторы которых умерли в одном и том же 1844 году, были напечатаны в одном и том же 1845 году и в одном и том же месяце, и оба имеют серую обложку.

Госпожа Орри и княгиня, у обеих вас все основания оплакивать своих сыновей: это были замечательные люди, и вы имеете право гордиться их талантами. Талант князя был более благородным, более утонченным и более завершенным; талант рабочего более беспокойным, более пылким, более смелым...

Бедные матери — вы, что остаетесь матерями, когда у вас нет уже более сыновей, и находите в вашей изобретательной нежности средство заботиться о них, когда их уже нет, — примите благосклонно эти скромные цветы, которые я бросаю на их могилы — эти немногие слова — дань справедливости, которую я воздаю вашим дорогим усопшим.

Альфонс Карр»[168]

## ПРИМЕЧАНИЯ*

[1] Руммель В. В. и Голубцов В. В., Родословный сборник русских дворянских фамилий, СПБ. 1887.

[2] «Остафьевский Архив», III, стр. 427—428.

[3] Благовидов Ф. В., Обер-прокуроры святейшего синода в XVIII и в первой половине XIX столетия, 2-е изд., Казань, 1900, стр. 378—399.

[4] «Остафьевский Архив», III, стр. 428.

[5] «Русская Старина», 1894, 7, т. LXXXII, стр. 217 (Автобиография юрьевского архимандрита Фотия).

[6] «Русский Архив», 1908, 1, стр. 25.

[7] «Остафьевский Архив», III, стр. 428. Князь Элим посвятил Веймару (см. стр. 424) статью, которая кончается так: «Веймар! Рай, где прошло мое детство, я говорил о тебе, как говорят о друге. Твои деревья, твои дома — для меня воспоминания счастья и невинности; я хотел бы, чтоб мне снова было только восемь лет, чтобы я мог молиться за тебя и благословлять тебя... Ты дал мне матерей, сестер, братьев, а в моей «варварской» «российской» родине не говорят дурно о родных» («Allemagne et Pays-Bas, Landscape française», P. s. d., pp. 154—155). Он писал в августе 1844 г. — менее, чем за три месяца до смерти (эти стихи были опубликованы отдельной книжкой, воспроизведены также в «Les roses noires», pp. 290—291):

Когда, устав в пути от оскорблений рока,
К дням детства ясного я обращаю око,
Придя к своей метé и провожая дни,
Все вижу Веймара манящие огни...
Год восемнадцатый! Блестящая година!
Ребенком я блуждал в горах саксонских стран,
Взбирался на козу, бил звонко в барабан...
Мной обожаем был — ужель ребенок льстец? —
Наследный принц: ко мне был добрым, как отец.
Пред покровителем волшебных вдохновений
Картонный мой балет плясал на детской сцене.
Я игры измышлял для дочерей его,
Чей блеск предвосхищал чар зрелых торжество.
Насколько помню я, для них я строил парки
Из трех кустарников; из шкапа зиждил арки.
Я сердцем родился на Ильме и готов
Сказать был «веймарец!» смотрителю мостов.

[8] «Русский Архив», 1890, 10—12. Приложение: «Записки современника».

[9] «Русский Архив», 1900, 3, стр. 295 (воспоминания А. В. Мещерского): «В это время [1839] на горизонте московского общества появились новые звезды: несколько красавиц, молодых девиц, в числе их дочь сенатора Жихарева, вышедшая за моего двоюродного дядю кн. Элима Петровича Мещерского...». «Русский Архив», 1894, 3, стр. 72 (автобиографическая заметка С. М. Сухотина): «Сердце у меня было не камень, я был очень впечатлителен и влюблялся во многих тогда из моих сверстниц, из которых особенно была пленительна Варинька Жихарева, вышедшая потом за кн. Эмиля [?] Мещерского и наделавшая много шуму своими похождениями; у ее родителей бывали очень милые балы...» (это свидетельство относится к 1833—1834 гг.) — О Жихаревых см. А. Б. Лобанов-Ростовский, Русская родословная книга, стр. 197, 439; см. также «Русский Архив», 1890, приложение: С. Жихарев, Записки современника.

[10] Вел. кн. Николай Михайлович, Петербургский некрополь, III, СПБ. 1912, стр. 114.

[11] Мин. иностр. дел, Петерб. гл. архив, IV, 1, 1823, № 32. «О принятии в коллегию иностранных дел князя Мещерского актуариусом». Документ написан на русском языке.

---

* Пользуясь примечаниями, читатель должен иметь в виду, что автор собирал документы об Элиме Мещерском в русских архивах частично еще до революции. С тех пор местонахождение ряда архивных фондов изменилось, равно как изменились в ряде случаев архивные шифры, нумерация дел, листов и др.

Сообщаем необходимые данные для уточнения архивных ссылок, приводимых в статье проф. Андре Мазона:

I. Дела б. Министерства иностранных дел и Петербургского главного архива хранятся ныне в фондах Архива внешней политики в Москве.

II. Дела б. Министерства народного просвещения (фонд канцелярии министра народного просвещения) хранятся ныне в фондах Ленинградского отделения Центрального исторического архива (ЛОЦИА). Современные шифры использованных автором дел канцелярии министра народного просвещения таковы: 1) 1834 г., д. № 127965, карт. 6187; 2) 1834 г., д. № 128018, карт. 6188; 3) 1836 г., д. № 128210 (присоединено к д. № 127937, карт. 6186); 4) 1837 г., д. № 128221, карт. 6197; 5) 1846 г., д. № 129279, карт. 6228.—*Ред.*

[12] Архив мин. иностр. дел, IV, 4, 1825, № 3, «Об определении актуариуса князя Элима Мещерского к миссии в Дрезден и увольнении его к эмским минеральным водам на летнее время». Письмо кн. Е. Мещерской написано по-французски.

[13] Архив мин. иностр. дел, IV, 46, 1825, № 1. Аттестат написан на русском языке.

[14] Архив мин. иностр. дел, IV, 8, 1826, № 7, «О пожаловании в звание камер-юнкера кн. Элима Мещерского».

[15] Архив мин. иностр. дел, IV, 7, 1826, № 27, «О производстве кн. Элима Мещерского в переводчики коллегии иностранных дел».

[16] Архив мин. иностр. дел, IV, 9, 1827, № 12. Письмо Ханыкова написано по-французски.

[17] Архив мин. иностр. дел, IV, 4, 1829, № 9, «Об определении переводчика кн. Элима Мещерского к миссии в Турине с прибавкою жалованья».

[18] Ibid., IV, 7, 1829, № 32.

[19] Ibid., IV, 4, 1829, № 9.

[20] Согласно Варнгагену фон Энзе, Николай I сообщил Баранту о переводе Поццо ди Борго из Парижа в Лондон в следующих выражениях: «Я освободил вас от великого интригана» («Русский Архив», 1875, 2, стр. 347).

[21] Архив мин. народного просвещения, № 127937, карт. 6168, лл. 15—16. Документ написан на русском языке.

[22] «Journal du comte Apponyi», publié par Ernest Daudet, P., 1914, t. II, p. 448.

[23] «Русская Старина», 1899, 10, т. L, стр. 187 (статья Б. Л. Модзалевского).

[24] Фигура Якова Николаевича Толстого была освещена Б. Л. Модзалевским в двух превосходных статьях в «Русской Старине», т. XCIX, стр. 587—614, и том L, стр. 175—199. Я опубликовал одно из его донесений о народном образовании во Франции в «Feuilles d'histoire», t. XII, 1914, № 7, pp. 65—73. Серия донесений 1848 г. была опубликована особо: «Революция 1848 г. во Франции. Донесения Я. Толстого», Л., 1926, Госиздат (Центрархив). См. также публикацию донесений Я. Толстого в III отделение в настоящем издании.

[25] Архив мин. народного просвещения, № 127937 и № 128210.

[26] Архив мин. народного просвещения, № 128221, 1837 г. Письмо на русском языке.

[27] Ibid. Документ на русском языке.

[28] Архив мин. народного просвещения, № 127937, дело, начатое в 1834 г. Письмо на русском языке.

[29] Ibid. Письмо на русском языке.

[30] «Journal de Victor de Balabine», publié par Ernest Daudet, P., 1914, t. I, p. 165.

[31] Сочинения и письма Николая Васильевича Гоголя, изд. П. А. Кулиша, т. VI, СПБ. 1857, стр. 190—191.

[32] «Journal des jeunes personnes», t. XIII, 1845, pp. 5—6 (январская хроника за 1845 г. Emile Deschamps); «L'Artiste», 1845, II (статья Wilhem Ténint); «Русский Инвалид», 1845, № 105 (13 мая), стр. 413—414 (русский перевод статьи Anaïs Ségalas).

[33] См., напр., «Переписка Александра Ивановича Тургенева с князем Петром Васильевичем Вяземским», I, 1814—1833, стр. 276 и 491; M-me Ancelot, Un salon de Paris: 1824 à 1864, P., 1866, p. 98.

[34] Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, под ред. М. Гершензона, М., 1914, т. I, стр. 197—199; см. также Quénet (Charles), Tchaadaev et les Lettres philosophiques: contribution à l'étude du mouvement des idées en Russie, P., 1931, pp. 199 et 229 (Bibliothèque de l'Institut français de Léningrad, XII); Лемке М., Николаевские жандармы и литература, СПБ. 1908, стр. 427—428.

[35] «Русская Старина», 1870, т. I, стр. 571 (1-е изд.) и 366 (2-е изд.).

[36] «Русский Архив», 1909, 2, стр. 497: письмо С. А. Соболевского к С. П. Шевыреву, помеченное Турином, 23 мая 1831 г.

[37] «Литературное Наследство», кн. 15, стр. 300; этот экземпляр «Бориса Годунова» был принесен в дар Н. О. Лернером Литературному музею в Москве; «Пушкин и его современники», вып. IX—X, СПБ. 1910, стр. 222 (Б. Л. Модзалевский, Библиотека Пушкина).

[38] «Исторический Вестник», 1883, 7, т. XIII, стр. 164—173; «Русский Архив», 1908, т. I, стр. 25—47.

[39] «Русский Архив», 1875, 2, стр. 347: «Из дневников Варнгагена фон Энзе».

[40] «Русский Архив», 1902, 3, стр. 179: «Дневник И. М. Снегирева», год 1836, под 28, 30 и 31 августа и 19 сентября.

[41] Барсуков Н., Жизнь и труды Погодина, СПБ. 1888—1907, т. IV, стр. 135—137.

[42] Погодин М., Год в чужих краях: дорожный дневник, ч. III, М., 1844, стр. 79.

[43] «Русская Старина», 1870, 2, стр. 420: Записки М. И. Глинки.

[44] См. Asse E. Les petits romantiques, P., 1900, pp. 41—84.

[45] Mémoires du vicomte Armand de Melun, revus et mis en ordre par le comte Le Camus, I, P., 1891, p. 179.

[46] Baudin E., L'union des Eglises d'Orient et d'Occident d'après une correspondance inédite entre Bautain, Mestscherski et A. Mouravieff, 1834—1837, Le Puy, 1922, pp. 5—37 (отдельный оттиск из «Revue des sciences religieuses»).

[47] Girard H., Un bourgeois dilettante à l'époque romantique: Emile Deschamps, 1791—1871, P., 1921, pp. 371—384. См. также «Les Boréales», par B. de G. et le prince Elim Mestscherski, P., 1839, pp. 3—37.

[48] Конца письма недостает. Этот документ воспроизведен здесь по копии, которую ныне покойный Henri Girard с дружеской любезностью когда-то сообщил мне. Сам он воспроизвел его in extenso в своей прекрасной книге (op. cit., стр. 373—374, прим. 2-е).

[49] Les Boréales, pp. II—III. Двадцать лет спустя Эмиль Дешан вспоминал с восхищением князя Элима; он писал 13 апреля 1859 г. князю и княгине Голицыным: «Знаете ли вы, что знатные русские, которые подобно вам, владели французской лирой и пером, как граф Шувалов, как князь Элим Мещерский и пр., одержали блестящие победы в нашем языке и составили опасную конкуренцию тем, кто говорит на нем от рождения. Мы одновременно и гордимся и унижены...» (Неизданное письмо из коллекции кардинала Dubois; я ознакомился с этим письмом, благодаря дружеской обязательности покойного Henri Girard).

[50] Girard H., op. cit., p. 383. О творчестве Жюля де Сен-Феликса см. Marsan J., La bataille romantique, P., 1912, pp. 243—292.

[51] См. выше, стр. 387: «Сен-Феликс должен вам, я знаю, небольшую сумму. Нельзя ли устроить так, чтобы этот долг был бы вам уплачен моей книгой? Это доставило бы мне большое удовольствие. Не говорите об этом ничего Сен-Феликсу».

[52] Marsan J., La bataille romantique, P., 1912, pp. 267—268.

[53] О Жюле де Рессегье см. прекрасный этюд Asse E., Les petits romantiques, P., 1900, pp. 121—203.

[54] Comtesse Dash, Mémoires des autres, P., 1896—1897, IV, pp. 215—224, и «Intermédiaire des chercheurs et curieux», t. 59, p. 729.

[55] «Русский Вестник», 1881, 5, т. CLIII, стр. 117: «Дюма признался, что и сам никогда не употребляет турецкого кальяна (наргиле), а любит только русский «жуковский» табак, к которому приучил его князь Элим Мещерский» (Воспоминания А. М. Каратыгиной).

[56] «Mémoires du vicomte Armand de Melun», цитир. изд., I, стр. 179—182.

[57] Comtesse Dash, Mémoires des autres, P., 1896—1897, IV, pp. 215—224 (вся глава XXI). См. также Marsan J., La bataille romantique, pp. 253—254.

[58] Mémoires des autres, IV, pp. 173—174.

[59] Elim, histoire d'un poète russe, par Paulin Niboyet, P., 1852, chez Michel Lévy, et Leipzig, chez Michelsen; avec une préface de la Comtesse Dash, pp. I—VI. Книга имела некоторый успех, так как через 7 лет появилось 2-е издание под новым заглавием: Les amours d'un poète, par Paulin Niboyet (Fortunio); P., 1859, Pagnerre, libraire-éditeur. Автор посвятил этот роман «Моему лучшему другу—моей матери».

[60] «Le Salon littéraire», 1-ère éd., 2-e année, no. 22 (jeudi 17 mars 1842), pp. 8—11; Sous les marronniers (suite), par M. Maurice St.-Aguet. О творчестве Шарля Мориса см. Bourquelot et Alfred Maury, La littérature française contemporaine, t. V, P., 1854, p. 34.

[61] «Journal des Demoiselles», juillet, 1906, p. 245, статья, подписанная A. B.

[62] «Journal des Demoiselles», 15 juillet 1848.

[63] См. «La France littéraire», XI, pp. 319—320.

[64] В Национальной библиотеке в Париже хранится один экземпляр этого стихотворения. Оно помечено «Виши, 20 августа 1844 г.» и было напечатано в Париже «chez Crapelet, 9, rue de Vaugirard». Оно интересно, главным образом, некоторыми биографическими данными, которые находятся вначале (см. выше стр. 7). Стихотворение воспроизведено также в «Les roses noires», pp. 287—298.

[65] M-me Martellet (Adèle Colin), Alfred de Musset intime: souvenirs de la gouvernante, P., 1905, p. 374. Странная подпись этого стихотворения должна быть объяснена двойной опечаткой: «княгиня» вместо князь и «1845» вместо 1835 или 1843 (?), если только княгиня Мещерская не сообщила этих стихов после смерти поэта, пометив вверху их: Элим. Княгиня Мещерская. Ницца, 11 ноября 1845.

[66] «La France littéraire», XI, p. 319.

[67] Предисловие к «Les Boréales», p. XIV.

[68] Ibid., p. XVI.

[69] Ibid., p. 31.

[70] «Ma bonne compagnie»—поэма Жюля де Рессегье.

[71] «Lazare», «Pianto»—поэмы Огюста Барбье.

[72] Антони—Антони Дешан.

[73] «Marie»—поэма Бризё.

[74] «Cynthia»—поэма Жюля де Сен-Феликса.

[75] «Le manteau et l'épée» (Шпага и плащ)—сборник стихов Роже де Бовуара, появившийся в Париже в 1837 г.

[76] Блаз де Бюри (Blaze de Bury) — известный в эту эпоху, как автор комедии в стихах Le souper du commandeur (1834) и многих стихотворений, изданных отдельным сборником в 1842 г. Это будущий критик и историк «Revue des deux Mondes».

[77] Эдмонд Тюркети (Edmond Turquety) — автор Esquisses poétiques, 1829, см. F. Saulmier, La vie d'un poète, E. Turquety, P., 1885.

[78] Алкид дю Буа де Бошен (Alcide du Bois de Beauchesne)—поэт и ученый, которого князь Элим знал, как автора Souvenirs poétiques, P., 1830.

[79] Александр Гиро (Alexandre Guiraud)—автор Manifeste de la Muse française (январь 1824), Elégies Savoyardes (1823), Poèmes et chants élégiaques (1824), Poésies dédiées à la jeunesse (1836), а позднее и книги La philosophie catholique de l'histoire (1839—1841).

[80] «Les Boréales», pp. VI—VIII.

[81] Ibid., p. IX.

[82] Повидимому, князь Элим лелеял одно время оригинальный план — опубликовать в России свои французские переводы русских поэтов. Н. В. Кукольник отметил в 1836 г., по случаю приезда князя Элима в Петербург: «Мещерский приехал из Парижа и затевает в Петербурге «Revue» русских произведений для русских во французских переводах!! Очень кстати! Неужели он надеется, что в Европе будут читать его статьи? Нет, не надеется. Там, в России?.. Да! Наши вельможи не могут читать по-русски: не варит желудок». («Баян», 1888, 10, стр. 90; отрывок, воспроизведенный в «Остафьевском Архиве», III, стр. 715).

[83] Одно из главных произведений этого сборника было уже напечатано в 1843 г.: Artémonn Matveief, tableau-scène, par le prince Elim Mestscherski, Cusset (près Vichy), 1843, in 4° sur 2 colonnes, imprimerie de M-me L. Jourdain. «Уведомление» (L'Avertissement), помещенное рядом с титульным листом этой книжки, сообщает следующее: «Эта картина будет помещена во главе серии поэм-диалогов, задуманных в тех же размерах. Они составляют часть сборника стихов, который автор опубликует незамедлительно под заглавием: «Черные розы». В числе этих картин, подходящих для частных театров, появятся: «Светлана»—подражание балладе Жуковского, «Цыгане»—подражание поэме Александра Пушкина, «Фауст у колдуньи»—подражание Гёте, и пр. Вторая часть сборника содержит короткие стихи, могущие послужить канвой для композиторов». «Артамон Матвеев» был отмечен для русских читателей Н. Гречем в одном из его «Парижских писем»: см. «Северная Пчела», 1843, № 224 (7 октября), № 895, и в отдельном издании: Греч Н., Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии, изд. П. И. Мартынова, СПБ. 1847, стр. 237—239.

[84] Les roses noires, pp. 417—421.

[85] Nouvelle biographie générale de Hoefer, P., 1852—1866, XXXIV, col. 646. „Князь Элим основал в Ницце, где долго жил, частный театр, доходы с которого, предназначенные целиком для благотворительных целей, предоставлялись в распоряжение сестер милосердия общины Saint Vincent de Paul». К «Фаусту у колдуньи» было приложено послание «К мадемуазель Е. А.», которая играла роль Маргариты. У меня сохранилась программа театрального вечера 27 марта 1843 г. в Ницце, с указанием пьес и актеров: кн. Элим играл роль «Колдуна» и «Фауста»".

[86] «Les roses noires», pp. 9—47, 49—98, 185—195, 197—207, 209—217, 219—231, 265—285, 161—183, 233—263, 99—115, 117—159.

[87] Ibid., pp. 149—150. Нет необходимости настаивать на мелких неловкостях, выдающих подражателя. E. Asse отмечает, однако, не имея в виду специально эту исповедь Переца: «князь Мещерский так усвоил себе стиль Виктора Гюго, что многие критики были введены в заблуждение» (Les petits romantiques, P., 1900, p. 48).

[88] «Les roses noires», pp. 405—415: Ma chimère, chanson.

[89] «Les Boréales», pp. 247—254. Приведенные стихи являются вольным переводом заключительного четверостишия стихотворения Хомякова «Остров» (у Мещерского—«L'Angleterre»): «И другой стране смиренной...»

[90] «Les poètes russes», 1, p. II.

[91] Ibid., pp. IV—XXII.

[92] Ibid., pp. XXVIII—XXIX.

[93] «Revue de Marseille», fondée et publiée au profit des pauvres, II-e année 1, janvier 1856, p. 90. De l'histoire de la poésie. Discours prononcé à l'Athénée de Marseille pour l'ouverture du Cours de littérature, le 12 mars 1830, par M. J. J. Ampère, Marseille, 1830, typographie de Feissat ainé et Demonchy.

[94] Статья, цитированная «Литературной Газетой» (1830, № 64, стр. 225—227); тот же журнал (1831, № 6—7, стр. 47—49) напечатал разбор и критику лекции князя Элима.

[95] Атеней (l'Athénée) возник по коллективной инициативе марсельской интеллигенции; это учреждение ставило себе целью, по примеру Атенея парижского, восполнять недостаточность университетского преподавания. Его открытие должно было состояться еще в 1822 г., но министр внутренних дел, de Corbière, воспротивился этому: «Учреждение, о котором идет речь,—писал он 12 марта 1822 г. префекту,—могло бы, без сомнения, быть полезным, если бы профессорами были выбраны только лица, известные своими ясно выраженными монархическими убеждениями... Подробности, вами сообщаемые, доказывают, напротив, что вполне противоположное веяние определило, по большей части, сделанный выбор» (Archives départamentales des Bouches du Rhône). После шестилетней паузы грамота министерства позволяла вновь заняться этим проектом, и в 1828 г. новый министр, de Martignac, разрешил его осуществление: «Весьма примечательно то обстоятельство,—и члены Атенея никогда его не забудут,—что основание этого полезного учреждения оказалось связанным с первым торжеством конституционной идеи на выборах в Марселе»—заявил Elisée Reynard, секретарь Атенея, в своей речи 31 мая 1829 г. Кафедра литературы была предложена Сен-Бёву, который отказался от нее в прелестном письме: «...В момент политической неустойчивости, когда бывают поколеблены даже самые скромные жизни, когда существование марсельского Атенея, разрешенное г. де Мартиньяком, может быть поставлено под вопрос г. де Лебурдонне, когда сам я здесь испытываю желание и потребность видеть и наблюдать вблизи и положить и свою песчинку на правильную чашку весов,—я не чувствую себя в силах покинуть Париж, чтобы вести мирный курс литературы». Минье рекомендовал тогда Ампера-сына, который согласился читать трехмесячный курс с марта 1830 г., по две лекции в неделю, с гонораром в 3 000 франков. Князь Элим, прослушав курс Ампера, вероятно, предложил, по собственной инициативе, дать публике дополнительную лекцию о русской литературе, и Атеней поспешил принять это предложение. Но это происходило в конце июня, в разгар лета,— и лекция прошла незамеченной; повидимому, Ампер не присутствовал на ней, и даже историк Атенея, F. Tamisier, не сохранил о ней никакого воспоминания. Не лишено пикантности, что князь Элим, принадлежавший по своим дружеским связям к легитимистским кругам, забрел по ошибке в этот очаг либерализма как раз накануне июльской революции. Именно в Атенее, обратившемся тогда в своего рода политический центр, происходили выборы 1830 г. С 1831 по 1844 г. лекции продолжались, но, начиная с 1844 г., Атеней становится не более, как кружком, владеющим богатой библиотекой. В 1886 г. кружок этот был распущен, а книги включены в городскую библиотеку Марселя. (Réglement de l'Athénée de Marseille, autorisé par ordonnance royale du 7 décembre 1828, Marseille, 1829; Réglement d'ordre intérieur de l'Athénée de Marseille, Marseille, 1829; «Revue de Marseille», II-e année 1, janvier 1856, pp. 79—102 et 140—144, aperçu historique par F. Tamisier; «Les noces d'or de l'Athénée», Marseille, 1879; «Les Bouches du Rhône», encyclopédie départementale, t. VI, La vie intellectuelle, Marseille, 1914, p. 367). Я должен выразить здесь живейшую признательность г. U. Busquet, директору Archives départementales des Bouches du Rhône, который оказал мне драгоценную помощь в моих разысканиях.

[96] «Les poètes russes», 1 passim, pp. XLVII—XLVIII и LXXV.

[97] «Les poètes russes», 1, pp. LXXVI—LXXVII.

[98] «Les poètes russes», 1, pp. XXXII—XXXIII.

[99] «Les poètes russes», 1, pp. 217—225.

[100] «Les poètes russes», 1, pp. 353—355.

[101] О князе Элиме, как переводчике Лермонтова, см. «Русская Старина», 1882, т. XXXIV, стр. 228—235.

[102] Старый князь Петр Мещерский, переживший своего сына, 21 августа 1846 г. поднес императорской фамилии два тома Les poètes russes. Одна папка в архиве министерства народного просвещения сохранила для нас описание церемониала, сопровождавшего это поднесение, согласно правилам придворного этикета (ЛОЦИА, фонд канц. м-ра нар. просв., 1846, д. № 129879, кар. 6228).

[103] Статья Hippolyte Babou напечатана в «Revue nouvelle, III-e année, 1847, t. 13, pp. 284—294; статья А. Башуцкого в «Иллюстрации», 1847, т. V, № 27 (26 июля), стр. 42—44; см. также «Северная Пчела», 1847, 38 (18 февраля), стр. 150—151.

[104] Gallet de Kulture, Ach., La Sainte Russie, P., 2-e éd. 1857; Garnier frères. Первое издание появилось в 1855 г. под заглавием «Le tzar Nicolas et la sainte Russie». Автор был личным секретарем князя Демидова.

[105] «Les poètes russes», I, p. LXXX.

[106] «Revue européenne, par les rédacteurs du Correspondant», P., 1831, t. 1, fasc. 1, p. 16.

[107] Ibid., fasc. 2, pp. 233—234.

[108] Ibid., fasc. 2, p. 236.

[109] Ibid., fasc. 5, pp. 205—206.

[110] «Русский Архив», 1868, т. VI, стр. 621—622.

[111] «Старина и Новизна», II, стр. 167.

[112] «Русский Архив», 1908, т. I, стр. 25—47, и статья Е. Гаршина в «Историческом Вестнике», 1883, 7, т. XIII, стр. 164—173.

[113] Allemagne et Pays-Bas, Landscape français, P., s. d. (librairie Janet), pp. 143—155, особенно стр. 146—149 и 151. Эта статья была переведена на русский язык в «Библиотеке для Чтения»; позднее, уже после смерти князя, она появилась в новом переводе, в «Северной Пчеле», 1846, № 273 (3 декабря), стр. 1091—1092.

[114] Доктор Пьер-Этьен Мартен, именуемый Martin jeune или Martin cadet; родился в 1772 г., главный хирург лионской богадельни.

[115] «Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпой по Невскому проспекту» входила в сборник «Пестрые сказки» (СПБ. 1833) и была перепечатана в сочинениях князя В. Ф. Одоевского, ч. III, изд. книгопродавца Иванова, СПБ. 1844, стр. 195—207.

[116] Письма разных лиц к В. Ф. Одоевскому. Отчет Публичной библиотеки за 1869 г., СПБ. 1870, стр. 9.

[117] По всей вероятности, речь идет о корреспонденте для «Журнала Министерства Внутренних Дел»; в вопросах организации этого журнала князь Одоевский был заинтересован, как член-сотрудник комитета редакции с 1838 г., см. «Русский биографический словарь», статья Ив. Кубасова, стр. 125.

[118] По всей вероятности, в «Журнале Министерства Внутренних Дел». В Париже я не мог отыскать тот отзыв, на который намекает князь Элим.

[119] По всей вероятности, «Энциклопедический лексикон» Плюшара, одним из сотрудников которого был князь Одоевский.

[120] Письма разных лиц к В. Ф. Одоевскому. «Отчет Публичной библиотеки за 1869 г.», СПБ. 1870, стр. 9.

[121] См. работу Е. Baudin, откуда заимствовано приводимое здесь определение «страсбургской философии», «Revue des sciences religieuses», 1922. E. Baudin нашел в Collège de Juilly переписку между князем Элимом и Ботэном и опубликовал ее.

[122] Вероятно, намек на Шеллинга, Бадера и Делингера. Повидимому, личные отношения у князя Элима были только с Бадером.

[123] Эта работа, оставшаяся в рукописи,—та самая, которую он показывал Бадеру и которую покажет также Уварову, своему отцу и А. А. Краевскому (см. стр. 456).

[124] Дата 1833, проставленная Э. Боденом, должна быть исправлена на 1834.

[125] Эта дама из высшего эльзасского общества была преданным другом Ботэна и поддерживала его в его полемике.

[126] Это, вероятно, следующие, уже изданные Ботэном к тому моменту брошюры: Variétés philosophiques, Strasbourg, 1823; Propositions générales sur la vie, Strasbourg, 1826 (теза докторской диссертации по медицине); La morale de l'Evangile comparée à la morale des philosophes, Strasbourg, 1827; Motifs de conversion de plusieurs juifs et de plusieurs protestants, Strasbourg, 1830; De l'enseignement de la philosophie en France au XIX-e siècle, Strasbourg, 1833 (Манифест страсбургской школы); Quelques réflexions sur l'institution des conférences religieuses à Paris, P., 1834. Что до брошюры, о которой речь идет дальше, то здесь имеется в виду Réponse d'un chrétien aux Paroles d'un croyant. Это, бесспорно, самое сильное возражение, какое встретил Ламене, и одно из лучших полемических и критических произведений, вышедших из под пера Ботэна (примечание Э. Бодена).

[127] Ботэн официально объявил об этом в своей брошюре De l'enseignement de la philosophie en France au XIX-e siècle. Его труд должен был появиться под видом руководства по философии; он его уже заканчивал (примечание Э. Бодена). Это выражение было затем использовано князем Элимом.

[128] Как мы увидим, это выражение будет повторено князем Элимом (см. стр. 469).

[129] В «Журнале Министерства Народного Просвещения» за 1834 г.

[130] Все дальнейшее изложение о необходимости власти и авторитета для сохранения и истолкования веры существенно для мысли Ботэна, который часто возвращался к этой теме, что не избавило его, однако, от постоянных обвинений в протестантизме.

Ньюман, с которым он во многих отношениях близок, беспрестанно высказывал те же оговорки и встречал те же обвинения (примечание Э. Бодена).

[131] Впоследствии епископ Каркассона и кардинал-архиепископ руанский. Ученик Ботэна; в то время — профессор реторики в маленькой семинарии Saint-Louis в Страсбурге (примечание Э. Бодена).

[132] Э. Боден, цитированная статья, стр. 25.

[133] В связи с этим заслуживает внимания указание Геннади, согласно которому, некий «князь Мещерский» (не Элим ли?) сделал оставшийся в рукописи французский перевод «Истории русской церкви» А. Н. Муравьева («Русский Архив», 1877, II, стр. 86).

[134] Э. Боден, цитированная статья, стр. 6—7.

[135] Notice sur M. le Vicomte de Bonald, dédiée à M. le Comte de Marcellus, par M. Henri de B[onald], P., 1841, pp. 93—95: письмо без всякой даты, кроме как «1834» (напечатано по ошибке «1824»).

[136] Дело идет, по всей вероятности, о юношеском опыте, который князь Элим представлял Бадеру и Ботэну.

[137] Цитированное сочинение, стр. 96.

[138] «Журнал Министерства Народного Просвещения», 1847, ч. 56, отд. VI, стр. 261; заметка в конце некролога, заимствованного из журнала «Иллюстрация», 1847, 27 (26 июля), т. V, стр. 42.

[139] ЛОЦИА. Дело канцелярии министра народного просвещения «по всеподданнейшей докладной записке г. министра народного просвещения о собрании книг и рукописей, относящихся до тайных обществ» (№ 127965, карт. 6187, 1834 г., на 26 лл.). Дело содержит в себе записку Лоранти с описанием коллекции, всеподданнейший доклад Уварова с резолюцией Николая I, письмо Элима Мещерского об отправке коллекции в Россию с приложением ее подробного описания, составленного бывшим владельцем Астье, переписку о получении коллекции и о передаче ее на хранение в Публичную библиотеку в Петербурге.

[140] Архив Института литературы Академии наук СССР. Собрание Б. Л. Модзалевского.

[141] Ibid.

[142] Было бы точнее сказать: несколько недель.

[143] Перевод не подписан, но мы знаем из другого источника, что он принадлежит князю Элиму (см. об этом стр. 385, а также «Биографический словарь профессоров и преподавателей импер. московского университета», ч. II, М., 1855, стр. 244—245). Эта вступительная лекция Погодина напечатана в 1-м выпуске «Журнала Министерства Народного Просвещения»; она была переведена также на немецкий язык лектором Герингом и на сербский епископом Атанасевичем.

[144] «Le panorama littéraire de l'Europe» в том же 1834 г. (t. II, pp. 106—113) дает нам также описание кавказского праздника: Schah Hussein: fête des Musulmans Schaghides; но это описание подписано: «Trad. du russe Bastanjeff par M. Deslandes» и, хотя такое предположение и высказывалось, нет никаких оснований приписывать перевод князю Элиму.

[145] «Les Boréales», pp. 23—24.

[146] «Les Boréales», p. 35, passim.

[147] «Les Boréales», p. 27.

[148] «Les Boréales», pp. IV—V.

[149] «Les roses noires», p. 409.

[150] «Русская Старина», 1881, 6, т. XXXI, стр. 202—203.

[151] Архив министерства народного просвещения; дела канцелярии министра, карт. 35, №№ 897, 127, 937, 698.

[152] Я не мог, к сожалению, найти писем, на которые намекает здесь князь Элим. Сочинение, представленное им Уварову,—это рукопись, которую он уже представлял Бадеру и Ботэну.

[153] Мы находим именно в этом письме (стр. 119) следующую характерную оговорку: «На сей раз прошу ваше превосходительство обратить внимание на ту дробную часть периодических изданий, которая более привлекает в свою пользу: я говорю о журналах, защищающих истинные учения политические и религиозные. Оставляю до другого раза исследование противоположной сферы, где анархия идей и разнообразие правил требуют продолжительного времени и разысканий, чтобы уловить и заметить все оттенки сего умственного хаоса». Нам неизвестно, чтобы князь Элим сделал впоследствии хотя бы малейшую попытку ориентироваться в том, что он называет «умственным хаосом» либеральной прессы.

[154] Этот труд упомянут в одном из вышеприведенных писем к Уварову: см. выше, стр. 447.

[155] Публикуемые ниже письма князя Элима и А. А. Краевского сохранились в обширном архиве последнего, находящемся в Публичной библиотеке Ленинграда. Все письма, за исключением первого и последнего писем князя Элима, написаны по-русски.

[156] «Журнал Министерства Народного Просвещения», 1834, март, стр. 317—377; апрель, стр. 78—92; июнь, стр. 444—483.

[157] На обложке Lettres d'un russe (Nice, 1832) мы читаем подзаголовок: De la foi dans la science, aperçu de la réaction philosophique qui se manifeste en Europe en faveur du Christianisme. (Это—заглавие той самой работы, оставшейся в рукописи, которую князь Элим показывал многим лицам).

[158] Князь Элим узнал, без сомнения, что николаевская цензура не пощадила «Литературной Панорамы», как об этом свидетельствует дело цензурного комитета о запрещении распространения в России 6 и 7 выпусков тома III этого обозрения (июнь—июль 1834), в которых был напечатан перевод первой части трилогии Циммермана «Alexis» (Петербургский комитет цензуры иностранной; рапорты за 1834 г.).

[159] Из письма князя Элима к аббату Ботэну от 1 сентября 1834 г. мы узнаем, что эти слова взяты из письма Уварова к князю.

[160] Molitor (Franz-Joseph), Philosophie de la tradition, traduit de l'allemand par Xavier Quris, P., 1834 (Gaume frères et Dondet-Dupré).

[161] Это тот адрес, который князь Элим в одном из предыдущих писем к Краевскому указал, как свой собственный.

[162] Архив министерства народного просвещения. Дело канцелярии министра, карт. № 37, д. № 978а, №№ 805, 128, 018.

[163] Архив революции (Москва). Дело первой экспедиции III отделения № 68—1835 г. «О предположении издавать в Париже новый журнал», на 6 л.

[164] В письме Бенкендорфа Уварову от 4 января 1843 г. пред нами предстает смешное зрелище: глава русской полиции ополчается на защиту национальной щепетильности французов и—еще того лучше!—выступает в качестве литературного критика, свысока осуждающего стихотворные переводы князя Элима.

«...4 января 1843 года граф Бенкендорф писал Уварову по поводу стихотворения Лермонтова «Последнее новоселие», переведенного на французский язык и имеющего появиться (по словам Отечественных Записок) в непродолжительном времени в книге «Morceaux choisis de la poésie russe, traduits par N. N.»*, что считает неприличным издание подобной пьесы и не соответственно отношениям нашим к иностранным державам. Сильные выпады подлинника против Франции усилены переводчиком до неприличной брани. При свободе книгопечатания во Франции русское правительство не может оскорбляться частыми неприязненными отзывами французских писателей, но всякие выпады русских сочинителей против иностранных держав рассматриваются цензурой и тем уже принимают некоторым образом официальный характер. Кроме того, переводы г. М. обличают переводчика в совершенном незнании французского языка и французского стихосложения **, а потому если г. М. имеет в виду ознакомить Францию с нашей отечественной литературой, то не только не достигает предположенной цели, но даже наносит явный вред, искажая известнейших наших сочинителей». Уваров предписал Петербургскому и Московскому цензурным комитетам принять мнение гр. Бенкендорфа в руководство и соображение на будущие времена. («Русская Старина», 1903, кн. 5, стр. 389—390).

[165] Le Duc de Broglie, Le secret du roi, 1, P., 1878, pp. 270—271.

[166] Мы обязаны любезности г. Georges Doublet, весьма осведомленного специалиста по истории Ниццы, этими точными справками, заимствованными из департаментских архивов Приморских Альп. Письмо князя Элима, на которое имеется указание, к сожалению, не сохранилось. Châteaugiron в одном документе, касающемся другого дела, называет Рудольфа де Местра «антигальским губернатором».

[167] «Le Charivari», 8-e année, 70 (lundi, 11 mars 1839), p. 2—анонимный отзыв о «Бореалиях». Критик относится к поэту не менее сурово, чем к политическому деятелю. «Посмертные стихотворения, озаглавленные «Книга любви», образуют первую часть сборника и свидетельствуют прежде всего о таланте гг. Эмиля Дешана, Альфреда де Мюссе, Эдуарда Тюркети, Жюля де Сен-Феликса, Рессегье, Гиро, Бризе, Бошена и других поэтов, с которыми автор жил в тесной дружбе во время своего пребывания в Париже. Но таким дружбам, составляющим прелесть жизни, не дано ни обеспечить

* Как известно, в «Последнем новоселии» говорится о перенесении тела Наполеона I в 1840 г. с острова св. Елены в Париж. Перевод был сделан князем Мещерским. [Примеч. «Рус. Ст.»].

** Против этого места граф Уваров сделал на отношении гр. Бенкендорфа отметку карандашом: «весьма справедливо». В «Отечеств. Записках» было сказано (Белинским), что переводчик владеет значительным талантом для этого рода труда. [Примеч. «Рус. Ст.»].

мертвым длительную память, ни обезоружить непреклонную критику. Впрочем, мы готовы признать, что под тяжелой, шероховатой и поистине запущенной, как борода мужика, формой в «Книге любви» чувствуется известная энергия, которая с годами, возможно, превратилась бы в талант».

[168] «L'Artiste: revue de Paris, Beaux Arts et Belles Lettres», 1845 (IV-e série, t. 4), fasc. du 8 juin 1845, pp. 95—96.

# АЛЕКСАНДР ДЮМА-ОТЕЦ И РОССИЯ

Статья С. Дурылина

Свыше столетия Александр Дюма-отец не сходит с русской сцены: его драма «Генрих III и его двор» появилась у нас впервые в 1829 г., через несколько месяцев после появления ее в Париже, а его «Кин» и доныне исполняется на советской сцене. В течение целого столетия романы и повести Дюма находятся в руках русского читателя: начиная с половины 30-х годов, в журналах появляются переводы первых повестей Дюма, и поток переводов, то ослабевая, то усиливаясь («Собрание романов» Дюма, под ред. П. В. Быкова, в издании Сойкина, выпущенное в 1916—1917 гг., заняло 40 томов), достигает наших дней: избранные романы Дюма с большим успехом переиздаются и в советское время (4-томное издание «Academia», 1928—1929). Дюма в русской литературе пережил неоднократную смену читателей.

В 30-х годах одним из первых русских переводчиков Дюма был основатель русской демократической критики, Белинский, а одним из первых его читателей — Герцен. Дюма усердно переводился в лучших русских журналах 1830—1840 годов и в то же время в подлиннике оставался любимым автором читателей из дворянских особняков и светских гостиных.

В 1850—1860 годах положение изменилось. Тот же Герцен рассматривал успех Дюма в России, как явление отрицательное. Произведения Дюма исчезают со страниц серьезных журналов. В эпоху формирования революционно-демократической идеологии и литературы в России, в эпоху критической деятельности Чернышевского и Добролюбова и появления в литературе произведений Гончарова, Тургенева, Л. Толстого, Салтыкова-Щедрина, дававших правдивую картину застоя русской жизни и ставивших перед читателем вопросы высокой общественной важности,— авантюрно-исторические романы Дюма фельетонного жанра являлись отрицательным образцом того легкого чтения, которое уводило читателя и писателя от больших и сложных вопросов русской политической действительности тех лет.

Но в дальнейшие десятилетия, в реакционную пору 80-х годов, Дюма получает новую роль в русской литературе: он привлекает к книге новые массы читателей. Демократического читателя Дюма приковывал к книге блеском своего повествовательного мастерства,—и этот читатель мало-помалу привыкал искать в приключенческой фантастике Дюма, в его культе сильной личности выхода из скудных рамок русской действительности 1880—1890 годов. Недаром таким благодарным словом поминает Дюма величайший из пролетарских писателей нашей страны, А. М. Горький, для которого Дюма в свое время явился одним из профессоров того «университета» литературы, в котором обучался автор «На дне».

Эту роль Дюма сыграл и в литературе 1905—1917 гг., когда вышло наиболее полное собрание его романов: оно попало в руки учащейся молодежи и широких кругов провинциального демократического читателя.

От лучших романов Дюма, как верно отметил А. А. Смирнов в своем предисловии к советскому изданию «Трех мушкетеров», «веет на нас освежающим, бодрящим, радостным чувством жизни. Романы Дюма насыщены культом силы и мужества». Это не может не создавать им успеха и у советского читателя.

Но Дюма связан с Россией не только через книгу: он был в России, он лично знал ряд выдающихся русских писателей.

Путешествие Дюма по России в 1858—1859 гг. общеизвестно: Дюма посвятил ему 7 томов своих книг «En Russie» и «Le Caucase» и описал его с полнотою рассказчика, довольного своим сюжетом. Но и самому Дюма и всем его биографам остались неведомы те условия, в которых он, в действительности, совершал свое путешествие. Эти условия выясняются только теперь, когда архив III отделения—архив русской тайной полиции—стал достоянием исследователей. Второй очерк предлагаемой работы и приоткрывает на основе новых материалов подлинную картину русского путешествия Дюма.

Первый очерк вскрывает эпизод из биографии Дюма, о котором сам он предпочитал молчать,—его попытку получить русский орден от императора Николая I. Эпизод этот развертывает новую, неизвестную страницу в биографии знаменитого романиста. Она тесно связана с той главой его творческой биографии, которая посвящена его роману «Mémoires d'un maître d'armes» — роману, сюжет которого взят из русской жизни 20-х годов. Первый очерк основан также на неизданном материале.

## I. АЛЕКСАНДР ДЮМА-ОТЕЦ И НИКОЛАЙ I

11 февраля 1829 г.—день первого представления драмы Александра Дюма-отца «Генрих III и его двор» в парижском Théâtre Français—был днем, с которого началась эра его необыкновенного успеха и широчайшей известности. Дата эта вписана крупным шрифтом не только в биографию Дюма, но и в историю романтизма: успех пьесы Дюма был первым триумфом романтической драмы.

Успех Дюма-драматурга быстро перешел за пределы Франции. Через восемь месяцев его «Генрих III» уже шел в Петербурге. В воспоминаниях известной артистки А. М. Каратыгиной читаем: «14-го октября 1829 года играна на нашей сцене первая пиеса А. Дюма «Генрих III и его двор». Герцога и герцогиню де Гиз играли муж мой [В. А. Каратыгин] и я; успех был колоссальный. Через два года Е. М. Хитрово привезла нам полученную ею из Парижа пиесу Дюма «Антоний», которую мой муж перевел для своего бенефиса. Вслед за тем перевел он «Ричарда д'Арлингтона», «Терезу» и «Кина», все три пиесы того же автора. Эти пиесы произвели совершенный переворот на нашей сцене, на которой до тех пор господствовал классицизм, а с тех пор вытеснен был романтизмом». Каратыгина не преувеличивает русского успеха драм и мелодрам Дюма. Их петербургские премьеры обычно следовали за парижскими с промежутком всего в несколько месяцев[1].

Публика, переполнявшая театр в вечера их представлений, состояла не только из обычных его посетителей — чиновничества и купечества, но и из представителей высших кругов дворянства, редко заглядывавших в русскую драму, предпочитая ей балет, итальянскую оперу и французскую комедию. В одном из набросков Пушкина к «Египетским ночам», зарисовывающих петербургский высший свет, «княгиня Д.» замечает: «Вчера мы смотрели „Antony"».

Княгиня вспоминает здесь бенефис В. А. Каратыгина, бывший 11 января 1832 г. и привлекший высшее общество столицы. В профиле самой «княгини Д.», набросанном Пушкиным, приметны черты Е. М. Хитрово, от которой Каратыгин и получил «Antony» Дюма. В другой раз Е. М. Хитрово снабдила новой драмой Дюма самого Пушкина. 9 декабря 1830 г. поэт, только что вернувшийся из Болдина, писал ей: «По возвращении в Москву я нашел у кн. Долгоруковой пакет от вас. Это были французские газеты и т р а г е д и я Д ю м а»[2]. Е. М. Хитрово была ревностной пропагандисткой драматургии Дюма в России, а великий русский поэт не без внимания следил за его драматургической деятельностью.

Шесть лет спустя Н. В. Гоголь был встревожен успехом мелодрам Дюма на русской сцене. В своих «Петербургских записках 1836 года», помещенных в 1837 г. в пушкинском «Современнике», Гоголь, отдавший в этом году в театр «Ревизора», писал с тревогой и возмущением: «Уже лет пять, как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! И пусть бы еще поветрие это занесено было могуществом мановения гения! Когда весь мир ладил под лиру Байрона, это не было смешно; в этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Д ю м а, Дюканы и другие стали всемирными законодателями!.. Клянусь, XIX век будет стыдиться за эти пять лет»[3].

Этот выпад против нашествия мелодрамы (примечательно, что первым в ряду ее творцов назван Дюма) был в устах Гоголя тем естественней и горячей, что как раз в это время автор «Ревизора» возводил здание реалистической комедии, все драматургические и идейные основания которой были противоположны мелодраме.

Статья Гоголя, с тревогой отмечавшая семилетний, все растущий успех Дюма на русской сцене, борется с его мелодраматическим романтизмом во имя того сатирического реализма, который сделал из «Ревизора», шедшего на Александринской сцене рядом с мелодрамами Дюма, обвинительный акт против реакционного режима Николая I.

Но успех Дюма возбуждал тревогу и в другом, противоположном лагере, по совершенно другим основаниям. В том же году, когда появилась статья Гоголя, против Дюма выступил влиятельный театральный критик Фаддей Булгарин. Вспомнив, по поводу первого представления «Кина», ряд мятежных или, по крайней мере, необузданных героев прежних пьес Дюма, этот литературно-театральный агент политической полиции писал в своей рецензии: «Наконец мы видим бешеного Кина, знаменитого развратника, которого Дюма на этот раз выбрал своим героем. Внимательный наблюдатель может заметить одну странную и совершенно ложную идею, постоянно господствующую во всех драмах Дюма. Избрав своим героем какое-нибудь лицо, которое родится с печатью отвержения на лице, человека, которого порядочное общество весьма справедливо не может допустить в свой круг, он силится представить по этому случаю несправедливость людей, всячески унизить их своим героем, надругаться над обществом

его устами. Если метрическое свидетельство ваше в порядке—вы никогда не будете героем Дюма»[4].

Булгарин указывал в этой рецензии если не на политическую, то на социальную неблагонадежность мелодрамы Дюма. Герой его мелодрамы—всегда человек, у которого неблагополучно с его происхождением, или, хуже того,—это человек, который сошел со своего узаконенного социального места и ищет выхода за те пределы, которые существующий общественный строй ставит чувству, воле и мысли отдельной личности.

Русская цензура старалась вытравить из мелодрам Дюма малейший оттенок политической мысли, изъять оттуда мельчайшую деталь свободомыслия. Рассматривая переведенную В. А. Каратыгиным драму Дюма «Ричард Дарлингтон», цензор Ольдекоп докладывал: «Пиеса сия принадлежит к новейшим сочинениям французского искусства, следственно, основана на ужасе, и сочинитель достиг своей цели, прибавляя к сему споры при выборах депутатов для английского парламента... Без сомнения, что сия уродливая пиеса не могла быть представлена на театрах в России, но г. Каратыгин старший, который занимался переводом сей драмы, умел устранить все неприличное и несвойственное для сцены, как, например, весь пролог и выборы депутатов. В сем виде пиеса имеет нравственную цель»[5].

Чтобы сделать драму Дюма цензурной, Каратыгину пришлось выбросить сцену, изображающую такое обычное явление политической жизни Запада, о котором не смел ничего знать верноподданный Николая I.

Однако, мелодрама Дюма делала свое дело, завоевывая репертуар театра столиц и провинции. У нее было и то, что называется succès d'horreur, и то, что зовется succès des larmes: ужасая или умиляя зрителя, она открывала пред ним, приученным к кругозору казенной благонамеренности и прописной мещанской морали, возможность иных чувств, свободу иных желаний, вольность иных стремлений. Романтический яд, хотя и допускаемый для русского зрителя в гомеопатических дозах, оказывал свое действие.

Скоро этот романтический яд Дюма перешел из театра в книгу. Характерно, что одним из первых пропагандистов Дюма-романиста явился будущий идеолог русской демократии, Белинский. В 1834 г. в «Телескопе» Надеждина появились его переводы из А. Дюма—«Месть. Из путевых впечатлений» и «Гора Гемми. Из путевых впечатлений». Суждение критика о Дюма было в ту пору восторженным. Давая отзыв на книгу «Современные повести модных писателей. Собраны, переведены и изданы Ф. Кони», Белинский писал: «Выбор пиес не слишком строг, ибо только первая повесть «Маскарад», которая в кратком, молниеносном очерке заключает глубокую поэтическую мысль и живую картину человеческого сердца и носит в себе яркую печать мощного и энергического таланта знаменитого Александра Дюма, достойна особенно внимания»[6].

Отзыв этот свидетельствует о том, что молодой Белинский был настолько пленен яркостью, страстностью и жизнерадостностью таланта Дюма, что готов был приписать ему и то, чем он никогда не был богат,—глубину мысли и правдивость психологического анализа. Внимательным читателем Дюма в эту эпоху был и Герцен. 5 декабря 1836 г. он писал своей невесте, Н. А. Захарьиной, из вятской ссылки: «Попроси, чтоб тебе достали 16 № «Телескопа», прочти там повесть «Красная роза» [А. Дюма]; ты найдешь в Бианке знакомое, родное твоей душе»[7].

АЛЕКСАНДР ДЮМА (отец)
Фотография, подаренная писателем в России художнику И. Робильяру
Частное собрание, Москва

Успех Дюма у русского читателя был велик и прочен. В тридцатых и сороковых годах переводы его романов и повестей не переставали появляться во всех журналах, без различия направлений,—в «Телескопе», «Библиотеке для Чтения», «Отечественных Записках» и др. В 1829 г. появилось и первое русское издание отдельного произведения Дюма—это был перевод драмы «Генрих III и его двор». За ним последовали отдельные издания повестей и романов. Но апогей русского успеха Дюма-романиста падает на более поздние годы (конец 40-х—50-е годы): в 30-х и в первой половине 40-х годов первенство в успехе бесспорно принадлежит Дюма-драматургу.

Дюма знал об этом успехе. Когда Каратыгин с женою приехали в 1845 г. в Париж, они нашли однажды у себя на столе записку. «Когда мы прочитали записку,—рассказывает А. М. Каратыгина,—то увидели, что это был Александр Дюма-отец, который узнал от встретившегося ему русского, что Каратыгины в Париже. Он приглашал нас в это же утро заехать на минуту в театр Ambigu-Comique, где он будет на репетиции своей драмы «Les Mousquetaires», назначенной к представлению на днях. Мы тотчас же поехали, послали на сцену сказать ему о себе и он побежал к нам с криком: «Arrivez-donc, cher Caratiguine!» [Входите же, дорогой Каратыгин!] и кинулся к мужу моему на шею. На благодарность мою, что он встречает нас как бы старых знакомых, он отвечал, что он действительно давно нас знает коротко, по рассказам наших соотечественников и французских путешественников, и что он считает себя обязанным моему мужу, который перевел лучшие его пиесы и сам с женою разыграл их так, как многие не были разыграны и в Париже»[8].

В среду 10 апреля 1839 г. в Париже, в Théâtre de la Renaissance, состоялась премьера новой драмы Дюма «L'Alchimiste» («Алхимик»).

Драма эта, построенная по тем же чертежам, которые приносили неизменный успех мелодраматическим постройкам Дюма, не встретила приветливого приема у критики. Ф. Боннер в «Revue de Paris» две трети своего отчета о спектакле «Алхимика» посвятил обнаружению тех авторов, из которых обильно черпал Дюма, и прямо указывал, что «Алхимик»—копия драмы «Фацио» англичанина Мильмана (1791—1868)—«копия, сделанная в более холодных тонах, чем оригинал, это правда, но, однако, и менее правдивая, и менее эффектная»[9].

Молва утверждала,—и это подтвердилось впоследствии,—что, плохую или хорошую, эту копию Дюма писал большею частью рукою Жерара де Нерваля, двумя годами раньше написавшего для него же либретто оперы «Piquillo». Позже называли и второго его сотрудника—Корделье-Делану.

Дюма оказывался не совсем чужд преступлению своего алхимика.

Но, как бы ни встречен был «Алхимик» парижской печатью, появление новой драмы прославленного автора было событием парижского дня: Дюма был и оставался неизменным, ни с кем не сравнимым любимцем большой парижской публики.

12 мая 1839 г.—задолго до того, как «Алхимик» Дюма появился в печати—один из бесчисленных знакомцев Дюма, французский журналист, имя которого мы тщетно бы искали в словарях, бывший редактор «Journal de Francfort», Шарль Дюран (Charles Durand, ум. ок. 1848), обратился со следующим письмом к русскому министру народного просвещения Уварову:

*Перевод:* Секретно

Его превосходительству графу Уварову
министру народного просвещения в России

Ваше превосходительство!

Возвратясь в Париж после десятилетнего отсутствия, я не могу передать вам в одном письме все перемены, которые я нашел там как в людях, так и в делах. Теории легитимистов забыты; республиканские павианы укрощены; примирение принято по необходимости и за неимением лучшего; интересы перестают мало-помалу называться мнениями, и все разумные люди превратились в людей деловых,— вот зрелище, которое нельзя себе представить сразу. Одним из сюрпризов, наиболее приятных для меня, было видеть, что смешное предубеждение, существовавшее во Франции против того, кто является самым священным в вашей стране и в ваших сердцах, если и не вполне уничтожено, то, во всяком случае, в большей мере изжито. Газеты не смеют еще отречься от предубеждения, но у людей уже почти у всех открылись глаза не столько на политику, сколько на личность вашего великого императора.

Граф Молэ, г. Монталива и г. Гаспарен мне подробно говорили о нейтралитете, который намеревается сохранить Франция во всех восточных делах, и о короле Луи-Филиппе, который всегда сожалеет о том, что он не может открыто действовать для России без риска поссориться с Австрией, т а к ж е с и л ь н о н а с т р о е н н о й п р о т и в в а с, к а к и А н г л и я (дословно). Либеральные журналисты из снисходительности принимают то тут, то там несколько мелких статей какого-нибудь польского графа, но сами они их больше не пишут, и ваше превосходительство были бы сильно поражены теми признаниями, которые, как слышу, делают многие из них, а именно: что до сих пор очень плохо знали свойства личности императора. Отличие, пожалованное Орасу Верне, было прекрасным политическим жестом. Все артисты Франции почувствовали себя награжденными или призванными к награде, и имя императора Николая стало популярным среди них.

Со старой литературой покончено. В новой подымаются два замечательных человека: Гюго, великий поэт и, по моему мнению, посредственный драматург, и Дюма (Александр)—самая плодовитая драматургическая голова нашего времени, хотя, как поэт, он уступает Ламартину и Гюго.

Первое место, занимаемое Александром Дюма в драматургическом мире, озарено особенно ярким блеском в тот момент, когда весь Париж склоняется одновременно перед «M-lle de Belle-Isle» у «французов» и перед «Алхимиком» в театре «Renaissance».

Поднести свой манускрипт его величеству императору Николаю в знак уважения и удивления—вот мысль нашего первого писателя-драматурга. Он просил у меня совета, к кому он должен обратиться с просьбой низложить к стопам императора драму, написанную его рукой, с несколькими маленькими украшениями, сделанными его друзьями—первыми художниками Парижа. Я, радуясь, что французское образованное общество идет по пути, который я имел честь первый указать всем благомыслящим, посмел обещать Александру Дюма адресовать его манускрипт вам, лично вам, так как близко знаю ваш благородный характер и высокую просвещенность, с просьбой довести его рукопись до высокого назначения.

Примите, ваше превосходительство, эту миссию, достойную вас, она, может быть, тронет сердце его величества.

Не безразлично видеть такие почести, оказываемые императору от сердца страны, где он так долго был неизвестен, человеком сердечным и талантливым, достойным подать великий пример своим соотечественникам.

Ввиду того, что это письмо вполне секретное, я покорнейше прошу ваше превосходительство принять следующее замечание, как переданное в совершенной тайне.

Император Николай роздал несколько наград. Вполне возможно, что его величество сочтет своим долгом ответить на почтительное подношение Александра Дюма почетным знаком своего императорского благоволения. В таком случае, ваше превосходительство, для того, чтобы нанести парижским полякам удар сокрушительный и необходимый, не было ли бы уместно посоветовать его величеству пожаловать именно орден св. Станислава 2-й степени?

Если наши первые французские гении будут награждены царем, то не благоугодно ли было бы видеть их прогуливающимися перед поляками и их друзьями, нося на шее польский орден, пожалованный единственным истинным властителем Польши?

Ваше превосходительство обдумаете эту мысль, которую я вам почтительнейше представляю, прибавляя, что г. Дюма уже награжден несколькими орденами.

Благоволите принять уверение в преданности, вопреки времени и расстоянию, граф,

вашего превосходительства покорнейшего слуги

Ш. Дюрана

Париж, 12 мая 1839 г.[10].

Это «письмо» французского журналиста есть секретное донесение тайного агента русского правительства. Агентом, с согласия Николая I, Дюран состоял с 1833 г. Он находился в прямых сношениях с шефом жандармов графом Бенкендорфом, которому посылал свои письма, обращая их к вымышленному «monsieur de Saint-George». В конце 1834 и начале 1835 гг. Дюран приезжал в Петербург и был представлен самому императору. Дюран занимал место главного редактора «Journal de Francfort», издававшегося бароном де Врэн (de Vrints) в консервативно-монархическом духе с целью противодействовать либерализму французской демократической печати. В тайной депеше графа Меттерниха, посланной из Вены графу Бенкендорфу от 27 апреля 1839 г. (следовательно, за полмесяца до письма Дюрана к Уварову), мы читаем: «Уже несколько лет, как петербургский и берлинский кабинеты, наряду с нами, признали полезным влиять на консервативное направление «Франкфуртского Журнала». Вашему превосходительству известно, что г-н Дюран, главный редактор газеты, получал до сих пор субсидию от наших трех правительств. Этот журналист, обладающий несомненным талантом, посвящал этому делу свое перо не столько по убеждению, сколько из-за выгоды»[11].

Доволен ли был прусский коллега Меттерниха работой Дюрана во «Франкфуртском Журнале», издаваемом на русско-прусско-австрийские деньги, мы не знаем, но русские заказчики Дюрана были отменно довольны его трудами. В письме к «Сен-Жоржу»—Бенкендорфу от 30 июня 1839 г.

Дюран, напоминая ему о каком-то исполненном поручении в Теплице, писал: «Там я имел честь вас видеть и убедился, что моя деятельность ни в чем не вызвала вашего неудовольствия. Вы были так добры, вы подтвердили, что мной доволен человек [Николай I.—*С. Д.*], которому я хочу угодить больше, чем кому-либо на земле. Я был счастлив. Если

АРАМИС ПОРТОС

Статуэтки императорского фарфорового завода, 1840—1850-е гг.
Музей керамики, Кусково

вам угодно вспомнить, я имел честь спрашивать вас, одобряете ли вы то направление, в котором велся журнал в последнее время. Вы мне совершенно справедливо ответили, что именно в журнале подобного рода Россия может получать защиту. Это мнение открыло мне глаза на многое. С тех пор меня не покидала мысль вернуться во Францию. Я вспоминал слова императора, голос которого до сих пор звучит в моих ушах:

«Господин Дюран, я никогда не забуду, что вы первый в Германии осмелились защищать истину». Тогда я сказал себе: «Почему же я не могу сделать в Париже того, что я сделал в Германии?».

Уход Дюрана из редакции «Франкфуртского Журнала» и переезд его в Париж, о котором Меттерних заранее, до настоящего письма Дюрана, с неудовольствием предуведомил Бенкендорфа, объяснялись просто: поднявшая голову бонапартистская оппозиция перекупила ловкого журналиста для того, чтобы поставить его во главе бонапартистского издания «Le Capitole». Но, переходя в лагерь сторонников будущего Наполеона III, Дюран никак не хотел оставлять своей службы Николаю I. Наоборот, он заверял, как истый верноподданный, что именно «ради пользы службы» царю ему следует переехать из Франкфурта в Париж и стать во главе бонапартистской газеты. Он ставил пред Бенкендорфом вопрос: в какой парижской газете выгоднее всего обосноваться литературному агенту Николая I для того, чтобы успешнее всего действовать в интересах русского царя и его правительства? Связаться с католической прессой («Quotidienne») невозможно: там не выносят Николая I за то, что он нанес удар папе насильственным уничтожением унии в Литве и Белоруссии. «Легитимисты во Франции», предваряет Дюран Бенкендорфа, «заключили тайный союз против императора с иезуитами в Литве и с католическими патриотами в Польше. Церковь никогда не прощает. Мои попытки связаться с «Journal des Débats» были тщетны: повидимому, он субсидируется Англией». Министр внутренних дел Людовика-Филиппа, граф де Монталива, по словам Дюрана, «заигрывал» с ним, предлагая участие в газете, близкой к правительству. «Я ответил министру: „В продолжение семи лет я постоянно поддерживал русскую идею, чувствуя нечто вроде поклонения к России и ее императору. Несмотря на всю справедливость моей идеи, она пока еще не популярна во Франции. И для ее распространения и укрепления вы хотите соединить меня с г-ном Жирарденом и с «La Presse», т. е. с самым непопулярным человеком и самой непопулярной газетой в Париже?“».

Дюран отлично осведомлен, что Николай испытывал презрение к Людовику-Филиппу, считая его похитителем престола, колебателем всех основ легитимизма, защищать которые русский император почитал своим призванием. Вот почему Дюран с особым удовольствием спешит доложить Бенкендорфу: «По моему глубокому убеждению, младшая линия будет царствовать недолго. Короля ненавидят. Самые влиятельные из близких к нему людей так запачканы, что нельзя выразить испытываемое к ним презрение». Буржуазия оставила своего ставленника. Вспоминая недавнее революционное выступление бланкистов, Дюран со злорадством замечает: «В последних беспорядках участвовало не больше четырехсот или пятисот бродяг, которые в течение двух дней держали правительство в замешательстве, и ни один буржуа не схватил ни одного бунтовщика за шиворот». С достаточною зоркостью опытного шпионского глаза Дюран предрекает: «Конец подходит уже явно, потому что недовольство охватило всех. Несомненно, совершенно несомненно, что во Франции готовится новая революция. Вопрос только в том, в чью она будет пользу?».

Сам Дюран уверен, и сыщицкое чутье его не обмануло, что переворот (а не революция, как он пишет) в конце концов будет в пользу Луи-Наполеона.

Но каковы бы ни были зигзаги истории,—утверждает агент Бенкендорфа,—«для императора Николая могут быть благоприятны разные комбинации».

Одной из таких комбинаций и является та, которую Дюран намерен

проводить в новой бонапартистской газете. «Читайте внимательно выходящие номера,—просит Дюран шефа жандармов,—ваш острый ум скоро увидит сквозь либеральную оболочку, необходимую для французского читателя [газета Дюрана заигрывала даже с рабочими.—*С. Д.*], тайную мысль автора—сильная монархия, крупное военное имя, союз с Россией и ненависть к Англии».

Бенкендорф наложил на донесении Дюрана резолюцию: «Ответить ему, что с удовольствием читаю le Capitole, но боюсь, что на зыбкой почве Франции его основания не очень устойчивы»[12].

Другою—гораздо более маленькою—«комбинацией» Шарля Дюрана в пользу Николая I было предпринятое им обращение популярнейшего писателя Франции в приверженца и поклонника Николая I.

С этой «маленькой комбинацией» Дюран обратился и к более мелкому лицу из правящей петербургской верхушки. С министром народного просвещения, С. С. Уваровым, Дюран был знаком еще со времени своего пребывания в Петербурге. У Уварова в Париже было два своих «корреспондента министерства народного просвещения»—князь Элим Мещерский (1808—1844, с 1833 г.), чьей миссией было пропагандировать в парижских литературных кругах официальную идеологию империи Николая I, и Я. Н. Толстой (1791—1867), призванный защищать на почве французской журналистики политические интересы самодержавия и посылавший свои «корреспонденции» больше (а потом и исключительно) шефу жандармов, чем министру народного просвещения[13]. Дюран становится третьим «корреспондентом» министра народного просвещения. Его «корреспонденции» Уварову носят совершенно такой же характер, что и донесения Бенкендорфу: они озабочиваются повышением курса Николая I на бирже парижского общественного мнения. Но Уварова Дюран держит в стороне от тех сложных парижских политических контраверз, в которые до глубины посвящает Бенкендорфа: quod licet Jovi, non licet bovi. Так, Бенкендорфу,—правда, на полтора месяца позже,—Дюран открывает в подробностях, как низко пал политический курс Людовика-Филиппа, и не скрывает, что еще ниже стоит в Париже курс Николая I. Уварову, наоборот, Дюран «корреспондирует», что все обстоит благополучно.

Оказывается, «король-гражданин»—ревностный сторонник царя-самодержца: он охотно поддержал бы Николая I в его наступательной по литике на Востоке, если бы не опасения нарваться на осложнения с Австрией. Недавний, на одну треть своих шпионских возможностей, слуга Меттерниха, Дюран шепчет Уварову на ухо, в надежде, что шопот дойдет до Николая I, совет короля—опасаться дружбы с Меттернихом, которому, после свидания с императором Францем в 1833 г., Николай вернул свое полное доверие. Свои приятные новости Дюран слышал, по его словам, из первоисточников: глава правительства граф Моль (Louis-Mathieu Mole, 1781—1855), образовавший в 1837 г. реакционный кабинет, просуществовавший до 1839 г. включительно, его ближайший помощник, министр внутренних дел граф де Монталива, и, наконец,граф де Гаспарен (Gasparin, 1783—1862), член палаты пэров в 1836 г., бывший министр внутренних дел—вот те лица, которые осведомили Дюрана о приятных для русского министра новостях.

Но самые приятные новости впереди. Они связаны с намечающейся переменой в отношениях французского общества к польскому вопросу. Известно, каким взрывом ненависти был встречен в Париже восемь лет

назад разгром польского восстания 1831 г. Теперь—если поверить Дюрану на 100%, а ему следует верить на 10%—теперь не то: интерес к Польше идет на убыль, а вместе с тем убывает и прежнее негодование против ее поработителя. Дюран, однако, не сочиняет, он только преувеличивает: установившийся режим крупной буржуазии меньше всего был способен рисковать потерей хотя одного франка из-за политической и военной поддержки Польши, но в то же время мало переменился в своих чувствах к петербургскому обер-полицеймейстеру Европы. Дюран был прав в одном, в указании на рост реакционных настроений буржуазной Франции: в тот самый день, когда он писал свою «корреспонденцию» Уварову, 12 мая 1839 г., в Париже было раздавлено революционное выступление бланкистов. Дюран спешит поделиться с Уваровым планом использования этих реакционных настроений для попыток реабилитации имени Николая I во французском общественном мнении. Русский император должен, согласно этому плану, поправить свою плохую репутацию, выступив в Париже под гримом покровителя искусств и литературы.

Сделать это,—полагает Дюран,—тем легче, что еще недавно на глазах Франции и Европы Николай I отлично сыграл роль такого покровителя. Дюран имеет в виду придворный триумф, устроенный в Петербурге знаменитому живописцу Орасу Верне (1789—1863). Признанный первым баталистом своего времени, Верне мог бы считаться и одним из лучших дипломатов своей, богатой переменами, эпохи. В 1811—1815 гг. он прославлял своею кистью походы Наполеона I, пожаловавшего ему за это орден Почетного легиона. Реставрация не помешала Верне сделаться в 1826 г. членом Академии художеств и заручиться покровительством герцога Орлеанского, а через него и милостью Карла X. Верне стал теперь живописать баталии Людовика XIV. Любой император и король Европы готов был признать его великим художником, так как каждый мечтал видеть его летописцем своих военных предприятий и придворных парадов. Слегка повздорив с Людовиком-Филиппом, требовавшим изобразить Людовика XIV на «Осаде Валансьена», при которой он не присутствовал, Верне, занимавший в это время пост директора «Королевской академии изящных искусств» (l'Académie Royale des Beaux Arts), решил поискать другого заказчика, покрупнее и пощедрее. Николай I знал, что никто лучше Верне не мог бы составить живописных реляций потомству об его победах над турками и поляками, и потому сам первый поднял пред знаменитым баталистом шлагбаум в Петербург.

Парижский меценат с русскими миллионами и итальянским титулом князя Сан-Донато, Анатолий Демидов, состоявший при русском посольстве в Париже, писал 16/28 мая 1836 г. министру императорского двора князю П. М. Волконскому: «Его величество император уже давно говорил маршалу Мезону и г-ну Баранту [французским послам при русском дворе.—*С. Д.*] о своем желании видеть Ораса Верне в России. После предложений, сделанных ему г-ном Ладурнером (Ladurneur), он вступил с ним в переписку. Убедившись, что его приезд будет приятен императору, он решился отправиться в Петербург. Спешу известить вас, что он поедет в середине июня на пароходе и прибудет в конце месяца. Прошу вас известить его величество об этом приезде. Хотя репутация г-на О. Верне слишком хорошо известна и заслуженна, чтобы нуждаться в рекомендациях, осмеливаюсь просить для него вашей благосклонной поддержки, будучи уверен, что вы окажете ему наилучший прием. Мы все должны

КАРИКАТУРА
НА АЛЕКСАНДРА ДЮМА (отца)
„Карикатурный Пантеон", 1841 г.

гордиться тем, что можем оказать гостеприимство в нашей стране столь крупному художнику, пребывание которого в нашем отечестве еще более выдвинет его»[14].

Желанный гость Николая I, Верне встретил в Петербурге блистательный прием. Верне был, как говорили в ту пору, «обласкан» царем. Император, а за ним и петербургская знать завалили Верне заказами. Верне писал для Николая батальные картины, дворцовые и гвардейские сцены, делал эскизы трех коронаций—Павла I, Александра I, Николая I и т. д. Батального живописца Николай I награждал по-батальному: при посещении им Царскосельского арсенала, 17 июля 1836 г., царь подарил ему «четыре предмета оружия». 18 августа 1836 г. последовал «Указ» Николая I «капитулу российских императорских и царских орденов»: «В ознаменование благоволения нашего всемилостивейше жалуем кавалером императорского и царского ордена нашего святого Станислава третьей степени французского подданного живописца Гораса Вернета, повелевая капитулу снабдить его орденским знаком при установленной грамоте»[15]. Николай пожаловал французского баталиста п о л ь с к и м орденом, принятым в число российских орденов при присоединении Польши. В один из следующих приездов в Россию Верне отблагодарил Николая I за польский орден картиной, воспевающей крупнейшую польскую победу царя, предшествовавшую падению Варшавы в 1831 г.,—«Взятие укрепления Воли». Николай I щедро платил художнику (так, за картину «Шествие их величеств из Царскосельского арсенала в карусель» было заплачено 50 000 франков)

и осыпал его подарками (художнику были подарены рысак с санями, яшмовая чаша и т. д.). В 1843 г. Верне были пожалованы алмазные знаки ордена св. Анны 2-й степени[16].

Целый поток золота, подарков, наград! За все это Орас Верне оставил Николаю I целую галлерею картин, создавших апофеоз царской — придворной и военной—России. Апофеоз этот писался слишком двадцать лет. В 1839 г. было видно только его начало, но это начало было так удачно, что Дюран желал повторить с блестящим французским писателем то, что уже осуществилось с замечательным художником: Дюма должен был сыграть роль второго Верне.

Роль эта должна была быть проведена сходно до подробностей: до Станислава, жалуемого Николаем для того, чтобы дразнить им польских эмигрантов, живших в Париже.

Писательская известность Дюма представлялась Дюрану гораздо шире, чем известность Гюго: имя Дюма было на устах тех, кто не заглядывал в иные книги, чем романы Дюма, или даже тех, кто не заглядывал ни в какие книги, но посещал театр, где Дюма был первым драматургом по популярности. Орден, данный Николаем I, будет на груди Дюма виднее, чем у любого из других французских писателей. Успех у широкой публики одновременно двух драм Дюма—«Алхимика» в театре Ренессанс и «M-elle de Belle-Isle» в Comédie Française (2 апреля 1839)—делал эту царскую награду особенно приметной и демонстративной.

Насколько Гюго был неблагонадежен с точки зрения царского сыска на парижской территории, настолько в благонадежности Дюма невозможно было сомневаться. Дюма отнюдь не тяготился покровительством власть имущих, не мудрствуя лукаво об источниках и существе их власти. Он только любил, чтобы, покровительствуя, его не оставляли знаками этого покровительства.

Дюран, как опытный агент по литературно-политическим делам, действовал наверняка, внушая честолюбивому Дюма мысль «повергнуть к стопам» русского императора своего «Алхимика», а Уварова склоняя содействовать этому предприятию.

Успех Ораса Верне при дворе Николая I был в устах Дюрана лучшим аргументом в пользу его предложения—и Дюма признал его исчерпывающую вескость: он приготовил парадный экземпляр «Алхимика» для подношения Николаю I. Уже по письму Дюма к царю, сопровождавшему этот писательский дар, Уваров мог заключить, что пышная риторика знаменитого писателя, читаемого всей Европой, могла удовлетворить самым строгим требованиям почтительнейшего угодничества, к которому привык царь.

Дюма писал Николаю I:

*Перевод:*

Государь!

Не только к самодержавному властителю великой империи осмеливаюсь я обратить дань своего благоговения, но и к наиболее просвещенному монарху-цивилизатору, который своими личными достоинствами сумел среди этой бурной эпохи заставить всю Европу отдать должное его познаниям, его воздержанности, его любви ко всем созданиям образованности.

Государь, в наш век, столь материалистический, поэт и артист спрашивает себя: остался ли еще на свете хотя бы один покровитель искусства, который воздал бы должное их славному и бескорыстному служению?—и они с удивлением и восхищением узнают, что божественному провидению угодно было именно на престол великой империи Севера поместить гения, способного их понять и достойного быть ими понятым.

Государь, я позволяю себе с благоговением, в надежде, что мое имя ему небезызвестно, поднести в виде дара мою собственноручную рукопись его величеству императору всея России.

И когда я писал ее, то был воодушевлен надеждой, что император Николай, покровитель науки и литературы, не посмотрит с безразличием на писателя Запада, записавшегося в число первых, наиболее искренних его почитателей.

Остаюсь с благоговением, государь,
вашего величества покорнейший слуга
Алекс. Дюма[17]

Уваров был опытный делец в области западно-европейской литературной политики Александра I и Николая I: недаром он так хорошо умел, прикрываясь титулом «друга Гёте», направить несколько ручейков мировой славы автора «Фауста» на мельницу русского самодержавия,—он сразу оценил, какой эффект произвело бы на европейского читателя письмо Дюма к Николаю I, напечатанное в виде посвящения к его драме, которой, конечно, суждено было быть не только под биноклем парижского зрителя, но и в руках европейского читателя. Николай I изображался в этом посвящении покровителем высокого идеалистического искусства в грубый «материалистический век», выставлялся «блистательным монархом-просветителем». Приобрести для Николая эти имена, взамен столь широко известных имен угнетателя Польши и обер-полицеймейстера Европы, было бы недурным завоеванием литературной дипломатии. Уваров не мог не знать о крупном успехе Дюма у русского читателя и зрителя, и та аттестация, которую знаменитый французский писатель давал Николаю I в своем посвящении, была пригодна и для внутреннего употребления. Она гласила читателям Пушкина и других русских писателей, преследуемых царями: излюбленный вами, прославленный во Франции и во всей Европе писатель чтит нашего императора, как величайшего деятеля культуры.

Свое послание к Николаю I Дюма подкрепил письмом к Уварову. Из него видно, что Дюран и Дюма замышляли поднести «Алхимика» русскому царю еще до представления пьесы на сцене. Почему это не случилось, мы не знаем. Письмо Дюма полно похвал Уварову: Дюма восхваляет в нем меценатство вельможи, «великие труды» ученого и государственную деятельность министра. Эта триада восхвалений показывает, что Дюма усердно слушался указаний Дюрана, отлично знавшего, чем и как угодить честолюбию одного из своих заказчиков. Письмо Дюма было, в глазах Уварова, отличным образцом писательской почтительности, которой ему так приятно было тешить свой слух после убийственно-непочтительного послания Пушкина («На выздоровление Лукулла», 1835), называвшего министра «большим негодяем» и «шарлатаном».

*Перевод:*

Его превосходительству г-ну Уварову,
министру народного просвещения

Господин министр,

Императорский двор С.-Петербурга, где царствует один из наиболее просвещенных монархов, которыми когда-либо обладала Европа, естественно, приковывает взоры писателей и артистов.

Со своей стороны, желая отдать его императорскому величеству дань моего благоговения, я взял на себя смелость поднести ему манускрипт одной из моих драматических работ перед представлением ее в Париже. На мои вопросы г. Дюрану о способе, которым лучше всего можно было бы довести до его величества мое подношение, он указал мне на ваше превосходительство, как на наиболее естественного посредника, и обязался, имея честь быть с вами знакомым, передать посылку вашему превосходительству. Я опускаю из скромности, которая мне, однако, дорого стоит, те подробности, которые дал мне г. Дюран относительно вашего превосходительства, как о вашем покровительстве искусству, так и о ваших великих трудах и, наконец, об ответственном политическом посте, который занимает министр народного просвещения в великой империи, где литература и наука так прекрасно направлены на путь прогресса.

Я ограничусь тем, что выражу вашему превосходительству, насколько я польщен тем, что мое имя вам небезызвестно, и как я буду счастлив, если именно по вашей рекомендации его величество бросит взгляд на манускрипт, который я имел честь ему преподнести. Благодаря посольству во Франкфурте, пакет адресован вашему превосходительству. Г-н Дюран, вооруженный этой миссией [неразобр.], что пакет последовал своему назначению. Будет большой радостью, г. министр, если я узнаю, что это послание не имело несчастья вам не понравиться и что вы согласны почтить мой литературный труд вашим блестящим покровительством перед его величеством.

Имею честь оставаться с глубоким уважением, г. министр,
вашего превосходительства покорный слуга
Алекс. Дюма

Кавалер орденов Бельгийского льва,
Почетного легиона, Изабеллы католической[18].

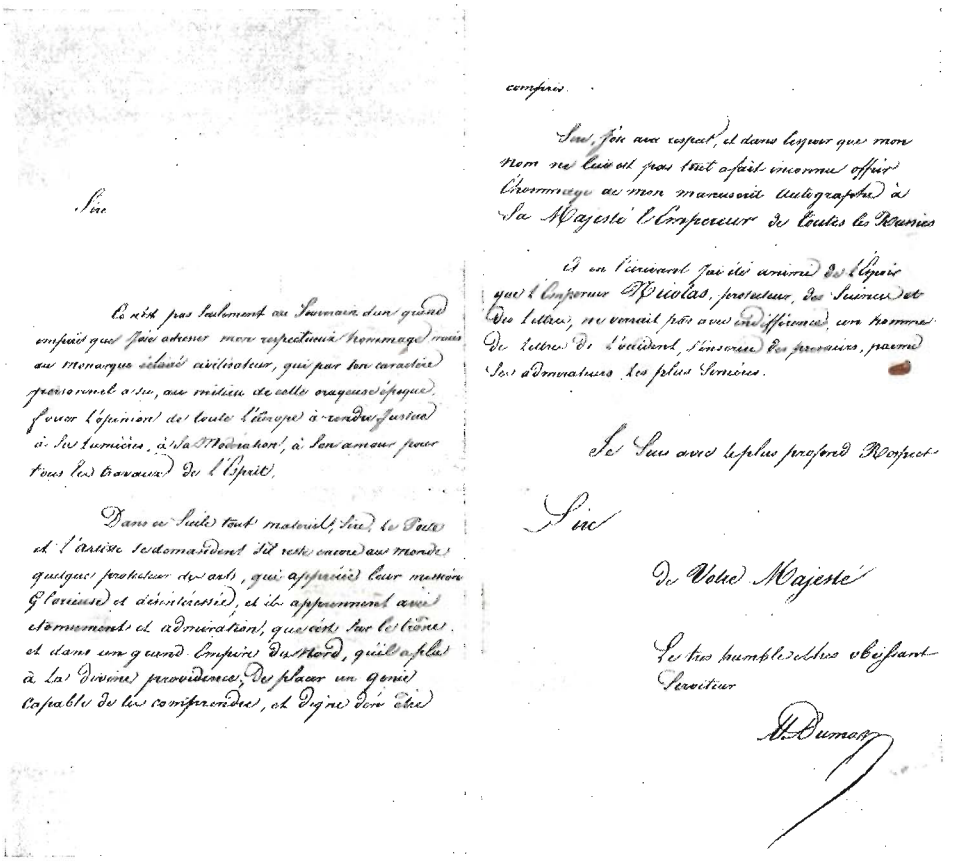
Подпись Дюма под письмом перечисляла его ордена: кроме нового бельгийского ордена Льва и Почетного легиона, он был кавалером испанского ордена «Изабеллы Католической». Все это мимоходом сообщалось автором «Алхимика» Уварову, чтобы он не забыл, что Дюма очень хочется, по примеру Верне, быть кавалером российского «святого Станислава», присвоенного от Польши.

Организатор всего предприятия, Шарль Дюран, со своей стороны, в особом письме предупреждал С. С. Уварова, что он должен быть единственным цензором посылаемой драмы Дюма и что «он один останется судьей в вопросе, повергать ее или нет к стопам его величества».

Самую доставку рукописи Дюма в Петербург Дюран организовал особым образом. Он направил пакет во Франкфурт, к П. Убри, русскому посланнику при Германском союзе, с которым был хорошо знаком в ка-

честве редактора «Франкфуртского Журнала», причем заранее предупредил его особым письмом об этом пакете. Убри, в свой черед, послал пакет не прямо в Петербург, а кружным, но более верным путем: через Гамбург, откуда, сопровождая принца Ольденбургского, отъезжал в Петербург некий граф Толстой[19].

Дюран не хотел, чтобы кто-нибудь из непосвященных узнал о подношении Дюма, которое могло быть отвергнуто не только тем, кому предназначалось, но и отстранено предварительным ценителем романтического дара французского писателя русскому царю—С. С. Уваровым.



Sire

Ce n'est pas seulement au Souverain d'un grand empire que j'ose adresser mon respectueux hommage mais au Monarque éclairé civilisateur, qui par son caractère pacifique a su, au milieu de cette orageuse époque, forcer l'opinion de toute l'Europe à rendre justice à ses lumières, à sa Modération, à son amour pour tous les travaux de l'Esprit.

Dans ce siècle tout matériel, Sire, le Poète et l'artiste seraient-ils restés encore aux mondes quelques protecteurs des arts, qui appréciés leur mission Sacrée et désintéressée, et les apprécient avec étonnement et admiration, du haut de leur trône, et dans un grand Empire du Nord, qu'il a plu à la Divine providence de placer un génie capable de les comprendre, et digne d'en être compris.

Sire, j'ai cru respect, et dans le cas que mon Nom ne fut pas tout à fait inconnu offrir l'hommage de mon manuscrit autographe à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies

Et en l'envoyant j'ai été animé de l'espoir que l'Empereur Nicolas, protecteur des Sciences et des Lettres, ne verrait pas avec indifférence un homme de Lettres de l'occident, s'honorer des premiers, parmi Ses admirateurs les plus Sincères.

Je Sire avec le plus profond Respect

Sire

De Votre Majesté

Le très humble et très obéissant Serviteur

A. Dumas

АВТОГРАФ ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА ДЮМА (отца) К НИКОЛАЮ I, 1839 г.
Ленинградское отделение Центрального исторического архива

В начале июня 1839 г. «Алхимик» достиг, наконец, Петербурга.

Уваров ознакомился с рукописью Дюма, с его письмом к царю и донесением Дюрана и во всем согласился с последним: драма Дюма показалась ему пригодной для того, чтобы быть «повергнутой к стопам» Николая I, а представленные Дюраном мотивы, по которым следовало это сделать, показались вполне уважительными.

8 июня н. ст. (27 мая ст. ст.) Уваров «поверг» рукопись «Алхимика» пред Николаем I вместе со следующим «всеподданнейшим докладом»:

При письме бывшего редактора Франкфуртского журнала Карла Дюрана, в подлиннике при сем прилагаемом, получил я из Парижа от

известного писателя Александра Дюма собственноручный список драмы: «l'Alchimiste. Эту рукопись, украшенную виньетами Изабея и других художников, Александр Дюма подносит вашему императорскому величеству; в письме его на высочайшее имя излагает он побуждения свои к сему приношению.

Если бы вашему величеству угодно было, милостиво приняв этот знак благоговения иноземного писателя к августейшему лицу вашего величества, поощрить в этом случае направление, принимаемое к лучшему узнанию России и ее государя, то я со своей стороны полагал бы вознаградить Александра Дюма пожалованием ордена св. Станислава 3-й степени. Почетное место, занимаемое им в ряду новейших писателей Франции, может дать Дюма некоторое право на столь отличный знак внимания вашего величества, тем более, что в отношении к заграничным литераторам пожалование им российских орденов не подчиняется узаконенным формам обыкновенной службы.

Сергей Уваров[20]

В своем «докладе» царю Уваров повторил предложение Дюрана наградить Дюма орденом Станислава, но осторожно понизил степень ордена: вместо 2-ой степени, предлагаемой Дюраном, поставил 3-ю, которую в свое время получил Верне. Вместо своей мотивировки, почему должно наградить Дюма именно Станиславом, Уваров приложил к донесению подлинник письма к нему Шарля Дюрана, отлично зная, что парижский агент лично известен Николаю I.

Любопытно, что министр обратил внимание царя на художественную ценность рукописи Дюма: именно таков смысл упоминания имени одного из ее украсителей. «Изабей»—это превосходный акварелист Евгений Изабе (Louis-Eugene-Gabriel Isabey, 1863—1886), сын и ученик Ж.-Б. Изабе. (Примечательно, что впоследствии этот иллюстратор «Алхимика» Дюма написал две картины—«Алхимик», одну в 1845, другую в 1865 г.)[21].

Препровождая Николаю I рукопись драмы Дюма и его письма, Уваров осторожно уклонился от собственного суждения о них: он предоставил Дюма самому говорить за себя.

Осторожность была не лишней.

Резолюция Николая I оказалась далеко не в тон планам Дюрана с Уваровым и чаяниям самого Дюма.

На докладе Уварова «его императорского величества собственной рукою» написано карандашом:

«Довольно будет перстня с вензелем».

Пожалование «императорским и царским орденом» есть государственная награда: полученная от главы государства, она ставит награжденного в известные почетные отношения к данному государству и его верховной власти, публично свидетельствуя о заслугах награждаемого пред государством. Наоборот, награждение «перстнем», хотя бы и с вензелем императора, есть простой подарок, который, по воле дарящего, может быть вручен любому лицу, без всякого отношения к государству и к заслугам пред ним.

Заменяя орден перстнем, Николай, вопреки планам Дюрана и Уварова, отказывался придать награждению Дюма характер государственного акта, имеющего политическое значение, а только отдаривал его подарком за подарок, ценным перстнем за художественный манускрипт.

Самая форма резолюции: «Довольно будет...» свидетельствует о явном недовольстве Николая I предложением дать Дюма орден: такое награждение французского драматурга представлялось царю чрезмерным и незаслуженным.

Почему же Николай I, не пожалевший Станислава для Ораса Верне, решительно воспротивился дать его Дюма?

Уваров оказался недостаточно осведомленным в театральных вкусах Николая I. Вот что читаем в записках А. М. Каратыгиной, жены любимейшего актера Николая I, прозванного А. И. Герценом «лейб-гвардейским трагиком»: «Государь вообще не любил переводных драм и бывал доволен, когда мы [трагик В. А. Каратыгин и его жена] брали в бенефисы свои оригинальные произведения.

— Я бы чаще ездил тебя смотреть,—говорил он моему мужу,—если бы не играли вы таких чудовищных мелодрам. Например, сколько раз зарезал ты в нынешнем году или удушил жену твою на сцене?!..»[22].

Николай I любил мелодрамы, но мелодрамы отечественного производства—Н. В. Кукольника, Н. А. Полевого, П. Г. Ободовского, где весь сюжет, все действие основаны на догматах официальной идеологии: «православие, самодержавие, народность». Частый посетитель театра, Николай постоянно бывал на патриотических мелодрамах Полевого («Параша-Сибирячка», «Купец Иголкин») и Кукольника («Рука всевышнего отечество спасла», «Скопин-Шуйский»), ценил их удачливую пропаганду официальной идеологии и награждал их авторов и актеров ценными подарками. Драма Дюма—как и целый ряд подобных мелодрам—была совершенно лишена этих достоинств; наоборот, она была сомнительна, благодаря своему живому изображению безудержных страстей и необузданных чувств. Вспомним приведенные выше отзывы цензора и Булгарина о драмах Дюма, шедших на петербургской сцене; отзывы эти почти буквально совпадают с только что приведенным суждением Николая I: бурная «неистовость» романтических героев граничила, по мнению царя и его слуг в цензуре и в критике, с неблагонадежностью их авторов.

Самая рекомендация Дюрана в глазах Николая I была не на пользу Александру Дюма: царь знал, что осторожный Меттерних предупреждал Бенкендорфа, что Дюран переходит на сторону бонапартистов, а к этим последним и к их претенденту, Людовику-Наполеону, царь питал столь же мало симпатии, как и к Людовику-Филиппу. И рекомендатель, и рекомендуемый, и Дюран, и Дюма, оба были, по мнению царя, представителями Франции, «изменившей» «законному» королю и кипящей революционным брожением,—той Франции, которую Николай I считал враждебной своему самодержавию.

Вот почему Николай I согласился наградить Дюма за манускрипт «Алхимика», за вещь, подносимую в подарок царю, но решительно отказался наградить Дюма за драму—за литературное произведение.

Через полгода «Алхимик» проник на русскую сцену, но не в переводе, а в переделке. Он шел в Александринском театре 10 января 1840 г. в бенефис Каратыгина. Но успеха «Алхимик» ни у зрителя, ни у критики не имел[23] и быстро и навсегда исчез с афиш русского театра.

Вернемся к резолюции Николая I. В самый день, когда она последовала, т. е. 8 июня, Уваров известил о ней министра императорского двора—кн. П. М. Волконского, а 13 июня (н. ст.) министр двора уже обратился к Уварову со следующим отношением:

№ 3549
КАБИНЕТ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА

Отделение 2, стол 1
В С-т. Петербурге

1-го июня 1839 г.
№ 2447

С препровождением перстня
с вензелем его величества

*Господину министру*
*народного просвещения*

Во исполнение высочайшего повеления, объявленного мне вашим высокопревосходительством, в отношении от 29-го минувшего мая— за № 691-м, имею честь препроводить при сем к вам, милостивый государь, перстень брилиянтовый с вензловым его величества именем, всемилостивейше пожалованный известному французскому писателю Александру Дюма за доставленный от него собственноручный список с драмы его «l'Alchimiste», украшенный рисунками Изабея и других художников французских,—прося покорнейше о получении оного перстня меня уведомить.

Министр императорского двора князь Волконский,
вице-президент, гофмейстер[24]

Перстень был отправлен к Дюма тем же способом, как его рукопись к Николаю I,—с курьером министерства иностранных дел. Уваров послал вместе с перстнем свои письма к Дюма и к Дюрану. Перстень почему-то долго не мог добраться до Парижа. Как видно из подлинного дела, извещенный о награде, но долго не получая ее, Дюма спрашивал в письме к Уварову о причинах неполучения перстня, и Уваров вынужден был запрашивать об этом министра иностранных дел графа Нессельроде[25].

Наконец, не позже 13/25 ноября 1839 г. царский перстень был вручен Дюма русским послом в Париже, графом Паленом, и 25 ноября Дюма обратился к Уварову со следующим письмом:

*Перевод:*

Его превосходительству г-ну Уварову,
министру народного просвещения в Петербурге

Господин министр,

Г-н Анатолий Демидов соблаговолил наставить меня от имени вашего превосходительства в тех шагах, которые я должен был предпринять для того, чтобы получить тот милостивый знак отличия, которым его величество меня почтил. Посол империи вручил мне этот залог, навсегда драгоценный для меня, как августейшая память.

Ваше превосходительство, который мне был всегда благосклонным посредником, согласится, вероятно, повергнуть к стопам его императорского величества выражение моей глубокой и благоговейной признательности.

Имею честь оставаться с чувством величайшего уважения г. министр,
вашего превосходительства покорнейший слуга

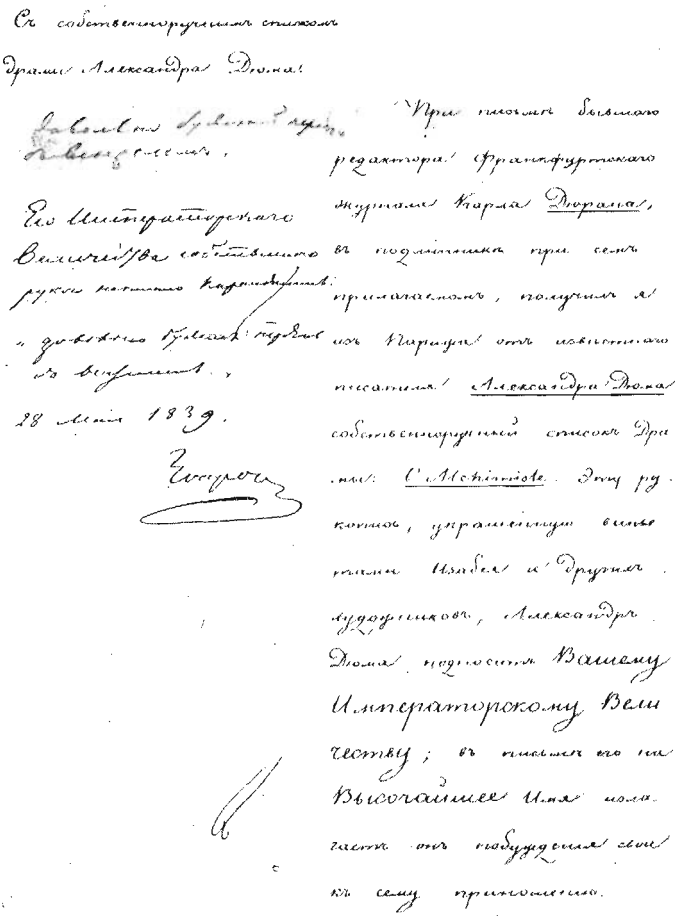
25 [ноября] 1839 г.[26]. Алекс. Дюма

Письмо Дюма своей краткостью, сдержанностью и сухостью тона резко отличается от его писем к царю и Уварову, предшествовавших поднесению манускрипта. В нем сквозит недовольство Дюма тем подарком, который он получил от Николая I: Дюма попрежнему мог подписываться кавалером только тех трех орденов, какие у него уже были до посылки «Алхимика» в Петербург. Бриллиантовый перстень не заменил ему Станислава.

4

С получением ответа Дюма казенное «дело об его награждении» окончилось.

Но не окончилось неудовольствие Дюма на Николая I, не пожелавшего включить его в число «кавалеров» своей империи.



ДОКЛАД МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ С. С. УВАРОВА НИКОЛАЮ I, С ХОДАТАЙСТВОМ О НАГРАЖДЕНИИ АЛЕКСАНДРА ДЮМА (отца) ОРДЕНОМ

Сверху резолюция Николая I: „Довольно будет перстня с вензелем"

Ленинградское отделение Центрального исторического архива

После того наипочтительнейшего письма, которое Дюма написал Николаю I, и после ценной награды, полученной от царя, естественно было ожидать,—и Уваров, конечно, ожидал этого,—что драма «Алхимик» будет посвящена в печатном издании Николаю I. Но на первой странице «Алхимика» мы читаем:

À Madame I. F.

Et vous, vous m'avez dit de votre voix chérie:
«Faites vite pour moi ce drame».—Le voilà!

*Перевод:*

Госпоже И. Ф.

И вы, вы мне сказали вашим прелестным голосом:
«Напишите скорей для меня эту драму».—Вот она![27]

«Алхимик» оказался посвященным не русскому императору, а возлюбленной Дюма, актрисе Иде Феррье (Ida Ferrier), исполнявшей в драме главную роль Франчески.

Но если в печатном издании «Алхимика» Николай I не нашел ожидаемого «посвящения», то в новом романе Дюма, появившемся вслед затем в фельетонах «Revue de Paris», он нашел произведение, которое могло доставить ему немало неприятных минут и часов.

Это были «Записки учителя фехтования, или восемнадцать месяцев в С.-Петербурге» (Mémoires d'un maître d'armes, ou dix-huit mois à Saint-Pétersbourg). Под этим заглавием скрывалась история декабриста Ивана Александровича Анненкова и его жены Прасковьи Егоровны Анненковой, урожденной Полины Гебль. В то время, когда роман Дюма печатался в «Revue de Paris» и затем в 1840 г. вышел в двух отдельных изданиях в Брюсселе, декабрист Анненков, осужденный в 1826 г. по 2-му разряду, в каторжную работу на 20 лет, получив в 1839 г., по сокращении сроков, разрешение служить в Сибири по гражданской части, отправлял должность канцелярского служителя 4-го разряда в Туринском земском суде[28].

Источник, откуда Дюма почерпнул сведения о трогательной любви француженки-модистки Полины Гебль к конногвардейскому офицеру И. А. Анненкову, с которым она разделила жизнь в Сибири на каторге, назвала сама Полина Гебль в своих записках. «В это время [1826 г.] я познакомилась с Гризье, бывшим учителем фехтования в Москве, у которого и Иван Александрович [Анненков] брал уроки. Рассказы Гризье впоследствии дали повод Александру Дюма написать по поводу меня роман под заглавием «„Mémoires d'un maître d'armes“». Сама же Полина Гебль, рассказывая в своих записках свою жизнь, указала и на ту степень исторической достоверности, какою обладает роман Дюма: «Если я вхожу в подробности моего детства и первой молодости, это для того, чтобы... прекратить толки людей, не знавших правды, которую по отношению ко мне и моей жизни часто искажали, как, например, это сделал Александр Дюма в своей книге «Mémoires d'un maître d'armes», в которой он говорит обо мне и в которой больше вымысла, чем истины»[29].

В самом деле, в повествовании Дюма, поскольку оно стремилось передать подлинную историю декабриста Анненкова, «больше вымысла, чем правды». В романе Дюма рассыпано множество исторических несообразностей, фактических ошибок, романических измышлений, психологических несуразностей и политических нелепостей. Начиная с того, что Анненков превратился под пером Дюма в «графа Ванинкова» («comte Waninkoff»), в романе заключено много извращений подлинной суровой истории декабриста, брошенного всей своей богатой родней и возвращенного к жизни и счастью своей любовницей-модисткой, сумевшей пробиться к нему в Сибирь, стать его законной женой и сделаться источником бодрости в тяжких испытаниях. Во многих случаях Дюма смягчает суровость этой истории: так, холодная и важная барыня А. П. Анненкова, не хотевшая знать своего сына-«преступника», превращается у Дюма в сердобольную мать, не знающую, чем облегчить участь родного страдальца и его

самоотверженной подруги; Полину Гебль сопровождает у Дюма в Сибирь царский фельдъегерь, оказывающий ей всевозможные услуги; comte Waninkoff оказывается, по Дюма, ссыльным «в Козлове, маленьком селе на Иртыше», вместо того, чтобы быть каторжным в Чите, и т. д. В других случаях,—что гораздо хуже,—Дюма опошляет самый образ декабриста. Достаточно привести один пример. Почти перед самым 14 декабря у Анненкова происходит беседа о заговоре с «учителем фехтования», от лица которого ведется весь рассказ; в разговоре Анненков является «кающимся»: он не верит в успех заговорщиков, и на вопрос собеседника, зачем же он бросается добровольно в пропасть, отвечает: «Теперь слишком поздно итти на попятный путь. Скажут, что я—трус. Я дал слово товарищам и должен итти с ними... на эшафот». Учитель фехтования недоумевает. «Но почему вы, вы — человек знатного рода?». В ответ Дюма вкладывает своему «comte Waninkoff» реплику: «Что вы хотите?.. Люди сошли с ума. Во Франции парикмахеры сражались, чтобы стать большими господами, а мы будем сражаться, чтобы стать парикмахерами»[30].

Эта реплика есть повторение известной пошлой остроты, сказанной придворным «остроумцем» кн. А. С. Меншиковым после подавления восстания декабристов. Нужно ли говорить, что ее мог произнести мифический «comte Waninkoff», на грудь которого Дюма повесил Станислава, не полученного им самим, а никак не настоящий декабрист Анненков?!

И все же, несмотря на эти и на многие другие извращения исторических пропорций и фактов, роман Дюма был повествованием о д е к а б р и с т е, основанным не на вымысле, а на исторической правде, и повествованию этому, вышедшему из под пера популярнейшего писателя современности, был обеспечен успех и внимание широкого европейского читателя. Для Николая I это не могло не быть весьма неприятным сюрпризом. Роман Дюма привлекал внимание — и с о ч у в с т в е н н о е внимание — широкой европейской аудитории к людям, самое имя которых было для Николая I ненавистно. Присуждая декабристов к каторжному молчанию сибирских пустынь, Николай хотел казнить их жестокой казнью полного забвения.

Дюма своим романом отменял этот приговор для одного из декабристов и тем самым привлекал внимание к судьбе всех остальных. Эти остальные героическими тенями проходят в романе. Стоит прочесть у Дюма (т. II, гл. XVII) сцену казни декабристов, чтобы понять, что он, воскрешая этот страшный час, освещал его нестерпимым для Николая I светом героики. Вот конец этой сцены:

«Еще не замолкли куранты, как из под ног осужденных была выбита доска, на которой они стояли. Раздался сильный шум, и солдаты устремились к эшафоту. Какое-то сотрясение, пройдя по воздуху, казалось, повергло нас в озноб. Послышались какие-то крики, и мне показалось, что случилось нечто ужасное. Оказалось, что веревки, на которых висели двое повешенных, оборвались, и они упали вниз, причем один из них сломал себе бедро, а другой руку. Это и было причиной донесшегося шума. ...Упавших подняли и положили, так как они уже не могли держаться на ногах. Тогда один из них сказал другому:—Посмотри, до чего добр этот народ-раб: он не умеет повесить человека!.. Послали за новыми веревками. И в то мгновение, когда палач накинул петли на их шеи, они громко воскликнули в последний раз:

— Да здравствует Россия! Да здравствует свобода! Наши отмстители придут!»[31].

Описание это не вполне точно. Известные предсмертные слова, приписываемые то Рылееву, то Муравьеву: «Несчастная Россия! Даже повесить не умеют» (по другому сообщению: «Боже мой! И повесить порядочно не умеют»), Дюма передал неверно.

Но, расходясь с историческими фактами в деталях, Дюма так построил свое повествование, что превратил рассказ о казни декабристов в апофеоз их политического мученичества и нравственного торжества над их верховным палачом[32].

Гражданская доблесть и политическое мужество декабристов особенно рельефно выступают у Дюма на фоне народного рабства, крепостного угнетения и рабовладельческой жестокости, многие черты которой разбросаны там и тут по роману. «В Петербурге или рабы, или вельможи — средины между ними нет» — говорит Дюма. Описывая роскошный обед у Нарышкина, учитель фехтования рассказывает: «После обеда были поставлены столы для карточной игры. Когда, около двенадцати часов ночи, я удалился спать, было проиграно около трехсот тысяч рублей и двадцати пяти тысяч крестьян». На нескольких ярких страницах Дюма рассказывает историю крепостной девки, взятой в любовницы министром, любимцем царя, некоим «Narawitcheff», превратившейся в тиранку своих бывших собратьев и впоследствии убитой одним из них. Рассказывая эту историю, копирующую историю Аракчеева и Настасьи Минкиной, Дюма рисует потрясающую сцену жестокого наказания кнутом крепостного человека,— и не где-нибудь в глуши, а в самом Петербурге. Описывая наводнение в Петербурге в 1824 г., Дюма с негодованием отмечает, что «о несчастных узниках Петропавловской крепости забыли, и они все погибли»[33].

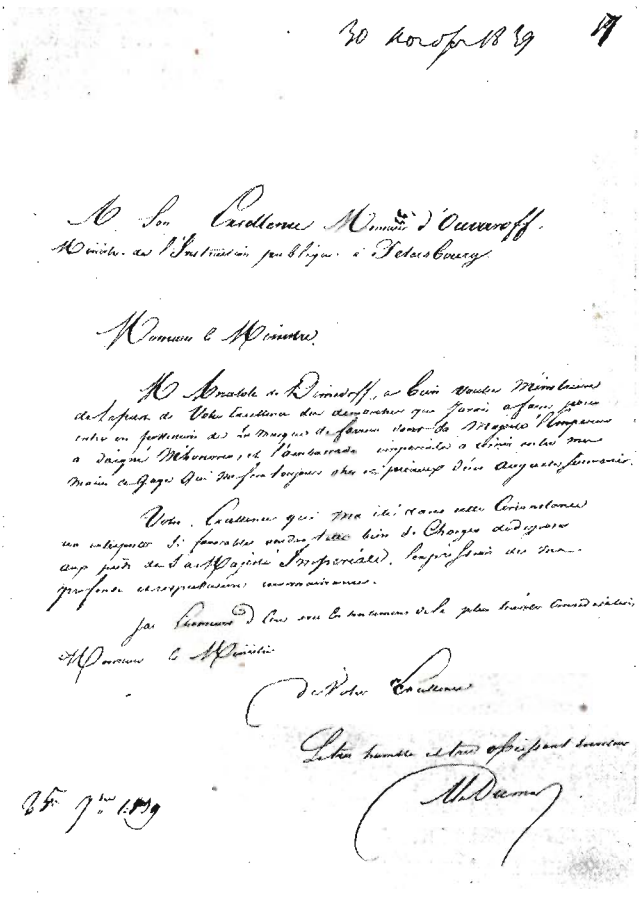
Можно бы долго продолжать инвентарь этим зарисовкам Дюма— «учителя фехтования», из которых слагается жуткая картина царского Петербурга — картина, служившая для европейского читателя оправдательным документом в пользу заговорщиков 14 декабря.

Этот документ принадлежал к числу тех, которые Николай I разорвал бы с большим удовольствием.

Дюма ничем не задел в своем романе личность самого Николая I. Наоборот, своим собственным портретом, в тесной рамке нескольких страниц романа, Николай I мог быть даже доволен: рамку эту Дюма усердно позолотил[34].

Но удовлетворительность этих немногих страниц — увы! — не искупала, с точки зрения Николая I, глубокой неудовлетворительности не только тех страниц романа, о которых выше шла речь, но особенно тех, которые Дюма отвел бабке, отцу и братьям императора. Здесь Дюма поднял весь тот прах и гниль «Романовской» династии, которые Николай желал бы видеть навсегда замурованными под надгробным мрамором Петропавловского собора. Безумная потеха Анны Иоанновны, уморившей людей в ледяном доме; эпизоды из интимной и придворной жизни Екатерины II, этой, по определению Дюма, «царицы-выскочки» (Catherine II fut l'exemple des reines improvisées); убийство Петра III; фаворитство Потемкина и Зорича; история женитьбы Александра I и Елизаветы Алексеевны, как история «брака рокового для одного и столь же рокового для другой»; печальная судьба этой императрицы; скандальная история цесаревича

Константина Павловича, дикого насильника, мучителя солдат, безумного фанатика шагистики, «приказавшего дать тысячу ударов плетью лошади, которая сделала ошибку в аллюре»[35], и т. д. и т. п.,—все эти неприятнейшие для Николая I главы и отрывки заполнили значительную часть книги. Самая неприятная для русского царя—12-я глава была посвящена целиком, как отдельный исторический этюд, изображению характера императора Павла I. Она давала, основанную на исторических источниках, лето-



АВТОГРАФ ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА ДЮМА (отца) К С. С. УВАРОВУ ОТ 25 НОЯБРЯ 1839 г.

Ленинградское отделение Центрального исторического архива

пись его безумств и преступлений и завершалась подробным, и также основанным на исторических источниках, описанием заговора и убийства Павла I. Если каждая страница Дюма об Екатерине II и Константине Павловиче была, с точки зрения Николая I, оскорблением величества, заслуживающим тяжкой кары, то рассказ об убийстве Павла I, весьма близкий к исторической истине, был, с царской точки зрения, самым тяжким преступлением, которое могло бы быть совершено писателем. Достаточно указать, что русский писатель получил некоторую возможность говорить печатно о насильственной смерти Павла I только после революции 1905 г., то-есть через сто слишком лет после события и через

шестьдесят пять лет после появления романа Дюма. В течение этих ста слишком лет (1801—1905) Павел I числился в России умершим—как это было объявлено в манифесте Александра I при его воцарении—«от апоплексического удара». 12-я глава Дюма объявляла «благословенного» Александра лжецом и показывала его соучастником заговора, повлекшего убийство его отца. Николай I, пославший в каторгу несколько десятков человек за одну мысль о цареубийстве, казнивший пятерых за одно намерение совершить его,—как он должен был встретить блестящие страницы европейского писателя, на которых перечислялись имена и показывались фигуры прямых убийц императора Павла I, занимавших видные правительственные места при Александре I? Беспощадный каратель декабристов,—как он должен был воспринять написанный для европейских читателей рассказ об участии своего брата в заговоре цареубийц?

Рассказ об убийстве Павла Дюма заключает фразой: «Александра, бледного и совершенно подавленного, пригласили выйти из кареты, и со всех сторон стали приветствовать с восторгом, который свидетельствовал о том, что заговорщики, совершив преступление, исполнили желание народа»[36].

Читая эту фразу, сколько читателей могло подумать, что и декабристы, если бы им удалось то, что удалось заговорщикам 1801 г., могли бы быть уверены, что исполнили желание народа!

Первая же книга Дюма, после «Алхимика», почтительно преподнесенного им Николаю I, была крепким литературным ударом по русскому императору.

На удар из Парижа ответили контрударом из Петербурга:

«Les mémoires d'un maître d'armes» были накрепко запрещены в России с первого появления своего в фельетонах «Revue de Paris» и, далее, в отдельных изданиях[37].

В своей книге «En Russie» Дюма передает:

«Княгиня Трубецкая, друг императрицы, супруги Николая I, рассказывала мне:

Однажды царица уединилась в один из своих отдаленных будуаров для чтения моего романа. Во время чтения отворилась дверь, и вошел император Николай I. Княгиня Трубецкая, исполнявшая роль чтицы, быстро спрятала книгу под подушку.

Император приблизился и, остановившись против своей августейшей половины, дрожавшей больше по привычке, спросил:

— Вы читали?

— Да, государь.

— Хотите, я вам скажу, что вы читали?

Императрица молчала.

— Вы читали роман Дюма «Записки учителя фехтования».

— Каким образом вы знаете это, государь?

— Ну, вот! Об этом не трудно догадаться. Это последний роман, который я запретил.

И несмотря на это запрещение, как мне говорят, роман «Записки учителя фехтования» был очень распространен в России»[38].

Нет основания не верить Дюма.

Но «Записки учителя фехтования» так солоно пришлись Николаю I и его преемникам, что оставались в списке запрещенных книг в течение всего XIX в. Все попытки перевести и издать роман Дюма были тщетны. Даже революция 1905 г. не могла снять запрета с романа, столь

неприятного для династии Романовых. Только после Октябрьской революции роман Дюма мог появиться на русском языке. Он был издан в 1925 г., в столетнюю годовщину 14 декабря[39].

Страх перед пером Дюма остался у Николая I надолго.

В феврале 1852 г. русский тайный агент в Париже, Я. Н. Толстой, получил запрос: «Несколько времени тому назад в Париже появился пасквиль г. Дюма, написанный в форме романа и озаглавленный «Набаб и его дочь» или «Северный набаб», или что-то в этом роде. Говорят, что, когда этот роман появился, бывший префект полиции г. Карлье приказал скупить все экземпляры с целью извлечь этот роман из продажи. Его превосходительство граф О[рлов, шеф жандармов.—*С. Д.*] желал бы получить точные сведения относительно опубликования этой работы и особенно о том, действительно ли так поступил г. Карлье».

Какой-то, якобы, появившийся в Париже памфлет Николай I принял на свой счет, решив, что под «Северным набабом» нельзя изобразить никого другого, кроме русского царя, и приписал авторство памфлета ненавистному для него автору «Записок учителя фехтования»—Александру Дюма.

Русское посольство в Париже и Яков Толстой принялись за поиски «Набаба» и за разоблачение авторства Дюма. Подняли на ноги книгопродавцев и парижскую полицию. Министр полиции Мопа отвечал, что такой книжки не существует, а потому префекту полиции не пришлось скупать этот роман у книгопродавцев. Книгопродавцы Боррани и Драз заявили: «Мы убедились, что и Александр Дюма не написал ничего под таким названием. Это, может быть, только эпизод из одного из его романов, если только он писал на эту тему. Нам также не удалось найти книги с таким заглавием какого-либо другого автора». Яков Толстой запросил Александра Дюма-сына, не знает ли он что-нибудь об этом памфлете. Тот отозвался, что никогда о нем не слыхал и что, во всяком случае, ни его отец, ни он сам не являются авторами подобного памфлета.

Николай I продолжал требовать поисков «Набаба» и разоблачения Александра Дюма-отца, как его автора,—и русский тайный агент не без отчаяния доносил министру иностранных дел, гр. К. В. Нессельроде, что ему никак не удается «найти и схватить этого злополучного «Набаба», о котором сообщают из Петербурга, но который здесь неизвестен. Александры Дюма—отец и сын—заявили моему книгопродавцу, что они ничего не знают. Александр Дюма-сын прибавил к тому же, что он „ничего не писал ни за, ни против России"». Этот ответ также не удовлетворил слуг Николая I. Они порешили, что «Набаб» мог явиться в Бельгии, где в то время жил сам Александр Дюма-отец. По просьбе русского посольства, брюссельские власти обратились к автору «Трех мушкетеров», и «государственный советник Баквухт» мог вскоре сообщить русскому посольству: «Ал. Дюма-отец утверждает самым категорическим образом, что ни он, ни его сын ничего похожего не печатали. Несмотря на это, полиция ему указала, что подобная книга повлечет за собой немедленное удаление автора с бельгийской территории».

Но удалять Дюма-отца из Бельгии не пришлось: сочиненный им на Николая памфлет «Северный набаб» существовал только в испуганном воображении Николая I. Царь не мог забыть романа о декабристе и—у страха глаза велики—боялся, что перо, больно оцарапавшее его «Учителем фехтования», еще больнее кольнет его «Северным набабом»[40].

## II. ДЮМА В РОССИИ В 1858 г.

### 1

А. М. Каратыгина, рассказывая в своих «Воспоминаниях» о своем знакомстве с Дюма в Париже в 1845 г., пишет:

«Со свойственной ему любознательностью расспрашивая нас [А. М. Каратыгина путешествовала со своим мужем, трагиком В. А. Каратыгиным.—*С. Д.*] о России, Дюма высказывал давнишнее желание свое посетить нашу родину, взглянуть на обе столицы, на окрестности Москвы, на поле Полтавы [Бородина.—*С. Д.*], но в особенности желал взглянуть на нашего императора. Он припомнил при этом о недавней поездке в Россию Бальзака [в 1843 г.]: «et je voudrais bien faire de même, si toutefois votre b a t o u c h k a m'y autorise» [«и я очень желал бы сделать то же, если только дозволит ваш б а т ю ш к а»]. Под словом «б а т ю ш к а» он подразумевал государя Николая Павловича.

Мы отвечали, что за исключением завзятых республиканцев и вообще лиц, находящихся на дурном счету у нашего правительства въезд иностранцев в Россию не воспрещен; если же наш двор не с прежним радушием принимает приезжающих в Петербург именитых или чем-либо особенно замечательных французских подданных, причиной тому гнусная неблагодарность маркиза Кюстина. К поступку Кюстина Дюма отнесся с негодованием»[41].

«Поступок» маркиза Кюстина заключался в том, что, побывав в России и повидав «батюшку» из Зимнего дворца, он написал известную книгу «La Russie en 1839», доставившую Николаю I изрядное число неприятных часов. Но у Дюма у самого был «поступок» пред Николаем I—его роман о декабристе, и он благоразумно не сделал попытки попутешествовать по России при Николае I, не ожидая найти там особенно радушный прием.

При Александре II, возвратившем декабристов из Сибири, поездка в Россию стала возможной для Дюма. Как для писателя, она была для него нужной; как для «единственного собственника и единственного редактора» еженедельного журнала «Монте-Кристо», она сделалась для него необходимой.

К 1857 г., когда Дюма принялся за издание своего еженедельника, наполнявшегося его собственными произведениями, круг его основных драм и романов, имевших беспримерный успех, был завершен; после 1857 г. он уже не написал ни нового «Кина», ни второго «Графа Монте-Кристо».

Новый журнал—«Journal hebdomadaire de romans, d'histoire, de voyages et de poésie»—Дюма окрестил именем «Монте-Кристо», как символом своей величайшей писательской удачи. Но характерно, что, печатая в нем в 1858 г. два новых произведения: «Ainsi soit-il» и «Les Mohicans de Paris», Дюма счел нужным подкрепить свой фонд романов перепечаткой старого «Графа Монте-Кристо», полагая, что если многие, быть может, не найдут удовольствия в н о в ы х его творениях, то все, наверное, с удовольствием перечтут старого любимца. Дюма явно искал нового литературного жанра для подкрепления старой своей популярности. Таким обновленным жанром явился «voyage», путешествие. Дюма и раньше, до 1857 г., не мало «путешествовал» в литературе. С конца 30-х годов стали появляться его «Путевые впечатления» («Impressions de voyage») от поездок по Южной Европе и Алжиру. Но юг Франции, Италия, Испания, даже

ЦЕНА ИЗ РОМАНА АЛЕКСАНДРА ДЮМА (отца) „ТРИ МУШКЕТЕРА"
Этюд маслом Альфреда Деодэнка

Эрмитаж, Ленинград

Алжир, все это—домашние места для европейца, где нет места ни для Колумба, ни для Америго Веспуччи от литературы. Другое дело Россия. Путешествие по России могло само по себе стать романом приключений,—тем более, что в «Россию» Дюма включал Кавказ, где шла в эти годы напряженная война с горскими племенами, объединенными Шамилем. Но Дюма хотел путешествовать не по одним русским трактам, проселкам, рекам, степям и горам: он намеревался сплести это географическое путешествие с путешествием по русской истории, литературе, по русской политической действительности, с разнообразными экскурсиями в сторону русской археологии, кулинарии, истории религии, стратегии и т. д. и т. п.

Именно такое путешествие по России обещал Дюма читателям своего «Монте-Кристо». В своей «Causerie» от 17 июня 1858 г. он обещал им описать Петербург с его белыми ночами, Москву с колоколом в 330 000 фунтов, с «рынками, которые—уже Восток», сулил изобразить Нижний-Новгород с купцами из Персии, Индии и Китая, торгующими малахитом и лапис-лазурью. Он давал обещание показать своим читателям Волгу, эту «царицу европейских рек», и встретиться на трех рынках Астрахани с индусами и казаками, донскими и уральскими. Промчавшись по безграничным калмыцким и ногайским степям, он сулил читателю подвести их «к скале, к которой был прикован Прометей», и вместе с ними «посетить стан Шамиля, этого другого Титана, который в своих горах борется против русских царей». Пообещав встречу с Шамилем, Дюма задавался вопросом: «Знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой?». И тут же давал утвердительный ответ: «Почему нет? Разбойникам Сиерры оно [имя Дюма] было хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи».

Дюма наобещал читателям и многое другое. Он расскажет «чудесные преданья о Меншикове, который торговал пирожками, и об Екатерине, которая была служанкой в Литве»; он посетит поле Бородина и соберет рассказы о Наполеоне и пылающей Москве; он «посетит Таганрог, где Александр I умер от огорчения, а может быть, от раскаяния», и т. д.

Эти обещания—уже не из географического, а из исторического вояжа, который предпринимал автор «Мемуаров учителя фехтования», сделавший в этой книге немало экскурсий в русскую историю конца XVIII и начала XIX веков.

Дюма подчеркивал перед своим европейским читателем особый интерес политического момента, в который он направлялся в Россию; он ехал, чтобы «присутствовать при великом деле освобождения сорока пяти миллионов рабов»[42].

Провожая Дюма в Россию, Жюль Жанен напутствовал его такими словами:

«Мы поручаем его гостеприимству России и искренно желаем, чтобы он удостоился лучшего приема, чем Бальзак. Бальзак явился в Россию не во-время—тотчас после г. Кюстина, и потому, как это часто случается, невинный пострадал за виновного. Что же касается до невинности... невиннее г. Александра Дюма ничего быть не может. Поверьте, милостивые государи, что он станет рассказывать обо всем, что увидит и услышит, так мило, так безобидно, с таким тактом, с такими похвалами и с таким веселым расположением духа. Он будет так доволен самим собою и в то же время всеми вами, господа. Он навезет вам с собою столько прехитрых

мыслей, столько дозволенных переворотов, столько веселости и живости, что с вашей стороны было бы преступлением, если бы вы не протянули ему дружеской руки»[43].

Напутствие Жанена оказалось впрок Александру Дюма при путешествии в России.

Широко возвещенный литературный вояж Дюма был de facto его частной поездкой в качестве гостя одного из богатейших людей в России—графа Григория Александровича Кушелева-Безбородко (1832—1870). Этот наследник несметных богатств князя А. А. Безбородко, статс-секретаря Екатерины II и канцлера Павла I, принадлежал к числу тех русских людей, которые решительно не знали, что с собой делать, и потому делали то, что попадалось под руку: он попечительствовал над Нежинским лицеем, куда дарил рукописи Гоголя, когда-то там учившегося, издавал «Шахматный листок», основал приют «для приема кормилиц и для вскармливания детей», сочинял «Очерки и рассказы» на русском языке, но под украинским псевдонимом Грицка Григоренка, был камер-юнкер и водил дружбу с поэтами из литературной богемы, давал средства на издание «памятников старинной русской литературы» и на содержание женской богадельни и т. д. и т. п. От всего этого делового безделья граф поехал в 1857 г. отдыхать за границу и в Риме встретился со спиритом Даниилом Юмом. Верчением столиков и вызыванием «духов» скучающий граф увлекся до того, что пожелал породниться с медиумом. Свояченица графа, Александра Кроль, была помолвлена с Юмом, но свадьба отложена до Петербурга. В Париже Дюма сделался частым посетителем первого этажа гостиницы «Трех императоров», где жил Кушелев-Безбородко, и вскоре получил приглашение поехать в Петербург, чтобы быть свидетелем на свадьбе его свояченицы[44]. По прибытии Дюма в Петербург Ф. И. Тютчев писал своей жене 3 июля (н. ст.) 1858 г.: «Дюма привез сюда на свой счет граф Кушелев, который женат на слишком известной особе—на бывшей госпоже Голубцовой, сестра которой выходит замуж за знаменитого Юма, вызывателя духов, благодаря приданому в 200 000 франков, назначенному ей графом Кушелевым, мужем ее сестры»[45].

Но новый друг графа Кушелева-Безбородко и будущий шафер на свадьбе «шотландского колдуна», как называл Юма сам Дюма, ехал в Россию в расчете на гостеприимство другого русского аристократа—Дмитрия Павловича Нарышкина, своего старого знакомого, женатого на давней приятельнице Дюма, артистке Женни Фалькон[46]. Литературная поездка Дюма в Россию была его гостинами у русских аристократов.

24 июня (н. ст.) Ф. И. Тютчев, скептический и тонкий наблюдатель жизни и молвы светского и придворного Петербурга 50-х годов, сообщал жене последнюю новость:

«Вот уже несколько дней, как мы обладаем двумя знаменитостями: Юмом, вызывателем духов, и Александром Дюма-отцом. Оба приехали под покровительством графа Кушелева»[47].

Поселившись у Кушелева и став постоянным посетителем салона Нарышкиных, Дюма сделался предметом праздного любопытства светских кругов Петербурга. Его отлично знали там, как увлекательного рассказчика, и ценили, как писателя, который не досаждал дворянскому читателю ни новизной социальных идей, ни смелостью критики или обличения. Тем, кому был несносен суровый реализм Бальзака и кого смущала социальная правда Гоголя и его последователей, тем был особенно приятен

неисчерпаемый вымысел Дюма, вызывавший увлекательные миражи в унылой пустыне Франции Наполеона III и России Николая I и его наследника. Читатели и критики петербургских салонов готовы были ставить роман Дюма недосягаемым образцом для Тургенева, Гончарова, Писемского, с их «тенденциозностью». Очередной роман Дюма был непременной принадлежностью каждого светского будуара или гостиной, где не находилось места для «Рудина», «Обломова» или «Тысячи душ». Вот почему л и ч н ы й успех Дюма в петербургском светском и полусветском кругу был предопределен. Как шумен был этот успех, видно из зарисовки встречи с Дюма в каком-то петербургском летнем обществе, сделанной иронической рукой того же Тютчева: «На днях вечером я встретил Александра Дюма... Я не без труда протиснулся сквозь толпу, собравшуюся вокруг знаменитости и делавшую громко ему в лицо более или менее нелепые замечания, вызванные его личностью, но это, повидимому, нисколько его не сердило, и не стесняло очень оживленного разговора, который он вел с одной слишком известной дамой, разведенной женой князя Долгорукова, кривоногого. Ты согласишься, что это соединение было неизбежно, и рамка, которая их окружала, эта толпа любопытных зевак, была вполне подходящей. Дюма был с непокрытой головой, по своему обыкновению, как говорят; и эта уже седая голова, несколько напоминающая Лаблаша, довольно симпатична своим оживлением и умом»[48].

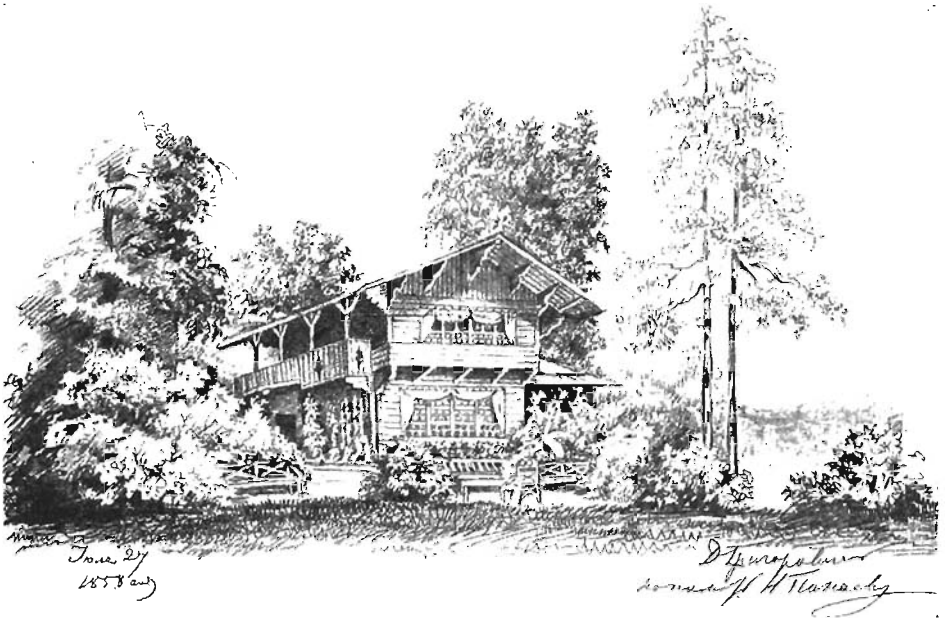
В очередном фельетоне «Петербургская жизнь», посвященном пребыванию Дюма в Петербурге, И. И. Панаев, вспоминая напутствие Жюля Жанена, регистрирует: «Петербург принял г. Дюма с полным русским радушием и гостеприимством... да и как же могло быть иначе? Г-н Дюма пользуется в России почти такою же популярностью, как во Франции, как и во всем мире между любителями легкого чтения, а легкие чтецы составляют большинство в человечестве... Весь Петербург в течение июня месяца только и занимался г. Дюма. О нем ходили различные толки и анекдоты во всех слоях петербургского общества; ни один разговор не обходился без его имени, его отыскивали на всех гуляньях, на всех публичных сборищах, за него принимали бог знает каких господ. Стоило шутя крикнуть: Вон Дюма!—и толпа начинала волноваться и бросалась в ту сторону, на которую вы указывали. Словом, г. Дюма—был львом настоящей минуты»[49].

Это преклонение перед Дюма петербургской светской и полусветской знати и ее провинциальных подражателей из дворянских особняков и усадеб дошло до того, что даже «Русский Вестник» Каткова счел нужным отозваться ядовитой статьей Н. Ф. Павлова под заглавием: «Вотяки и г. Дюма». «Вотяки»—это петербургские почитатели Дюма, относящиеся к заезжему писателю, как темные лесные вотяки к идолу Керемети — с тем же тупым и раболепным благоговением. Сотрудник журнала, насаждавшего тогда в российских усадьбах умеренный либерализм английских коттэджей, Павлов делал выговор своим соотечественникам из петербургских бельэтажей:

«Кто незнаком с произведениями г. Дюма? Кажется, надо сгореть от стыда, если вас уличат, что вы не знаете из них ни слова. Между тем в любом европейском салоне, в обществе европейских ученых, литераторов, вы можете смело сказать: я не читал ни одной страницы из г. Дюма, и никто не заподозрит вас в невежестве или равнодушии к искусству. Напротив, вы дадите еще о себе выгодное мнение, про вас подумают, что вы

строги в выборе книг для вашего чтения, что вы одарены тонким чувством, взыскательным умом, и что вы посвящаете время серьезным занятиям. Да, вы не упадете, а вырастете в глазах просвещенного общества. Но если вы скажете, например, что вовсе не читали Диккенса, Теккерея, Жорж-Санда, то произойдет другое впечатление, станут сомневаться, уж читаете ли вы что-нибудь[50].

Известия об азиатском раболепстве перед Дюма светской знати Петербурга проникли в европейскую печать, и вежливый выговор Павлова сменился гневным окриком А. И. Герцена в сентябрьских листах (23—24-м) его «Колокола»:



ДАЧА И. И. ПАНАЕВА В ПЕТЕРГОФЕ, НА КОТОРОЙ БЫВАЛ АЛЕКСАНДР ДЮМА (отец)
Рисунок Д. В. Григоровича, 1858 г.
Литературный музей, Москва

«Со стыдом, с сожалением читаем мы, как наша аристократия стелется у ног А. Дюма, как бегает смотреть «великого и курчавого человека» сквозь решетки сада, просится погулять в парк к Кушелеву-Безбородко. Нет, видно, образованным не станешь, как ни соединяй по несколько аристократических фамилий и как ни разоряй по несколько тысяч душ— «Nation of flunklys», говорит «Daily Telegraph», рассказывая об этом. Наши аристократы, действительно, составляют дворню, и оттого у них не много больше такта, как вообще в передних»[51].

Для Герцена триумф Дюма в Петербурге в 1858 г., в эпоху ликвидации николаевского режима, в преддверии крестьянской реформы, был признаком умственной пустоты и пошлой праздности господствующего класса.

Литературное путешествие Дюма превратилось в путешествие по светским салонам Петербурга. Соприкосновения Дюма с литературным кругом столицы были редки и случайны. «У гр. Кушелева я присутствовал на свадьбе известного престидижитатора Юма, венчавшегося с сестрою жены графа,

урожденной Кроль»,—рассказывает Д. В. Григорович,—«шаферами со стороны Юма были присланные государем Александром II два флигель-адъютанта: граф А. Бобринский и граф А. К. Толстой, автор трагедии «Смерть Иоанна Грозного». На этой свадьбе я познакомился с А. Дюма... Он рад был встрече со мной и просил дать ему случай познакомиться с кем-нибудь из настоящих русских литераторов. Я назвал ему Панаева и Некрасова. Он радостно принял предложение к ним ехать»[52].

Григорович превратился в чичероне Дюма, в очень удачного чичероне, как об этом оповещал alter ego Григоровича—Панаев в своем фельетоне: «лучшего путеводителя по Петербургу г. Дюма не мог бы найти. Ему знаком Петербург во всех его подробностях, начиная от аристократических салонов, до самых последних и темных закоулков толкучего рынка». Но удача чичероне Григоровича, очень заметная в салонах и на рынках, оказалась неудачей в литературных местах Петербурга. Дюма, действительно, сделался довольно частым, но, как свидетельствуют воспоминания А. Я. Панаевой, едва ли особенно желанным гостем Некрасова. Для Некрасова, в 1858 г. все более и более закреплявшего свою идейную и редакторскую связь с представителями молодой, революционной демократии, с Чернышевским и Добролюбовым, знакомство с Дюма не представляло никакого интереса,—скорее, наоборот, его успех в Петербурге мог возбуждать в «поэте мести и печали» чувства, подобные тем, что выразил Герцен. Даже сам мажорный Дюма, описывая свою встречу с редактором «Современника», не мог изгладить минорного приема, оказанного ему Некрасовым. «Некрасов,—менее общительного характера,—удовольствовался тем, что встал, поклонился и подал мне руку, поручив Панаеву извиниться за свое незнание французского языка...» (Некрасов, как известно, немало переводил с французского, и ссылка на полное незнание французского языка была удобным предлогом уклониться от беседы с Дюма). «...Я внимательно вглядывался в него. Это человек тридцати восьми или сорока лет, с болезненным и очень грустным лицом, с характером мизантропическим и насмешливым». Некрасов отражен в книге Дюма только тремя переводами его стихотворений, сделанными «при помощи Григоровича», да обвинением в том, что он в стихотворении «Княгиня» (одном из переведенных Дюма) возвел «клевету на одного нашего соотечественника», доктора-француза, женившегося на гр. Воронцовой-Дашковой, прототипе некрасовской «Княгини». «Мрачный поэт,—по словам Дюма,—в этом своем стихотворении извлек из-под пера новую язвительность»[53].

Прочных литературных связей в России Дюма не завязал. Он поддержал свое старое знакомство с гр. Е. П. Ростопчиной, ставшей, как раз в это время, предметом нападок со стороны Н. П. Огарева, Н. А. Добролюбова и других представителей прогрессивных течений в русской литературе. Из новых же литературных знакомств существенной для Дюма оказалась только связь с Д. В. Григоровичем, который сам в конце 50-х годов уже сходил с передовых позиций литературы, трактуемый Чернышевским, как представитель барской псевдоэстетической беллетристики, и вытесняемый из поля зрения широкого читателя Тургеневым, Гончаровым, Л. Толстым, Писемским.

Дюма только упоминает в своей книге о Тургеневе и Толстом, но много и охотно говорит о Григоровиче: он, по словам Дюма, «наравне с Тургеневым и Толстым пользуется симпатиями русской молодежи»; роман Гри-

горовича «Рыбаки» Дюма приравнивает к «Cousin Pons» Бальзака, к «Валентине» Жорж Санд.

Беседы с Григоровичем явились для Дюма путеводителем по истории русской литературы, и те страницы книги Дюма «En Russie», которые посвящены Пушкину, Полежаеву, Некрасову, современным журналистам и самому Григоровичу, обязаны своим происхождением сообщениям Григоровича, так же как страницы, посвященные Лермонтову, обязаны воспоминаниям Е. Ростопчиной.

При помощи Григоровича Дюма перевел для своей книги ряд стихов Некрасова, Пушкина, Вяземского. Не без его же помощи он набрел на «Ледяной дом» Лажечникова. Роман этот начал печататься в «Monte-Cristo», с № 13, вышедшего 15 июля 1858 г., с постскриптумом Дюма к его «Петербургскому письму»: «Дорогие читатели! Вы видите, я не медлю сделать ничего, что могло бы, как мне кажется, доставить всем удовольствие: как только я приехал сюда, мне назвали, как обладающий большими достоинствами, роман Лажечникова «Ледяной дом». Один из моих друзей перевел этот роман под моим наблюдением, и вот перед вами первая глава. Читайте роман с доверием: мне представляется невозможным, чтобы то, что интересует меня, не было бы интересным для вас». Кроме этого постскриптума, имя Лажечникова исчезает со страниц журнала навсегда. Под первой же главой «La maison de glace» стоит безоговорочная подпись: «Alex. Dumas» и продолжает стоять до эпилога романа, под которым подписано «Alex. Dumas. Fin.»[54]. Читателю предлагалось принять «La maison de glace» за новый роман самого Александра Дюма.

Обогащение литературного багажа Дюма романом «Ледяной дом» — одна из услуг его усердного литературного путеводителя—Григоровича, который, по словам Дюма, сам «предложил себя в мое распоряжение на все то время, которое я проведу в Санкт-Петербурге».

«Чичеронство» Григоровича при французской знаменитости вызвало резкие нарекания на него со стороны Писемского, выражавшего здесь мнение ведущей группы писателей 50-х годов: «Григорович, — сообщал Писемский Дружинину 2 июля 1858 г.,—желая вероятно получить окончательно европейскую известность, сделался каким-то прихвостнем Дюма, всюду ездит с ним и переводит с ним романы». На одном из вечеров у Кушелева-Безбородко, собиравшего литераторов для предпринимаемого им журнала «Русское Слово», произошла неприятная для Дюма история, о которой Писемский рассказывает так: «Друг наш Мей, бывши у Кушелева и выпивши достаточно ⟨разбранил⟩, об'яснил Дюма откровенно все, что думают о нем в России, чем ужасно оскорбил того, так что он хотел вызвать его на дуэль»[55].

Для характеристики отношения демократической литературы и журналистики к Дюма и его русскому путешествию представляют значительный интерес воспроизводимые нами два листа карикатур Н. Степанова из его альбома «Знакомые» (СПБ. 1858).

В листе XXVI (цензурное разрешение от 17 июля), озаглавленном «Дюма в Петербурге», Степанов сатирически изобразил историю приезда Дюма в русскую столицу. В петербургских литературных кругах в то время уже было известно, что граф Г. А. Кушелев-Безбородко предпринимает со следующего года издание журнала «Русское Слово», и не менее было известно, что Дюма привезен в Петербург этим графом. Степанов обобщил эти два факта в одной карикатуре: граф Кушелев, мизерный и жалкий,

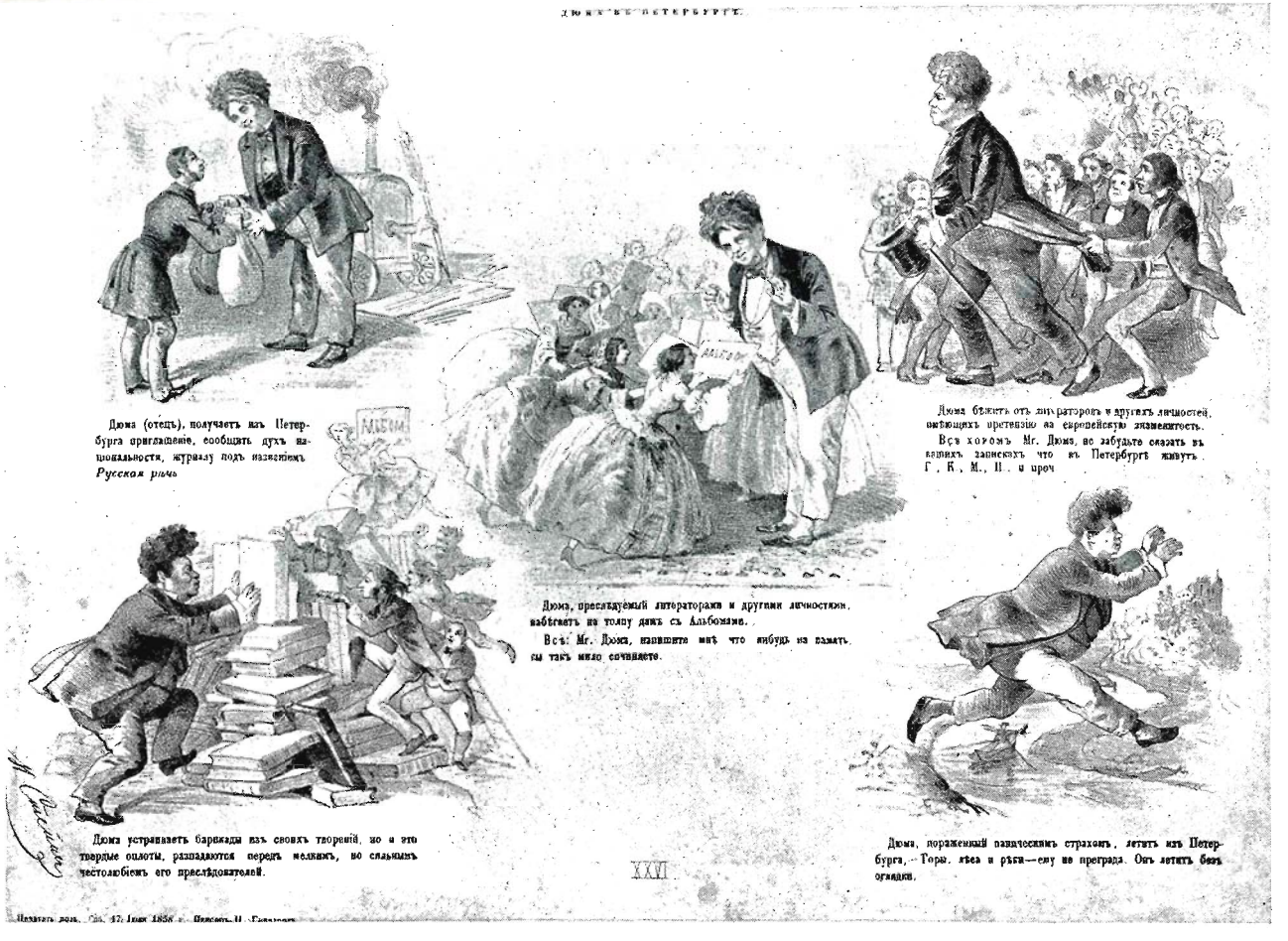
вручает огромному Дюма два мешка с червонцами. Сзади виден паровоз под парами; из паровоза протягивается рука с длиннейшим пером, которым она водит по бумаге: намек на быстроту, с какой писались «путевые очерки» Дюма. Под карикатурой подпись: «Дюма (отец) получает из Петербурга приглашение сообщить дух национальности журналу под названием „Русская речь"». Другая карикатура объясняет читателю основную причину поездки Дюма в Россию—его бегство от литературных процессов и падение его успеха у читателей. Подпись под карикатурой гласит: «Дюма устраивает баррикады из своих творений, но и эти твердые оплоты распадаются перед мелким, но сильным честолюбием его преследователей».

Две карикатуры высмеивают петербургские «успехи» Дюма. На одной писатель изображен убегающим «от литераторов и других личностей, имеющих претензию на европейскую знаменитость». Преследующие Дюма говорят ему «все хором: М-г Дюма, не забудьте сказать в ваших записках, что в Петербурге живут Г., К., М., Н., и проч.». Эту фразу Бобчинского произносит вместе с другими и «Г.»—Григорович, уцепившийся обеими руками за фалды Дюма и пытающийся таким способом приобщиться к европейской известности. На другой карикатуре—«Дюма, преследуемый литераторами и другими личностями, набегает на толпу дам с альбомами». В результате —«Дюма, пораженный паническим страхом, летит из Петербурга» через «горы, леса и реки».

Лист XXXI своих «Знакомых» Степанов назвал: «Ал. Дюма в России» (цензурное разрешение от 13 сентября).

Лист открывается блестящей карикатурой на хвастливое обещание Дюма, данное им перед отъездом из Парижа своим читателям, побывать в гостях у Шамиля. Дюма изображен ухватившимся руками за одежду Шамиля, который пытается вырваться и кричит: «М-г Дюма, оставьте меня в покое, я спешу отразить нападение русских». На это Дюма отвечает: «Об этой безделице можно подумать после, а теперь мне нужно серьезно переговорить с вами: я приехал сюда, чтобы написать ваши записки в 25 томах и желаю сейчас же приступить к делу». Весь лист высмеивает литературный гиперболизм Дюма-путешественника. Степанов зло и остроумно издевается над беспардонным беллетристическим «завирательством» путевых очерков Дюма. Вот писатель появляется с тростью, «предшествуемый славою истребителя медвежьего бифстека» (намек на эпизод в «Записках учителя фехтования», где жена декабриста со своим спутником, едущим в Сибирь, усиленно питается медвежьими бифштексами)—и медведи в панике бегут от Дюма. Соседняя карикатура иллюстрирует текст: «Один смелый медведь решается съесть самого Дюма, но по неосторожности начинает с головы и давится волосами знаменитого писателя». Злая карикатура высмеивает «изучение» французским писателем русского народа: «Дюма в угодность русским надевает национальное их платье, но не может сладить с своею прической и обращается к русским куаферам». «Русские куаферы»—два здоровенных мужика—расчесывают граблями шевелюру Дюма, переодевшегося в русский кафтан, шаровары и сапоги.

Под этими карикатурами сделан анонс: «Все это будет помещено в журнале «Монте-Кристо» с другими путевыми впечатлениями и замечательными очерками, писанными со слов русских, знающих очень хорошо Россию из иностранных источников».




„ДЮМА В ПЕТЕРБУРГЕ“

Карикатура Н. Степанова из его альбома „Знакомые“, 1858 г.

Эти «русские» изображены тут же в виде восседающих в креслах ослов, одетых по последней моде; с их слов Дюма записывает свои «impressions de voyage». Нетрудно догадаться, что злая карикатура эта метит в Кушелева-Безбородко, Нарышкина и других великосветских друзей Дюма, снабжавших его сведениями по части «Rossica».

В «Листке знакомых», представляющем собою текст к альбому «Знакомые» (1858, № 12, 20 октября), обозревая содержание всего альбома, Степанов ставит себе в заслугу, что среди других раритетов изобразил и двух «фокусников—Кактома и Александра Дюма». Первый из них был, действительно, фокусником. Дюма был показан Степановым, как фокусник от литературы.

В «Сыне Отечества» (1858, № 52, 28 декабря, стр. 1575) Степанов поместил еще одну карикатуру на Дюма.

Он нарисовал французского писателя с большой шевелюрой, без шляпы, в заносчивой позе; почтительно стоя перед ним, его приветствуют два кавказца:

«М-r Дюма! Мы кланяемся вам—снимаем шапки; отчего же вы не отвечаете тем же? Могли бы и вы снять шапку.

Д ю м а: На мне шапки нет; а что я никому не кланяюсь, хожу по улицам в фантастическом костюме и являюсь в порядочные дома с грязными ногами, то это потому, что я оставил вежливость в последнем европейском городе—Петербурге».

Знаменитый карикатурист, будущий редактор демократической «Искры», ополчился на Дюма за то, что по Кавказу он путешествовал, как «колонизатор» по завоеванному африканскому захолустью: с чванным презрением к «варварам».

Карикатуры Н. А. Степанова поддерживали тот отрицательный прием, который Дюма встретил в демократических литературных кругах Петербурга.

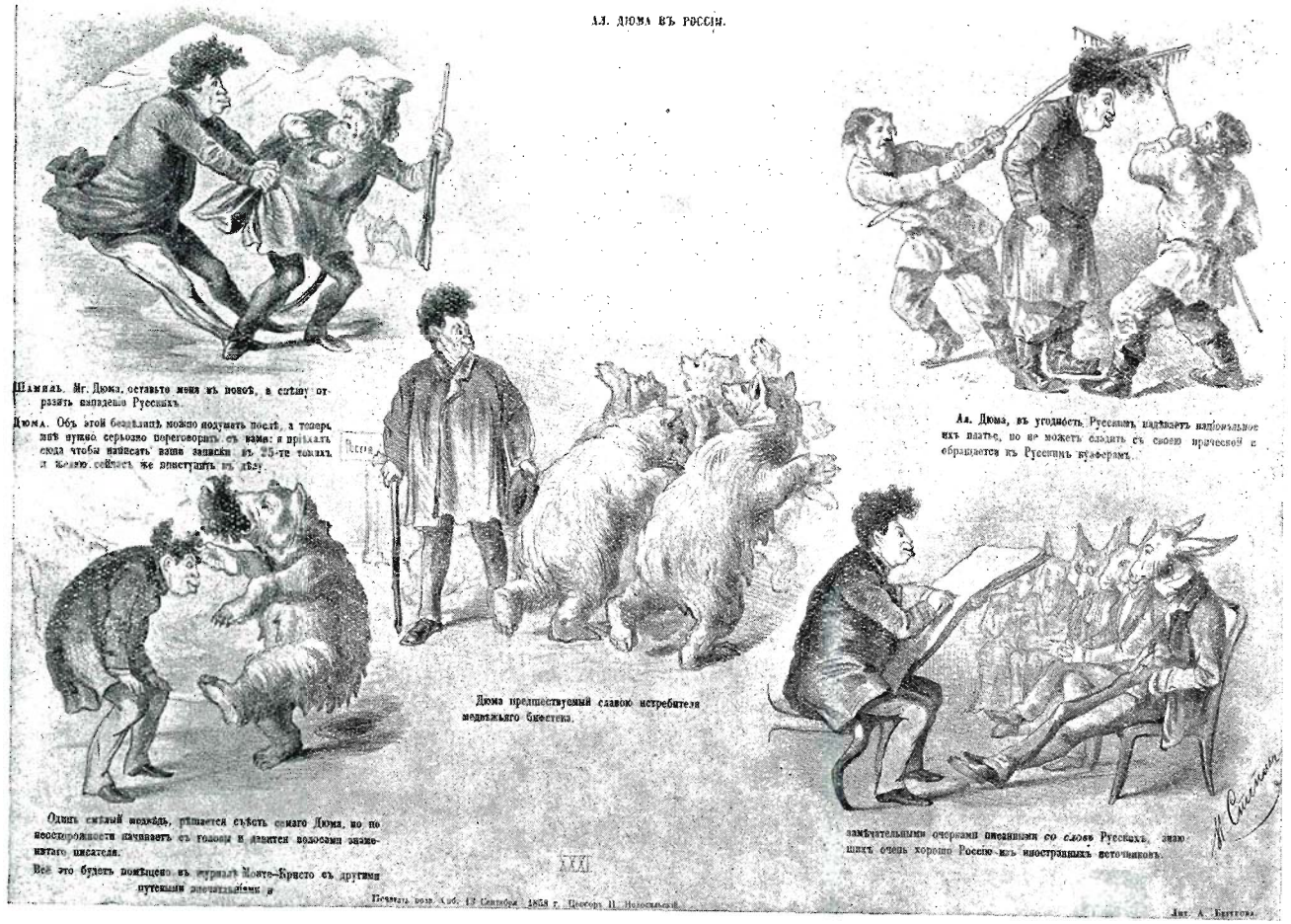
Успех Дюма в литературных кругах Петербурга был крошечной миниатюрой в сравнении с большим полотном тех его успехов у светской знати, которые вызвали гневный выпад Герцена.

2

Успех этот был в самом разгаре — было 6 августа (н. ст.) 1858 г., когда председатель Комитета цензуры иностранной, Ф. И. Тютчев, должен был на полуслове прервать свое письмо к жене:

«Я грубо прерван приходом курьера, посланного ко мне министром Ковалевским с очень спешным письмом, в котором он просит меня убедиться, наш ли цензурный комитет пропустил некий номер журнала, издаваемого Дюма и называемого «Монте-Кристо».

Как раз я вчера узнал случайно в Петергофе от княгини Салтыковой о существовании этого номера, содержащего, повидимому, довольно нескромные подробности о русском дворе, так что добрейшая княгиня, очень наслаждавшаяся их чтением, не могла скрыть от меня своего удивления, что подобные вещи допускаются в печати. К счастью, наш бедный комитет неповинен в столь преступной снисходительности, по крайней мере как целый комитет, и надо предполагать, что один из цензоров, на свою личную ответственность, пропустил этот злополучный номер. Пока, так как мы по высочайшему повелению будем делать расследование, что сильно затруднено тем, что сегодня праздник, ты можешь себе




„АЛ. ДЮМА В РОССИИ“

Карикатура Н. Степанова из его альбома „Знакомые“, 1858 г.

представить, в какую лужу мы сели, и потому моя голова недостаточно свободна, чтобы написать такое пространное письмо, как я хотел»[56].

Удар, обрушившийся на председателя Комитета цензуры иностранной, был вызван первыми же «Causerie», которыми Дюма начал свое путешествие «De Paris à Astrakan». Еще не доехав до Петербурга, Дюма уже предпринял путешествие по темным закоулкам русской истории или, точнее, истории правившей Россией царской династии, углубившись здесь в мрачный, преступный, а потому и запретный для исторической огласки лабиринт дворцовых переворотов и придворного фаворитизма XVIII века.

В № 10 «Monte-Cristo» от 24 июня (н. ст.) он, со слов гр. Г. А. Кушелева-Безбородко, рассказал историю возвышения при Павле I А. А. Безбородко, который уничтожил после смерти Екатерины II завещание императрицы, отдававшее престол внуку Александру, и тем обеспечил себе неизменную благосклонность и милости нового императора.

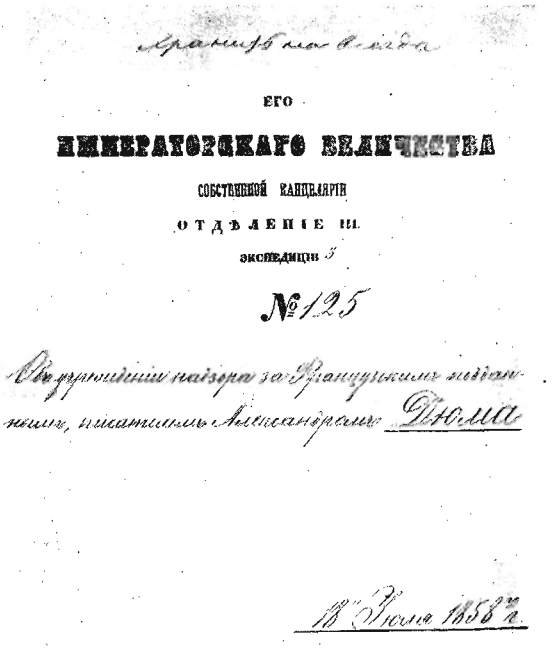
В следующей «Causerie», помещенной в № 12 «Monte-Cristo», вышедшем 8 июля 1858 г., Дюма, продолжая свой рассказ о Павле I, сообщил целую коллекцию случаев его беспримерного самодурства и безумного самоуправства. В числе этих случаев было и известное происшествие с полком, который не угодил императору и был за это отправлен им прямо с плац-парада в Сибирь[57].

Увлекательные экскурсии Дюма заводили русского читателя в запретную зону русской истории: история с завещанием Екатерины в пользу Александра считалась в царской России государственной тайной, а последующие рассказы про нелепые проделки Павла I только подтверждали правоту Екатерины, отстранявшей Павла I от престола, как маниака и безумца.

Рассказывая все это про деда царствующего императора той страны, куда он направился путешествовать, Дюма, опять, как в 1840 г. в «Записках учителя фехтования», вытаскивал из тьмы и пыли архивов историческое «Дело о так называемых Романовых», которым вряд ли могла гордиться царствующая династия.

Поступок Дюма мог казаться Александру II тем более дерзким, что для рассказов о Павле I он воспользовался рядом отрывков из строго запрещенных Николаем I «Записок учителя фехтования»[58].

С точки зрения Александра II и его слуг, Дюма, отправлявшийся в путешествие по России, не мог дать лучшего предварительного доказательства своей неблагонадежности, чем это историческое вступление, воскрешавшее те страницы царствования Романовых, которые были запретны для русского читателя. Письмо Тютчева свидетельствует, что исторические этюды Дюма имели шумный успех скандала в светском и придворном кругу, где в это время дулись на Александра II за его намерение нарушить крепостнические привилегии дворянства. Что предпринял Тютчев, чтобы прекратить доступ исторических рассказов Дюма в Россию и что пришлось ему отвечать разгневанному Александру II,—остается, к сожалению, неизвестным, так как делопроизводства Комитета цензуры иностранной за 1858 г. не сохранилось[59]. Но Дюма, во все время своего пребывания в России (июнь 1858—февраль 1859), продолжал свое путешествие по русской истории и успел за этот срок рассказать много неприятного для Романовых и запрещенного для русского читателя. Едва ли не половина его книги «En Russie» отведена русской истории. Из последовательных глав первого тома—«Романовы», «Стрелецкий бунт», «Жена денщика», «Петр I



ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

СОБСТВЕННОЙ КАНЦЕЛЯРІИ

ОТДѢЛЕНІЕ III

ЭКСПЕДИЦІЯ 3

№125

О дурномъ поведеніи за Французскимъ подданнымъ, именующимъ Александромъ Дюма

18 Іюля 1858 г.

ОБЛОЖКА ДЕЛА III ОТДЕЛЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НАДЗОРА ЗА АЛЕКСАНДРОМ ДЮМА (отцом), 1858 г.

Архив революции, Москва

и Карл XII», «Царь и царица», «Фавориты Павла I», и второго тома—«Заговор Палена», «Регентство Бирона», «Елизавета и Лесток», «Другая легенда московской Бастилии», «Александр I», «Правая рука царя», «Северное общество», «Мученики», «Изгнанники»—пред читателями в хронологической последовательности встали запретные главы русской истории: кровавое усмирение Петром I стрелецкого бунта, история превращения ливонской девки Марты в русскую императрицу Екатерину I, страшный розыск по делу царицы Евдокии Лопухиной, самодержавное фаворитство Бирона, романы Елизаветы, низложение брауншвейгской династии, история княжны Таракановой, убийство Павла I (для главы «La conspiration de Pahlen» Дюма опять перепечатал ряд страниц из XII главы своего «Maître d'armes...»), господство Аракчеева, заговор декабристов. Это был целый курс русской запретной истории, написанный для самого широкого читателя.

Прервать это историческое путешествие Дюма было не во власти русского правительства: оно совершалось в Париже, на страницах «Monte-Cristo». Правительство Александра II понимало, что времена Николая I отошли в вечность,—поэтому оно не прервало и *географического* путешествия Дюма и даже не вставляло палок в колеса его экипажа, направлявшегося из Петербурга в Москву, в Нижний-Новгород, в Астрахань, в Тифлис. Но правительство ни на минуту не упускало путешествующего Дюма из своих глаз и учредило над ним тайный полицейский надзор, настолько секретный, что сам Дюма никогда не узнал о нем, как не узнали этого и все биографы писателя.

18 июля (30 июля н. ст.) глава русской политической полиции—шеф жандармов и начальник III отделения собственной его величества канцелярии, кн. В. А. Долгоруков, послал следующее «секретное предписание» в Москву, Нижний-Новгород и Одессу:

№ 658
ПОДОБНОГО ЖЕ СОДЕРЖАНИЯ:
Начальнику 5-го округа К. Ж. с обозначением, вместо Москвы, Одесса — № 659.

Начальнику 7-го округа К. Ж. с обозначением в Нижнем-Новгороде — № 660.

18-го июля 1858 г.

*Г. начальнику*
*2-го округа корпуса жандармов*

Известный французский писатель Александр Дюма (отец), прибыв в недавнем времени из Парижа в С.-Петербург, намерен посетить и внутренние губернии России, для каковой цели собирается ехать и в Москву.

Уведомляя о сем ваше превосходительство, предлагаю вам, во время пребывания Александра Дюма в Москве, приказать учредить за действиями его секретное наблюдение и о том, что замечено будет, донести мне в свое время.

Генерал-адъютант Долгоруков

В несколько измененном виде подобное же «предложение» через день было послано в Тифлис, к наместнику императора на Кавказе, кн. А. И. Барятинскому[60].

С этого момента все путешествие Дюма было взято под непрерывный надзор, и в донесениях жандармов своему шефу мы находим недурной итинерарий пребывания Дюма в России.

Жандармский надзор за Дюма представлялся его инициаторам тем необходимее, чем более его путешествие привлекало внимание публики и создавало шум вокруг его имени.

Н. Ф. Павлов в таких красках рисует картину переезда Дюма из Петербурга в Москву:

«В Москву... ехал г. Дюма в особом отделении. На одной из станций случилось следующее замечательное происшествие. Когда французский литератор явился в залу, то его окружили любопытные. Не забудьте, что поезд шел из Петербурга и, следовательно, это были или его просвещенные жители, или люди, более или менее не чуждые уже блеску той утонченной образованности, которою с таким серьезным убеждением гордится каждый петербуржец перед своими соотечественниками. Тут нашлись, разумеется, мужчины и женщины, отцы, матери и дочери. Из этой толпы начали раздаваться слова: «Господин Дюма, позвольте представить вам мою жену». Представленная таким образом жена провозглашала в свою очередь: «Господин Дюма, позвольте представить вам моего мужа». Затем г. Дюма сел за стол, начал говорить, толпа не расходилась, слушала. Вот у нас беспрестанно обвиняют Петербург в холоде. Неужели и это холод? Да такого жару дай бог отыскать и в Неаполе! Незнакомая дама, почтенная мать, верная жена, подходит на станции к писателю, и ничего более, как писателю, видит его в первый раз и говорит ему: «Позвольте представить вам мою дочь». Позвольте же узнать, вы, строгие противники северной зимы, безжалостные наблюдатели градусов сердечной теплоты, что ж это, как не энтузиазм и соединенное с ним преувеличение чужого достоинства, забвение всех приличий? Следовало, если уже желание знакомиться на станции было непреоборимо, пополнить вышеприведенную французскую фразу незначительной прибавкой и сказать: «„Ma chère, позволь тебе представить monsieur Dumas“»[61].

Дюма провел в Москве вторую половину июля (ст. ст.) и весь август 1858 г. Его пребывание в Москве следующим образом описано в жандармском донесении, отправленном в Петербург:

ОТ НАЧАЛЬНИКА 2-го ОКРУГА
КОРПУСА ЖАНДАРМОВ

Сентября 18 дня 1858 г.

№ 67

Москва

О французском писателе
Дюма

*Шефу жандармов,*
*господину генерал-адъютанту и*
*кавалеру князю Долгорукову 1-му*

Во исполнение секретного предписания вашего сиятельства от 18-го июля сего года за № 658, я имею честь донести, что французский писатель Дюма (отец), с приезда своего в Москву, в июле месяце сего года жил у гг. Нарышкиных, знакомых ему по жизни их в Париже; многие почитатели литературного таланта Дюма и литераторы здешние искали его знакомства и были представлены ему 25 июля на публичном гулянье в саду Эльдорадо, литератором князем Когушевым, князем Владимиром Голицыным и Лихаревым, которые постоянно находились при Дюма в тот вечер; 27-го же июля в означенном саду в честь Дюма устроен был праздник, названный ночь графа Монте Кристо. Сад был прекрасно иллюминован и транспарантный вензель А. Д. украшен был гирляндами и лавровым венком. В тот день, в честь Дюма, князь Голицын давал обед и оттуда прямо Дюма приехал на праздник в Эльдорадо; в этот вечер с ним были двое Нарышкиных, живописец Моне и М-м Вильне, сестра бывшего в Москве французского актера, которая, как говорят, постоянно путешествует вместе с Дюма.

В Москве Дюма посещал все достопримечательности и ездил в предместия Москвы; в начале августа с сыновьями генерала Арженевского он ездил в имение отца их, находящееся близ села Бородина, где осматривал памятник и бывшие в 1812 году батареи; был в Спасо-Бородинской пустыне, в Колоцком монастыре и в бородинском дворце, который в то время отделывался в ожидании высочайшего приезда императорской фамилии. В семействе Нарышкиных, где жил Дюма, его очень хвалят, как человека уживчивого, без претензий и приятного собеседника. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанья и, говорят, мастер этого дела.

Многие, признавая в нем литературные достоинства, понимают его за человека пустого и потому избегали, или сдерживались при разговорах с ним, опасаясь, что он выставит их в записках и будет передавать слышанное от них вопреки истине. 7-го сего сентября Дюма выехал из Москвы с семейством Д. П. Нарышкина, в имение его Владимирской губернии Переяславль-Залесского уезда, село Елпатьево, где, как говорят, намерен пробыть дней 15, а оттуда, вместе с живописцем Моне, намерен отправиться в Нижний-Новгород.

Владимирскому и нижегородскому штаб-офицерам корпуса жандармов сообщено о сем для зависящего с их стороны распоряжения к секретному наблюдению за Дюма.

Подпись[62]

Это жандармское донесение изобилует надежными вехами московских «трудов и дней» Дюма.

В Москве он жил в Петровском парке, на роскошной даче Нарышкиных. Давняя приятельница Дюма, артистка Женни Фалькон (род. 1825), дебютировавшая в 1841 г. в Париже в театре «Gymnase», перешла в Петербург, в Михайловский театр. Выступая несколько лет в Петербурге, она, по

словам Дюма, «оставила театр и создала один из самых элегантных петербургских салонов. Нет ни одного выдающегося француза, который бы не посетил при проезде через Петербург ее салон. Один из моих давних друзей, принадлежащий если не к самой древней, то к одной из самых известных фамилий России, в течение 10—12 лет вместе с ней принимает гостей в этом салоне. Этого друга зовут Дмитрием Павловичем Нарышкиным [1795—1868, камергер императорского двора.—*С. Д.*]». Дюма был на короткой дружеской ноге с Нарышкиными. О своем прибытии в Петербург он известил их запиской:

Дорогие друзья,

Я приехал и обнимаю вас. Женни я прижимаю к моему сердцу справа, Нарышкина—слева. Ваш Дюма. Одной Женни Дюма писал в Петербурге записки еще более интимные, в роде следующей: «Относительно обеда я вполне полагаюсь на вас; только обязательно должны быть раки и карп, вино к угрю, не перетушенному и не перепеченному. Я приготовлю матлот и раков. Я слишком доволен, чтобы быть остроумным. Могу только целовать вам ручку, завидуя тому, кто целует то, что я не целую. Конечно, я очень рад пообедать вместе с д'Оссуна [испанский посол.—*С. Д.*], мой друг [художник Муане.—*С. Д.*] целует шнурки ваших ботинок.

Сердечно преданный Дюма[63]

В главе «Москва» своей книги «En Russie», описывая свое московское пребывание, Дюма занят историческими воспоминаниями и бытовыми подробностями. Гулянья в саду Эльдорадо, устроенного в честь него его московскими почитателями, он не описал. Из числа этих почитателей жандармское донесение называет Константина Павловича Нарышкина (1806—1880, брат предыдущего), гофмейстера двора, затем упоминает «литератора»—князя Григория Васильевича Кугушева (1824—1871), автора известной в свое время повести «Корнет Отлетаев» и нескольких имевших успех пьес («Друзья приятели», «Комедия без названия» и др.), князя Владимира Сергеевича Голицына (1794—1861) и неизвестного нам Лихарева.

«Эльдорадо» был увеселительный сад на окраине Москвы, в Сущеве, содержимый А. Педотти. Об устроенном здесь празднике в честь Дюма в № 160 «Ведомостей Московской Городской Полиции» от 26 июля был помещен следующий анонс:

«В саду «Эльдорадо» в воскресенье 27 июля дан будет большой великолепный праздник под названием:

«Ночь графа Монте-Кристо, эпизод из романа Александра Дюма». И далее следовало подробное изложение программы обещанных увеселений с неизбежными фейерверками, иллюминацией и бенгальскими огнями.

Устройство открытого широкой публике праздника «Монте-Кристо» свидетельствует о большой популярности Дюма в барской Москве. Дюма сопровождал на празднике, кроме Д. П. Нарышкина и его брата, художник Муане, спутник Дюма в путешествии в Россию. Жан-Пьер Муане (Jean-Pierre Moynet, род. 1819—умер после 1874), работавший в Париже художник, ученик Л. Конье (L. Cogniet), был отличный рисовальщик, обладавший быстрым, четким и нежным карандашом; его первые работы появились в Парижском салоне в 1848 г. Путешествие с Дюма

2e ANNEE. N° 24 UN NUMERO : 15 CENTIMES. JEUDI 9 DECEMBRE 1858.

Toute reproduction et traduction sont interdites.

LE

# MONTE-CRISTO

JOURNAL HEBDOMADAIRE DE ROMANS, D'HISTOIRE, DE VOYAGES ET DE POÉSIE

PUBLIÉ ET RÉDIGÉ

PAR ALEXANDRE DUMAS, SEUL.

## A NOS LECTEURS.

Vous nous savez gré, sans doute, d'avoir fait graver et reproduire en tête du journal, le portrait que nous a envoyé l'un des amis d'Alexandre Dumas; c'était évidemment le moyen le meilleur de répondre aux bruits alarmants dont la santé de l'illustre voyageur avait été le sujet pendant quelques jours, et c'était en même temps, nous croyons pouvoir l'ajouter, comme une garantie prise dans l'avenir, contre les inquiétudes auxquelles un voyage comme celui qu'il accomplit peut si facilement donner une apparence de raison.

La photographie dont vous avez la reproduction sous les yeux, a été faite à Astrakan, vers le milieu d'octobre, alors qu'Alexandre Dumas avait déjà subi en quelque sorte le baptême du froid, l'épreuve redoutée et réellement dangereuse pour une constitution moins athlétique, d'un voyage en plein hiver dans les steppes désertes et sur les fleuves glacés de la Russie; eh bien! pour ceux qui l'ont vu à Paris, au moment de son départ, je suis convaincu que, loin d'accuser la moindre altération dans sa santé, cette photographie dira que les fatigues du voyage ont en quelque sorte réparé la lassitude et l'affaissement où le jetaient chaque jour les travaux de son existence ordinaire. Alexandre Dumas reviendra, vous verrez, plus fort et plus jeune qu'il n'est parti, après avoir fait allègrement un voyage où dix hommes ordinaires auraient dû succomber.

DUCLAVIER,
éditeur, directeur du journal.

СТРАНИЦА ЖУРНАЛА „LE MONTE-CRISTO" ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1858 г., С ПОРТРЕТОМ АЛЕКСАНДРА ДЮМА (отца) ПО ФОТОГРАФИИ, СНЯТОЙ В АСТРАХАНИ

дало ему известность: его русские и кавказские пейзажи и жанры, сделанные во время путешествия, долгое время (вплоть до 1874 г.) появлялись на парижских выставках и охотно раскупались (см. воспроизведение в тексте данной работы нескольких неизвестных «кавказских рисунков» Муане, сохранившихся в Московском музее изобразительных искусств). Что касается третьего спутника Дюма на вечере в его честь, г-жи Вильне, то игривый намек московского жандарма, что она была постоянной «сопутешественницей» Дюма, не оправдывается на деле: ни один из казанских, саратовских и астраханских коллег московского осведомителя не упоминает ни о каких других спутниках Дюма, кроме художника Муане и студента Московского университета Александра Калино (род. 1835): этот студент «из купцов» был специально откомандирован ректором Московского университета в качестве переводчика для Дюма[64].

Праздник в честь Дюма настолько удался, что 30 июля был повторен, а 1 августа московская полицейская газета, под влиянием этого успеха, задним числом оповестила москвичей о приезде Дюма в Москву: «23 июля прибыл в Москву из С.-Петербурга знаменитый французский писатель Александр Дюма и остановился в Петровском парке. Слышно, что Дюма пробудет в Москве 2 недели. Вот что пишет он сам о маршруте своего путешествия по России в журнале своем «Монте-Кристо» о пребывании в Москве... [приводится выдержка из плана осмотра Москвы, изложенного в № 9, от 17 июня н. ст.]... г. Дюма уже начинает платить за наше гостеприимство. В последнем № его журнала появилось начало перевода романа Лажечникова „Последний Новик“»[65].

В программе своего путешествия, возвещенной в «Monte-Cristo», Дюма обещал осмотреть поле Бородинской битвы и самую Москву посетить не ради одних ее памятников, «но еще и для того, чтобы видеть следы ужасного огня, пожравшего город в 350 000 жителей и заморозившего армию в 500 000 человек». Он, действительно, посетил поле Бородино, Колоцкий и Бородинский монастыри и описал это в главах «Visite à la Moskowa» и «Sur le champ de bataille» (III т. «En Russie»). Для обозрения окрестностей Бородина Дюма останавливался, по особому приглашению, в имении генерал-майора А. И. Арженевского (род. 1793)[66].

Из Москвы Дюма отправился с Нарышкиным в его именье Елпатьево. В особом письме к читателям, писанном из Казани и напечатанном в № 32 «Monte-Cristo», от 25 ноября, Дюма объяснял цель этой поездки: он хотел «увидеть там жизнь русских помещиков и русских крестьян». Жандармское наблюдение следовало за ним по пятам, как видно из следующего документа:

ОТ ШТАБ-ОФИЦЕРА
КОРПУСА ЖАНДАРМОВ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

№ 133

6-го октября 1858 г.

Г. Владимир

*Шефу жандармов и главному начальнику III отделения собственной его величества канцелярии, господину генерал-адъютанту и кавалеру князю Долгорукову 1-му*

Имею честь почтительнейше донести вашему сиятельству, что известный писатель Александр Дюма (отец), пробыв в Переяславском-Залесском уезде, в имении тамошнего помещика Дмитрия Павловича Нарышкина, в селе Елпатьеве, несколько дней, отправился с ним вместе в Нижний-Новгород, о чем сообщено мною тамошнему

штаб-офицеру; во время пребывания его во Владимирской губернии ничего предосудительного за ним не замечено.

Полковник Богданов[67]

3

В Нижнем-Новгороде Дюма ждала неожиданная встреча. Произошла она в доме нижегородского губернатора, Александра Николаевича Муравьева (1792—1863), куда Дюма был приглашен на обед и вечерний чай.

Вот что сообщает об этой встрече сам Дюма:

«Отворилась дверь—и возвестили:

— Граф и графиня Анненковы.

Эти два имени заставили меня вздрогнуть и вызвали во мне смутное воспоминание... Я встал. Генерал взял меня за руку и подвел к вошедшим.—Г-н Александр Дюма,—сказал он,—граф и графиня Анненковы, герой и героиня вашего «Учителя фехтования».

Я вскрикнул от неожиданности и заключил в объятия мужа и жену».

Это—не сцена из романа Дюма. Это—зарисовка действительности. А. Н. Муравьев, осужденный по IV разряду дела о декабристах, был, после возвращения из ссылки, с 10 сентября 1856 г. по 1861 г., нижегородским губернатором. Иван Александрович Анненков, с 1839 г. служивший в Сибири по гражданской части, был восстановлен в правах по манифесту 26 августа 1856 г. и, по ходатайству Муравьева, в 1857 г. был назначен состоять при нем чиновником особых поручений. Дюма, напрасно наградивший Анненкова титулом графа, почти безошибочно определил место Анненкова при Муравьеве: «le général avait offert à Annenkof la place de son secrétaire». Анненков пробыл в этой должности до 1861 г., когда был избран нижегородским уездным предводителем дворянства.

Автор романа о декабристе Анненкове и его жене — бывшей Полине Гебль — провел в Нижнем в обществе своих героев три дня. От них Дюма узнал многое о личности и творчестве декабриста Александра Бестужева-Марлинского и, полный горячего интереса к нему, отыскивал литературные и вещественные следы пребывания его на Кавказе[68]. 17 марта 1859 г. в «Monte-Cristo» появилось начало повести Бестужева-Марлинского — «Фрегат Надежда»—увы, без единого упоминания имени автора и без какого бы то ни было указания, что это—перевод с русского: под повестью «La frégate de l'Espérance» стояла безоговорочная подпись: «Alex. Dumas»[69].

В архиве III отделения не сохранилось (или вообще не существовало) жандармского донесения о пребывании Дюма в Нижнем-Новгороде. След этого пребывания отразился, однако, в донесении, посланном в Петербург уже из Казани начальником 7-го округа корпуса жандармов—генерал-лейтенантом Львовым:

НАЧАЛЬНИК 7-го ОКРУГА
КОРПУСА ЖАНДАРМОВ

1-го октября 1858 г.
№ 94

В Казани
*Рукой Долгорукова:* Доложено его величеству 10 октября

Секретно

Корпуса жандармов подполковник Каптев от 26-го минувшего сентября за № 364-м донес мне, что французский писатель Александр Дюма во время пребывания своего в Нижнем-Новгороде отправил в Париж 24-го того же сентября конверт по адресу в Амстердамскую линию в дом № 77-й. Письмо это отправлено через Москву, по объему надобно полагать, что оно заключает в себе статью литературную.

Ныне г. Дюма прибыл из Нижнего-Новгорода в Казань в сопровождении студента Московского университета Калино и художника Моне и, как известно, намеревается выехать в города: Симбирск, Самару, Саратов и Астрахань, а потому я дал предписания штаб-офицерам этих губерний, чтобы они имели за действиями Дюма самое аккуратное секретное наблюдение и о последствиях мне донесли. Почтительнейше донося о сем вашему сиятельству, на основании предписания от 18 июля сего года за № 660-м, имею честь присовокупить, что о пребывании в Казани и выезде из оной Дюма я буду иметь честь донести особо вашему сиятельству.

Генерал-лейтенант Львов[70]

Жандарм правильно решил, что нижегородский «конверт» Дюма заключал в себе «статью литературную»: Paris, Rue d'Amsterdame 77—это был адрес квартиры самого Дюма, куда он высылал свои путевые письма для «Monte-Cristo».

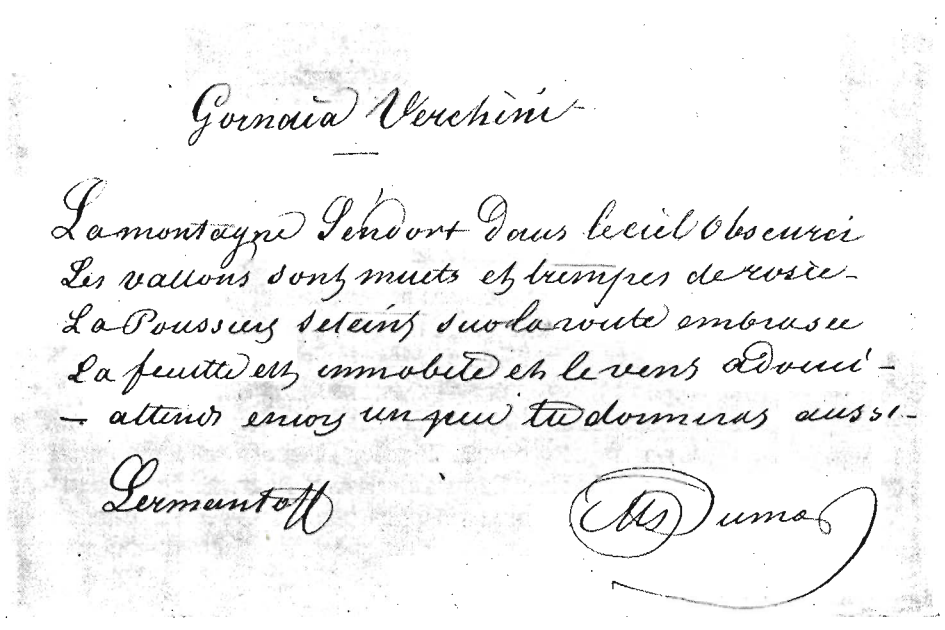
Донесение генерала Львова замечательно пометкой, сделанной рукой самого шефа жандармов, кн. В. А. Долгорукова: «Доложено его величеству 10 октября». Александр II находил время, досуг и интерес участвовать в жандармской слежке за автором «Трех мушкетеров»: чем неприятнее был императору вояж Дюма по темным закоулкам истории Романовых, тем подозрительней относился царь к географическим странствованиям Дюма по России.

После Нижнего Дюма остановился на неделю в Казани—в этом, по его словам, городе, где особенно приметен «le mirage de l'histoire». Глава, посвященная Казани, очень типична для тех описаний русских городов, которыми изобилует «En Russie». Приведя несколько статистических данных о числе жителей, улиц, домов и т. д. в Казани, Дюма иронически спрашивает читателя: «Вы полагаете, это я исчислил все это? Нет, это ученый немецкий историк Эрдманн. Немцы обладают на черепе бугром статистики». Сам Дюма глубоко равнодушен к ней. Его гораздо более интересуют экскурсии в историческое прошлое данного города. Зарисовывать пейзажи он предоставляет своему спутнику Муане, но исторические памятники он не отдает в его исключительное достояние: он любит подавать их с приправой исторических анекдотов и преданий. Дюма любит описывать, как люди едят и пьют, но его мало интересует их экономический быт, их правовой уклад. До Дюма словно не доносится ни одного всплеска, ни одной волны из огромного народного моря, глухо шумящего повсюду на его пути. Крепостной крестьянин, городской ремесленник, волжский бурлак, простой солдат, далее: чиновник, учитель, студент, профессор,—их нет на размашистых страницах Дюма, словно их не было в русской жизни. Рассказ о городе NN у Дюма всегда превращается в живой и веселый рассказ о том, как его там принимали, чем кормили, и о тех, кто его принимал и кормил,—о десятке-другом официальных хозяев города, которые все и всегда оказываются поклонниками автора «Трех мушкетеров». Рассказ этот обычно—на всем пути от Москвы до Поти—сопровождается у Дюма восторгами—совершенно искренними!—по поводу повсеместного широкого русского гостеприимства, в котором Дюма катался, как сыр в масле.

Повествование о пребывании в Казани в точности следует этому образцу. Ряд сведений, легендарных и исторических, о прошлом Казани; ряд

остроумных отчетов о посещении казанских памятников; несколько сочувственных заметок по поводу казанских торгово-промышленных примечательностей: о сафьяновых изделиях и о мехах,—и захлебывающийся от восторга рассказ о русском гостеприимстве, оказанном хозяевами города!

Дюма прибыл в Казань с рекомендательным письмом к управляющему конторой пароходства «Меркурий» и остановился у него. Но у него было еще и другое рекомендательное письмо к «l'intendant général», которого он называет «Jablonovsky» (на деле это был интендантский не генерал, а полковник, не Яблоновский, а Жуковский),—и как только Дюма вручил это письмо, «вся Казань узнала о моем прибытии, и, благодаря русскому гостеприимству, я не нуждался более ни в чем». «Яблоновский» оказался



АВТОГРАФ ПЕРЕВОДА АЛЕКСАНДРА ДЮМА (отца) СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА „ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ"

Музей писателей Грузии, Тбилиси

«очаровательным человеком», тотчас же предложившим свой дом и экипаж к услугам путешественников. Путешественники сразу «получили двадцать приглашений на обед».

Не менее очаровательным и обязательным оказался другой казанский знакомец Дюма, «le général Lahn», на деле—начальник I отдела окружного правления путей сообщения Фридрих Ипполитович Лан. Новые приятели радовали Дюма подарками: он получил от них «чудеса местного изделия: охотничью сумку от генерала Лана, тюфяк и подушки—от Яблоновского».

Дюма с честью принимал ректор университета (им был тогда известный ориенталист, член-корреспондент Академии наук О. М. Ковалевский, 1800—1878), но университет не заинтересовал Дюма: «Университет в Казани—как все университеты: у него есть библиотека в 27 000 томов, которых никто не читает; сто двадцать четыре студента, которые занимаются

как только возможно меньше; кабинет естественной истории, который посещают только иностранцы...».

Гораздо примечательнее была встреча, ждавшая Дюма в университете: «В университете мы были встречены полицеймейстером («le grand maître de police»), явившимся предложить себя к нашим услугам».

Вскоре полицеймейстеру представился случай оказать Дюма услугу. Автору «Монте-Кристо» очень хотелось поохотиться с новыми друзьями в окрестностях Казани, а между тем пароход «Нахимов», на котором Дюма должен отплыть вниз по Волге, скоро должен был отвалить от пристани. «Général Lahn» взялся устроить дело. «Он шепнул словцо на ушко полицеймейстеру, и полицеймейстер обещал, что судовые документы «Нахимова» будут в порядке не раньше, как на следующий день после охоты. Деспотизм доставляет достаточно неудобств, но на этот раз как он был приятен!»—восклицает Дюма.

Все эти казанские обеды, подарки, охоты и приятные «деспотизмы» заставили Дюма сделать вывод: «Я не знаю путешествия более легкого, покойного и приятного, чем путешествие по России. Услужливость всякого рода, приношения всякого вида всюду сопутствуют вам: каждый человек с положением, офицер в чинах или известный коммерсант говорят по-французски и тотчас же отдают в ваше распоряжение свой дом, свой стол, свой экипаж... Путешествие по России—одно из самых прекрасных, которые я совершил». Дюма добавляет к этому: «Денежные детали для путешественников по России, в особенности для артистов, не существенны. С того момента, как вас узнали или снабдили вас хорошими рекомендациями, путешествие по России делается одним из самых дешевых, какие только я знаю. Во время моего путешествия по России (а я проехал 4000 льё) я истратил в течение 10 месяцев немного более 12000 франков, из которых 3000 ушло на покупки». Подсчет Дюма точен: при посещениях Москвы, Нижнего, Казани, Саратова и т. д. и т. д. графа его расходов на квартиру, стол, вино, экипаж равнялась нулю, а его дорожная повозка неизменно наполнялась подарками новоприобретенных русских друзей.

Дюма выехал из Казани, снабженный рекомендациями, обеспечивающими удобство дальнейшего путешествия: тот же «général Lahn» дал Дюма письмо к своему другу, «генералу Беклемишеву, атаману [астраханских] казаков»[71].

Русские власти, заботясь о знаменитом путешественнике, передавали его друг другу с рук на руки.

А один из хозяев Казани, не упоминаемый Дюма в числе его знакомцев, жандармский генерал Львов, доносил в Петербург шефу жандармов:

НАЧАЛЬНИК 7-го ОКРУГА
КОРПУСА ЖАНДАРМОВ

Октября 9-го дня
1858 года
№ 102

В Казани

*Рукой Долгорукова:* Доложено его величеству 19 октября

Секретно

Честь имею донести вашему сиятельству в исполнение докладной записки моей от 1-го сего октября за № 94-м, что французский писатель Александр Дюма, во время своего пребывания в Казани в продолжение одной недели, не посещал никакого общества высшего круга,—жил все время в конторе пароходного общества «Меркурий» в самой отдаленной части города, посещал дом полковника Жу-

ковского, управляющего Казанскою комиссариатскою комиссией, которому был рекомендован из С.-Петербурга, и часто по целым дням пребывал в семействе подполковника инженеров путей сообщения Лан; посетил университет, где два раза был приглашен на чай к ректору университета, действительному статскому советнику Ковалевскому, и также сделал визит г-же начальнице Родионовского института, которая визитом этим осталась весьма недовольна, как по причине весьма неопрятного одеяния, в котором Дюма к ней приезжал, так и по причине неприличных выражений его, употребленных им в разговорах с нею. Вообще Дюма в Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию, видевшие же его в обществе— нашли его манеры и суждения общественные вовсе не соответствующими его таланту писателя.

4-го октября Дюма отправился на пароходе через Самару в Астрахань, куда от меня предписано штаб-офицерам — самарскому и астраханскому иметь за Дюма секретное наблюдение. Донесения сих штаб-офицеров по сему предмету я буду иметь честь довести до сведения вашего сиятельства.

Генерал-лейтенант Львов[72]

Донесение Львова—попадая в тон знакомому нам московскому донесению—старается показать, что Дюма по своему внешнему облику, поведению и манерам оказывается parvenue, недостойным общества «благородного российского дворянства». В самом деле, в Казани Дюма не был ни у губернатора, ни у предводителя дворянства. Дюма ни словом не упоминает о посещении им «Родионовского института для благородных девиц». Очевидно, прием, оказанный ему начальницею, Екатериной Дмитриевной Загоскиной, был не из приветливых.

Донесение Львова опять сопровождается отметкой шефа жандармов: «Доложено его величеству 19 октября». Александр II продолжал следить за путешествием Дюма.

Следующая остановка Дюма, не входившая в его планы, была в Саратове.

Повествование о саратовском гостеприимстве самого Дюма в книге «En Russie»[73] исполнено искреннего удивления перед заботливым радушием, с которым встретили его в Саратове прикомандированный к губернатору чиновник министерства внутренних дел, кн. А. Б. Лобанов-Ростовский и полицеймейстер майор Позняк: едва только Дюма, не имевший рекомендательных писем в Саратов, переступил случайно порог соотечественницы, содержательницы модного магазина г-жи Сервье, как «к нему явились князь и полицеймейстер с приглашениями на обеды, с подарками». Повествование Дюма неожиданным образом восполняется таким рассказом о том же жандармского осведомителя:

НАЧАЛЬНИК 7-го ОКРУГА
КОРПУСА ЖАНДАРМОВ

Октября 23-го дня
1858 года
№ 111

В Казани

*Шефу жандармов и главному начальнику III отделения собственной его императорского величества канцелярии, господину генерал-адъютанту и кавалеру князю Долгорукову 1-му*

В дополнение докладной записки моей от 9-го сего октября за № 102, честь имею вашему сиятельству донести, что, как видно из донесений штаб-офицеров: французский писатель Александр Дюма отправился из Казани

в Астрахань; в Симбирск не заезжал, в Самару прибыл на пароходе и с оного на берег не сходил и вскоре отправился в Саратов, куда прибыл 8-го числа сего месяца, потребовал извозчика, поехавши с ним по городу, расспрашивал у него—не живет ли кто в Саратове из французов, и когда узнал о проживании там француза Сервье, торгующего дамскими уборами, отправился к нему в магазин, куда вскоре приехал саратовский полицеймейстер майор Позняк и пробыл тут, пока Дюма пил кофе и ел приготовленную для него рыбу, а в 8 часов вечера г. Дюма возвратился обратно на пароход. На другой день в 10 часов утра были у Дюма на пароходе чиновник, состоящий при саратовском губернаторе, князь Лобанов-Ростовский и полицеймейстер Позняк, с которым Дюма, ездя по Саратову, заезжал к фотографу, снял там с себя портрет и подарил его г. Позняку и потом отправился обедать к нему; тут же были: председатель Саратовской казенной палаты статский советник Ган, полковник, служащий в VII округе путей сообщения Терме и князь Лобанов-Ростовский. После обеда г. Дюма при сопровождении вышеозначенных лиц отправился на пароход и в 5 часов вечера отплыл в Астрахань (откуда я донесения еще не получал). Разговор г. Дюма вел самый скромный и заключался большей частью в расспрашивании о саратовской торговле, рыбном богатстве реки Волги и разной промышленности саратовских купцов и тому подобном.

[Подпись][74]

В Астрахани—только в еще более крупном размере—повторилось то же, что было в Казани и в Саратове. Гостеприимство чиновников, больших и средних, заполнило все дни, часы и минуты Дюма и его спутников. Гостеприимство приобрело чрезвычайные размеры.

Дюма был предоставлен в Астрахани дом миллионера Сапожникова, владельца богатейших рыбных промыслов в низовьях Волги,—«la plus belle maison de la ville», по определению самого Дюма.

О пребывании в Астрахани, о поездке к калмыцкому князю Тюменю (le prince Tumaine) и прочих астраханских праздниках и удовольствиях Дюма повествует в своей книге на десятках страниц (13—103). Рассказ о том же, принадлежащий скромному перу «корпуса жандармов полковника Сиверикова», более краток, но и более точен:

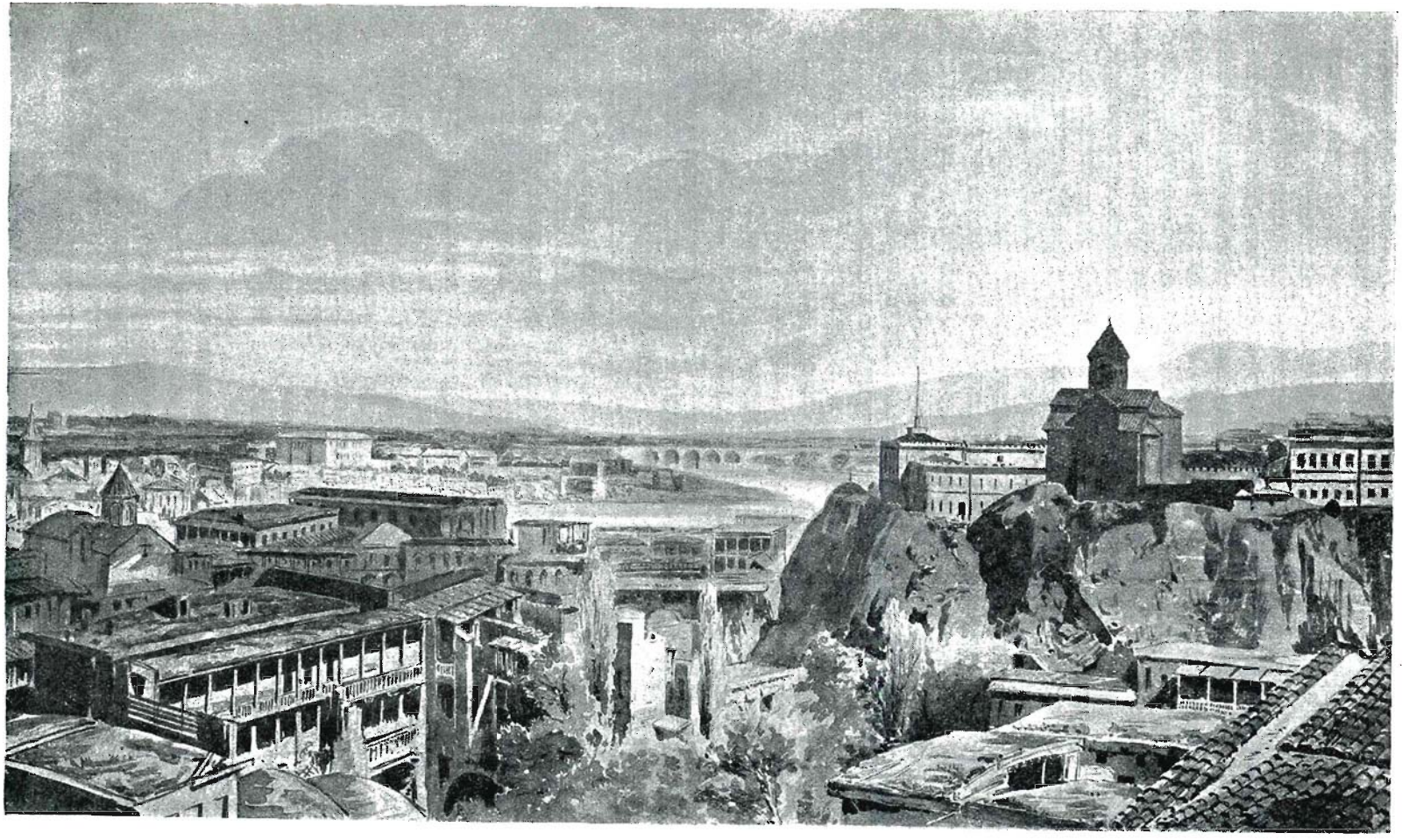
№ 12
26 октября 1858 г.
Г. Астрахань

*Начальнику 7-го округа корпуса жандармов,*
*господину генерал-лейтенанту*
*и кавалеру Львову 1-му*

Корпуса жандармов полковника Сиверикова

РАПОРТ

Во исполнение секретного предписания вашего превосходительства от 4 сего октября за № 97, имею честь почтительнейше донести. Французский литератор Александр Дюма, по прибытии в г. Астрахань 14 октября, остановившись на указанной ему квартире в доме коммерции советника Сапожникова, немедленно сделал визиты астраханскому военному губернатору контр-адмиралу Машину и управляющему Астраханской губернией статскому советнику Струве, у которого в этот день обедал и провел весь вечер; на другой день, по распоряжению управляющего губернией, были ему показываемы армяне, татары и персы в домашнем их быту и в нацио-



ВИД МЕТЕХСКОГО ЗАМКА И ЧАСТИ ТИФЛИСА

*Акварель художника Ж. Муане, 1858 г.*

Музей изобразительных искусств, Москва

нальных костюмах, потом он обедал у военного губернатора и вечером, в сопровождении г. статского советника Струве, сделал визит персидскому консулу, а после того посетил на несколько минут танцовальный вечер в доме благородного собрания. 16 октября, по приглашению контр-адмирала Машина, присутствовал на торжественном молебствии, бывшем по случаю начатия работ по углублению фарватера реки Волги верстах в 15-ти от Астрахани, оттуда в сопровождении старшего чиновника особых поручений начальника губернии Бенземана, адъютанта военного губернатора Фермора и нескольких охотников отправился на охоту и для осмотра обширных рыбных ловлей Учужной конторы, откуда возвратился в Астрахань на частном пароходе и ужинал у г. управляющего губернией; 17 числа утром на казенном пароходе «Верблюд» в обществе военного губернатора и лиц, сим последним приглашенных, отправился вверх по Волге в имение калмыцкого князя Тюменя, где провел 17 и 18 числа в осмотре быта калмыцкого народа, их народных плясок, разных увеселений и конских скачек, откуда возвратился в Астрахань в ночь на 19 число. Утром 19 числа занимался описанием того, что видел и что было ему показано, обедал в своей квартире, а вечер провел у атамана астраханского казачьего войска генерал-майора Беклемишева; 20 числа поутру ездил в персидские лавки и покупал азиатские вещи, обедал у г. статского советника Струве, где провел и вечер; 21 числа утром писал письма в Петербург, Москву и Париж, куда также отправил по почте брошюру своих путевых впечатлений о России, обедал у лейтенанта Петриченко, с женой которого познакомился на пароходе «Верблюд»; вечером 21 и утром 22 числа занимался составлением путевых записок и приготовлением к поездке; окончив занятия, поехал с прощальными визитами к генерал-майору Беклемишеву и управляющему губернией, а в 4 часа пополудни выехал по частной подорожной, взятой в Астрахани, в г. Кизляр, откуда намерен проехать через укр. Темир-Хан-Шуру, Тарки, г. Дербент, креп. Баку, г. Шемаху, Елисаветполь и Тифлис. По этому пути астраханский военный губернатор снабдил его открытым предписанием на взимание безопасного конвоя: путь же этот избрал г. Дюма потому, что по позднему осеннему времени, или по иным причинам, ни один пароход не мог в скором времени отправиться в море.

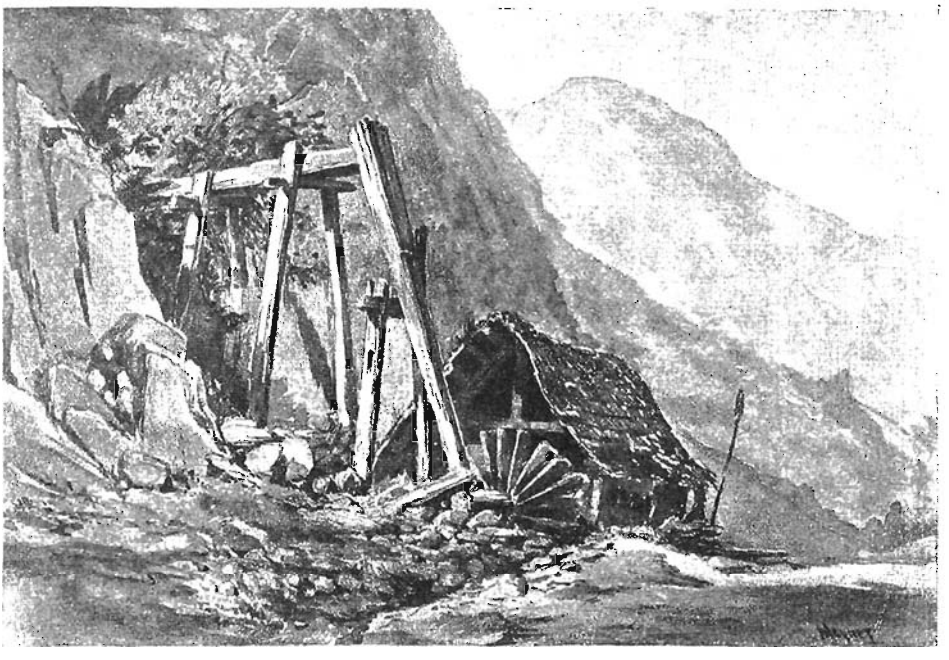
Как при прежних посещениях иностранцами г. Астрахани, так в особенности и при этом случае управляющий губернией г. статский советник Струве старался оказываемым вниманием привлечь этого иностранца к себе для удобнейшего за действиями его надзора и во избежание излишнего и может быть неуместного столкновения с другими лицами или жителями: ежели и случалось, что г. Дюма бывал в другом обществе, то никогда иначе как в сопровождении особого от управляющего губернией чиновника или полиции, и все это устраивалось весьма благовидно под видом гостеприимства и оказываемого внимания.

Во время нахождения г. Дюма в Астрахани, он вел себя тихо и прилично, но заметно разговоры его клонились к хитрому разведыванию расположения умов по вопросу об улучшении крестьянского быта и о том значении, какое могли бы приобрести раскольнические секты в случае внутреннего волнения в России. Я узнал от статского советника Струве, что он отказал г. Дюма в выдаче заграничного паспорта потому, что г. Дюма перед отъездом за границу будет в Тифлисе, где и может получить заграничный паспорт от наместника кавказского. Кроме сего имею основание

думать, что управляющий губернией об образе мыслей и любимых предметах разговора г. Дюма поставил в известность наместника кавказского, так как узнал я, что от статского советника Струве отправлена на этих днях эстафета в Тифлис, а по наведенным мною в разных его канцеляриях справкам, по делам в отправлении эстафеты к наместнику кавказскому не представлялось никакой надобности и об ней не имеется нигде официальной переписки.

[Подпись][75]

Этот великолепный документ не нуждается в комментариях: так он точен, ясен и полон. «Русское гостеприимство» казанское, саратовское, астраханское и т. д. и т. п., которое делало для Дюма путешествие по России



МЕЛЬНИЦА В КАВКАЗСКИХ ГОРАХ
Акварель художника Ж. Муане, 1858 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

таким удобным и дешевым и которое он не уставал прославлять в каждой главе своей книги, было на деле лучшим способом строжайшего политического надзора за путешественником. Бесконечные завтраки, обеды, ужины, охоты, праздники, поездки в обществе губернаторов, полицеймейстеров и всяческих крупных и средних чиновников были вернейшим средством полнейшей изоляции общительного путешественника от всех тех слоев общества и народа, от всех тех сторон русской жизни, обнаружение и описание которых было нежелательно русскому правительству. Сам того не замечая, Дюма во все время путешествия был крепко заперт в строгом изоляторе казенного гостеприимства: лучше всяких замков и цепей удерживало оно Дюма в одиночном заключении, которое казалось ему широчайшей свободой независимого путешественника. При этой системе не надо было приставлять к французскому путешественнику никаких особых «на-

блюдателей» и шпионов, которые, благодаря своей бессменности и назойливости, всегда рискуют быть разоблаченными поднадзорным; наблюдателями за Дюма были сами гостеприимные его хозяева, из рук в руки которых он переходил в каждом городе, где останавливался.

Этот способ наблюдения был проведен с таким мастерством, что сам Дюма ни разу не догадался, что вежливейшие «maîtres de police», неизменно всюду встречавшие его с предложением своих услуг, ничем не отличались от своих западных коллег, а только проще, вернее и прикровеннее совершали дело тайного политического надзора.

Подобный надзор продолжался во все время пребывания Дюма в России, вплоть до того момента, пока он в Поти сел на пароход, отплывавший в Константинополь.

В результате надзора Дюма, как явствует из всех сохранившихся жандармских донесений, был найден вполне невинным,—а некоторые жандармские наблюдатели добавляли даже: и пустым,—путешественником. «Хитрое разведывание по вопросу об улучшении крестьянского быта», в котором полуобвиняет Дюма астраханский жандарм, не могло считаться преступлением в 1858 г., когда вопрос об освобождении крестьян был открыто поставлен самим правительством и обсуждался в печати. Плодом интереса Дюма к крестьянской реформе явился обширный, но поверхностнейший очерк «Lettres sur le sérvage en Russie» (pp. 121—271 IV тома «En Russie»), из 11 глав которого только 4 последние имеют своим предметом положение крестьян в России. Что же касается до разговоров Дюма о «раскольнических сектах», то вряд ли они имели хотя какой-нибудь политический оттенок: из всех русских сект Дюма интересовался лишь скопцами (19 гл. книги «En Russie» и 57-я—книги «Caucase»), но относился к этой секте с полнейшим осуждением.

4

Свое путешествие по Кавказу Дюма описал в особой книге «Le Caucase», построенной совершенно так же, как книга «En Russie»: это—причудливый и пестрый клубок дорожных приключений, жанровых сцен, исторических легенд, кулинарных воспоминаний, фантастических псевдонаучных домыслов, легких экскурсий в историю литературы—и постоянных, непрерывных упоений русским гостеприимством и собственным благополучием.

У порога Кавказа кончаются жандармские донесения полицейских гостеприимцев Дюма, но, нет сомнения, и в ногайских степях, и в горах Дагестана, и в долинах Грузии—всюду и всегда французский путешественник подвергался той же, неприметной ему, изоляции гостеприимством, для восхваления которого Дюма не находил слов. От наместника кавказского, князя Барятинского, в Тифлисе до коменданта в Шемахе все русские власти наперебой ласкали, кормили, поили, увеселяли, одаривали Дюма, и в Азии делалось все это в еще более широких масштабах, чем в Европейской России[76].

Дюма обычно обвиняют в преувеличениях. Но что его восторг пред русским гостеприимством мало преувеличен, видно из забытых воспоминаний некоего И. Евлахова, свидетеля-участника приема, оказанного Дюма при посещении им Шемахи.

Приводим в извлечениях эти воспоминания русского знакомого Дюма, оставшиеся неизвестными биографам писателя:

«С автором «Монте-Кристо» я встретился в первый раз в Шемахе, в ноябре 1858 г. Прежде чем мы увидели Дюма, молва о нем уже бежала впереди в газетных и всяких других рассказах; само собой разумеется, что такая личность многих заинтересовала, в особенности нетерпеливо желали видеть его некоторые из дам, начитавшиеся в первой молодости его романов: «Возможно ли! Дюма в Шемахе!.. Надобно видеть его поближе!»

— То-есть как это поближе?—насмешливо говорил один из ревнивых мужей своей не в меру любопытной половине.

Атлетическая дородность Дюма, здоровое смуглое лицо и густые черные курчавые с проседью волосы придавали ему оригинальность, которая бросалась в глаза. Он был в каком-то неопределенном костюме, в роде ополченки, в дорожных сапогах; в них он являлся и на базаре и в гостиной. Дюма начал свой шемахинский день официальными визитами. С ним были живописец Муане (compagnon de voyage)—приличный молодой человек, и некий Калино в качестве переводчика...

Дюма принадлежал к числу личностей, для изучения которых не нужно много времени. Добряк, словоохотливый, неутомимый и приятный собеседник, он высказывался весь с первой же встречи. По крайней мере таким он явился в Шемахе, где провел два дня, простота его обращения и откровенность сразу же делали его как бы старым вашим приятелем. Не стесняясь в незнакомом обществе, он свободно выражал свой взгляд на все, что бы ни было предметом разговора. Может статься, к этому располагали радушный прием, простота и нецеремонность наших провинциальных нравов.

После сделанных визитов местным властям Дюма с компанией был приглашен на завтрак в дом коменданта. Хозяин дома О-ий, старый служака, начавший первую свою молодость различными приключениями в Молдавии и проведший много лет среди кавказской боевой жизни, отличался гостеприимством и хлебосольством: редко кто проезжал через Шемаху, не погостивши у него. Живя, что называется, нараспашку, почтенный ветеран имел привычку с первого же знакомства обходиться с каждым бесцеремонно. Так он обошелся и с Дюма.—«Послушай, Дюма,—сказал он,—я не калякаю по-французски, а вот у меня веселись сколько душе угодно; пообедаем сегодня вместе».

— «Карашо!»—отвечал Дюма.

Гость и хозяин подружились не на шутку, чему много содействовали хозяйка дома, женщина во вкусе Бальзака и страстная обожательница «дюмовских романов», из которых ей в особенности нравились «Сорок лет спустя», «Три мушкетера» и «Монте-Кристо», и сестра хозяина дома, г-жа С-чь, женщина пожилых лет, но с пылким воображением, много читавшая и странствовавшая на своем веку, единственная из шемахинских дам, которая могла объясняться на французском языке. Дюма был до того доволен сделанным ему приемом, что испещрил все стены дома карандашом. Если вам случится проехать через Шемаху и побывать в комендантском доме, то, наверное, вам укажут, между прочим, надпись Дюма над камином в гостиной:

«Souvenir reconnaissant de mon voyage à Chemaka».

Всматриваясь в Дюма, мы вспомнили про его портрет, помещенный пред тем в одном из номеров «Иллюстрации» (№ 26, 1858), тотчас отыскали его и показали оригиналу. Взглянувши на изображение, имевшее с под-

линником едва заметное сходство, Дюма сказал со смехом хозяйке: «Берегите этот портрет, чтобы пугать им детей в случае, если они расплачутся или расшалятся».

Дюма приехал в Шемаху через Кизляр, Темир-Хан-Шуру и Баку. Много сожалел он, что настоящая поездка его не происходила несколько ранее, когда кавказская природа красуется во всей своей прелести и величии. Несмотря на это, он был восхищен некоторыми местностями от Дагестана до Баку. Предприняв поездку в Россию единственно для свидания с некоторыми знакомыми в Петербурге и Москве, Дюма не предполагал заехать так далеко и потому запасся небольшими денежными средствами. Но благодаря гостеприимству русских, путешествие обходилось ему чрезвычайно дешево, так что из умеренного запаса своего он рассчитывал еще привезти остаток на родину.

Вечером нас пригласили к одному из зажиточных шемахинских мусульман, Нахмуд-беку, только что отстроившему дом в восточном вкусе. Пестрота обстановки, узорчатые стены и зеркальный потолок произвели эффект. Мы вошли в залу, убранную совершенно в восточном вкусе. ...Дюма с компанией, прохлаждаясь фруктами, курил кальян; сцена была из любой восточной кофейни с примесью нескольких человек из русских чиновников, приглашенных к Нахмуд-беку. Автор «Монте-Кристо», восхищаясь красотою и пестротою отделки дома, справедливо заметил, что в нем весьма некстати были налеплены и развешены на расписанных стенах лубочные картинки, изображавшие события персидской и турецкой войны времен Паскевича и Дибича, идиллические сцены с амурами и пастушками, которыми приличнее было украсить скорее какую-либо харчевню, чем стены великолепного дома. Здесь мы много говорили о судьбах Востока, коснеющего в невежестве, несмотря на то, что он довольно уже сблизился с Европою, о Ламартине, о Франции в особенности. „Быть передовым народом, создавать идеи для того, чтобы ими пользовалось человечество и пробуждалось к умственной и политической деятельности, — вот назначение Франции“, — сказал Дюма, оканчивая свою беседу.

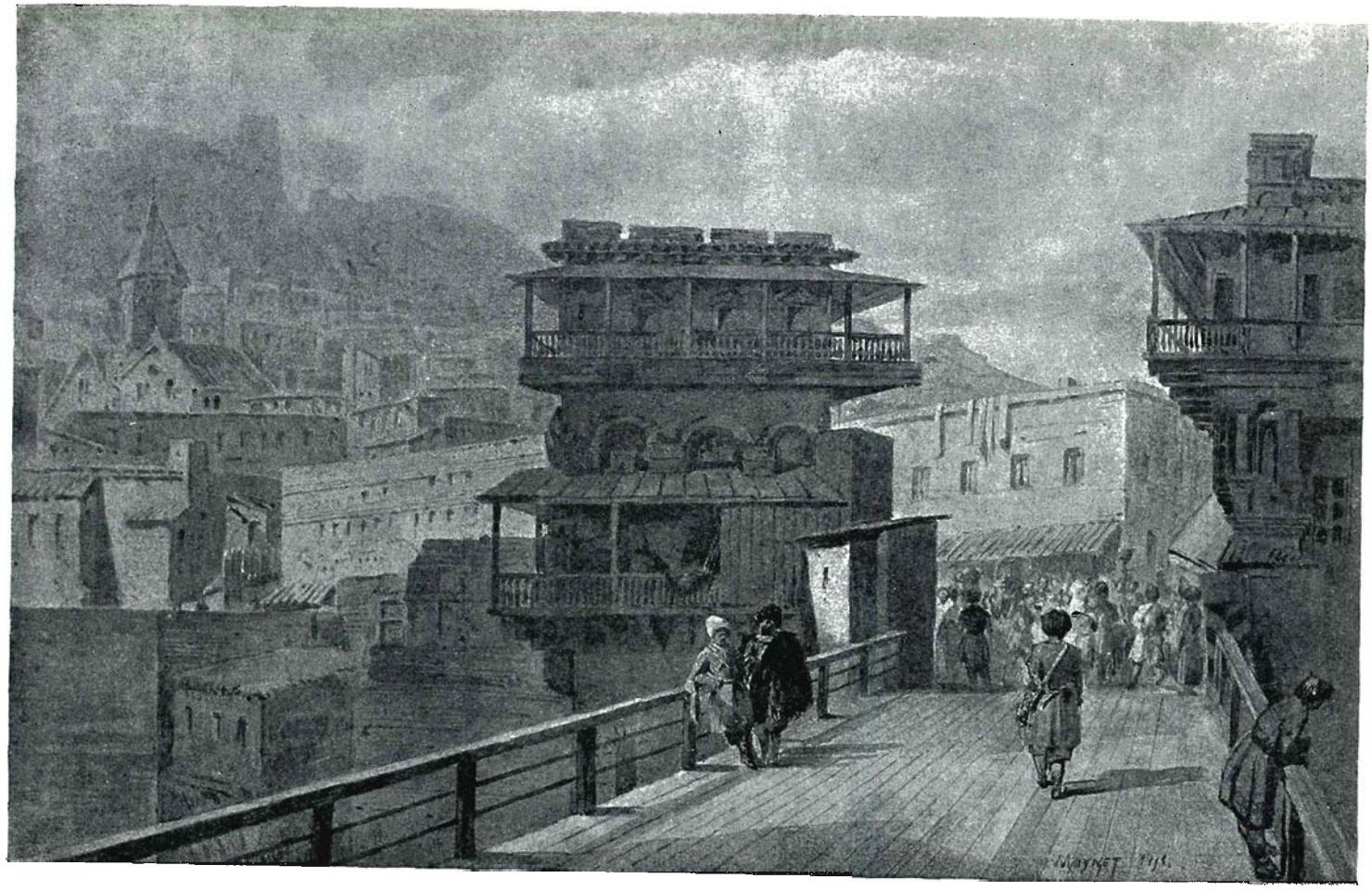
На последовавшем затем персидском вечере, «увлеченный прелестями Нисы» [танцовщица. — *С.Д.*], Дюма после второго блюда встал из-за стола, подошел к ней, приподнял покрывало и поцеловал ее в пояс. Публика, в особенности почтенные гости из местных мусульман, сидевшие за столом, с удивлением смотрели на Дюма.

— Извините, господа: смелость везде и во всем—это преимущество, свойственное только французам,—проговорил Дюма, сознавая нецеремонность своего обращения с публикой.

«Аллах! Чего ж ожидать от простых гяуров, когда в ученых так мало совести»,—перешептывались между собой мусульмане, покачивая головой.

Ужин кончился довольно скоро; гости Нахмуд-бека начали расходиться. В полночь мы возвратились к коменданту, где ожидали нас знакомые лица.

Начались танцы гросфатером, в котором усердно упражнялся толстый Дюма. Калино плясал в промежутках казачка, Муане трудился над альбомными рисунками. Уморившись от гросфатера, Дюма потребовал бумаги и на память для желающих написал несколько стихотворений Лермонтова, переведенных им на французский язык. В три часа ночи он простился с нами, а на другой день, утром, выехал из Шемахи, оставив



МАЙДАНСКИЙ МОСТ В ТИФЛИСЕ
Акварель художника Ж. Муане, 1858 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

по себе воспоминания настоящего француза—доброго, веселого малого и страстного обожателя женщин»[77].

На Кавказе давно ждали Дюма. Об его путешествии туда, как мы знаем, наместник кавказский был предупрежден шефом жандармов еще в июле 1858 г., и тогда же—20 августа—наместник отвечал кн. Долгорукову:

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА НАМЕСТНИК КАВКАЗСКИЙ

20 августа 1858 г.
№ 715

В Боржоме

Об учреждении надзора за г. Дюма

*Главному начальнику III отделения собственной его императорского величества канцелярии*

Вследствие отношения ко мне вашего сиятельства от 19 июля настоящего года за № 676, по предмету надзора за г. Дюма, честь имею сообщить вам, милостивый государь, что по приезде г. Дюма в Тифлис мною будет назначен для нахождения при нем, в качестве переводчика и путеводителя, благонадежный чиновник, которому вместе с тем поручено будет и наблюдение за ним.

Этою мерой, я полагаю, совершенно удовлетворительно заменить полицейский надзор.

[Подпись][78]

Казенное гостеприимство и на Кавказе, как в Европейской России, «совершенно удовлетворительно заменило полицейский надзор» за Дюма,—настолько удовлетворительно, что он счел надзор за гостеприимство.

Парижский читатель Дюма снаряжал его в путешествие на Кавказ, примерно так, как грибоедовский «французик из Бордо»

...снаряжался в путь
В Россию, к варварам, со страхом и слезами...

На деле с Дюма вышло то же, что с грибоедовским французиком:

Приехал и нашел, что ласкам нет конца...
...будто бы в отечестве, с друзьями,
Своя провинция...

Тем не менее, во Франции распространились слухи о смерти Дюма,—распространились настолько широко и упорно, что редакция «Монте-Кристо», испугавшись, что эти слухи отпугнут читателя от журнала, сочла необходимым поместить большой портрет Дюма, «сделанный с фотографии, снятой с Дюма в Астрахани, в середине октября», и снабдить портрет уверением: «А. Дюма возвратится, вы увидите, еще более сильным, еще более молодым, чем когда он отправился в путь,—он возвратится, совершив путешествие, которое было бы не под силу десяти обыкновенным людям»[79]. Русские газеты сочли нужным отозваться на эти слухи. В фельетоне «Санкт-Петербургских Ведомостей» от 30 октября 1858 г., посвященном парижским новостям, читаем: «На этом представлении [дебют Эммы Ливри в «Сильфиде» в Grand Opéra] был весь Париж, т. е. всевозможные знаменитости и известности, между прочим, и молодой Дюма, только что оправившийся от опасного падения из кабриолета. В антракте знакомые и приятели забросали его вопросами: «Имеете вы известия из России о вашем отце?—спросил его один из почитателей автора «Монте-Кристо».—Пишет он вам? Разнеслись слухи, что он умер».—«Нет, он жив и здоров. Отец мой хоть и писатель, но писать писем не любит. Я по-

лучил от него на-днях, через одного москвича, только визитную карточку, на которой карандашом нацарапано:

Que contre le destin ton cœur soit affermi!
Je t'aime, je t'embrasse et t'envois un ami.

Да укрепится твое сердце против судьбы!
Я люблю тебя, обнимаю и шлю к тебе друга.

Вот и вся его корреспонденция. Остальное можете прочесть в журнале „Монте-Кристо"»[80].

Номер «Петербургских Ведомостей» с этим известием дошел на Кавказе до Александра Дюма-отца, и он, находясь в Баку, как всюду, почетным гостем начальника Бакинского уезда и полицеймейстера г. Баку, Пигулевского, пожелал опровергнуть слухи о своей смерти. Он сделал это в письме к поэту и романисту Жозефу Мери́ (Joseph Mery, 1798—1865). Вот это письмо:

Баку — бывшая Персия,
ныне Азиатская Россия

Дорогой Мери́,

Я прочел в одной русской газете, что в Париже и даже во Франции распространился слух о моей смерти и что этот слух огорчил моих многочисленных друзей. Газета забыла прибавить, что это самое известие обрадовало моих многочисленных врагов, но это само собою понятно.

Однажды вы уже опровергли от своего имени подобное сообщение обо мне, в этот раз напечатайте от моего имени, что я не так глуп, чтобы расстаться с жизнью столь преждевременно.

Мне было бы тем более тягостно, мой друг, прервать путь во Францию, что я совершаю чудное путешествие, такое чудное, что если бы я действительно умер, то готов был бы являться ночью, чтобы рассказывать,—подобно св. Бонавентуре, который, правда, в сравнении со мною имел преимущество быть святым, что значительно облегчает восстание из мертвых,—являться, чтобы продолжать мои прерванные мемуары.

Пишу вам из Персии, из России, не знаю—откуда, вернее из Индии. Друг мой, я нахожусь в самой настоящей Персии. Сейчас Зердуст, Зорадот, Зеретостро-Зороастр, наконец, смотря по тому, как вы хотите его именовать по-персидски, по-пехлевски[81], по-зендски или по-французски—мой пророк, а огонь, окружающий меня, мое божество. Подо мною земля горит, надо мною вода горит, вокруг меня воздух горит, все это могло дать повод к уверенности, что не только я уже умер, но даже, подобно Талейрану, нахожусь у ж е в а д у[82].

Объяснимся: злые языки могут утверждать, что я нахожусь здесь за свои грехи, тогда как я здесь для своего удовольствия.

Вам, дорогой Мери́, всезнающему, известно также, что Баку, благодаря своим нефтяным колодцам, почитается гебрами, как место священное. Эти колодцы представляют собою нечто вроде предохранительных клапанов, позволяющих Баку относиться с пренебрежением к землетрясениям, опустошающим ее соседку—Шемаху; итак, я нахожусь среди этих колодцев, из которых около шестидесяти объяты пламенем вокруг меня и имеют вид вулканов, ожидающих, по распоряжению Общества Кокорев и компания, превращения в свечи[83]. Титан Анселад собирается намалевать вывеску, титан становится бакалейщиком,—что ж тут такого,—во

Франции бывают эпохи, когда бакалейщики становятся титанами,—во всяком случае, нет ничего более оригинального, как этот пылающий храм, который я видел вчера, если не считать этого пылающего моря, виденного мною сегодня.

Представьте себе, мой друг, что эти самые газы, проходящие по трубам в пять тысяч лье[84] и воспламеняющиеся на поверхности земли, чтобы подогреть труп гебрской религии, проходят тот же путь плюс пятнадцать или двадцать футов через воду, чтобы воспламеняться на поверхности моря.

Все это было совершенно неизвестно, замечали только кипение в волнах, вызывавшее всеобщее недоумение,—чувствовали запах нефти, точно в вестибюле Этны или в коридоре Везувия, до тех пор, пока один неосторожный капитан, плававший среди этих вихрей, измерявший глубину вод и принимавший это явление за миниатюрный Мальстрем, не бросил в воду зажженную бумагу, которою он закурил сигару: море, ожидавшее в продолжение пяти тысяч лет этого воспламеняющего момента, загорелось на протяжении полу-лье, и капитан, воображавший себя на Каспии, оказался на Флегетоне. К счастью, подул с запада ветерок, давший возможность спастись от громадного кипящего морского котла, в котором варился суп из осетрины и тюленей.

Сегодня вечером мы повторили опыт,—море проявило свою обычную любезность и дало нам бесплатный спектакль при свете бенгальского огня. В это время, довольно фантастическое, я записал кое-что, а Moynet набросал несколько рисунков. Но, чтобы попасть в этот рай Брамы, надо было переправиться через мост Магомета, то-есть через Кавказ. Мы перерезали территорию Шамиля и дважды имели случай обменяться ружейными выстрелами со знаменитым предводителем мюридов. С нашей стороны убиты три татарина и один казак, а с его стороны пятнадцать черкесов, с которых только сняли оружие и подобрали трупы в яму. Moynet воспользовался случаем и сделал на них бесплатно несколько анатомических исследований—скажите его жене, что муж ее умеет быть экономным.

Странная машина—человеческий ум! Знаете ли, чем занимался мой ум за это время? Невольным воспоминанием и невольным переводом на французский язык подобия оды Лермонтова, с которою меня познакомили в Петербурге и о которой я даже совершенно забыл. Ода называется Д а р ы Т е р е к а и так как имеет чисто местный характер, то я присылаю ее вам.

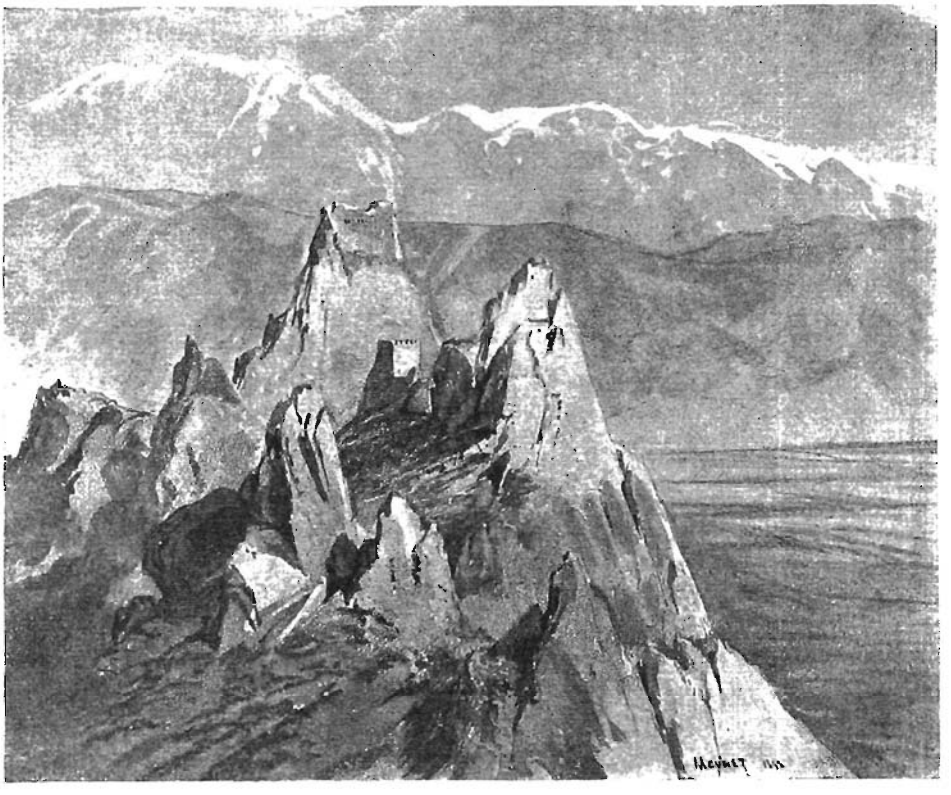
Вот она!

Les Dons du Tereck

. . . . . [85]

Стихи! Вы уж, конечно, не ждали, не правда ли, получить от меня стихи с Кавказа? Что ж, дражайший Мери́, вы всегда были посвящены в мои поэтические грезы. В 1827 г.—о, наша несчастная юность, где ты?—в 1827 г. я декламировал вам стихи «Кристины» на площади Лувра, в 1836 г. я вам декламировал стихи «Калигулы»—это было на Орлеанской, в 1858 г. я вам декламировал стихи «Ореста» на Амстердамской улице[86] — в будущем году я вам пришлю их из Афин, из Иерусалима или из Хартума, потому что порок путешествий, дорогой Мери́, заключается в непреодолимой потребности путешествовать. Правда, здесь я путешествую по-княжески. Русское гостеприимство великолепно, подобно золотым рудникам Урала. Мой эскорт составляли почти пятьсот человек, под предводительством трех татарских князей.

Дорогой Мери́, поезжайте со мною в будущем году. Ваше истинное отечество — Восток. Индия дала расцвет вашего лучшего романа, Египет дал созреть вашим лучшим стихотворениям. В голове вашей или, вернее, в сердце вашем пять или шесть романов и восемь или десять тысяч подобных стихов, ожидающих вырваться на волю,—откройте же клетку этих прелестных птиц, и я, мой друг, не замедлю крикнуть им: «Дети любимого мною отца, летите и будьте счастливы!»[87].



РАЗВАЛИНЫ СТАРИННОГО ЗАМКА В ГОРАХ КАВКАЗА
Акварель художника Ж. Муане, 1858 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

До свидания, милый друг, вспоминайте иногда о том, кто часто вспоминает о вас.

А. Дюма

25 ноября 1858 г.,
при 25 градусах жары[88].

Преувеличенность, чтобы не сказать более, всех описательных пропорций в этом письме к Мери́ очевидна и не нуждается в доказательствах[89].

Неверны и находящиеся в письме автобиографические сообщения Дюма об его вооруженных столкновениях с горцами.

В своей книге «Caucase» Дюма рассказывает о двух вооруженных встречах с горцами—о случайной перестрелке с абреками во время охоты (глава «Les abrecks») и об участии в ночном «секрете» во время остановки в

Хасав-Юрте (глава «Le secret»). Вероятно, об этом последнем эпизоде *Дюма говорит в сохранившемся* письме к Женни Фалькон, жене Д. П. Нарышкина:

Дорогая Женни,

Этот молодой человек, родственник Димитрия, был так любезен, что обещал рассказать вам все мои новости и успокоить вас относительно опасностей, которым мы можем подвергнуться. Сначала от этих опасностей у нас захватывало сердце, а кончалось тем, что мы находили их однообразными. Сегодня вечером для меня устраивается небольшая экспедиция к черкесам. Подробности напишу по приезде в Баку. Передайте мою любовь Димитрию, взяв себе хороший ее кусочек, и верьте, что у подножия Кавказа я остаюсь тем же, каким был на Михайловской площади, в Петровском парке и в Елпатьеве. С почтительнейшей любовью

А. Дюма[90]

Ни та, ни другая перестрелка никак не могут назваться схваткой «с знаменитым предводителем мюридов», т. е. с самим Шамилем. От легкой перестрелки с двумя-тремя горцами до встречи с отрядом Шамиля—«дистанция огромного размера»!

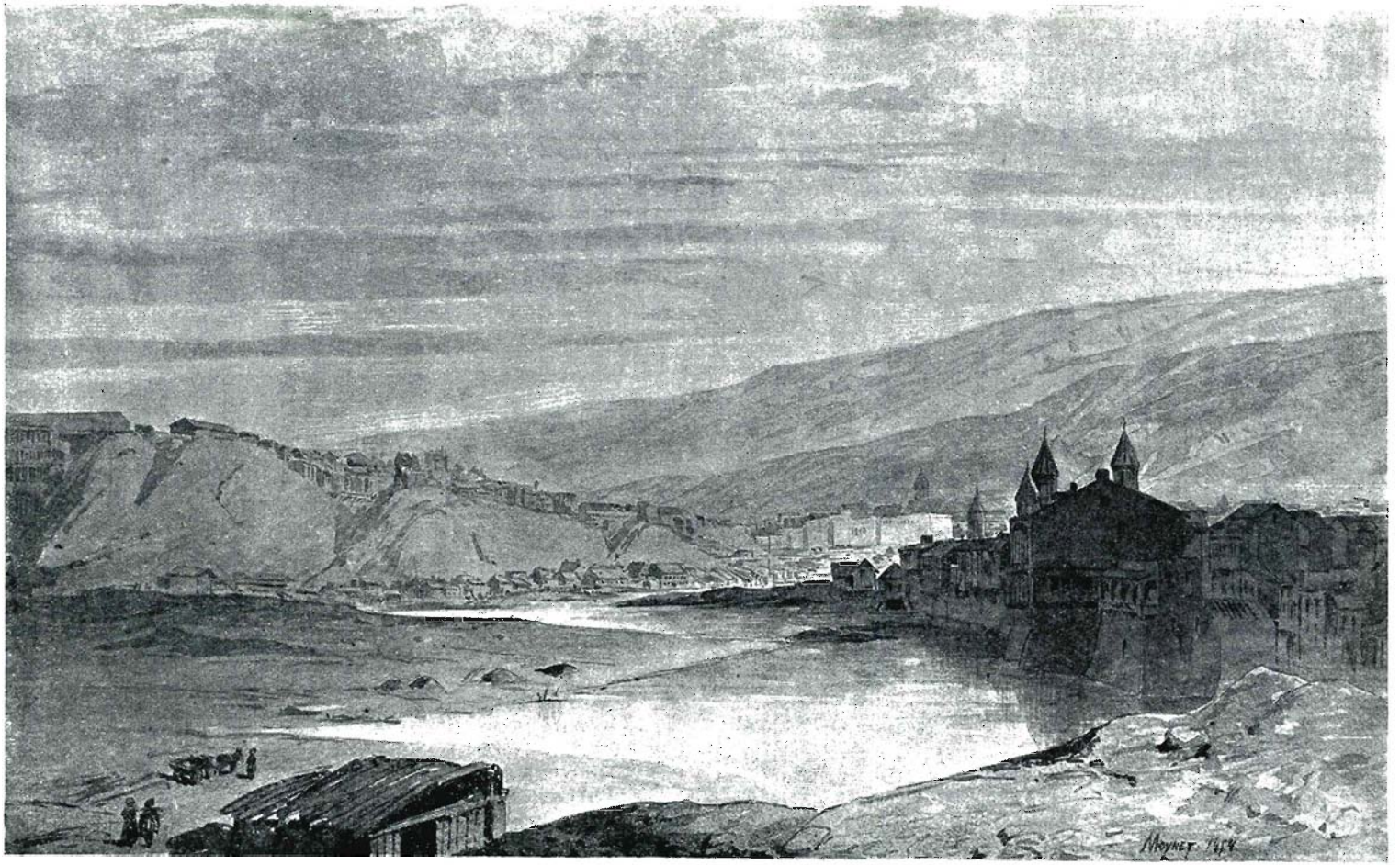
Эту «дистанцию» между повествованием Дюма и живою действительностью ярко отметил Ф. М. Достоевский после появления книг Дюма о России и Кавказе. Иной парижский путешественник,—иронизирует Достоевский, не называя, но имея в виду Дюма,—«пожалуй, напишет свое путешествие в Париже, еще прежде поездки в Россию, продаст его книгопродавцу, и уже потом приедет к нам—блеснуть, пленить и улететь... Схватив первые впечатления в Петербурге, выучив мимоходом русских бояр (les boyards) вертеть стол, он решается, наконец, изучить Россию основательно, в подробностях, и едет в Москву... Затем путешественник едет далее, восхищается русскими тройками и появляется, наконец, где-нибудь на Кавказе, где вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и читает с ним „Трех мушкетеров“»[91].

К главе «Нижегородские драгуны» книги «Caucase», где Дюма рассказывает о своем знакомстве с этим боевым кавказским полком и его командиром, кн. А. М. Дондуковым-Корсаковым, можно сделать любопытные дополнения по русским источникам.

Кавказец А. П. Оленин сохранил воспоминание о пребывании Дюма в Чир-Юрте, в месте стоянки Нижегородского драгунского полка. Дюма был радушно принят командиром полка, кн. А. М. Дондуковым-Корсаковым, и обществом молодых офицеров, которые поголовно были поклонниками его таланта. Когда пришло время отъезда, офицеры провожали Дюма верхом. Дюма ехал на иноходце.

«Вдруг послышались выстрелы в авангарде. Вихрем понеслись вперед наездники, драгуны и казаки. Справа и слева в отдалении показались конные чеченцы. Дюма словно преобразился. Во весь опор вынесся он с нами вперед туда, где завязалась лихая перестрелка. То наскакивая, то удаляясь, горцы перестреливались с нашими.

Во все время схватки Дюма сохранил полное самообладание и с восхищением следил за отчаянной джигитовкой казаков. Вскоре горцы, обменявшись последними выстрелами, ускакали во-свояси. У нас убитых не оказалось»[92].



ВИД НА КУРУ В ТИФЛИСЕ
Акварель художника Ж. Муане, 1858 г
Музей изобразительных искусств, Москва

Свидетельство А. П. Оленина могло бы увеличить вескость военно-кавказских рассказов Дюма в публикуемом письме к Мери́ и в книге «Caucase», если бы не существовало неизданное показание, записанное В. Д. Карга-новым, знатоком Кавказа и бывшим собственником письма Дюма к Мери́: «М. П. Хаккель (ум. в 1929 г. в возрасте почти 90 лет), бывший около 1880 г. личным секретарем князя Ал. Мих. Дондукова-Корсакова, главноначальствующего на Кавказе, сообщил мне следующий комментарий к перестрелке с мюридами, упомянутой Дюма (в письме к Мери́). В то время Нижегородским драгунским полком командовал кн. А. М. Дондуков-Корсаков, который—как он сам рассказывал—радушно принял, на своем бивуаке Терской области, знаменитого писателя. После ряда угощений и попоек [о них Дюма подробно рассказывает в главе «Нижегородские драгуны».—*С. Д.*] он, с небольшим отрядом, выехал провожать на несколько верст своих гостей, т. е. группу путешественников, среди которых был Дюма. У первой опушки леса князю пришла мысль позабавиться симуляцией нападения горцев, для чего было послано несколько солдат-драгун в лес разыграть стычку с воображаемым Шамилем. После перестрелки романисту рассказали разные небылицы о сражении в лесу и, в подтверждение, показали ему какие-то лохмотья, обмоченные в крови барана, заколотого к обеду»[93].

Эта мистификация была в духе того великолепного приема, который оказывало Дюма начальство на Кавказе: писателя, заранее объявившего, что он едет «провести ночь в палатке Шамиля», угощали инсценировкой нападения чеченцев с таким же радушием, с каким в других местах угощали его баядерками, огнепоклонниками, калмыцкими наездниками, медвежьею охотою, «Ночью графа Монте-Кристо» и т. д. и т. п.

Когда Дюма вернулся в Париж, он писал оттуда Д. П. Нарышкину: «Какое это было прекрасное путешествие, дорогой друг! Скоро вы это узнаете, так как я отдаю в типографию приказание отсылать вам первому нумера журнала «Кавказ», который я начинаю издавать. Там в течение 30 дней будет помещено все мое путешествие от Кизляра до Поти».

Еще позднее, в 1865 г., Дюма издал роман «Le comte de Moret» со следующим посвящением Д. П. Нарышкину:

Дорогой Нарышкин! Прошу вас принять посвященный вам роман Comte de Moret на память о царственном гостеприимстве, оказанном мне вами в России. Ex imo cordo. А. Дюма[94].

В сущности, Дюма мог бы расширить посвящение и посвятить свой роман не одному Нарышкину, а всем, кто оказывал ему «царственное гостеприимство в России»—всем полковым командирам, комендантам, полицей-мейстерам, губернаторам, наместникам от Казани до Поти.

Увы, если бы Дюма мог доискаться до источников этого гостеприимства в России, ему пришлось бы посвятить свой роман шефу жандармов.

Невольно для себя, Дюма хорошо отплатил за это казенное гостеприимство, весь размах и цену которого он особенно почувствовал на Кавказе: Его «Caucase»—в сравнении с «En Russie»—оказался книгою весьма благонамеренною. В ней нет никаких неприятных для Александра II экскурсий в прошлое Романовых и их двора. Русские завоеватели Кавказа изображены в ней европейцами, приобщающими народы Кавказа к цивилизации.

В 1861 г. из типографии Главного управления наместника кавказского вышла книга: «Кавказ. Путешествие Александра Дюма. Перевод с фран-

цузского П. Робровского» (712 стр.). Это был почти полный перевод книги Дюма: в его книге, за двумя-тремя штрихами, не оказалось ничего непозволительного с точки зрения царской цензуры.

Дюма увидел на Кавказе лишь то, что можно было видеть из золотой клетки гостеприимства; он рассказал о Кавказе лишь то, что ему разрешили рассказать его невидимые цензоры, его незримые тюремщики, которых он считал любезнейшими в свете меценатами. Описывая иллюминацию в свою честь в Баку, Дюма гордо замечал: «Нет сомнения, что самый богатый владыка в целом свете, за исключением императора Александра II, не в состоянии устроить себе в своем государстве такой вечер, который был дан нам, простым артистам. Дело в том, что искусство есть царь над императорами и император над царями».

Дюма жестоко ошибался: в России он был в тесной тюрьме, когда считал, что находится на вольном празднике в честь знаменитого художника.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Воспоминания А. М. Каратыгиной» — в книге П. А. Каратыгин, Записки. Под ред. Б. В. Казанского, т. II, «Academia», Л., 1930, стр. 169—170. «Antony» был поставлен в Париже 3 мая 1831 г., в Петербурге — 11 января 1832 г.; в январе 1833 г. были поставлены в Петербурге «Ричард Дарлингтон» и «Итальянка» («Тереза»), прошедшие в Париже 10 декабря 1831 и 9 февраля 1832 г.; «Кин», поставленный в Париже 31 августа 1836 г., в Петербурге шел уже 11 января 1837 г.

[2] Пушкин, Письма. Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского, т. II, М.—Л., 1928, стр. 121. Имеется в виду трагедия Дюма «Stockholm, Fontainebleau et Rome» (1830), переделанная из его же трагедии «Christina».—В библиотеке Пушкина сохранилась «мистерия в 5 действиях» Александра Дюма—«Дон-Жуан де Маринья».

[3] Сочинения Н. В. Гоголя, изд. 10-е, т. V, М., 1889, стр. 512—514; статья «Петербургские записки» переработана, в своей театральной части, из черновой статьи Гоголя «Петербургская сцена в 1835/36 г.» (там же, т. VI, М., 1896, стр. 317—323). В этой статье имя Дюма отсутствует: Гоголь внес его, приготовляя статью для «Современника» (1837, т. VI, № 3, стр. 403—423). Гоголь с иронией упоминает еще имя Дюма, как автора мелодрамы, в своем «Театральном разъезде».

[4] «Северная Пчела», 1837, № 33.

[5] Н. В. Дризен, Из истории драматической цензуры при императоре Николае I.—«Ежегодник императорск. театров», 1914, вып. VI, стр. 50—51.

[6] Переводы Белинского напечатаны в «Телескопе», 1834, т. XXII, стр. 98—114, 134—176, 362—390. Рецензия на «Современные повести»—во II томе «Сочинения Белинского», под ред. С. А. Венгерова.

[7] Сочинения А. И. Герцена, под ред. М. К. Лемке, т. I, стр. 357.

[8] «Воспоминания А. М. Каратыгиной»—в книге П. А. Каратыгин, op. cit. стр. 227—228.

[9] F. Bonnaire, Théâtre de la Renaissance.—«Revue de Paris», 1839, v. IV, pp. 134—136. См. также отзыв в «Revue des Deux Mondes», quatrième série, 1839, XVIII, p. 292.

[10] ЛОЦИА, Архив внутренней политики. «Дело канцелярии министра народного просвещения о поднесении его величеству драмы Александра Дюма и о пожаловании ему подарка. Начато мая 28 дня 1839 года. Кончено ноября 30 дня 1839 года. На 19 листах». № 141, листы 18 и 19. Далее цитируется: Дело о подарке Дюма.

[11] Архив революции. Фонд III отделения. I эксп. № 761. Дело «Об агентах и журналистах в Германии, к которым посылались деньги по представлению барона Швейцера. Об агенте Дюране». Часть 5, лл. 32—33. Другие части «Дела», относящиеся к Дюрану,—1, 4, 6; там же: Отчет III отд., 1840 г., лл. 119—124—«О журналисте Дюране».

[12] Там же, часть 5, лл. 39—42. Резолюция Бенкендорфа на донесение Дюрана легла в основу его письма к Дюрану, подписанного «George» и помеченного 13 июля 1839 г. (там же, л. 43). Дальнейшая история Дюрана сводится к следующему. Через Дюрана бонапартистами делалась попытка завязать сношения с русским правительством. После ареста одного из видных бонапартистов, маркиза Круи Шанеля Crouy-Chanel), был арестован и Дюран. При обыске у него были захвачены доку-

менты, устанавливающие его сношения с русским правительством. Французское правительство, вопреки мнению русского посла, сочло за лучшее не доводить дела до суда. Дюран был освобожден, но III отделение прервало всяческие сношения с ним. «Capitole» закрылся 3 декабря 1840 г. Дюран, заболевший душевной болезнью, умер в Бельгии. Ввиду слухов, что вдова Дюрана намерена продать переписку мужа, она в 1849 г. была арестована в России, куда приехала искать места учительницы французского языка, но никаких бумаг мужа у нее не было обнаружено (сведениями этими и архивными материалами о Дюране я обязан Н. Д. Эфрос).

[13] Об С. С. Уварове и Э. П. Мещерском см. в нашей работе: «Русские писатели у Гёте в Веймаре» («Литературное Наследство», кн. 4—6, стр. 186—236); о Як. Толстом—работу Б. Модзалевского («Русск. Старина», 1889, т. XCIX).

[14] ЛОЦИА, Фонд канцелярии министерства двора 1836 года (опись 11), 906, № 135—Дело «О живописце Горации Вернете».

[15] Там же, «Указ капитулу орденов о пожаловании г. Верне ордена св. Станислава 3-й степени».

[16] Там же, Дела: «О подаренном живописцу Вернету из Царскосельского арсенала оружии» (оп. 11/1906, № 146);—«О выборе рысака и саней для подарка живописцу Вернету» (оп. 15/910, № 249);—«Об отправлении за границу яшмовой чаши для подарка художнику Верне» (оп. 175/337, № 98);—«Об изготовлении рамы для картины Вернета, изображающей шествие их величеств из арсенала в карусель и об уплате за картину 50 000 фр.» (оп. 99/936, № 74). См. также дело кабинета е. в. «О заплате г. Вернету за написанную для его величества картину «Взятие укрепления Воля», посредством векселя» (оп. 10/197, № 90) и в книге высочайших указов по кабинету е. в. «О выписке в расход брильянтовых знаков ордена св. Анны 2-й ст., пожалованных Верне» (оп. 352/1343, № 110). О путешествии Верне в Россию см. Dayot, Les Vernets. 1898, pp. 140—145; «Орас Верне. Сведения о пребывании в России».—«Художественные сокровища России», 1907, № 11—12, стр. 214; Очерк «Знаменитые иностранцы, посетившие Россию. II. Гораций Верне».—«Художественный Листок» В. Тимма, 1859, № 21, 20 июля, стр. 66—68. О второй поездке Верне в Россию см.: «Lettres intimes de M. Horace Vernet pendant son voyage en Russie». 1842—1843 de S.-Pétersbourg, P., 1856.

[17] Дело о подарке Дюма, л. 1.

[18] Там же, л. 12.

[19] Там же, л. 6. Предполагаем, что принца Ольденбургского сопровождал в Россию граф Иван Матвеевич Толстой (1806—1867).

[20] Там же, лл. 3 и 4.

[21] См. Hediard, Eugène Isabey. Etude suivi du catalogue de son œuvre. P., 1906.

[22] «Воспоминания А. М. Каратыгиной»—см. op. cit., т. II, стр. 178.

[23] См., напр., отзыв о спектакле, подписанный Ф—ни (Ф. А. Кони) в № 24 «Северной Пчелы», от 30 января 1840 г. («Санктпетербургские театры»). В 1851 г. «Алхимик» был поставлен в Москве, в Малом театре, с М. С. Щепкиным в роли скупца Гримальди.

[24] Дело о подарке Дюма, л. 8. Подтверждение Уварова о получении ответа министра двора—л. 9.

[25] 11 августа 1839 г. Уваров запросил Нессельроде (за № 1074) о причинах задержки перстня, а 19 августа (за № 6314) министр иностранных дел заверял Уварова, что перстень уже отправлен в Париж.

[26] Дело о подарке Дюма, л. 17. Этот ответ Дюма, шедший через Дюрана, дошел до Уварова только 30 ноября (ст. ст.). Из письма Дюма явствует, что он был хорошо знаком с А. И. Демидовым, бывшим в составе русского посольства. Русским послом в Париже был в то время (1835—1851) граф Петр Петрович Пален (1778—1864).

[27] A. Dumas, L'alchimiste. Drame représenté pour la première fois sur le théâtre de la Renaissance, le mercredi 10 avril 1839. Bruxelles, 1839, pp. 1—2. Другое издание: Paris, Dumont, 1839, in 8°, de 176 pp.

[28] См. «Алфавит декабристов», под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса, Л., 1925, стр. 269—270.

[29] «Воспоминания Полины Анненковой». Под ред. С. Гессена и Ан. Предтеченского. М., Изд-во политкаторжан, 1929, стр. 56 и 86.

[30] Alexandre Dumas, Mémoires d'un maître d'armes, Bruxelles. A. Jamar, éditeur-libraire, 1840. Deux volumes, tome II, p. 71. В том же 1840 г. вышло второе издание романа: «Maître d'armes». Bruxelles. Meline. Cans et Compagne. Deux volumes. Дальнейшие ссылки—на первое издание.

[31] Ibid., II, p. 119.

[32] Это впечатление вымысла не развеивает и тот анекдот, который далее следует у Дюма, будто Николай I, узнав, что упавших с виселицы вновь повесили, воскликнул с неудовольствием: «Почему не послали сказать мне об этом? Мне не подобает быть более суровым, чем бог». Ibid., II, p. 111.

[33] Ibid., I, pp. 175, 62—63, 73, 140—146, 157—158, 153.

[34] Ibid., II, pp. 67—68.

[35] Ibid., I, 198—200, 63, 122—126, 127—130; II, 36—61; I, 100—106.

[36] Ibid., II, pp. 1—35. Можно указать, что для исторической части своего романа Дюма пользовался книгами: comte Ségur, Mémoires, P., 1827; Chateaugiron, Notice sur la mort de Paul I. P., 1820; c-sse Choiseul-Gouffier, Mémoires historiques sur l'empereur et la cour de Russie. P., 1829; Rabbé, Histoire d'Alexandre I. P., 1826. В руках Дюма был, несомненно, и официальный доклад следственной комиссии по делу декабристов: «Rapport de la Commission d'enquête». S.-Pétersbourg. De la typographie de Pluchart, 1826.

[37] ЛОЦИА, Фонд Комитета цензуры иностранной. Рапорты. Т. II, 1841, № 670, л. 760.

[38] Alex. Dumas, Impressions de voyage. En Russie. P., Calmann-Lévy, v. III, pp. 256—257.

[39] Александр Дюма (отец), Учитель фехтования. Исторический роман из времен декабристов. Перевод с французского Г. И. Гордона. Предисловие И. Неустроева. Изд-во «Время». Л., 1925. Роман напечатан по-русски в сильно сокращенном виде.

[40] Архив революции. Фонд III отделения. I экспедиция. Дело № 191, ч. 4, «О проживающем в Париже Якове Толстом». 22 февраля—1 апреля 1852 г.

[41] «Воспоминания А. М. Каратыгиной»—op. cit., т. II, стр. 229 (примечание).

[42] Alexandre Dumas, Causerie. «Le Monte-Cristo». Journal hebdomadaire de romans, d'histoire, de voyages et de poésie, publié et rédigé par Alexandre Dumas seul». 1858, № 9 от 17 июня, pp. 137—138. Далее цитируется «Monte-Cristo».

[43] Фельетон Жюля Жанена включен И. И. Панаевым в его «Заметки нового поэта» («Петербургская жизнь»).—«Современник», 1858, т. LXX, № 7, стр. 78—89.

[44] «Monte-Cristo», № 9, 17 juin 1858, p. 137.

[45] «Письма Ф. И. Тютчева к его второй жене» (1854—1858). СПБ. 1915, стр. 132—133.

[46] Charles Glinel, Trois manuscrits d'Alexandre Dumas père.—«Revue biblio-iconographique», 1906, pp. 111—112.

[47] «Письма Ф. И. Тютчева к его второй жене», стр. 132.

[48] Там же. Луиджи Лаблаш (Lablache) (1794—1858)—знаменитый певец-бас, много лет певший в Петербурге в Итальянской опере.

[49] «Современник», 1858, т. LXX, отд. II, № 7, стр. 78—89.

[50] Н. Павлов, Вотяки и г. Дюма.—«Русский Вестник», 1858, т. XVI, стр. 709.

[51] «Колокол» от 15 сентября 1858 г.—А. И. Герцен, Полное собрание сочинений, под ред. М. К. Лемке, т. XXII, 1925, стр. 118. Для характеристики отношений Герцена к Дюма в 40-х годах приведем его отзывы о пьесах Дюма. Во втором «Письме из «Avenue Marigny», из Парижа (3 июня 1847 г.), Герцен пишет: «До чего может пасть вкус публики и даже всякий смысл, всего лучше доказывает возможность давать гнусность в роде «Chevalier de Maison rouge» А. Дюма. Я ничего не знаю ни отвратительнее, ни скучнее, ни бесталаннее, а идет!» (Сочинения, под ред. Лемке, т. V, стр. 137). После разгрома революции 1848 года Герцен писал: «Помню еще представление «Катилины», которого ставил тогда на своем историческом театре крепко-нервный Дюма. Форты были набиты колодниками, излишних отправляли страдать в Шато д'Иф, в депортацию, родные бродили из полиции в полицию, как тени, умоляя, чтобы им сказали, кто убит и кто остался, кто расстрелян, а А. Дюма уже выводил июньские дни в римской латиклаве на сцену. Я пошел взглянуть... У меня сперся дух. Давно ли за стенами этого балагана, на улицах, ведущих к нему, мы видели то же самое, и трупы были не картонные, а кровь струилась не из воды с сандалом, а из живых молодых тел? Я бросился вон в каком-то истерическом припадке, проклиная бешено аплодировавших мещан». («Былое и Думы», т. II, изд. «Academia», М., 1932, стр. 46).

[52] Д. В. Григорович, Литературные воспоминания. Ред. В. Л. Комаровича, «Academia», Л., 1928, стр. 277.

[53] Alexandre Dumas, Impressions de voyage. En Russie, tome II, Calmann-Lévy, Paris, глава XXVIII, pp. 261—268. Далее цитируется «En Russie». Рассказ жены Некрасова, А. Я. Панаевой, о посещениях Дюма носит явно недружелюбный характер по отношению к Дюма и к рекомендовавшему его Григоровичу. Недружелюбность эта объясняется отчасти тем, что статья Дюма «Les journalistes et les poètes», в которой видное место уделено стихотворению Некрасова «Княгиня», едва не привела к дуэли Некрасова с доктором-французом, мужем гр. Воронцовой-Дашковой, выведен-

ной в этом стихотворении. См. А. Панаева, Воспоминания, 2-е изд., «Academia», Л., 1928, стр. 311—330.

[54] «Monte-Cristo», 1858, № 13, 15 juillet, p. 206. Первая глава «La Maison de glace» помещена в этом номере на стр. 206—208; эпилог — в № 44, 17 février 1859, pp. 718—719. Ни при одной главе романа нет никакого упоминания о Лажечникове; под каждой стоит неизменная подпись: Alex. Dumas — точно такая же, как под оригинальными его романами в том же журнале. Ни малейшего упоминания о том, что это перевод с русского, нет ни при одной главе. Наоборот, печатавшиеся в том же «Монте-Кристо» повести Пушкина «Выстрел», «Метель», «Гробовщик» (№№ 24, 25, 26, 27, 29) снабжены подписью «Pouchkine. Traduction d'Alex. Dumas».

[55] Письма А. Ф. Писемского к А. В. Дружинину от 2 и 18 июля 1858 г. из Петербурга — см. в сборнике: А. Ф. Писемский. Письма. Подготовка текста и комментарии М. Клемана и А. Могилянского. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1936, стр. 121—123. Отрицательные суждения о Дюма см. в петербургских газетах 1858 г.: «СПБ. Ведомости» № 129 (от 15 июня) и «Сын Отечества» № 24 (от 15 июня).

[56] «Письма Ф. И. Тютчева к его второй жене», op. cit., стр. 137. Е. П. Ковалевский (1792—1867) с 23 марта 1858 г. по 28 июня 1861 г. был министром народного просвещения, в ведении которого находилась цензура. Упоминаемая княгиня Е. В. Салтыкова (род. 1791 г.)—гофмейстерина при дворе Александра II.

[57] Alex. Dumas, «Monte-Cristo», 1858, № 9 (пометка ошибочная: следовало бы 10), 24 juin, pp. 154—155 и № 12, 8 juillet, pp. 186—188.

[58] Ср., напр., стр. 17—26 первого тома «En Russie» со стр. 2—11 второго тома «Mémoires d'un maître d'armes».

[59] Справка ЛОЦИА от 21 июня 1936 г. за № 323.—До тревоги, поднятой Александром II по поводу писем Дюма о Павле I, «Monte-Cristo» был во мнении Комитета цензуры иностранной журналом благонадежным. В заседаниях комитета от 12 марта и 2 апреля 1858 г. были рассмотрены №№ 1—40 журнала за 1857 г. и допущены к обращению в России, с исключением, однако, отдельных мест, №№ 18, 19, 20 и 23 (рапорт цензора Ржепецкого, № 547).

[60] Архив революции. III отделение. 3 экспедиция. Дело № 125. 1858 г. «Об учреждении надзора над французским подданным писателем Александром Дюма», на 16 листах. Листы 1 и 2. Далее цитируется: Дело III отделения о Дюма. В деле отсутствуют донесения о пребывании Дюма в Нижнем-Новгороде и в кавказских станицах и городах.

[61] Н. Ф. Павлов, Вотяки и г. Дюма.—«Русский Вестник», 1858, т. XVI, стр. 703—704, 708.

[62] Дело III отделения о Дюма, лл. 4—6.

[63] Charles Glinel, Trois manuscrits d'Alexandre Dumas père. «Revue biblio-iconographique», 1906, pp. 112—113.

[64] «Ведомости Московской Городской Полиции», 1858, № 160, от 26 июля, стр. 1180, и № 163 от 30 июля, стр. 1201. Переводчик Дюма А. Калино был студентом II курса физико-математического факультета. См. «Отчет о состоянии и действиях Моск. университета за 1857/58 гг.» М., 1859 (список студентов).

[65] «Ведомости Московской Городской Полиции», 1858, № 145 от 1 августа (фельетон «Московская летопись»).

[66] У Дюма он фигурирует под именем «Le Colonel de la garde Konstantin Vargenevsky». См. «En Russie», t. III, p. 148.

[67] Дело III отд. о Дюма, л. 8.

[68] «En Russie», t. III, p. 249, 254—256, 258, 259; «Алфавит декабристов», под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925, стр. 129, 270, 355.

[69] Alex. Dumas, La frégate de l'Espérance. Chapitre premier.—«Monte-Cristo», 1859, № 48, 17 mars, pp. 765—769. А. А. Бестужеву-Марлинскому, его жизни и творчеству Дюма уделил не мало места в книге «Le Caucase». В Дербенте он посетил могилу Ольги Нестерцовой, которую любил Бестужев, написал в память ее стихотворную эпитафию, которая была высечена на отдельном камне, и посвятил любви к ней Бестужева целую главу: «Oline Nesterzof». Следующая, XIX глава «La grande muraille de Caucase» (стр. 293—305)—представляет не что иное, как перевод «Письма о великой Кавказской стене» Марлинского (1832), извлеченного из собрания его сочинений. Глава XXV—«Adieux à la mer Caspienne» в большей ее половине (pp. 77—86) представляет также перевод статьи Марлинского «Прощание с Каспием» (Сочинения, изд. 1847, т. IV, стр. 5—12), причем Дюма дает такую оценку его статье: «Подумаешь, что эти страницы написаны Байроном, а между тем имя человека, написавшего их, даже неизвестно у нас! Сколько будет зависеть от меня, я постараюсь упразднить это забвение, которое, по моему мнению, есть почти святотатство». В Тифлисе Дюма ревно-

стно принялся за выполнение этого обещания. Его спутник, студент А. Калино, «лишь только начинало светать, брал перо и оставлял его в полночь, переводя с остервенением сочинения Лермонтова, Пушкина, Марлинского». Эти переводы с русского на французский были сделаны для пользования Дюма. «В Тифлисе,— говорит он,—я успел написать часть моего путешествия и почерпнуть два или три романа из кавказских легенд и из незаслуженно непризнанных, по моему мнению, трудов Бестужева (Марлинского)». «При Николае I не осмеливались признавать его талант, как человека неблагонадежного. Постараюсь воскресить во Франции то, что забыто в России». Описывая условия своей работы в Тифлисе, Дюма добавлял: «Итак, любезные читатели, если роман «Султанетта» и легенда «Шахдаг» не понравятся вам, вините в том плохую бумагу, на которой они написаны, а не меня» (см. «Le Caucase», t. III, pp. 93, 95, 96). По приезде в Париж Дюма торопил Нарышкиных с высылкой ему сочинений Марлинского и благодарил их затем за доставку книг («Revue biblio-iconographique», 1906, pp. 115, 163). Плодом всех этих занятий Марлинским был роман Дюма «Sultanetta». В Дербенте Дюма показали могилу Султанетты, возлюбленной Амалат-бека, героя одноименной повести Марлинского. Переводом-переделкой этой повести и является роман Дюма «Sultanetta». Другая повесть Марлинского, «Фрегат Надежда», безоговорочно авторизованная Дюма под ее подлинным названием, была переведена для него А. Калино. Об интересе Дюма к Марлинскому и к его романтической истории с Нестерцовой см.: С. М. Долинский, Из прошлого Дербента в «Трудах Ставропольской ученой архивной комиссии», 1912, вып. I, отд. IV, стр. 1—4, и М. П. Алексеев, Этюды о Марлинском в «Сборнике трудов Иркутского государственного университета», 1928, т. XV, стр. 139, 150, 153—154.

[70] Дело III отд. о Дюма, л. 7.

[71] «En Russie», III, pp. 263, 265, 267, 270—271, 276—278, 284.

[72] Дело III отд. о Дюма, л. 9—10. О казанских чиновниках, упоминаемых в донесениях, см. «Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве на 1858—1859 гг.», издание Академии наук.

[73] «En Russie», III, chap. LXIV, Saratov, pp. 284—290.

[74] Дело III отд. о Дюма, лл. 11—12 (также и в рассказе Дюма). О саратовских должностных лицах, упоминаемых в жандармском донесении, см. «Адрес-календарь... на 1858—1859 гг.», издание Академии наук.

[75] Дело III отд. о Дюма, лл. 14—16. Получив донесение астраханского полковника Сиверикова, казанский жандармский генерал Львов отослал его в Петербург шефу жандармов при рапорте за № 116 от 13 ноября (л. 13 «дела»). Упоминаемый в донесении Струве—статский советник Б. В. Струве (ум. 1889 г.)—был сыном знаменитого астронома, воспитанником Царскосельского лицея; астраханским гражданским губернатором был в 1857—1861 гг.

[76] Alexandre Dumas, Impressions de voyage. Le Caucase. Calmann-Lévy, t. II, pp. 86—87, 91—92, 96. Существует русское издание этой книги: «Кавказ. Путешествие Александра Дюма». Перевод с французского П. Робровского. С примечаниями (Н. П. Берзенова). 2 выпуска. Тифлис, 1861.

[77] И. Евлахов, Дюма (отец) в Шемахе (из кавказских воспоминаний).— «Новое Обозрение» (Тифлис), 1887, № 1060.

[78] Дело III отд. о Дюма, л. 3.

[79] «Monte-Cristo», 1858, № 34, 9 décembre.

[80] «Санкт-Петербургские Ведомости», 1858, 30 октября № 237.

[81] Язык пехлеви, на котором говорили и писали персы, относится к эпохе Сассанидов (до VII в. н. э.).

[82] Дюма имеет в виду известный рассказ о посещении королем Людовиком-Филиппом Талейрана (1754—1838). Пораженный сильными страданиями, испытываемыми Талейраном, король, недолюбливавший великого дипломата, спросил его:—Вероятно, вы испытываете ужасные страдания?—Да, ваше величество, точно я в аду.—Уже?!

[83] «В настоящее время,—пишет Дюма в главе «Баку»,—составляется большая компания для приготовления свечей из нефти. Фунт свечей обошелся бы в 15 коп. серебром, вместо 50 коп. за фунт стеариновых свечей в Тифлисе и 35 коп. в Москве». («Caucase», t. II, p. 26). Во главе компании стоял известный московский откупщик В. А. Кокорев. Упоминаемый далее Анселад—главный из титанов, восставших против Зевса (иначе Янет и Уавел).

[84] Знаток Кавказа, бывший собственник письма Дюма к Мери, В. Д. Карганов, указывает на непомерный гиперболизм Дюма в исчислении пути, проходимого по трубам нефтяными газами: «Длина труб в нефтяных колодцах редко превышает, даже в начале XX в., один километр, во времена же пребывания Дюма в Баку длина эта не

превышала одной десятой километра, тогда как он пишет о 5000 льё—25 000 километров, видимо, не зная, что весь диаметр земного шара—12 000 километров».

[85] Далее Дюма приводит свое переложение стихотворения Лермонтова «Дары Терека». Мы опускаем этот перевод, так как он напечатан самим Дюма в главе «Les abrecks» в его «Caucase»: «До Червленной остается еще 21 верста,—писал Дюма,—мы едем берегом Терека. Никакой шум не соответствует лучше поэтическому размеру, как шум реки. Я прочту вам «Дары Терека», стараясь, сколь возможно, сохранить в переводе оригинальность подлинника. Этот перевод сделан мною накануне: я хранил его еще в памяти и ехал, повторяя стихи вполголоса и оставляя лошадь на произвол». В издании Calmann-Lévy эта цитата из главы «Les abrecks» отсутствует. Мы привели ее из русского издания «Кавказа» (op. cit., стр. 90—100). Жизненная судьба и поэзия Лермонтова издавна интересовали Дюма. В своем журнале «Le Mousquetaire» он напечатал перевод «Героя нашего времени»: «Pétchorine ou un héros d'aujourd'hui, scènes de la vie russe dans le Caucase, par Michel Lermontoff, traduction de Edouard Scheffer» («Le Mousquetaire», 1855, №№ 23—27, 29, 31—35, 37—44, 46—49). Однако, утверждение Дюма: «Я первый познакомил этого гениального человека (Лермонтова) с моими соотечественниками во Франции» («Caucase», t. II, p. 248) не соответствует действительности: первый французский перевод «Героя нашего времени»—«Un héros du siècle ou les Russes dans le Caucase», par Stolypine—появился еще в 1843 г. в газете «La Démocratie pacifique» (фельетоны с 29 сентября и 4 ноября), за которыми следовали переводы Léouzon le Duc (Paris, 1845) и анонимный, принадлежащий Louis Viardot («L'illustration», 1846, t. VIII). По просьбе А. Дюма, гр. Е. П. Ростопчина, близко знавшая Лермонтова, написала свои замечательные воспоминания о нем, включенные Дюма в его книгу «Caucase», 1859, № 19, pp. 147—150; по-русски они впервые появились в переводе П. Робровского: «Кавказ, путешествие Дюма». Тифлис, 1861, стр. 453—461, а не в «Русской Старине», 1882 г., т. XXXV, стр. 610—620, как это утверждалось до сих пор. В главе XXXIX книги «Caucase», названной «Citations», Дюма дал свои переводы стихотворений Лермонтова «Дума», «Спор», «Утес», «Тучки», «Горные вершины» (о которых пишет: «ils sont, je crois, un souvenir de Goethe ou de Heine») и «Благодарность». Далее Дюма поместил стихотворение «Le blessé» с пометкой: «Мы выписали из одного альбома следующее стихотворение, которого нет в собрании сочинений Лермонтова, и четверостишие «La boutade» с пояснением, что оно взято из того же альбома, но «процитировано по памяти». Оба эти стихотворения остаются неизвестными в подлиннике.

[86] Дюма имел в виду свои драмы в стихах: «Кристина», «Калигула» и «Орест».

[87] Жозеф Мери (1798—1865)—поэт, романист и публицист. Параллельно с А. Дюма и Эж. Сю создал во французской литературе жанр романа-фельетона.

[88] Письмо Дюма к Мери печатается в русском переводе В. Д. Карганова, известного музыкального деятеля, недавно умершего, которому до 1923 г. принадлежал подлинник письма 5½ страниц in quarto). Местонахождение этого подлинника в настоящее время неизвестно. Текст письма в переводе В. Д. Карганова и сделанные им примечания частично использованы в тексте нашей работы. Сообщены «Литературному Наследству» В. А. Мануйловым.

[89] Описание храма огнепоклонников в Баку, сделанное Дюма в письме к Мери, интересно сравнить с рассказом А. Ф. Писемского, посетившего в 1856 г. тот же храм с таким же удобным «чичероне», как бакинский градоправитель (А. Ф. Писемский, Путевые очерки. VI. Баку. Полное собрание сочинений Писемского, 3-е изд., т. VII, стр. 539—541). Описание Дюма поражает своим гиперболизмом, сравнительно с точным и сжатым изложением Писемского.

[90] Charles Glinel, Trois manuscrits d'Alex. Dumas père.—«Revue biblio-iconographique», 1906, p. 114.

[91] Ф. М. Достоевский, Ряд статей о русской литературе. Введение («Время», 1861, кн. 1). Полное собрание сочинений, изд. 7-е, т. X, СПБ. 1906, стр. 12—13, 17. Ср. статью В. Дороватовской-Любимовой, Французский буржуа. Материалы к образам Достоевского. 1. Достоевский и Александр Дюма.—«Литературный Критик», 1936, кн. 9, стр. 202—204.

[92] А. П. Оленин, Александр Дюма в «Орлином гнезде».—«Исторический Вестник», 1903, т. XCI, февраль, стр. 594, 596—597, 599—600.

[93] Примечания В. Д. Карганова к письму Дюма (рукопись).

[94] Charles Glinel, Trois manuscrits d'Alex. Dumas père.—«Revue biblio-iconographique», 1906, pp. 115, 167.

# ДОНЕСЕНИЯ ЯКОВА ТОЛСТОГО ИЗ ПАРИЖА В III ОТДЕЛЕНИЕ

## ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ, ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА, НАЧАЛО ВТОРОЙ ИМПЕРИИ *

Статья Е. Тарле

Фигура Якова Толстого, в молодости приятеля Пушкина и участника движения, закончившегося восстанием 14 декабря, затем эмигранта, оставшегося за границей, где его застал декабрь 1825 г., наконец, агента и секретного сотрудника русской политической полиции, достаточно выяснена, чтобы стоило здесь на ней много останавливаться. К сожалению, правда, ни тот материал, исходящий от Якова Толстого, который уже был опубликован в русском переводе Центрархивом, ни тот, еще не изданный, с обширными выдержками из которого читателю предстоит сейчас ознакомиться, ни, наконец, свидетельства других лиц, касающиеся самого Я. Толстого, не дают ключа к психологическому пониманию того момента, когда этот человек превратился в соглядатая III отделения. Но нас здесь интересует не личность Я. Толстого, а его секретные политические корреспонденции, которые он составлял и слал из Парижа в Петербург на протяжении целых 30 лет. Ряд моментов в его донесениях является безусловно ценным и свежим материалом для истории Франции, особенно для истории французской печати от середины 30-х годов XIX в. до начала крымской войны 1854—1856 гг. Конечно, Яков Толстой в этих донесениях усердно подделывается и к политическим воззрениям и к умственному уровню своих нанимателей и начальства: Бенкендорфа, Орлова, которым он непосредственно адресовал свои письма, Дубельта, Николая I. Но, при всем том, в корреспонденциях Я. Толстого разбросано немало тонких и проницательных замечаний, обличающих местами очень отчетливое и ясное понимание происходящих перед ним событий и заставляющих читателя неоднократно вспоминать, что перед ним не заурядный шпион из иностранного отдела петербургского III отделения, а человек, которому Пушкин посвящал в молодости стихи, который лично общался со многими выдающимися современниками как в России, так и за границей и которого они считали человеком подходящим к общению с ними по своему умственному уровню. Конечно, не часто Яков Толстой в своих донесениях пускается в историко-философские размышления и общие соображения: его нанимателям это вовсе не требовалось. Философия происходящей истории была ими усвоена в том виде, как она была сформулирована в 1850 г. в льстивой «записке» министра иностранных дел Нессельроде, представленной

* Перевод документов с французского сделан А. Сиверсом.

Николаю I по поводу исполнившегося двадцатипятилетия его царствования. Все эти годы, по мнению царского министра, Европа была обуреваема пламенем «мятежей», а русский царь не переставая «спасал» ее, стоя на страже тронов, алтарей, общественного «порядка» и «нравственности». Во главе «мятежей» всегда шла и продолжает итти Франция, очагом их был и остается Париж. Яков Толстой все время вполне применяется к этим махрово-реакционным воззрениям, обеспечившим самодержавию заслуженную репутацию «жандарма Европы», а на свою роль поэтому он не может не смотреть, как на роль лазутчика, пробравшегося во вражеский стан и сигнализирующего оттуда в свой лагерь о поднимающихся опасностях и возникающих тучах.

Тон, которым говорится в этих донесениях о людях и событиях,—неизменно презрительно-порицающий, укоризненный, свысока-поучительный; это тот самый тон, какого всегда держался, говоря о Франции, сам Николай I, начиная с июльской революции 1830 г. и вплоть до той грозной минуты весною 1854 г., когда Наполеон III объявил царю войну, которой суждено было нанести такой страшный, непоправимый удар всему николаевскому режиму и смести самого Николая I с лица земли.

Использованные нами документы именно и доводят нас почти до этой финальной катастрофы—до начала 1854 г. Начинаются же они как раз с того момента, когда русское правительство решило иметь в лице Якова Толстого политического соглядатая, и дают понятие о том, чего, собственно, хотело от него начальство[1].

Дело происходит осенью 1836 г. Яков Толстой уже успел зарекомендовать себя (сидя за границей) благонамеренными выступлениями в европейской прессе в пользу русского правительства[2]. В III отделении возникает план возложить на него миссию бороться в Париже против враждебной России прессы. Николай I дает на это свое согласие, и Толстой, вызванный царским распоряжением на родину, поступает на службу в III отделение. Несколько позднее, по инициативе самого Толстого, круг его обязанностей расширяется: он получает разрешение, помимо основной своей обязанности—борьбы с французской прессой, осведомлять русское правительство о том, что делается в политических кругах Парижа, а также снабжать начальство книжными новинками.

Новая карьера Якова Толстого устроилась окончательно, повидимому, после письма посла Палена к Бенкендорфу. Письмо Палена помечено 20 ноября 1836 г., а уже 3 января 1837 г. варшавский наместник Паскевич сообщает Бенкендорфу о проезде через Варшаву направляющегося в Петербург Якова Толстого.

Эти характерные документы много разъясняют в миссии, возложенной на Толстого, хотя и не дают исчерпывающего представления о полном, так сказать, «объеме» этой миссии нового секретного сотрудника III отделения.

Париж, 20/8 ноября 1836 г.

Е. с. графу Бенкендорфу

Дорогой граф,

Я не хочу отпустить Якова Толстого, не сообщив вам нескольких соображений по поводу поручения, которое правительство намерено, повидимому, на него возложить. Насколько можно судить по смыслу вашего официального письма от 8/20 августа[3], это поручение должно носить чисто поле-

мический характер, а потому оно связано с существенными затруднениями, на которые я считаю своим долгом обратить ваше внимание.

Агент, назначенный ad hoc, чтобы вести борьбу с прессой сильной, грозной, я сказал бы, даже всемогущей в этой стране, так как она охватывает все, проникает всюду, господствует над всем, сделался бы мишенью для самых ожесточенных нападок, и его поручение с самого начала было бы обречено на неудачу. Все органы прессы, каких бы убеждений они ни

Я. Н. ТОЛСТОЙ
Литография с портрета И. Гейгеля, 1834 г.
Литературный музей, Москва

придерживались, претендуют на известную независимость, а поэтому человек, который предстал бы перед ними в качестве борца, бросающего перчатку всем, кто посмел бы хулить Россию, несомненно, погиб бы под ударами своих многочисленных противников. Все это относится к положению агента, имеющего открытое поручение бороться против нежелательных уклонений в прессе.

Совершенно иным было бы положение агента, на которого правительство возложило бы безобидную, но почетную миссию, например, корреспондента министерства народного просвещения по научным и литературным вопросам. Он мог бы тогда обрабатывать прессу, так сказать, под шумок,

а те связи, которые создадутся у него в силу самого служебного его положения, значительно облегчат ему возможность приобрести влияние в литературных кругах[4].

Подобного рода поручение, дорогой граф, поскольку оно было бы явным и не связанным ни с какой иной обязанностью, представило бы массу затруднений и подвергало бы агента, выполняющего его, беспрестанным оскорблениям и скандальным обвинениям. Между тем, если сделать это поручение тайным и дополнительным, можно было бы, введя тем в заблуждение газетных писак, достигнуть намечаемой цели. Я могу сослаться на пример г. Дюрана[5], проживающего во Франкфурте и принимающего участие в местной газете статьями по вопросам, в защиту которых и Толстому также придется, вероятно, выступать. Некоторые из этих статей достаточно хорошо написаны, но они не достигают обычно цели потому, что общественное мнение восстановлено против автора и на него везде смотрят, как на наемного агента правительства, который пишет не по убеждению, а за определенную плату.

Напротив, русский агент, миссия которого, не получив огласки, прикрывалась бы служебными обязанностями, представляющими известную с ней аналогию, смог бы действовать с бóльшим успехом. В особенности, если выбор остановится на таком человеке, как Яков Толстой, который уже более двенадцати лет из личной склонности, по убеждению и из патриотизма занимается литературной и политической полемикой и которого парижские публицисты привыкли видеть выступающим в защиту интересов России с брошюрами и газетными статьями. Такое лицо не покажется подозрительным и сможет, если предоставить ему для этого средства, с успехом бороться с заблуждениями и клеветой, которые не перестают распространять о нас.

Таковы, дорогой граф, соображения, внушаемые мне интересами службы нашему государю, и мне остается только рекомендовать вашей доброте подателя этого письма. Все, что известно мне о Якове Толстом, свидетельствует только в пользу его поведения и его убеждений.

Примите, дорогой граф, вновь уверение в моей старинной и неизменной дружбе.

Пален[6]

Варшава, $\frac{\text{3 января 1837 г.}}{\text{22 декабря 1836 г.}}$

Яков Толстой, остановившийся здесь на несколько дней, беседовал со мной относительно поручения, которое, по вашему предложению и по приказанию е. и. в., предположено возложить на него в Париже. Он подал мне даже небольшую докладную записку с изложением своих мыслей о том, как, по его мнению, возможно выполнить порученную ему задачу.

Так как г. Толстой выразил желание, чтобы я сообщил вам свое мнение по этому поводу, мне кажется самым лучшим переслать вам его собственные соображения. Я добавлю только, что основание газеты, которая была бы в его полном распоряжении, представляется мне делом полезным и что, по моему мнению, не встречается препятствий к сообщению лицу, которое пользуется вашим доверием, сведений о положении дел в Польше.

С готовностью пользуюсь этим случаем, дорогой граф, чтобы повторить вам уверение в высоком моем уважении, а также в сердечной моей привязанности.

Князь Варшавский Паскевич-Эриванский[7]

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. А, лл. 1—3].

«Записка», о которой сообщает Паскевич, дает возможность узнать, как представлял себе свою будущую деятельность сам Яков Толстой. Он развертывает перед начальством обширный план подкупа пяти, по крайней мере, газет и параллельно—план основания особой, специальной французской газеты в Париже, с подставным редактором, с ассигнованием на это дело пятидесяти тысяч франков, с организацией постоянной информации из России и, в первую очередь, из Польши, для «опровержения» «ложных» слухов о безобразиях царского правительства.

Вот текст этой докладной записки Якова Толстого Паскевичу:

... Имею честь представить вашей светлости нижеследующие соображения.

Агент, которого содержали бы в Париже для воздействия на прессу, был бы в состоянии использовать свои возможности и свои связи с главными органами печати лишь при условии, если в его распоряжении будут достаточно крупные денежные средства для подкрепления того интеллектуального влияния, которое он по своим способностям сможет оказать на прессу. В настоящее время более, чем когда-либо, парижские журналисты подкупны, общее направление идей влечет их лишь к одной цели—разбогатеть, короче говоря, все перья, за небольшими исключениями, продажны. Отсюда вытекает, что лицо, на которое было бы возложено поручение влиять на прессу, сможет, действительно, его выполнить, если ему предоставят средства для подкупа наиболее озлобленных хулителей России. Итак, совершенно очевидно, что для этого необходимы три вещи,—без которых, как говорил великий Фридрих, нельзя вести войну,—деньги, деньги и деньги.

Его величество почтил меня своим выбором, и я не смею предъявлять каких-либо требований. Я слишком осчастливлен тем, что наш августейший государь выделил меня среди других, и мне непристойно торговаться и заявлять притязания, но, между тем, мне хотелось бы достойным образом и с пользой выполнять возложенные на меня обязанности. Если бы мои личные средства были достаточны, я счел бы себя счастливым пожертвовать их на дело, которое всегда считал своим и которое всегда, даже в постигшем меня несчастии, я поддерживал со всей энергией, какую может внушить самая чистая любовь к своему государю и к родине. Но, к несчастию, я небогат, и я вижу себя вынужденным просить поддержки правительства.

Столбцы пяти газет будут в моем распоряжении, как только я получу средства для их поощрения: «La Gazette de France»[8], «La Quotidienne»[9], «La Presse»[10], «La France»[11], «La Chronique de Paris»[12]. Есть у меня также некоторые связи среди редакторов «Journal des Débats»[13]. Я смог бы до известной степени уже теперь использовать эти связи, но это привело бы к появлению в печати только слабых и несовершенных опровержений, которые редакторы принимали бы по своему желанию, сокращая и изменяя в них все то, что покажется им чересчур сильным, и воздействие, которое я мог бы, таким образом, оказать на прессу при теперешних моих отношениях с журналистами, не было бы достаточно действенным.

Я думаю поэтому, что для достижения хороших результатов необходимо было бы, помимо прочего, основать собственную газету и иметь ее всецело в своем распоряжении, поручив ведение ее подставному лицу. Это возможно осуществить, ассигновав сумму приблизительно в 50 000 франков.

Впрочем, сделав основанную мной газету достаточно интересной по своему общему содержанию и по сообщаемым в ней новостям, я мог бы без особого труда покрыть этот расход, и, таким образом, это явилось бы лишь временным помещением средств, которые не замедлят вернуться. Все, что я сказал, относится к денежному вопросу, что же касается материалов, равным образом необходимых для поддержания полемики, то необходимо сообщать мне как можно больше ф а к т о в, чтобы я мог с успехом бороться с ошибками и клеветою, которые распускают о России. В этом отношении на первом месте стоит польский вопрос, он является мишенью, и в нем политическое распутство газет черпает больше всего поводов для своего недовольства Россией. Поэтому мне необходимо иметь корреспондента в Варшаве, который поставлял бы мне оружие, нужное для борьбы с росказнями наших противников.

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. А, лл. 4—7].

По приезде в Петербург Толстой представляет Бенкендорфу в докладной записке еще более развернутый план своей будущей деятельности. Это один из самых интересных, самых содержательных документов всей переписки, а краткие характеристики, которые он дает руководящим органам французской печати, в большинстве случаев и верны и метки, хотя, конечно, постоянно нужно учитывать специфическую точку зрения, с которой подходит к ним автор. Для истории французской прессы времен Июльской монархии этот документ, бесспорно, существенен. Этот враждебный взгляд с о с т о р о н ы очень интересен для историка.

И снова Толстой настаивает на необходимости, не довольствуясь подкупом уже существующих в Париже газет, основать еще свою собственную. «Идея» этой будущей газеты такова. Нужно внушать французскому общественному мнению мысль, что Франции необходим союз не с Англией, но с Россией; что, помимо всяких внешнеполитических выгод для Франции, этот союз упрочит общественный «порядок» внутри страны, «остановит успехи демагогии» и «ярость цареубийц» (не забудем, что еще очень живы были в тот момент воспоминания о покушении Фиески). Попутно Толстой рассказывает о любопытнейшем разговоре, который он имел с Тьером. В 1836 г. Тьер уже перестал быть министром и еще не успел снова сделаться им, а поэтому язык у него развязался, и он, повидимому, разоткровенничался с царским агентом. Оказалось, что по самому важному вопросу оба собеседника солидарны: «Он согласился со мною, что для того, чтобы остановить революционный поток, следует опереться на Россию». Правда, Тьер выразил упование, что, когда революционный поток будет обуздан, тогда Франции будет выгоднее дружить с Англией, а не с Россией. Это место о разговоре с Тьером изложено Толстым несколько неясно.

Конечно, боевым вопросом в 1837 г. и в ближайшие годы в глазах Николая и Бенкендорфа был вопрос о борьбе против французского полонофильства, возбужденного слухами о том, что творили царь и Паскевич в эти первые годы после усмирения восстания 1830—1831 г. Поляков жалели и за них негодовали, с одной стороны, радикальные, а с другой стороны и из иных побуждений — клерикально-католические органы печати. Естественно, что этому вопросу в «записке» уделено большое внимание.

Докладная записка Якова Толстого Бенкендорфу заслуживает быть напечатанной без сокращений:

ОБЛОЖКА ДЕЛА III ОТДЕЛЕНИЯ С ПЕРЕПИСКОЙ Я. Н. ТОЛСТОГО, 1836—1838 гг.

Архив революции, Москва

[11 апреля 1837 г.]

Среди парижских газет имеются только две-три, проявляющие преданность России настолько, чтобы мы могли ими всецело располагать.

В первую очередь следует назвать «La Quotidienne», редактируемую талантливо и имеющую 7 000 подписчиков. Она придерживается мнений, враждебных нынешнему правительству Франции, но, тем не менее, ее читают все ее противники, как это принято во Франции по отношению к любой газете, лишь бы только она редактировалась с некоторым талантом. Другими причинами, обусловливающими интерес к той или иной газете, нужно считать резко выраженное оппозиционное направление и хорошо организованную связь с другими странами, в силу которой газета может давать самые свежие новости. Это последнее часто отсутствует у большинства газет по той причине, что они проявляют чрезмерную экономию в своих расходах. «La Quotidienne» всецело предана интересам России. Господа Мишо[14] и Лоранти[15] будут принимать в печать все, что мы захотим сообщить им о России, по крайней мере, они нам это обещали.

Газета «La France», менее распространенная, чем «La Quotidienne», обещает, однако, сделаться влиятельной, благодаря тому, что редактирует ее талантливый Делиль, и потому, что ее поддерживает партия, располагающая средствами. Она также предана России и будет принимать, за редкими исключениями, все статьи, доброжелательные нашей родине.

«La Gazette de France». Эта газета отличается злобной оппозиционностью, явной привязанностью к павшей династии и, в особенности, религиозной экзальтацией, которую ее главный редактор, г. Женуд[16], довел до крайности, в особенности с тех пор, как сам сделался священником. Это обстоятельство создало целую массу затруднений, которые по сию пору мешали

нам найти доступ к этой газете. Ненависть, которую эта партия питает к России, совершенно иного характера, чем ненависть республиканских газет. Источник ее—в чувстве религиозной нетерпимости и чрезвычайном фанатизме, которым всегда отличалась католическая кружковщина.

Впрочем, поскольку газета постоянно черпала свои обвинения из мутных и лживых источников, не исключена возможность, что она вернется к более разумным мнениям, если представить ей в истинном свете те притеснения, которые католическая церковь в Польше, будто бы, терпит от русского правительства и которые наши противники изобразили ей в самых отвратительных красках. Автор этих строк недавно во время пребывания своего в Варшаве сам видел там архиепископа, назначенного папою, католическое духовенство, пользующееся, в общем, почетом у властей, и церковь и монастыри, процветающие под покровительством правительства. Если некоторые религиозные учреждения и были закрыты, то это было сделано в согласии с конкордатом и каноническим уставом, допускающими закрытие монастырей, число монахов в которых не превышает пяти. Масса других фактов, свидетельствующих о веротерпимости и справедливости русского правительства, мне лично неизвестна, но как только я получу нужные сведения, в моих руках окажутся неопровержимые доказательства, которые я предъявлю, и это поможет нам заполучить один из самых влиятельных органов прессы. Газета эта очень распространена потому, что она редактируется людьми, заслуживающими большого уважения, и насчитывает среди своих сотрудников лиц выдающихся, как, например, Берье, Шатобриана и др. Кроме того, газета выходит по вечерам и, следовательно, читается с бóльшей охотой, как и все вечерние газеты, сообщающие новости из первых рук. И в настоящее время редакторы этой газеты выступают против России только вследствие того, что воображают, будто русское правительство преследует католицизм. Итак, очевидно, что их недовольство носит специфический характер и направлено только в определенную сторону, но, тем не менее, их ненависть ipso facto имеет своим последствием то, что они без разбора печатают всякие вздорные и клеветнические сведения, непрестанно распускаемые здесь о России.

Что же касается газет так называемой «золотой середины» (juste milieu) и газет правительственных или, вернее, министерских, то они будут принимать наши возражения, если в политических отношениях обоих правительств не будет никаких трений.

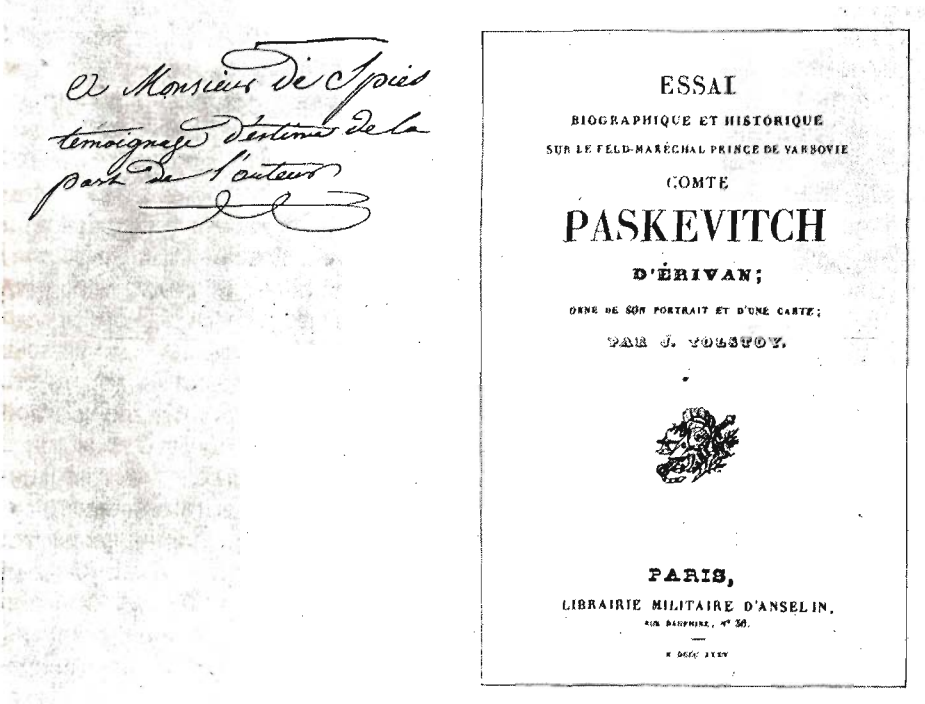
«Le Journal des Débats»—один из самых влиятельных органов прессы—совсем недавно дал пример этому, когда с бессмысленным неистовством набросился и злостным образом исказил речь, произнесенную в Варшаве[17]. Французское правительство, дезавуировав выражения газеты, заявило, однако, что оно не может запретить органам, ему преданным, высказывать политические убеждения, которые расходятся со взглядами правительства. Это был выход, который они себе оставляли, допуская возможность охлаждения между обоими правительствами, чтобы затем безнаказанно напасть на нас, когда представится случай.

«Le Journal des Débats», располагающий многочисленной клиентурой и редактируемый с большим талантом, заслуживает внимания, и нужно приложить всяческое старание, дабы привлечь его на нашу сторону с тем, чтобы он помещал у себя хотя бы сообщения о действительных фактах, которые мы будем в состоянии противопоставлять злостной хуле наших противников. Среди редакторов «Journal des Débats» имеются лица, на

которых пишущий эти строки мог бы оказать влияние, в особенности, если его заявления могли бы быть подтверждены неопровержимыми документами. Находясь давно в дружеских отношениях с этими людьми, я имел возможность убедиться, что они далеко не являются нашими врагами и что их нападки на нас—лишь результат того покровительства, которое оказывает правительство этой газете. Автор настоящей записки знаком с г. де Сальванди[18] и Жюлем Жаненом. Последний, хотя и ведет в газете лишь драматический и литературный фельетон, имеет, однако, достаточное влияние на главного редактора,—я добавлю к этому, что он человек очень продажный и потому его легко купить. Он сотрудничает, кроме того, в массе других газет, где пользуется также заметным влиянием[19].

«La Presse», редактируемая Эмилем де Жирарденом[20], с которым автор также знаком,—газета, всецело преданная Луи-Филиппу. Задача, на него (Жирардена) возложенная, как он сам мне сказал, состоит в примирении умов; он желал бы, чтобы все правительства пришли к соглашению для общего блага. Это заявление показывает, что он непрочь был бы принимать от нас статьи. Он небогат и надеется, что, если будет к нам расположен, получит от этого какую-нибудь выгоду.

«La Chronique de Paris», которая не раз печатала мои возражения, благодаря тому, что я близко знаком с заведующим редакцией, г. Дюкетом, как и с одним из главных редакторов ее, Капефигом, заслуживает внимания. Эта газета поддерживается доктринерами и редактируется




КНИГА Я. Н. ТОЛСТОГО О ПАСКЕВИЧЕ-ЭРИВАНСКОМ, С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА РУССКОМУ КОНСУЛУ В ПАРИЖЕ ШПИСУ
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

под влиянием двора, ее страницы будут в нашем распоряжении, когда представится случай опровергнуть клевету фактами. Некоторые литературные журналы, как, например, «Revue des Deux Mondes»[21], «La France Littéraire»[22], смогут быть нам полезными (последний особенно нам предан), но политика, хотя она господствует над всем и всюду проникает, стоит у них на втором плане.

Эти журналы могли бы служить нам для ознакомления через их посредство с огромными достижениями нашего правительства как в деле развития промышленности страны, так и в области управления. В них могли бы быть помещаемы сообщения, свидетельствующие о мудрости и великодушии императора, о замечательных чертах и блестящих фактах его царствования.

Остальные журналы и газеты—наши противники и ведут с нами ожесточенную борьбу, но уже легче выдерживать их натиск, когда располагаешь несколькими пунктами для обороны. В полемике, ведущейся против нас, следует различать два враждебных лагеря: одни во имя определенного принципа хотят принизить нашу страну, оскорбить и оклеветать ее—*это неисправимые; для них борьба*—вопрос решенный, и их девиз: война не на жизнь, а на смерть, и таким отвечать незачем! Другие не знают России, они наивно принимают клевету за правду и огорчаются тем, что̀ узнают,—это противники по неведению, их надо просветить, открыть им ряд фактов и, не вступая с ними в спор и воздерживаясь от возражений, просто противопоставить клевете совокупность данных, ее убивающую. При всем этом, мне кажется, должны быть пункты, которых следует как можно меньше касаться,—так, личность императора стоит настолько выше всяких посягательств, что надо избегать упоминаний о ней в полемике, сохраняя, однако, за собой возможность напоминать о благодеяниях его для своих народов, о мудрости его управления, делая это в больших статьях, независимо от полемики. В 1823 г., когда я приехал во Францию, общественное мнение не было враждебно к России и, в особенности, к отдельным русским. Эта ненависть возникла после турецкой войны[23], но не была тогда особенно сильно и ярко выраженной, хотя тогда уже величие России, управляемой властной и энергичной рукою, вселяло беспокойство. Зависть, при виде России столь великой, прекрасной, сильной, идущей от одного преуспеяния к другому, породила это враждебное отношение, которое с той поры только росло вплоть до 1830 г., когда разразилось польское восстание. Его взрыв был ужасен в смысле воздействия на общественное мнение. С этого самого времени все партии соединились, чтобы обрушиться на нас под влиянием превратной идеи, что поляки имеют права на симпатии Франции потому, что сражались во французских рядах. Масса таких же легкомысленных, как и парадоксальных предрассудков была причиною того, что все органы общественного мнения набросились на Россию с безмерным и непрекращавшимся неистовством. Этой борьбой, продолжающейся уже шесть лет и с каждым днем все усиливающейся, добились того, что Россия лишилась доверия Европы. Подобно тому, как утес, на который капля за каплей падает вода, оказывается, наконец, подточенным, так и общественное мнение, непрестанно обрабатываемое прессою, оказалось для нас окончательно неблагоприятным. К несчастию для нас, это нерасположение не ограничивается одной Францией. *Мировое распространение французского языка* и нелепое убеждение прочих наций, что все разумное исходит только из Франции и что там источник просвещения для Европы,

явились причиною того, что ответвления французской ненависти распространились по всей Европе. Я нашел эту ненависть сильной в Германии, так как всякая страсть приобретает бóльшую силу по мере своего распространения. Однако, поляки, как и следовало того ожидать, перестали, при ближайшем знакомстве с ними французов, внушать последним к себе сочувствие. Их поведение в предоставленных им убежищах настолько мало соответствует их положению и так мало достойно эмигрантов, пользующихся покровительством, что жители провинций, где расположены эти убежища, начинают уже замечать, что поляки не достойны оказываемого им гостеприимства. Париж еще не переменил окончательно своего мнения на этот счет, потому что те, кто живут в столице, составляют избранную часть эмиграции—они ведут себя достаточно пристойно из опасения быть высланными. Однако, некоторые из эмигрантов своим поведением открыли глаза парижанам,—я оставляю в стороне вопрос о многочисленных кражах и процессах в судах исправительной полиции, как и участие поляков в разных беспорядках и заговорах. Они разделились на несколько партий, которые взаимно поносят друг друга в брошюрах и на страницах газет; нередко дело доходит даже до дуэлей. Партия наиболее комичная из всех та, что провозгласила князя Чарторыйского королем, под именем Адама I, что дало повод говорить, что этот Адам не первый из людей. Интерес, который он вызывал к себе, заметно ослабел с некоторого времени. Много было разговоров, когда однажды вечером, прибыв на бал к английскому послу, князь Чарторыйский послал спросить разрешения фиакру въехать во двор особняка, между тем, как всем известно, что в Париже не принято допускать фиакров подъезжать к особнякам, расположенным между двором и садом. Все общество, собравшееся у английского посла, пришло в смущение при мысли, что князь Чарторыйский настолько впал в бедность, что вынужден ездить на бал в фиакре, и жена посланника поспешила распорядиться, чтобы впредь делалось исключение и, во внимание к его великому несчастию, допускали его подъезжать к подъезду особняка в любом экипаже. Через несколько дней Чарторыйского видели в маскараде, на котором бывают все парижские шелопаи, и по этому поводу справедливо говорили, что он мог бы деньги, истраченные на входную плату на этот маскарад и на другие развлечения, употребить на наем экипажа, а потерянное время—на размышления о своем великом несчастии.

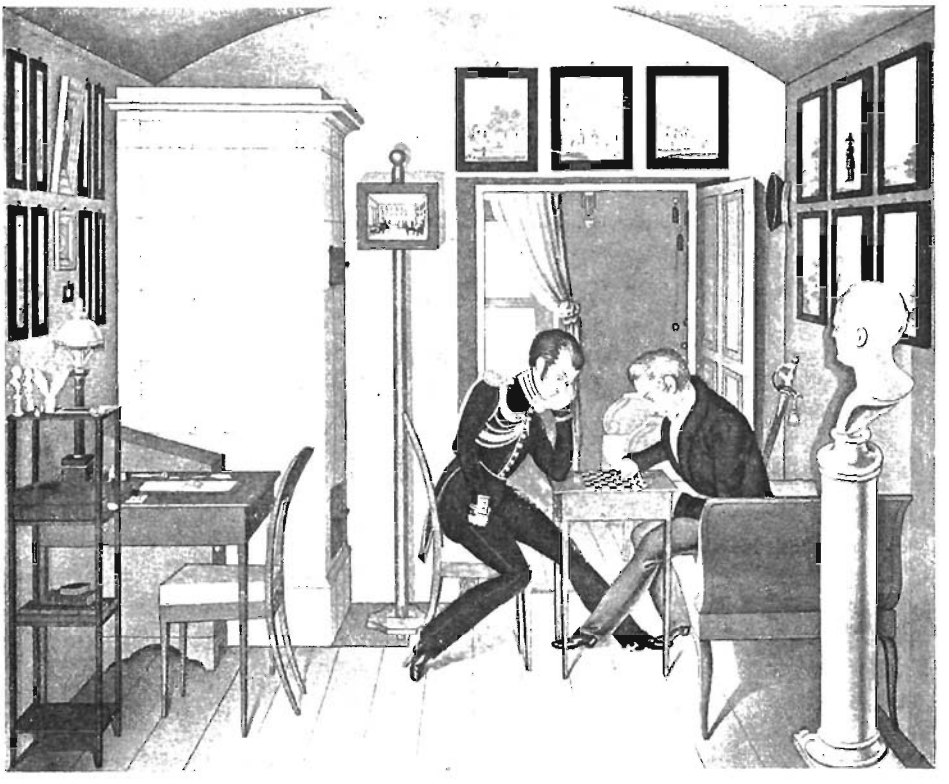
Как бы то ни было, для меня важно иметь под руками материалы, из коих я мог бы почерпнуть доказательства огромных благодеяний, оказываемых Польше Россией. Я имел возможность видеть Польшу по прошествии 24 лет: в 1813 г. я видел ее бедной, жалкой и несчастной, а в 1836 г. я нашел ее прекрасной, богатой и процветающей. Мне пришло на память, что в министерстве иностранных дел должен иметься документ, в котором сделана сводка всех улучшений и достижений в Польше за время русского управления. Я прошу ваше сиятельство, если, действительно, такой документ существует, предоставить мне его, так как он был бы в высшей степени полезен для выполнения моих служебных обязанностей. Общеизвестно, что Польша является кульминационным пунктом, привлекающим внимание и возбуждающим воинственное настроение наших противников, она доставляет наибольшее количество поводов для политического бесстыдства, она—наиболее обильный источник, откуда завидующие нам черпают свои гнусные оскорбления, она служит резервуаром для этих оскорблений.

Я попрежнему настаиваю на своем мнении, что необходимо, кроме всех тех шагов, которые мы предпримем для привлечения на свою сторону союзников среди публицистов, основать также орган, которым мы могли бы всецело располагать. Газеты меняют свой цвет и своих редакторов, и часто газета, превозносившая вас сегодня, назавтра мешает вас с грязью—оттого, что она переменила владельца. Необходимо было бы иметь постоянный орган в нашем распоряжении. Я обратился с предложением основать такой орган к Анатолию Демидову[24], который сначала одобрил эту мысль, но потом другие планы заставили его от нее отказаться. Эта газета редактировалась бы французом, всецело преданным нам, и никто бы не знал, кто является настоящим редактором и владельцем этого листка. За вознаграждение в размере от 10 до 12 тысяч франков такой номинальный редактор примет на себя упреки, которые посыплются на него за постоянное восхваление России. Его ответ на эти упреки мог бы быть аргументирован следующим образом: союз с Англией неизбежно приведет Францию к гибели, революция—бич рода человеческого, вместилище всех несчастий и бедствий, предвестник низвержения тронов и общественных смятений—не остановится в своем поступательном и разрушительном движении, пока Франция не будет поддержана союзом с могущественной нацией, олицетворяющей собой порядок и благоденствие. Влияние, которое Россия окажет на Францию, задержит дальнейшие успехи анархии. Наконец, не ушло еще время для того, чтобы остановить развитие демагогии и неистовство цареубийц. Эти мысли я, между прочим, высказал г. Тьеру вскоре после его отставки[25], и он их вполне себе уяснил. Он согласился со мной, что для того, чтобы остановить революционный поток, нужно опереться на Россию, но он полагает, будто ему удалось до некоторой степени сдержать этот поток, и выразил надежду, что сможет его окончательно укротить, если снова вернется к власти. Тогда союз с Россией стал бы для Франции предательским, так как Россия, без сомнения, пожелала бы пойти далее этой первоначальной цели, между тем, как союз с Англией является для Франции в материальном отношении более необходимым и более подходящим.

Принадлежность к русской партии считается в настоящее время во Франции настолько признаком дурного тона, признается так мало патриотичной, что нужно иметь известный запас мужества и не ставить ни в грош популярность, чтобы заявить себя защитником России, в особенности в ущерб интересам Польши. Однако, убедив легитимистских редакторов, что дело Польши не их дело, мне удалось привлечь некоторых из них на нашу сторону.

Возвращаюсь к мысли о создании собственной газеты. Ей не пришлось бы пройти через ряд обычных для всех газет превратностей, так как успех газеты зависит, прежде всего, от оригинальности ее убеждений или, скорее даже, от их неожиданности. Поэтому газета, которая выступит с заявлениями, противоположными тому, что говорят все 200 французских газет, неизбежно привлечет к себе общественное внимание и приобретет больше шансов на успех по сравнению с газетой, придерживающейся общего со всеми другими газетами направления. Возможно, что этот успех будет непродолжительным, но, тем не менее, газета получит уже некоторую известность. Ослабление интереса и явное охлаждение к новой газете всегда следуют за успехами первых ее шагов. Эти перипетии обычно являются предвестником гибели тех газет, которые, основываясь на своем пер-

вом успехе, не останавливаются перед огромными затратами и падают под тяжестью своих несоразмерных расходов. С нашей газетой дело обстояло бы иначе. Поскольку мы не преследуем значительных барышей, мы смогли бы поддерживать газету в ее затруднениях, как это делал Жозеф Бонапарт, субсидируя газету «La Tribune», которую 118 раз присуждали к уплате денежных штрафов, причем не было ни одного штрафа ниже 3 000 франков, не считая судебных издержек[26]. Но не по такому пути, конечно, должна пойти газета, которая будет выходить под нашим покровительством. Ее задачей будет непреклонно сохранять умеренность, при



КАНЦЕЛЯРИЯ III ОТДЕЛЕНИЯ
Акварель неизвестного художника, 1840-е гг.
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

сообщении фактов для решительного опровержения нелепых оскорблений, наносимых России, и придерживаться скромной и приличной полемики, в основание которой должен быть положен силлогизм, а не эпиграмма. С другой стороны, наша газета будет иметь спрос потому, что она, вероятно, будет единственной, где читатель найдет точные сведения о России, Пруссии и Австрии, и сами наши противники будут черпать из нее сведения, которые, благодаря нашим связям с Петербургом, Берлином и Веною, нам представится возможным публиковать.

В Париже существует газета под заглавием «Le Polonais»[27], посвятившая себя борьбе с Россией не на жизнь, а на смерть. Эта газета—собрание всяких мерзостей и клеветнических сплетен—ведется очень плохо и дает только сведения вымышленные, апокрифические и необычайные. Она не

имеет спроса и, тем не менее, существует, потому что партия, ее поддерживающая, не помышляя о барышах, преследует лишь цель поношения России. Поэтому эта газета, не имеющая подписчиков, доставляется бесплатно в читальни, кафе, рестораны и вообще во все общественные места; ее посылают, равным образом, даром и без обмена во все редакции газет, и также всем французским политическим деятелям. Таким образом, несмотря на весьма небольшой интерес этой газетки, ее принудительно читают все. Так практикуется в отношении всех газет, которые субсидируются какой-либо партией и ею распространяются. Из всего этого вытекает, как я уже имел честь изложить выше, что важно иметь газету, неограниченно нам преданную, и что газета «Le Polonais» заслуживает того, чтобы появился антагонист для разоблачения ее гнусных измышлений[28].

Таков путь, которым я предполагал бы итти при выполнении возложенного на меня поручения, если только это не противоречит намерениям вашего сиятельства. Я смею думать, что отличающий вас возвышенный ум позволит вам, граф, достойным образом оценить побуждения, заставляющие меня так поступать. Эти побуждения вытекают из долголетнего опыта и основательного знакомства с поприщем, на котором мне предстоит работать. Я не скрываю от себя предстоящих опасностей и принимаю на себя торжественное обязательство переносить их мужественно и с достоинством.

Резюмирую. Чтобы верно и безошибочно достигнуть намеченной цели, необходимо принять, как правило поведения, нижеследующее:

1) Следить с величайшей осторожностью за тем, чтобы ни у кого не могло возникнуть даже подозрения, что мое поручение является заданием правительства. 2) Проявлять большую сдержанность в полемике: статьи, имеющие целью отражать памфлеты наших противников, должны быть основаны на ф а к т а х и должны быть написаны без всяких колкостей и самовосхваления, с легкой и приличной шуткой, и подкреплены энергичной аргументацией и разумными и убедительными доказательствами. 3) Пользоваться всевозможными средствами для привлечения сторонников, стараясь внушить им, что наше дело является жизненным вопросом, как бы единственным якорем спасения, и что от успешного его разрешения зависит сохранение порядка и существования общества. 4) Действовать путем обещания наград и теперь же раздать их некоторым лицам, оказавшим услуги нашему делу. 5) Публиковать время от времени отдельные брошюры в ответ на сочинения, для достойного опровержения которых газета, по ограниченности места, является недостаточной. 6) Продолжать оказывать воздействие на умы влиятельных лиц через посредство автора настоящей записки, проявляя бо́льшую настойчивость, чем то делалось до сих пор; к этому представится возможность, так как круг отношений автора записки неизбежно должен расшириться.

Его долголетний опыт, его патриотизм, его углубленное знание людей и вещей—гарантия того, что он выполнит свое поручение с успехом. Влияние, которое он призван оказывать на умы, должно теперь, когда он занял выгодное положение в свете, распространиться гораздо шире. И ранее, когда он жил в Париже, его, человека нуждающегося, тем не менее, посещали писатели, публицисты, ученые, постоянно советовавшиеся с ним по поводу работ, которые они собирались публиковать о России. Они заявляли, что предпочитают с ним советоваться, чем подвергаться его критике. Таким образом содействовал он появлению нескольких серьезных трудов,

„ОТШЕЛЬНИК ИЛИ БРАТ ЛЮС"
Картина маслом Франсуа Буше на сюжет Лафонтена, 1742 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

как-то: «Географии» Бальби[29], значительной части которой он является автором, его же «Синоптической таблицы России», «Живописной вселенной» Дидо[30], «Географии» Мальт-Брёна[31], «Энциклопедического словаря»[32] и т. д. Он принимает на себя обязательство служить с таким же усердием и с бóльшей еще энергией. При выполнении своей трудной и опасной задачи он найдет поддержку в чувстве привязанности, удивления и безграничной благодарности, которое он питает к нашему великому государю.

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. А, лл. 9—20 об.].

Можно не сомневаться, что «записка» Толстого была одобрена его начальством. Скоро мы видим агента Николая I вновь в Париже[33]. В первых же своих донесениях в Петербург Толстой берется за «высокую политику». Он знает, как раздражали и беспокоили царя всякие намеки на политическое сближение Франции и Англии. В том-то и было несчастие Николая, что тени грядущей в далеком еще пока будущем крымской войны, перспективы очутиться лицом к лицу с англо-французской военной коалицией беспокоили царя, когда еще они были далеки, при Луи-Филиппе, и—на его беду—совсем перестали его тревожить именно тогда, когда опасность была, что называется, совсем на носу, при Наполеоне III. Причина ясна: при Луи-Филиппе, хотя царь и убедил себя в слабости Франции, но все-таки с ней, по его мнению, кое-как считаться приходилось, и Англия легко могла вступить с ней в союз. А в 1852—1853 гг. что такое в глазах Николая была Франция? Калека с переломанными руками, страна, вконец разоренная революцией 1848 г., бессильная, живущая среди дымящихся развалин. Зачем Англия станет заключать союз с такой «развалиной»? Да и может ли Англия заключить союз с племянником своего смертельного врага—Наполеона I? Из всего этого и получилось в свое время роковое, погубившее царя недоразумение. Но в 1838 г. царь еще не был так спокоен, как после 1848 г., и поэтому письма Якова Толстого в Петербург о возможности или невозможности франко-английского соглашения должны были, конечно, очень интересовать Зимний дворец. Толстой много распространяется о полемике между английскими и французскими газетами, с удовольствием отмечая всякий раз обострение полемического тона и подчеркивая непрекращающуюся враждебность между правящими классами обеих стран. Источником периодических обострений антирусской агитации во французской журналистике Яков Толстой считает Лондон, причем, как и все в тогдашней Европе, запевалой антирусского хора он признавал само британское правительство во главе с лордом Пальмерстоном. В донесении Толстого от 19 ноября 1838 г. мы читаем:

Е. с. графу Бенкендорфу

№ 13 Париж, $\frac{19 \text{ ноября}}{2 \text{ декабря}}$ 1838 г.

Граф,

За время, прошедшее с тех пор, как я имел честь представить в. с. последнее свое донесение, обозначились довольно яркие симптомы перемены настроения англофильских газет.

Еще недавно казалось, что в области печати невозможен никакой поворот; какой-то поток уносил ее неизменно в одном направлении. Толчок исходил из Лондона, где скопляются сейчас все гнусности, порождаемые

ненавистью и завистью к России или страхом перед ней. Столбцы английских газет ежедневно наполнялись лживыми выдумками, одна невероятнее другой. А затем этими выдумками наводнялась и Франция. Сказывалось это преимущественно в республиканских газетах: здесь о степени преданности интересам Англии можно было судить по яркости демагогической окраски. Исключением, впрочем, являлась «Gazette de France», с ее политическими разглагольствованиями, выходящими за пределы здравой логики, а часто доходящими и до окончательно разнузданного республиканизма.

При всем том, постоянно натравливая французскую печать на Россию, английская пресса не давала пощады и Франции, часто обвиняя ее в воинственности и завоевательных стремлениях, а с некоторых пор более чем неблагосклонно отзываясь и о французском правительстве. В английских политических органах то и дело появлялись и повторно печатались выпады то по поводу блокады Буэнос-Айреса и Мексики[34], то по поводу военных действий в Африке, или насчет французских владений в Германии, или швейцарских дел.

Эти постоянные, непрекращающиеся нападки лондонских газет вызвали со стороны французских язвительную полемику, и в вышедших за последнее время номерах парижских демократических газет слышится тон серьезной обиды на почти враждебное настроение всей английской печати без различия направлений. Столбцы французских органов крайнего левого лагеря, являющихся, так сказать, авангардом зажигательной прессы, заполняются отповедью их заморским противникам.

В особенности «Le Courrier»[35] во враждебной по тону статье предъявляет англичанам обвинение в меркантильности и эгоистичности. Газета считает, что с каждым днем все более остывает и ослабляется интимный союз Англии с Францией, естественно зародившийся под влиянием событий 1830 г. «Le Courrier» винит в этом английскую прессу, определяя при этом ее, как прессу не политическую, а торгашескую. Особенно удручена газета тем обстоятельством, что нападки на Францию представляют собою совсем не единичное явление. Враждебные Франции вопли раздаются в органах самых противоположных партий—тори, вигов и радикалов: «Times», «Morning Chronicle», «Courrier» с одинаковым ожесточением требуют от своей недавно обретенной союзницы то отчета по поводу завоевания Алжира, то обвиняют ее в агрессивных замыслах против Мексики и призывают Соединенные штаты к оружию на защиту последней. Из названных английских газет «Courrier» доходит даже до обвинений французской прессы в проповеди войны, в попытках поссорить Англию с Россией.

С особенным негодованием ополчились парижские либеральные газеты на статью «Sun», в которой этот орган радикалов стремится убедить, что достаточно одного слова, совместно произнесенного Англией и Францией, чтобы восстановить польскую национальность в ее правах и уничтожить Россию. Франция, заявляла «Sun», проявит величайшее вероломство, если не присоединится к кампании, начатой в связи с этим английскими радикалами.

«Le Courrier Français» считает только что приведенные изречения «Sun» грубыми и смешными и добавляет, что такого рода выступления английской печати могут вызвать опасные отзвуки хотя бы тем одним, что поощряют национальные предрассудки.

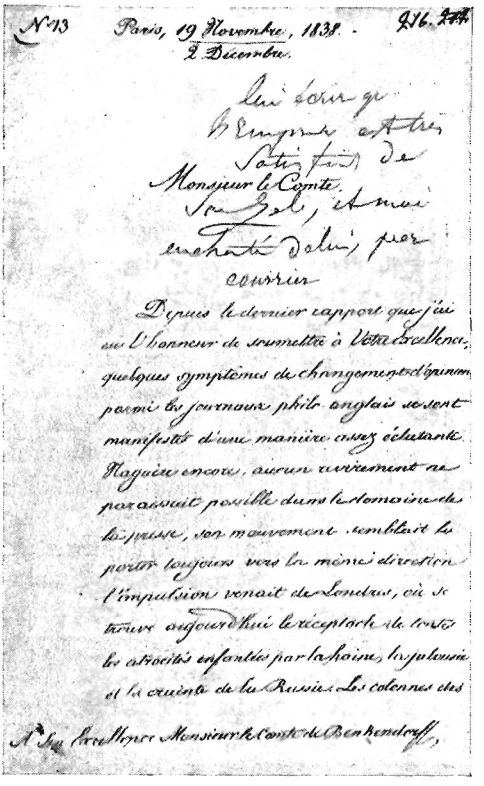
«Еще два-три года такой газетной полемики,—пишет «Le Courrier Français»,—и между двумя народами, пожалуй, снова разгорится соперниче-

ДОНЕСЕНИЕ Я. Н. ТОЛСТОГО
ОТ 19 НОЯБРЯ (2 ДЕКАБРЯ) 1838 г.

Первая страница

Сверху, рукою Бенкендорфа, проект извещения Толстого о „высочайшем" одобрении его „деятельности"

Архив революции, Москва



№ 13 Paris, 19 Novembre, 1838. 216. 777
2 Décembre.

Lui écrire qu'
Elle a été très
Satisfait de
Monsieur le Comte.
Sa Zèle, et Activité
remarquable dans
courrier

Depuis le dernier rapport que j'ai eu l'honneur de soumettre à Votre Excellence quelques symptômes de changement d'opinion parmi les journaux philo-anglais se sont manifestés d'une manière assez éclatante. Jusqu'à ce jour, aucun revirement ne paraissait possible dans la domaine de la presse, son mouvement semblait la porter toujours vers la même direction l'impulsion venait de Londres, où se trouve aujourd'hui le réceptacle de toutes les atrocités enfantées par la haine, la jalousie et la cupidité de la Russie. Les colonnes des

N° 214 Son Excellence Monsieur le Comte de Benkendorff,

ство, вызванное в свое время последней войной. Ход событий, приведший к союзу Франции с Англией, прежде всего, требует полного равенства сторон. Франция, вступив в союз с народом, в характере которого мало рыцарских черт, должна вполне определенно подсчитать, какие выгоды может она извлечь из такого союза». Газета заканчивает заявлением, что ее крайне интересует вопрос, что именно намерена сделать в пользу Франции Англия, если уже заходит речь о вовлечении Франции в войну с Россией—войну, которая неизбежно превратится в общеевропейскую и которую Англия предпримет, конечно, лишь для того, чтобы закрепить за собою или расширить свои территориальные владения. Народ, который всегда имеет в виду себя и только себя одного, не должен находить странным, если, вступая с ним в сделку, напоминают ему его собственное излюбленное правило: «Даром ничего не делается...».

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. А, лл. 216—219].

В этом же донесении Толстой рассказывает любопытнейшую историю о своих переговорах с тогдашним светилом парижской прессы—пресловутым Эмилем Жирарденом, талантливым и продажнейшим основателем и редактором газеты «La Presse». Тут интересен и деликатный разговор между продающим себя Жирарденом и покупающим его Толстым, и характерна предусмотрительность покупателя, который уже с первых шагов запасается против Жирардена документами, которыми можно будет контршантажировать его, если тот вздумал бы впоследствии шантажировать царское правительство. Этот Жирарден, убивший на дуэли в 1836 г. благородного республиканского публициста Армана Карреля, возбуждал

тогда к себе презрение и вражду мало-мальски чистоплотных людей своими финансовыми проделками в области журналистики. Его газета пользовалась колоссальным распространением.

*Продолжение донесения № 13 от 19 ноября (2 декабря) 1838 г.:*

... Что же касается газеты «La Presse», то она самым решительным образом объявляла себя против Англии и за Россию. Подтверждалось это в выступлении главного ее редактора, Эмиля де Жирардена, недавно вернувшегося к руководству газетой. Э. де Жирарден поместил в своем органе ряд статей дружественного по отношению к России содержания, и, между прочим, статью от 6 октября с ответом на враждебный выпад «Journal des Débats» на тему о пресловутом запрещении польского национального костюма[36]. Такое открыто дружественное к России заявление на столбцах министерского органа, диаметрально противоположное, при этом, точке зрения другого, тоже министерского, органа, «Journal des Débats», на взгляд многих, могло казаться странным. Я начал тогда же искать сближения с Э. де Жирарденом и вслед за тем был вызван г. послом, ознакомившим меня с содержанием секретного письма к нему г. Жирардена, копию с которого я здесь сообщаю.

«Обращаю внимание его сиятельства, г. российского посла, на статьи в «La Presse» и особенно на статью в сегодняшнем номере, касающуюся деятельности русского правительства; не найдет ли он нужным ознакомить с ними свое правительство на предмет допущения и распространения этой газеты в России и Польше? Если в этих целях необходимо предпринять какие-либо шаги, граф Пален очень обязал бы г. Эмиля де Жирардена, сообщив ему об этом и уделив несколько минут на личную беседу с ним».

Граф Пален, удостоив меня чести узнать мое мнение по поводу этого письма, предложил мне посетить г. Эмиля де Жирардена и передать ему, что он снесется с русским правительством по вопросу о допущении в Россию его газеты[37]. Я был у г. де Жирардена, рекомендовавшись, как лицо, специально уполномоченное по отправкам в Россию книг и журналов. Он много говорил мне о своей преданности России, о своем преклонении перед прекрасными свойствами характера его императорского величества и заявил, что отныне примет за правило помещать в своей газете, в противовес несправедливым выступлениям «Journal des Débats» против России, всевозможные опровержения, основанные на достоверных данных. Он сказал, что думает даже снискать себе этим признательность министерства или, вернее, графа Моле[38]. Он просил снабжать его материалом, опираясь на который он смог бы придавать больше убедительности опровержениям клеветнических статей, печатаемых газетами противоположного лагеря. Я сделал вид, что несколько затруднен его просьбой, указав на чисто научный характер возложенной на меня миссии; однако, в интересах родины, я согласился снабжать его время от времени сведениями, которые могут облегчить ему выполнение его похвального намерения, но просил его при этом смотреть на наши отношения, как на совершенно частные, и держать их в строгой тайне.

Через несколько дней после нашего свидания г. де Жирарден доставил мне некоторые печатные свои работы, с приложением записки, которую я здесь воспроизвожу дословно:

«Г-н Эмиль де Жирарден просит г. Толстого принять в дар три следующих его труда: 1) «О народном образовании», 2) «О периодической печати XIX в.»,

3) «Политические этюды»[39]. Г-н де Жирарден будет счастлив, получив разрешение поднести эти книги его императорскому величеству».

Имею честь приложить к настоящему докладу одну из этих брошюр, под заглавием: «О периодической печати», содержащую довольно правильную оценку современного положения прессы.

ЭМИЛЬ ДЕ ЖИРАРДЕН
Литография из серии „Galerie de la Presse, de la Littérature et des Beaux Arts" с портрета 1837 г.
Национальная библиотека, Париж

Идя навстречу предложению г. Жирардена, я доставил ему два небольших сообщения, которые он и поспешил поместить на столбцах своей газеты в номере от 14 октября. То были опровержения двух статей. Одна из них, все на ту же тему о польском костюме, была напечатана в «Le Constitutionnel»[40], несмотря на опровержения «Journal de Francfort»[41]. «Le Constitutionnel», помещая указанную статью, заявил, что, вопреки появившимся опровержениям, он настаивает на своих утверждениях, так как

имел возможность собственными глазами видеть приказ, налагающий запрет на ношение польского костюма, снабженный подписью: Szypof; другая же статья касалась назначения прелата князя Гедройца, которое истолковывалось, как неблагоприятное для католического духовенства.

Первая из моих заметок имела целью положить конец нелепой полемике о польском костюме. Я решительно настаивал на подложности документа, который, будь он подлинным, не мог бы быть снабжен подписью: général-major Szypof, с польским начертанием фамилии, а должен был быть подписан по-русски—Шипов (Chipoff). Еще более сильным доказательством подложности документа является чин генерал-майора, которым не мог назвать себя г. Шипов, будучи генерал-лейтенантом и к тому же генерал-адъютантом. Ваше сиятельство, впрочем, сможете судить обо всем самолично по прилагаемым газетным вырезкам.

Спустя несколько дней г. де Жирарден доставил мне корректурный оттиск статьи, которую я отметил черными чернилами и также здесь прилагаю. Я бережно сохраняю подлинники писем г. де Жирардена, адресованных как к г. послу, так и ко мне, чтобы иметь, на всякий случай, документы, которыми можно было бы припугнуть его, если бы ему вздумалось проявить недостаток скромности...

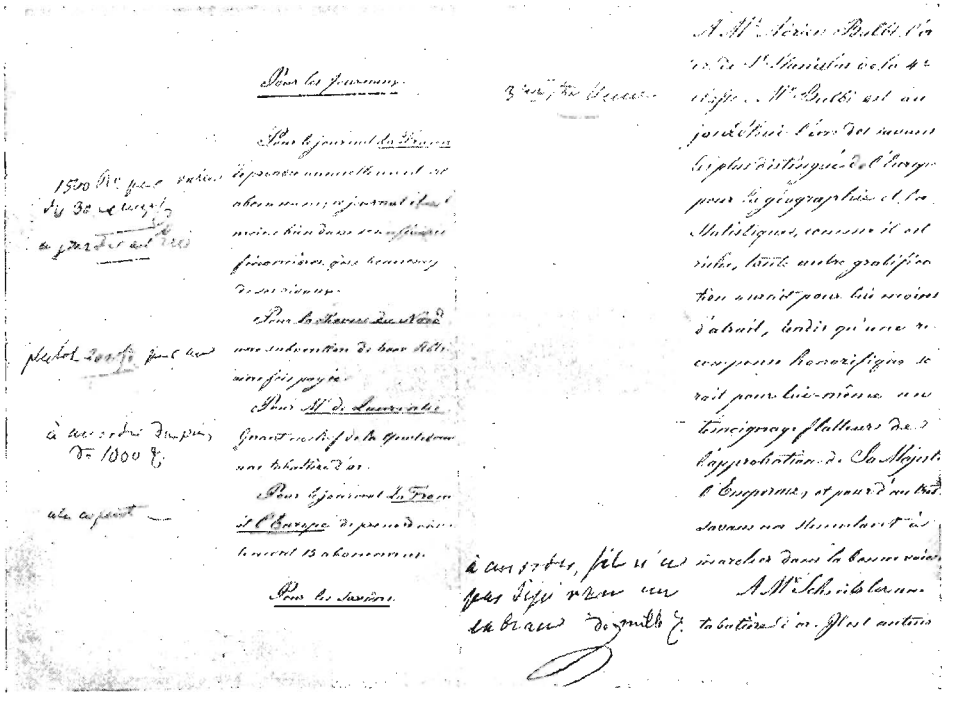
[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. А, лл. 221 об.—223 об.].

Дальнейшие донесения Толстого непрерывно указывают на быстро усиливающуюся вражду Англии к России и на влияние Англии на Францию. Вражда Англии объяснялась осложнениями на севере Индии и в Персии и твердой уверенностью британского кабинета в опасных для Англии происках царского правительства в Тегеране. Влияние же Англии на французскую прессу объяснялось, прежде всего, ненавистью французских либералов и радикалов к самодержавному деспоту, главе мировой реакции, Николаю I, и враждой католических кругов к притеснителю Польши. Отмечает Толстой и попытки англичан и французов втянуть в подготовляемый антирусский союз также Австрию, пугая ее могуществом и возможной агрессией со стороны восточного соседа. Характерно, что Меттерниха французские левые партии ненавидели гораздо меньше, чем русского царя. Эти сообщения перемежаются с отдельными заметками о политических скандалах, антиправительственных выступлениях и т. д. во Франции и в Англии. Особого интереса это не имеет, так же как сообщения о переговорах с руссофилами из французов, внезапно являющимися время от времени к Толстому с предложением за самое умеренное вознаграждение пропагандировать в печати необходимость франко-русского союза.

Скромно перечисляет Толстой собственные статьи во французских газетах, печатавшиеся им часто без подписи, так как он хотел, чтобы их принимали за статьи французов: 6 октября 1838 г. в газете «La France» он писал «О русском императоре и революционерах», всячески стараясь, разумеется, выявить «превосходство» русского императора перед революционерами; 10 октября там же он писал «О популярности его величества императора Николая в России»; 18 ноября в «La Presse» и 24 ноября в «Quotidienne» — об инспекционной поездке министра просвещения Уварова и т. д. За эти литературные выступления, как и за всю деятельность в совокупности Толстой сподобился следующей пометки Бенкендорфа на полях

донесения от 19 ноября (2 декабря) 1838 г.: «Написать ему, что император очень доволен его усердием, а я восхищен им».

Высочайшая ласка оказалась очень кстати. Яков Толстой уже раньше сообщал, что хорошо было бы несколько согреть милостью тех французов—редакторов, литераторов и ученых, которые выражают наиболее ясно свое стремление быть по мере сил полезными царскому правительству. Свою мысль он подробно развил в личной беседе с Сагтынским — чиновником особых поручений при III отделении, специализировавшимся на политическом сыске за границей, которому Бенкендорф поручил заняться французской прессой в бытность Сагтынского в Париже. Теперь Сагтынский счел момент благоприятным, чтобы продвинуть пожелания Толстого. В докладной записке к Бенкендорфу от 26 ноября 1838 г. он пишет, что хорошо было бы, например: 1) подписаться на 30 годовых экземпляров газеты «La France»; 2) на 15 экземпляров журнала «La France et l'Europe»[42]; 3) дать редактору газеты «La Quotidienne» г. Лоранти золотую табакерку; 4) дать журналу «La Revue du Nord»[43] шесть тысяч рублей единовременно (рукою Бенкендорфа на полях: «Лучше по две тысячи рублей в год»; ясно, что Бенкендорф меньше доверял природе человеческой, чем Яков Толстой). Отдельно отмечены ученые, ждущие поощрения в своем руссофильстве: г. Адриену Бальби, знаменитому географу и статистику, следует дать Станислава (рукой Бенкендорфа: «Анну 3-й степени»); г-ну Шнитцлеру[44], составившему благонамеренную статистику о России,—золотую табакерку (рукой Бенкендорфа: «Ценой в одну тысячу рублей, если он еще не получил»); господину Шопену[45], написавшему в хорошем духе работу о Рос-



ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА А. А. САГТЫНСКОГО ОТ 26 НОЯБРЯ 1838 г. О НАГРАЖДЕНИИ ФРАНЦУЗСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ И УЧЕНЫХ
На полях — резолюции Бенкендорфа
Архив революции, Москва

сии, подарить перстень (рукою Бенкендорфа: «Ценой в тысячу двести рублей»). Награды были утверждены царем.

О самом Якове Толстом скромно указывалось, что Париж—город дорогой, а интересы службы заставляют делать расходы, получает же он всего три тысячи рублей в год.

Царь приказал дать ему полторы тысячи наградных. 19 декабря 1838 г. Бенкендорф лично уведомил об этом Толстого, присовокупляя уверение в двух благоволениях разом: императорском и в своем собственном. («С искренним удовольствием сообщаю вам,—писал Бенкендорф,—что император остался весьма доволен вашим последним донесением») [46].

Много хлопот в эти годы причиняли царскому правительству проникавшие в Европу и волновавшие общественное мнение не только Франции, но и Италии, и Австрии, и Южной Германии, и всех католических стран известия о насилиях, которые творили царская власть и православное духовенство в Литве и Польше. Ссылка ксендзов в Сибирь, засекание до полусмерти католических монахинь, насильственное разлучение детей с родителями, жестокое навязывание униатам православия—все это постоянно описывалось в прессе с соответствующими комментариями. Римский папа протестовал официально, знаменитый ирландский агитатор Даниэль О'Коннель гремел на митингах в присутствии прелатов ирландской церкви. Об одной из таких «клевет», вызвавшей вмешательство О'Коннеля, Толстой говорит в своем донесении от 18/30 января 1838 г. И тут же сообщает об антирусской демонстрации, которой открылась сессия французского парламента в этом месяце.

№ 4 Париж, 18/30 января 1838 г.

... Еще совсем недавно мы видели О'Коннеля, повторившего на одном из митингов эту нелепую и гнусную клевету и говорившего о ней, как о событии, истинность которого не подлежит сомнению...

... Открытие палат было отмечено враждебными России демонстрациями и возобновлением бесплодных симпатий к Польше, которые изливались в необоснованных речах и превращались в ребячество. Эти речи были сказаны в связи с обсуждением адреса королю в палате пэров. Вновь введенные туда за последние дни пэры сочли своим долгом занести в верхнюю палату плебейскую политику нижней. Гг. Биньон и д'Аркур[47] и профессор Кузен[48] внесли предложение включить в адрес королю устарелые сетования по поводу судьбы Польши и требовать сохранения польской национальности. Премьер ответил им, что это совершенно излишне и что факт обращения ежегодно с одной и той же просьбой, без надежды на ее удовлетворение, свидетельствует о ее бесполезности и становится, следовательно, предосудительным для достоинства французской нации. Однако, он добавил при этом, что сам он более, чем кто-либо, оплакивает судьбу польского народа, но что он не в состоянии помочь ему в беде. Нижняя палата также не упустила случая повторить те же фразы по тому же поводу. Маркиз де Морне[49] внес поправку, которая и была принята палатой депутатов. Я не вписываю здесь эту поправку, предполагая, что е. с. знает ее содержание...

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. А, лл. 59—59 об.].

Полно интереса сообщение Якова Толстого о происходившем перед его глазами революционном восстании 12 мая 1839 г., связанном с именами

Бланки и Барбеса. Эта неудавшаяся революционная попытка, так напугавшая не только правительство и крупную буржуазию, но также буржуазию среднюю и значительную часть мелкой, была последним крупным революционным выступлением времен Луи-Филиппа вплоть до Февральской революции. Вот что пишет Яков Толстой спустя три недели после восстания, 29 мая 1839 г. Его показания дают некоторые любопытные черточки и детали для истории этого памятного дня.

№ 18 Париж, 17/29 мая 1839 г.

Е. с. графу Бенкендорфу

Граф,

Шесть недель прошло со времени отправки моего последнего донесения вашему сиятельству. За это время здесь произошли события большой важности, и я не мог, за отсутствием верной оказии, сообщить вам подробности о них. Только сегодня отправление курьера дает мне возможность представить вам свои наблюдения и сведения, которые мне удалось собрать о беспорядках, имевших место в Париже.

Министерский кризис, чрезмерно долго продолжавшийся, придавал стране мрачный вид, предвещавший какой-то неблагополучный исход. На общественных собраниях слышался ропот, и мрачные предсказания вызывали повсюду волнение и беспокойство. Печать, не опасавшаяся преследования со стороны министерства, лишенного определенной программы и, по собственному признанию, посаженного лишь для разрешения текущих дел, стала держать себя вызывающе, и можно было опасаться в будущем катастрофы. Тем не менее, люди опытные и переживавшие времена смуты и скорби, которые так часто покрывали кровью Париж, были уверены, что полицией приняты надлежащие меры против повторения беспорядков, и никто не представлял себе, что в Париже возможно организовать восстание, когда правительство располагает всеми средствами для пресечения в корне всякой попытки такого рода.

Восстание, тем не менее, разразилось самым неожиданным образом, при отсутствии каких бы то ни было предвестников, которые могли бы внушить обществу хотя бы малейшее предположение о возможности подобного выступления. Что же касается полиции, то она, повидимому, плохо выполняла свои обязанности, так как доказано, что во Франции существовал обширный заговор, подготовленный в глубочайшей тайне и имевший разветвления даже за границей. Тайные организации, под наименованиями «Общества четырех времен года», «Общества семей», «Друзей народа», соединились, повидимому, в единый союз поджигателей; они предполагали поджечь Париж со всех четырех сторон и попытаться спалить Тюильри при помощи зажигательных бомб. Только поспешность помешала осуществлению этого адского плана[50]. Префект полиции получил сведения о готовившемся выступлении, и оно произошло раньше первоначально назначенного срока. По другой версии, выступление должно было произойти в день открытия палат, но оно было отложено, так как король лично там не присутствовал.

12 мая около 4 часов восставшие в числе от 200 до 300 человек направились в полицейскую префектуру; муниципальная стража и постовые полицейские отбили их ружейным огнем. Они напали тогда на пост при Дворце юстиции, завладели этим постом и обезоружили стражу. Коман-

дующий постом лейтенант Друино, сержант и трое солдат были убиты залпом, сделанным в упор. При этом был совершен возмутительный и варварский поступок: когда восставшие заняли караульное помещение, они нашли в одной из задних комнат старого больного солдата, который не был в состоянии подняться с кровати. Не понимая, что означает весь этот шум, он спросил об этом у восставших, которые вместо ответа его безжалостно умертвили. Этот пост был вслед за сим немедленно отбит муниципальной гвардией, и восставшие захватили пост у ратуши, который, равным образом, был взят обратно и занят линейными войсками. Отбитые от ратуши, восставшие бросились в квартал Сен-Мартен. Разграбив несколько оружейных магазинов, они соорудили баррикады на нескольких улицах. На следующий день в 10 часов перестрелка возобновилась на Marché des Innocents, где укрепилась часть бежавших накануне восставших, но их не замедлили разогнать.

Это восстание, по своей продолжительности, по числу принимавших в нем участие и по количеству жертв, было значительнее восстания 1830 г., так как, по подсчетам, до 200 человек пострадало за эти два дня. Потери линейных войск составляют одну треть этого числа. Один только батальон 7-го линейного полка в первый вечер потерял 15 человек убитыми, в том числе одного младшего лейтенанта. Полковник 53-го линейного полка Баллон (произведенный потом в генералы) был ранен в ногу; командир эскадрона Пеллион из Генерального штаба, брат редактора журнала «Revue du Nord», был тяжело ранен на улице Амбуаз, в центре города, у Итальянского бульвара. Последние полицейские списки дают нижеследующий подсчет убитых и раненых: убито военных 15, гражданского населения 59, итого 74; ранено: военных 36, гражданского населения 61, итого 97; всего убитых и раненых 171.

Теряются в догадках по поводу происхождения этого восстания. Общее мнение во время самих беспорядков склонялось к тому, что это было бонапартистское движение. Был даже пущен слух, что арестован полковник Водре[51], принимавший участие в вылазке Луи-Наполеона в Страсбурге, но письмо его жены удостоверяет, что он не покидал департамента Côte d'or. Сам Луи-Наполеон написал в «Times» письмо, в котором, официально отрицая какую бы то ни было прикосновенность свою к парижскому восстанию, заявил, что если бы было предпринято какое-либо выступление в его пользу, его долг повелевал бы ему стать во главе восставших и он бы этот свой долг выполнил. По словам «Times», опубликовавшей это письмо, он не так давно предпринимал таинственное путешествие в Париж.

Бывший депутат Кабе[52], известный своими демагогическими убеждениями, скрывавшийся за границей, чтобы уклониться от наказания за преступление против закона о печати, только что вернулся во Францию, воспользовавшись правом давности, предоставляемым приговоренным после пяти лет отсутствия. Одна консервативная газета сообщила, желая этим внушить мысль о прикосновенности Кабе к восстанию, что Кабе несколько раз предпринимал подозрительные поездки в Париж, незадолго до беспорядков, но Кабе ответил, что он не покидал Дижона (департамент Côte d'or).

Среди арестованных, контингент которых в главной своей части состоит из рабочих, ремесленников и мальчишек, двое обратили на себя внимание, как стоящие выше других по своей профессии и как принадлежащие к республиканской партии,—это некто Бланки, брат академика, пригово-

ФРАНЦУЗСКИЕ СОЛДАТЫ
Из парижских зарисовок П. И. Челищева, 1839 г.
Литературный музей, Москва

ренный уже ранее за политическое преступление, и адвокат Барбес, равным образом приговоренный по такому же делу и впоследствии амнистированный. Говорят, что Бланки скрылся в Англию[53]. Впрочем, произведенные аресты были, повидимому, недостаточны, так как 16 мая ночью произошли снова буйства и были выбиты окна в магазине оружейника Лепажа. В связи с тем, что на палату пэров возложены судебные функции по делу арестованных за участие в восстании, канцлер Пакье[54] и несколько других пэров получили анонимные письма с угрозами на случай, если будет хоть один смертный приговор. В этих письмах говорилось, что пэры, голосовавшие за смертную казнь, будут сами убиты при первом же восстании, которое, несомненно, произойдет вслед за этим. Но довольно трудно застращать 158 судей, из которых многие старые военные. Это обстоятельство может служить возражением против установления суда присяжных. Все, что можно извлечь из вышеизложенного, свидетельствует лишь о том, что Франция живет на кратере вулкана.

Другое важное наблюдение, невольно бросающееся в глаза,—это то, что Национальная гвардия никогда еще в такой мере не уклонялась и не выказывала своего нежелания участвовать в подавлении мятежа. Из составляющих ее 60 тысяч, не считая 20 тысяч призываемых в предместьях, с большим трудом удалось собрать 3 тысячи. Очевидец, сам в качестве национального гвардейца принимавший участие во взятии одной из баррикад, рассказал мне самым наивным образом следующий случай: отряд в 500 человек Национальной гвардии был направлен к баррикаде, возведенной в конце улицы Тиктон, при этом оказалось, что весь состав этого отряда состоял из торговцев и буржуа, проживавших по улице, где сооружена была баррикада. Сперва, пока они не видели восставших, скрытых

от них баррикадой, они храбро шли вперед, несмотря на крики их жен и детей, но как только они подошли ближе и заметили дула ружей, концы которых высовывались из щелей укрепления, их охватил панический страх, и они все разбежались по своим лавкам и квартирам. Взрыв смеха, вместо ружейного залпа, раздался из-за баррикады, и только полчаса спустя 4-й легион, при поддержке линейных войск, захватил ее, причем во время атаки был убит национальный гвардеец Леду.

Линейные войска настроены, в общем, очень враждебно против восставших, и, если бы допустили, они уничтожили бы всех и все, что оказалось на их пути. В своем рапорте военному министру маршал Жерар[55], несмотря на явное стремление прикрыть нежелание Национальной гвардии выступить, должен был, тем не менее, признать, что в ней оказались убитыми только два гвардейца и два барабанщика.

Во время восстания произошел любопытный случай, имеющий отношение к Политехнической школе. Восставшие, отогнанные от площади Шатле, направились к Политехнической школе. Неся труп одного из своих, убитого во время атаки, и взывая о мщении, они прорвались через ворота школы, запертые при их приближении, с криком: «Нам нужны... командиры!». Подоспевший кстати отряд муниципальной гвардии быстро их атаковал и разогнал, причем было убито трое восставших.

«Journal des Débats», давая отчет об этом событии, сообщил, что, будто бы, восставшие были оттеснены учениками школы, что вызвало со стороны последних возражение. Неосторожные похвалы, которыми их щедро осыпали в 1830 г., взвинтили умы молодых людей, вообразивших, что они, действительно, командиры и политические деятели. Они отнесли письмо с возражениями в «Journal des Débats». Когда газета отказалась его напечатать, в редакцию явилась делегация учеников и заявила, что она не покинет помещения, пока их возражение не будет принято в печать, после чего редакции пришлось согласиться с их требованием, и письмо появилось в газете, однако, без подписей. Заключительная его фраза такова: «Муниципальная гвардия бросилась на тех, что оставались еще тут, и убила двоих на глазах учеников возмущенной Политехнической школы»[56].

Муниципальная гвардия, возмущенная такими выражениями, в свою очередь, послала делегацию в школу, чтобы заявить ученикам, что они дерзкие дети, которых следует наказать, а что касается муниципальной гвардии, то она готова доказать, что поступила законно. Их протест заключал в себе вызов и был сформулирован в презрительных выражениях: ученики там назывались просто мальчишками. Однако, этому протесту не пришлось увидеть света, так как в дело вмешались власти. Начальник Политехнической школы, генерал Толозе, был смещен за проявленный им недостаток энергии и распорядительности, и 31 ученик был заключен в тюрьму аббатства.

Пока эти события происходили в Париже, в Авиньоне был открыт легитимистский заговор; 28 заговорщиков были захвачены на собрании и арестованы. Однако, повидимому, нет никакой связи между этой организацией и той, что недавно подняла знамя восстания в Париже.

Рассказывают даже, что во время последних беспорядков несколько вооруженных людей с белым флагом подошли к одной из баррикад с целью присоединиться к республиканцам, но были отвергнуты последними. «L'Europe Monarchique» высказывает предположение, что этот пресловутый заговор был попросту открытым собранием для танцев, которое

переусердствовавший префект принял за секретное собрание заговорщиков. Подробности, относящиеся к последнему восстанию, заслуживающие, на мой взгляд, быть отмеченными, указывают на новую и опасную систему организации восстания, при помощи отдельных пятерок, которые по определенному сигналу должны были собраться, не будучи знакомы между собой. Ни одного имени не было занесено в списки заговорщиков, и привлеченные участники обозначались номерами и не знали друг друга. Начальники, руководившие восстанием, не появлялись и были невидимы и неизвестны членам организации. Эту подробность я узнал от герцога Деказа[57], одного из пэров, на которого возложено следствие в этом процессе...

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. В, лл. 178-186].

Французские легитимисты, неуклонно продолжая старую традицию своих отцов (эмигрантов революции 1789 г.), упорно стремились возможно глубже запустить руку в русский казенный сундук. В середине 1839 г. явился к Якову Толстому маститый редактор газеты «La France», виконт де Жайи, и просил передать его величеству Николаю Павловичу, что хотел бы получать от царя на издание газеты 50 000 франков ежегодно. Такие просьбы постоянно встречаются у Якова Толстого в его донесениях. Приводим этот образчик.

№ 21 Париж, $\frac{25 \text{ июля}}{6 \text{ августа}}$ 1839 г.

... Виконт де Жайи, один из редакторов газеты «La France», был у меня сегодня утром и заявил мне, что безвыходное финансовое положение этой газеты ставит его перед необходимостью предпринять путешествие в Германию и в Россию с целью хлопотать о субсидии у правительств стран, которые он собирается посетить. После обстоятельного изложения всех нужд своей газеты виконт объяснил мне, что Карл X снабдил газету суммою, необходимой для внесения залога, в размере 100 тыс. франков, и что, пока король был жив, они ни в чем не нуждались, после же его смерти герцог Ангулемский[58] заявил, что он недостаточно богат, чтобы их субсидировать. Герцог де Блакас[59] оплатил первый выявившийся дефицит по газете, но с некоторых пор он отказался от дальнейшей ее поддержки. Таким образом, они оказались предоставленными своим собственным силам. Молодой человек, виконт де Бонни, жертвует теперь всем своим достоянием для выхода газеты. Он отказывает себе во всем и с редкою самоотверженностью употребляет весь свой доход в 60 тыс. франков на содержание газеты. Г-н де Жайи[60] надеется иметь великое счастье видеть и лично заявить свою просьбу е. и. в. Его претензии показались мне чрезмерными и цифра субсидии сильно преувеличенной, и я рекомендовал ему не питать больших надежд. Он рассчитывает, что правительство могло бы назначить ему ежегодную субсидию в 50 тыс. франков, и вместе с теми субсидиями, которые он надеется извлечь еще и у других правительств, он мечтает создать газету, которая сможет итти вровень с лучшими парижскими органами...

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. В, л. 234 об.—235].

Довольно однообразная служебная лямка Якова Толстого нарушалась время от времени волнениями и неприятностями с парижскими журналистами. Очень уж те были юрки и жадны. Яков Толстой терялся и не знал, как быть среди этой борьбы ненасытных аппетитов. Вот образчик. Дело

происходит в августе 1839 г. Тут пишут о Польше, о пожаре Зимнего дворца—успевай только опровергать; обостряется восточный вопрос—успевай только сообщать о слухах из Англии,—и вот изволь от всего этого оторваться и расхлебывать следующую в самом деле любопытную историю. Жил-был тогда на свете некий небезызвестный III отделению Дюран, редактор газеты «Le Capitole». И вот узнает весь Париж, а в том числе и Яков Толстой, что Дюран направо и налево рассказывает о себе самом, что он, Дюран, получает большую тайную субсидию от русского царя. На самом деле Дюран на сей раз ровно ничего от царского правительства не получил. Яков Толстой сразу догадался, с какими целями г. Дюран хвалится тем, что он подкуплен,—это затем, чтобы получить кредит у банкиров. Толстой пустился опровергать Дюрана. Но опровергнуть человека, который сам упорно признает за собою определенный и никак не могущий быть опровергнутым, предосудительный для него самого факт, нелегко!—возмущается Яков Толстой. «Возмутителен» этот «цинизм» именно потому, что никаких взяток Дюран не брал, а утверждает («не краснея!»), что б р а л их. Если бы в самом деле брал, то и краснеть нечего было бы, по мнению стыдливого Якова Толстого. Недоумение по поводу необъяснимых действий Дюрана продолжалось недолго.

Является в разгаре этой суматохи к Якову Толстому старый его благоприятель, Эмиль Жирарден, и сообщает следующее: основанная Жирарденом, но принадлежащая не только ему, но целому акционерному обществу газета «La Presse» продается этим акционерным обществом с публичного торга. Он, Жирарден, хочет ее купить в полную свою собственность (газета была в самом цветущем положении в тот момент). Но вот неожиданно объявляется конкурент: этот самый Дюран, который слухами о том, будто бы за ним стоит финансовая поддержка России, именно и хочет отпугнуть конкурентов, сорвать торги и заполучить газету. Эмиль Жирарден с достоинством замечает при этом, что Дюран обладает притом демократическими убеждениями. Так стоит ли его поддерживать? Другое дело—он, Жирарден, всегда боровшийся с дурной прессой. Яков Толстой продолжал опровергать Дюрана, но насчет Жирардена советует своему начальству осторожность (Жирарден как раз в это время попался в проделке, весьма похожей на мошенничество). В Петербург отправляется такой отчет о событиях:

№ 22 Париж, 7/19 августа 1839 г.

... В предыдущем своем донесении я имел честь сообщить вашему сиятельству, что здесь ходят слухи о субсидировании русским правительством нынешнего редактора газеты «Le Capitole»[61], г. Дюрана. Эти слухи в последнее время еще усилились, благодаря нелепым похвальбам этого Дюрана. Лица, вполне заслуживающие доверия, передавали мне, что слышали о субсидировании от него самого. Из этих лиц назову: одного из редакторов газеты «Quotidienne» г. Вогринье и г. де Бонни, из редакции «La France». Я счел своим долгом решительно заявить, что совершенно немыслима какая-либо прикосновенность русского правительства к органу, демократическое направление которого громко провозглашается самим редактором. Но весьма трудно опровергнуть сложившееся у всех мнение, особенно, когда личность, служащая предметом росказней, сама их подтверждает, не краснея и с возмутительным цинизмом. Поведение г. Дюрана, очевидно, объясняется желанием создать себе кредит у банкиров,

которого, конечно, легче добиться, уверив их, что он пользуется субсидией от русской власти. Последнее соображение подтвердил зашедший ко мне сегодня утром г. Эмиль де Жирарден. Поводом к его визиту послужило следующее обстоятельство: основанную им газету «La Presse» сейчас продают; г. де Жирарден делает все возможное, чтобы приобрести ее в свою исключительную собственность от нынешних ее владельцев и пайщиков. Но вчера ему довелось услышать от одного немецкого банкира, имя которого он мне не назвал, что г. Дюран намеревается приобрести эту газету для русского правительства, от которого он, согласно его уверениям, получает по 12 000 фр. в месяц. Г-н де Жирарден заявил, что ему не приходится вступать в состязание со столь могущественным конкурентом, что предложенная г. Дюраном цена на торгах неизбежно повысит, вероятно, настолько стоимость газеты, что он поставлен будет в невозможность ее приобрести. Если русское правительство, продолжал он, действительно намерено приобрести газету, ему следовало бы поручить это дело не г. Дюрану, а ему—де Жирардену: в противоположность г. Дюрану, он придерживается монархических и консервативных принципов, он всегда отстаивал сближение с Россией против союза с Англией, даже тогда, когда газета его была министерской; наконец, как основатель издания, он создал ему определенную репутацию, которую другое лицо вряд ли сумеет поддержать.

Я заверил г. де Жирардена, что г. Дюран берет на себя смелость похваляться такими вещами, в которых нет ни тени истины. Чувствуя необходимость погасить слухи, распускаемые г. Дюраном в целях личных выгод, я принимаю в этом направлении все зависящие от меня меры, оставаясь

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГВАРДЕЕЦ
Из парижских зарисовок П. И. Челищева, 1840 г.
Литературный музей, Москва

в диктуемых осторожностью границах. Что же касается г. Эмиля де Жирардена, то, невзирая на высокую его одаренность и крупные общественные заслуги по ожесточенной борьбе с печатью вредного направления, которой ему удалось нанести не один сокрушительный удар, я все же считал бы непредусмотрительным связывать себя сношениями с ним, ввиду его несколько запятнанной в общественном мнении репутации. Скомпрометированный в деле о рудниках Сен-Берена, он хотя и был по этому делу оправдан, все же вышел из него несколько опороченным. Сам он, правда, сваливает все на врагов, которых в большом числе нажил за время борьбы своей со всевозможными газетными уклонениями,—и в таком объяснении есть доля правды. Но при всем том, повторяю, вести с ним деловые сношения можно лишь с величайшей осмотрительностью, и этого правила я неизменно придерживаюсь[62].

Из числа лиц, имеющих намерение приобрести «La Presse», назову банкира Агуадо и сына Наполеона—графа Валевского...

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. В, лл. 246—248 об.].

Газета осталась за Жирарденом.

С видимым удовольствием отмечая трудную борьбу, которую вели в это время французы с поднявшимися на защиту своей независимости алжирскими племенами, предводительствуемыми Абд-эль-Кадером, внимательно следя за высказываниями прессы по восточному вопросу, очень тогда обострившемуся, Яков Толстой не забывает, конечно, польских эмигрантов, живших в Париже, и отмечает всякий раз празднование поминальной годовщины польского восстания 1830 г. (29 ноября), донося о речах Чарторыйского, Мерославского и других.

В донесение от 6 декабря 1839 г. вкраплена записанная под свежими впечатлениями сцена первого публичного чтения в салоне жены Эмиля Жирардена ее нашумевшей пьесы «L'Ecole des journalistes» («Школа журналистов»). Об этой пьесе и о возникшей вокруг нее полемике Яков Толстой дает свидетельство очевидца, небезынтересное для историка французской литературы и парижского литературного быта в годы Июльской монархии.

№ 25

Париж, $\frac{24 \text{ ноября}}{6 \text{ декабря}}$ 1839 г.

... Мне недавно привелось присутствовать у бывшего депутата, г. Эмиля Жирардена, при чтении пьесы, написанной его женой, г-жей де Жирарден[63], «Школа журналистов» («L'Ecole des journalistes»). На чтение пьесы в огромном количестве собрались писатели и редакторы газет всевозможных направлений и оттенков; присутствовало и большинство здешних женщин-писательниц. Эту пятиактную пьесу в стихах предполагалось поставить на сцене Французского театра, но она была запрещена цензурой. Принимая во внимание, что в ней нет ничего противоправительственного, что она, скорее, представляет собою резкую сатиру на самых неистовых и подлых врагов всех правительств, недопущение ее до постановки, вероятно, объясняется иного рода соображениями: дело, полагают, в том, что она полна личных намеков. Как бы то ни было, пьеса заслуживает внимания во многих отношениях, и только случившиеся алжирские бедствия заставили утихнуть возбужденные ею шумные толки.

В первом действии изображается редакция газеты, носящей название «Истина». Автор, выводя на сцену ответственного редактора, главного редактора, лицо, дающее средства на издание, и сотрудников газеты, рисует их правдивыми красками. Начинается пьеса сценой оргии, после которой все ее участники принимаются за писание статей, направленных против правительства, против всякого дарования, против добродетели, против неприкосновенности личности и против семейной чести. Пишется все это в пьяном до омерзения состоянии, и, невзирая на него, эти люди считают себя в праве провозглашать новые правила общественной жизни, корчат из себя аристархов-обличителей современности—ее политики, нравов, искусства, литературы и т. д. Излишне говорить, что стихи сделаны превосходно: г-жа де Жирарден — одна из знаменитых поэтесс.

По прочтении первого акта г-жа де Жирарден стала обходить собравшихся, спрашивая их мнение о пьесе. Когда она подошла к г. Жюлю Жанену, тот, на просьбу высказаться, сердито отвечал, что «все, что он прослушал, по его мнению, фальшиво от первого до последнего слова, что журналисты никогда не напиваются допьяна перед тем, как писать, и не пишут, когда бывают пьяны». Тут, в свою очередь, рассердилась больно задетая в авторском своем самолюбии г-жа де Жирарден. Повысив голос, она заявила, что все ею написанное с совершенной точностью воспроизводит действительность и основано на неопровержимых данных, и добавила, что приложит к тексту пьесы примечания, где будут указаны подлинные имена всех изображенных в пьесе лиц. Она сослалась, наконец, на известную статью в «Journal des Débats», написанную г. Беке[64] в пьяном виде, во время оргии, и вызвавшую падение монархии и изгнание старшей ветви Бурбонов. Эта статья, приведшая к столь роковым последствиям, начиналась так: «Несчастная Франция, несчастный король!..».

После этого скандального эпизода г-жа де Жирарден возобновила чтение своей пьесы. Во втором акте изображено, как любовница одного из редакторов, балетная танцовщица, похищает рукопись, которую и продает, чтобы на вырученные деньги купить себе муфту. В похищенном документе повествуется о министре, который долго состоял любовником одной женщины, а затем женился на ее дочери. Последняя из обличительной газетной заметки, случайно попавшейся ей на глаза, узнает о бывшей между ее мужем и матерью связи, о которой раньше не подозревала. Это приводит к объяснениям между дочерью и матерью и дает в третьем акте прекрасную и умело написанную патетическую сцену. Всем ясен тут намек на эпизод из жизни г. Тьера, и имя его переходило из уст в уста.

В четвертом акте дан эпизод, изображающий судьбу старого художника, одного из самых выдающихся живописцев своего времени, талант которого не может получить признания из-за газетной травли. После долгих, но тщетных попыток бороться с могуществом и злобой газетной прессы он теряет рассудок под действием ежедневных оскорблений и умирает жертвой журналистики, в отчаянии бросившись из окна. Это в немного измененном виде история жизни художника барона Гро[65].

В пятом акте рельефно выявляется все зло, причиненное газетой: опрокинутое министерство, обесчещенная семья, самоубийство выдающегося художника и т. д. Один из редакторов, честный человек, признает свою ошибку, отказывается от прежних своих взглядов и заявляет, что отныне он перестает работать в газетах. В противовес ему, юноша, выступивший на защиту оскорбленной семьи, заявляет о противоположном решении—

он хочет сделаться журналистом и вскрыть все тайные пружины журналистики: он вступит в ряды газетных сотрудников, чтобы крепче ее заклеймить, он сделается соучастником ее преступлений, чтобы до конца их разоблачить. Он знает, что его ждет: ненависть журналистов будет преследовать его клеветою, перетрясут всю его жизнь с младенческих лет, станут копаться в его происхождении, постараются опорочить его честь, лишить его даже родины,—он готов ко всему. Он падет жертвой, но падением своим раскроет всем глаза на зияющую пропасть! Этот молодой человек не кто иной, как сам Эмиль де Жирарден, выведенный здесь, конечно, под другим именем, и здесь имеется в виду именно его деятельность. Так заканчивается пьеса.

Г-жа де Жирарден была восхитительна, когда с выразительностью и с волнением читала эту заключительную, прекрасными стихами написанную сцену. Она так волновалась, заканчивая чтение, что у нее прорывались рыдания и слезы душили ее. Так завершился этот знаменитый вечер, вызвавший затем столько шумных толков [66].

Клеймо, наложенное на журналистов женщиной, энергично разоблачившей отвратительные стороны их ремесла, привело их в подлинное неистовство, и они яростно набросились на комедию г-жи де Жирарден. Началось с «Le Temps», где лишь в нескольких строках фельетона было упомянуто о вечере, без указания места, и как бы для того только, чтобы осудить подобные чтения и поиздеваться над учеными женщинами—так называемыми «синими чулками». Но когда затем в «L'Artiste» появилось письмо Жюля Жанена к г-же де Жирарден [67], остальные газеты целым хором присоединились к его нападкам на автора этой комедии. Письмо Жюля Жанена весьма примечательно по манере изложения и развязности своего тона. Главная цель его—доказать, что пороки печати, изображенные г-жею де Жирарден в ее комедии,—плоды измышления автора, который совершенно умолчал о том, что называется благом печатного слова; печать, утверждал Жюль Жанен, никогда не приносила такого вреда, какой приписан ей в пьесе. В высшей степени циничное и бестактное, письмо это написано все же очень ловко и полно едкого остроумия. Оно произвело настоящую сенсацию и покупалось нарасхват, так что газета «L'Artiste» на нем составила свое благосостояние. Многие поражены, что в письме, обращенном к молодой женщине из общества, г. Жанен допустил такие фразы, как: «девки у уличной тумбы», или «своими белыми ручками вы копаетесь в навозе», «вы мараете их в грязи, крови и плевках» и т. д. и т. д. Словом, письмо изобилует столь отвратительными выражениями, что становится совершенно очевидным, что автор чужд порядочному обществу.

Вечером у г-жи де Жирарден была, можно сказать, еще более подогрета ненависть журналистов ко всем, кто оспаривает их право на руководство общественным мнением. Следует отметить, между прочим, что почти все серьезные газеты в ссоре между собой. Никогда газетная полемика не велась с таким ожесточением, как за последнее время, не говоря об органах диаметрально противоположных направлений, которые и без того обычно грызутся между собой,—и газеты одного приблизительно лагеря воюют друг с другом не на живот, а на смерть: так, «Journal des Débats» вступила в бой с «Le Courrier» и с «Le National»; «Gazette de France» с «La Quotidienne» и с «La France». Словом, в рядах журналистики царит полнейший раздор. Недавно «Le Courrier» возбудил судебное преследование

ДЕЛЬФИНА ГЭ, ВПОСЛЕДСТВИИ Г-ЖА ДЕ ЖИРАРДЕН
Рисунок в альбоме А. Е. Шиповой, 1820-е гг.
Институт литературы Академии наук СССР, *Ленинград*

против «La Presse» за диффамацию, и ответственный редактор последней приговорен к 2 000 фр. штрафа...[68].

[Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. В, лл. 282 об.—287 об.].

На обязанности Якова Толстого было не только следить за текущей политической прессой, но и радеть о том, чтобы историческая наука не уклонялась в нежелательную сторону. Так, 20 февраля 1840 г. граф Бенкендорф потребовал, чтобы Толстой немедленно связался с редакцией большого словаря «Biographie des hommes du jour»[69]. Редакторы этого издания согласились, чтобы биографию Николая Павловича у них написал сам Яков Толстой, уже и ранее писавший там и исправлявший биографии сановных россиян. Стоило это не очень дорого. Например, за нужные «пропуски» в биографии Паскевича редакция взяла всего 500 франков наличными. Эта же редакция пускалась еще и на такие ухищрения. Они за несколько лет до того уже издавали (в первом издании) том своего словаря с биографией Николая I, написанной в «возмутительном» духе. Теперь они обнаружили желание не только получить за новую благонамеренную биографию, но и за старую «возмутительную», и Яков Толстой принужден был скупить и уничтожить тысячу экземпляров первого издания! А тут еще вышли неприятности с другим историком, г. де Норвеном. Последний предложил написать историю Петра I. Яков Толстой и материалы ему достал,—и едва ли только материалы. Но историк оказался неумеренно алчным. Он вдруг потребовал, чтобы ему авансом дали сорок тысяч франков золотом и напечатали бы его труд за счет царской казны. Дело расстроилось[70].

Очень хлопочет Толстой о том, чтобы царь обнаружил щедрость к жене влиятельного редактора Эмиля Жирардена. Ту самую пьесу («Школа журналистов»), при чтении которой, как рассказано выше, присутствовал Яков Толстой, автор ее, г-жа Жирарден, повергла к стопам ценителя муз Николая Павловича, от которого и ждет если не табакерки, то чего-нибудь посущественнее. Яков Толстой деликатно настаивает, что хорошо бы ей что-нибудь, в самом деле, дать—муж человек влиятельный.

Толстой подкупал газеты от раза до раза, но три органа —«La France», «La France et l'Europe» и «La Revue du Nord»—были у него более или менее на постоянном иждивении. Когда эти издания прекратили свое существование, их сменили «La Patrie», «L'Assemblée Nationale» и «Constitutionnel»[71].

Впрочем, охотников «служить» было немало. Вот, например, консервативная газета, посвященная легитимизму, дружественная царской России «Le Journal Général», и ее издает «человек почтенный и серьезный», виконт де л'Эспин. У этого л'Эспина состояние личное от 8 до 10 миллионов. Чего бы, кажется, лучше? Но нет: в один прекрасный день почтенный и серьезный виконт обращается через третье лицо к Толстому и просит в награду за свой консерватизм и легитимизм денег от Бенкендорфа.

№ 29

Париж, 15/27 марта 1840 г.

... Через посредство виконта де л'Эспина еще один консервативный орган—легитимистского направления, состав редакции которого дружески настроен по отношению к России и к ее интересам,—я разумею «Le Journal Général»[72],—обратился с предложением своих услуг. Г-н де л'Эспин в письме на имя третьего лица, которым письмо и было мне передано, еще не заговаривает о субсидии, но ясно, что дело клонится к этому, хотя сам он и чрезвычайно богатый человек. Он сын бывшего управляющего монетным двором, и его средства исчисляются от 8 до 10 миллионов. Это человек достойный и положительный, и сношения с ним не могли бы меня компрометировать. Имею честь приложить письмо г. де л'Эспина к одному бывшему судебному деятелю, давнишнему моему знакомому, человеку, в честности и скромности которого сомневаться не приходится.

Убедительно прошу ваше сиятельство сообщить мне ваши распоряжения по всем этим вопросам, в каком бы смысле ни угодно было вам их разрешить...

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. В, лл. 370 об.—371].

Все эти попрошайки не могли, конечно, надеяться на такое внимание, как Эмиль Жирарден, владелец наиболее распространенной тогда газеты «La Presse». Курьезно, к каким приемам прибегал Эмиль Жирарден, чтобы напомнить деликатно русскому казначейству об «обязанностях» по отношению к газете «La Presse». Так, осенью 1841 г. (6 ноября) Жирарден посетил Якова Толстого и поведал ему, что он, Жирарден, побывал недавно в Австрии, четыре часа беседовал с канцлером князем Меттернихом и что Меттерних очень обнадежил его газету своей поддержкой. Ко всем этим интересным сообщениям Жирарден не преминул прибавить, кстати, что он теперь и в Россию собирается!.. Намек был крайне прозрачен, и Яков Толстой усиливается понять: была ли «поддержка» Меттерниха д е н е ж н а я или какая-нибудь иная?

В своем донесении от 6/18 ноября 1841 г. Яков Толстой сообщает о размолвке Жорж Санд с «Revue des Deux Mondes», об основании при ее участии нового журнала и дает несколько очень интересных замечаний бытового, так сказать, характера, ярко рисующих, до какой степени в эпоху июльской буржуазной монархии издание газеты было в руках плутократии. Толстой приводит мнение одной парижской газеты, что фактически «право писать признано законом за г. Ротшильдом и некоторыми другими». По-

путно он дает несколько конкретных примеров, интересных для истории французской периодической печати, и приводит наглядные объяснения того факта, что газеты оказываются такими хрупкими и скоропреходящими предприятиями.

№ 37 Париж, 6/18 ноября 1841 г.

... Пресса обогатилась за последние месяцы текущего года двумя ежедневными органами: «Le Globe»[73] и «Le 19me Siècle»[74]. Последняя из этих двух газет ведется в консервативном духе и склоняется на сторону России.

Знаменитая Жорж Санд, которой редакция «Revue des Deux Mondes» отказала в помещении одной ее статьи, как бы в отместку, решила основать новое повременное издание того же рода и дала ему название «La Revue Indépendante»[75]. К Жорж Санд присоединились два радикальных писателя: гг. Л. Виардо и П. Леру. Последний, бывший сен-симонист и пылкий писатель-республиканец, поместил в первой книжке этого журнала статью, исполненную крайнего революционного духа.

Но появление новых органов еще не служит доказательством процветания прессы вообще: на два вновь возникающих издания приходится вдвое больше исчезающих с арены печати. Со всех сторон твердят об отчаянном положении прессы. Правда, повидимому, пробелы от гибели одних органов заполняются появляющимися им на смену новыми. В подобных начинаниях особенно легко поддаваться иллюзиям—это своего рода лотерея, и этого достаточно для людей, ищущих успеха. Любопытно наблю-

ЖЮЛЬ ЖАНЕН
Рисунок в альбоме П. И. Челищева, 1839 г.
Литературный музей, Москва

дать за постепенным упадком этих органов, со всеми его перипетиями и, наконец, за окончательным их крушением, вопреки всем мерам, всем жертвам, чтобы предотвратить гибель. Но как ни оказываются тщетными все такие усилия, газеты все-таки упрямо продолжают твердить то самое, что провозглашали в первых объявлениях о своем выходе: что они призваны удовлетворить назревшей, всеми ощущаемой, всеми высказываемой потребности и т. д. Некоторые газеты объясняют многочисленные случаи гибели изданий суровостью законов о налогах. Вероятнее, однако, что причина здесь лежит просто в азартной конкуренции—этой игре, разорительной как для гибнущих, так и для тех, кто пока еще уцелел. Даже имеющее успех газетное предприятие требует огромных расходов, не компенсирующихся этим успехом, будет ли он достигнут сразу или постепенно. Бесконечное количество наводняющих теперь Францию газет совершенно не соответствует возможному в этой стране числу подписчиков на них: сильный ущерб подписке наносят существующие в значительном количестве общества, клубы, кафе и другие публичные учреждения, выписывающие все газеты. Надо прибавить к этому и читальни, которых в Париже насчитывается до 800, а по всей Франции—до 4 000. Недаром одна газета, горько сетуя на огромность требующихся для ее существования издержек, заявила, что закон признает право на печатное слово лишь за г. Ротшильдом да еще за немногими другими, которым, впрочем, было бы крайне затруднительно этим правом воспользоваться.

Как бы то ни было, вот перечень наиболее значительных, уже успевших было упрочиться газет, прекратившихся в 1841 г.:

«Le Bon Sens» поглотила миллион слишком франков и разорила своих пайщиков. Ее зарезала основанная правительством газета «Le Sens Commun»[76], выходившая в том же формате, имевшая тот же внешний вид, что и названный республиканский орган, но при этом проводившая совершенно противоположные идеи; эту газету продавали по воскресеньям на улицах по очень низкой цене.

«Le Monde»[77]. При всей талантливости редактора этого издания, г. аббата Ламенэ, оно погибло под бременем расходов и из-за недостатка подписчиков.

«Le Capitole». Издание это, обошедшееся Людовику Бонапарту в значительную сумму, погибло, однако, подобно предыдущим.

«L'Europe Monarchique»[78]. Газета не могла продержаться, несмотря на огромные средства, затраченные на нее маркизом де Ла Рошжакленом и другими богатыми легитимистами, даже при таком даровитом, по общему признанию, главном редакторе, как г. Капфиг.

Одна из самых процветающих парижских газет—«La Presse»—поглотила на поддержку своего существования 600 000 франков, отпущенных правительством, и только поэтому сейчас и жива. Между тем, редактор ее, г. де Жирарден, должен быть признан одним из самых способных к руководству газетой людей: среди писателей его даже называют в о п л о щ е н н о й п р е с с о й. Впрочем, признано, что для газеты не оппозиционного направления успех вообще дается с бо́льшим трудом...

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. С, лл. 81—84].

Несмотря на всю свою ловкость и пронырливость и несмотря на денежные жертвы со стороны царского правительства, Яков Толстой, по мере приближения Февральской революции, чувствовал с каждым годом, как

АНАТОЛИЙ ДЕМИДОВ
В глубине фигуры Жюля Жанена и графини Монтро
Рисунок в альбоме П. И. Челищева, 1839 г.
Литературный музей, Москва

возрастают трудности, связанные с его деликатной миссией. Особенно огорчали его католики. Клерикальная пресса не скрывала своего резко враждебного отношения к усилившимся в русской Польше и Литве, в начале 40-х годов, преследованиям католицизма и унии. «Фанатические редакторы!»—жалуется Яков Толстой в 1842 г. Особенно «фанатична» газета «Quotidienne». Газета «La France» тоже фанатична, но так как эти фанатики непрерывно получают от Якова Толстого деньги, то они хоть не враждебны в других вопросах, не касающихся католической религии и ее положения во владениях русского царя. А, с другой стороны, как быть с Жирарденом? Положительная черта этого редактора газеты «La Presse»—его влияние, обусловливаемое громадным распространением его газеты; отрицательная его черта—это его мошенническое умонастроение и непобедимая природная наклонность к шантажу, от которой он и не может и не хочет отделаться! Давно ли, например, Жирарден с достоинством и горечью обличал Дюрана в том, что тот обманным образом х в а с т а е т, будто получает субсидии от России? А теперь сам он делает то же самое и, главное, по тем же мотивам: тоже для поддержания кредита своего в банкирских кругах. Тут Яков Толстой помещает деликатный упрек царю, напоминая, что посылка пьесы жены Жирардена, повергнутой к стопам российского монарха, «осталась без ответа», то-есть без подарка и без денежного всемилостивейшего вознаграждения. Эмиль Жирарден так рассердился за это невнимание к его жене, что и пустился шанта-

жировать; такова была привычная форма выражения гнева этого маститого редактора.

№ 46 Париж, 1/13 октября 1842 г.

... «La Presse», с которой я, учитывая авантюристские свойства ее главного редактора, никогда не желал входить в слишком близкие сношения, продолжала помещать мои статьи, хотя Эмиль де Жирарден и в обиде на меня из-за отсутствия какого-либо ответа на присылку его женой, через мое посредство, ее комедии «Школа журналистов». Со своей стороны, я также воздерживался от свиданий с г. Жирарденом из боязни себя скомпрометировать. Дело в том, что, по обычаю мало добросовестных французских журналистов, он сам для увеличения своего кредита распускает слух о том, что получает субсидию от русского правительства. Слух этот так широко распространен, что даже г. Гизо убежден, что редактор «La Presse» снабжается крупными суммами из этого источника. Как передавал мне г. Киселев, г. Гизо совершенно уверен, что каждая дружественная по отношению к России статья, появляющаяся в «La Presse», проредактирована в русском посольстве. Так, однажды, по поводу статьи этой газеты о договоре 13 июля, он заметил: «Бьюсь об заклад, что за эту статью русским посольством хорошо заплачено»[79].

Принимая во внимание эти обстоятельства, я вынужден был воздерживаться от сношений с г. де Жирарденом. И когда я счел своим долгом напечатать статью в опровержение ложных слухов о недоразумениях, якобы, происшедших между государем императором и прусским королем, я обратился к начинающей пользоваться успехом газете «Le Globe», с одним сотрудником которой я знаком. Имею честь приложить здесь небольшую заметку, напечатанную мною в этой газете...

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. D, лл. 54—55].

Иногда одними деньгами ничего нельзя сделать. Из донесений Толстого Бенкендорфу от 13 октября 1842 г. мы узнаем, например, следующее. Известный польский эмигрант, граф Владислав Замойский, дал средства на издание сатирической биографии Николая I. Проведав об этом, Яков Толстой бросился к русскому посланнику в Париже Киселеву, а Киселев — к министру Гизо с просьбой о соответствующем административном воздействии, которое и было оказано.

Среди этой текущей хроники Яков Толстой отмечает в своих донесениях и факт большого значения для польской литературы: прибытие в Париж польского мессианиста, мистика и визионера Андрея Товянского, которому суждено было иметь такое роковое влияние на Адама Мицкевича в последние годы жизни великого польского поэта.

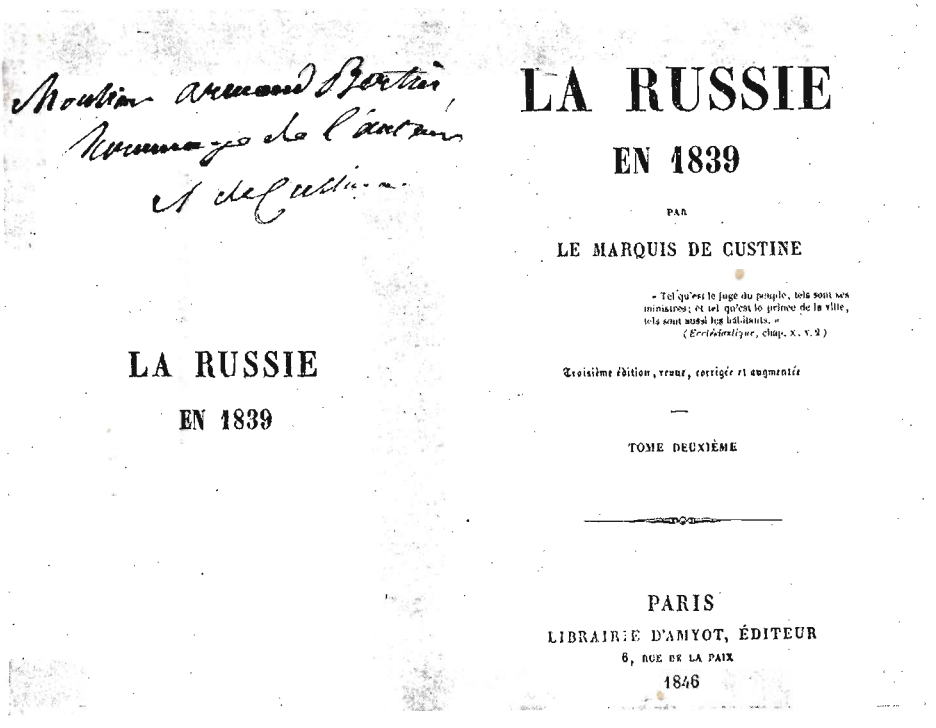
*Продолжение донесения № 46 от 1/13 октября 1842 г.:*

... В Париже появился поляк из Литовского края, по фамилии Товянский[80]. Вдохновляемый, как он уверяет, святым духом, он собирается основать секту, по характеру своему одновременно и религиозную и политическую, и приобрел уже довольно значительное число приверженцев среди эмигрантов. Товянский начал с того, что обратился в Брюсселе к генералу Скжинецкому[81], в надежде подчинить себе при посредстве своих мистических теорий ум этого религиозно настроенного человека. Пови-

димому, это ему не вполне удалось, так как генерал счел его за интригана и даже дал ему понять, что подозревает в нем русского агента. Тогда же Товянский прибыл в Париж и здесь сблизился с Адамом Мицкевичем, человеком также чрезвычайно набожным. Овладеть душой польского поэта ему помогло обстоятельство совершенно исключительного свойства: жена Мицкевича заболела душевной болезнью и содержалась уже несколько месяцев в больнице для умалишенных. Явившись к Мицкевичу, этот бесноватый объявил ему тоном пророка, что, в силу божественного откровения, он пришел возвестить ему полное исцеление его жены и что Мицкевичу остается только отправиться за ней в больницу. И действительно, по удивительнейшей игре случая оказалось, что душевное заболевание г-жи Мицкевич прошло, так что, приехав в больницу, муж застал ее совершенно поправившейся. Этой случайности, истолкованной как чудо, было достаточно, чтобы и так уже экзальтированное состояние Мицкевича превратилось в подлинный фанатизм. Теперь он всецело находится под влиянием иллюминатских идей Товянского, и ряды секты ежедневно пополняются новообращенными...

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. D, лл. 60—61].

В донесении своем от 16 марта 1844 г. Яков Толстой уже начинает сигнализировать приближающуюся революционную бурю и недовольство части буржуазии недостаточно решительной и твердой внешней политикой Луи-Филиппа, особенно по отношению к Англии в вопросе о борьбе за тихоокеанские владения, ненадежность мелкобуржуазных слоев и тесно



Monsieur Armand Bertin,
Hommage de l'auteur
A. de Custine.

LA RUSSIE
EN 1839

LA RUSSIE
EN 1839

PAR

LE MARQUIS DE CUSTINE

« Tel qu'est le juge du peuple, tels sont ses ministres; et tel qu'est le prince de la ville, tels sont aussi les habitants. »
(*Ecclésiastique*, chap. X, v. 2.)

Troisième édition, revue, corrigée et augmentée

—

TOME DEUXIÈME

PARIS
LIBRAIRIE D'AMYOT, ÉDITEUR
6, RUE DE LA PAIX
1846

ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ КЮСТИНА О РОССИИ С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА РЕДАКТОРУ „JOURNAL DES DÉBATS" АРМАНУ БЕРТЕНУ

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

с ними связанной гражданской милиции, то-есть Национальной гвардии, растущее раздражение против царствующей Орлеанской династии и недовольство в армии и во флоте. Толстому нельзя отказать в известной политической проницательности. Для 1844 г. его пессимистические суждения являются вовсе не шаблонными.

№ 58

Париж, 4/16 марта 1844 г.

... Когда вглядываешься в общее положение современной Франции, неизбежно приходишь к выводу, что недовольство королем и даже ненависть к нему неимоверно быстро растут. В Париже количество приверженцев правящей ныне династии заметно убывает,—в этом не остается никаких сомнений, когда видишь, как быстро нарастает охлаждение к ней во всех слоях населения. Никогда не встречал я раньше такого множества недовольных, и притом во всех кругах общества. В провинции ропот и жалобы носят, пожалуй, еще более обостренный и угрожающий характер, как это утверждают заслуживающие полного доверия лица, которым привелось за последнее время совершать поездки внутрь страны. И там так же, как и здесь, в Париже, все убеждены, что после смерти Луи-Филиппа возникнут серьезные волнения, которые приведут к изменению политического строя. Эта мысль овладела всеми умами, и такие рассуждения у всех на устах.

По всей справедливости, надо, однако, признать, что тревоги и недовольство вызываются не одной только деятельностью нынешнего кабинета. Причина коренится в самой государственной системе, так как, будь это иначе, не трудно было бы найти средство для устранения болезни. На самом деле, болезнь только усугубилась бы от смены кабинета: заменить г. Гизо г. Тьером (а пригодным сейчас для управления страной признается он один)—значило бы попасть из Сциллы в Харибду. Упреки по адресу правительства, выдвигаемые как столичной, так и провинциальной прессой, касаются всех без исключения сторон административной и политической его деятельности. Правительству ставят в вину, что оно опирается лишь на незначительное большинство в выборной палате народных представителей и может совершенно неожиданно лишиться этого большинства при переходе нескольких голосов на другую сторону. Указывают на резкое расхождение правительства с избирателями, воочию доказанное вторичным избранием пяти депутатов, подвергшихся исключению[82]; далее на конфликты в муниципальных советах, особенно в анжерском, где мэр ведет открытую борьбу с членами совета, а те не дают ассигновок и голосуют против всех предложений своего главы. Затем выставляют на вид разногласия между духовенством и правительством; недоверие к Национальной гвардии, которую теперь не решаются привлекать на большие парады и расформированных отрядов которой не восстанавливают; недовольство во флоте, вызванное умалением достоинства его морского флага; недовольство в армии, вызванное недоверием и слежкой за ней, в частности, тем, что, в видах предосторожности, отдельные подразделения отправляют на гарнизонную службу в отдаленные укрепленные пункты. Причиной недовольства является также борьба с прессой, которая раздражена суровыми сентябрьскими законами[83], длительностью тюремного заключения за преступления печати и чрезмерными штрафами; с другой стороны—игнорирование интересов торговли, промышленности

и земледелия, совершенно не пользующихся поощрением со стороны правительства; пренебрежение к общественному мнению в деле сооружения укреплений, в мероприятиях фиска, в повышении налогов; подкупность администрации и, наконец, унизительная для Франции политика по отношению к Англии. Таков длинный ряд неизменно формулируемых печатью обвинений. И все это повсюду проникло в умы, все это повсеместно можно услышать.

Славную книгу мог бы сейчас написать о Франции кто-нибудь из русских, в отместку за книгу о России маркиза де Кюстина: стоило бы только перечислить все обвинения, которыми осыпают друг друга различные партии; стоило бы только воспроизвести все то, что высказывается в печати о непорядках, безнравственности, корыстолюбии, недобросовестности и даже

ЛУИ-ФИЛИПП
Миниатюра Максима Давида, 1840-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

бесчеловечности французов! И действительно, никогда, быть может, не совершалось столько преступлений, сколько их совершается с некоторых пор в городе, именуемом ими столицей культурного мира, да и вообще по всей Франции, впавшей в ту глубочайшую развращенность, которая ежедневно сказывается в ужасающих, приводящих в содрогание преступлениях...

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. Е, лл. 132 об.—135].

Появившаяся в 1843 г. в Париже четырехтомная книга маркиза Кюстина о его путешествии по России, совершенном в 1839 г., произвела в Петербурге и Москве впечатление разорвавшейся бомбы. Аристократ, консерватор, легитимист, маркиз поехал, по собственным словам, искать в России аргументов против конституционных порядков, а вернулся решительным врагом абсолютизма. Книга Кюстина, которого Николай

в свое время пытался очаровать любезнейшим приемом при дворе, читалась с жадностью во всей Европе, газеты не переставали писать о ней, делать выдержки, ученые ссылались на нее. Безобразия николаевского режима не были в этой книге обнажены сколько-нибудь полно и решительно. Но и того, что сказал Кюстин, было более чем достаточно. Колоссальный успех обличительной книги Кюстина «La Russie en 1839» вызвал, с грустью отмечает Яков Толстой, нескольких продолжателей.

Не ускользнуло от внимания Якова Толстого и такое значительное явление в истории европейской политической мысли, как знаменитый журнал «Deutsch-Französische Jahrbücher», начавший выходить в Париже под редакцией молодого Маркса и Арнольда Руге. Толстой (называющий Карла Маркса «профессором») находит этот журнал настолько любопытным, что даже посылает книжку Бенкендорфу. Яков Толстой утверждает, что по жалобе графа Арнима, прусского посланника, Гизо призвал к себе (чего в действительности не было) Карла Маркса и Руге и угрожал не только выслать их из Франции, но и выдать Пруссии.

*Продолжение донесения № 58 от 4/16 марта 1844 г.:*

... Успех книги Кюстина, 30 000 экземпляров которой разошлись в одной Бельгии, пробудил пыл и корысть у некоторых других памфлетистов. Некий Витте чуть ли не ежедневно угрожает нам в газетах тем, что в близком будущем появится направленное против России сочинение под заглавием: «Пять лет пребывания в России, с 1838 по 1843 годы».

Об этом произведении печатались несколько раз сообщения в «Journal des Débats» в сопровождении таких пояснений: «Разоблачение вопиющих несправедливостей, незаконных и произвольных арестов. Предостережение для всех, кто вознамерился бы направиться в Россию с промышленной целью или чтобы предложить плоды своей научной работы».

Автор этого памфлета, надо полагать, не более, как потерпевший неудачу авантюрист, и в таком случае и книжонку его постигнет участь всех подобного рода произведений, которые сами себя убивают своими преувеличениями.

Только что появилась еще книга, о которой оповещали с не меньшим шумом. Заглавие ее: «Россия, Германия и Франция. Разоблачение русской политики», соч. Марка Фурнье. Несколько отрывков из этого произведения уже было напечатано в мелких театральных газетах; неправильные положения изложены в ней с таким явным недоброжелательством и так глупо, что, надо думать, большого успеха и эта брошюра иметь не будет. Как меня уверяли, автором этого памфлета является в действительности поляк, граф Яблоновский, Фурнье же—только подставное лицо. Верить этому побуждают многие места в книге, в которых речь заходит о Польше: по ним легко заподозрить в авторе именно поляка. Так, упоминая о князе Льве Радзивилле, он отмечает, что тот из Клецкого ордината*, определение которого ни одному французу даже не понять; орфография имен собственных—польская: он пишет Galiczin вместо Galitzin. Все убеждены, что книжка исходит из кухни Чарторыйского, без которого, очевидно, дело тут не обошлось [84].

Имею честь препроводить при сем эту книгу вашему сиятельству.

---

* Польский термин ordynat означает майоратные владения.—*Ред.*

Несколько немецких писателей, высланных за революционные убеждения из Германии и нашедших себе убежище в Париже, основали здесь журнал: «Deutsch-Französische Jahrbücher» под редакцией профессоров Руге и Маркса. Предприняли они это издание для того, чтобы, пользуясь существующей во Франции свободой печати, распространять в Германии свои разрушительные теории, а также, чтобы, наводняя Германию издаваемым ими журналом, выместить свою личную злобу на нее. Два недавно вышедших номера заполнены гнусными подстрекательствами и опорочением всего, что достойно самого высокого уважения: ничему нет пощады, нет для этих людей ничего святого! Возмутительные по своему содержанию статьи направлены против королей Пруссии и Баварии. Прусский посланник, граф фон Арним, вполне основательно возмущенный появлением такого журнала, обратился к французскому правительству с просьбой принять меры воздействия против авторов этих гнусных разглагольствований. По его настоянию, г. Гизо, вызвав к себе обоих редакторов журнала, пригрозил, что прикажет препроводить их по этапу на границу Пруссии, а там передать их в распоряжение прусских жандармов,—закон предоставляет правительству право принимать подобные меры по отношению к эмигрантам. Примененное г. Гизо средство вполне достигло цели—издание прекратилось, но первые два номера в тот же день были увезены из типографии, их продавали затем по очень высокой цене, и значительная часть экземпляров проникла в Германию. Мне удалось достать один экземпляр, и ввиду того, что в нем много любопытного, я позволю себе препроводить его вашему сиятельству...[85].

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. Е, лл. 136—138].

В 1844 г. Бенкендорф умер, и шефом жандармов, а потому и начальством Якова Толстого стал граф А. Ф. Орлов.

В первом же донесении Орлову (от 19 ноября 1844 г.) Яков Толстой дает общую характеристику французской прессы и останавливается особенно на нескольких более влиятельных органах. В этом своем отчете Яков Толстой констатирует, между прочим, некоторое охлаждение в сношениях с подкупаемыми им редакторами. Причин он усматривает две: 1) католики не могут простить преследований их религии в Польше; 2) и католики и левые недовольны тем, что слишком мало получают от царского правительства, а, между тем, по судебным приговорам им приходится платить большие штрафы, и вообще они поиздержались. Это был, конечно, деликатный намек Якова Толстого новому начальнику, чтобы он был пощедрее Бенкендорфа.

№ 1 Париж, 7/19 ноября 1844 г.

... «Le Journal des Débats» попрежнему остается газетой, которая даже в новых условиях пользуется наибольшим влиянием и стоит во главе газетного легиона: ей отдают предпочтение перед другими газетами, и, хотя цифра ее подписчиков ниже «Siècle»[86] и «La Presse», во всех читальнях ее читают охотнее, по сравнению с двумя предыдущими газетами. Более низкое сравнительно число подписчиков объясняется разницей в цене: «Le Journal des Débats» стоит 80 франков в год, а те обе газеты по 48 франков, поэтому подписчиков последних насчитывается (в особенности у «Siècle») свыше 25 000, тогда как у «Journal des Débats» их только 10 000. Убеждения этой последней не пользуются особой популярностью, но зато

газета представляет для читателей массу преимуществ, из-за которых ее и предпочитают другим. Во-первых, всем хочется знать точку зрения правительства по тем или другим вопросам. Затем обеспеченное финансовое положение газеты дает ей возможность иметь на всех пунктах земного шара деятельных и толковых корреспондентов и сообщать из первых рук и скорее других всякие заграничные новости. Оказываемая ей правительством поддержка дает ей также преимущество, по сравнению с другими газетами, при опубликовании важных известий, передаваемых по телеграфу. Благосостояние этой газеты объясняется не только высокой подписной платой и крупным числом подписчиков—оно проистекает также от того почти непрерывного успеха, который позволил газете с самого ее начала укрепиться на прочном основании; к этому надо добавить еще и правительственную субсидию в размере 12 000 франков в месяц. Прекрасное редактирование и внешний вид—формат и печать—все это, повторяю, заставляет отдавать ей предпочтение перед другими ее собратьями.

«Le Siècle», насчитывающий наибольшее количество подписчиков, редактируется довольно посредственно. Скромная подписная плата, доставляющая газете многочисленных читателей, но в то же время заставляющая соответственно увеличивать тираж, не дает достаточно денежных средств.

«La Presse» находится в таком же положении, но имеет то преимущество перед «Le Siècle», что редактируется много лучше. Люди большого таланта, ума и большого умения удерживают для нее первое место[87]. Кроме того, она субсидируется графом Моле. Главный ее редактор, Эмиль де Жирарден, все время проповедует союз с Россией и постоянно нападает на Англию.

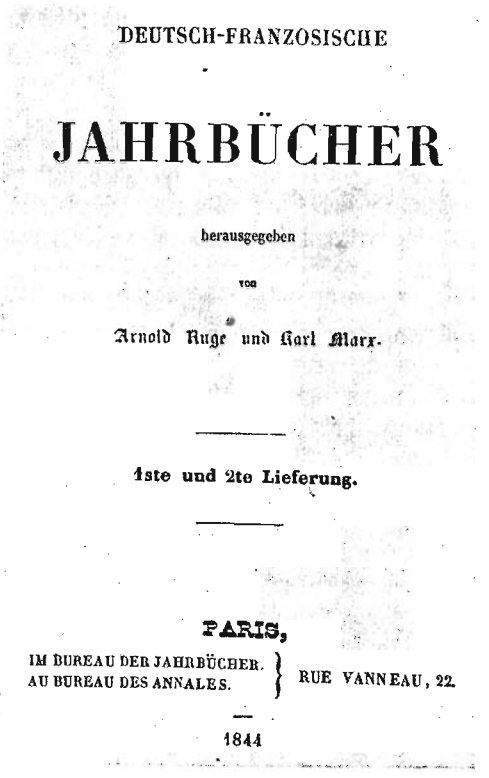
Что же касается легитимистских газет, то они перебиваются со дня на день, их поддерживает, хотя и слабо, большинство высшего общества, и они едва двигаются по узкой стезе журналистики. Если бы они не опирались время от времени на республиканскую партию, которая, разделяя с ними ненависть к существующей власти, не пренебрегает выступать против нее в союзе с публицистами старого режима, эти газеты неминуемо погибли бы. Сверх того их настойчивость начинает ослабевать от усталости все время сражаться по пустому. С некоторого времени мои сношения с этими листками менее деятельны, чем раньше. Объясняется это разными причинами, из которых главная—в их уверенности, что русское правительство угнетает католическую церковь. Фанатически относящиеся к своей вере и слепо преданные папе, они приносят все в жертву этому чувству. Вторая причина состоит в том, что они, как неоднократно высказывалось ими при сношениях со мной, желали бы получать субсидии. Наложение на них постоянных штрафов и охлаждение некоторых богатых сторонников старой династии привели их денежные средства к оскудению, и они неоднократно обращались ко мне с просьбами о деньгах, которые я не мог удовлетворить. К счастью, за последнее время нападки дурной прессы на Россию несколько ослабели, что избавляет меня от необходимости прибегать к опровержениям...

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. F, лл. 4—6 об.].

Это донесение Якова Толстого было представлено графом Орловым царю, и вот как реагировал Николай I. Мы узнаем об этом из сделанной рукою Дубельта приписки на полях донесения: «Этот рапорт граф Орлов представлял государю императору при своей собственноручной выписке, на которой его величество изволили написать: „За ними присматривать,

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ „НЕМЕЦКО-ФРАНЦУЗСКОГО ЕЖЕГОДНИКА", ВЫПУЩЕННОГО К. МАРКСОМ И А. РУГЕ В ПАРИЖЕ, 1844 г.

Книга была прислана Я. Н. Толстым в III отделение при донесении от 4/16 марта 1844 г.



DEUTSCH-FRANZOSISCHE

JAHRBÜCHER

herausgegeben

von

Arnold Ruge und Karl Marx.

1ste und 2te Lieferung.

PARIS,

IM BUREAU DER JAHRBÜCHER.
AU BUREAU DES ANNALES.
RUE VANNEAU, 22.

1844

но не давать им важности в собственных глазах". 24 ноября 1844 г.». Другими словами, Николай не счел нужным проявлять особую щедрость.

№ 6

Париж, $\frac{17 \text{ февраля}}{1 \text{ марта}}$ 1846 г.

... Рассказ о приключениях Макрены Мечиславской, называющей себя аббатиссой базилианского монастыря в Минске, произвел здесь неблагоприятное впечатление.

Большинство газет воспроизвело на своих страницах жалобы этой авантюристки с добавлением ругательств и оскорблений по поводу русского тиранства, не замечая, что этот раздутый и нелепый рассказ весь проникнут таким глупым преувеличением и носит на себе отпечаток такого тупого фанатизма, что, при наличии малейшего здравого смысла, легко было убедиться, что он не что иное, как апокриф, и должен рассматриваться не иначе, как гнусная интрига, задуманная партией непримиримых врагов России. Все это было собрано в брошюре, изданной тремя польскими священниками[88], на первом месте среди которых стоит аббат Рылло, человек с опороченной репутацией, известный своими авантюрами. Об этом говорилось в проповедях, произнесенных во всех церквах Франции, служились искупительные мессы, и в конце концов люди были до такой степени возбуждены, что со всех сторон только и слышались проклятия русским и России. Ни одна газета не пожелала на своих страницах поместить самое маленькое опровержение этого вероломного и лживого рассказа. К несчастию, редакторы газет, с которыми я связан, имеют тот недостаток, что отличаются крайним фанатизмом, и, руководствуясь им в своих поступках, они отклоняли все мои возражения. Г-н Лоранти, глав-

ный редактор газеты «La Quotidienne», лично относящийся ко мне с большим расположением и в то же время искренне преданный России, оказался в данном случае возбужденным и раздраженным, как и все другие. Несмотря на это, я вручил ему заметку, в которой поместил опровержение гнусных фактов, содержащихся в рассказе польской авантюристки. В то же время г. Гоголь, русский писатель, в письме, присланном из Рима, сообщил нам, что Макрена Мечиславская, допрошенная в комиссии прелатом, отказалась там от своих прежних чудовищных показаний[89]. В заметке, переданной мной г. Лоранти, я упоминал об этом письме, но редакция «Quotidienne» в целом не согласилась напечатать ее, и все, чего г. Лоранти смог добиться, это помещения лишь нескольких строк, которые я при сем прилагаю. Эта заметка, в которой только отрицается факт, произвела, однако, превосходное впечатление, но дала повод к резко враждебному выступлению газеты «L'Univers»[90]; вырезку из последней я также позволяю себе представить вашему сиятельству.

«La France», газета, на преданность которой я неоднократно указывал, в. с. воздерживалась, из уважения к России, от опубликования памфлета Макрены Мечиславской, и, несмотря на свои ультракатолические взгляды и на нападки, которые за это молчание ей пришлось претерпеть от «L'Univers» и других газет, она так-таки ничего не опубликовала по этому делу. «La Presse», по тем же мотивам, проявила сдержанность и не напечатала ни слова об этом происшествии. Мне очень хотелось дать более широкую гласность моей заметке, и в этих целях я обратился к графу Сиркуру[91], женатому на русской и совсем недавно бывшему в России. Этот писатель, проявляющий большую преданность России, сотрудничает в газете «Le Semeur»[92], основанной протестантами в целях борьбы с религиозной нетерпимостью. Моя заметка, несколько измененная по существу и весьма сильно переделанная по форме, послужила, тем не менее, основанием для аргументации статьи, появившейся в «Le Semeur». В своей статье эта газета, осуждая—чему мне не удалось помешать—нетерпимость русского правительства, самым решительным образом отвергает гнусные клеветы, собранные в показании Макрены Мечиславской. К настоящему донесению я прилагаю, равным образом, и номер газеты «Le Semeur». Эта статья появилась в выпуске от 4 февраля и, так как я знал, что на следующий день, 5 февраля, г. Лэрбет[93], депутат-радикал, должен был выступить в палате по внесенной поправке, касавшейся польской национальности, с резкой речью о преследованиях, которым, будто бы, подвергались базилианские монахини, я поспешил доставить ему со всевозможной осторожностью, чтобы не возбудить ни малейшего подозрения по поводу источника статьи, номер «Le Semeur», вместе с анонимной заметкой, дополняющей и подкрепляющей аргументы газеты. Этот шаг привел к желаемым результатам. Присутствуя на заседании палаты депутатов, я сам слышал, как г. Лэрбет заявил, что, несмотря на всю ненависть, питаемую им к угнетателям Польши, и на любовь свою к этой последней, он не может, однако, дать веры тем ужасам, которые описаны в памфлете о. Рылло...

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. G, лл. 2—5].

Якова Толстого во Франции принимали за атташе русского посольства (чем он стал лишь после 1848 г.), и в качестве такого он был удостоен в 1846 г. беседы с Тьером, который, приближаясь в своей «Истории консульства и империи» к изложению событий 1812 г., намерен был съез-

дить в Россию и лично осмотреть поля сражений Наполеона в России. Попутно Тьер делает комплименты Николаю I, прочитавшему его работу, и жалуется, что Луи-Филипп не удосужился даже взглянуть на нее.

*Продолжение донесения № 6 от 17 февраля (1 марта) 1846 г.:*

... Считаю долгом своим дать в. с. отчет о разговоре, который вел при мне г. Тьер. Я встретился с ним с неделю назад на одном вечере. Он начал с того, что отозвался с похвалой о его величестве государе императоре—«этом необыкновенном человеке», как он сказал. «России нужен государь такой именно складки». Затем он добавил: «Я узнал от одного из своих друзей, что император соблаговолил прочесть мою «Историю консульства и империи», что он прочел ее со вниманием и судил о ней, как человек, разбирающийся в исторических трудах. Между тем, мой король не удостоил меня даже чести бросить взгляд на мою книгу. Для продолжения своей «Истории» я намечаю съездить в Россию с целью посетить все поля сражений 1812 г.,—это предположение я думаю осуществить летом будущего года».

Потом, заметив меня, он обратился ко мне со следующими словами: «Вы, как дипломат (они здесь все считают меня за атташе посольства), скажите мне откровенно, примут ли меня хорошо на вашей родине?» Я ответил ему, что Россия—страна гостеприимная, что там хорошо принимают всех и даже людей, которые этого не заслуживают, а что столь заслуженный человек, как он, может быть уверен в превосходном приеме. После этого он продолжал: «Я буду справедлив по отношению к России: при чтении реляций кампании 1807 г. нельзя не удивляться героизму русских войск, в особенности хороша русская пехота, занимающая первое место в Европе,—она проявила чудеса храбрости в этой кампании, в частности, в битве при Эйлау».

Теперь я позволю себе просить в. с. не отказать осведомить меня, будет ли, если г. Тьер предпримет эту поездку, ему оказан хороший прием, для того, чтобы я мог, устранив всякую официальность, сообщить ему окольным путем, что ему делать: воздержаться ли от поездки или же осуществить свое предположение?..[94].

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. G, лл. 14 об.—16].

Следует заметить, что, очевидно, применяясь к вкусам и наклонностям своего нового начальства Яков Толстой пишет графу Орлову несколько в ином стиле, чем писал Бенкендорфу: много шуточек, прибауточек, светских сплетен, просто сплетен. Пишет об эмигранте Головине, о полуэмигранте Стремоухове (в 1846 г.), но все это тоже сбивается на совсем не интересные пустячки. Пишет помногу о заседаниях палаты, пишет не только о французских, но и об английских и испанских делах, но все это берет преимущественно из газет, и ничего нового и интересного в этой части его донесений найти нельзя.

В марте 1847 г. он принимается даже за составление «Парижской хроники», адресуя ее Сагтынскому, от которого она попадала к шефу жандармов и далее к царю. В веселом, гривуазном стиле Толстой болтает о легитимистах, о стишках против Луи-Филиппа в салонах Сен-Жерменского предместья и т. п. пустяках, непосредственно слышанных и виденных и которых, по его словам, не сыщешь ни в одной газете. Орлову нравились эти писания. Направляя одну из «хроник» царю, он написал: «Есть много любопытного», но царь приписал: «Еще больше чепухи». На этом, если не самое существование, то присылка «Парижской хроники» в III отделение прекратилась.

Любопытно, что пишет Толстой в этой «Парижской хронике» о нашумевшем процессе Александра Дюма (отца) с газетами «Presse» и «Constitutionnel», вскрывшем, как фабриковались Дюма его романы.

Париж, 6/18 марта 1847 г.

... Процесс г. Александра Дюма, сына негра, именующего себя маркизом де ла Пайлетри, или, как его называют мелкие газеты, маркиза де ла Пайяссри *, вскрывает печальные подробности того, как в наши дни делается литература — это просто-напросто торговля[95]. Стихи, строфы, полустишья продают, как пирожки. Издатели газет заказывали ему столько-то томов, столько-то страниц, столько-то строк из расчета за строчку. «Я поставил,—сказал он,—175 000 строк и условился поставить еще 125 000». Этот маркиз Паяц в защитительной речи, с которой он сам выступил, выказал себя смешным, дерзким, грубым и похожим на шута. Он оскорбил депутатов, Академию, бросил тень на министров и на герцога Монпансье, и все это безнаказанно, так как здесь берегут плодовитых писателей, пользующихся известностью и отличающихся смелостью — таких, которых Бальзак называл маршалами литературы. Правда, несколько депутатов протестовали, но это скорее против данного ему поручения и против того, что правительство предоставило в его распоряжение судно. На другой день после заседания палаты, на котором шли разговоры по этому делу, г. А. Дюма послал вызов на дуэль г. де Мальвилю, депутату, выступавшему против него. Вот своеобразный обмен писем, произошедший по этому поводу,—заимствую это из английской газеты, так как французские воздержались от публикации.

Письмо г. Ал. Дюма к г. де Мальвилю:

«Милостивый государь! Вы оскорбили меня на-днях в палате депутатов. Свободный теперь от каких-либо служебных обязательств, направляю вам своего друга Вьенне, пэра Франции, президента Общества писателей, чтобы сговориться с вами о дне, часе и месте, которые покажутся вам наиболее удобными для того, чтобы мы встретились, дабы перерезать друг другу горло».

Подписано: «Александр Дюма, маркиз де ла Пайлетри».

На это странное послание г. де Мальвиль ответил следующей шуткою:

«Милостивый государь, благодарю вас за доставленное мне удовольствие повидать очаровательного и милейшего г. Вьенне. Что же касается вашего любезного предложения перерезать мне горло, то я, к моему большому прискорбию, вынужден от него отказаться, так как не имею чести быть дворянином».

Подписано: «Маркиз де Мальвиль».

Этот блестящий писатель сделался известным, благодаря изумительному количеству опубликованных им томов, а также оригинальности своего поведения. Между тем, вникая в его сущность, изучая его поступки и разбираясь в его творениях, убеждаешься, что он поднялся на такую высоту при помощи ловкости, уменья и краснобайства, а не в силу настоящего дарования и таланта. К тому же всем известно, что он завел фабрику романов и драм: двенадцать молодых людей работают днем и ночью в его

* От слова paillasse—паяц.—*Ред.*

№ 1. Paris, le 7/19 Novembre, 1844. 2. 1

Этотъ рапортъ графъ Орловъ представлялъ Государю Императору при своей собственноручной записке, на которой Его Величество изволилъ написать:

„За ними присматривать, но не давать „имъ важности въ собственныхъ ихъ глазахъ.“
24 ноября 1844.

Monsieur le Comte,

Г. М. Дубельтъ

La maladie, le départ et le décès de M. le Comte de Benkendorff, ayant virtuellement suspendu la correspondance politique que j'entretenais avec l'illustre défunt, je profite de la permission que Votre Excellence a daigné m'accorder pour la reprendre et Vous soumettre, Monsieur le Comte, les observations que je serais à même de faire sur le mouvement de la presse, l'influence qu'elle exerce sur l'esprit public et les resultats que cette influence fait naître dans les divers partis qui divisent la France. J'aurai également l'honneur de Vous exposer tout ce qui me semblera digne de l'atten-

Son Excellence, Monsieur le Comte Orloff, ...

ДОНЕСЕНИЕ Я. Н. ТОЛСТОГО ОТ 7/19 НОЯБРЯ 1844 г.

Первая страница

Сверху, записанная Дубельтом, резолюция Николая I, касающаяся французской печати

Архив революции, Москва

писательской мастерской, а г. Дюма, выправив стиль и внеся несколько изменений в эти коллективные измышления, печатает это, как плод своего творчества, как произведение своего обширного ума. Он только что выстроил театр, который обошелся, вероятно, чрезвычайно дорого и строился по совершенно особому плану. По этому плану его театр должен быть обширнее и удобнее, чем все театры прежние, настоящие и будущие,— одним словом, чем-то сказочным. Сперва его предполагали назвать Театром Монпансье, так как он строился под покровительством герцога Монпансье[96]. Но король не позволил этого, узнав, что дела Ал. Дюма находятся в печальном состоянии, и считая, что Дюма при таких условиях не преминет обратиться к кассе герцога, как покровителя этого учреждения, что совсем не по вкусу Луи-Филиппу. Тогда решили назвать его Историческим театром, что достаточно нелепо, так как никто так не уродует, не искажает и не насилует исторической правды, как Александр Дюма, пьесы которого должны монопольно ставиться в этом театре; в пьесах же этих исторического только одно название. К тому же, он сам высказал в своем предисловии к «Catherine Howard», что «пользуется историей, как гвоздем, на который вешает свою картину»...

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, лит. Н, лл. 100—102].

Грянула гроза 1848 г. Нам не приходится касаться донесений Якова Толстого за бурный революционный год, потому что они уже напечатаны в вышеназванном издании Центрархива. Остановимся лишь на двух документах, не попавших в это издание: одном — от 12/24 марта 1848 г., адресованном Дубельту, и другом—от 23 марта (4 апреля) 1848 г., адресованном Сагтынскому.

Якову Толстому представляется, что произошло светопредставление. Префект полиции Коссидьер похож больше на разбойника, чем на сановника, «чернь» владычествует и пр. А тут еще известия о революциях в Вене, Берлине, о трехстах поляках, едущих мутить Польшу, и др.

[Париж], 12/24 марта 1848 г.

...Мы здесь попрежнему находимся под тяжелым впечатлением политического катаклизма, который поглотил правительство и династию. Мы живем под властью террора, которым теперь исключительно определяется бытие Парижа—огромного города, не имеющего уже месяц ни правительства, ни полиции. Безопасность граждан зависит всецело от усмотрения черни, которую каждая искра может снова воспламенить. Наше положение можно сравнить с положением укротителей диких зверей, которые на представлении в зверинце вкладывают голову в пасть льва или тигра. Дикий по природе, но до известной степени прирученный зверь не трогает головы укротителя, но, если бы ему пришла подобная фантазия, он легко мог бы искрошить ее своими страшными зубами,—кто мог бы этому помешать? Правительство, само себя поставившее, не пользуется никаким уважением и не имеет, в действительности, никакой власти, так как никто не обязан ему повиноваться, а если это делают, то только по своей доброй воле. К тому же, они все в раздорах между собой. Префект полиции, г р а ж д а н и н Коссидьер[97], бывший предводитель лионского восстания, пользуется самой отвратительной репутацией. Своею внешностью и по своим чувствам он напоминает более предводителя разбойничьей шайки, чем должностное лицо. Он не подчиняется никому, обращается с министром

внутренних дел и всеми членами правительства, как с равными себе, и окружил себя толпой разбойников, которые служат ему преторианскою гвардией и набраны из самых гнусных подонков черни, «la goîpe», как называют их мальчишки.

А пока что казна пуста, лавки, магазины и другие учреждения закрываются и исчезают. Все иностранцы и люди состоятельные бегут, и Парижу неминуемо угрожает полное разорение. Человек, побывавший здесь в начале февраля и приехавший теперь снова, совсем не узнал бы несчастной столицы—она обезображена, опустошена, опозорена, и ее вид внушает жалость. У всех состоятельных людей и буржуа, встречающихся на улицах,—мрачные лица, недоверчивый взгляд, в котором отражаются беспокойство и страх. Только подонки народа предаются радости, на улицах постоянно видны многочисленные толпы, и ночью они разгуливают при свете факелов, кричат, воют, поют, предаются адским танцам или пляске смерти. Такие ночные прогулки производят тягостное впечатление, а в Сен-Жерменском предместье, где живет прежняя знать, они вселяют ужас. Прошлою ночью толпа угрожала поджечь особняки богатых аристократов, вынувших, как она утверждала, все свои деньги из банков и спрятавших их в своих подвалах. К счастию, подоспел сильный патруль Национальной гвардии; офицер, им командовавший, обратился сперва с убеждениями к толпе, а потом разогнал этих неистовых людей. Теперь полночь, и я слышу, как по моей улице[98] проходит шумная толпа с факелами в руках и с пением «Марсельезы».

Итак, мы живем на краю пропасти. Известия из Берлина и из Вены произвели зловещее впечатление,—мудрые и честные люди потеряли надежду на возможность быстрой реакции. Примите уверения и т. д.

Я. Толстой

P. S. В последнюю минуту я узнал, что 300 человек из числа самых решительных польских легионеров отправляются сегодня на границу Польши, чтобы вызвать там смуту.

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, ч. 4, лл. 166—168].

Письмо к Сагтынскому от 23 марта (4 апреля) не менее мрачно, чем донесение Дубельту.

Париж, $\frac{23 \text{ марта}}{4 \text{ апреля}}$ 1848 г.

Дорогой и бесценный друг,

Очень благодарен вам, что вы не забыли меня среди ужасной бури, потрясающей мир. Ваше сердечное письмо от 4/16 марта[99] поддержало мою бодрость в тяжелых обстоятельствах, в которых я нахожусь. Положение мое становилось невыносимым. Теперь, когда оно урегулировано, мои опасения улеглись. Г-н Киселев поставил меня в известность о принятом по поводу меня решении, и, хотя он не считает его еще окончательным, так как оно было сообщено ему раньше событий в Пруссии и в Австрии, которые переменили облик Европы, я, тем не менее, могу быть уверенным, что мои труды ценятся и сам я не покинут. Как бы то ни было, я не скрываю от себя трудностей своего положения, которое разделяет со мной несколько русских, задержавшихся в Париже по служебным обязанностям или вследствие каких-либо препятствий, помешавших им

выехать. До сих пор мы претерпевали такие же тревоги, как вообще все иностранцы здесь, но польские события неизбежно сделают теперь наше пребывание в Париже опасным, как никогда. Во всяком случае, наше правительство может положиться на мое знакомство с местными условиями, на мою уже не раз испытанную осмотрительность, на мое усердие и мужество. Положение в Париже далеко не меняется к лучшему, успокоение не наступает, и, повидимому, с каждым днем состояние все более и более ухудшается. Вот уже шесть недель, что мы без правительства, без полиции и отданы всецело во власть подонков народа, которые могут, если им заблагорассудится, безнаказанно нас грабить, громить, поджигать, избивать. Это, наверное, и случится в один прекрасный день,если наступившие бедствия будут и дальше итти тем же губительным путем. Некоторые надеются, что Учредительное собрание вернет Франции ее нормальное состояние, но я не разделяю такого мнения. Прежде всего, собрание, поскольку оно—плод всеобщего голосования, будет, естественно, весьма разнородным и будет состоять из молодых людей неопытных, беспокойных и не имеющих никакого понятия о законодательной работе. Затем, может ли успешно работать собрание, находясь под надзором 100 демократических клубов? Ясно, что эти демагогические притоны будут стеснять его деятельность. История, к тому же, нам свидетельствует, что даже Конвент пал под давлением клубов. Короче говоря, Франция висит над пропастью! Я испытываю большие затруднения при отправке своих донесений; я не смею доверить их почте, и, когда есть что-либо спешное, мне приходится с надежным человеком посылать их в Брюссель. Каждая его поездка обходится мне в 60 франков. Считаете ли вы удобным, чтобы я обратился за разрешением пользоваться этим способом, по крайней мере, раз в неделю, чтобы не было перерыва в моих донесениях как раз в такое время, когда всякая мелочь может иметь значение? На всю жизнь, по гроб ваш самый преданный друг

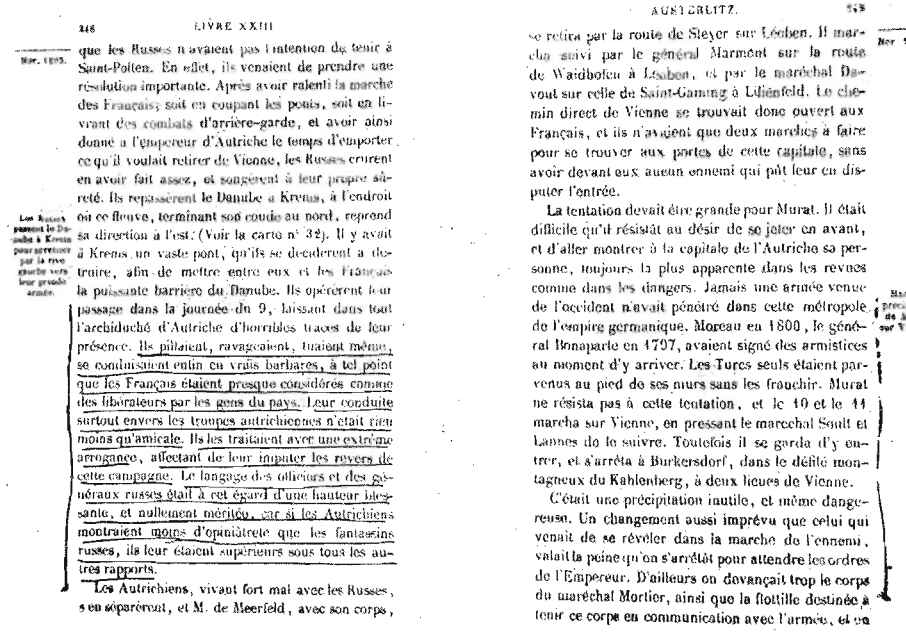
Я. Толстой

[Дело III Отд. 1 эксп., № 191, ч. 4, лл. 155—156 об.].

Яков Толстой пересидел грозу 1848 г. и остался в Париже. В 1849 г. он продолжает писать Орлову, но в этих донесениях нет почти ничего такого, что тот не мог бы вычитать из иностранных газет (об итальянских делах, о внутренней и внешней французской политике, о позиции Англии и т. д., см., например, донесения от 9/21 марта 1849 г. и 6/18 апреля 1849 г.). А если он отклоняется в сторону передачи доверительно полученных сведений, то это, по большей части, ничего не дающие великосветские сплетни о президенте Луи-Наполеоне Бонапарте, о его дамах и романах, о его холодности к своим родственникам, о его, якобы, непрочном положении. Яков Толстой не разгадал будущего императора и тоже содействовал своими донесениями сформированию в уме Николая I совершенно превратного представления о силе и значении Луи-Наполеона. В донесении от 8 ноября 1849 г. Яков Толстой глубокомысленно замечает, что «государственный переворот теперь невозможен вследствие дурного настроения в армии, а тем не менее, это единственный путь спасения». Он пресерьезно на нескольких страницах передает глупейшие слухи о том, что президент республики собирается бежать, тайно уехать в Америку и т. п. Любопытно, что Яков Толстой ничего не говорит о Герцене (по крайней мере, в дошедших до нас донесениях)[100], хотя несколько раз пи-

шет о ничтожном Иване Головине, ни о высылке из Франции Сазонова, ни о закрытии газеты Прудона, которую финансировал и в которой писал Герцен; а о Ксаверии Браницком и его субсидии этой газете Толстой говорит, и о Сазонове, как сотруднике газеты «La Réforme», тоже поминает в донесении от 18 января 1850 г.

Уже с марта 1850 г. в донесениях Якова Толстого проскальзывают строки об усилении руссофобии в Англии, об английских намерениях «уничтожить русский флот и сжечь Севастополь» (донесение от 27 марта 1850 г.). Но эти зловещие предостережения тонут в ненужной трухе сплетен и общеизвестных газетных банальностей о



218 LIVRE XXIII

Mer. 1805.

que les Russes n'avaient pas l'intention de tenir à Saint-Polten. En effet, ils venaient de prendre une résolution importante. Après avoir ralenti la marche des Français, soit en coupant les ponts, soit en livrant des combats d'arrière-garde, et avoir ainsi donné à l'empereur d'Autriche le temps d'emporter ce qu'il voulait retirer de Vienne, les Russes crurent en avoir fait assez, et songèrent à leur propre sûreté. Ils repassèrent le Danube à Krems, à l'endroit où ce fleuve, terminant son coude au nord, reprend sa direction à l'est. (Voir la carte n° 32). Il y avait à Krems un vaste pont, qu'ils se décidèrent à détruire, afin de mettre entre eux et les Français la puissante barrière du Danube. Ils opérèrent leur passage dans la journée du 9, laissant dans tout l'archiduché d'Autriche d'horribles traces de leur présence. Ils pillaient, ravageaient, tuaient même, se conduisant enfin en vrais barbares, à tel point que les Français étaient presque considérés comme des libérateurs par les gens du pays. Leur conduite surtout envers les troupes autrichiennes n'était rien moins qu'amicale. Ils les traitaient avec une extrême arrogance, affectant de leur imputer les revers de cette campagne. Le langage des officiers et des généraux russes était à cet égard d'une hauteur blessante, et nullement méritée, car si les Autrichiens montraient moins d'opiniâtreté que les fantassins russes, ils leur étaient supérieurs sous tous les autres rapports.

Les Russes passent le Danube à Krems pour arrêter par la rive gauche vers leur grande armée.

Les Autrichiens, vivant fort mal avec les Russes, s'en séparèrent, et M. de Meerfeld, avec son corps,

AUSTERLITZ. 219

Mer. 1805.

se retira par la route de Steyer sur Léoben. Il marcha suivi par le général Marmont sur la route de Waidhofen à Léoben, et par le maréchal Davout sur celle de Saint-Gaming à Liliénfeld. Le chemin direct de Vienne se trouvait donc ouvert aux Français, et ils n'avaient que deux marches à faire pour se trouver aux portes de cette capitale, sans avoir devant eux aucun ennemi qui pût leur en disputer l'entrée.

La tentation devait être grande pour Murat. Il était difficile qu'il résistât au désir de se jeter en avant, et d'aller montrer à la capitale de l'Autriche sa personne, toujours la plus apparente dans les revues comme dans les dangers. Jamais une armée venue de l'occident n'avait pénétré dans cette métropole de l'empire germanique. Moreau en 1800, le général Bonaparte en 1797, avaient signé des armistices au moment d'y arriver. Les Turcs seuls étaient parvenus au pied de ses murs sans les franchir. Murat ne résista pas à cette tentation, et le 10 et le 11 marcha sur Vienne, en pressant le maréchal Soult et Lannes de le suivre. Toutefois il se garda d'y entrer, et s'arrêta à Burkersdorf, dans le défilé montagneux du Kahlenberg, à deux lieues de Vienne.

Marche précipitée de Murat sur Vienne.

C'était une précipitation inutile, et même dangereuse. Un changement aussi imprévu que celui qui venait de se révéler dans la marche de l'ennemi, valait la peine qu'on s'arrêtât pour attendre les ordres de l'Empereur. D'ailleurs on devançait trop le corps du maréchal Mortier, ainsi que la flottille destinée à tenir ce corps en communication avec l'armée, et en

ЛИСТЫ ВЕРСТКИ КНИГИ ТЬЕРА „LE CONSULAT ET L'EMPIRE", ПРИСЛАННЫЕ Я. Н. ТОЛСТЫМ 1/13 ДЕКАБРЯ 1846 г. В III ОТДЕЛЕНИЕ

Подчеркнут отзыв Тьера о поведении русской армии в Австрии в 1805 г.

Архив революции, Москва

внутренней политике Франции и об интригах вокруг президента Луи-Наполеона. И попрежнему, даже в октябре 1850 г., власть Луи-Наполеона кажется Якову Толстому «эфемерной» (донесение от 9 октября 1850 г.).

Мудрено ли, что внезапный государственный переворот 2 декабря 1851 г., сделавший Луи-Наполеона самодержцем, явился для русского соглядатая совершеннейшей неожиданностью. До нас дошло его донесение, написанное в самый день 2 декабря и, вероятно, из осторожности посланное на домашний адрес Сагтынского. Он тут повторяет пущенную бонапартистами утку о том, что, будто, генерал Шангарнье собирался арестовать самого президента и что только государственный переворот, учиненный президентом, помешал этому намерению. Показание очевидца в первые же часы после переворота, конечно, имеет особый интерес.

№ 90 Париж, $\frac{20 \text{ ноября}}{2 \text{ декабря}}$ 1851 г.

Как я уже отмечал в своем последнем донесении[101], разыгрывающаяся здесь в течение нескольких месяцев драма приближается к своей развязке. Немыслимо было долее терпеть оппозицию, которую Национальное собрание оказывало Луи-Наполеону. Последним были уже предприняты некоторые подготовительные шаги к государственному перевороту. Однако, потому ли, что не все еще было готово, или из желания внушить своим врагам, что ему нехватает решимости на дело, серьезность которого пугает его самого, и этим путем успокоить умы противников Елисейского дворца,—но Бонапарт уверял всех, что он никогда не выйдет из рамок законности. Несмотря на это, беспокойство было очень велико. Вчера вечером, в понедельник 1 декабря, возвращаясь домой, я проходил мимо Елисейского дворца, где был большой прием. Когда я остановился, чтобы посмотреть на выходивший народ, ко мне подошел ч е л о в е к, постоянно поставляющий мне сведения. Запыхавшийся и сильно взволнованный, он отвел меня в сторону и, как всегда, лаконичный, торопливо шепнул мне на ухо: «Завтра будет жаркий день, Собранию крышка, до свиданья в Тюильри». Я вернулся домой очень взволнованный, а сегодня утром в 8 часов я узнал, что подготовлялся заговор, что генерал Шангарнье должен был арестовать президента и отвезти его в Венсенский замок, но что во-время предупрежденный Луи-Наполеон приказал арестовать генерала, равно как и 15 его сообщников, в числе которых называют генералов Кавеньяка, Ламорисьера, г. Тьера и пр. и пр.[102] Председатель Дюпен[103]— под домашним арестом. Появились два обращения президента: одно к народу, другое к армии. Очень трудно достать экземпляры этих обращений. Париж объявлен на осадном положении. Национальное собрание распущено так же, как и Государственный совет.

Все главнейшие пункты в городе охраняются отрядами войска с заряженными ружьями. Луи-Наполеон разъезжает по городу в сопровождении своего штаба и многочисленного кавалерийского конвоя. Он направился раньше всего к Тюильри, затем к ратуше, а потом посетил и предместья. Он на коне с 8 часов утра. Опасаются, что к вечеру народ начнет собираться, но вряд ли эти сборища могут быть многочисленными и угрожающими, поскольку приняты военные меры и введено осадное положение. Пока в городе все спокойно, народ высказывает безразличие. Мне только что доставили, вместе с последними новостями, выпущенные прокламации, которые при сем прилагаю.

*В начале документа пометы рукой Орлова и Дубельта:*

«Вот письмо, полученное Сагтынским от Толстого; подробности, по всей вероятности, прибудут с курьером». «Его величество изволил читать. Ген.-лейт. Дубельт, 30 ноября 1851 г.»

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 123—125 об.].

Яков Толстой продолжал давать свои реляции день за днем, и все эти донесения от 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 декабря полны самого живого интереса. Это впечатления человека постороннего, но живейшим образом заинтересованного в совершающейся перед его глазами исторической драме. Эти наблюдения в общем не расходятся с теми фактами, которые могут считаться установленными историческим исследованием событий декабрь-

ского переворота, а кое в чем дополняют и ярко освещают эти события такими прямо из жизни выхваченными черточками, которые могли быть подмечены лишь непосредственным наблюдателем. Это—самая исторически ценная часть донесений Толстого.

Полная и непоколебимая решимость войск парижского гарнизона, при помощи которых Луи-Наполеон произвел свой государственный переворот, отмечается прежде всего. Очень точно отмечены пункты, на которых были воздвигнуты баррикады (в рабочих кварталах) и было оказано первое сопротивление перевороту, начиная с 3 декабря. Очень интересно показание о бойне, учиненной войсками 4 декабря на бульварах и особенно при взятии большой баррикады у ворот Сен-Дени; есть, однако, и отдельные неточности (напр., сообщение о гибели на баррикаде депутата Мадье де-Монжо). Интересен текст рукописной листовки, сообщаемый Толстым и свидетельствующий о преданности республике, авангарда парижской демократии. Сочувствуя перевороту, Толстой явно стремится обелить бонапартистскую солдатчину, утверждая, будто «войска начали стрелять лишь после того, как сами подверглись огню восставших», что фактически неверно. Начиная с 6 декабря, Толстой не скрывает своей радости по поводу случившегося. В предшествующих донесениях наблюдалась некоторая растерянность, происходившая от неполной уверенности в победе Луи-Наполеона. Тут, начиная с 6 декабря, чувствуется полное успокоение. Этот тон еще более акцентируется в донесениях 7 и 8 декабря. Наконец, 10 декабря Толстой с торжеством сообщает о полнейшем порядке в Париже.

Даем в хронологическом порядке эти донесения о событиях, возбудивших, как мы знаем, нескрываемое удовольствие при петербургском дворе.

№ 91

Париж, $\frac{21 \text{ ноября}}{3 \text{ декабря}}$ 1851 г.

Вчера еще в городе было спокойно, несмотря на отсутствие войск и полиции, ибо около 9 часов вечера воинские части получили приказ удалиться и все посты были сняты. После этого начались сборища, главным образом, на бульварах от улицы Монмартр до ворот Сен-Мартен. Однако, не произошло ничего особенного, хотя толпа была очень возбуждена, в отдельных группах шли разглагольствования за и против, больше в последнем смысле. К 11 часам эти сборища внезапно разошлись. Но сегодня возбуждение приняло более враждебный характер. Многочисленные и шумные толпы образовались в предместьях Сент-Антуанском и Сен-Марсо. Повсюду пели «Марсельезу», и часто раздавались крики «Долой тирана!». К 2 часам дня начали сооружать баррикады в Сент-Антуанском предместье. В момент, когда я пишу эти строки, полки, стоявшие лагерем на Елисейских полях, получили приказ двинуться быстрым шагом в предместье. Артиллерия последовала за ними. Ходят слухи, что одна из баррикад была взята и что командовавший на ней депутат «Горы» там убит.

Кассационная палата собиралась сегодня с целью отменить постановления президента, низложить его и объявить вне закона, но, ввиду отсутствия генерального прокурора Дюпена, арестованного у себя на квартире, палата ничего не решила. Войска, повидимому, вполне преданы Луи-Наполеону, но народ кажется возбужденным. Повсюду, где проезжает президент, слышатся крики: «Да здравствует Республика!», на что он отвечает таким же возгласом. Но часто крики эти сопровождаются другими: «Долой диктатора!», «Смерть тирану!». Как бы то ни было, он не отступает и говорит: «Я знаю, что я играю крупную игру, но пойду до конца».

Его близкие питают большую надежду на успех его планов, но опасаются пули убийцы.

К вечеру ожидают важных событий, в Париж все время стягиваются войска, готовые, повидимому, действовать решительно.

*В начале документа помета:*

«Государь император изволил читать».

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 126—127 об.].

**№ 92**

Париж, $\frac{22 \text{ ноября}}{4 \text{ декабря}}$ 1851 г.

Вчерашний день и сегодняшнее утро прошли в бóльшем волнении по сравнению с предыдущим днем. В предместьях восстание вспыхнуло в нескольких местах. Два народных представителя из партии «Горы», гг. Боден и Мадье де Монжо, были убиты на баррикадах Сент-Антуанского предместья, третий, г. Шельше, тяжело ранен[104]. Войска начали стрелять лишь после того, как сами подверглись огню восставших и потеряли одного из своих. Восставшие изобрели новый способ сооружать баррикады, а именно: они вырывают ров от одних ворот к другим поперек улицы. Такого рода траншеи, связанные с легким бруствером, хорошо предохраняют от артиллерийского огня и облегчают возможность укрываться в домах. Сегодня настроение народа заметно тревожнее, выкрики из толпы стали более громкими, более частыми и более оскорбительными по отношению к президенту. Одно лицо, из служащих в нашем доме, побывавшее в предместьях, подтвердило мне, что народный гнев, действительно, возрос. Этот человек поднял с мостовой объявление, вывешенное в начале улицы Сен-Дени, написанное крупными буквами красными чернилами, следующего содержания (лишь несколько отдельных букв на нем стерлись):

«Свобода, Равенство, Мщение».

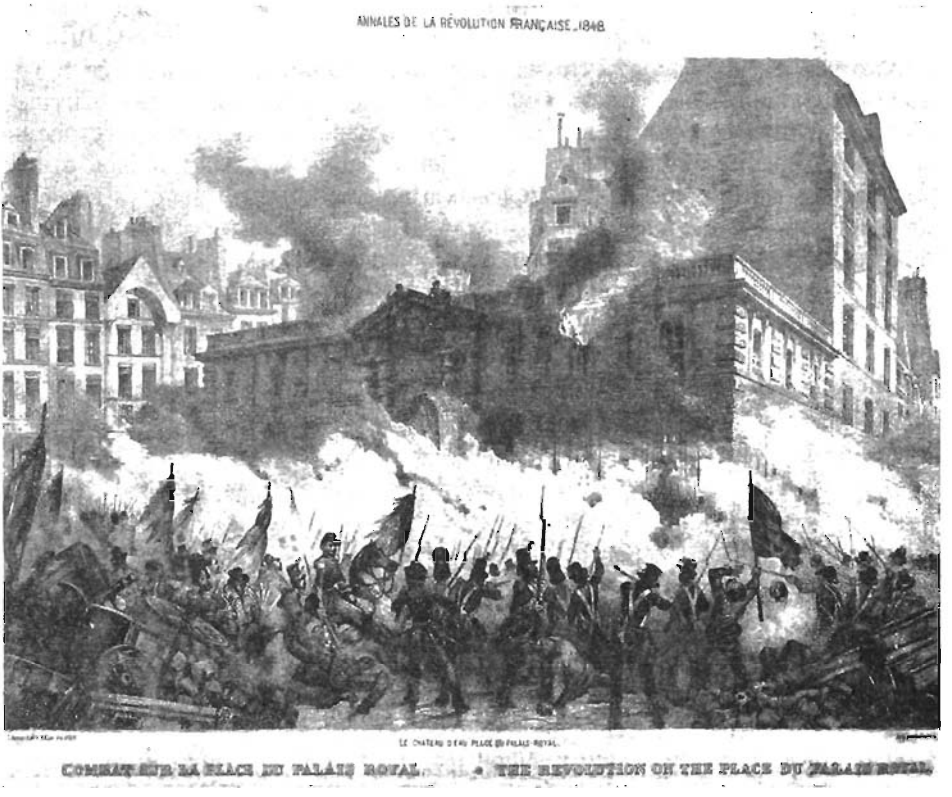
«Гнусное и неслыханное преступление совершено бесчестным Луи Бонапартом. Вся Франция (за исключением нескольких изменников) восстала, чтобы отомстить за это злодеяние... Мщение, братья, те, кто не покинули знамени свободы... Пусть самое жестокое, самое неумолимое наказание поразит в самое сердце презренного человека, осмелившегося не признать волю и бросить вызов гневу 36 миллионов освобожденных людей! Представители народа, оставшиеся верными своим мандатам и не поддавшиеся грубому насилию, собрались в мэрии 10-го округа и постановили объявить изменника и клятвопреступника Бонапарта вне закона. Всем гражданам, преданным свободе родины, надлежит без колебаний и без сострадания покончить с ним».

Этот призыв никем не подписан[105].

Отмечено, что бывший вестфальский король Иероним всюду сопровождает своего племянника в парадном мундире маршала Франции. Уверяют, что уже 25 миллионов были изъяты из казначейства на то, чтобы удовлетворить потребностям настоящего момента.

Некоторые признаки волнений заметны в Орлеане и в Амьене, и для подавления этих волнений несколько полков отправлено на место по железной дороге. Все оружейные магазины были закрыты, и имевшееся в них оружие свезено на хранение в цитадель. Неверно, что зал заседаний Национального собрания разрушен, как сообщалось в газетах.

Только что передают, что сооружение баррикад с большой энергией начато на улице Рамбюто, в кварталах Сен-Дени по направлению к рынку и по всей линии, которая всегда служила ареной революционных выступлений. Народ, повидимому, сильно раздражен, войска не препятствуют сооружению баррикад, и это имеет вид провокации со стороны правительства. Приказ военного министра только что расклеен на стенах Парижа— в нем лишь два пункта. Первый приглашает мирных граждан не участвовать в сборищах и воздерживаться от любопытства и т. д. и т. д. Второй




ФЕВРАЛЬСКИЕ ДНИ 1848 г. В ПАРИЖЕ
Бой на площади Пале-Рояль
С современной литографии
Музей революции, Москва

указывает, что, ввиду осадного положения, всякий, взятый с оружием в руках, будет немедленно расстрелян.

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 128—129 об.].

№ 93

Париж, $\frac{23 \text{ ноября}}{5 \text{ декабря}}$ 1851 г.

Вчерашний день ознаменовался ожесточенной борьбой: дрались не только на Итальянском бульваре, самом элегантном квартале Парижа, по соседству с Тортони, с Большой оперой и «Кафе де Пари»; клубы «L'Union» и «Commerce», расположенные в этой части бульваров, были изрешетены пулями; крупный магазин «Bonnes Nouvelles» был разграблен. Местом наиболее серьезных разрушений был квартал у ворот Сен-Дени,

где восставшие сосредоточили все свои силы. Там была воздвигнута огромная баррикада, против которой пришлось пустить в ход пушки. Когда она была взята, за ней оказалась целая масса трупов. Газеты, печатающие лишь то, что им разрешают, скрывают число жертв, понесенных войсками, и говорят только о нескольких раненых солдатах, но, по сведениям, которые мне удалось получить от самих военных, 72-й линейный полк понес очень большие потери—его подполковник был смертельно ранен и убито несколько сот человек. Несмотря на это, возмущение еще не подавлено окончательно, и на сегодняшний вечер ожидаются снова кровопролитные столкновения. Ходили слухи, что принц Жуанвильский и герцог Омальский[106] прибыли инкогнито в Париж, но по проверке оказалось, что это просто выдумка. Говорят, что какой-то англичанин, высадившийся в Трепоре, был принят за герцога Омальского и арестован, но затем отпущен. Около сотни восставших, взятых с оружием в руках, было расстреляно сегодня утром на Марсовом поле. Опубликованный новый порядок открытого голосования с обозначением фамилий и имен вызвал ропот и всеобщее недовольство, и поэтому тайная подача голосов была восстановлена. Но полагают, что, раз все заведующие выборными бюро—сторонники президента, то при подсчете бюллетеней может быть допущена подтасовка, и число голосов, поданных за Луи-Наполеона, при опубликовании результатов выборов окажется преувеличенным. По всему, что говорится в Елисейском дворце, ясно видно, что президент твердо решил восстановить империю, и его прихлебатели со смешною хвастливостью открыто делят уже между собой титулы и должности.

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 130—131 об.].

№ 94

Париж, $\frac{24 \text{ ноября}}{6 \text{ декабря}}$ 1851 г.

Спокойствие окончательно восстановлено; полная безопасность и возобновившееся беспрепятственное движение повсюду могли бы дать повод подумать, что Париж не пережил никаких потрясений, если бы явные следы повреждений от пушечных ядер и пуль не свидетельствовали о происходивших вчера сражениях. Энергия, с которой приняты были репрессивные меры, и стойкая храбрость войск, не дававших никому пощады, положили конец всякой демагогии. Многие, встревоженные сначала тем, что все это было проведено слишком круто, соглашаются теперь, что надлежало действовать сурово и сразу нанести решительный удар и что это было единственное средство уничтожить красных и единственный способ спасти Францию от угрожавшей ей неизбежной гибели. Убеждаются, что никто, кроме Луи-Наполеона, не был бы способен принять такое энергическое решение и что средним решениям не было больше места. Покамест все хорошо, но опасения начинают возникать, когда размышляешь о том, что Луи-Наполеон проявляет явные поползновения итти по следам своего дяди, что он мечтает провозгласить себя императором и может, опьяненный своим успехом и считая себя великим полководцем, приняться также за завоевания и вторжения, как это было после узурпации императора Наполеона. Он непрестанно повторяет, что его ведет звезда его дяди. В войсках то и дело слышны крики: «Да здравствует император!». Его воззвания к народу и к армии можно рассматривать, как выражение решительной политики и как принятие им на себя определенного обязательства,

так как в его обращении к народу находят как бы возобновление консульского соглашения 8-го года, составленного аббатом Сиейсом и закрепленного впоследствии сенатским решением 28 флореаля 12-го года[107].

Известия из департаментов в достаточной степени удовлетворительны, хотя в Лиможе и в Орлеане и еще в трех-четырех местах наблюдались серьезные признаки беспорядков. Эти беспорядки были, впрочем, легко подавлены. Все попытки анархистов в пригородах Парижа, равным образом, потерпели неудачу, и повсюду красные повергнуты в ужас. Г-н Тьер находится не в крепости Гам, как говорили, а под домашним арестом. Уверяют, что Луи-Наполеон, узнав, что г. Тьер, будучи под арестом, высказывал в достаточной мере свободные суждения о нем и, между прочим, заявил, что «еще не все кончено, посмеется хорошо тот, кто будет смеяться последним», послал генерала Ребильо к г-же Тьер сказать, чтобы она предупредила мужа, что, если тот позволит себе произнести малейшее осуждение его (Луи-Наполеона) личности или его поступков, он прикажет немедленно его расстрелять[108]. Генерал Арбувиль, командовавший войсками в Бордо, заявил, что он готов поддерживать порядок, но что он не одобряет произвольных и незаконных мероприятий президента. Тотчас после этого он был смещен и заменен генералом Буржоли. Заслуживает внимания, что когда 170 представителей народа отводились из мэрии 10-го округа в казармы набережной Орсе под конвоем солдат, народ, встречавшийся по дороге, приветствовал войска и поносил депутатов. Национальная гвардия не принимала никакого участия во всех этих событиях, и это обеспечило успех Луи-Наполеона. Вооруженные люди, которые рассуждают в строю и имеют каждый свое собственное мнение, мало пригодны для борьбы с врагами порядка и вносят только смятение и путаницу, а иногда даже и колебания в войска, когда те видят их перешедшими на сторону восставших.

Французские политические эмигранты в Лондоне обратились через английские газеты к французскому народу с воззванием, составленным в самых язвительных выражениях[109]. Оно начинается со следующих слов (перевожу с английского): «Неужели вы хотите, чтобы вас презирали? Хотите быть рабами? Неужели хотите опять стать предметом всеобщего презрения и насмешек в глазах порабощенных народов, ожидающих от вас своего освобождения? Луи Бонапарт в течение этих нескольких часов совершил столько преступлений, каких могло бы хватить на целую человеческую жизнь. Подобно вору, он тайком, ночью завладел свободами своей родины, при помощи самого заурядного приема, которые некоторые люди имеют наглость называть смелостью». Далее эти люди нападают на Национальное собрание, считая, что оно заслужило нанесенное ему оскорбление. В заключение они заявляют, «что слов недостаточно, что они обязаны принести Республике свою кровь, что они это знают и не забудут». Это воззвание подписано Луи Бланом и 27 другими эмигрантами. Подписи Ледрю-Роллена под ним нет.

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 132—135 об.].

№ 95

Париж, $\frac{25 \text{ ноября}}{7 \text{ декабря}}$ 1851 г.

Восставшие, не будучи в состоянии противостоять 100 000 человек, решившимся выполнить свой долг и возбужденным против черни, все внезапно исчезли из переулков и узких улиц, которые преимущественно

они всегда занимают. По всей вероятности, тайные общества, которые за последнее время были так ловко сорганизованы, соберут их опять—таково, по крайней мере, мнение префекта полиции. Этот последний, при содействии своего предшественника, г. Карлье[110], который самым честным образом ему помогает, приказывает производить домашние обыски во всех подозрительных домах, что представляется возможным выполнять, пользуясь осадным положением. Обыски дали уже хорошие результаты. Говорят, что со вчерашнего числа при этом были задержаны 800 человек. Многие из народных представителей отпущены. Примерно, 60 человек из них, заключенные в форте Сен-Валерьен, сговорились не выходить из тюрьмы и считать ее священным местом собрания представителей народа[111]. Префект полиции, видя, что его уговоры покинуть тюрьму остаются тщетными, приказал нанять столько фиакров, сколько было заключенных, затем распорядился вывести их силой из казематов и посадить в экипажи; кучерам же было приказано отвезти каждого по его месту жительства. Я ошибся, когда в прошлом своем донесении сообщил, что г. Тьер находится под домашним арестом. Получив более достоверные сведения, я узнал, что он содержится в тюрьме Мазас. Большое количество совсем невинных людей стало жертвой своего любопытства или роковой случайности, оказавшись на местах, где происходили столкновения. В числе их называют некоего русского, из Киева, который, желая посмотреть поближе происходившее, отправился на бульвар и с тех пор не возвращался,—его жена и семья находятся в сильнейшем отчаянии. Другой из наших соотечественников оказался арестованным при занятии ресторана «Maison dorée», где он завтракал, но он был отпущен на свободу после нескольких часов ареста. Таким же образом пострадали находившиеся в клубе «Commerce» и мирно читавшие там газеты генерал Бильяр, раненный в глаз, и бывший генеральный прокурор г. Дювержье.

Войскам были даны очень строгие инструкции, и они применялись с большой точностью. Было приказано стрелять по толпе и по домам, откуда произведены ружейные или пистолетные выстрелы. Очевидец рассказывал мне, что он находился в толпе любопытных на улице Лаффит, когда там проходил батальон. Какой-то молодой человек, отделившись от толпы, выстрелил из пистолета в солдат. Они моментально повернулись к толпе и произвели залп, которым было убито и ранено до 15 человек, в том числе две женщины. То же лицо было свидетелем другого, менее трагического инцидента. Мятежники, числом до 20, остановили омнибус в улице Рамбюто, с целью устроить из него баррикаду. Они высадили из него всех пассажиров, но в этот самый момент появившийся отряд жандармов их окружил, заставил самих поместиться в омнибус и приказал кучеру отвезти всех в полицейскую префектуру.

Сейчас в провинции сильное возбуждение, но очень трудно определить подлинный размах его, так как газеты публикуют только то, что правительство разрешает довести до сведения публики. Редкие путешественники, приезжающие из провинции, очень скупы на разговоры о беспорядках. Известно только, что несколько полков было отправлено в разные пункты департаментов. Вчера отправлено несколько полков в Мулен (департамент Алье). Но самое важное—не давать распространяться восстанию в самом главном его очаге, и, пока Париж будет спокоен, беспорядки в провинции не могут иметь серьезных результатов.

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 136—139].

МАРРАСТ
Шарж
Фарфор завода Миклашевского, 1850-е гг.
Музей керамики, Кусково

№ 96

Париж, $\frac{26 \text{ ноября}}{8 \text{ декабря}}$ 1851 г.

Со вчерашнего дня не произошло ничего нового, достойного быть отмеченным. Президент всецело поглощен работой в связи с предпринятой им реорганизацией управления. Много затруднений должно встретиться при выполнении этой тяжелой задачи. Лица, наиболее привычные к подобного рода занятиям, теперь, после революции, удалены из числа советников президента, большинство же последних—люди совсем не опытные и способные даже в обыкновенное время только запутать дело. Отсюда происходит, что в такой новой и сложной обстановке, как сейчас, задача эта становится еще более тяжелой, и все новые и новые затруднения возникают на каждом шагу. Никто не сомневается здесь в том, что целью президента является провозглашение империи. Английская пресса единодушно высказывается в таком смысле. И действительно, может ли он выбрать иной путь, как не тот, что ведет к абсолютизму? Если он восстановит какую бы то ни было законодательную власть, его действия неизбежно попадут под контроль будущего Законодательного собрания. Затем, каким образом сможет он оправдать свое распоряжение о заключении под стражу наиболее знаменитых генералов, которые, в сущности, были виновны только

в том, что, не превышая прав, поступали согласно полномочиям, предоставленным им народом? Очевидно, что его роль должна поэтому свестись к тому, чтобы завладеть всеми видами власти и, сосредоточив все в своем лице, облечь себя самого властью полной, неограниченной и суверенной. Лица, пользующиеся доверием в Елисейском дворце, совершенно этого не скрывают, они открыто говорят, что спасение Франции зависит от установления империи, что все удастся Луи-Наполеону, располагающему армией, преданной ему душой и телом, что день 2 декабря—годовщина аустерлицкой битвы—хорошее предзнаменование для того, кто готов решиться на все. Можно с уверенностью сказать, что, если войска останутся верными, ему легко будет систематически устранять всякое препятствие при помощи штыков. Не следует, однако, чрезмерно потворствовать солдатам, чтобы не превратить их в преторианцев, так как, если возникнут затем военные бунты, не будет уже средств для их подавления. До сих пор ему можно сделать только один упрек—тот, что, назвав в своем обращении к армии солдат «цветом нации», он тут же цвет этих самых солдат, в лице их наиболее славных генералов, упрятал в тюрьму, поступив с ними жестоко, как с преступниками. Что же касается толков о деньгах, розданных войскам, и о состоянии опьянения, в котором, по заявлению английских газет, их все время держали, то это все неправда. Солдаты, действительно, получают двойное денежное довольствие, и на это обращены те 18 тысяч франков, которые ежегодно шли на вознаграждение народных представителей. Но, по всей справедливости, нужно признать, что не было ни одного случая пьянства, и солдатам, сытно накормленным, отпускалось вполне умеренное количество вина и обычная порция водки.

Нужно, впрочем, выждать до 20 декабря[112], чтобы составить себе ясное представление о неожиданностях, которые сулит будущее, а пока следует признать одно, что торговые круги и значительное большинство буржуазии, повидимому, довольны этой революцией. Уничтожение красных и социалистов представляется им фактом совершившимся. Роспуск собрания также встречает сочувствие, так как начинали уже уставать от болтовни, которая служила помехой для правильного хода управления и парализовала торговлю. Г-н Тьер в конце концов был освобожден, но оставлен под надзором полиции[113]. Рассказывают, что, когда полицейский комиссар, явившийся его арестовать, произнес установленную формулу: «Я вас арестую, именем закона», г. Тьер воскликнул: «Нет, г. полицейский комиссар, вы ошибаетесь,—не именем закона, его больше нет во Франции, а именем насилия». Фамилия русского, который пропал без вести,— г. Понинский, а того, который был арестован и выпущен,—Столыпин.

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 140—143 об.].

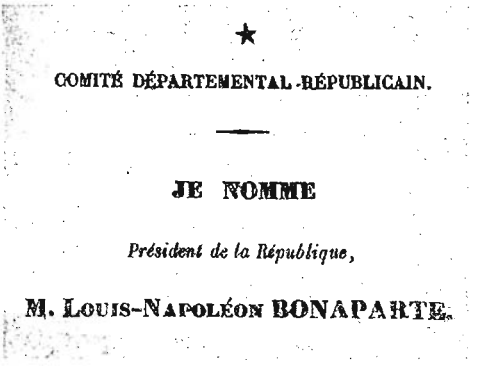
№ 97

Париж, $\frac{28 \text{ ноября}}{10 \text{ декабря}}$ 1851 г.

Полный порядок царит в Париже, везде огромные толпы народа, торговля принимает свой обычный оживленный вид, ввиду приближения нового года. На бирже изумительное повышение курса. В Елисейском дворце все, повидимому, преисполнены спокойной уверенностию относительно будущего. Там работают день и ночь, и министры почти не покидают резиденции Луи-Наполеона, а сам он, под предлогом спешной работы, никуда не выходит и отказался даже присутствовать 10 декабря на большом банкете в городской ратуше. Дело в том, что, если бы Луи-Наполеон

появлялся, как раньше, на улицах, он мог бы сделаться жертвою покушения. В таком огромном городе, как Париж, несмотря на всю бдительность и при наличии любого количества агентов охраны, трудно все-таки принять все необходимые меры предохранения от убийц, подосланных демагогами. Только что вышедший ордонанс о мерах, которые надлежит принять, чтобы очистить Париж от уголовного элемента и лиц, находящихся под надзором высшей полиции, без сомнения, освободит несколько столицу от этой подлой толпы, но не сможет удалить из нее всех опасных людей, способных на все, чтобы удовлетворить свое чувство вражды и ненависти. Вот такой-то мести убийц и следует президенту больше всего опасаться в настоящее время, и он совершенно прав, не желая рисковать. Впрочем, в ту самую минуту, когда я писал эти строки, я увидел из окна, как он проехал мимо в карете, окруженной эскадроном кирасиров.

Беспорядки, происходящие теперь в провинции, ужасны. Сведения, помещенные о них в газетах, повидимому, преуменьшают действитель-


★

COMITÉ DÉPARTEMENTAL-RÉPUBLICAIN.

JE NOMME

*Président de la République,*

M. LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЛИСТОК, ПОДАВАВШИЙСЯ ЗА ЛУИ-НАПОЛЕОНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ДЕКАБРЕ 1848 г.

Музей революции, Москва

ность, так как вчера еще я виделся со знакомым, только что вернувшимся из Виши и по дороге проезжавшим через несколько пунктов, где происходили страшные погромы. Мирные жители повергнуты в ужас, войск недостаточно для подавления беспорядков, войска двинуты в провинцию во всех направлениях, но, несмотря на это, ужасная резня продолжается—это настоящее повторение жакерии во всей ее гнусности. В некоторых местностях, как, например, в Безье, народ громил всех состоятельных людей, не разбирая их убеждений. Видели красные флаги, на которых были следующие надписи: «Смерть богатым!», «Дележ имущества!». Дикие толпы бродят, увлекая за собой не только тех, кто разделяет их убеждения, но принуждая также насилием и угрозами мирных жителей присоединяться к ним. Тем не менее, пока порядок и спокойствие будут царить в Париже, опасность не так уже велика и может быть устранена хотя и не без пролития крови, но без дурных последствий для правительства.

Вечерний прием 8 декабря в Елисейском дворце был одним из самых многолюдных и самых блестящих—вся улица предместья Сент-Оноре

и другие прилегающие к ней были запружены экипажами, а на главной улице они следовали в три ряда. Комнаты, предназначенные для обычных приемов, оказались недостаточными, и пришлось отпереть и наскоро осветить большие залы. Более, чем когда-либо, бросались в глаза заискивающий тон приветствий, низкопоклонство—казалось, все явились сюда, чтобы приветствовать восходящее светило. Среди всей этой раболепной толпы президент держал себя холодно и безучастно, и вид у него был крайне неприветливый, что легко объясняется заботами и трудностями теперешнего его положения.

Английская пресса, в общем, относится очень враждебно к президенту. Несколько английских органов уже подверглось здесь запрещению, на днях та же участь должна постигнуть и «Times», так как в последнем его номере была статья, направленная против Луи-Наполеона, по своей язвительности превосходящая все, что было в этом роде напечатано в других английских газетах[114]. Это мое предположение подкрепляется и тем, что вот уже два дня, как я сам не получаю «Times».

Лицо, сообщающее мне иногда ценные сведения, уверяло меня, что полиция осведомила президента, что несколько русских высказывали резкие суждения о его личности и о его поступках, что крайне раздражило Луи-Наполеона. После этого он приказал высылать за пределы Франции всех тех, кто позволит себе осуждать его. То же лицо подтвердило мне, что удвоили число обслуживающих черный кабинет, усердно работающий круглые сутки, и что все мало-мальски подозрительные письма перлюстрируются. Это обстоятельство вынуждает меня воздержаться от сообщения вам некоторых весьма интересных новостей, которые могли бы показаться обидными французским властям.

Г-н Тьер испросил себе разрешение покинуть Францию, что ему и дозволили под условием, что он не поедет ни в Лондон, ни в Брюссель; говорят, он едет в Италию[115].

Парижский архиепископ[116], назначенный на эту должность при генерале Кавеньяке, другом которого он состоит, не появлялся в Елисейском дворце. Он придерживается самых крайних социалистических взглядов, и ему недавно ставили в упрек, что он запретил служение заупокойных месс по герцогине Ангулемской[117].

Уверяют, что в ближайшем будущем появится декрет об уничтожении ввозных сборов на городских заставах. Дефицит, который произойдет от этого в бюджете, будет, как говорят, восполнен установлением особого вида подоходного налога (income-tax) и законов против роскоши. Популярность, которую приобретет президент, благодаря таким мероприятиям, вряд ли сможет компенсировать недовольство, которое вызвал бы закон, явно направленный против богатых, тем более, что это являлось бы поощрением взглядов коммунистов и сторонников дележа имущества.

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 144—149].

В дальнейшем Яков Толстой внимательно приглядывается к действиям принца-президента, быстрыми шагами шедшего к формальному восстановлению империи. В последующих донесениях он отмечает произвол правительства, требование присяги в верности президенту (от депутатов), недопущение во Францию газет из-за границы, преследование журналистов. Сообщает об арестах в Париже и провинции и пр.

№ 104

Париж, 13/25 марта 1852 г.

... Избрание генерала Кавеньяка и г. Карно очень не понравилось правительству. Декрет, требующий от депутатов принесения присяги на верность президенту, ставит их обоих в невозможность принять участие в заседаниях палаты[118]. Повидимому, даже решено, что в случае, если эти депутаты, отказавшись от принесения присяги, появятся в палате для того, чтобы занять свои места, против них будет возбуждено дело, как о лицах, не пожелавших подчиниться закону.

Иностранные газеты часто не доходят по назначению, они, повидимому, подвергаются просмотру и попадают в руки публики лишь после этой формальности. В течение месяца у меня таким образом задержали три номера «Times». Возбуждены судебные дела против бельгийских журналистов за оскорбление, нанесенное президенту Французской республики. Французское правительство потребовало также смещения губернатора Гента за то, что тот не воспрепятствовал появлению на улицах города во время карнавала маски, изображающей Луи-Наполеона в комическом одеянии и подгоняющим ударами бича Сенат, Законодательный корпус и Государственный совет, представленные в виде стада. Такое бесцеремонное отношение к Бельгии является, повидимому, прелюдией для последующих планов Луи-Наполеона относительно Бельгии, правительство которой так это и поняло, ибо идет уже речь об усиленном воинском наборе. Собираются увеличить состав армии до 80 000 человек—цифры крайне высокой для такой маленькой страны. Впрочем, очень сомнительно, чтобы Франция это допустила. Кроме того, 30-ти миллионов франков, предназначаемых на осуществление этого мероприятия, едва ли хватит, а состояние финансов Бельгии таково, что вряд ли удастся отпустить больше. Нейтральное государство с $3^1/_2$ миллионами жителей, смежное с государством, население которого достигает 35 миллионов, становится явной аномалией, и независимость его фиктивна, так как обусловливается лишь поддержкой, оказываемой ему, в противовес Франции, другими государствами. Во время войны такая страна будет рассматриваться лишь, как военная добыча.

Несмотря на бдительность полиции и на строгость, с которой обошлись с демократами, не удалось еще окончательно уничтожить их партии. Они и по сию пору все еще проявляют дерзость и действуют вызывающе, невзирая на энергичный и строгий надзор правительства. Еще довольно часто происходят аресты заговорщиков и не только в провинции, но даже в самом Париже.

На-днях арестовали 30 демагогов, собравшихся на совещание в Батиньолах...

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 203—205 об.].

Яков Толстой обнаруживает ту самую двойственность настроений в эти последние месяцы перед восстановлением империи во Франции, как и его петербургские хозяева. С одной стороны, хорошо, что красные растоптаны, расстреляны, разосланы, засажены, что в Париже и Франции самая настоящая абсолютистская диктатура, а с другой стороны, куда же этому Бонапарту равняться с благочестивейшим, самодержавнейшим и пр. обитателем Зимнего дворца! Придворный бал в Тюильри вызывает некоторую иронию Якова Толстого, парад войск в Париже—ну, какой же это

парад сравнительно с теми, что бывают в Петербурге! Яков Толстой и не подозревает близости Севастополя и страшного поражения всех этих героев петербургских парадов, всего торжества этого «принца-президента» над его петербургским коллегой. Но, во всяком случае, «спасительная реакция» торжествует во Франции и Европе. И этому не могут помешать революционные речи, которые произносятся против этой «спасительной реакции».

В своем донесении от 15 мая 1852 г. Яков Толстой сообщает о похоронах Натальи Александровны Герцен, которые получили характер политической демонстрации.

№ 107 Париж, 3/15 мая 1852 г.

... Приезжающие из Ниццы удостоверяют, что этот маленький городок является теперь более, чем когда-либо, вместилищем демагогии. Местная полиция не установила там никакого наблюдения. Большая траурная церемония имела место недавно по случаю смерти жены Герцена. Огромная толпа, которую исчисляют от 5 до 6 тысяч человек, собралась в 9 часов вечера. Все экипажи в городе и в окрестностях были наняты, чтобы придать похоронам больше пышности, и более 10 000 факелов освещало траурную процессию. Четыре эмигранта разных национальностей шли во главе, и в их числе был Головин, который стал теперь нахлебником Герцена и живет на его счет. Герцен произнес речь на могиле жены и воспользовался случаем, чтобы в самых неистовых выражениях напасть на порядок и спасительную реакцию, происходящую теперь в Европе, и в то же время превознести сверх меры пагубное учение, им исповедуемое...[119].

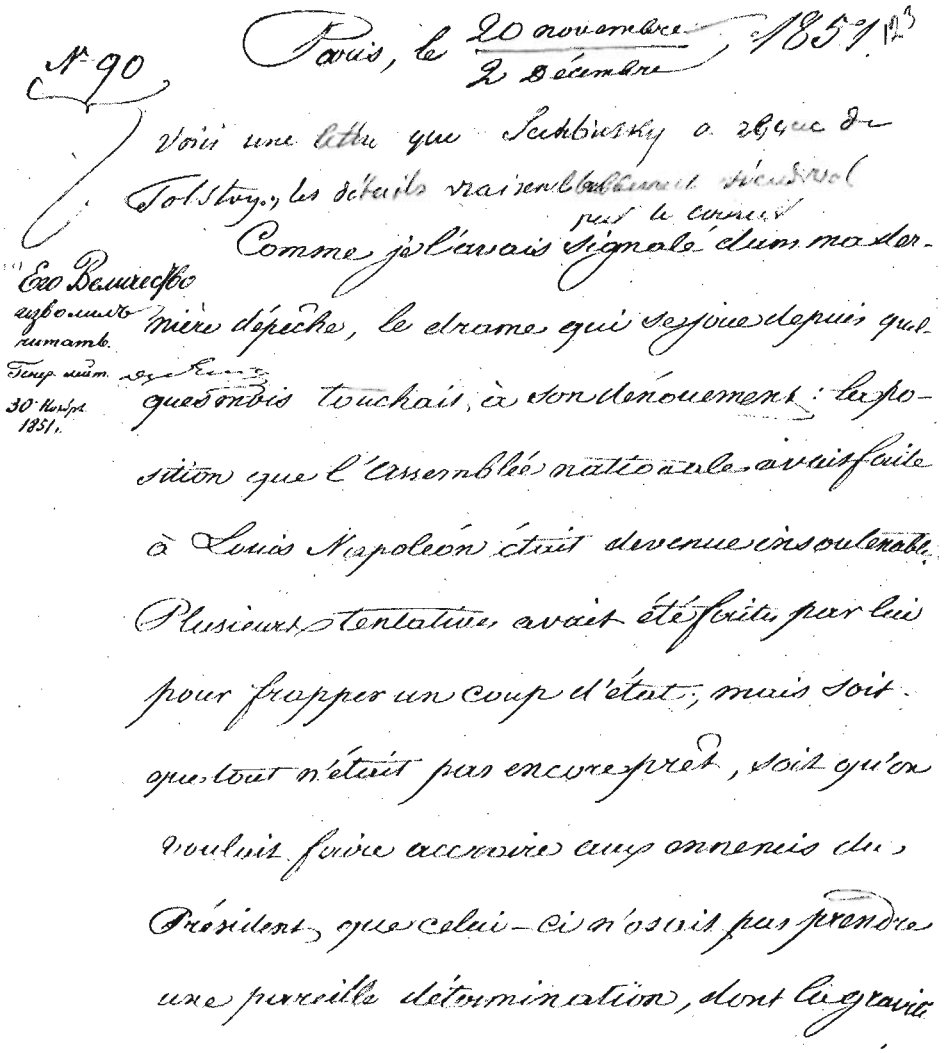
[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 245—245 об.].

Большое донесение Якова Толстого от 31 августа 1852 г. наполнено бесконечными описаниями празднеств при дворе президента и сплетнями о министре Друэн де Люисе и других сановниках. Любопытно непосредственное впечатление от появившегося вне Франции, но проникшего во Францию знаменитого памфлета Виктора Гюго, направленного против Луи-Наполеона, под названием «Наполеон Маленький».

№ 111 Париж, 31/19 августа 1852 г.

... Другой памфлет появился одновременно в том же городе [Брюсселе]. Автором его является человек большого таланта—Виктор Гюго. Заглавие книги—«Наполеон Маленький»[120]. Ввоз ее во Францию строжайшим образом запрещен, и читать ее можно только в рукописном виде. Предъявляемые в ней обвинения не представляют ничего нового. Всем известны малейшие подробности узурпации Луи-Наполеона и все события, которые последовали после 2 декабря. Однако, талант автора сумел придать книге некоторый интерес, хотя если ее и читают с жадностью, то, главным образом, потому, что на ней лежит строжайший запрет. Я знаю одного человека, который специально съездил в Брюссель, чтобы иметь возможность там ее прочесть. Впрочем, в этой брошюре находится много ложных утверждений, преувеличенных и двусмысленных и чрезмерно напыщенных фраз. Приняты строгие меры, чтобы памфлет этот не проник в провинцию. Однако, заглавие «Наполеон Маленький» у всех на устах и сделалось для президента кличкой, которая должна очень его

раздражать. Обидно видеть, что человек, одаренный таким большим талантом, превращается в памфлетиста. Этот способ мщения всегда бесплоден и не достигает никогда полностью намеченной цели. Какова бы ни была известность памфлета при появлении, его вскоре постигает забвение,



ДОНЕСЕНИЕ Я. Н. ТОЛСТОГО ОТ 20 НОЯБРЯ (2 ДЕКАБРЯ) 1851 г. С СООБЩЕНИЕМ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕРЕВОРОТЕ ВО ФРАНЦИИ
Первая страница
Сверху пометы А. Ф. Орлова и Л. В. Дубельта
Архив революции, Москва

потому что, по существу, это нечто эфемерное. Как в просторечии говорят: «удар шпаги по воде». Впрочем, если бы только не имя Виктора Гюго, его смело можно было бы отнести к категории произведений И в а н а Г о л о в и н а и ему подобных. Статьи «Times» против президента бьют вернее в цель. Они более разумны, очень метко направлены и написаны без раздражения и потому производят бóльшее впечатление. Статья,

появившаяся 21 сего августа в этой английской газете, очень живо задела Луи-Наполеона, приказавшего напечатать в «Moniteur» ответ слабый по аргументации, но явно свидетельствующий о раздражении, испытываемом от невозможности покарать газету. «Times», в свою очередь, ответила[121]. Спокойно, но в то же время иронически она доказывала, что возражение г. Бонапарта не опровергает сообщенных фактов и не освобождает его от ответственности за преступления, в которых его обвиняют. Возражение, как заявляет газета, существенно лишь постольку, поскольку исправляет число жертв, исчисляемых в 380 человек вместо 1200 — цифры, приведенной в газете, и т. д. и т. д. ...

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 294—296].

Но вот наступает осень 1852 г. Луи-Наполеон совершает свою знаменитую поездку по провинции, послужившую непосредственной прелюдией к провозглашению империи. В сущности, фактически президент стал самодержавным императором уже 2 декабря 1851 г. Но все-таки ф о р м а л ь н о е уничтожение республики и официальное превращение президента Луи-Наполеона в императора Наполеона III произвело сильнейшее впечатление во всем мире. Знаменитая фраза президента, сказанная им во время этого путешествия в Бордо: «Империя—это мир», фраза, оказавшаяся впоследствии такой лживой по существу, имела целью внушить Европе, что племянник не пойдет по стопам дяди и не будет думать о военной славе и завоеваниях. Говоря о приветствиях президента, Толстой отмечает в провинции и в Париже также симптомы и враждебного настроения относительно автора государственного переворота и завтрашнего императора. Это донесение (24 октября 1852 г.) полно живого интереса в начальных своих страницах.

№ 113 Париж, 12/24 октября 1852 г.

Речь Луи-Наполеона в Бордо, произнесенная в ответ на приветствия президента торговой палаты, разрубила, так сказать, гордиев узел и пролила свет на намерения главы государства. Эта речь произвела большую сенсацию и рассматривается, как исповедание веры будущего императора. Переход к империи, хотя мысль эта и скрытно выражена в речи, был признан всеми, как окончательно принятое решение. Если бы слова, сказанные президентом, могли стать истинной правдой, обязательство не воевать, принимаемое им на себя в выражении: «Империя—это мир», должно было бы успокоить Европу. Но тут возникает вопрос: сможет ли он выполнить свое обещание? Конечно, нет. Увлекаемый событиями и своими собственными воинственными наклонностями, он нарушит это свое обещание так же, как он привык нарушать другие обещания и даже свои самые торжественные клятвы. Речи, произнесенные им до 2 декабря, послания, обращенные к Законодательному собранию, не наполнены ли все они формальными заверениями сохранить конституцию и республику? Император Наполеон, его дядя, произносил такие же речи и заявлял также о своей любви к миру в то время, как все минуты его жизни были наполнены лишь одними проектами военных действий и завоеваний. Луи-Наполеон чувствовал необходимость успокоить население одного из первых торговых городов Франции по поводу распускаемых слухов, что империя должна неминуемо повлечь за собой войну.

Между тем, идут работы по серьезному вооружению портов Франции. В одной только Ла Рошели пять линейных кораблей на верфи готовы к спуску, не говоря уже о фрегатах и разных паровых судах, которые также строятся. Говорят, правда, что правительство намерено отпустить из армии 75 тысяч человек, но это только слух, и ничто не указывает на близость осуществления такой меры. Это сокращение состава армии должно быть возмещено созданием милиции (чего-то вроде ландвера) численностью в 600 000 человек. Англичане—народ рассудительный, не поднимающий тревоги без серьезных оснований; и все они, однако, глубоко убеждены, что эра цезарей есть эра завоеваний. Пародируя слова, произнесенные когда-то Людовиком XIV, президент сказал в Марселе: «Средиземное море становится впредь французским озером»[122]. Это горделивое выражение сильно шокировало англичан и только увеличило их опасения.

Овации и энтузиазм, которыми отмечено было путешествие президента по провинциям, составляющим $^3/_4$ Франции, были представлены в прессе в высшей мере преувеличенными. Не подвергая сомнению манифестации, устраиваемые чернью, а также официальные выступления административных органов, можно, однако, подвергнуть сомнению искренность, добровольность и увлечение всего населения посещаемых президентом местностей. Затем я беседовал с людьми, вполне заслуживающими доверия, бывшими очевидцами приема, оказанного принцу-президенту в Авиньоне и Ниме. Они заверили меня, что, наблюдая все с величайшим вниманием, они слышали, правда, много раз крики «Да здравствует император!» но не заметили никакого подъема. Более того, в Ниме они узнали среди кричавших тех самых людей, которых видели перед этим в Авиньоне. Эти данные подкрепляются еще другими неоспоримыми фактами, свидетельствующими, что манифестации и заявления о преданности далеко не были единодушными. В Сент-Этьенне, в Роанне происходили выборы в муниципальные советы за несколько дней до проезда президента через эти города, и вот все новые советники, избранные крупным большинством голосов, оказались принадлежащими к республиканской и социалистической оппозиции, а некоторые из выбранных—даже лица административно-высланные. Я не говорю уже ни о найденной адской машине, ни о молодом человеке из Мулена, который должен был убить президента, но сам отравился, ни о многих других фактах, подкрепляющих высказанное мнение, а именно: что триумфальные арки, овации, крики—все это в большинстве случаев организовано полицией и что в действительности было не мало манифестаций, и враждебных президенту. Но что в конце концов должно устранить всякие сомнения и разрушить фантастическое сооружение, воздвигнутое прессою для того, чтобы поверили общему энтузиазму всей Франции,— это прием, оказанный президенту в Париже при его возвращении. И на этот раз пресса заявляла во всеуслышание о полных энтузиазма и стихийности приветствиях метрополии. Нельзя, однако, не поверить многочисленным свидетелям роскошно обставленной комедии, представление которой давалось только что в Париже. Все эти триумфальные арки, все военные приготовления и вся торжественная роскошь официальной встречи не смогли наэлектризовать большинство населения. Я побывал в различных местах, где соорудили триумфальные арки, я ходил повсюду, и везде только изредка то там, то здесь слышались крики «Да здравствует император!» и т. д. Иногда в отдельных группах слышны были пьяные голоса, выкрикивающие установленные приветствия.

У церкви Мадлен это молчание обращало на себя особенное внимание тем, что время от времени оно прерывалось криками детей, раздававшимися регулярно, как будто по сигналу,—это кричали ученики лицеев и семинарий, поставленные на ступенях церковного портала. На смену им слышались многочисленные шутки и насмешки над президентом и над его свитой. Смеялись над тем, что он заставляет свою лошадь плясать на месте, сравнивали его с одним из наездников от Франкони, с которым он имеет отдаленное сходство. Так как он сильно загорел во время своего путешествия, говорили, что он старается почернеть, чтобы походить на свой идеал: негритянского императора Сулука[123]. Когда он принял поднесенную ему императорскую корону, сплетенную из цветов, кричали: «Ну вот, получай корону, только она скоро завянет». Тысячи других острот раздавались под аплодисменты и смех толпы. Неуверенный в том, правильно ли я оцениваю все то, что видел и слышал, я проверил свои впечатления у нескольких человек, и все они их подтвердили. Несколько национальных гвардейцев, находившихся в строю и спрошенных мною, подтвердило мне то же самое. Один из них, из 1-го батальона Национальной гвардии, рассказал мне, что при приближении кортежа весь батальон стал сговариваться, приветствовать ли президента или нет. Войска, стоявшие напротив, глазами запрашивали о том же. Было решено молчать. Это решение в точности было выполнено, что, повидимому, чрезвычайно рассердило принца-триумфатора, так как он проехал вдоль рядов не здороваясь и сильно нахмурившись.

Национальная гвардия очень недовольна, там введена такая же строгая дисциплина, как и в армии. При малейшем нарушении устава, при всяком, даже незначительном, опоздании виновного предают дисциплинарному суду и строго его наказывают. Не так давно, рассказал мне тот же национальный гвардеец, один негоциант, задержавшись по важному делу, из-за которого могло пострадать все его благосостояние, опоздал на четверть часа явкою на свой пост; капитан, зная, что в его команде, состоящей из 80 человек, нехватает одного, сделал перекличку, но каждый раз, как он называл имя отсутствующего, все 79 человек, сговорившись, отвечали вместе: «Здесь». Капитан не захотел отправить под арест всю команду и после угроз и крика, продолжавшихся с четверть часа, ушел сильно раздосадованный и ругаясь. Надо думать, что все это предпринимается, чтобы служба в Национальной гвардии опротивела парижской буржуазии и чтобы затем распустить ее, не вызывая этим особого недовольства. Это была бы, по правде говоря, полезная мера, которую следовало бы осуществить, так как вооруженные граждане, сорганизованные в полки,—явление совершенно ненормальное в стране, управляемой абсолютной властью и не могущей притом управляться иначе. Если служба в Национальной гвардии имеет своей задачей приучить к военному делу, то без этого смело можно обойтись, имея армию в 400 тысяч человек.

Кроме того, опыт показал, что Национальная гвардия вместо того, чтобы подавлять беспорядки, постоянно сама в них участвовала и только содействовала этим их успеху.

Два важных декрета выпущены 18 и 19 октября. Первый из них касается освобождения Абд-эль-Кадера[124], а второй созывает Сенат на 4 ноября для того, чтобы сенатским решением провозгласить империю. Что касается первого декрета, то он был встречен почти всеобщим сочувствием. Говорят также о приказе, который должен появиться на-днях

НАПОЛЕОН III
Фотография, 1850-е гг.
Музей Тютчева, Мураново

с тем, чтобы открыть доступ во Францию генералам, сосланным в Африку. Ходят также разговоры о всеобщей амнистии,—это последнее известие требует, однако, подтверждения...

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 304—312 об.].

Но вот, наконец, империя и формально восстанавливается. И тут-то Яков Толстой, подыгрываясь к Николаю I, вместо того, чтобы сделать хоть попытку предостеречь царя, вступившего на гибельный путь, напротив, подталкивает его к совершению опасной ошибки. Дело было вот в чем. Николай очень рад был перевороту 2 декабря 1851 г. и водворению во Франции власти Луи-Наполеона. Но в 1852 г., когда речь пошла о восстановлении империи, царь усмотрел в этом оскорбление монархов, единогласно решивших на Венском конгрессе 1814—1815 гг., что династия Бонапартов «навсегда» лишается прав на французский престол. Когда же Луи-Наполеон, сделавшись императором, принял титут Наполеона Третьего, то это было принято царем, как намеренная пощечина всем принципам Священного союза и всем решениям Венского конгресса, так как этим титулом Луи-Наполеон демонстративно показывал, что он игнорирует царствовавшую в 1815—1830 гг., от конца Ста дней до Июльской революции 1830 г., династию Бурбонов, а считает законным императором после 1815 г. никогда фактически не царствовавшего, скончавшегося в ранней молодости сына Наполеона I, который поэтому в его глазах и был «Наполеоном Вторым». Николай пробовал выражать неудовольствие, протестовать—все было напрасно. Европа признала сразу же нового императора и титул и наименование, которое он пожелал себе дать. Уступил, конечно, скоро и Николай I, отыгравшись лишь тем, что отказался в переписке

называть Наполеона III, по монархическому ритуалу, «дорогой брат», а стал именовать его «мой добрый друг». Все эти детские выходки царя очень дорого обошлись ему впоследствии и с самого начала испортили в корне отношения между обоими императорами. Яков Толстой, угождая начальству, тоже разглагольствует о «божественном праве» монархической власти, противополагая ее монархии Наполеона III, обосновывавшего ее — в демагогических целях — на «всеобщем» голосовании.

№ 114

Париж, $\frac{20 \text{ октября}}{2 \text{ ноября}}$ 1852 г.

Послание президента Республики к Сенату по случаю сенатского решения, которое должно было последовать в связи с восстановлением империи[125], возбудило большие тревоги в умах мирно настроенных людей, в особенности нижеследующая фраза в нем: «Это удовлетворяет его (народа) справедливую гордость, так как, восстанавливая свободно и обдуманно то, что Европа 37 лет назад низвергла путем вооруженного насилия, во время обрушившихся на родину бедствий, народ, тем самым, благородно мстит теперь за пережитые ранее невзгоды и т. д. и т. д.». Эта фраза, по мнению этих людей, таит в себе возможность новой войны и рассматривается, как вызов европейским державам и как окончательное уничтожение договоров 1815 г.

Несмотря на это, Сенат слепо подчинился приказам главы государства. Доклад вице-председателя Сената Тролона[126] может послужить образцом одурманивающей фразеологии, основанной на софизмах, приводящих к нелогичному выводу—вроде того, что «организованная демократия есть символ монархии». Как бы то ни было, но сенатское решение было проредактировано согласно с волею Луи-Наполеона, и при голосовании из 87 человек только один решился высказаться против. Сенатское решение, предоставляя новому императору право назначать себе наследника, намечает устранение бывшего короля Иеронима и лишает его права наследования престола. После этого Иероним, сильно обиженный, немедленно сложил с себя звание председателя Сената.

Уверяют, что в припадке сильного гнева он держал крайне непристойные речи в заседании Сената. Он заявил, между прочим, что Луи-Наполеон самым формальным образом обещал ему не покушаться на его права: «Впрочем, добавил он, если мой племянник принимает титул Наполеона III, он не может привести разумных доводов к лишению меня моих прав, которые неотчуждаемы и покоятся на тех же основаниях, которые он сам приводит в подтверждение своих прав. А если он захочет выбрать себе наследника из линии Люсьена Бонапарта и объявить одного из потомков покойного князя Канино обладающим правом занятия императорского трона, то тем самым он подорвет свои собственные права, как главы наполеоновского дома, так как Люсьен был старшим братом Людовика»[127].

Плебисцит назначается на 21 и 22 ноября, и возобновление сессии Законодательного корпуса состоится 25-го того же месяца с тем, чтобы заняться проверкой голосования. Но все предусмотрено заблаговременно, и приняты меры к устранению какой бы то ни было оппозиции и к подмене бюллетеней с н е т—бюллетенями с д а, если только цифра этих последних не достигнет, по меньшей мере, семи миллионов голосов. В общем ожидали, что будущий император не назовет себя Наполеоном III: считали, что у него больше здравого смысла, чем тщеславия, и что он откажется от этого ребячества, так как, конечно, царствование Наполеона II не более,

как фикция, представляющая лишь нелепое право и в то же время отменяющая постановления всех европейских государей, собиравшихся на конгрессе. Но, повидимому, он остался глух ко всем советам и ставит выше всего свою всемогущую волю. Общепризнано, что всякая власть основана на праве божественном и законном или же на праве, проистекающем из единодушного избрания народом. Это последнее может иметь применение только в республиканском строе, и всякое правление монархическое и наследственное является уже, тем самым, законным, а не выборным, одним словом, одно поглощает другое. Отсюда очевидно, что Луи-Наполеон, основывая свою власть на двух диаметрально противоположных принципах, отрицает втихомолку присущую каждому из них силу и идет против здравого смысла, опираясь одновременно на два принципа, по природе своей противоречащие один другому. Итак, эта новая комбинация покоится на явно шатких основаниях, потому что они, по существу, противоречат одно другому и не допускают никакой между собой аналогии. На таких основаниях никак нельзя утвердить власть, не вызывая ни сомнений, ни возражений. Предоставляемое императору право установить порядок престолонаследия, открывая путь для множества новых претендентов, угрожает в будущем Франции рядом непрестанных волнений и неисчислимых бедствий...

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (2), лл. 300—330 об.].

В донесении от 9 декабря 1852 г. Толстой снова бесконечно и праздно резонирует относительно титула «Третьего» Наполеона. Более интересно (но, конечно, не ново) его сообщение об увеличении французского корпуса жандармов на тридцать тысяч человек. Еще менее интересно донесение от 26 января 1853 г., сплошь посвященное парижским сплетням и пересудам по поводу женитьбы нового императора на испанской графине Евгении Монтихо. Это так поглощает Якова Толстого, что он ни о чем другом тут и не пишет.

Но зато совсем иной характер имеет донесение от 10 июня 1853 г. Веяние приближающейся бури уже чувствуется ясно. Николай I уже успел совершить ряд поступков, которые должны были привести его к гибели. Уже чрезвычайный посол Меньшиков успел совершить знаменитый свой визит к султану, «не снимая пальто», уже успел после этого молодецкого визита выехать из Константинополя, уже Николай распорядился двинуть войска в Молдавию и Валахию...

Англия и Франция уже не скрывают своего намерения защитить Турцию, слухи о громадной надвигающейся войне растут, но и царь в Петербурге, и его тайный агент в Париже, как бы пораженные какой-то странной слепотой, продолжают ничего не видеть и ничего не понимать. Глупейшие «угрозы» Якова Толстого, что Россия выставит в случае войны восемь миллионов солдат, по его мнению, должны были запугать его собеседников в Париже. Он и не подозревал, насколько осведомлен был французский штаб об истинных силах и о степени оснащенности и технической подготовки русской армии. Утешая своих петербургских корреспондентов, Яков Толстой старается внушить им, что при первом же военном выступлении своем Французская империя будет низвергнута изнутри, революцией. Подобные донесения очень и очень принимались во внимание и Николаем I и его сыном, получившим в наследство крымскую войну. Мы знаем из других источников, что, например, весною и летом

1855 г., когда Севастополь уже погибал, Александр II выражал упование, что, авось, революция в Париже спасет осажденную русскую крепость.

Приводим часть донесения Якова Толстого, хорошо характеризующую политическую атмосферу в Париже и отчасти в Англии в эту тревожную предвоенную пору.

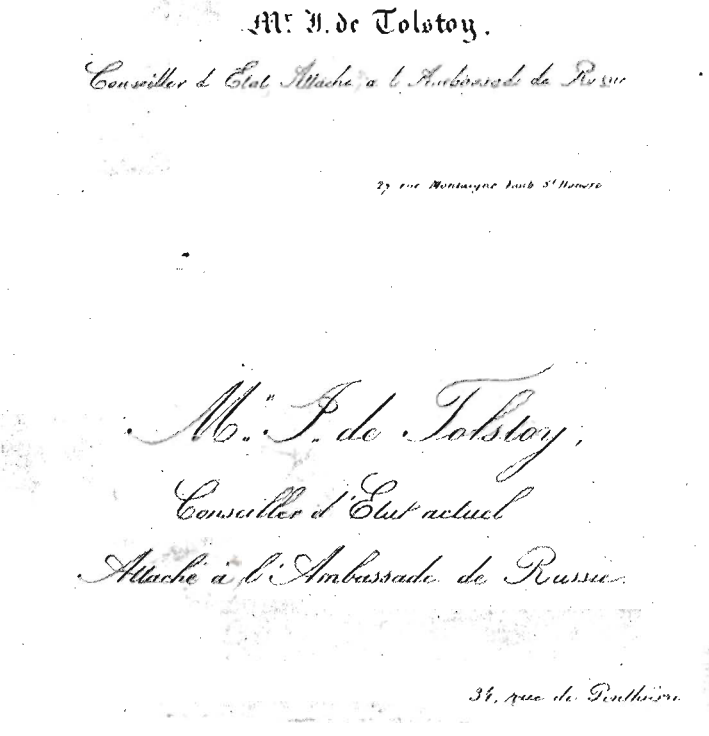
№ 123 Париж, $\frac{29 \text{ мая}}{10 \text{ июня}}$ 1853 г.

С некоторого времени идут упорные слухи о войне, которые вызывают волнение во всей Франции: курс на бирже сильно падает, встревоженные капиталисты припрятывают свои деньги, и все уверены, что мы находимся накануне всеобщей войны. Эти слухи вызваны отъездом князя Меньшикова[128] и краткими сообщениями о всех тех инцидентах, которыми отмечено было его посольство и которые газеты хвастливо раздули и снабдили злобными комментариями. Возникновению этих слухов помогли также слова, приписываемые Луи-Наполеону, который, будто бы, сказал, что «при первом известии о разрыве между Россией и Портой он прикажет своим войскам занять Бельгию и Пьемонт». Весьма трудно, однако, утверждать, в какой мере все это правдоподобно. Скорее, это даже сомнительно, и многие хорошо осведомленные люди считают, что эти слова никогда не были сказаны императором, который отличается выдержкой и планы которого в достаточной мере непроницаемы. Поэтому надо признать, что, по всей вероятности, слова эти были выдуманы кем-либо из окружающих императора, мечтающих только о победах и завоеваниях. С другой стороны, тон английских газет не мало способствовал тому, что слухам этим придавали веру и приходили в смятение. Необходимо отметить, что внезапная перемена, происшедшая во взглядах на восточный вопрос у главных органов британской прессы, особенно на страницах «Times», не может считаться естественной. Эти взгляды чересчур резко расходятся с тем, что высказывалось раньше. Приводимые теперь в «Times» аргументы диаметрально противоположны тем, которые высказывались там еще недавно, в начале миссии князя Меньшикова. Объясняется это тем, что переговоры относительно протектората над христианскими подданными Турции имели в виду некоторые преимущества, которые могли затронуть коммерческие интересы Англии. Общеизвестно, что лондонские газеты, и в особенности «Times», в своих взглядах руководствуются лишь тем, бо́льшие или меньшие выгоды для английской торговли могут быть извлечены из того или другого политического положения. К тому же известия, получаемые с Востока, несомненно, преувеличены и часто противоречивы. Эти неудобства возникают оттого, что первый попавшийся человек может пользоваться электрическим телеграфом, который должен бы быть только в исключительном пользовании правительства.

Статья «Journal des Débats» в номере от 1 июня, сообщенная мне еще накануне выхода, заметно успокоила тревогу и вызвала значительное повышение курса. Наоборот, воинствующая партия и правительственные органы печати, как «Le Constitutionnel», «La Presse», «Le Pays» и др., рвут и мечут по поводу так называемой ими измены «Journal des Débats», его «казацкой политики» и т. п.[129]. В тот же день лорд Шельбёрн, встреченный мною в клубе, сказал мне с самодовольным видом: «Надеюсь, что Россия задумается над угрожающей ей опасностью, если осмелится объявить войну Турции, в особенности, когда увидит флаг адмирала Дендаса у входа

в Дарданеллы». «Во всяком случае, милорд,—возразил я ему с живостью,—вы вспомните потом, что имели дело не с королем Оттоном и что то, ради чего мы будем воевать, нéчто иное, чем интересы еврея Пачифико»[130].

После этого я покинул его, пораженного моим ответом, не желая продолжать разговор, который мог бы принять неприятный оборот, тем более, что вокруг нас было большое количество людей, фанатически преданных


Mr J. de Tolstoy.
Conseiller d. Etat Attaché a l. Ambassade de Russie
27 rue Montaigne bois St Honoré
M.r J. de Tolstoy,
Conseiller d'Etat actuel
Attaché à l'Ambassade de Russie.
34, rue de Penthièvre.

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ Я. Н. ТОЛСТОГО, 1850—1860-е гг.
Частное собрание, Париж

мусульманству и в силу этого противников христиан. Другой член клуба спросил меня, не являюсь ли я вдохновителем статьи в «Journal des Débats», на что я ему ответил, что статья г. Бертена была внушена здравым смыслом и что она была основана на самых подлинных документах. Я добавил, что если бы я был автором подобной статьи, то привел бы неопровержимые доводы того, что случись, к несчастию, война, вся вина за нее падет исключительно на Францию и Англию.

Только обе эти страны и окажутся виновными перед потомством за потоки пролитой крови. Франция первая начала при содействии г. де Лавалета[131] путать карты, и, когда Россия захотела восстановить status quo, Франция отправила 6 или 7 кораблей, которые должны были угрожать России ее гневом. Англия, под влиянием страха перед Францией, присоединилась к ней и начала применять в отношении огромной Российской империи целую систему запугиваний и угроз, и такая бесчестная

и немного глуповатая политика поставила русское правительство в необходимость занять более враждебное положение. Другой собеседник сказал мне: «Но подумайте, ведь Турция может выставить армию в 448 тысяч человек». Я возразил, что такое огромное количество в большей части своей недисциплинированных бойцов является скорее помехой в войне. Затем, добавил я, «если бы наш император пожелал объявить, что это священная война, я уверен, приняв в расчет религиозность русского народа, что внезапно и стихийно возник бы крестовый поход, и не только 448 тысяч, но 8 миллионов поднялись бы сразу». Положительно нельзя шагу ступить, чтобы не встретить людей встревоженных, расспрашивающих вас со страхом относительно возможности европейской войны. Однако, надо отметить, что большинство этих вопрошающих заканчивает свои расспросы соображением, что европейская война ни в коем случае не может быть начата Францией, не только потому, что страна еще не оправилась от происходившей в ней смуты, но и оттого, что недовольство против сурового и дорого стоящего правительства Луи-Наполеона распространяется по Франции с изумительной быстротой и охватывает все классы общества. Демократическая партия поднимает голову, и революционный комитет, организованный на острове Джерси[132], у самых границ Франции, развивает широко свою деятельность. Ждут только момента, когда возникнет война, чтобы поднять восстание во Франции, где все для этого подготовлено. Правительство не может не знать про все эти происки, но чувствует, что оно бессильно их прекратить. Воинственный дух генералов, заседающих в Сенате и в Законодательном корпусе, пробудился опять с комическою горячностью. Принц Наполеон, облекшись в мундир генерал-лейтенанта, мечтает, что он призван воскресить славу своего дяди и одержать победу над всеми врагами Франции. Дух завоеваний значительно обострился с тех пор, как Англия открыто стала на сторону Турции и решила действовать в согласии с Францией. Слухи об европейской коалиции, к которой, будто бы, присоединились Австрия и Пруссия, только усилили воинственное увлечение как старых остатков армии первой империи, так и молодого генерала[133], которого шутки ради Луи-Наполеон дал своей армии. Не слышно более разговоров о мести за поражение при Ватерлоо и за плен на св. Елене, нет больше речи о занятии Бельгии,— Восток составляет предмет всех разговоров и всех планов военных кампаний...

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (4), лл. 71—78].

Спустя несколько дней, 18 июня 1853 г., Яков Толстой пишет новое донесение, в котором констатирует продолжающуюся предвоенную горячку в Париже, сменяющие друг друга слухи о войне или мире и т. д. Он отмечает, что демократы и социалисты твердо уверены в неизбежности войны. Передает также, что французской прессе велено поддерживать Турцию и Англию.

№ 124 Париж, 6/18 июня 1853 г.

Политическое положение в восточном вопросе остается прежним, оно тревожно, очень натянуто, в особенности же переменчиво. Бывают дни, когда панический страх охватывает всех, повсюду раздаются воинственные крики, враги правительства поднимают голову, легитимисты, орлеанисты и республиканцы с нетерпением ждут первого пушечного выстрела—

и мирный обыватель всем этим подавлен. На следующий день все меняется—никто не верит в близость войны, она невозможна материально и неосуществима по моральным соображениям. То приезд графа Панина, то известие о прибытии великой княгини[134] успокаивают умы и повышают курс на бирже. При всей этой путанице трудно разобраться в истинных намерениях правительства, которое непрочь было бы затеять войну, необходимую, по его мнению, для армии, но представляющуюся, однако, опасной в отношении населения. Но одних желаний недостаточно, нужно в данном случае иметь и соответствующие возможности. Тут камень преткновения, о который разбиваются все воинственные планы и мечты о пустой славе нового императора, серьезным образом считающего себя прирожденным завоевателем. Однако, достоверно, что республиканско-социалистическая партия твердо убеждена в том, что европейская война произойдет неизбежно. Это видно из слов членов партии, которых не постигла кара правительства и которых в достаточной мере много в Париже, а также из разговоров недовольных из других политических партий, которые прежде играли важную роль, а при теперешнем режиме обречены на бездеятельность и безвестность. Подкрепляется это мнение и тем обстоятельством, что главари демократического движения покинули Лондон. Мадзини и Кошут две недели назад выехали оттуда в неизвестном направлении[135].

Пресса вынуждена или воздерживаться или брать сторону турок. Это молчание обязательно не только для газет. Ни одна брошюра не смеет касаться турецкого вопроса, и вообще запрещено печатать что-либо, противное политической линии, принятой правительством...

... Очень забавно смотреть, как эти старые ratapoils[136]—так их здесь зовут—толкуют о планах войны, о неизбежных победах и с заржавленными шпагами в трясущихся старческих руках хвастливо грозятся разгромить русскую армию. Молодые люди также унаследовали от своих отцов бахвальство, слабость, присущую природе французского характера. Шовинизм все возрастает, все кричат, что нужна хорошая война, чтобы поднять доблесть французов, усыпленную вследствие отсутствия случая, где она могла бы выявиться.

На этих днях был вечер у принцессы Матильды[137]. В числе приглашенных был оттоманский посол Вели-паша[138]. Принцесса обратилась к нему с вопросом: «Скажите, господин посол, будет у нас война или нет, успокойте нас». Вели-паша ответил на прекрасном французском языке, на котором он говорит почти без акцента, но с некоторою медлительностью: «Я считаю возможным уверить ваше императорское высочество, что войны не будет, по крайней мере, таково мое личное убеждение. Однако, если русские будут настаивать на своих требованиях, придется воевать. Если мы уступим, то мы погибли, тогда как при войне у нас могут оказаться кое-какие шансы на спасение». Повидимому, Вели-паша выучил наизусть эту фразу и стереотипно повторяет ее повсюду, так как мне передавали, что буквально то же самое он сказал на вечере у госпожи Троллон, жены председателя Сената...

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (4), лл. 82—84, 92—93]

На полях этого донесения Орлов написал: «При нынешних обстоятельствах, чтобы судить о вранье в Париже, оно довольно интересно». Это, повидимому, общий отзыв о донесении. Рядом с пометой Орлова Нико-

лай I собственноручно выразил свои настроения следующими строками: «Да, мало надежды на такую развязку, все с ума сбрели». Это, очевидно, относится к упованиям Якова Толстого на возможность мирной развязки.

Очень характерен, между прочим, в этом донесении отчет о маневрах парижского гарнизона, происходивших в Сатори 15 июня 1853 г. Конечно, Яков Толстой взирает на французскую армию с высоты величия николаевской шагистики, превратившей, как вскоре оказалось, русское войско в кордебалет, умеющий выкидывать на парадах разные штуки ногами и руками и совсем бессильный перед европейскими прекрасно вооруженными армиями. Теперь, накануне крымского разгрома, Яков Толстой с комической важностью критикует французов и всячески успокаивает царя. В общем, на этих маневрах, по мнению Толстого, и то не так, и это неисправно. Несомненно, Николай I в последние дни перед своей «простудой» в начале 1855 г., когда из Крыма шли вести о позорных и непрерывных поражениях, не раз должен был вспомнить, как его обманывал, в числе прочих, Яков Толстой, отзываясь о французской армии—в угоду царю —так, как он о ней отзывался в своих донесениях.

Два последних донесения Якова Толстого, присланных из Парижа до выезда его в Брюссель, относятся к самому началу 1854 г. Первое помечено 3 января, а второе 18 января 1854 г.

Катастрофа придвинулась уже совсем близко. Не сегодня-завтра Франция и Англия ввяжутся в русско-турецкую войну и начнут громить Одессу, Николаев, Севастополь, начнут высаживать десанты на черноморском побережье Кавказа в помощь Шамилю. Всякий, кто знает историю крымской войны, хорошо помнит, что именно синопский бой в ноябре 1853 г. и толкнул окончательно Наполеона III и Англию на войну с Россией. Яков Толстой, явно извращая истину, стремится уверить, будто только англичане в самом деле раздражены и огорчены синопской победой Нахимова над турками, а французы только притворяются огорченными. Но и он вынужден признаться, что вся французская пресса—против России. Единственным средством против зла Яков Толстой попрежнему считает прямой денежный подкуп парижских журналистов. Для доказательства он приводит курьезнейшую и правдоподобную историю о подкупе газеты «Siècle» турецким посольством. Продолжая губительную (для Николая) политику успокаивания царских нервов ложью и преувеличениями, Яков Толстой приводит мнимые слова министров Наполеона III, будто в случае войны Франции грозит банкротство, а французскому императору—революция и т. п. Правда, тут же он приводит и более тревожные и более правдивые известия о быстро усиливающемся шовинизме, о полной, судя по всем признакам, неизбежности войны.

№ 132

Париж, $\frac{\text{22 декабря 1853 г.}}{\text{3 января 1854 г.}}$

Сильное раздражение против России волнует как парижское, так и лондонское общество. Настроение умов в обеих странах было доведено до такой степени экзальтации всеми возможными средствами. Пресса и полиция попеременно прилагали все новые и новые усилия, чтобы внушить ненависть к нам и симпатии к туркам. Но легко убедиться в том, что если в Англии эта ненависть кажется искренней, то во Франции она вызвана только искусственно. Действительно, когда пришла весть о синопской победе[139], у парижан заметна была более радость, чем грусть,

между тем как в Лондоне весть эта вызвала настоящее бешенство. И, конечно, там это было естественно и проистекало из британской гордости, считающей, что англичане одни только способны побеждать на море. Грустно видеть, что эта ненависть к России в значительной степени создана прессой. Эта гидра, которую стараются уничтожить, возрождается опять,

Я. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография, 1860-е гг.
Частное собрание, Париж

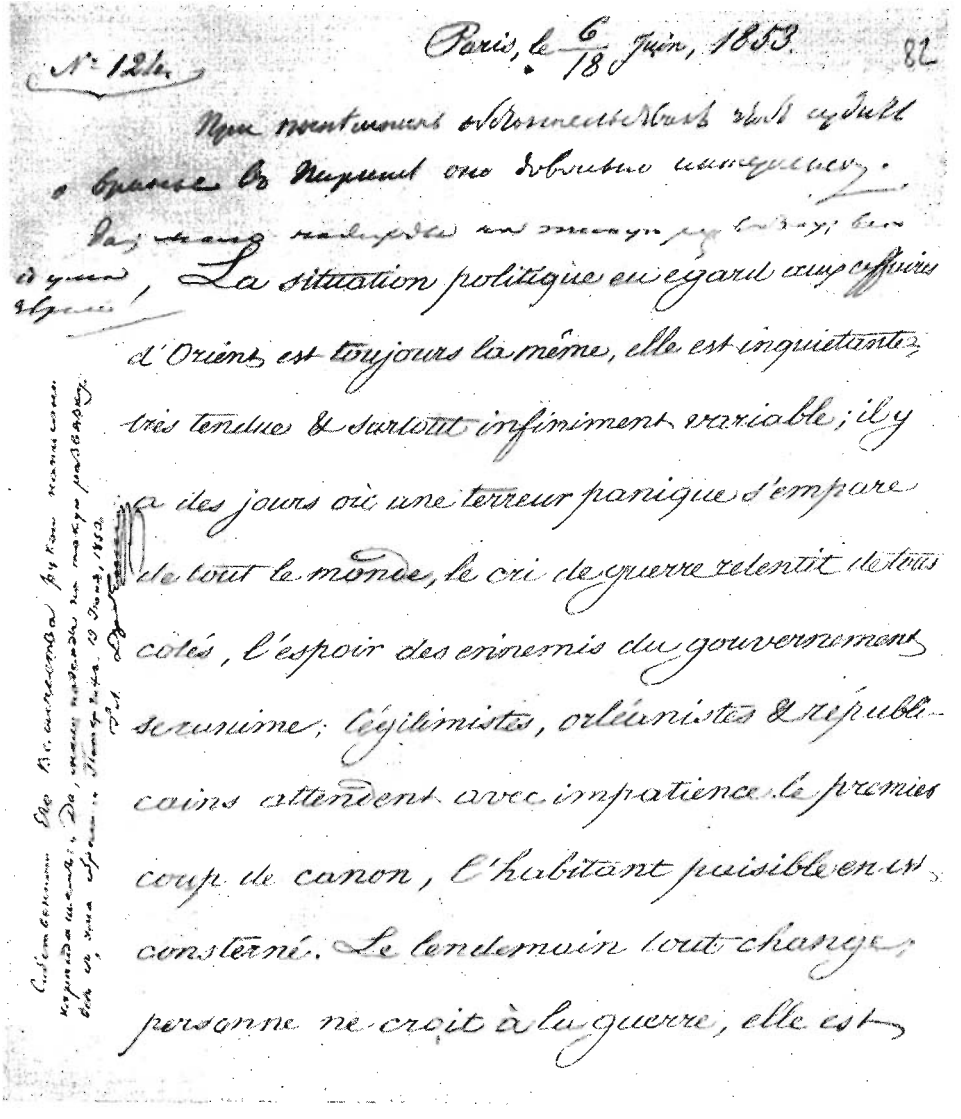
раз есть возможность творить зло, и она теперь доказала, что следует еще опасаться ее пагубного могущества. Здесь, в Париже, вся журналистика набросилась на нас. Одна лишь газета «Assemblée Nationale»[140] защищала нас на свой страх, да и то с оглядкой. Тысячи брошюр появились с тех пор, что восточный вопрос озабочивает мир, и все они направлены против нас. Я один, можно сказать, вел непрестанную борьбу, но что мог я сделать

один против множества? Если мне удавалось открыть глаза нескольким сотням, то тысячи, увлекаемые газетами, нас покидали, чтобы перекинуться на сторону врага. Недавно г. Летелье, редактор «Assemblée Nationale», который часто советовался со мной по поводу статей, печатаемых там в наших интересах и принимал мои сообщения, заявил мне, что их денежные средства приходят к концу, что, получив уже два предостережения, они находятся в большом страхе и терпят огромный ущерб. В начале года у них было 14 тысяч подписчиков, а теперь у них их осталось только 6 тысяч. Он рассказал мне также, что они получили 50 с лишком писем, написанных все в одном стиле. Он познакомил меня с одним из них нижеследующего содержания: «Более пяти лет, м. г., состою я подписчиком вашей газеты, потому что считал вас за француза, но в настоящее время, заметив, что вы русский, я прекращаю подписку: желаю, чтобы вы вернулись к более патриотическим взглядам». Подписано—барон де Пьер. Не приходится сомневаться в том, что антипатия, которой все проникнуты против нас, является результатом стараний прессы и что это недружелюбное отношение к нам, как бы искусственно оно ни было, может неблагоприятно отразиться на нашем святом деле и увеличить число наших врагов. К несчастию, единственное средство предотвратить последствия этой пагубной пропаганды—это платить. Убеждения в этой продажной стране продаются тому, кто дороже платит. Один из бывших сотрудников «Siècle», покинувший эту газету вследствие разногласий с главным редактором, рассказал мне, что турецкое посольство самым регулярным образом платит редакции этой газеты ежемесячно по 100 наполеондоров (2000 фр.) и что ему самому неоднократно приходилось принимать эти деньги от Сельфис-бея[141], выдавая соответствующие расписки. Он же передал мне, что в октябре, когда эта сумма не была уплачена в срок, заведующий редакцией навел справки по поводу этой задержки. Оказалось, что турецкий посол решил из экономии воздержаться от уплаты, полагая, что, раз общественное мнение в достаточной мере уже благоприятно настроено по отношению к Турции, нет оснований продолжать долее этот излишний расход. И вот тут-то, ко всеобщему удивлению, и появилась ироническая и почти враждебная Порте статья, и оттоманский посол, испуганный этой внезапной переменой фронта, могущей оказать неблагоприятное впечатление, поспешил внести обусловленную плату, и «Siècle» вновь сделался одним из самых фанатических приверженцев султана.

Г-н Вольферс[142] передал мне рукопись приготовленной им к печати брошюры под заглавием: «La Russie et l'equilibre européen» [«Россия и европейское равновесие»], прося меня сделать нужные изменения и замечания. Мы вполне договорились с ним относительно указанных мною исправлений и дополнений, которые я посоветовал ему сделать в этой его работе. Брошюра произвела большое впечатление при своем выходе в свет. Главные газеты отозвались о ней, как о замечательной публикации, так что автор мечтает выпустить ее вторым изданием, снабдив его предисловием, в котором он думает поместить новые аргументы в пользу своего мнения о неотложной необходимости союза России с Францией.

Тот же самый публицист, бельгиец по происхождению, выполнивший также несколько поручений нидерландского правительства, сообщил мне рукопись своей другой работы под заглавием: «L'Etat de la Belgique dans ses rapports avec la France» [«О положении Бельгии в ее сношениях с Францией»], которую я прилагаю при сем, не разделяя, впрочем, вполне пред-

лагаемых автором мероприятий. В этой рукописи отмечаются важное значение маленького Бельгийского королевства и безусловная необходимость защитить его от хищнических поползновений Франции. Автор указывает на средства, при помощи которых, по его мнению, этого можно было бы



ДОНЕСЕНИЕ Я. Н. ТОЛСТОГО ОТ 6/18 ИЮНЯ 1853 г.
Первая страница
Сверху пометы А. Ф. Орлова и Николая I
Архив революции, Москва

с успехом достигнуть, но эти самые средства, в глазах людей практических, далеко не представляются безошибочными, пока на опыте не будет доказана их осуществимость. Как бы то ни было, этот проект, весьма недурно изложенный, не имеет, повидимому, вопреки утверждению автора, особых шансов на успех, а, наоборот, должен встретить неисчислимые трудности.

Автор доказывает только, что, в случае возникновения европейской войны, Бельгия будет в несколько часов и без всяких затруднений оккупирована французской армией и что, вне всякого сомнения, бельгийские войска не окажут в этом случае никакого сопротивления и сами с радостью перейдут под французские знамена. Это находит свое подтверждение в словах Луи-Наполеона; когда ему сказали, что Бельгия располагает армией в 100 тысяч человек, он ответил: «Тем лучше для нас, это на 100 тысяч больше в моей армии».

С момента, как получено было известие об отставке лорда Пальмерстона[143], Луи-Наполеон находится в сильном раздражении, которое заметно, несмотря на его обычную флегматичность. Он послал за маршалом де Сент-Арно[144] и приказал ему приготовиться к мобилизации армии численностью в 600 тысяч человек. Военный министр ответил ему, что, призвав под знамена запасных, можно вполне достигнуть этой цифры и что она находится в полном соответствии с его мобилизационными планами, но что вряд ли хватит средств на содержание такой армии.

На это Луи-Наполеон в раздражении сказал, что «если его политика того потребует, он сумеет найти способы достать деньги, а что, если его министры не смогут оправдать его доверие, он найдет других». Военный министр отправился после того к Фульду и Барошу[145] и сообщил им о том, что произошло—они все трое опасаются войны. Они полагают, что, если только она возникнет, неизбежно падение правительства, с которым они связаны своим участием в перевороте. Г-н Фульд неоднократно повторял: «Война—это банкротство». На следующий день было созвано заседание совета министров. Персиньи[146] говорил с гневом, что скоро придется иметь против себя всю Европу. Друэн де Люис[147] объявил, что нет оснований сомневаться в Англии, она не изменит союзу. Сент-Арно заявил просто-напросто, что раньше, чем нападать, нужно воздержаться от поступков, которые напоминали бы поступки сумасшедших. Персиньи после этого, приходя еще больше в гнев, воскликнул, что нельзя сомневаться в его преданности династии и что его советы—это советы преданного и бескорыстного друга. Совет министров разошелся среди всеобщего волнения, не приняв никакого решения.

Известно, что Луи-Наполеон всегда оставляет за собой принятие единолично того решения, которое он считает для себя подходящим.

Чтобы понять гнев г. де Персиньи, необходимо знать, что он поддерживает самые интимные отношения с Иеронимом Бонапартом и его сыном. Между тем, Иероним придерживается убеждения, что Европа надует императора, его племянника, объединившись против него. И отец и сын желали бы, чтобы вошли в соглашение с революционерами всех стран и, в особенности, примирились с республиканцами Франции. Они предлагают свои услуги для того, чтобы устроить это примирение. Луи-Наполеон, у которого свои виды, не разделяет доверия дяди и племянника к союзу с республиканцами. Он опасается, что, если он доверится им, они первые толкнут его к гибели. Он даже подозревает своего кузена в том, что тот советует этот союз, имея в виду свергнуть его потом и самому занять его место. Недавно Луи-Наполеон сказал: «Если бы я был уверен в республиканцах, я не боялся бы Европы, а если она выведет меня из терпения, я сброшу свою корону, надену фригийский колпак и провозглашу всемирную республику». Инстинкт Луи-Наполеона подсказывает ему, что республиканцы—его смертельные враги.

В настоящее время последний том стихов Виктора Гюго воскрешает непримиримую ненависть[148]. 40 тысяч экземпляров этого тома распространены только в одном Париже, несмотря на бдительность полиции. Г-н де Персиньи уверен, что его императору не суждено долго жить,—возможно, что он умрет естественной смертью, возможно, что его убьют, и потому он сблизился с Иеронимом и всецело предался их политике и их интересам. Я получил эти подробности из очень хорошо осведомленного источника [149].

[К делу III Отд. 1 эксп., № 191, пак. 10 (4), лл. 156—163 об.].

В противоположность предыдущему донесению, письмо от 18 января 1854 г., последнее присланное Толстым из Парижа, в значительной своей части совершенно лишено интереса. Это длиннейшее и очень шаблонное не только по содержанию, но и по форме изложение официальной русской точки зрения на синопский бой, на занятие дунайских княжеств русскими войсками и т. п., изложение, сделанное Яковом Толстым в разговоре со знакомым ему французским сенатором Дюпеном. Трудно понять, для какой надобности Толстой все это пишет. Но ответ Дюпена на все эти разглагольствования о правоте и святости русского дела совершенно недвусмысленный: война неизбежна. И снова утешительный рефрен к концу: Франция накануне банкротства, Ротшильд отказывает в займе Французской империи и т. д. Как известно, финансы Франции стояли прочно, золотое обращение не колебалось, финансисты всей Европы предлагали займы...

На этом мы обрываем выдержки из имеющихся в наших руках донесений Якова Толстого. Если, по словам поэта, в это время «под говор лжи и лести» царская Россия подошла к краю гибели, то, бесспорно, в этом «говоре» весьма видную роль сыграли докладывавшиеся непосредственно Николаю сообщения Якова Толстого. Но и с этой точки зрения его последние донесения не лишены исторического интереса.

Вообще же повторим то, с чего начали: эта корреспонденция агента Бенкендорфа и Орлова дает некоторые яркие штрихи и мазки, воскрешающие разом всю историческую обстановку момента, и историк Франции, несомненно, не откажет во внимании многим страницам этих донесений, с незначительной частью которых мы только что ознакомили читателя.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Помещаемые в настоящей публикации донесения Якова Толстого извлечены из обширной переписки его с III отделением, охватывающей период с конца 1836 по 1867 гг. Донесения в собственном смысле слова, т. е. отчеты Толстого шефу жандармов о состоянии французской прессы, о происходящих событиях и пр., сохранились лишь по 1855 г. включительно. Судьба остальных неизвестна, и не исключена возможность, что они просто еще не разысканы в архивах. С октября 1837 г. по январь 1854 г. корреспонденция Толстого помечена Парижем, с марта 1854 г. и за 1855 г.—Брюсселем, куда во время крымской войны переехал Толстой. Донесения, как правило, нумерованы; донесений к Бенкендорфу—58, к Орлову—188; за единичными исключениями, все они налицо. Начиная с 1848 г., рапорты часто отправлялись без подписи и без обозначения адресата. К своим сообщениям Толстой прилагал обычно всевозможный печатный материал; последний почти не сохранился.

Кроме донесений Бенкендорфу и Орлову, в архиве III отделения имеются письма Толстого к А. А. Сагтынскому (чиновнику особых поручений при III отделении) и к Дубельту. Эти письма служат зачастую хорошим дополнением к отчетам Толстого. Вся переписка его, кроме нескольких писем к Дубельту и ответов последнего, а также незначительного числа других документов,—на французском языке.

При отборе текстов для публикации была взята переписка, отражающая наиболее яркие политические события, свидетелем которых был Толстой (восстание Бланки, переворот 2 декабря 1851 г. и т. п.); далее отчеты, характеризующие французскую прессу, следить за которой было основной обязанностью Толстого; наконец, документы, сообщающие новости литературной жизни Франции. Ограниченный размер публикации не позволил, однако, и в этих суженных рамках дать исчерпывающе весь заслуживающий внимания материал, и значительное количество его осталось неиспользованным. Хронологически публикуемые выдержки обрываются на январе 1854 г., т. е. на том моменте, когда Толстой выехал из Франции и перестал быть очевидцем парижской жизни.

Переписка Толстого хранится в Архиве революции в Москве, под рубрикой «Дело III отделения 1-й экспедиции № 191 (начато в 1836 г.)», с подразделением на литеры А—Н и на части 1—6. Донесения за 1849—1855 гг. сложены в особые картоны с заголовком: «К Делу 1836 г. № 191», а внутри картонов разложены в пакетах по годам. Под рубрикой «Дело III отделения 1-й экспедиции № 95» выделены составлявшиеся по-русски резюме донесений Толстого за 1854 г. Донесения за 1848 г. изъяты из общей переписки Толстого в «Дело III отделения 1-й экспедиции № 337. О политических переворотах в Европе, ч. I» (хранится в ГАФКЭ, в Москве). Отдельные письма и документы Толстого встречаются и в ряде других дел III отделения. Это объясняется тем, что, не довольствуясь порученной ему систематической информацией о французской прессе и французской политической жизни, Толстой сообщал также, от случая к случаю, разнообразные попадавшие в поле его зрения факты, которые, по его мнению, могли заинтересовать начальство. Например, о русских подданных, «уклоняющихся от православия», о проживающих самовольно за границей, о поляках в Париже и т. д. При существовавшей в III отделении системе классификации дел эта переписка изымалась из «Дела» Толстого, попадая в соответствующие предметные рубрики.

О существовании переписки Толстого с III отделением известно уже давно. П. Е. Щеголев еще в 1904 г. указывал, что в архиве III отделения имеются «кипы (буквально) его донесений из Франции... которые, быть может, представят даже интерес для историков Франции, ибо Толстой обстоятельно знакомил своих хозяев с политической жизнью Франции, с революциями...» (Щеголев П. Е., Из жизни и творчества Пушкина, изд. 3-е, ГИХЛ, 1931, 61). Имел доступ к материалу и М. Лемке, судя по ряду его указаний о Толстом (Лемке М., Николаевские жандармы и литература, СПБ., 1909, 105—106). Однако, до последнего времени этот архивный материал оставался неизученным, в противоположность документации, относящейся к первому периоду жизни Як. Толстого, связанному с его участием в тайных обществах и со встречами с Пушкиным (см. Модзалевский Б. Л., Я. Н. Толстой. Биографический очерк.— «Русская Старина», 1899, IX—X; Щеголев П. Е., цит. соч., 39—68; Щеглова С. А., Памяти декабристов. Сборник материалов. Изд. Академии наук СССР, 1926, в. 2, 164—188 и др.). Исключение составляют лишь донесения Толстого о революции 1848 г., опубликованные Центрархивом («Революция 1848 г. во Франции. Донесения Я. Толстого», ГИЗ, Л., 1926). Донесения эти, как указано выше, выделены из общей переписки Толстого.

Помимо III отделения, Толстой посылал корреспонденции в министерство народного просвещения, корреспондентом которого (см. ниже) он официально числился одновременно со службой в III отделении. Эта переписка осталась нам неизвестной. В бывшем архиве министерства, по справке Ленинградского отделения Центрального исторического архива (ЛОЦИА), сохранился лишь ряд деловых бумаг, письма по вопросам снабжения министерства и лично министра выходившими во Франции книгами и журналами, а также отчет Толстого от 1/12 января 1843 г. о состоянии народного образования во Франции. Последний документ был опубликован проф. А. Мазоном (Mazon A., Rapport d'un Russe sur l'instruction publique en France en 1842.—«Feuilles d'Histoire», 1914, № 7, 1 juillet). По сообщению профессора Мазона, очень большой личный архив Толстого сохранился в Париже, в одном из частных собраний.

Служебные бумаги Толстого, судя по документам III отделения, поступили, повидимому, после его смерти в распоряжение русского посольства в Париже.

[2] Перечень (неполный) печатных работ Толстого дан Б. Л. Модзалевским в названной выше статье его в «Русской Старине» (1899, IX—X); см. также Quérard (J.-M.), Les supercheries littéraires devoilées, P., 1870, III, 476—477.

[3] См. Дело III отделения 1 экспедиции № 191, ч. I, 1836, л. 2—отпуск письма Бенкендорфа Палену. Бенкендорф сообщал здесь, что он докладывал царю о желательности использовать Толстого для сношений с французскими журналистами и что Николай I распорядился вызвать предварительно Толстого в Петербург. Палену поручалось передать это распоряжение по назначению, а также заплатить долги

Толстого (не свыше, однако, 10.000 руб.), если они служат препятствием к его выезду из Парижа.

[4] Этот совет был осуществлен. 18 февраля 1837 г. Толстой, по высочайшему повелению, был назначен корреспондентом министерства народного просвещения (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. I, лл. 14—16, а также «Формулярный список» Толстого—ЛОЦИА, фонд департамента народного просвещения, д. № 141592, кар. 3779 (1866 г.).

[5] Durand Шарль (ум. в 1848 г.)—французский литератор, редактор «Journal de Francfort», выходившей на французском языке и субсидировавшейся русским, австрийским и прусским правительствами; агент III отделения (1833—1839). В делах III отделения сохранились его донесения и переписка с ним (Дело III отд. 1 эксп. № 761, ч. 1—6). О Дюране см. также в статье С. Дурылина, Александр Дюма-отец и Россия, стр. 498—501 настоящего издания.

[6] Пален Петр Петрович, граф (1778—1864)—русский посол во Франции в 1835—1851 гг.

[7] Паскевич Иван Федорович, граф Эриванский, светл. кн. Варшавский (1782—1856). Перу Толстого принадлежала биография Паскевича: «Essai biographique et historique sur le feld-maréchal, prince de Varsovie, comte Paskevitch d'Erivan», P., 1835, переведенная также на польский язык (1840). Этой книгой, преследовавшей цель реабилитировать в глазах общественного мнения Франции усмирителя Польши, Толстой приобрел себе в лице Паскевича надежного покровителя. По мнению Б. Л. Модзалевского, Паскевич помог ему получить прощение николаевского правительства, до тех пор остававшегося глухим к его покаяниям (см. Модзалевский, цит. соч.—«Русская Старина», 1892, X, 185—186). Помещаемое письмо Паскевича к Бенкендорфу подтверждает это предположение. См. также Головин Ив., Записки, Лейпциг, 1859, 77.

[8] «Gazette de France» (1631—1914)—старейшая французская газета, наиболее видный из роялистских органов. После Июльской революции вела непрерывную борьбу с правительством Луи-Филиппа, во имя восстановления легитимной монархии. Газета стремилась «примирить» защиту монархических традиций с демократическими свободами, высказывалась за всеобщее избирательное право, заигрывала с республиканцами.

[9] «La Quotidienne» (1792—1847)—одна из старейших роялистских газет, пользовавшаяся большой известностью. Во время Реставрации—орган крайней роялистской и клерикальной правой, прозванный за свои призывы к самой оголтелой реакции «кровавой монашенкой» («La nonne sanglante»). При Луи-Филиппе—орган воинствующей фракции легитимистской партии, призывавший к насильственному свержению династии Орлеанов. Газета постоянно подвергалась преследованиям и штрафам со стороны правительства Луи-Филиппа.

[10] «La Presse» (1836—1931?)—известная французская газета, основанная Эмилем Жирарденом. «La Presse» произвела переворот в организации газетного дела во Франции, первая снизив вдвое подписную плату (с 80 до 40 фр.) и построив свое материальное благополучие на многотиражности и доходах с объявлений. Газета пользовалась для своего времени очень широким распространением, занимая по числу подписчиков второе место среди французских газет (имела в 1840-х гг. до 20.000 подписчиков). Объявления давали газете (по данным на 1838 г.) до 150 тыс. франков в год. Газета отличалась богатством и разнообразием содержания и насчитывала среди постоянных сотрудников своих ряд авторитетнейших в различных областях знаний имен и крупнейших писателей своего времени. Политическая ориентация «Presse» не раз менялась. В первые годы своего существования—к моменту, описываемому Толстым, она была всецело на стороне Луи-Филиппа.

[11] «La France» (1834—1847)—легитимистская газета. По характеристике легитимистского журналиста Ал. Нетмана — «арьергард» легитимистской печати, (Nettement Al., La presse parisienne, P., 1846, 119—120). По числу подписчиков занимала одно из последних мест среди ежедневных парижских газет. В переписке Толстого сохранилась докладная записка редактора газеты, виконта де Жайи (Jailly Габриэль-Гектор, 1759—1857), предназначавшаяся для Николая I. Записка дает ряд фактических сведений о газете (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. В, л. 195 об.). С «France» Толстой был наиболее тесно связан в течение всего времени ее существования.

[12] «La Chronique de Paris» (1834—1837)—воскресная политическая и литературная газета; руководил газетой литератор Дюкет (Dukette Вильям, 1805—1863), редактор «Dictionnaire de la conversation et de la lecture» (см. ниже, прим. 32). Толстой называет редактором Chronique также Капфига (Capefigue Баптист-Оноре-Раймон, 1801—1872), упоминаемого французской библиографией лишь в качестве

сотрудника газеты. Последний был известен в те годы, как автор многочисленных исторических сочинений, написанных в духе крайней монархической и клерикальной нетерпимости, а позднее, как автор «будуарных» романов на исторические сюжеты. Биографы Капфига знают факт получения им от правительства Луи-Филиппа сумм из секретных фондов.

[13] «Journal des Débats» (1789—существует до настоящего времени)—одна из старейших и влиятельнейших французских газет. Во время Июльской монархии пользовалась особым авторитетом. Полуофициоз. Руководил газетой в те годы ее основатель, Бертен (Bertin Луи-Франсуа, так называемый Бертен-старший, 1766—1841). Не ограничиваясь широкой политической информацией, «Journal des Débats» держала своих читателей в курсе всего нового в области науки, литературы, искусства, располагая исключительным по блеску личным составом сотрудников. По отношению к официальной России газета занимала резко враждебную позицию, что не мешало ей уделять некоторое внимание русской литературе, искусству, музыке и пр.

[14] Michaud Жозеф-Франсуа (1767—1839)—публицист, историк, член Французской академии (1815), один из видных легитимистов, многолетний редактор и сотрудник «Quotidienne».

[15] Laurentie Пьер-Себастьен (1793—1876)—один из виднейших публицистов легитимистского лагеря, редактор и совладелец «Quotidienne».

[16] Genoude Антуан-Эжен, аббат (1792—1849),—публицист, многолетний редактор «Gazette de France». Духовный сан Женуд принял в 1835 г.

[17] Имеется в виду крайне агрессивная и оскорбительная для поляков речь, произнесенная Николаем I 4/16 октября 1835 г., во время посещения Варшавы, перед польской депутацией. При опубликовании речь была изменена, однако, в европейскую прессу проник не официальный вариант, а подлинный текст (ср. Schiemann Th., Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I, B.-Lpz., 1904—1919, III, 277).

[18] Salvandy Нарцисс-Ахилл, граф де (1795—1856), — политический деятель, публицист, историк, член Французской академии (1835), министр народного просвещения (1837—1839), многолетний сотрудник «Journal des Débats».

[19] Janin Габриэль-Жюль (1804—1874)—романист и критик, был одним из плодовитейших писателей своего времени. Помимо «Journal des Débats», постоянным сотрудником которой он состоял с 1829 г. и где вел театральный фельетон и помещал литературно-критические статьи, Жанен печатался в те же годы также в «L'Artiste», «Revue de Paris», «Musée de Famille», «Revue des Deux Mondes» и ряде других органов. Ни о каких попытках «купить» Жанена в дальнейших донесениях Толстого нет речи.

[20] Girardin Эмиль де (1806—1881)—журналист и политический деятель, член палаты депутатов (1834—1839, 1842—1848), инициатор издания во Франции многотиражной дешевой газеты (см. прим. 10-е). Автор многочисленных публицистических сочинений и нескольких (неудачных) драм. Человек большого ума и блестящих дарований, Жирарден был, однако, нечистоплотным дельцом и крайне беспринципным политиком. В рецензии на книгу Жирардена «Социализм и налог» (1850) Маркс писал: «Из всех шарлатанских реклам, сочиненных когда-либо господином Жирарденом, а имя им, как известно, легион, этот проект о налоге на капитал является, несомненно, шедевром» (Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, ИМЭЛ, 1931, VIII, 315). Те же шарлатанские приемы применялись Жирарденом и при ведении газеты. Будучи прекрасным редактором и организатором газетного дела, Жирарден не стеснялся, вместе с тем, в выборе способов привлечения для своего издания денежных средств и решался, «получая правительственную субсидию, стучаться в двери и стоять с протянутой рукой у порога всех иностранных посольств и миссий» (Goltier J. et Lefebvre R., Histoire de la Presse.—«Crapouillot», 1934, juin, 27). Эти свойства Жирардена особенно ярко выступают в публикуемых нами документах.

[21] «Revue des Deux Mondes» (1829—существует до настоящего времени). Этот руководимый Бюлозом (Buloz Франсуа, 1804—1877) и получивший такую широкую известность журнал успел уже к тому времени завоевать себе положение, уделяя преимущественное внимание литературе и привлекая к сотрудничеству крупнейших писателей и поэтов эпохи.

[22] «La France Littéraire» (1832—1842?)—литературный журнал, выходивший под редакцией Мало (Malo Шарль, 1790—1871). По указанию французской библиографии, журнал прекратился в 1836 г. (ср. Hatin Eugène, Bibliographie de la presse périodique française, P., 1866, по указателю). Между тем, Толстой пишет о журнале, как о существующем в конце 1839 г. и в октябре 1842 г. (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. B, л. 300 и лит. D, л. 55 об.).

[23] Русско-турецкая война 1828—1829 гг.

[24] Демидов Анатолий Николаевич, позднее кн. Сан-Донато (1812—1870)—известный богач и меценат. Получив образование во Франции, Демидов был связан с литературными и научными ее кругами. В 1837 г. на средства Демидова была снаряжена научная экспедиция на юг России, в которой принимал участие ряд французских ученых и художников. В конце того же 1837 г. Демидов начал сотрудничать в «Journal des Débats».

[25] Отставка Тьера 25 августа 1836 г., после пребывания во главе кабинета (первого кабинета Тьера) с 22 февраля того же года.

[26] «La Tribune des Départements» (1829—1835)—самая влиятельная республиканская газета своего времени, выходившая под редакцией братьев Фабр (Fabre) и А. Марраста (Marrast). Подвергалась непрерывным преследованиям правительства Луи-Филиппа. Число судебных процессов и сумма уплаченных ею штрафов приводятся в литературе, как исключительные по своей величине (до 114 привлечений к суду, до 23 приговоров по ним и до 160 тыс. франков штрафа). Указания Толстого во много раз превышают, однако, и эти баснословные для 30-х годов цифры. Во время процессов «Tribune» практиковались сборы средств в ее пользу. Преследования, в конце концов, задушили газету.

[27] «Le Polonais»—о каком точно органе польской эмиграции идет речь, установить не удалось. Толстой называет «Le Polonais» газетой; по другим данным под этим названием в Париже выходил ежемесячный журнал (см. приложение к письму Палена к Нессельроде от 3/15 августа 1836 г.—Фонд М. И. Д., Канц. réception, дело № 153, 1836, л. 96 об. Архив внешней политики, Москва). Hatin также называет «Le Polonais» журналом, существовавшим, однако, лишь в 1833—1834 гг.

[28] Предложение основать во Франции собственную газету, несмотря на поддержку Паскевича, не было принято. Мысль эта не встречала, видимо, сочувствия Николая I. Так, 14/26 января 1843 г., отвечая на письмо Паскевича, снова рекомендовавшего «устроить секретно свой орган печати за границей», царь писал, что находит лишним «отвечать на статьи и брошюры, издаваемые за границей с ругательствами на нас», по той причине, что «кроме того, что считаю сие ниже нашего достоинства, но и пользы не предвижу... Пусть лают на нас, им же хуже. Придет время, они все будут перед нами на коленях с повинной, прося помощи».—Щербатов, Ген.-фельдм. кн. Паскевич, его жизнь и деятельность, 1896, V, 306—307.

[29] Balbi Адриен (1782—1848)—географ и статистик, автор ряда трудов, среди которых наибольшей известностью пользовалось «Abrégé de Géographie», P., 1833. В предисловии к этой книге (стр. XXXVIII) Бальби свидетельствует, что Толстой, действительно, оказал ему большую помощь в составлении отдела посвященного России и являлся также автором ряда заметок по Франции, Германии и Италии. Бальби принадлежит также специальная работа о России: «L'Empire Russe comparé aux principaux états du monde, ou essai sur la statistique de la Russie, considérée sous les rapports géographique, moral et politique», P., 1829. Участие в этой книжке Толстого, равным образом, оговорено Бальби.

[30] «L'Univers Pittoresque. Histoire et description de tous les peuples, de leurs religions, mœurs, coutumes, industrie», P., Firmin Didot-frères, 1835—1856, 62 vls. (Живописная вселенная. История и описание религий, нравов, обычаев, промышленной жизни всех народов). Издание распадалось на разделы: Европа, Америка, Азия, Океания, и выходило в виде монографических работ отдельных авторов. Среди последних Толстого мы не находим. Его участие в «L'Univers» ограничивалось, повидимому, подбором и предварительной обработкой материала. Толстой и позднее поддерживал связь с «Univers» (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. А).

[31] Malte-Brun (1775—1826)—географ и публицист. Толстой имеет в виду его известный труд «Précis de géographie universelle», издание которого было закончено после смерти автора. В VII томе, посвященном Восточной Европе («Europe Orientale, peuples slaves», P., 1833), отмечено, что при составлении раздела России ряд сведений был получен от русских без указания, однако, их имен.

[32] «Dictionnaire de la conversation et de la lecture. Répertoire des connaissances usuelles», P., 1833—1852, 68 vls. Энциклопедический словарь, выходивший под общей редакцией В. Дюкета и при сотрудничестве ряда крупных французских ученых и писателей. Какие именно статьи в словаре написаны Толстым, мы не выявляли. В основном списке авторов словаря он, во всяком случае, не значится (ср. I том 2-го издания словаря 1852 г.).

[33] Толстой вернулся в Париж лишь 21/9 октября 1837 г., сильно задержавшись в дороге (см. донесение № 1 от 24/12 октября 1837 г. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. А, л. 21).

[34] Правительство Июльской монархии поддерживало борьбу Уругвая с Аргентиной. В 1838 г. оно посылало эскадру для блокады Буэнос-Айреса. Осенью 1838 г. посы-

лалась также эскадра к берегам Мексики, от которой Франция требовала возмещения убытков, понесенных ею во время гражданской войны в Мексике, и гарантий безопасности для французских подданных.

[35] «Le Courrier Français» (1819—1851)—влиятельная в то время ежедневная газета, орган либеральной оппозиции.

[36] В большой редакционной статье «Journal des Débats» от 8 сентября 1838 г. сообщала о приказе С. П. Шипова (генерал-лейтенанта, председательствующего в правительственной комиссии внутренних и духовных дел и народного просвещения Царства Польского, 1837—1840), запрещающем ношение польского национального костюма и об открытии во всех польских деревнях складов готового платья, в которых население могло бы приобретать себе одежду нового образца. Газета ставила это мероприятие в один ряд с вышедшим ранее распоряжением о введении в школах Польши обязательного обучения русскому языку и квалифицировала его, как один из самых нестерпимых видов пытки, превращающий повседневные привычки и обыденные действия людей в источник мучений. Сообщение «Journal des Débats» было подхвачено другими французскими газетами и послужило поводом для резкой критики руссификаторской политики самодержавия в Польше.

[37] Пален, действительно, обратился к Нессельроде, поддерживая просьбу Жирардена. «Хотя,—писал он (переводим с французского),—взгляды, защищавшиеся до сих пор Эмилем Жирарденом, и не отличались слишком высокой нравственностью и он меняет их, поскольку ему это выгодно, я полагаю, что, пока он будет оставаться в тех рамках умеренности, какой придерживается ныне, и будет защищать деятельность нашего правительства от нападок хулителей, его (Жирардена) не следует обескураживать. Тем более, что он просит всего лишь о разрешении допустить распространение его газеты в России». Ответ Нессельроде гласил, что «„Presse“ уже включена в список газет, распространение которых разрешено в России, и публика может, следовательно, приобретать ее путем подписки в санкт-петербургской газетной экспедиции...». Прося Палена уведомить об этом Эмиля Жирардена, Нессельроде предлагал, одновременно, указать ему, что «газета его будет пользоваться предоставленной ей льготой до тех пор, пока она будет вестись в том же умеренном духе, в каком ведется ныне» (Депеша Палена к Нессельроде от 6/18 октября 1838 г.—Фонд М. И. Д., Канц. réception, дело № 170, лл. 44—45. Архив внешней политики, Москва; отпуск депеши Нессельроде к Палену от 20 декабря 1838 г.—там же, лл. 296—297).

[38] Molé Луи-Матьё, граф (1781—1855)—в то время и по март 1839 г.—глава кабинета министров.

[39] Речь идет о книгах Эмиля Жирардена: «De l'instruction publique en France», 1838; «De la presse périodique au dix-neuvième siècle», 1836; «Etudes politiques», P., 1838.

[40] «Le Constitutionnel» (1815—187?)—газета либерально-буржуазного направления, игравшая очень видную роль в последние годы Реставрации и в первые дни после июльского переворота. К моменту, описываемому Толстым, и по 1843 г., когда она была куплена доктором Вероном, далеко не пользовалась своим прежним влиянием. Газета являлась органом правительственной ориентации. См. также прим. 71-е и 129-е.

[41] См. прим. 5-е.

[42] «La France et l'Europe» (1838—1839)—политический и литературный двухнедельный журнал. Выходил при поддержке А. Беррье и редактировался видным легитимистским журналистом Нетманом (Nettement Альфред, 1805—1869), сторонником сближения с Россией. Журнал уделял большое внимание вопросам религии, пытался касаться социальных проблем, помещал интересные литературные новинки (Ср. Biré Edmond, Alfred Nettement. La presse royaliste de 1830 à 1852, P., 1901, 233—240, 271—272). См. также прим. 71-е.

[43] «Revue du Nord» (1835—1839?)—ежемесячный журнал, освещавший, по преимуществу, вопросы политической и культурной жизни германских государств. Толстой был приглашен сотрудничать в этом журнале. Списавшись с Бенкендорфом и получив его разрешение и полномочия на будущее давать свое согласие при всех аналогичных обращениях со стороны французской прессы, Толстой связался с журналом (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. А, лл. 64 об., 67 об., 100 об.). По данным французской библиографии, «Revue du Nord» прекратился в 1838 г. Толстой поддерживал связь с журналом в течение 1839 г., и, по его указаниям, журнал перестал выходить лишь в конце 1839 г. (см. письмо Толстого к Сагтынскому от 24 ноября/6 декабря 1839 г. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. В., лл. 299 об.—300).

[44] Schnitzler Жан-Анри (1802—1871)—французский литератор. Автор ряда статистических и исторических трудов, в том числе: «Essai d'une statistique générale de l'Empire de Russie, accompagné d'aperçus historiques», Strassbourg, 1829; «La Russie,

la Pologne et la Finlande, tableau statistique, géographique», P., 1835. За эти работы Шницлер получил уже в 1835 г. Станислава. Толстому представлялось очень заманчивым располагать пером Шницлера. Однако, позднее Шницлер выступил с сочинениями о России, которые едва ли могли расцениваться, как особо «благонамеренные», царским правительством. Так, в статье о Николае I в «Encyclopédie des gens du monde», XVIII, 1843, осуждается польская политика царя: в «L'histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas», P., 1847, 2 vls., большое место уделено декабрьским событиям, истории тайных обществ в России, процессу и казни декабристов во время которой Шницлер был в Петербурге (см. «Русский Архив», 1882, I).

[45] Chopin Жан-Мари (1796—1870)—французский литератор, секретарь и библиотекарь Александра Борисовича Куракина—русского посла в Париже (1808—1812), выехавший с ним в Россию. Имеется в виду 2-томная книга Шопена «Russie», вышедшая в 1838 г. в серии «Univers Pittoresque». Книга знакомит с географией, экономикой, административным устройством и историей России. Исторический очерк заканчивается царствованием Николая I. Этот очерк писался под наблюдением Толстого. Однако, по требованию издателя, Шопен несколько отступил от редакции Толстого, чем вызвал его недовольство. Толстой колебался даже, передавать ли Шопену царский подарок, предназначенный автору еще до выхода в свет II тома, где помещена история царствования Николая I. Впрочем, в конце концов они договорились, и подарок был передан Шопену (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. В., лл. 110—111 об., 128—129 об.; 205 об.) Шопен является автором и другой работы о России: «Coup d'œil sur Saint-Pétersbourg», P., 1821, изданной вторично в 1822 г. под названием: «De l'Etat actuel de la Russie ou Observation sur ses mœurs, son influence politique et sa littérature; suivi de poésie traduite de russe». Позднее вышли: «Révolution des peuples du Nord», P., 1841—1842 (значительная часть этой книги отведена истории России), и «Choix de nouvelles russes de Lermontoff, Pouchkine, von Wisine etc.», P., 1853.

[46] Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 3. лл. 1—5, 8. Это было уже вторичное с начала службы награждение Толстого. В январе 1838 г. он получил «высочайшую» благодарность и полугодовой оклад за представление статистических таблиц французской и английской периодики того времени. Французская таблица в делах не сохранилась, и все наши попытки разыскать ее остались безрезультатными. Судя по английской (последняя содержит 125 названий периодических изданий и дает характеристику их направления, сведения о редакторском составе, о числе подписчиков и пр.—см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. А, лл. 88—91), документ этот должен представлять большой интерес, являясь, к тому же, наиболее ранней библиографией французской периодики периода Июльской монархии.

[47] Bignon Эдуард, барон (1771—1841)—политический деятель, историк, публицист; французский посол в Варшаве (1811—1812) и политический комиссар Вильны во время занятия ее французами (1812); член палаты депутатов (1831—1837); пэр Франции (1837). Был известен своим полонофильством. Биньон оставил воспоминания о своем пребывании в Польше (Souvenirs d'un diplomate. La Pologne, P., 1867).

Harcourt Франсуа-Эжен-Габриэль, герцог (1786—1865)—политический деятель, дипломат, член палаты депутатов (1827—1834) и палаты пэров (с 1837), умеренный либерал.

[48] Сведения Толстого о философе не точны. Виктор Кузен (1804—1867) получил звание пэра еще в 1832 г. (ср. Cousin Victor, Discours politique, P., 1851), и никогда не избирался в палату депутатов. Возможно, впрочем, что неточность эту следует отнести за счет свойственной Толстому некоторой неясности изложения. Смысл фразы о Кузене туманен.

[49] Поправка, внесенная в адрес королю на заседании палаты депутатов 9 января 1838 г., гласила: «Являя пример лойяльного выполнения договоров, мы, со своей стороны, имеем право неустанно напоминать Европе о гарантиях, торжественно данных древней польской нации, нации, на стороне которой всегда будет право, равно как и наши горячие симпатии.—«Journal des Débats», 11 janvier 1838.

[50] Толстой идет здесь даже дальше тенденциозной официальной и полуофициальной французской прессы, не предъявлявшей участникам восстания 12—13 мая такого рода обвинения.

[51] Vaudrey Клод-Никола (1784—1857)—французский офицер; участник страсбургского путча Луи-Наполеона (1836). Уволенный за это из армии, был в те годы не у дел.

[52] Cabet (1788—1856), знаменитый социалистический публицист, приговоренный в 1834 г. за статью в «Populaire», направленную против короля, к двум годам тюрьмы, бежал в Англию, где прожил до 1839 г., а затем вернулся на родину, в Дижон.

[53] Бланки и Барбес были приговорены в 1836 г. к тюремному заключению по делу о фабрикации пороха в улице Лурсин, но освобождены по амнистии 1837 г. После восстания 12 мая Бланки успешно скрывался в течение 5 месяцев и был арестован лишь 14 октября, когда садился в дилижанс, направляясь в Швейцарию. В дальнейших донесениях Толстой сообщает о суде над участниками восстания 12—13 мая, о борьбе, которая велась за сохранение жизни Барбеса, об отмене королем смертного приговора, вынесенного судом, об аресте и суде над Бланки (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. В, лл. 217—218, 224—226 об., 230, 333).

[54] Pasquier Этьен, барон, затем герцог (1767—1862)—префект полиции при Наполеоне I, хранитель печати и глава нескольких министерств при Людовике XVIII; пэр Франции (1811), председатель палаты пэров (1830); канцлер Франции (1837).

[55] Gérard Этьен-Морис, граф де (1791—1855)—маршал Франции (1831), командующий парижской Национальной гвардией (1838—1842).

[56] «Journal des Débats» в восторженных выражениях описывала расправу, будто бы, учиненную учениками Политехнической школы над «смутьянами», и призывала воздать «хвалу молодежи». В письме учеников подчеркивалась полная непричастность их к расстрелам и выражался протест против приписывания им такого «подлого поступка», как убийство безоружных людей.—«Journal des Débats», 14, 15 mai 1839.

[57] Decazes Эли, герцог (1780—1860)—один из главарей партии доктринеров, игравший крупную политическую роль в первые годы царствования Людовика XVIII. Пэр Франции (1818) Деказ исполнял в палате пэров (1834—1848) обязанность хранителя печати и архивов палаты (grand référendaire).

[58] Angoulème Луи-Антуан, герцог де (1785—1844)—старший сын Карла X (1757—1836), вместе с ним отрекся 2 августа 1830 г. от прав на престол.

[59] Blacas d'Aulps Пьер-Луи, герцог де (1771—1839)—в течение многих лет ближайшее доверенное лицо и советчик Людовика XVIII. После революции 1830 г. последовал за Карлом X в изгнание.

[60] Более подробно планы и претензии «France» изложены в докладной записке Жайи Николаю I (см. прим. 11-е). В Россию Жайи не поехал, и субсидия, которую получала «France» от русского правительства, ограничивалась до конца существования газеты годовой подпиской на 30 экземпляров ее (см. Дело III отделения 1 эксп. № 191, ч. 3, лл. 119—119 об., а также прим. 71-е).

[61] «Le Capitole» (1839—1840)—бонапартистский орган, стремившийся популяризировать бонапартизм в массах и прикрывавшийся демократическими лозунгами. Основатели газеты маркиз де Круа, или Круи-Шанель (Croy ou Crouy-Chanel Клод-Огюст, 1795—1873), и редактор Шарль Дюран (см. выше, прим. 5-е) пытались связаться с царским правительством. Дюран обратился с письмом к Бенкендорфу, развивая перед ним программу газеты и прося денежной поддержки. Бенкендорф ответил вежливым отказом. Тем не менее, Дюран заявлял, что получает субсидию от русских. Переписка III отделения с Дюраном причинила царскому правительству впоследствии, после ареста Шанеля, замешанного в бонапартистском заговоре и аресте в связи с этим Дюрана, много беспокойств и служила предметом специальных переговоров с французским правительством. (Фонд М.И.Д., Канц. réception, Дело № 150, л. 93; Фонд М. И. Д., Канц. expédition, 1839, Дело № 151, лл. 366—369—Архив внешней политики, Москва). Особенно взволновало Петербург появление брошюры о Шанеле («Notice sur M. A. de Crouy-Chanel, extrait de la Biographie des hommes du jour» par M. M. Germain Sarrut et B. Saint-Edme», P., 1841), где переписка Дюрана с Бенкендорфом была частично опубликована. Палену удалось добиться обещания Гизо, что брошюра не будет допущена к распространению (см. Фонд М. И. Д., Канц. réception, 1841, Дело № 150, лл. 46—48—Архив внешней политики, Москва). Когда в Петербурге стали известны похвальбы Дюрана о его связи с царским правительством, Бенкендорф распорядился вернуть Дюрану аккуратно доставлявшиеся им в III отделение номера «Capitole». Русские книгохранилища лишились, таким образом, этого, по указанию французской библиографии, чрезвычайно редкого издания.

[62] В донесении Толстого от 4/16 февраля 1840 г. приводится любопытный случай, характеризующий, какими неожиданностями грозили сделки с Жирарденом. В момент ареста Дюрана (см. прим. 5-е и 61-е), когда в Париже открыто обвиняли петербургское правительство в поддержке бонапартистских попыток переворота, Толстому удалось получить согласие Жирардена на помещение в «Presse» его (Толстого) заметки-опровержения, согласованного, в тайне от Жирардена, с русским посольством. Заметка, действительно, появилась, однако, с небольшим редакционным добавлением,—перед текстом ее стояло: «как нам сообщают». Статья Толстого была превращена, таким образом, в официальный документ русского посольства. В итоге—новый шум в прессе, новые хлопоты посольству, опровержение через французский официоз «Moniteur» и т. д.

(Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. В, лл. 350—354 об., а также фонд М. И. Д., Канц. réception, 1841, дело № 137, лл. 132—134—Архив внешней политики, Москва).

[63] Gay de Girardin Дельфина (1804—1855)—дочь писательницы Софи Гэ; поэт, драматург, беллетрист. Пользовалась также известностью, как блестящий журналист (под псевдонимом Виконт де Лоне). В ее салоне, одном из самых популярных парижских салонов 1830—1840 гг., собирался не только весь цвет французской литературы, но и видные политические деятели, дипломаты и пр. Толстой следил за литературной карьерой Дельфины с первых же ее шагов. В «Письме из Парижа к А. А. Бестужеву от 25 апреля 1824 г.» («Сын Отечества», ч. 94, № XXIV, 166—167) он оповещал русских читателей о появлении во Франции нового поэта—«девицы Дельфины Гэй». В корреспонденции, помещенной в «Московском Телеграфе» в 1828 г. (№ 5, 113—114), он называет Дельфину Гэ в числе лучших поэтов Франции.

[64] Bequet Этьен (1800—1833)—писатель, журналист, сотрудник «Journal des Débats». Упоминаемая статья была написана Беке в августе 1829 г. в ответ на ордонанс от 8 августа, назначивший новое ультрареакционное министерство, во главе с князем Полиньяком. Она характеризовала тогдашнее политическое положение Франции и указывала на опасности, грозившие монархии Бурбонов. Статья получила громадный резонанс в стране и сыграла свою роль в борьбе, приведшей к низвержению Карла X. Беке, действительно, отличался неумеренным образом жизни, рано сведшим его в могилу.

[65] Gros Антуан-Жан, барон (1771—1835)—знаменитый французский художник, окончил жизнь самоубийством, причиной которого явилось ослабление творческого таланта, пошатнувшееся общественное положение, семейные неурядицы. Художественная деятельность Гро в последние годы его жизни подвергалась резкой критике, которая нашла свое отражение в печати.

[66] Пьеса г-жи Жирарден заинтересовала Бенкендорфа. У него явилась даже мысль поставить эту запрещенную в Париже вещь на сцене французского театра в Петербурге. Толстому было предложено выслать экземпляр пьесы, что он, разумеется, исполнил (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. В, лл. 304, 311, 345 об. и 354). Пьеса, однако, не была поставлена, и г-жа Жирарден не получила даже никакой благодарности от царя за поднесенный ему экземпляр пьесы. Объяснения этого факта в переписке Толстого с III отделением мы не нашли. Такое невнимание к г-же Жирарден особенно непонятно, если вспомнить, что она принадлежала к числу любимых при русском дворе писательниц. Кюстин, описывая свой разговор с царицей, передает следующие ее слова: «Мы любим за их произведения ряд лиц, с которыми вы постоянно видитесь, особенно г-жу Гэ и ее дочь, г-жу Жирарден... Было бы жаль, если г-жа Жирарден с ее прекрасным поэтическим талантом ограничилась бы созданием небольших вещей...»—Custine (marquis de), La Russie en 1839, P., 1843, II, 89—90.

[67] Письмо Жанена было вскоре опубликовано в качестве приложения к вышедшему в Брюсселе изданию «L'Ecole des Journalistes». Жанен дает в нем апологию журнализма, его общественной роли, беспощадно вскрывает сценические недостатки пьесы г-жи Жирарден.

[68] «La Presse» в номере от 30 сентября 1839 г. (в статье Эмиля Жирардена) назвала редактора «Courrier» уголовным преступником, осужденным, будто бы, в свое время судом за воровство, что, в действительности, оказалось грубой клеветой.—«Journal des Débats», 10 novembre 1839.

[69] «Biographie des hommes du jour» en douze volumes in 4° rédigée par Germain Sarrut et B. Saint-Edme (1835—1842). Оба редактора—и Саррю (Жермен-Мари), бывший главный редактор «La Tribune», и Сент-Эдм—принадлежали к республиканцам. О взаимоотношениях Толстого с этим изданием см., в частности, Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. В, лл. 340, 342—342 об., 345; Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. С, лл. 42—43.

[70] Norvins Жак-Марке, барон де Монбертон (1769—1854)—историк, писатель, автор апологетического жизнеописания Наполеона I («Histoire de Napoléon» 1827 et suiv.), истории Французской революции («Essais sur la Révolution Française», 1832) и др. Норвен вызвался написать историю царствования Петра I и просил Толстого помочь ему в подборе необходимых материалов. Толстой списался по этому поводу с Бенкендорфом и получил его апробацию. Норвен представлял Бенкендорфу план своей книги, впоследствии (по просьбе Норвена) ему возвращенный. Среди прочих исторических документов Толстой предполагал предоставить в распоряжение Норвена документы, собранные Пушкиным. Это желание Толстого не было удовлетворено, ибо Пушкин, как писал Сагтынский Толстому, посылая ему книги для Норвена, «повидимому, не оставил материалов, касающихся царствования Петра, во всяком случае, до сих пор ничего не нашли» (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. В, лл. 129 об. и 149 об.).

[71] Толстому ежегодно (1838—1862) высылались «на подписку заграничных журналов и поддержку французских издателей» 1142 руб. 85 коп. серебром, что составляло, в зависимости от колебания курса, примерно 4571—4573 франка. Эти деньги распределялись между «La France», «La France et l'Europe», «La Revue du Nord», а позднее, когда эти органы прекратили свое существование, между «La Patrie», «L'Assemblée Nationale» и «Constitutionnel» (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 3, в частности, лл. 88, 120, 126—130 об.). В эту сумму не входили эпизодические расходы по отдельным заказам, как и оплата различных секретных сведений о французской армии, о финансовом положении Франции и т. п., добыванием которых также занимался Толстой, особенно в предвоенные годы и в годы крымской войны.

[72] «Le Journal Général» (1836—1840)—ежедневная газета консервативного направления, редактировавшаяся Грюном (Grün Альфонс, 1801—1866) и Лавернем (Lavergne Леонс, 1808—1809). В письме виконта де л'Эспина, пересланном Толстым в III отделение, сообщалось, что, ввиду предстоящего назначения Грюна редактором официоза «Moniteur», предполагается продажа газеты. Эспин с группой друзей намеревался забрать газету полностью в свои руки и сделать ее программой—сближение Франции с Россией и борьбу против Англии. Толстой должен был поставлять газете материал о России. Было ли Толстому разрешено войти в сношения с газетой, о чем он запрашивал далее в своем донесении,—неизвестно. В мае 1840 г. Толстой был вызван для свидания с Бенкендорфом в Варшаву, где и должен был получить непосредственно от последнего распоряжения по всем текущим вопросам, (См. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. В, лл. 360—360 об.; отпуск письма Бенкендорфа к Толстому от 9 апреля ст. ст. 1840 г.). В архивных материалах варшавские распоряжения Бенкендорфа не отражены.

[73] «Le Globe» (1837—1845)—газета, несколько раз менявшая название и периодичность. С 1841 г. приняла окончательно название «Globe» и начала выходить ежедневно; орган правительственной ориентации. Ближайшее участие в газете принимал Гранье де Кассаньяк (Granier de Cassagnac Адольф-Бернар, 1860—1880), будущий апологет Наполеона III, в эти годы продававший свое перо Гизо. Маркс в «18 брюмера Луи-Наполеона» так характеризует и «Globe» и Кассаньяка: «Гизо, во время своего министерства, пользуясь в одной темной газетке этим Гранье, как орудием против династической оппозиции, обыкновенно давал о нем следующий лестный отзыв: „C'est le roi des drôles"—это король дураков» (Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, ИМЭЛ, 1931, VIII, 415). В «Globe» сотрудничал также журналист Солар (Solar Феликс, 1805—1870). Солар и Кассаньяк после закрытия «Globe» получили печальную известность созданием основанной на дутой рекламе газеты «Epoque» (1845—1847). Толстому удалось завязать связи с Гранье и с «Globe».

[74] «Le 19-me Siècle» (1841)—ежедневная политическая газета либерального направления, основанная писателем левого лагеря Пелетаном (Pelletan Эжен, 1813—1884). Просуществовала из-за отсутствия средств, очень недолго (ср. Hatin Eugène, цит. соч.). У Толстого, видимо, описка, и его характеристика издания, как консервативного, относится, по всей вероятности, к «Globe», т. е. к первой, а не к последней из перечисляемых им газет.

[75] «La Revue Indépendante» (1841—1848)—ежемесячный журнал, издававшийся Пьером Леру, Жорж Санд и Луи Виардо. Вскоре же по основании журнал завоевал широкое признание и популярность, в особенности своими антикатолическими выступлениями и статьями по социальным вопросам (ср. Avenel H., Histoire de la presse française depuis 1789, P., 1900, 382). Социалист Пьер Леру печатал в «Revue» свои «Sept discours sur la situation actuelle de la société et de l'esprit humain». В первой книжке (от 1 ноября 1841 г.) помещены обращение к философам («Aux philosophes») и начало обращения к политикам («Aux politiques»).

[76] «Le Bon Sens» (1832—1841?)—воскресная газета для рабочих. Издавалась республиканцами совместно с представителями династической оппозиции. Руководили газетой Кошуа-Лемер (Cauchois-Lemaire), Луи Блан и Роде-старший. Указания о времени прекращения газеты в французской библиографии разноречивы и колеблются между 1837—1839 гг. Толстой устанавливает новую дату—1841 г. «Le Sens Commun» (1832—1844)—до 1840 г. воскресное приложение к газете «Le Bonhomme Rochard» (орган правительственной ориентации), позднее самостоятельное издание, так же как и «Le Bon Sens», предназначавшееся для рабочих и не прекращавшее попыток подорвать авторитет последней.

[77] «Le Monde» (1836—1841?)—газета, посвященная религиозным вопросам, выходившая при сотрудничестве Ламенэ (Lamennis, 1782—1854). По сведениям французской библиографии, расходящимся в данном случае, как и в ряде других, с указаниями Толстого, газета прекратилась еще в 1837 г.

[78] «L'Europe Monarchique» (1837—1841?), до 1838 г. выходившая под заглавием «L'Europe»,—газета легитимистской группировки, защищавшей парламентские методы борьбы с династией Луи-Филиппа. Руководили газетой Антуан Беррье и Жак Кретино-Жоли (Cretineau-Joly, 1805—1875). Французская библиография не дает точных сведений о дате прекращения газеты. Hatin (см. по указателю) высказывает предположение, что газета прекратилась в 1839 г. Равным образом, не отмечается причастие к газете видного легитимиста маркиза де Ла Рошжаклена (La Rochejacquelein Анри-Огюст, 1805—1857). Сообщение Толстого вносит, таким образом, некоторые библиографические уточнения.

[79] Любопытным дополнением к сообщаемому здесь Толстым служит депеша Н. Д. Киселева к Нессельроде от 18/6 ноября 1843 г. Приводим в переводе выдержки из этой депеши: «Как я уже имел честь сообщать в. с., г. Гизо проникся с некоторых пор убеждением, что мы широко субсидируем газету «La Presse» с тем, чтобы возбудить ненависть и антипатию Франции к Англии. Ныне он заявляет, что субсидия эта еще увеличена с целью направить нападки лично против него и «свалить» министерство, наиболее влиятельным членом которого он является. Действительно ли таково убеждение г. Гизо или нет, но, как мне передавали, на этом основании он говорит, что мы не должны удивляться, если впредь он не всегда окажется расположенным итти нам навстречу и проявлять уступчивость при сношениях с императорским правительством. На все мои попытки, сделанные через третьих лиц, отрицать утверждения г. Гизо, он отвечает, что допускает, что я, действительно, могу быть непричастным к сговору с газетой, но, тем не менее, он уверен в существовании наших сношений с «Presse». Он добавляет, что, быть может, связь эта поддерживается без моего ведома г. Яковом Толстым, на которого вообще возложена обязанность сноситься с французской прессой» (см. фонд М.И.Д., Канц. réception, 1843, дело № 137, лл. 176—177).

Никаких данных о получении Жирарденом средств от русского правительства в переписке парижского посольства с Нессельроде за 1837—1847 гг. мы не нашли. Единственная льгота, предоставленная Жирардену и упоминаемая в документах, указана нами выше (см. прим. 37-е).

[80] Towianski Андрей (1799—1878)—польский мистик, игравший в 40—50-х годах роль пророка и апостола среди польской эмиграции. Факты, рассказанные Толстым, о взаимоотношениях Товянского с Мицкевичем, подтверждаются и другими источниками (ср. Макушев Викентий, Андрей Товянский, его жизнь, учение и последователи.—«Русский Вестник», 1879, кн. II, 473—513; кн. V, 215—259; кн. X, 453—493).

[81] Скжинецкий или Скржинецкий (Skrzynecki) Ян-Сигизмунд (1787—1870)—генерал, главнокомандующий польской повстанческой армией (1831). После подавления восстания жил за границей, в частности, в Брюсселе (1838—1854), приглашенный королем Леопольдом I на пост командующего бельгийской армией (1838—1839). Отличался исключительной религиозностью еще в бытность в Польше. Товянский не имел, однако, успеха у Скжинецкого (ср. Макушев В., цит. соч., кн. II, 486—491).

[82] В конце 1843 г. группа из пяти легитимистских депутатов, во главе с Беррье, совершила паломничество в Лондон к герцогу Бордосскому (внуку Карла X)—претенденту на французский престол, что вызвало крайнее недовольство Луи-Филиппа. Под давлением правительства палата вынесла порицание этим депутатам. Последние, в знак протеста, сложили депутатские полномочия, но были вновь избраны своими избирателями (март 1844 г.).

Конфликт в городе Анжере, о котором говорит далее Толстой, разыгрался по следующему поводу. Мэр города, Огюстен Жиро, просил муниципальный совет санкционировать выдачу 3 тыс. франков из муниципальных средств в пользу пострадавших от наводнения жителей. Совет отказал, предложив открыть подписку для помощи пострадавшим. Обсуждение сопровождалось весьма резкими выступлениями членов муниципального совета против правительства Гизо.

[83] Сентябрьские законы (так назывались три закона от 10 сентября 1835 г.), изданные после покушения Фиески (28 июля), вводили изменения в порядок судопроизводства по политическим делам, судопроизводства суда присяжных и в законодательство о печати и носили репрессивный характер. В отношении прессы сентябрьские законы увеличивали размер залогов, устанавливали очень высокие штрафы и карали тюремным заключением за оскорбление монарха и нападки на основы государственного строя; прессе запрещалось касаться имени и власти короля, называть себя республиканской, говорить о восстановлении легитимной монархии, оспаривать принципы власти, собственности, семьи.

[84] Книге Кюстина «La Russie en 1839», P., 1843, в донесениях Толстого уделено большое внимание. От Толстого русское правительство, повидимому, впервые узнало

о грозящих ему со стороны Кюстина неприятностях. 13/25 апреля 1840 г. Толстой уже предупреждал о том, что Кюстин работает над описанием своего путешествия в Россию (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. В, лл. 393 об., 394). Тотчас же по появлении сочинения Кюстина в свет Толстой предлагает Бенкендорфу план защитной кампании в иностранной печати (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 4, лл. 62, об., 79, 81, 83—85 об., 86, 89—91, 95—96 об.,) и сам выступает с опровержением Кюстина в книге, озаглавленной: «La Russie en 1839 rêvée par M. de Custine, ou lettres sur cet ouvrage écrites de Francfort», par J. Jakovleff, P., 1844, IV+112. (Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. Е., лл. 124—127). Французские читатели были оповещены о появлении этой книги следующим объявлением в «Journal des Débats» (6 mars 1844): «Из всех появившихся одно за другим в Париже опровержений книги г. Кюстина, бесспорно, наиболее остроумным является опровержение г. Яковлева, опубликованное под названием «Россия в 1839 г., какой она приснилась г. Кюстину». Сарказм не покидает пера автора с первой до последних строк этой тонкой брошюры, и если иногда русский критик и допускает кое-какие чрезмерно патриотические фразы, которым мы отнюдь не склонны придавать веры, читатель, разумеется, простит ему это во внимание к той элегантной легкости, с какой он владеет нашим языком». Толстой высказывал удивление по поводу того, что «Journal des Débats» сочувственно отзывалась о его брошюре (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 4, лл. 95, 98—98 об.).

Библиография отмечает еще одно издание, выпущенное Толстым против Кюстина,— брошюру: «Lettre d'un russe à un journaliste français sur les diatribes de la presse antirusse», P., 1844. Однако, в переписке Толстого, обычно оповещавшего начальство о всех своих выступлениях в печати, никаких сообщений об этой брошюре нет.

Упоминаемая Толстым книга «Russie, Allemagne et France, révélations sur la politique russe d'après les notes d'un vieux diplomate», par Marc Fournier, P., 1844, принадлежала драматургу, критику и журналисту Марку Фурнье (1818—1879). Делая краткий экскурс в историю России, автор самым резким образом критикует как политический режим, установленный Николаем I, так и его личную жизнь.

Что касается брошюры Витте, то никаких дальнейших указаний в переписке Толстого о ней нет, равным образом, не упоминается она и в имеющихся в нашем распоряжении библиографических указателях. Об'явление о предстоящем выходе брошюры в свет появилось в «Journal des Débats», 13 février 1844.

[85] Указания Толстого расходятся с фактами биографии Маркса. «Немецко-французский ежегодник» «прекратился из-за трудностей тайного распространения в Германии и из-за разногласий с Руге» (Ленин, Сочинения, 3-е изд. XVIII, 6), а не под влиянием угроз Гизо, как пишет Толстой.

Рассказ о вызове Маркса и Руге к Гизо также противоречит действительности. В воспоминаниях о Париже Руге пишет: «Еще в ожидании появления в свет „Немецко-французского ежегодника" прусский посланник пытался склонить г. Гизо к репрессиям против редакции. Однако, успеха не имел» (Rouge A., Zwei Jahre in Paris, 1846, I, 398). На самом деле Маркс, по требованию прусского посольства, был выслан из Парижа лишь в феврале 1845 г. и перебрался в Брюссель. Имя Маркса встречается в донесениях Толстого вторично в любопытной докладной записке 1846 г. «О положении дел в Швейцарии» (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. G, лл. 21—34 об.).

[86] «Le Siècle» (1836—1932?)—ежедневная газета, основанная Арманом Дютакком (Dutacq). Появилась в один день с «Presse» и заимствовала у последней принципы ее организации—снижение вдвое против существовавшей подписной платы, широкое использование объявлений и пр. «Siècle» занимала в 40-х годах первое место по числу подписчиков среди парижских газет (имела 30.000 подписчиков). Сумма доходов с подписной платы, получаемой газетой (по данным на 1840 г.), достигала 170.000 франков в год, объявления давали ей свыше 100.000 франков (см. Weill G., Le journal. Origines, évolution et rôle de la presse périodique, P., 1934, 206—207). Своей популярностью газета была в значительной степени обязана блестяще поставленной литературной части (печатали Бальзака, Александра Дюма, Сулье и др.). Политические симпатии газеты склонялись к династической оппозиции.

[87] Материальное благосостояние «Presse» с 1839 по 1844 гг. непрерывно возрастало. Доходы газеты за 1844 г. равнялись 187.603 фр., при 105.325 фр. в 1841 г., 168.716 фр. в 1842 г. и 184.287 фр. в 1843 г.—Brisson (Jules) et Ribeyre (Felix), Les grands journaux de France, P., 1863, 125—126, ср. также Goltier-Boissière (Jean) et Lefébvre (René), Histoire de la Presse—«Crapouillot», juin 1934, 24.

[88] Речь идет о брошюре: «Récit de Makrena Mieczyslawska, abbesse des basiliennes de Minsk, ou Histoire d'une persécution de sept ans, soufferte pour la foi par elle et ses religieuses, écrite sous sa dictée, par le R. P. Maximilian Rylo, recteur de la Propagande

„ПЛУТ-ЛЮБОВНИК ИЛИ УРОК СКУПОЙ ЖЕНЩИНЕ“
Картина маслом Никола Ланкре из серии иллюстраций к Лафонтену, 1738 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

à Rome; l'abbé Alexandre Jelowicki, recteur de l'église Saint-Claude à Rome; l'abbé Aloys Leitner, théologien de la Propagande à Rome. Commencé le 6 novembre et terminé le 6 décembre 1845. Dans le couvent de la Trinité du Mont à Rome», P., 1846, 1—84 («Рассказ Макрены Мечиславской, настоятельницы Базилианского монастыря в Минске, или история семилетних преследований за веру, претерпленных ею и монахинями ее монастыря»). Брошюра сохранилась в переписке Толстого (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. G, лл. 59 и сл.). Она содержит описание многочисленных истязаний, которым подвергались монахини, и, действительно, малоправдоподобна.

[89] В письме от 2 января 1846 г. Гоголь писал к жившему в то время в Париже А. П. Толстому: «О чем был разговор [находившегося тогда в Риме Николая I] с папой, это разумеется неизвестно, хотя впрочем следствия вероятно будут те, каких и ждали, т. е. умягчение мер к католикам. Донесения [в печатном тексте письма здесь пропущено оставшееся неразобранным имя, которое мы смело можем теперь восстановить] Макрены Мечиславской оказались ложью, и она созналась, что была уже научена потом вне России польской партией...» («Письма Н. В. Гоголя», ред. В. И. Шенрока, III, 129—130). Якову Толстому это письмо Гоголя, очевидно, стало известно. Характерно, что Толстой пытается воспользоваться именем Гоголя, незадолго перед тем впервые привлекшим к себе внимание французов. В конце 1845 г. появился первый перевод Гоголя на французский язык (повести в переводе Виардо). Выходу в свет этой книги предшествовала публикация из нее в «Journal des Débats» от 16, 17, 18 декабря 1845 г. перевода «Вия» и краткой характеристики творчества Гоголя. Сборник переводов был встречен очень сочувственно Сент-Бёвом в декабрьской книге «Revue des Deux Mondes» за 1845 г.

[90] «L'Univers» (1833—1860)—влиятельная в те годы газета французских католиков, орган крайней католической реакции.

[91] Sircourt Адольф, граф де (1801—1879),—журналист, сотрудник ряда легитимистских органов. Был женат (с 1830 г.) на русской—Анастасии Семеновне Хлюстиной (1814—1863).

[92] «Semeur» (1831—1850)—консервативное издание (еженедельник), посвященное вопросам религии, политики, философии, литературы.

[93] Lherbette Арман-Жак (1791—1864)—депутат палаты (1831—1843); был известен своими оппозиционными выступлениями при обсуждении вопросов о наследственном пэрстве, о секретных фондах, об укреплении Парижа, цивильном листе и пр.

[94] В ответном письме от 12/24 апреля 1846 г. Сагтынский рекомендовал Толстому передать Тьеру, «что в России незлопамятны, и хотя у нас часто имелись основания быть недовольными путешественниками, посещавшими нашу страну, мы умеем отличать таких людей, как он. Тьер может, следовательно, быть уверенным, что встретит у нас не только хороший прием, но что ему будет предоставлена возможность осмотреть и ознакомиться со всем, что его интересует» (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 4, л. 124 об.). В том же году Тьер еще раз служил предметом переписки Толстого с III отделением, в связи с предстоящим выходом в свет VI тома книги Гьера «Le Consulat et l'Empire». Книга эта попала к Толстому еще в верстке от английского переводчика Тьера Кемпбела (Campbel)— сотрудника «Times» и приятеля Толстого. Оскорбившись за честь русской армии, будто бы, опороченную Тьером, Толстой просил разрешения выступить против него в печати (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 4, л. 138 об.). Это не встретило сочувствия Орлова. Толстому было указано, что поскольку Тьер не является добросовестным историком, а книга его «представляет собою роман», отвечать на нее не следует (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 4, лл. 137—137 об.).

[95] Дюма был привлечен к судебной ответственности (январь—февраль 1847 г.) редакторами-издателями газет «La Presse» и «Le Constitutionnel», Эмилем Жирарденом и Вероном, за непредставление к сроку романов, которые он обязался написать для этих газет. Процесс дает интересный материал, характеризующий приемы, темпы, размах писательской работы Дюма. Решением суда Дюма был приговорен к уплате небольшой, по сравнению с предъявленным к нему иском, суммы.

Для пояснения дальнейшего рассказа Толстого напомним, что в защитительной речи на суде Дюма остановился на своем путешествии «с правительственным» поручением в Испанию и Африку и указал, что для поездки в Алжир в его распоряжение было предоставлено военное судно. Следствием речи явился запрос правительству в палате, а либеральный депутат Мальвиль усмотрел в предоставлении военного судна «первому встречному» оскорбление морского флага Франции.

[96] Monpensier Антуан-Мари-Филипп, герцог д'Орлеан (1822—1860)—пятый и самый младший сын Луи-Филиппа. Был дружен с Дюма, служившим одно время в личном секретариате Луи-Филиппа. На суде Дюма рассказывал о своей поездке в Мадрид на свадьбу герцога (1846).

[97] Caussidière Марк (1809—1861)—активный участник восстания в Сент-Этьенне в апреле 1834 г.; член редакции республиканской газеты «La Réforme» (1843—1850). В 1848 г. сражался на баррикадах. Решением собрания в редакции газеты «Réforme» (24 февраля 1848 г.) ему был предоставлен пост префекта полиции. Для охраны префектуры Коссидьер организовал отряд монтаньяров.

[98] В течение ряда лет Толстой жил на Rue des Trois frères, 11 (этот адрес встречается в документах 1837—1843 гг.), в доме своего друга, писателя-академика Жуи (Jouy, 1764—1846)—см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, лит. В., л. 24; Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 4, л. 50, а также Montorgueil (Georges), Henry Murger, romancier de la Bohème, 1928, 1—3, 35. Второй адрес Толстого (в 40-е годы)—27, Rue de Montaigne, faubourg St. Honoré—см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 6, л. 39. Наконец, сохранившаяся в частном собрании в Париже визитная карточка Толстого содержит указание еще на одно место жительства Толстого в Париже (в 50—60-е годы): 34, Rue de Penthière.

[99] Отпуск письма Сагтынского к Толстому от 4/16 марта 1848 г. в переписке не сохранился. Судя по другим имеющимся документам, письмо извещало Толстого о регулировании его денежных дел, в ответ на жалобы на крайне тяжелое материальное положение, в какое он попал после революции. Несколько позднее Толстой сообщил также, что едва не был разоблачен и что лишь «рассудительность» (bon sens) французского министра внутренних дел спасла его от скандала. Толстой указывал, что было бы рискованно рассчитывать и впредь на французское министерство, при наблюдающейся во Франции «непрерывной смене людей, когда во главе министерства может оказаться человек типа Флокона» (член временного правительства 1848 г., левый республиканец, редактор газеты «Réforme»). Эти доводы, повидимому, были учтены в Петербурге, и в итоге состоялось назначение Толстого советником русского посольства в Париже (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 4, лл. 173 об., 176 об.; Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 1, л. 75).

[100] Сведения о Герцене, по всей вероятности, должны быть в позднейших, оставшихся нам неизвестными, донесениях Толстого. Во всяком случае, последний был очень хорошо осведомлен о Герцене. Ему было поручено доставлять в III отделение «Колокол» и другие заграничные издания Герцена (Герцен, Сочинения, ред. Лемке, X, 446—450, а также Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 6). В январе 1858 г. Толстой получил специальную командировку в Лондон в связи с предложением некоего Альберта Чернецкого уничтожить шрифт типографии «Колокола» и открыть пути доставки в Россию литературы Герцена (см. Дело III отд. 1 эксп. № 255, 1857, частично опубликовано в Собрании сочинений Герцена, ред. М. Лемке, XXII, 72—74). Т. Пассек по приезде в Париж (1861) обратилась к Толстому, как к лицу, хорошо осведомленному, за советом, можно ли ей встречаться с Герценом (там же XI, 147—148).

[101] № 89 от 10/22 ноября 1851 г. (К Делу № 191, пак. 10 (2), лл. 107 и сл.).

[102] Все 16 арестованных—депутаты Собрания. Среди них, помимо названных Толстым, еще несколько видных военных и представителей левой. Арестованные были отправлены в тюрьму Мазас. Шангарнье, Кавеньяк, Ламорисьер препровождены затем в крепость Гамм.

[103] Dupin Анри-Мари, так называемый Дюпен-старший (1783—1865)—адвокат и политический деятель; прокурор кассационного суда (1830—1851), председатель палаты депутатов (1832—1840) и Законодательного собрания (1849—1851). Отказался, как известно, поддержать попытку депутатов Собрания организовать противодействие Луи-Наполеону, проявив при этом крайнюю трусость и страх. Дюпен, по сговору со сторонниками переворота, был подвергнут, для вида, домашнему аресту (ср. Hübner, Neuf ans de souvenirs d'un ambassadeur d'Autriche à Paris» P., 1905, I, 36; Hugo Victor, Histoire d'un crime, P., 1877, I, 62). Слухи об аресте Дюпена были так настойчивы, что «Constitutionnel» в номере от 3 декабря опровергала их. Толстой повторяет сообщение об аресте Дюпена в донесении от 3 декабря. Бывший ярый орлеанист, Дюпен окончил свою жизнь сенатором Второй империи.

[104] Baudin Баптист-Виктор (1811—1851)—врач. С 1848 г.—депутат Собрания, представитель крайней левой. Убит на баррикаде в Сент-Антуанском предместье 3 декабря 1851 г. Сообщение Толстого об убийстве Madier de Montjou (Ноэл-Франсуа-Альфред, 1814—1892) и тяжелом ранении Schoelcher (Виктор, 1804—1893) неверны. Мадье не был ни ранен, ни убит. У Шельше оказалась лишь прорванной штыком одежда (ср. Hugo, op. cit., I, 227). Слухи о несчастии с депутатами, находившимися вместе с Боденом на баррикаде, упорно распространялись в городе (ср. Hübner, цит. соч., I, 38; Schoelcher, Histoire des crimes du 2 décembre, Londres, 1852, 136).

[105] Несмотря на установленную во время переворота вооруженную охрану типографий, по городу было разбросано множество прокламаций, призывавших к борьбе с

Луи-Наполеоном. В частности, в большом количестве были распространены постановления народных представителей, принятые на заседании 2 декабря в мэрии 10-го округа.

[106] Joinville Франсуа-Фердинанд-Филипп, герцог д'Орлеан (1818—1900)—третий сын Луи-Филиппа. Моряк, в начале 1848 г. находился в Алжире. Сложил командование и уехал в Англию. Aumale Эжен-Филипп-Луи, герцог д'Орлеан (1822—1857)—четвертый сын Луи-Филиппа, генерал-губернатор Алжира (1847); после революции 1848 г. поселился в Англии.

[107] Имеется в виду конституция VIII года (1799), утвердившая Наполеона первым консулом и установившая основы консульского режима, а также сенатский указ от 18 мая 1804 г., которым во Франции была установлена империя и Наполеон получил титул императора.

[108] Тьер не был под домашним арестом, а вместе с несколькими другими арестованными депутатами содержался в тюрьме Мазас. Впрочем, Толстой сам исправляет свою неточность в донесении от 7 декабря. Факт угроз Тьеру расстрелом со стороны Луи-Наполеона литературой о Тьере не отмечается.

[109] Воззвание было напечатано, в частности в «Times», от 5 декабря 1851 г.

[110] Carlier Пьер (1792—1858) занимал должность префекта полиции с 1849 г. Усердный сторонник Луи-Наполеона. Однако, подал в отставку за несколько дней до переворота 2 декабря 1851 г. Его сменил Mopa (Maupas Шарлемань 1818—1888), вскоре после переворота назначенный министром полиции.

[111] Mont Valérien—форт в 11 километрах от Парижа, на месте бывшего монастыря иезуитов. Факт, рассказанный Толстым, об отказе депутатов покинуть крепость, отмечается и современной прессой (ср., напр., «Constitutionnel» от 5 декабря 1851 г.).

[112] Т. е. до дня плебисцита.

[113] См. донесение от 10 декабря и прим. 115-е.

[114] Статьи в «Times» против Луи-Наполеона были помещены в №№ от 3, 5 и 9 декабря 1851 г. Газета обвиняла Наполеона в установлении деспотии. С резкой критикой переворота выступали также «Globe», «Morning Chronicle», «Express» и др.

[115] Тьер был освобожден вечером 6 декабря. Сообщение Толстого о том, что Тьер выхлопотал себе разрешение ехать в Италию основано, видимо, лишь на газетных слухах. В действительности Тьер был вновь арестован 8 декабря и в сопровождении полицейского чиновника, как тогда практиковалось, доставлен на германскую границу, в Кель (Hübner, op. cit. I, 44—45). Следует отметить, что в литературе о Тьере сведения о его судьбе в декабрьские дни разноречивы.

[116] Сибур (Sibour) Марк-Доминик-Огюст (1792—1857) стяжал себе известность республиканскими взглядами, благодаря которым и получил при Кавеньяке (июль 1848 г.) назначение на должность парижского архиепископа. Это не помешало ему примкнуть к Луи Бонапарту и, если, как пишет Толстой, 10 декабря 1851 г. Сибур еще не появлялся в Елисейском дворце, то 1 января 1851 г. он уже служил в Notre-Dame торжественную мессу с пением после «Salvam fac Rempublicam»—«Salvum fac Napoleonem». Виктор Гюго заклеймил подлое ренегатство Сибура стихотворением «Le Te Deum du 1 janvier 1852» («Châtiments»).

[117] Angoulême Мария-Тереза-Шарлотта, герцогиня (р. 1778)—дочь Людовика XVI и жена герцога Ангулемского, умерла в октябре 1851 г.

[118] Конституция 15 января 1852 г. требовала от депутатов присяги на верность новому режиму. Кавеньяк и Карно (Ипполит), избранные в Законодательный корпус, отказались принести присягу и были объявлены самоустранившимися от депутатства.

[119] Откуда почерпнул Толстой сведения о похоронах Н. А. Герцен—неизвестно, но его указание на выступление Герцена с речью на могиле жены не находит подтверждения ни у самого Герцена (ср. «Былое и думы», ч. V, гл. 50.—Собрание сочинений под ред. М. К. Лемке, XIII, 560), ни в описании похорон в местной газете, ни в свидетельствах очевидцев, ни, наконец, в рапорте посланном в министерство иностранных дел, русским консулом в Ницце (см. Герцен, Собр. соч., XIV, 106—112). Равным образом, нет упоминаний в литературе о присутствии на похоронах И. Головина, с которым Герцен в те годы, действительно, поддерживал отношения.

[120] «Napoléon le Petit». Par Victor Hugo. Bruxelles, 1852.—Первый памфлет, о котором пишет Толстой, «Les nuits de St. Cloud»—анонимная брошюра, собрание, по его словам, грязных анекдотов и описаний романических приключений Луи-Наполеона.

[121] См. «Moniteur» от 26 августа 1852 г. 28 августа «Times» поместила новую статью против установившегося во Франции режима, с перечислением количества жертв переворота 2 декабря. Против этой статьи «Moniteur» выступил с опровержением 30 августа, противопоставляя цифрам «Times» свои, значительно по сравнению с последними, уменьшенные.

[122] Имеются в виду слова Людовика XIV, сказанные им, по преданию, в связи с переходом испанского трона по наследству к его внуку Филлипу V Анжуйскому (1700): «Il n'y a plus de Pyrénées» («Нет больше Пиренеев»), т. е. Испания, отделявшаяся от Франции Пиренеями, становится французской.

[123] Soulouque Фаустин (1789—1867)—негр с острова Гаити, в 1847 г. был избран президентом республики Гаити, а в 1849 г. провозгласил себя императором Гаити под именем Фаустина I (свергнут 15/I 1859 г.). Прозвище Сулука прочно укрепилось за Луи-Наполеоном. Маркс в «Классовой борьбе во Франции» называет Луи-Наполеона «французским Сулуком» (Маркс и Энгельс, Сочинения, изд. ИМЭЛ, 1931, VIII, 82). В «18-м брюмера Луи Бонапарта», характеризуя окружение Луи-Наполеона, Маркс пишет: «Ко двору, в министерства, на вершину администрации протискивается толпа молодцов, о лучшем из которых приходится сказать, что неизвестно откуда он явился—шумная, подозрительная хищническая богема, влезающая в обшитые галунами сюртуки со смешной важностью сановников Сулука» (ibid., 414—415).

[124] Абд-эль-Кадер (1807—1883)—арабский эмир, прославившийся своими войнами с французами в Алжире (1832—1847). Потерпев окончательное поражение, сдался генералу Ламорисьеру и был отправлен во Францию (1847), где содержался под стражей. Луи-Наполеон во время своей поездки по Франции, в октябре 1852 г., лично объявил Абд-эль-Кадеру о возвращении ему свободы.

[125] Имеется в виду врученное 4 ноября 1852 г. сенату послание Луи-Наполеона, в котором последний предлагал восстановить во Франции империю.

[126] Troplong Раймон-Теодор (1795—1869)—французский юрист, пэр Франции (1846). После революции 1848 г.—бонапартист. В январе 1852 г. назначен вице-президентом сената, а в ноябре того же года, после ухода с поста президента Иеронима Бонапарта—президентом сената.

[127] Louis Bonaparte (1778—1846)—голландский король, отец Луи-Наполеона, был моложе своего брата Lucien'a Bonaparte'a (1775—1840), князя Канино, а Jérôme Bonaparte (1784—1860), бывш. вестфальский король, моложе их обоих и самый младший из братьев Наполеона.

[128] Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869)—адмирал, ген.-адъютант, светл. князь. Был послан в феврале 1853 г. во главе чрезвычайной миссии в Константинополь для переговоров, предшествовавших крымской войне. После отказа Турции заключить с Россией договор, обеспечивающий ей протекторат над всем православным населением Турции, выехал 21 мая 1853 г. из Константинополя. Перипетии переговоров привлекали всеобщее внимание Европы, а поведение Меншикова дало повод к распространению многочисленных и в ряде случаев преувеличенных слухов о его грубости по отношению к султану и турецким министрам (Ср. Schiemann Th., Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I, B.-Lpz., 1904—1919, IV, 283, 286).

[129] В пространной передовой, подписанной Арманом Бертеном (редактором-издателем газеты), «Journal des Débats» давала анализ нот, врученных Меншиковым турецкому правительству, и брала их под свою защиту. По мнению «Journal des Débats», требования России не содержали ничего невыполнимого и отнюдь не должны были привести к конфликту. Статья заканчивалась успокоительными заверениями, что ничто не угрожает европейскому миру. «Débats»—орган орлеанистской оппозиции, одна из немногих уцелевших при второй империи газет не-бонапартистского толка. Оставалась попрежнему влиятельнейшей и осведомленнейшей французской газетой своего времени.

«Le Constitutionnel» (см. прим. 40-е и 71-е), после революции 1848 г. примкнувшая к временному правительству, очень скоро переменила ориентацию и стала в ряды сторонников бонапартизма. В 1852 г. газета была продана доктором Вероном банкиру Миресу (Mirès Жюль-Исаак, 1800—1871) и превратилась окончательно в официоз. Миресу принадлежала в то время и основанная Ламартином (ранее республиканская) газета «Le Pays» (была основана в 1849 г.), выходившая с подзаголовком «Journal de l'Empire». Редактором обеих газет состоял назначенный Миресом де Ла Героньер (de La Gueronnière Артур, 1806—1875). Что касается «La Presse» (см. прим. 10-е), то Эмиль Жирарден, позицией которого определялась позиция газеты, вначале выступал против Луи-Наполеона и был даже по декрету от 9 января 1852 г. временно выслан из Франции. Вернувшись через 2 месяца, он повел газету без определенной политической программы, отказываясь, по возможности, от обсуждения политических вопросов и, таким образом, удерживаясь в узких рамках наполеоновских законов о печати.

[130] Смысл слов Шельбёрна (Shelburn) становится понятным, если вспомнить, что 31 мая 1853 г. английская эскадра вице-адмирала Дендаса, стоявшая у берегов Мальты, получила распоряжение итти к входу в Дарданеллы. Весть об этом, повидимому, тотчас достигла Парижа. Ответ Толстого содержит напоминание об англо-греческом

инциденте 1850 г., т. н. деле Пачифико. Английская эскадра появилась тогда неожиданно у берегов Греции, требуя вознаграждения английского подданного, ростовщика-еврея Пачифико, за разграбление толпой его дома в Афинах. Правительство короля Оттона (Оттон I—греческий король, 1832—1862), чтобы освободиться от блокады, вынуждено было удовлетворить претензии Англии.

[131] Lavalette Шарль-Жан-Мари-Феликс, маркиз де (1806—1881)—французский посол в Константинополе (1851—1853).

[132] Джерси—английский остров в Ламанше, искони дававший приют французским политическим эмигрантам. После переворота 1851 г. на Джерси поселилась довольно многочисленная группа изгнанников-республиканцев (среди них В. Гюго).

[133] Принц Наполеон Бонапарт (1822—1891)—младший сын вестфальского короля Иеронима Бонапарта от второго брака. Был назначен (1853) Луи-Наполеоном дивизионным генералом, хотя никогда до этого в армии не служил. Играл довольно значительную роль во внешней и внутренней политике Второй империи.

[134] Панин Виктор Никитич, граф (1801—1874)—министр юстиции (1839—1860); приехал в Париж 12 июня 1853 г. (См. «Journal des Débats» от 13/VI 1853 г.). Великая княгиня Мария Николаевна (1818—1876)—дочь Николая I, вдова герц. Лейхтенбергского; газеты сообщали о предстоящей ее поездке в Англию, через Бельгию и Францию.

[135] Толстой передает, видимо, какие-то непроверенные слухи.

[136] Ратапуали (ratapoil)—прозвище сторонников военщины и, в частности, бонапартистской военщины.

[137] Принцесса Матильда (Mathilde-Laetitia-Wilhelmine Bonaparte, 1820—1894)—дочь вестфальского короля Иеронима Бонапарта от второго его брака с принцессой Екатериной Вюртембергской. В 1840 г. вышла замуж за Анатолия Демидова, с которым развелась в 1845 г. Была очень дружна со своим двоюродным братом Наполеоном III.

[138] Велли-Эддин-Рифаат-паша—оттоманский чрезвычайный посланник и полномочный министр во Франции (1853—1854).

[139] 30 ноября н. ст. 1853 г. начальник русской эскадры адмирал Нахимов настиг турецкую эскадру, укрывшуюся от бури в Синопском порту, на Анатолийском берегу Черного моря, и уничтожил ее там после трехчасового боя (война еще не была официально объявлена).

[140] «L'Assemblée Nationale» (1848—1857)—орган объединенных орлеанистов и легитимистов, ведший, и не без успеха, ожесточенную борьбу с республиканским правительством. После переворота 2 декабря газета была сохранена наравне с другими легитимистскими газетами, так как Луи-Наполеон рассчитывал найти с легитимистской прессой общий язык. Во главе газеты стоял Ла Валетт (La Valette Адриен граф де, 1814—1886). Ближайшее участие в газете принимали Гизо, Моле, Сальванди, Беррье, Ларошфуко и др. В первые годы существования газеты деятельным ее сотрудником состоял Гранье де Кассаньяк (см. прим. 73-е). Толстой был связан с газетой в течение ряда лет и снабжал ее деньгами (см. прим. 71-е, а также К Делу № 191, 1836, пак. 10 (1), лл. 25 об., 74 К Делу № 191, пак. 10 (4), лл. 79, 188 об.—189).

[141] Сельфис-бей (Сефельс)—атташе турецкого посольства в Париже (1851—1854).

[142] Когда после объявления войны Толстой был вынужден переселиться в Брюссель, этот самый Вольферс стал одним из его «корреспондентов», информировавшим его обо всем происходившем в Париже (см. К Делу № 191, 1836, пак. 10 (4), лл. 204 и сл.).

[143] Отставка Пальмерстона—15 декабря 1853 г., после пребывания с 1852 г. во главе министерства внутренних дел. Будучи министром внутренних дел, Пальмерстон оказывал влияние и на иностранную политику Англии, высказываясь решительным образом за войну с Россией, в союзе с Францией.

[144] Saint-Arnaud Жак-Ахилл (1798—1854)—французский генерал; принимал деятельное участие в подготовке переворота 2 декабря 1851 г. За «заслуги» во время переворота получил звание маршала (2 декабря 1852 г.), военный министр (октябрь 1851 г.—март 1854 г.), главнокомандующий французской армией в Крыму, скоропостижно умерший в начале кампании (20 сентября 1854 г.); совершенно бездарный вояка. См. его яркие характеристики у Маркса.—Маркс и Энгельс, Сочинения, ИМЭЛ, 1933, X, 64—67, 145, 170, 421, 524, 617.

[145] Fould Ахилл (1800—1867)—французский банкир, министр финансов (1849—1851), после переворота 2 декабря—сенатор и государственный министр (ministre d'Etat, 1852—1860). По словам Маркса «один из самых опороченных членов финансовой аристократии»—Маркс и Энгельс, Сочинения, ИМЭЛ, 1931, VIII, 359).

Baroche Пьер-Жюль (1802—1870)—адвокат, член палаты депутатов и Национального собрания; генеральный прокурор (1849), министр внутренних дел (1850)

и иностранных дел (1851), после переворота 2 декабря, по выражению Маркса, на «очень доходной должности вице-президента сената», а затем председателя Государственного совета.—Ibid., 363.

[146] Persigny Жан-Жильбер-Виктор (1808—1872)—деятельный участник переворота 2 декабря 1851 г., министр внутренних дел (2 января 1852 г.—23 июня 1854 г.).

[147] Drouyn de Lhuys Эдмон (1805—1881)—французский дипломат, министр иностранных дел (1852—1855), сторонник союза Франции с Англией.

[148] Hugo (V.) Les Châtiments, Bruxelles, 1853.

[149] Одним из информаторов Толстого был в те годы некий Паскаль, которого он именует личным секретарем (secretaire intime) Луи-Наполеона. Как указывает Толстой, Паскаль служил ранее секретарем у генерала Жомини и сотрудничал в «Spectateur militaire» (журнал, посвященный вопросам военной науки, военного искусства и военной истории, 1826). За сведения, доставляемые Паскалем, в Петербурге платили охотно, и по отношению к нему проявляли бо́льшую щедрость, чем по отношению к журналистам (см. Дело III отд. 1 эксп. № 191, ч. 5, лл. 49—50; ч. 6, лл. 40—41, и К Делу III отд. 1 эксп. № 191, пак. 10 (2), лл. 37 об.—40, 49).

# НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА И. С. ТУРГЕНЕВА К ДЮ-КАНУ, ФЛОБЕРУ И Э. де ГОНКУРУ*

Вступительные статьи prof. André Mazon (Париж)

Публикация и примечания M. Gorlin (Париж)

## I. ПИСЬМА К МАКСИМУ ДЮ-КАНУ

Шестнадцать писем Тургенева к Максиму Дю-Кану, хранящиеся в библиотеке Французской академии (Bibliothèque de l'Institut), проливают яркий свет на взаимоотношения этих двух писателей.

Они познакомились, вероятно, в конце 50-х годов. Повидимому, Дю-Кан был одним из первых литераторов, при посредстве которых Тургенев завязал отношения с парижским литературным миром. В двух письмах, к С. Т. Аксакову и к Герцену, помеченных 8 января 1857 г., рассказывая о встречах с французскими писателями, Тургенев упоминает Дю-Кана, Леконта де Лиля, Виктора Гюго, Ламартина и Жорж Санд («Вестник Европы», 1894, II, стр. 498). 22 февраля 1865 г. на обеде у г-жи Юссон собрались Дю-Кан, Тургенев, Тэн и Флобер. В письмах к Гюставу Флоберу Тургенев не раз упоминает о Дю-Кане: «Я не виделся с Дю-Каном, который должен быть здесь [в Баден-Бадене]» (28 июля 1868 г.).—«Приветствуйте от меня г-жу Санд, Дю-Кана и tutti quanti» (Баден-Баден, 30 января 1870 г.).—«Кланяйтесь Дю-Кану и семейству Юссон» (Веймар, 20 февраля 1870 г.).—«Есть ли вести от Дю-Кана? В тревожное время он исчез, как и многие другие» (Лондон, 6 мая 1871 г.).

Тургенев особенно сблизился с Дю-Каном в 67—70-х годах, и именно к этой эпохе и относится бóльшая часть имеющейся в нашем распоряжении переписки (12 писем из 16). Франко-прусская война прервала эти отношения почти на десять лет, причем они не восстановились и по переселении Тургенева в Париж. Надо сказать, что Максим Дю-Кан, узнавший себя в Фредерике из «Воспитания чувств», почти совсем прекратил дружеские отношения с Флобером и, готовясь к избранию в Академию, все более и более впадал в академический тон. Лишь в 1880 г., в связи с проектом сооружения памятника Флоберу, Тургенев на время возобновил отношения с Дю-Каном. Четыре записки этого периода (последние из публикуемых здесь писем) дополняют то, что уже было известно об этом из письма Тургенева к Мопассану от 8 апреля 1881 г. Возобновившиеся отношения носили характер не столько дружеский, сколько светский, хотя и были сохранены внешние формы старинной дружбы.

В 1860 г. Максиму Дю-Кану было 38 лет. Он был сыном члена Медицинской академии и жил вполне обеспеченно. В молодости он много путешествовал и имел много интересных приключений. В 1844 г. он совершает первое путешествие на Восток. Июньские дни 1848 г. застают его в Париже офицером Национальной гвардии: полученная им рана свидетельствует о том, что он участвовал в баррикадных боях. Два года

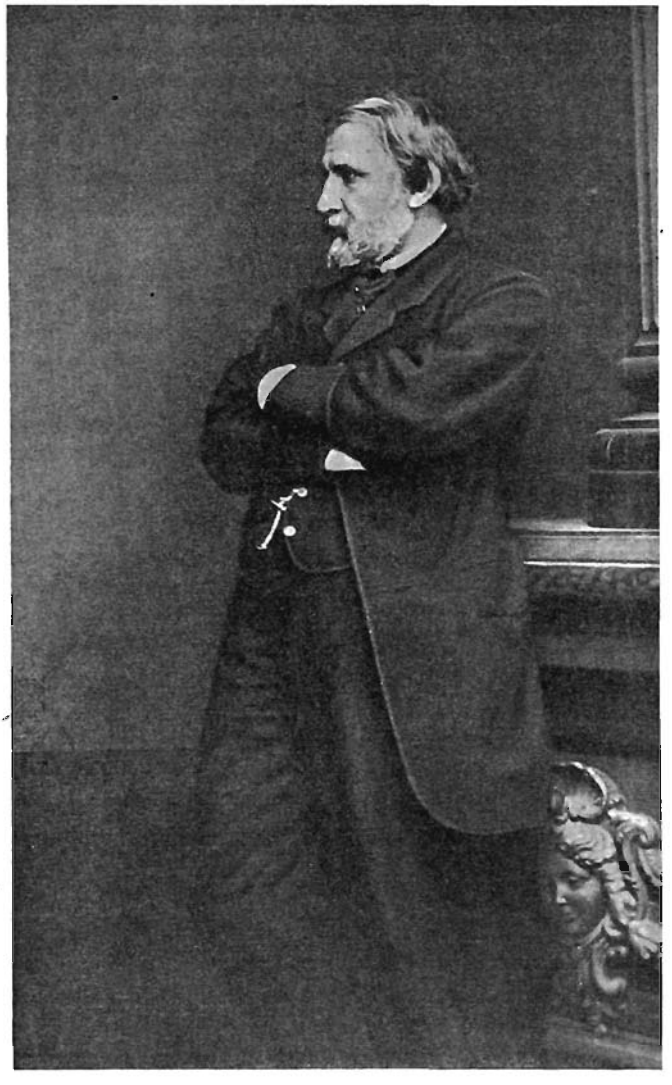
---

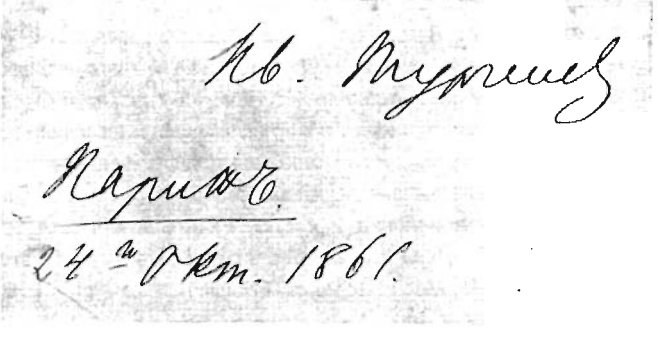
* Перевод писем И. С. Тургенева, как и всей публикации, представленной на французском языке, сделан Е. Гунстом.

спустя—с октября 1850 г. по май 1851 г.—он снова на Востоке, на этот раз в обществе Гюстава Флобера: он посещает Египет, Сирию, Иудею и Грецию. По возвращении во Францию он основывает «Revue de Paris», которую наполеоновское правительство закрыло в 1858 г. Одновременно он становится одним из основных сотрудников «Revue des Deux Mondes» по отделам путешествий, художественной критики, истории и беллетристики. В 1860 г. его увлекло новое приключение: он записался добровольцем в «тысячу» Гарибальди и проделал с его отрядами обе сицилийские кампании. Конечно, для Дю-Кана характерно стремление быть на виду, выдвигать себя на первый план, что так сурово осудил Флобер в памятном письме 1852 г.: «Что касается меня—я не стремлюсь к тихой пристани, а предпочитаю открытое море». Но у Дю-Кана была также и жажда простора, движения, действия, и эта жажда была сильнее его литературного призвания. Его общительность не исчерпывалась общительностью парижанина, завсегдатая столичных салонов: она свидетельствует о том, что у этого эгоиста были инстинкт общественной жизни, любознательность, стремление понять сложный механизм большого города, чувство коллектива, приспособленность к современной жизни. У этого человека, в отличие от Флобера, была потребность «смешиваться с толпой» («se mêler aux hommes»). И именно в Париже, в целях изучения столицы, исследования «ее организма, ее функций», и было им предпринято последнее большое путешествие, описанное в шеститомном труде «Paris, ses organes, ses fonctions, sa vie dans la seconde moitié du XIX siècle» (1869—1875). Парижская коммуна обязана ему первой документальной своей историей, написанной современником: «Convulsions de Paris» (1878—1879). Последние годы жизни (он умер в 1894 г.) он прожил, как уважаемый публицист, на покое, в достатке и почете. «Пират в отставке»—говорили о нем его коллеги по Французской академии, а виконт Мельхиор де Вогюэ не без язвительности определил сущность его жизни в следующих словах: «Под мушкетерским камзолом в нем скрывался истинный французский буржуа, сначала опьяненный романтизмом, затем отрезвленный сен-симонизмом и введенный им в нормальную колею». («Recueil des discours, rapports et pièces diverses lus dans les séances publiques et particulières de l'Académie française», 1870—1899, 2-e partie, P., 1900, p. 141).

Таков Дю-Кан, как человек. Друг его юности, Гюстав Флобер, отлично знал его; отдавая должное его таланту, он отнюдь не заблуждался насчет его характера. Тургенев же знал его, повидимому, лишь, как любезного литератора и остроумного собеседника. В сердечном тоне его писем к Дю-Кану не заметно ни сдержанности, ни настороженности, и все же этот несколько банальный дружеский тон показывает нам, что, в сущности, эти два писателя никогда не были действительно близки: Максим Дю-Кан не упоминает о Тургеневе в «Souvenirs littéraires»; в свою очередь, он для Тургенева не более, как случайный встречный на жизненном пути, любезный человек, с которым часто и охотно видишься, но который не может возбудить к себе ни серьезного интереса, ни симпатии. Это была чисто внешняя дружба, без завтрашнего дня, столь обычная в светской жизни.

Находящиеся в нашем распоряжении письма весьма полно освещают это; но они ценны и в другом отношении: они обогащают несколькими подробностями литературную историю двух произведений: перевода на русский язык «Les Forces perdues»—романа Дю-Кана и перевода на французский «Истории лейтенанта Ергунова» Тургенева. Кроме того, они дают несколько интересных биографических подробностей: о портрете Тургенева, гравированном Эдуэном (Hédouin), о взаимоотношениях Тургенева с художником Луи Поме (Louis Pomey) и др. Письма эти оставляют впечатление бодрости, хорошего настроения, беззаботности: в них отражается относительно счастливый период жизни писателя, предшествовавший франко-прусской войне. В этой пачке пожелтевших листков выделяется взволнованная и волнующая страница, которая, по справедливости, должна бы быть включена в «Записки охотника», поскольку






И. С. ТУРГЕНЕВ
Фотографическая карточка с автографом
Литературный музей, Москва

она отражает душевную драму цивилизованного человека, борющегося со своими первобытными инстинктами,—точно так же, как захватывающий рассказ Пьера Лоти про смерть обезьяны, которую писатель собственноручно пристрелил.

«Я чувствую себя довольно хорошо в Карлсруэ. Здесь я работаю немного больше, чем в Бадене; несколько раз хорошо поохотился: я присутствовал (у вел. герцога) при избиении кабанов, выпущенных в загон. Я даже подстрелил одного; появился, раскачиваясь и приятно улыбаясь, герцогский егерь и прикончил его. Он вонзил ему нож в сердце с таким видом, точно вручал ему визитную карточку, потом обтер лезвие о его трепещущий бок—и все улыбался. Это вызвало у меня воспоминание о Варфоломеевской ночи; мне казалось, что я молча и подло присутствую при убийстве. Именно подло — потому что я находился на своего рода импровизированной трибуне, а несчастные животные пробегали перед нами. А затем я подумал, что надо и это испытать».

В связи с письмами, касающимися предисловия Тургенева к «Утраченным силам» и его содействия появлению этой книги в русском переводе, естественно, возникает желание перечитать роман Дю-Кана и русское предисловие к нему, которое покойный М. О. Гершензон, к счастью, включил в свои «Русские Пропилеи» (т. III, М., 1916, стр. 170—174).

Этот забытый роман далеко не лишен значительности. Он знаменует собою определенный этап в жизни и творчестве автора: искоренение романтических настроений, прощание с романтизмом; это последняя вспышка романиста, который вскоре в лавчонке оптика, как он сам рассказывает в «Souvenirs littéraires» (t. II, P., 1885, pp. 413—415), отречется от художественной литературы, чтобы стать статистиком и социологом. Истекшее время дает нам возможность увидеть роман Дю-Кана в правильной исторической перспективе и определить его место в литературе той эпохи. На основании последних разысканий флобероведов, современные историки литературы сходятся в утверждении, что «Утраченные силы» являются автобиографией, послужившей канвою «Воспитанию чувств», а «Воспитание чувств»—отзвуком романа, действительно пережитого Максимом Дю-Каном (Фредерик) с госпожей Делессер (г-жа Дамбрез). Когда «Утраченные силы» вышли в свет, Флобер писал Жорж Санд: «Заметили ли вы, что иногда в воздухе как бы носятся общие идеи? Вот, например, я только что прочел «Утраченные силы»—новый роман моего друга Дю-Кана. Он во многом напоминает роман, который я сейчас пишу». Но автор «Воспитания чувств», рисуя объективно своего героя, не относился к нему так снисходительно и легко, как автор «Утраченных сил»—к своему, в котором изобразил самого себя. Известно, как Флобер отозвался о Дю-Кане в письме к Луизе Коле от 20 марта 1853 г.: «Вот увидишь—в один прекрасный день он подцепит тепленькое местечко и распрощается с литературой. В его голове все мешается: женщины, ордена, искусство, сапоги; все это кружится на одном уровне; лишь бы это его выдвигало—вот что важнее всего». Это суждение неотделимо от того, что́ сказано о Фредерике в «Воспитании чувств»: «Он окончательно входил в мир великосветских адюльтеров и интриг. Чтобы быть в нем на первом месте, достаточно было подобной женщины... Вследствие этой атрофии чувств, его голова была совершенно свободна, и теперь более, чем когда-либо, он мечтал о высоком положении в свете. Располагая таким трамплином, он не мог им не воспользоваться» (см. статью Maurice Parturier в «Bulletin du Bibliophile», 1932; Autour de Mérimée: «Les Forces perdues» et «l'Education sentimentale»).

Что же касается предисловия Тургенева, то его теперь нельзя читать без улыбки—до такой степени видна его подоплека. Действительно, построено оно несколько своеобразно. С одной стороны—усиленные извинения автора перед русской публикой за то, что он представляет ей французского писателя в то время, как русская литература

совершенно освободилась от былой подражательности, когда она сама имеет выдающихся мастеров и не нуждается в упадочной литературе наполеоновской Франции («...когда наставники сами слабеют и никнут, как это мы видим в современной нам наполеоновской Франции»); таланты, разумеется, во Франции еще попадаются, но им недостает искренности, правдивости («французы так же легко обходятся без правды в искусстве, как без свободы в общественной жизни»); и ни одно из действующих лиц Бальзака, столь разработанных в деталях, не производит впечатления живого человека («ни одно из них никогда не жило и жить не могло»), всем им, в отношении правдивости, далеко до «Казаков» Льва Толстого. С другой стороны, сама книга является лучшим извинением для автора предисловия—именно потому, что она расходится с традицией французского романа, поскольку она является книгой прочувствованной, живой, словом, правдивой. Таким образом, Бальзак неожиданно становится темным фоном, на котором, как светлое явление, выделяется Максим Дю-Кан, хотя при ближайшем рассмотрении слова, характеризующие творчество этого последнего, несколько расплывчаты и лишены теплоты.

Это предисловие очень знаменательно: оно отражает русскую точку зрения конца 60-х годов на французские дела, оно показывает, что Тургенев, постоянный скиталец, старается принять ее во внимание, оно обнаруживает, какая пропасть отделяет «Человеческую комедию» от тургеневской концепции романа, оно показывает, что Тургенев старался исполнить просьбу Дю-Кана и при этом не повредить себе в России, и, наконец, оно доказывает, что Тургенев, несмотря на свое западничество, мало интересовался французской литературой, предшествовавшей шедеврам его друга, Гюстава Флобера.

A. Mazon

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

| | |
|---|---|
| Flaubert, Correspondance | Flaubert, Correspondance, édition Conard, Paris, 1926—1933, 9 vol. |
| Journal des Goncourt | [Goncourt Jules et Edmond] Journal des Goncourt, Paris, 1887—1892, 9 vol. |
| Halpérine-Kaminsky | E. Halpérine-Kaminsky, Ivan Tourguéneff d'après sa correspondance avec ses amis français, Paris, 1901. |
| Turgenjew an Pietsch | Iwan Turgenjew an Ludwig Pietsch, Briefe aus den Jahren 1864—1883, hsg. von Alfred Doren, Berlin, s. a. |
| Клеман | М. К. Клеман, Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, 1818—1883, Москва, «Academia», 1934. |

## ТУРГЕНЕВ—МАКСИМУ ДЮ-КАНУ

### I

Москва
Пятница, 10/22 марта [18]67 г.

Любезный друг,

Я приехал сюда только вчера и только вчера получил ваше письмо. Пришлите мне поскорее вашу книгу[1]; я пробуду в Москве еще три недели. Все будет сделано, как вы желаете. Я буду очень рад дать возможность русской публике оценить и столь выдающееся сочинение, как «Утраченные силы», и ваш талант, который, впрочем, не так уж неизвестен нашим читателям, как вы думаете[2].

В настоящее время я так обременен делами, что вы простите меня, что я не говорю ни о чем другом; надеюсь увидеться с вами в Париже в первых числах мая; сердечно жму вам руку.

Весь ваш И. Тургенев

P. S. Высылайте книгу сюда, в адрес «Русского Вестника».

[1] «Утраченные силы» («Les Forces perdues»)—роман Максима Дю-Кана, вышедший в Париже в 1867 г.

[2] Вот как Тургенев рассказывает в письме к Анненкову историю перевода «Утраченных сил», который он собирался пристроить в России: «...французский писатель М-г Дюкан, с которым я дружен и которому до некоторой степени обязан. Он написал роман Les Forces perdues и, узнав, что он мне понравился, попросил меня способствовать его переводу на русский язык, что я и обещал (все это происходило зимой)». См. письмо к Анненкову от 19 октября 1867 г.—«Русское Обозрение», 1894, I, стр. 24—25.

2

Баден, Schillerstrasse 277
Понедельник, 29 апреля [18]67 г.

Любезный друг мой,

Я вернулся сюда уже неделю тому назад,—надо сообщить вам, что̀ я сделал для «Утраченных сил». У нас в Петербурге есть книгоиздательство, выпускающее переводы иностранных романов: их выходит двенадцать выпусков в год—наподобие журнала; имеется 5—6 тысяч подписчиков: предприятие существует лет десять; переводы очень хороши[1].

Ваш роман будет издан в течение лета; я обещал написать предисловие, в котором скажу много неприятного о вас, попутно обрисовав в общих чертах современное состояние французского романа. Предисловие должно быть готово к 1 июня; я написал уже несколько страниц[2]. Когда перевод появится, о нем заговорят критики, и заговорят благожелательно. Как видите, дело поставлено солидно.

С ногою у меня—чорт бы ее взял—все еще плохо, и, повидимому, мне придется полечиться в Вильдбаде. Здесь совсем было решили воевать, но вот уже два дня, как ветер подул в сторону мира[3]. Я, разумеется, за мир: помимо всего прочего, он хорош тем, что позволит вам вернуться сюда. Не знаю хорошенько, когда поеду во Францию; а если и поеду, то только ради свидания с дочерью[4]. Если вы тогда будете еще в Париже,—заеду пожать вам руку. Когда вы приезжаете?

Виардо просит передать вам поклон, а я дружески жму вам руку.

И. Тургенев

[1] Речь идет о «Собрании иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык», издававшемся Е. Н. Ахматовой.

[2] Тургенев закончил предисловие лишь в октябре 1867 г., между тем, первые страницы были написаны, повидимому, еще в апреле—мае того же года. Пять листов, без даты, находящиеся среди парижских рукописей Тургенева, вероятно, и являются черновыми набросками этого предисловия. Судя по словам: «обрисовав в общих чертах современное состояние французского романа», общий план предисловия был уже готов. Именно с очерка о состоянии современного французского романа и начинается предисловие Тургенева. Он хвалит «Утраченные силы», сравнивает их с «Госпожей Бовари» Флобера и превозносит их, как редкий образчик реалистической и естественной прозы, резко выделяющийся среди общей фальши французской литературы того времени. См. письмо к Анненкову от 19 октября 1867 г.—«Русское Обозрение», 1894, I, стр. 25; Mazon (André), Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev, P., 1930, p. 71.

[3] Осенью 1867 г. ждали войны с Францией. См. письма Тургенева к Боткину от 18 и 20 апреля 1867 г. и письмо его к дочери от 29 апреля 1867 г.: В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка, под ред. Н. Л. Бродского, М., 1930, стр. 260—262, и Séménoff, La vie douloureuse de Tourguénev, P., 1933, p. 175.

[4] См. ниже, письмо от 15 июня 1867 г. (стр. 670).

МАКСИМ ДЮ-КАН
Акварель Эжена Жиро с автографом писателя
Национальная библиотека, Париж

3

Баден, Schillerstrasse 277
Среда, 8 мая 1867 г.

Любезный друг, хочу побеспокоить вас просьбой, с которой я уже обращался к вам год тому назад; так как дело касается приятеля, я действую нагло: на выставке картин есть женский портрет работы Луи Поме; взгляните на него. Если найдете его достойным фразы или словечка—упомяните о нем в своем отчете о выставке[1]. Я знаю, что вы, по возможности, избегаете имен—«nomina sunt odiosa», но, словом, взгляните на портрет, а там поступайте, как найдете нужным. Поме—добрый малый, я его очень люблю.

Я поеду в Париж в июне, я еще застану вас там. Несмотря на вчерашнее сильное падение курсов на бирже, мы еще верим в мир. А пока—дружески жму вам руку.

И. Тургенев

[1] П о м е (Pomey) Луи-Эдмон (1831—1901)—художник, ученик Глейра, друг Тургенева и семьи Виардо. Выступал в Бадене в опереттах Тургенева (в роли паши в «Trop de Femmes»). В салоне 1867 г. выставил портрет M-me J. P. (о котором хлопочет Тургенев), а в салоне 1868 г.—портрет Полины Виардо в «Норме». Его картина S i m p l i c i t é находится в музее в Ницце.

Дю-Кан упомянул о Поме в своей статье «Salon de 1867», помещенной в «Revue des Deux Mondes»; впрочем, сделал он это лишь мимоходом: после рассуждений о портретной живописи и о ее трудностях он пишет: «А между тем, надо сказать, что гг. Родаковский, Каплинский, Поме и Кабанель выставили превосходные портреты». См. «Revue des Deux Mondes», vol. 69, mai—juin 1867, livraison du 1-er juin, pp. 646—678, и письмо Тургенева к дочери от 9 сентября 1867: S é m é n o f f , La vie douloureuse de Tourguénev, P., 1933, p. 176.

4

Баден, Schillerstrasse 277
Вторник, 2/14 мая 1867 г.

Любезный друг,

Пришлите мне поскорее краткий список всех ваших изданных трудов: эти статистические данные необходимы мне, чтобы закончить предисловие[1], которое я должен послать в Петербург в конце недели[2].

Между 5 и 10 числом будущего месяца поеду в Париж[3]; зайду пожать вам руку. А пока—«farewell».

И. Тургенев

[1] Данными, посланными Дю-Каном, Тургенев воспользовался в конце предисловия. Там упоминаются работы Дю-Кана о статистике и художественной критике.

[2] Предисловие было закончено, а следовательно, и отослано значительно позже. 19 октября 1872 г. Тургенев писал Анненкову: «...По свойственной мне лени предисловие окончено мною только теперь (Дюкану я, тайно краснея, сказал, что давно его послал)». См. «Русское Обозрение», 1894, I, стр. 25.

[3] Тургенев уехал в Париж 14 июня 1867 г. См. К л е м а н, стр. 166. См. также ниже, письмо от 15 июня 1867 г. (стр. 670).

5

Париж, Hôtel Byron, rue Laffitte
15 июня [18]67 г.

Любезный друг мой,

Есть бульдог еще страшнее Пегаса[1]—это чувство долга и семейных обязательств, только всего. Дочь пишет мне, что приедет сегодня вечером (сам я приехал утром) и завладеет мною на два дня—на воскресенье и понедельник[2]. Если желаете видеть меня во в т о р н и к, сообщите мне час, когда хотите, чтобы я приехал, и я явлюсь точно и аккуратно, как нотариус. А пока—дружески жму вам руку.

Весь ваш
И. Тургенев

[1] Охотничья собака Тургенева.

[2] 16 и 17 июня 1867 г.

6

Баден, Schillerstrasse 7
12 февраля 1868 г.

Любезный друг мой,

Если у вас под рукой найдется какой-нибудь русский, и если вы попросите его перевести прилагаемый таинственный вырезок*, он скажет вам, что это объявление о переводе «Утраченных сил» с моим предисловием. Два подчеркнутых слова—не более не менее, как ваше имя. Я уже запросил в Петербурге, почему, несмотря на обещание, мне не прислали экземпляров[1]. Уже добрых три недели, как книга вышла. Как только ее получу—пошлю или, вернее, сам занесу ее вам, ибо в воскресенье я уезжаю из Бадена и навещу вас в понедельник или во вторник. Я остановлюсь в Hôtel Byron, rue Laffitte; проживу в Париже приблизительно с неделю.

Очень буду рад повидать вас, а также и Флобера, который, надеюсь,

---

* Тургеневское выражение, обычное для его русских писем.—*Ред.*

не уедет в Руан до моего приезда. Здесь все чувствуют себя довольно сносно; один только Пегас изменился: он становится кротким, как ягненок, а это лишает его своеобразия.

Кланяйтесь от меня г-ну и г-же Юссон[2], дружески жму вам руку.

Ив. Тургенев

[1] 5 февраля 1868 г. Тургенев писал Анненкову: «Еще просьба! Я в газетах прочел объявление о выходе первой книжки Собрания романов с переводом Дю-Кана и моим предисловием, но до сих пор обещанных издательницей двух экземпляров не получил. Мне они не нужны, но Дю-Кан ужасно интересуется ими. Пожалуйста, сходите, напомните». Первая книга Собрания романов за 1868 г. вышла в конце января, объявление о ней было в «Московских Ведомостях» от 25 января. См. «Русское Обозрение», 1894, II, стр. 488, и Клеман, стр. 171.

[2] Г-жа Юссон (M-me Husson)—друг Максима Дю-Кана. Тургенев обедал у нее в феврале 1865 г. в обществе Дю-Кана, Тэна и Флобера. См. Клеман, стр. 152.

## 7

Баден, Schillerstrasse 7
18 февраля 1868 г.

Любезный друг,

Сам чорт, кажется, путается в мои дела и вставляет мне палки в колеса. Возможно, что я буду в Париже уже послезавтра, но возможно также, что моя поездка состоится лишь числа 15 марта. Ввиду такой неопределенности, вот что я решил: прежде всего становлюсь в молитвенную позу и произношу следующее:

Я послал в Revue des Deux Mondes небольшой рассказ, переведенный мною же с помощью Виардо и озаглавленный L'Aventure du Capitaine Jergounof. Рассказ этот (страниц 25—30, самое большее) предназначен для первого мартовского выпуска. Следовательно, нужно править гранки! Теперь вы уже догадываетесь, о чем я прошу. Сходите в редакцию (я сегодня же пишу г. Бюлозу[1]) и, если вещица моя принята (в чем я далеко не уверен, так как сюжет немного скабрезен), сделайте такую милость—выправьте гранки (рукопись очень четкая). Если мою Историю (Aventure) не захотят принять, положите ее преспокойно себе в карман, а когда я приеду в Париж, вы вернете ее мне или скажете, что с нею делать[2]. Я бесцеремонно взваливаю вам на плечи неприятную заботу, но, сами знаете, такова участь всех услужливых друзей. Еще раз низко, по-русски, кланяюсь вам и заранее благодарю.

Я в бешенстве, что до сих пор нет экземпляра «Утраченных сил»; я написал издательнице резкое письмо[3]. Вы получите книгу на другой же день после ее доставки сюда.

Кланяйтесь всем и, надеюсь, до скорого свидания.

Ваш И. Тургенев

[1] Бюлоз (Buloz, 1803—1877)—основатель и редактор «Revue des Deux Mondes».

[2] Перевод «Истории лейтенанта Ергунова» (L'Aventure du capitaine Jergounof) появился в апрельской книжке «Revue des Deux Mondes». Появление повести в этом журнале очень льстило Тургеневу. Он писал Анненкову: «Со всем тем перевод этой самой «Истории» помещен в апрельской книжке Revue des Deux Mondes—честь, которая, если уже дело пошло на хвастовство, досталась, кроме меня, одному Г. Гейне». См. письмо к Анненкову от 9 апреля 1868 г.—«Русское Обозрение», 1894, II, стр. 492, и прим. 2-е к следующему письму.

[3] Тургенев написал не Ахматовой, а Анненкову, которого просил сходить к ней: «и скажите ей, что я не того ожидал от ее аккуратности». См. письмо к Анненкову от 16 февраля 1868 г.—«Русское Обозрение», 1894, II, стр. 489.

**8**

Баден, Schillerstrasse 7
1 марта 1868 г., воскресенье

Любезный друг,

У меня было твердое намерение выехать во вторник, т. е. послезавтра, но появились новые препятствия, так что я не могу уже с уверенностью сказать, когда мне удастся уехать из Бадена; итак, сообщите об этом в Revue и действуйте в соответствии с этим.

Я, в конце концов, узнал, отчего задержалась присылка «Утраченных сил»: роман вышел в двух частях и вторая только что появилась в февральском номере; теперь я получу ее на ближайших днях и немедленно отправлю вам[1].

Я просил Этцеля послать вам два экземпляра моего романа[2]—один для вас, другой для Флобера. Надеюсь на вашу благосклонность.

Дружески жму вам руку, до свидания.

И. Тургенев

[1] Тургенев получил два экземпляра романа лишь в начале апреля 1868 г. 9 апреля этого года он писал Анненкову: «Я получил, наконец, от г-жи Ахматовой два великолепно переплетенных экземпляра Дюкановского романа, и один уже препроводил ему. Поблагодарите ее от моего имени; лучше поздно, чем никогда». См. «Русское Обозрение», II, стр. 494.

[2] Имеется в виду французское издание романа «Дым» («La Fumée»), переведенного кн. Голицыным. См. письма к Голицыну: Halpérine-Kaminsky, p. 324—334.

В письме к Анненкову от 1 марта 1868 г. Тургенев, перечисляя свои заграничные успехи, писал: «Не знаю, сказывал ли я вам, что в книжке Revue des Deux Mondes от 15-го марта появится перевод Истории лейтенанта Ергунова [он появился лишь в апреле]. Весьма хороший перевод Дыма на днях будет издан книгопродавцем Гетцелем, а Мериме хочет написать статью обо мне в Монитёре. Вы видите, что если в России мне приходится плохо, то за границею акции мои еще не совсем упали!». См. «Русское Обозрение», 1894, II, стр. 491—492.

**9**

Карлсруэ, Hôtel du Prince Max
13 янв[аря] [18]69 г.

Любезный и добрый друг мой,

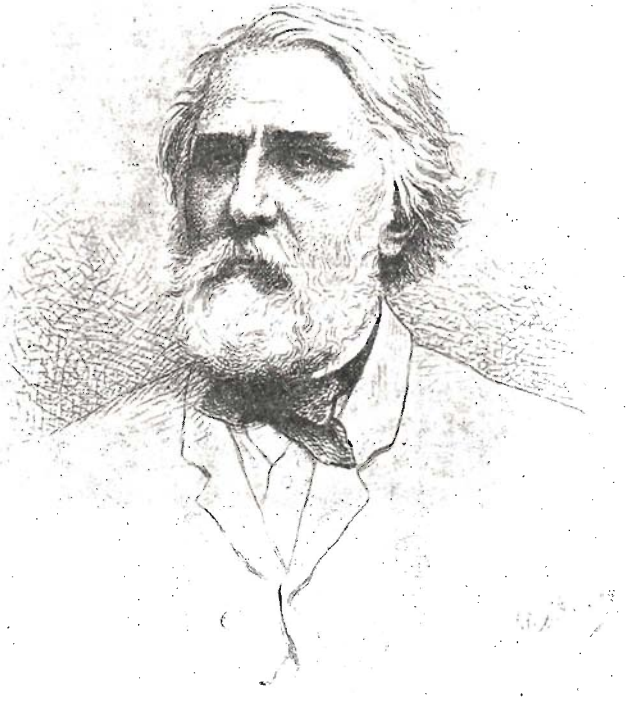
Тысячу раз благодарю вас за заботы, которыми вы удостаиваете мой портрет. Я решил изъять автограф и написал в этом смысле Эдуэну и своему издателю[1]. Я считаю себя недостаточно классиком для этого и нахожу, что и помещение портрета уже переходит границы. Оставим это для издания «post mortem»—если оное должно появиться—и постараемся, чтобы оно появилось как можно позже. Я очень рад, что вы довольны портретом.

Я чувствую себя довольно хорошо в Карлсруэ[2]. Здесь я работаю немного больше, чем в Бадене; несколько раз хорошо поохотился: я присутствовал (у вел. герцога) при избиении кабанов, выпущенных в загон. Я даже подстрелил одного; появился, раскачиваясь и приятно улыбаясь, герцогский егерь и прикончил его. Он вонзил ему нож в сердце с таким видом, точно вручал ему визитную карточку, потом обтер лезвие о его трепещущий бок—и все улыбался. Это вызвало у меня воспоминание о Варфоломеевской ночи; мне казалось, что я молча и подло присутствую при убийстве. Именно подло—потому что я находился на своего рода импровизированной трибуне, а несчастные животные пробегали перед нами. А затем я подумал, что надо и это испытать.

Что поделывает Флобер? Видали ли вы его? Как его роман?[3].

Передайте ему привет, а также и г-же Юссон, ее супругу и всем друзьям. Меланхолический Виардо чувствует себя недурно, я передал ему ваш поклон.

Пегас окончательно окривел—как Аннибал, Серторий, Филипп Македонский и Кутузов Российский. Несмотря на то, что у него столь знаменитые сокривые, я замечаю в нем развитие христианского смирения, того



И. С. ТУРГЕНЕВ
Офорт Э. Эдуэна, 1868 г.

самого, которое появляется, когда ничего другого не поделаешь. К тому же в левой лапе у него ишиас... Вот мы какие!

Дружески жму вам руку.

И. Тургенев

[1] Для нового, семитомного собрания своих сочинений, вышедшего в Москве, у бр. Салаевых в 1868—1869 гг., Тургенев заказал свой портрет Э. Эдуэну (Hédouin, 1820—1889), в то время самому модному граверу в Париже. В письме к Борисову от 28 ноября 1868 г. Тургенев просил его передать Салаеву, что портрет для нового собрания сочинений заказан «у первого парижского гравера». См. «Щукинский сборник», VIII, М., 1909, стр. 396—397. «Первый парижский гравер» брал очень высокие цены, как о том свидетельствует письмо от 26/14 апреля 1869 (см. ниже стр. 674).

[2] В Карлсруэ Тургенев переселился вместе с семейством Виардо в ноябре 1868 г.

[3] Флобер тогда работал над «L'Education sentimentale»; роман был закончен в мае 1869 г.

10

Баден, Thiergartenstrasse 3
Среда, 26/14 апр[еля] [18]69 г.

Любезный друг,

Когда соберетесь в Баден-Баден? Здесь так чудно-хорошо, что не могу удержаться от этого вопроса. Правда, у вас в Париже кабинет, с которым должно быть очень трудно расстаться. Словом, когда бы вы ни приехали—вы всегда будете желанным гостем. Я совершил очень забавную поездку в Веймар. Там давали—не где-нибудь, а в театре,—одну из наших оперетт, и она имела большой успех[1].

Кстати, Эдуэн взял с меня за гравюру, за офорт[2], 1 000 франков. Когда он мне назначил эту цену, я решил, что сюда входит часть стоимости бумаги, печати и т. д. Оказывается—нет; я получил и оплатил новый счет без малого на 800 фр. 1 тысяча франков за портрет офортом—дороговато, и я не решусь взвалить их на плечи своему издателю. Приму часть на себя, вот и все.

У Пегаса, бедняги, один глаз стал прекрасного опалового цвета. А в общем, он здоров и еще позволяет себе проказы: на-днях пришел, воя и вопя, как оглашенный; ему намазали (вероятно, чтобы отвадить его от суки, которую он навещал слишком усердно) провинившуюся часть тела с к и п и д а р о м!!

Немцы изобретательны!

До скорого свидания, не так ли? Передайте мой дружеский поклон г-ну и г-же Юссон, а если Флобер еще в Париже, обнимите его за меня.

Ваш И. Тургенев

[1] Речь идет об оперетте Тургенева «Le dernier sorcier». Она была представлена на Веймарском театре 8 и 11 апреля 1869 г. в немецком переводе Рихарда Поля, музыкального критика и поэта (1826—1896). Тургенев написал по этому поводу фельетон, появившийся в «Санкт-Петербургских Ведомостях» в апреле 1869 г. См. этот фельетон в XII томе «Собрания сочинений» Тургенева, под ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума, М.—Л., 1928—1934.

Тургенев придавал этому спектаклю большое значение. Он писал Фету 18 февраля 1869 г.: «Что меня теперь интересует—это первое представление нашей оперетты П о с л е д н и й к о л д у н с музыкой Виардо на Веймарском театре. Я непременно туда поеду и буду трепетать, хотя успех вероятен: музыка прелестная. Если оперетта понравится, это может иметь важное влияние на будущую карьеру Виардо; она займется композициею». Прием был радушный и горячий, но он не смог повлиять на карьеру Полины Виардо. См. Ф е т А., Мои воспоминания, М., 1890, II, стр. 193.

[2] Относительно портрета Тургенева—см. предыдущее письмо.

11

[Баден, ранее 1870 г.]

Любезный друг,

Я уезжаю послезавтра, в воскресенье; завтра до 3 ч. буду дома (я теперь живу на вилле Виардо); дружески кланяюсь вам и Ашару[1].

И. Тургенев

[1] А ш а р Амедей (Achard, 1841—1875)—французский романист, друг Максима Дю-Кана.

12

[Ранее 1870 г.]

Любезный друг,

Извинитесь, пожалуйста, за меня перед г-жей Юссон: приняв утром ее первое приглашение, я забыл, что должен сегодня обедать у графа Фле-

минга[1]; это было условлено заранее, и я не могу не быть. Но если г-жа Юссон позволит, я приеду тотчас же после обеда и останусь на вечер.

Дружески жму вам руку.

Четверг, полночь. И. Тургенев

[1] Граф Флеминг был прусским послом в герцогстве Баденском. См. письмо Тургенева к Боткину от 20 апреля 1867 г.: В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка, под ред. Н. Бродского, М., 1930, стр. 261.

13

[Ранее 1870 г.]

Любезный друг,

Я только что узнал от M-lle Марс, что вы просили у нее Récits d'un chasseur [«Записки охотника»] и что она не смогла их вам достать. Посылаю вам свой экземпляр и прошу держать его сколько вам будет угодно, но при чтении не забывать того, что я вам говорил о тусклом и «протокольном» характере перевода.

Дружески жму вам руку.

И. Тургенев

14

[Париж, 27 ноября 1880 г.]

Любезный друг,

Как вам известно, вы входите во Флоберовский комитет, что вполне естественно[1]. Я заезжал получить ваше письменное согласие для передачи его исполнительной подкомиссии, которая соберется завтра у меня (я один из вице-председателей). Главный комитет отличается тем, что не будет заседать постоянно, но подкомиссия будет испрашивать его одобрения на все, что сочтет нужным предпринять.

Дружески жму вам руку; надеюсь, до свидания!

Иван Тургенев

50, rue de Douai.

[1] Комитет по сооружению памятника Флоберу. См. письмо к Золя от 28 ноября 1880 г.: Halpérine-Kaminsky, p. 257, и письмо к Гонкуру от 24 ноября 1880 г. в настоящем издании (стр. 705—706).

15

Париж, 50, rue de Douai
Вторник, 21 дек[абря] [18]80 г.

Любезный друг,

Будьте так любезны прибыть в пятницу к 4 часам на Rue de Douai 50. Вы застанете нашу подкомиссию в сборе[1], и мы сможем поговорить о деле Флобера, которое принимает довольно дурной оборот[2].

А пока—дружески жму вам руку.

Иван Тургенев

[1] См. приглашения, посланные Тургеневым в тот же день Золя, Эредиа (в адрес Мопассана) и Гонкуру: Halpérine-Kaminsky, стр. 258—272, и письмо к Гонкуру в настоящем издании.

[2] Тургенев опубликовал в «Русских Ведомостях» от 27 ноября ст. стиля 1880 г. открытое письмо Боборыкину о подписке на памятник Флоберу. Письмо это встретило очень холодный прием. Тургенев писал Полонскому 22 декабря 1880 г.: «Ругательные статьи во всех газетах, град анонимных писем и пр.—осязательно доказали мне, что, обращаясь к российской публике за несколькими грошами в пользу памятника моему другу Флоберу—я сделал глупость». См. Клеман, стр. 299, и «Первое собрание писем Тургенева», СПБ. 1884, стр. 368.

**16**

Париж, 50, rue de Douai
22 янв[аря] [18]81 г.

Любезный друг,

Мопассану пришлось уехать, у него семейные неприятности. Я все же надеюсь повидаться с ним завтра; он даст вам сведения о семье, которая, очевидно, не предпримет ничего, но надо знать это наверняка[1].

Дружески жму вам руку.
Ив. Тургенев

[1] Из этого письма видно, что Дю-Кан проявлял некоторый интерес к участи Мопассана. Но осенью того же года между ними произошла ссора, навсегда оборвавшая их отношения. Дю-Кан опубликовал в своих «Souvenirs littéraires» подробности о нервном заболевании Флобера. Это была нескромность, основанная на зависти. Друзья Флобера дали Дю-Кану решительный отпор; Мопассан написал в ответ яростную статью (Camaraderie, «Le Gaulois», 25 octobre 1881). См. Dumesnil (René), Guy de Maupassant, P., 1933, pp. 166—167. О взаимоотношениях Тургенева с Мопассаном см. Halpérine-Kaminsky, pp. 267—275.

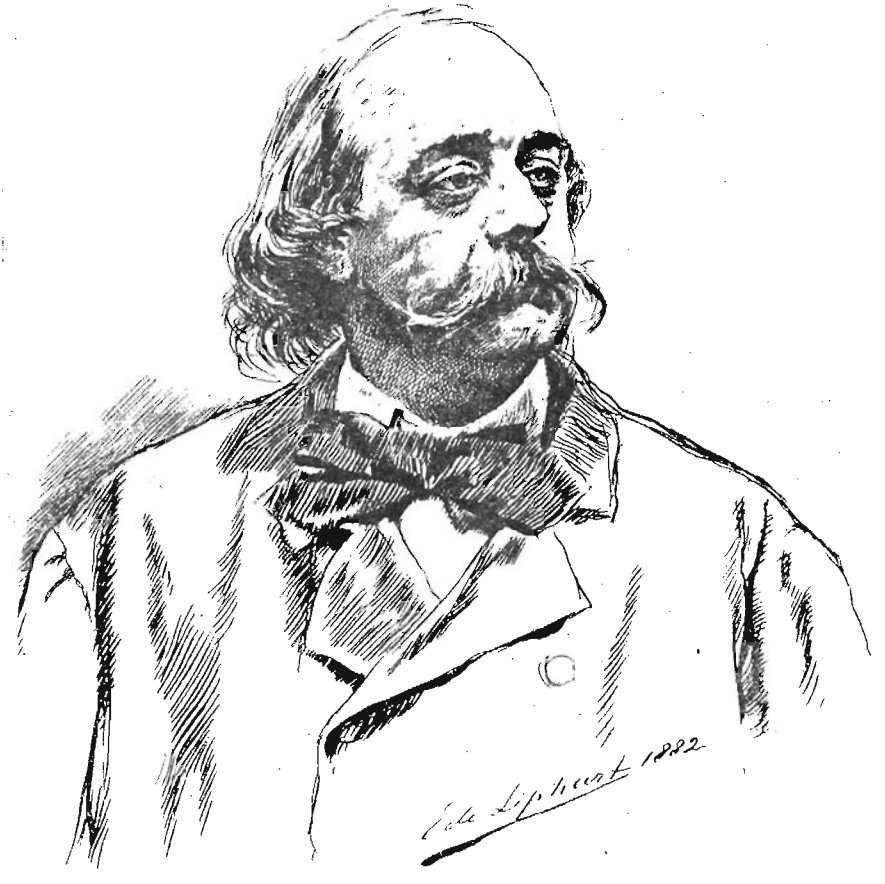
## II. ПИСЬМА К ГЮСТАВУ ФЛОБЕРУ

Значительная часть переписки Тургенева с Флобером известна уже давно; благодаря ей, а также и множеству других свидетельств, известно и то, что этих двух писателей связывала тесная дружба. И все же публикуемые в настоящем издании 24 новых письма Тургенева (с 19 ноября 1868 г. по 6 мая 1880 г.) являются ценным дополнением к истории этой дружбы. Мы сочли уместным присоединить к ним отрывок из письма от 23 июня (4 июля) 1876 г.; письмо это неточно воспроизведено Гальпериным-Каминским и показывает, как велика необходимость сверки уже опубликованных писем с оригиналами. Отныне историки русской литературы будут располагать собранием писем, которое следовало бы со временем выпустить отдельным изданием, чтобы всесторонне осветить тесную и глубокую, длившуюся около 20 лет, связь этих двух писателей. Последнее письмо настоящей публикации (от 6 мая 1880 г.) трогательно завершает эту переписку; оно не дошло до того, кому предназначалось: Флобер умер 8 мая, когда оно еще находилось в пути. «Нет нужды говорить о моем горе: Флобер был одним из тех, кого я больше всего любил на свете,—писал Тургенев Золя 23 мая 1880 г.—Ушел не только большой талант: он был необыкновенным человеком и являлся центром для всех нас». Достаточно напомнить эти слова; всякие комментарии только ослабили бы их.

Нижеследующие письма лишний раз, с интимной стороны, освещают картину этой горячей дружбы: то это простые записки, радостно назначающие день свидания, то краткие письма с жалобой на подагру или на близкую старость и извещающие в то же время о «вечеринке с танцами», устраиваемой для дочерей г-жи Виардо (письмо от 27 октября 1872 г.), и о припасенном для Флобера подарке, о «халате, прекрасном, как халат шаха персидского или, вернее, бухарского хана» (письмо от 11 июля 1877 г.), то это письма деловые—в том благородном значении слова, как понимал его Тургенев, т. е. письма о делах посторонних людей, об услугах друзьям—будь то хлопоты об ознакомлении немецкой публики с «Искушением св. Антония» (письмо от 17 мая 1874 г.) или о предоставлении разорившемуся Флоберу почетной должности в библиотеке Мазарини (письма от 7, 9 и 13 февраля 1879 г.), то это, наконец, задушевная беседа, какою является прекрасное письмо от 8 ноября 1872 г., основное в настоящем собрании.

Биографам Флобера и Тургенева станет теперь понятным тот досадный и несколько нелепый случай, когда Гамбетта отказал Флоберу, вообще ничего ни у кого не тре-

бовавшему, в предоставлении ему должности хранителя библиотеки Мазарини (о чем Флобер и не просил), должности, на которую, впрочем, он впоследствии был назначен номинально. Случай этот долгое время оставался неясным; статья, появившаяся в «Figaro» 15 февраля 1879 г. за подписью Aristophane, содержала весьма неубедительные данные (см. Dumesnil René, Gustave Flaubert, P., 1932, pp. 289—290). Письмо Тургенева от 13 февраля 1879 г. исключает всякие сомнения на



ГЮСТАВ ФЛОБЕР
Рисунок Э. Липпарта, 1882 г.
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

этот счет: именно Тургенев, со свойственным ему благородством—на этот раз опрометчивым,—взял это дело в свои руки, но не смог довести его до конца, так как «диктатор» отклонил честь познакомиться с ним лично; Тургенев же, сделавшийся от возмущения разговорчивее, чем обычно, помимо воли дал повод к появлению злополучной статьи в «Figaro». Как бы то ни было, мы обязаны этим хлопотам тем, что они позволяют нам заглянуть в один из тех салонов, которые, по выражению Тургенева, «управляют и распоряжаются Францией».

Еще значительнее письмо от 8 ноября 1872 г.; здесь мы находим нечто более важное, чем уточнение фактических данных: это письмо, вызванное смертью Теофиля

Готье, является ценным человеческим документом, освещающим различные оттенки усталости от жизни, усталости, которую почувствовали Флобер и Тургенев к пятидесяти годам. Дорогие им люди исчезают один за другим; переписка двух друзей принимает грустный тон: «от этого веет недугами, смертью»; а посредственность остающихся в живых угнетает их. Флобера осаждают мрачные мысли; Жорж Санд жалеет его. Его гнетет «плебс». Тургенев напоминает ему другие, с его точки зрения более достойные отвращения факты. «...Разве господин Александр Дюма-сын, эта «сволочь» (пользуюсь вашим выражением) в образе человека,—плебей? А г. Сарду и г. Оффенбах, а г. Вакри и все прочие, разве они плебеи? А между тем, от них изрядно несет. От плебса тоже несет, но несет словечком Камброна; от них — просто гнилью». Это, несомненно, реакция аристократов—аристократов духа—на подымающуюся волну ремесленников пера; это реакция литературной группы с высокими идеалами на деятельность писателей, гоняющихся за легким успехом и являющихся любимцами широкой публики (часть предисловия Тургенева к роману Максима Дю-Кана «Les Forces perdues» проникнута теми же критическими тенденциями). Но диагноз Тургенева заходит дальше и глубже: это «общий taedium vitae», это «тоска и отвращение ко всему человеческому»; это «грусть пятидесятилетнего человека». Каждый переживает этот недуг по-своему: Флобер негодующе кричит, Тургенев—жалобно стонет, и в его жалобе, в грустной улыбке, сопровождающей эту жалобу, мы узнаем настроения, которые вскоре вдохновят «Стихотворения в прозе». В письме он, однако, отвечая Флоберу, жалеет, не без лукавства, также и об утрате веры в человечество. «И вот что восхищает меня в госпоже Санд: какая ясность, какая простота, какой интерес ко всему, какая доброта! И если для этого надо отличаться некоторой снисходительностью, демократичностью, даже евангельскими чертами— что ж! примем и эти преувеличения». И письмо заканчивается прекрасным утверждением непреклонного художника: «Пусть мы скептики, критиканы, поношенные и усталые,—нас подхлестывает бич поэзии; нужно смело итти до конца...».

A. Mazon

## ТУРГЕНЕВ—ГЮСТАВУ ФЛОБЕРУ

### 1

[Париж], Hôtel Byron, rue Laffitte
Четверг [19 ноября 1868 г.]

Я выеду, любезный друг мой, в воскресенье в 8 ч. утра экспрессом и буду счастлив увидеть вас тотчас же по приезде.

Итак, до воскресенья. Дружески жму вам руку.

И. Тургенев[1]

[1] Записка относится к поездке Тургенева в Круассэ в воскресенье, 22 ноября 1868 г. См. письмо к Флоберу от 24 ноября 1868 г.: Halpérine-Kaminsky, p. 51, и Клеман, стр. 178.

### 2

Париж, Hôtel Byron, rue Laffitte
Пятница [26 марта 1869 г.]

Любезный друг,

Я приеду к вам в воскресенье в 2 часа; удобно ли это вам? Нам нужно многое обсудить сообща.

Ваш И. Тург[енев][1]

[1] Эта и следующая записки относятся, видимо, к пребыванию Тургенева в Париже в марте 1869 г., когда он несколько раз виделся с Флобером. См. письмо к Флоберу от 21 марта 1869 г.: Halpérine-Kaminsky, p. 53, и Клеман, стр. 182.

**3**

[Париж], Hôtel Byron, rue Laffitte
Суббота [27 марта 1869 г.]

Любезный друг,

Вчера я писал вам, что буду у вас в воскресенье в 2 часа, но смогу быть лишь к 3-м, однако, никак не позже.

Ваш И. Тургенев

**4**

Баден-Баден, Villa Viardot
18 ноября 1871 г.

Любезный друг мой,

После всевозможных напастей и отсрочек, вызванных приступом подагры и делами, которые, пожалуй, стоят подагры,—я завтра уезжаю в Париж[1]; если ничего со мной не случится, буду там в понедельник, а во вторник увижусь с вами, ибо предполагаю, что вы находитесь там, а потому и посылаю это письмо на улицу Мурильо.

Итак, до скорого свиданья—завтра, вслед за этим письмом[2]. Обнимаю вас.

Ваш И. Тургенев

[1] У Тургенева был приступ подагры в сентябре 1871 г.; в сентябре же он продал свой дом в Бадене, который покидал навсегда, переселяясь вместе с семейством Виардо в Париж. Но так как парижская квартира еще не была готова, Тургенев вынужден был прожить в Бадене, на вилле Виардо, до 19 ноября. В этом и заключались «напасти», «отсрочки» и «дела», о которых говорится в письме. См. письма к Пичу от 15 сентября и 14 ноября 1871 г.: Turgeniew an Pietsch, S. 127—129.

[2] Встреча состоялась лишь 30 ноября. Тургенев задержался из-за некролога, который он взялся написать о Н. И. Тургеневе, скончавшемся 10 ноября. См. письмо к Флоберу от 28 ноября 1871 г.: Halpérine-Kaminsky, pp. 62—63, и Клеман, стр. 204—205.

**5**

Париж, 48, rue de Douai
Понедельник [декабрь 1871— январь 1872 г.][1]

Любезный друг мой,

Вы приглашаете меня, оказывается, на пятницу; по пятницам у г-жи Виардо бывают музыкальные вечера, на которых я не могу отсутствовать. Я хочу только предупредить вас, что я должен быть дома не позднее, чем без 1/4 десять. Надеюсь, что это ничему не помешает.

Дружески жму вам руку.

Ваш старый
И. Тург[енев]

[1] Дата приблизительная. Судя по содержанию письма, оно написано, вероятно, еще до того, как Тургенев ввел Флобера в дом Виардо, т. е. ранее февраля 1872 г. Возможно, что это ответ на недошедшее до нас письмо Флобера, являвшееся, в свою очередь, ответом на письмо Тургенева от 19 января 1872 г. См. Клеман, стр. 208, и Halpérine-Kaminsky, p. 63.

**6**

Париж, 48, rue de Douai
21 октября [18]72 г.

Любезный друг мой,

Я не сразу ответил на ваше первое письмо потому, что мне хотелось сообщить вам, когда я смогу быть у вас. Сегодня мне, наконец, кажется, что подагра покидает меня и что я смогу отправиться в Круассэ на будущей

неделе в понедельник или во вторник. Прежде чем посетить ваши края, я должен побывать в окрестностях Шатодена у своей дочери, ибо она подарила меня внучкою, которой я еще не видел[1]. Во всяком случае, накануне отъезда к вам я черкну вам словечко.

Нет нужды говорить о том, как мне хочется повидаться с вами.

А пока—дружески обнимаю вас.

Ваш И. Тургенев

[1] Внучка Тургенева, Жанна, родилась 18 июля 1872 г. Первый раз он увидал ее в четверг, 24 октября. Он собирался поехать крестить ее приблизительно 23 сентября, но вынужден был отказаться от этого намерения, повидимому, из-за приступа подагры. Клеман предполагает, основываясь на письмах к Пичу и Флоберу, что поездка на крестины, действительно, состоялась. Настоящее письмо доказывает противное. См. Клеман, стр. 210—211; письмо к Пичу от 14 сентября 1872 г., Turgeniew an Pietsch, S. 141 и письмо к Флоберу от 27 октября 1872 г. в настоящей публикации.

**7**

Париж, 48, rue de Douai
Воскресенье, 27 окт[ября] 1872 г.

Любезный друг,

В четверг я навестил свою дочь; вернулся оттуда в пятницу, с большим трудом. Ночь с пятницы на субботу я провыл от боли; сегодня боль утихла, но колено сделалось величиною с голову, и вот я прикован к постели, по крайней мере, на две недели. Это одиннадцатый припадок подагры! Согласитесь, что мне исключительно везет.

А поэтому я дал себе слово не трогаться с места до весны, до того времени, когда поеду в Карлсбад на воды. Фу, жизнь становится уж слишком противной; меня от нее начинает прямо-таки тошнить. Если захотите меня повидать, вам придется приехать в Париж. Приезжайте 9 ноября, это день моего рождения, а я давно уже обещал дочерям г-жи Виардо устроить им в этот день вечеринку с танцами, хотя обстоятельства складываются так, что у меня нет особых оснований радоваться, что я родился в этот день[1]. Впрочем, танцовать будут внизу, а мы с вами побеседуем наверху, и я прослушаю конец Антония (если вы его привезете), ибо он интересует меня, несмотря на все мои немощи и на отвращение к жизни[2].

Напишите мне словечко: я совсем пал духом. Тем не менее, сердечно обнимаю вас.

Ваш И. Тургенев

[1] Встреча не состоялась. Именно 9 ноября у Тургенева был двенадцатый приступ подагры, самый тяжелый из всех. В письме к Пичу от 18 ноября 1872 г. он писал: «Не могу не поблагодарить вас, хоть и с опозданием, за ваши пожелания ко дню моего рождения, но и не скрою, что, вероятно, как раз в ту самую минуту, как вы брались за письмо, я от всей души проклинал этот злополучный день». См. Turgeniew an Pietsch, S. 106.

[2] Флобер закончил «Искушение св. Антония» 20 июня 1872 г. (дата на рукописи). Тургенев, восторгавшийся этим произведением, с нетерпением ожидал его окончания. Он писал Флоберу 7 октября: «Мне очень хочется видеть вас, говорить с вами и услышать конец Антония». См. Halpérine-Kaminsky, p. 68.

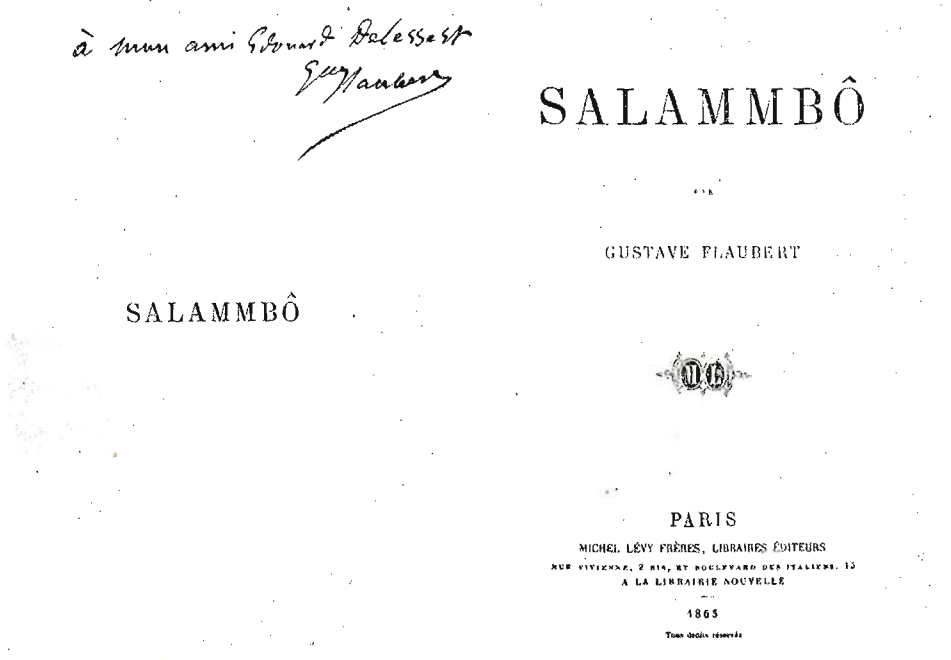
**8**

Париж, 48, rue de Douai
Пятница, 8 ноября 1872 г.

Любезный друг мой,

С некоторых пор мы пишем друг другу очень грустные письма; от них веет недугами, смертью; это не наша вина, но надо постараться встряхнуться.

Я очень мало знал Готье; помните наш совместный обед у вас? Все же я очень огорчился, узнав о его кончине, и тотчас же подумал о вас; я знаю, что вы его любили[1]. Госпожа Санд пишет мне о вас в записочке, которую я только что получил от нее; она обеспокоена мрачными мыслями, в которые вы погружены, и пишет, чтобы я постарался внушить вам другие, более веселые[2]. Не знаю, что́ бы я сказал вам, знаю только, что продолжительная и сердечная беседа принесла бы облегчение нам обоим. Ах, но как же устроить эту беседу? Проклятая подагра, как будто, разжала когти, но нечего и помышлять о поездке: я теперь уже хожу,—хромая, без сапог,—но еще не выходил из своих двух комнат. Следовательно, приходится ждать вашего приезда сюда.




ЭКЗЕМПЛЯР „САЛАМБО" С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ФЛОБЕРА ЭДУАРДУ ДЕЛЕССЕРУ
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

Зачем вам так беспокоиться о п л е б с е, как вы говорите? Он властен только над тем, кто сам поддается его игу. Вот когда уместно сказать: «etiam si omnes, ego non». А затем, разве господин Александр Дюма-сын, эта «сволочь» (пользуюсь вашим выражением) в образе человека,—плебей? А г. Сарду и г. Оффенбах, а г. Вакри и все прочие, разве они плебеи? А между тем, от них изрядно несет. От плебса тоже несет, но несет словечком Камброна; от них—просто гнилью[3]. Наконец, пока есть на свете кто-то, кто любит и сочувствует вам...

Нет, друг мой, не это тягостно в нашем возрасте; тягостен общий t a e d i u m v i t a e, тягостна тоска и отвращение ко всему человеческому; дело не в политике, которая в конечном счете не что иное, как игра; дело в грусти пятидесятилетнего человека. И вот что восхищает меня в госпоже Санд: какая ясность, какая простота, какой интерес ко всему, какая доброта!

И если для этого надо отличаться некоторой снисходительностью, демократичностью, даже евангельскими чертами—что ж! примем и эти преувеличения[4].

Вам нужно приехать в Париж и привезти с собою Антония, потом заняться планами на будущее, зажить полной жизнью. Пусть мы скептики, критиканы, поношенные и усталые,—нас подхлестывает бич поэзии; нужно смело итти до конца, особенно, когда можно подбадриваться видом товарища, которого толкает вперед та же сила.

Я не перечитываю этого аллегорически-метафизического письма[5], не знаю хорошенько, что́ я написал, знаю только, что обнимаю вас и говорю вам: до свидания.

Ваш И. Тургенев

[1] Теофиль Готье скончался 23 октября 1872 г. Его смерть очень огорчила Флобера. К скорби о кончине друга примешивалось отвращение к жизни; смерть Готье представлялась Флоберу символическим событием, обнаружившим глубокое противоречие между душою художника и современностью. 25 октября 1872 г. он писал своей племяннице: «Никогда еще, с тех пор как я обретаюсь на земле, не душило меня такое отвращение к людям. Я беспрестанно думаю о любви моего старого Тео к искусству и чувствую, что утопаю в целом море нечистот. Ибо он умер—я уверен—оттого, что задохнулся от современной пошлости» (см. Flaubert, Correspondance, VI, p. 433).

В последующие дни Флобер написал своим друзьям, в частности, Ж. Санд и Тургеневу, ряд писем, отмеченных тем же чувством отвращения и грусти. Вот начало его письма к Тургеневу (среда, 30 октября 1872 г.) в ответ на письма от 21 и 27 октября: «Как мне жаль вас, бедный дорогой друг. Мне и без известия о вашей болезни было очень грустно. Смерть старика Тео меня сокрушила. Вот уже три года, как один за другим умирают мои друзья. Теперь у меня остается в мире только один человек, с которым я могу поговорить: это вы. Следовательно, вам нужно лечиться и не подводить меня, как другие» (см. Flaubert, Correspondance, VI, p. 437).

Тургенев мало знал Теофиля Готье. Сохранилось одно единственное его письмо к поэту: оно выдержано в довольно официальном тоне, и едва ли существуют другие письма, кроме этого (см. письмо к Готье от 19 мая 1872 г.: Halpérine-Kaminsky, pp. 171—172). Обед, о котором говорит Тургенев, состоялся в субботу 2 марта 1872 г. Он описан Эдмоном де Гонкуром, присутствовавшим на нем. Готье сидел «с бледным, как маска Пьеро, лицом, был сосредоточен, никого не слушал, ничего не говорил... В нем есть уже нечто от умирающего, который слегка пробуждается и освобождается от своего печального и замкнутого «я» лишь при разговоре о стихах и поэзии» (см. Journal des Goncourt, V, pp. 23—26).

[2] Записка Жорж Санд хранится в архиве Литературного музея в Москве (дата почтового штемпеля 1 ноября 1872 г.). Публикуется впервые в третьем выпуске настоящего издания—см. Каренин Вл., Автографы Жорж Санд в СССР.

[3] Весь этот отрывок является ответом на следующие фразы из письма Флобера от 30 октября 1872 г.: «Тео умер, задохнувшись от современной мерзости. Исключительно-художественным личностям, вроде него, нечего делать в обществе, где царствует плебс». (См. Flaubert, Correspondance, VI, p. 438). Тургенев пытается разграничить понятия «сволочь» («charognerie») и «плебс», которые для Флобера составляют одно целое. Выражение «charognerie» Флобер заимствовал у Готье; он сам говорит об этом в письме к Жорж Санд от 28 октября 1872 г., в котором развивает ту же мысль: «Он умер, говорю вам, от «современной сволочи». Это его словечко, он в течение этой зимы несколько раз повторял мне его...» (см. Flaubert, Correspondance, VI, pp. 439—440).

Нападая на Александра Дюма-сына, Сарду, Оффенбаха и Вакри—«сволочей», не являющихся «плебеями», Тургенев высказывает, разумеется, свое собственное мнение, но несомненно, что он в то же время и главным образом выражает и мнение Флобера. В письмах Флобера зачастую встречаются выпады против этих лиц (в особенности против первых троих). Вот для примера один из таких выпадов. Флобер присутствовал на первом представлении «Roi Carotte» (опера Оффенбаха, либретто Сарду). 21 января 1872 г. он пишет Жорж Санд: «Трудно себе представить подобную заразу... Публика была вполне согласна со мною. Оффенбах вторично провалился в Opéra-Comique с «Fantasio». Научатся ли когда-нибудь ненавидеть вранье?

ГЮСТАВ ФЛОБЕР
Акварель Эжена Жиро с автографом писателя
Национальная библиотека, Париж

Это явилось бы шагом вперед на пути добра» (см. F l a u b e r t, Correspondance, VI, p. 343).

В а к р и Огюст (Vacquerie, 1819—1895)—литератор, журналист и драматург, эпигон романтизма.

[4] Это место является ответом на следующие слова из письма Флобера от 30 октября 1872 г.: «...Госпожа Санд очень добра,—даже слишком добра, слишком снисходительна, слишком демократка и христианка» (см. F l a u b e r t, Correspondance, VI, p. 438).

[5] «Аллегорически-метафизическое» письмо глубоко тронуло Флобера. Он писал своей племяннице (9 ноября 1872 г.): «Я получил утром прелестное письмо от добряка Тургенева» (см. F l a u b e r t, Correspondance, VI, p. 445).

9

Берлин, Hôtel de St.-Pétersbourg
Воскресенье, 17 мая 1874 г.

Любезный друг,

Посылаю вам статью об А н т о н и и, только что появившуюся в «National Zeitung». Автор ее—К. Френцель; в общем, она довольно благосклонна[1]. Но почему не посланы, как я просил, экземпляры Юлиану Шмидту, первому немецкому критику, и Людвигу Пичу, первому немецкому фельетонисту? Я ведь их упомянул в своем списке, я в этом с о в е р ш е н н о у в е р е н. Повторяю их адреса:

Dr. Julian Schmidt, Kurfürstenstrasse, № 70, Berlin.

Mr. Ludwig Pietsch, Landgrafenstrasse, № 8, Berlin.

Я обоих их видел, и оба жаловались, что ничего не получили[2].

Посылаю вам это письмо в Париж, так как предполагаю, что вы все еще там; впрочем, если вы уже уехали, вам, наверное, его перешлют.

Сегодня вечером отправляюсь в Петербург; послезавтра, если со мной ничего не случится, буду обедать уже там. Мой петербургский адрес: гостиница Демут.

Сердечно обнимаю вас.

Ваш старый
И. Тургенев

[1] Статья, о которой идет речь, появилась в № 221 (от 13 мая 1874 г.) берлинской «National Zeitung», где, начиная с 1861г., вел фельетон модный в то время журналист и романист Карл-Вильгельм Френцель (Frenzel).

[2] Тургенев известил Пича о высылке «Искушения св. Антония» еще 2 апреля 1874 г. Однако, издатель книги, Жорж Шарпантье, не выслал ее ни Пичу, ни Ю. Шмидту. Настоящее письмо Тургенева не могло содействовать высылке, так как Флобер его потерял. 20 мая 1874 г. Флобер писал Шарпантье: «Письмо Тургенева я потерял». Он выражал, однако, надежду, что Шарпантье отыщет адреса Пича и Шмидта в списке, составленном Тургеневым; но, к несчастью, сам он нетвердо помнил фамилии немецких критиков. «Один из них Шмидт, а другой — X... — очень важное лицо, как подчеркивает Тургенев». Пич получил экземпляр «Искушения» лишь в октябре 1874 г.; книгу выслал лично Тургенев. См. Turgeniew an Pietsch, SS. 117, 118, 123, и Flaubert, Correspondance, VII, pp. 138 — 139.

Шмидт Генрих-Юлиан (Schmidt, 1818 — 1886) — историк литературы, автор «Geschichte der französischen Literatur seit der Revolution». Leipzig, 1857 (2-е изд. 1873 — 1874). Он был в дружеских отношениях с Тургеневым, о котором поместил большую статью в «Preussische Jahrbücher», XX, 1868. В этом же журнале появилась его статья об «Искушении св. Антония» (XXXIV, 1874). См. письма Тургенева к Шмидту в «Вестнике Европы», 1909, кн. 3.

Пич, начиная с 1864 г., был фельетонистом берлинской «Vossische Zeitung».

## 10

Буживаль, Les Frênes. 16, rue de Mesmes
Среда, 11 июля [18]77 г.

Старый друг,

Вот я и вернулся; нахожусь здесь со вчерашнего дня. Мое путешествие сократилось из-за жесточайшего припадка подагры (!!!!), случившегося в С.-Петербурге[1]. Я привез вам халат, прекрасный, как халат шаха персидского или, вернее, бухарского хана! Но я не уверен, в Круассэ ли вы в настоящее время; напишите мне словечко. Мы подумаем, как бы нам свидеться[2]. Пока что нога у меня еще опухла, и я хожу с трудом. Работаете ли вы? Как здоровье? Дружеский поклон всем, обнимаю вас.

Ив. Тургенев

[1] Приступ подагры случился в конце июня 1877 г. Из-за него Тургеневу пришлось отказаться от намеченной поездки в Москву. Тургенев выехал за границу из Петербурга 6 июля. См. Клеман, стр. 260.

[2] Флобер находился в то время в Круассэ, однако, встреча их не состоялась. Тургенев все еще недомогал. Халат он послал Флоберу железной дорогой. См. письмо к Флоберу от 24 июля 1877 г.: Halpérine-Kaminsky, pp. 103 — 104.

## 11

Париж, 50, rue de Douai
Среда, 4 дек[абря] [18]78 г.

Разумеется, любезный друг, я подожду, пока вы мне не напишете приезжать, и надеюсь, что вы не замедлите сделать это[1]. Очень огорчен, что вы находитесь в таком затруднительном положении, и надеюсь, что вы

все это преувеличиваете под влиянием нервов[2]. Что касается тягости жизни, то всякая жизнь после пятидесяти лет становится тягостной. Ну, до скорого свидания—не так ли?

Обнимаю вас.

Ваш старик
Ив. Тургенев

[1] Флобер послал Тургеневу записочку, овеянную грустью («записочку, грустный тон которой меня взволновал»). Тургенев немедленно ответил ему, сообщая, что в ближайшем будущем собирается «нагрянуть в Круассэ». (См. письмо от 27 ноября 1878 г.; Halpérine-Kaminsky, pp. 114—116). Флобер, очевидно, ответил, что он даст знать, когда приехать.

[2] Дела Флобера находились, по его собственному выражению, в плачевном состоянии. Даллоз отказывался поместить в «Moniteur» «Чертог сердец» («Le Château des Cœurs»), а Шарпантье отказывался выпустить давно намеченное роскошное издание «Легенды о святом Юлиане Гостеприимце». «Моя литература падает в цене»,— писал Флобер Лабарру. См. письмо к Золя от 27 ноября 1878 г. и письмо к Лабарру от 3 декабря 1878 г.: Flaubert, Correspondance, VIII, pp. 162—163, 167.

**12**

Париж, 50, rue de Douai
Пятница утром [7 февраля 1879 г.]

Любезный друг мой,

Вот вам ответ на два ваших письма[1]. Не тревожьтесь—о вашем деле хлопочут, и надо сказать, что Золя и чета Шарпантье[2] проявляют себя с самой лучшей стороны. Я очень обрадован вашим согласием и не уеду в Россию прежде, чем выяснится этот вопрос. Буду сообщать о ходе дела. Возникло новое небольшое затруднение: Бодри—зять Сенара, а Сенар способствовал образованию нового кабинета[3]. Но Гамбетта попрежнему проявляет к вам живейший интерес,—а это главное. Мы сделаем все, что потребуется.

Вы умалчиваете о своей ноге[4],—это хороший знак. Надеюсь, по крайней мере. Дружеский привет М-lle Лапорт. Обнимаю вас.

И. Т.

P. S. Возможно, что напишу вам завтра.

[1] Это письмо, как и пять следующих писем и телеграмма, связаны с поступлением Флобера в библиотеку Мазарини (Bibliothèque Mazarine). Должность хранителя библиотеки должна была освободиться, ввиду смертельной болезни знаменитого ученого Сильвестра де Саси (1801—1879), занимавшего ее с 1836 г., а потому друзья Флобера—Тэн, Тургенев, Золя и супруги Шарпантье—предприняли хлопоты о предоставлении этого места Флоберу. Барду, министр народного просвещения в кабинете Дюфора (февраль 1877—март 1879), казалось, весьма доброжелательно отнесся к этому проекту. Оставалось только добиться согласия Гамбетты, от которого, в сущности, зависело решение вопроса. В таком именно положении находилось это дело к тому времени, когда Тургенев приехал в Круассэ (понедельник, 3 февраля 1879 г.), чтобы убедить Флобера согласиться на эту должность. Флобер чувствовал отвращение к карьере чиновника, но, так как денежное положение его ото дня на день ухудшалось, пришлось согласиться. Вот как Флобер рассказывает об этой встрече своей племяннице в письме от 22 февраля 1879 г.: «Тургенев сделал торжественное лицо и сказал мне: «Гамбетта спрашивает, желаете ли вы занять место господина де Саси: 8 000 франков и квартира. Дайте мне ответ немедленно». При помощи красноречия и ласки (именно ласки)... он преодолел мое отвращение к чиновничеству... И после бессонной ночи я ответил ему: «Действуйте!» На другой день получаю от него письмо, в котором он говорит, что ошибся, что оклад только 6 000, но что он все же считает, что нужно продолжать хлопоты». Флобер согласился и на эти условия. Об этих-то двух письмах и говорит Тургенев. См. Flaubert, Correspondance, VIII, p. 216, а также письма Тургенева к Золя от понедельника [3 февраля

1879 г.] и четверга [6 февраля 1879 г.]: Halpérine-Kaminsky, pp. 251—252 (даты этих писем в издании Гальперина-Каминского не уточнены).

[2] Шарпантье (Charpentier) — издатель Флобера Жорж Шарпантье и его жена. О них см. Descharmes (R.) et Dumesnil (R.), Autour de Flaubert, P., 1912, vol. II.

[3] Сенар (Senard, 1800 — 1885) — политический деятель и депутат, в феврале 1877 г. участвовал в образовании кабинета Дюфора. Он просил должность хранителя библиотеки для своего зятя, филолога и литератора Бодри (1818—1885), служившего в то время библиотекарем в Арсенальной библиотеке. Любопытно отметить, что один из противников Флобера — Бодри — был его другом детства, а другой — Сенар — адвокатом, выступавшим в качестве защитника Флобера в процессе о «Госпоже Бовари».

[4] Флобер сломал себе ногу, оступившись во дворе Круассэ, во время гололедицы, 27 января 1879 г.

## 13

Париж, 50, rue de Douai
Воскресенье утром [9 февраля 1879 г.]

Любезный друг,

Сегодня опять нет новостей... Окончательный ответ от Гамбетты будет завтра. Я останусь здесь до четверга. Сведения, которые вы сообщаете в сегодняшнем письме, я приму во внимание. Я не знаком с госпожей Пелуз, но с нею знакомы, кажется, Шарпантье; что касается госпожи Адан[1], я однажды встретился с нею на аукционе, и она была со мною очень любезна. Я напишу ей и попрошу принять меня. Почему вы сами не напишете госпоже Пелуз?[2] Раз вы уж решились, надо действовать быстро. Глупее всего то, что господину де Саси стало лучше и что поговаривают даже о возможности его полного выздоровления[3].

Очень рад был узнать, что в среду вы уже встанете. Смотрите — не утруждайте ногу! Пока не уеду — буду писать вам каждый день.

Обнимаю вас.

Ваш И. Тургенев

[1] Салон госпожи Адан (M-me Edmond Adam) посещался всеми выдающимися лицами, сочувствовавшими республиканской партии. При помощи г-жи Адан друзья Флобера и надеялись добиться от Гамбетты благоприятного ответа.

Не легко в точности установить, как протекали хлопоты. Флобер писал своей племяннице 22 февраля 1879 г.: «Гамбетта ровно ничего и не обещал. Гонкур, а также и Шарпантье, которые из кожи вон лезли, попросили его предоставить мне какую-нибудь синекуру. Они написали госпоже Адан, которая ко мне очень расположена» (см. Flaubert, Correspondance, VIII, p. 216).

[2] О госпоже Пелуз (Pelouze), владелице замка Шенонсо, см. Dumesnil (René) Gustave Flaubert, P., 1933, pp. 284—285.

[3] Сильвестр де Саси умер 14 февраля 1879 г.

## 14

Телеграмма

13 февраля 1879 г.

Гюставу Флоберу Круассэ близ Руана

Не рассчитывайте [на успех]. Окончательный отказ. Подробности письмом[1].

Тургенев

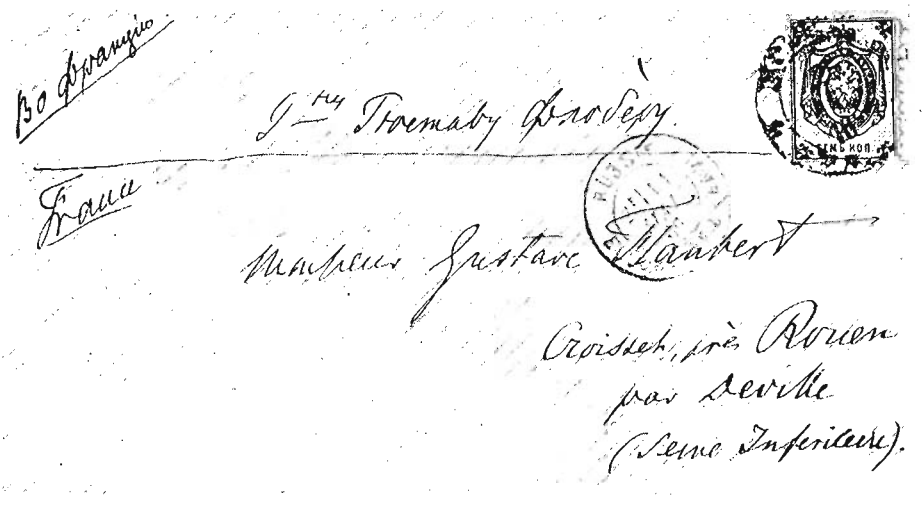
[1] См. следующее письмо.

15

Париж, 50, rue de Douai
Четверг утром [13 февраля 1879 г.]

Любезный друг мой,

Из телеграммы, которую я послал сегодня утром, вам уже известно о крушении всех наших планов. Вот подробности. Когда я вернулся в Париж, мы решили следующее: я должен был постараться переговорить с Гамбеттой, потом с Ферри[1] и, если понадобится, с Бодри. В четверг вечером получаю первое письмо Золя (при сем прилагается) и вследствие этого — задержка. Прошу свидания у госпожи Э. Адан[2] — ответа нет. В понедельник утром — письмо от Золя вместе с записочкой госпожи Шарпантье (посылаю вам и это). Судите о моем изумлении. Нанимаю извозчика и еду прямо в Президентский дворец, чтобы повидать Гамбетту




КОНВЕРТ ПОСЛЕДНЕГО ПИСЬМА ТУРГЕНЕВА К ФЛОБЕРУ ОТ 6 МАЯ 1880 г.
Библиотека Французской академии, Париж

(Шарпантье обещались получить окончательный ответ в субботу[3]). Меня не принимают, но мне удается повидать его личного секретаря, господина Арно (сына госпожи Арно де л'Ариеж[4]). Разъясняю ему все дело: он благосклонно выслушивает меня, хоть и вертится на стуле, записывает что-то на бумажку и торжественно обещает прислать ответ завтра же утром. Разумеется, никакого ответа нет. Отправляюсь к его матери, с которой только что познакомился. Каменное лицо. Возвращаюсь домой, пишу Гамбетте письмо и в тот же вечер отвожу его госпоже Арно, прося передать его через посредство сына. Присовокупляю, что приеду к ней за ответом на другой день. На другой день, т. е. вчера, в среду, снова еду к госпоже Арно: никакого ответа! В то же время получаю письмо от госпожи Адан, о которой говорили, будто она уехала в Канны (письмо ее тоже прилагаю). Надеваю фрак, белый галстук — и вот я в ее салоне, где собираются почти что все политические знаменитости и откуда управляют и распоряжаются Францией. Она принимает меня очень хорошо, я ей излагаю дело... «Да ведь Гамбетта как раз здесь, он курит после обеда, мы в один миг всё узнаем». Она возвращается минуты две спустя:

«Это невозможно, сударь,—у Гамбетты уже есть кандидаты». Тут входит с непринужденным видом сам диктатор: я никогда не видел, чтобы дрессированные собаки так плясали перед хозяином, как пляшут перед ним министры и сенаторы. Он заговаривает с одним из них. Госпожа Адан берет меня за руку и подводит к нему; но великий муж отклоняет честь познакомиться со мною и повторяет достаточно громко, чтобы мне было слышно: «Я не желаю—сказано, что невозможно». Я незаметно исчезаю, возвращаюсь домой, п о г р у ж е н н ы й—как говорится—в раздумья, о которых нет нужды вам сообщать. Вот и полагайся на любезные слова и обещания[5].

Места, о которых говорит госпожа Шарпантье, будут предоставлены гг. Бодри и Сури[6].

Ну, что ж, старина, надо все это выбросить вон из головы и снова приняться за работу, за литературную работу—единственную, достойную такого человека, как вы. Я уеду только в с у б б о т у (в 7 час. утра). Вы успеете мне написать. Дайте о себе знать; можете ли уже ходить на костылях?

Напишу вам из Москвы.

Крепко обнимаю вас.

Ваш Ив. Тургенев

P. S. Пишу несколько слов вашей племяннице.

[1] Именно Ж ю л ь Ф е р р и (1832—1893), став министром народного просвещения в марте 1879 г. (после падения кабинета Дюфора), назначил Флобера в июне того же года «сверхштатным» хранителем библиотеки Мазарини.

[2] См. выше, письмо от 9 февраля 1879 г.

[3] 17 февраля 1879 г. Золя писал Флоберу: «Все мы здесь проявили себя в вашем деле очень неловкими. Неловкость заключалась в поспешности, в том, что мы напомнили Гамбетте о его обещании в то время, как уже целую неделю его преследовали просьбами. Госпожа Шарпантье была больна, пришлось прибегнуть к Тургеневу, который на другой день должен был уезжать в Россию, а потому принужден был действовать напролом». См. Z o l a, Correspondance. Les lettres et les arts, P., 1907, p. 169.

[4] Г-жа А р н о д е л'А р и е ж (M-me Arnaud de l'Ariège)—вдова Фредерика Арно (1819—1878), политического деятеля, родом из Ариежа; в 1876 г. он был избран сенатором от этого департамента.

[5] До сего времени об этой встрече имелись сведения лишь из вторых рук, и зачастую сомнительные, вроде свидетельства Павловского (см. P a v l o v s k y, Souvenirs sur Tourguéneff, P., 1887, pp. 253—254; см. также статью за подписью «Ж», И. С. Тургенев и французская литература.—«Новости», 1883, № 177, и К о в а л е в с к и й М., Воспоминания о Тургеневе.—«Минувшие Годы», 1908, 8, стр. 16) и пресловутой статьи в «Figaro», появившейся 15 февраля 1879 г. под заглавием «La République athénienne», за подписью A r i s t o p h a n e. Приводим здесь значительную часть этой статьи, чтобы дать возможность сличить ее с письмом Тургенева:

«Вот свеженькая история, не лишенная пикантности. Как известно, г. Гюстав Флобер, автор «Госпожи Бовари», потерял почти все свое состояние в коммерческом предприятии, в которое он вступил по доброте, ради одного из своих родственников. Его друзьям пришла в голову мысль исхлопотать для него место в библиотеке Мазарини, которое должно было освободиться в связи со смертельной болезнью г. де Саси. Известный русский писатель Тургенев взял на себя необходимые хлопоты. Он посетил одну даму из высокопоставленных республиканских кругов, салон которой является местом встречи всех влиятельных особ.

— Окажите мне честь, пожалуйте ко мне на первый же вечер,— ответила дама Тургеневу.—Я представлю вас господину Гамбетте. В назначенный день Тургенев является и застает председателя палаты томно развалившимся на кушетке и занятым пищеварением. Позади него—целая свита чиновников и депутатов.

Господин Тургенев подходит к группе, здоровается с хозяйкой дома; та тотчас же наклоняется к господину Гамбетте и называет ему вошедшего.

Господин председатель палаты едва удостаивает писателя взглядом. Он не привык беспокоиться ради такой малости. Крайне удивленный Тургенев в нескольких словах объясняет цель своего визита; дурной прием не обескураживает его, так как он явился, чтобы услужить другу.

Хозяйка дома снова наклоняется к господину Гамбетте и шепчет ему несколько слов. На это господин председатель палаты сухо и надменно отвечает:

— Нет, этому не бывать! Я не желаю!

— Я н е ж е л а ю!

После того, как Feringhea произнес эти слова, Тургенев, оценив эллинское изящество диктаторской речи, решил удалиться и поклялся—несколько поздно,—что в другой раз на такую удочку не попадется».

Отметим, что госпожа Адан в своих «Souvenirs» обходит этот вопрос полным молчанием. Об отношениях Тургенева и Гамбетты см. в комментариях к т. XII «Сочинений» И. С. Тургенева под ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума, Л., 1933, стр. 684—688.

[6] В то время была, действительно, еще и другая вакантная должность библиотекаря—в Компьенском дворце. Она была предоставлена С у р и (1842—1915), философу, автору «Bréviaire de l'histoire du matérialisme», P., 1870. Должность в библиотеке Мазарини получил Бодри.

16

Париж
Четверг [13 февраля 1879 г.]

Любезный друг,

Я только что виделся с Золя и все рассказал ему, а он—из чувства привязанности к вам (он к вам искренне привязан, это несомненно)—выразил сожаление, что я сказал вам всю правду без утайки. Ему хотелось бы, чтобы вы не сразу отказались от этого плана. (А госпожа Адан обещала мне похлопотать о вас во время моего отсутствия, причем выражалась резко, говоря, что Франция обязана сделать это для вас и т. д. Я об этом вам не писал). Приняв все во внимание, я нахожу, что должен был сказать вам истинную правду; так подсказывал мне инстинкт друга. Но как бы то ни было, передаю вам мнение Золя.

N. B. Я не сказал ему, что послал вам в качестве оправдательных документов, его письма[1], и, быть может, вам лучше не говорить об этом. Несомненно, ваши друзья приложили все усилия; но они, повидимому, ошиблись, предполагая кое в ком благожелательные намерения.

Надеюсь, вы не подумаете, что эти хлопоты причинили мне личную неприятность; я очень сожалел о неудаче их, но только из-за вас; а что касается соприкосновения с владыками дня,—скажу, что это, пожалуй, даже позабавило меня, потому что я увидел любопытную изнанку.

Итак, не будем об этом больше говорить и позвольте мне еще раз обнять вас.

Ваш Ив. Тургенев

[1] См. предыдущее письмо.

17

Париж, 50, rue de Douai
Суббота утром [15 февраля 1879 г.]

Любезный друг,

Я уезжаю через час, и у меня хватит времени только на то, чтобы сказать, как я рад вашему отношению ко всей этой истории. Хорошо бы вам написать несколько слов Шарпантье и Золя. Что же касается госпожи Адан,—пожалуй, лучше воздержаться.

Недель через 5—6, когда вернусь, видно будет. Быть может, вы к тому времени будете уже в Париже.

Я напишу вам из М о с к в ы. А пока—обнимаю вас.

Ваш И. Т.

18

Берлин
Вторник, 18 февраля [18]79 г.

Любезный друг,

Представляете ли вы себе досаду, вызванную во мне статьей в «Figaro»[1], которую я прочитал лишь в воскресенье, в поезде, не помню уже, на какой станции. Эта досада особенно усилилась при мысли о том, как это должно было огорчить вас[2]. Чорт меня побери, если я знаю, кто такой этот M-r Aristophane! Госпожу Э. А[дан] я посетил в среду вечером; в четверг и пятницу я не выходил из дому из-за страшного насморка, а в субботу уехал в Россию. Об этом деле я говорил лишь с Виардо и его женой и с Золя; они никакого отношения к «Figaro» не имеют[3]. Видимо, так суждено, что в этом деле все должно итти неладно.

Я здесь со вчерашнего вечера; сегодня уезжаю в Петербург, где рассчитываю быть послезавтра; в воскресенье буду в Москве, а в понедельник или вторник напишу вам.

А пока—будьте здоровы, т. е. ходите без костылей и не сердитесь на меня. Обнимаю вас.

Ваш Ив. Тургенев

[1] См. выше, прим. 5-е к письму 15-му от 13 февраля 1879 г.

[2] Флобер писал своей племяннице 22 февраля 1879 г. по поводу «разглагольствований» «Figaro»: «Признаюсь, что это вызвало у меня кровавые слезы. Печатно объявляют о моей нищете! И эти ничтожные люди жалеют меня, говорят о моей «доброте». Как это тяжело! Как тяжело!» См. F l a u b e r t, Correspondance, VIII, pp. 218—219.

[3] Откуда Аристофан из «Figaro» получил сведения? На это трудно ответить. Павловский пишет в своих «Souvenirs sur Tourguéneff»: «На другой день Тургенев с негодованием рассказывал об этом всем, кому не лень было слушать». Правда, что Павловский не внушает доверия; но на этот раз он, может быть, не так уж далек от истины. Тон письма Тургенева от 13 февраля 1879 г. выдает его раздражение. См. P a v l o v s k y, Souvenirs sur Tourguéneff, P., 1887, pp. 253—254.

19

Париж, 50, rue de Douai
Воскресенье утром [1 июня 1879 г.]

Любезный друг,

Мне хочется знать, как вы живете. Напишите мне: 1) Есть ли у вас ч е м поделиться со мной? Нет ли у л у ч ш е н и я в ваших делах? 2) Как ваше здоровье? Как работа? 3) Приедете ли вы в Париж и когда?[1]. Начиная с пятницы, я буду в Буживале[2]. У меня есть для вас комната. Воздух там прекрасный; имеются и широкие диваны, на которых можно растянуться во всю длину. Но напишите поскорее. А пока—обнимаю вас.

Ваш Ив. Тург[енев]

[1] Флобер приехал в Париж 2 июня 1879 г. См. письмо к Золя от 2 июня 1879 г.: F l a u b e r t, Correspondance, VIII, p. 172.

[2] Тургенев приехал в Буживаль 8 июня 1879 г., а это число приходится на воскресенье. См. К л е м а н, стр. 282.

20

Буживаль, Les Frênes
Пятница вечером, 13 июня [18]79 г.

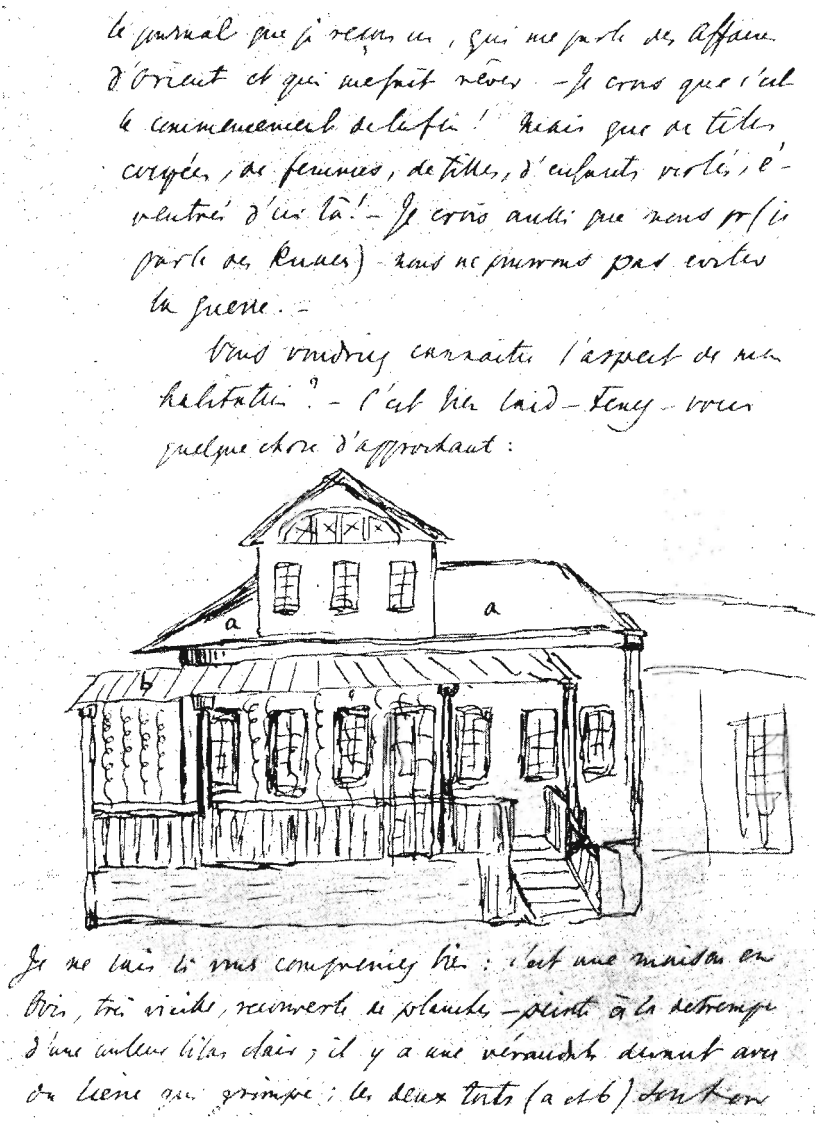
Любезный друг,

Завтра вечером я, вероятно, уеду в Лондон. Во всяком случае, я не смогу обедать с вами и должен отложить это большое для меня удоволь-

ствие до своего возвращения, т. е. на неделю. Не очень браните меня; когда я вам скажу причину [1], вы не будете сердиться на меня.

А пока—обнимаю вас.

Ваш Ив. Тургенев




ДОМ В СПАССКОМ
Рисунок Тургенева в письме к Флоберу от 23 июня (4 июля) 1876 г.
Библиотека Французской академии, Париж

P. S. В ваших делах, повидимому, намечается улучшение [2],—очень рад этому.

P. S. Если в субботу не уеду, навещу вас в воскресенье.

[1] Тургенев уезжал не в Лондон, а в Оксфорд, где ему должна была быть присуждена степень Doctor of Common Law (доктора общего права). См. Клеман, 282.

[2] Флобера назначили внештатным хранителем библиотеки Мазарини. Министерское постановление об этом помечено 27 мая 1879 г., однако, официальное назначение состоялось, повидимому, лишь около 8 июня. См. Deschармes (R.) et Dumesnil (R.), Autour de Flaubert, P., 1912, vol. II, p. 172.

21

Телеграмма

15 июня [18]79 г.

Гюставу Флоберу 240 Faubourg St. Honoré Париж

Воскресенье наверное завтра буду часа в четыре[1].

Тургенев

[1] См. предыдущее письмо.

22

Буживаль, Les Frênes, Châlet (Seine et Oise)
Четверг, 6 ноября [18]79 г.

Нужно же, как-никак, мой славный старина, написать вам и узнать, что вы поделываете. Что касается меня—я не трогался с места, а дела тут шли не так уж хорошо. Вторая дочь госпожи Виардо месяц тому назад произвела на свет—и не без труда—девочку; мать и ребенок здоровы; зато старшая дочь (Жанна) схватила скарлатину; вот уже 3 недели, как она взаперти, и это продлится еще столько же. Марианна сильно простужена и не выходит[1]. Супруги Виардо в понедельник уехали в Париж, а я сижу здесь, как старая устрица, которая даже и на солнце-то не блестит. Сердце тоже беспокоит меня—сердцебиение, по ночам замирания и т. п.[2].

Я закончил перевод статейки для журнала госпожи Адан; пришлю его вам или сам завезу, чтобы вы сделали надлежащие исправления[3]. Я заблаговременно предупрежу вас об этом, благодарю вас заранее. Вещица очень маленькая.

Я, кажется, никогда еще не читал ничего скучнее «Нана» (это между нами). Приходишь в отчаяние от пошлости, от мелочности; несколько непристойных слов, подбавленных в виде перца, не в состоянии изменить безвкусицу этой стряпни[4].

Говорят, что и по общему мнению это—провал.

Обнимаю вас; во всяком случае—до скорого свиданья.

Ваш И. Тург[енев]

[1] См. также письмо к Пичу от 12 ноября 1879 г.: Turgeniew an Pietsch, стр. 143.

Вторая дочь госпожи Виардо, Клавдия, была замужем за Жоржем Шамро. Марианна—третья дочь госпожи Виардо.

[2] Об этих припадках Тургенев говорил на прощальном обеде, устроенном им для друзей 31 января 1880 г. «Обед начался весело, но вдруг Тургенев заговорил о замирании сердца, которое он почувствовал ночью, замирании, вместе с которым на стене против его кровати появилось большое коричневое пятно, которое в кошмаре, когда он нето спал, нето бодрствовал, представилось ему смертью». См. Journal des Goncourt, VI, p. 102.

[3] Речь идет о рассказе «Человек в серых очках», оконченном в сентябре 1879 г.; Тургенев сам перевел его на французский язык. Рассказ появился в журнале «Nouvelle Revue» (основанном госпожей Адан 1 октября 1879 г.), в номере от 15 декабря того же года, под названием «Monsieur François, souvenir de 1848». Тургенев заранее условился с госпожей Адан, что перевод будет просмотрен Флобером. Тургенев послал ему гранки 2 декабря 1879 г. См. Mazon (André), Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguéneff, P., 1930, p. 91; письмо Флобера к племяннице 29 августа 1879 г.: Flaubert, Correspondance, VIII, p. 289; письма Тургенева к Флоберу от 30 августа, 13 ноября и 2 декабря 1879: Halpérine-Kaminsky, pp. 125, 127—128, 129—130.

[4] Роман Золя «Nana» печатался фельетонами в журнале «Voltaire». В письме к Флоберу от 23 ноября 1879 г. Тургенев повторяет то же суждение, но в гораздо более мягкой форме: «Нет, «Нана» успеха не имеет, хоть несколько дней тому назад и появились две

превосходных главы. В общем же роман скучноват и, что особенно не понравится Золя, совершенно лишен непосредственности».

Флобер не разделял тургеневского мнения. 21 октября 1879 г. он писал Жоржу Шарпантье: «Да, я читал «Нана» (восемь фельетонов) и нахожу ее великолепной; можете передать это автору и пожать ему за меня руку». См. Halpérine-Kaminsky, p. 129, и Flaubert, Correspondance, VIII, p. 319.

Тургенев уже в «Западне» отмечал непристойные слова. Он писал Стасюлевичу 9 февраля 1877 г.: «Assommoir» Золя имеет здесь успех необычайный. Но это совершенно непереводимая вещь. Кто-то насчитал, что слова: foutre, merde, pisser, fesses и т. д. встречаются в этом романе 720 раз! Но талант громадный!»

По поводу той же «Западни» Флобер писал Тургеневу 14 декабря 1876 г.: «Золя становится жеманницей наизнанку. Он думает, что существуют сильно действующие слова, точно так же как Катос и Мадлон думали, что существуют слова благородные». См. «Стасюлевич и его современники», СПБ. 1912, т. III, стр. 113, и Flaubert, Correspondance, VII, p. 369.

23

[Париж, 1870-ые гг.]

Старина Флобер, я забыл вас предупредить: не говорите Виардо или при нем, что я обедал у принцессы[1]; он ненавидит Империю (как-нибудь скажу вам причину) и будет огорчен, если узнает, что я бываю у его врагов[2]. А госпожа Виардо знает, где я был.

Вас ждут сегодня вечером. Кроме меня, никого не будет.

До свидания.

Преданный вам
И. Т.

Четверг.

[1] Принцесса Матильда (1820—1904)—дочь Жерома Бонапарта. В эпоху Второй империи у нее был блестящий салон, где собирались знаменитые художники и писатели того времени. Флобер был ее близким другом; его письма к ней занимают значительное место в его переписке. В письмах Тургенева к Флоберу имя принцессы встречается неоднократно. См. Halpérine-Kaminsky, pp. 62, 133, 134.

О взаимоотношениях Флобера и принцессы Матильды см. Dumesnil (R.), Gustave Flaubert, P., 1933, pp. 196—198.

[2] Ненависть к режиму Второй империи была одною из главных причин переезда семейства Виардо в Баден в 1863 г. В письме к Полине Виардо, отправленном из Парижа 25 марта 1868 г., Тургенев иронически называет Наполеона III «приятелем Виардо». См. Tourguéneff, Lettres à Madame Viardot, publiées par E. Halpérine-Kaminsky, P., 1907, p. 233.

24

Москва, на Пречистенском бульваре,
в доме Удельной конторы

Четверг, $\frac{6 \text{ мая}}{24 \text{ апреля}}$ 1880 г.

Добрейший друг,

Это не письмо—это просто знак, что я еще жив. Я здоров, верчусь и скачу, как белка в колесе[1]; нахожусь здесь уже неделю. В будущий понедельник уеду в деревню, пробуду там десять дней, вдыхая запах берез и слушая, как орут соловьи; в Москву вернусь к открытию памятника нашему великому поэту Пушкину[2] (NB: комитет пришлет вам приглашение! Вы, разумеется, не приедете, но если вы пришлете телеграмму, она будет прочитана на банкете под восторженные аплодисменты присутствующих), а потом удеру и в первых числах июня буду в Париже, где надеюсь заключить вас в свои объятия[3]. Что касается адвоката, о котором вас спрашивал Комманвиль, передайте ему следующий адрес: Г-н Виктор Гаевский[4], Санкт-Петербург, Литейный, 48.

Это знаменитость и авторитет, а кроме того, он адвокат французской миссии в С.-Петербурге. Я предупредил его, и он сделает все возможное, чтобы быть полезным господину Комманвилю.

Кланяйтесь ему от меня, а также и племяннице вашей. Обнимаю вас — до скорого свидания.

Ваш старик
Ив. Тургенев

[1] Это письмо относится ко времени, когда Тургенев погрузился в литературную жизнь Москвы, принимая деятельное участие в подготовке пушкинского празднества. См. Клеман, стр. 291—292.

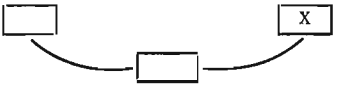
[2] Открытие состоялось 18/6 июня 1880 г.

[3] Этой надежде не суждено было сбыться. Флобер скончался 8 мая 1880 г., и письмо до него не дошло. Тургенев узнал о смерти друга из статьи в «Голосе», которую он прочел в Спасском. «Этот удар был мне нанесен самым безжалостным образом,—писал он Золя:—Флобер был одним из тех, кого я больше всех любил на свете». См. письмо к Золя от 23 мая 1880 г.: Halpérine-Kaminsky, p. 256.

[4] Гаевский Виктор Павлович (1826—1880)—известный адвокат, литератор, пушкинист, друг Тургенева.

25

В письме к Флоберу, написанном из Спасского 23 июня (4 июля) 1876 г., находится вышевоиспроизведенный рисунок Тургенева. Письмо опубликовано в сборнике Гальперина-Каминского (стр. 87—90). Нижеследующий отрывок воспроизведен Гальпериным-Каминским с большими пропусками (стр. 89). Вот перевод подлинника:

Вам хотелось бы знать, как выглядит мое обиталище. Оно очень безобразно. Вот вам нечто, приближающееся к нему [см. рис. на стр. 691]. Не знаю, поймете ли: дом деревянный, очень старый, обшит тесом, выкрашен сиреневой клеевой краской; спереди веранда, обвитая плющем; обе крыши (a и b) крыты железом и выкрашены в зеленый цвет; верх необитаем, окна там заколочены. Этот домик — все, что осталось от обширной, расположенной вот так,  в виде подковы, усадьбы, сгоревшей в 1840 г.; X отмечен дом, где я живу.

## III. ПИСЬМА К Э. де ГОНКУРУ

Двадцать писем Тургенева к Эдмону де Гонкуру, хранящиеся в отделе рукописей Национальной библиотеки в Париже, охватывают период времени с 6 апреля 1872 г. по 23 марта 1881 г. Известно, как тщательно подбирался архив братьев Гонкуров, а потому не может быть сомнений, что это собрание включает все письма, посланные русским писателем его французскому другу. Письма эти удачно дополняют многочисленные места «Дневника» Гонкуров, касающиеся Тургенева. Таким образом, отношения двух писателей предстают теперь перед нами в ярком освещении.

Тургенев был введен в кружок Гонкуров, на обедах у Маньи, Шарлем Эдмоном в феврале 1863 г. Из «Дневника» мы знаем, какое сильное впечатление произвело его появление в этом кружке. Но в то время Тургенев не сблизился с братьями Гонкурами. Его первое письмо Эдмону де Гонкуру было написано лишь девять лет спустя—6 апреля 1872 г.; начиналось оно с официального обращения «Милостивый государь», и должно было пройти еще целых два года, прежде чем Тургенев позволил себе обращаться к нему со словами «Любезный друг мой» («Mon cher ami»),

хоть такое обращение и весьма обычно в парижском обществе. Более регулярные, но попрежнему не особенно частые встречи двух писателей начались с 1872 г.; вот они:

2 марта 1872 г.—обед у Флобера в обществе Эдмона де Гонкура и Теофиля Готье (Жюль де Гонкур умер в 1870 г.);

8 марта 1873 г.—обед у Вефура с Жорж Санд, Гонкуром и Флобером;

14 апреля 1874 г.—обед в Café Riche с Гонкуром, Альфонсом Додэ, Эмилем Золя и Флобером;

в ноябре 1874 г. Тургенев дает Гонкуру, по его просьбе, некоторые пояснения относительно русских мер длины (аршин и вершок);

25 марта 1875 г.—обед в обществе Гонкура, Додэ и Золя;

25 апреля 1875 г.—Тургенев у Флобера встречается с Гонкуром и Золя;

11 октября 1875 г.—в письме к Флоберу Тургенев выражает свою радость по поводу того, что Золя поместил в «Вестнике Европы» хорошую статью о творчестве Гонкуров («это будет способствовать переводу их романов»);

24 ноября 1875 г.—Тургенев предлагает Салтыкову издать в «Отечественных Записках» перевод романа Э. де Гонкура «La fille Elisa»;

7 декабря 1875 г.—Тургенев в письме к Салтыкову выражает свое согласие с суждением последнего относительно Гонкуров и Золя: «Мне самому все это смутно мерещилось... не то, чтобы у них не было таланта, особенно у Золя; но они идут не по настоящей дороге — и уж очень сильно сочиняют. Литературой воняет от их литературы»;

22 декабря 1875 г.—Тургенев, получив отказ от Салтыкова, предлагает «La fille Elisa» Стасюлевичу для «Вестника Европы»;

5 марта 1876 г.—Тургенев вместе с Гонкуром и Флобером посещает Гюго;

5 мая 1876 г.—обед в обществе Гонкура, Флобера, Додэ и Золя;

9 декабря 1876 г.—обед с Гонкуром и Золя;

4 мая 1877 г.—обед с Гонкуром, Флобером и Золя;

28 января 1878 г.—обед с Гонкуром, Додэ и Флобером;

26 ноября 1878 г.—Гонкур обращается к Тургеневу за местным колоритом для романа «Братья Земганно»;

31 января 1880 г.—обед с Гонкуром, Додэ и Золя.

Центром этих отношений является Флобер; они возникли и поддерживаются, благодаря дружбе с ним, и вполне вероятно, что, не будь Флобера, они свелись бы к нескольким случайным встречам. Письма Тургенева к Эдмону де Гонкуру подтверждают это предположение: это, спора нет, письма дружеские, в которых лишний раз проявляются доброжелательность и безграничная любезность их автора, но они лишены непосредственности и откровенности, они сдержанны и кратки. В отношениях Тургенева и Гонкура нет задушевности и, быть может, даже нет истинного расположения. 27 ноября 1878 г., после посещения Гонкуром Тургенева, последний писал Флоберу: «Я нашел его в добром здоровье, несколько похудевшим и все с тем же блестящим, темным и вовсе недобрым взглядом».

Гонкур, как человек, не привлекал Тургенева. Как писатель, он интересовал его, но в то же время и разочаровывал. В глубине души он, вероятно, соглашался с грубым суждением Салтыкова о Гонкуре («духовный онанизм»). Столь резкое отношение к чему-либо не соответствовало характеру Тургенева, но не приходится сомневаться в том, что его чувство меры и правдивое ощущение действительности не находили удовлетворения ни в нарочитой грубости Золя, за которым он, однако, признавал большую силу, ни в изысканности Гонкуров, хоть он и отдавал должное их художественному вкусу. Последние слова суждения, высказанного им Салтыкову, весьма характерны в устах корифея русского романа: «Литература, от которой воняет литературой».

A. Mazon

## ТУРГЕНЕВ—Э. де ГОНКУРУ

1

[Париж] 48, rue de Douai
Суббота, вечером 6 марта
[в действительности 6 апреля 1872 г.][1]

Милостивый государь,

В том, что я не сразу ответил на ваше письмо, виноваты отчасти вы сами: как большинство ваших соотечественников, вы не выставляете своего адреса, а я его совсем позабыл, тем более, что меня к вам привел Флобер[2]. Я не нашел вашего адреса и в большой адресной книге; наконец, мне пришла благая мысль обратиться к консьерже M-lle Матильды[3], которая мне и сообщила его. Я очень рад, что моя книга вам понравилась. Что касается книг, присланных вами, то я тотчас принялся за чтение истории de Mailly[4] и очень заинтересовался этой личностью, так тщательно изученной и разработанной вами. Это вполне современный нам тип, он мог бы встретиться в любой стране, но в то же время он вполне принадлежит Франции.

Я буду чрезвычайно рад увидеться с вами и хорошенько побеседовать. Удобно ли вам в четверг? Назначьте мне час и место, где мы могли бы встретиться в Париже, чтобы пойти пообедать вместе. А пока—примите уверения в искреннем моем расположении.

И. Тургенев

[1] Датируется на основании двух последующих писем; см. также прим. 2-е.

[2] Флобер привел Тургенева к Гонкуру 22 марта 1872 г. До этого посещения Тургенев встретился с Гонкуром у Флобера 3-го того же месяца. Судя по заметкам в Journal des Goncourt, только с этого времени и завязались дружеские отношения между Э. де Гонкуром и Тургеневым; появление последнего на обеде у Маньи в феврале 1863 г. носило случайный характер. На это указывает и официальное обращение «Cher Monsieur», которым начинаются письма Тургенева в 1872 г. Лишь в 1874 г. в его письмах появляется обращение «Mon cher ami» (см. «Journal des Goncourt», V, pp. 23—26, 30—32; II, pp. 95—96).

[3] По всей вероятности, принцессы Матильды. См. о ней выше, в письме к Флоберу от четверга [1872—1879] и прим. 1-е к этому письму. Флобер, у которого Тургенев мог бы узнать адрес, находился в то время в Круассэ.

[4] «Шарль Демайи» (Charles Demailly) — роман Эдмона и Жюля де Гонкур, P., 1868 (второе издание; в первом издании, вышедшем в 1860 г., роман назывался «Les hommes de lettres»).

2

[Париж] 48, rue de Douai
Понедельник, 8 апреля [18]72 г.

Милостивый государь,

Спешу исправить свою оплошность, которую только что заметил. Я предложил вам встретиться в четверг, а в этот день я как раз должен обедать за городом у родственников, с которыми сговорился еще две недели тому назад[1]. Не согласитесь ли на будущий понедельник вместо четверга? Я еще не получил от вас ответа, но если вы мне ничего не ответите, я буду считать, что Вы согласны.

Тысяча извинений и столько же дружеских приветствий.

И. Тургенев

[1] Речь идет о семье Н. И. Тургенева. 21 марта 1872 г., т. е. двумя неделями ранее, чем написано это письмо, Тургенев ездил вместе с Ханыковым в Вербуа, где жила семья Н. И. Тургенева, и, очевидно, тогда и условился об обеде в четверг (11 апреля). См. Клеман, стр. 208.

3

[Париж] 48, rue de Douai
Воскресенье, 14 апреля [18]72 г.

Милостивый государь,

Я боюсь, что вы не получили двух писем, которые я вам послал[1], так как вы ничего не ответили мне о месте нашей встречи. А между тем, я точно написал ваш адрес. Делаю еще попытку, чтобы сообщить вам, что, ввиду моего отъезда сегодня вечером в Брюссель, где я пробуду 2—3 дня, я не смогу пообедать с вами завтра, в понедельник, как предлагал вам в своем последнем письме. Напишите же мне словечко; я получу его по возвращении, и оно докажет мне, что мои записки до вас доходят.

Дружески жму вам руку.

Преданный вам
Ив. Тургенев

[1] См. письма от 6 и 8 апреля 1872 г.

А. ДОДЭ, Г. ФЛОБЕР, Э. ЗОЛЯ И И. С. ТУРГЕНЕВ НА „ОБЕДЕ ПЯТИ"
Иллюстрация Мирбаха из книги A. Daudet „Trente ans de Paris", 1888 г.

4

[Париж] 48, rue de Douai
Вторник, 14 мая [18]72 г.

Милостивый государь,

Завтра я уезжаю в Россию, но мне не хочется уехать, не сказав вам, как я сожалею, что не виделся с вами с того дня, который мы так прекрасно провели у вас[1]. Это моя вина,—знаю, но от этого мои сожаления еще горше. Словом, надеюсь, что, когда я вернусь, мы будем видеться чаще. Я прочитал ваши книги[2] с живейшим интересом; я не всегда соглашался с вами, но неизменно находился под обаянием вашей художественной maestria.

Позволяю себе послать вам одну из моих книг, которую вы, вероятно, не читали.

Одновременно пишу Флоберу. Мне сказывали, что он должен скоро быть в Париже[3],—пожмите ему от меня покрепче руку и примите уверения в моем искреннем расположении.

Преданный вам
Ваш И. Тургенев

[1] 22 марта 1872 г., когда Флобер привел Тургенева к Гонкуру.

[2] Гонкур послал Тургеневу свои сочинения, в том числе и «Шарля Демайи». См. выше, письмо от 6 апреля 1872 г. (стр. 696).

[3] Флобер рассчитывал быть в Париже в конце июня; он приехал туда 13 июня. См. Flaubert, Correspondance, VI, pp. 381—382.

5

[Париж] 50, rue de Douai
Понедельник, 11 ч. вечера [ноябрь 1874 г.]

Любезный друг,

Русский аршин равен 71 сантиметру с небольшим; аршин делится на 16 вершков (они-то и обозначаются тем «v», о котором вы говорите); следовательно, вершок равен без малого $4^1/_2$ сантиметрам. Четыре вершка с половиною равны 20 сантиметрам с небольшим и т. д. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить вас (что мне следовало бы сделать уже давно) за присылку двух ваших прекрасных томов, которые я проглотил разом и в которых почерпнул множество вещей, совершенно мне неизвестных[1].

Флобер предлагает возобновить наши обеды, раз первый из них прошел так удачно. Как славно было бы [собраться] всем вместе[2]. Приходите к нему в воскресенье, между 2 и 4; я буду там, и мы это обсудим. Кроме того, мне хотелось бы показать вам (как лучшему знатоку XVIII в.) бронзовую плакетку, которую я только что купил за гроши; на ней изображены Марс и Венера в стиле Буше. Венера, на мой взгляд,—чудно хороша. Вы скажете мне, так ли это.

Дружески жму вам руку.
Ваш И. Тургенев

[1] «Два прекрасных тома», это—«L'Art du dix-huitième siècle» par Edmond et Jules de Goncourt, 2-me édition, P., 1874.

[2] Первый из «наших обедов» состоялся 14 апреля 1874 г. в Кафе Риш. В тот день Гонкур записал в своем «Дневнике»: «Обед у Риша с Флобером, Тургеневым, Золя, Альфонсом Додэ. Обед талантливых людей, ценящих и уважающих друг друга; предполагаем будущей зимою собираться ежемесячно». Осенью 1874 г., во время одного из посещений Флобера (в Круассэ), Тургенев говорил с ним, между прочим, о возобновлении этих обедов. Флобер писал Гонкуру 22 сентября 1874 г.: «Он [Тургенев] говорил об устройстве артистического обеда, вроде прошлогоднего,—вы ведь согласны, не правда ли? Обед состоится, как только я приеду в Париж, т. е., вероятно, в конце октября».

Флобер приехал в Париж в ноябре 1874 г., и, начиная с зимы 1874—1875 г., знаменитые «обеды пяти» устраивались более или менее регулярно вплоть до смерти Тургенева. См. Journal des Goncourt, V, p. 118, и Flaubert, Correspondance, VII, p. 204.

6

Париж. 50, rue de Douai
Понедельник, 16 мая [18]75 г.

Любезный друг,

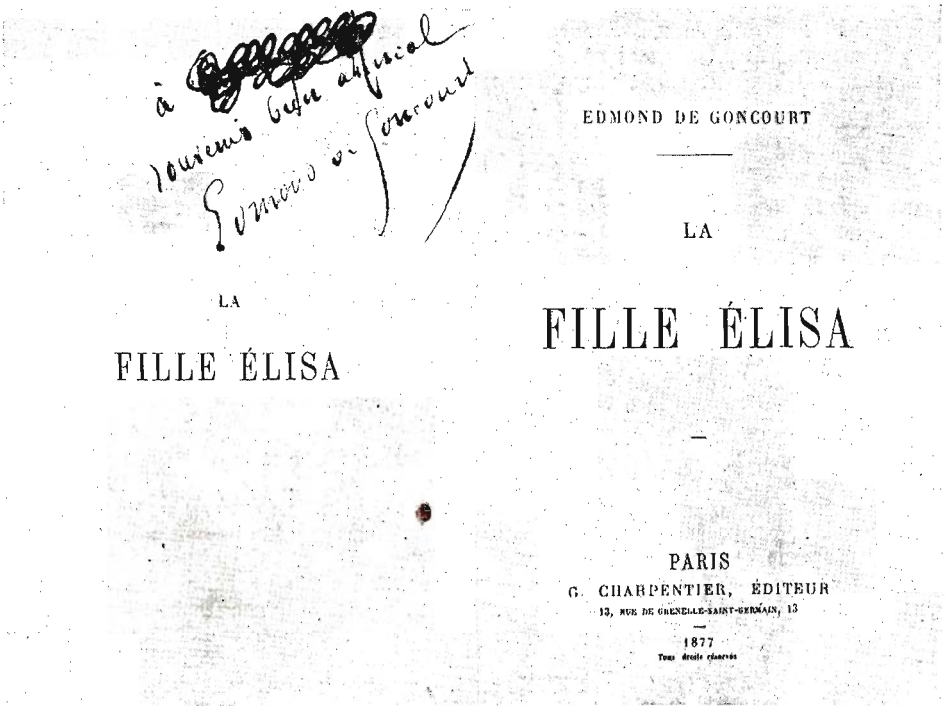
Очень мило с вашей стороны, что вы сами принесли мне вашу книгу[1],—сердечно благодарю за нее. Я увезу ее с собою[2] и прочту в дороге, а по приезде в Карлсбад с большим удовольствием напишу об этой книге и

о вас обоих статью для с.-петербургского «Вестника Европы»; надеюсь в этой статье высказать все, что думаю о вас и о вашем литературном облике [3].

А пока—еще раз спасибо. До свидания! Жму вашу руку.

Ваш И. Тургенев

[1] Вероятно, новое издание «Renée Mauperin» Эдмона и Жюля де Гонкур, вышедшее в 1875 г. Именно этот роман, по выражению Тургенева, «заграбастал» («mit le grappin») Стасюлевич. На решение Стасюлевича, повидимому, повлиял Тургенев; он сам говорит об этом в письме к Гонкуру от 26 октября 1875 г. См. письмо Тургенева к Золя от




ЭКЗЕМПЛЯР „ДЕВИЦЫ ЭЛИЗЫ" ЭДМОНА де ГОНКУРА С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА ТУРГЕНЕВУ (фамилия зачеркнута)

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

26 сентября 1875 г.: Halpérine-Kaminsky, p. 224, и нижепубликуемое письмо к Гонкуру от 26 октября 1875 г.

[2] Тургенев уехал в Карлсбад 29 мая 1875 г. См. Клеман, стр. 235.

[3] Намерение написать статью о братьях Гонкурах не было осуществлено. Тургенева опередил Золя, поместивший о них статью в сентябрьском номере «Вестника Европы». См. следующее письмо.

7

Буживаль, Les Frênes
Вторник, 26 окт[ября] [18]75 г.

Любезный друг,

Вы, вероятно, уже получили подробное письмо г. Виардо, в котором он сообщает все нужные вам сведения. В четверг я буду в Париже и пришлю вам точные размеры картин[1].

Я получил записку от Флобера. Бедняга понемногу выкарабкивается. Он приедет в Париж к 15 ноября; жить он будет у племянницы, на rue

Fg. St. Honoré, 240[2]. Я вернусь в Париж приблизительно к тому же сроку. Надо будет навещать его, и навещать почаще[3].

Надеюсь, что вы в добром здоровье. Дружески жму вам руку.

Ваш И. Тургенев

Вот вы и входите в моду в России, благодаря превосходному фельетону Золя, переведенному на русский язык. Уже переведены Germinie Lacerteux, Renée Mauperin; будут переведены и остальные ваши романы. К этому и я немного приложил руку[4].

[1] Письмо Луи Виардо из Буживаля, от 23 октября 1875 г., хранится среди бумаг Гонкуров. Виардо сообщает о портретах его родителей, писанных Прюдоном; портреты эти находились в парижском доме Виардо. Сведениями Виардо, а также размерами, сообщенными Тургеневым, Гонкур воспользовался при составлении каталога произведений Прюдона. См. Goncour (Edmondt de), Catalogue raisonné de l'œuvre peint, dessiné et gravé de P.-P. Prud'hon, P., 1876, pp. 29—30.

[2] В апреле 1875 г. Флобер потерял значительную часть своего состояния в связи с банкротством мужа своей племянницы, Эрнеста Комманвиля. Это поставило его в необходимость жить отныне собственным трудом. «Бедный Флобер находится в совершенно отчаянном душевном состоянии,—писал Тургенев Золя 26 сентября 1875 г.—Какая подлая жестокость судьбы—поразить так человека, менее чем кто-либо способного жить собственным трудом». Однако, в начале октября Тургенев получил от Флобера более оптимистическое письмо. Он ему ответил 11 октября 1875 г.: «Увидеть ваш почерк, мой, добрый старый Флобер, было для меня громадной радостью, а читать ваше письмо—еще большею. Вы выплываете на поверхность, вы начинаете строить—чуть было не сказал литературные планы!!».

5 ноября Флобер уже снова приехал в Париж. Так как ему пришлось отказаться от квартиры на rue Murillo, он во время приездов в Париж стал останавливаться у своей племянницы. См. Halpérine-Kaminsky, pp. 224 et 82—83, и Deschar-mes (R.) et Dumesnil (R.), Autour de Flaubert, P., 1912, II, pp. 164—165.

[3] То же писал Тургенев и Эмилю Золя 26 сентября 1875 г.: «...нужно, как вы правильно говорите, чтобы этой зимою все его друзья сплотились вокруг него». См. Halpérine-Kaminsky, p. 224.

[4] Статья Золя о братьях Гонкурах—«Роман гг. Гонкур»—появилась в сентябрьском номере «Вестника Европы» за 1875 г. (стр. 400 и далее). Золя сам признавался, что «очень доволен этой статьей», а Салтыков хвалил ее в письме к Некрасову от 26 ноября 1875 г. См. письмо Золя к Стасюлевичу от 27 августа 1875 г., «Стасюлевич и его современники», СПБ. 1912 г., III, стр. 597, и М. Е. Салтыков-Щедрин, Письма, под ред. Н. В. Яковлева, Л., 1924, стр. 109.

Однако, творчество Гонкуров не имело в России того успеха, который предсказывал ему Тургенев. Салтыков, увлекшись сначала, быстро изменил мнение, прочитав «Manette Salomon». Он писал Анненкову (2 декабря 1875 г.): «Прочитал я на днях Manette Salomon Гонкуров и словно глаза у меня открылись. Возненавидел и Золя и Гонкуров—всех этих д....л, которые ни до чего дод....ться не могут. Извините, что я так выражаюсь. Диккенс, Рабле и проч.—нас прямо ставят лицом к лицу с живыми образами, а эти жалкие д....лы нас психологией потчуют... Психология—вещь произвольная; тут, как ни нанизывай—или не донижешь, или перенижешь. И выйдет рыло косое, подрезанное, не человек, а компрачикос». Тургенев, попытавшийся подготовить дорогу Гонкурам, так же как он подготовил ее для Золя, вскоре должен был сознаться в неудаче этой попытки. Салтыков отклонил предложение Тургенева напечатать в «Отечественных Записках» перевод «La fille Elisa» Э. де Гонкура. Он написал (30 ноября 1875 г.) Тургеневу письмо в том же духе, что и Анненкову, и Тургенев согласился с ним: «Мне самому все это смутно мерещилось... не то, чтобы у них не было таланта, особенно у Золя; но они идут не по настоящей дороге и уж очень сильно сочиняют. Литературой воняет от их литературы»... Тем не менее, он попытался пристроить «La fille Elisa» в «Вестник Европы»—и тоже безуспешно.

См. Салтыков-Щедрин М. Е., Письма, под ред. Н. В. Яковлева, Л., 1924, стр. 112, 114, 115; Тургенев, Первое собрание писем, СПБ. 1884, стр. 271—272; «Стасюлевич и его современники», СПБ. 1912, III, стр. 70—71. Об отношении Салтыкова к французскому натурализму см. также Лаврецкий А., Щедрин—литературный критик.—«Литературное Наследство», 11—12, стр. 620—622.

8

Париж, 50, rue de Douai
Вторник, 21 ноября [18]76 г.

Любезный друг,

В понедельник, 27 ноября, в 6 1/2 час. мы обедаем у Пеле и Адольфа. Он обещался сделать все возможное, чтобы снова войти в милость. Золя и Додэ уведомлены [1].

До понедельника!

Дружески жму вам руку.

Ив. Тургенев

[1] Это приглашение на «обед пяти» или, вернее, «четырех», так как Флобер в это время находился в Круассэ. В «Trente ans de Paris» Додэ пишет об этих обедах: «Угодить нам было не легко, и парижские рестораторы, вероятно, еще вспоминают нас. Мы их часто сменяли. То это были Адольф и Пеле, возле Opéra или на площади Opéra Comique, затем у Вуазена, винный подвал которого удовлетворял всем прихотям, примирял все аппетиты».

Владельцу «Адольфа и Пеле» 27 ноября не удалось снова войти в милость писателей. Тургенев писал Флоберу 9 декабря 1876 г.: «Г-н Пеле подал нам отвратительный обед; больше к нему не пойдем». См. Daudet (Alphonse), Trente ans de Paris, P., 1891, p. 290, и Halpérine-Kaminsky, pp. 96—97.

9

Париж
Четверг, 18 января [1877 г.]

Любезный друг,

Тысячу раз благодарю вас за присылку вашей книги[1]. Я примусь за нее немедленно. Во вторник мы встретимся на обеде у Додэ, не правда ли?

До свиданья. Жму вам руку.

Ив. Тургенев

[1] Речь идет о романе Э. де Гонкура «La fille Elisa», только что вышедшем тогда.

10

Париж, 50, rue de Douai
Среда, утром 21 марта [1877 г.]

Любезный друг,

Не откажите отобедать с нашими друзьями и со мною в будущий понедельник, 26 марта, в Café Riche в 7 1/2 час[1].

До свидания. Жму вам руку.

Ив. Тургенев

[1] Такое же приглашение имеется и в конце письма к Золя от 21 марта 1877 г. См. Halpérine-Kaminsky, p. 238.

11

Париж, 50, rue de Douai
Суббота, 8 июня [1878 г.]

Любезный друг мой,

Позвольте рекомендовать вам моего соотечественника и друга, г. П. Боборыкина, известного писателя; он был бы счастлив лично познакомиться с автором, произведения которого он высоко ценит и о котором читал публичные доклады в Петербурге. Если бы мне не предстояло на-днях уехать из Парижа, я бы сам представил его вам, но я не сомневаюсь, что вы примете его со свойственным вам доброжелательством[1].

Дружески жму вам руку и остаюсь преданный вам

Ив. Тургенев

[1] Боборыкин приехал в Париж в июне 1878 г. для участия в международном литературном конгрессе. Тургенев, не любивший его, писал Стасюлевичу: «Сюда приехал

П. Д. Боборыкин — и потому вы можете себе представить, что на конгрессе наша литература не останется безмолвной. Несмотря на ваши доводы — я все-таки буду сожалеть об этом».

Рекомендация, данная Тургеневым Боборыкину, в достаточной степени сдержанна и официальна; она напоминает рекомендацию, данную им тому же Боборыкину к P. Heyse (10 октября 1874 г.), в которой он так и говорит: «Моя рекомендация несколько сдержанна, но иначе и быть не должно».

Тургенев, действительно, хотел уехать через несколько дней, но он «дал втянуть себя в дела Интернационального конгресса», как он писал 23 июня 1878 г. Флоберу, и уехал лишь в начале августа.

См. «Стасюлевич и его современники», СПБ. 1912, III, стр. 152; Halpérine-Kaminsky, стр. 112, и Клеман, стр. 228 и 270.

12

Париж, 50, rue de Douai
Вторник утром [конец ноября 1878 г.][1]

Любезный друг,

Особые цыганские имена бывают только в операх. Вам небезызвестно, что цыгане, как народ, вполне безразличный к вере, усваивают религию той страны, где живут, и носят те имена, какие встречаются в святцах этой страны. Могу, однако, привести вам имена (ласкательные, уменьшительные) известных в России цыганок: Стёша (уменьш. от Степаниды, Этьенетты). Она кружила голову нескольким поколениям в 1820—1830 гг.[2], Любаша (уменьш. от Любовь, Charité); Параша (уменьшительное от Прасковьи); Мариула (уменьшительное от Марии). Она была возлюбленной нашего знаменитого поэта Пушкина[3]. Таня (уменьшительное от Татьяны); Липа (уменьшительное от Олимпиады),—вот и выбирайте.

Действительно, нам надо бы повидаться. Но где и как? Флобер пишет мне, что приедет лишь в феврале. Я не видел еще ни Золя, ни Додэ. А следовало бы устроить обед, как в былое время. Я об этом черкну вам словечко.

Жму вам руку. До свидания!
Ваш Ив. Тургенев

[1] 26 ноября 1878 г. Гонкур, работавший тогда над «Братьями Земганно», посетил Тургенева. Вот как описывает Тургенев это посещение в письме к Флоберу от 27 ноября 1878 г.: «Гонкур приезжал ко мне за местным колоритом—южная Россия, цыганские имена и проч. Я нашел его в добром здоровье, несколько похудевшим и все с тем же блестящим, темным и вовсе недобрым взглядом. Он говорил о вас с большим расположением».

Публикуемое письмо, повидимому, написано незадолго до этой встречи или несколько дней спустя после нее; оно содержит большой выбор цыганских имен. См.—Halpérine-Kaminsky, p. 115.

[2] Этим именем и наделил Гонкур мать братьев Земганно. Из кратких сведений Тургенева он сумел извлечь максимум местного колорита. Он построил на этих данных следующую фразу: «Степанида, по-нашему Этьенетта, которую звали уменьшительным именем Стеша»... См. Goncourt (E. de), Les Frères Zemganno, P., 1879, p. 25.

[3] Домысел Тургенева, основанный на известных стихах Пушкина («...И долго милой Мариулы я имя нежное твердил»), которые поэт вписал в беловой экземпляр издания «Цыган» (эпилог) при поднесении поэмы Вяземскому.

Имени Мариулы нет в романе Гонкура. Тем любопытнее отметить в нем другой отголосок пушкинской поэмы. Степанида поет «песню родной страны»:

«Vieux époux, barbare époux,
Egorge moi! brûle moi!
. . . . . .
Je te hais!
Je te méprise!
C'est un autre que j'aime
Et je meurs en l'aimant».

Таким образом, Гонкур вкладывает в уста Степаниды буквальный перевод песни пушкинской Земфиры (см. G o n c o u r t Edmond de, Les Frères Zemganno, P., 1879, p. 73). Не подлежит сомнению, что на эту песню указал Гонкуру Тургенев, тем более, что сам он упоминает о ней в записке пресловутого Эрнеста к жене Лаврецкого в гл. XVI «Дворянского гнезда».

ЭДМОН ДЕ ГОНКУР
Рисунок Э. Карьера на экземпляре „Germinie Lacerteux"
из библиотеки Гонкуров, 1892 г.
В глубине — профиль Жюли де Гонкура

13

Париж, 50, rue de Douai
Среда, утром [7 мая 1879 г.]

Любезный друг,

Придется отказаться от совместной поездки в воскресенье [1]. Флобер пишет, чтобы я уведомил вас, что он не может принять сразу более, чем одного человека. Я пишу об этом также Золя и Додэ. Что до меня, то я поеду.

Жму вам руку.
Ваш Ив. Тургенев

[1] 27 января 1879 г. Флобер сломал себе ногу. В мае он уже почти совсем поправился, но еще не выезжал из Круассэ. Он ждал посещения своих друзей. В четверг 1 мая 1879 г.

он писал Гонкуру: «Час от часу не легче. Тургенев, надувший меня в течение недели четыре раза, сегодня утром сообщил, что приедет в воскресенье. Я надеюсь, что вслед за ним приедете и вы и что приедете без провожатых, чтобы можно было бы лучше поболтать. Когда хотите приехать: до или после нашествия Золя — Шарпантье—Додэ? Условьтесь с сими господами».

Как раз в тот день, когда Флобер замышлял «раздробить» посещение друзей, последние, собравшись на «сарданапаловом обеде», решили навестить его все вместе (кроме Шарпантье) в воскресенье 11 мая. Тургеневу было поручено написать Флоберу соответствующее письмо, которое он и отправил в субботу 3 мая. См. Flaubert, Correspondance, VIII, p. 263, и письмо к Флоберу от субботы (3 мая 1879 г.); Halpérine-Kaminsky, pp. 134—135 (у Гальперина-Каминского дата не уточнена).

**14**

Париж. 50, rue de Douai
Среда, утром [14 мая 1879 г.]

Любезный друг,

Спешу поблагодарить вас за присланную книгу; я ее читаю, и она кажется мне одним из лучших ваших произведений [1]. Уж одно предисловие само по себе превосходно, а благодаря тому, что оно написано вами, оно приобретает особый вес [2].

Я провел два дня в Круассэ, у Флобера [3]. Его здоровье, в общем, довольно хорошо, работа его подвигается. Он прочитал мне три главы, которые мне очень понравились [4]. Он передвигается все еще с трудом и приедет в Париж лишь через месяц.

Дружески жму вам руку. До свидания!

Иван Тургенев

[1] Роман «Les Frères Zemganno» вышел в свет 30 апреля 1879 г. Современная критика отнеслась к этой книге довольно сурово. Однако, друзья Гонкура сумели ее оценить. Флобер писал Гонкуру (1 мая 1879 г.): «Я в восторге от вашей книжки».

Павловский рассказывает, что Тургенев читал ему первые страницы «Братьев Земганно» и резко осуждал их стиль, находя его искусственным и претенциозным. Свидетельство Павловского, как всегда, не внушает доверия, однако, не следует забывать отрицательного отношения Тургенева к творчеству Гонкуров, высказанного им в письме к Салтыкову (см. выше, прим. 4-е к письму к Гонкуру от 26 октября 1875 г.). Тем не менее, было бы ошибкой усматривать в похвале Тургенева простую вежливость. Отношение Тургенева к творчеству Гонкуров было глубоко противоречивым. См. «Journal des Goncourt», VI, pp. 67 et suiv.; Flaubert, Correspondance, VIII, p. 262, и Pavlovsky, Souvenirs sur Tourguéneff, P., 1887, pp. 74—75.

[2] В предисловии к «Братьям Земганно» Гонкур заявлял, что реалистические романы, вроде «Assommoir» и «Germinie Lacerteux», являлись лишь «блестящими схватками авангарда». Великая битва, которая предопределит победу реализма, разыграется лишь тогда, «когда жестокий анализ... привнесенный моим другом, г. Золя, и, быть может, мною самим в изображение низов общества, будет подхвачен талантливым писателем и применен к изображению светских мужчин и женщин из образованной и изысканной среды», ибо такая задача много сложнее и труднее.

Предисловие являлось «обращением к молодежи»: «и это предисловие имеет целью сказать молодым, что успех реализма — в этом, только в этом, а не в босяцкой литературе (le canaille littéraire), в настоящее время уже исчерпанной их предшественниками». См. Goncourt (Edmond de), Les Frères Zemganno, P., 1879, pp. VII—XII.

Взгляды Гонкура вполне сходились со взглядами Тургенева, особенно в отрицательной своей части. Предисловие было направлено против предпочтительного изображения «низов общества», против «литературного босячества», а именно это и отталкивало Тургенева в творчестве таких писателей, как Золя. Тургенев, писавший Флоберу по поводу «Assommoir»: «Талантливо, но тяжеловесно и слишком много от ночного горшка», естественно, должен был радоваться, что Гонкур, один из вождей этой школы, наносит ей удар, ибо предисловие к «Братьям Земганно» являлось именно ударом. См. письмо к Флоберу от 9 декабря 1876 г.: Halpérine-Kaminsky, p. 97. См. также выше письмо к Флоберу от 6 ноября 1879 г. (стр. 692).

Относительно предисловия Гонкура см. Zola (E.), Le roman expérimental, pp. 262—272, и Sabatier (Pierre), L'esthétique des Goncourt, P., 1920, pp. 516—517.

[3] Воскресенье 11-го и понедельник 12-го мая 1879 г. См. предыдущее письмо.
[4] Речь идет о трех главах «Bouvard et Pécuchet». Тургенев, вероятно, в тот же день, писал Флоберу: «Три главы, прочтенные вами, доставили мне большое удовольствие, особенно 2-я и 3-я». См. письмо к Флоберу от среды [14 (?) мая 1879 г.]: Halpérine-Kaminsky, p. 133 (дата эта у Гальперина-Каминского не уточнена).

15

Буживаль, Les Frênes, Châlet
Воскресенье, 19 окт[ября] [18]79 г.

Любезный друг,

Большое вам спасибо за присылку «Gavarni»[1]; я принялся его читать немедленно, с увлечением, какого заслуживают и тема книги и ее автор. Я пробуду здесь до конца ноября, а около 15 декабря уеду в Россию[2]. В промежутке я надеюсь повидаться и пообедать с вами, more antiquo. А пока — дружески жму вам руку.

Ваш Ив. Тургенев

[1] Goncourt, (Edmond et Jules de), Gavarni. L'homme et l'œuvre d'après les papiers et les mémoires inédits de l'auteur, nouvelle édition, P., 1879.
[2] Тургенев уехал лишь 3 февраля 1880 г. См. Клеман, стр. 290, и два следующих письма в настоящем издании.

16

Париж, 50, rue de Douai
Суббота, 24 янв[аря] [1880 г.]

Любезный друг,

Не откажите принять участие в прощальном обеде, который я устраиваю перед отъездом в Россию, где пробуду дольше обычного. Будет Золя, может быть, и Додэ. Обед состоится во вторник в 7 час. в Café Riche. Пожалуйста, напишите мне словечко — и пусть это будет «да»[1].

Жму вашу руку.
Ив. Тургенев

[1] В понедельник утром (26 января 1880 г.) Тургенев писал Золя: «Додэ еще не ответил, а Гонкур написал, что приглашение принимает. Он только опасается, что не сможет притти из-за гриппа. Мне очень хочется, чтобы он был, а потому я предлагаю перенести этот обед на пятницу». См. Halpérine-Kaminsky, p. 255.

17

Париж, 50, rue de Douai
Среда [28 января 1880 г.]

Любезный друг,

Додэ умоляет перенести обед на субботу из-за того, что в пятницу — премьера «Nabab». Надеюсь, что вам это так же будет удобно, как и мне, и спешу предупредить вас (и Золя тоже)[1]. Итак, до субботы, и уж непременно!

Ваш Ив. Тургенев

[1] См. письмо к Золя от того же числа: Halpérine-Kaminsky, pp. 255—256. Премьера «Nabab» Додэ состоялась в пятницу 30 января 1880 г., в театре Vaudeville, а прощальный обед, дважды откладывавшийся, в субботу 31 января. Обед этот описан в «Journal des Goncourt», VI, pp. 101—103. Лицо Додэ «светилось радостью в связи с успехом состоявшейся накануне премьеры».

18

Париж, 50, rue de Douai
Среда утром [24 ноября 1880 г.]

Любезный друг мой,

Вам известно, что, по желанию семейства Флобера и всех его друзей, вы избраны в комитет по сооружению ему памятника — да иначе и быть не могло. Но вы не знаете, что, кроме того, вы избраны еще и членом

исполнительной подкомиссии, на которую возложены все необходимые хлопоты и т. д., и т. д. Подкомиссия состоит из двух вице-председателей (Лапьера[1] и меня), двух секретарей (Мопассана и Эредиа)[2], вас и Жиля из «Фигаро»[3], которого мы хотели бы назначить казначеем. Подкомиссия соберется у меня в пятницу в 2 часа. Мы можем рассчитывать на вас, не так ли?

Мне попался в Москве очень любопытный портрет Карла XII в молодости (горельеф на табакерке из слоновой кости), работы начала прошлого века. Я не собираю такого рода вещей и буду рад предложить ее вам.

До пятницы! Дружески жму вам руку.

Преданный вам
Ив. Тургенев

[1] Лапьер (Lapierre) Шарль—друг Флобера. См. о нем Dumesnil (René), Gustave Flaubert, P., 1933, p. 291.

[2] Эредиа хоть и не был близким другом Флобера, но с 1872 г. часто бывал у него. Об их отношениях см. Albalat (A.), Gustave Flaubert et ses amis, P., 1927, pp. 82—86.

[3] Жиль (Gilles), Филипп—журналист, сотрудник «Figaro», где он вел парижскую хронику под псевдонимом «Masque de fer» («Железная маска»). В письме к Золя от 28 ноября 1880 г., в котором Тургенев просил его прислать письменное согласие на избрание во Флоберовский комитет, упоминается не Жиль из «Figaro», а Артюр Мейер из «Gaulois». См. Halpérine-Kaminsky, p. 257.

19

Париж, 50, rue de Douai
Вторник, 21 дек[абря] [18]80 г.

Любезный друг,

Наша подкомиссия соберется у меня в пятницу в 4 ч. для решения важных вопросов[1]; мы можем рассчитывать на вас, не правда ли?

Дружески жму вам руку.
Ваш Ив. Тургенев

[1] См. приглашения, разосланные в тот же день Золя, Эредиа (в адрес Мопассана) и Дю-Кану: Halpérine-Kaminsky, pp. 258, 272, и письмо к Дю-Кану в настоящем издании (стр. 675).

20

Париж, 50, rue de Douai
Среда, 23 марта [18]81 г.

Любезный друг мой,

Простите меня, что я с запозданием поблагодарю вас за вашу посылку. Но все эти дни у меня голова кругом шла. Через неделю я уезжаю в Россию и повезу вашу книгу с собою, чтобы спокойно прочитать ее в деревне[1]. Я все же надеюсь еще повидаться с вами до отъезда. Скоро вы получите приглашение на заседание Флоберовского комитета[2].

Дружески жму вам руку.
Ив. Тургенев

[1] Речь идет, вероятно, о «La Maison d'un artiste»—описании дома Гонкуров, вышедшем в 1881 г. Тургенев мог прочесть там следующие строки, посвященные его книгам, которые имелись в доме в числе прочих сокровищ: «От Тургенева—все его книги, все эти тонкие и проникновенные этюды человеческой души, окаймленные пейзажами, столь глубоко прочувствованными мечтателем, обрамленные тенистыми лесами, так свежо описанными охотником». См. Goncourt (Edmond de), La Maison d'un artiste, P., 1881, II, p. 363.

Тургенев уехал в Россию лишь 8 мая 1881 г. См. Клеман, стр. 304.

[2] Заседание Флоберовского комитета состоялось 9 апреля 1881 г. См. Journal des Goncourt, VI, p. 141.

# И. С. ТУРГЕНЕВ и ПРОСПЕР МЕРИМЕ

Статья М. Клемана

Со второй половины пятидесятых годов И. С. Тургенев почти постоянно жил за границей, лишь наездами бывая в России — в Петербурге, Москве и в своем орловском поместье, с. Спасском-Лутовинове. В Берлине, Париже, Баден-Бадене и Лондоне завязывались у русского романиста многообразные отношения с выдающимися представителями европейской литературы. Г. Гервег, Б. Ауэрбах, Т. Шторм, Жорж Санд, В. Гюго, Г. Флобер, Э. Гонкур, Э. Золя, Ги де Мопассан, Ч. Диккенс, Дж. Элиот, А. Теннисон, Г. Бичер-Стоу, Г. Джемс — таков блестящий круг западных друзей и знакомых Тургенева.

Живя за границей, Тургенев налаживал связи между русской и западной литературой. Он организовывал французские, немецкие и английские переводы сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Щедрина, Писемского (Пушкина и Лермонтова переводил сам в сотрудничестве с Л. Виардо и П. Мериме). Он популяризировал в России Э. Золя и Г. Флобера, две новеллы которого перевел в 1876 г. для «Вестника Европы».

Посредническая роль Тургенева между русской и западно-европейской, в первую очередь французской, литературой еще в достаточной мере не обследована. Многие документы, проясняющие ее, остаются неопубликованными или затеряны в старых и малодоступных изданиях. Но роль эта была тем более значительна и богата по результатам, что Тургенев выступил в ней как раз в те годы, когда рост экономических связей России с европейскими странами заставлял западную буржуазию ближе присмотреться к культуре далекой и малознакомой северной страны.

С этой точки зрения, учитывая взятую на себя Тургеневым роль пропагандиста русской литературы в Европе, и особенно во Франции, необходимо подвергнуть более детальному обследованию его связи с французскими писателями.

Л. Фридлендер вспоминал о Тургеневе: «Из французских авторов особенно любил он Мериме и Флобера, с которым был лично дружен». Это наблюдение было вполне справедливо. Несомненно, наиболее тесные отношения связывали Тургенева с Проспером Мериме и Гюставом Флобером. Но если перипетии его знакомства с автором «Мадам Бовари» могут быть прослежены в деталях по многочисленным документам, то история его отношений с Мериме остается все еще мало освещенной, несмотря на то, что к изучению ее неоднократно возвращался ряд исследователей — и в биографиях Мериме (Филон, Траар), и в специальных статьях об его русских связях (Каэн, Монго). Основным препятствием являлись скудость и разбросанность документальных данных. Собрать эти данные воедино, привлечь к ним ряд материалов, ранее не учтенных исследователями (например, некролог Тургенева о Мериме), и является задачей настоящей статьи.

## I

На страницах дошедшей до нас переписки Тургенева имя Мериме мелькает всего несколько раз. Своим тоном эти беглые упоминания свидетельствуют о дружеской близости между обоими писателями, но не дают достаточных материалов для восстановления истории их отношений. Только однажды Тургенев остановился подробнее на характеристике своего знакомства с Мериме — в ответе на специальный запрос, сделанный через два года после смерти французского писателя. Избранный на место Мериме во Французскую академию Леонар де Ломени, готовясь к торжественной вступительной речи, традиционному похвальному слову своему предшественнику, обратился за информацией к Тургеневу. Просьба поделиться воспоминаниями и материалами была передана при посредстве постоянно жившей в Париже семьи эмигранта-декабриста Н. И. Тургенева. Отвечая на запрос, русский романист писал 15/27 июня 1872 г. из Москвы Фанни Тургеневой:

«Я, действительно, хорошо знал Мериме в последние годы его жизни — очень любил его — и, думаю, что хорошо изучил его характер. Я готов быть в распоряжении г. Ломени для сообщения всех необходимых ему сведений — хотя, по правде говоря, я предпочел бы другого панегириста или, скорее, другого биографа — не потому, чтобы я сомневался в таланте г. Ломени — но между ним и Мериме слишком мало точек соприкосновения: эти две натуры слишком различны. Храня дорогую мне память Мериме, я желаю, чтобы ему была отдана полная и совершенная справедливость — и буду счастлив содействовать этому».

В дальнейших строках письма Тургенев давал подробные сведения о своей переписке с французским писателем: «Что же касается до писем Мериме, то их у меня, действительно, около сотни — среди них имеются очень любопытные — но вся моя корреспонденция находится в Бадене — и я буду ее иметь в Париже только к началу зимы. Вообще говоря, эти письма писаны несколько в стиле... Рабле; однако, нет речи о том, чтобы их не публиковать. Все устроится, если г. Ломени может подождать до октября или ноября»[1].

В следующем письме к Ф. Тургеневой от 17 октября н. ст. 1872 г. возвратившийся в Париж Тургенев подтверждал согласие дать Ломени необходимые сведения: «Я буду в распоряжении г. Ломени завтра с 1 ч. — и постараюсь сказать ему все, что только вспомню о Мериме»[2].

Из беглого упоминания в похвальном слове, прочитанном Ломени на открытом заседании Французской академии 8 января 1874 г., выясняется, что Тургенев действительно показал ему, по крайней мере, некоторые из писем Мериме. Рассказывая о последних часах Мериме, Ломени сообщил: «Он написал три письма, одно из них теперь опубликовано, второе, которое я читал, содержит очень общую оценку одной русской статьи, присланной его другом, г. Иваном Тургеневым. Это письмо свидетельствует, что Мериме еще вполне владел своим рассудком»[3].

Переписка Тургенева и Мериме могла бы служить наиболее надежным источником для изучения отношений обоих писателей. К сожалению, из писем Мериме, долгое время считавшихся утраченными, к настоящему моменту опубликованы целиком только четыре документа, а из остальных найденных писем напечатаны пока немногочисленные отрывки.

Ответные письма Тургенева погибли безвозвратно — они сгорели в 1871 г. при пожаре, истребившем весь парижский архив Мериме.

Тургенев встретился в первый раз с Мериме в Париже, в феврале 1857 г. Зима 1856—1857 г. была богата для русского писателя новыми знакомствами. Если в свои предыдущие посещения Франции (в 1845 г. и в 1847 — 1850 гг.) Тургенев держался в стороне от литературных и журнальных кругов, то при появлении в Париже осенью 1856 г., после шестилетнего вынужденного пребывания в России, он задался целью ближе сойтись с французскими писателями. Тургенев преследовал при этом профессиональные литературные цели. Перед отъездом за границу он заключил «обязатель-

И. С. ТУРГЕНЕВ
Рисунок Э. Липгарта, сделанный с натуры в Париже
Литературный музей, Москва

ное соглашение» с редакцией «Современника» об исключительном сотрудничестве в этом журнале. «Соглашение» предусматривало разнообразные формы содействия изданию. Тургенев должен был присылать не только свои художественные произведения, но и доставлять информацию о литературной и артистической жизни Парижа, намечать к переводу вновь вышедшие книги и т. д. Исполняя принятые на себя обязательства, Тургенев стремился расширить круг своих знакомств. Вскоре по приезде во Францию он писал из Куртавнеля И. И. Панаеву: «Обещаю тебе, что употреблю все усилия, чтобы поддержать «Современник» — и собственными трудами и сообщением разных новостей, известий, названий книг для

переводов и т. д. За все это я примусь как только перееду в Париж — т. е. через три недели. Я, однако, проездом в Париже познакомился с некоторыми литераторами — и в течение зимы я, вероятно, всех их увижу — так же, как и издателей здешних Revues»[4]. Через месяц Тургенев сообщал из Парижа С. Т. Аксакову: «Хочу я познакомиться с здешними литераторами, хотя ни к одному не чувствую симпатии и ничего не ожидаю для себя от этого знакомства; но оно любопытно — и, может быть, и поучительно»[5]. В следующем письме к тому же корреспонденту, от 8 января 1857 г., Тургенев делился уже результатами своих первых наблюдений: «Я с тех пор, как писал вам, познакомился со многими здешними литераторами — не со старыми славами, бывшими коноводами — от них, как от козла, ни шерсти, ни молока — а с молодыми, передовыми. Я должен сознаться, что все это крайне мелко, прозаично, пусто и бесталанно. Какая-то безжизненная суетливость, вычурность, или плоскость бессилия, крайнее непонимание всего нефранцузского, отсутствие всякой веры, всякого убеждения, даже художнического убеждения — вот что встречается вам, куда ни оглянитесь. Лучшие из них это чувствуют сами и только охают и кряхтят. Критики нет, — дрянное потакание всему и всем; каждый сидит на своем коньке, на своей манере и кадит другому, чтобы и ему кадили — вот и все»[6].

В этом же письме Тургенев характеризовал, не называя имен, поэзию парнасца-классика Леконта де Лиля и реалиста Максима Дю-Кана, вводившего в свои стихи индустриальную тематику:

«Один стихотворец вообразит, что нужно «проводить» реализм, и с усилием, с натянутой простотой воспевает «пар» и «машины», другой кричит, что должно возвратиться к Зевсу, Эроту и Палладе — и воспевает их, с удовольствием помещая греческие имена в свои французские стишки; и в обоих капли нет поэзии. Сквозь этот мелкий гвалт и шум пробиваются, как голоса устарелых певцов, дребезжащие звуки Гюго, хилое хныканье Ламартина, болтовня зарапортовавшейся Санд; Бальзак воздвигается идолом и новая школа реалистов ползет в прахе перед ним, рабски благоговея перед Случайностью, которую величают Действительностью и Правдой; а общий уровень нравственности понижается с каждым днем и жажда золота томит всех и каждого — вот вам Франция».

Весной 1857 г. Тургенев подводил итоги своим зимним впечатлениям: «Ни в одно мое пребывание в Париже не познакомился я с таким множеством людей, как в это... но удовольствия мне эти знакомства не доставили — даже любопытство не удовлетворено — может быть от того, что не до наблюдений и изучений, когда самому плохо»[7].

Сходясь с французскими писателями и журналистами и усиленно посещая литературные салоны, Тургенев неизбежно должен был встретиться с Мериме, проводившим бóльшую часть зимы в Париже. Первая встреча писателей произошла во второй половине февраля 1857 г., по возвращении Мериме из поездки на юг Франции[8]. Впервые о вновь завязанном знакомстве Тургенев сообщил В. П. Боткину 1 марта 1857 г.: «Я познакомился здесь со многими людьми, между прочим с Мериме. Я вообще приятно бы мог проводить время, если бы не был отравлен. Увидимся, многое расскажу — а писать не хочется»[9]. Подробнее о новом знакомстве Тургенев писал неделей позднее М. Н. Лонгинову: «Я познакомился со многими литераторами, и с Мериме. Похож на свои сочинения: холоден, изящен, с сильно развитым чувством красоты и меры и с совершенным отсутствием

не только какой-нибудь веры, но даже энтузиазма»[10]. Скупее и выразительнее характеризовал Тургенев своего нового знакомого в письме к П. В. Анненкову от 10 марта н. ст. 1857 г. из Дижона: «A propos, я познакомился с Мериме: похож на свои сочинения; и с Мармье: и этот тоже похож на свои сочинения»[11].

Зимой 1856—1857 г. Тургенев неоднократно писал ряду своих корреспондентов о встречах с парижскими литераторами. Нужно, однако, отметить, что сообщения Тургенева отличались суммарностью,—он почти не называл имен своих новых знакомых и ограничивался общими характеристиками литературных салонов, не выделяя никого из толпы их завсегдатаев. Исключение было сделано для одного Мериме. О встрече с ним Тургенев сообщил почти одновременно в письмах трем корреспондентам—В. П. Боткину, М. Н. Лонгинову и П. В. Анненкову. Хронологическая близость этих трех писем заставляет предполагать, что все они были написаны в ближайшие же дни после первой встречи писателей.

## II

Трудно сказать, при чьем посредстве, при каких обстоятельствах произошло знакомство Тургенева с Мериме. Французский писатель поддерживал постоянные отношения с русской колонией в Париже. Посредником мог быть Н. А. Мельгунов, с которым Тургенев часто встречался зимой 1856—1857 г. и который поддерживал постоянную связь с Мериме. Встреча могла состояться и в салоне г-жи д'Агу,—о частых посещениях этого салона Тургенев писал Герцену[12]. Однако, для личного знакомства обоих писателей вряд ли и нужно было особое посредничество—их первая встреча была подготовлена годами длительного заочного знакомства.

Не случайно, конечно, Тургенев в письмах к друзьям давал вместо характеристики Мериме ссылку на его сочинения: они были прекрасно известны в литературных кругах Петербурга и Москвы. Сам Тургенев, широко осведомленный во всех крупнейших явлениях европейской литературы, не был простым читателем Мериме,—он был связан с ним гораздо интимнее. В первую пору своей литературной деятельности, в своих ранних драматических опытах, Тургенев находился под несомненным влиянием французского писателя. Весной 1842 г. он работал над вольной переделкой комедии Мериме «Искушение св. Антония» («Une femme est un diable ou La tentation de Saint-Antoine»), а в первом появившемся в печати драматическом произведении, «Неосторожности» (1843), воспроизводил в самостоятельном художественном наброске характерные построения «Театра Клары Газуль»[13]. К авторитету Мериме Тургенев апеллировал и в своих ранних критических статьях. В рецензии на драму С. А. Гедеонова «Смерть Ляпунова» (1846) Тургенев вспоминал, наравне с драматическими хрониками Шекспира, «Гёцом фон-Берлихингеном» и романами Вальтера Скотта, также и хроники Вите и М е р и м е[14]. Интерес к французскому писателю, несомненно, возрос в России, когда он выступил в качестве переводчика и популяризатора русской литературы во Франции. Русские интересы Мериме к 1857 г. вполне определились. К этому времени уже появились его переводы «Пиковой дамы» (1849), «Цыган» и «Гусара» (1852), «Ревизора» (1853), «Выстрела» (1856), появилась драматическая хроника «Лже-Дмитрий» (1852) и был напечатан ряд статей по русской истории и русской литературе, в том числе статья о Гоголе (1851) и о «Записках охотника» (1854)[15].

Встреча с Мериме, вне сомнений, была для Тургенева более значительным событием, чем знакомство с рядом других французских литераторов, о которых он лишь мельком упоминает в своей переписке. Это была встреча с признанным мастером художественной прозы, влияние которого Тургенев испытал на себе, встреча с переводчиком Пушкина и Гоголя, популяризатором русской литературы, одним из первых рекомендовавшим французским читателям «Записки охотника».

Не меньший интерес к личному знакомству с Тургеневым должен был проявить и Мериме.

Произведения Тургенева сравнительно рано стали известны за пределами России. Уже в 1854 г., т. е. через два года после выхода в оригинале отдельной книгой, «Записки охотника» были полностью переведены на французский язык Шарьером и выдержали в течение полутора лет два издания[16]. Интерес к «Запискам охотника» вызывался во Франции особыми причинами. Перевод Шарьера появился в первые месяцы крымской кампании, когда военные события резко обострили внимание к России. Французские критики и публицисты наперерыв советовали своим читателям ознакомиться с «Записками охотника», как с важным информационным материалом, вскрывающим внутреннее состояние таинственной северной империи, кинувшей «грозные орды в атаку на старый мир». Ф. Морнан писал в «Illustration»: «Большое удовольствие и пользу получит читатель при ознакомлении с «Записками» русского охотника или барина, повиди-

I

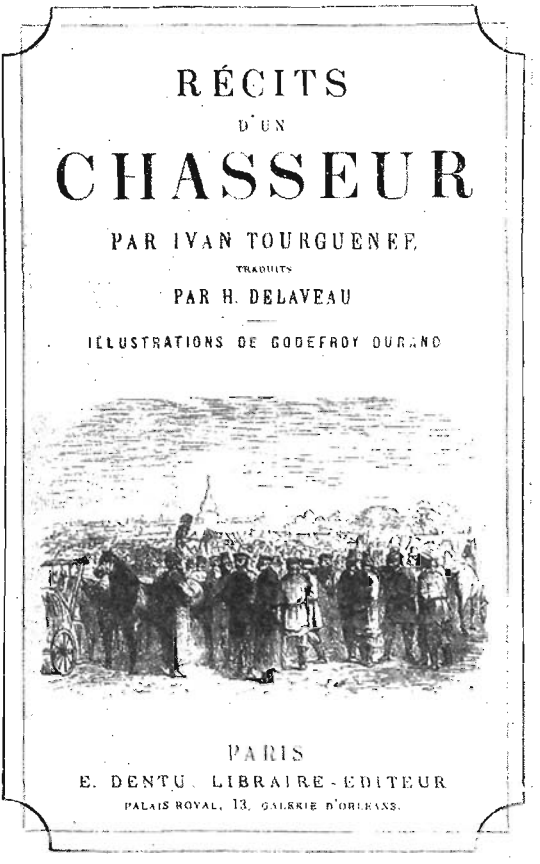
LE BOURGMESTRE[1].

A cinquante *verstes*[2] environ de ma campagne habite un jeune propriétaire de ma connaissance, Arcadi Pavlitch Pénotchkine. Il y a beaucoup de gibier sur ses terres, sa maison est construite sur

[1] On donne ce nom, en Russie, aux maires des gros villages: ils sont choisis parmi les paysans.
[2] La verste équivaut à un kilomètre.

СТРАНИЦА ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ „ЗАПИСОК ОХОТНИКА" НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРЕВОДЕ ДЕЛАВО. ПАРИЖ, 1858 г.

Рисунок Годфруа Дюрана к рассказу „Бурмистр"




ОБЛОЖКА ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ „ЗАПИСОК ОХОТНИКА" НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРЕВОДЕ ДЕЛАВО. ПАРИЖ, 1858 г.

мому, очень искренними и точными. В этих талантливых рассказах, лишенных всякого отпечатка ремесленности и претензий на эффект, можно найти сведения исключительной ценности, особенно в современных условиях, о загадочной жизни русских рабов»[17]. Книга Тургенева привлекла внимание широких слоев французских читателей в период обострения интереса к России в годы войны 1854—1855, но в литературных кругах имя ее автора не было забыто и после заключения мира. В письме к А. В. Дружинину от 5 декабря ст. ст. 1856 г. Тургенев отметил: «Я начинаю понемногу знакомиться с разными здешними лицами—отыскал двух-трех хороших людей, одну очень милую и умную женщину—пока довольно—а то время все в клочки разлетится. Познакомиться легко со всеми—к удивлению моему, меня здесь довольно знают»[18].

Для установления степени популярности Тургенева во Франции в середине пятидесятых годов показательно появление переводов его вещей в «Revue des Deux Mondes». За несколько месяцев до приезда Тургенева в Париж в этом журнале был напечатан его рассказ «Муму»[19]. В позднейшем письме к П. В. Анненкову Тургенев писал по поводу опубликования в том же журнале перевода «Странной истории»: это «честь, которая, если уже дело пошло на хвастовство, досталась, кроме меня, одному Г. Гейне»[20].

Мериме был одним из первых критиков, рекомендовавших перевод «Записок охотника» французским читателям. Его большая рецензия «Литература и рабство в России» появилась в первой июльской книжке

«Revue des Deux Mondes» за 1854 г. Статья Мериме, так же как и другие статьи во французской прессе той эпохи, ставила своей задачей показать на анализе художественного материала разложение николаевской России — военного противника Франции; это не мешало, однако, высокой оценке «Записок охотника», как литературного произведения. В первых же строках рецензии Мериме заявлял, что «Записки охотника» — «интересное и поучительное произведение, рассказывающее о многом при своем малом объеме». «Эти двадцать две жанровые картинки, почти одинаково обрамленные, отличаются искусным разнообразием композиции и тона повествования. Они тщательно обработаны, иногда даже с излишней кропотливостью, и дают в целом очень точное понятие о социальном состоянии России». «По манере письма Тургенев представляет некоторое сходство с Гоголем. Как и автор «Мертвых душ», он отличается мастерством в детальных описаниях, он останавливается в них на всех мелочах. Если речь заходит об избе, он пересчитывает в ней все скамьи и не забывает упомянуть ни об одном предмете из домашней утвари. Описывая одежду своих персонажей, он не забывает ни об одной пуговице, его описания так точны и подробны, что, прочтя их, два художника, не сговорившись, могли бы, я полагаю, нарисовать два совершенно одинаковых портрета... У Тургенева есть одно преимущество перед Гоголем. Он избегает всего безобразного, в то время как автор «Мертвых душ» разыскивает это безобразное с любопытством. Во всем, что он пишет, чувствуется любовь к красоте и добру... Ничего этого нет у Гоголя. Всегда суровый и саркастический, он смеется показным смехом, часто более грустным, чем слезы. Оба дают сатирическую картину нравов своего времени. Гоголь, являясь, как мне приходилось слышать, благородным и благочестивым человеком, проявляет себя безжалостным насмешником и, повидимому, отчаялся в окружающем, видя повсюду одних плутов и негодяев. Тургенев также осмеивает, но мягче, он замечает наравне с темными сторонами и светлые даже в самых извращенных фигурах. Он умеет и в смешном находить благородные и трогательные черты». В заключительной части статьи Мериме выражает уверенность, что автор «Записок охотника» продолжит свою литературную деятельность: «Я полагаю, что Тургенев, которого я не имею чести знать лично, молодой писатель и что его «Записки охотника» являются только прелюдией к более серьезному и значительному произведению»[21].

В среде своих знакомых Мериме пропагандировал «Записки охотника» наравне с произведениями Пушкина. Англичанке M-rs Сенион он писал из Вены 26 сентября 1854 г.: «Я очарован тем, что вам понравились рассказы Тургенева. Читали ли вы «Пиковую даму» Пушкина, которую я перевел? Я вам пошлю это бессмертное сочинение, как только буду иметь счастье возвратиться к берегам Сены»[22].

Внимательно следя за новинками русской литературы и охотно завязывая отношения с русскими в Париже, Мериме не мог, конечно, не отнестись с большим вниманием к знакомству с Тургеневым, о первом крупном произведении которого он написал в свое время сочувственный отзыв.

## III

При скудости документальных данных не удается точно установить, когда и как часто встречались Тургенев и Мериме. Однако, можно предполагать, что их дружба окрепла в первые же годы знакомства. В конце пятидесятых и начале шестидесятых годов Тургенев почти постоянно

жил в Париже—естественно, что в эти годы он чаще всего мог встречаться и беседовать с Мериме. С весны 1863 г. Тургенев переселился с семьей Виардо в Баден-Баден, лишь наездами посещая Францию, обычно на очень короткий срок. Возможность личных свиданий сокращалась, тем более, что и Мериме часто уезжал из Парижа.

Вскоре после первой встречи с Мериме, в феврале 1857 г., Тургенев уехал на несколько дней в Дижон (с 10 по 15 марта), а затем, вернувшись в Париж, оставался здесь безвыездно до последних чисел мая. В течение этого времени он, вероятно, виделся с Мериме неоднократно. В письме к П. В. Анненкову от 15 апреля 1857 г.Тургенев сообщал об одном из посещений французского писателя и вновь характеризовал его: «Мериме, у которого я обедал,—совершенный Дружинин en grand, также холоден и любит всякие непотребности»[23].

Следующая встреча писателей, о которой мы знаем, имела место в Лондоне весной 1858 г. Приехав для свидания с Герценом, Тургенев получил через Монктона Милнса, давнишнего знакомого Мериме, приглашение на банкет Литературного фонда. Можно предполагать, что это приглашение было получено не без содействия самого Мериме, который также присутствовал на торжестве. Банкет состоялся 28 апреля. Впечатлениями от него Мериме поделился в письме к Женни Дакен от 3 мая (1858): «В прошлую среду я попал в довольно забавную переделку. Меня пригласили на обед Литературного фонда, состоявшийся под председательством лорда Пальмерстона. Перед самым уходом из дому меня предупредили, что я должен приготовиться к спичу, так как мое имя будет присоединено к тосту в честь литературы континентальной Европы. Вы можете себе представить, какое удовольствие доставило мне выполнение этой обязанности. Я говорил в течение долгой четверти часа глупости на скверном английском языке собранию трехсот литераторов, или людей, называющих себя литераторами, и более сотни дам, получивших почетное разрешение лицезреть, как мы поедаем жестких кур и черствые языки. Я никогда не был так пьян от глупостей, как говорил г. Пурсоньяк»[24].

Запись о выступлении Мериме сохранилась и в статье Тургенева «Обед в обществе английского Литературного фонда»:

«... Добрейший Монктон Милнс провозгласил тост в честь литературы других наций и г. Мериме, известного французского писателя, который тоже находился в числе приглашенных на обед. У Мериме чрезвычайно тонкое и умное, постоянно неизменное лицо; он слывет за эпикурейца и скептика, которого решительно ничто взволновать не может, который ни во что не верит и с вежливой, чуть-чуть презрительной недоверчивостью взирает на всякое изъявление энтузиазма. Он—сенатор и пользуется расположением французского двора. Однако, этот скептик побледнел, когда пришлось ему отвечать небольшим заученным спичем на любезные слова Милнса (Мериме плохо знает по-английски), и голос его дрожал и прерывался раза два; видно, самолюбие и в нем волноваться может, и даже сенатору не хочется осрамиться перед многочисленным собранием независимых людей»[25].

20 мая Тургенев выехал из Лондона в Париж, а оттуда через три недели отправился в Россию. Перед отъездом из Парижа он виделся с Мериме и беседовал с ним на остро волновавшую в ту пору всех русских тему—о предстоящей крестьянской реформе. Запись этой беседы, имевшей тем более непринужденный характер, что Тургенев высказывался перед ино-

странцем, сохранилась в письме Мериме от 8 июня 1858 г. к императрице Евгении: «Я вчера долго беседовал с одним очень умным человеком, г. И. Тургеневым, рассказавшим мне, что в России делается для освобождения крепостных. По его словам, это может повести к тому, что произойдет революция и всех дворян повесят. У него есть любимый лесничий, которого он имеет все основания считать вполне преданным. Тургенев решился спросить, присоединится ли он, в случае возмущения крестьян против помещиков, к восставшим и станет ли он его, Тургенева, убивать. Лесничий сильно побледнел и ответил, наконец, прерывающимся голосом: «Конечно, присоединюсь». Что вы скажете о таком разговоре? По мнению Тургенева, царский рескрипт очень смелый шаг, и благоприятный исход всего дела столь же возможен, как и то, что оно приведет к ужасной катастрофе» [26].

На обеде Литературного фонда Мериме познакомил Тургенева с главным директором Британского музея, Антонио Паницци. В письме из Парижа от 27 мая 1859 г. к А. Паницци, с которым Мериме вел деятельную переписку преимущественно на политические темы, он напоминал о представленном на банкете русском романисте и передавал содержание своего разговора с ним по вопросу о позиции России в отношении к освободительному движению в Италии:

«Один русский, г. Тургенев, которого я вам представил в прошлом году на знаменитом банкете, приехал из Москвы. Он говорит, что немцы хотят зараз проглотить и Францию и Россию. Они домогаются от нас Эльзаса, а от русских—Курляндии и Лифляндии. Тургенев говорит, что в России все сочувствуют итальянцам, а армия горит желанием воевать с австрийцами» [27].

Рассказ Тургенева, видимо, поразил Мериме—он изложил его и в письме к Женни Дакен от 28 мая 1859 г.: «Г-н Иван Тургенев, только что прибывший в Париж прямо из Москвы, говорит, что вся Россия молится за нас, а армия будет рада воевать с австрияками. Попы проповедуют, что бог накажет их за преследование православных славян. Открываются подписки для отсылки кроатам библий и требников для защиты их от папской ереси. Это походит несколько на политическую пропаганду панславизма» [28].

Свидание с Мериме, на котором произошла эта беседа, состоялось, очевидно, в ближайшие же дни по прибытии Тургенева в Париж, однако, точная дата не может быть пока установлена. Первое из известных писем Тургенева из Парижа, извещающее о его приезде в этот город, датировано 17/29 мая [29].

В переписке Мериме сохранилось еще несколько более или менее определенных указаний на свидания его с Тургеневым. Одно из них состоялось в Париже 29 октября 1860 г., два других—в середине апреля и 26 октября 1861 г., также в Париже.

В пятницу 26 октября 1860 г. Мериме извещал запиской С. А. Соболевского:

«Мой дорогой друг, не пожелаете ли вы притти ко мне поесть простой баранины вместе с Иваном Тургеневым в ближайший понедельник. Кроме нас троих, никого не будет» [30].

Феликс Шамбон приводит в своей книге «Notes sur Prosper Mérimée» записку Мериме к Биксио, датированную «четверг 18» без указания года и месяца:

«Дорогой друг, вы одержали победу не над дамой, но над большим и сильным, блестящим по уму мужчиной—г. Иваном Тургеневым. Он обедает

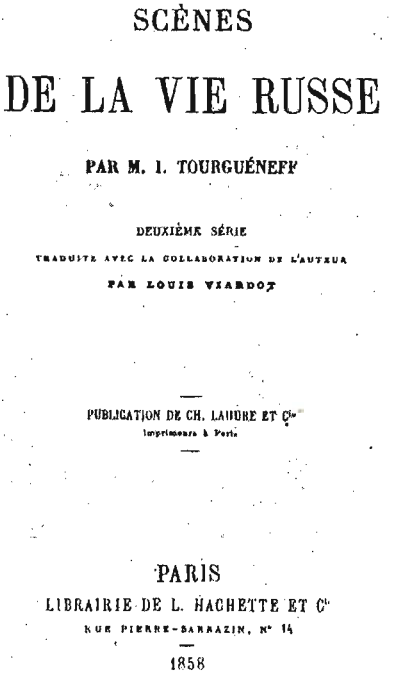
у меня в понедельник. Если вы послушный малый, то приходите поддержать компанию, нас будет только трое, и вы можете сбежать, когда вам заблагорассудится.

Я посылал меду вашему медведю, но его уже увезли. Это для вас очень хорошо»[31].

Не пытаясь точнее датировать записку, Шамбон указывает, однако, на письмо Мериме к А. Паницци от 2 мая 1861 г.[32], содержащее рассказ о привезенном Биксио из Пиренеев медведе. Сопоставляя итинерарии Тургенева и Мериме, записку можно вполне точно датировать четвергом 18 апреля 1861 г.[33]. За несколько дней до того состоялись, очевидно, знакомство Тургенева с политическим деятелем и ученым Александром Биксио и встреча с Мериме.

Несомненно, что к началу 1861 г. Тургенев и Мериме если и не состояли в постоянной переписке, то уже обменивались отдельными письмами. Обращаясь к С. А. Соболевскому 9 января 1861 г. из Канна, Мериме спрашивал его об адресе русского романиста: «Я забыл адрес г. Тургенева, не улица ли Риволи, 210?»[34]. В письме к тому же Соболевскому от 27 октября 1861 г. Мериме сообщает: «Вчера я обедал вместе с Тургеневым, который объяснял нам, что представляет собою игра к о л о б р я с. Это нас всех очень расшевелило»[35].

Обеду 26 октября 1861 г. предшествовало более раннее свидание русского романиста с Мериме в начале месяца (Тургенев приехал в Париж 28 сентября н. ст.). А. К. Виноградов относит к первым числам октября помеченную



SCÈNES

DE LA VIE RUSSE

PAR M. I. TOURGUÉNEFF

DEUXIÈME SÉRIE

TRADUITE AVEC LA COLLABORATION DE L'AUTEUR

PAR LOUIS VIARDOT

PUBLICATION DE CH. LAHURE ET Cie
Imprimeurs à Paris

PARIS
LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie
RUE PIERRE-SARRAZIN, N° 14

1858

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗДАНИЯ ПОВЕСТЕЙ ТУРГЕНЕВА НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРЕВОДЕ ЛУИ ВИАРДО. ПАРИЖ, 1858 г.

«понедельником», не датированную точнее пригласительную записку Мериме к С. А. Соболевскому 1861 г.:

«Дорогой друг, не угодно ли вам будет откушать фазана в среду у меня вместе с Тургеневым. Он (фазан) прибудет обязательно»[36].

Осенью 1861 г. Тургенев мог от самого Мериме слышать подробности его вмешательства в дело библиофила Либри. Именно около этого времени Мериме вновь заинтересовался процессом, выступив в сенате по поводу петиции жены Либри и опубликовав в «Moniteur», в номере от 11 июня 1861 г., свою речь «Discours au Sénat sur la pétition de M-me Libri». В уже цитированном письме к С. А. Соболевскому от 27 октября 1861 г. Мериме сообщал некоторые сведения о состоянии процесса. Впрочем, Тургенев не мог не слышать о нашумевшем деле и раньше, а участие в нем Мериме могло привлечь внимание автора «Записок охотника» следующими подробностями. Французский писатель, привлеченный к ответственности за резкие нападки на судебных экспертов, отбывал арест в июле 1852 г., т. е. всего несколькими месяцами позже ареста Тургенева по литературному же делу — опубликованию в «Московских Ведомостях» письма о смерти Гоголя. Тургенев на съезжей изучал польский язык. Мериме, сидя в Консьержери, твердил спряжение русских глаголов[37].

## IV

Весной 1863 г. Тургенев уехал из Парижа в Баден-Баден, ставший до конца десятилетия местом его постоянного пребывания. Францию и Париж Тургенев посещал ежегодно два-три раза, обычно на очень короткие сроки, а так как и Мериме с каждым годом все чаще и на более продолжительное время уезжал из Парижа на юг Франции, то возможности личных встреч резко сократились. Приглашением Тургенева приехать в июле 1867 г. в Баден Мериме не воспользовался[38]. В свою очередь, Мериме тщетно ожидал в 1868—1870 гг. поездки Тургенева на юг Франции для свидания с ним. Намекая на неразлучность русского романиста с семьей Виардо, он писал г-же Делессер из Канна 27 февраля 1868 г.: «Я полагаю, что вы видели г. Тургенева, который должен был провести несколько дней в Париже. Я надеялся, что он нанесет мне визит, но, боюсь, ему дали слишком короткий отпуск»[39].

Сопоставляя итинерарии обоих писателей, можно установить вполне точно, когда именно могли состояться их свидания. Тургенев заставал Мериме в Париже во время своих приездов из Баден-Бадена в 1863 г. с 25 ноября по 3 декабря, в 1864 г. с середины марта по 21 апреля, в 1866 г. с конца мая по 14 июня и в 1867 г. с 15 по 22 июня. Из текста публикуемого ниже некролога выясняется, что летом 1867 г. Тургенев и Мериме виделись в последний раз. В общей сложности, за последние семь лет жизни Мериме оба писателя пробыли совместно в одном городе не больше двух месяцев. Но если личные свидания были не часты, то отношения поддерживались постоянной перепиской, тем более интенсивной, что в течение шестидесятых годов осуществилось сотрудничество обоих писателей в ряде литературных предприятий. В эти годы Мериме популяризировал произведения Тургенева в кругу французских читателей — редактировал переводы его романов и новелл, снабжал их предисловиями, принимал сам ближайшее участие в переводах, наконец, написал и опубликовал в «Moniteur», в номере от 25 мая 1868 г., специальную статью о творчестве Тургенева.

Из писем Мериме устанавливается, что он с конца пятидесятых годов внимательно следил за появлением не только значительных, но и второстепенных литературных работ Тургенева. Так, он с нетерпением ожидал тургеневского перевода «Украинских народных рассказов» Марко Вовчка и спешил ознакомиться с одобренным Тургеневым вторым французским переводом «Записок охотника», изданным взамен перевода Шарьера и снабженным пометкой: «Единственное издание, авторизованное сочинителем».

В письме к Женни Дакен от 3 сентября 1859 г. Мериме сообщал: «Мне обещают по возвращении из Тарба роман, написанный на малороссийском языке и переведенный на русский Тургеневым. Это, по рассказам, шедевр, превосходящий «Дядю Тома»[40].

Посылая 12 декабря 1859 г. через Клерка де Ландресса для передачи Дюмону список заказываемых книг, Мериме включил в него «Les Nouvelles de Gogol», «Les Nouvelles de Ivan Tourguéneff» и «Les Mémoires d'un Chasseur, la traduction nouvelle et non celle de M. Charrière»[41]. Под двумя последними указаниями разумеются издания: «Scènes de la vie russe. Par M. I. Tourguéneff, 2-e série, traduite avec la collaboration de l'auteur, par Louis Viardot», P., 1858, и «Récits d'un chasseur, par I. Tourguéneff, trad. par H. Delaveau. Illustr. par G. Durand. Seule éd. autorisée par l'auteur», P., 1858.

К «Украинским народным рассказам» Марко Вовчка Мериме вернулся десятилетием позже, предполагая перевести один из входящих в состав книги очерков. 10 июля 1869 г. Мериме писал Тургеневу из Сен-Клу: «Для провождения времени, которое тянется здесь так же медлительно, как и всюду, я перевел очень быстро, то есть очень плохо, «Козачку» Вовчка, переведенную вами с украинского. Она ужаснула наших дам, даже из числа сочувствующих героической Польше. Уже давно я не перечитывал этого рассказа, оправдывающего Стеньку Разина и Пугачева»[42].

Ряду своих корреспондентов Мериме настойчиво рекомендовал произведения Тургенева. Обращая внимание Женни Дакен на предположенный к печатанию в журнале перевод «Отцов и детей», он писал ей 3 января 1863 г.:

«Рекомендую вам в «Revue des Deux Mondes», в книжке от 15 числа, роман Тургенева, корректурные гранки которого я здесь ожидаю и который я прочел по-русски. Он называется «Отцы и дети». В нем противопоставлено старому поколению поколение молодое. В романе есть герой, представитель молодого поколения, являющийся социалистом, материалистом и реалистом и, тем не менее, умным и интересным человеком. Это очень оригинальный характер. Я надеюсь, он вам понравится. Этот роман произвел в России большое впечатление; было много шума, автора обвиняли в нечестии и безнравственности. По моему мнению, если произведение возбуждает неистовство публики, то это свидетельствует об его успехе»[43].

Графине Пшездецкой Мериме рекомендовал переводы «Призраков» («очень причудливого рассказа Тургенева, который вас развлечет, быть может») и «Собаки» («который предлагаю прочесть в оригинале»). В письме к г-же Делессер он отзывался о повести «Несчастная» («нет ничего более ужасного по правдивости»), а в разговоре о русской литературе с Эдуардом Ли Чайльдом останавливался на характеристике «Записок охотника». Называя имя И. Тургенева Альберту Стапферу, Мериме охарактеризовал его, как «одного из величайших романистов»[44].

Перевод «Дыма», «лучшей вещи, созданной до сих пор Тургеневым», Мериме обязался доставить Женни Дакен и Гобино[45].

Наконец, Мериме пытался устроить чтение рассказов Тургенева в придворном кругу. Сообщая о пребывании в Биаррице Наполеона III, Мериме писал принцессе Юлии 6 октября 1866 г.:

«Я предложил читать «Вильгельма Мейстера» Гёте, но после первой же главы было объявлено, что это самая скучная вещь в мире. Очень скучными были найдены также рассказы Тургенева, которые я считаю очень изящными»[46]. О состоявшемся годом ранее чтении в придворном кругу «Призраков» Тургенев писал 10 октября 1865 г. А. А. Фету из Баден-Бадена:

«„Призраки" уже переведены Мериме и даже (между нами!) были читаны им — кому бы вы думали? — императору и императрице французов. Спешу прибавить для успокоения людей, могущих мне позавидовать, что Revue des Deux Mondes отказали в помещении тех же самых «Призраков», — как гили несуразной»[47].

Сам Мериме об этом чтении «Призраков» в придворном кругу сообщал следующее: «На-днях меня заставили прочесть эту новеллу Тургенева. Я потребовал, чтобы принца отослали в соседнюю гостиную, но, несмотря на мои слова, он остался. Дело не в том, что в ней есть что-либо безнравственное, но я полагаю, что ребенку лучше играть в мяч, чем слушать фантастические рассказы»[48].

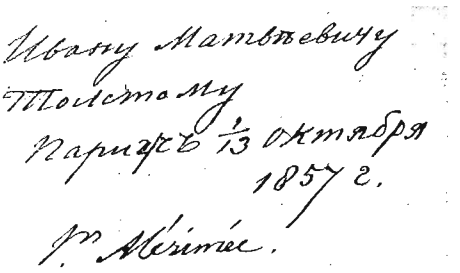
С чтением «Призраков» Мериме выступал неоднократно. Об одном из них упоминает Гизо в письме к г-же Ленорман от 26 ноября 1865 г.: «Я жалею, что не присутствовал на чтении Мериме у г-жи Буань. Он обладает всеми положительными качествами своих убеждений и ни одним из их недостатков»[49].

В специальной библиографии «русских работ» Мериме, тщательно составленной Ф. Шамбоном, значатся пять переводов из Тургенева: перевод «Призраков», напечатанный в «Revue des Deux Mondes» 15 июня 1866 г.[50], перевод «Жида», «Петушкова» и «Собаки» — в сборнике «Nouvelles moscovites»[51], наконец, перевод «Странной истории» — в «Revue des Deux Mondes» от 1 марта 1870 г.[52]. Этот список нуждается в некоторых исправлениях и уточнениях.

В ряде случаев Мериме выступал, очевидно, не в качестве переводчика, а в качестве редактора. Первая работа этого рода была им, может быть, произведена над текстом «Отцов и детей». Из цитированного уже письма к Женни Дакен от 3 января 1863 г. выясняется, что перевод романа предполагался первоначально к опубликованию в журнале «Revue des Deux Mondes», причем Мериме должен был просматривать корректуру. Но журнальная публикация не состоялась, и роман вышел только в отдельном издании, с предисловием Мериме («Pères et enfants par Ivan Tourguéneff. Avec une préface de Prosper Mérimée de l'Académie Française», P., 1863). Предисловие это, написанное в форме письма к издателю Шарпантье, на русском языке еще не появилось. Вот его текст в нашем переводе:

«Сударь. Роман, который вы хотите публиковать, вызвал в России бурю. Успех был обеспечен. Не было недостатка ни в пристрастной критике, ни в клевете, ни в брани печати, нехватало, быть может, только церковного отлучения. В России, как и везде, нельзя безнаказанно высказывать правду тем, кто о ней не спрашивает. В этом небольшом произведении г. Тургенев показал себя, по обыкновению, проницательным и тонким

РУССКИЙ АВТОГРАФ ПРОСПЕРА МЕРИМЕ
Частное собрание, Москва




наблюдателем; однако, избрав предметом изучения два поколения своих соотечественников, он совершил ошибку, не польстив ни одному из них. Каждое из поколений находит портрет другого очень схожим, но кричит, что его собственный портрет является карикатурой.

Так, «рыси к ближнему, кроты к самим себе», мы признаем похожими только фотографии наших соседей. Отцы протестовали, а дети, еще более обидчивые, громко возопили, увидя свое воплощение в положительном Базарове.

Вы знаете, сударь, что Россия уже давно заимствует у Запада моды и идеи (часто тоже своего рода моды). Франция посылает ей одежду и ленты, Германия снабжает ее идеями. Не так давно в Санкт-Петербурге мыслили по Гегелю, в настоящее время в большой славе Шопенгауэр. Адепты Шопенгауэра проповедуют действие, много говорят и мало делают, но заявляют, что будущее принадлежит им. У них имеются свои социальные теории, ужасающие сторонников старого порядка,—они предлагают, как пустое дело, уничтожить все существующие установления. По существу, я думаю, они не опасны: во-первых, потому что они не злее своих отцов, во-вторых, они в большинстве своем ленивы; наконец, до настоящего времени народ, этот единственный творец длительных революций, ничего не понял в их теориях, а они сами никогда не заботились о воспитании народа.

По моему мнению, беспристрастие Тургенева является одним из достоинств его книги. Он не объявляет себя судьей современного общества, он рисует его таким, каким видел его. Безо всякой предвзятости он отмечает его смешные стороны, его странности, его страсти. Он показывает, что странности меняются, а страсти остаются теми же самыми. Несмотря на усилия всех философов и реформаторов, сердце человеческое не изменилось с того времени, как первый поэт и первый романист возымели счастливую мысль изучить его. Социалист г. Тургенева влюбляется в важную даму, забавляющуюся его дикостью, а его ученик, воспитанный в презрении к браку, женится на провинциалке, которая станет его водить за нос и сделает вполне счастливым.

Перевод, который вы мне показали, представляется мне очень точным; я не могу, конечно, сказать, что он вполне передает живой и колоритный стиль г. Тургенева. Переводить с русского на французский не так легко. Русский язык создан для поэзии, он необычайно богат и, в особенности, замечателен по тонкости выражаемых им оттенков. Вы представляете себе, что может извлечь из подобного языка искусный писатель, отдающийся наблюдению и анализу, и какие непреодолимые трудности готовит он для переводчика. В конце концов, если портреты г. Тургенева теряют для нас кое-что в блестящем колорите, всегда сохранятся их правдивость и непосредственная прелесть, характеризующие все добросовестно с натуры написанные произведения»[53].

Оценка борьбы, разгоревшейся в русском обществе вокруг «Отцов и детей», показывает, что Мериме был очень далек от подлинного понимания того, что происходило в России.

Нет сомнения, что Мериме не показывал до печати своего предисловия Тургеневу, иначе в нем не могли бы сохраниться ляпсусы в трактовке философии Шопенгауэра, как популярной среди «нигилистов». Вместе с тем в предисловии имеются какие-то отзвуки бесед с русским писателем — и в рассказе о критических бурях вокруг романа, и в упоминании о Шопенгауэре, на выучку к которому пошел в эти годы сам Тургенев.

## V

Первым переводом из Тургенева, сделанным самим Мериме, был перевод «Призраков». Еще до опубликования в оригинале этой вещи (в «Эпохе», 1864) за перевод ее на французский язык принялся было сам Тургенев совместно с Л. Виардо[54], но, повидимому, оставил это намерение: в приведенном выше письме к А. А. Фету от 10 октября 1865 г. Тургенев, сообщая о переводе Мериме, как о законченном, ни словом не упоминает о своей собственной работе. В печати перевод появился только значительно позднее, в «Revue des Deux Mondes» от 15 июня 1866 г. Французский текст был просмотрен и выправлен Тургеневым, как это выясняется из опубликованных отрывков писем к нему Мериме. 1 мая 1866 г. Мериме сообщил Тургеневу, что он «еще не передал «Призраков» в Revue по многим причинам: во-первых, потому, что я не сильнее вас пленен их отношением, во-вторых, и это самое важное, потому, что мне хотелось бы, чтобы вы просмотрели мой перевод. Я не вполне уверен, что избежал ошибок, и не забываю о совершенной мною глупости, когда, несколько лет тому назад, в «Пиковой даме» Пушкина, слово затянулся перевел il resserra sa ceinture [затянул свой кушак]. Таким образом, по вашем приезде, если вы хотите, мы устроим совещание за бутылкой папского вина, если оно еще осталось, и, просмотрев рукопись, вы решите—предать ли ее огню или представить публике»[55]. Повидимому, Мериме, не дожидаясь приезда Тургенева в Париж, переслал ему рукопись перевода в Баден-Баден. 19 мая 1866 г. он писал автору «Призраков», что уже ознакомился с его замечаниями: «Я пересмотрел «Призраки» и восхищен тем, что вы сделали необходимые поправки»[56]. Между тем, публикация перевода задержалась. Мериме выражал недовольство этим обстоятельством в письме к Тургеневу от 6 июня 1866 г.: «Я ничего не слышал о «Revue des Deux Mondes». Если они не напечатают «Призраки» 15-го, я прекращу всякие отношения с этими издателями. Повидимому, г. Бюлоз философ и не верит в привидения. Ему именно только этого и нехватало»[57].

Около этого же времени, т. е. в мае 1866 г., Мериме предпринял перевод другого рассказа, «Собака», повидимому, в связи с проектом издания французского сборника новелл Тургенева, осуществленного тремя годами позднее, в 1869 г., томиком «Nouvelles moscovites». Сообщая о предстоящем появлении в печати перевода «Призраков», Мериме писал 12 июня 1866 г. гр. Пшездецкой: «Если «Revue des Deux Mondes» доходит до Польши, вы увидите в ней крайне фантастическую новеллу Тургенева, которая, быть может, доставит вам удовольствие. Я перевел еще другую новеллу того же автора, под названием «Собака». Мне хотелось бы вам ее показать, но, увы, в скольких льё вы от Парижа? Я вздрагиваю, думая об этом»[58].

В письме от 30 июня 1866 г. к той же корреспондентке Мериме подтверждал это сообщение: «Я дал Тургеневу мой перевод «Призраков», и он поместил его в последней книжке «Revue des Deux Mondes». Я перевел еще его коротенький рассказ «Собака», который советую вам прочесть в оригинале»[59].

Несмотря на категорический тон этих сообщений, в июне 1866 г. перевод «Собаки» был набросан только вчерне, а отделка была отсрочена до осенних месяцев. 6 июня Мериме обещал Тургеневу закончить перевод, как только найдет время «прочесть его г-же Делессер и, может быть, другим более высокопоставленным особам, вашим давним почитателям»[60]. Чтение состоялось, очевидно, лишь в ноябре 1866 г., по возвращении Мериме в Париж из Биаррица, как это явствует из недатированной записки Мериме к г-же Делессер:

Сударыня,

«Собака» г. Тургенева и я, мы были бы весьма счастливы явиться по вашему любезному приглашению. Чтение займет всего четверть часа, следовательно, вы не должны очень бояться.

Пр. М.[61]

Вторник, вечер.

Надо полагать, что именно перевод «Собаки» и, вероятно, «Жида» был прочтен Мериме и в придворном кругу в сентябре 1866 г.

История подготовки сборника «Nouvelles moscovites» не вполне ясна. На титульном листе книги указано, что «Жид», «Петушков», «Собака» и «Призраки» даны в переводе Мериме, а «Ася», «Бригадир» и «История лейтенанта Ергунова»—в переводе автора. Как устанавливается из вновь опубликованных А. Монго документов, это сообщение не соответствует действительности. Мериме перевел для этого сборника только две вещи—«Собаку» и «Призраков», а сам Тургенев не перевел ни одной. Вместе с тем, выясняется, что Мериме фактически редактировал всю книгу.

22 августа 1866 г. Тургенев писал В. П. Боткину: «Вместе с твоим письмом пришло письмо от Мериме, из которого оказывается, что он не получил пакета, который я просил тебя передать ему. Это тем неприятнее, что в нем заключались экземпляры моих вещей, переведенных на французский язык, которых я больше не имею. Ты, вероятно, забыл этот пакет в кармане твоего дорожного пальто, куда мы его с таким усилием втискали. Сделай одолжение, если ты его отыщешь, отошли его немедленно по следующему адресу: M-r Prosper Mérimée, Rue de Lille, 52, Paris»[62].

В ответном письме от 25 августа В. П. Боткин подробно отчитывался:

«На другой же день после моего приезда в Париж из Бадена (я приехал вечером) я отнес с а м письмо к Мериме. Portier сказал мне, что г. Мериме нет в Париже, и слуга его вышел: поэтому мне ничего другого не оставалось, как оставить пакет у portier для передачи служителю г. Мериме, что я и сделал. Если же Мериме не получил еще пакета, то не моя в том вина. Да и мог ли я пренебречь этим, зная твои литературные сношения с Мериме! Тут виною или забывчивость его portier, или служителя: пусть он наведет справки—и дело объяснится»[63].

Оба письма оставались до сих пор без комментария, ключ к нему, однако, имеется в первом из четырех (по хронологии) целиком опубликованных писем Мериме к Тургеневу. Этим документом устанавливается ближайшее участие Мериме в подготовке сборника «Nouvelles moscovites», здесь же содержится самое раннее изложение замысла новеллы «Синяя комната» и сообщаются подробности об изучении «Истории царствования Петра Великого» Н. Устрялова. Рефераты этой работы Мериме напечатал в «Journal des savants» (1867). Приводим письмо Мериме к Тургеневу полностью:

Биарриц, 25 сентября 1866 г.

Милостивый государь,

Корректуры отыскались, и я получил их здесь. Они были посланы, по глупости портье, моему двоюродному брату, который живет сейчас в деревне. Я, без сомнения, буду в Париже в первых числах ближайшего месяца и передам корректуры Этцелю вместе с «Собакой», но вам следовало бы просмотреть рукопись, за которую я никак не могу отвечать: в ней есть некоторое количество слов, внушающих мне беспокойство. Я опасаюсь несколько, как бы «Жид» не испугал маменек и нео-католиков, так как намерения этого Ильича по отношению к молодой девушке не слишком чисты. Я осуждаю не ваш рассказ, а ханжеское благонравие нашего времени. Тем не менее, я заставил недавно выслушать наших дам маленькую легкомысленную историю, написанную мною здесь. Речь идет о двух любовниках, занявших для свидания номер в гостинице как раз, когда в соседней комнате происходят необычайные вещи. Я задумал мой сюжет, как очень трагичный, и написал в соответствующем стиле вступление, чтобы лучше поразить читателя. Но так как эта вещь растянулась и наскучила мне, я закончил ее шуткой—это нехорошо. Я расскажу ее вам в Париже, думаю, что ее можно использовать.

Хляби небесные разверзлись. Море так же ужасно, как небо. Дует ветер, способный сорвать рога у быков. Поэтому мои дни в полном одиночестве с Устряловым кажутся немного долгими. Он крайне скучен, но кажется мне добросовестным и точным. Я воображал, что царевна Софья только неряха, но она настоящая сестра своего брата и талантлива. Огорчает меня, что она была безобразной. Если эта история будет закончена, она явится прекрасной тушей, от которой можно будет отрезать куски и кусочки под разными соусами и с лучшими приправами.

Мы упражняемся с ружьем системы Шаспо. Это прекрасное оружие. Я достигаю восьми выстрелов в минуту, солдаты делают двенадцать. Оно бьет на тысячу метров и очень удобно. Мы ждем эскадры броненосцев, которая доставит нам пушки в 150 кило. Я думаю, что через некоторое время совсем откажутся от войны или изобретут машины, которые будут биться друг с другом, в то время как их строители будут оставаться в безо-

пасном месте. Кавалерия исчезает из этого мира, который становится с каждым днем скучнее.

До свидания, сударь, я не теряю надежды пожать вам руку еще в этом году. Я обрадовался, узнав, что вы работаете.

П. Мериме [64]

К письму приложен опущенный А. Монго при публикации отдельный листок с поправками к переводу «Жида». В приписке Мериме обвинял переводчика в том, что он «удлиняет фразы», и в заключение давал Турге-

ПРОСПЕР МЕРИМЕ

Фотография 1850-х гг., с пометой владелицы фотографии на обороте: „г. Мериме. Знакомый 1859-60 гг."

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

неву совет: «Почему вы не посовещаетесь с какой-нибудь дамой по вопросу о нравственности этой новеллы? Желаете, я напишу г-же Делессер, чтобы она ее у вас попросила? Я уверен, что вы поступите благоразумно, последовав ее совету»[65].

Исполняя свое обещание, Мериме писал в ноябре 1866 г. г-же Делессер:

«Г-н Тургенев показал мне небольшой, написанный в его манере рассказ, который я нашел красивым, но по вопросу о нравственности которого я не знал что сказать, так как никогда не обладал чуткостью в этой области. Рассказ не шокирует, но и не походит на оды г. Лапрада. Если в вас достаточно милосердия, чтобы оказать услугу иностранцу, вы совершите доброе дело, попросив его при свидании показать вам эту вещь. Рассказ называется «Жид», но в нем нет речи ни о Ротшильде, ни о Перейре. Вы ему скажете, что я говорил вам об этой вещи, и тогда вы можете, разу-

меется, если это займет вас, попросить его одолжить рукопись перевода. Чтение потребует двадцати минут, это не скучно, но, может быть, неудобно вам в настоящее время. Г-н Тургенев вернулся в восхищении от вашего приема... Я не должен забыть сообщить вам, что все русские красавицы прочли «Жида», но они не католички»[66].

Содержание приведенных писем не оставляет сомнений, что к французскому переводу рассказа «Жид» Мериме имел отношение только, как редактор.

Опубликованными отрывками из писем французского писателя к Тургеневу устанавливается, что, вопреки указанию на титульном листе сборника «Nouvelles moscovites», повесть «Ася» была в нем дана не в авторском переводе, вместе с тем выясняется, что редактором французского текста «Ася» был Мериме. 6 июня 1866 г. он писал Тургеневу: «Я просмотрел «Асю» вместе с г. Погонкиным. Перевод показался мне хорошим. Я сделал несколько небольших замечаний, очень и, может быть, даже слишком мелочных. Думаю, что можно было бы перевести лучше, но для этого пришлось бы слишком часто отступать от текста, и, как мне кажется, не плохо, что в рассказе сохранился русский отпечаток. При чтении корректуры я попрошу у вас разрешения убрать некоторые прилагательные и наречия, которыми в нашем языке пользуются скупее,— но я буду скромен. Г-н Погонкин мне понравился. Я был удивлен, что он так хорошо знает французский язык»[67].

В переписке Мериме сохранились два интересных отзыва о рассказе «Бригадир», включенном в сборник «Nouvelles moscovites». Впрочем, с этим рассказом Мериме ознакомился не в переводе, а в оригинале, получив от Тургенева оттиск из январской книжки «Вестника Европы» 1868 г., в которой «Бригадир» был впервые опубликован. 22 июня 1868 г. Мериме писал г-же Делессер, сравнивая рассказ Тургенева с поэмой «Меджнун и Леила» персидского поэта Джами:

«Тургенев в России. Он прислал мне очень коротенький рассказ, слишком коротенький, против его обыкновения, под заглавием «Бригадир». Речь идет о несчастном добродушном старике, бывшем в свое время одним из самых блестящих полковников Суворова. Он отдал всю свою жизнь и состояние красивой женщине, по имени Агриппине, уже умершей. Семья покойной окончательно довершила его разорение, он живет в крестьянской избушке, в состоянии, близком к слабоумию, сохранив только портрет Агриппины и грамоту на Георгиевский крест. В конце рассказа приведено письмо, в котором он обращается за помощью к племяннице Агриппины—оно ужасно по своей правде. Это так же печально, как поэма о Меджнуне и Леиле, которую мне никогда не хотелось перечесть. Разве можно давать читателям такие жалкие картины человеческой анатомии? В Бадене Тургенева посетила великая княгиня и была с ним, как кажется, не слишком любезна—она бережет свою любезность для нас, иностранцев»[68].

Тургеневу Мериме писал двумя днями ранее, 20 июня 1868 г.:

«Я прочел «Бригадира» и отослал его князю Голицыну. Рассказ меня очень заинтересовал, но он слишком короток. Я жалею, что вы не вывели на сцену, хотя бы на мгновение, кое-кого из персонажей, оставленных за кулисами. Мне хотелось бы, например, лучше знать племянницу Агриппины, которой адресовано письмо. Мне хотелось бы также знать, как любил в молодости человек, сохранивший такое сильное чувство. Письмо,

являющееся, как вы говорите, подлинным, чрезвычайно грустно. Я знаю людей, с которыми приключались подобные случаи и которые умирали, как бригадир Гуськов. Что́ это нарочно вы произвели его фамилию от слова гусь? Во Франции много людей носят имя Луазон, но это кажется насмешкой над влюбленными. Они не так многочисленны, и не следует отпугивать тех, кто хотел бы им подражать... В вашем рассказе встречаются слова, которые я не нахожу ни в одном из моих словарей. К некоторым из них вы даете пояснения; что́ это—просто народные выражения, или диалектизмы? Я думал, что в русском языке нет диалектов—за исключением украинского»[69].

Подготовка к печати сборника «Nouvelles moscovites» затянулась—он вышел из печати только весной 1869 г. Степень участия Мериме в переводе отдельных новелл и редактировании их остается не вполне ясной. Гораздо полнее можно проследить редакторскую работу Мериме над французским переводом романа «Дым».

## VI

С текстом романа «Дым», опубликованным впервые в мартовской книжке «Русского Вестника» за 1867 г., Мериме познакомился в оригинале, по журнальному оттиску, присланному автором. В письме от 18 мая [1867 г.] он извещал Тургенева о получении романа и делился своими первыми впечатлениями: «Не знаю, было ли у вас намерение рисовать портреты, но мне кажется, что я знал г-жу Суханчикову...». «...В романе встречаются новые для меня слова, отсутствующие в словарях,—это доказывает, что у вас, как и у нас, есть разговорный язык, отличный от письменного...». Наконец, Мериме отмечал в этом же письме своеобразие шрифта «Русского Вестника»: «Какой гадкий шрифт у вашего журнала. Я не мог привыкнуть ни к «п», ни к «ж», ни к другим буквам. Это смешение прописных букв со строчными досаждало мне»[70]. Подробный отзыв о романе Мериме дал в письме к Тургеневу, отправленном неделей позже.

Париж, 25 мая 1867 г.

Милостивый государь,

Я получил сегодня утром ваше письмо как раз, когда я собирался вам писать: это намерение было у меня уже в течение трех дней, но всякого рода хлопоты мне мешали. «Дым» будет, конечно, считаться одним из лучших ваших произведений. Все ваши характеры прекрасно обрисованы и кажутся мне списанными с натуры портретами. Это объясняет мне ярость ваших соотечественников. Я не сомневаюсь, что Ирина вполне русская, но я могу вам показать ее в Париже. Я знал также Потугина, это превосходный мужчина, его судьба—терпеть мучения от женщин, он умрет, благословляя их. Положение Литвинова между невестой и Ириной, вынужденного к похищению не столько любовью, сколько честью, очень мучительно; схвачено оно верно. Не найдется человека, к которому не пришли бы воспоминания, все еще заставляющие холодеть. Пощажу вашу скромность и перейду к критическим замечаниям. Гораций, без сомнения, прав в похвале Гомеру, сразу вводящему читателя in medias res; но мне кажется, что вы вводите ваших читателей сразу in medias gentes, а это совсем другое дело. На мой вкус, вашему храму нехватает достаточно богатого фасада. Вы мне ответите, что французы—скоморохи и им всегда нужен турецкий барабан, чтобы начать

свои фокусы. Быть может, во мне есть кое-что от этого национального предрасположения, но я не могу не находить ваше вступление слишком скромным. Допускаю, что то, что мне кажется недостатком, не покажется недостатком вашим русским читателям, которые, впрочем, найдут в сцене вечера у Губарева занимательность, которая ускользает в известной доле от иностранца. Покажите французу подлинный портрет Минина, о котором он никогда не слыхал; это будет для него портрет неизвестного, который его мало трогает. Наоборот, русским этот портрет будет очень цениться. Я не требую от вас устранения вечера у Губарева, я хотел бы, чтобы эта сцена была на проторенном пути, а не в самом начале его. Вы не поймете, может быть, этого изменения,—я объяснюсь, не подумайте только, что я вам предлагаю исправление. Предположите, что, прежде чем итти к Губареву, Литвинов нашел букет гелиотропов—любопытство разом же возбуждено: читатель вступает, как я говорю, на проторенный путь и сочувствует вашему герою. То же самое случилось бы, если бы вы начали с его московской любви к Ирине—рассказ о ней появляется только, как объяснение эпизода с букетом гелиотропов. Я убежден, что это небольшое изменение в порядке ваших страничек имело бы выгодные последствия, в особенности для ваших читателей по эту сторону Рейна. Заметьте, что в роман, как в лабиринт, хорошо войти с нитью в руке, а вы начинаете с того, что даете мне целый клубок, в достаточной мере запутанный. Когда я читал вас с тем пламенным любопытством узнать о развязке, которое возбуждается интересной фабулой, мне показалось, что рассказ о девочке, доверенной Потугину, слишком укорочен; затем, поразмыслив по прочтении всего романа, я убедился, что вы не сделали ошибки. Если на вас станут нападать по этому поводу, я найду, полагаю, достаточно хорошие доводы для защиты. Надеюсь, вы не думаете, что я пришел в негодование по поводу сцены, в которой Ирина роняет гребенку и топчет кружева, но что скажут петербургские красавицы, в особенности те из них, которые носят фальшивые шиньоны и любят кружева? В конце концов я не беспокоюсь о вас—у вас есть и клюв, и когти, и вы не дадите себя съесть. Я вас ожидаю 10 июня. У меня, кажется, осталась бутылка или две папского вина, мы выпьем ее за ваше здоровье. Тысяча приветов.

П. Мериме[71]

Аналогичный в общей оценке отзыв о «Дыме» Мериме дал и в письме к Женни Дакен от 10 февраля 1868 г., уже по выходе французского перевода романа: «Я вам говорил, что у меня имеется экземпляр «Дыма», переплетенный, по вашему желанию, книгой. Если хотите, я могу вам его послать. Но, помнится, вы взяли у меня номера «Correspondant», заключающие перевод. Это одно из лучших произведений, написанных до сих пор Тургеневым»[72].

Назначенное на 10 июня свидание состоялось несколькими днями позднее (Тургенев приехал в Париж только 15 июня н. ст.)—это было последнее свидание писателей; на нем Мериме высказал, между прочим, намерение перевести «Дым». Если это намерение и не было осуществлено, то оно послужило поводом для Тургенева предложить Мериме взять на себя редактирование французского текста романа.

В конце июня к Тургеневу обратился князь Августин Голицын, прося разрешения опубликовать свой перевод «Дыма» в парижской газете «Cor-

respondant» (в 1861 г. в этом издании печатался перевод «Накануне»). Отвечая Голицыну, Тургенев писал 1 июля 1867 г.:

«Просьба, с которой вам угодно было ко мне обратиться, кажется мне очень лестной, и я восхищен возможностью печататься в вашем уважаемом издании. Однако, я попрошу у вас отсрочки на два или на три дня для окончательного ответа. У моего друга П. Мериме была одно время мысль перевести мой роман, он говорил мне об этом. Я полагаю, что он оставил свой проект, но мне не хотелось бы давать согласия до точного выяснения его намерений. Я уже написал ему сегодня и сообщу вам его ответ немедленно по получении»[73].

5 июля Тургенев сообщал А. Голицыну ответ Мериме и соглашался на опубликование перевода «Дыма» в «Correspondant»:

«Я получил письмо г. П. Мериме. Его занятия не позволяют ему перевести мой роман, но он предложил мне просматривать корректуру. Вы, конечно, понимаете, сударь, что подобную удачу нужно использовать, и, если вы настаиваете на вашем предложении, я попрошу вас пересылать г. Мериме исправленные мною здесь в Бадене корректуры, прежде чем сдавать их в печать. Нужно ли говорить, что я заранее соглашаюсь на все его исправления. Г-н Мериме остается в Париже в течение всего июля, его обязательность мне достаточно известна, и я могу вас заверить, что публикация перевода не испытает никаких задержек. Его адрес: Rue de Lille, 52»[74].

Мериме, со своей стороны, отвечая на запрос А. Голицына, осведомлял переводчика о согласии взять на себя редактирование французского текста «Дыма»: «Я поздравляю Тургенева с тем, что он приобрел вас в качестве переводчика, а сам радуюсь возможности вступить в сношения с вами по этому случаю. До сих пор переводчиками Тургенева были люди, очень посредственно владевшие русским языком и еще хуже французским. Но в настоящем случае моя роль сведется к роли пятого колеса в колеснице»[75].

Вопреки надеждам Мериме, уже на первых шагах работы над переводом обнаружились разногласия между автором и редактором, с одной стороны, и переводчиком, с другой. В письме от 10 июля, категорически отвергая предложенное А. Голицыным французское заглавие романа «La société russe contemporaine», Тургенев перечислял переводчику другие возможные заглавия: «L'Incertitude», «Entre le Passé et l'Avenir», «Sans Rivage», «Dans le Brouillard» и поручил своему корреспонденту договориться по этому вопросу с Мериме[76]. Редактор, со своей стороны, настаивал на сохранении заглавия подлинника и в цитированном уже письме к А. Голицыну заявлял: «Я не нахожу, чтобы «Fumée» было плохим заглавием. Конечно, оно не говорит читателю о содержании романа, но мне приходилось слышать от одного издателя, весьма осведомленного в этих вопросах, что заглавие книги тем лучше, чем оно менее понятно. Мне кажется, что слово «Дым» не дает русским более отчетливого представления, чем слово «Fumée»[77].

Из дальнейшей переписки выясняется, что корректуры перевода, по мере набора, доставлялись в Баден, а затем пересылались, после авторской правки, на окончательную редакцию Мериме. Этот порядок иногда нарушался, но Тургенев настоятельно требовал его соблюдения. Так, в письме к А. Голицыну от 14 августа 1867 г. Тургенев просил своего корреспондента: «Будьте так любезны, посылайте г. Мериме корректуры

только после моих исправлений, это избавит его от двойной заботы»[78]. В письме от 11 сентября 1867 г. Тургенев выражал неудовольствие по поводу нарушения принятого порядка: «Я сожалею, сударь, что вы не дождались исправленной мною корректуры, чтобы передать ее г. Мериме: это создает ему двойную заботу и двойной труд. Число мест, которые я должен был исправить, очень велико, а по письмам г. Мериме я вижу, что он часто бьется с трудностями, создаваемыми неточностью перевода. Я полагаю, что было бы несравненно лучше доставлять ему уже исправленный текст»[79].

Как известно, текст «Дыма» подвергся в «Русском Вестнике» жестокой правке со стороны М. Н. Каткова. Во французском переводе Тургенев восстанавливал купюры журнальной редакции. Он предупреждал своего переводчика: «Я позволил себе восстановить несколько фраз, которые издатель «Русского Вестника» счел нужным выбросить, чтобы не вызвать слишком бурных протестов. Шум все-таки поднялся, и более резкие протесты уже невозможны». «Спешу вас предупредить, что я восстановил в тексте биографию генерала Ратмирова, которую мой издатель счел нужным сократить и смягчить в подлиннике». «Я позволил себе несколько небольших вставок, например, во втором отрывке. Надеюсь, сударь, что мои исправления будут приняты»[80].

В том же направлении шла и работа Мериме, встречая сопротивление со стороны клерикальной редакции «Correspondant».

Первые гранки французского текста «Дыма» А. Голицын принес Мериме уже 20 июля, и в тот же день французский писатель осведомлял Тургенева о своем свидании и переговорах с переводчиком: «Я принял сегодня в кровати (потому что меня опять схватила моя болезнь) князя Голицына. Он принес мне корректуру, и я только что пробежал перевод. Он очень свободен, чересчур сокращен даже для меня, несмотря на то, что мне приходилось часто упрекать вас в злоупотреблении эпитетами и в излишнем обилии мыслей и образов, нагроможденных в одной фразе... Впрочем, князь показался мне очень любезным и склонным соглашаться со всеми замечаниями. Я напишу ему и предложу повидаться, чтобы просмотреть перевод с оригиналом в руках...». «Мы говорили относительно заглавия. Он переводит «Дым»—«La société russe contemporaine». Я пытался ему доказать, что не следовало бы налеплять этикетки и можно было бы предоставить читателям удовольствие узнать самостоятельно, что вы изображаете современные нравы». В этом же письме Мериме высказывал опасения в чрезмерной щепетильности переводчика: «Меня особенно пугает то, что он кажется чересчур добродетельным. Его сомнения вызывают некоторые страницы, дающие повод к смелым заключениям по поводу отношений Ирины и Литвинова. Разумеется, я возражал против такой щепетильности и хочу, не теряя времени, предупредить вас по секрету. Смотрите, не дайте себя слишком оскопить»[81].

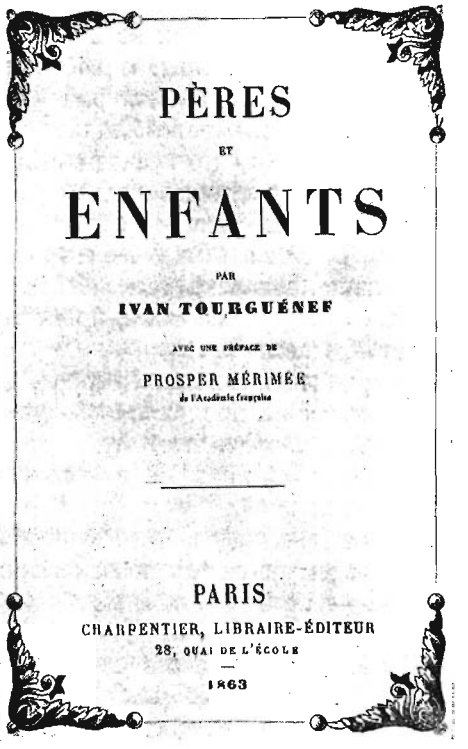
Императрице Евгении Мериме писал 23 сентября 1867 г.: «Я провожу здесь время, исправляя корректуры одного романа моего друга, Тургенева, переведенного некоим князем Голицыным для «Correspondant». Вы знаете, что это ультра-католическая газета. Князь Голицын выбрасывает двусмысленные фразы, а я их восстанавливаю. Не знаю, за кем из нас двоих останется победа, но я надеюсь привести в негодование вдов, читающих «Correspondant». Дело идет о совершенно беспримерном случае: одна скучающая знатная русская барыня заводит для препровождения времени любовника»[82].

Опасения редактора оправдались в ближайшее же время. В недатированном письме к г-же Делессер, относящемся к августу 1867 г., Мериме сообщал о неприятностях, доставленных Тургеневу публикацией «Дыма» во французском издании: «Тургенев в отчаянии. Он заказал перевод своего последнего романа князю Голицыну, который не знает русского языка и не лучше того французский. Чтобы окончательно добить Тургенева, перевод печатают в «Correspondant», благочестивой и добродетельной газете, в которой хотят вычеркнуть все, что может затруднить при чтении священников, иначе говоря, три четверти романа»[83].

23 сентября 1867 г. Мериме писал Тургеневу о жестокой расправе переводчика с текстом «Дыма»: «Я просмотрел последние корректуры. Подозрительность князя и его газеты меня развеселила. В сцене появления Ирины у Литвинова (гл. 17, стр. 104) есть фраза: «...Она подняла голову и упала к нему на грудь». Князь счел необходимым ее зачеркнуть. Я ее восстановил. Тем хуже для его святейшества папы. Но вот еще более ужасная фраза: «Два часа спустя он сидел у себя на диване». Князь переводит «Ч а с спустя он был один в своей к о м н а т е»; вы чувствуете, как безнравственны были эти «д в а ч а с а» и это «н а д и в а н е». В этом случае я также предпочел дословный перевод»[84].

Об этом анекдотическом эпизоде Мериме рассказывал ряду своих корреспонденток. Женни Дакен он писал 27 сентября 1867 г.:

«Есть на свете некий князь Августин Голицын, обратившийся в католичество и слабо владеющий русским языком. Он перевел роман Тургенева «Дым», печатающийся в «Correspondant», клерикальной газете, одним из пайщиков которой состоит князь. Тургенев поручил мне просмотр корректуры. Однако, в романе имеются довольно живые сцены, приво-




ОБЛОЖКА ИЗДАНИЯ РОМАНА „ОТЦЫ И ДЕТИ" НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ, С ПРЕДИСЛОВИЕМ ПРОСПЕРА МЕРИМЕ. ПАРИЖ, 1863 г.

дящие в отчаяние князя Голицына. Так, например, неслыханная вещь: одна русская княгиня предается любви при отягчающих обстоятельствах — адюльтере. Он пропускает абзацы, доставляющие ему мучение, а я восстанавливаю их по тексту. Иногда он очень щекотлив, как вы это сейчас увидите. Барыня позволяет себе приходить для свидания с любовником в гостиницу в Бадене. Она входит в его комнату, и глава кончается. Повествование возобновляется в русском оригинале следующим образом: «Два часа спустя он сидел у себя на диване». Новообращенный католик перевел: «Ч а с спустя Литвинов был у себя в к о м н а т е». Вы, конечно, видите, что это гораздо нравственнее. Сократить один час времени — значит наполовину уменьшить прегрешение. Наконец, «комната» вместо «дивана» гораздо добродетельнее: диван приспособлен для преступных деяний. Я же, неумолимый в исполнении приказа, восстанавливаю «два часа» и «диван», но глава, заключающая эту сцену, не появилась еще в «Correspondant» за текущий месяц. Я предполагаю, что почтенные люди, редактирующие газету, наложили с в о ю ц е н з у р у. Это меня в достаточной мере забавляет. Если роман продолжится, в нем встретится прекрасная сцена, в которой героиня рвет английское кружево, это гораздо существеннее, чем диван. Я ожидаю этой сцены»[85].

Опасения Мериме оказались справедливыми. В письме к Женни Дакен от 28 октября 1867 г. он сообщал: «„Correspondant“ выходит и продолжает печатание романа Тургенева, не допуская, однако, чтобы свидание Литвинова с Ириной длилось больше часа»[86]. Любопытно, что корректура главы 17-й, заключающей смутившую переводчика сцену, не была доставлена Тургеневу[87].

В недатированном письме к г-же Делессер конца сентября или начала октября 1867 г. Мериме повторил рассказ об анекдотической щепетильности переводчика «Дыма». «Несчастный Тургенев полонен иезуитами. Князь А. Голицын производит во имя нравственности забавные изменения. Исправляя корректуры, я восстановил чистоту текста, а важные особы приостановили публикацию романа. Я боюсь, как бы они ее не прекратили. Но послушайте, что возбуждает их подозрительность. Литвинов принимает в своей комнате неожиданный визит Ирины. Глава кончается на ее приходе. В следующей главе, в русском тексте стоит: «Два часа спустя Литвинов сидел один на своем диване». Князь Голицын перевел: «Час спустя Литвинов был у себя в комнате». Не находите ли вы, что в этом изменении проявлена бесконечная деликатность? Я сожалею, что вы не будете иметь удовольствие прочесть прелестную сцену, в которой Ирина топчет кружева»[88].

История опубликования первого французского перевода «Дыма» показывает, что Мериме проявлял большую заботливость в своих редакторских обязанностях. Можно поэтому думать, что его редакторство не носило формального характера и в остальных случаях совместной работы с Тургеневым.

В томе 34-м журнала «Revue Moderne», в книжке от 1 июля 1865 г., Тургенев опубликовал прозаический французский перевод «Мцыри» Лермонтова—«Le Novice». В заключительных строках вступительной заметки Тургенев писал:

«Г-н Мериме любезно взял на себя труд пересмотреть наш перевод; это имя делает излишним какие-либо рекомендации, и нам остается только выразить ему нашу благодарность»[89].

В сохранившейся переписке обоих писателей отсутствуют, к сожалению, какие-либо указания на обстоятельства, при которых осуществлялся перевод «Мцыри».

VII

Редактирование французского перевода «Дыма» навело Мериме на мысль написать специальную статью о Тургеневе.

Об этом своем замысле Мериме осведомлял Тургенева 13 февраля 1868 г. (в первой половине письма содержался ответ на замечания русского романиста по поводу статьи Мериме о Пушкине): «Так как моя безделица не показалась вам скучной, я хочу сделать вам сюрприз, но для этого мне нужно возвратиться в Париж, а погода еще очень холодна и я чувствую себя слишком больным. Дело идет о статье, посвященной вашим произведениям в связи с выходом «Дыма», но, с одной стороны, мне нужно многое пересмотреть, а с другой—я хочу попросить разрешения критиковать вас с тою же свободой, которой я располагал по отношению к Пушкину. Словом, возражаете ли вы, что я вас стану публично упрекать в том, в чем я вас часто упрекал с глазу на глаз? Вы знаете, что я неоднократно порицал вас за обилие в ваших произведениях незначительных подробностей—в этом заключаются мои критические замечания. Прибавлю, что, по моему мнению, вы вступаете на путь спасения, потому что вы значительно исправились в «Дыме», в котором я не хотел бы сократить ни одной строки. Если бы вы пожелали, чтобы я при этом случае сказал кое-что людям, которые хотят вас в Петербурге съесть,—я к вашим услугам»[90]. Польщенный вниманием Мериме, Тургенев сообщал о его намерении написать статью П. В. Анненкову в письме от 1 марта 1868 г., в котором перечислял показатели роста своей популярности во Франции:

«В книжке Revue des Deux Mondes от 15-го марта появится перевод «История лейтенанта [Ергунова]». Весьма хороший перевод «Дыма» на днях будет издан книгопродавцем Этцелем, и Мериме хочет написать статью обо мне в Moniteur»[91]. Сам Мериме говорит впервые о статье в письме к Женни Дакен от 20 апреля 1868 г. из Монпелье, также в непосредственной связи с «Дымом»: «Я привезу вам перевод «Дыма». Я начал статью о Тургеневе, но не знаю, хватит ли мне силы закончить ее здесь. Нет ничего труднее, как работать за столом в гостинице»[92].

Статья Мериме «Ivan Tourguéneff» была напечатана в газете «Moniteur», в номере от 25 мая 1868 г. Момент для ее появления был выбран очень удачно. Роман «Дым» окончательно утвердил популярность Тургенева в Западной Европе, и в авторитетной общей характеристике его творчества чувствовалась настоятельная потребность[93]. Нельзя, однако, сказать, чтобы эта задача была достаточно полно осуществлена в работе Мериме.

Во вступительной части статьи отмечается европейская известность Тургенева и определяется его место в литературе:

«Имя Ивана Тургенева в наши дни очень популярно во Франции; каждое его произведение ожидается с таким же нетерпением и читается с таким же удовольствием в Париже, как и в Санкт-Петербурге. Тургенева называют одним из вождей реалистической школы. Независимо от того, является ли это порицанием или похвалой, я думаю, что Тургенев не принадлежит ни к какой школе, он следует своему собственному вдохновению. Как всякий хороший романист, он остановился на изучении человеческого сердца—источнике неистощимом, хотя и давно черпаемом».

Далее Мериме переходит к характеристике творческой манеры Тургенева. Он отмечает его «острую наблюдательность» и «умение своеобразно сгущать свои наблюдения», хвалит за умелый отбор типичных деталей. Полное одобрение Мериме встречает стремление Тургенева к объективизму:

«Это беспристрастие, эта любовь к истине, ставшая преобладающей чертой в характере Тургенева, никогда его не покидает. Сочиняя роман в настоящее время, беря героями наших современников, трудно не затронуть великих вопросов, волнующих наше общество, трудно, по крайней мере, не высказать своего мнения по поводу революции в наших нравах. Тем не менее, никто не смог бы сказать, сожалеет ли Тургенев об обществе времен Александра I или предпочитает ему общество времен Александра II. Своим романом «Отцы и дети» он навлек на себя гнев и молодежи, и стариков; те и другие считали себя оклеветанными. Он проявил полное беспристрастие, а этого-то партии никогда не прощают».

Переходя к разбору отдельных произведений, Мериме останавливается на «Отцах и детях», «Записках охотника», «Призраках», «Дыме» и упоминает вскользь «две или три драмы, напечатанные Тургеневым и написанные с жизненностью и естественностью, свойственной его романам» [94].

«Популярность Тургенева во Франции,—указывает Мериме,—началась с «Записок охотника». Его первое произведение, «Записки охотника», являющееся рядом рассказов, или, скорее, маленьких, полных оригинальности эскизов, было для нас как бы откровением русских нравов и сразу дало нам почувствовать размеры таланта этого автора. Я не преувеличу, говоря, что эта книга имела значительное влияние на дело освобождения крестьян».

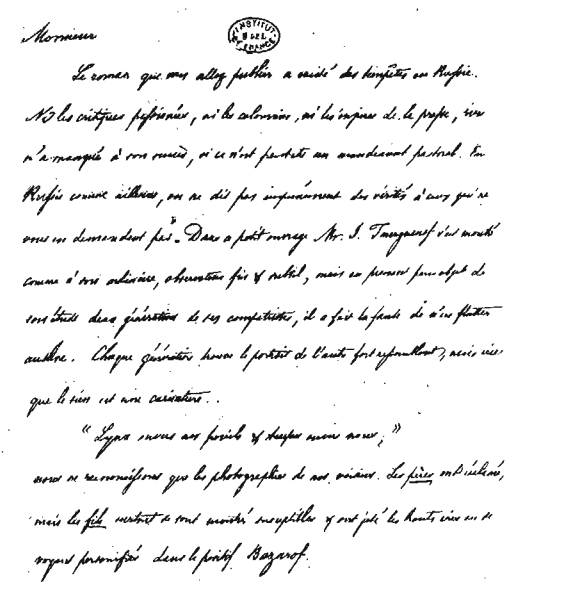
Противопоставляя Тургенева Бичер-Стоу, Мериме подчеркивает отсутствие схематизма и тенденциозности в «Записках охотника»: «Автор не польстил мужику и показал его нам со всеми его дурными инстинктами и огромными способностями...». «Нужно обладать тургеневским тактом, чтобы говорить о крепостном праве в России, не трубя в революционную трубу и не впадая в преувеличение, результатом которого могло бы быть отвращение читателя вместо его убеждения».

Попутно с анализом «Записок охотника» Мериме дает резкий отзыв об «Украинских народных рассказах» Марко Вовчка:

«Эти рассказы мне известны лишь по русским переводам, сделанным г. Тургеневым. Краски так мрачны, что вся картина отталкивает читателя. Боюсь, что она, может быть, и правдива, но предпочитаешь считать ее лживой; к тому же она возбуждает гораздо больше ужаса, нежели жалости... Манера Тургенева совершенно отлична. Его умеренность, беспристрастие, тщательность, с которой он скрывает свои собственные убеждения, подобно судье, резюмирующему прения, придают его рассказам мощь, которой никогда не достигнуть самой красноречивой декламацией. Будучи проникнуты тонкой и грустной поэзией, они оставляют более длительное впечатление, нежели возмущение, поднятое рассказами Вовчка».

«Призраки» служат для Мериме поводом высказаться о пейзажной живописи у Тургенева:

«Известно, что все художники, работавшие над изображением человеческого лица, были также великими пейзажистами, если только хотели стать ими, и никто не станет удивляться, что Тургенев, глубокий иссле-



АВТОГРАФ ПРЕДИСЛОВИЯ ПРОСПЕРА МЕРИМЕ К ИЗДАНИЮ РОМАНА „ОТЦЫ И ДЕТИ" НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. ПАРИЖ, 1863 г.

Библиотека Французской академии, Париж

дователь человеческого сердца, обладает талантом наблюдать и описывать местности и эффекты природы. Всегда простой и точный, он часто живостью своих впечатлений и искусством рельефа, дающего характерные черты описаний, возвышается до поэзии, не подавая, однако, вида, что ищет ее».

Для перевода на другие языки особенно затруднительными считает Мериме тургеневские описания. Он останавливается на неудовлетворительности французских переводов, вспоминает письмо Тургенева 1854 г. в «Journal de St.-Pétersbourg»—протест по поводу ошибок, допущенных Э. Шарьером в переводе «Записок охотника»,—и рассказывает анекдотические подробности о переводе «Дыма»: Тургенев остался недоволен французской передачей бранной реплики Биндасова в главе XXVI романа: «Скряга! слизняк! каплюжник!!» и поставил возле нее на полях корректуры значок №. Вследствие этого в тексте романа в «Correspondant» оказалось напечатанным: «Скряга! слизняк! Nota bene!!».

Подробно говорит Мериме о «Дыме», давая ему высокую оценку, но не останавливаясь на злободневности этого романа—политического памфлета:

«Прелестный роман «Дым» отличается быстрым действием, совершенно согласующимся с правилами Горация. Счастливо подобранные детали служат в нем для развития характеров и подготовляют драматические положения. Для того, чтобы сделать понятной Ирину, необходимо было тщательно изучить ее, выражаясь точнее, не упустить из виду ни одного ее жеста и взгляда... Ее любовник Литвинов знает ее хорошо, и ей не удается обмануть его. Он измерил пропасть, в которую она собирается его увлечь, и идет к ней, полный угрызений совести и ужаса. Он обворожен ею, и автор описывает это положение с правдивостью, щемящей сердце».

В заключительных строках статьи, отмечая мимоходом памфлетную установку «Дыма», Мериме отводит второстепенное место сатирическим элементам в творчестве Тургенева:

«Он не чувствует того лукавого удовольствия, которое ощущают многие критики, подмечая человеческие слабости и пошлость. Тщательность, с которой эти господа подчеркивают дурные стороны того общества, в котором мы живем, у Тургенева применяется к разысканию добрых явлений всюду, где они могут быть скрыты. Он любит находить возвышающие человека черты даже в самых низменных натурах. Часто он напоминает мне Шекспира. Так же, как английский поэт, он обладает любовью к истине, он умеет создавать поразительно реальные фигуры; но, несмотря на все искусство, с каким автор скрывается за своими вымышленными героями, можно угадать его собственный характер, и это, быть может, является не последней причиной моей симпатии к нему» [95].

Перечень основных тем, охваченных в статье Мериме о Тургеневе 1868 г., позволяет установить ее связь с предыдущими работами французского писателя. Действительно, в характеристике «Записок охотника» и «Отцов и детей» он обновлял формулировки, данные в свое время в статье 1854 г. «Литература и рабство в России» и в предисловии 1863 г. к французскому изданию «Отцов и детей». Замечания о «Призраках» и «Дыме» явно связаны с переводом и редактурой перевода этих произведений (в анализе романа повторяются наблюдения, отмеченные в письме к Тургеневу по поводу «Дыма»); даже беглая оценка попутно упоминаемых «Украинских народных рассказов» Марко Вовчка появилась не в результате специального обращения к аналогичному по тематике «Запискам охотника» произведению, а закрепляла сложившиеся ранее суждения (сборник рассказов Марко Вовчка попал в поле зрения Мериме еще в 1859 г.). Таким образом, эта статья не основывалась на специально предпринятом изучении и пересмотре всей творческой продукции Тургенева, а подводила скорее итоги предшествовавшему знакомству с нею Мериме.

## VIII

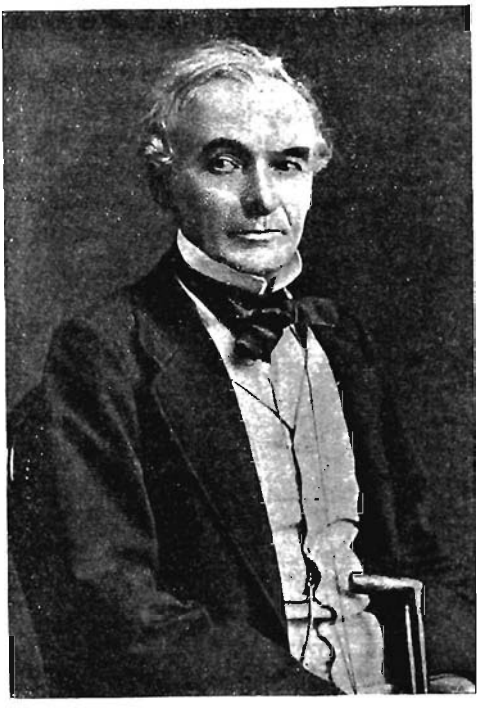
Одно частное замечание, оброненное в статье Мериме, требует особого комментария. Рассказывая о «сильном негодовании», высказанном при появлении «Дыма» «санкт-петербургской аристократией», увидевшей в романе свой сатирический портрет, «тем более преступный, чем бо́льшим сходством он отличался», Мериме заключает: «Действительно, каждая светская группа имела здесь свой оригинал». Далее сообщается, что в персонажах Тургенева последовательно узнавали «княгиню А.», «графиню В.», «графиню С.». Располагая инициалы прототипов в порядке алфавита, Мериме маскировал слишком явный намек на «княгиню А.», позволяя, вместе с тем, догадываться, что он был осведомлен в существовании реального прототипа Ирины Павловны Ратмировой. Как известно, Тургенев воспроизвел в этом персонаже портрет и биографию А. С. Альбединской, до замужества княжны Долгорукой, фаворитки Александра II [96]. Замечания о сцене вечера у Губарева, высказанные в приведенном выше письме к Тургеневу с отзывом о «Дыме», не оставляют сомнений, что Мериме был осведомлен и о реальных прототипах, фигурирующих в романе русских радикалов, при обрисовке которых Тургенев метил в кружок Герцена—Огарева. Приходится, таким образом, констатировать, что Мериме подробно посвящался в творческие замыслы Тургенева, а это свиде-

тельствует уже о большой близости между обоими писателями. Что это было действительно так, видно из следующего письма Мериме к Тургеневу, одинаково интересного для истории творчества обоих корреспондентов.

Монпелье, отель Неве, 9 окт[ября] [18]68 г.

Милостивый государь,

Ваше письмо доставило мне большую радость, так как я начал беспокоиться о вас—ваше последнее письмо не было утешительным. Вижу, что вас мучает подагра и что вы обратили на пользу вынужденный досуг:



ПРОСПЕР МЕРИМЕ
Фотография 1860-х гг.
Литературный музей, Москва

вы работали. Кажется, однако, не над «Пустосвятом», но это не так существенно. Жаль, что меня не будет в Париже в конце этого месяца и я не смогу вместе с вами прочесть эту вещь. Я пробуду здесь до 25-го или 30-го, а затем отправлюсь зимовать в Канн. Вы знаете, что почта пересылает корректуры за несколько сантимов, и мне нет нужды говорить, что я весь в вашем распоряжении.

Если бы я был в Париже, мы обменялись бы взаимными ударами, я хочу сказать, что я прочел бы вам маленькую безделушку, которой я наполовину стыжусь, наполовину доволен. Во время моего пребывания в Фонтенбло, у одной известной вам дамы[97] читались страшные и фантастические истории. Я взялся написать еще более ужасную, превзойти в жестокости Ирода, и льщу себя надеждой, что это мне удалось не слишком плохо, по крайней мере, в выборе сюжета. Одна дама встречается медведю,

который ее насилует. У нее рождается ребенок—очень красивый, слегка покрытый волосами крепкий мальчик. Ему дают хорошее воспитание, но он сохраняет некоторые странности. Этот господин остается девственником, читает метафизические книжки и влюбляется в маленькую кокетку, белую и румяную, «как котенок у печки»[98]. Он не отдает себе ясного отчета в чувствах, которые она ему внушает: имеют ли они физический или платонический характер. Он женится и загрызает ее. Мне нет надобности говорить вам, что он не знает виновника своего рождения. Его происхождение оставлено в тени, и боязливые читательницы могут даже думать, что медвежьи странности являются следствием дурного глаза. Забавнее всего, что, обдумывая эту прекрасную историю, я имел под руками литовскую грамматику. Я стал силен в жмудском и зомаитском языках и перенес действие в Литву. Местный колорит дан в изобилии!!! Если бы я умел сочинять стихи, я написал бы поэму. Мне кажется, что в этом смешении человеческого со звериным есть нечто поэтическое. Я ищу заглавий, мне хотелось бы чего-то вроде «Искатель или грабитель меда»—Medvied. Но лучше всего мне понравилось бы какое-нибудь литовское слово, обозначающее медведя. Я видел нескольких литовцев, но ни один из них не знает ни слова по-жмудски. Не знаете ли вы?

Что вы скажете об испанских делах? Вы увидите, что там произойдет страшная каша. Мне очень хотелось бы, чтобы это зрелище было для остальной Европы тем же, что вид пьяного илота для спартиатов, но я боюсь противоположного результата. Госпожа Надальяк с мужем отправились в Мадрид смотреть Веласкеза, и на другой же день по их прибытии разразилась революция. Повидимому, с них было достаточно первого акта, потому что они возвращаются. Герцогиня Колонна, которую вы, кажется, знаете, была в Кордове и почти присутствовала при битве, или так называемой битве, у моста Алколеа. Я очень сожалею, что не видал этого.

Я живу здесь, чтобы принимать снова воздушные ванны. Меня захватила перед отъездом из Парижа страшная простуда, и я не могу до сих пор от нее избавиться, несмотря на прекрасную погоду. Одышка меня оставила, и я дышу немножко лучше. Вы должны приехать ко мне в Канн в ноябре или декабре. Я постараюсь доставить вам возможность застрелить кабана на горе Лестерель. Прощайте, сударь, будьте здоровы и не оставляйте меня так долго без известий о себе.

Вы знаете, что я не говорю пустых фраз: если вы хотите, чтобы я просмотрел ваши корректуры, присылайте их мне.

П. М.[99]

В письме останавливает внимание, первым долгом, упоминание о работе Тургенева над «Пустосвятом»—аналогичных указаний в других источниках не встречается. Характер замысла этого произведения выясняется из более раннего письма Мериме к Женни Дакен от 2 сентября 1868 г. В нем сообщается о Тургеневе: «Я не знаю, что происходит с автором «Дыма». По последним известиям, он был в Москве, у него был припадок подагры, и он работал над своим историческим романом»[100]. Таким образом, из переписки Мериме выясняется, что Тургенев в период, следовавший за опубликованием «Дыма» и до возникновения замысла «Нови», работал или, по крайней мере, готовился к работе над историческим

романом, повидимому, о Никите Пустосвяте. В системе творчества Тургенева замысел романа о Никите Пустосвяте поражает своей неожиданностью, хотя переход на историческую тематику после «провала» в России публицистически заостренного «Дыма», яростно атакованного и справа и слева, имел свою логику. Во всяком случае, в корреспонденции Тургенева есть еще одно глухое, не поддававшееся до опубликования письма Мериме расшифровке, указание на этот замысел. В письме к П. В. Анненкову от 22 декабря ст.ст. 1867 г. Тургенев сообщал о работе над «престранной повестью» и над «еще страннейшим романом»[101].

А. Монго высказал догадку, что замысел исторического романа мог быть навеян Тургеневу Мериме, обращавшимся, возможно, с вопросами о Никите Пустосвяте к русскому романисту в период занятий петровской эпохой. Во всяком случае, Мериме проявлял большой интерес к предположенному роману и в письме к Тургеневу от 10 апреля 1868 г., к сожалению, целиком еще не опубликованном, подробно разбирал все возможности этого замысла, рассматривая его с точки зрения французского читателя. Заканчивая свои замечания, Мериме писал: «Подводя итоги, я хорошо вижу и трудности и преимущества, позволяющие удачно справиться с темой, а так как у вас есть и дерзость и сила, смело пускайтесь в путь» [102].

К замыслу романа Мериме возвращался и в позднейших письмах. Так, 16 июня 1869 г. он писал Тургеневу: «Вы ничего не говорите о вашей работе. Vitanda est improba Siren Desidia. Напишите же нам повесть, которая бы нас не слишком опечалила. В последнее время вы злоупотребляете нашей чувствительностью. Я остановился на «Несчастной», а так как вы не желаете заняться П у с т о с в я т о м, дайте нам что-нибудь веселое. Жизнь становится настолько грустной, что не следует прибавлять вымышленных горестей к слишком многочисленным действительным» [103].

Замысел «Никиты Пустосвята» был оставлен, повидимому, на первых же этапах разработки. Опровергая слух о, якобы, прочитанных у русского посланника в Италии, Н. Д. Киселева, главах нового романа, Тургенев писал М. М. Стасюлевичу 17 июля н. ст. 1869 г.: «С Киселевым-Римским я почти вовсе не знаком и уже более двух лет как не видел его—и никакого романа не только не написал, но даже мысленно не начал» [104].

Для изучения творчества Мериме письмо к Тургеневу от 9 октября 1868 г. представляет первостепенный интерес по содержащемуся в нем изложению замысла новеллы «Локис» (это заглавие было найдено позднее). В письмах к Женни Дакен, остававшихся до последнего времени основным источником для установления генезиса «Локиса», имеются указания, что Тургенев был привлечен к ближайшему участию в работе над этим произведением. 16 ноября 1868 г. Мериме сообщал своей корреспондентке: «Во время моих бессонниц я заботливо переписал «Искателя меда», сделав исправления, которые вы мне посоветовали и которые, как мне кажется, улучшили его. Остается неясным, что медведь зашел в своем покушении до того, что спутал генеалогию знатного рода. Однако, умные, как вы, люди поймут, что произошло очень важное событие. Я послал это новое издание г. Тургеневу для проверки местного колорита, о котором я несколько беспокоюсь. Беда в том, что ни он, ни я не могли найти ни одного литвина, знающего свой язык и свою страну» [105].

В заключительных строках письма Мериме к Тургеневу речь идет о просмотре корректуры французского перевода одной из новелл, вероятно,

«Бригадира», опубликованного в оригинале в январской книжке «Вестника Европы». 16 июня 1868 г. Мериме писал Женни Дакен: «Г-н Тургенев только что прислал мне коротенькую, но очень красивую новеллу под заглавием «Бригадир». Сейчас ее переводят, и если мне пришлют корректуры, я ознакомлю вас с нею» [106]. Прислал ли Тургенев корректуры и был ли отредактирован перевод этой вещи французским писателем, остается неизвестным.

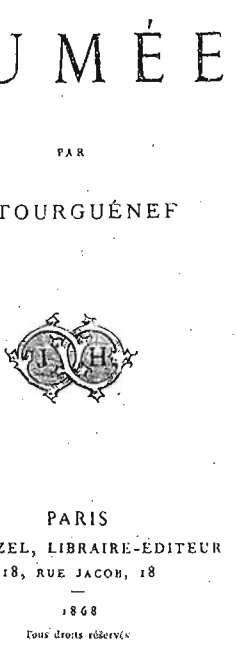
## IX

Летом 1868 г. Тургенев работал над повестью «Несчастная», законченной к 9 сентября н. ст. Эту повесть Мериме, очевидно, и желал выслушать, предлагая организовать по возвращении в Париж совместное чтение. Позднее, прочитав «Несчастную» в оригинале, полученном от Тургенева, Мериме следующим образом делился своими впечатлениями в письме к г-же Делессер от 31 марта 1869 г.:

«Я получаю известия о Тургеневе, который находится в настоящее время в Париже. Очень жалею, что не могу с ним повидаться. По своему обыкновению, он проведет в Париже всего несколько дней. Он прислал мне еще не переведенный рассказ, который, по его словам, он и не хочет давать переводить. Рассказ называется «Несчастная». Нет ничего более ужасного по правдивости. Я его побранил за выбор подобной темы. Столько грустных вещей в этом мире, истинность которых не приходится оспаривать, что не следует прибавлять к ним вымышленных бедствий. За исключением некоторого излишества в подробностях, этот рассказ кажется мне превосходным, но его не следует читать к ночи». Нужно отметить, что первую информацию об этом рассказе Мериме получил от автора еще осенью 1868 г., вскоре по окончании работы над ним Тургенева, и тогда же сообщил об этом г-же Делессер. Он писал ей 11 октября 1868 г.: «Я получил вести о Тургеневе. Он привезет из России рассказ, но не тот, о котором он мне писал» (М. Партюрье, опубликовавший это письмо, ошибался, полагая, что речь в нем идет о «Степном короле Лире») [107]. О внимательности, с которой Мериме следил за произведениями Тургенева, свидетельствует встревоженный тон его запроса о напечатанном в «Revue des Deux Mondes» от 1 апреля 1868 г. переводе «Истории лейтенанта Ергунова». 10 апреля он писал Тургеневу: «Я не читал перевода в «Revue des Deux Mondes». Это будет для меня совершенной новостью» [108].

В осенних письмах 1869 г. Мериме сообщал Тургеневу подробности о чтениях и публикации новеллы «Локис». 16 августа он писал: «В припадке слабости я обещал Бюлозу дать «Медведя» в ближайшем месяце. Я вам, кажется, говорил, что читал его барышням, которые в нем ничего не поняли. Это меня успокоило». 11 сентября: «„Локис“ появится в ближайшей книжке журнала. Преемник г. Мора приходил вчера с корректурами и говорил мне о невозможности поставить заглавие «Локис» колонтитулом наверху страницы, потому что это слово слишком коротко. Посмеявшись немного над претензиями типографии, я пришел в страшную ярость и хотел взять обратно мою рукопись. Я почти сержусь, что не сделал этого. Может быть, я напишу в отомщение рассказ, который будет озаглавлен довольно распространенным в Арагонии женским именем, а именно: О. Там есть круглая церковь, в которой творятся великие чудеса с причастием, которое один иудей хотел осквернить. Эта церковь названа за ее форму N[ostr]a S[anct]a de O, и я знал в Мадриде одну девушку с этим именем,

ОБЛОЖКА ИЗДАНИЯ РОМАНА „ДЫМ" НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРЕВОДЕ, СДЕЛАННОМ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ПРОСПЕРА МЕРИМЕ. ПАРИЖ, 1868 г.


FUMÉE

PAR

J. TOURGUÉNEF

PARIS

J. HETZEL, LIBRAIRE-ÉDITEUR

18, RUE JACOB, 18

1868

Tous droits réservés

которая получила от меня несколько легко заработанных дуро». 10 октября: «Я не мог противостоять ласковым домогательствам Бюлоза, но тотчас же почувствовал страх, как только предоставил ему моего «Медведя». К счастью, никто не увидел в нем ничего безнравственного. Одна принцесса запрашивала меня в письме, не злоупотребил ли медведь своим положением; отвечая, я выразил удивление, что подобная мысль могла ей притти в голову, и отослал ее к Кювье. Будьте любезны, передайте благодарность г. Шмидту, с которым я не знаком, но который обладает, повидимому, прекрасным вкусом»[109].

В самом конце 1869 г. Тургенев сообщил Мериме о своем желании прислать ему новое семитомное собрание своих сочинений (2-е Салаевское издание, Москва, 1868—1869). В ответ на это обещание Мериме писал Тургеневу 23 декабря 1869 г. из Канна:

«В моей библиотеке имеется пять прилично переплетенных томов. Вы сообщаете мне о семи. В конце концов все, что приходит от вас, будет хорошо принято... Следуйте примеру Геродота, который оставил нам девять книг. А у вас всего только семь»[110].

В начале 1870 г. Мериме приступил к своему последнему переводу из Тургенева. 10 февраля этого года он писал из Канна Женни Дакен: «Я только что перевел для «Revue» одну новеллу Тургенева — она появится в ближайшем месяце»[111]. Речь идет здесь о переводе «Странной истории», опубликованном в первой мартовской книжке «Revue des Deux Mondes» за 1870 г.

По поводу печатания этого рассказа во французском издании Мериме писал Тургеневу 25 марта 1870 г. из Канна: «Я не просматривал «Revue» за последний месяц, но я знаю, что «Странная история» появилась. Надеюсь, что Бюлоз, по моему совету, посылал вам корректуру, по которой

вы выправили все бессмыслицы». В этом же письме Мериме сообщал Тургеневу отзывы о рассказе: «У нас здесь есть несколько русских, и через некоторых из них, с которыми я встречаюсь, я знаю, что говорят в Ницце, где их целая колония. Как кажется, ваш последний рассказ привел их в ярость. Они говорят, что вы ожесточенный враг России и что вы хотите видеть только ее теневые стороны. Я спросил у одной дамы, которая казалась очень возмущенной, в чем теневая сторона в вашем рассказе. Ответ:—Всюду.—Имеются ли юродивые в России?—Конечно.—А крайне набожные и восторженные девицы?—Безусловно.—На что же вы тогда жалуетесь?—Не нужно говорить об этом иностранцам.—Я передаю вам этот отзыв так, как я его слышал. Лакейский патриотизм повсюду один и тот же: я не знаю ничего более глупого»[112]. Вопроса о националистской ограниченности Мериме касался и в более раннем письме к Тургеневу, от 20 августа 1867 г.: «Нет ничего глупее лакейского патриотизма. Я считал, что русские лишены его именно ввиду большого своеобразия их культуры по сравнению с культурой Западной Европы»[113].

Последним беллетристическим произведением Тургенева, о котором пришлось узнать Мериме, была повесть «Степной король Лир». О работе над нею автор осведомлял французского писателя осенью 1869 г. Мериме жаловался в ответном письме от 10 октября: «Вы говорите мне о «Степном короле Лире», как будто я о нем уже слыхал. Давно уже я ничего не знаю о ваших замыслах»[114]. Прочесть самую повесть Мериме уже не пришлось. Оконченный в июне 1870 г. «Степной король Лир» был опубликован только после смерти французского писателя, в октябрьской книжке «Вестника Европы».

## X

Во второй половине шестидесятых годов свидания обоих писателей, как указывалось, становились все реже, связь между ними поддерживалась только перепиской. Объявленная 15 июля н. ст. 1870 г. франко-прусская война отрезала Баден-Баден от Франции. Переписка с Канном стала затруднительной и шла кружным путем.

23 сентября 1870 г. Мериме, давно уже надломленный болезнью и нравственно разбитый крушением Второй империи, с правящей верхушкой которой он был связан, умер в Канне. За несколько часов до смерти он написал последнюю записку к Тургеневу, в которой благодарил за присылку «Казни Тропмана», оттиска из июньской книжки «Вестника Европы», и давал отзыв об этой вещи:

Канн, 23 сентября 1870 г.

Милостивый государь,

Я очень болен, мне хватит силы только пожать вашу руку. Позднее я напишу вам подробнее. Я прочел вашу статью—она мне не понравилась. Это нужно оставить Максиму Дю-Кану. Надеюсь, что вы работаете. Я хотел бы, чтобы это было и для меня возможным.

Искренне ваш
П. Мериме[115]

Грохот войны заглушил известие о смерти Мериме. Л. де Ломени в своей речи во Французской академии вспоминал: «Мы были тогда замкнуты в железном кольце [в Париже] и только месяц спустя после кон-

чины нашего собрата, из английской газеты, случайно ускользнувшей от бдительного надзора врагов, узнали, что Франция потеряла одну из своих слав. В другое время эта весть взволновала бы весь Париж»[116].

С меньшим запозданием прочел траурное сообщение бельгийской печати Тургенев.

Он немедленно откликнулся на это известие письмом-некрологом, оказавшимся, как это ни странно, вполне забытым всеми позднейшими исследователями и редакторами Тургенева. Некролог был напечатан в «Санкт-Петербургских Ведомостях», в № 275 от 6 октября 1870 г., за подписью «И. Т.»[117]. Это не только блестящая характеристика Мериме, но и единственное развернутое высказывание о нем Тургенева.

## НЕКРОЛОГ

(Из частного письма)

Баден-Баден, 28-го сентября (10-го октября) [1870 г.]

Вчера я прочел в «Indépendance Belge» известие о смерти П. Мериме в Канне. Оно меня очень огорчило, хотя я до некоторой степени ожидал его: последнюю его записку ко мне от 23-го сентября я едва мог разобрать,—до того изменился его красивый и четкий почерк[118]. Смерть производит всегда впечатление чего-то неожиданного, как ни ежедневна, как ни ежеминутна она. Я уже не говорю о том, что литература теряет в Мериме одного из самых тонко-умных повествователей, талант которого заслужил высокое одобрение Гёте; но мы, русские, обязаны почтить в нем человека, который питал искреннюю и сердечную привязанность к нашему народу, к нашему языку, ко всему нашему быту,—человека, который положительно благоговел перед Пушкиным и глубоко и верно понимал и ценил красоты его поэзии. Лично я теряю в нем друга... Я постоянно с ним переписывался, но видел я его года два тому назад в Париже: он уже тогда страдал той болезнью (водянкой в легких), которая унесла его. Про Мериме весьма справедливо сказал Э. Ожье, что он был «un faux égoïste»—как бывают «faux bonhommes», под наружным равнодушием и холодом он скрывал самое любящее сердце; друзьям своим он был неизменно предан до конца; в несчастии он еще сильнее прилеплялся к ним, даже когда это несчастие было не совсем незаслуженное. Стоит вспомнить, как он заступился за известного библиотекаря Либри... Он подвергся даже двухнедельному заключению за то, что не хотел верить тем похищениям, в которых обвинялся его друг[119]. Кто его знал, тот никогда не забудет его остроумного, неназойливого, на старинный французский лад, изящного разговора. Он обладал обширными и разнообразными сведениями; в литературе дорожил правдой и стремился к ней, ненавидел аффектацию и фразу, но чуждался крайностей реализма и требовал выбора, меры, античной законченности формы. Это заставило его впадать в некоторую сухость и скупость исполнения, и он сам в этом сознавался в те редкие мгновения, когда позволял себе говорить о собственных произведениях. В этом отношении я не знал человека более безличного, «plus impersonnel», как говорят французы, большего врага частицы: *я*. Я не знал также человека менее тщеславного: Мериме был единственный француз, не носивший в петличке розетки почетного легиона (он был командором этого ордена). В нем с годами все более и более развилось то полуна-

смешливое, полусочувственное, в сущности, глубокогуманное воззрение на жизнь, которое свойственно скептическим, но добрым умам, тщательно и постоянно изучавшим людские нравы, их слабости и страсти. Он ясно понимал и то, что не согласовалось с его убеждениями. И в политике он был скептик... Но этот вопрос мы всегда оставляли в стороне, так как он лично был привязан к наполеоновскому семейству и знал мое мнение о нем. Впрочем, я не намерен теперь представить оценку его личности... я, быть может, попытаюсь сделать это впоследствии... Мериме исполнилось 67 лет: он родился 28-го сентября 1803 года.

И. Т.

XI

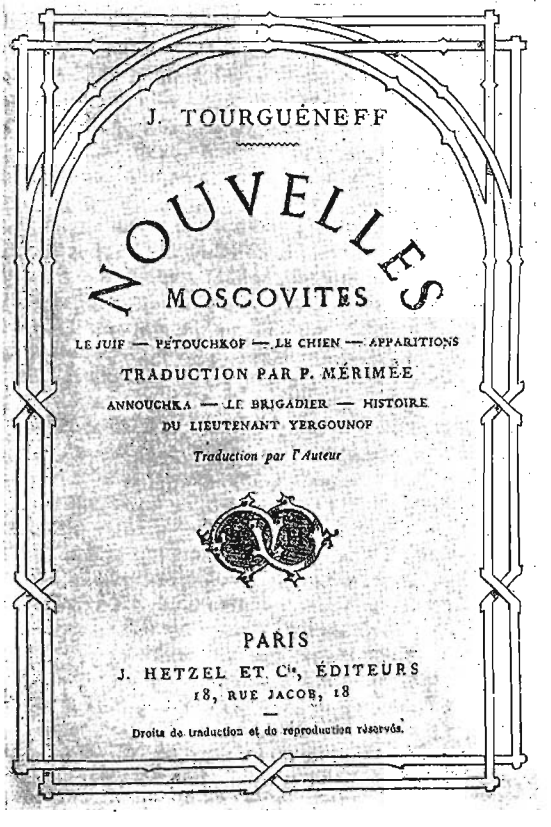
На предыдущих страницах суммирован весь известный в печати документальный материал, освещающий отношения обоих писателей[120]. Нужно подвести некоторые итоги.

Знакомство Тургенева с Мериме длилось 13 лет, с 1857 по 1870 гг. В течение первых шести лет были возможны частые встречи, с 1863 г. связь поддерживалась почти исключительно перепиской, повидимому, очень интенсивной. Сохранившаяся ее часть свидетельствует о взаимном понимании и доверии друг к другу обоих литераторов. Тургенев делился с Мериме своими литературными проектами с бóльшей, подчас, откровенностью, чем с русскими друзьями и корреспондентами. В свою очередь, Мериме, обычно скупой на творческие признания, детально излагал русскому романисту свои замыслы и охотно консультировался с ним. Основой для сближения явились, конечно, русские интересы Мериме. Переводчик Пушкина и Гоголя, автор ряда статей о русских писателях, Мериме стремился через Тургенева ближе ознакомиться с Россией. Тургенев сближался с французским новеллистом в целях бóльшей популяризации родной литературы в Западной Европе. Неслучайно, конечно, в немногочисленных, сохраненных современниками рассказах Тургенева о Мериме, последний постоянно характеризуется, как знаток и ценитель русской литературы [121].

Тургенев и Мериме осуществили ряд совместных трудов, направленных к пропаганде русской литературы во Франции. Общие интересы и общая работа сближали их, но в их отношениях, охарактеризованных русским писателем словом «дружба», не было той интимности, которая отличала, например, дружбу Тургенева с Флобером. Характерна в этом отношении маленькая деталь: во всех письмах к Тургеневу Мериме придерживается вполне официального обращения «Cher Monsieur». Особый отпечаток налагало на отношения обоих писателей расхождение в общественных и политических убеждениях, расхождение, наличие которого Тургенев счел нужным оговорить в некрологе. В глазах Тургенева Вторая империя была оплотом европейской реакции. В эпоху франко-прусской войны он писал И. П. Борисову: «Я... радуюсь поражению Франции—ибо вместе с нею поражается на смерть наполеоновская империя, существование которой несовместно с развитием свободы в Европе» [122]. В письме к Л. Пичу Тургенев приветствовал падение Наполеона III: «Истинное счастье, что привелось быть свидетелем тому, как низринулся в клоаку этот жалкий негодяй со всей своей кликой» [123]. Сенатор Проспер Мериме, близкий друг императрицы Евгении, был неразрывно связан с правящей верхушкой Второй империи.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

| | |
|---|---|
| Боткин и Тургенев, Переписка | В. П. Боткин и И. С. Тургенев, Неизданная переписка. 1851—1869. Приготовил к печати Н. Бродский. М., «Academia», 1930. |
| Виноградов | А. К. Виноградов, Мериме в письмах к Соболевскому. М., Московское художественное издательство, 1928. |
| Клеман | М. К. Клеман, Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, Л., «Academia», 1934. |
| Тургенев, Сочинения | И. С. Тургенев, Сочинения. Редакция К. Халабаева и Б. Эйхенбаума, Л., Гиз, 1928—1934. |
| Halpérine-Kaminsky | E. Halpérine-Kaminsky, Ivan Tourguéneff d'après sa correspondance avec ses amis français, P., 1901. |
| Mongault | H. Mongault, Mérimée et la littérature russe — вступительная статья к 1-му тому «Etudes de littérature russe», в Œuvres complètes de Prosper Mérimée publiées sous la direction de Pierre Trahard et Edouard Champion, P., 1931. |
| «Lettres à une inconnue» | Lettres à une inconnue, par P. Mérimée, précédées d'une étude sur Mérimée par H. Taine, P., 1874. |
| «Lettres à une autre inconnue» | Lettres à une autre inconnue, par P. Mérimée. Avant-propos par H. Blaze de Bury, 3-me éd., P., 1875. |
| «Lettres à la famille Delessert» | Lettres de Mérimée à la famille Delessert publiées avec une introduction et des notes par Maurice Parturier. Préface d'Émile Henriot, P., 1931. |




ОБЛОЖКА ИЗДАНИЯ ПОВЕСТЕЙ ТУРГЕНЕВА НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ, В ПЕРЕВОДЕ ПРОСПЕРА МЕРИМЕ И САМОГО ТУРГЕНЕВА. ПАРИЖ, 1869 г.

«Lettres à Panizzi» — P. Mérimée, Lettres à M. Panizzi, 1850—1870. Publiées par M. Louis Fagan, 5-me éd., P., 1881.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Тургенев и его время». Первый сборник под ред. Н. Л. Бродского, М., Гиз, 1923, стр. 233—235.

[2] Ibid., стр. 235—236.

[3] «Discours de M. de Loménie prononcé dans la séance publique du 8 janvier 1874 en venant prendre séance à la place de M. Mérimée» в издании «Recueil des discours, rapports et pièces diverses lus dans les séances publiques et particulières de l'Academie Française. 1870—1879». 1-ère partie, P., 1876, p. 487.

[4] Письмо от 3 октября 1856 г. См.: «Тургенев и круг „Современника". Неизданные материалы. 1847—1861». Л., «Academia», 1930, стр. 49. Тургенев приехал в Париж в 1856 г., около 8 августа н. ст., однако, до 1 ноября жил преимущественно в поместье Виардо Куртавнеле, см. Клеман, стр. 85—86.

[5] Письмо от 13 ноября 1856 г. См.: «Вестник Европы», 1894, кн. 2, стр. 497.

[6] Ibid., стр. 498. Скептический отзыв о литературных кругах Парижа дается Тургеневым и в письме к А. Н. Островскому от 19 ноября н. ст. 1856 г.: «Хочется мне посмотреть поближе на здешнюю жизнь и на здешнюю литературу. Оно, пожалуй, и не весело, да поучительно. Все здесь измельчало и изломалось. Простоты и ясности не ищи; все здесь хитро и столь же бедно, нищенски бедно, сколь хитро». См.: «Неизданные письма к А. Н. Островскому», М., «Academia», 1932, стр. 586—587.

[7] Письмо к П. В. Анненкову от 15 апреля 1857. См.: «Наша Старина», 1914, кн. 12, стр. 1073—1074.

[8] В письме от 23 ноября 1856 г. Мериме извещал г-жу Ларошжаклен о своем намерении уехать в Ниццу, а затем в Прованс. Следующее письмо, датированное «среда, какого-то числа декабря» (вероятно, 10-го или 17-го), помечено «Карабасель, близ Ниццы». О возвращении в Париж Мериме извещал свою корреспондентку в письме от 18 февраля 1857 г. См.: «Une correspondance inédite de Prosper Mérimée [avec M-me de La Rochejacquelein]», P., 1897, pp. 54, 59, 63.

Знакомство Тургенева с Мериме не могло состояться до отъезда последнего в Ниццу, т. е. в октябре или ноябре 1856 г. Об этом свидетельствует хотя бы письмо Тургенева к П. В. Анненкову от 15 января 1857 г.: «Много новых сделано мною знакомств, но симпатического нового лица не попадалось до сих пор. Один мне только понравился, Греви, бывший главою умеренных республиканцев в Законодательном собрании» («Наша Старина», 1914, кн. 11, стр. 987—989). Разумеется, Тургенев не умолчал бы о Мериме, если бы знакомство с ним состоялось до отсылки цитируемого письма.

[9] Боткин и Тургенев, Переписка, стр. 115—116.

[10] Письмо к М. Н. Лонгинову от 7 марта н. ст. 1857 г. См.: «Сборник Пушкинского дома на 1923 год», П., 1922, стр. 188.

[11] «Наша Старина», 1914, кн. 11, стр. 992.

[12] В письме из Парижа от 16 января 1857 г. Тургенев писал А. И. Герцену: «А к д'Агу я езжу с точки зрения естествоиспытателя. Какие там попадаются «букашки и таракашки» («Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену. С объяснительными примечаниями М. Драгоманова», Женева, 1892, стр. 106). Исправляем здесь ошибочное чтение Драгоманова, напечатавшего в тексте письма Тургенева «d'Агу». Это имя не поддается комментарию и явилось, конечно, в результате расшифровки русской транскрипции д'Агу, как французского написания. Возможность такого исправления была мне указана В. Д. Комаровой.

Мария d'Agoult (1805—1876)—французская писательница, выступавшая под псевдонимом Daniel Stern, автор ряда публицистических и исторических работ: «Lettres républicaines» (1848), «Esquisses morales et politiques» (1849), «Histoire de la Révolution de 1848», «Trois journées de la vie de Marie Stuart» (1856), «Histoire des commencements de la République aux Pays-Bas, 1581—1625» (1872). Ее литературный салон объединял оппозиционные элементы.

[13] См. комментарий к «Сценам и комедиям»: Тургенев, Сочинения, III, стр. 231. Ср. также работу Л. Гроссмана, Театр Тургенева, П., 1924.

[14] Тургенев, Сочинения, XII, стр. 68.

[15] Библиография русских работ Мериме дана в отпечатанной в 30 экземплярах брошюре Chambon (F.), Prosper Mérimée et la Russie, P., 1904. (Для настоящей статьи я имел возможность пользоваться экземпляром, принадлежащим В. Д. Кома-

ровой). Работа Шамбона вошла в состав подготовленной им к печати книги: P. M é r i m é e, Lettres aux Lagrené, P., 1904.

Об интересе, с которым Тургенев следил за «русскими» работами Мериме, свидетельствуют настойчивые запросы о них в письмах к друзьям. Узнав во время спасской ссылки о появлении во второй декабрьской книжке «Revue des Deux Mondes» драматических сцен Мериме «Le faux Démétrius», Тургенев просил П. В. Анненкова (в письме от 10 января 1853 г.): «Напишите мне... о «Лже-Дмитрие» Мериме в Revue des 2 Mondes». 2 февраля, не дождавшись ответа, он пенял своему корреспонденту: «Что же вы мне ничего не сказали о «Мериновском Самозванце»? Если тот № Revue des 2 Mondes не запрещен—достаньте его как-нибудь и пришлите ко мне—я вам в ножки поклонюсь» («Звенья», т. V, стр. 268, «Наша Старина», 1914, кн. 9—10, стр. 848. Ср. повторные просьбы о присылке журнала в письмах к П. В. Анненкову от 24 февраля и 14 марта).

[16] «Mémoires d'un seigneur russe ou tableau de la situation actuelle des nobles et des paysans dans les provinces russes. Traduit du russe par Ernest Charrière». P., 1854. («Bibliothèque des chemins de fer»). Второе издание вышло под измененным титулом: «Mémoires d'un seigneur russe par M. Ivan Tourguéneff. Traduit par Ernest Charrière. Nouvelle édition, revue et complétée». P., 1855. О литературной судьбе этих изданий см.: К л е м а н М., «Записки охотника» и французская публицистика 1854 г.—«Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова», Л., Издательство АН СССР, 1934, стр. 305—314.

[17] M o r n a n d (Félix), Causerie littéraire—«Illustration» 1854, 29 avr., pp. 262—263.

[18] «Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПБ., 1884, стр. 31.

[19] «Moumounia (trad. par M. Ch. de Saint-Julien)».—«Revue des Deux Mondes», 1856, 1 mars. В этом же журнале были напечатаны переводы «Фауста» и «Аси» (1 окт. 1858 г.), «Трех встреч» (1 окт. 1859 г.), «Где тонко, там и рвется» (15 июня 1861 г.), «Дневника лишнего человека» (1 дек. 1861 г.), «Призраков» (15 июня 1866 г.), «Истории лейтенанта Ергунова» (1 окт. 1868 г.), «Странной истории» (1 марта 1870 г.) и «Степного короля Лира» (15 марта 1872 г.).

[20] Письмо от 9 апреля 1868 г. См.: «Русское Обозрение», 1894, кн. 2, стр. 494.

[21] M é r i m é e (P.), La littérature et le servage en Russie.—«Revue des Deux Mondes», 1854, I juillet, pp. 183—193.

[22] «Revue des Deux Mondes», 1879, 15 août, p. 735.

[23] «Наша Старина», 1914, кн. 12, стр. 1072—1074.

[24] «Lettres à une inconnue», I, p. 364.

[25] Т у р г е н е в, Сочинения, XII, стр. 332.

[26] M é r i m é e (P.), Lettres à la comtesse de Montijo. Publiées par les soins du duc d'Albe. Préface de Gabriel Hanotaux, P., s. a., II, pp. 132—133.

[27] «L e t t r e s à P a n i z z i», I, p. 38.

[28] «L e t t r e s à u n e i n c o n n u e», II, p. 53.

[29] П и с ь м о к Н. Н. Т у р г е н е в у. См.: «Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПБ., 1884, стр. 61.

[30] В и н о г р а д о в, стр. 181.

[31] C h a m b o n (F.), Notes sur Prosper Mérimée, P., 1902, pp. 475—476.

[32] «L e t t r e s à P a n i z z i», p. 206.

[33] Основания нашей датировки записки к Биксио таковы. В промежутке между 1861 и 1865 гг. (год смерти А. Биксио) 18-е число приходилось на четверг: в апреле и июле 1861 г., сентябре и декабре 1862, июне 1863, феврале и августе 1864, мае 1865. Тургенев был в Париже из всех этих сроков только в апреле 1861 и в декабре 1862 г., но декабрь 1862 г. Мериме проводил в Канне. Таким образом, четверг 18 апреля 1861 г. остается единственной возможной датой записки. См.: «Lettres à une inconnue», II, p. 207, и К л е м а н—соответствующие страницы.

Из другого источника устанавливается, что к 1862 г. Тургенев и Биксио уже были знакомы. См. описание пригласительной записки Биксио к Тургеневу от 15 января 1862 г.—M a z o n (A.), Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguéneff, P., 1930, p. 107.

[34] В и н о г р а д о в, стр. 186.

[35] I b i d., стр. 196.

[36] I b i d., стр. 194; ср. также К л е м а н, стр. 127.

[37] C h a m b o n (F.), Notes sur Prosper Mérimée, P., 1902, pp. 307—308.

[38] В письме от 14 июля 1867 г. Мериме сообщал графине Пшездецкой: «Г-н Тургенев торопит меня приехать для свидания с ним в Баден». Поездка эта, однако, не состоялась. См.: «L e t t r e s à u n e a u t r e i n c o n n u e», p. 120.

[39] «L e t t r e s à l a f a m i l l e D e l e s s e r t», p. 175.

[40] «L e t t r e s à u n e i n c o n n u e», II, p. 67—68.

[41] Chambon (F.), Lettres inédites de Mérimée, P., 1900, p. 212.
[42] Mongault, p. CIV.
[43] «Lettres à une inconnue», II, p. 212.
[44] «Lettres à une autre inconnue», pp. 15—16, 21, письма от 12 и 30 июня 1866 г. «Lettres à la famille Delessert», p. 202. Письмо от 31 марта 1870 г., Journal de Pr. Mérimée.—«Œuvres complètes de Prosper Mérimée. Lettres à Francisque Michel. Journal de Prosper Mérimée. Texte établi et annoté avec une introduction par Pierre Trahard», P., 1930, p. 155. «Pro memoria», P., 1907, p. 132.
[45] Письма от 10 февраля, 20 апреля, 4 августа и 2 сентября 1868 г. См.: «Lettres à une inconnue», pp. 325—326, 329, 331, 334. Письмо к Гобино от 14 июля 1868 г. См.: «Revue des Deux Mondes», 1902, 1 novembre, p. 51.
[46] «Revue de Paris», 1894, 15 juillet, pp. 253—254.
[47] Фет А. А., Мои воспоминания, М., 1890, II, стр. 78.
[48] Письмо к императрице Евгении от 25 октября 1865 г. См.: Mérimée (P.), Lettres à la comtesse de Montijo, II, p. 279.
[49] Chambon (F.), Notes sur Prosper Mérimée, P., 1903, p. 403.
[50] «Apparitions, trad. de Tourguéneff», pp. 853—879. Перевод сопровожден подстрочным примечанием: «Слово apparitions является буквальным переводом русского заглавия «Призраки». Оно указывает с полной ясностью на характер сцен, предлагаемых читателю. Это произведение заняло вот уже три года место среди лучших страниц г. Тургенева и заслуженно привлекло внимание такого переводчика, как г. Проспер Мериме».
[51] Tourguéneff I., Nouvelles moscovites. Le juif, Pétouchkof, Le chien, Apparitions. Traduction par P. Mérimée. Annouchka, Le Brigadier, Histoire de lieutenant Yergounof. Traduction par l'auteur. J. Hetzel et C-ie éditeurs, P., s. a. [Книжка вышла в мае 1869 г.]. Из переписки Тургенева устанавливается, что «Ася», «Бригадир» и «История лейтенанта Ергунова» не были им переведены, а, в лучшем случае, только отредактированы.
[52] «Etrange histoire, trad. de Tourguéneff», pp. 178—195.
[53] «Pères et enfants par Ivan Tourguéneff. Avec une préface de Prosper Mérimée de l'Académie Française», P., 1863, pp. III—IV. К образам из романа Тургенева Мериме возвратился в письме от 5 ноября 1866 г. к Женни Дакен, характеризуя принца Лейхтенбергского, как «республиканца и социалиста, к тому же нигилиста вроде тургеневского Базарова». См.: «Lettres à une inconnue», II, p. 229.
[54] «Призраки уже начал переводить с Виардо»,—сообщал Тургенев Н. В. Щербаню в письме от 20 июня 1863 г. См.: «Русский Вестник», 1890, кн. 8, стр. 8.
[55] Mongault, p. CX.
[56] Ibid., p. CX.
[57] Ibid., pp. CX—CXI.
[58] «Lettres à une autre inconnue», pp. 15—16.
[59] Ibid., p. 21. 3 апреля 1869 г. Тургенев поручил Альберту Тургеневу подыскать переписчика и направить его в бюро газеты «Le Nord», «чтобы он переписал на почтовой бумаге 3 фельетона 8, 9 и 10 ноября 1866 г., заключающих перевод... небольшого рассказа «Собака». Мне это необходимо для печатания, которое предполагается начать», разъяснял Тургенев в заключении письма. См.: «Тургенев и его время. Первый сборник под ред. Н. Л. Бродского», М., 1923, стр. 228—229. Ввиду отсутствия в ленинградских библиотеках комплекта «Le Nord» за 1866 г., не удалось проверить, совпадает ли текст, данный в этой газете, с текстом «Собаки» в «Nouvelles moscovites», т. е. был ли в газете «Le Nord» опубликован перевод П. Мериме.
[60] Mongault, p. CXII.
[61] Датировка записки 1866 г. принадлежит М. Партюрье, опубликовавшему ее. См.: «Lettres à la famille Delessert», p. 149.
[62] Боткин и Тургенев, Переписка, стр. 235. Упомянутое Тургеневым письмо Мериме (от 21 августа 1866 г.) сохранилось, но в печати не появлялось. Характеризуя его, H. Mongault сообщает, что Мериме высказывает опасение, не затерялся ли пакет с корректурой, содержания которого он не знает. См.: Mongault, p. CXIII.
[63] Боткин и Тургенев, Переписка, стр. 235.
[64] «L'Europe Nouvelle», 1929, № 585, 27 avr., pp. 537—538.
[65] Mongault, p. CXIV.
[66] «Lettres à la famille Delessert», pp. 150—151.
[67] Mongault, p. CXIV. «Ася» была впервые переведена на французский язык Делаво и напечатана в первой октябрьской книжке «Revue des Deux Mondes» 1858 г. От воспроизведения этого перевода в сборнике «Nouvelles moscovites» Тургенев отказался.

И. С. ТУРГЕНЕВ
Автопортрет-шарж, Париж, 1878—1879 гг.
Литературный музей, Москва

[68] «Lettres à la famille Delessert», pp. 182—183.
[69] Mongault, pp. CXV—CXVI.
[70] Ibid., pp. CIV, CXVIII.
[71] «L'Europe Nouvelle», 1929, № 585, p. 538.
[72] «Lettres à une inconnue», II, pp. 325—326.
[73] Halpérine-Kaminsky, p. 324. Автор явно неправильно датирует первое письмо к А. Голицыну «понедельник, 7 июля 1867», а второе «пятница, 9 июля 1867». Седьмое июля приходилось в 1867 г. (по н. ст.) на воскресенье, а девятое—на вторник. Исправляю датировку на «понедельник, 1 июля 1867» и «пятница, 5 июля 1867», исходя из следующих соображений: в тексте третьего письма к А. Голицыну из Баден-Бадена от 10 июля 1867 г. Тургенев объясняет задержку ответа на письмо Голицына от 5 июля ожиданием ответа на собственное письмо, заключавшее сообщение о предложениях Мериме, т. е. второе из известных писем к А. Голицыну. При близости расстояния между Парижем и Баден-Баденом естественно предположить, что оба письма, и Тургенева и Голицына, разминулись, так как были написаны в один день—в пятницу, 5 июля, а если так, то предыдущее письмо, помеченное понедельником и июлем, могло быть написано только первого числа. Четырех дней было вполне достаточно для получения ответа Мериме, а особенности тургеневского написания цифр 1 и 5 вполне допускают ошибочное чтение 7 и 9.
[74] Halpérine-Kaminsky, pp. 324—325.
[75] Mongault, p. CXX.
[76] Halpérine-Kaminsky, p. 326.
[77] Mongault, pp. CXXI—CXXII.
[78] Halpérine-Kaminsky, p. 327.
[79] Ibid., p. 329. Ср. также на стр. 330 письмо от 15 сентября.
[80] Ibid., pp. 327—329: письма к А. Голицыну от 14 и 17 августа и 11 сентября 1868 г.
[81] Mongault, pp. CXXII.
[82] Mérimée (P.), Lettres à la comtesse de Montijo, P., 1930, t. II, p. 325.
[83] «Lettres à la famille Delessert», pp. 170—171.
[84] Mongault, p. CXXIII.
[85] «Lettres à une inconnue», II, pp. 314—315.
[86] Ibid., pp. 316—317.
[87] Письмо к А. Голицыну от 11 сентября 1867 г. См.: Halpérine-Kaminsky, p. 329.
[88] «Lettres à la famille Delessert», p. 172. Сопоставляя эти строки с письмом к Ж. Дакен от 27 сентября 1867 г., М. Партюрье датирует письмо к г-же Делессер этим же числом. Однако, письмо помечено воскресеньем, а 27 сентября приходилось в 1867 г. на пятницу. Было бы вернее датировать его 29 сентября

или одним из ближайших воскресений—6 или 13 октября. Датировку письма октябрем можно было бы аргументировать, во-первых, тем, что Мериме неточно, очевидно, уже по памяти, цитирует начальную фразу заключительной сцены главы XVII романа, а во-вторых, сообщением Мериме о приостановке публикации «Дыма». Ср. письмо Тургенева к А. Голицыну от 19 октября 1867 г.: Halpérine-Kaminsky, p. 331.

[89] Тургенев, Сочинения, XII, стр. 279—280.

[90] Mongault, pp. CXXVI—CXXVII.

В ответ на замечания по статье о Пушкине, Мериме писал Тургеневу: «Я получил ваше письмо, доставившее мне большое удовольствие. Однако, я удручен количеством совершенных мною ошибок—у меня не было здесь ни одной книги, которая была бы мне полезна, не было даже сочинений Пушкина, за исключением одного тома, привезенного сюда с берегов Волги одной сентиментальной девушкой и содержащего только лирические стихотворения». См.: Mongault, pp. VI и CLXVI.

[91] «Русское Обозрение», 1894, кн. 2, стр. 491.

[92] «Lettres à une inconnue», II, p. 329.

[93] Перевод «Дыма», напечатанный в «Correspondant», был выпущен и отдельными оттисками: Fumée, par I. Tourguénef. Traduit du russe. In 8°, 140 p., P., imp. Raçon et C-ie, lib. Doumiol. Extrait du Correspondant (см. «Bibliographie de la France», 28 décembre 1867, № 52, p. 601). В марте 1868 г. вышло второе французское издание «Дыма»: Fumée, par I. Tourguénef. In 18 jésus, 341 p., P., imp. Claye lib. Hetzel («Bibliographie de la France», 28 mars 1868, № 13, p. 148). Тургенев писал П. Виардо 27 марта 1868 г., сообщая о встречах с рядом парижских знакомых (Ложелем, Ланфреем, Шерером, Дюпоном, Уайтом, Ренаном, г-жей Моль): «Оказывается, моя книга положительно имеет успех, и мне по ее поводу говорили много любезностей» («Русская Мысль», 1912, кн. 1, стр. 114—115). Говоря о трудности пристроить в печати французские переводы русских авторов, Тургенев писал М. В. Авдееву 18/30 апреля 1868 г.: «Мои книги переводились, но собственно я ни копейки за это не получал никогда,—а переводчику в виде великой милости платилось, и то не всегда,—франков 300, 400—афера, как видите, не блестящая. Нечего и говорить, что ни одной моей книги не разошлось и первого издания, т. е. 2400 экз... За Fumée, без сравнения самый удачный мой роман с точки зрения продажи в Париже, я также ничего не получил» («Русская Старина», 1902, кн. 9, стр. 493—494).

[94] Мериме ценил исключительно высоко пьесы Тургенева и настойчиво советовал ему возвратиться к драматургии. Получив известие о его работе над «Дымом», Мериме писал Тургеневу 9 марта 1866 г.: «Я очень рад, что вы пишете роман и размышляете о драме... Поверьте, что драма—ваше прямое дело. Я не говорю о драме для сцены или которую можно было бы поставить на сцене, но о драме для умных людей, «the happy few», для чтения в кресле. Вы естественны и немного чересчур любите мелкие подробности. Ваши достоинства проявятся в полном блеске, а в ваши ошибки вы не сможете впасть». См.: Mongault, p. CXXXVI.

[95] Работа Мериме о Тургеневе, воспроизводившаяся при повторных французских изданиях «Дыма», вошла в состав сборника его статей: «Portraits historiques et littéraires». Цитируется здесь по переводу Е. В. Виноградовой.

[96] Данные о прототипах персонажей «Дыма» собраны в комментарии к этому роману. См.: Тургенев, Сочинения, IX, стр. 417—437.

[97] Имеется в виду императрица Евгения.

[98] Полустишие Пушкина из «Будрыс и его сыновья» написано Мериме по-русски латинскими буквами: «kak kotionok ou petchki».

[99] «L'Europe Nouvelle», 1929, № 585, 27 avr., pp. 538—539.

[100] «Lettres à une inconnue», II, p. 334.

[101] «Русское Обозрение», 1894, кн. 1, стр. 27—28.

[102] Mongault, p. CXXXVII.

[103] Ibid., p. CXXXVI.

[104] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», под ред. М. К. Лемке, III, СПБ. 1912, стр. 7.

[105] «Lettres à une inconnue», II, p. 337.

[106] Ibid., II, p. 330.

[107] «Lettres à la famille Delessert», pp. 189, 202.

[108] Mongault, p. CXVI.

[109] Ibid., pp. CXXXIV—CXXXV.

[110] Ibid., p. CIX.

[111] «Lettres à une inconnue», II, p. 363.

[112] Mongault, pp. CXVI—CXVIII.

[113] Ibid., p. CXVIII.
[114] Ibid., p. CXXXVI.
[115] «L'Europe Nouvelle», 1929, № 585, 27 avr., p. 539.
[116] «Recueil des discours, rapports et pièces diverses lus dans les séances publiques et particulières de l'Académie Française. 1870—1879». 1-ère partie, P., 1876, pp. 452—453.
[117] Этими же инициалами «И. Т.» были подписаны в августовских и сентябрьских номерах «С.-Петербургских Ведомостей», того же 1870 г., корреспонденции Тургенева о франко-прусской войне.
[118] Точная дата смерти Мериме не была известна Тургеневу, когда он писал некролог. Только позднее узнал он, что «едва разборчивая» записка Мериме от 23 сентября была помечена днем кончины писателя.
[119] Суть этого дела заключалась в следующем. Один из друзей Мериме, математик и библиофил Либри Каруччи делла Соммайя, член Французской академии и Института, назначенный в 1842 г. инспектором народного образования, был заподозрен в хищениях редких изданий и рукописей из инспектируемых им столичных и провинциальных библиотек. Рапорт производившего следствие прокурора Букли, поданный 4 февраля 1848 г. Гизо и задержанный всесильным министром, покровительствовавшим Либри, был найден и опубликован в печати после Февральской революции. Либри был привлечен к судебной ответственности по обвинению в систематических хищениях книг и автографов, оцененных суммой в 500 000 франков. Успев скрыться в Лондон и переправить туда свою библиотеку, он был заочно присужден к 10 годам заключения и к отрешению от всех должностей. Нашлись, однако, голоса в защиту Либри—между ними и голос Мериме. Будучи уверен в невиновности своего друга и находя неавторитетной и ошибочной произведенную библиографами экспертизу, Мериме опубликовал в «Revue des Deux Mondes», в книжке от 15 апреля 1852 г., свои замечания по экспертизе, а в книжке от 1 мая дальнейшие возражения на ответ экспертов. Ввиду резкости высказанных замечаний, Мериме был, в свою очередь, привлечен к ответственности за оскорбление должностных лиц и присужден к двухнедельному аресту и 1 000 франков штрафа.
[120] Следует отметить лишь еще два письма Мериме о Тургеневе. Одно из них, адресованное доктору Робену, помечено 30 июня и гадательно датировано Шамбоном 1868 г.:

«Мой друг г. Тургенев, русский романист, находится сейчас в Бадене. Он мне писал об онемении, поразившем его левую руку и длившемся пять минут. Выслушавший его немецкий врач признал болезнь сердца. Он совсем не похож на сердечного больного. Он—великан. Так как ему необходимо выяснить, в чем дело, то он запросил меня письмом, кто считается в Париже специалистом по сердечным болезням. Будьте добры, ответьте мне на этот вопрос. Дело идет о жизни одного из любезнейших людей нашего времени, а их у нас так мало». См.: Chambon (F.), Notes sur Prosper Mérimée, P., 1902, p. 419—420.

Записку эту можно вполне точно датировать 1869 г. при сопоставлении с опубликованными отрывками из писем Мериме к Тургеневу от 19 мая и 30 июня 1869 г., в которых французский писатель, «постоянно больной», переживающий «скверные ночи и еще более отвратительные пробуждения», рекомендовал своего врача, д-ра Робена, «лечащего только его». См.: Mongault, p. CXXIX. Ср. также письмо Тургенева к П. В. Анненкову от 5 июня н. ст. 1869 г.—«Русское Обозрение», 1894, кн. 3, стр. 26—27.

В томике «Lettres à la famille Delessert» (p. 58) приведена недатированная записка, адресатом которой назван виконт Алекси де Валон:

Дорогой друг,

Г-н Тургенев живет на улице Риволи, 210. Я уезжаю. Я все жду появления вашей новеллы.

Весь ваш
Пр. Мериме

Пятница вечером.

Предложенную редактором тома писем к Делессер датировку (25 мая 1850 г.) приходится отвергнуть, так как в записке указан парижский адрес Тургенева 1861—1863 гг. Вместе с тем приходится отвергнуть и предложенного адресата, так как А. де Валон умер 20 августа 1851 г.
[121] Тургенев повторял, например, следующий, вполне анекдотический рассказ: Мериме, разговаривая как-то с Виктором Гюго, сказал: «Quand je parle du plus grand poète de notre siècle...». Гюго думал, что речь идет о нем, и перебил его:

«Voyons, assez, n'en parlons pas...».—«Je parle de Pouchkine»,—возразил Мериме. См.: Нелидова Л., Памяти И. С. Тургенева.—«Вестник Европы», 1909, кн. 9, стр. 235—236.

В текст «Речи о Пушкине» Тургенев включил общую оценку, данную Мериме русской литературе:

«Ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстанет возможность не оскорбить правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу... У Пушкина, прибавлял он, поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы». См.: Тургенев, Сочинения, XII, стр. 230.

В разговоре с Луканиной Тургенев вспоминал:

«Однажды Мериме сказал мне вещь, которую я никогда не забуду,—он сказал, что «русское искусство через правду дойдет до красоты». См.: А. Л., Мое знакомство с Тургеневым.—«Северный Вестник», 1887, кн. 3, стр. 53.

Рассказы Тургенева о Мериме сохранились в воспоминаниях Я. П. Полонского («Нива», 1884, № 4, стр. 90), М. М. Ковалевского («Минувшие Годы», 1908, кн. 8, стр. 14—15), Л. Фридлендера («Вестник Европы», 1905, кн. 10, стр. 832), Л. Пича («Иностранная критика о Тургеневе», 2-е изд., стр. 90).

[122] Письмо от 12 августа ст.ст. 1870 г. См.: «Щукинский сборник», вып. VIII, М., 1909, стр. 415—416.

[123] Письмо от 9 сентября н. ст. 1870 г. См.: «Письма И. С. Тургенева к Людвигу Пичу. Ред., вступ. статья и примечания Л. Гроссмана», Л., 1924, стр. 115—116.

# Ф. И. ТЮТЧЕВ О ФРАНЦУЗСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ 1870—1873 гг.

Сообщение К. Пигарева

Обширная и в значительной части еще неизданная переписка Ф. И. Тютчева—ценный источник для истории политической и общественной жизни России и Запада.

Круг вопросов, затронутых в переписке Тютчева, настолько многообразен, что, независимо от первостепенного значения ее в целом, представляется достаточно оснований для выделения некоторых полноценных групп тютчевских писем в самостоятельные очерки. Одну из таких групп образуют многочисленные письма поэта о французских политических событиях 1870—1873 гг.—франко-прусской войне и Третьей республике. С этими-то письмами Тютчева, частью в полном виде, частью же в извлечениях, я и считаю уместным познакомить читателя на страницах сборника, посвященного франко-русским отношениям.

## I. ТЮТЧЕВ О ФРАНКО-ПРУССКОЙ ВОЙНЕ.—ПРЕБЫВАНИЕ ТЮТЧЕВА ЗА ГРАНИЦЕЙ В 1870 г.—ТЮТЧЕВ О КОММУНЕ

В июле 1870 г., уступая настояниям близких и советам своего петербургского врача, Тютчев отправился лечиться в Карлсбад. Он ехал с неохотой: ему не улыбалось пить воды и чувствовать себя за границей на положении больного, подверженного определенному режиму. Он был уже стар; его страшило все «отдаленное, чуждое и неизвестное»[1]. В таком настроении приехал он в Варшаву.

И вот здесь, в Варшаве, Тютчев узнал, что 15 июля французский сенат и законодательный корпус вынесли решение о войне с Пруссией. Он спешит тотчас же написать об этом жене: «По приезде моем сюда я узнал, что война объявлена. Это все равно, что начало конца света. Воздерживаюсь от размышлений, ибо ум человеческий приведен в замешательство и оцепенение ввиду подобных возможностей... Я едва могу писать, до того я чувствую себя нервным». Политические новости захватывают Тютчева. В нем пробуждается его обычная страсть к зрелищу. «Здоровье мое довольно сносно,—прибавляет он,—и само путешествие для меня уже начало лечения». И теперь он торопится продолжить это лечение; не теряя ни минуты, решает он ехать в Берлин, ссылаясь на то, что это кратчайший путь в Карлсбад. Но дело тут не в карлсбадских водах, а в том «невыразимом возбуждении», какое он рассчитывал застать в Берлине[2].

Ленивый на письма, Тютчев теперь не скупится на них: его одолевает потребность делиться с другими своими мыслями и предвидениями. Пожалуй, ни одно политическое событие, за исключением крымской кампании,

не нашло такого яркого отражения в переписке Тютчева, как франко-прусская война.

Еще весь охваченный тем «невыразимым возбуждением», под влиянием которого у него едва хватило сил набросать коротенькое письмо жене из Варшавы, Тютчев пишет своей дочери Анне 19/31 июля 1870 г. из Карлсбада:

«... Теперь мы положительно стоим перед лицом того европейского кризиса,—задетые уже не тенью его, а дыханием,—того кризиса, предчувствие коего тяготело над миром, подобно кошмару, в течение двух поколений—той эпохи крови и разрушения, которая с 1851 года была предуказана мне в ближайшем будущем под страшным наименованием: Великая Резня народов. Ах, я понимаю, что Аксаков должен быть глубоко огорчен, видя себя обреченным людскою глупостью на молчание в настоящую минуту, и не он один это оплакивает, ибо никто не смог бы лучше его подчеркнуть отличительные черты начинающегося кризиса, так же как никто лучше его в его газете не уловил истинной сущности бонапартизма, этой силы неограниченного зла—насилия и лжи, влияющей таким ужасным образом не только на Францию, но на всю Европу, лишь потому, что она является наиболее совершенным выражением худших инстинктов современной эпохи. В этой силе положительно не без Антихриста...

Что до нас, до России, то невозможно, мне думается, не признать в том, что совершается, путей провидения, покровительствующих ей. Западная Европа, как сила совокупная, окончательно сокрушена, и отныне наше будущее широко раскрыто перед нами...»[3].

Тютчев наиболее охотно обращался с такими «прорицаниями» к своей старшей дочери, Анне. Это не значит, что с ее стороны он встречал особенное сочувствие. Вовсе нет. В ее глазах эти предвидения были лишь «обычными иллюзиями» ее отца[4]. Но она была женой И. С. Аксакова, и, обращаясь к ней, Тютчев в то же время обращался к нему, а в его лице—к близким Тютчеву по духу славянофилам. Тем самым он как бы оправдывал меткое словцо М. де Вогюэ, назвавшего Тютчева «тестем славянофильской партии» («le beau-père du parti slavophile»)[5].

Тютчев оплакивает вынужденное молчание своего зятя, которому с 1868 г., после правительственного закрытия его газеты «Москва», была запрещена публицистическая деятельность. Говоря о том, что никто лучше Аксакова «не уловил истинной сущности бонапартизма», Тютчев имеет в виду его статьи 60-х годов о Второй империи. С наибольшей отчетливостью точка зрения Аксакова по данному вопросу выражена в передовой статье газеты «День» от 2 ноября 1863 г. За «наполеонидами», по мнению Аксакова, «признается... как будто особая привилегия инициативы в политике, как будто какое-то право вносить в обычный органический процесс истории—внушения личного ума, личного духа, смущать мир, держать в тревоге народы и государства...» «... Сама личность наполеонидов является одним из условий развития, историческим двигателем западного человечества, какою-то историческою силою, но не случайною, а органически порожденною духовною природою Запада. В них западное начало личности возрастает до степени мировой революционной силы, до титанического величия...»[6].

Письмо к А. Ф. Аксаковой от 19/31 июля 1870 г. написано Тютчевым сгоряча, еще до начала военных действий. Выражение «les illusions

habituelles», которым А. Ф. Аксакова охарактеризовала это письмо, вполне подходит к той части его, где Тютчев касается будущего России. Гораздо более трезвую оценку дает Тютчев совершающимся событиям в письме к ней же от 31 июля (12 августа) из Тёплица. Приводим его полностью:

«То, что происходит перед нашими глазами, уже не действительность. Это как бы сценическое представление большой драмы, задуманной и об-

Ф. И. ТЮТЧЕВ
Фотография Деньера, 1864 г.
Музей Тютчева, Мураново

работанной по всем правилам искусства. Все так ясно, так хорошо обосновано, так последовательно. Кажется, что читаешь на афише какое-нибудь знакомое заглавие: Наказанный плут или нечто в этом роде... С другой стороны, важность событий ускользает от всех людских оценок.

Ровно восемь дней, что война началась, и вот уже судьба Франции сведена к случайностям одного сражения, которое разыгрывается, может быть, в настоящую минуту. И дело идет не о чем ином, как о падении, явном и очевидном падении страны, общества, целого мира, такого, как Франция. Думается, будто грезишь. Прежде всего, вот французская

армия, всегда почитавшаяся чем-то исключительным и выдающимся, которая не лучше австрийцев выдерживает превосходство прусских армий. Вот нашествие в обратном порядке (invasion retournée), французская земля заполонена, столица—Париж объявлен на осадном положении, отчизна объявлена в опасности, и императрица Евгения, подобно второй Жанне д'Арк в кринолине, вызывается взять на себя спасение Франции. Эта примесь смешного к событиям наиболее трагическим и была всегда признаком великих явлений, завершающихся судеб.

Вследствие какого-то поддельного воспроизведения (reproduction plagiaire) этой Второй наполеоновской империи по отношению к Первой, можно с точностью определить некоей исторической формулой, в какой фазис она вступила: это сто дней Наполеона III. А тот, в чьей памяти сохранились гнусные подробности этой эпохи, читает как бы в либретто все, что должно произойти теперь: борьба партий не на живот, а на смерть и подлости скаредно-личных выгод. Если б я мог ошибаться в моих предвидениях! Так как падение Франции, сколь ни заслужено оно этим глубоким и внутренним разложением нравственного чувства, было бы, тем не менее, огромным бедствием со всех точек зрения, особливо же с точки зрения нашей собственной будущности. Ибо насколько соперничество сил, образующих Западную Европу, является главнейшим условием этой будущности, настолько окончательное преобладание одной из них над другой было бы страшным камнем преткновения на открывшемся перед нами пути, пуще же всего на свете—осуществление, ставшее неминуемым, единства Германии, этого пробуждения легендарного Фридриха Барбароссы, которого мы увидим живьем выходящим из его пещеры. Зрелище величественное и прекрасное, я должен с этим согласиться, но я был бы в отчаянии оказаться его зрителем... И когда подумаешь, что постановке этого великого зрелища способствовал скоморох, именующийся Наполеоном III! Таким образом, он явится восстановителем империи, только не своей, а империи вражеской. Не пройдет и месяца, как все эти вопросы будут разрешены. Еще раз—это сон...

Пока что я начал ванны, и это лечение, повидимому, принесет пользу. Тысячу нежностей Аксакову. Ах, если бы он был здесь...

До скорого свидания, моя милая дочь. Право, мне несколько совестно за тебя, за всю эту болтовню твоего отца. Да хранит вас бог»[7].

Когда Тютчев писал первое письмо к А. Ф. Аксаковой, соотношение сил, вступающих в борьбу, еще не было ему известно. Оглушенный новостью о войне, давно, впрочем, им ожидавшейся, он готов был видеть в завязывающемся поединке «начало конца света», но он еще не сознавал с достаточной ясностью, что́ прежде всего означал этот поединок, а именно начало конца бонапартистской Франции.

В первые же дни войны пародийный характер Второй империи выступил с полной отчетливостью, и Тютчев тотчас нашел слова, чтобы определить тот исторический фазис, в который она вступила. Но стремительные успехи пруссаков сбили Тютчева с толку, опрокинули его предвидения. Давно ли, кажется, он утверждал, что «наше будущее широко раскрыто перед нами»? А залогом этого будущего он считал прежде всего «улажение восточного вопроса» таким образом, чтобы он стал раз и навсегда разрешенным в пользу России. Всякая европейская потасовка, которая отвлекла бы внимание заинтересованных стран от Ближнего Востока, представлялась Тютчеву как нельзя более своевременной. Таков

был смысл, вложенный Тютчевым в цитированные выше строки из его первого письма к дочери.

Ход событий, однако, не замедлил обличить всю поспешность тютчевского утверждения. Во втором письме к А. Ф. Аксаковой недавняя уверенность поэта уступает место опасению, как бы на открывшемся перед Россией пути не возник непредвиденный и «страшный камень преткновения». А. Ф. Аксакова в своем недошедшем до нас ответе на карлсбадское письмо отца, повидимому, и указала ему на этот «камень преткновения». Впрочем, и сами события скоро охладили тютчевский пыл.

«Я понимаю,—писал он ей же 7/19 августа 1870 г. из Тёплица,—что после всего происшедшего моя точка зрения должна была показаться тебе нелепой. В самом деле, если Франция уже не действительность, если она лишь призрак, пустая газетная фраза, если этой ужасной войне суждено будет завершиться полным торжеством Пруссии, то для нас создастся весьма опасное и угрожающее положение. Но ничуть не достоверно, что вся сила сопротивления сломлена у Франции, одаренной столь мощной живучестью, и хотя эта страна и заражена до мозга костей, самая агония ее может вызвать страшные потрясения... Условия, в каких ведется эта война, незамедлительно превратят ее в войну племенную. Если даже неминуемое истощение и создаст кратковременную передышку, страсти слишком возбуждены, интересы слишком непримиримы, дабы борьба не возобновилась»[8].

Поражение Франции наводит Тютчева на следующие раздумья: «... не будучи грубым животным, невозможно безнаказанно присутствовать при страшном зрелище сего божьего суда, что совершается над миром. Ничего не предрешая, предчувствуешь уже, каково будет последнее слово верховного приговора. Это—ниспровержение этой бедной Франции, которую нельзя не жалеть, в то же время признавая, что она вполне заслужила кары, готовые на нее обрушиться. Ибо страна, переносящая не без известного удовлетворения позорный правительственный строй, тяготеющий над ней вот уже восемнадцать лет, цвет которой, представляемый высшими государственными чинами, только что принимал участие, из раболепства или по глупости, в последних непристойных деяниях этой власти, обезумевшей от безнравственности, такая страна изрекла свой собственный приговор, а события являются всегда в назначенный срок, дабы привести его в исполнение. Не то, чтобы личный противник Наполеона III был значительно порядочнее его, но дело его более правое, и нравственное превосходство решительно на стороне Германии»[9].

К той же теме возвращается Тютчев в письме к своему шурину, барону К. Пфеффелю, от 22 августа 1870 г. из Тёплица. Тютчев признает историческую законность совершающегося: «Он наступил, наконец,—этот день, так давно, так пламенно чаемый германской народностью...». И все же—«человеку, принадлежащему к европейской цивилизации, невозможно присутствовать при таком глубоком падении Франции, не испытывая ужасающего щемления сердца». Франции грозит расчленение, ибо она не в силах будет воспрепятствовать отторжению Эльзаса и Лотарингии. Если Россия и готова была бы «предотвратить эту катастрофу», то что может Россия—одна? «Кто нам пособит искренне и энергично?»—спрашивает Тютчев. «Англия? Но разве можно на нее полагаться? Бедная Франция!»[10].

Барон Карл Пфеффель (1811—1890), к которому обращены эти строки,

был отпрыском старинного эльзасского рода, представители которого занимали видные служебные посты в дореволюционной Франции. После революции 1789 г. Пфеффели покинули французские пределы и обосновались в Баварии.

Появившийся на свет через двадцать лет после падения «старого порядка», за три года до крушения Первой империи, К. Пфеффель в полной мере принадлежал к тем эмигрантам, которые хотя и не вернулись во Францию (возвращаться было не на что, да и слишком глубоки были корни, пущенные Пфеффелями в баварской земле), однако же, ничему не научились и ни о чем не забыли.

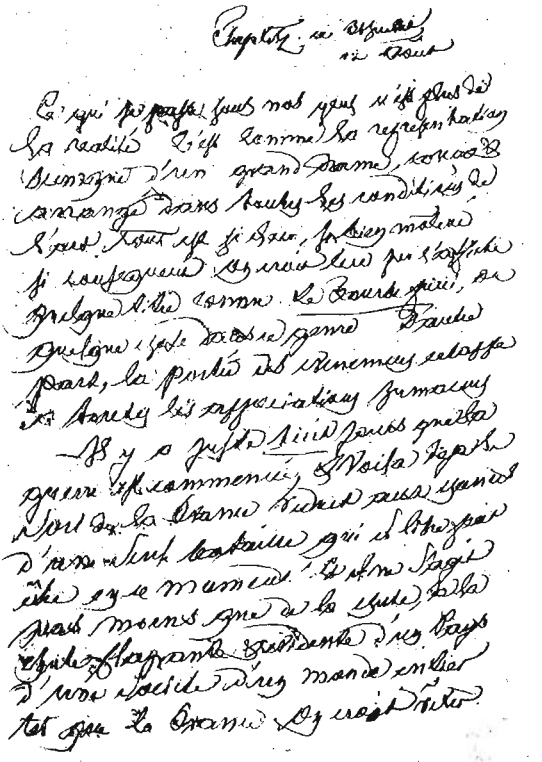
Тютчева связывали с Пфеффелем долголетние приятельские и родственные отношения, а также известная идейная близость. Однако, по натуре своей и по складу своего ума Пфеффель ничуть не походил на Тютчева. Прямолинейный легитимист и ретроград, безоговорочно преклонявшийся перед идеями Шатобриана и Ж. де Местра, Пфеффель представляет собою законченный т и п француза-эмигранта. Он всегда считал Францию своей «настоящей отчизной»—не Францию Наполеона III, конечно, которого он честил не меньше Тютчева, а «древнюю и славную Францию» королей. В том испытании, которое выпало на долю Франции, Пфеффель видит—ни дать ни взять, как его заочный собеседник—возмездие, вполне заслуженное «страной, которая по доброй воле с головой предалась такому авантюристу, каков Наполеон III», и «обществом, не признающим иного бога, кроме денег, и уступающим господство куртизанкам и ф р а н т о в а т ы м бездельникам» (petits-crevés). Тютчевское признание «нравственного превосходства» Германии и исторической законности ее притязаний не встречает сочувствия со стороны Пфеффеля. Отрицая в немцах «цивилизаторские начала, без коих всякое политическое преобладание становится ненавистным», он горячо и запальчиво возражает Тютчеву: «Нет, мой дорогой друг, как я ни стараюсь, я не могу видеть в этой поразительной развязке что-либо иное, кроме факта чудовищного, такого, каким было бы торжество персов над греками»[11].

Сам Тютчев, несмотря на оглушительные успехи немцев, не верит в их «окончательное и полное торжество»: «Франция может быть сломлена и, вероятно, оно так и будет, но ее поражение станет жестокой и болезненной занозой в теле ее победителя»[12].

Месяц спустя, в первой половине сентября, вернувшийся в Россию Тютчев писал из своего орловского поместья, с. Овстуг, дочери Е. Ф. Тютчевой: «... Вот я благополучно вернулся из поездки, занявшей ровно столько времени, чтобы увидеть совершившимися на деле события, которые послужат предметом обсуждения для грядущих столетий, и, однако, это лишь самые первые шаги. Ближайший исход так же невозможно предугадать, как нельзя предугадать, какая будет погода через неделю, но что касается окончательного результата, то это совсем иное: он может быть вычислен, как вычисляют затмение, которое произойдет через пятьсот лет. Что бы ни случилось, одно остается безусловно совершившимся: это распад западного единства. Два племени, союз коих составлял это единство, навсегда разделены. Борьба между ними сможет временно приостановиться, но она не прекратится более...»[13].

Оттуда же, из глуши Брянского уезда, Тютчев впервые делится с Пфеффелем своими мыслями по поводу провозглашения республики во Франции. О седанском позоре и о «кризисе», разрешившемся в Париже, Тютчев

АВТОГРАФ ПИСЬМА ТЮТЧЕВА К А. Ф. АКСАКОВОЙ ОТ 12 АВГУСТА 1870 г.
Первая страница
Музей Тютчева, Мураново



узнал, повидимому, по дороге из-за границы в Россию. «Неоспоримое значение» совершившегося факта заключается, по мнению Тютчева, в «торжественном и бесповоротном отречении» Франции от бонапартизма. Крайне знаменательным считает Тютчев и вызванную в связи с этим перемену отношения к ней со стороны ее врагов. «...Шутка ли заставить политику Бисмарка настолько сбросить личину, чтобы принять под свою опеку кандидатуру Наполеона III, взять на себя защиту подобного дела?!». Но после такой неслыханной «чудовищности» (énormité sans qualification possible dans la langue des hommes) может ли подобная политика рассчитывать на «успех действительный, успех окончательный»?[14].

Ответное письмо Пфеффеля кажется точным подголоском тютчевского. Пфеффель не может и подумать о новом варианте реставрации—вторичной реставрации Бонапартов. В жизни народов, рассуждает Пфеффель, «бывают нравственные падения, от которых народ не в состоянии оправиться, и восстановление Луи Бонапарта было бы одним из таких непоправимых падений, одним из таких неизгладимых постыдных деяний. Посмотрите, каких трудов стоит орлеанскому дому заставить позабыть об и з в о з ч и к е, на котором спасся Луи-Филипп в 1848 г. Еще труднее будет заставить Францию позабыть о к о л я с к е, в которой седанский побежденный влачил свое бесчестие до самого лагеря своего победителя»[15].

Но если мысль о реставрации Бонапартов претит Пфеффелю, то мысль о реставрации Бурбонов становится как бы его idée fixe. С особенной симпатией вспоминает он о 1814 годе. Высказывая опасения, как бы Париж не постигла участь Страсбурга, он пишет Тютчеву: «Ты спишь, Брут!—готов был бы я крикнуть России. Где Александры I, где Каподистрии,

где Нессельроды? Александр II раздает георгиевские кресты прусским генералам, которые опустошают эту прекрасную Францию, *спасенную в 1814 г. его великодушным дядей*, преисполненным почтения к этой старой кормилице народов, как в хорошем, так, увы! и в дурном... Все же я не отчаиваюсь в том, что вы преодолеете вашу дремоту»[16].

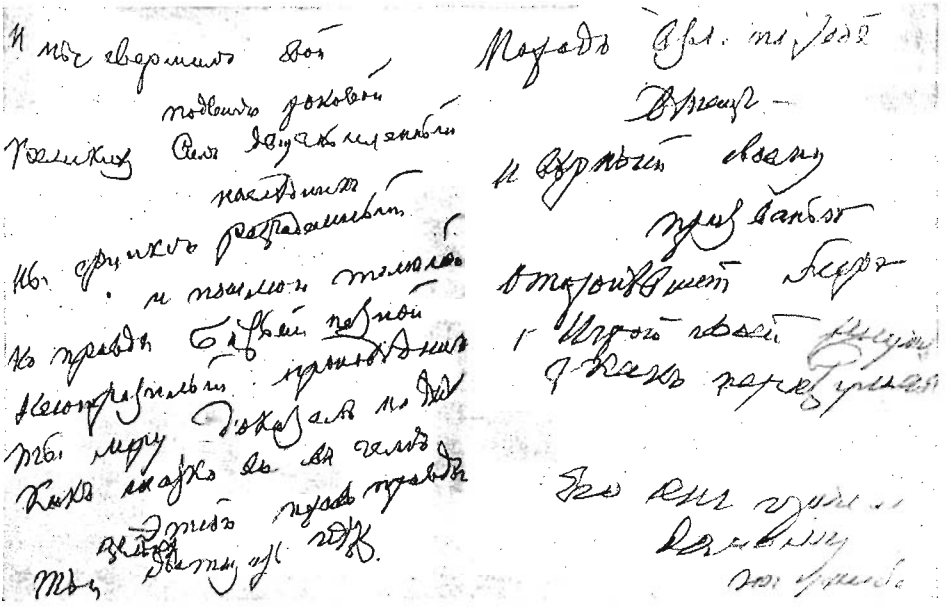
Франко-русские политические отношения этой эпохи могут быть охарактеризованы словами французского поверенного в делах в Петербурге, Габриака: «Россия нейтральна, но ее нейтралитет дружественен Франции, император нейтрален, но его нейтралитет благоприятен Пруссии»[17].

Слова эти, хотя и относящиеся к несколько более позднему времени (март 1871 г.), верно обрисовывают существовавшее с самого начала войны различие между отношением к Франции русского «общественного мнения» и внешнеполитической позицией правительственных кругов. Это «отсутствие согласия» (manque d'accord) в особенности ощущалось в Москве. Посетив Москву по своем возвращении из-за границы, Тютчев писал: «Здесь, как и повсюду в России, правда, враждебность к немцам очень сильна, и ей вволю предаются в печати...»[18]. По словам Тютчева, такое настроение русского и, в частности, московского общественного мнения немало раздражало царя, который был задет тем, что его родственные чувства к Пруссии не разделяются его подданными. И неудивительно, что прием, оказанный петербургским двором Тьеру во время его официального визита в столицу империи, мог быть только... «очень учтивым» (très courtois). Тютчев, отсутствовавший из Петербурга во время приезда Тьера, но живо интересовавшийся подробностями его пребывания там, пишет жене, что ему рассказывали об «овации, которую петербургское общество намеревалось устроить Тьеру, если только к этому не встретилось бы препятствий в высших сферах, *что легко могло бы случиться*»[19]. Канцлер Горчаков передавал Тютчеву, что Тьер «взял за правило не испрашивать аудиенции ни у кого из членов императорской фамилии, кроме самого императора», но что он, тем не менее, был принят наследником, а также великим князем Константином, братом царя. Тютчев тщательно собирал обрывки разговоров Тьера, интересуясь тем, какое впечатление оставил он по себе в петербургском обществе: «На бедного старика жалко было смотреть. Несколько раз, когда он говорил о Франции, слезы прерывали его речь. Он охотно признал бессмысленность их политики по отношению к нам, которой и он способствовал, подобно другим и вследствие тех же причин, а именно их невероятного незнания всего, что̀ не о н и, и в особенности того, что̀ — м ы... Он говорил о Наполеоне III с презрением, конечно, но без резкости. Он рассказывал, что через несколько дней после объявления войны, в момент, когда предстояло выступить в поход, Наполеон увидал, что не располагает и двумя стами тысяч солдат; он велел передать Тьеру, что признает теперь, насколько тот был прав. Это просто непостижимо!»[20].

С осени 1870 г. французская дипломатия неустанно хлопочет о том, чтобы добиться вмешательства царя во франко-прусские дела. Хотя все попытки, предпринимавшиеся в этом смысле правительством национальной обороны, на первых порах неизменно отклонялись, отголоски их проникали в русское общество и давали повод к неверным подчас заключениям. «...Распускают слухи об умиротворении, которое приписывают дружественному вмешательству российского императора, коему обе стороны расположены предложить роль посредника»,—пишет по этому поводу

Тютчев и тут же замечает: «Но я боюсь, увы! что это слишком хорошо, чтобы быть верным...»[21]. Сам Тютчев не очень-то надеется на эти попытки умиротворения: «...Я начинаю склоняться к твоему мнению,—признается он жене,—и разделять твое упорное предчувствие какой-то ужасающей катастрофы, которой все это завершится и которая будет не в пользу пруссаков. Европейское сознание было бы разочаровано, если бы дела приняли иной оборот»[22]. В том же письме у Тютчева вырывается вопль о «нелепости» (l'absurdité), о «нравственной невозможности подобного рода войны в эпоху цивилизации». «Это как бы публичный опыт людоедства!».

Версальские переговоры о перемирии, начавшиеся в первых числах ноября 1870 г. между Тьером и Бисмарком вследствие английского пред-



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ТЮТЧЕВА О НАПОЛЕОНЕ III
«И ТЫ СВЕРШИЛ СВОЙ ПОДВИГ РОКОВОЙ...»
Литературный музей, Москва

ложения, поддержанного Австрией, Италией и Россией, не успокаивают Тютчева насчет будущности Франции. Мир на тех условиях, которые можно ожидать от Бисмарка, не спасет ее. Отныне во Франции разгорится борьба партий. Со времени революции 1789 г. «старой Франции, исторической Франции» уже больше не существует: вместо нее «два народа, противопоставленных друг другу и воюющих друг с другом; из них один—деревенское население—желает лишь такого правительственного строя, который охранял бы его интересы, будь это правительственный строй Наполеона III или самого дьявола; другой—революционная Франция—жаждет только стряхнуть бога и всякий закон, от него исходящий, дабы не чувствовать никаких стеснений»[23].

Тютчев верно охарактеризовал политическое настроение обширных слоев французского деревенского населения, мелкого консервативного крестьянства, избранником которого был Луи Бонапарт. Что же касается данного Тютчевым определения революционной Франции, то в нем нам

явственно слышится отзвук давнего тютчевского м е с т р и а н с т в а и того мистицизма, который, по словам Пфеффеля, проявлялся в Тютчеве под влиянием «великих социальных и политических потрясений»[24]. Гибель старого мира для Тютчева все равно, что «конец света». «Общее положение Европы ухудшается все более и более,—пишет он дочери Анне.—Разгром Франции осложнится, вероятно, гражданской войной. Ложь современной цивилизации становится все более и более очевидной. Это—льдина, которую унесет ледоход, но на этой льдине построен целый мир...»[25].

Предчувствие грядущей гражданской войны, «настоящей войны классов» (une vraie guerre sociale), которая неминуемо воспоследует за войной внешней, не оставляет Тютчева. Приведем отрывки из его неизданных писем этого времени, обнаруживающих, с какой остротой воспринимал он создавшееся политическое положение.

Вот отрывок из письма к А. Ф. Аксаковой от 14/26 января 1871 г.:

«Вся эта война завершится каким-нибудь провалом и увлечет за собою будущие поколения. Английская демократия волнуется и ждет лишь сигнала, дабы разразиться демонстрациями в пользу Франции, против Пруссии. Все демократии материка, в сущности, составляющие одну единую демократию, последуют ее примеру. Нынешняя война, жестокая война, столкнется с внутренней войной партий, настоящей классовой войной. Не в обиду будь сказано императору Вильгельму, его империя не будет империей мира и прогресса под сенью свободы, если бы даже он этого желал. Будет совсем иное. Эта война, каков бы ни был ее исход, расколет Европу на два лагеря, более чем когда-либо «враждебных»: социальную революцию и военный абсолютизм. Вся почва, разделяющая их, обрушится...»[26].

Через две недели, 1/13 февраля 1871 г., Тютчев писал ей же:

«Мы уже не говорим: последние времена наступили. Но верно то, что редко бывали худшие, и едва три года отделяют нас от эпохи парижской выставки, которая была как бы оргией современной цивилизации. Оргия крови, сменившая ее и еще продолжающаяся, близится, мне думается, к концу. Я не считаю более возможным возобновление войны после этого краткого, но общего ослабления нервного напряжения [28 января было подписано перемирие.—*К. П.*]. Победители и побежденные должны иметь в настоящую минуту лишь одно желание: вздохнуть свободнее. Но эта минута не будет продолжительной, и борьба разбушевавшихся стихий не замедлит возобновиться если не посредством пушечных выстрелов и на полях сражений, то, несомненно, во всех крупных центрах европейского брожения. Начнется двойное движение: борьба народностей и племен, долженствующая, казалось бы, в недалеком будущем вызвать столкновение между Пруссией и нами, и другое движение, столь же вероятное, которое сшибется с предыдущим: это—реакция европейской демократии, революционный социализм во всех его разветвлениях, объединяющий все либеральные оппозиции против преобладания прусского милитаризма. Слишком много содеяно насилий, страсти чересчур возбуждены, все основы права чересчур попраны, дабы м е ж д о у с о б н а я борьба могла быть предотвращена, и таково будет противоположное течение, которое приостановит войну племенную или станет ей помехой. Подобное положение не замедлит обозначиться к весне»[27].

В отношении Франции тютчевское предсказание исполнилось с буквальной точностью: едва прошел месяц со времени написания этих строк, как гражданская война разгорелась.

Тютчев не сумел понять огромного исторического значения Парижской коммуны. За два дня до начала ее кровавой агонии он писал к И. С. Аксакову: «...я не раз собирался писать к вам о том страшном суде, что заживо и при сохранении естественного чина, так просто и так последовательно над человеческим обществом совершается. Но как одолеть словом и даже мыслью подобные события? Одно только выскажу при этом случае. Я теперь только понял это библейское выражение: господь ожесточает сердца строптивых. Этому я каждый день свидетелем. Казалось [бы], что к событиям таковым, как в Париже, всякий мыслящий человек не может отнестись двояко и что эта страшная поверка на деле известных учений не может не убедить кого бы то ни было. Оказывается далеко не то: я встречаю здесь людей серьезных, ученых и даже нравственных, которые нисколько не скрывают своего горячего сочувствия к Парижской коммуне и видят в ее действиях занимающуюся зарю всемирного возрождения... Вот над чем можно крепко призадуматься. Не доказывает ли это, что корень нашего мышления не в умозрительной способности человека, а в настроении его сердца? В современном настроении преобладающим аккордом это—принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства. Вот чем мы в с е заражены, все без исключения, и вот откуда идет это повсеместное отрицание в л а с т и, в каком бы то виде ни было. Для личного произвола нет другого зла, кроме власти, воплощающей какой-либо принцип, стесняющий его. И вот почему блаженни нигилисты, тии бо наследят землю до поры, до времени»[28].

Резко враждебное чувство к Коммуне, однако, не помешало Тютчеву понять, что врагам ее нечего противопоставить ей, кроме грубой силы. Уже в первые недели существования Коммуны он писал: «Возможно, что и на сей раз европейское общество не даст нападающим поработить себя, н о у ж е в н е м н е т т о г о, ч т о м о г л о б ы п о б е д и т ь и х и с д е р ж и в а т ь» [разрядка моя—*К. П.*][29].

И, действительно, разгром Коммуны соединенными усилиями «победившей и побежденной армии» означал, по словам Маркса, не что иное, как «полнейшее разложение старого буржуазного общества»[30].

## II. ТЮТЧЕВ О ТРЕТЬЕЙ РЕСПУБЛИКЕ.—ПЕРЕПИСКА ТЮТЧЕВА с Е. Э. ТРУБЕЦКОЙ О ТЬЕРЕ.—ТЮТЧЕВСКАЯ ПРОПАГАНДА ФРАНКО-РУССКОГО СБЛИЖЕНИЯ

В ноябре 1870 г. Тютчев получил от К. Пфеффеля рукопись небольшой статьи, предназначавшейся им для монархически-клерикальной газеты «L'Union». Опасаясь, что в обстановке «республиканского терроризма» этой статейке не будет дано хода, Пфеффель решил переслать ее в Россию, в надежде, что там она сможет приютиться на столбцах официозного органа министерства иностранных дел «Journal de St.-Pétersbourg». С просьбой оказать покровительство его статье и обращался Пфеффель к Тютчеву.

При этом он указывал ему на то, что набросанные им на бумагу размышления «не содержат положительно ничего нового и что то же самое, но лучше и красноречивее, уже высказал пятьдесят шесть лет тому назад г. Шатобриан. Но г. Шатобриана больше не читают, и для того, чтобы впавшие в забвение идеи и истины вновь могли подняться на поверхность, они должны быть повторены устами современников»[31].

И действительно, к самому заглавию рукописи Пфеффеля «Quelques réflexions sur l'état actuel de la France» («Краткие размышления о настоящем

положении Франции») с успехом пристала бы вторая половина заглавия шатобриановской брошюры: «...des Bourbons et de la nécessité de se rallier à nos princes légitimes pour le bonheur de la France et celui de l'Europe» («...о Бурбонах и о необходимости сплотиться вокруг наших законных государей для счастия Франции и всей Европы»).

По мнению Пфеффеля, Франция «всеми своими успехами обязана старой монархии, а своими превратностями — различным правительствам, исходившим от революции, принципом коей является верховенство народа, последним же словом—всеобщее избирательное право». Единственным якорем спасения для Франции Пфеффель считает восстановление «наследственной монархии» Бурбонов. Но эта реставрация возможна лишь при условии полюбовного соглашения между легитимистами и орлеанистами. И Пфеффель недоумевает: из-за чего ссориться? Разве Орлеаны не являются законными преемниками графа Шамбора? Будет и на их улице праздник.

Но одной реставрации недостаточно. Есть еще мера, которую лелеет автор этой ультрареакционной статьи: это административная децентрализация и, как крайнее, но неотложное средство, своего рода «кесарево сечение»,—лишение Парижа звания столицы. Как видим, Пфеффель предлагал то же самое, чем несколько времени спустя грозили парижанам версальцы—décapiter et décapitaliser Paris.

Когда Э. Ф. Тютчева сообщила Пфеффелю отрицательный ответ редактора «Journal de St.-Pétersbourg», Тютчев поручил ей передать ее брату, что если нельзя напечатать статью в том виде, в каком она вышла из под его пера, то лучше совсем воздержаться от ее обнародования. Оказывается, и Тютчев по своем возвращении из-за границы высказывал пожелания, впрочем, не считая их осуществимыми, насчет возвращения Бурбонов во Францию[32]. К Тютчеву, а к Пфеффелю тем более, вполне применимы слова Маркса о «представителях легитимистского суеверия, как последнего талисмана от анархии»[33].

Отказ редактора петербургского официоза напечатать статью Пфеффеля весьма знаменателен. Про «Journal de St.-Pétersbourg» говорили, что он «отличается сдержанностью и осторожностью старого дипломата»[34]. В данном же случае эта сдержанность и осторожность находились в полном соответствии с уклончивой политикой царского правительства по отношению к Франции и его нежеланием словом или делом высказать свое определенное мнение по поводу текущих событий.

Вплоть до начала 1871 г. направление русской внешней политики оставалось попрежнему пруссофильским. Однако, довольно скоро вызывающее поведение Бисмарка, свидетельствовавшее о сильно возросшем политическом значении Германии, начало возбуждать опасения русских дипломатов. Эти опасения подогревались наметившейся к этому времени «склонностью» к Пруссии со стороны Австрии[35].

Между тем, буржуазно-республиканское правительство Франции, всячески заигрывавшее с царской Россией, достаточно зарекомендовало себя перед ней своим образом действий по отношению к Коммуне, чтобы вопрос о республиканской или монархической форме правления во Франции мог сохранять свое прежнее значение. Парижская коммуна в деле сближения официальной Франции с официальной Россией сыграла ту же роль, какую некогда сыграло польское восстание в деле сближения последней с бисмарковской Пруссией. Уже 23 марта 1871 г. французский предста-

витель в Петербурге, по поручению Горчакова, сообщает в Версаль, что в «республиканском» правительстве Франции канцлер видит «е д и н с т в е н н о в о з м о ж н о е»[36].

В связи с этим поворотом в отношении русского правительства к Франции особый интерес приобретают тютчевские высказывания о «республике господина Тьера», до известной степени отражающие ту «кампанию», которая развернулась в околоправительственных кругах в пользу франко-русского сближения.

«Легитимистское суеверие» Тютчева было весьма кратковременным. Едва ли даже не стало оно с у е в е р и е м и в его собственных глазах.

Е. Э. ТРУБЕЦКАЯ
Карикатура И. А. Всеволожского
Исторический музей, Москва

По крайней мере, 15/27 июля 1872 г. он писал одной из своих светских знакомых: «...Нельзя скрывать от себя, что при современном состоянии умов в Европе то из европейских правительств, которое решительно взяло бы на себя почин в деле великого преобразования, открыв республиканскую эру в европейском мире, сделало бы значительный шаг вперед по сравнению со своими соседями—друзьями и недругами. Ибо чувство преданности династии, без которого нет монархии, повсюду слабеет, и если порою происходят обратные проявления, то это лишь в с п л е с к в общем великом течении»[37].

Письмо это обращено к княгине Елизавете Эсперовне Трубецкой, урожденной княжне Белосельской-Белозерской (1830—1907), известной в петербургском большом свете и в салонах Второй империи под уменьшительным именем Lise или Lison. «Крошечная ростом, но исполин честолюбием» (как отзывается о ней злой на язык кн. П. В. Долгоруков[38]),

кн. Трубецкая хотела во что бы то ни стало играть политическую роль, иметь влиятельный политический салон. В Париже она водила дружбу с Гизо, Тьером, Жирарденом, а в Петербурге—с Горчаковым и Тютчевым. В России у нее было мало друзей и много недоброжелателей, людская молва считала ее интриганкой. Ее длительные пребывания за границей и ее страсть к политике подали повод заподозрить princesse Lise в том, что она была тайным агентом русского министерства иностранных дел.

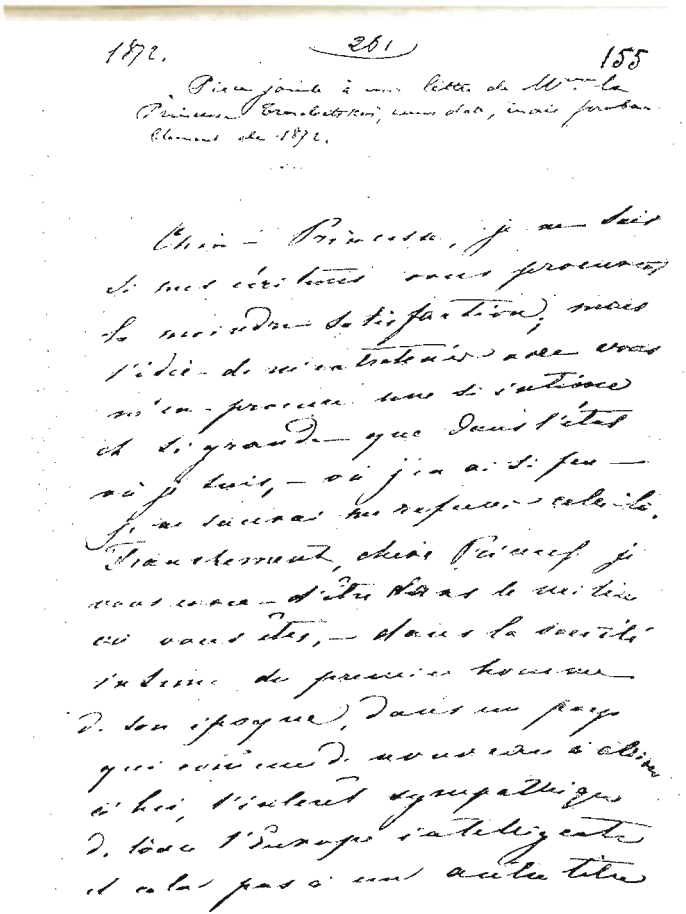
Судя по неизданным письмам кн. Трубецкой к Горчакову и к Тютчеву, казалось бы, этот слух не лишен некоторых оснований. «Среди различных интересов, которые я имею в Париже, нет для меня большего, как создавать для моей страны пламенных защитников»,—пишет она однажды Горчакову[39]. «...Пожелайте мне сил, чтобы жить на благо ближнему, как я и делаю»,—обращается она к Тютчеву[40]. В другой раз она сообщает ему же свои впечатления от только что выслушанной ею речи Тьера, прося своего корреспондента «передать их князю» (т. е. Горчакову)[41].

Состояла ли она настоящим агентом на содержании у правительства или же предавалась лишь своей неутомимой жажде политической интриги,—на этот вопрос мы еще лишены возможности ответить с полной определенностью.

Но если Lison Трубецкая формально и не была тем, чем являлся, скажем, Яков Толстой, то ее с успехом можно было назвать исполняющей обязанности русского негласного агента в Париже. Едва ли не так и смотрел на нее Горчаков, для которого небесполезно и уж, во всяком случае, небезынтересно было иметь за кулисами дипломатии эту усердную поставщицу политических сплетен, к тому же глубоко проникнутую сознанием своего собственного значения. Но Горчаков знал ей цену. Под видом комплимента он подчас преподносил ей не очень-то лестные истины: «Я получил ваше письмо; это фейерверк, который ослепляет... но не освещает»[42].

Знал ей цену и Тютчев. Подсмеиваясь и иронизируя над ней, он все же охотно поддерживал с ней дружбу. Трубецкая была для него как бы «собственным корреспондентом», а близость ее к Тьеру (недаром ее так и называли: l'amie de monsieur Thiers) и к некоторым другим видным деятелям республиканской Франции придавала ее сообщениям не малый политический интерес. Сам же Тютчев не раз обращался к ней с программными письмами, зная прекрасно, что содержание их дойдет по назначению.

Летом 1872 г., отвечая на неизвестное нам письмо Трубецкой, Тютчев пишет: «Ваше пребывание в Париже, главным образом благодаря вашим отношениям к Тьеру, вероятно, было для вас, любезнейшая княгиня, полно живейшего интереса, и прочитанная мною в одном из ваших писем оценка этого прекрасного человека и человека редкого ума в его борьбе с глупостью и извращенностью, эта оценка по всем пунктам совпадает с моей. Тьер самым решительным образом опровергает известную русскую поговорку: один в поле не воин; он и есть этот воин, столь одинокий и, тем не менее, столь воинственный. Никогда, кажется, значение человеческой личности не было лучше доказано. Что же, если он успеет в своем деле, если ему удастся установить во Франции возможную и жизнеспособную республику, то одним этим фактом он возвратит своей родине ее



1872. 261 155

Pièce jointe à une lettre de Mme la Princesse Trembetzkoi, sans date, mais probablement de 1872.

Chère Princesse, je ne sais si mes écritures vous procurent la moindre satisfaction; mais l'idée de m'entretenir avec vous m'en procure une si intime et si grande que dans l'état où je suis, — où j'en ai si peu — je ne saurai me refuser celle-là. Franchement, chère Princesse je vous envie d'être dans le milieu où vous êtes, — dans la société intime du premier homme de son époque, dans un pays qui comme de nouveau à cause à lui, l'intérêt sympathique de toute l'Europe intelligente et cela pas à un autre titre

157

mais quelquefois une opération chirurgicale est indispensable pour sauver la vie du malade. Chère Princesse, vous qui êtes aux premières loges pour voir et pour bien voir, faites-nous un peu de lumière sur la situation. Je suis obligé de m'interrompre, mais ce qu'il me serait impossible d'interrompre c'est de vous aimer et de soupirer après vous.

[illegible]

ПИСЬМО Ф. И. ТЮТЧЕВА К Е. Э. ТРУБЕЦКОЙ, ПЕРЕСЛАННОЕ ЕЮ ТЬЕРУ В АПРЕЛЕ 1873 г.

Письмо написано неизвестной рукой под диктовку Тютчева

Страницы первая и последняя

Национальная библиотека, Париж

былое преобладание...» (далее следуют строки о республиканской эре, приведенные выше.—*К. П.*)[43].

«Итак, вы возвращаетесь в Париж или, лучше сказать, вы едете к г. Тьеру,—пишет Тютчев своей корреспондентке два месяца спустя,—вы будете присутствовать при одном из самых великих в истории деяний, к каким когда-либо были приложены ум и воля человеческие. Да обретет он успех, коего так заслуживает!.. В самом деле, кто же в Европе может сомневаться в настоящее время в том, что, только став республикой (такой, как ее мыслит г. Тьер), Франция перестанет быть революционной и что всякий династический принцип в этой стране является только лишним источником революционного брожения... Итак, желаю успеха республике г. Тьера, ибо Европе и особенно России нужна упорядоченная и сознающая самое себя Франция»[44].

Несомненно, что отношение Тютчева к Третьей республике определялось во многом его отношением к германскому милитаризму и что в основе тютчевской пропаганды франко-русского сближения коренилось убеждение в необходимости оборонительного союза против Германии. Правда, это нигде не высказано Тютчевым прямо, но легко читается между строк. Это убеждение Тютчева вполне совпадало и с точкой зрения Горчакова[45].

Деятельной поборницей франко-русского сближения выступала и кн. Е. Э. Трубецкая. Одно из ее писем к Тьеру на эту тему, которое она, повидимому, представила на одобрение Тютчева (текст письма нам неизвестен), дало повод последнему изложить в письме к ней свое profession de foi по данному вопросу. Письмо это не поддается точной датировке.

Любезнейшая княгиня,

Ваше письмо с о в е р ш е н н о и не оставляет желать ничего лучшего. С таким умным человеком, как Тьер, достаточно намека. Ваше же письмо—больше, чем намек... Действительно, если у Франции есть еще будущее, то одно из самых важных для нее условий—это понять, что такое Россия в ее сущности, в ее исторической миссии.

Только тогда Франция в состоянии будет оценить, до какой степени ее политика в польском вопросе являлась страшной помехой со всех точек зрения, ибо эта политика, неизбежно укрепляя союз России с немецкими державами, очень успешно препятствовала объединению славянской Европы, предназначенной к тому, чтобы быть естественной союзницей латинских рас и, в особенности, Франции. Можно надеяться, что после страшной катастрофы, все перевернувшей в Западной Европе, эта точка зрения станет, наконец, доступной французским умам и явится одним из существенных элементов политического возрождения Франции. Раз эта точка зрения будет твердо усвоена как во Франции, так и в России, наши мнимые прусские симпатии должно будет рассматривать, лишь как разницу между великим течением событий, которое все более и более будет направлять нашу политику в будущем, и случайным всплеском, определяемым в этом великом потоке преходящими влияниями.

Вот, любезнейшая княгиня, на какой вопрос ваше письмо к Тьеру должно привлечь внимание этого проницательного ума, постигшего так много и непрестанно продолжающего постигать. Что же касается нас, то мы не могли бы иметь перед ним лучшего истолкователя, чем вы, у которой

столько чуткости и столько инициативы. Это, вероятно, и вызывает против вас мелочное раздражение со стороны некоторых посредственностей, на которые излишне точно указывать.

Примите, любезнейшая княгиня, выражение моей признательности за сообщение, а также мой почтительный привет.

Тютчев[46]

Следующее письмо Тютчева к Трубецкой относится уже ко времени его предсмертной болезни:

Любезнейшая княгиня,

Не знаю, доставляют ли вам мои писания наималейшее удовлетворение, но мысль побеседовать с вами доставляет мне столь глубокое и большое, что в том состоянии, в каком я нахожусь—имея так мало удовольствий,— я не смог бы отказать себе в этом. Поистине, любезнейшая княгиня, я завидую тому, в какой среде вы вращаетесь, в близком обществе первого человека своей эпохи, в стране, снова начинающей привлекать к себе сочувственное внимание всей разумной Европы исключительно потому, что эта страна является бранным полем поединка, героем коего выступает этот человек,—ибо никогда еще борьба между добром и злом, составляющая основу жизни мира, не была более острой, ни более драматичной, так как она никогда не сводилась к меньшему числу действующих лиц. В самом деле, с одной стороны—человек, вооруженный своим умом и своей доброй волей, с другой—в борьбе против него—целый мир злых страстей, порочных инстинктов. Находясь так далеко, мы с трудом постигаем слепую и страстную ярость врагов г. Тьера, с одной стороны, а с другой, спокойное и мудрое величие, которое он неустанно им противопоставляет, тогда как для того, чтобы их погубить, ему достаточно было бы отнять свою руку, ибо какой умный человек во Франции не сознает, что образ правления г. Тьера есть последний этап исторической жизни Франции, потому что ее падение ознаменует начало окончательных катастроф, беспощадных кар. Ах, Франции пришлось много пострадать, но иногда хирургическая операция бывает необходима для спасения жизни больного.

Любезнейшая княгиня, вы, которая занимаете у самой сцены удобное место для того, чтобы видеть, и чтобы хорошо видеть, разъясните нам положение. Я вынужден прервать письмо, но чего я не в состоянии был бы сделать, это перестать, хотя бы на время, любить вас и вздыхать по вас.

Ф. Тютчев

Это письмо обнаружено в бумагах Тьера, хранящихся в парижской Национальной библиотеке. Оно написано неизвестной рукой, по всей вероятности, под диктовку больного Тютчева. Не исключена, впрочем, возможность, что это копия, специально сделанная для Тьера, но не самой Трубецкой, почерк которой отличается от почерка письма. Во всяком случае, публикуемый текст является в настоящее время единственным текстом письма, которым мы располагаем.

Хотя на рукописи и имеется помета: «Документ, приложенный к письму княгини Трубецкой, без даты, но вероятно 1872 г.», совершенно очевидно, что письмо Тютчева относится к 1873 г. и написано не позже первой половины апреля нового стиля. Несомненно, что именно об этом письме Тютчева говорит Тьер в записке к кн. Трубецкой от 27 апреля 1873 г.:

Дорогая княгиня,

Благодарю вас за письмо, которое вы мне сообщили и которое меня глубоко тронуло. Одного нехватало мне в доставленном вами удовольствии, это—возможности прочесть имя автора письма. Будьте столь добры перевести его со скорописи на почерк разборчивый. Простите мне эту неприличную просьбу. Самый красивый почерк обычно наименее разборчив, свидетельством чему служит мой почерк—отвратительный и четкий.

Сердечно ваш
А. Тьер [47]

Письмо Тютчева было получено в Париже в тот самый момент, когда правительство Тьера вступало в полосу кризиса. Двоякого рода противники поднялись против буржуазно-консервативной республики Тьера: с одной стороны, монархисты всех трех мастей, с другой—«крайние левые» республиканцы, противопоставившие лозунгу Тьера «la république sans républicains» («республика без республиканцев») программу: «la république républicaine» («республиканская республика»). 27 апреля 1873 г.—как раз в тот самый день, к которому относится вышеприведенная записка Тьера к Трубецкой,—правительство потерпело решительное моральное поражение: на дополнительных выборах в Национальное собрание буржуазный радикал Бароде, поддержанный «крайней левой» («l'Extrême Gauche»), одержал перевес над кандидатом правительства и республиканской «левой» («la Gauche»)—Ремюза. Выборы Бароде дали козырь в руки «правых»: последние не замедлили истолковать этот факт, как доказательство бессилия Тьера положить предел развитию радикализма.

Ответное письмо Трубецкой Тютчеву от 5 мая 1873 г. дает подробный отчет об этих выборах и создавшейся в Париже политической обстановке. Приводим отрывок из этого письма:

«Вам было суждено, дорогой г. Тютчев, воскресить эти слова Вольтера: свет воссиял нам с Востока [48]. Ибо ваше письмо, подобно солнечным лучам, явилось согреть сердце знаменитого человека, которому судьба даровала, повидимому, грустную честь изведать на себе старинное присловье: не бывает пророк без чести, разве в отечестве своем и в доме своем.

Неблагодарность французского общества по отношению к г. Тьеру не имеет границ. Пользуются каждым плохим поводом, чтобы вызвать, как сейчас, искусственное брожение.

По-моему, дело с выборами является успехом для республики. Никогда ни один кандидат монархических партий не получил бы 140 тысяч голосов. Общественному мнению надлежало бы успокоиться на этом торжестве Ремюза. Но нет, оно станет будоражить подонки общества, которым нет числа. Париж никогда не избирал иначе. Всегда мерзкие выборы, особенно при империи. Горестный ход поражений Франции не исчерпался: в этой палате из 700 членов 500 монархистов. Они не могут создать никакой монархии. Г-н Тьер в этом уверен,—г. Тьер любит Республику,—г. Тьер любит либералов, и они в нем нуждаются. Либералы голосовали против него и, я очень этого опасаюсь, лично ему враждебны в настоящую минуту из-за Комиссии тридцати, члены которой неизвестно почему антипатичны всем, а также правительству [«Комиссия тридцати» была образована при Национальном собрании для

ПРОХОЖДЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ ПЕРЕД ИМПЕРАТРИЦЕЙ ЕВГЕНИЕЙ
Рисунок Э. Месонье, 1867 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

выработки проекта конституции и состояла по преимуществу из «правых».— *К. П.*]. Какое осложнение! Однако, он из него выпутается и, пока захочет, удержит власть! Но при условии пуститься, как сегодня, на кажущиеся уступки, дабы внешне уменьшить свое значение.

Он займет определенное положение только после роспуска, который состоится, несомненно, до окончания года. Вы будете удивлены тем, что я сама поощряла г. Тьера о п р о к и н у т ь с я в п р а в о, как говорит Жирарден. Что делать—у него не было выбора, большинство составляет здесь все. Сейчас он чувствует себя неловко, но недели через две каникулы палаты положат предел его неприятностям. По моему мнению и по желанию герцога де Брольи, ему не следовало бы присутствовать на этих прениях, поистине оскорбительных для него. Что хотите! Любовь к парламентаризму берет верх. Он присутствует, и во всю его долгую жизнь ничто не было ему так тягостно, как то, что ему пришлось примириться с ограничениями, предписанными его словам! Я не верила этому до сегодняшнего утра. Старик в самом деле трогателен своим самоотвержением и находчивостью своего ума...»[49].

Как видим, Трубецкая настроена оптимистически. Даже провал кандидатуры Ремюза представляется ей в своем роде «успехом». Эта способность видеть все в радужном свете не оставляет ее. Еще 21 мая, за три дня до падения правительства Тьера, она сообщает Тютчеву, что президент не испытывает опасений («on n'est pas inquiet à la Présidence») и что «изложение» его политики встретит одобрение страны[50].

Вместо этого 24 мая монархическое большинство Национального собрания вотировало порицание главе «консервативнейшей из республик» за недостаточную охрану «консервативных интересов». Тьер в тот же день подал в отставку. Президентские полномочия были переданы монархисту и клерикалу маршалу Мак-Магону.

Под живым впечатлением падения Тьера Тютчев продиктовал жене следующее письмо к кн. Е. Э. Трубецкой:

14/26 мая 1873 г.

Княгиня,

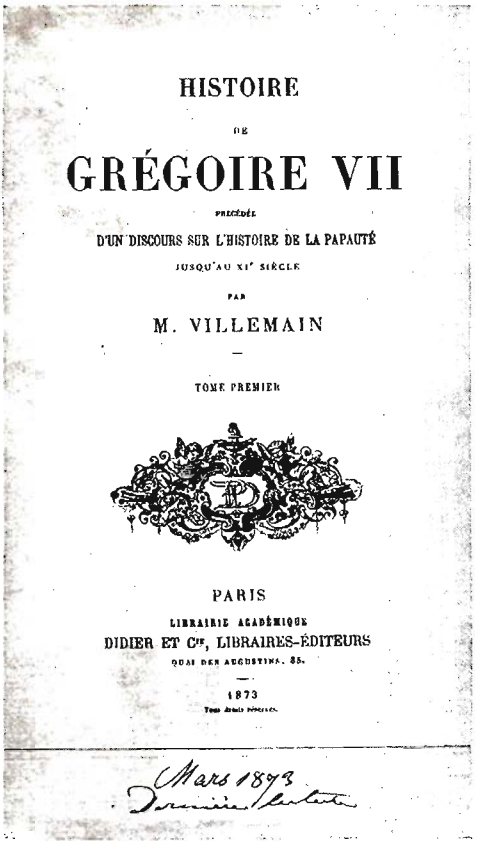
Катастрофа, только что происшедшая в Париже,—повторение февральской революции—та же порывистость, та же недальновидность, та же французская f u r i a, что и тогда. Но на сей раз последствия будут еще гибельнее, и я считаю, что Франция вступила в круг последних роковых опытов и для нее уже нет возврата. Такова уж будет судьба Тьера—после людей, давших ему повод к справедливым нареканиям, ему придется посетовать и на своих отомстителей—богов: так далеко они зайдут в своей мести.

Что нам здесь представляется совсем уже жалким, это выборы Мак-Магона, которого смогли принять за серьезного политика потому, что генерал он посредственный. Он-то и вызовет взрыв, так как ему суждено выступить в роли Монка, притом в пределах, допускающих любые перевороты и мятежи.

Бедная Франция! И печальнее всего то, что теперь уже мир, при виде ее новых бедствий, не преминет сказать: «Поделом, они получили по заслугам».

С самого детства интересуясь Францией, я всегда был убежден, что она увидит провал Великой Революции, не дождавшись ее столетней годов-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ ВИЛЬМЕНА „HISTOIRE DE GREGOIRE VII"
Надпись рукой жены Тютчева: „Март 1873. Последнее чтение [Тютчева]"
Музей Тютчева, Мураново



HISTOIRE

DE

GRÉGOIRE VII

PRÉCÉDÉE

D'UN DISCOURS SUR L'HISTOIRE DE LA PAPAUTÉ

JUSQU'AU XI^e SIÈCLE

PAR

M. VILLEMAIN

TOME PREMIER

PARIS

LIBRAIRIE ACADÉMIQUE

DIDIER ET C^ie, LIBRAIRES-ÉDITEURS

QUAI DES AUGUSTINS, 35.

1873

Mars 1873

щины. Осталось только 16 лет до рокового срока, но политические партии Франции сумеют использовать это время, и в конце концов будет признано, что все эти философические взгляды на революцию были чистейшей нелепостью—близорукой философией, навязанной, как аксиома, невежественной толпе. Это рак, который выдавали за болезнь роста.

Я понимаю, милая княгиня, интерес, который для вас представляет непосредственное наблюдение за развертыванием событий, но, бога ради, берегитесь, помните Плиния-старшего[51] и остерегайтесь лавы, которая потечет.

Мы сейчас заняты здесь чествованием шаха персидского. Что до меня, все эти полудикие азиаты внушают мне только ужас и отвращение. Они производят на меня то же впечатление, что производит на человека обезьяна. Кабы еще вы были здесь среди нас, милая княгиня, живым подтверждением существования нашей туземной цивилизации... Но когда это сбудется?

Благоволите засвидетельствовать мое почтение г. Тьеру. Если ему и не повезло в прошлом, он восторжествует в глазах потомства.

Я передал ваше письмо канцлеру, который не преминет написать вам.

Примите уверение в совершенном почтении и уважении.

Ф. Тютчев[52]

Это письмо, так же как и предыдущее, было переслано Трубецкой Тьеру 31 мая 1873 г. со следующей запиской: «Позвольте мне, дорогой

господин Тьер, сообщить вам это письмо моего петербургского корреспондента—я присоединю к нему лишь чувства моей искренней преданности»[53].

Несмотря на любезные фразы, которые Тютчев расточает в этом письме по адресу Тьера, последние парижские события, и, в частности, выборы Бароде, были в его глазах симптомом того, что Тьеру не удалось создать «жизнеспособную республику». Как усердный читатель «Journal de St.-Pétersbourg», Тютчев не мог не обратить внимания на то, что подавляющее количество голосов за Бароде было подано рабочими. «Среди этих масс,—сообщал по этому поводу петербургский официоз,—оставалась еще неутоленная доля ненависти и злопамятства по отношению к „версальцам“»[54]. И перед красным призраком Коммуны Тютчев склонен рассматривать состоявшееся в апреле 1873 г. свидание Горчакова с Бисмарком, как «своего рода естественный конгресс, созванный по определению исторического промысла Европы», дабы «в подобный момент» ее «наблюдающие умы были вместе и имели возможность действовать заодно».

От этих строк из письма Тютчева к Горчакову[55] веет архивной пылью времен Священного союза. Можно подумать, что малейшего намека на успехи революции достаточно для Тютчева, чтобы ухватиться за прежний талисман. Не он ли сам утверждал незадолго до того, по поводу съезда трех императоров в Берлине осенью 1872 г., что возрождение Священного союза было бы отныне «и невозможно и бесцельно»?[56]. Тютчев прекрасно сознавал, что монархический Священный союз был выгоден для царской России только тогда, когда раздробленная Германия была у нее под башмаком. Теперь же объединенную под гегемонией прусских юнкеров Германию не так-то было легко упрятать под башмак. А насчет большой угрозы, которую представлял для России германский милитаризм, Тютчев не сомневался ни минуты.

В свете всех этих данных, цитированное письмо Тютчева к Горчакову—перефразируя собственные слова поэта—можно назвать «случайным всплеском в общем течении» тютчевской корреспонденции семидесятых годов. Проживи он дольше, он неминуемо должен был бы признать, что миролюбивым заверениям Бисмарка грош цена. Да и не сам ли Тютчев еще не так давно, давая характеристику северо-германской повременной печати, писал в своем отчете о деятельности «Комитета цензуры иностранной», председателем которого он состоял:

«Что же касается северо-германской периодической печати, то она, за малым исключением, очень подозрительно относилась к обоюдной дружбе обоих правительств [русского и прусского—*К. П.*]. Виноваты ли в том гг. фон-Бокки, Эккардты и Ширрены, или повлияли другие какие-нибудь пружины, но существующий факт тот, что северо-германская пресса сильно налегала на Остзейский край и напевала то «Wacht an der Düna», то «Wacht an der Weichsel». Самые же ярые журналы этим не ограничивались и во имя «Drang nach Osten» непрочь были запрятать Россию за Урал. Разгулявшемуся милитаризму стало душно в нынешней узенькой рамке, хотя на север, на юг и на запад она в последнее время порядочно-таки пораздвинулась; ему хотелось простора, и где же его искать, как не на Востоке, по ту сторону «Weichsel» и «Düna»?[57].

Заканчивая настоящий очерк, мне хочется напомнить читателю следующее признание Тютчева: «Бывают минуты, когда я задыхаюсь от своей бессильной прозорливости, подобно заживо погребенному, который при-

ходит в себя»[58]. Вот эта «п р о з о р л и в о с т ь» и придает тютчевским письмам такую большую историческую цену.

Но, независимо от их чисто исторического значения, от их тесной связи с определенными политическими событиями, многие высказывания Тютчева до сих пор не утратили известной злободневности и о с т р о т ы. Невольно приходят на память слова, сказанные о Тютчеве И. С. Аксаковым: «В сроке и способе разрешения поставленных Тютчевым [вернее, историей—*К. П.*] вопросов ему приходилось нередко и ошибаться... Но... время не упразднило самих вопросов, а многие из них поставило еще резче»[59].

И действительно... Франция и Германия и взаимоотношения их с Россией,—правда, уже не с той Россией, апологетом которой был Тютчев,—разве и поныне, при изменившихся исторических условиях, не привлекает этот вопрос нашего внимания? А это как раз один из тех вопросов, которые стояли всегда в центре внимания Тютчева.

## ПРИМЕЧАНИЯ

В тех случаях, когда при ссылках на архивные материалы не отмечено: «подлинник по-русски», подразумевается, что документ написан на французском языке. Переводы выполнены Е. В. Герье, Е. И. Пигаревой и К. В. Пигаревым. Ввиду частых ссылок на архив Мурановского музея имени Ф. И. Тютчева и на отдел рукописей Публичной библиотеки СССР имени Ленина, приняты сокращенные обозначения: *МА.* и *ЛБ.* Письма Тютчева к жене Э. Ф. Тютчевой и к бар. К. Пфеффелю, ранее напечатанные с большими пропусками и неточностями, цитируются по подлинникам с одновременной отсылкой к печатному тексту. В случае полного совпадения печатного текста с подлинником, указывается только первый.

[1] Письмо М. Ф. Бирилевой к Д. Ф. Тютчеву от 10/22. VII. 1870 г.—*МА.* Подлинник по-русски.

[2] Письмо к жене от 6/18. VII. 1870 г.—*ЛБ*, 7807.—«Старина и Новизна», XXII, 259—260.

[3] *МА.*

[4] См. письмо А. Ф. Аксаковой к Е. Ф. Тютчевой от 30. VII/11. VIII. 1870 г.—*МА.*

[5] V o g u ë (M e l c h i o r d e), La poésie idéaliste en Russie. F. I. Tutchef—«Regards historiques et littéraires», 293.

[6] А к с а к о в И. С., По поводу речи Наполеона III 23 октября 1863 г.—Сочинения, VII, М., 1887, 3 и 5. Ряд статей Аксакова о Второй империи, помещенных в газетах «День» 1863—1864 гг. и «Москва» 1867 г., см. там же, 12—24, 31—41, 41—52, 94—99, 100—106, 117—124, 169—175.

[7] *МА.*

[8] *МА.*

[9] Письмо к Д. Ф. Тютчевой от 1/13. VIII. 1870 г. из Тёплица.—*МА.*

[10] «Старина и Новизна», XXII, 288—289. Цитирую по подлиннику, принадл. Н. И. Тютчеву.

[11] Письмо К. Пфеффеля к Тютчеву от 24. VIII. 1870 г. из Мюнхена.—*МА.*

[12] Письмо к жене от 14/26. VIII. 1870 г. из Тёплица.—*ЛБ*, 7807.—«Старина и Новизна», XXII, 263.

[13] *МА.*

[14] Письмо к Пфеффелю от 9/21. IX. 1870 г.—«Старина и Новизна», XXII, 289—290. Цитирую по подлиннику, принадл. Н. И. Тютчеву.

[15] Письмо Пфеффеля к Тютчеву от 5. X. 1870 г.—*МА.*

[16] Письмо к нему же от 19. X. 1870 г.—*МА.*

[17] «Парижская коммуна», сборник статей под редакцией и с предисловием Н. М. Лукина, М.—Л., Партиздат, 1932, 216.

[18] Письмо к жене от 20. IX/2. X. 1870 г.—«Старина и Новизна», XXII, 265.

[19] Т а м ж е.

[20] Письмо к жене от 27. IX/9. X. 1870 г.—*ЛБ*, 7807.—«Старина и Новизна», XXII, 266.

[21] Письмо к ней же от 9/21. X. 1870 г.—Т а м ж е, 267.

[22] Письмо к ней же от 15/27. X. 1870 г.—*ЛБ*, 7807. В «Старине и Новизне», XXII, 268, эти строки пропущены.

[23] Письмо к Пфеффелю от 25. X/6. XI. 1870 г.—«Старина и Новизна», XXII, 291. Цитирую по подлиннику, принадлежащему Н. И. Тютчеву.
[24] Неизданная заметка о Тютчеве.—*МА.*
[25] Письмо от конца февраля—начала марта 1871 г.—*МА.*
[26] *МА.*
[27] *МА.*
[28] Письмо от 7/19. V. 1871 г.—*МА.* Подлинник по-русски.
[29] Письмо к А. Ф. Аксаковой от 27. III/8. IV. 1871 г.—*МА.*
[30] Маркс К., Избранные произведения, Партиздат, 1935, II, 415.
[31] Письмо Пфеффеля к Тютчеву от 7. XI. 1870 г.—*МА.*
[32] См. письмо Э. Ф. Тютчевой к Пфеффелю от 19. XI/1. XII. 1870 г.—*МА.*
[33] Маркс К., Избранные произведения, Партиздат, 1935, II, 308.
[34] Vasili (Paul), comte, La Société de Saint-Pétersbourg, 6-e éd., P., 1886, 301.
[35] См. депешу французского поверенного в делах в Петербурге Габриака от 19. I. 1871 г.—Сборник «Парижская коммуна», 212.
[36] Там же, 222.
[37] Письмо к кн. Е. Э. Трубецкой.—*МА.* Цитировано в книге И. С. Аксакова «Биография Ф. И. Тютчева», М., 1886, 163.
[38] Долгоруков П. В., Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта, М., изд. «Север», 1934, 279.
[39] Письмо Трубецкой к Горчакову от 30. XII/11. I. 1862 г.—*ГАФКЭ.*
[40] Письмо Трубецкой к Тютчеву от 21. V. 1873 г.—*МА.*
[41] Письмо к нему же от 4. III. 1873 г.—*МА.*
[42] Заметка кн. К. А. Горчакова, приложенная к письмам Трубецкой к А. М. Горчакову.—*ГАФКЭ.*
[43] Письмо от 15/27. VII. 1872 г.—*МА.*
[44] Письмо от 22. IX/4. X. 1872 г.—*МА.*
[45] См., напр., письмо Горчакова к Трубецкой от 10/22. IV. 1864 г.
[46] *МА.*
[47] Извлечено Б. М. Энгельгардтом из бумаг Трубецкой, хранящихся в Институте литературы Академии наук СССР, Ленинград.
[48] Неточно приведенная строка из послания Вольтера к Екатерине II («Elève d'Apollon, de Thémis et de Mars»): «C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière» («Ныне свет воссиял нам с Севера»).
[49] *МА.*
[50] *МА.*
[51] Плиний-старший, знаменитый римский естествоиспытатель, погиб во время извержения Везувия в 79 г.
[52] Извлечено из бумаг Тьера, хранящихся в Национальной библиотеке в Париже.
[53] Извлечено из бумаг Тьера.
[54] «Journal de St.-Pétersbourg» от 17/29. IV. 1873 г.
[55] Письмо к Горчакову от 21. IV/3. V. 1873 г.—«Литературное Наследство», вып. 19—21, 252.
[56] Письмо к Трубецкой от лета 1872 г.—*МА.*
[57] ЛОЦИА. Фонд: Главное управление по делам печати, II отд., 1871 г., д. № 154, лл. 331—339. Von Bock Вольдемар (р. 1816)—лифляндский публицист; в конце 60-х годов издал в Берлине несколько выпусков «Livländische Beiträge», в которых полемизировал с Ю. Ф. Самариным по поводу его книги «Окраины России». Бокк являлся также автором книги «Der deutsch-russische Konflikt an der Ostsee», Leipzig, 1869, и др. Eckardt Юлиус (1836—1908)—уроженец Лифляндии, переселившийся в Германию и редактировавший там ряд периодических изданий. При жизни Тютчева вышли отдельными изданиями следующие труды Эккардта: «Die baltischen Provinzen Russlands» (1869), «Jungrussisch und altlivländisch» (1871) и «Russlands ländliche Zustände seit Aufhebung der Leibeigenschaft» (1870) и др. Schirren Карл-Христиан-Гергардт (1826—1910)—остзейский историк, отстаивавший немецкие интересы в Остзейском крае; с 1859 г. занимал кафедру истории в Дерптском университете; смещен в 1869 г. за брошюру, направленную против политики русского правительства в Остзейском крае.
[58] Письмо к жене от 18/30. VIII. 1854 г.—«Старина и Новизна», XIX, 129—130.
[59] «Биография Ф. И. Тютчева», op. cit. 134.

# ВИКТОР ГЮГО И ЕГО РУССКИЕ ЗНАКОМСТВА

## ВСТРЕЧИ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ.

Статья М. П. Алексеева

История международного влияния Гюго далеко еще не разработана: многолетние и многообразные связи и взаимоотношения великого французского писателя-демократа с представителями различных стран, политическими и общественными деятелями, писателями, артистами, художниками и музыкантами, история его творческого воздействия на отдельные литературы Запада—едва начаты изучением (ср. «V. Hugo et le degré d'universalité de son œuvre» в «Revue de littérature comparée», 1926, 3, 519).

Литература о Гюго и России не составляет исключения: она крайне немногочисленна и далеко не охватывает вопроса во всей его сложности. Несколько случайных сопоставлений, главным образом, для раннего периода знакомства с Гюго в России (Пушкин, Лермонтов, Полежаев, Бестужев-Марлинский), о которых еще Дюшень в своей книге о Лермонтове справедливо замечал, что они «скупы на точные указания» (Duchesne, E., M. J. Lermontov, P., 305), отрывочные публикации нескольких цензурных дел о Гюго, освещенных притом с их анекдотической стороны, литературные параллели, произвольно выхваченные из цепи однородных фактов,—таков, незначительный пока по своим результатам, итог первых исследовательских работ о Гюго и русской литературе. А между тем, давно уже было подчеркнуто, что именно в России влияние Гюго сказалось многостороннее, шире и глубже, чем в какой-либо другой стране. На этом настаивал, например, немецкий исследователь Ганс Гейс (Hans Heiss, Neuere Literatur über V. Hugo в «Germanisch-Romanische Monatschrift», Bd. I, 1909, 446—447 по поводу статьи André Le Breton, La pitié sociale dans le roman. L'auteur des «Misérables» et l'auteur de «Résurrection»,—«Revue des Deux Mondes», 15 février 1902, p. 889 ss.). Так ли оно было на самом деле? Действительно ли в России творчество Гюго отозвалось ярче и многообразнее, чем в других литературах Запада? На этот вопрос мы еще не имеем удовлетворительного ответа: его предопределят лишь долгие годы собирания и систематизации материала, изучения и сравнительной оценки. Здесь открывается поистине необозримое поле для работы исследователя. Более чем полувековая литературная и общественно-политическая деятельность Гюго должна быть сопоставлена с различными фактами русской истории за те же пятьдесят лет. Эти сопоставления должны вестись разнообразными путями: предстоит выяснить историю бесчисленных русских переводов из Гюго, еще никем не собранных и не изученных, проследить его влияние

на русскую литературу—поэтическую, прозаическую и драматическую, а также на публицистику, изучить отзывы о Гюго в русской критике, литературной историографии, исследовать влияние его художественных образов на русскую музыку, изобразительное искусство, театр и т. д. Лишь по завершении всех этих предварительных работ, вопрос о взаимоотношении Гюго и русской культуры сможет быть поставлен с бóльшей наглядностью, и можно будет привести его к предполагаемому решению.

Предлагаемые ниже этюды к этой большой исследовательской теме ни в каком случае, естественно, не претендуют ни на полноту ее охвата, ни на исчерпывающую документацию отдельных ее сторон: этому препятствуют и объем данной статьи и недостаточность предварительных частных разработок, на которые можно было бы опереться в сводном и обобщающем труде. Настоящая работа стремится лишь к тому, чтобы облегчить его будущее написание, обозначить подступы к тем путям, по которым она должна будет вестись. Нижеследующие страницы освещают лишь несколько эпизодов указанной темы, в том или ином отношении показавшихся автору любопытными и достойными внимания; биографические эпизоды, документы, обнаруженные в каком-либо из советских собраний, идут здесь рядом с литературными параллелями и библиографическими розысканиями. Вместе с тем, однако, автор хотел подчинить весь собранный материал единому принципу изложения и расположил его хронологически, по этапам жизни Виктора Гюго, имея в виду, главным образом: 1) содействовать изучению биографии Гюго привлечением русских печатных и рукописных источников, в подавляющем большинстве случаев совершенно неизвестных французским исследователям, 2) наметить основные вехи изучения взаимоотношений Гюго и русского общества между 20-ми и 80-ми годами XIX века. В отдельных случаях как планировка некоторых частей настоящей работы, так и, в особенности, введение в них специальных экскурсов, несколько отвлекающих от основной цели исследования, предопределены были нахождением разнообразных *неизданных* материалов о Гюго, от публикации и комментирования которых автор не мог отказаться. Важнейшую группу этих материалов составляют автографы самого В. Гюго, найденные в книжных и рукописных собраниях СССР, еще не описанные и не введенные в научный оборот. Ряд этих автографов (альбомных записей, писем и т. д.) обращены к русским корреспондентам и представляют большой интерес для истории русских знакомств и встреч Гюго, для характеристики его русских читателей. В настоящей статье сделана попытка достичь известной полноты в описании личных связей Гюго с представителями русского общества, и с этой стороны публикация *всех* неизданных автографов Гюго, касающихся его русских отношений, представлялась необходимой.

Среди хранящихся в СССР автографов Гюго значительное место занимают письма и другие документы, не связанные непосредственно с русскими знакомствами писателя. Эта группа документов выделена в *приложение*. Публикация этих материалов принадлежит M-me Cécile Daubray (Париж),—одному из редакторов выходящего сейчас во Франции нового научного издания сочинений Гюго (édition de l'Imprimerie nationale).

Автор считает своим долгом отметить, что осуществление работы, даже в тех скромных рамках, которые он поставил себе, встретились с рядом трудностей, победить которые удалось лишь благодаря содействию редакции «Литературного Наследства».

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

# ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ ГЮГО В РУССКОЙ ПЕЧАТИ.—ПУШКИН И ГЮГО.—ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ ГЮГО С РУССКИМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ В ПАРИЖЕ: А. И. ТУРГЕНЕВ И С. А. СОБОЛЕВСКИЙ.—РУССКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ „ЭРНАНИ".—НАЧАЛО ПОПУЛЯРНОСТИ ГЮГО В РОССИИ.—ГЮГО И РУССКАЯ ЦЕНЗУРА 30-х гг.—„СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ"—ЕГО РУССКИЕ ЧИТАТЕЛИ, КРИТИКИ И ПОДРАЖАТЕЛИ.

Одно из наиболее ранних упоминаний о Гюго в русской печати—заметка о нем «Вестника Европы» за 1824 г., озаглавленная: «О новых одах Виктора Гугона и поэзии романтической»[1]. Эта заметка переведена из «Journal des Débats», но в русском журнале она напечатана с характерным примечанием переводчика: «Виктор Гугон (Victor Hugo), поэт не без дарования, уже был замечен французскими критиками в некоторых шалостях романтических и в уклонении от подчиненности правилам здравого вкуса. У него: слава обитает в ничтожествах; кони солнца ржут под звонкою водою; дыхание Сильфа исторгает из сердца рыцаря не более как осклабление насмешки; у него певец влечет минувшее в будущее. Вышедшее из печати новое собрание од г-на Гугона снова дало повод французским критикам говорить об его сочинениях. Статью одного из них переводим, желая по возможности вразумить наших Гугонов, а читателям доставить удовольствие». Полемическая цель перевода этой статьи подчеркнута самим переводчиком, однако, выражение «наших Гугонов» нужно понимать распространительно, в смысле приверженности к «романтическим шалостям», к вольностям поэтического языка вообще. Подражателей Гюго или поклонников его музы русская поэзия 20-х годов не имела и не могла еще иметь; имя молодого французского поэта мало что говорило его русским собратьям того времени.

Ранний период творчества Гюго, ярко окрашенный в дворянско-монархические и католические тона, прошел у нас незамеченным. Первый поэтический сборник Гюго, его «Odes et Poésies diverses» (1822), в которых автор воспевал Вандею, смерть герцога Беррийского и рождение герцога Бордосского, едва ли представлял какой-либо интерес для русского читателя. Трудно было бы также утверждать с уверенностью, что в России сколько-нибудь внимательно следили за журналом «Conservateur Littéraire» (1819—1821), издававшимся Виктором Гюго вместе с его братьями Абелем и Эженом[2]. Едва ли, поэтому, кем-либо было у нас замечено, что в одну из своих больших стихотворных «Discours» на заданную Французской академией тему, помещенную в третьем выпуске «Conservateur Littéraire», юноша Гюго вложил панегирическую характеристику Петра I—свой, вероятно, первый литературный отклик на русскую тему:

Voyez ce Czar, fameux par sa mâle énergie,
Pierre, pour éclairer ses peuples ignorants,
Descendre à leur niveau, se mêler dans leurs rangs,
Dabord, peu soucieux de sa grandeur suprême
Dans les arts qu'il leur montre il s'est instruit lui-même.
On l'a vu, tour à tour despote et charpentier
En sortant d'un palais, entrer dans un chantier,
Boire avec un marin, serrer la main des princes
Et des arts de l'Europe enrichir ses provinces...[3] и т. д.

Литературный источник этих стихов—«Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand» Вольтера. Менее чем десятилетие спустя тот же Вольтер дал Гюго и другой сюжет—поэмы о Мазепе...[4]

Незначительное внимание русского читателя привлек к себе и второй сборник, «Nouvelles Odes» (1824), тот самый, о котором идет речь в «Вестнике Европы», хотя в нем уже намечался отход от прежних позиций Гюго и в идейно-политическом плане и, особенно, в смысле противопоставления новых поэтических форм старым. Эта книга могла уже больше заинтересовать молодых русских романтиков, вступавших в спор с приверженцами классицизма; тем не менее, у нас ее знали мало. Пушкин, например, зорче других приглядывавшийся к явлениям литературного Запада, притом именно французского, едва ли читал ранние оды Гюго. По крайней мере, в черновиках «Родословной моего героя» есть строки, которые косвенно это подтверждают: «Ламартин, я слышал, тоже дворянин, Гюго—не знаю». Эти слова вряд ли могли быть сказаны, если бы Пушкин держал в руках книги, в которых Гюго деятелей революции 1789 г. называл «кровожадным сенатом» и «позорной ордой убийц» и заявлял, что «человеческая история поэтична лишь тогда, когда на нее смотрят с высоты монархических идей и религиозных верований» (предисловие к «Одам» 1822 г.). С Гюго ближе познакомились в России только с конца 20-х годов, когда он, во многом уже порвав с роялистско-католическими воззрениями своей юности, сделал первые решительные шаги для перехода в лагерь демократии и, вместе с тем, стал одним из вождей либерально-романтического движения. Лишь около этого времени имя Гюго все чаще начинает мелькать в русской переписке, мемуарах, на страницах литературных журналов. Сборники романтической лирики Гюго, начиная с «Les Orientales» (1829), были у нас уже замечены, вызвали споры, нашли своих читателей и переводчиков. Многие вскоре готовы уже были предпочитать Гюго Ламартину, поэту «сладкозвучному и однообразному» (Пушкин), меланхолические элегии которого и стихотворения «малой формы», альбомного типа, пользовались у нас большой популярностью и одно время считались даже типичнейшими созданиями французской романтической школы[5]. Если Гюго своими «Orientales» и лирическими порывами своих «Feuilles d'automne» (1831) увлек русских переводчиков сильнее, чем гармонические «медитации» элегика Ламартина, то с еще бо́льшим интересом, чем к лирике Гюго, отнеслись в России к его романтическим романам, начиная с «Гана Исландца» (1823), и к его романтическим драмам, начиная с «Кромвеля» (1827). Особенно сильное впечатление на русского читателя произвел роман «Последний день осужденного», появившийся в 1829 г., когда в русском обществе еще слишком свежи были воспоминания о казни декабристов. «Собор парижской богоматери» (1831) стал у нас известен тотчас же по своем появлении в Париже и составил целую эпоху в русской литературе. К началу 30-х годов слава Гюго в России находилась в своем зените.

Первые вести о новом светиле французской поэзии получены были в России от тех соотечественников, которые частенько наезжали во французскую столицу и подолгу живали там, вращаясь в светских и литературных кругах. Уже в конце 20-х годов имя Гюго изредка называлось в письмах, посылавшихся из Парижа в Россию. В парижских литературных салонах этой поры русских толпилось множество; лишь Июльская революция 1830 г. поставила некоторые преграды для слишком частых

ВИКТОР ГЮГО

Литография Дюкарма с портрета Леграна, 1828 г.

Внизу приклеен автограф записки Гюго к художнику А. Декану

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

наездов подданных Николая I в Париж и значительно уменьшила их число[6]. В этих салонах русские были желанными посетителями; их любили за светский лоск, общительность и блестящую французскую речь, а иные, как, например, m-me Ансло, вместе с мужем побывавшая в России и отведавшая русского гостеприимства, готова была даже оказывать предпочтение русским перед другими иностранцами, называя их «французами XVIII века», и охотно приглашала к себе. В ее гостиной побывали А. И. Тургенев, кн. П. А. Вяземский, Андрей Карамзин, кн. Элим Мещерский, С. А. Соболевский и многие другие гости из Москвы и Петербурга. Их можно было встретить также у Жюльена, Гизо, m-me Рекамье. В салоне m-me Ансло Гюго появился в середине 20-х годов, «уже знаменитый, уже женатый, несмотря на то, что едва достиг двадцати двух лет»[7]. Несколькими годами ранее перед Гюго открылись двери салона Софи Гэ, матери Дельфины Гэ, впоследствии m-me Жирарден. Здесь можно было встретить всех тогдашних парижских и приезжих знаменитостей в области литературы, искусства и театра; позднее Софи Гэ ввела Гюго к m-me Рекамье[8]. Встречи Гюго с русскими были неизбежны[9].

Первые отзывы о нем русских путешественников сдержанны и осторожны: деятели либерального крыла французского романтизма были достаточно чужды представителям русской аристократии. В парижском салоне Софьи Петровны Свечиной, ярой католички и идейной последовательницы Жозефа де Местра, за успехами «enfant sublime», как, по преданию, назвал Шатобриан юношу Гюго, вероятно, следили только до тех пор, пока не почувствовали его заметного отклонения в сторону либеральной партии. По крайней мере, именно у Свечиной А. И. Тургенев, столь живо и остро реагировавший на всякую европейскую литературную новость, впервые услышал не особенно лестный отзыв о драме Гюго «Кромвель» и о знаменитом предисловии к ней — манифесте романтической школы. У Свечиных, между прочим, были шокированы тем местом этого предисловия, где Гюго «называет Кромвеля Tibère Dandin». «Над этим словом смеются,—сообщает А. И. Тургенев в одном из писем к брату,—и оно есть только подражание, без смысла, Прáдтова о Наполеоне—Jupiter-Scapin»[10]. Вскоре тому же А. И. Тургеневу пришлось видеть драмы Гюго на парижском театре и решать для себя вопрос, мыслимо ли осуществление романтических теорий на сцене.

В конце 20-х годов в Париже появился С. А. Соболевский, подобно А. И. Тургеневу, тоже друг Пушкина и вскоре добрый приятель Проспера Мериме. Парижская жизнь захватила его всецело, и он увлечен был атмосферой литературной борьбы, которая господствовала там и становилась все напряженнее и ярче. Знакомства его росли с каждым днем; ежедневно его можно было встретить в каком-нибудь из салонов, на лекции какой-нибудь парижской знаменитости, на прогулке в обществе кого-либо из ученых, литераторов, художников, артистов. В декабре 1829 г. он пишет И. В. Киреевскому: «Из женщин я здесь часто бываю у известной Récamier... Там я вижу Шатобриана и вообще все общество, собиравшееся прежде у M-me Staël и страшившее Наполеона. У Ancelot и Julien я встречаю все médiocrité политического и ученого мира, как-то Alfred de Vigny, Soumeth, Merimée, V. Hugo у первого, Balbi—и чорт уж знает кого—у второго. У Saint-Aulaire я очень хорошо познакомился с Villemain, Barante и Guizot. Часто бываю у милого и умного Cousin, у слывущего здесь большим шарлатаном Кювье»[11].

В пестроте и разнообразии этих знакомств С. А. Соболевский едва ли выделил Виктора Гюго. Он встречался с ним и его женой на гостеприимных «вторниках» у супругов Ансло, был знаком также с писателем Полем-Анри Фуше, на сестре которого был женат Гюго, но, как мы можем предположить, не был с ними особенно близок. Слухи о готовящейся постановке «Эрнани» и о том, какое значение придают ее успеху молодые люди в «красных жилетах», восторженные почитатели Гюго и адепты с трудом воздвигаемого романтизма, дошли, однако, до Соболевского очень скоро. «Ожидаем первого представления „Hernani", сочинение Victor Hugo,—пишет Соболевский С. П. Шевыреву из Парижа 6 февраля 1830 г.— Это будет решительная битва между классицизмом и романтизмом. Обе стороны так ожесточены, что ждут и кулачной стычки. Что касается до меня, я заготовил дубину для сохранения вооруженного нейтралитета». В другом письме к тому же корреспонденту, от 9 марта 1830 г., Соболевский сообщает о тех впечатлениях, какие он получил на этом знаменитом спектакле: «На-днях отправлю тебе „Hernani, drame de Victor Hugo en vers", которою он думал погубить Расина и Шекспира тем же ударом. Почитай, мой милый, и подивись: то-то вздор, а стихи так и ершатся. В партере шесть представлений сряду все сидели клевреты; если кто заикнется,— хором: à la porte le cabaleur![12] Подняли до небес! Зато в седьмое, как не подсадили приятелей, так до того освистали, что автор пьесу на другой день вспять воротил в свой листо-склад (porte-feuille)»[13].

А. И. Тургенев, в свою очередь, послал экземпляр «Эрнани» П. А. Вяземскому (24 мая 1830 г.), а при нем две пародии на пьесу: «При „Гернани" посылаю тебе и две пародии. Другие, кажется, не напечатаны, да и не стоют печатного бессмертия, но в них много смешного, и надобно видеть или прочесть прежде „Гернани", чтобы вкусить всю соль пародий. Я видел их и сквозь слезы смеялся»[14].

Как видим, первые впечатления от романтической драмы у русских «парижан» были далеко не восторженные. С. А. Соболевский, быть может, под влиянием Мериме, после постановки «Эрнани» сменил свой «вооруженный нейтралитет» на слишком явное сочувствие хулителям пьесы. А. И. Тургенев от души смеялся забавным пародиям на драму Гюго, но умолчал о том, какое впечатление на него произвела самая драма. Во всяком случае, он не был ею восхищен и, быть может, подобно Соболевскому, не вполне разобрался в причинах ожесточенных боев в зрительном зале между пламенными приверженцами Гюго и столь же рьяными его противниками. В 1833 г. А. И. Тургенев писал тому же Вяземскому про О. Барбье, что тот «корячится, как Гюго», а в 1835 г. все еще предпочитал веселые пародии на Гюго его собственным созданиям: «Желал бы поговорить с вами о „малых" театрах, которые смешат меня,—писал А. И. Тургенев в Россию.—Я иногда захаживаю в них перед вечеринками Сен-Жерменского предместья... В серьезном роде видел только „Анжело" Гюго, где играла M-lle Mars и Дорваль. Я не воображал себе возможным—романтизм на французском театре. Талант гибкий и всепостигающий M-lle Mars скрадывал недостатки Гюгова стихотворения. „Angelo ou le tyran de Padou" заслужил превеселую пародию: „Cornaro, tyran pas doux, du tout": в этой пьеске смеются без умолку, но я еще не успел собраться туда»[15].

В самой России к драмам Гюго отнеслись иначе, с гораздо большей эмоциональностью, заинтересованностью, сочувствием. И «Кромвель» и, в

особенности, «Эрнани» стали известны здесь очень быстро. Журнал «Атеней» уже в 1828 г. поместил разбор драмы «Кромвель»[16]. В дневнике А. Н. Вульфа за 1831 г. находим такую запись: «Читал В. Гюго драму „Кромвель", которая очень занимательна»[17]. В начале 30-х годов «предисловие» к «Кромвелю» дебатировалось уже на страницах русских журналов—«Телескопа» и «Московского Телеграфа», главного органа русских романтиков, ориентировавшихся на Францию. «Московский Телеграф» напечатал несколько отрывков из этого предисловия[18]. Недаром московская публика, презрев хронологию и здравое критическое чутье, объявила и «Бориса Годунова» не более чем подражанием «Кромвелю» Гюго, о чем сам Пушкин писал П. А. Плетневу 7 января 1831 г. Можно согласиться с утверждением Г. О. Винокура, что, несмотря на то, что трагедия Гюго была написана в 1827 г., т. е. на два года позже «Бориса Годунова», вопреки даже тому, что «по существу это трагедии совершенно разных стилей», московские театралы были по-своему правы: «В их глазах они обе, прежде всего, были произведениями, ниспровергающими все привычные традиции классического театра, и это давало возможность оценивать „Бориса Годунова" с точки зрения тех романтических позиций, которые так широковещательно изложены Гюго в его знаменитом предисловии»[19]. Известен резкий отзыв самого Пушкина о трагедии (в статье о Мильтоне): «Драма Кромвель была первым опытом романтизма на сцене парижского театра. Виктор Юго почел нужным сразу уничтожить все законы, все предания французской драмы, царствовавшие из-за классических кулис;—единство места и времени, величавое однообразие слога, стихосложение Расина и Буало—всё было им ниспровергнуто; однако, справедливость требует заметить, что В. Юго не коснулся единства действия и единства занимательности (intérêt): в его трагедии нет никакого действия, и того менее занимательности»[20]. Впрочем, отрицательный отзыв этот и сопровождающий его разбор (и частично перевод) отдельных сцен пьесы, которая в беловом тексте цитированной статьи Пушкина названа еще резче—«одним из самых нелепых произведений человека, впрочем одаренного талантом»,—относится к более позднему времени, к 1836 г. Совсем иначе отозвался Пушкин о Гюго в мае 1830 г., по поводу «Эрнани». Благодаря Е. М. Хитрово за присылку пьесы, Пушкин писал ей: «permettez moi, Madame, de vous remercier pour Hernani.—C'est un des ouvrages du temps que j'ai lu avec le plus de plaisir. Hugo et Sainte Beuve sont sans contredit les seuls poètes français de l'époque...»[21].

В русских журналах 1830 г. появились статьи об «Эрнани»; так, «Московский Телеграф» и «Литературная Газета» напечатали переводы критических этюдов из «Revue Française»; разбор пьесы появился также в «Сыне Отечества», а «Телескоп» напечатал из нее отдельные сцены[22]. В том же 1830 г. появился русский перевод трагедии А. Г. Ротчева, и были сделаны попытки поставить пьесу в этом переводе на русской сцене, но постановка не была разрешена[23]. В бумагах Ф. И. Тютчева сохранился напечатанный целиком лишь недавно, а до тех пор известный лишь в отрывке, прекрасный перевод монолога Дона Карлоса («Hernani», acte IV, sc. 2)—одно из наиболее сильных мест во всей драме[24]. П. А. Вяземский, как мы уже видели, получил экземпляр пьесы прямо из Парижа от А. И. Тургенева; он серьезнее и вдумчивее отнесся к ней, чем его парижский приятель. Его свидетельство представляет интерес: «В начале тридцатых годов,—писал впоследствии Вяземский,—драма Гюго „Эрнани" наделала много шуму в

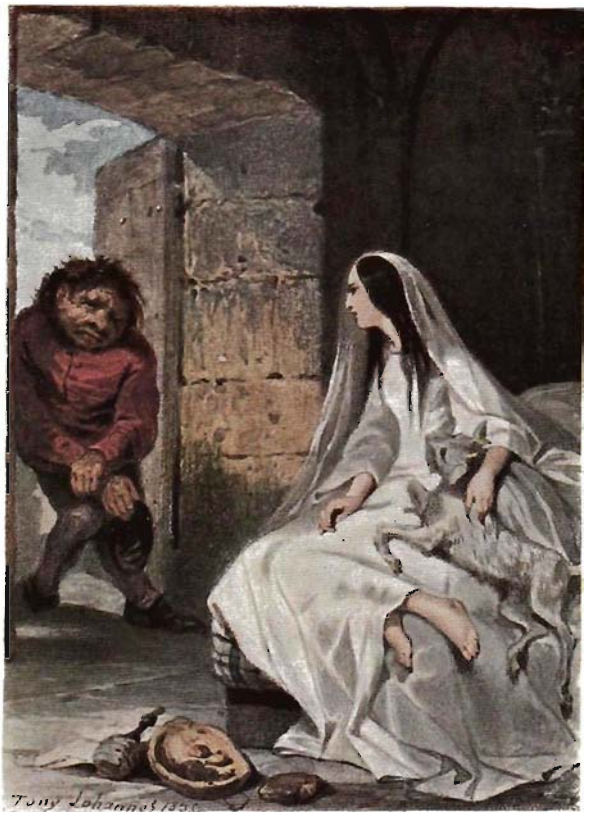


ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „СОБОРУ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ" ВИКТОРА ГЮГО
Акварель Тони Жоанно, 1835 г.
Эрмитаж, Ленинград

Париже. Этот шум откликнулся и в Петербурге. В самом деле, в ней много свежей поэзии, движения и драматических нововведений, в которых, быть может, нуждалась старая французская трагедия, не расиновская, не вольтеровская, имевшие достоинство свое, а трагедия времен Наполеона. Стихи из нового произведения поэта переходили из уст в уста и делались поговорками». Одна из приятельниц Вяземского А. О. Россет, впоследствии Смирнова, немедленно же получила в пушкинском кругу прозвание «Donna Sol», по имени героини «испанской драмы Гюго»[25].

Исследователи творчества Пушкина находят сценическую аналогию между первым актом «Эрнани» и второй сценой «Каменного гостя», а также совпадение сюжетных положений в «Эрнани» и «Выстреле»[26]. Не подлежит сомнению влияние этой же драмы Гюго на первую драму Лермонтова «Испанцы» и на некоторые другие его произведения: отзвуки «Эрнани» в творчестве Лермонтова можно наблюдать вплоть до поздней поэмы «Боярин Орша»[27].

С начала 30-х годов начинается в России увлечение и романтической лирикой Гюго. «Les Orientales» «важного» Гюго Пушкин считал «блестящими, хотя и натянутыми» (1830); чтение этой книги оставило некоторые следы в его собственном творчестве[28]. В 1832 г. Пушкин задумал было целую критическую статью о «Feuilles d'automne», но она осталась, к сожалению, недописанной; до разбора самого сборника Пушкин не дошел, но и сохранившиеся фразы достаточно любопытны своим сопоставлением Сент-Бёва и Гюго—не в пользу последнего. «Ныне Victor Hugo, поэт и человек с истинным дарованием... издал под загл[авием] L[es] f[euilles d'automne] том стихотворений, очевидно, написанных в подражание книжке Сент-Бёва: Les Consolations...»[29]. Как дальше пошла бы мысль Пушкина, мы можем догадаться из сопоставления приведенного текста с цитированным выше отрывком из письма его к Е. М. Хитрово (1830), в котором сделана оценка Гюго как лирического поэта: «Гюго и Сент-Бёв бесспорно единственные поэты нашего времени, особенно Сент-Бёв». Похвала не слишком велика, если вспомнить, что Пушкин считал французов своего времени «народом самым anti-поэтическим» и был вообще далеко не в восторге от «новейшей вольной школы» французских поэтов; его не удовлетворяли их стихотворные романтические новшества: «Hugo с товарищи» только «растрепали» александрийский стих и «его гулять пустили без цезуры» («Домик в Коломне», 1830). Строгому, взыскательному, зрелому художнику, каким был Пушкин, претила и «восточная роскошь воображения», которую он задолго до того осудил уже в поэмах Томаса Мура, ему не нравился и слишком изысканный, метафорический стиль французского поэта. Недаром Проспер Мериме много раз противопоставлял Пушкина и Гюго, как два враждебных друг другу типа творческого художественного сознания. Сам Пушкин писал в письме к М. П. Погодину в сентябре 1832 г., что «V. Hugo не имеет жизни, т. е. истины»[30].

Нужно признать, однако, что отрицательное отношение к поэзии Гюго вовсе не было типичным для русских поэтов того времени; взгляды Пушкина разделяли немногие. Напомним здесь отношение к Гюго молодого Лермонтова, в творчестве которого можно отметить несколько явных случаев подражания «Les Orientales» и другим сборникам французского поэта. Так, например, раннее стихотворение Лермонтова «Прощание» («Не уезжай лезгинец молодой»), несомненно, навеяно «Прощанием аравитянки» из «Orientales»[31]. Напомним пристальное внимание к творчеству

Гюго А. И. Полежаева. К сожалению, из девяти переведенных им стихотворений Гюго увидели свет лишь два: одно—из тех же «Orientales» («Лунный свет»), второе—из «Odes et Ballades» («Людовик XVII»). Характерно, что последним переводом Полежаев хотел привить русской поэзии новый для нее в эту эпоху жанр политической оды[32].

Массовая русская поэзия 30-х годов—поэзия журналов и многочисленных альманахов—всячески пробовала свои силы на переводах, перепевах и подражаниях Гюго. К середине 30-х годов эти русские переводы достигают значительного числа[33], пока нелепое цензурное дело, стоившее карьеры молодому русскому «гюгофилу», не послужило предостережением для других переводчиков и не заставило их осторожнее пользоваться самыми невинными из его текстов. Имею в виду хорошо известное по многим источникам дело о напечатании М. Д. Деларю в «Библиотеке для Чтения» за 1834 г.[34] стихотворения «Красавице»—перевода из Гюго («A une femme»—«Les feuilles d'automne», № XXII). О происшествии с Деларю и о пострадавшем за пропуск его перевода цензоре А. В. Никитенко Пушкин сделал подробную запись в своем «Дневнике» (под 22 дек. 1834 г.): «Цензор Никитенко на обвахте под арестом и вот по какому случаю: Деларю напечатал в Библ[иотеке] Смирдина перевод оды В. Юго [пропуск в автографе Пушкина], в которой находится следующая глубокая мысль: Если де я был бы богом, то я бы отдал свой рай и своих ангелов за поцелуй Милены или Хлои. Митрополит (которому досуг читать наши бредни) жаловался государю, прося защитить православие от нападений Деларю и Смирдина. Отселе буря»[35]. Просидев по приказу самого Николая I восемь дней на гауптвахте, цензор весьма меланхолично размышлял: «Самая тяжкая вина, за которую меня можно было корить, это недосмотр. Следовало, быть может, вымарать слова „бог" и „селеньями святыми", тогда не за что было бы и придраться. Но, с другой стороны, судя по тому, как у нас вообще обращаются с идеями, вряд ли и это спасло бы меня от гауптвахты». Всех хуже пришлось, однако, самому переводчику: он лишился службы и остался без всяких средств к существованию. Он обращался всюду, умолял о месте, но везде встречал холодный, категорический отказ. Вся эта история, по словам А. В. Никитенко, долго занимала петербургскую публику, которая клеймила доносчика (молва утверждала, что это был Андрей Муравьев)[36].

В истории с Деларю, несмотря на обилие воспоминаний о судьбе злосчастного стихотворения, есть одна, как будто не вполне разъясненная, сторона: из рассказов современников не получается впечатления, будто репрессии, обрушившиеся на журнал, переводчика и цензора, были усилены тем обстоятельством, что автором стихотворения оказался Виктор Гюго, а, между тем, дело обстояло именно так. Либерально-демократические позиции французских романтиков определились к этому времени настолько явственно, что отношение к ним царской цензуры было предопределено. Вспомним закрытие «Литературной Газеты» из-за помещенного в ней стихотворения Казимира Делавиня, запрещение «Московского Телеграфа», который считался главным русским журналом, пропагандировавшим творчество писателей левого, либерального крыла французского романтизма, в частности, Гюго. Быть может, невинное по существу стихотворение «A une femme» и не вызвало бы столь суровой кары, если бы автором его не был писатель, к которому уже несколько лет подозрительно и тревожно приглядывались русские официальные круги.

Как-никак, это был писатель, который уже зарекомендовал себя ярым полонофилом в момент польского восстания 1830—1831 гг. Были за ним и более тяжкие провинности: ненависть к царскому самодержавию, которая то сказывалась в стихах, посвященных наполеоновской легенде, то вдруг неожиданно проявляла себя в том же сборнике «Les feuilles d'automne», в стихотворении, окруженном лирическими раздумьями самого отвлеченного смысла. Имею в виду стихотворение «Sous un ciel inclément, sous un roi meurtrier» (№ XL), в котором иные видели замаскированное нападение на Николая I и намеки на декабристов[37]. Недаром и П. А. Вяземский, в пору своей резкой оппозиционности аракчеевскому само-

ПОРТРЕТ ГЮГО, ПОМЕЩЕННЫЙ В № 21 „ТЕЛЕСКОПА" ЗА 1831 г.
Гравюра А. Афанасьева

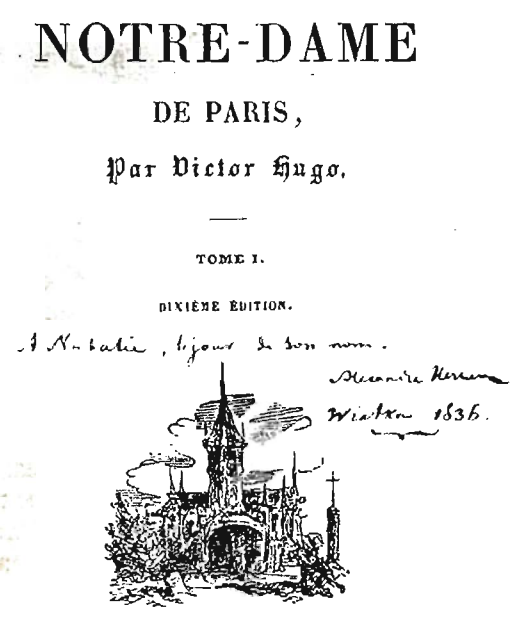
державию, прочтя «Гана Исландца» (1823), отметил в своей «Записной книжке»: «Есть в нем и политический интерес: бунт рудокопов, их военный поход, встреча с королевским войском: все это живо и верно»[38]. В официальных русских кругах, среди аристократии, вхожей во дворец, имя Гюго связывалось с «неистовой» школой французской словесности, порожденной Июльской революцией 1830 г. Та самая А. О. Россет-Смирнова, которая получила прозвание «Donna Sol», в своих поздних записках хорошо выразила мнение о Гюго, господствовавшее в придворных сферах. Революция 1830 г. не вызвала в ней ни пристального внимания, ни серьезного к себе отношения, а лишь испуг и тревогу: «Громовым ударом разнеслась весть о Июльской революции... Это накинуло тучи на наш мирный горизонт. Отложили петергофский праздник и вообще балы. Июльская революция была прелюдией страшного 1848 г. Зимой пушки рассеяли тучи

революции, оставив по себе много жертв... Тогда явилась новая литература в лице Виктора Гюго; она была отпечатком страшных, кровавых сцен и господствовала долго; в России читали „Les deux pendus", „Notre-Dame de Paris" и прочую дрянь; но наши авторы воздержались от подражания»[39]. Мы еще увидим, как ошибалась А. О. Смирнова в своем последнем утверждении. Не подлежит никакому сомнению, что влияние Гюго в России стало заметно возрастать именно после 1830 г., что это влияние все сильнее захватывало русскую «разночинную» интеллигенцию и что соразмерно росту популярности Гюго усиливались цензурные репрессии против распространения его произведений. Только на таком фоне становятся вполне понятными и дело о переводе Деларю и цензурные мытарства «Собора парижской богоматери» (1831).

Интересным подтверждением сказанного может служить эволюция взглядов на Гюго издателя «Московского Телеграфа» Полевого. Существующее мнение, что «Московский Телеграф» на всем протяжении 20—30-х годов с увлечением пропагандировал «неистовую словесность» так называемой «юной Франции», в частности Гюго, нужно принимать более или менее ограниченно. Об этом можно говорить, имея в виду только последние годы издания «Телеграфа», 1831—1834 гг.[40] До этого времени отношение журнала к Гюго было довольно сдержанным. В статьях «Телеграфа» конца 20-х годов, написанных Вяземским, радикальные тенденции французских романтиков подвергались прямому осуждению[41]. И даже в 1830 г. Гюго был для Полевого писателем хотя и с большим дарованием, но, тем не менее, не признающим «никаких законов в искусстве» и рисующим «картину страшную и неприятную» (рецензия Полевого на «Последний день приговоренного»)[42]. С творчеством Гюго Полевого вполне примирил только роман «Собор парижской богоматери». Он помещает в своем журнале отрывок из этого романа, а в примечании к резко отрицательной статье о Гюго французского критика Шове (переведенной из «Revue Encyclopédique») обещает читателям свою собственную статью в опровержение «несправедливого» мнения Шове и в защиту «великого создания» Гюго, выводящего автора «в первый ряд современных французских литераторов»[43]. Полевой сдержал свое обещание, и его большая и замечательная статья «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах», по словам исследователя, открывает собой на страницах «Московского Телеграфа» «подлинную пропаганду творчества Гюго», которое названо «полным и совершенным изображением современного французского романтизма»[44].

Роман «Notre-Dame de Paris» вышел в свет в марте 1831 г. Весть о нем тотчас же дошла до России. «После появления „Notre-Dame de Paris",—пишет И. И. Панаев,—я почти готов был итти на плаху за романтизм. Я узнал о „Notre-Dame de Paris" из „Московского Телеграфа". Вскоре после этого весь читающий по-французски Петербург начал кричать о новом гениальном произведении Гюго. Все экземпляры, полученные в Петербурге, были тотчас расхватаны. Я едва достал для себя экземпляр и с нервическим раздражением приступил к чтению. Я прочел его не отрываясь. Никогда еще я не испытывал такого наслаждения от чтения. Клод Фролло, Эсмеральда, Квазимодо не выходили из моего воображения; сцену, когда Клод Фролло приводит ночью Эсмеральду к виселице и говорит: „выбирай между мной и этой виселицей", я выучил наизусть. Я больше двух месяцев бредил этим романом и перечитывал отрывки из него Кречетову и некоторым из моих товарищей»[45]. Во второй половине мая у Е. М. Хитрово,

снабжавшей Пушкина новинками французской литературы, последний пытался получить нашумевший роман и спрашивал ее в письме: «Notre-Dame est-elle déjà lisible?»[46]. Вскоре он прочел этот роман и остался при прежнем своем убеждении об его авторе, но сдержался его высказать, так как его корреспондентка была от романа в восторге. «Voici, Madame, les livres que vous avez eu la bonté de me prêter,—писал Пушкин Хитрово в конце мая или начале июня 1831 г.—On conçoit fort bien votre admiration pour la Notre-Dame. Il y a bien de la grâce dans toute cette imagination. Mais, mais——je n'ose dire tout ce que j'en pense»[47]. Е. М. Хитрово, действительно, была столь полна впечатлений от чтения Гюго, что не могла даже дать спокойной оценки новой поэмы Баратынского («Наложница»). «Нет,—писала она П. А. Вяземскому,—я не могу восхищаться „Наложницей", и я в том покаялась Пушкину. Впрочем, я прочла ее в два часа утра и с головой, наполненной Эсмеральдой—милейшей, прелестнейшей и очаровательнейшей из всех цыганок—этим созданием Виктора Гюго и украшением „Notre-Dame de Paris"»[48]. В 1831 г. Пушкину несколько раз писали о Гюго, и он мог усмотреть в этом признак возрастающей в России популярности французского поэта. В августе 1831 г. Гоголь, хотя и иронически, писал Пушкину о «необъятном великостью своею Викторе Гюго»[49]. В декабре того же года Долли Фикельмон извещала его, что она разыскала стихи, которые, как будто, снимают с Гюго обвинения в безбожии; это «оправдание», в котором, видимо, нуждался поэт в аристократических, придворных кругах, очень характерно: «Знаете ли вы, что В. Гюго написал премилые стихи, гармонические, прочувствованные, ре-


NOTRE-DAME

DE PARIS,

Par Victor Hugo.

TOME I.

DIXIÈME ÉDITION.

A Natalie, hjour de son nom.
Alexandre Herzen
Wiatka 1836.

Bruxelles,

AD. WAHLEN, IMPR.-LIBR. DE LA COUR.
GRANDE RUE DE L'ÉCUYER, № 49.

1835

ЭКЗЕМПЛЯР РОМАНА „СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ", ПРИСЛАННЫЙ А. И. ГЕРЦЕНОМ ИЗ ВЯТКИ В ПОДАРОК Н. А. ЗАХАРЬИНОЙ, 1836 г.

Литературный музей, Москва

лигиозные? Это молитва, обращенная к его ребенку; в нем глубокая набожность, как у Ламартина, но с оттенком горести земной и светской, почему они еще трогательнее. Я бы переслала их вам, если бы не надеялась скоро увидеться с вами. Удивительно, что автор, излюбленный юною Францией, говорит о боге, как следует говорить о нем»[50].

Молодежь, впрочем, не нуждалась ни в каких оправданиях Гюго и, действительно, готова была итти за него «на плаху», как выразился И. И. Панаев. Приведем любопытное свидетельство Аполлона Григорьева, так вспоминавшего время 30-х годов: «Вот она, эпоха серепьких тоненьких книжек „Телеграфа“ и „Телескопа“, с жадностью читаемых, дотла дочитываемых молодежью... эпоха бессознательных и безразличных восторгов...». Несмотря на «какое-то беззаветное упоение поэзиею, на какую-то дюжинную веру в литературу, в воздухе осталось что-то мрачное и тревожное. Души настроены этим мрачным, тревожным и зловещим, и стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки дают отзыв этому настройству... А тут является колоссальный роман Гюго и кружит молодые головы, а тут Надеждин в своем „Телескопе“ то и дело поддает романтического жара переводами молодых, лихорадочных повестей—Дюма, Сю, Жанена»[51]. Вероятно, тому же Аполлону Григорьеву принадлежит и еще одно более раннее и свежее воспоминание о том возбуждающем действии, которое оказывал на его сверстников роман Гюго: «Эсмеральда, Эсмеральда!.. Мне помнится то время,—давно прошедшее, глупое, но милое время,—когда этим именем, с множеством восклицательных знаков, испещрены были поля старого пергаментного Юлия Цезаря «De bello Gallico», когда страшная драма отяготела до того над молодым воображением, что создала для него целый мир призраков, прекрасных и отвратительных, фантастических и колоссальных!.. Да, я был на народном празднике с его студентами и фламандцами, с его мистерией и королем масленицы, я шел за Пьером Гренгуаром по темным улицам старого Парижа, и передо мной мелькала легкая, воздушная, странная цыганка с ее белой козочкой, как радужная бабочка, по сравнению самого поэта, и она спрашивала, слышалось мне, что значит имя Фебюс?—у многоученого Гренгуара, и определяла своей цветистой и мечтательной речью любовь и дружбу... L'amour—un homme et une femme qui se fondent dans un ange—c'est le ciel»...[52]

Те же впечатления, те же цитаты—в письмах молодого А. И. Герцена к невесте. Он пишет Н. А. Захарьиной из своей вятской ссылки 7 августа 1835 г.: «Что такое дружба?»—спросил он. «Два пальца на одной руке, соединенные, но не одно»,—отвечала Эсмеральда.—«Что такое любовь?»—«Два существа, соединяющиеся для составления одного ангела». «A propos, прочти этот роман „Notre-Dame de Paris“. Егор Иванович [Герцен] пусть достанет». Когда же достать этот роман в Москве не удалось, Герцен сам посылает из Вятки свой экземпляр: «Ты получишь от Егора Иванов[ича] посланные мною книги „Notre-Dame de Paris“. Это тебе мой подарок» (письмо от 19 августа 1836 г.). И обмен впечатлениями продолжается: «Очень вспомнил я то место в „Notre-Dame“, о котором ты пишешь. Таковы наши симпатии. Мы решительно останавливаемся на одних мыслях и чувствах. Впрочем, в Эсмеральде любовь земная. Ежели бы ты могла читать Шиллера, там ты нашла бы нашу любовь»[53]. Раздобыв книгу мюнхенского архитектора Вибикинга и задумавшись о памятниках искусства, «отвердивших жизнь народов», Герцен пишет: «Много мыслей родилось... Покамест перечитай с величайшим вниманием в „Notre-Dame de Paris“ две главы

(кажется в третьем томе)—„Abbas beati Martini“ и „Ceci tuera cela“. Непременно прочти, хоть 5 раз, покуда вполне понятна будет эта мысль... Там ты узнаешь, что эти каменные массы живы, говорят, передают тайны». На другой же день Герцен вновь напоминает: «Еще о том месте в „Notre-Dame“; я знаю, что из 1000 женщин, читавших, 999 пропустили именно эти главы или не обратили никакого внимания,—для того-то ты и должна их прочесть, ибо ты более, выше этих женщин»...[54] Речь здесь идет о тех главах, которые, между прочим, вдохновили и Гоголя на несколько лири-

В. Н. АСЕНКОВА В РОЛИ ЭСМЕРАЛЬДЫ
Литография А. Греведона с портрета В. Гау, 1838 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

ческих страниц о готической архитектуре («Арабески», 1835), за что над ним издевался еще Сенковский: «Это обращение, чтобы мы не ломали готическую архитектуру, которой у нас никогда не было,—писал он,—очень трогательно и доказывает, что автор читал с большой пользой роман Виктора Гюго»[55].

А. О. Смирнова в приведенном выше отзыве о романах Гюго полагала, что «наши авторы воздержались от подражания» французскому писателю. Это, конечно, ошибочно. Уже Аполлон Григорьев распознал в романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом» влияние «юной французской словесности», которая помогла ему перейти от написанных в карамзинском духе «Воспоминаний офицера» и преисполненного рабского «вальтерскоттизма»

его первого исторического романа («Последний Новик») ко второму, с его шутами, карликами, чудовищными потехами, вроде постройки ледяного дома, празднованием роди́н козы, на многих страницах которого, действительно, чувствуется подражание «Собору парижской богоматери»[56]. Тот же роман Гюго,—наряду с увлечением «Последним днем осужденного», «Бюг Жаргалем» или даже ранними романами, вроде «Гана Исландца»,—отозвался и у Лермонтова и у А. А. Бестужева-Марлинского[57]. Не забудем здесь также о том, что атмосферу всеобщего успеха «Собора парижской богоматери» усиливали в России впечатления искусства, в первую очередь театрального. В конце 30-х годов у нас увлекались Эсмеральдой-Тальони в балете, составленном по роману Гюго; в то же время в посредственной драме «Эсмеральда, или четыре рода любви», переделанной В. А. Каратыгиным из немецкой инсценировки романа, блистала русская актриса В. Н. Асенкова[58]. Тогда же и А. С. Даргомыжский задумал русскую оперу «Эсмеральда», которая окончена была уже в 1839 г.[59] Впрочем, постановка ее в России относится к более позднему времени, когда отношение к Гюго вступило у нас в новую фазу.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Вестник Европы», 1824, № 13, 45—56.

[2] Д. П. Якубович, отмечая близость воззрений Гюго и Пушкина на В. Скотта, предполагает, что взгляды Гюго должны были быть известны Пушкину еще по «Conservateur Littéraire», но такое утверждение кажется мне рискованным.—«Язык и Литература», Л., 1930, V, 152—153; ср. «Путеводитель по Пушкину», изд. «Красной Нивы», М.—Л., 1931, 109.

[3] «Смотрите на царя, славного своей мужественной энергией. Петр для того, чтобы просветить свои невежественные народы, спустился до их уровня, смешался с их рядами. Невзирая на свое величие, он учился сначала сам тем искусствам, которым он собирался их научить. Его видели поочередно то деспотом, то плотником, оставляющим дворец для работы на верфи, пьющим с моряками, пожимающим руки государей и обогащающим свои владения искусствами Европы».—«Conservateur Littéraire», III, 7: «Discours sur les avantages de l'enseignement mutuel». См. об этом стихотворении у Roedel (Philippe), V. Hugo und der «Conservateur Littéraire» (Diss.), Heidelberg, 1902, 101—102.

[4] Об источниках «Мазепы» («Les Orientales», XXXIV) см. у Moell (Otto), Beiträge z. Gesch. d. Entstehung der «Orientales» von V. Hugo, (Erlang. Diss.), Mannheim, 1901, 92—102.

[5] Сурина Н., Русский Ламартин.—Сборник «Русская поэзия XIX в.», Л., 1929, 299—305.

[6] Pingaud (L.), Les Russes à Paris de 1800 à 1830.—«Correspondant», 1904; Mongault (H.), Mérimée, Beyle et quelques russes.—«Mercure de France», 1928, 1 mars, 341—365.

[7] Ancelot (M-me), Un salon de Paris. 1824 à 1864, P., 1866, 12—14, 95—97.

[8] Séché (Léon), Delphine Gay, M-me de Girardin, dans ses rapports avec Lamartine, V. Hugo, Balzac etc., P., 1910, 149.

[9] В русских архивных собраниях сохранился ряд автографов В. Гюго половины 20-х годов, полученных их владельцами либо непосредственно от автора, либо от его ближайших друзей. Таково, например, «Шестистишие, собственноручно вписанное В. Гюго» в альбом Анны Евграфовны Шиповой, рожденной графини Комаровской (1806—1872); оно опубликовано Б. Л. Модзалевским в описании этого альбома («Пушкин и его современники», вып. XI, СПБ. 1909, 81):

La vie à chaque instant fuit vers l'éternité,
Et le corps, sur la terre où l'âme l'a quitté,
Reste, comme un fardeau frivole.
Ainsi, quand meurt la rose aux pudiques couleurs
Sa feuille, que l'Aurore en vain baigne de pleurs
Tombe, et son doux parfum s'envole.

V-or Hugo

Стихи эти входят в «Odes et Ballades» (заключительная строфа стихотворения «Promenade») и датированы там 12 октября 1825 г. Четвертая строка содержит вариант: «Ainsi, quand meurt la rose aux r o y a l e s couleurs». Альбом Шиповой начат, повидимому, в 1826 г. и, наряду с автографом Гюго, здесь находятся собственноручные записи и других французских писателей—A. de Vigny, Casimir Delavigne, Baour Lormian, Charles Nodier («Le Bengali, conte») и т. д. Никакими сведениями о знакомстве графини А. Е. Комаровской-Шиповой с Гюго во второй половине 20-х годов мы, однако, не располагаем. См. о ней «Остафьевский Архив», II, 506; «Русский Архив», 1908, I, 136—137; 1911, I, 174, 195—196, III, 65; «Русская Старина», 1888, № 11, 399; 1890, № 5, 305; 1904, № 6, 595.

[10] Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу, Лейпциг, 1872, 299 (письмо от 11 декабря 1827 г.).

[11] Письмо от 13/25 декабря 1829 г.—«Русский Архив», 1906, III, 565.

[12] «За дверь интригана!».

[13] «Русский Архив», 1909, VII, 478. О Соболевском и Гюго см. еще: В и н о г р а д о в А. К., Мериме в письмах к С. А. Соболевскому, М., 1928, 29—30.

[14] «Остафьевский Архив», III, 200; B e r s a c o u r t (Albert), Les pamphlets contre Victor Hugo, P., s. a. [1912], 299—300. Автор дает полный список театральных пародий и памфлетов на «Эрнани»; он указывает, что из шести этих пародий четыре были напечатаны в 1830 г.

[15] «Отрывки из заграничной переписки».—«Моск. Наблюдатель», 1835, IV, 629. Драма «Анжело» в первый раз представлена была в Théâtre Français 28 апреля 1835 г. Пародия, о которой говорит А. И. Тургенев, шла в театре Veaudeville и называлась: «Cornaro, tyran pas doux, traduction en quatre actes et en vers d'Angelo, par Dupeuty et Duvert»—см. B e r s a c o u r t, op. cit., 302. Отметим еще в письме А. Н. Карамзина (сына историографа) из Парижа от 1 марта (17 февр.) 1837 г. Запись впечатления от спектакля в театре de la Porte St.-Martin, где играли «трагедию Гюго Marie Tudor». «Я не знаю,—пишет А. Карамзин,—куда Гюго спрятал свой гений, когда написал эту глупость—сцепление невероятностей даже без судорожного эффекта. Знаю только то, que ce n'était pas seulement Marie Tudor, mais encore André tu dors, потому что я не на шутку заснул и чуть не покатился со стула, когда на сцене кого-то зарезали». См. «Старина и Новизна», 1914, XVII, 296.

[16] «Атеней», 1828, V, 358.

[17] «Пушкин и его современники», XXI—XXII, П., 1915, 157.

[18] Отрывки из предисловия к «Кромвелю», напечатанные в «Московском Телеграфе» (1832, № 19, 310—311, 314), об «уродливо-комическом» (le grotesque), как особенности нового искусства, казались Н. А. Полевому «смелыми, блестящими», но все же не вполне верными. Гораздо резче был отзыв неизвестного критика «Телескопа» (быть может, самого Надеждина): «Пылкий Гюго, по его словам, в предисловии к „Кромвелю" замечтался до того, что постановил первообразом для новой, проповедуемой им реформации в поэзии—не изящество, а... чудовищность, нелепость, безобразие».—«Телескоп», 1831, ч. I, № 3, 402.

[19] См. комментарий Г. О. Винокура к «Борису Годунову».—П у ш к и н, Сочинения (акад. изд.), VII, Л., 1936, 504.

[20] П у ш к и н, Сочинения (акад. изд.), IX, 1 (Л., 1928), 381 и IX, 2 (Л., 1929), 850.

[21] «Позвольте мне поблагодарить вас за „Эрнани". Это одно из произведений современности, которое прочел я с наибольшим удовольствием. Гюго и Сент-Бёв бесспорно единственные поэты нашего времени».— П у ш к и н, Письма, ред. Б. Л. Модзалевского, II, Л., 1928, 91.

[22] «Московский Телеграф», 1830, №№ 17 и 18; «Литературная Газета», 1830, №№ 37 и 38; «Сын Отечества», 1830, XIV, 423, XV, 36 и 69; «Телескоп», 1831, ч. IV, 19.

[23] «Гернани или Кастильская честь». Перевод А. Г. Ротчева, СПБ. 1830. О запрещении постановки «Эрнани» на русской сцене сохранилось свидетельство Р. М. Зотова: «Ротчев перевел знаменитую пьесу Гюго „Гернани", но ее запретила цензура».—«Исторический Вестник», 1896, III, 309.

[24] П и г а р е в К., Перевод Ф. Тютчева из В. Гюго.—«Мурановский сборник», вып. I, 1928, 36—42.

[25] В я з е м с к и й П. А., Полное собрание сочинений, СПБ. 1883, VIII, 233.

[26] См. наблюдения Б. В. Томашевского.—П у ш к и н, Сочинения (акад. изд.), VII, (Л., 1936), 574.

[27] D u c h e s n e (E.), M. J. Lermontov, P., 1913, 305—308; русский перевод—Д ю ш е н Э., Поэзия Лермонтова в ее отношении к русской и западно-европейским литературам, Казань, 1914, 136—137.

[28] См. об этом: Лернер Н. О., Пушкин и В. Гюго.—«Звенья», V, 1936, 134—136. В библиотеке Пушкина сохранился экземпляр «Les Orientales» в шестом издании 1829 г.; что Пушкин не раз его перелистывал, о том свидетельствует ряд отметок, сделанных им на этой книге. Для истории знакомства Пушкина с Гюго см. еще статьи: Козмин Н. К., Пушкин и В. Гюго об А. Шенье.—«Язык и Литература», I, вып. 1—2, Л., 1936, 351—360, и особенно Томашевский Б. В., Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово.—«Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», Л., 1927, 206 и сл.

[29] Имеем в виду черновую заметку Пушкина без заглавия, начинающуюся словами: «Всем известно, что французы народ самый anti-поэтический».—Пушкин, Сочинения (акад. изд.), IX, Л., 1928, 63.

[30] Пушкин, Письма, ред. Л. Б. Модзалевского, III, М.—Л., 1935, 78.

[31] Duchesne, op. cit., 305—308; русск. перев., 130—140; Шувалов С. В., Влияния на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии.—«Венок М. Ю. Лермонтову», М., 1914, 329—332.—Из «Записок» Е. Сушковой (Л., 1928, 164) явствует, что отдельные стихотворения Гюго в 30-х годах ходили у нас по рукам в рукописных копиях; так, А. А. Лопухин, родственник и приятель Лермонтова, прислал Е. Сушковой собственноручно им списанную «любимую его пьесу Виктора Гюго La prière pour tous». Любопытно, что в Архиве ИЛИ АН СССР сохранился автограф этого стихотворения Гюго (из сборника «Les feuilles d'automne», XXXVII, VIII) без заглавия, но с датой «12 mars 1837» и с рисунком C. Roqueplan, парижского художника, известного у нас по одному из парижских фельетонов И. С. Тургенева, где Камиль Рокплан назван «знаменитым остряком и живописцем» (см. «Фельетоны сороковых годов», М.—Л., 1930, 236—237).

[32] Интересные замечания об этом см. в статье Н. Коварского, Полежаев и французская поэзия.—Сб. «Русская поэзия XIX в.», Л., 1929, 169—171; см. также Бобров Е. А., Мелочи из истории русской литературы, вып. II, Варшава, 1907, 4—5. Приводим перечень всех дошедших до нас переводов Полежаева из Гюго, сохранившихся в его рукописных сборниках «Часы выздоровления» и «Последние стихотворения».

«Les Orientales»—первый сборник Гюго, из которого поэт стал переводить. Е. И. Бибикова свидетельствует («Русский Архив», 1882, VI, 233—243), что летом 1834 г. в с. Ильинском поэт перевел из этого сборника несколько стихотворений. Между тем, до нас из этого сборника дошел только один его перевод, уже упомянутый «Лунный свет» («Кальян», М., 1833, 83—напечатано без имени Гюго и без эпиграфа).

Значительно большее внимание Полежаева привлек сборник Гюго «Odes et Ballades», из которого дошли до нас следующие переводы: из первой книги: «Людовик XVII» (V. «Louis XVII»—перевод напечатан без имени Гюго, без эпиграфа и с цензурной купюрой); «Видение» (X. «Vision»), (XI. «Bonaparte»); из третьей книги: «Два острова» (VI. «Les deux îles»); из четвертой книги: «Антихрист» (XII. «L'Antechrist»);—«Последняя песня Нерона» (XV. «Un chant de fête de Néron»); из книги «Баллады»: Баллада XIV—«Пир духов» (XIV. «La ronde du Sabbat»).

Из сборника «Les feuilles d'automne» Полежаев перевел лишь одно стихотворение «Воспоминания детства» («Souvenir d'enfance»).—См. публикацию Н. Бельчикова «Запрещенные цензурой стихотворения Полежаева».—«Литературное Наследство», XV, 57—82; ср. также В. Баранов, Судьба литературного наследства А. И. Полежаева,—там же, 221—257.

[33] Переводы стихотворений Гюго в 30-х годах были очень многочисленны. Назовем для примера: «Призраки», перев. И. Покровского («Литер. Прибавл. к Русскому Инвалиду», 1832, 53); «К путешественнику», перев. С. Сельского («Сын Отечества», 1832, XXV, 432); «Песнь», перев. С. Сельского («Сын Отеч.», 1831, XXIII, 370); «Преставление Людовика XVII», перев. И. Покровского («Литер. Прибавл. к Русск. Инв.», 1831, 590); «Суд над XVIII веком», перев. С. Гедеонова («Библиотека для Чтения», 1834, V, отд. I, 215); «Ночь», перев. М. Демидова («Лит. Прибавл. к Русск. Инв.», 1834, 223); «Восторг», перев. Ф. М[енцова] («Библ. для Чт.», 1835, XIII, отд. I, 11); «Призраки», перев. М. Сорокина («Библ. для Чт.», 1835, X, отд. I, 173); «О крылья, крылья!», перев. И. Гогниева («Сын Отеч.», 1835, XLVIII, 610); С. Г. [С. Л. Геевский], Стихотворения, Харьков, 1835; «Джинны», перев. П. П. («Телескоп», 1835, XXV, 34); «Лунный свет», перев. П. С. («Московский Наблюдатель», 1835, ч. V, 172); «Extase», перев. Ив. Ив. («Моск. Наблюд.», 1835, ч. III, 345); «Минувшая юность», перев. И. Панаева («Библ. для Чт.», 1836, XVI, отд. I, 160); «Молитва за всех», перев. С. Гранкина («Моск. Наблюд.», ч. XV, 380); «Дервиш», перев. С. Гранкина (там же, ч. XV, 226); «Надежда на бога», перев. С. Гранкина

(там же, ч. XV, 253); «Красавице», перев. Бухарина («Библ. для Чт.», 1839, XXXV, отд. I, 55); «Взгляд», перев. О. З. («Галатея», 1839, ч. IV, стр. 355); «Покров» («Галатея», 1839, ч. V, 73) и мн. др.

[34] «Библиотека для Чтения», 1834, VII, отд. I, 130.

[35] Пушкин, Дневник, ред. Б. Л. Модзалевского, П., 1923, 24; свод ряда вариантов этого рассказа и биографические сведения о М. Д. Деларю (1811—1868) см. Бобров Е. А., Мелочи из истории русской литературы, V, Деларю и его перевод из Гюго. Отдельный оттиск из «Русского Филолог. Вестника», 1905, № 2, 10—15. Тот же рассказ о Деларю со слов И. А. Крылова находим в «Очерках и воспоминаниях» Н. М. Колмакова («Русск. Стар.», 1891, LXX, 666—667) и в статье А. А. Малышева, Из воспоминаний о прошлом.—«Исторический Вестник», 1885, XX, июль, 650—651; см. еще Пушкин, Письма, III, 1935, 247—249; Morgulis (Grégoire), Vicissitudes de Victor Hugo en Russie. Autour de quelques vers des «Feuilles d'automne».—«Revue de Littérature Comparée», 1931, № 2, avril-juin, 237—249.

[36] Никитенко А. В., Записки и дневник, СПБ. 1905, I, 256—260.

[37] Flutre (Fernand), Eclaircissements sur les «Feuilles d'automne».—«Revue d'Histoire Littéraire de la France», 1927, 562. Автор предлагает на выбор или приведенное толкование стихотворения или другое, по которому Гюго говорит в нем о прусском короле Фридрихе-Вильгельме III.

[38] Вяземский П. А., Старая записная книжка.—Сборник «Девятнадцатый Век», М., 1872, II, 237—238. Вяземский прибавляет дальше: «Тут упоминается и о русском палаче», имея, вероятно, в виду то место романа, где говорится, что «la czarine Pétrowna se lavait le visage, chaque fois qu'elle revenait d'une exécution» (chap. XIV).

[39] Смирнова А. О., Записки, дневник, воспоминания, письма, М., 1929, 231—232.

[40] Орлов Вл., Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов, Л., 1934, 51—53; здесь же мы находим полезную сводку материалов о Гюго, напечатанных в «Московском Телеграфе».

[41] «Московский Телеграф», 1827, ч. XIV, 43.

[42] Ibid., 1830, ч. XXXII, 513.

[43] Ibid., 1831, ч. XLII, 218.

[44] Орлов Вл., op. cit., 53; статья Н. Полевого «О романах В. Гюго» помещена в «Московском Телеграфе», 1832, ч. XLIII, №№ 1—3. Изложение ее см. в книге: Козмин Н. К., Очерки из истории русского романтизма, СПБ. 1903, 401—402.

[45] Панаев И. И., Литературные воспоминания, СПБ. 1876, 41. Оповестивший русских читателей о новом романе Гюго отрывок из «Notre-Dame de Paris», в котором изображен Людовик XI, появился в №№ 14 и 15 «Московского Телеграфа» за 1831 г. (ср. еще «Северный Архив», 1831, ч. 50—52); при этом Полевой заявил, что «характер Людовика XI, изображенный уже мастерскою кистью В. Скотта», в очерках Гюго получил «более силы, более истины». Совершенно такого же мнения держался впоследствии Аполлон Григорьев. Сопоставляя В. Скотта и В. Гюго, он отдавал предпочтение последнему. «В „Квентине Дорварде" В. Скотта захваленный Людовик XI, не сходящий почти со сцены в романе, какая-то вялая тень перед Людовиком XI величайшего поэта нашего века [Гюго], хоть в свой „Notre-Dame" он и пустил его только в две сцены... Да зато какие эти сцены-то, какой мощи и поэзии полны они» (Григорьев Ап., Полн. собр. соч. и писем, ред. В. С. Спиридонова, П., 1918, 90). Совершенно обратного мнения придерживалась англофильская «Библиотека для Чтения». Здесь писали: «Изо всех доселе вышедших подражаний Вальтер Скотту, вероятно, одно сочинение Виктора Гюго, „Церковь парижской богоматери", останется для потомства; никто, однако же, хоть несколько свободный от предубеждений школы, не скажет того, чтобы в целом оно могло выдержать сравнение с лучшими романами шотландского мастера» («Библ. для Чт.», 1834, II, отд. V, 18—19).

[46] «Свободна ли уже Notre-Dame?».

[47] «Вот книги, которые вы были добры мне одолжить. Ваше восхищение Notre-Dame вполне понятно. Во всем этом вымысле много изящества. Но, но... я не смею сказать всего, что об этом думаю».—Пушкин, Письма, III, 1935, 21, 22.

[48] Вяземский П. П. кн., Сочинения, СПБ. 1893, 531.—«Русский Архив», 1884, II, 418.

[49] Гоголь, Письма, ред. В. Шенрока, I, 186.

[50] «Русский Архив», 1884, II, 419.

[51] Григорьев А. А., Мои литературные и нравственные скитальчества, 1862.—«Полн. собр. соч. и писем», I, П., 1918, 1—2.

[52] «Репертуар и Пантеон», 1846, XIV, кн. 6 (июнь), театральная летопись, 79—80; о принадлежности этой анонимной статьи А. Григорьеву см. Княжнин В. Н., А. А. Григорьев. Материалы для биографии, П., 1917, 372.

[53] Герцен, Сочинения, ред. М. К. Лемке, I, П., 1919, 216, 314, 316. Дневники и письма Герцена 1833—1837 гг. полны отзвуков чтения «Notre-Dame» и других произведений Гюго. В 1833 г. он сопоставляет себя с Клодом Фролло и еще в 1837 г. пишет Н. А. Захарьиной: «Я себя напр. никогда не сравнивал с Phoebus de Châteaupers» (I, 112, 405). Из Вятки Герцен спрашивал Н. Х. Кетчера: «Каковы новые драмы Hugo, его книга „Chants du crépuscule"?» (I, 216). В своей «Легенде» он цитирует одно из стихотворений Гюго и эту же цитату помещает в письме к Н. А. Захарьиной (I, 241, 405); однажды он вспоминает и «Мазепу» из «Orientales» (I, 377, ср. еще 81, 85). 5 декабря 1836 г. Герцен пишет: «При этом письме приложил я прелестные стихи Гюго, чрезвычайно хорошие—надеюсь, по моей рекомендации,—и вам, милостивая государыня, понравятся». — Напомним здесь также сочувственное отношение к Гюго Н. В. Станкевича. В письме к Я. М. Неверову (19 сентября 1834 г.) Станкевич пишет, что он «благословил честного Гюго, за нравственность которого я всегда горячо спорил и который утешил меня мыслью, давно мне приходившею в голову, что все бедствия современной Европы зависят от невежества бо́льшей части граждан» («Переписка Н. В. Станкевича», М., 1914, 290). В тех же письмах Станкевич упоминает «Le roi s'amuse» («давно читал—эффектно, изысканно!») и однажды цитирует стихи из «Lucrèce Borgia», которые «вертелись на языке у меня и, по одному, невольно делались девизами» (Ibid., 278, 307).

[54] Герцен, Сочинения, I, 363, 364. Отмеченные Герценом главы «Notre-Dame» находятся в 5-й книге I тома романа.

[55] «Библиотека для Чтения», 1835, ч. IX, отд. VI, 8—14. Сопоставления статьи Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени» (в «Арабесках») с «Notre-Dame» см. у А. А. Назаревского, Гоголь и искусство, Киев, 1910, 27—29 (отд. оттиск из сборника Киевского университета «Памяти Н. В. Гоголя», Киев, 1911).

[56] Григорьев Аполлон, Сочинения, СПБ. 1876, I, 293—294; ср. Гроссман Леонид, Три современника, М., 1922, 46, 58—59.

[57] Юношеский роман Лермонтова «Вадим» (1831—1832) не без основания сопоставляют с «Бюг Жаргалем», но в его центральном действующем лице, горбуне Вадиме, не трудно увидеть отзвуки других героев Гюго—Гана Исландца, Квазимодо и Клода Фролло. См. Duchesne (E.), op. cit., русск. перев., 134—135; Родзевич С. И., Лермонтов, как романист, Киев, 1914, 8—14, 19—20, 29—34. Что касается «Последнего дня осужденного», занимающего своеобразное место в цикле художественной прозы Гюго, то история усвоения его в русской литературе интересно очерчена в книге: Виноградов В. В., Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский, Л., 1929, 128—133. В дополнение к приведенным там материалам укажем еще на то, что «Le dernier jour d'un condamné» отозвался в отрывках романа А. А. Бестужева-Марлинского, писанного им на Кавказе, в котором описаны ощущения человека, погибающего от чумы. Характерно, что и П. А. Вяземский берет эпиграф из того же произведения Гюго для своего стихотворения «Осень 1830 года», написанного во время сильной холерной эпидемии («Северные Цветы на 1831 г.», 68).

[58] «Эсмеральда, или четыре рода любви», драма в 5 д. с прологом (перевод драмы Birch-Pfeiffer по роману Гюго «Der Glöckner von Paris»), получила цензурное разрешение в 1836 г. и в первый раз шла в Александринском театре 31 мая 1837 г. (см. Каратыгин П. А., Записки. Новое изд. по рукописи, ред. Б. В. Казанского, Л., 1930, II, 187—188, 415). Несмотря на свои недостатки, пьеса долго держалась на русской сцене, дав ряд прекрасных исполнительниц главной роли. В «Репертуаре и Пантеоне» (1846, XIV, театральная летопись, май, 79—81; ср. выше, прим. 52-е) писали: «Театралы Александринского театра еще до сих пор не могут забыть Эсмеральды-Асенковой; автор этой статьи хранит среди своих театральных воспоминаний одно прекрасное воспоминание о Н. В. Репниной; Эсмеральду же, истинную Эсмеральду, говорившую только не языком, а ногами, видел Петербург в Тальони»... «Но, боже мой, боже мой! Что такое сделала немецкая драма из дивной поэмы Гюго! Зачем она испортила своею приторною сентиментальностью ветренную, беззаботную Эсмеральду, девочку Эсмеральду, маленькую Эсмеральду? Зачем она, эта немецкая драма, не показала хоть раз Клавдия Фролло царем и властителем громадного старого здания?» и т. д. Портрет В. Н. Асенковой в роли Эсмеральды см. в приложении к статье М. Ч[ехова] В. Н. Асенкова.—«Ежегодник имп. театров», сез. 1895—1896, прилож. 2, 1—14. Отметим, кстати, что среди пьес В. А. Каратыгина находится также пьеса «Предок и потомок, трилогия в стихах и прозе»—перевод драмы Гюго «Les Burgraves» (1843); в Александринском театре она шла в 1844 г. Впоследствии Каратыгин перевел в стихах один акт (пятый) из «Hernani»—«Кастильская честь» (Александринский театр, 12 ноября 1851 г.). См. Каратыгин П. А., Записки, ред. Б. В. Казанского, Л., 1930, II, 416.

[59] Даргомыжский А. С., Автобиография. Письма, П., 1921, 5.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

# В ТРИДЦАТЫХ И СОРОКОВЫХ ГОДАХ

ВИЗИТ В. П. БОТКИНА К ГЮГО.—ГЮГО В ВОСПОМИНАНИЯХ В. М. СТРОЕВА.—ГЮГО И Н. И. ГРЕЧ.—ПОСЛАНИЕ В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА К ГЮГО.—СТИХОТВОРЕНИЕ Е. П. РОСТОПЧИНОЙ, ДОСТАВЛЕННОЕ ГЮГО ЭЛИМОМ МЕЩЕРСКИМ.—ОТЗЫВЫ И ВОСПОМИНАНИЯ О ГЮГО РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В ПАРИЖЕ: А. И. ТУРГЕНЕВА, П. В. АННЕНКОВА, МАТВЕЯ ВОЛКОВА, В. П. БАЛАБИНА, А. Н. КАРАМЗИНА.—«ЭСМЕРАЛЬДА» А. С. ДАРГОМЫЖСКОГО.

Коснувшись однажды огромного успеха и той шумной популярности, какие выпали в России на долю «Собора парижской богоматери», Аполлон Григорьев писал (в 1859 г.): «... веяние то было сильное. Ведь „Notre-Dame“ Виктора Гюго расшевелила даже старика Гёте—и понятно почему: на что́ он слегка намекнул в своей Миньоне, то гениальный урод—пусть и болезненно и чудовищно, но развил в своей Эсмеральде! Ведь и теперь еще надобно большие, напряженные усилия делать над собою, чтобы, начавши читать „Notre-Dame“, не забрести, искренно не забрести вместе с голодным поэтом Пьером Гренгуаром за цыганочкой и ее козочкой в Cour des Miracles, не увлечься потом до страстного сочувствия судьбой бедной мушки, над которою вьет сеть злой паук-судьба, не проклинать этого злого паука с другой его жертвою, Клавдием Фролло, удержаться от головокружения, читая описание его падения с башни Notre-Dame и проч. и проч. Все это дико, чудовищно, но—увы! гениально, и понятен лирический восторг, с которым один из наших тогдашних путешественников, ныне едва ли помнящий или постаравшийся забыть эти впечатления—описывал в „Телескопе“ свое восхождение на башни Notre-Dame и свое свидание с В. Гюго»[1].

Такое свидание, действительно, состоялось в 1835 г. Путешественник, о котором говорит А. Григорьев, не называя его по имени,—Василий Петрович Боткин (1810—1869). Приехав в Париж восторженным поклонником В. Гюго и его романа, он взбирается на башню Notre-Dame с этим романом в руках: «Признаюсь, мне хотелось отыскать какой-нибудь затерявшийся след великой драмы, и я еще раз, но с каким новым, живым наслаждением, читал дивный роман». Затем он решил сделать визит самому автору. Это было первое русское паломничество к Виктору Гюго. Мы приводили до сих пор сдержанные или холодные отзывы русских, живших в Париже, о встречах с Гюго; эти отзывы относились к концу 20-х или началу 30-х годов. Как изменилось все за какое-нибудь пятилетие! С юношеской восторженностью Боткин считает Гюго «первым поэтом современной Франции» (таково было мнение его поколения, социально и идейно уже чуждого русской либеральной дворянской интеллигенции 20-х годов). Когда В. П. Боткин, этот внук крепостного крестьянина и сын богатого московского чаеторговца, получивший воспитание в пансионе и закончивший его самостоятельным чтением, ехал за границу, то он, этот будущий друг Белинского, затем Огарева, Бакунина, Грановского, И. С. Тургенева, был горячим приверженцем того самого французского романтизма, который проповедывал Н. Полевой в своем «Московском Телеграфе», иначе говоря, того романтизма, который был радикальным течением и сыграл весьма крупную роль в выработке буржуазной идеологии. Гюго, как мы видели, был в центре внимания «Московского Телеграфа»; его высокая оценка всецело была усвоена и Боткиным. Однако, по приезде в Париж Боткин был разочарован тем отношением к Гюго, какое он нашел у живших там своих соотечественников. Он попал, очевидно, главным образом,

в те русские салоны Парижа, которые жили еще традициями эпохи Реставрации. «Общее мнение всего литературного круга, собравшегося у***,— писал Боткин в своем письме из Парижа, напечатанном в «Телескопе»[2],— было то, что Гюго—писатель с некоторым дарованием, но уклонившийся в дурную сторону и теперь уже потерявший всякое влияние на современную литературу... На меня, начавшего с глубоким уважением говорить о Гюго, смотрели, как на северного варвара, спрашивающего о предмете давно решенном и несколько прошлом... У*** сбиралось аристократическое общество известнейших светских литераторов: тут читались разные сонеты, послания к тому, к тому... Я был знаком с несколькими молодыми людьми мнений противоположных обществу, собиравшемуся у ***. Это были пламенные последователи новых идей, пылкие энтузиасты, самоотверженные преобразователи настоящей цивилизации; тут обвиняли Гюго в недостатке положительных политических мнений, называли его поэтом, но поэтом слишком материальным; тут сказывали мне, что, ...ожесточенный критиками и ядовитыми статьями журналов, он отказался от своего поэтического призвания, впал в совершенную материальность, забыл даже о семействе своем, живет с одною актрисою театра St.-Martin[3] и никого к себе не принимает. Что мне было делать? Несмотря на все это, желание видеть Гюго превозмогло, и я, отыскав в парижском всеобщем адрес-календаре квартиру его, решился, по русской пословице „спрос не беда", написать к нему письмо, в котором просил у него позволения быть у него и назначить мне время». Первая попытка Боткина увидеть Гюго была неудачна, но в конце концов встреча состоялась, и Боткин получил возможность подробно поделиться с читателями «Телескопа» своими личными впечатлениями от знаменитого писателя. Вот что сообщает он о своем посещении «первого поэта современной Франции»: «На другой день после обеда, в восьмом часу, порядочно приодевшись, взял я кабриолет и с трепещущим сердцем проговорил кучеру: Place Royale, № 6. Приезжаю... Безобразная служанка, отворившая мне дверь, говорит, что Гюго обедает. Опять неудача. Спрашивает, как сказать обо мне?—Русский путешественник. Жду. Не прошло минуты, входит в переднюю человек невысокого роста, с полным, здоровым лицом, волосами, почти белокурыми, лежащими просто. Он стал извиняться, просить меня войти в гостиную и подождать, пока кончится обед. „Monsieur Hugo?"—пробормотал я и уставился на него... Еще полный впечатлений „Notre-Dame de Paris", увидал я перед собою Гюго, и вы поймете причину, отчего я уставился на него с глупым любопытством, рассматривая это полное свежее лицо, это чело, ознаменованное печатью гения... Долго б простоял я молча, если б Гюго, улыбнувшись, не вошел первый в комнату, пригласивши меня движением головы следовать за ним... Первым вопросом его было, дозволены ли его сочинения в России? Потом интересовался он знать, с какой точки смотрят у нас на „Notre-Dame de Paris", спрашивал о народной нашей поэзии. Я говорил ему о народных песнях наших, старался объяснить характер их, о бродячих семьях наших цыган, их странном быте. Последнее, казалось, очень занимало его. Вообще он дает России высокую поэтическую будущность. Не более получаса длился наш разговор...». На прощанье Боткин просил Гюго написать ему на память свое имя. «„Eh, avec un grand plaisir, M-r",—отвечал он, вошел в кабинет и через минуту вынес бумажку, на которой было написано: „Qui sperat vivit—Victor Hugo". „Через месяц я возвращусь и с удовольствием увижу вас у себя; мне очень интересно

послушать о России",—сказал он мне, когда я стал откланиваться, и проводил меня до дверей крыльца». Но это была их первая и последняя встреча. Боткин был несколько разочарован, и главным разочарованием явились, конечно, кратковременность и официальность встречи. Боткин готовился к посещению знаменитого салона на Place Royale, как к большому событию своей жизни. Это было не простое любопытство иностранца, а, несомненно, паломничество к любимому автору. Но с какой стороны мог быть интересен этот молодой русский путешественник для Гюго? Сви-

В. П. БОТКИН
Акварель К. А. Горбунова, 1843 г.
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

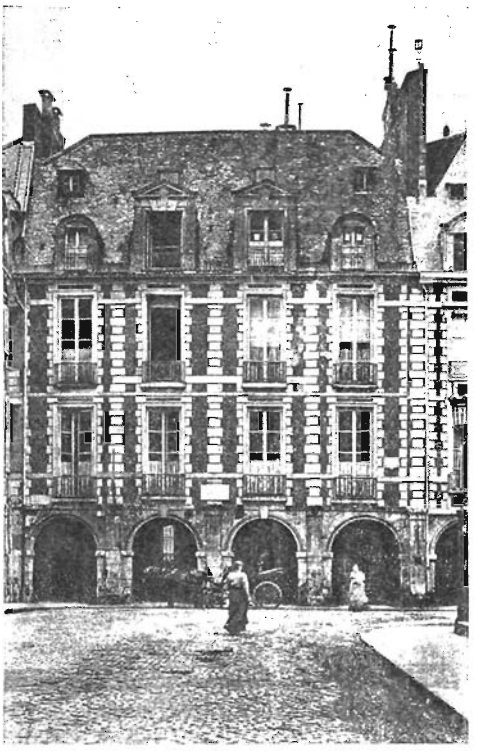
дание вышло несколько натянутое. Боткин сам сообщает об этом, и потому его искренний рассказ внушает к себе редкое в подобных случаях доверие[4].

Встреча Гюго с Владимиром Михайловичем Строевым, состоявшаяся через несколько лет, внешне напоминала только что описанную, но этот русский путешественник мало в чем похож был на московского западника, энтузиаста Боткина. Автор малозанимательных «Сцен из петербургской жизни» (СПБ. 1835—1837), сотрудник полуофициальной «Северной Пчелы»—«Греча левый глаз с бельмом», как его определил А. Ф. Воейков в своем «Доме сумасшедших»,—Строев был фигурой малоуважаемой в литературном мире Петербурга[5]. Он уехал во Францию в 1838 г. и гордо заявляет в своей книге «Париж в 1838 и 1839 годах», которая была плодом

его двухлетних наблюдений над жизнью французской столицы, что цель этой поездки была «чисто литературная». Что это заявление не вполне соответствует истине, нетрудно догадаться из его же последующих слов. «Один из русских вельмож... А. Н. Д-в, живя в Париже и видя, что Франция мало знает Россию, задумал распространить в чужих краях верные и современные сведения о своем отечестве. Его обширные связи с литераторами, сильное влияние на журналистов давали ему средства исполнить эту счастливую и полезную мысль. Надобно было выбрать человека, который мог бы доставлять материалы, собирать сведения и передавать их французам. Выбор пал на меня»[6]. Иными словами, при этом «вельможе», в котором нетрудно угадать известного миллионера-горнозаводчика А. Н. Демидова (1812—1870), купившего себе в Италии опереточный титул «князя Сан-Донато» и тешившего свое тщеславие «покровительством наукам и искусствам», Строев играл роль человека подчиненного, выполняющего определенное поручение своего патрона.

Впрочем, в книге Строева, которая, по отзыву С. П. Шевырева, представляет собою «весьма приятный, легкий и довольно полный эскиз парижской жизни почти во всех видах, политическом, литературном, промышленном, художественном, общественном»[7], действительно, много занимательного. В главе VI сосредоточены рассказы о парижских писателях, поэтах, ученых, литераторах. Нередко отправной точкой для своего отзыва о том или другом писателе Строев берет личное впечатление, полученное от встречи с ними. Здесь мелькают имена Ламартина, А. де Мюссе, А. Дюма, Ф. Сулье, Вьенне, Низара, Ж. Жанена, Т. Готье, А. Пишо, Сент-Бёва, Нодье, Шатобриана, Бальзака и др. Здесь же находятся и рассказы о беседах с В. Гюго. В. Строев интересовался им еще в России. В 1837 г. он поместил в «Сыне Отечества» статейку: «В. Гюго, оцененный Ж. Жаненом»[8], а теперь, очутившись в Париже, собирал о нем сведения непосредственно из уст французских литераторов[9]. Он подробно говорит в своей книге о поведении и привычках Гюго, о его семейной жизни, с большими деталями описывает средневековую обстановку жилища поэта и т. п. Сообщая все это, Строев был мало оригинален и не открывал чего-либо нового даже для русских читателей. В русских журналах той эпохи печаталось много известий о внешнем облике Гюго и об образе его жизни; в «Галатее», например, сам Строев, обрабатывая свою книгу в Петербурге, мог прочесть статью А. Вейля «Пять часов, проведенных у В. Гюго»[10], в которой указан его парижский адрес, описаны обстановка его квартиры, образ его жизни, его дети, к которым он чувствует большую нежность. Но вслед за тем, что известно всем и каждому, хоть сколько-нибудь интересующемуся парижской литературной жизнью, Строев сообщает и ряд таких сведений, которыми как бы оправдывалось его пребывание в Париже в полуслужебном положении при русском «вельможе». Он пишет: «Виктор Гюго очень любит Россию и чрезвычайно желает видеть Кремль; долгое путешествие его пугает; жаль оставить жену и детей. В душе он роялист, приверженец Бурбонов, но оставил легитимистов, когда увидел, что они употребляют все средства, даже бунт, в пользу своих мнений. Он хочет жить без упрека, с чистою совестью, и в политике, и в литературе... В самом деле, в нынешнее время неустройств, борьбы, всеобщего неудовольствия, всеобщих исканий в Париже трудно найти человека, который бы жил для искусства, вне интриг и споров, без замыслов и происков, как Виктор Гюго»[11].

ДОМ НА PLACE ROYALE (НЫНЕ PLACE DES VOSGES) В ПАРИЖЕ, В КОТОРОМ ЖИЛ В. ГЮГО В 1832—1848 гг.
В настоящее время дом обращен в музей В. Гюго
С фотографии 1900-ых гг.



Многое в этом рассказе возбуждает сомнения. Утверждение Строева, что Гюго «любит Россию»,—не более чем уловка, необходимая для последующей его идеализации в нужном для автора направлении. Каково было действительное отношение Гюго к официальной николаевской России, мы знаем из его полонофильских гимнов времен польского восстания или из цикла стихов, посвященных Наполеону. Конечно, у него мог быть интерес к незнакомой стране, а на людей, прибывших оттуда, он смотрел с любопытством, слушая их рассказы о том, какой шум производят его романы в далеких северных столицах. Ведь и у Боткина Гюго спрашивал о русских народных песнях, о бродячих семьях наших цыган. Все это, конечно, была «экзотика», столь близкая всякому романтическому сердцу; поэтому-то «русская тема», по замечанию Б. В. Томашевского, «как экзотическая тема путешествия», была почти обязательна во французском романе эпохи[12]. Но не забудем при этом, что восприятие официальной России французскими беллетристами эпохи буржуазной монархии Луи-Филиппа было чаще всего отрицательным. Для Гюго этих лет, как и для Беранже, Россия все еще была страною «казака» (см. его «Chant du Cosaque»), этого «потомка Атиллы» времен Отечественной войны и парижского похода[13], и он, подобно многим своим соотечественникам, вероятно, часто отождествлял режим и нацию. Беседы с путешественниками типа В. М. Строева должны были сильно этому способствовать. В рассказе Строева о Гюго так и чувствуется стремление подчеркнуть, что его пропаганда не осталась бесплодной; простую вежливость по отношению к иностранцу Строев принял за результат своего красноречия. Ему оставалось лишь продолжить свое «оправдание» Гюго в глазах русского официального читателя, то оправдание, в котором автор «Le Roi s'amuse» (1832) и «Angelo»

(1835), по мнению Строева, сильно нуждался. Отсюда и свидетельство его, что Гюго «в душе роялист, приверженец Бурбонов», несколько запоздавшее уже к тому времени, когда книга его путевых очерков увидела свет[14].

Около того же времени, когда В. Строев виделся с Гюго, Париж посетил Н. И. Греч, уже в прямом смысле слова представитель официальной России. В 30-х годах Греч нимало не скрывал своего политического лица и, действуя вместе с Ф. Булгариным, вел литературно-охранительную работу, оказывая свои услуги III отделению на добровольных началах, не находясь официально на службе у Бенкендорфа. В своих «Путевых письмах из Англии, Германии и Франции» (1839) Греч рассказывает, что, по письму французского посланника в Петербурге Баранта, он попал на один из «понедельников» к Сальванди, тогдашнему французскому министру народного просвещения. «У него видел я Вильмена, Виктора Гюго, Сент-Бёва, Лебрена, Карра, Гранье де Кассаньяка и других писателей и литераторов Франции; слышал, как В. Гюго читал новое свое стихотворение „На сооружение Триумфальных ворот"». Петербургское знакомство с литератором Лёве-Веймаром, посетившим Россию в 1836 г. в качестве негласного агента Тьера, и рекомендации посланников открыли Гречу двери других салонов. Он побывал у Гизо и познакомился с Сент-Бёвом. Греч подробно описывает свою беседу с знаменитым критиком на одном из литературных вечеров. Сент-Бёв, по словам Греча, спрашивал его «об успехах русского языка и литературы и заметил, между прочим, что цензура, вероятно, стесняет движения и порывы молодых умов». В ответ на это «неуместное» замечание, Греч принялся развивать перед собеседником свои излюбленные мысли о «благодетельном действии» николаевской цензуры. «Мы разговорились,—продолжает Греч,—о цели словесности, о благородном призвании писателей и литераторов. Я сказал, притом, напрямки, что литература, которая не распространяет здравых понятий и благородных правил, не старается искоренить порока и не уважает чести и добродетели, не есть еще литература, и что только тот писатель достоин уважения, который возвышает собою и своими творениями достоинство человека и гражданина. „Я совершенно с вами согласен",—сказал на это человек, прислушивавшийся к нашему разговору. Я поклонился ему за доброе его мнение. Г-н Сент-Бёв сказал мне: „Это одобрение должно быть вам тем приятнее, что вы слышите его из уст г. Виктора Гюго".—Признаться, я немножко смешался, что дерзнул возгласить такие правила в присутствии автора „Лукреции Борджиа", „Le roi s'amuse", но простодушие и истина, с какими отозвался Виктор Гюго, меня успокоили. Мы с ним разговорились, познакомились и, могу сказать, подружились»[15].

Таковы развязные признания Греча, которые впоследствии так зло высмеял А. И. Герцен. Чтобы читатель не усомнился в его дружбе с Гюго, Греч не остановился на этом; в его воспоминаниях Гюго посвящено еще несколько страниц, столь же развязных, наглых и елейных одновременно[16]. В заключение Греч указывает, что «на прощанье» поэт подарил ему «экземпляр своих новых сочинений», лирический сборник «Voix intérieures» с припискою: «A Mr. Gr[etch]. Souvenir cordial de V. Hugo». Это последнее указание, по крайней мере, не выдумано: титульный лист этого издания, с автографом Гюго, сохранился доныне и находится в Москве[17].

Воспоминания Греча не нуждаются ни в каких комментариях: они говорят сами за себя. Печальная известность, которую стяжал их автор среди своих современников, может служить порукой тому, что уже при

своем выходе в свет они получили справедливую оценку, что они уже тогда должны были восприниматься с комической своей стороны. Во всяком случае, рассказ этот был прочно забыт. На беду свою, Греч вспомнил о нем двадцать лет спустя. В одном из своих фельетонов в «Северной Пчеле» за 1858 г.[18], посвященном рассуждениям о «ничтожности современной литературы» и «отрицательном направлении» ее, Греч не упустил случая поделиться своими любимыми мыслями о «благодетельной пользе цензуры». По этому поводу он и вспоминал, что «выдержал, слишком за двадцать лет перед сим, спор о нашей цензуре—на неприятельской батарее». «Это—припоминает Греч—случилось в 1837 г. в Париже, в салоне французского министра просвещения, покойного графа Сальванди». Вслед за этим он почти слово в слово перепечатал свой рассказ о Гюго из книги 1839 г. Фельетон Греча обратил на себя внимание Герцена, который откликнулся на него убийственной для Греча статьей, напечатанной в «Колоколе»: «Генералы от цензуры и Виктор Гюго на батарее Сальванди». Герцен тонко и зло посмеялся здесь над «генералом от цензуры» Гречем, над неприятельской батареей, на которой этот добровольный агент III отделения двадцать лет назад дал бой хулителям николаевской России, и над развязностью, с которой Греч писал о Гюго («мы с ним познакомились и, смею сказать, подружились»)[19]. Герцен изложил Гюго воспоминания Греча и получил следующий негодующий ответ, который и приводит:

*Перевод:*

Hauteville-House, Остров Гернси.
17 января 1859 г.

...Кто прочел хоть одну страницу моих сочинений, тот не осмелится сказать, чтобы я когда-нибудь становился за цензуру. Всегда, даже во время моей роялистской юности, я был безграничным противником цензуры, в какой бы форме она ни являлась. А потому наш друг Герцен имеет полное право сказать, что все это—неправда. Помнится, я этого Греча раза два видел у себя и, если не ошибаюсь, его привозил маркиз де Кюстин.

В. Гюго

Вся соль этого разъяснения заключается в его последних словах; они требуют комментария, хотя были вполне понятны для современников. Знаменитая книга маркиза де Кюстина «La Russie en 1839» («Россия в 1839 г.») появилась в Париже в 1843 г. «Без сомнения это—самая занимательная и умная книга, написанная о России иностранцем»,—писал о ней Герцен. Кюстин ехал в Россию искать доводов против представительного правления, а вернулся оттуда убежденным и острым ненавистником николаевского самодержавия. Впечатление, произведенное книгою Кюстина в Европе, было поистине огромно. Петербургское правительство было вынуждено заняться, через своих агентов, опровержением «клеветы». Одним из людей, предложивших свои услуги для этой цели, был Греч. Сохранилось его прошение помощнику Бенкендорфа Дубельту: «Ваше превосходительство, заставьте за себя вечно бога молить! Испросите мне позволение разобрать эту книгу». Кроме того, Греч просил «дозволения» перевести свой разбор на немецкий и французский языки и издать их за границей[20]. Предложение было одобрено, и Греч отправился опять в Париж, где и издал в конце 1843 г., вскоре же после выхода в свет книги

Кюстина, свой ответ ему: «Исследование по поводу сочинения г. маркиза де Кюстина». Эта полемическая брошюра, как и следовало ожидать, не имела за границей никакого успеха. А. И. Тургенев в январе 1844 г. писал из Парижа, что никто не покупает книги Греча, а в другом, более раннем письме (декабрь 1843 г.) он сообщал П. А. Вяземскому, что «русские и полу-русские дамы получили печатные карточки: „Mr. Gretch premier espion de sa majesté l'empereur de Russie"»[21]. Любопытно, что такое же известие мы находим в письме самого маркиза де Кюстина к Фарнгагену фон Энзе: «Только что появилась брошюра г. Греча, во французском переводе. О пребывании этого субъекта в Париже было возвещено своеобразно. У дверей всех сколько-нибудь известных лиц оставили визитные карточки с его именем и добавлением: „Grand espion de Russie". Он жаловался на эту клевету; но попробуйте, разыщите виновника!!—над этим смеялись, а в этой стране смех всегда является оружием»[22].

Стоит ли говорить о том, каково было содержание брошюры Греча? Он писал здесь о том, что ничто не может быть выше правительства российского императора, что личность каждого живущего в империи Николая I вполне обеспечена, что высшее управление полицией поручено людям, пользующимся доверием царя и уважением всей страны, что свобода выражения мнений предоставлена каждому и что, если цензура существует, то она учреждена исключительно в интересах подданных императора, между прочим, и потому, что иностранцы пишут о России слишком много вздора... Знал ли обо всем этом Виктор Гюго? Слышал ли он о проделке с визитными карточками? Об этом, думается, нетрудно догадаться по заключительной фразе письма его к Герцену, и такое предположение тем более правдоподобно, что Греч вновь виделся с Гюго как раз около этого времени.

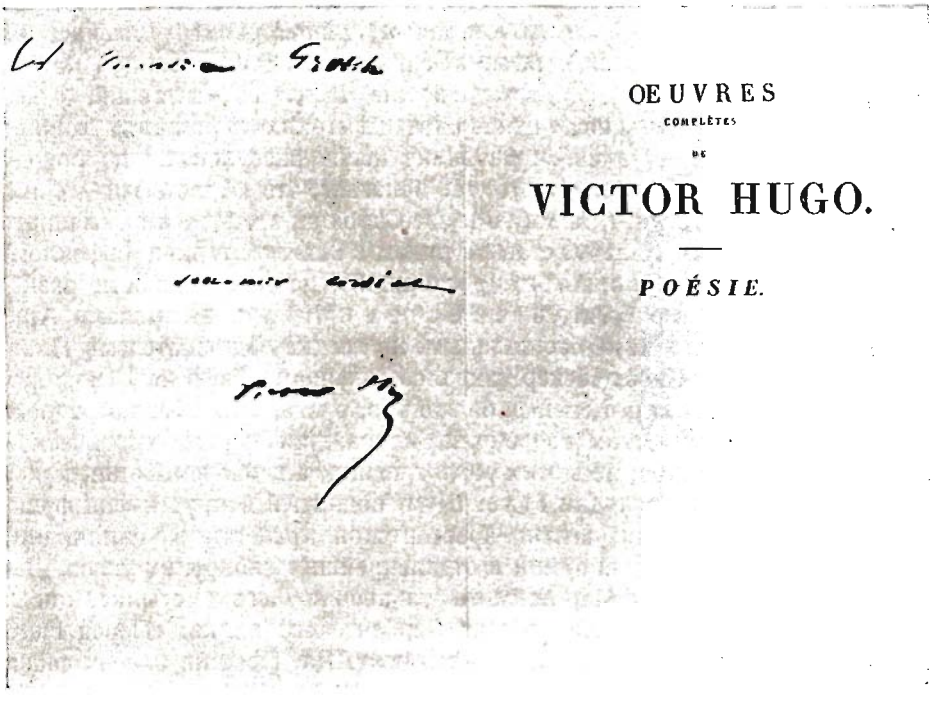
Об этом свидании Греч рассказал в своих «Парижских письмах» (1847 г.). «Вы знаете, какое несчастие постигло Виктора Гюго!—пишет он.—Девятнадцатилетняя дочь его, вышедшая замуж за 3 месяца перед сим, потонула, катаясь в Гавре по Сене, с мужем и свекром своим. Сам В. Гюго в это время был в Испании. Прибыв во Францию, он узнал о несчастии из газет»[23]. Это свидетельство занесено в книгу «Писем» Греча под сентябрем 1843 г.; в письме от 29 января (10 февраля) 1844 г. мы находим и описание второго визита Греча к Гюго.

«Долго не решался я ехать к Виктору Гюго; мне грустно было подумать, что появлением в его доме возбужу я в нем воспоминания о былом времени, о жестокой утрате, его сразившей. И как начну я говорить с несчастною матерью? Между тем, я не мог не посетить его...». «Он принял меня дружелюбно и ласково... После первых горестных приветствий, Гюго приуныл было, но потом разговорился и, как будто, забыл свою грусть. Смерть Карла Нодье была предметом нашей беседы. Гюго любил его искренне»...

В то время, как Греч возражал Кюстину в своей брошюре, доказывая, что русское правительство всегда действует безупречно, что его едва ли даже можно обвинить в жестокости по отношению к Лермонтову, высланному на Кавказ, ибо—рассуждал Греч—эта ссылка послужила лишь на пользу поэту, дарование которого лишь на Кавказе развернулось во всей широте,—в то самое время в отдаленной сибирской глуши другой ссыльный русский поэт писал стихотворное послание Виктору Гюго. Это был декабрист В. К. Кюхельбекер, лицейский друг Пушкина и романтик, ставший жертвой того самого николаевского режима, елейные гимны кото-

рому пел в Париже Греч, сам некогда бывший одним из друзей Кюхельбекера. Послание это никогда не дошло до Гюго. Он никогда не узнал печального жребия своего русского собрата, который посвятил ему свои вдохновенные строки, несомненно, лучшие из всех, какие адресованы ему были русскими поэтами.

С творчеством В. Гюго Кюхельбекер смог познакомиться лишь в тюрьме и ссылке. В юности он, правда, побывал в Париже, в качестве секретаря А. Л. Нарышкина, но эта поездка была кратковременна («Я миг гостил в земле твоей...») и относилась к эпохе, когда юноша Гюго еще не выступил с первой книжкой своих стихотворений. Кюхельбекер приехал в Париж




ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ВИКТОРА ГЮГО НА ЕГО СБОРНИКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ „VOIX INTÉRIEURES", ПОДАРЕННОЙ Н. И. ГРЕЧУ В 1837 г.

Литературный музей, Москва

в марте 1821 г. и уехал оттуда осенью того же года, высланный на родину русским посольством после нескольких слишком вольнолюбивых лекций о русской литературе и славянских языках, с которыми он неосторожно выступил в парижском Athénée. Мог ли представлять для него какой-либо интерес молодой поэт-роялист, каким был в это время Гюго, готовивший свою первую книгу од на монархические и клерикальные темы? «Германическое направление» Кюхельбекера, за которое он подвергался насмешкам еще своих лицейских товарищей, сближение с лагерем «шишковистов» отвлекало его в первой половине 20-х годов от пристального внимания к современной французской литературе; арест по делу 14 декабря 1825 г., осуждение на каторжные работы, затем (с 1835 г.) поселение в Сибирь окончательно оторвали его от литературной жизни. Правда, друзья Кюхельбекера, в числе их и Пушкин, с риском для себя, по мере

возможности снабжали его литературными новинками, текущими книжками журналов. По этим скудным источникам, чаще всего из вторых рук, Кюхельбекер познакомился с лирикой Гюго, с его критическими статьями. В дневнике Кюхельбекера, который он вел в Свеаборге, узником арестантских рот, занося свои мысли и впечатления в прошнурованную комендантом тетрадь из грубой бумаги, мы находим первые записи впечатлений от чтения Гюго. Так, например, 27 августа 1834 г. он делает такую запись: «В „Телеграфе" прочел я вчера примечательное рассуждение Виктора Гюго о поэзии. Не согласен я, будто бы стихия смешного так мало проявляется в поэзии древних, как то утверждает Гюго. Напрасно говорит он: „После гомеровских (я уверен, что в подлиннике „homériques"; это—скажу мимоходом—не значит гомеровские, а гомерические) великанов Эсхила, Софокла, Эврипида что значит Аристофан и Плавт? Гомер увлекает их с собою, как Геркулес уносил пигмеев, спрятанных в его львиной коже». Знаток античной литературы, некогда во след Шлегелю мечтавший о возрождении античной трагедии, и приверженец высоких лирических жанров Кюхельбекер помещает в своем дневнике целое рассуждение по поводу этого мнения Гюго. Вопреки Гюго, он полагает, что «Аристофан—гений, который ничуть не уступит Эсхилу и выше Софокла; а можно ли жеманного Эврипида, греческого Коцебу, ставить рядом с Эсхилом и даже Софоклом? Можно ли сближать гениального, роскошного, до невероятности разнообразного, неистощимо богатого с о б с т в е н н ы м и вымыслами Аристофана с подражателем, не бесталанным, но все же подражателем—Плавтом?». Не согласен Кюхельбекер также со взглядами Гюго на Шекспира, его смущают мысли Гюго о смешении жанров, о том, что «смешное вправе являться и в патетических творениях, в трагедии, эпопее героической etc.»[24] Но суть, конечно, не в этих разногласиях, а в том внимании, какое уделил Кюхельбекер взглядам Гюго. Шум, поднятый вокруг имени французского поэта в России, достиг арестантской крепости в Финляндии, рядовых полков кавказской армии и отдаленнейших сибирских углов. Декабрист А. А. Бестужев-Марлинский, узнавший Гюго в ссылке, писал о нем в письме к Н. А. Полевому из Дербентского полка: «Перед Гюго я ниц... Это уже не дар, а гений во весь рост. Да, Гюго на плечах своих выносит в гору всю французскую словесность и топчет в грязь все остальное и всех нас, писак»[25]. Кюхельбекер в письме из Баргузина, Иркутской губ. (3 августа 1836 г.) пишет Пушкину: «Hugo, кажется, талант мощный, но стулья, шкапы, корзины etc. его слишком занимают»[26]. Еще в 1843 г. (8 августа) Кюхельбекер отмечает, что «в последние дни» он прочел «много для себя совершенно нового»: на первом месте стоит «Мария Тюдор», Гюго, вышедшая в Париже за десять лет перед тем (1833). Правда, отзыв Кюхельбекера об этой романтической драме отрицателен: «Мария—ужаснейшая чепуха, написанная талантливым человеком. Характер героя-простолюдина один только истинно хорош: все прочее вздор такой, что мочи нет», но Кюхельбекер все же должен сознаться, что чтение захватывает непреодолимо: «а читать все-таки читаешь и не можешь оторваться»[27]. Когда 20 января 1844 г. Кюхельбекер (он жил тогда в крепости Акша, Нерчинского округа) узнал о смерти дочери Гюго, он написал стихотворное послание «К Виктору Гюго», полное искреннего горя и сочувствия (за два года перед тем у Кюхельбекера умер сын). В этом стихотворении он сопоставляет две поэтических судьбы, два жребия, которые выпали на долю французскому поэту и его русскому собрату.

## К ВИКТОРУ ГЮГО

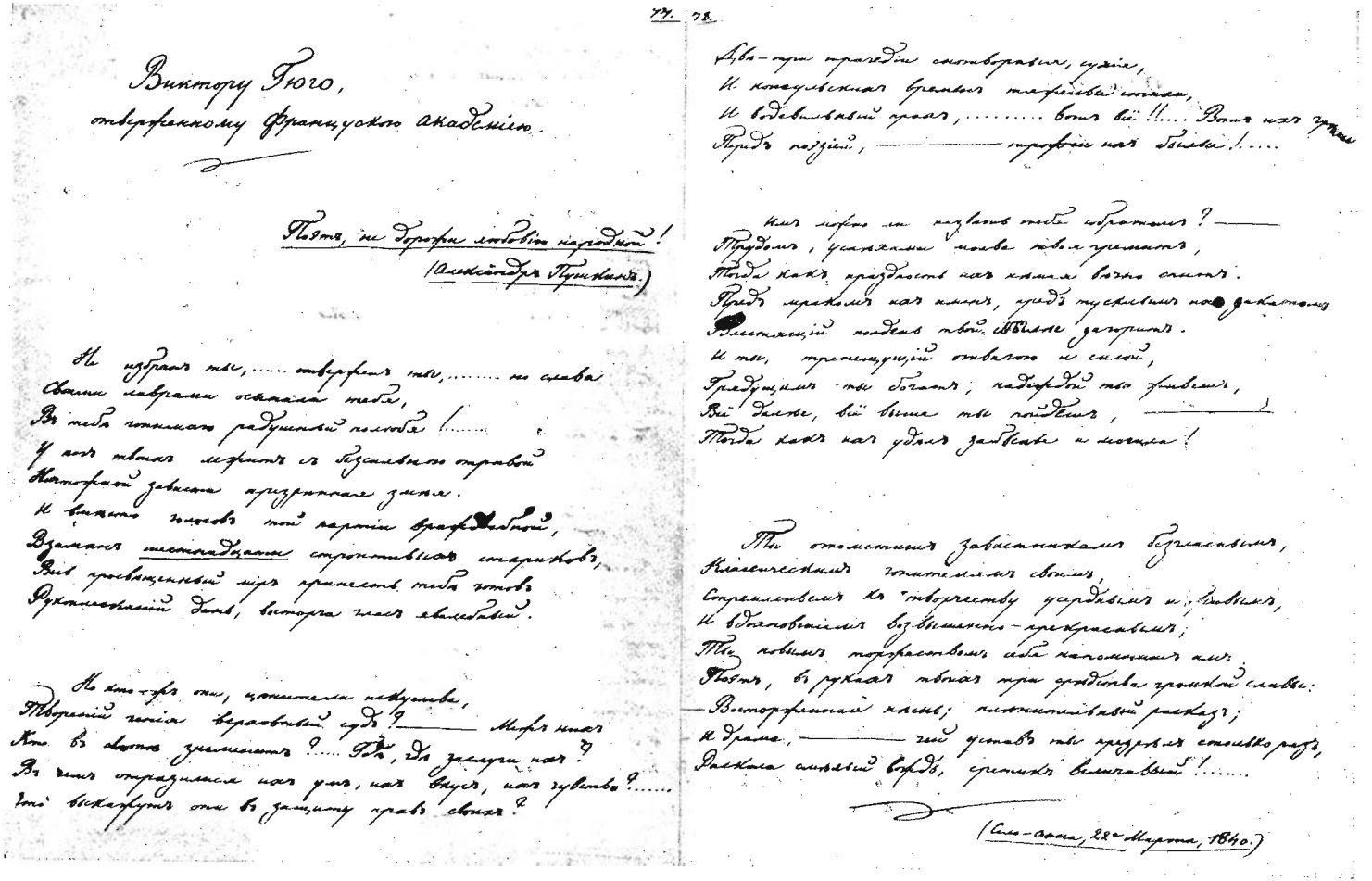
Прочитав известие,
что у него потонула дочь.

Не суждено мне было в мире
С тобою встретиться, поэт,
И уж на западе моих унылых лет
Я внял твоей волшебной лире.
Я миг гостил в земле твоей;
Я—сын иной судьбы, иного поколенья;
Я не видал твоих очей,
В них не приветствовал перунов вдохновенья,—
Но дорог ты душе моей.
Успехов и похвал питомец, нег и блеска
Ты к буре бешеного плеска
С рассвета своего привык.
И не одной толпы ничтожный, шумный крик
Превозносил тебя: младенческие руки
Исторгли первые из струн дрожащих звуки—
И встрепенулся вдруг божественный старик;
С живою жаждою к потоку их приник
Не льстец победы, не удач служитель,
Но он, поэзии и веры воскреситель,
Он, рыцарь и певец, и честный человек,
И жертв судьбы бесстрашный защититель
В продажный и распутный век.
«Гигант-дитя!» он о тебе изрек[28],
Когда завидел, как, покинув мрак и долы,
Ты, полный юных, свежих сил,
Отважно к солнцу воспарил,
Когда послушал те чудесные глаголы,
Какие из-за туч ты, вдохновенный, лил!
Под властью я рожден враждебных мне светил,
И рано крылья черной бури
Затмили блеск моей лазури;
Я тяжких десять лет в темнице изнывал—
Умру в глухих степях изгнанья...
Однако же, как ты, такой же я кристалл,
В котором радужно дробится свет созданья;
Один из вещих гулов я
Рыданий плача мирового;
Душа знакома и моя
С наитьем духа неземного!
Гюго!—не вечно и тебе
Смеялось ветренное счастье.
Ты также заплатил свой долг судьбе.
Увы, мой брат! и ты вкушал же сладострастье,
Неизреченную утеху горьких слез...
И вот же рок тебе нанес
Удар убийственно-жестокий!
Воображаю я, как стонешь одинокий,
Как вопрошаешь ты немую эту ночь:

«Итак, моя любимица и дочь
Ужели в самом деле зев пучины?..»
Не договаривай: плачь, труженик-певец!
Тебе сочувствую: ах, ведь и я отец!
Нож и в моей груди негаснущей кручины:
С могилы сына моего
Над дочерью твоей, Гюго, рыдаю ныне...
В столице мира ты; я в ссылке, я в пустыне:
Но родственная скорбь не то же ли родство?[29]

Это замечательное стихотворение навсегда останется одним из самых ярких эпизодов в истории отношений к Гюго в России. И приходится пожалеть, что тот, к кому оно было обращено, не мог получить его, а вместо того должен был выслушивать соболезнования по поводу утраты своей дочери от *«казенного литератора» Греча. Для Гюго* «послание» Кюхельбекера могло бы явиться оправдательным документом против всех показаний Греча, притом аргументом первоклассного значения, исходящим от человека, которого погубил тот самый николаевский режим, апологетом которого являлся Греч. Впрочем, в это время Гюго уже едва ли нуждался в каких-либо новых данных для выработки своего мнения о самодержавной России и, в особенности, об ее императоре. П. А. Вяземский вспоминает, что при встрече с Гюго в Париже еще в 1841 г. «я хотел направить его на поэзию, а Гюго все сворачивал на политику. Наконец, он сказал мне: „J'aime votre empereur Nicolas, mais si j'étais à sa place, voici ce que je ferais"... Тут я взял шляпу и раскланялся с ним...»[30]. Вяземский не досказывает слов Гюго. «К сожалению,—пишет по этому поводу Haumant,—Вяземский не решается окончить эту фразу; побьемся об заклад, что В. Гюго переделал бы монолог Карла Пятого в „Эрнани" и объявил милосердие полякам»[31].

Нужно думать, что о стихотворении Кюхельбекера Гюго не узнал никогда. Однако, другое стихотворное послание, отправленное ему из России, он получил. Это было еще в 1840 г. Оно прислано было ему совсем из другого мира. Автором его была великосветская поэтесса графиня Е. П. Ростопчина; посредником в передаче послания Гюго—«русско-французский поэт» кн. Элим Мещерский. В августе 1840 г. Гюго получил из Ниццы письмо от Мещерского, в котором тот писал ему о «плодотворном влиянии», оказываемом Гюго на русскую литературу, говорил о популярности его в России и о высокой оценке его произведений критикой его страны. „Я получил недавно,—писал Мещерский,—стихотворение, написанное по-русски и озаглавленное: Виктору Гюго, отверженному Французскою академиею". Автор этих стихов — графиня Ростопчина, кое-какие стихотворения которой вы можете прочитать в переводе в моих «Roses noires». Она поручила мне перевести стихотворение на французский язык и доставить его вам»[32]. Стихотворение Е. П. Ростопчиной вызвано было тем, что в начале 1840 г. Гюго не был избран во Французскую академию, несмотря на два вакантных кресла, освободившиеся за смертью академиков Мишо и де Келена (избрание Гюго состоялось, как известно, 7 января 1841 г.). Вместе со своим переводом этого послания Э. П. Мещерский послал Гюго и его русский подлинник; последний в собраниях сочинений Е. П. Ростопчиной не печатался и вообще не был известен в печати. Но автографическая копия его



Виктору Гюго,
отверженному Французскою академіею.

Поэтъ, не дорожи любовію народной!
(Александръ Пушкинъ.)

Не избранъ ты, ..... отверженъ ты, ..... но слава
Своими лаврами осыпала тебя,
Въ тебѣ гонимаго радушнѣй полюбя! .....
У ногъ твоихъ лежитъ съ безсильною отравой
Ничтожной зависти презрѣнная змѣя.
И вмѣсто голосовъ той партіи враждебной,
Взамѣнъ шестнадцати строптивыхъ стариковъ,
Весь просвѣщенный міръ принесть тебѣ готовъ
Рукоплесканій дань, восторга гласъ хвалебный.

Но кто-жъ они, цѣнители искусства,
Твореній генія верховный судъ? —— Межъ нихъ
Кто въ свѣтѣ знаменитъ? .... Гдѣ, гдѣ заслуги ихъ?
Въ чемъ отразился ихъ умъ, ихъ вкусъ, ихъ чувство? .....
Что выскажутъ они въ защиту правъ своихъ?

Двѣ-три трагедіи снотворныя, сухія,
И консульскихъ временъ тяжелыя стихи,
И водевильный прахъ, ..... вотъ всё!!.... Вотъ ихъ грѣхи
Передъ поэзіей, —— трофеи ихъ былые! ....

Имъ можно ли назвать тебя собратомъ? ——
Трудомъ, успѣхами молва твоя гремитъ,
Тогда какъ праздность ихъ нѣмая вѣчно спитъ.
Предъ мракомъ ихъ именъ, предъ тусклымъ ихъ закатомъ
Блестящій полдень твой сильнѣе загоритъ.
И ты, трепещущій отвагою и силой,
Грядущимъ ты богатъ; надеждой ты живешь,
Всё далѣе, всё выше ты пойдешь, ——
Тогда какъ ихъ удѣлъ забвенье и могила!

Ты отомстишь завистникамъ безгласнымъ,
Классическимъ гонителямъ своимъ,
Стремленьемъ къ творчеству усерднымъ и живымъ,
И вдохновеніемъ возвышенно-прекраснымъ;
Ты новымъ торжествомъ себя напомнишь имъ.
Поэтъ, въ рукахъ твоихъ три средства громкой славы:
— Восторженная пѣснь; плѣнительный разсказъ;
И драма, —— чей уставъ ты презрѣлъ столько разъ,
Раскола смѣлый вождь, сретикъ величавый! .....

(Село-Сана, 22го Марта, 1840.)

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ Е. П. РОСТОПЧИНОЙ, ПОСВЯЩЕННОГО В. ГЮГО, 1840 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

сохранилась среди бумаг поэтессы в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина в Москве[33]. Приводим это стихотворение полностью.

ВИКТОРУ ГЮГО,
ОТВЕРЖЕННОМУ ФРАНЦУЗСКОЮ АКАДЕМИЕЮ

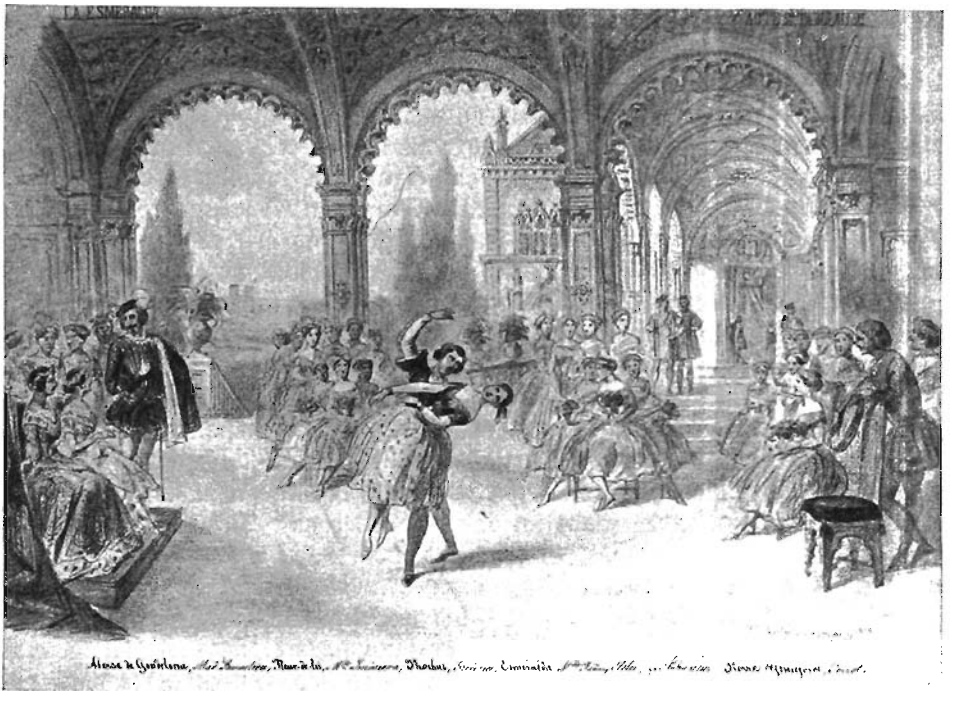
Поэт, не дорожи любовию народной!
Александр Пушкин

Не избран ты, отвержен ты, но слава
Своими лаврами осыпала тебя,
В тебе гонимого радушней полюбя!
У ног твоих лежит с бессильною отравой
Ничтожной зависти презренная змея.
И вместо голосов той партии враждебной,
Взамен ш е с т н а д ц а т и строптивых стариков,
Весь просвещенный мир принесть тебе готов
Рукоплесканий дань, восторга глас хвалебный.
Но кто ж они, ценители искусства,
Творений гения верховный суд?—Меж них
Кто в свете знаменит? Где, где заслуги их?
В чем отразилися их ум, их вкус, их чувство?
Что выкажут они в защиту прав своих?
Две-три трагедии снотворные, сухие,
И консульских времен тяжелые стихи,
И водевильный прах!.. вот все!! Вот их грехи
Перед поэзией, трофеи их былые!
Им можно ли назвать тебя собратом?—
Трудом, успехами молва твоя гремит,
Тогда как праздность их немая вечно спит.
Пред мраком их имен, пред тусклым их закатом
Блестящий полдень твой светлее загорит.
И ты, трепещущий отвагою и силой,
Грядущим ты богат; надеждой ты живешь,
Все далее, все выше ты пойдешь,—
Тогда как их удел забвенье и могила!
Ты отомстишь завистникам безгласным,
Классическим гонителям своим,
Стремленьем к творчеству усердным и живым,
И вдохновением возвышенно-прекрасным;
Ты новым торжеством себя напомнишь им.
Поэт, в руках твоих три средства громкой славы:
Восторженная песнь; пленительный рассказ,
И драма,—чей устав ты презрел столько раз,
Раскола смелый вождь, ерётик величавый!..

Село-Анна, 22-е марта, 1840.

Французский перевод этого стихотворения, сделанный для Гюго Элимом Мещерским, напечатан в собрании его сочинений[34].

Вопреки заявлению Элима Мещерского, назвавшего, в письме к Гюго, автора этого послания «одним из лучших русских поэтов», Е. П. Ростопчина была довольно посредственной поэтессой, произведения которой ни-



БАЛЕТ „ЭСМЕРАЛЬДА" С УЧАСТИЕМ ФАННИ ЭЛЬСЛЕР НА СЦЕНЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Зарисовка А. Шарлеманя, 1849 г.

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

когда не пользовались в России большой популярностью. У нас нет никаких данных для того, чтобы судить, как реагировал Гюго на послание Ростопчиной, доставленное ему одним из рьяных почитателей его поэзии; мы знаем только, что Гюго ответил Мещерскому на его письмо, но ответ этот до сих пор остается неизвестным[35].

К 40-м годам относится еще целый ряд русских воспоминаний о Гюго, отзывов о нем русских путешественников в Париже, записей тех рассказов о Гюго, какие они слышали от его друзей и знакомых. Круг этих людей был очень пестрый. С одной стороны, это были представители русской знати, попрежнему появлявшиеся у m-me Рекамье и в салоне Ансло; с другой—это были представители молодого поколения, переживавшего свои Lehr- und Wanderjahre и стремившегося на Запад в поисках знаний и впечатлений для своей будущей деятельности. Все они, находясь в Париже, с той или иной стороны интересовались Гюго, его литературными отношениями, его новыми книгами, статьями, академическими речами, замыслами.

Старик А. И. Тургенев, попрежнему общительный, увлекательный собеседник, нисколько не утративший с годами своей острой наблюдательности и своего непобедимого интереса ко всякой учено-литературной, политической и философской новости европейской жизни, продолжал посещать «вторники» в «Abbaye au Bois» у m-me Рекамье, как и прежде, не упуская ни одного интересного академического диспута, ученого заседания. Изредка посылал он свои заметки о парижской жизни в новые русские жур-

налы: в плетневский «Современник» начала 40-х годов, в недавно основанный «Москвитянин». Одно из таких его писем содержит, между прочим, очень живое описание заседания в Академии по случаю избрания на место Делавиня—Сент-Бёва, на речь которого, по академическому обычаю, ответ должен был говорить Гюго. «Ты, конечно, уже прочел в „Дебатах" речи Сент-Бёва и Гюго,—пишет А. И. Тургенев.—Никогда такой тесноты, свалки в Академии не бывало, как в этот день». С огромным любопытством следил А. И. Тургенев за речью Сент-Бёва, который, по его словам, «поражал иногда того же Гюго, коего не щадил и прежде сильно, но облекая критику в похвалу Делавиню: „Casimir Delavigne resta et voulu rester homme de lettres; c'est une singularité piquante de ce temps-ci" etc.[36] Всем нам пришло на мысль, что Гюго хочет быть пэром. Другой удар поэту-трагику, осужденному принимать и, следовательно, хвалить своего неумолимого критика, нанес St.-Beuve статистическим фактом: 66-ю первыми представлениями Школы стариков; к сему блистательному успеху приблизился—все же не Гюго, а автор Силлы[37]. Мы знали, что накануне Гюго—устами милой Жирарден (dans un de ses feuilletons viriles)[38] в „Прессе"—уже отомстил за себя, назвав его отступником, изменником, кажется, романтизма. St.-Beuve готовил ответ наудачу, но попал метко и верно. St.-Beuve заключил речь—погребением предшественника, и ум уступил перо сердцу»[39]. В этом умном и тонком отчете, как всегда в письмах А. И. Тургенева, поражает, прежде всего, его осведомленность; впрочем, в этом нет ничего удивительного: он шел на это академическое заседание, заранее предупрежденный о том, что литераторы и публика придают ему не только интерес рядового «discours de réception», но и значение очередного турнира между «романтической» и «классической» партиями; о том, что фельетон «милой Жирарден» против Сент-Бёва был инспирирован Виктором Гюго, А. И. Тургенев, конечно, знал от нее самой или от ее матери, с которыми часто встречался[40]. Тем не менее, отношение его к Гюго, как и в 30-е годы,—прохладное; ему нравятся язвительные выпады Сент-Бёва против Гюго, но он недоволен ответной речью последнего: позиция Тургенева напоминает позицию его друга—А. С. Пушкина, который и в этом споре предпочел бы Сент-Бёва, как он это сделал в своей недописанной статье о «Feuilles d'automne»... «С педантической важностью и громогласно отвечал ему [Сен-Бёву] Гюго,—продолжает Тургенев.—Начались антитезы и декламация; похвалы то демократии, то королю, то христианской религии—опять напомнили старинную критику Сен-Бёва: „Ce mélangé souvent entre-choqué de réminiscences monarchiques, de phraséologie chrétienne et de vœux saintsimonien qui se rencontrent dans Mr. Hugo"[41]. Но вот поэзия иного рода. Гюго говорит Сен-Бёву: „Comme philosophe vous avez confronté tous les systèmes"[42]; этой похвале позавидовал бы и Кузень! Не знаю, доволен ли Сен-Бёв и категорией, в которую Гюго его поместил, указав ему место за Нодье: «Vous nous rendrez quelque chose de Nodier!!»[43]. Я думаю, что St. Beuve хотя и сам мужичок с ноготок—не почитает себя ниже и всего Нодье! Приступая к предмету главного творения Сен-Бёва, Гюго поставил почти на одну линию Port-Royal и Hôtel Rambouillet и указал им места, хотя противуположные, но в такой области, коей они касались стороною только, в области человеческой мысли!—Я слушал с восторгом характеристику и панегирик Пор-Роялю; R. Collard—развалина оного—оживился и одобрял киваньем головы, тихим движеньем рук и важною улыбкою. Сальванди, сосед его, обращался к нему, когда

ему казалось, что слова Гюго должны были ему нравиться. Лицо старца просияло. Само собой разумеется, что строгим католикам похвала жансенистам, сим стоикам христианства, не понравилась (каких анафем не слыхал я против сего панегирика). Но одобрение Ройе Коляра—une des gloires tranquilles—было для оратора полным вознаграждением... Многие ожидали, что скелет иезуитизма, снова животрепещущий, предстанет мысли оратора во всей гнусной наготе своей над пеплом затоптанного им Пор-Рояля; но Гюго доказал, что и он имеет талант воздержания, и молчание его об иезуитах было красноречиво. Жаль, что не воздержался и от смешного уподобления или преувеличения: „Заутра после того дня, как Франция внесла в свою историю новое и мрачное слово: Ватерло, она вписала в свои летописи новое и блестящее имя: Казимир де ла Виньи". Сен-Бёв опять прав: „это что-то великолепное и сильное, пустое и звонкое"»[44].

А. И. Тургенев был, конечно, незаменимым гидом по Парижу для молодых русских путешественников. От него, старого «парижанина», посвященного во все тайны салонной и учено-литературной жизни, до тонкости знавшего также отношения между «партиями» и людьми, посвященного во многие сложные механизмы симпатий и антипатий всех наиболее крупных литературных и политических деятелей тогдашней Франции, они научались многому и на многое смотрели его глазами. Попавший к нему в заграничную поездку 1841—1843 гг. молодой П. В. Анненков, вероятно, немало позаимствовал из бесед с этим замечательным русским «европейцем» для своих «Писем из-за границы», которые он писал для «Отечественных

БАЛЕТ „ЭСМЕРАЛЬДА" С УЧАСТИЕМ ФАННИ ЭЛЬСЛЕР НА СЦЕНЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Зарисовка А. Шарлеманя, 1849 г.

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

Записок». Не А. И. Тургенев ли сообщил отзывам Анненкова о Гюго легкий холодок? В 1842 г., например, для Анненкова театральное представление в каком-нибудь захудалом парижском театрике было интереснее «новоожидаемых писем Гюго». Но вот эти «письма» — («Le Rhin», 1842) выходят в свет, и Анненков пишет: «Французы совершенно согласны, что путешествие Гюго на Рейн скучно» и спешит тотчас же присоединиться к мнению соотечественников поэта[45]. О своем знакомстве с Гюго Анненков не сообщает, но он, несомненно, видел его несколько раз в тех местах, куда «хранительно напутствовал» его А. И. Тургенев. Но во всех своих рассказах о западной жизни, «крупной и мелкой, бытовой, художественной и литературной», П. В. Анненков меньше всего говорит о Гюго. Он вспоминает его лишь при отъезде из Парижа на Рейн через Бельгию: «А кто с Рейна едет в Париж, так там, слышно, восклицают: „А, сходите же к Виктору Гюго, который хочет у нас Кельн взять («Рейн», Гюго), и скажите ему, что мы отнимем у него Страсбург“». «В Ахене стоял я перед мраморным троном Карла Великого, на котором сидел он в гробнице своей и на котором короновались потом тридцать императоров»... «Я хотел написать вам об этом подробно, но, вспомнив, сколько тысяч таких впечатлений было до меня, и как еще недавно Виктор Гюго достиг крайней степени пафоса за таковым же занятием,—снова устыдился и отложил перо»[46].

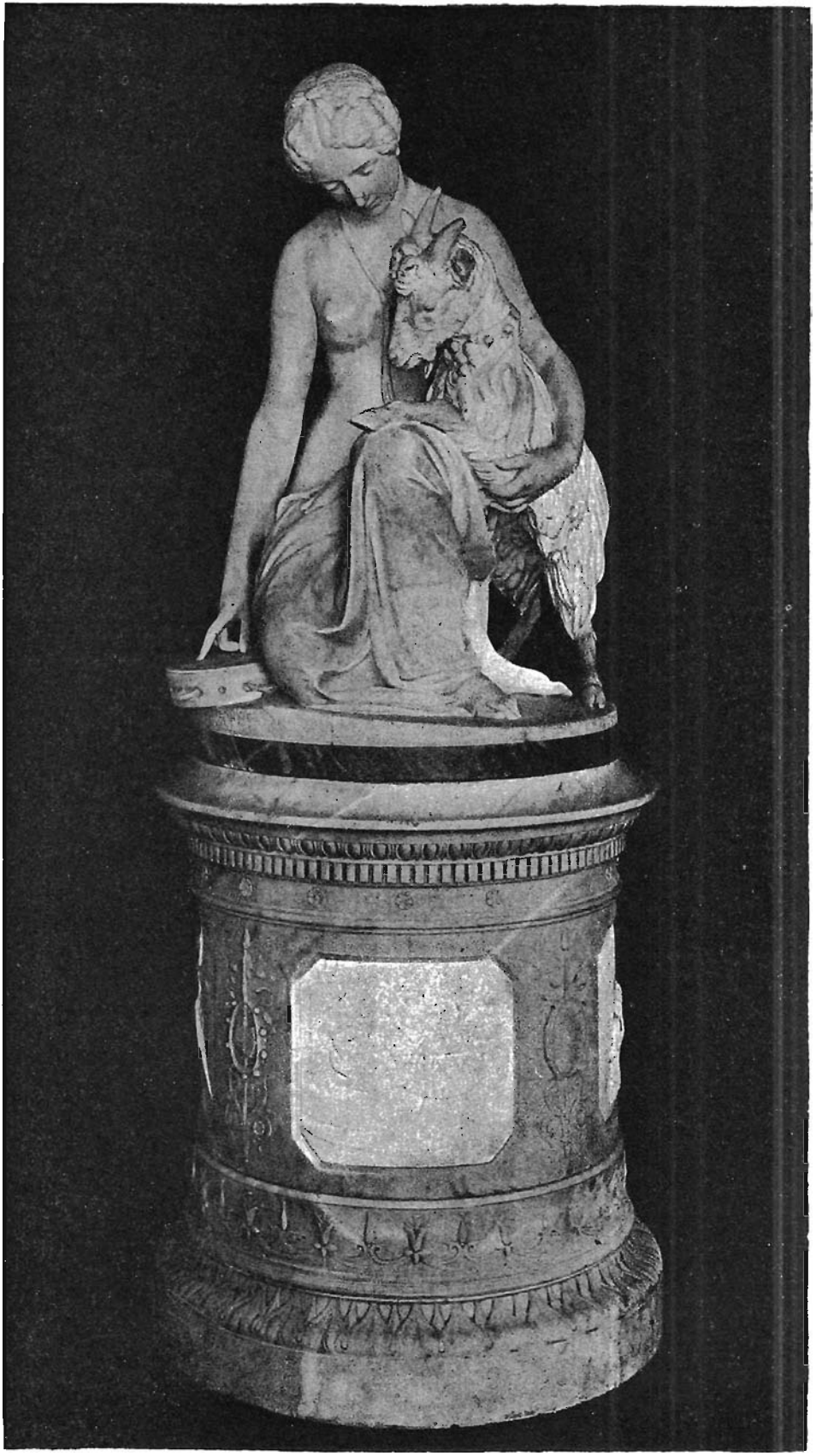
Такова одна линия отношения к Гюго русских туристов во Франции—линия, идущая от А. И. Тургенева, которую усвоит впоследствии один из поздних русских знакомцев Гюго, близкий друг П. В. Анненкова—Иван Сергеевич Тургенев. Это линия признания поневоле, без всякой надежды сделаться когда-либо его подлинным приверженцем или испытать настоящее восхищение от его творчества. Другую группу представляют случайные свидетели, безотчетно внимающие всему, что они слышат. Когда безвестный Матвей Волков записывает в свой путевой дневник под 10 декабря 1845 г. вместе с разными сведениями о парижских театрах: «„Эрнани“ тоже дадут, но с переменою сюжета и названия. Виктор Гюго не позволяет иначе; разве с платою ему за каждое представление»,—это всего лишь один из многих путешественников, налету схвативших в Париже какую-нибудь сплетню и записавших ее в свой журнал, не разобравшись в ней как следует[47]. Разъяснения этого сообщения Волкова дает В. П. Балабин в одном из своих парижских писем к родным (1846), которые Эрнест Доде издал под видом его дневника. «Итальянцы дали нам новые постановки: после „Навуходоносора“ Верди—„Эрнани“ того же композитора—оперу, которую перекрестили в „Изгнанника“ (Proscritto), так как Виктор Гюго не позволяет, чтобы пользовались его достоянием. „Это для спасения принципа“, говорит он. Мне это кажется очень мелочным для пэра Франции». В этих же своих письмах В. П. Балабин рассказывает о вечере, проведенном им в день торжественного приема Альфреда де Виньи во Французскую академию у m-me де Курбон и дает интересные обрывки суждений и разговоров по поводу происходившего днем события[48]. Не лишено занимательности свидетельство об отношении к Гюго Тьера, которое находим в одном из писем из Парижа (3/15 января 1848 г.) А. Н. Карамзина, сына историографа. Он пишет: «Вчера вечер провел в литературной дискуссии с Тьером. Он начал с того, что посмеялся над речью Гюго в палате пэров, считая ее глупой. Я ему сказал: вы имеете в виду, конечно, глупость в смысле политики, потому что как поэт Гюго часто не был лишен гениальности. „Как? он гений? Что за идея! Да ведь это—дурачок, жалкий

бумажный болтун, позор нашей эпохи" и пр. и пр.»—«Я совершенно не в состоянии,—прибавляет Карамзин,—передать вам все парадоксы, все нелепости, всю дикую бессмыслицу, на которые Тьер оказался способен, оставаясь однако же в пределах остроумия»[49]. Несомненно, что наиболее интересными для нас были бы свидетельства о встречах Гюго в эти же годы с его русскими поклонниками, действительными приверженцами, испытавшими на себе его идейное, творческое влияние. К сожалению, именно о встречах такого рода мы знаем очень мало. Случайные их следы, однако, позволят, быть может, когда-либо собрать о них более подробные данные.

В конце 30-х годов в Петербурге одним из больших поклонников Гюго считал себя молодой музыкант А. С. Даргомыжский. Под влиянием М. И. Глинки и романтического кружка Н. В. Кукольника Даргомыжский задумал написать оперу на сюжет Гюго. В эти годы Гюго обратил на себя внимание многих русских музыкантов: в этом нельзя не видеть лишнего свидетельства широкой популярности в России его лирики и драматического творчества. Когда В. В. Стасов предложил А. Н. Серову балладу Гюго, «Le Voile», как хороший сюжет для музыкальной иллюстрации, последний отвечал ему интересным письмом (от 25 августа 1841 г.), в котором изложил свои мысли о пригодности поэзии Гюго для музыкального пересоздания: «Мне кажется, что „Le Voile" гораздо лучше может быть иллюстрирован живописью, нежели музыкою. Этот восточный, пурпурный колорит целого создания не может быть передан никакими звуками, тем менее удар кинжала.... Мне кажется, что вообще Виктор Гюго, по своей необычайной оконченности, именно из тех поэтов, которых трудно омузыкаливать, т. е. трудно досказать что-нибудь к сказанному им, sans trahir une individualité étrangère... При всем том, создания его так прелестны, что, действительно, трудно устоять против искушения омузыкаливать их. Ты знаешь его балладу „La Fiancée du timbalier"? Еще в училище зародилась у меня мысль дать ей музыку, но тут встретилась непреодолимая трудность, а именно: многословие (разумеется, не в худом значении) этой пьесы, которая, как мне кажется, для музыки слишком длинна, т. е. в отношении к небольшому разнообразию действия»[50]. Для Даргомыжского вопросы пригодности поэтического текста Гюго для музыки имели второстепенное значение, т. к. он собирался писать оперу и все равно должен был прибегнуть к помощи либреттиста. Затруднения ожидали его с другой стороны—цензурной. Сам Даргомыжский рассказывает в своей автобиографии: «Составив план французской оперы „Лукреция Борджиа", я написал несколько нумеров; но по совету Жуковского скоро оставил этот невозможный в то время для России сюжет и начал писать музыку на французское либретто Виктора Гюго „Эсмеральда". Работа шла быстро. В 1839 г. опера была окончена, переведена на русский язык и представлена мною в дирекцию театров. Несмотря на одобрение ее капельмейстерами театров, несмотря на все постоянные мои хлопоты, старания и просьбы поставить ее на сцену,—„Эсмеральда" пролежала у меня в портфеле целые восемь лет... Вот эти-то восемь лет напрасного ожидания, и в самые кипучие годы жизни, легли тяжелым бременем на всю мою артистическую деятельность»[51]. Даргомыжский думает, что причиной задержки в постановке его оперы было «невежество начальника репертуара»; нам кажется, однако, что причины лежали глубже; А. В. Никитенко еще в 1834 г. отметил в своем дневнике характерную свою беседу с министром народного просвеще-

ния С. С. Уваровым о романе Гюго, который дал сюжет первой опере Даргомыжского: «Докладывал ему о некоторых романах, переведенных с французского. „Церковь божьей матери“ Виктора Гюго он приказал не пропускать. Однако, отзывался с великой похвалою об этом произведении. Министр полагает, что нам еще рано читать такие книги»[52]. Даргомыжскому могли ответить примерно то же, во всяком случае, все его хлопоты были безуспешны; в 1843 г. композитор отшучивался в письме к одному из своих друзей: «Ты спрашиваешь меня, любезный друг, что я сделал хорошего после твоего отъезда и что поделывает моя „Эсмеральда“. Несмотря на все бури, поднятые против этой несчастной девочки, которой вся вина в том только, что она явилась на свет непрошенною, она была принята театральною дирекциею, которая, однако же, до сих пор все находит препятствия pour en faire une fille publique, chose à laquelle elle est destinée»[53]. В 1844—1845 гг. Даргомыжский ездил за границу[54]. Его концерты в Париже и Брюсселе прошли с большим успехом. Неизданный альбом Даргомыжского, хранящийся в Институте литературы Академии наук СССР, в Ленинграде, представляет собою замечательный документ для истории его заграничных странствий. Для нас любопытнее всего то, что среди записей европейских знаменитостей этого альбома имеется, повидимому, автографическая подпись Виктора Гюго (1845), и это обстоятельство дает возможность предположить, что автор русской «Эсмеральды» виделся в Париже с автором «Notre-Dame de Paris». К сожалению, мы ничего больше не знаем об этой возможной встрече. Но примечательно, что Даргомыжский именно своими заграничными успехами объяснял разрешение постановки его оперы в России; он пишет в своей «Автобиографии»: «По возвращении моем из-за границы, удалось мне выхлопотать себе, в виде милости, дозволение на постановку „Эсмеральды“ в Москве. Она дана была в первый раз, с большим успехом, на московском театре 5 декабря 1847 г. Полагаю, что отзывы обо мне иностранных газет немало содействовали дозволению со стороны дирекции поставить оперу мою в России»...[55]

Мы можем также предположить знакомство Гюго с Николаем Ивановичем Сазоновым, одним из московских друзей А. И. Герцена, который в 40-х годах переселился в Париж, сблизился там с радикальной интеллигенцией и революционерами разных национальностей, сотрудничал в «Voix du Peuple» Прудона и в «Réforme» Ламенэ и находился впоследствии в переписке с К. Марксом[56]. Этот участник революции 1848 г., «умный, многознающий человек», «очень уже офранцуженный», как его аттестует Н. А. Огарева-Тучкова, переводил, между прочим, Лермонтова на французский язык и одновременно пропагандировал французскую поэзию в России. Под псевдонимом Карла Штахеля он изредка печатал в русских журналах статьи о Гюго. Так, например, в «С.-Петербургские Ведомости» он сообщил стихотворение Гюго «Les Maîtres d'étude» еще до того, как оно появилось в сборнике «Les Contemplations» (1856); в статье, помещенной в «Отечественных Записках» за 1856 г., он подробно описал обстановку квартиры Гюго до последних мелочей бытового обихода: «Имевшие честь посещать поэта в то время, когда он жил в Париже, в прежнем ли его доме (Place Royale) или в том, куда он переселился в 1848 г. (Rue de la Tour d'Auvergne), поймут, что мы хотим сказать, а для непосвященных опишем это жилище»; это описание могло быть исполнено с такой детальностью лишь по собственным впечатлениям[57].



ЭСМЕРАЛЬДА С КОЗОЙ ДЖАЛИ
Работа А. Росетти, мрамор, 1858 г.

ЭСМЕРАЛЬДА ТАНЦУЕТ С КОЗОЙ ДЖАЛИ

ЭСМЕРАЛЬДА ДАЕТ НАПИТЬСЯ КВАЗИМОДО

ЭСМЕРАЛЬДА ЕДЕТ НА КОНЕ С ФЕБОМ

ЭСМЕРАЛЬДА СКРЫВАЕТСЯ У ОТШЕЛЬНИЦЫ

Барельефы на мраморном постаменте группы „Эсмеральда с козой Джали", работы А. Росетти, 1858 г.
Эрмитаж, Ленинград

Н. И. Сазонов был свидетелем продажи обстановки квартиры Гюго перед поспешным отъездом его из Франции в 1851 г., когда, по словам Сазонова, политический ураган разнес приют, созданный поэтом: «Больно было видеть это рассеяние редких, отчасти единственных произведений искусства, или средневековой промышленности, но, вместе с тем, утешительно было смотреть на жадность, с которой расхватывали предметы самые незначительные, на которых поэт оставил по себе память...»[58] Вскоре, впрочем, и самого Сазонова французское правительство выслало из Парижа... Начинался период изгнанничества Гюго, столкнувший его с другими русскими людьми, нежели те, которых он знал по Парижу. Во Франции ненавистного ему «Наполеона Маленького» остались и русские шпионы, и молодые люди из русского посольства, и те из старых русских «парижан», которых нередко видывал он в салонах, на заседаниях Академии, в ложах театра, остались, наконец, вероятно, надоедавшие ему своим любопытством праздные русские туристы. На смену им всем шли другие люди—«собратья» по изгнанию. Вскоре началось сближение Гюго с Герценом.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Григорьев Аполлон, Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина (1859).—Сочинения, СПБ. I, 1876, 293.

[2] «Русский в Париже». 1835. Из путевых записок.—«Телескоп», 1836, № 14, 231—247 (перепечатано в «Сочинениях В. П. Боткина», СПБ. 1890, I, 1—12). Мы, к сожалению, не в состоянии раскрыть звездочек, под которыми Боткин скрыл имена лиц, у которых он бывал в Париже. Ср. Ч. Ветринский, В. П. Боткин. Биографический очерк.—«Новое Слово», 1894, № 12, 41—42; его же, В сороковых годах, М., 1899, 131—132.

[3] Речь идет, несомненно, о Жюльетте Друэ; см. о ней Fleischmann (Hector), Une maîtresse de V. Hugo, P., 1912, и у нас ниже, в гл. III.

[4] В противоположность Боткину, отношение к Гюго редактора «Телескопа» Н. И. Надеждина было весьма сдержанным (ср. Н. К. Козмин, Н. И. Надеждин, СПБ. 1912, 391). В пору всеобщего увлечения в России романом «Notre-Dame» Надеждин писал в своем журнале, что «в прославляемом романе нет ничего особенно выдающегося», что Квазимодо, например, «существо почти отвратительное, но оригинальное», «Эсмеральда—нечто вроде Миньоны», а Клод Фролло—«слепок с Фауста, неудачный, неясный». Находясь в 1836 г. в Париже, Надеждин писал: «Любимые писатели возбудили какую-то остуду в публике: „Анжело“ В. Гюго забавляет только чернь»; о «Кромвеле» Надеждин вспоминает с отвращением: «Все теоретические утопии, создаваемые тогдашними романтиками для будущности новой литературы, отличались нелепою чудовищностью, не имели даже здравого смысла: вспомните известное предисловие к „Кромвелю“». Любопытно также указание Надеждина на эволюцию политических взглядов Гюго: «Гюго, переставший искать вдохновения в Вандее, объявил торжественно, что романтизм есть „либерализм литературный“».—«Телескоп», 1836, ч. XXXII, 97, 98, 105, 106.

[5] Б[урнашев] В., Из воспоминаний петербургского старожила.—«Заря», 1871, апрель, 21—22; Сушкова Е. А., Записки, Л., 1928, 98; «И. С. Тургенев и круг „Современника“», М.—Л., 1929, 16—17. См. также заметку о нем С. А. Венгерова в Полном собрании сочинений В. Г. Белинского, VII, 572—574.

[6] [Строев В.] Париж в 1838 и 1839 годах. Путевые записки и заметки Владимира Строева. Часть первая и вторая, СПБ. 1842, 1 и сл.

[7] «Москвитянин», 1843, № 10, 453.

[8] В. В. В., В. Гюго, оцененный Ж. Жаненом.—«Сын Отечества», 1837, 186, 315—340.

[9] Строев В., op. cit. I, 155—156.

[10] Вейль А., Пять часов, проведенных у В. Гюго.—«Галатея», М., 1839, ч. IV, 236—252.

[11] Строев В., op. cit. I, 157—158.

[12] «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», Л., 1927, 214—242.

[13] Там же, 242; ср. изданные под моей редакцией «Ямбы и поэмы» Огюста Барбье (Одесса, 1922), стр. IX—XI, 115—117 и приведенную там литературу. Отметим, что

«Песнь казака» Гюго переведена у нас В. Тепляковым («Одесский Альманах» на 1834 г.).

[14] См. P e l l e t a n (Camille), V. Hugo homme politique, P., 1907, и особенно вступительные замечания в книге G a r s o n (Jules), L'évolution démocratique de V. Hugo, 1904. Несмотря на свое присоединение к движению орлеанистов около 1837 г., Гюго еще раньше не чужд был многим идеям французских демократов-утопистов. См. H u n t (H.-J.), L'impulsion socialiste dans la pensée politique de Victor Hugo.—«Revue d'Histoire Littéraire de la France», 1933, avril—juin, 216.

[15] Г р е ч Н. И., Путевые письма из Англии, Германии и Франции, СПБ. 1839, ч. II, 119, 122, 127, 128—130.

[16] Греч подробно описывает наружность великого поэта, безвкусным смешением деталей увеличивая комизм своего рассказа. «От роду не видал я такого высокого, благородного чела! Глаза его слабы, и он носит зеленые очки... Когда речь зайдет о неправде, притеснении и т. п., разгорячается до исступления и не выбирает выражений для изъявлений своего гнева»... «Дружба» Гюго с Гречем зашла так далеко, что последний решил «воспользоваться этим случаем и поехать к нему сам». Запись новой беседы с Гюго не менее показательна, чем первая. Естественно, что Греч и на этот раз выступает в качестве добровольного защитника русского самодержавия, панегириста николаевского режима, расточающего похвалы самому императору и всей правительственной системе (Г р е ч Н. И., op. cit., 131—132). Удивительно то, что Гюго, если верить Гречу, не только внимательно слушает этого добровольного агента III отделения, но кажется даже обрадованным теми открытиями, которые сделал для него русский журналист. Эту «радость» Гюго испытывает, однако, только в записи Греча; мы, несомненно, имеем здесь полную аналогию рассказу В. М. Строева.

[17] Хранится в Литературном музее в Москве («Альбом В. Н. Петровой-Званцовой»). «Les voix intérieures» вышли в 1837 г.

[18] «Северная Пчела», 1858, № 236, 27 октября.

[19] Г е р ц е н писал в этой статье: «Нам недавно попалась „Северная Пчела" от 27 октября прошлого года; там Греч поместил свою задушевную profession de foi, приправивши ее разными доносцами, нашпиговавши намеками. В статье этой он рассказывает, как он двадцать лет тому назад „на неприятельской батарее" защищал русскую цензуру и оплакивал вред свободной речи. Причем Греч сказал „напрямки", что „только тот литератор достоин уважения, который возвышает достоинство человека". Вы видите, что если Греч пойдет резать правду, его не остановишь, и он напрямки, стоя на батарее, скажет, что дважды два—четыре.

Опасности большой не было; эта легкая батарея, на которой наш артиллерист защищал николаевскую цензуру, была просто batterie de cuisine Сальванди.

Один из присутствовавших, прислушивавшийся к разговору, сказал Гречу: „Я совершенно с вами согласен". Этот неизвестный господин оказался ужасно известным поэтом и ратоборцем свободы книгопечатания—В. Гюго, ni plus ni moins; вследствие такого согласия, „мы с ним познакомились и, могу сказать, подружились".

С чем же был согласен Гюго? Ведь, не с пошлой же мыслью, что нравственность лучше безнравственности; он был согласен, стало, с пользой цензуры à la russe и на этом подружился с Н. И. Гречем.

Каков у нас Николай Иванович! Уездные барышни, проливавшие столько слез над его грамматикой, которую они принимали за „Черную женщину", помирились с Гречем. Ah, que c'est intéressant, ma Nastinka; M'sieur Gretch est un ami de V. Hugo... Mais c'est charmant! Ах, как я бы хотела видеть В. Гюго,—у него такой большой лоб! Maman, il faut nécessairement podpisatsa à la Ptchéla.

Не торопитесь, барышня. Если Николай Иванович имеет летучие воспоминания о словах В. Гюго, то мы имеем остающиеся письма того же В. Гюго, который обедал на батарее у Сальванди и подружился с Гречем, сойдясь в сочувствии к русской цензуре,—лучше уж подпишитесь на „Колокол"». — Г е р ц е н, Сочинения, ред. М. К. Лемке, IX, 501—504.

[20] Л е м к е М. К., Николаевские жандармы и литература, изд. 2-е, СПБ. 1909, 141—152; см. еще: Маркиз д е К ю с т и н, Николаевская Россия («La Russie en 1839»). Перевод с французского Я. Гессена и Л. Домгера, М., 1930, 18—21.

[21] «Г-н Греч, первый шпион его величества российского императора».—«Остафьевский Архив», IV, 274.

[22] «Lettres du Marquis A. de Custine à Varnhagen d'Ense et Rachel Varnhagen d'Ense», Bruxelles, 1870, 472.

[23] Г р е ч Н. И., Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии, СПБ. 1847, 221, 410, 524. Греч имеет в виду трагическую гибель дочери

Гюго Леопольдины (1824—8 сент. 1843) и мужа ее Шарля Вакри, утонувших в Сене во время увеселительной прогулки.

[24] «Дневник В. К. Кюхельбекера», Л., 1929, 189—191. Кюхельбекер имеет в виду статью Гюго «О поэзии древних и новых народов», помещенную в переводе в «Московском Телеграфе», 1832, № 19.

[25] «Русский Вестник», 1861, IV, 442. Здесь же дана подробная характеристика творчества Гюго, с которым познакомил Бестужева Н. А. Полевой. «„Notre-Dame" оказался совершенно в его вкусе» (ср. «Русский Вестник», 1861, III, 313). «„Han d'Islande"—смелой, но неудачной попыткой ввести бойню в будуары». «„Кромвель" холоден и растянут: из него можно вырезывать куски, как из арбуза, но целиком—нет. Мариона (Marion de Lorme) прелестна: это Гец для времени Ришелье. Полагаю, что Борджиа достойна своей славы, и жажду прочесть ее...» Особенно же сильное впечатление произвел на Бестужева «Последний день осужденного».—«Ужасная прелесть! Это вдохнуто темницей, писано слезами, печатано гильотиной. Пускай жмутся крашеные губы и табачные носы, читая эту книгу». См. еще в письме к Н. А. Полевому 9 марта 1883 г.: «Я с жаром читаю Гюго (не говорю с завистью), с жаром удивления и бессильного соревнования». В письме к братьям Бестужев пишет 21 дек. 1833 г.: «Странно, что у нас так возвышают Бальзака, а молчат про В. Гюго, гения неподдельного, могучего. Его „Notre-Dame", его „Marion de Lorme", „Il s'amuse" [sic!] и „Боргия"—такие произведения, которых страница стоит всех Бальзаков вместе, оттого, что у него под каждым словом скрыта плодовитая мысль», («Русский Вестник», 1870, VII, 54—55). Ср. З а м о т и н И. И., Романтизм 20-х годов в русской литературе, изд. 2-е, СПБ. 1913, 212—213; одна из глав этого исследования специально посвящена вопросу о влиянии Гюго на творчество А. А. Бестужева-Марлинского, но вопрос не исчерпан и нуждается в пересмотре.

[26] П у ш к и н, Письма, ред. Л. Б. Модзалевского, III, 359.

[27] «Дневник В. К. Кюхельбекера», Л., 1929, 290—291.

[28] Кюхельбекер поэтически воспроизводит здесь легенду, широко распространенную в биографической литературе о Гюго. Эту легенду санкционировал сам французский поэт. В книге о В. Гюго, написанной «близким свидетелем его жизни» («Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie»), под именем которого скрылась, как известно, жена поэта, рассказывается, что первые успехи на долю Гюго выпали тогда, когда ему едва исполнилось пятнадцать лет. «Смерть герцога Беррийского вдохновила Виктора написать оду, имевшую большой успех в роялистическом мире... Шатобриан в разговоре с г-ном Ажье, отозвался об этой оде в самых восторженных выражениях и назвал ее автора „в е л и к и м р е б е н к о м". Г-н Ажье, поместивший в „Белом Знамени" хвалебный отзыв о той же оде, привел это изречение Шатобриана. Слова великого писателя стали повторяться всюду, что не мало способствовало быстро возраставшей славе поэта» (цитируем по русскому переводу этой книги: «В. Гюго и его время, по его запискам, воспоминаниям и рассказам близких свидетелей его жизни», перев. Ю. В. Доппельмайер, М., 1887, гл. XXXIII: Изречение Шатобриана, 270—271). Как бы мы ни относились сейчас к этой легенде, достоверность которой была заподозрена еще Э. Бире (E. B i r é, V. Hugo avant 1830, P., 1883), несомненно, что Кюхельбекер имеет в виду именно Шатобриана и его слова о Гюго: «enfant sublime» («гигант-дитя»). Трудно допустить, чтобы Кюхельбекер слышал о них еще во время пребывания своего в Париже в 1821 г.; он знал легенду, вероятно, из какой-либо статьи о Гюго русского журнала. В «Московском Наблюдателе» (1835, ч. V, 235—236) мы, например, находим следующие слова о Гюго (в статье Д. Н и з а р а, «Виктор Гюго в 1836 г.»): «Шатобриан называл его гениальным ребенком, слово неблагоразумное, хотя исполненное доброты, которое могло внушить ребенку гордость человека взрослого и тщеславие гения, прежде чем ребенок имел еще талант» и т. д.

[29] К ю х е л ь б е к е р В. К., Сочинения, М., 1908, 116—117; ср. еще «Русская Старина», 1891, LXXII, октябрь, 99 и «Всемирный Вестник», 1903, № 9, 105—106.

[30] «Я очень люблю вашего императора, но если бы я был на его месте, то я сделал бы вот что...»—Письмо П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 13/25 июня 1841 г.—«Остафьевский Архив», IV, 137.

[31] H a u m a n t (E.), La culture française en Russie, P., 1910, 399.

[32] M a z o n (A.), Князь Элим—см. выше, стр. 392.

[33] В наиболее полном собрании сочинений Е. П. Ростопчиной, редактированном ее младшим братом С. П. Сушковым (1890), это ее стихотворение отсутствует. Автограф его находится в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина в Москве (№ 3330) и описан в «Отчете» Румянцевского музея за 1902 г., 9.

[34] M e s t c h e r s k y (Elim), Poètes russes traduits en vers français, P., 1846, II, 29—30.

[35] На письме Мещерского рукою В. Гюго сделана пометка: «R[épondu]»—«ответил». См. выше, стр. 394.

[36] «Казимир Делавинь остался писателем и хотел им остаться; это необычная странность для нашего времени» и т. д.

[37] «L'école des vieillards»—пьеса Казимира Делавиня (1793—1843); «Sylla»—трагедия Этьена Жуи (1764—1846), впервые представленная в Comédie Française 27 декабря 1821 г. и имевшая в течение длительного периода блистательный успех.

[38] «В одном из ее написанных по-мужски фельетонов».

[39] Тургенев А. И., Письмо из Парижа.—«Москвитянин», 1845, II, № 4, Смесь, 59.

[40] В одном из «Lettres parisiennes» m-me Жирарден, напечатанном в «La Presse» 24 февраля 1845 г., мы находим, действительно, слова, на которые намекает А. И. Тургенев: «On se dispute, on se bat pour aller jeudi à l'Académie. La réunion sera des plus complètes; il y aura là toutes les admiratrices de M. Victor Hugo; il y aura là toutes les protectrices de M. Sainte-Beuve, c. à. d. toutes les lettrées du parti classique. Comment se fait il que M. Sainte-Beuve... soit aujourd'hui le favori de tous les salons ultra monarchiques et classiqui simes[?]. On répond à cela: il a abjuré» и т. д. См. Séché (Léon), Delphine Gay (M-me de Girardin), dans ses rapports—avec Lamartine, V. Hugo, Balzac etc., P., 1910, 191. О встречах А. И. Тургенева с Sophie Gay см. в его «Хронике русского в Париже».—«Москвитянин», 1845, ч. II, № 4, Смесь, 8, 19—21.

[41] «Эта смесь, где часто сталкиваются встречающиеся у г. Гюго монархические реминисценции, христианская фразеология и сенсимонистские устремления».

[42] «Как философ вы дали очную ставку всем системам».

[43] «Вы возвратили нам что-то от Нодье».

[44] «Письмо из Парижа».—«Москвитянин», 1845, ч. II, № 4, Смесь, 60—60.

[45] «П. В. Анненков и его друзья», СПБ. 1892, 208.

[46] Ibid., 224—225.

[47] Волков Матвей, Отрывки из заграничных писем (1844—1848), СПБ. 1857, 249. Наиболее интересную часть этой книги составляют впечатления очевидца Февральской революции 1848 г. в Париже (472—552).

[48] Balabine (Victor), Journal de Victor de Balabine, secrétaire de l'ambassade de Russie. Publié par Ernest Daudet, P., 1914, 250—251.

[49] «Письма А. Н. Карамзина 1847—1848. Материалы по истории французской революции 1848 г.», М.—Л., 1935, 12.

[50] «А. Н. Серов, Материалы для его биографии».—«Русская Старина», 1876, XV, 348—349; ср. здесь же в большом письме от 29 сент. 1841 г. соображения Серова о «направлении» В. Гюго в его драмах и сопоставления его с Мейербером. См. еще в «Парижских письмах» П. В. Анненкова (1847) его параллель между В. Гюго и Берлиозом («П. В. Анненков и его друзья», 273).

[51] «А. С. Даргомыжский. Автобиография. Письма. Воспоминания современников», ред. Н. Финдейзена, Л., 1921, 5.

[52] Никитенко А. В., Записки и дневник, СПБ. 1905, I, 240.

[53] «Чтобы превратить ее в публичную девицу, к чему она и предназначалась».—«А. С. Даргомыжский», op. cit., 13.

[54] Любопытно, что в числе гидов Даргомыжского по Парижу находился Н. И. Греч.—Ibid., 23—25.

[55] Ibid., 5. Полностью эта опера не была издана; при жизни Даргомыжского был издан в Петербурге лишь «Galop de l'opéra Esmeralda». После первой постановки в Москве (1847) «Эсмеральда» дана была в Петербурге 15 дек. 1851 г., в бенефис А. А. Петрова, но выдержала всего три представления. 24 сент. 1853 г. «Эсмеральда» была возобновлена в Петербурге (в бенефис Латышевой, исполнявшей заглавную партию), также выдержав лишь несколько спектаклей. В последний раз опера была возобновлена в 1859 г., для бенефиса Булановой, когда и имела наибольший, хотя также непродолжительный, успех. Отметим, кстати, что в Петербурге в 1856 г. начал оперу на сюжет Гюго молодой М. П. Мусоргский («Han d'Islande»); однако, из этой первой оперной попытки композитора, по его собственному признанию, «ничего не вышло, потому что и не могло выйти: автору было 17 лет» (Стасов В. В., Собрание сочинений, СПБ. 1894, III, 745; «Музыкальный Современник», 1917, № 5—6, 223). Внушенная драмой Гюго опера Цезаря Кюи, «Анджело», была дана первый раз в Петербурге 13 февраля 1876 г.

[56] О Н. И. Сазонове (1815—1860) см. Сакулин П. Н., Русская литература и социализм, изд. 2-е, М., 1924, 269—273.

[57] «Отечественные Записки», 1856, VIII, август (разд. «Иностр. литература»), 11—13.

[58] Ibid., 13.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

# В ИЗГНАНИИ

ГЕРЦЕН О ГЮГО-ИЗГНАННИКЕ. — ГЕРЦЕН ПРИГЛАШАЕТ ГЮГО К СОТРУДНИЧЕСТВУ В „ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЕ". — ПИСЬМА ГЮГО К ГЕРЦЕНУ. — СТИХОТВОРЕНИЯ П. Л. ЛАВРОВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГЮГО. — ВОЗЗВАНИЕ ГЮГО К „РУССКОМУ ВОЙСКУ". — ВСТРЕЧИ ГЕРЦЕНА С ГЮГО В БРЮССЕЛЕ. — ГЕРЦЕН ЧИТАЕТ ГЮГО ОТРЫВКИ ИЗ „БЫЛОГО И ДУМ". — ПОСЕЩЕНИЕ ГЮГО П. В. ДОЛГОРУКОВЫМ. — УСПЕХ „ОТВЕРЖЕННЫХ" В РОССИИ И ИХ ЦЕНЗУРНАЯ СУДЬБА. — ПИСЬМО ГЮГО К В. Ф. ЛЕНЦУ В ПЕТЕРБУРГ. — ПЕРЕПИСКА ГЮГО С КН. С. П. ГОЛИЦЫНОЙ. — ВОСПОМИНАНИЯ М. А. ЗАГУЛЯЕВА О ВСТРЕЧЕ С ГЮГО В БРЮССЕЛЕ.

Известна та умная и тонкая характеристика, которую Герцен дал Гюго как политическому деятелю в VI части «Былого и дум». «Виктор Гюго,— писал Герцен,—никогда не был в настоящем смысле слова политическим деятелем. Он слишком поэт, слишком под влиянием своей фантазии, чтобы быть им. И, конечно, я это говорю не в порицание ему. Социалист-художник, он, вместе с тем, был поклонник военной славы, республиканского разгрома, средневекового романтизма и белых лилий,— виконт и гражданин, пэр орлеанской Франции и агитатор 2 декабря; это—пышная, великая личность, но не глава партии, несмотря на решительное влияние, которое он имел на два поколения. Кого не заставил задуматься над вопросом о смертной казни „Последний день осужденного"? В ком не возбуждали чего-то вроде угрызения совести его резкие, страшно и странно освещенные, на манер Тёрнера, картины общественных язв, бедности и рокового порока?.. Февральская революция застала Гюго врасплох: он не понял ее, удивился, отстал, наделал бездну ошибок и был до тех пор реакционером, пока реакция, в свою очередь, не опередила его. Приведенный в негодование цензурой театральных пьес и римскими делами, он явился на трибуне Собрания с речами, раздавшимися по всей Франции. Успех и рукоплескания увлекли его дальше и дальше. Наконец, 2 декабря 1851 г. он стал во весь рост: он в виду штыков и заряженных ружей звал народ к восстанию; под пулями протестовал против coup d'état и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать. Раздраженным львом отступил он в Джерси; оттуда, едва переведя дух, он бросил в императора своего „Napoléon le Petit", потом свои „Châtiments"»[1].

Эта замечательная характеристика написана в годы личного общения Герцена и Гюго, когда их дружеские встречи и переписка помогли каждому из них узнать и оценить друг друга. Оценка Герцена была безупречной по своей зоркости и отчетливости. Гораздо более трезвый политик, чем Гюго, Герцен метко схватил основные черты его личности, верно определил его историческое значение, лучше многих других разобрался в тех «поэтических» непоследовательностях его творческого и политического роста, которые вызывали у современников столько противоположных суждений и взаимно исключающих друг друга приговоров. В результате, в той международной галлерее «изгнанников», которая дана на страницах VI части «Былого и дум», портрет Гюго—один из самых совершенных по мастерству живописи, артистичности и тонкости рисунка. Отчетливость этой характеристики должна быть объяснена не только верным чутьем Герцена как художника и политика; нужно помнить, что Герцен уже издавна следил за творчеством Гюго и многие годы издали присматривался к нему как к человеку и общественному деятелю. Их личное знакомство произошло почти через двадцать лет после того, как Герцен пережил первые восторги при чтении его произведений[2].

Очутившись в Париже в конце 40-х годов и сразу окунувшись в поток европейских событий, Герцен имел возможность наблюдать Гюго накануне решительных поворотов его жизни. С еще более пристальным вниманием и сочувственной заинтересованностью Герцен следил за литературной и политической деятельностью французского писателя. Несущественно, при этом, даже все различие их тогдашних социально-политических идей и общественного положения, несходство во взглядах на будущее Франции и Европы, которое подчеркивает и сам Герцен; несущественно потому, что при всех «ошибках» поведения Гюго в эпоху Февральской революции он все это время оставался для Герцена одним из великих писателей-гуманистов, создателем «Notre-Dame», впечатления от чтения которой так отчетливо чувствуются еще в «Письмах из Avenue Marigny» (1847), творцом «Последнего дня осужденного», а также пышных стихов, которые Герцен, в сущности, никогда не мог разлюбить[3].

Политическая жизнь Гюго с конца 40-х годов была известна Герцену во всех подробностях. Он знал историю политической эволюции Гюго и его участия в противодействии перевороту 2 декабря 1851 г., превратившего Французскую республику в империю Наполеона III. Герцен отчетливо представлял себе, как Гюго в эту тревожную пору, действительно, «стал во весь рост»[4]. Когда же Гюго, изгнанный не только из Франции, но и из Брюсселя, переселяется на остров Джерси—один из сборных пунктов европейской политической эмиграции,—пути Герцена и его сходятся, и вскоре их личное общение, во всяком случае, путем переписки становится неизбежным.

Герцен не мог знать политических мемуаров Гюго, в которых он описывает годы своего изгнанничества («Pendant l'exil», 1875), так как это собрание документов, речей и воспоминаний вышло в свет через пять лет после смерти Герцена. Тем замечательнее, что в своей характеристике Герцен метко схватил все особенности настроения, которое владело Гюго в ту пору его жизни и которое с такой полнотой высказалось в его воспоминаниях об этом времени. От Герцена не укрылось то обстоятельство, что, «раздраженным львом» отступая в Джерси, Гюго, этот неисправимый мечтатель в своей политической жизни, принял исключительно на свой счет бельгийский закон об эмигрантах и начал считать себя силой, значение которой он, несомненно, преувеличивал. Он вообразил, что одно его имя наводит страх на врагов; на митингах и банкетах эмигрантов он произносил громогласные речи, встречаемые восторженными рукоплесканиями, и ему начинало казаться, что он—одно из средоточий новой Европы, один из вождей великого похода против старого мира. Герцен относился к этой аффектации иронически, но добродушно. Рассказывая в «Былом и думах» историю изгнания французской колонии во главе с В. Гюго с острова Джерси, Герцен писал: «В 1855 г., когда джерсейский губернатор, пользуясь особым бесправием своего острова, поднял гонение на журнал „L'Homme" за письмо Ф. Пиа к королеве и, не смея вести дело судебным порядком, велел В. Гюго и другим „рефюжье", протестовавшим в пользу журнала, оставить Джерси,—здравый смысл и все оппозиционные журналы говорили им, что губернатор перешел власть, что им следует остаться и сделать процесс ему». Но... «они напечатали новый грозный протест, грозили губернатору судом истории—и гордо отступили в Гернсей...»[5] И Герцен прибавляет, делая общий вывод из всей этой истории переселения Гюго и других «рефюжье» в новое место жительства: «Отъезд Гюго из Джерси в Гернсей, кажется, убедил

еще больше его друзей и его самого в [их] политическом значении, в то время как отъезд этот мог только убедить в противном»[6]. Герцен и на этот раз не ошибался. Ореол страдальца и мученика, каким Гюго окружал себя, заблистал еще ярче; он готов был пророчествовать и благословлять всех, кто обращался к нему за помощью. Ему казалось, что живописные и дикие скалы острова Гернси, на берегу которого он поселился, видны всему миру, всем жаждущим участия и обиженным судьбой; он думал,

А. И. ГЕРЦЕН
С фотографии 1865 г.
Музей Герцена, Москва

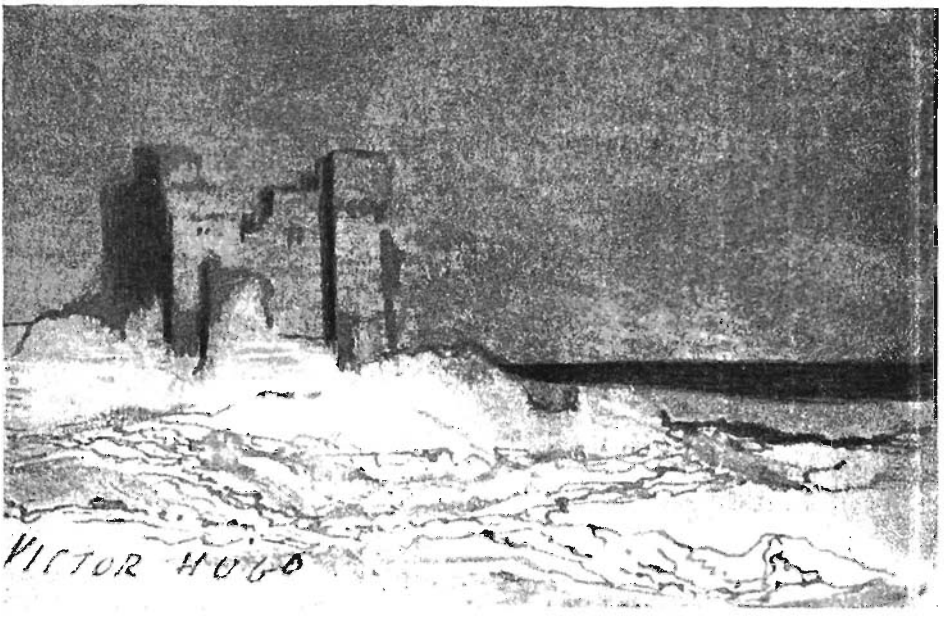
что достаточно было написать на конверте письма «V. Hugo. Océan», чтобы это письмо тотчас же дошло по назначению. «К нему,—пишет он про себя в предисловии к книге „Pendant l'exil",—обращались за помощью всякие несчастные,—не только отдельные личности, но и народы, не только народы, но и совести, не только совести, но и истины». Не зная этих строк, Герцен прекрасно понял настроение Гюго. Он знал, что Гюго в эту пору, действительно, готов был считать себя прорицателем, советником народов и государств, «совести и истины», но оправдывал это самообольщение,

как одно из поэтических преувеличений, столь свойственных Гюго, как одно из заблуждений его фантазии. Герцен был живым свидетелем всех этих «actes et paroles», которые были предприняты или сказаны Гюго во второй половине 50-х и в 60-е годы, и его не раз восхищала неутомимая действенность поэта, в которой, при всей ее театральной пышности и декоративности позы, было действительное величие сострадательного сердца и никогда не погасавшее сознание общественного долга. В 1856 г. Гюго уговаривал итальянцев ничего не ожидать от королей и надеяться только на себя и на провидение, в 1859 г. писал письмо Северо-Американским Соединенным Штатам, убеждая их не пятнать себя кровью Джона Броуна, за два года до гражданской войны в Америке сделавшего в Виргинии попытку освободить негров-невольников, затем обращался к тем же Соединенным Штатам с приглашением, как бы в уплату за то, что́ они должны Франции со времен Лафайета, помочь освобождению греков в областях, еще подвластных Турции. Он требует от Англии, чтобы она не казнила пленных фениев; он просит Хуареса пощадить Максимилиана, обращается к Испании (после падения престола Изабеллы) с призывом не восстанавливать монархии и отказаться от Кубы, он шлет воззвания кандиотам, сражающимся против турок...[7] Естественно, что и европейский восток оказывается в сфере внимания Гюго. Крымская война, общественный подъем после смерти Николая I, возбужденные слухи о предстоящем освобождении крестьян, подавление польского восстания,—таковы факты русской действительности, которые непрерывно обостряют наблюдательность Гюго по отношению к той стране, политический режим которой он так остро ненавидел в 30—40-х годах, откуда некогда донеслись до него шумные рукоплескания его ранним стихам, романам и драмам. Военное столкновение николаевской России с Францией Луи-Наполеона заставило Гюго в изгнании лишний раз вспомнить впечатления юношеских лет, эпоху походов Наполеона I, его военной славы и последовавшего затем поражения. Любопытно, что уже одно из стихотворений «Châtiments» (V, 13: «Expiation»—«Искупление») воссоздает картины отступления наполеоновской армии из сожженной Москвы:

Снежило. Сражены победою своею,
Французские орлы впервые гнули шею.
Он отступал — о, сон ужасный наяву!
Оставив позади пылавшую Москву.
Снежило. Вся зима обрушилась лавиной...[8]

В середине 50-х годов эти исторические припоминания тускнеют перед современными картинами осажденного Севастополя, а еще позднее до Гюго доходят уже «голоса из России», тревожно жаждущей обновления и общественных реформ. Гюго ищет поводов высказать свое ободряющее сочувствие этой «молодой России», подать ей, если нужно, руку помощи, подобно тому, как он протягивал ее итальянцам, испанцам, грекам. Посредником между гернсийским изгнанником и обновляющейся Россией, борцом за все молодое и свежее, что живет и растет в ней, и в то же время истолкователем настоящего и будущего этой страны становится для Гюго Герцен.

Со времени вынужденного отъезда Гюго из Франции круг его русских знакомств резко изменился. Живя в изгнании, Гюго надолго потерял связь с представителями русской аристократии, светскими дамами и праздными русскими туристами, которые столь досаждали ему в Париже в 40-х



ЗАМОК НА БЕРЕГУ МОРЯ
Рисунок В. Гюго
Литературный музей, Москва

годах[9]. Теперь русские встречи Гюго всецело определялись и той ролью, которую он хотел играть, и тем кругом людей, которые искали с ним беседы: это были эмигранты, группировавшиеся вокруг «Полярной Звезды» и «Колокола». В то же время эти люди и эти издания были главными источниками ознакомления с Гюго и русской прогрессивной интеллигенции.

Публикуя впервые некоторые из писем Гюго к Герцену, хранящиеся в архиве семьи Герцена, М. О. Гершензон не знал еще, «был ли Герцен лично знаком с Гюго»[10]. Высказывая такое нерешительное суждение, Гершензон забыл о свидетельстве Н. А. Огаревой-Тучковой, которое, впрочем, также вызывает некоторое сомнение. Н. А. Огарева, рассказывая в своих «Воспоминаниях» о встречах Герцена и Гюго в Брюсселе, в 1869 г., упоминает, что будто бы тогда Герцен видел его «в первый раз в жизни»[11]. М. К. Лемке заподозрил достоверность этого свидетельства. Мы не можем сказать с уверенностью, когда впервые состоялось знакомство двух писателей, но представляется вероятным, что они могли встречаться и до 1869 г.[12] Что касается до переписки Герцена и Гюго, то возникновение ее относится еще к 1855 г.

Основав в Лондоне русскую типографию и приступая к изданию «Полярной Звезды», Герцен послал Гюго объявление о скором выходе в свет этого издания и приглашал к сотрудничеству в нем. Аналогичное обращение Герцен адресовал также Мадзини, Луи Блану, Прудону, Мишле, Лелевелю. Сочетанию этих имен в «вольном» русском зарубежном издании, «добровольно пришедших на закладку свободного русского дела», Герцен придавал большое значение, взволнованно доказывая в письмах к М. К. Рейхель, что появление их в первой книжке журнала в самый день казни Пестеля «было бы не шуткой»; «вы не хотели понять поэзию и смысл этих имен»[13]. Впоследствии Герцен с благодарностью вспоминал о том «сер-

дечном участии», с которым все эти люди отозвались на его обращение: «Я никогда не забуду,—писал Герцен Мадзини в 1857 г.,—того сердечного участия, с каким вы и другие выдающиеся люди, как Виктор Гюго, Мишле, Прудон, Луи Блан, протянули мне руку в 1855 г. и старались вселить в меня мужество, когда я начинал в Лондоне свой русский журнал „Полярную Звезду“»[14]. В. Гюго откликнулся одним из первых—письмом от 25 июля 1855 г. с о. Джерси. Отрывок этого письма Герцен напечатал в первой книжке «Полярной Звезды», но, как заметил М. О. Гершензон, «значительно смягчив его необузданную реторичность...». В настоящее время мы знаем его в полном виде[15].

*Перевод:*

25 июля 1855 г.

Дорогой согражданин—ибо один только есть град, и, в ожидании всеобщей республики, ссылка есть общее наше отечество! У вас великая мысль, и я присоединяюсь к ней с поспешностью и радостью. Вы явились за тем, чтобы разъединить то, что теперь объединено в союзах королей, и объединить в союз то, что разъединяет народы. Вы явились, чтобы помирить Россию, чтобы возжечь зарю севера, чтобы испустить крик свободы на московском языке, чтобы взять руку великой славянской семьи и положить ее в руку великой семьи человечества. Вы совершаете дело европейское, вы совершаете дело человечное, вы совершаете дело умное,—это хорошо. Вы доказываете, что политика, когда она является политикой высокого полета, является также и наиболее высокою из философий. Издание, которое вы основываете, будет одним из самых благородных знамен идеи. Я вам рукоплещу, благодарю вас и поздравляю, и, если такое слово соответствует моему малому значению, я вас одобряю! Заваленный более чем когда-либо всякого рода работой, я буду скорее содействовать вам вообще, чем непосредственно сотрудничать. Но рассчитывайте на всю помощь, которую мне возможно будет вам оказать, и на самое глубокое мое сочувствие. Вам угодно было просить меня о моем присоединении к вашему делу: вы видите, что оно происходит само собой. Хорошо выбрана и минута для провозглашения союза и любви. Время теперь величественное, страшное; ударяют молнии и слышатся раскаты грома, но из-за таких туч и являются кивоты союза. Братски жму вам руку.

Виктор Гюго

С этих пор письменные сношения двух «изгнанников» не прекращались, хотя и не были ни регулярными, ни особенно частыми. Без сомнения, Герцен посылал Гюго многие из своих изданий, в особенности те из них, которые выходили также по-французски. Так, одно из писем Гюго, датированное 15 марта 1857 г., написано по поводу брошюры Герцена «Смерть Ворцеля», появившейся в Лондоне во французском переводе[16]. Гюго, лично знавший покойного польского эмигранта, писал Герцену[17].

*Перевод:*

15 марта 1857 г.

Дорогой изгнанник и дорогой брат по скитаниям!

Благодарю за ваши великие, благородные слова о доблестном умершем. Вы сказали о Ворцеле, как Ворцель сказал бы о вас. Но вы—живите. Живите для борьбы, которой нужны светлые сердца и лучезарные умы, как ваши. Жму вашу руку.

Виктор Гюго

Повидимому, получением одной из книг Герцена, скорее всего «La France et l'Angleterre»[18], было вызвано также и следующее письмо Гюго[19].

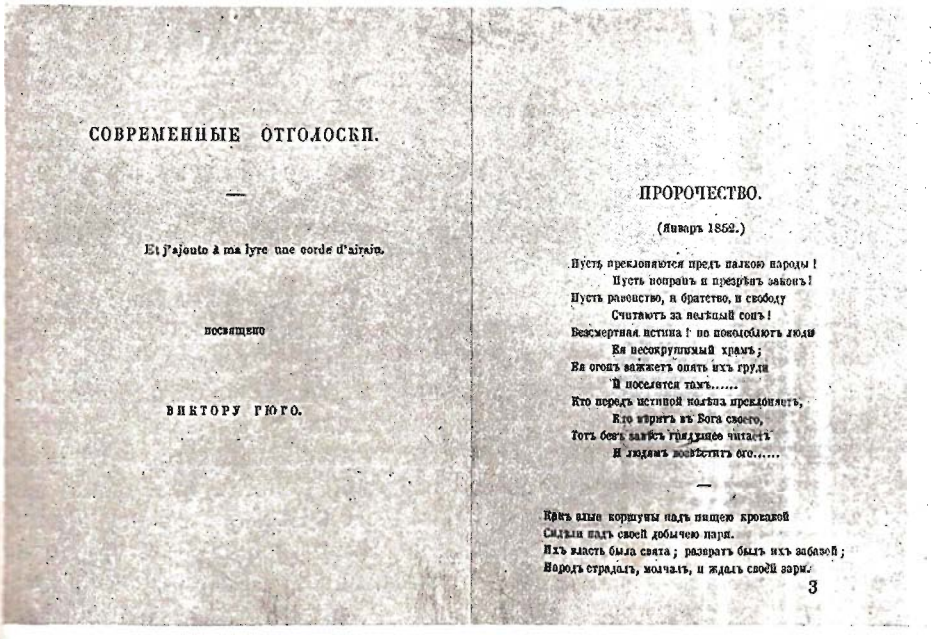
*Перевод:*

13 апреля 1858 г.

Ваше сочинение, мой отважный и дорогой согражданин, столь же содержательно по своей сущности, как идея, и сильно, как убеждение. Я называю вас согражданином, потому что у вас и у меня одна лишь дума — будущее, и одна только община — единение человечества. Вы только что осветили настоящее положение вещей с мастерским искусством; я согласен с вами почти во всех пунктах и от глубины сердца с кликом: мужественно вперед! посылаю вам свое братское рукопожатие.

Виктор Гюго

Следует признать, однако, что такие изъявления солидарности не означали на самом деле полного и подлинного единомыслия. Чаще бывало, что Герцен и Гюго расходились во взглядах на будущее и, в особенности, на прошлое. Герцен полемизировал против некоторых тенденций Гюго-публициста, в особенности же против апофеоза парижской культуры и слишком большой веры в жизненные силы «дряхлеющего», с точки зрения Герцена, Запада[20]; Гюго, со своей стороны, упрекал Герцена за недооценку им юной Франции 30-х годов. В «Былом и думах» (ч. IV, гл. XXV) Герцен писал: «В современной Европе нет юности и нет юношей. Мне на это уже возражал самый блестящий представитель Франции последних годов Реставрации и июльской династии Виктор Гюго. Он, собственно, говорил о молодой Франции двадцатых годов, и я готов согласиться, что я слишком



СОВРЕМЕННЫЕ ОТГОЛОСКИ.

—

Et j'ajoute à ma lyre une corde d'airain.

посвящено

ВИКТОРУ ГЮГО.

ПРОРОЧЕСТВО.

(Январь 1852.)

Пусть преклоняются предъ палкою народы!
Пусть попранъ и презрѣнъ законъ!
Пусть равенство, и братство, и свободу
Считаютъ за нелѣпый сонъ!
Безсмертная истина! не поколеблютъ люди
Ея несокрушимый храмъ;
Ея огонь зажжетъ опять ихъ груди
И поселится тамъ.....
Кто передъ истиной колѣна преклоняетъ,
Кто вѣритъ въ Бога своего,
Тотъ безъ завѣсъ грядущее читаетъ
И людямъ возвѣститъ его.....

—

Какъ злые коршуны надъ пищею кровавой
Сидѣли надъ своей добычею царя.
Ихъ власть была свята; развратъ былъ ихъ забавой;
Народъ страдалъ, молчалъ, и ждалъ своей зари.

3

СТИХОТВОРЕНИЯ П. Л. ЛАВРОВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГЮГО В ИЗДАНИИ ГЕРЦЕНА „ГОЛОСА ИЗ РОССИИ“, 1856 г., № 4

Заглавная страница и начальные строки первого стихотворения

Музей революции, Москва

обще выразился; но далее я и ему ни шагу не уступлю»[21]. Говоря так, Герцен имел в виду письмо Гюго, написанное им после прочтения первого тома «Былого и дум», вышедшего во французском переводе Делаво в 1860 г. Гюго писал здесь Герцену[22].

*Перевод:*

15 июля 1860 г.

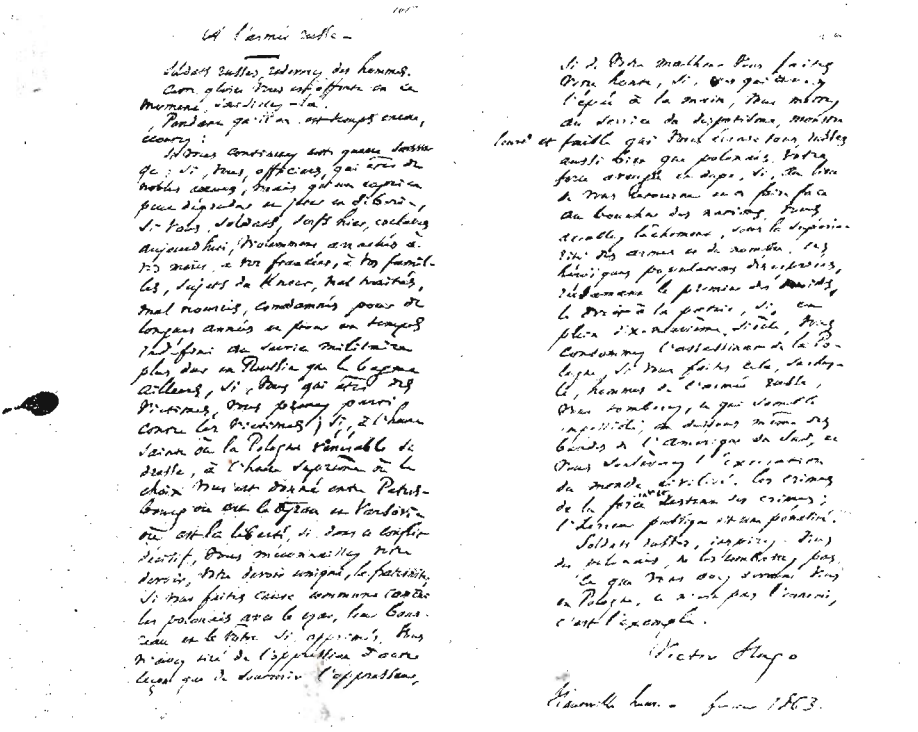
Дорогой соотечественник по изгнанию,—ибо в настоящее время изгнание является отечеством честных душ,—жму вашу руку. Благодарю вас за прекрасную книгу, которую вы прислали мне. Ваши воспоминания—это летопись чести, веры, высокого ума и добродетели. Вы умеете хорошо мыслить и хорошо страдать—два высочайших дара, какими только может быть наделена душа человека. Из глубины сердца поздравляю вас. Я только сожалею, что в этой прекрасной и хорошей книге есть одна страница (218): более чем кто-либо другой, вы достойны были дать правильную оценку поколению 1830 г., которое довершило во Франции революцию событий революциею идей, которое одним порывом породило социализм и романтизм, т. е. новый мир с его глаголом, и которое ныне продолжает свое апостольство сопротивлением и свое священнослужение—изгнанничеством. Настанет день, когда эта идея справедливости захватит вас, и вы прославите молодое поколение 1830 г., клеймя в то же время молодое поколение 1860 г. За исключением этой страницы, повторяю, я аплодирую вашей книге с начала до конца. Вы заставляете ненавидеть деспотизм, вы способствуете уничтожению чудовища; в вас виден неустрашимый боец и великодушный мыслитель. Я с вами!

Виктор Гюго

Эти красноречивые слова могли принести Герцену много авторского самоудовлетворения,—и, тем не менее, он «ни на шаг» не хотел уступить Гюго в том единственном упреке, который тот позволил себе ему сделать. Больше того, утаив похвалы себе знаменитого французского писателя, Герцен нашел нужным печатно заявить о своем несогласии с ним. Здесь не место касаться корней этого спора, в котором с такой отчетливостью высказались существенные различия во взглядах обоих писателей на важнейшие вопросы современной им общественной жизни западной Европы; подчеркнем лишь, что эти различия ни в какой мере не поколебали их союзничества и дружбы.

В «Колоколе» было напечатано однажды следующее объявление: «Виктор Гюго просит редактора „Колокола“ переслать его искреннюю благодарность русскому поэту, посвятившему ему „Современные отголоски из России“. Мы извещаем автора, что, по его желанию, экземпляр его стихотворений, напечатанных в IV книжке „Голосов из России“, был нами доставлен Виктору Гюго в Гернсей»[23]. Под общим заглавием «Современные отголоски» Герцен напечатал в IV книге своего издания «Голосов из России» два стихотворения с общим эпиграфом из В. Гюго («Et j'ajoute à ma lyre une corde d'airain...») и пометой «Посвящено Виктору Гюго»[24]. Автором их является П. Л. Лавров, сам засвидетельствовавший об этом в своей автобиографии. «Из стихотворений Лаврова,—говорится здесь (автобиография писана в третьем лице),—некоторые были им посланы А. И. Герцену в 1856 г. при письме, где выражалось еще слишком много надежд на начавшееся царствование Александра II. Как письмо, так и стихотворения „Пророчество“ и „Русскому народу“ были напечатаны А. И. Герценом

в четвертой книжке „Голосов из России“ без имени автора»[25]. Читая эти стихотворения, мы сразу чувствуем, что они недаром посвящены французскому поэту, так как носят на себе следы влияния его «Châtiments» и вообще его «гражданской музы». Это и естественно, так как Гюго, согласно признаниям самого Лаврова, был одним из любимых писателей его юности[26]. В первой половине 50-х годов, когда им написаны указанные стихотворения, Лавров не был еще ни революционером, ни социалистом и полностью разделял умеренно-радикальные взгляды Гюго. Лишь



АВТОГРАФ „ВОЗЗВАНИЯ К РУССКОМУ ВОЙСКУ“ ГЮГО, 1863 г.
Национальная библиотека, Париж

впоследствии, в эпоху своей эмиграции, в особенности под воздействием событий Парижской коммуны, Лавров значительно отошел от этих взглядов влево, но и в ту пору сохранил пиетет к имени великого французского писателя[27].

Первое стихотворение, посвященное Лавровым Гюго, называется «Пророчество» и имеет дату «январь 1852 г.»:

Пусть преклоняются пред палкою народы!
Пусть попран и презрен закон!
Пусть равенство, и братство, и свободу
Считают за нелепый сон!
Бессмертна истина! Не поколеблют люди
Ее несокрушимый храм;
Ее огонь зажжет опять их груди
И поселится там...

Кто перед истиной колена преклоняет,
Кто верит в бога своего,
Тот без завес грядущее читает
И людям возвестит его...

Во всех этих прорицаниях и призывах Гюго,—если бы ему оказалось доступным ознакомление с этим стихотворением русского поэта,—мог бы почувствовать лирическое напряжение собственных своих стихов, свой ораторский стиль, следы своих метафор, ритмов... В том приподнятом стиле, как это Гюго делал по отношению к Герцену, он должен был приветствовать и этого своего «согражданина», который, вдохновившись «металлическими струнами» его лиры, проклинал самовластие царей и вещал о грядущем освобождении родной страны:

А вы, цари земли! Вы, пастыри народа!
Падучею звездой промчится ваша власть
И вам проклятье перейдет из рода в роды!
Спешите выситься, чтобы страшней упасть!

Заключительные стихи «Пророчества» непосредственно обращены к Николаю I:

И ты, один из всех не дрогнувший поныне,
Полмира властелин, самодержавный царь!
Для подданных твоих, твои слова—святыня,
Желание—закон и твой престол—алтарь.
Вне прав твоих—нет прав; ты выше всех законов;
Беспрекословною, бессмысленной толпой
Разноплеменные десятки миллионов
Во прахе ног твоих лежат перед тобой.
. . . . . .
Не вечен будет сон; настанет пробужденье,
И устыдится Русь невежественной тьмы,
И вырастет тогда общественное мненье,
Признает русский царь народные права,
В гражданской доблести воскреснут поколенья,
Свободно потекут и мысли и слова...

Второе стихотворение, озаглавленное «Русскому народу», датированное декабрем 1854 г., констатирует, что это пробуждение близко, и поэт обращается с призывом почти некрасовской силы:

Проснись, мой край родной, изъеденный ворами,
Подавленный ярмом,
Позорно скованный бездушными властями,
Шпионством, ханжеством!
От сна невежества, от бреда униженья,
От лени вековой
Восстань и посмотри... Везде кипит движенье,
Черед уж за тобой...

Едва ли Гюго ограничился бы выражением через «Колокол» благодарности русскому поэту за посвящение ему этих стихов в те годы, когда он сам по всему миру искал признаков этого «движенья» и восторженно

откликался на всякий призыв. На беду свою, Гюго вряд ли в состоянии был прочесть оба этих стихотворения и даже ознакомиться с их содержанием, и поэтому их посвящение ему могло вызвать в нем всего лишь чувство признательности за этот безвестный «голос из России», говоривший на непонятном для него языке.

К началу 60-х годов русские интересы Гюго становятся более интенсивными и углубленными, а его обращения к представителям русского народа более частыми и более активными. Посредником между прославленным писателем демократической Франции и «молодой Россией» попрежнему является Герцен.

В феврале 1863 г., в разгар польского восстания, Герцен напечатал в «Колоколе» воззвание В. Гюго к русскому войску с призывами бросить братоубийственную бойню, «вдохновиться поляками и не сражаться с ними». «Если вы продолжите эту дикую войну,—писал Гюго,—если вы, офицеры, имеющие благородное сердце, но подчиненные произволу, который может

МЕДАЛЬ В ПАМЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ „ВОЛЬНОЙ РУССКОЙ ТИПОГРАФИИ"
Гюго получил медаль в подарок от Герцена весной 1863 г.
Музей революции, Москва

лишить вас звания и сослать в Сибирь, если вы, солдаты, крепостные вчера, рабы сегодня, невольно оторванные от ваших матерей, невест, семейств, вы, телесно наказываемые, дурно содержимые, осужденные на долгие годы военной службы, которая в России хуже каторги других стран, если вы—сами жертвы—пойдете против жертв... знайте, люди войска русского, что вы падете ниже вооруженных ватаг Южной Америки и возбудите отвращение всего образованного мира». Публикуя это воззвание в «Колоколе», Герцен сделал к нему следующее примечание: «Сейчас получил я при письме Виктора Гюго из Гернсея его воззвание к русским воинам, для напечатания в „Колоколе". Спешу передать его нашим читателям. Есть великие имена, являющиеся при всех великих событиях, без них они были бы словно неполны»[28]. Пояснением этого воззвания Гюго могут служить два документа, несколько разъясняющие историю его написания: письмо Гюго к его издателю Лакруа (Lacroix) и другое письмо его—к Герцену. Посылая свое воззвание Лакруа, редактору брюссельской газеты «Bulletin du Dimanche», Гюго писал ему следующие, еще не появлявшиеся в печати строки[29]:

*Перевод:*

10 февраля 1863 г.

Вот факт, который вас заинтересует. Некто из русской армии просил меня написать воззвание по польскому вопросу. Это странно, но глубоко характеризует положение дела. Я выполнил просьбу и посылаю вам воззвание. Передайте его в указанные газеты. Вы, я думаю, попрежнему возглавляете «Bulletin». Пропагандируйте его, сколько возможно. Это дело, достойное вашего сердца и вашего ума.

В. Г.

Благодаря Лакруа это воззвание одновременно с «Колоколом», действительно, появилось во французской печати (например, в газете «La Presse» в феврале 1863 г.). Сохранилось и то письмо, при котором Гюго послал Герцену это воззвание[30].

*Перевод:*

8 февраля 1863 г.

Мой доблестный брат по борьбе и испытаниям! Один русский офицер написал мне, прося о тех строках, которые я посылаю вам. Напечатайте их, воспользуйтесь ими, если думаете, что это может быть небесполезно. Будем помогать друг другу. Мы все—один народ, и существует только один закон: пока нет свободы—освобождение, по освобождении—прогресс. Я слежу за вашей красноречивой и победоносной пропагандой, я рукоплещу вам и люблю вас.

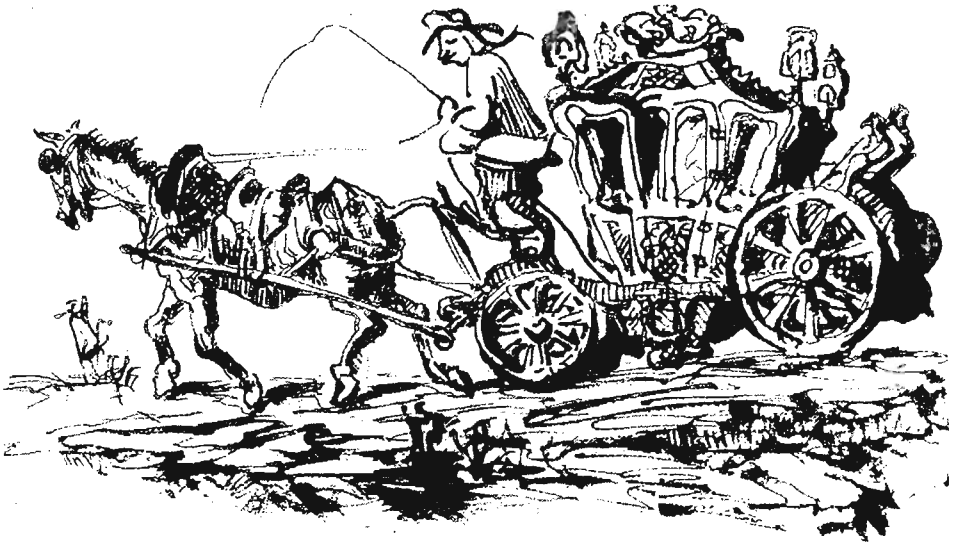
В. Гюго

Во всей этой истории остается неясным лишь одно обстоятельство: кто был инициатором этого воззвания, этот «некто из русской армии», как его глухо назвал Гюго в своем письме к издателю Лакруа? Французские исследователи полагают, что это был сам Герцен. Такое предположение, как будто бы, действительно, внушают собственные заявления Гюго. Перепечатывая обращение «к русскому войску» в своих «Actes et paroles» уже после смерти Герцена, Гюго так пояснял причины его написания: «Польша, неукротимая, как право, подымалась. Русская армия ее раздавливала. Александр Герцен, доблестный редактор „Колокола“, написал В. Гюго эти простые слова:

„Великий брат, на помощь! Скажите слово цивилизации“»[31].

Тогда, будто бы, и написано было самое обращение. Письмо Герцена, из которого Гюго процитировал одну фразу, в печати неизвестно; вероятно, оно хранится в архиве Гюго. Опубликование его могло бы пролить свет на этот запутанный вопрос: отвечая Герцену 8 февраля на его неизвестное нам письмо, едва ли Гюго написал бы издателю «Колокола»: «Один русский офицер написал мне» и т. д., если бы этот «русский офицер» и Герцен были тождественным лицом, как обычно предполагают. Обращение к Гюго и помимо Герцена, как мы увидим ниже, вовсе не представляется фактом невероятным и невозможным. В ожидании дальнейших разъяснений мы предпочитаем думать, что этот «некто из русской армии», имя которого Герцен не назвал, по понятным соображениям,—вполне реальное лицо, о существовании которого Герцен узнал лишь из письма Гюго. Любопытный отклик на публикацию этого воззвания в «Колоколе» находим в статье В. И. Кельсиева (1869) «Из рассказов об эмигрантах». Кельсиев пытается доказать здесь, что «между Виктором Гюго, Мадзини, Кошутом,

в сущности, общего нет ничего, почти ни одного общего принципа нет», что «их связала одинаковая судьба, изгнанники протянули друг другу руки, и во имя того, что личное оскорбление одного становится личным оскорблением другого и что имя одного так же знаменито, как имя другого, они стали свои люди». Примером дружеской солидарности Герцена и Гюго Кельсиев считает именно воззвание Гюго «Русскому войску», напечатанное в «Колоколе»: «Восстание началось, и вот в „Колоколе" явилось у него воззвание Виктора Гюго к нашим солдатам, воззвание, написанное, разумеется, очень изящно, очень симпатично, но знал же Герцен, что наши солдаты даже о существовании В. Гюго понятия не имеют, и знал он также, что французское фразерство русского не прошибет.



„КОЛЕСНИЦА МОНАРХИИ"
Политическая карикатура В. Гюго
Музей Гюго, Париж

Спрашивается, зачем он печатал это воззвание? Затем, что Виктор Гюго как эмигрант—свой человек: затем, что он один из знаменитых борцов за свободу»[32].

К середине 60-х годов переписка Гюго с Герценом становится менее регулярной, а еще позже почти совсем ослабевает; весной 1863 г. Гюго еще с увлечением перечитывает «Былое и думы» во французском переводе и вспоминает об этой книге в письме к Герцену от 16 мая того же года, написанном в ответ на присылку ему медали в память десятилетия Вольной русской типографии[33].

*Перевод:*

16 мая 1863 г.

Дорогой соотечественник по изгнанию, это я должен благодарить вас: благодарю вас за медаль, благодарю вас за ваши превосходные «Воспоминания», продолжение которых я буду читать с тем же сочувственным и глубоким интересом, с каким прочел начало,—наконец, особенно благо-

дарю вас за то, что вы—вы: красноречивый и доблестный человек, служащий делу народов, русский, реабилитирующий Россию, писатель во имя прогресса и свободы, апостол-патриот и космополит. Жму вашу руку.

В. Гюго

Что Гюго, действительно, внимательно читал «Былое и думы», показывают черновики рукописей тех книг, над которыми он в это время работал; так, в статье «Тираны» (1864), изложив, по Герцену, рассказ о русской графине и жестоко наказанной ею крепостной, Гюго делает помету на своей рукописи: «Имя этой графини смотри в „Воспоминаниях“ Герцена»[34]. О «Былом и думах» шла беседа между Гюго и Герценом и при их личных встречах в 1869 г., а во время одной из них Герцен сам читал Гюго отрывок из них.

Об этих встречах мы имеем ряд свидетельств, дополняющих и частично исправляющих друг друга.

Дело было в Брюсселе, где жил в то время Гюго, в августе 1869 г. «Возвратившись из Парижа,—вспоминает Н. А. Огарева-Тучкова,—Герцен случайно узнал, что В. Гюго тоже находится в Брюсселе. Не помню, пошел ли Герцен к нему или встретился с ним, только он мне рассказывал об этом свидании, потому что в первый раз в жизни видел Гюго». О том, что последнее утверждение нуждается в проверке,—говорилось выше, но все, что Н. А. Огарева рассказывает дальше, заслуживает полного доверия потому, что вполне подтверждается как признаниями самого Герцена, так и воспоминаниями А. П. Пятковского. По словам Огаревой, следующее свидание Герцена и Гюго состоялось в театре: «Не могу вспомнить, какую пьесу давали на этот раз, только помню, что Герцен особенно желал, чтобы я шла тоже с ними [с Герценом и их дочерью Лизой], и я подчинилась этому настоятельному требованию. Александр Иванович взял внизу три места, нам было очень хорошо и видно и слышно. Виктор Гюго был тоже в театре, в бель-этаже, в директорской ложе. Увидав Герцена, он послал своих сыновей звать нас в ложу, мы очень благодарили, но не пошли. Однако, Виктор Гюго послал сыновей вторично за нами; тогда Герцен мне сказал по-русски: „Нечего делать, надо итти“. Вот как мне пришлось совсем неожиданно познакомиться с таким выдающимся писателем, как Виктор Гюго. Признаться, несмотря на мое смущение, я была рада этому случаю, но вместе с тем боялась разочарования, что отчасти и сбылось. Вероятно, я была слишком требовательна: хотела видеть в глазах, в чертах все, что меня поразило, потрясло в сочинениях». «Виктор Гюго был очень любезен. В ложе, кроме его сыновей, находилась бывшая гувернантка его детей, которая сопровождала его повсюду[35]. Через несколько дней Виктор Гюго прислал Герцену приглашение на обед и звал и меня с дочерью»[36]. О свидании Герцена с Гюго в театре вспоминает и А. П. Пятковский, но из его слов выходит, что этому свиданию предшествовал визит Гюго к Герцену в отель, где последний в то время жил с Огаревой и дочерью Лизой. Вот что пишет А. П. Пятковский: «В этом отеле мне пришлось быть у него [Герцена] не больше 2—3 раз, причем мы уходили гулять в большой городской сад. Помню, что как-то по возвращении из сада Герцену подали клочок бумажки от гостя, весьма сожалевшего, что не застал его дома. Пожалел об этом и я: на лоскутке было написано крупным размашистым почерком: Victor Hugo, и, таким образом, я лишился удобного случая познакомиться лично с автором „Notre-

Dame de Paris". Несколько дней спустя я видел его только мельком в ложе Брюссельского театра. Герцен был с ним в очень хороших отношениях и, зайдя во время антракта, долго и дружески беседовал с ним»[37]. День встречи в театре определить трудно, но зато даты посещений Герценом Гюго определяются точно.

В письме к Н. А. Огаревой от 15 августа 1869 г. Герцен писал: «...отгадай, у кого я сидел третьего-дня утром, у кого вчера обедал и к кому иду обедать завтра и читать отрывок из „Былого и дум"... самолично у Виктора Гюго. Я нашел в нем любезнейшего старика; принял он меня превосходно; говорит много, но чрезвычайно умно и слогом, который лучше его печатных фейерверков. Он приехал сюда недели на две с сыновьями. У него я познакомился с Клараном, который написал славную книжку „Les derniers Montagnards" (1796), и еще кое с кем; вообще, вечер провел хорошо. Гюго 67 лет, но он свеж. Тхоржевскому скажи, что и даму видел, о которой он рассказывал[38]. Теперь она совсем [слово не разобрано]. О Пьере Леру он рассказывал много очень дурного. Самое забавное в том, что он уверяет меня, что в „предстоящем" конвенте меня выберут членом. Затем безмерно хвалил французский язык моих статей, так же решительно, как Кине; советует мне издавать „Былое и думы". Сыновья его ничего...»[39]

Брюссельские встречи «собратьев-изгнанников» были последними: 18 августа 1869 г. Герцен уехал в Париж и умер там меньше чем год спустя.

За четыре года до этих встреч, в мае 1865 г., Виктора Гюго посетил в Гернси другой «изгнанник», известный русский эмигрант 60-х годов князь Петр Владимирович Долгоруков. Своеобразная и яркая личность этого «князя-республиканца», как его назвал однажды А. И. Тургенев, в общих чертах достаточно известна, чтобы нужно было здесь на ней подробно останавливаться. Страстный изобличитель петербургской самодержавной камарильи, убежденный сторонник введения в России ограниченной монархии и других буржуазных реформ, Долгоруков, вместе с тем, по слову его биографа, «никогда не мог отрешиться вполне от пережитков идеологии крупного феодала, всегда оставался князем Рюриковичем» и не уставал при каждом удобном случае подчеркивать, что «знатностью происхождения он не имеет себе равных в России и что даже царствующая фамилия в этом отношении должна уступить первое место ему, отпрыску древнейшей династии». Кельсиев иронически говорил про Долгорукова, что «неловко себя чувствовал в присутствии претендента на императорский престол», а Суворин, высмеивая родословное тщеславие «князя-республиканца», писал в 1868 г.: «наш эмигрант так часто оповещал иностранную публику о своем происхождении от Рюрика, что в этом повторительном приеме я позволю себе видеть не одно тщеславие»[40]. Говоря так, Суворин, конечно, имел в виду в первую очередь разоблачительную брошюру Долгорукова «Notices sur les principales familles en Russie» и его известную книгу острого памфлетического стиля «La Vérité sur la Russie», вышедшую в 1860 г. в двух французских изданиях и наделавшую как в России, так и за границей много шума. Можно предполагать, что Гюго читал эти или другие издания и памфлеты Долгорукова и, во всяком случае, был осведомлен об их авторе. В письме к сыну Франсуа Виктору от 8 мая 1865 г. Гюго пишет: «Князь Долгоруков, который, как тебе известно, является законным императором московитов и русским Стюартом, написал резкую книгу против Луи Бонапарта. Он превозносит меня в ней. Я написал ему несколько благодарственных

слов. В ответ он едет ко мне с визитом в Гернси. Он приезжает завтра»[41].

Свидание, действительно, состоялось, как мы узнаем об этом из двух еще не появлявшихся в печати записей Гюго в его «записной книжке» («Carnet») за 1865 г.

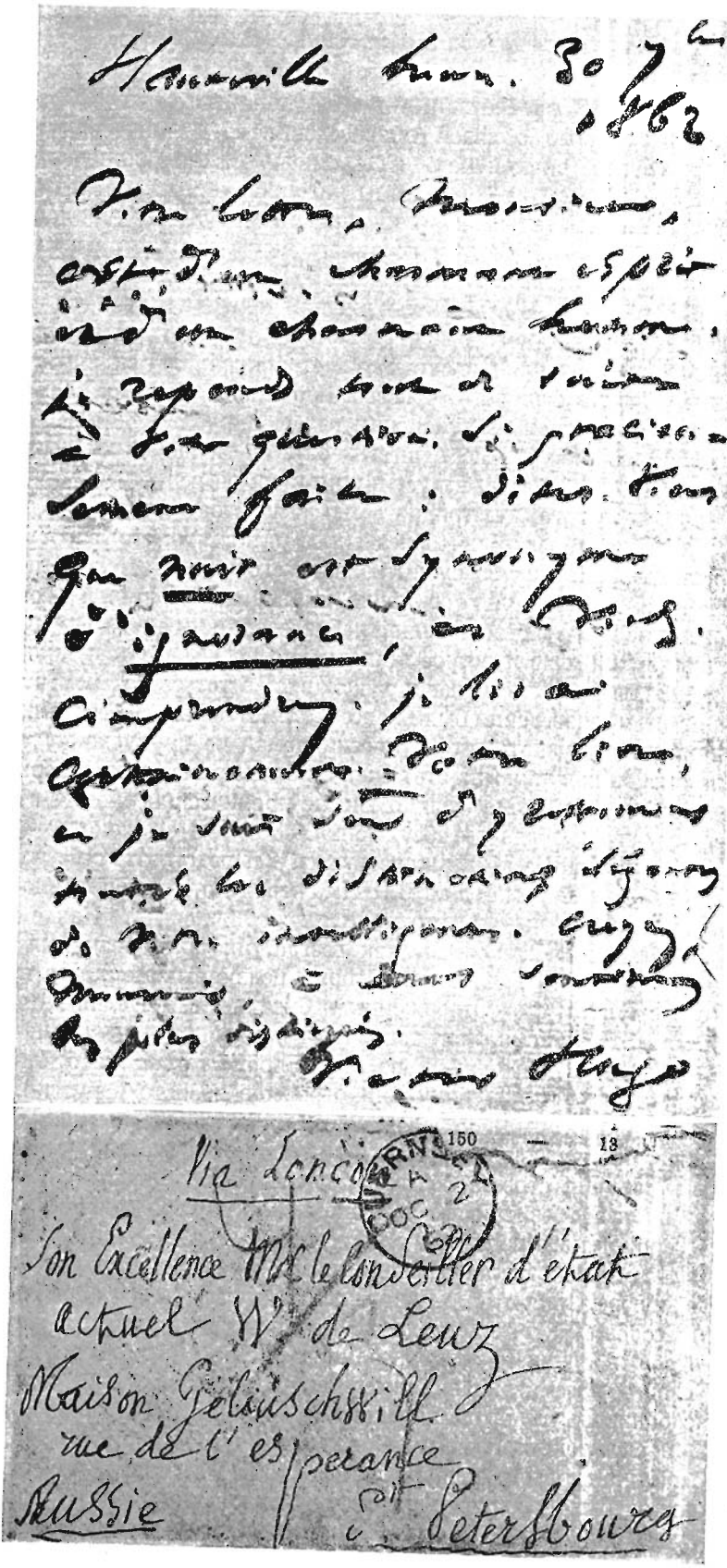
*Перевод:*

9 м а я. Князь Петр Долгоруков пишет мне и извещает о своем визите. Он приехал сегодня утром, 9 мая. Он остановился в отеле Marchal. Я пригласил его обедать у меня каждый день в течение всего его пребывания здесь, которое продлится три дня..

12 м а я. Долгоруков попросил меня написать мое имя на камнегальке. Я написал: Петру Долгорукову. Виктор Гюго. 1865. S p e s i n R e P u b l i c a[42].

Каково было содержание бесед Гюго с Долгоруковым в течение четырехдневного пребывания «князя-рефюжье» в Гернси? Мы этого не знаем, но несомненно, что речь шла в первую очередь о той «резкой книге против Луи Бонапарта», которую Долгоруков преподнес Гюго и в которой его восхвалял. Книга эта—«La France sous le régime Bonapartiste»—вышла в 1864 г. в Лондоне в двух выпусках. Долгоруков подвергал в ней жестокой критике весь бонапартистский режим, обрушиваясь в первую очередь на Наполеона III. Естественно, что эта книга представляла для Гюго особый интерес и не столько потому, разумеется, что он нашел в ней панегирики себе самому. В Долгорукове Гюго обретал нового союзника по борьбе с ненавистным ему императором Франции[43].

Крупнейшим событием творческой жизни Гюго всего периода его изгнания был, конечно, выход в 1862 г. «социального романа» «Отверженные» («Les Misérables»). Переведенный по корректурным листам одновременно на девять различных языков, роман этот сразу появился в Париже, Брюсселе, Лондоне, Нью-Йорке, Мадриде, Берлине, Вене, Турине. Герцен тотчас же познакомился с первыми томами нового произведения и нашел, что роман «очень хорош»[44]. Впечатления от чтения «Отверженных» были столь сильны, что вполне заслонили для Герцена некогда столь же яркие впечатления от «Notre-Dame». Начиная с 1862 г., в статьях и письмах Герцена тянется длинный ряд упоминаний об этом романе и его отдельных героях, положениях, выводах. Герцен внимательно следил за шумными овациями, которыми сопровождалось появление на свет этого произведения. Он говорит, в частности, о том банкете в честь В. Гюго, какой дан был ему в Брюсселе 16 сентября 1862 г. по случаю выхода в свет «Отверженных» и который принял характер бурной политической демонстрации против бонапартистской монархии[45]; для него, как, впрочем, и для многих других, имена Жан-Вальжана, Жавера, Гавроша тотчас же становятся именами нарицательными, сразу выражающими некую сумму человеческих качеств и внешних признаков. Тем не менее, признание Герценом романа Гюго было далеко не безусловным. Отдавая должное огромному о б щ е с т в е н н о м у значению романа Гюго, Герцен не соглашался ни с его конструкцией (иронически называя его «романом-омнибусом» за его размеры и бесформенность), ни с наивностью некоторых из его мотивировок, ни с фальшью отдельных его психологических характеристик. Тонкую критику отрицательных качеств романа как художественного целого Герцен дал в



АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЮГО К В. Ф. ЛЕНЦУ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 1862 г.
Внизу конверт с адресом Ленца, написанным неизвестной рукой
Публичная библиотека, Ленинград

«Концах и началах», напечатанных в «Колоколе» в том же 1862 г. Гюго мог читать этот отзыв о своем произведении во французском издании «Колокола», которое он получал. «Мы слишком мало французы,—писал Герцен,—чтобы понимать такие идеалы каторжников, как Жан-Вальжан, и сочувствовать таким героям полиции, как Жавер. Жавер для нас просто отвратителен. Вероятно, Гюго и не думал, чертя эту совершенно национальную фигуру, шакала порядка, какое клеймо он выжег на плече своей „прелестной Франции". В Жан-Вальжане нам только понятна его внешняя борьба доброго, несчастного зверя, травимого целым гончим обществом. Внутренняя борьба его для нас остается посторонней; этот сильный человек мышцами и волей, в сущности, чрезвычайно слабый человек. Святой каторжник, Илья Муромец из тулонских галер, акробат в пятьдесят лет и влюбленный мальчик чуть не в шестьдесят, он исполнен суеверия. Он верует в клеймо на плече; он верует в приговор; он верует, что он—отверженный человек оттого, что тридцать лет тому назад украл хлеб, да и то не для себя. Его добродетель—болезненное раскаяние; его любовь—старческая ревность. Натянутое существование его поднимается до истинно-трагического значения только в конце книги, от бездушной ограниченности Козеттина мужа и безграничной неблагодарности ее самой»[46]. Нужно было иметь зоркий глаз и острое критическое чутье, чтобы с такой лаконичной яркостью вскрыть неудачи художника в тот самый момент, когда восторги от его произведения были повсеместны и казались безграничными. Но стоило Герцену узнать, что в России роман не пропускают, что цензурное ведомство получило на этот счет строгие приказания,—Герцен тотчас же, в том же «Колоколе», пишет гневно-иронический протест в защиту романа Гюго, его свободного обсуждения. Заметка «Колокола» озаглавлена: «Ah! les misérables!» [О, нищие духом!]. «Представьте себе, что наши мизерабли запретили роман Гюго... Им, вероятно, не понравилось описание парижских клоак—они это приняли за личность... Какое жалкое и гадкое варварство»[47]. Герцен, как всегда, информирован был вполне точно. Действительно, в длинной истории цензурных мытарств произведений Гюго в России его «Отверженным» будет отведена одна из интереснейших глав. Эта история стоит того, чтобы на ней вкратце остановиться.

Шумный успех «Отверженных» во всей Европе тотчас же откликнулся и в России, но попытки публикации отрывков из него в русских периодических изданиях были немедленно же приостановлены; так, цензор Ф. П. Еленев, пропустивший отрывок из романа в журнале «Русский Мир», немедленно получил строгий выговор; последующие попытки напечатать этот роман в России безжалостно пресекались.—По воспоминаниям председателя Петербургского цензурного комитета В. А. Цее, инициатором этой борьбы был сам Александр II; исполнителем «высочайшей воли»—министр народного просвещения А. В. Головнин. В письме от 10 апреля 1862 г. Головнин сообщал Петербургскому цензурному комитету: «Государю угодно, чтобы в случае перевода романа Victor Hugo „Les Misérables" цензура строго рассматривала смысл разных происшествий, описанных автором с большим талантом и потому сильно воздействующих на читателя». В последующих бумагах Головнин подтверждал, что «государь требует особенно строгого цензурования романа V. Hugo» и что «внимание его величества было обращено на сцену епископа и члена Конвента...». 3 июля того же года Головнин писал: «в последствие сообщенного запрещения продолжать печатание в повременных изданиях перевода ро-

мана В. Гюго „Les Misérables“, я не нахожу возможным издание ныне отдельными книжками тех частей романа, которые уже были помещены в журналах и газетах»[48]. Судьба романа была решена. Таким образом, Герцен метил высоко, издеваясь над российскими «мизераблями».

Однако, ни усиление цензурного нажима, совпавшее в России с появлением романа Гюго и вызванное, помимо всего прочего, такими событиями, как появление прокламации «Молодая Россия» (1862) и знаменитыми петербургскими пожарами (май 1862 г.), ни настойчивые заботы русского правительства лишить русского читателя перевода этого романа, не смогли уменьшить огромного к нему интереса. Его читали у нас по-французски, привозя экземпляры из-за границы, и они ходили по рукам, вызывая споры и восторги; находились, конечно, и хулители романа, но их было меньшинство. В дневнике Е. А. Штакеншнейдер (1863) находим следующую запись: «Если бы „Мизераблей“ не хвалили, их бы можно было довольно спокойно дочитать до половины и отложить в сторону, как скучный роман, но все хвалят—и рождается отвращение к нему; мало, что отвращение: становится тяжело...» «Вот что возмущает меня в „Мизераблях“. Это наслаждение, с которым Гюго ковыряет раны без нужды. Для таких больных, для таких enervés, как французы, это возбудительное средство, а здоровых тошнит»[49]. Другим, напротив, нравилось это обнажение всех язв общественной жизни, высокий пафос, с которым художник пытался восстановить погибшего человека.

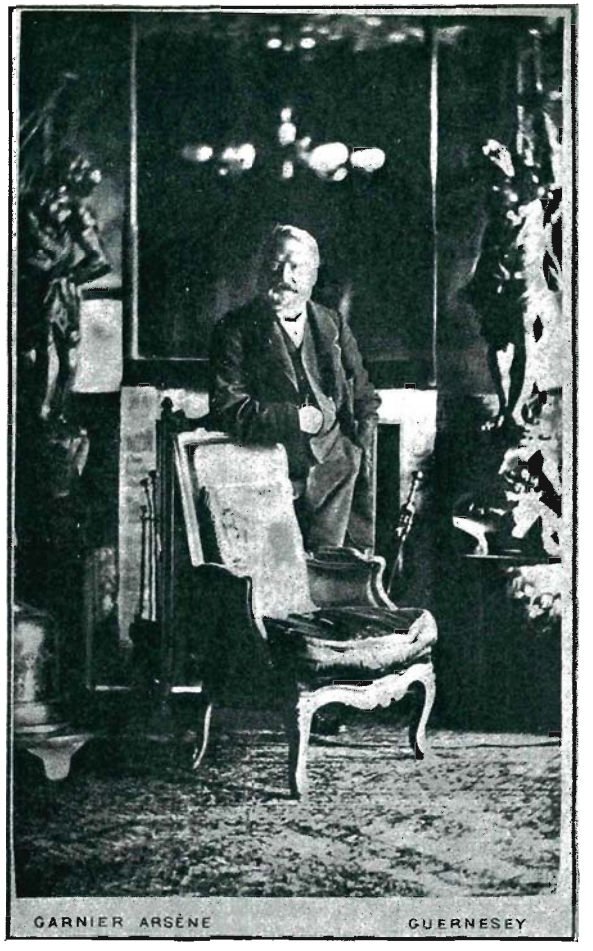
Среди таких читателей был Ф. М. Достоевский. Путешествуя за границей, Достоевский, по свидетельству Н. Н. Страхова, проглатывал в неделю 3—4 тома только что появившихся «Les Misérables»—«великую вещь»[50]. Преклонение Достоевского перед этим романом осталось у него до конца жизни. В 1863 г. в письме к А. П. Милюкову Достоевский просит одолжить ему роман Гюго, перечитывает его в Дрездене в 1867 году. А. Г. Достоевская пишет в своем дневнике: «Зашли в библиотеку, взяли „Les Misérables“—роман, перед которым преклоняется Федя...» «Федя чрезвычайно высоко ставит это произведение и с наслаждением его перечитывает. Федя указывал мне и разъяснял многое в характерах героев романа»[51]. Свидетельство Вс. С. Соловьева, что Достоевский «до последних дней восхищался этой книгой»[52], вполне точно и подтверждается множеством других данных. Он писал С. Е. Лурье 17 апреля 1877 г.: «Les Misérables я очень люблю сам. Они вышли в то время, когда вышло мое Преступление и Наказание (т. е. они появились 2 года раньше). Покойник Ф. И. Тютчев, наш великий поэт, и многие тогда находили, что Преступление и Наказание несравненно выше Misérables. Но я спорил со всеми и доказывал всем, что Les Misérables выше моей поэмы, и спорил искренно, от всего сердца, в чем уверен и теперь, вопреки общему мнению всех наших знатоков». О том же писал Достоевский и Х. Д. Алчевской (9 апреля 1876 г.), говоря, что в «Отверженных» Гюго «дал такие удивительные этюды, которые, не было бы его, так бы и остались совсем неизвестными миру»[53]. В трудные минуты творчества Достоевский часто вспоминал эти «удивительные этюды», к которым, вероятно, тянутся многие страницы «Братьев Карамазовых»[54].

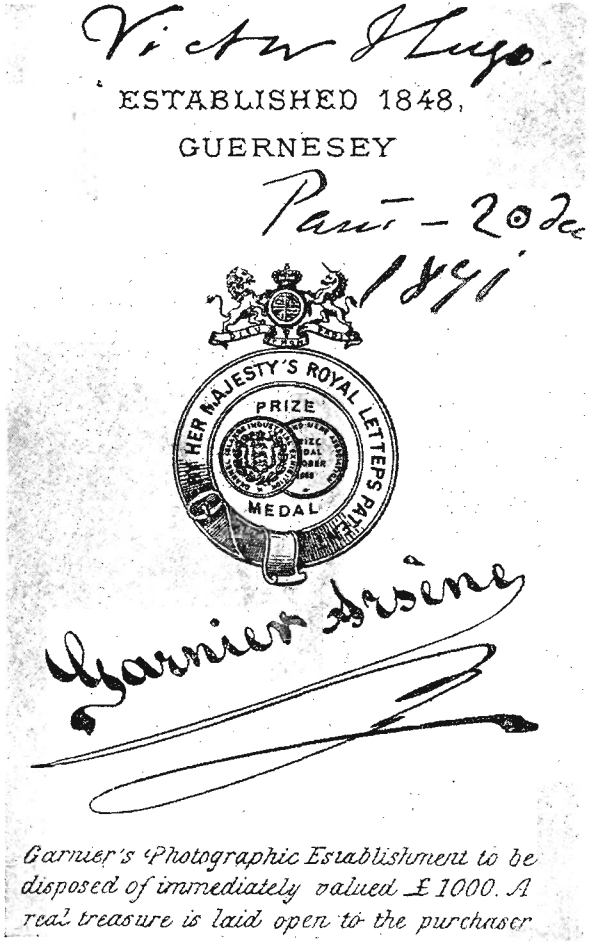
И Достоевский был не один. П. Д. Боборыкин был прав, вспоминая о том, как «прогремел» в России роман Гюго, и утверждая, «что он едва ли надолго не остался самым популярным у нас, вплоть до 70-х годов»[55]. Его читали в казематах и пересыльных тюрьмах, где

томилась молодежь, жаждавшая обновления России[56], его читали в интеллигентных семьях в столицах и в провинциях, в чиновных кругах; роман можно было встретить на рабочих столах всех почти русских писателей и журналистов... Какие сочинения Виктора Гюго известны всей читающей Европе?—спрашивал Д. И. Писарев и отвечал вполне правильно для начала 60-х годов: «не лирика и трагедии, а „Notre-Dame“ и „Les Misérables“».

В конце века, отвечая на вопрос М. М. Ледерле, какие книги оказали на него влияние, Лев Толстой в перечне книг, оказавших на него влияние между 20 и 35 годами его жизни, отметил «Notre-Dame de Paris»—«очень большое», а в возрасте от 35 до 50—«Les Misérables»—«огромное». Влияние «Отверженных» можно проследить в русской литературе вплоть до «Воскресения»[57]. В нашу задачу не входит наметить все вехи этого влияния, указать многоразличные следы успеха и значения этого романа в русской общественной среде. Нам необходимо было подчеркнуть, что факт систематического запрещения «Отверженных» в России, своевременно сигнализированный в «Колоколе», ни в какой мере не повредил широкой популярности этого романа. Пожалуй, наоборот—он повысил интерес к «опасному» произведению Гюго, повысил в такой же мере, как частые цитации Гюго в «Колоколе» повысили в русском обществе интерес к л и ч н о с т и великого французского поэта. Борьба царского правительства с Гюго была в то же время борьбой с мученическим ореолом изгнанничества и жертвенного служения общественному благу. Распространенность «Колокола» в России увеличивала знакомство с Гюго как с политическим деятелем и трибуном. Русские люди того поколения, приветствовавшие Герцена письмами, от которых у него, по его словам, «слезы навертывались на глаза», и забрасывавшие его корреспонденциями со всех концов России, обращались также и к Гюго. О двух посвященных Гюго стихотворениях Лаврова, которые Герцен напечатал в «Голосах из России» и, по поручению автора, послал Гюго в Гернси, о просьбе «русского офицера» к Гюго написать воззвание к русской армии в разгар польского восстания, мы уже знаем. Но есть все основания предполагать, что писем, отправленных Гюго из России, было в ту эпоху много больше. Архив Гюго, вероятно, хранит эти любопытные документы. Мы догадываемся о них по нескольким дошедшим до нас, еще не изданным о т в е т н ы м письмам Гюго к его русским корреспондентам 60-х годов. Эти письма интересны, несмотря на то, что они являются образцами ответов Гюго на далеко не важнейшие в историческом смысле обращения к нему русских корреспондентов.

Одно из имеющихся в нашем распоряжении писем Гюго было послано им в Петербург осенью 1862 г., следовательно, в самый разгар популярности его «Отверженных», но в нем не идет речь об этом романе, как не шла она и в том письме, на которое оно служило ответом. Письмо Гюго адресовано Василию (Вильгельму) Федоровичу Ленцу (1806—1883), «родовитому остзейцу и ео ipso русскому патриоту»[58], как его аттестует один из его петербургских знакомых,—тому самому Ленцу, который является автором известных «Приключений лифляндца»[59] и который в 50—60-х годах славился как незаурядный музыкальный критик. Европейскую известность заслужила ему его книга «Бетховен и три его стиля», написанная по-французски и несколько раз издававшаяся в Петербурге и за границей[60]. Ленц был, несомненно, образованным, хотя, быть может, и недостаточно




ВИКТОР ГЮГО

Фотография Garnier, снятая на о. Гернси

На обороте подпись Гюго и его же рукою дата: „Париж, 20 декабря 1871 г."

Публичная библиотека; Ленинград

чутким ценителем музыкального искусства, восторженным почитателем Бетховена, «бетховенской химерой», как этого «сумасбродного панегириста» великого композитора шутя называл А. Н. Серов. В. Ф. Ленц служил в Петербурге на гражданской службе (во II отделении «собственной его величества канцелярии»), вращался в музыкальных кругах столицы, дружил с гр. Вьельгорским, Гензельтом. Еще во время своих заграничных путешествий в 30—40-х годах он близко познакомился с рядом европейских музыкальных знаменитостей—с Россини, Мендельсоном, Шопеном, Крамером, Берлиозом, Листом—и с некоторыми из них в течение многих лет поддерживал переписку[61]. Нечего и говорить, что он неравнодушен был ко всякой европейской новости в области искусства и литературы, сам сотрудничал в русских изданиях, выходивших на иностранных языках, искал встреч и бесед со всеми европейскими знаменитостями, заезжавшими в русскую столицу. Так, например, он сам упоминает в своих воспоминаниях, что «случайно» находился у Бальзака во время пребывания его в Петербурге в 1843 г., и рассказывает по этому поводу правдоподобный анекдот о том, что ответил Бальзак на приглашение одной из великосветских дам[62]. Еще интереснее для нас свидетельства самого Бальзака, сообщавшего в письмах к Ганской о том обеде в Роше де Канкаль, который он устроил для находившегося в Париже Ленца (27 октября 1842 г.), вынужденный к этому его бестактной назойливостью. Бальзак пригласил на этот обед Виктора Гюго и Леона Гозлана и вспоминает, что Гюго «удивил» Ленца своим отзывом о Расине[63]. Таким образом, Ленц, хотя и мимолетно, но лично был знаком с Виктором Гюго. По какому поводу Ленц обратился теперь к Гюго на о. Гернси—нам неизвестно. Из ответного письма Гюго можно догадаться, что к этому письму Ленца была приложена одна из его книг, скорее всего, его труд о Бетховене; нужно думать, однако, что это был лишь предлог для получения автографа знаменитого поэта, о романе которого шумел тогда весь Петербург. Приводим письмо В. Гюго[64].

*Перевод:*

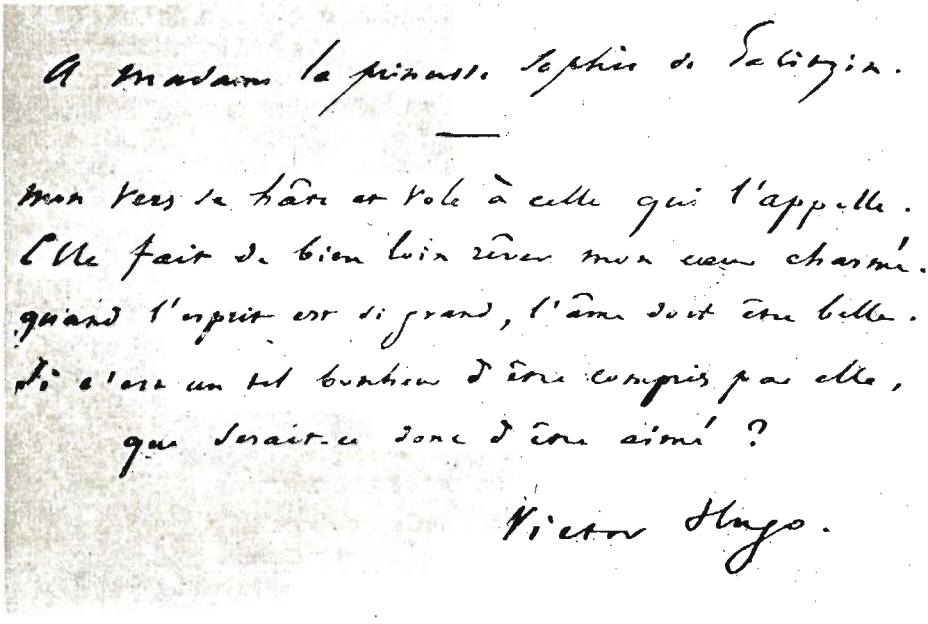
Hauteville-house, 30 сентября 1862 г.

Ваше письмо, милостивый государь, исходит от очаровательного ума и очаровательного человека. Отвечаю вам тотчас же на ваш столь изящно предложенный вопрос: скажите, что н о ч ь является синонимом н е в е д е н и я, и вы все поймете. Я, конечно, прочту вашу книгу и уверен, что найду в ней всю тонкость, достойную вашей осведомленности. Прошу вас принять уверения в моих наилучших чувствах.

Виктор Гюго

В конце 60-х годов, уже в Брюсселе, Гюго получил ряд писем от одной русской дамы, но уже не из России, а из Парижа. Эти письма должны были ему напомнить о встречах с нею за тридцать лет перед тем, встречах, о которых в его памяти должны были сохраниться заметные следы; так позволяют нам думать и ответные письма Гюго и дошедшие до нас более ранние письма к этой корреспондентке, которые позволяют выделить их встречи из ряда обычных великосветских знакомств Гюго и обязывают к большему вниманию. Эта русская дама была княгиня Софья Петровна Голицына. К сожалению, мы знаем о ней не много, и вообще весь этот «русский эпизод» в биографии Гюго заключает в себе много темных мест.

Дочь камергера Петра Федоровича Балк-Полева Софья Петровна Голицына (1806—1888) с 1824 г. была замужем за кн. А. М. Голицыным[65] (1792—1863), флигель-адъютантом, впоследствии (с 1846 г.) витебским, могилевским и смоленским генерал-губернатором и, наконец (с 1853 г.), сенатором[66]. В 20-х и 30-х годах С. П. Голицына блистала в светском обществе Петербурга, но нередко отлучалась в Париж и жила здесь подолгу. В Петербурге она слыла одной из первых красавиц; ее прозвали здесь «Ревеккой», по имени героини вальтер-скоттова романа «Айвенго», и «Багряницей»—«по пристрастию к ярким цветам и некоторой торжественности в обстановке»[67]. В 1836 г., в один из ее приездов в Россию, П. А. Вяземский встретил ее однажды на многолюдном балу у австрийского



A madame la princesse Sophie de Galitzin.

—

Mon vers le hâte et vole à celle qui l'appelle.
Elle fait de bien loin rêver mon cœur charmé.
Quand l'esprit est si grand, l'âme doit être belle.
Si c'est un tel bonheur d'être compris par elle,
Que serait-ce donc d'être aimé ?

Victor Hugo.

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ГЮГО, ПОСВЯЩЕННОГО С. П. ГОЛИЦЫНОЙ
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

посланника в Петербурге и писал об этом А. Я. Булгакову: «Сюда приехала Голицына-Балк, парижская красавица, слишком красавица, даже багряница: много блеску и что-то царственное, иудейская царица...»[68] Голицына не чуждалась литературы и искусства; в ранней молодости, как мы узнаем из двух обращенных к ней посланий салонного стихотворца кн. П. И. Шаликова, она сама писала стихи[69]. Но опыты стихотворства, повидимому, скоро были оставлены Голицыной,—она предпочла играть роль вдохновительницы поэтов. Ей посвящено стихотворение Н. М. Языкова (1845), которое поэт написал, по уверению Д. Н. Свербеева, по одному лишь его приглашению, «никогда ее не видав и не имея о ней никакого понятия»:

Я слышал, что вы и прекрасны, как роза,
И милы, как роза, утеха полей,
Что жизни подлунной и скука и проза
Чуждаются вас, как полдневных лучей

Чуждается полночь; что так же прекрасны
Вы сердцем, как прелестью вы расцвели,
Что чувства и мысли в вас тихи и ясны,
Как вешнее небо, веселье земли...[70]

Когда и при каких обстоятельствах познакомился с Голицыной В. Гюго, мы не знаем; предположительно это знакомство можно отнести к 30—40-м годам. Живя в Париже, Голицына, подобно другим представительницам русской знати, имела обширные знакомства в ученом и литературном мире; в альбоме ее и сохранившихся бумагах есть много свидетельств того внимания, которое оказывали ей парижские литературные знаменитости. Рядом с автографическими письмами Ламартина и Сальванди мы находим здесь ряд стихотворений, написанных по ее просьбе или ей посвященных. Среди всех этих стихов Марселины Деборд-Вальмор, Леона де Вайи («Chanson napolitaine»), Ж.-П. Вьенне, Теофиля Феррьера и многих других сохранились стихи и записки В. Гюго. Первая записка[71] заключает в себе лишь несколько слов, смысл которых остается не вполне ясным:

*Перевод:*

Пришлите мне ваш. Увы! Почему у меня нет черных волос.

В.

Скорее всего следует предположить, что речь здесь идет о портрете Гюго, о котором просила Голицына и который, очевидно, был ей послан в сопровождении этой записки, содержащей, в свою очередь, просьбу о присылке ее портрета.

Другой автограф—альбомные стихи. Судя по почерку, их можно отнести к началу 40-х годов[72].

À MADAME LA PRINCESSE SOPHIE DE GALITZIN

Mon vers se hâte et vole à celle qui l'appelle.
Elle fait de bien loin rêver mon cœur charmé.
Quand l'esprit est si grand, l'âme doit être belle.
Si c'est un tel bonheur d'être compris par elle,
Que serait-ce donc d'être aimé?

Victor Hugo

Это поэтическое полупризнание в любви отошло уже в далекое прошлое—миновало около тридцати лет,—когда Голицына, ставшая для Гюго почти «незнакомкой», вновь напомнила о себе. В августе 1868 г. в Брюсселе умерла жена Гюго, и Голицына, узнав об этом, не замедлила выразить старому другу свое сочувствие, послав ему письмо (оно остается неизвестным). В ответном письме Гюго писал[73].

*Перевод:*

Брюссель, 13 сентября [1868 г.]

Ваша душа, сударыня,—прекрасная и великая душа. Ваши слезы осушают мои слезы. Отныне незнакомый друг превращается в друга предпочитаемого. Это ваше сердце посылаете вы мне; растроганный, я его принимаю. Я плачу, но та, которая умерла, тоже великая душа, вам улыбается.

У ваших ног.

Виктор Г.

С. П. ГОЛИЦЫНА
Портрет маслом неизвестного художника, 1840-е гг.
Местонахождение подлинника неизвестно

Был ли этот ответ началом их возобновившейся переписки? Мы не можем этого сказать с уверенностью, но до нас дошло еще одно письмо Гюго к Голицыной, которое, как будто, это подтверждает. К сожалению, оно не датировано. Стих, который приводит Гюго в начале письма, взят из его «Châtiments» («Ultima verba», 1853), где поэт, не желая помириться с империей Луи-Наполеона, написал знаменитые слова, столько раз цитированные и Герценом: «Если останутся десять французов в изгнании, я буду в их числе; если останется один, то этот изгнанник буду я. Я не возвращусь иначе, как в свободную Францию». Мы знаем, действительно, что поэт был непреклонен; он отказался вернуться на родину после общей амнистии (15 августа 1859 г.) и, подобно Эдгару Кине, Луи Блану, Шара и другим, выступил с протестом, обнародованным тотчас же вслед за этой амнистией; мы знаем, что Гюго отказался воспользоваться и второй амнистией—1869 г. К 1859 или 1869 г. относится нижеследующее письмо Гюго, посланное им Голицыной в ответ на ее приглашение вернуться во Францию? Сходство почерков и прозрачной голубой бумаги, на которой написаны это письмо и письмо из Брюсселя, приведенное выше, заставляет нас принять последнее предположение. Оно написано, вероятно, в 1869 г.[74]

*Перевод:*

19 сентября [1869 г.?]

Вспомните этот стих:

Et, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.

И вы, сударыня, столь же благородная, как и добрая, вы будете первая, кто мне скажет: нет, не возвращайтесь! Какими оковами является долг, если он сильнее вашего приказания! Вы—очаровательны. Все, что вы говорите, имеет совершенную прелесть сердечности. День, в который я

возвращусь во Францию,—если вы еще будете там,—какой это будет радостный день для меня!

Я принесу тогда повиновение вашему тонкому и гордому уму. Это ничего не будет стоить моей совести, и я положу к вашим ногам, сударыня, свое долгое изгнание. Целую вашу руку.

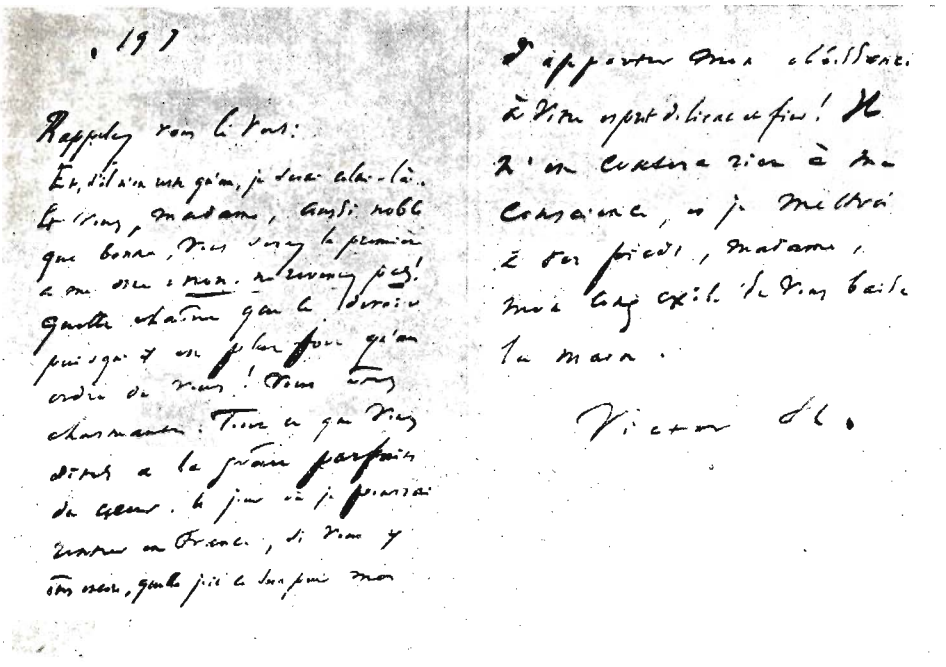
Виктор Г.

О дальнейшей переписке и возможных встречах Гюго с Голицыной мы ничего не знаем[75]. Но знаем зато, что Гюго вернулся, действительно, только в освобожденную Францию—через год после этого письма.

О брюссельской жизни Гюго существует интересный русский источник: воспоминания о встрече с ним М. А. Загуляева. Автор этих воспоминаний, затерявшихся на страницах малоизвестного журнала, был в свое время довольно примечательной фигурой литературного Петербурга, и его рассказы о встречах и беседах с Гюго заслуживают внимания.

М. А. Загуляев (1834—1900), по свидетельству А. С. Суворина, «был сыном офицера, выслужившегося из солдат, но мать его была урожденная княжна Мышецкая»[76]. О юных годах этого довольно известного впоследствии писателя, публициста и переводчика, равно как и о том, откуда он вынес превосходное знание французского языка и увлечение французской культурой, у нас очень мало данных. Известно, что он был офицером морской артиллерии и что рано почувствовал склонность к литературной работе; первые его статьи появились в конце 50-х годов в «Морском Сборнике», а затем и в «Сыне Отечества»[77]. Вскоре он бросил военную службу и всецело отдался журнальной деятельности; в первой половине 60-х годов он служил библиотекарем в департаменте министерства народного просвещения, одновременно сотрудничая в «Сыне Отечества», «Библиотеке для Чтения», «Русском Мире», «Голосе», «Journal de St.-Pétersbourg» и других изданиях[78]. Специальностью Загуляева вскоре сделались обозрения иностранной политической жизни; он, впрочем, охотно писал также на литературные и театральные темы. Современники его вспоминают, что фельетоны его об иностранной жизни и литературе «читались очень бойко и ожидались читателями „Голоса“ с нетерпением». В обществе петербургских литераторов и журналистов Загуляев «довольно резко выделялся и своею внешностью и своей манерой говорить»: «одетый всегда с иголочки, вытянутый в струнку, в высшей степени корректный в обращении и в выражениях, Загуляев скорее походил на дипломата, нежели на публициста и фельетониста. Его называли не иначе, как «русский француз» или «француз из „Голоса“»[79]. Рьяный почитатель Франции и французов, он любил, при каждом удобном случае, ссылаться на пример Франции и в своей публицистической деятельности пропагандировал французский буржуазно-демократический строй. Архив М. А. Загуляева, хранящийся в Институте литературы Академии наук СССР, свидетельствует об обширности связей его владельца с русскими и французскими писателями и политическими деятелями[80]. «Очень был хороший человек,—свидетельствует о нем А. С. Суворин,—превосходный работник, никогда не изменявший своим принципам; любил говорить о своей дружбе с Гамбеттой и французскими знаменитостями. Аккуратности и точности был необыкновенной»[81]. Западные знакомства Загуляева укрепились благодаря его поездкам за границу и, в особенности, благодаря его сотрудничеству в брюссельской либеральной газете «Indépendance Belge», петербургским корреспондентом которой он состоял до 1870 г. Эта газета

пользовалась тогда большим влиянием во всей Европе, главным образом, благодаря ее обширным и очень интересно составленным парижским корреспонденциям. Условия, в которых находилась в конце 60-х годов французская печать, подчиненная системе карательной цензуры с ее предостережениями, приостановками изданий и запрещением уличной продажи, заставляли все фракции антидинастической оппозиции сосредоточивать свою полемику в газетах, издававшихся на французском языке вне пределов Франции. «Indépendance Belge» являлась самым влиятельным и наиболее распространенным органом этой полемики. «Все, что не решились бы печатать французские газеты времен Второй империи,—вспоминает сам Загуляев,—находило себе приют в брюс-



АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЮГО К С. П. ГОЛИЦЫНОЙ ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 1869 г.
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

сельском издании, которое вследствие этого имело массу подписчиков во Франции. Очень была распространена „Indépendance Belge“ и в России, хотя мои петербургские корреспонденции сплошь и рядом подвергались у нас цензурным помаркам»[82].

В конце 1868 г. обстоятельства, связанные с постоянным сотрудничеством Загуляева в этой газете, заставили его отправиться на несколько дней в Брюссель. Эта поездка была его первым непосредственным соприкосновением с политическим Западом накануне краха Второй империи. Двадцать лет спустя Загуляев подробно описал и свое знакомство с членами редакции «Indépendance Belge» и свои встречи с французскими эмигрантами[83], для которых Брюссель являлся в то время основным организационным центром политической борьбы со Второй империей, уничтожения которой они добивались, всячески подрывая ее, впрочем, иллюзорную мощь. В самом деле, к концу 60-х годов уже явственно обозначились

первые признаки того кризиса, который должен был привести Францию Наполеона III к поражению при Седане; в общем складе ее внутриполитической и гражданской жизни уже появились весьма заметные для внимательного глаза роковые признаки разложения. Естественно то любопытство, с которым Загуляев, попав в Брюссель, приглядывался к французским эмигрантам, в среде которых он оказался тотчас же по своем приезде в бельгийскую столицу. Редактором-издателем «Indépendance Belge» был Леон Берарди, «уроженец Марселя, искренний ненавистник Наполеона III»[84]. Берарди был в это время одним из самых видных и влиятельных журналистов Европы. По свидетельству Загуляева, Берарди «собирал в своей гостиной министров, посланников, знаменитых писателей, живописцев, музыкантов и т. п. Глава тогдашнего либерального (а следовательно, и вольномыслящего) бельгийского министерства Фрер-Орбан встречался дружески в этой гостиной с папским нунцием Печчи (будущим папой Львом XIII),... Виктор Гюго соперничал в остротах с клерикалом Дюмортье, одним из основателей независимости Бельгии, знаменитый теоретик музыки Фетис спорил с покойным князем Орловым о Рихарде Вагнере, а бельгийский Рафаэль, живописец Лейс, приходил в наивный ужас от развиваемых бархатным голосом и в утонченно-изящных выражениях теорий знаменитого Армана Барбеса, главы красных французских республиканцев...».

Секретарем редакции «Indépendance Belge» был Камилл Беррю, один из «мужей изгнания», описанных Шарлем Гюго в его книге, носящей это заглавие («Les hommes de l'exil»). «Веселый, сердечный и отважный» Беррю, как его аттестует Виктор Гюго в «Histoire d'un crime»[85], по словам близко познакомившегося с ним Загуляева, «представлял собою крайне интересный и симпатичный образчик тех добродушно-искренних французских республиканцев 1848 г., которые никогда не называли императора Наполеона III иначе, как „ce coquin de Bonaparte" [этот мошенник Бонапарт], утверждали, что Франция не может быть спасена иначе, как гибелью на гильотине „двухсот тысяч бонапартистов", и не в состоянии были бы обидеть мухи в обыкновенное время, по своему безграничному мягкосердечию, хотя ни минуты бы не задумались сложить свои головы в уличном бою на баррикадах, если бы для этого представился случай».

Именно через посредство Камилла Беррю Загуляев познакомился и с Виктором Гюго. Об этом знакомстве Загуляев рассказал дважды: в одном из своих фельетонов в «Новом Времени» за 1885 г., и в своих «Воспоминаниях журналиста», напечатанных тремя годами позднее[86]; в основном эти рассказы совпадают, но в более поздней редакции обставлены некоторыми новыми подробностями. У Загуляева осталось в памяти, что весь Брюссель 1868 г. был «одержим сильнейшим припадком „гюгопоклонства", начавшимся со времени появления романа „Les Misérables" и не ослабевшим даже после малого успеха „Les travailleurs de la mer". Фотографические портреты Гюго виднелись в витринах всех книжных и эстампных лавок. На каждом шагу попадались вывески в роде „Au petit Gavroche", „Au gourdin de Jean Valjean" и т. п. На маленькой площади des Martyrs, перед домом, в котором жил Гюго, постоянно можно было встретить нескольких иностранных туристов, глазевших на окна его квартиры. Гюго принимал все это, как должное, и, окруженный толпою поклоняющихся ему родственников и друзей, почти постоянно позировал». В редакции «Indépendance Belge» Загуляева предупредили, что «великий поэт становится поло-

жительно невыносим», разыгрывая роль «политического титана», однако, по всеобщему мнению, среди брюссельских друзей Гюго был лишь один человек, в уютной квартирке которого «знаменитый изгнанник» держал себя иначе и «давал волю своему настоящему характеру добродушного старика и веселого собеседника»: это был Камилл Беррю, в присутствии которого «становились просто невозможными всякое притворство, всякая позировка».

«Виктор Гюго любил его искренно,—вспоминает Загуляев,—и, кажется, побаивался его ни перед чем не останавливавшейся откровенности. В небольшом кабинете Камилла Беррю на соборной площади св. Гудулы „политический титан" становился снова простым смертным, не „вещал", а разговаривал, выслушивая внимательно своих собеседников, позволяя противоречить себе и даже расспрашивая о разных малоизвестных ему вещах, от чего он обыкновенно воздерживается, из боязни поколебать свою сыздавна установившуюся во Франции репутацию громадной и всесторонней начитанности. Позднее мне приходилось встречаться и беседовать с Виктором Гюго еще несколько раз и при других условиях, но никогда и нигде уже не видал я его таким, каким явился он мне впервые, в скромной квартирке милейшего Камилла Беррю. Покойный хозяин этой квартиры (скончавшийся 22 июля 1878 г.) был чуть ли не единственным из приятелей поэта, не находившим никакой выгоды льстить ему и поклоняться его гению. Он искренно, горячо любил Гюго-человека и высоко ценил его, как одного из самых опасных противников Второй империи, которую сам Беррю ненавидел всею своею душой. От него одного, из всех друзей Гюго, доводилось мне слышать не раболепные хвалы знаменитому писателю, а искреннюю оценку его качеств и недостатков, на которую не решался даже сам Анри Рошфор, нуждавшийся в то время в материальной поддержке Виктора Гюго и дружный с его вторым сыном Франсуа».

Эта интересная страница была опущена в расширенной редакции «Воспоминаний» Загуляева. Она любопытна для нас, между прочим, и тем, что устанавливает факт его *нескольких* позднейших встреч и бесед с Гюго, повидимому, уже в Париже, если принять во внимание собственное заявление Загуляева, что он провел в Брюсселе «несколько дней» в декабре 1868 г. Зато во второй редакции своего рассказа Загуляев более подробно повествует об обстоятельствах своего первого визита к Гюго в Брюсселе и приводит много любопытных деталей о его семье и друзьях.

Виктор Гюго жил тогда в доме № 33 на площади Мучеников (Place des Martyrs). Загуляев вспоминает, что он «не без сердечного трепета поднимался по лестнице» упомянутого дома в сопровождении Камилла Беррю, взявшегося познакомить его «без церемоний» с знаменитым поэтом. В кабинете Гюго Загуляева поразило, прежде всего, то, что здесь собрано было все, что могло свидетельствовать о политической роли, которую писатель играл до государственного переворота 2 декабря 1851 г. Загуляев нашел этому объяснение в том своеобразном положении, какое Гюго занимал в Брюсселе в конце 60-х годов. Непримиримый враг и обличитель Наполеона III, Гюго, по наблюдению Загуляева, был «не особенно желанным гостем для бельгийского правительства, не желавшего ссориться с императором французов». Но, с другой стороны, «популярность, которою пользовался знаменитый писатель в Бельгии, особенно со времени появления его романа „Les Misérables", была так велика, что ни министерства,

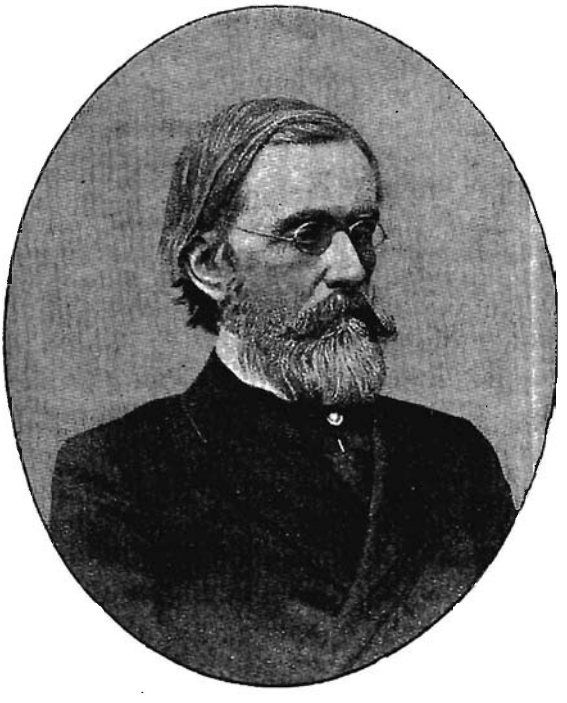
ни сам еще недавно воцарившийся король Леопольд II не смели открыто выражать свое неудовольствие. Гюго мастерски пользовался выгодами такого исключительного положения. Он поочередно щеголял то крайним радикализмом своих республиканских убеждений, то своим званием кавалера бельгийского ордена Леопольда 1-й степени, дававшего ему право приезда к брюссельскому двору и почестей, равных почестям, воздаваемым высшим туземным сановникам. Были случаи, когда к полицейскому комиссару, являвшемуся искать в его квартире какого-нибудь политического преступника, выдать которого требовало настойчиво и с угрозами французское правительство, Гюго выходил в ленте и звезде вышеупомянутого ордена, и бедный полициент, смущенный таким величием, уходил ни с чем, униженно извиняясь в причиненном беспокойстве». В связи со всеми этими наблюдениями Загуляев рассказывает острый анекдот, за достоверность которого ручается, впрочем, только то, что он напечатал его дважды в почти тождественной форме.

«Надо заметить,—пишет Загуляев,—что вообще Гюго не пренебрегал, при случае, пощеголять разными высокими знаками отличия, которых у него набралось множество с той поры, когда Июльская монархия возвела его в звание пэра Франции. Никаких орденов он, правда, никогда не носил, но в его кабинете, как будто засунутая в угол, а между тем всегда бросавшаяся в глаза, стояла невысокая витрина, вся наполненная звездами, крестами и лентами орденов всевозможных национальностей. Любопытно, что в этой коллекции фигурировали, между прочим, звезда и лента нашего русского ордена св. Анны. Когда я спросил однажды Гюго, каким образом получил он этот орден, знаменитый писатель рассказал мне следующее: „Около 1846 г. покойный император Николай Павлович, решившись, наконец, восстановить добрые отношения с королем Людовиком-Филиппом, стал осыпать всевозможными любезностями государя французов“ и, между прочим, в ответ на пожалование многим русским сановникам ордена Почетного легиона 1-й степени, прислал королю несколько патентов „en blanc“ на русские ордена высших степеней, предоставляя Людовику-Филиппу раздать их по своему собственному усмотрению. Случилось это как раз в то время, когда французское правительство, гонясь за популярностью, особенно ухаживало за Виктором Гюго. Один из патентов на анненскую ленту, имевшийся в распоряжении короля вместе с орденскими знаками, был надписан на имя Гюго и вручен ему. Знаменитый поэт уже собирался отправить в Петербург благодарственное письмо, когда русский посланник, узнав о происшедшем, бросился к министру иностранных дел и упросил его отговорить Гюго от подобного шага, который мог бы вызвать серьезные осложнения, потому что покойный император Николай I всегда считал крайне опасным революционером автора „Hernani“, „Marion Delorme“ и „Le Roi s'amuse“. Гюго согласился не посылать уже написанного им письма, а звезду и ленту русского ордена присоединил к своей коллекции других иностранных орденов... Полагаю, что я был не первый русский, которому знаменитый писатель говорил по этому случаю:

— Вот и подите же! Как это ни странно, а меня сделал анненским кавалером 1-й степени не кто другой, как votre terrible empereur Nicolas. Все случается на свете, mon jeune ami!».

Содержания других своих бесед с Гюго Загуляев не приводит, но зато в другом месте своих воспоминаний подробно описывает семейную обстановку писателя и его посетителей.

«Знаменитый поэт занимал целый небольшой дом, выходивший фасадом на поперечную сторону площади, к которой обращена спиною театрально-эффектная статуя „Освобожденная Бельгия“. Оба его сына жили вместе с ним. Старший—Франсуа Гюго, известный переводчик Шекспира, был холост, младший—Шарль—только что женился на хорошенькой дочери одного бельгийского сенатора, за которой взял очень богатое приданое. В кружках поклонников Виктора Гюго шопотом рассказывали, что именно из-за этого приданого второй сын поэта помирился с необходимостью венчаться в католической церкви, так как этого настоятельно требовал отец его невесты, усердный католик и консерватор по своим политическим убе-



М. А. ЗАГУЛЯЕВ
С фотографии 1896 г.

ждениям. Милейший Камилл Беррю говорил по этому поводу, смеясь всем животом и пародируя известное изречение Генриха IV—„Paris vaut bien une messe“: „Что прикажете делать, мильон франков стоит католического обряда венчания!“.

Франсуа Гюго вел в Брюсселе, как, впрочем, и повсюду, куда бросала его судьба, веселую и в то же время трудовую жизнь литературного цыгана. Проводя целые дни за письменным столом, он отдыхал от работы не иначе, как посвящая ночи кутежам в дружеской компании. Когда спал этот человек, трудно сказать, и нет ничего удивительного, что его бурная жизнь была так коротка. В то время, о котором я говорю, постоянным товарищем его ночных оргий был Анри Рошфор, только что перебравшийся из Парижа в Брюссель для беспрепятственного продолжения своего знаменитого „Фонаря“.

Виктор Гюго, сколько я мог заметить тогда, не очень-то долюбливал остроумного памфлетиста, но так как с каждым днем становилось все оче-

виднее и очевиднее, что Рошфор нашел лучшее средство поколебать Наполеона III и Вторую империю своими беспощадными насмешками, часто впадавшими в несомненную клевету, то автор „Les Châtiments" и „Napoléon le Petit" все-таки оказывал очень радушный прием приятелю своего старшего сына. Анри Рошфор, впрочем, догадывался об истинных чувствах к нему Гюго, и мне довелось от него слышать однажды фразу: „Au fond, il me hait très cordialement, le vieux bonze!".

Брюссельская квартира Виктора Гюго считалась официально главным штабом французской эмиграции, но нетрудно было заметить, что многие из членов этой эмиграции чувствовали себя не совсем ловко в этих изящных апартаментах, куда являлись часто и такие французские эмигранты других, враждебных республиканцам партий, какими были в то время генералы Ламорисьер и Шангарнье. Гюго любил проповедывать эклектизм в деле вражды к „клятвопреступнику", как он называл Наполеона III. Доктринеры республиканской партии, не протестуя открыто против подобной терпимости, чувствовали, однако же, себя несравненно лучше в небольшой столовой и крошечном кабинете моего друга Камилла Беррю, куда никогда не заглядывали эмигранты легитимистской и орлеанистской партий».

На этом заканчивается та часть воспоминаний Загуляева, которая касается непосредственно Виктора Гюго. В дальнейшем он рассказывает о своем знакомстве с Рошфором и Франсуа Гюго, повествует о своей встрече со всеми «главными вождями республиканской партии»—Феликсом Пиа, Арманом Барбесом, Шёльшером (Schœlcher), которые как раз явились в Брюссель из Англии по случаю ожидавшейся в Париже манифестации на могиле Бодена, упоминает и о том, что Виктору Гюго плохо удавалось группировать их вокруг себя,—но все эти воспоминания, интересные сами по себе, не относятся непосредственно к Виктору Гюго. Воспоминания заключает рассказ о вечере в таверне Теньера, где Загуляеву удалось присутствовать при любопытной сцене «совещания французских эмигрантов с посланцами парижских республиканцев», и об обеде у Франсуа Гюго, где Загуляев познакомился с Леоном Гамбеттой.

В дневнике Е. А. Штакеншнейдер (запись от 28 ноября 1870 г.) приведен рассказ о неожиданной встрече с М. А. Загуляевым в Петрозаводске, куда он был выслан из Петербурга за напечатание в «Indépendance Belge» фельетона по поводу ноты Горчакова о Черноморском флоте. Этой высылке предшествовал обыск в его квартире. По словам Загуляева, производивший обыск прокурор окружного суда Баженов «отворил мой стол, стал рыться в бумагах и письмах. Я показал на ящики в коридоре, также наполненные бумагами... Тоже не нашли ничего, потому что нечего было найти. Баженов же вынул из пачки писем письмо Гарибальди, в котором он разрешал редакции „Отечественных Записок" переводить его романы, и письмо В. Гюго, которое ничего, собственно, не заключало, так, общие фразы, как, например: „Votre belle Russie". „Вот эти письма я представлю куда следует,—сказал он,—и будьте совершенно покойны и успокойте вашу жену. Ручаюсь вам, что дурных для вас последствий из-за всего этого не выйдет никаких..."»[87] Слова прокурора оправдались не вполне. Загуляеву, правда, скоро разрешили вернуться в Петербург, обязав его отказаться от сотрудничества и даже сношений с иностранной прессой. Приобщенные же к «делу» письма Гарибальди и Виктора Гюго пропали бесследно: они не находятся и в той части архива М. А. Загуляева, которая хранится в Институте литературы Академии наук СССР.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Герцен, Сочинения, ред. М. К. Лемке, XIV, 198—199 (ниже сокращенные ссылки обозначают всюду это издание). Ср. с этим язвительную характеристику *Гюго как политического деятеля, сделанную Н. Г. Чернышевским* в статье 1863 г. «Рассказ о крымской войне»: «До февраля 1848 г. В. Гюго не знал, какой у него образ мыслей в политике, ему не приходилось думать об этом, а впрочем, он был прекраснейший человек и отличный семьянин, добрый, честный гражданин и сочувствовал всему хорошему» и т. д. (Чернышевский, Полное собрание сочинений, П., 1918, X, (2), 95—96). Отрицательную оценку творчеству Гюго Чернышевский дает также в письмах к родным 1877 и 1883 гг. («Чернышевский в Сибири. Переписка с родными», II, 157; III, 227).

[2] См. об этом выше, в гл. II настоящей работы; к приведенным там данным прибавим еще указание на то, что, задумывая в 1838 г. свою автобиографию («Моя жизнь»), эту первую редакцию «Былого и дум», Герцен решает озаглавить ее так, как это сделал Гюго в «Notre-Dame» (кн. VIII, гл. V)—«Анàнке»: «помнишь, в „Notre-Dame“ это слово было вырезано у Клода Фролло; оно значит fatalité».—Герцен, III, 132; ср. еще стихотворение «Oceano nox» Гюго и название одной из глав «Былого и Дум».

[3] Герцен, V, 155. В письме к Н. Х. Кетчеру (7 февраля 1839 г.) Герцен сообщает: «Во всем множестве выходящих книг ужасная пустота,—я разлюбил даже Гюго» (II, 239), что не помешало ему еще долгие годы цитировать многие из его стихов. См., например, III, 186; X, 31; XIII, 380 и др.

[4] Арсеньев К. К., В. Гюго как политический деятель.—«Вестник Европы», 1876, IV, 637 и сл.

[5] Герцен, XIV, 191—192.

[6] Герцен, XIV, 199; ср. еще отзыв Герцена о джерсийском журнале «L'Homme», издателем которого был Ш. Рибероль.—Герцен, IX, 454.

[7] Арсеньев К. К., op. cit., 638—639.

[8] Перевод Бенедикта Лифшица из его антологии «Французские лирики XIX и XX вв.», Л., 1937, 36. Главным источником этого стихотворения, как показал Virgile Pinot (L'Histoire dans «L'Expiation». La retraite de Russie.—«Revue d'Histoire Littéraire de la France», 1911, XVIII, 827—837), является книга графа Сегюра, Histoire de Napoléon et de la Grande Armée en 1812, P., 1827. Ср. в «Châtiments» (1853) характеристику России и ее политического строя, включенную в стихотворение «Carte d'Europe»:

Peuple russe, tremblant et morne, tu chemines;
Serf à Saint-Pétersbourg, ou forçat dans les mines.
Le pôle est pour ton maître un cachot vaste et noir;
Russie et Sibérie, oh tsar! tyran! vampire!
Ce sont les deux moitiés de ton funèbre empire;
L'une est l'oppression, l'autre est le Désespoir.

[9] Хотя еще из Брюсселя, в начале 1852 г., вскоре же после своего поспешного бегства из Парижа, Гюго мог посылать во Францию письма своей жене через посредство Киселевой, знакомой ему по светским салонам Парижа, и рассказывал в этом письме, что он «провел у нее восхитительный вечер» и что она свела его с Жирарденом, которого он еще не видел.—Hugo, Correspondance, 1836—1882, P., 1898, 130.

[10] Гершензон М. О., Герцен и Запад.—«Былое», 1907, IV; перепечатано в книге «Образы прошлого», М., 1912, 247.

[11] Огарева-Тучкова Н. А., Воспоминания, «Academia», Л., 1929, 407.

[12] Необходимо, однако, здесь же предупредить возможность некоторых ошибочных датировок первых встреч писателей.

Сохранилось письмо Герцена с описанием процесса сына Гюго Шарля-Виктора, литератора и публициста, привлеченного к суду за статью в «L'Evénement» о смертной казни. На этом процессе, состоявшемся 11 июня 1851 г., Гюго выступал в качестве официального защитника своего сына и произнес свою знаменитую речь, содержание которой и излагает Герцен в своем письме к сыну (Герцен, Сочинения, ред. М. Лемке, VI, 191). Лемке в «Хронологической канве» для биографии Герцена (ibid., XXII, 254) ошибочно допускает, что Герцен присутствовал на этом процессе. Это неверное допущение повторяют и другие комментаторы, напр. С. А. Переселенков в издании «Воспоминаний» Н. А. Огаревой-Тучковой, «Academia», Л., 1929, 515.

Таким образом, предположение о возможной встрече Герцена и Гюго в 1851 г. приходится отвергнуть.

Тот же Лемке публикует (не делая, впрочем, из этой публикации никаких выводов)

афишу одного из интернациональных собраний эмигрантов в Лондоне—чартистского митинга 27 февраля 1855 г. в память «великого революционного движения 1848 года» (ibid., VIII, 140—142). Афиша называет в числе других участников митинга—Гюго и Герцена. Последний, действительно, присутствовал и выступал на собрании, но Гюго приехать в Лондон не удалось и, таким образом, и эта возможная встреча двух писателей не состоялась.

Известно, наконец, намерение Гюго специально приехать в апреле 1855 г. для встречи с Герценом в Chalmondaley-Lodge, Richmond, в графстве Surrey, где жил тогда автор «Былого и дум». Об этом намерении мы узнаем из письма самого Герцена к М. К. Рейхель от 8 апреля 1855 г.: «В. Гюго нам комплименты и прочее такое делает, и сам едет в Шалмандей-Лодж» (Герцен, op. cit., VIII, 175). Но и это свидание, повидимому, не состоялось. Во всяком случае, в итинерарии Гюго за 1855 г. мы не находим никаких следов какой-либо его поездки в Англию (см. Tableau synoptique des séjours et voyages de Victor Hugo в каталоге «Les séjours de Victor Hugo», Maison de Victor Hugo, P., 1935).

[13] Герцен, VIII, 195, 223, 225.

[14] Ibid., VIII, 409.

[15] Ibid., VIII, 174. Подлинные французские тексты писем Гюго к Герцену до сих пор остаются неопубликованными. Письма известны нам только в русских переводах самого Герцена (письма от 25 июля 1855 г., 17 января 1859 г. и 8 февраля 1863 г.) и М. Гершензона (письма от 15 марта 1857 г., 13 апреля 1858 г., 15 июля 1860 г. и 16 мая 1864 г.). Переводы М. Гершензона («Былое», 1907, IV), а также неполный герценовский перевод письма от 25 июля 1855 г. были проверены и исправлены по французским подлинникам, хранящимся в архиве семьи Герцена, М. К. Лемке и вошли в качестве комментария в редактированное им собрание сочинений Герцена. Приводимые нами тексты писем Гюго к Герцену заимствованы из этого издания.

[16] «L'Etoile Polaire sur la mort de J. Worcell». Traduit du russe, Londres, 1857.

[17] Герцен, VIII, 504.

[18] «La France et l'Angleterre», Trübner L., 1858 (ср. «Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дельвига, 1820—1870». Ред. С. Я. Штрайха, «Academia», М.—Л., 1930, II, 83—84). Впрочем, это могла быть также изданная в том же году брошюра Герцена: «La conspiration Russe de 1825, suivie d'une lettre sur l'émancipation des paysans en Russie», par Iskander, London, Tchorzewski, 1858.

[19] Герцен, IX, 221.

[20] Ibid., XIV, 762; ср. замечания Н. Сретенского в статье «Герцен и западная художественная литература».—«Сборник статей по вопросам культуры», Ростов н/Д., 1928, 121—122.

[21] Герцен, XIII, 37.

[22] Герцен, XIV, 795—796. «Былое и думы» в переводе H. Delavau назывались: «Le Monde Russe et la Révolution».

[23] Герцен, IX, 80.

[24] «Голоса из России», кн. IV; цитирую по второму изданию (London, 1858), 31—49.

[25] «П. Л. Лавров о самом себе».—«Вестник Европы», 1910, № 10, 97.—Во второй половине 50-х годов стихотворения эти пользовались популярностью в русском обществе и ходили по рукам во множестве рукописных списков.

[26] См., например, письмо П. Л. Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер от 26/14 апреля 1872 г.: «Сейчас, возвращаясь с почты, захватил „L'Année terrible" [Гюго]. Взглянул туда, сюда: все это делано, очень уж фигурно, очень уж старо. А вот подле другой старик Мишелэ начинает новый труд. Как припомнишь: тридцать лет тому я сдал экзамен в офицеры и ехал в последний раз в лагерь. Мой покойный брат прислал мне из-за границы в подарок деньги, и я на них купил себе сочинения именно этих двух стариков. Теперь я уже очень не молод, а они все в первых рядах, и кто сменит их?» («Письма П. Л. Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер». — «Голос Минувшего», 1916, № 9, 120). Тогда же написана Лавровым статья «Два старика».—«Новое Время», 1872, № 110, от 27 апреля. Эпизод, о котором рассказывает Лавров, произошел в 1842 г., когда ему было 19 лет.

[27] См. ниже, гл. IV, прим. 34-ое.

[28] «Колокол», 1863, № 156 от 15 февраля, 1301; Герцен, XVI, 64—65.

[29] Публикуем это неизданное письмо Гюго благодаря любезности M-me C. Daubray (Париж), сообщившей его вместе с другими черновыми рукописными заметками Гюго 60-х годов, относящимися к России.

[30] Герцен, XVI, 64.

[31] Hugo, Œuvres complètes («editio ne varietur»), «Actes et paroles». Pendant l'exil (1852—1870), II, P., 1883, 323—324. Воззвание Гюго датировано здесь 11 февраля

1863 г., что неверно, если принять во внимание, что при письме к Герцену Гюго посылал его уже 8 февраля, а при письме к Лакруа—10 февраля. Ср. здесь же «Au membres du meeting de Jersey pour la Pologne», Hauteville-house, 27 mars 1863.

[32] «Всемирный Труд», 1869, II, 166, 167, 168.

[33] Герцен, XVI, 204. Через год, 18 мая 1864 г., Герцен получил еще одно письмо от Гюго.—Герцен, XVII, 169.

[34] Сообщением об этой неизданной рукописной помете из архива Гюго мы обязаны M-me C. Daubray. Вот самый русский анекдот, который рассказывает Гюго, не упоминая о своем источнике: «Il y a un tel possible dans la cruauté de l'homme qu'on trouve toujours là de l'innatendu. Une femme esclave russe, portant une théière pleine, est heurtée au passage par l'enfant de sa maîtresse, la comtesse***, la théière tombe, l'enfant est échaudé par le thé bouillant; la comtesse fait venir le plus jeune des fils de l'esclave et verse la même quantité d'eau bouillante sur ce petit enfant. Dans les récents massacres du Liban, la cuisse d'une femme a servi de billot pour couper la tête de son enfant. Comme il faut de l'humanité on a guéri à l'hôpital l'entaille de la hache». См. Reliquat de «William Shakespeare» [1864] в новом изд. соч. Гюго (Edition de l'Imprimerie Nationale).

[35] Речь, несомненно, идет о Жюльетте Друэ, которая, впрочем, никогда не была гувернанткой в семье Гюго. См. о ней ниже, прим. 38-е.

[36] Огарева-Тучкова Н. А., Воспоминания, «Academia», Л., 1929, 407—409.

[37] Пятковский А. П., Две встречи с Герценом. — «Наблюдатель», 1900, III, 237.

[38] Неразлучная спутница жизни Гюго—Жюльетта Друэ (1806—1877). Ранние ее годы мало известны: сирота, она прошла суровую школу жизни от монастыря, где ее воспитывали из милости, до ателье молодого парижского скульптора Прадье, которому она служила натурщицей. В конце 20-х годов, после разрыва с Прадье, Друэ становится актрисой, но, окруженная поклонниками, среди которых был и какой-то «русский князь», продолжает жить жизнью богемы. Вскоре, несмотря на сценические успехи, Друэ стала близка к полному падению: именно ей посвятил Гюго свое столько раз переводившееся и на русский язык стихотворение: «Oh! N'insultez jamais une femme qui tombe» («Chants du crépuscule», 1835). Моральная и материальная поддержка, оказанная ей Гюго, превратила Друэ в его преданного друга; оставив сцену, она всю свою жизнь провела возле Гюго, принятая в семью и окончательно узаконенная здесь со смертью его жены (1868). О Жюльетте Друэ см.: Fleischmann H., Une maîtresse de V. Hugo, P., 1902; Guimbaud L., V. Hugo et Juliette Drouet.—«La Contemporaine», 10 mars 1902; Séché L., Juliette Drouet.—«Revue de Paris», 1903, 1.

Тхоржевский Станислав—поляк-эмигрант и лондонский типограф Герцена, находившийся в постоянных сношениях с французскими эмигрантами из круга Гюго. См. о нем «Вольное Слово», 1882, № 46.

[39] Герцен, XXI, 424. Подробный рассказ об этом посещении Герценом Виктора Гюго находим в «Воспоминаниях» Н. А. Огаревой-Тучковой: «В половине седьмого мы отправились пешком к Виктору Гюго. Много испытавший тяжелых утрат, поэт-эмигрант тогда еще был сравнительно счастлив,—вскоре после нашего свидания он схоронил обоих сыновей [Шарль Гюго умер в 1871 г., Франсуа—в 1873 г.]. Обед был очень оживлен; Виктор Гюго рассказывал о своем многолетнем пребывании на острове Джерси, где через несколько лет ему удалось ввести вместо денег употребление расписок, чем он мечтал ослабить со временем непобедимую до сих пор силу денег; он давал, например, расписки булочнику (за хлеб); тот, нуждаясь в сапогах, передавал расписку сапожнику, а последний передавал ее за товар и т. д. без всяких затруднений. „Ведь нам не деньги нужны, а разные предметы торговли“,—говорил с жаром Виктор Гюго. В конце обеда разговорились о России. Я сказала, что Виктора Гюго давно знают и чтут в России не менее, чем в других странах, и вспомнила, что мой отец был одним из самых горячих его почитателей, между прочим за то, что Гюго первый говорил печатно об уничтожении смертной казни, и это тогда, когда никто об этом не помышлял. Мой отец был прав, говоря, что Виктор Гюго должен быть весьма гуманен. Я думаю, и теперь в Джерси помнят, как поэт-изгнанник собирал на рождественскую елку бедных детей, наслаждался их неподдельным восторгом и, кроме лакомств, раздавал им еще и игрушки».—Огарева-Тучкова Н. А., Воспоминания, 408—409. Описание рождественской елки на о. Гернси (а не Джерси) см. «Œuvres complètes de Victor Hugo» («editio ne varietur»), «Actes et paroles». Pendant l'exil, II, Notes, 562—564, где по этому поводу приведена и выписка из «Gazette de Guernesey» от 29 декабря 1866 г.

[40] О П. В. Долгорукове см. вступительную статью С. В. Бахрушина в издании «Петр Владимирович Долгоруков. Петербургские очерки 1860—1867 гг.» М., «Север», 1934. Из этой статьи заимствованы наши цитаты.

[41] «Revue Hebdomadaire», juin, 1935.

[42] «Надежда—в Республике».—Тексты этих записей любезно сообщены редакции «Литературного Наследства» M-me C. Daubray.

[43] Враждебная позиция Долгорукова по отношению к французскому правительству также имеет свою историю. Еще в 1861 г. одна из его брошюр, выпущенная в Лейпциге («La question russe-polonaise et le budjet Russe»), была запрещена во Франции; проигрыш Долгоруковым судебного процесса, начатого против него в Париже гр. С. М. Воронцовым, Долгоруков приписал также давлению со стороны французского правительства, желавшего, якобы, угодить Петербургу. Долгоруков покинул Париж и начал войну и против бонапартистской Франции. В своем Брюссельском «Листке» он не щадил Наполеона III, называя его «паяцем-мазуриком», «самодержавно управляющим Францией», «хищником» и «клятвопреступником», правительство которого «держится страхом, подкупом и целой сетью мер, основанных на призыве к чувству подлости и низости». Когда этот «Листок» был запрещен к обращению во Франции, Долгоруков с удовольствием отметил на страницах своего журнала, что «Листок» имеет честь быть запрещенным как в Российской империи, так и в России западной, известной обычно под именем Французской империи». По поводу «слуха о новом сближении России с Наполеоном» Долгоруков спрашивал в том же «Листке» (1863): «Неужели в Петербурге еще не знают Наполеона? Неужели семилетний опыт не показал... что на Бонапарта никогда и ни в чем положиться нельзя, что он всегда всех обманывал и всегда каждого обманет» («Листок, издаваемый кн. П. Долгоруковым», 1863, № 12; ср. Герцен, XVI, 66—67). Все эти настроения с наибольшей памфлетической силой выразились в «La France sous le régime Bonapartiste». Извещая читателей своего «Листка» о выходе в свет этой книги, Долгоруков объяснил побуждения, которые заставили его взяться за перо. «Во-первых,—писал он,—нынешнее позорное состояние Франции служит назидательным уроком для всех друзей свободы и просвещения, а во-вторых, мы имеем, как известно читателям, свои причины желать выставить в ее полной истине всю мерзость нынешнего положения во Франции вообще и судебной власти в особенности» («Листок, издаваемый кн. П. Долгоруковым», 1864, № 19).

[44] Герцен, XV, 194; ср. XVIII, 291.

[45] Банкет этот подробно описан в брошюре Frédérix (Gustave), Souvenirs du banquet offert à V. Hugo par M. M. Lacroix, Verbœckhoven et C[ie], Bruxelles, 1862.

[46] Герцен, XV, 263—265.

[47] Герцен, XV, 466.

[48] Цее В. А., Последние дни цензуры в министерстве народного просвещения.—«Исторический Вестник», 1911, IX, 962—964. Здесь же приведены любопытные замечания министерства внутренних дел, которое указывало А. В. Головнину, что «в разговоре сенатора и епископа развиты основные мысли материализма», и прибавляло при этом, что «такое популяризирование идей материализма уступает только одному роману Евг. Сю „Mystère du peuple" [sic!], который признан вреднее всех атеистических сочинений Штрауса и других, запрещенных во Франции и Германии. Такой же демократизм господствует и в романе Гюго, как и в романе Сю». Попытки выпустить «Отверженных» в 1866 г. с исключениями наиболее «опасных» мест, были тщетны; начатая в 1880 г. в журнале А. С. Суворина «Еженедельное Новое Время» публикация романа была приостановлена. К. Головин поэтому ошибается, когда утверждает, что написанная им для официальной «Северной Почты» 1862 г. статья об «Отверженных» не была напечатана потому, что, якобы, «после только что изданных крестьянских положений даже официальным органам было велено казаться либеральными, а с либеральной точки зрения критика романа Гюго не могла быть допущена» («Мои воспоминания», СПБ. 1908, I, 113). См. также заметку Н. П., Гюго и русская цензура.—«Бирюч Петроградских Гос. Театров», 1919, XI—XII, 106—107.

[49] Штакеншнейдер Е. А., Дневник и записки, ред. И. Н. Розанова, «Academia», 1934, 311, 315.

[50] Гроссман Л., Три современника, М., 1922, 78; его же, Поэтика Достоевского, М., 1925, 46; ср. его же, Жизнь и труды Ф. М. Достоевского, «Academia», 1935, 118, 169, 224, 262, 282, 284.

[51] Достоевская А. Г., Дневник 1867 г., М., 1925.

[52] Соловьев Вс. С., Воспоминания о Достоевском.—«Исторический Вестник», 1881, III, 616. Свод высказываний Достоевского о Гюго см. в «Письмах» Достоевского, ред. А. С. Долинина (Л., 1928, I, 467); ср. еще Комарович В., «Мировая Гармония» Достоевского.—«Атеней», Л., 1926, II, 119—120.

[53] Достоевский, Письма, ред. А. С. Долинина, М.—Л., 1934, III, 206, 264. О восторженном отношении Достоевского к «Misérables» см. еще свидетельство Почин-

ковской.—«Исторический Вестник», 1904, II, 488—492. См. также в «Дневнике Писателя» за 1876 г.

[54] Достоевский Ф. М., Материалы и исследования, ред. А. С. Долинина, Л., 1935, 91, 359. Об отражении в «Братьях Карамазовых» некоторых моментов из «Misérables» см. у В. Комаровича, «Die Urgestalt der Brüder Karamasoff», München, 1928, 503, где проведена достаточно убедительная параллель между сыщиком у Гюго—Жавером и Смердяковым, а также между епископом и ролью старца Зосимы. В спорной статье Цейтлина А. Г., «Преступление и наказание» и «Les Misérables».—«Литература и Марксизм», 1928, V, 20—58, сделан ряд небесполезных сравнительных наблюдений над романами Гюго и Достоевского. Напомним также указание Л. П. Гроссмана на связь «Легенды о великом инквизиторе» и поэмы Гюго «Христос в Ватикане» из цикла «Légendes des Siècles» («Библиотека Достоевского», Одесса, 1919, 118—120) и замечание В. В. Виноградова о бесспорном отражении этой сцены из «Последнего дня осужденного» Гюго в эпизоде самоубийства Кириллова в «Бесах» («Эволюция русского натурализма», Л., 1929, 140—152). Наконец, укажем на статью А. М. Бема в «Mélanges dediés à la Mémoire de Prokop M. Haskovec par ses amis et ses élèves» (Brno, 1936, 44—64), посвященную доказательствам того, что в двух рассказах Мышкина в «Идиоте» также отразился «Последний день осужденного».

[55] Боборыкин П. Д., Столицы мира, М., 1911, 163—164. См. также замечание П. Д. Боборыкина в его книге «Роман на Западе за две трети века», СПБ. 1900, 162: «За границей у него [Гюго] меньшая популярность и меньшее признание, за исключением—прибавим мы—русской публики 60-х годов относительно „Мизераблей"».

[56] «Каторга и ссылка», XIII, 154; XV, 90—91; XXIV, 38; XLIII, 159.

[57] См. Le Breton, La pitié sociale dans le roman: l'auteur des «Misérables» et l'auteur de «Résurrection».—«Revue des Deux Mondes», 1902, 1 avril, 889—916 и русский отклик: «Столетие со дня рождения Гюго. Параллель между „Misérables" и „Воскресением".—«Вестник Европы», 1902, январь («Из общественной хроники»). Отношение Л. Толстого к Гюго нуждается в специальном обследовании. В книге «Что такое искусство» Л. Толстой писал: «Если бы от меня потребовали указать в новом искусстве на образцы по каждому из этих родов искусств, то как на образцы высшего, вытекающего из любви к богу и ближнему... я указал бы из новых на „Разбойников" Шиллера, из новейших на „Les pauvres gens" V. Hugo и его „Misérables"». Л. Толстой всегда считал Виктора Гюго великим мастером в прозе (см., например, письмо к П. И. Бирюкову от 1 июня 1885 г.; ср. запись «Дневника» от 26 февраля 1909 г.: «Читал В. Гюго. Прекрасно—проза, но стихи—не могу») и не раз выступал в качестве его переводчика. Так, в 1908 г. Толстой перевел два произведения Гюго—«Неверующий» («Un athée» из «Postscriptum de ma vie») и «La guerre civile», названное Толстым «Сила детства». По свидетельству Н. Н. Гусева, «обе эти вещи Толстой не мог читать вслух без слез». В свой «Круг чтения» Толстой включил «Les pauvres gens» в переводе В. Микулич (для второго издания он сам проредактировал этот перевод) и отрывок из «Отверженных» о епископе Мириэле. Сюжет рассказа «Архиерей и разбойник» в «Книге для чтения» Толстого заимствован из «Отверженных» и переделан Толстым. См. Гусев Н. Н., Два года с Толстым, М., 1928, 114.

[58] «Русская Старина», 1888, VIII, 350.

[59] Книга Ленца «Aus dem Tagebuche eines Livländers. Moskau, Constantinopel, Burgos, Madrid. Das Violin-Conzert von Beethoven in St.-Petersburg und die Fasten-Musiken» (Wien, 1850) и продолжение ее, печатавшееся в отрывках в петербургской немецкой газете, отсутствует в русском переводе; лишь небольшие фрагменты из нее напечатал П. И. Бартенев в «Русском Архиве» (1878, I, 436—469; II, 255—259) под заглавием «Приключения лифляндца в Петербурге». Ленцу же принадлежит: «La société des concerts fondée par M. le général Alexis Lvoff», St.-Pétersbourg, 1854. Ср. «Catalogue de la section des Russica», St.-Pétersbourg, 1873, 717. См. о нем еще «Русская Старина», 1908, VI, 485, 504—505; 1907, IV, 183; «Русская Музыкальная Газета», 1908, №№ 3 и 6 (здесь и его портрет).

[60] Lenz (W.), Beethoven et ses trois styles, St.-Pétersbourg, Bernard, 1852, 2 vols; То же, Bruxelles, Stapleaux, 1854, 2 vols.; P., Lavinée, 1855, 2 vols; 2-me édition, P., Lavinée, 1866; последнее французское издание: Edition nouvelle avec avant-propos et bibliographie des ouvrages relatifs à Beethoven par M. D. Calvocoressi, P., Legouix, 1909; немецкое издание в двух томах (Cassel, 1855) и с тремя дополнительными (Hamburg, 1860, Hoffman & Campe, 5 Bände).

[61] Lenz (W.), Die grossen Pianofortevirtuosen: Liszt, Chopin, Tausig, Henselt aus persönlicher Bekanntschaft, Berlin, 1872. В Рукописном отделении Публичной библиотеки в Ленинграде сохранились адресованные Ленцу письма Шопена, Листа, Берлиоза, Бальзака и Сю.

[62] «Приключения лифляндца в Петербурге».—«Русский Архив», 1878, I, 441. О знакомстве Ленца с Бальзаком и публикацию письма Бальзака к нему см. в настоящем издании, 346—347.

[63] Balzac (H. de), Correspondance, P., 1876, II, 87, 94.

[64] Подлинник письма—в Рукописном отделении Публичной библиотеки в Ленинграде. На конверте написано: «Via London. Son Excellence Mr. le Conseiller d'état actuel W. de Lenz. Maison Geliaschwill. Rue de l'Espérance, St.-Pétersbourg». В. В. Ленц, действительно, жил тогда на углу Надеждинской улицы и Ковенского переулка, в доме Гелияшвили, по одной лестнице с А. Н. Серовым (см. Званцов К., А. Н. Серов в 1857—1871 гг.—«Русская Старина», 1888, VIII, 349—350).

[65] «Русский Архив», 1870, 1876 и «Русская Старина», 1873, VII, 100.

[66] «Остафьевский Архив», СПБ. 1908, III, 437. От этого брака у нее был сын кн. Н. А. Голицын (1834—1871).

[67] Записки кн. Н. С. Голицына.—«Русская Старина», 1881, I, 39; «Род князей Голицыных. Сост. кн. Н. Н. Голицын», СПБ. 1892, 166—167, 356, 375. К стр. 335 этого издания приложен и портрет С. П. Голицыной, по оригиналу (масло), находившемуся в основанном ее мужем приюте в г. Витебске; этот портрет написан в 1847 г. См. еще «Материалы для полной родословной росписи кн. Голицыных, собранные кн. Н. Н. Голицыным. Корректурное издание», Киев, 1880, 178, и Голицын Н. Н., Библиографический словарь русских писательниц, СПБ. 1889, 69.

[68] «Русский Архив», 1879, II, 243.

[69] Шаликов П. И., Ответ на послание С. П. Б.-П...ой и ответ на другое послание С. П. Б.-П...ой.—«Новости Литературы», 1822, I, 190 и II, 47.

[70] Языков Н. М., Полное собрание стихов, ред. М. К. Азадовского.—«Academia», 1934, 602, 841, со ссылкой на «Записки» Д. Н. Свербеева, М., 1905, II, 96. Стихотворение Языкова «Кн. С. П. Голицыной» было дважды напечатано в 1845 г.

[71] «Альбом С. П. Голицыной».—Архив Института литературы АН СССР, Ленинград.

[72] Там же. Стихотворение вошло в посмертный сборник Виктора Гюго «Toute la lyre». Приводим эти стихи в переводе М. Талова:

Меня зовешь, и стих, плененный красотою,
К тебе торопится. Я погружен в мечты.
Ум сочетается с прекрасною душою.
Какое счастие—быть понятым тобою,
Но тот счастливее, кого полюбишь ты!

[73] «Альбом С. П. Голицыной».—Архив Института литературы АН СССР, Ленинград.

[74] Там же.

[75] После смерти своего мужа (1863) Голицына продолжала жить в Париже, выйдя вторым браком (в 1873 г.) за графа Эдуарда Гейнингер д'Эрисвиль-и-Гудневиль (ум. 1886). Она умерла 10 февраля 1888 г. в Париже. («Род кн. Голицыных», СПБ. 1892, 166—167).

[76] «Дневник А. С. Суворина», М.—П., 1923, 237.

[77] Арнольд Ю., Воспоминания, вып. III, М., 1893, 154—155, 176; «Письмо из провинции».—«Весельчак», 1858, XXXVII и XXXIII.

[78] Приложение к газете «Новое Время», 1896, № 7220, от 6 апреля; «Русские Ведомости», 1900, № 94; «Вестник Европы», 1900, V, 416.

[79] Либрович С. Ф., На книжном посту, П.—М., 1916, 21—22.

[80] См. публикацию Т. Грица, Письма Жана Ришпена к М. А. Загуляеву, в настоящем томе «Литературного Наследства»; см. также вступительную заметку Б. Л. Модзалевского, К описанию альбома жены М. А. Загуляева (с 1860 г.) Франциски (Фанни) Германовны Загуляевой, в альманахе «Литературная Мысль», Л., 1924, II, 239; Микулич В., Встречи с писателями, Л., 1929, 140, 148, 219.

[81] «Дневник А. С. Суворина», 237.

[82] «Север», 1888, XXIII, 14.

[83] «На Западе». Воспоминания журналиста. Люди, события, виды.—«Север», 1888, №№ 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33.

[84] О Леоне Берарди и других упоминаемых Загуляевым лицах см. Saint-Ferréol (Amédée), Les proscrits français en Belgique, P., 1871, vols 1—2.

[85] Hugo (Victor), Histoire d'un crime, II, 46. См. еще Berru (Camille), Le revers d'une médaille. Avec une lettre autographe de V. Hugo, Bruxelles, 1878.

[86] «Отовсюду».—«Новое Время», 1885, № 3246, от 12 марта; «Север», 1888, № 26.

[87] Штакеншнейдер Е. А., Дневник и записки. Редакция, статья и комментарий И. Н. Розанова, «Academia», 1934, 415.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

# ОПЯТЬ В ПАРИЖЕ

ГЮГО И РУССКИЕ ТУРИСТЫ В ПАРИЖЕ.—П. В. АННЕНКОВ СЛУШАЕТ РЕЧЬ ГЮГО НА СТОЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ ВОЛЬТЕРА.—ЗАПИСКА ГЮГО К КН. Е. А. ТРУБЕЦКОЙ.—ВИЗИТ К ГЮГО КН. М. УРУСОВОЙ.—ПОРТРЕТ ГЮГО, ПОДАРЕННЫЙ Е. А. ЧЕРКАССКОЙ.—КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ С. Ф. ШАРАПОВА О ВИЗИТЕ К ГЮГО.—ГЮГО и И. С. ТУРГЕНЕВ: ИСТОРИЯ ИХ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ.—ГЮГО И ТУРГЕНЕВ НА ПЕРВОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНГРЕССЕ В ПАРИЖЕ.—ПИСЬМО Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО.

Ко второй половине 70-х годов Париж был наводнен русскими. Одни бывали здесь наездами, другие живали подолгу. Тут были туристы, которых влекла во французскую столицу давняя традиция,—их было, разумеется, большинство,—тут были старые русские «парижане», потерявшие почти всякую связь с Россией, тут были и люди, недавно или только что приехавшие из России, новые эмигранты, которые стремились в Париж для того, чтобы за рубежом продолжать русское дело, русскую революционную борьбу с царизмом. Русские «изгнанники» резко противопоставляли себя официальной русской «колонии»—посольству и группировавшейся около него знати; туристы старались не замечать ни тех, ни других, все свое внимание сосредоточивая на изучении парижской жизни. Среди парижских впечатлений, впечатления от искусства, театра, литературы издавна составляли одну из приманок для русских путешественников; не удивительно, что во французскую столицу приезжали почти все крупные писатели, без различия направлений и вкусов. Здесь по нескольку раз побывали Достоевский и Салтыков-Щедрин, Некрасов и Анненков, Боткин и Глеб Успенский; П. Д. Боборыкин жил здесь подолгу, а И. С. Тургенев со второй половины пятидесятых годов находился в Париже почти постоянно.

Одной из достопримечательностей литературного Парижа являлся Виктор Гюго. С тех пор, как он после восемнадцати лет изгнания возвратился в Париж (5 сентября 1870 г., на другой день после свержения Наполеона III) и зажил здесь открытым домом, он превратился почти в легендарную личность. Избранный в 1874 г. сенатором, Гюго, несмотря на свои преклонные годы, вовсе не искал уединения. Все знали, что он окружен преданными друзьями, всеобщим вниманием и почетом; Гюго можно было увидеть и в театре и на предобеденной прогулке; наиболее настойчивым удавалось проникнуть и в его салон.

30 мая 1878 г. Гюго произнес большую речь на торжественном заседании по случаю столетнего юбилея Вольтера. В числе присутствовавших на этом торжестве был П. В. Анненков, который в тот же день писал М. М. Стасюлевичу: «Сейчас только приехал со 100-летнего юбилея Вольтера в зале театра Gaîté, под председательством В. Гюго. Описывать восторг, слезы и крики при ослепительных антитезах Викт. Гюго и при биографии юбиляра, сделанной Дюганель... не стану, но масса народа, не попавшего в театр и 3 часа стоявшего густою толпою под дождем, чтобы только похлопать людям, устроившим праздник, на который они не попали, при выходе—это черта единственно и исключительно парижская»[1]. Перед нами—один из наиболее частых случаев туристского любопытства к Гюго. Но заветной мечтой многих русских, попадавших в Париж, было, однако, не только увидеть и услышать издали прославленного французского поэта, но и беседовать с ним, получить его автограф, передать ему свидетельства популярности его в России. По этому поводу среди путешествен-

ников циркулировали различные рассказы. «Великого старика мне случалось часто видать... в сенате,—замечает один из них,—и окружавшее его какое-то обаяние заставляло меня всегда, встречаясь с ним, инстинктивно приподнимать шляпу. Да и кто бы из нас (я разумею только русских) не сделал этого!»[2]

Попасть в салон Гюго на Rue de Clichy (поэт жил здесь с 1874 по 1878 гг.), где по вечерам собирался весь цвет литературного Парижа, считалось делом трудным, но не безнадежным. «Мне втолковали,— сообщает один русский путешественник, стремившийся попасть к Гюго,— что проникнуть к поэту было чрезвычайно трудно. В его салоне собирается цвет французского литературного и демократического мира. Там толпятся старики—деятели революций вроде Араго, Мадье де Монжо и др.; наконец, там сосредоточивается истинный центр всей ныне заправляющей партии, не политический и деловой центр (это у Л. Блана и Гамбетты), а скорее центр умственный, идеальный. Все эти господа приходят к гениальному старцу, чтобы отвести душу, чтобы как будто почерпнуть какого-то электричества в этом „мировом сердце“»[3].

Тем не менее, через посредство бесчисленных друзей и «признанных» учеников Гюго, свидания с ним добивались многие. К дому Гюго находили тропу офранцузившиеся русские аристократы, которые нередко считали своим долгом побывать у него, совершенно так же, как некогда их деды заглядывали в Ферне. Что Гюго поддерживал связи с русской знатью, показывает следующая неизданная записка его к княгине Трубецкой, вероятно, Е. Э. Трубецкой, известной основательнице парижского политического салона. За что ее благодарил Гюго, нам остается неизвестным. Записка написана на печатном бланке французского сената и заключает в себе всего лишь несколько слов[4].

*Перевод:*

Сенат. Версаль.

10 декабря 1877 г.

Я глубоко взволнован и тронут. Припадаю к вашим стопам, княгиня.

Виктор Гюго

Е. Э. Трубецкая была лицом хорошо известным в литературно-политических кругах Парижа. Но иногда Гюго приходилось принимать у себя и совсем неизвестных ему людей. В неизданных еще «Воспоминаниях» Э. К. Липгарта рассказывается, что жившая в Париже княгиня Мария Урусова добилась аудиенции у Гюго, несмотря на то, что чувствовала к нему антипатию; с ее стороны это было одно тщеславие и любопытство к парижской «достопримечательности»[5]. Еще одно свидетельство знакомства Гюго с представительницей все того же круга русской аристократии дает сохранившийся портрет писателя, подаренный им княгине Е. А. Черкасской (рожд. Васильчиковой). Под портретом имеется автографическая запись двустишия Гюго из стихотворения «Le Retour de l'Empereur» («Légende des Siècles») и подпись:

La France est la tête du Monde,
Cyclope dont Paris est l'œil.

Victor Hugo[6]

К сожалению, нам ничего не известно более об этом русском знакомстве Гюго, и мы не знаем, когда и при каких обстоятельствах Е. А. Черкасская получила от писателя этот портрет.

Среди русских посетителей Гюго находились и такие, которые, при случае, непрочь были использовать свой визит к знаменитому писателю в целях саморекламы, подобно тому, как это сделал в 40-х годах Греч. Любопытным образчиком именно этого последнего рода могут служить корреспонденции «Нового Времени» за 1878 г., подписанные псевдонимом «Parisien», под заглавием: «У Виктора Гюго»[7]. Они принадлежат С. Ф. Ша-

la France est la tête du Monde,
Cyclope dont Paris est l'œil.
Victor Hugo

ВИКТОР ГЮГО
Портрет с автографом, подаренный писателем Е. А. Черкасской
Фотография Валлери, 1872—1874 гг.
Институт мировой литературы им. Горького, Москва

рапову (1855—1911), умеренно-либеральному в те годы публицисту, впоследствии именовавшему себя «неославянофилом», издававшему собственные газеты и периодические сборники и, кроме того, много писавшему по вопросам сельского хозяйства. В конце 70-х годов, когда ему было двадцать с небольшим лет, Шарапов, побывав уже в Боснии и Герцеговине, пристроился парижским корреспондентом «Нового Времени» и посылал туда свои фельетоны—интервью с французскими политическими и литера-

турными деятелями—Луи Бланом[8], Гюго, критические разборы новых книг (например, «L'Année terrible», В. Гюго) и т. д. Развязность тона всех этих статей, наклонность к самовосхвалению показались забавными многим их читателям, зачастую и не догадывавшимся об их авторе. Посмеялись над ними и хорошо знавшие, кто скрывается под псевдонимом «Parisien». М. Е. Салтыков-Щедрин, например, весьма язвительно отзывался и об этих корреспонденциях Шарапова о Гюго и о самом Шарапове в письме к автору «Писем из деревни» А. Н. Энгельгардту, тому самому, о котором впоследствии Шарапов написал целый труд[9]. «Вы прислали ко мне Шарапова с плохой комедией,—писал Щедрин (27 сентября 1881 г.).—Он прежде в „Новом Времени" был в услужении, а теперь при Аксакове блудодействует. Я очень даже рад, что комедия его оказалась плохой, а то бы не отвязаться от него. Он Виктору Гюго надоел, тоже затесался, насилу отделались, а потом в „Новом Времени" описывал, как его брусникой с г... там кормили». Справедливой поэтому представляется догадка С. А. Макашина[10], что именно Шарапов и его корреспонденции о Викторе Гюго и Луи Блане дали Щедрину некоторый материал для создания в очерках «За рубежом» гротескного образа «Ивана де Подхалимова», репортера газеты «И шило бреет», который, между прочим, для первого своего знакомства с неким «влиятельным лицом» тотчас же сообщил ему, что «Виктор Гюго скупердяй, а Луи Блан—старая баба» и что «он у всех был, мед-пиво пил»... В фельетоне Шарапова «У В. Гюго», действительно, уделено много внимания бытовому материалу; Шарапов с большим удовольствием вдается во все детали домашней жизни поэта, подробно описывает ужин у Гюго, к которому был приглашен, и знаменитые «сиропы», которыми его там потчевали. Впрочем, рядовому русскому читателю длинные фельетоны о встречах с В. Гюго должны были показаться интересными именно потому, что здесь много говорилось о домашней жизни «великого старца», его привычках и образе жизни. Прямо рассчитанное на такого читателя «Живописное Обозрение», несомненно, удовлетворяло особый читательский спрос, когда помещало на своих страницах пересказ анекдотов о Гюго из книги Гюстава Риве «В. Гюго у себя дома»[11]. Впрочем, сам Шарапов рассчитывал и на бóльшее, подробно описывая свой визит к Гюго, а не только на сообщение, по личным наблюдениям, бытовых подробностей жизни знаменитого писателя. Визит его на улицу Клиши состоялся, благодаря посредничеству Поля Мёриса[12], романиста и некогда плодовитого драматурга, который почти оставил литературную деятельность ради «служения» своему учителю В. Гюго и почти стушевался в его тени.

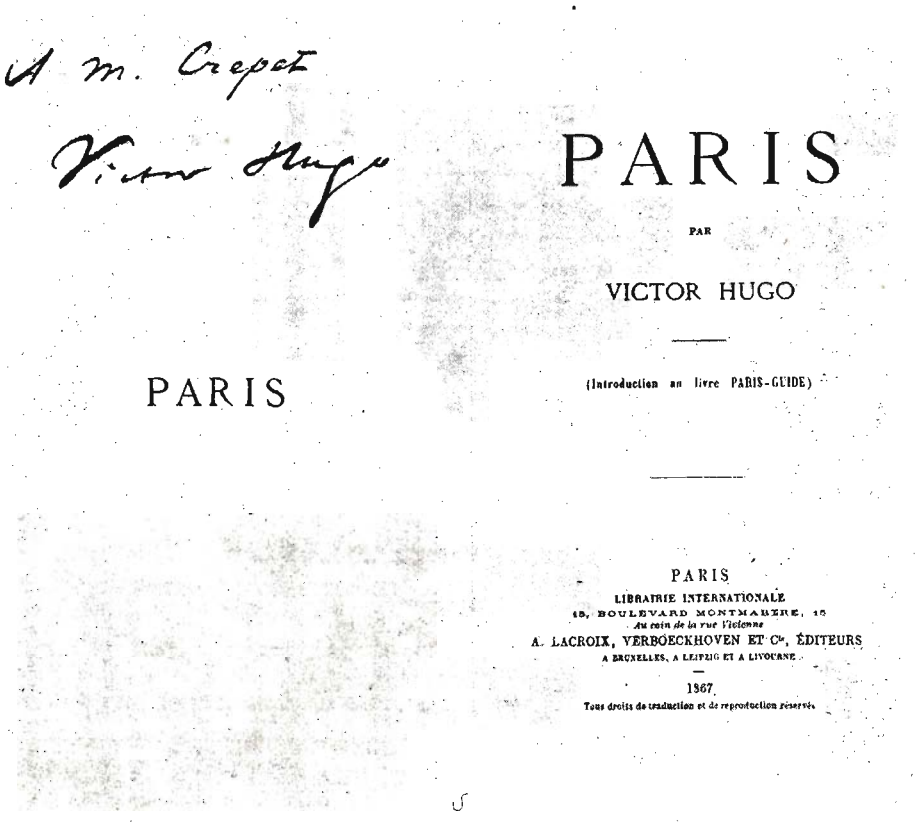
«Поль Мёрис,—сообщает Шарапов,—это один из сотрудников „Rappel"'я, которому Гюго поручил издание своей книги „Histoire d'un crime" (заключение ее, замечу мимоходом, еще только пишется). Я познакомился с ним, чтобы прочитать книгу, если можно, в корректуре, и очень близко с ним сошелся»[13]. Близкое знакомство с П. Мёрисом было, разумеется, лучшей рекомендацией для того, чтобы попасть на вечерний прием к Гюго. И Шарапов, естественно, добился этого без большого труда.

«Скажу без всякого самохвальства,—„скромно" замечает Шарапов,—Гюго несколько интересовался мной, благодаря, вероятно, тому обстоятельству, что мои „двадцать с чем-то" делали меня безусловно юнейшим из всей компании, а мое положение как специального корреспондента большой газеты, да еще корреспондента политического, причисляло меня целиком

к компании „старших“». Разговаривая с Гюго в гостиной, Шарапов «молчал, вслушиваясь внимательно в слова поэта». Их разговор коснулся политически-злободневного тогда «восточного вопроса» и русско-турецкой войны 1878 г. Шарапов записал эту беседу так:

«— Скажите мне,—говорил поэт,—неужели у вас там,—я беру, конечно, интеллигенцию,—неужели не боятся того „décadence“, который неизбежно следует после войны?

— Эта война была начата при совершенно исключительных обстоятельствах, maître,—отвечал я.—У нас была национальная идея, кото-




ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ГЮГО ПИСАТЕЛЮ КРЕПЕ НА БРОШЮРЕ „ПАРИЖ“
„Париж“—отдельный выпуск предисловия Гюго к путеводителю „Paris—guide“, изданному по случаю международной выставки 1867 г.

Собрание В. А. Десницкого, Ленинград

рая только-что начинает переходить в жизнь; на пути приложения этой идеи вряд ли нация может остановиться, даже и опьяненная рядом успехов.

— Да ведь идея, если она даже и была (заметьте, читатель, разницу со словами Луи Блана), несется только единицами. Масса застывает мимовольно. Вот Франция: масса с ее инстинктами служила до самой последней эпохи даже здесь почвой для реакции. Теперь идеи уже насквозь начинают проникать в эту массу... теперь ее не остановить... Но у вас, насколько я знаю, идеи составляют достояние очень и очень немногих, почти совершенно изолированных от общества людей...

— Но ведь если раз уже существует идея,—начал я,—она сама собой будет расти, бороться, пока, как вы, maître, говорите, не проникнет насквозь в массу и не восторжествует...

— До этого еще остается слишком много работы, слишком много. Я говорю о славянской идее, которая всплыла на вид и в последнее время поднята, пожалуй, вами. Да... Идея, глубоко верная в своей сущности, только она слишком проста и ничуть не нова... Вы увидите, что в будущем вся восточная Европа будет представлять одну громадную конфедерацию с ярко либеральным устройством. Все нации переживают одинаковые стадии, ибо это закон истории. Запад Европы жил раньше востока. На этом западе раньше всех жила Франция; она перешла эпоху блеска монархии в его кульминационном пункте. Она пережила чудовищную революцию, насквозь сломавшую все старые основы. Затем освободившийся от прежних оков народный дух вылился в цезаризме. Франция прошла триумфальным шествием по всему миру, но это была временная форма; народный дух искал новую, более состоятельную; предстояла вновь борьба. А между тем, труженики мысли, светочи человечества уже работали, и идеи для этих будущих форм народной жизни созрели и окрепли; им предстояло лишь бороться и проникать в жизнь. Если первый цезаризм был даже велик, второй вышел уже анахронизмом, смешным, но, вместе с тем, жестоким, вредным... Франция прошла и эту эпоху; новая форма была уже готова—идея существовала, она даже победила. Нация выбрала эту лучшую форму и влилась в нее; но она не остановилась, потому что еще далеко не все сделано, еще впереди громадная дорога. Республика сделала только одно с той минуты, как она стала твердой: она очистила поле. Пусть идеи прокладывают себе дорогу и тихо, убеждением, пропагандой, перестраивают старый мир... Так и славяне,—они пройдут те же стадии и придут к тому же, тою же самой дорогой; все условия будут те же, потому что все человечество идет одной дорогой.

— Я замечу, maître, что для славян вопрос усложняется. Франция была единой национальностью, или, по крайней мере, скоро и беспощадно поглотила свои побочные ветви. У славян много национальностей, и каждая перешла тот предел, до которого возможно поглощение, каждая хочет жить отдельной жизнью, хотя и чувствует свою общую связь. Затем географическое положение, чересполосица с чуждыми в настоящую минуту, враждебными национальностями,—совершенно другой характер расы. Я хочу только сказать, что дорога к этой поставленной вообще для всего человечества цели будет совершенно иная.

— Другой характер изменяет, естественно, путь, но это не существенно... Вы находитесь в периоде какого-то брожения, и что из него выйдет—нельзя сказать, ваш народ еще не понят и не изучен... Впрочем, ваша идея все же, как крайняя историческая цель современного порядка, строго верна... и вы к этому придете...

Я заметил на это, что вижу в национальностях силу, направляющую общечеловеческое движение на Востоке на совершенно иные пути; я отчасти горжусь тем, что, может быть, и на нашу долю выпадет не только, как немцам, пользоваться готовыми идеями, но при недостатке „предвиденных случаев“ работать и самим. Я до такой степени люблю эту Россию будущего, создающую свои идеи, при недостатке готовых, и создающую самостоятельно на новой, совершенно иной почве, что я готов даже увле-

каться, готов даже думать, что этот новый кодекс будет ничуть не ниже кодекса, выработанного западной цивилизацией...».

Шарапов записал свою беседу с Гюго под свежим впечатлением. Его корреспонденция датирована 9/21 февраля, а посещение Гюго, как он указывает, состоялось накануне—8/20 февраля вечером. Это обстоятельство заставляет со вниманием отнестись к его записям. Конечно, официозно-патриотическая позиция Шарапова в отношении «восточного вопроса» и русско-турецкой войны 1878 г., а также легко уловимый развязно-саморекламный тон всего рассказа, над чем так зло посмеялся Щедрин, заставляют с осторожностью относиться к ряду слов, которые корреспондент «Нового Времени» приписал Гюго. И тем не менее, записям Шарапова нельзя в целом отказать в известной доле непосредственности, правдоподобия и документального интереса.

Отмеченные выше встречи Гюго с русскими, жившими в Париже в 70-х годах, в большинстве случаев были случайными, из числа тех, которые быстро исчезают из памяти и не оставляют в ней серьезных следов. В интернациональной толпе своих поклонников, нередко утомляемый их вниманием и любопытством, писатель забывал их имена и лица, просьбы, с которыми они к нему обращались, слова, которые они ему говорили. Иных из этих случайных посетителей салона на Rue de Clichy, добившихся доступа в «святилище», могли обмануть словоохотливость Гюго и его предупредительная любезность хозяина, которые они принимали за доказательство особого внимания к себе. На самом деле, однако, бывало иначе: природная общительность и, действительно, свойственное Гюго тщеславие помогали ему прикрывать предупредительной вежливостью и внешне подчеркнутым вниманием его личную незаинтересованность в беседах со всеми этими случайными посетителями. Совсем по-иному относился он к тем лицам, которые действительно нуждались в его помощи, которые были ближе к нему по своим идейным устремлениям. Такими были, например, представители русской революционной эмиграции, которых он нередко брал под свою защиту, за которых возвышал свой голос и своим авторитетом среди которых—авторитетом политического борца и международного трибуна—он гордился. Через Анри Рошфора, Альфреда Наке и других деятелей оппозиции и либеральных депутатов с Гюго, в той или иной мере, связаны были и Кропоткин, и Лавров, и многие другие деятели русского освободительного движения. Мы приведем ниже несколько случаев активного вмешательства Гюго в русскую политическую жизнь 70—80-х годов, его выступления в печати в защиту русских революционеров; все эти воззвания, призывы и обращения в значительной степени вызваны были той близостью к Гюго живших в Париже русских эмигрантов, которые, нередко сохраняя к нему двойственное отношение, все же считали возможным прибегать к его помощи.

Любопытно, однако, что с представителями русской литературы в собственном смысле слова Гюго общался всего менее. Со смертью Герцена (1870), с которым Гюго дружил все же, по преимуществу, как с одним из вождей русской эмиграции и демократии, порвались непосредственные связи, которые могли соединять Гюго с русским литературным миром. Из русских писателей Гюго лично знал немногих и, видимо, не очень начитан был в русской литературе, которая как раз в эти годы начала привлекать к себе все обострявшееся внимание Франции и Европы. Гюго никогда не встречался ни с Достоевским, ни с Львом Толстым—писателями,

которые, по собственным признаниям, испытали на себе сильное идейное и художественное влияние автора «Les Misérables». Правда, он лично был знаком с И. С. Тургеневым, да в 1878 г. на литературном конгрессе видел нескольких представителей русской литературы, случайно оказавшихся в Париже. Но взаимоотношения его с Тургеневым были сильно похожи на антипатию, а литературный конгресс, естественно, не мог ввести Гюго в курс русских литературных дел.

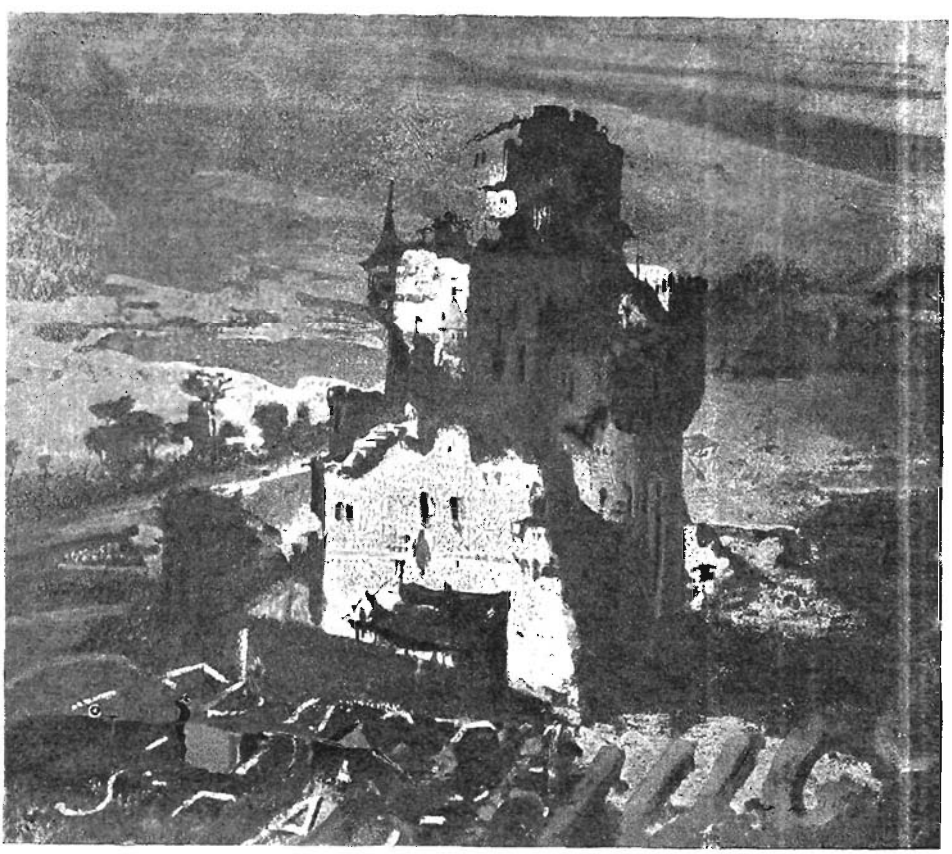
Знакомство Гюго с Тургеневым было неизбежно с тех пор, как последний,—уже прославленный всей европейской печатью писатель,—окончательно поселился во Франции, проводя зиму в Париже, лето—в Буживале и только изредка отлучаясь в Россию. История их личных встреч нуждается в предварительных пояснениях.

Творчество Гюго Тургенев, несомненно, хорошо знал с юношеских лет, но никогда не чувствовал к нему никакого пристрастия. Германофильская закваска юношеского романтизма Тургенева была естественной преградой к тому восторженному отношению к Гюго, какое питала к нему русская молодежь 30-х годов. Отношение Тургенева к лирике и драматургии Гюго не изменилось и во второй половине 40-х годов, во время его первых приездов в Париж. Быть может, уже в это время Тургенев имел случай лично видеть Гюго—в театре и, во всяком случае, слышал о нем рассказы от людей с ним знакомых. В фельетонах первых книг «Современника» за 1847 г. («Современные заметки»),—если они действительно принадлежат Тургеневу,—в числе прочих парижских новостей рассказано, например, о первом представлении в Одеоне (в декабре 1846 г.) новой драмы Понсара «Agnès de Méranie» и упомянуто, что в числе «литературных, ученых и государственных знаменитостей» в театре находился и «Виктор Гюго с семейством»; в другой фельетон занесен слух об академических выборах, о выдвигаемой в академики кандидатуре Бальзака, против которой «решительно вооружились все, исключая Ламартина и Виктора Гюго»; в третьем фельетоне автор решительно ополчается против «нелепой» парижской моды, устраивать чтения в салонах; между тем, ими увлекаются повсюду—«у г-жи Рекамье, у Виктора Гюго, у Лакретеля, у Августина Тьерри...»[14] Впрочем, эти новости были у всех на устах и ни в какой мере не определяют личного отношения Тургенева к Гюго. Неоднократно и подолгу живя в Париже, Тургенев до конца 50-х годов не сближался с французскими литераторами и, повидимому, ни с одним из них знаком не был[15]; отзывы его о французской литературе были резки и раздражительны; напомним известное письмо Тургенева к С. Т. Аксакову из Парижа от конца 1857 г., где он, характеризуя французскую литературу этого времени, в которой «капли нет поэзии», упоминает и о литературных светилах старшего поколения: «Сквозь этот мелкий гвалт и шум пробиваются, как голоса устарелых певцов, дребезжащие звуки Гюго, хилое хныканье Ламартина, болтовня зарапортовавшейся Жорж Занд...»[16] Очередные поэтические сборники, выпускавшиеся Гюго в изгнании, обычно вызывали у Тургенева лишь негодование; правда, позднее Тургенев признавал «необычайную» лирическую силу Гюго, ссылаясь при этом на «Châtiments»[17], но чаще отзывы его были просто беспощадны: «Читали вы „Chansons des rues et des bois“ par V. Hugo?—спрашивал Тургенев П. В. Анненкова в письме от 10 декабря 1865 г.—Господи боже мой, до чего может дойти безобразие и мерзость упадка? Может ли какое бы то ни было рвотное сравниться с этим? Век, в котором такие гады выползают на свет—уже не имеет ни-

чего общего с художеством. Я давно не испытывал такого негодования»[18]. Вскоре Тургенев жаловался И. П. Борисову, что он «страдает» от чтения «Отечественных Записок»: «Там есть перевод безобразных „Тружеников моря“ г-на Гюго... о! о! о!»[19] Надо думать, что, беседуя однажды с А. Ф. Писемским о Гюго, Тургенев давал последнему не более высокую оценку. Писемский, между прочим, в юности сам бывший большим поклонником Гюго, вспомнил эту беседу во время работы над своим романом «Люди сороковых годов» и просил Тургенева (письмо от 17 июля 1868 г.): «Напишите мне и то место из Виктора Гюго, которое вы мне приводили о летящей Славе, именно то место, где поэт говорит, что Слава летит, выставивши титьки вперед»[20]. Тургенев отвечал на это: «Стихи В. Гюго, на которые вы намекаете, находятся в его „Châtiments“, а именно:

...L'Empereur surhumain
Devant qui, gorge au vent, pieds nus, les Renommées
Volaient, clairons en main[21].

Но „Châtiments“ появились в 1862 г. [sic!], и, стало быть, цитировать эти стихи в 30-х годах было бы анахронизмом. В то время особый шум производили „Les Orientales“. Вы что-нибудь оттуда возьмите...»[22]



ПЕЙЗАЖ СО СТАРИННЫМ ЗАМКОМ
Рисунок В. Гюго
*Литературный музей, Москва*

В таком почти полном отрицании Гюго со стороны Тургенева были свой смысл и своя программа, которую нельзя объяснить одним лишь различием их художественных воззрений, тем, например, «хладнокровием и объективизмом», которые «никогда не покидали Тургенева и не допускали его до потери сознания реализма вещей» и в которых, по мнению одного из французских критиков, кроется причина того факта, что «он не ставил особенно высоко человека, признанного величайшим гением французской поэзии нашего века»[23]. Это различие в эстетических взглядах восходит к основам мировоззрения и общественно-политических убеждений. Тургенев недаром остался вполне равнодушным к таким крупным созданиям Гюго, какими были «Les Misérables» в области романа и «Légendes des Siècles» в области поэзии. Иные из русских «западников» 60-х годов не напрасно упрекали Тургенева за пристрастную недооценку этих произведений, как и всей, впрочем, французской литературы этой эпохи, так отчетливо сказавшуюся в декларативных заявлениях предисловия Тургенева к русскому переводу романа Максима Дю-Кана «Утраченные силы» (1868). «Вкус француза тонок и верен, особенно в отрицании,—писал здесь Тургенев,—но жизненную правду и простоту он ощущает как-то вскользь и неясно, в красоте он прежде всего ищет красивости и, при всей своей физической и моральной отваге, он робок и нерешителен в деле поэтического создания... или уже, как В. Гюго в последних его произведениях, сознательно и упорно становится головою вниз... Уж кутить, так кутить! „Шакеспеар", мол, так и поступает...»[24] Почти то же И. С. Тургенев говорил и десять лет спустя А. Луканиной по поводу виденной им инсценировки «Les Misérables»: «Какая это ложь!—восклицал он.—Везде ложь, от начала до конца все фальшиво, все высказываемые чувства от первого до последнего... Хоть бы эта сцена, где священник отдает Жан Вальжану подсвечники. А это, например: Жан Вальжан приходит, чтобы убить его, и не убивает потому, что на лице его видит слияние двух светов: света луны и внутреннего духовного света! Нет, в нашей литературе вы этого не найдете. Наш вымысел беден, мы часто скучны, но мы не настолько отдаляемся от жизненной правды, как французы»[25]. В другой раз, в беседе с той же А. Луканиной, Тургенев «бранил Запад, сравнивал Л. Толстого с Виктором Гюго, говорил, что Толстой гениален, а Гюго—только напыщенный ритор»[26].

При анализе этих отрицательных точек зрения Тургенева на творчество Гюго нельзя не учесть и возможных влияний на русского писателя той литературной среды, которая окружала его в эпоху его парижской жизни. Ни знакомство с Мериме, принципиальное «гюгофобство» которого хорошо известно со слов того же Тургенева (см., например, его речь на пушкинском празднике в Москве в 1880 г.), ни его многолетняя дружба с Флобером не должны были ни в чем изменить издавна сложившееся отношение Тургенева к «ритору» Гюго. Флобер, правда, оставался почитателем Гюго до конца своей жизни и, по свидетельству П. Д. Боборыкина, «любил громовым голосом нараспев цитировать его стихи»[27], но Тургенев стоял на своем и даже в дружеских письмах к автору «Мадам Бовари» позволял себе некоторые бутады против «кумира» своего друга[28]. Сближение Тургенева с группой связанных с Флобером младших реалистов, напротив того, означало, что и в отношении к Гюго и во многих других вопросах Тургенев приобретал себе союзников и единомышленников. В последние годы Империи популяр-

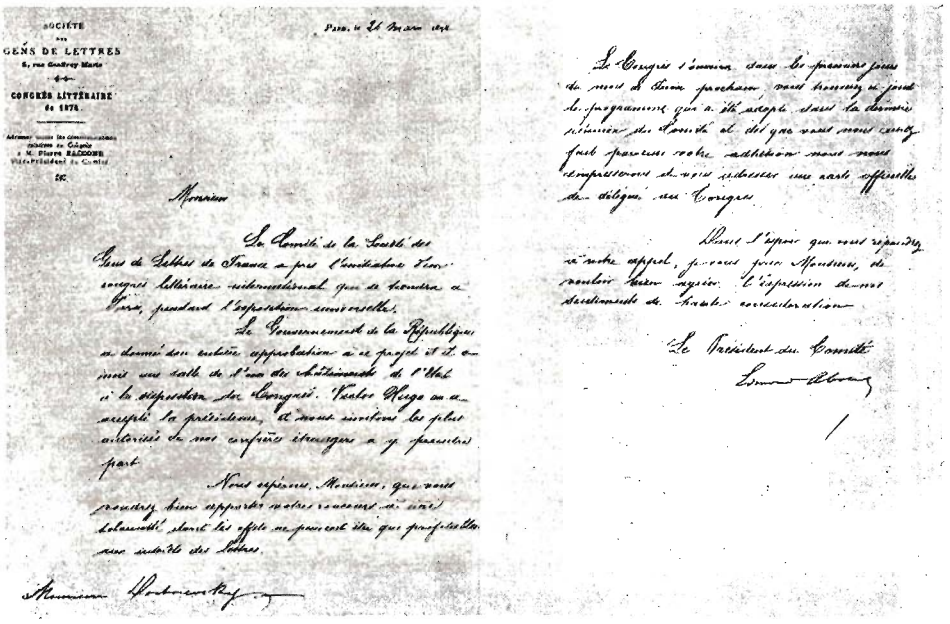
ность Гюго во Франции была, по преимуществу, основана на политической злободневности его антиправительственных стихов. Парижская публика, вспоминает Боборыкин, «пришла в приятное возбуждение, когда драма В. Гюго „Эрнани“ была заново разрешена цензурой и поставлена на театре Французской комедии. Не столько восхищались драмой, сколько радовались тому факту, что запрет был снят с пьесы Виктора Гюго, который продолжал все так же беспощадно клеймить „маленького Наполеона“ и в стихах и в прозе...». «В Латинском квартале любили декламировать стихи из „Châtiments“ Виктора Гюго и читать его памфлет „Napoléon le Petit“, но и тогда уже в некоторых кружках довольно критически относились к его риторической прозе и постоянно подвинченному гиперболическому тону»[29]. В «кружке пяти» 70-х годов, куда вместе с Тургеневым входили Флобер, А. Додэ, Э. де Гонкур и Золя, подобные критические настроения звучали увереннее и громче. Литературная молодежь, по свидетельству Боборыкина, выступала уже «врагами всякого фразистого и слащавого романтизма, находила, что беллетристика страдает фальшью, не считала своими авторитетами ни Ж. Занд, ни В. Гюго...»[30] Тургенев вполне разделял эти взгляды; в спорах о Гюго он неизменно был на стороне молодых; его, как и Э. Гонкура, возмущала «канонизация» Гюго, ставшего во французской критике и французском общественном мнении 70-х годов предметом жертвенного культа и поклонения; подобно Э. Золя, Тургенев был сильно настроен против тех, кто из имени Гюго делал своеобразное «табу», не допускавшее в печати ни справедливой критики, ни, во многих случаях, законного порицания.

С этой стороны очень характерно отношение Тургенева к тем нападкам на Гюго Эмиля Золя, какие последний позволил себе на страницах русского журнала. В марте 1877 г. Золя писал М. М. Стасюлевичу, что он к концу месяца вышлет для «Вестника Европы» «корреспонденцию обычного размера», в которой «займется Виктором Гюго» по поводу только что появившейся второй серии «Легенды веков»[31]. В назначенное время статья Золя была прислана в Петербург и, хотя и была напечатана в апрельской книжке «Вестника Европы»[32], но сильно обеспокоила Стасюлевича своим резким тоном и своей непочтительностью к маститому французскому поэту. Золя писал здесь, что вторая серия «Легенды веков»—это попрежнему присущее Гюго «декоративное искусство и напыщенность», но,—прибавлял он,—«достаточно одного дуновения правды, чтобы смести с лица земли всю эту театральность, mise en scène»; «потомство отвернется от средневекового bric-à-brac, не имеющего даже за собой исторической правды. Оно будет изумляться, что мы относились без смеха к этому колоссальному скоплению ошибок и пустяков». Золя находил, что Гюго «столько принял славы при жизни, что может умереть завтра позабытым не жалуясь»; он не верил и в «потомство Гюго»: «Он унесет романтизм с собой, как пурпурный лоскут, из которого скроил себе королевскую мантию... Романтизм отжил; остается один великий поэт, но он не в силах преградить путь натуралистическому движению в литературе...» Сдержанного в своих суждениях и неизменно корректного в своих оценках людей Стасюлевича смутила не столько декларативность этих заявлений, сколько горячность самих нападений Золя. Он тотчас же запросил мнение Тургенева. Ответ Тургенева не замедлил и был самым успокаивающим. «Знайте,—писал он,—что все литераторы здесь—все без исключения, разделяют мнение Золя насчет последних двух томов «Легенд», но, разумеется, сказать этого

не смеют, pour ne pas attenter à une gloire nationale—и, лежа ничком, поют (печатно) хвалебные гимны, но на словах не стесняются. Не такой же он идол у нас,—да и нет причин так трепетно благоговеть»[33]. Тургенев не мог высказаться яснее; он был, несомненно, одним из первых, кто рукоплескал Золя за его «отважную» попытку и, несомненно, разделял большинство высказанных в «Парижском письме» суждений, в особенности в их отрицательной части. Так, или приблизительно так, относились к Гюго и упоминаемые Тургеневым «все литераторы», под которыми, очевидно, нужно разуметь прежних участников «артистических» обедов, его тесный парижский дружеский кружок. Любопытно, что близкий к Тургеневу в эти годы П. Л. Лавров в своей статье, присланной из Парижа в Россию и помещенной без подписи в «Отечественных Записках» за тот же 1877 г., дал, в общем, также отрицательную оценку «Легендам веков»; по его мнению, в двух только что появившихся томах заслуживают внимания всего лишь «стихотворений пять»; в остальных его неприятно поражают «невообразимые метафоры и сближения», случаи, когда «недурные начала стихотворений» «кончаются самою деревянною моралью»; «затем начинаются длиннейшие стихотворения с тысячу раз повторенной мыслью, которые признать художественными произведениями никоим образом нельзя...»[34] Тургенев должен был сочувственно отметить и этот отзыв, но тем сильнее возмущал его «заговор молчания» парижской прессы. В «Рассказах о Тургеневе» К. П. Ободовского есть эпизод, который подтверждает, что Тургенев долго не мог забыть упомянутой выше статьи Золя и постоянно осуждал отношение к Гюго французской печати. «Особенно излюбленные писатели,—говорил Тургенев,—объявлялись „табу", причем всякое покушение не только развенчать их, но даже отнестись с некоторой критикой к их писаниям считалось преступлением. К таким „табу" принадлежал Виктор Гюго. Популярность его во Франции была так велика, что малейшее критическое отношение к нему грозило полным отлучением провинившегося от святилища литературы». В качестве примера того, как велика была эта популярность и как велик был в то же время страх впасть в такое преступление, Тургенев рассказал о том, «как одна дама хотела перевести на французский язык письма Золя, посылаемые им в „Вестник Европы". В этих письмах Золя позволял себе иногда относиться критически к Гюго. Когда известие о том, что его письма будут переведены на французский язык, дошло до Золя, последний, по словам Тургенева, пришел в ужас, так как если бы во Франции узнали, что он позволил себе сказать о Гюго что-либо, не подходящее к общему восторженному тону, то его перестали бы читать, а это, конечно, не замедлило бы отразиться самым печальным образом на его бюджете, бывшем в то время далеко не в том блестящем состоянии, как ныне. Чтобы избавиться от грозившей ему беды, писатель уплатил переводчику значительную сумму с тем, чтобы перевод его писем не появлялся в печати»[35]. Этот рассказ имеет все признаки анекдота, но его рассказчиком был Тургенев, и это делает его интересным потому, что мы находим в нем выражение тех самых взглядов на Виктора Гюго, о которых говорят нам и другие свидетельства.

После всего сказанного нетрудно предположить, что и личные встречи обоих писателей были редки и случайны. В один из своих последних приездов в Петербург сам Тургенев вспоминал, что у Гюго он был «раз или два»[36]. Зять Гюго Локруа, почти не расставшийся со своим тестем, вспоминает, что только однажды он видел Тургенева в гостиной Гюго на

улице Клиши; по его словам, это было в 1874 г. «Большой диван разделял комнату на две неравные части и образовал около камина нечто вроде „buen retiro", в котором хозяин Гюго проводил почти все свое время. Он сидел в углу, около экрана, в своей привычной позе, со склоненной слегка головой и скрещенными руками. Если бы не блеск, вспыхивавший по временам в его глазах, то его можно было бы принять за человека, погруженного в сладкую дремоту. В нескольких шагах от него разговаривали три человека: Иван Тургенев, Гюстав Флобер и Теодор де Банвиль. Перед этой группой четырех фигур, освещенных неровным светом камина, я невольно пожалел, что тут не было какого-нибудь знаменитого портретиста, какого-нибудь Франца Гальса или Рембрандта. Тургенев—север-



ПРИГЛАШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНГРЕСС В ПАРИЖЕ, ПРИСЛАННОЕ ОТ ИМЕНИ ГЮГО Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ 26 МАРТА 1878 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

ный гигант, прямой, неподвижный, со своими волосами, как бы покрытыми снегом, был целой головой выше Флобера, тоже высокого, с лысой головой и висящими усами. Крепко сложенный, с широкой грудью, автор «Эммы Бовари» казался созданным для того, чтобы выносить на своих плечах тяжесть постройки „Саламбо"; между ними, переходя от одного к другому, живой, свежий, суетился розовый, гладко выбритый Теодор де Банвиль, этот фокусник божественных рифм, вечно розовый клоун Олимпа»[37]. Это воспоминание не дает ничего, кроме зрительного впечатления: Локруа забывает предупредить своих читателей, каковы были отношения Тургенева и Гюго, и ничего не говорит о самой беседе, увлекаясь живописностью нарисованной им картины. Из дневника бр. Гонкуров мы знаем о другом визите Тургенева к Гюго и можем точно фиксировать его дату: 5 марта (22 февраля) 1876 г.[38] На этот раз в гостиной на улице Клиши находились Флобер, Тургенев, Гонкуры, Gouzien и некий неизвестный молодой человек.

Страница дневника Гонкуров не менее живописна, чем приведенное выше воспоминание Локруа, но она более содержательна. Сначала беседа идет на политические темы: «Гюго говорит о соблазне красноречия Тьера, состоящего, по его словам, из вещей, которые многие знают лучше его, и большого количества ошибок в языке, причем все это преподнесено самым противным голосом; и, тем не менее, через каких-нибудь полчаса все это вас захватывает, интересует, влияет на вас...». Затем в столовой, за ужином, Гюго беседует о Микель Анджело, Рембрандте, Иордансе, Рубенсе. «Мы оставались одни весь вечер, не нарушенный приходом какого-нибудь политического деятеля, и болтали об искусстве и литературе. В одиннадцать часов все поднялись и ушли...»[39]

Через два года Гюго и Тургеневу пришлось встретиться не в интимной обстановке уютного салона, а на торжественном заседании первого международного литературного конгресса. Это было вскоре после открытия парижской выставки 1878 г.

Конгресс этот созван был по инициативе Общества писателей («Société des gens de lettres»), которое справедливо рассудило, что выставка привлечет в Париж много иностранцев и что этим обстоятельством можно будет воспользоваться для устройства литературного конгресса. «Еще в мае,—вспоминает один из русских участников конгресса,—на выставку съехалось множество писателей, знаменитых и незнаменитых, всех оттенков и направлений, всех стран и всех народов. Рядом с Виктором Гюго, прогуливавшимся по Елисейским полям и Булонскому лесу в открытой коляске с одной молодой русской дамой, в том же Булонском лесу можно было встретить поэта-лауреата Теннисона, Гамерлинга, Кардуччи, Тургенева. Предполагалось, что все эти корифеи европейских литератур непременно примут участие в конгрессе и придадут ему необыкновенный блеск»[40]. Надежды эти оправдались плохо; к серьезным практическим результатам и международным соглашениям, выработка и заключение которых были поставлены в числе важнейших задач конгресса, он не привел; тем не менее, общественное внимание привлечено было к конгрессу большое, и о его заседаниях широко оповестили газеты всей Европы.

На конгрессе этом присутствовала и русская делегация. В состав ее входили И. С. Тургенев, на первом же заседании «par acclamation» и благодаря любезности Э. Абу выбранный вице-президентом конгресса (президентом был Виктор Гюго), далее М. П. Драгоманов, М. М. Ковалевский, Л. А. Полонский, В. В. Чуйко и Б. Чивилев. Торжественное заседание состоялось в театре Châtelet. Публики собралось здесь множество, и произошло «некоторое столпотворение вавилонское». «В два часа,—вспоминает В. В. Чуйко,—совершили свой вход президент Виктор Гюго и члены бюро. В. Гюго поместился впереди посередине, а в глубине сцены—члены бюро. Тут, между прочим, я заметил Жюля Симона, Анри Мартена, иностранных делегатов. Из наших—Тургенева и Боборыкина». Первую речь произнес Абу. «Затем... встал В. Гюго. Он взял в руку огромный манускрипт (бумагу такого огромного формата мне никогда еще не случалось видеть—нечто вроде египетского папируса), весь исписанный нервным, очень крупным почерком, столь хорошо известным Европе, и стал читать. Оказалось, что В. Гюго никогда не произносил своих речей, а читал их. Виктор Гюго был маленького роста, сутуловатый, и на нем был надет подержанный фрак. Волосы и борода совершенно седые и коротко обстриженные; глаза маленькие, но еще блестящие и бойкие, тем не менее, годы (в 1878 г. Гюго

было семьдесят шесть лет) оставили на великом поэте значительные следы; в движениях, в жестах—во всем был виден старик, хотя бодрый старик. Говорил он громко, отчетливо, отрывисто, почти не употребляя никаких ораторских приемов, к которым французы постоянно прибегают; читал он свою речь почти постоянно поднимая глаза кверху»[41]. А вот и другое русское воспоминание—П. Д. Боборыкина, который именно на этом конгрессе имел случай впервые присмотреться к Гюго. «Ему было уже под восемьдесят лет; но говорил он еще зычным, несколько картавым голосом, с интонациями старых актеров. Лицо с седыми, как лунь, волосами уже носило явственные следы старчества; но держался он еще довольно бодро и речь свою читал все время стоя»[42]. Резюмировать речь Гюго, отмечает Чуйко, почти невозможно, но все же он подробно записал и ее и свои впечатления.

«Перед вами поминутно сменяется одна величавая картина другой; мистические определения, глубокие сопоставления, великое чувство свободы, братства, любви, с некоторой условной формой напыщенности—вот красноречие Виктора Гюго. И заметьте странность: всегда, когда говорил Гюго, являлась какая-то религиозная обстановка. Этот маленький седой человечек сразу образовывал вокруг себя центр. Благодаря своему общему виду, своему глубокому звучному голосу, блестящим метафорам, необыкновенному богатству и блеску своих поэтических эффектов, он являлся как бы пророком... К нему так и относились: почтение и уважение, которыми он был окружен, едва ли можно себе представить. Все знаменитости Франции и Европы (вернее, всего мира) ходили, так сказать, на задних лапках перед ним: каждый хотел пожать ему руку, сказать два слова, услышать от него приветствие. Он привык к этому и со своей старческой флегмой произносил банальные фразы, почти неизбежные в подобных случаях.

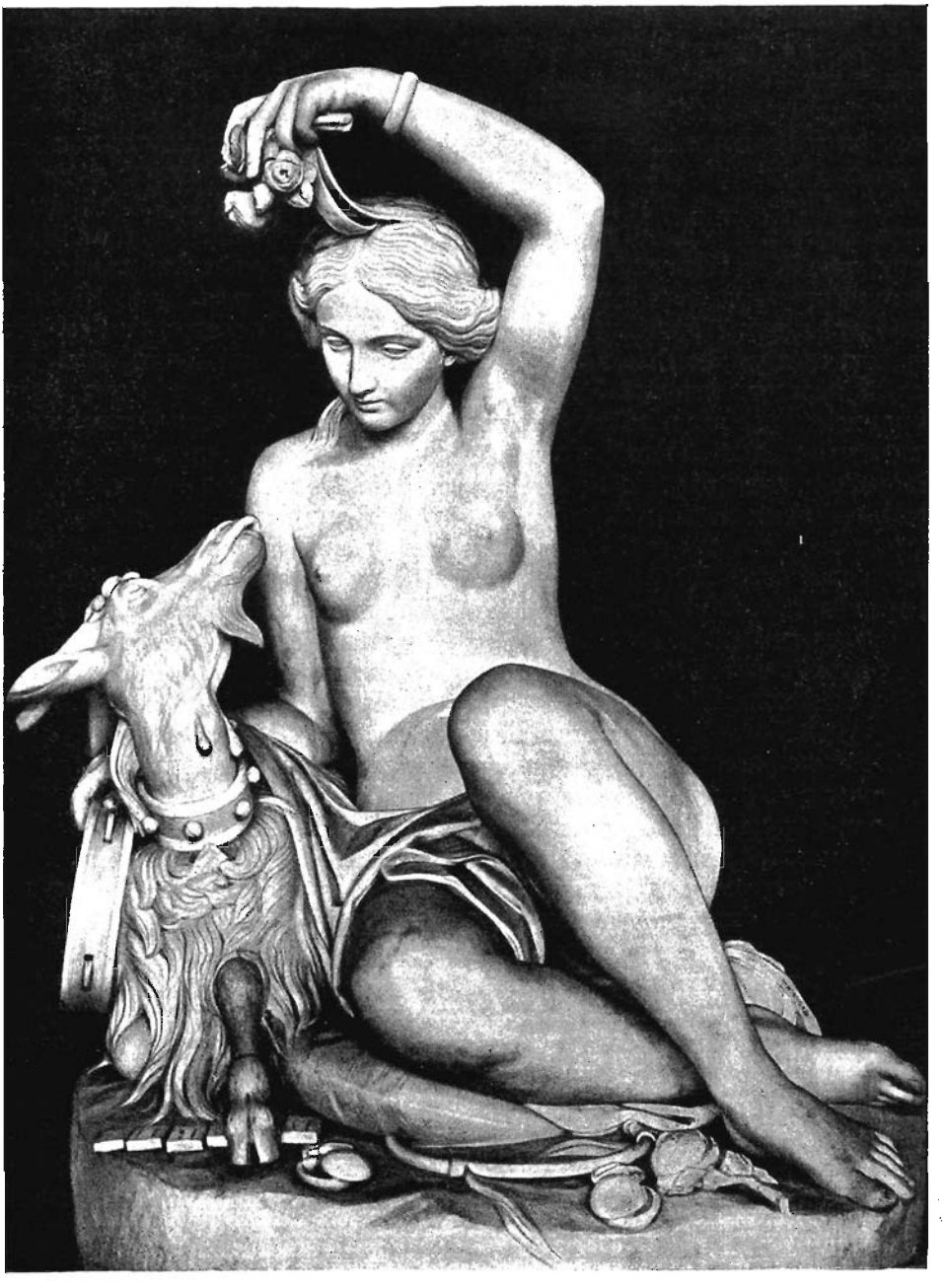
Но возвратимся к его речи. Уже самое начало ее было мистично и напоминало прием поэтического пророка. „Величие знаменательного года, в котором мы находимся, заключается в том, что, несмотря на крики и шум, imposant une interruption majestueuse aux hostilités étonnées, он дает слово цивилизации". Я принужден был оставить текст вводной фразы без перевода, до такой степени она туманна и не поддается передаче на другом языке: ее нельзя перевести. „Об этом годе можно сказать: c'est une année obéie (опять непереводимая фраза). То, что этот год хотел сделать, он сделал. Он заменил прежний порядок вещей—войну новым—прогрессом. Он сломил препятствия. Угрозы еще слышны, но братство народов уже улыбается. Дело 1878 г. будет неистребимо. В нем нет ничего временного, преходящего. Этот славный год, благодаря парижской выставке, провозглашает союз промышленности; благодаря годовщине Вольтера—союз философии; благодаря литературному конгрессу—союз литератур; широкая федерация труда во всех формах; величественное здание человеческого братства, имеющее в основании крестьян и работников, на вершине—ум". Далее Виктор Гюго назвал литературный конгресс конвентом литератур. „Двухмиллионная армия,—прибавил он,—исчезает,—но «Илиада» остается". Затем он коснулся принципа литературной собственности и указал на практическое решение этого вопроса,—решение, которое он проповедывал с 1836 г. И, наконец, возвзал к примирению всех народов. Весь этот мистический идеализм, облеченный в удивительную по своему совершенству форму слова, привел в неистовый восторг французскую и международную публику».

Затем говорил И. С. Тургенев. Речь его была краткой и посвящена

была, главным образом, выяснению влияния французской литературы на русскую. Он взял наудачу три эпохи русского литературного развития и подчеркнул, какое значение для каждой из них имел „французский гений". Великое имя Мольера встречается на заре зарождающейся русской цивилизации; столетие спустя за Мольером последовал в России Вольтер, за Вольтером—еще через столетие—Виктор Гюго; „à Voltaire a succédé Victor Hugo..." „Двести лет назад, не понимая вас, мы стремились к вам; сто лет позднее мы были вашими учениками; теперь вы нас принимаете, как своих товарищей". Свою речь Тургенев закончил приветствием по адресу Парижа и Франции—„этих провозвестников великих идей и великодушных стремлений"»[43].

По свидетельству того же Чуйко, речь Тургенева «имела несомненный успех, можно даже сказать, самый блестящий успех после речи Гюго, который встал и пожал Тургеневу руку». Великий старец был, несомненно, польщен, едва ли сознавая при этом, что Тургенев должен был произнести его имя скрепя сердце; в благотворности влияния Гюго на русскую литературу он, как мы видели, едва ли был убежден. Публике понравился комплимент Тургенева президенту конгресса, хотя комплимент этот, на самом деле, был не более чем вынужденным выражением вежливости. Русским же делегатам конгресса, как впоследствии и многим органам русской печати, не понравился этот слишком комплиментарный, расшаркивающийся тон и чрезмерное склонение головы перед западной литературой и цивилизацией. Споры об этом пошли тут же, в присутствии Тургенева. М. П. Драгоманов рассказывает, что «тотчас после заседания в буфете театра Châtelet, куда повели меня русские знакомые для представления Тургеневу, некоторые из русских литераторов заметили ему, что он уж слишком много авансов дал французам.—Да ведь они другого языка не понимают,—оправдывался Тургенев,—и никаких иностранных литератур не ценят и не знают,—и тут же рассказал анекдот... о том, что В. Гюго в разговоре с ним смешал драмы Шиллера и Гёте»[44]. Это было как бы реваншем за ту слишком неумеренную похвалу, которую Тургенев позволил себе только что высказать в глаза самому Виктору Гюго.

Едва ли случайно, что анекдот, на который лишь намекает Драгоманов, получил, со слов Тургенева, очень широкое распространение. Очевидно, он рассказывал его много раз, в различных аудиториях. Существует ряд его вариантов. В записи Д. Н. Садовникова анекдот имеет следующий вид: «Относительно невеликих познаний его [Гюго] достаточно указать на те излюбленные исторические имена, которые он постоянно приводит в своих стихах. Его любимцы: Цезарь, Данте, Шекспир, Эсхил, несколько других и какой-то Галгакюс постоянно. Один из élèves спросил его раз: „Mon maître, что это за Галгакюс? Вы часто упоминаете о нем!". „Галгакюс—право, не знаю, но это хорошо звучит",—ответил Гюго. Да наконец (продолжал Тургенев), мое первое знакомство с ним довольно оригинально. Надо вам сказать, что он ненавидит Гёте. „Что такое Гёте? Что написал он? Единственная вещь—это «Валленштейн»—и только"; я скромно замечаю: „Mon maître, «Валленштейн»—ведь произведение Шиллера, а не Гёте". „Ну да, да, это безразлично: он мог написать такую вещь"»[45]. Этот же рассказ Тургенева об ошибке Гюго приведен в заметке «И. С. Тургенев на вечерней беседе в Петербурге 4 марта 1880 г.»[46] и в «Воспоминаниях о Тургеневе» И. Я. Павловского[47]. Существует и еще одна его редакция—английская: этот анекдот о Гюго со слов Тургенева рассказывает Оскар



ЭСМЕРАЛЬДА С КОЗОЙ ДЖАЛИ
Работа Ф. Солари, мрамор, 1860 г.
Эрмитаж, Ленинград

Браунинг в его «Жизни Джордж Элиот». В октябре 1878 г., следовательно, через несколько месяцев после литературного конгресса в Париже, Тургенев ездил в Англию и, между прочим, побывал в деревенском доме писательницы Элиот, в Сикс-Майл-Боттом близ Нью-Маркета. Среди гостей присутствовал и будущий биограф Элиот—Оскар Браунинг. «В гостиной,—пишет он,—Тургенев рассказал историю о В. Гюго и его большом невежестве. Однажды Тургенев спросил у Гюго, кто был Галган, которого он зачислил в ораторы одной из поэм. „Не имею представления,—ответил Гюго,—но это прекрасное имя...“ Тургенев заговорил с ним о Гёте. „Да,—сказал Гюго,—я восхищаюсь Гёте, я читал его „Валленштейна“». После замечания Тургенева, что «Валленштейн» принадлежит Шиллеру, а не Гёте, Гюго сказал: «Я никогда не читал строчки этих господ, но знаю их произведения так же хорошо, как будто я их написал сам». Другой раз Гюго сказал Тургеневу: «Что касается меня, то я смотрю на Гёте так же, как смотрел бы Христос на Мессалину»[48]. Нетрудно узнать здесь тот самый анекдот, который Тургенев с таким удовольствием рассказывал через несколько лет и в Петербурге. Galgacus, действительный герой многих произведений Гюго[49], по ошибке памяти Оскара Браунинга назван Galgan'ом; упоминание о Христе, естественно, не могло появиться в русских печатных редакциях анекдота. Тургенев, однако, несомненно, дорожил им, если сам содействовал его международному распространению. Через посредство «Воспоминаний» И. Я. Павловского анекдот стал известен и французским читателям. Павловский же взял его из русского источника—из «Воспоминаний о Тургеневе» Е. М. Гаршина, в которых этот анекдот приукрашен еще одной колоритной подробностью.

По воспоминаниям Е. М. Гаршина, относящимся к 1881 г., Тургенев однажды в Петербурге «целый вечер оживленно, необыкновенно изящно и остроумно рассказывал, между прочим, удивительные анекдоты о В. Гюго, когда речь зашла об этом великом французском поэте. Иван Сергеевич говорил о поразительном тщеславии величайшего поэта Франции и, вместе с тем, приводил примеры его крайнего невежества, особенно по части иностранных литератур». Излагается все тот же анекдот о Гёте. «Вообще Ив. Сергеевич отзывался не очень лестно о степени образованности и начитанности Гюго и даже горячо оспаривал сделанное кем-то из нас замечание, что Гюго хорошо знает Шекспира». О тщеславии же Гюго, продолжает Е. М. Гаршин, Тургенев «рассказывал вещи совсем необычайные, даже для анекдота. Так, например, однажды в салоне у Гюго собравшиеся его посетители один перед другим превозносили его гениальность и, между прочим, подняли вопрос о том, что улица, где он живет, должна быть непременно названа Rue de Hugo. Но при этом кто-то высказал соображение, что эта слишком малолюдная улица не может служить достойным напоминанием великого поэта, что этой чести заслуживает более заметное место в Париже; и тут гости поэта стали перебирать одно за другим самые многолюдные и замечательные места Парижа, поднимая все выше и выше, пока, наконец, один молодой человек не воскликнул с энтузиазмом, что самый город Париж должен считать за честь получить имя великого поэта. Тогда Гюго, и раньше соглашавшийся с мнениями своих поклонников, несколько задумался, затем, обратившись к молодому человеку, сказал глубокомысленно: «Ça viendra, mon cher, ça viendra!»[50] По французскому тексту «Воспоминаний» Павловского этот рассказ Тургенева с удовольствием процитировал известный биограф Гюго и его недоброжелатель Эдмон Бире[51].

В том же году, когда Тургенев в Петербурге рассказывал этот самый злой из его неистощимых анекдотов о Гюго, Париж чествовал своего писателя, устроив демонстрацию перед его домом и забросав цветами всю улицу перед его окнами. Гюго принял, как должное, этот очередной знак общенародного ему поклонения. В числе демонстрантов были дети, общественные деятели, писательские депутации. Звали и Тургенева, но он хмуро отказался, сославшись на свое нездоровье. «Ноге моей лучше,— писал он М. М. Стасюлевичу,—но я все еще не выхожу из дому»; это был превосходный предлог для того, чтобы отказаться от участия в демонстрации: «Впрочем,—прибавлял Тургенев,—я и здоровый бы в ней не участвовал. Хорошо французам нянчиться со своим идолом... а нам-то с какой стати»[52].

Так на протяжении двух десятилетий неприязненно складывались отношения двух великих писателей. Им не суждено было понять и оценить друг друга. Тургенев никогда не смог примириться со «звучной бессодержательностью» автора «Легенды веков»; фантастическая мечтательность и высокие взлеты его гения, с точки зрения Тургенева, страдали отсутствием логики, чувства правдоподобия и были слишком многословны. Гюго, в свою очередь, едва ли питал бóльшую симпатию к прославленному и на его родине русскому романисту. Мы не знаем даже, читал ли он его романы, как не знаем вообще, обширны ли были его познания в русской литературе. Телеграмма Гюго на имя Тургенева с приветствием по случаю открытия памятника Пушкина в Москве была с его стороны в бóльшей степени вызвана склонностью к международному представительству, чем знаком внимания к памяти родоначальника русской литературы. О своем влиянии и авторитете в России он много раз слышал и от своих русских гостей, и от своих русских корреспондентов, но достаточно ли конкретно представлял он себе русских писателей и русские книги, в которых это влияние, действительно, могло сказаться всего сильнее и ярче? Читал ли Гюго Достоевского? В этом можно сомневаться. Но достоверно известно, что Гюго слышал его имя и должен был считать его в числе своих русских почитателей. В первой половине мая 1879 г. Достоевский получил приглашение на второй после парижского литературный конгресс, который должен был состояться в Лондоне. С помощью Л. В. Жаклар (Корвин-Круковской) Достоевский сочинил ответ на это приглашение, адресовав его на имя президента конгресса Виктора Гюго. Французский черновик этого ответа сохранился в бумагах писателя. «Господин президент — писал Достоевский.— Вы оказываете мне большую честь своим приглашением на международный конгресс, устраиваемый по инициативе наших парижских сотоварищей. Воздвигаемая вами цель слишком близка интересам литературы, чтобы я не счел себя обязанным ответить на ваш зов. Помимо этого меня особенно влечет к литературному торжеству, которое должно открыться под председательством Виктора Гюго, этого великого поэта, чей гений оказывал на меня с детства такое мощное влияние»[53].

Этот ответ, который, без сомнения, знал Гюго, должен был удовлетворить его больше, чем натянутое приветствие Тургенева на предшествующем конгрессе. Характерно, что когда в июне 1879 г. лондонский конгресс открыл свои заседания, отсутствовавший на нем Достоевский был единогласно избран членом почетного комитета Международной литературной ассоциации, президентом которой состоял Гюго.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «М. М. Стасюлевич и его современники», СПБ. 1912, III, 356. Ср. Hugo, Œuvres complètes («editio ne varietur»), «Actes et paroles». Depuis l'exil, III, 71—88.

[2] «Новое Время», 1878, № 736 от 17 марта.

[3] «Новое Время», 1878, № 711 от 19 февраля.

[4] Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Об Е. Э. Трубецкой см. «Весть», 1867, № 58; Герцен, Сочинения, XIX, 380; Долгоруков П. В., Петербургские очерки. 1860—1867, М., 1934, 279; Loliée (Frédéric), Frère d'Empereur. Le duc de Morny et la société du Second Empire, P., 1909, 241—242.

[5] Липгарт Эрнест Карлович (1847—1932)—художник-рисовальщик и граверофортист, учился во Флоренции, а затем у Г. Жаке и Ж. Лефёвра в Париже, где неоднократно выставлял свои работы в годичных салонах. В своих неизданных еще «Воспоминаниях» (рукопись их, на французском языке, хранится в архиве Гос. Эрмитажа; текст сообщен редакции «Литературного Наследства» О. И. Бич) Э. К. Липгарт, между прочим, рассказывает следующее о своем участии в книге, изданной в честь Гюго, «Le livre d'or de Victor Hugo» (P., 1883):

«Лоперт и Десо предприняли издание роскошной книги в честь Виктора Гюго и обратились к художникам, которые вдохновились каким-нибудь его произведением. Их картины и статуи должны были быть воспроизведены в этом издании, называвшемся «Золотая книга Виктора Гюго». Тем из художников, у кого не было готовых композиций, было предложено издателями выбрать из произведений поэта сюжет по своему вкусу, чтобы воспроизвести его в книге при помощи гелиогравюры. У меня попросили заставки, концовки, несколько портретов пером для помещения среди текста и, наконец, пригласили также, как своего рисовальщика, поместить композицию вне текста, наряду с модными знаменитостями,—меня, почти неизвестного. Я выбрал „Марион де Лорм", объявляющую своей старой няне, что она любит Дибье, который не богат, не красив и не знатен—только потому, что она его любит. Моя жена и позировала для Марион, а наша старая бретонка изображала няню. Портрет моей жены удался и поражал сходством. После я написал эту картину гризалью для репродукции, которая вышла очень хорошо. Издатели мои отправили меня с рекомендацией к одному доктору, имя которого я забыл, поклоннику Гюго, составившему коллекцию всех портретов и шаржей великого человека. Поэтому вы можете себе представить, какую гримасу сделал этот господин, когда я попросил его дать мне изображения Гюго в разных его политических фазах: легитимиста, бонапартиста, орлеаниста и республиканца. Он колебался между желанием выбросить меня за дверь и желанием удовлетворить меня—и остановился на последнем, рассудив, что я работаю все же во славу его идола. Как хотите, я удивляюсь ему, но все, что он сделал и написал, мне глубоко антипатично».

[6] «Франция—голова мира, циклоп, глаз которого—Париж». Портрет (он сделан фотографом Vallery в 1872—1874 гг.) сохранился в «Альбоме кн. Е. А. Черкасской», находящемся ныне в архиве Института мировой литературы им. М. Горького в Москве.

[7] Parisien [С. Ф. Шарапов], У Виктора Гюго.—«Новое Время», 1878, №№ 711 (от 19 февраля), 712 (20 февраля), 736 (17 марта).

[8] «Новое Время», 1878, №№ 693 и 695.

[9] Шарапов С. Ф., А. Н. Энгельгардт и его значение для русской культуры и науки, СПБ. 1893. Приводимый ниже отрывок из неизданного письма М. Е. Салтыкова сообщен мне С. А. Макашиным, поделившимся со мной и другими материалами и соображениями относительно Гюго и русской литературы, за что пользуюсь здесь случаем выразить ему искреннюю признательность.

[10] Щедрин Н. (М. Е. Салтыков), Собрание сочинений, Л., 1936, XIV, 567—568.

[11] Тарже Н., Письма из Парижа.—«Живописное Обозрение», 1879, № 1, 23 и сл.; № 2, 44 и сл.

[12] Близость Поля Мёриса к семье Гюго продолжалась уже тридцать лет, когда он познакомился с Шараповым: осенью 1848 г. Мёрис был одним из редакторов журнала «L'Evénement»—этого «семейного» журнала Гюго, в 1869 г. принял участие в издании журнала «Rappel», в котором заведывал литературным и театральным отделами.

[13] Книга «Histoire d'un crime», действительно, издана была в Париже в 1877—1878 гг. в двух томах (у Calmann-Lévy), под наблюдением Поля Мёриса.

[14] «Фельетоны сороковых годов», «Academia», 1930, 236, 240, 279, 294.

[15] Клеман М. К., И. С. Тургенев, Л., 1936, 189—192.

[16] «Вестник Европы», 1894, II, 498.

[17] Садовников Д. Н., Встречи с Тургеневым.—«Русское Прошлое», 1923, III, 107.

[18] «Наша Старина», 1915, I, 77—82.

ЭСМЕРАЛЬДА

ФЕБ

Персонажи романа „Собор Парижской Богоматери" В. Гюго
Статуэтки фарфорового завода Миклашевского, 1850-е гг.
Музей керамики, Кусково

[19] «Щукинский Сборник», М., 1909, вып. VIII, 376.

[20] Писемский А. Ф., Письма, ред. М. К. Клемана и А. П. Могилянского, Л., 1936, 232, 683. По свидетельству К. П. Барсова, А. Ф. Писемский, еще будучи студентом четвертого курса, перевел драму В. Гюго «Анжело» (см. «Русские Ведомости», 1881, № 38).

[21] «...Император — сверхчеловек, пред которым — грудь на ветер, с обнаженными ногами, — славы летят с трубами в руках». — «Châtiments», Nox, III, 2—5.

[22] «Новь», 1886, XII, № 23, 185. Тургенев, в свою очередь, допускает ошибку в хронологии: «Châtiments» вышли не в 1862, а в 1853 г.

[23] Ж., И. С. Тургенев и французская литература (письмо из Парижа). — «Новости», 1883, № 177, от 27 сентября.

[24] Тургенев И. С., Сочинения, ГИХЛ, М.—Л., 1933, XII, 284.

[25] «Северный Вестник», 1887, II, 44. Запись Луканиной датирована 30 марта 1878 г. Речь идет об инсценировке романа, сделанной (1878) Полем Мёрисом под наблюдением В. Гюго и в сотрудничестве с сыном Гюго Шарлем.

[26] «Северный Вестник», 1887, III, 78.

[27] Боборыкин П., Столицы мира. Тридцать лет воспоминаний, М., 1911, 194.

[28] «Северный Вестник», 1896, XI, 138.

[29] Боборыкин П., op. cit., 163, 166.

[30] Ibid., 174.

[31] «М. М. Стасюлевич и его современники», СПБ. 1912, III, 615, 617.

[32] Золя Э., Парижские письма. XXIII. — «Вестник Европы», 1877, апрель, 847—876.

[33] «М. М. Стасюлевич и его современники», III, 123.

[34] «Лирики тридцатых и сороковых годов». — «Отечественные Записки», 1877, VIII, 374—414. См. также Лавров П., Этюды по западной литературе, П., 1923, 86; «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников». Собрал и комментировал М. К. Клеман, Л., 1930, 37. Впоследствии П. Л. Лавров на страницах русской печати говорил о критических выступлениях Э. Золя против В. Гюго («Этюды», 126). Нет сомнения, что П. Л. Лавров обращался к Тургеневу за некоторыми разъяснениями относительно биографии Гюго. Работая над статьей «Сент-Бёв, как человек» (напечатана в «Отечественных Записках», 1881, I, 201—228; II, 435—464, за подписью П. У.....в), Лавров справлялся у Тургенева об известном романе между Сент-Бёвом и женой В. Гюго. Тургенев писал по этому поводу Лаврову: «Мне приходится выразить удивление, что вам такой громогласный факт остался неизвестным. Сент-Бёв сделал великого В. Гюго рогоносцем — что было тем обиднее поэту, что Сент-Бёв был его другом и отличался безобразием. Маленькая дочь была, однако, не продуктом г-жи Гюго и присочинена Сент-Бёвом для красоты слога: он был замечательнейший болтун и детей никогда не имел» («Минувшие Годы», 1908, VIII, 26).

Гюго, как мы уже упоминали (см. гл. III, прим. 26-е) был одним из любимых писателей П. Л. Лаврова в эпоху его юности. Критически-сдержанное отношение к Гюго возникло у Лаврова лишь в 70-х годах, когда он жил за границей; о произведениях Гюго этого времени Лавров отзывается теперь без прежнего энтузиазма, а иногда и сурово: «все это деланно, очень уж фигурно, очень уж старо» (письмо к Е. А. Штакеншнейдер от 31/12 июля 1872 г.) Лавров, противопоставляя Гюго деятелям Парижской коммуны, прямо называет его «фразером» («Голос Минувшего», 1916, IX, 128). Однако, ни эмиграция, ни Парижская коммуна, ни приобщение Лаврова к идеям революционного социализма не смогли вытравить у него интереса к В. Гюго. Лавров продолжал внимательно следить за всеми этапами его литературной деятельности и очень часто откликался на них в своих работах. Любопытно, что ни одному иностранному писателю Лавров не уделил столько внимания, как Гюго, посвятив ему четыре специальных статьи: три из них («Два старика», 1872 г., «Лирики тридцатых и сороковых годов», 1877 г., «Иностранная литературная летопись», 1881) перепечатаны в книге «Этюды по западной литературе», П., 1923; четвертая — «Заметки о новых книгах», написанная по поводу «La légende des Siècles», 1883, помещена в «Вестнике Народной Воли», Женева, 1883, № 1, отд. II, 24—26, за подписью П. Л. и представляет особый интерес. «Конечно, почти всякий читатель „Вестника Народной Воли" несколько удивится, прочтя в нем название этой книги [«La légende des Siècles»], — пишет здесь Лавров. — С какой стати в издании русских социалистов-революционеров говорить о Гюго?» Отвечая на этот вопрос, Лавров констатирует, что, «восхищаясь Шекспиром и Лермонтовым, Гейне и Тургеневым, молодежь наша осталась реалистической в своих вкусах, и романтические антитезы Гюго, который пережил все поколение французских романистов, не было никогда по вкусу нашим русским читателям. То идолопоклонство перед ним, которое господствует во французской литературе, нам совсем непонятно, особенно в приложении к старческим произведениям, где недостатки его романтизма

стали еще резче, длинноты еще утомительнее, а достоинства проявляются еще реже». «Но,—продолжает Лавров,—именно потому, что большинство читателей „Вестника Народной Воли", вероятно, и не подумают заглянуть в новые томы стихотворений восьмидесятилетнего романтика, мне кажется полезным указать им на некоторые места, которые могут, при случае, служить цитатами или эпиграфами, под которыми иной читатель, быть может, с удивлением прочтет имя Виктора Гюго». Приведенный далее подбор стихотворных цитат из Гюго чрезвычайно характерен; Лавров рекомендует «с пользой перелистывать» отдел, озаглавленный Гюго «Круг тиранов», и некоторые другие стихотворения сборника, в которых сильны ноты социального протеста. «Выписывая эти строки,—заключает свою статью Лавров,—я несколько опасаюсь, как бы русская цензура задним умом не запретила подданным Александра III читать стихотворения Гюго. Что же: это было бы любопытно сообщить Европе».

[35] Ободовский К. П., Рассказы о Тургеневе.—«Ист. Вест.», 1893, II, 362.

[36] «И. С. Тургенев на вечерней беседе в Петербурге 4 марта 1880 г.».—«Русская Старина», 1883, октябрь, 208.

[37] Ж., И. С. Тургенев и французская литература.—«Новости», 1883, № 177.

[38] Клеман М. К., Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, «Academia»; 1934, 244.

[39] Journal des Goncourt, V (1872—1877), P., 1891, 267—268.

[40] Чуйко В. В., На конгрессах.—«Труд», 1892, № 11, 382.

[41] Чуйко В. В., На конгрессах, 386, 389—391; ранее то же воспоминание, в несколько иной редакции, занесено в статью Чуйко В. В., В. Гюго (Опыт литературного портрета).—«Наблюдатель», 1885, июнь, 168—169. Об этом конгрессе вспоминали также и другие его русские участники—М. П. Драгоманов (см. ниже, прим. 44-е), М. М. Ковалевский («Минувшие Годы», 1908, № 8) и многократно П. Д. Боборыкин в своих статьях о Тургеневе («Новости», 1883, № 144, от 25 августа; «Русские Ведомости», 1908, № 194). Все речи Гюго на конгрессе напечатаны в собрании его сочинений, см. «Actes et paroles», Depuis l'exil («editio ne varietur»), 89—119.

[42] Боборыкин П., Столицы мира, М., 1911, 194.

[43] Ср. Тургенев И. С., Сочинения, ГИХЛ, М.—Л., 1933, XII, 222—223. В. В. Стасов, отзываясь на эту речь Тургенева в заметке «По поводу одного русского на французском конгрессе» писал: «Пожалуй, присутствовавшие принуждены были подумать, что вот дескать, у русских было три эпохи, и всякий раз тот или другой француз задавал тон русской литературе... Но ведь этого никогда не бывало: ни Мольер, ни Вольтер, ни В. Гюго никогда у нас никаких последствий не имели».—Стасов В. В., Сочинения, СПБ., 1894, III, 1433—1435 («Новое Время», 1878, № 821).

[44] Драгоманов М. П., Воспоминания о знакомстве с И. С. Тургеневым, Казань, 1906; «Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», Л., 1930, 166—167.

[45] Садовников Д. Н., Встречи с И. С. Тургеневым.—«Русское Прошлое», 1923, III, 107—108.

[46] «Русская Старина», 1883, X, 208—209.

[47] Pavlovsky I., Souvenirs sur I. Tourguéneff, P., 1883; русск. перев.—«Русский Курьер», 1884, № 150.

[48] Browning (Oscar), Life of George Elliot, L., 1890.

[49] Имя Galgacus, действительно, часто встречается у Гюго. Уже в ранней оде 1822 г. (I, 11, 4) он пишет:

Sa dévorante armée avait dans son passage
Asservi les fils de Pélage
Devant les fils de Galgacus.

Личность этого Galgacus не вымышлена автором. Гюго, вероятно, знал его из Тацита, который этим именем называет одного из каледонских вождей, сражавшихся с Агриколой в Британии во времена Веспасиана. В самых неожиданных сочетаниях имя Галгакюса встречается и в «L'Année terrible» (Prol., 14: «Kosziusko surgit des os de Galgacus») и в «Actes et paroles» (3, 54: «On ne vous intimide pas, Allemands. Vous avez eu Galgacus contre Rome et Koerner contre Napoléon»). Ср. еще «Depuis l'exil», I, 54—55. О Galgacus в восприятиях Гюго см. Schiebries (Fr.), Victor Hugo's Urteile über Deutschland, Königsberg, 1914, 29—30, 69, 83.

[50] Гаршин Е. М., Воспоминания о Тургеневе.—«Исторический Вестник», 1883, XIV, 381—382.

[51] Biré (Edmond), Victor Hugo après 1830, P., 1890, II, 237—238.

[52] «М. М. Стасюлевич и его современники», III, 192.

[53] Гроссман Л., Жизнь и труды Ф. М. Достоевского, «Academia», 1935, 281—282, 284.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

# ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

ОТНОШЕНИЕ К ГЮГО РУССКОЙ ПЕЧАТИ В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЕГО ЖИЗНИ.—ГЮГО И ЕГО РУССКИЕ КРИТИКИ, ПЕРЕВОДЧИКИ И ЧИТАТЕЛИ.—ГЮГО—ЧЛЕН ПСКОВСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ.—АВТОГРАФЫ И ПОРТРЕТЫ ГЮГО, ПОСЛАННЫЕ ИМ В РОССИЮ.—ПИСЬМО К ГЮГО А. П. ФИЛОСОФОВОЙ.—ГЮГО И В. Н. АНДРЕЕВСКАЯ.—ОТВЕТ ГЮГО ТИФЛИССКОЙ ГИМНАЗИСТКЕ.—ГЮГО И „НАРОДОВОЛЬЦЫ".—ОТКЛИКИ ГЮГО НА РУССКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ.—СМЕРТЬ ГЮГО И РУССКАЯ ПРЕССА.—ДОНЕСЕНИЯ РУССКОГО ПОСЛА В ПАРИЖЕ О ПОХОРОНАХ ГЮГО.—НЕКРОЛОГ ГЮГО В „ОБЩЕМ ДЕЛЕ".

В отношениях к Гюго русской печати и общества в 70-х годах, естественно, не могло быть единодушия. Радикальная пресса попрежнему им очень интересовалась, официальная или близкая к правительственным кругам, напротив, всячески старалась ослабить его авторитет у читателя. Участились попытки доказать, что он пережил свою славу, явственнее становились усилия сделать правительственный нажим на общественное мнение. После окончательного возвращения Гюго во Францию его политические выступления, его роль крупнейшего демократического писателя Франции, хранителя заветов демократии и гуманизма в современной ему литературе, наконец, почти официальный «культ Гюго», установившийся в Третьей республике,—все это, безусловно, обращало на себя внимание русских правительственных кругов. Необходимо было создать впечатление, что авторитет и влияние Гюго сильно преувеличены, что его международная популярность обязана не литературным его произведениям, но политической борьбе, и тем самым зачислить его в ряды «небезопасных» иностранных писателей. В большой статье 1875 г., написанной по поводу первого тома «Actes et paroles», «Русский Вестник» выполнял именно эту задачу; он старался доказать, что слава Гюго—вся в прошлом, что период «высокого поэтического творчества» сменился у него полным падением, что, «кинутый в водоворот политической жизни», Гюго мало-помалу «утратил то художественное отношение к жизни, из которого вышли самые поэтические его создания». Статья носит характерное заглавие: «Политическая жизнь Гюго», и целиком направлена на то, чтобы утвердить читателя в мысли, что «политические страсти разрушили артистическое равновесие его духа и привили ему ту болячку красного радикализма, ту привычку к необузданному злоупотреблению фразой, тот нестерпимо напряженный ораторский экстаз, которые заели его поэтический талант»[1]. Риторизм и щеголяние фразой, как мы уже знаем, вызывали неодобрение и со стороны тех, кто видел в Гюго борца и народного трибуна, но едва ли кто-нибудь решился бы серьезно утверждать, что даже эти присущие ему недостатки не сыграли своей роли и в России, что следы их не сказались и в русской литературе. Едва ли кого-либо удалось бы убедить в том, что Гюго в с е г д а пользовался незначительной популярностью в России и что он не оставил никаких следов в русской мысли, литературе и искусстве. А между тем, именно это проповедывал «Русский Вестник». «Большинству нашей публики,—писали здесь,—В. Гюго известен только по его последним, сравнительно очень слабым произведениям. Многие только по имени знают в настоящее время его лучший роман „Церковь парижской богоматери"; другие романы того же романтического периода его творчества по большей части не были у нас переведены и никогда не пользовались известностью. Как поэта и драматического писателя у нас знают его еще менее. Ни одна из его пьес никогда не давалась на нашей французской сцене и, если не ошибаемся, никогда не была переведена, по

крайней мере, достойным образом. Не более посчастливилось у нас и его стихотворениям. Около десятка их было переведено нашими поэтами, главным образом, из книги „Созерцания", тогда как во французском издании поэзия В. Гюго занимает целых одиннадцать томов. В последнее время с его стихотворениями случилось то же, что и с его романами: стали переводить позднейшие и слабейшие, из книги „Страшный год", наполненной нестерпимой риторикой и фразерством, тогда как лучшие художественные произведения (в книгах „Оды и баллады", „Восточные стихотворения", „Осенние листы", „Лучи и тени" и др.) остались совершенно неизвестными русской публике. Оттого у нас на В. Гюго смотрят с некоторым пренебрежением, как на цветистого фразера, полного диких метафор и напряженного экстаза». Эта длинная характеристика заканчивается фразой, выдающей основную причину всех приведенных выше странных утверждений и сознательных передержек: «Надо сознаться, что в последнее время Гюго сам сделал очень много для того, чтобы поколебать свою литературную репутацию»[1].

Трудно было бы, конечно, ожидать от «Русского Вестника» половины 70-х годов другого отзыва о книге («Actes et paroles»), содержавшей в себе гневные ораторские выступления против «тирании» русского самодержавия, разоблачения по поводу восточной войны 1854 г., страстные призывы в защиту поляков и приветствия польским повстанцам 1863 г. Но нелепо было доказывать, что романы Гюго «никогда не пользовались у нас известностью»; безнадежно было утверждать, что «не более посчастливилось у нас и его стихотворениям», тем более, что в 70-х годах редкая книжка толстого журнала обходилась без перевода какого-либо из его стихотворений. Оговорку автора, что у нас «стали переводить позднейшие и слабейшие», нетрудно опровергнуть по существу. Отрицать, однако, наличие интереса в русских читателях к позднейшим произведениям Гюго автор статьи не решился также и потому, что все его усилия направлены были на разрушение именно этого интереса.

Всякая новая книга Гюго, вышедшая в Париже, тотчас же привлекала к себе внимание и в России. В редакциях журналов заботились о том, чтобы своевременно оповестить о них своих читателей и перевести то, что было возможно. Н. А. Некрасов пишет М. Е. Салтыкову из Парижа (май 1896 г.): «Я приехал в Париж, когда уже первая часть романа Гюго вышла, и я думаю, что вы были в этом своевременно извещены»[2]. Речь идет о романе «Человек, который смеется», переводившемся для «Отечественных Записок». Кстати, этот роман одновременно печатался в разных русских журналах под различными заглавиями: во «Всемирном Труде» (1869)—под заглавием «Аристократы»; в «Деле» (1869) он назван был «Смех сквозь слезы», в газете «Голос»—«Зубоскал». Обилие переводов и переводчиков, разноименность заглавий романа и посредственность многих, слишком поспешно изготовленных русских его изданий вызвали даже насмешки в «Искре», где помещена была эпиграмма на переводчиков Гюго[3]; во «Всемирном Труде» интересную пародию поместил П. П. Каратыгин («Зубоскал»)[4].

Появление «Страшного года» у нас также не прошло незамеченным. Весною 1872 г. Некрасов писал А. А. Буткевич, предлагая ей ехать в Карабиху: «Купим „L'an[née] terrible" Виктора Гюго и будем перелагать в русские стихи дорогой»[5]. М. Е. Салтыков, живя за границей, оповестил Некрасова о новом произведении Гюго, которое ему только что пришлось

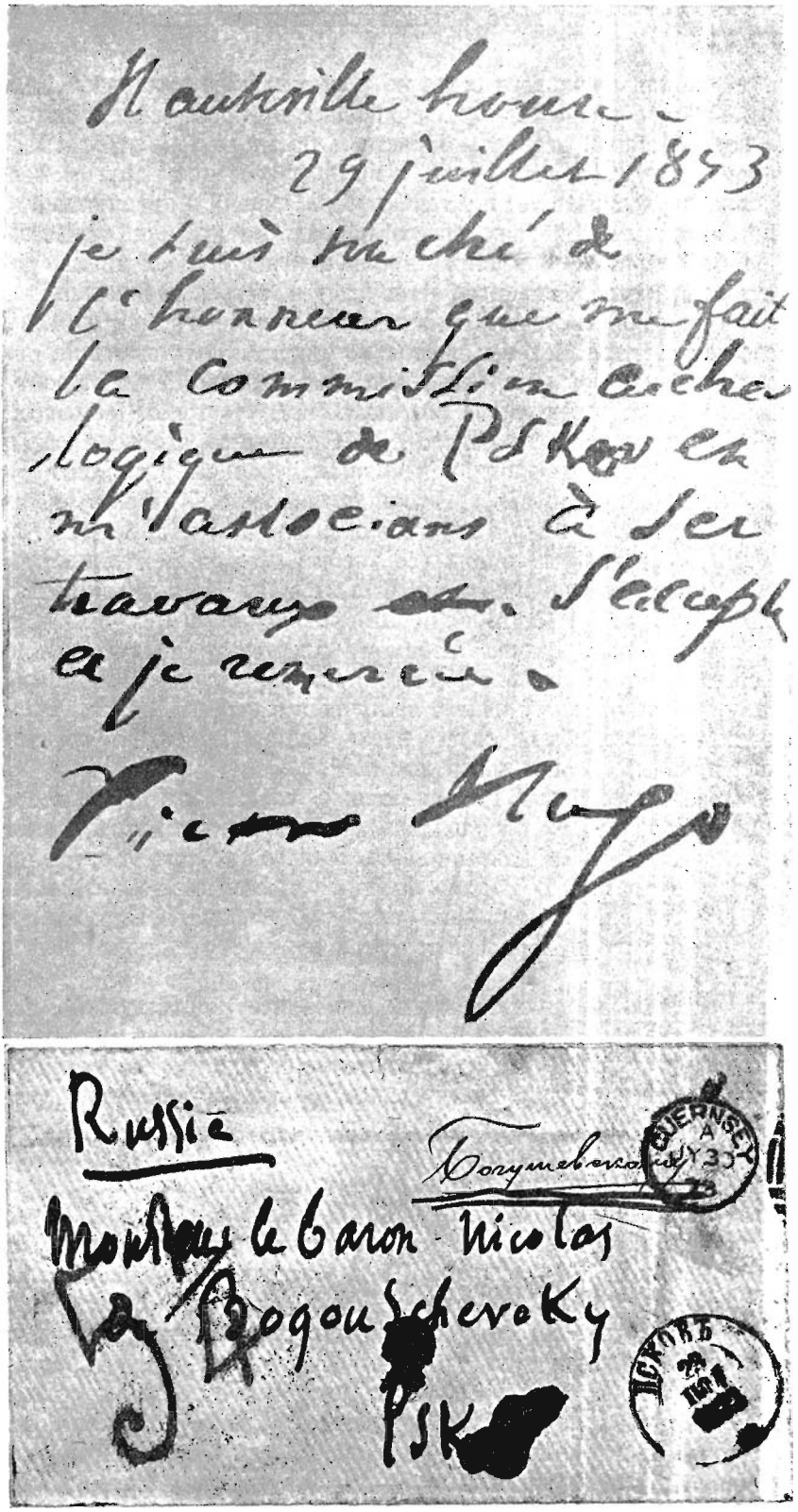
ВИКТОР ГЮГО
Гравюра Фредерика Регамэ 1873 г. с автографом писателя от 30 мая 1884 г.
Обрамление портрета сделано по рисунку Гюго
Литературный музей, Москва

держать в руках; он сообщал из Ниццы (10 ноября 1875 г.): «В. Гюго написал „20 лет изгнания". Я читал вступление (очень обширное): рядом с прелестными вещами пропасть пустяков. Да и в цензурном смысле неудобно»[6]. В одном из писем В. М. Гаршина (Е. С. Гаршиной, от 8 апреля 1874 г.) есть следующие строки о романе «93-й год»: «Вот „Quatre-vingt treize" — этой штуки я осилить не могу. Первый томик прочел, а за остальные даже и не берусь; читал только куски романа в фельетонах „Голоса" и, судя по ним, осудил и самый роман. Уж такая гюговщина! Впрочем, ведь он очень стар, ему теперь 73 года»[7]. Для нас в данном случае несущественны различия в оценках произведений Гюго со стороны русских читателей; важнее подчеркнуть единство их продолжающегося интереса ко всякой новой книге, на которой стоит его имя. В. Гаршин, не долюбливавший французской поэзии, но знавший Гюго с детства, писал В. А. Фаусеку: «Ламартин — болтунища ужасный, Мюссе все тужится быть умным и изящным... Гюго же, хоть и враль, да зато уж и мастер. Может быть, вам попадется как-нибудь под руку „Les Orientales": не забудьте там посмотреть „Les Djinnes" — это такой, я вам скажу, турдефорс стихотворства...»[8] Не случайно, конечно, и П. Л. Лавров печатает в России без подписи свою статью «Лирики тридцатых и сороковых годов» (1877), в которой дает анализ и «Восточных стихотворений» с их «знаменитыми» «Джиннами», «которые начинаются чисто музыкальным изображением тишины», и других ранних сборников Гюго в сопоставлении с его же «Легендами веков»[9]. Безусловно, Гюго был в России жив и действенен как поэт и в 70-х годах, и на переводах его стихотворений пробовали у нас свои силы лучшие из тогдашних переводчиков. Напомним здесь Г. Е. Благосветлова, этого своеобразного «западника» среди «шестидесятников»; годы пребывания его за границей (1857—1860) превратили его в большого любителя иностранной жизни; жгучую ненависть к русской отсталости он соединял с преклонением перед европейским прогрессом и нередко впадал в культурнический восторг перед блеском иностранной цивилизации[10]. Окружающие не без основания считали его знатоком иностранной литературы, и эту репутацию

он охотно поддерживал, уделяя в своих журналах («Русское Слово» и «Дело», 1863—1884) достаточно большое место для переводов иностранных авторов и всячески поощряя сотрудников к переводческой деятельности. «Он великолепно понимал дух произведений Теннисона, Мура, Лонгфелло, Барбье, Гюго, его любимых поэтов»,—так отзывается о Благосветлове П. В. Быков. «Вспоминается мне,—продолжает Быков,—как после усиленной черной работы мы—Благосветлов, Шелгунов, Бажин и я—сидели в редакции „Дела" и вели разговор о сборнике Гюго „Les Orientales". Шелгунов похвалил переводы, сделанные из этой книги Шеллером.—Есть итальянская поговорка: „Il traduttore è traditore" [переводчик—изменник],—выразился Благосветлов,—и Александр Константинович—переводчик в таком духе... У него в переводах—вранье... Завязался спор. Иные из присутствовавших, в том числе Шелгунов, возражали. К Шелгунову присоединился и я, оспаривая мнение Благосветлова. Он послал к себе за книгой Гюго и затем нашел в „Деле" перевод Шеллера „Горе паши". Благосветлов читал куплеты подлинника, я—перевод. Он оказался блестящим. Сравнили еще несколько стихотворений—и Шеллер был оправдан»[11].

Мы не станем вдаваться в оценку всех русских переводов из Гюго, появившихся в то время под покровительством Благосветлова или по собственному почину переводчиков; многие из них, естественно, носят на себе следы устарелой поэтической техники и лишены большого переводческого мастерства; но если их взять в определенной исторической перспективе, вне эстетических требований, которые внушила нам более поздняя эпоха русского переводческого искусства, то многие из них покажутся вполне удовлетворительными, по крайней мере, по своим стремлениям передать дух подлинника. Переводы эти очень многочисленны и принадлежат переводчикам весьма различного дарования и технического умения: назовем, для примера, Ю. В. Доппельмайер, А. К. Шеллера-Михайлова, П. И. Вейнберга, В. П. Буренина, М. П. Розенгейма, А. П. Барыкову, О. Н. Чюмину и др. Переводы сделаны из сборников разных лет: нередки переводы из «Orientales», «Chants du crépuscule», но столь же часто попадаются переводы и из «Châtiments», «L'Année terrible», вплоть до «Quatre vents de l'esprit»[12]. Именно наличие в русской литературе большого «переводного запаса» из произведений Гюго позволило уже в XIX в. издать в составе русских «собраний сочинений» Гюго несколько томов его стихотворений.

В России охотно читали также политические статьи Гюго, его мемуары и речи. Либеральный «Вестник Европы» уделял им большое внимание. Почти одновременно с упомянутым выше разбором первого тома «Actes et paroles» в «Русском Вестнике», в «Вестнике Европы» (1876, апрель) появилась большая статья К. К. Арсеньева: «В. Гюго, как политический деятель», дававшая оценку двум томам этой книги Гюго («Avant l'exil» и «Pendant l'exil»). Через год Арсеньев напечатал в том же «Вестнике Европы» (1877, август) еще одну статью—«В. Гюго по возвращении его во Францию» по поводу третьего тома «Actes et paroles» («Depuis l'exil»). Статьи эти были причиной острой полемики с ним В. В. Стасова в нескольких статьях «Нового Времени». Стасов выступил против Арсеньева с обвинениями в том, что тот «обезобразил, окарикатурил личность одного из величайших людей современной Европы». В. Гюго,—по мнению Стасова,—«одна из гениальнейших, благороднейших и симпатичнейших



Hauteville house
29 juillet 1873
je suis touché de
l'honneur que me fait
la commission archéo-
logique de Pskov en
m'associant à ses
travaux ~~et~~. S'accepte
et je remercie.

Victor Hugo

Russie

Богушевскому

Monsieur le baron Nicolas
Bogouschevsky
Psk

Guernsey
A
JY 30
73

Псковъ
29
1873

АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЮГО К Н. К. БОГУШЕВСКОМУ ОТ 29 ИЮЛЯ 1873 г.
И КОНВЕРТ ТОГО ЖЕ ПИСЬМА

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

личностей не только нашего века, но и всех времен и народов, человек, который начал с проповеди ординарнейших предрассудков и потом всю жизнь не переставал все только расти и расти; человек, сбрасывавший с себя одно заблуждение за другим, один предрассудок за другим, человек, в продолжение десятков лет все только выраставший и крепнувший, скоро ставший истинным трибуном своего народа, на кафедре общественных и народных собраний, и в то же время в каждой своей драме, романе, лирическом стихотворении, памфлете; человек, сосредоточивавший на себе постоянно упования и страстные надежды со стороны громадных народных масс своего отечества, человек, не только никогда не устававший, никогда не покладывавший рук в народном деле, но и теперь, 75 лет от роду, продолжающий все с новою силой возвещать все, что только есть светлого, великого, правдивого и глубокого»... «И такого-то человека вы нашли нужным нарисовать наполовину невинным дурачком, наполовину комическим, нелепым краснобаем!» Возникла полемика. К. Арсеньев отвечал В. В. Стасову, что он имел в виду «не обвинить В. Гюго, а только характеризовать его в главные эпохи его жизни», что он «хотел попробовать отнестись к нему со спокойным анализом» и т. д. Но и эти признания не помогли делу: Стасов выступил с новыми обвинениями Арсеньева и, вместе с тем, с новым панегириком любимому писателю; французский народ, по его словам, «страстно любит В. Гюго, потому что слышит в нем свою родную силу, чувствует в нем одного из лучших и необыкновеннейших сыновей своих, своего трибуна, своего вдохновенного пророка и гениального апостола правды, света и новой жизни»[13].

Ежедневная пресса вообще внимательно следила за Гюго; в органах самых противоположных направлений можно было встретить и анекдоты о Гюго, и беседы с ним какого-нибудь ловкого русского корреспондента, и переводы его речей. В Россию попадали также газеты, издававшиеся Гюго и его семьей,—их завозили сюда побывавшие в Париже русские путешественники; они обращались среди публики не вполне легальным образом[14].

Итак, официальные русские круги ошибались, когда думали, что они могут повредить популярности Гюго в России, или утешали себя надеждой, что ее вовсе не существует. О действительных размерах ее красноречиво говорят и факты иного порядка: переписка и архивные документы, еще не бывшие в печати.

Архив Виктора Гюго, вероятно, хранит в себе много неопубликованных писем русских почитателей поэта; о некоторых из них мы знаем по его ответным письмам, бережно сохранявшимся долгие годы у адресатов. Гюго получал их отовсюду: из Москвы и Петербурга, Харькова и Пскова. Писали Гюго люди всех возрастов, и поводы для их непосредственного обращения к поэту были, естественно, самые различные: иных соблазняла перспектива получить автограф знаменитого современника; другие писали из желания лично засвидетельствовать любимому автору свой собственный читательский восторг и благодарность; писали из стремления стать выразителями «кружкового» или «общественного» мнения, писали потому, что выражением этого мнения хотели обрадовать поэта, как доказательством широты его влияния и идейного могущества, писали, наконец, с просьбой о моральной поддержке, как ученики к учителю и великому другу. Виктор Гюго гордился тем, что подобные письма шли к нему со всех концов мира, и потому почти всегда на них отвечал.

В нашем распоряжении есть, во всяком случае, по одному образцу таких писем каждой категории, которые позволяют составить себе представление об обширности «русской» корреспонденции Гюго.

В 1873 г., с острова Гернси, Гюго прислал письмо в Псков[15].

*Перевод:*

Hauteville-house, 29 июля 1873 г.

Я тронут честью, оказанной мне Псковской археологической комиссией, избравшей меня своим членом. Принимаю это с благодарностью.

Виктор Гюго

*Адрес на конверте:* Россия. Псков
Г-ну барону Николаю Богушевскому

Письмо это адресовано барону Николаю Константиновичу Богушевскому (1851—1891), псковскому помещику, археологу и историку[16]. Богушевский учился в Оксфорде, Кембридже и Гейдельберге, много путешествовал, а в имении своем близ с. Покровского (б. Псковской губ.) сосредоточил свои исторические и археологические коллекции. Он был любителем исторических штудий и занимался историей России, в особенности же псковскими древностями; некоторые из его исторических работ были напечатаны в Англии. С дилетантским интересом к истории Богушевский сочетал настоящую страсть коллекционера—собирателя автографов и портретов; с этой стороны Богушевский был хорошо известен на Западе—французским, немецким и английским антикварiатам[17]. В конце 70-х и начале 80-х годов коллекция Богушевского в с. Покровском, на пополнение которой он тратил много энергии и средств, достигла нескольких тысяч номеров и, действительно, заключала в себе много раритетов; к сожалению, в 1884 г. пожар уничтожил бо́льшую ее часть, но дальнейшее собирание коллекции продолжалось вплоть до смерти ее владельца[18]. Несомненно, избрание Гюго в члены Псковской археологической комиссии,—с которой у него не могло быть никаких отношений и к существованию которой он должен был быть совершенно безразличен,—нужно рассматривать как удобный предлог для получения Богушевским ответного благодарственного письма. Автограф был получен, приобщен к коллекции,—и на этом, нужно думать, сношения между Гюго и псковским помещиком и коллекционером прекратились.

Аналогичного происхождения, вероятно, гравированный портрет Гюго с дарственной надписью Ф. Ф. Фидлеру и датой 18/30 мая 1884 г. Известный петербургский педагог Ф. Ф. Фидлер (1859—1917) с конца 70-х годов обратил на себя внимание переводами русских поэтов на немецкий язык, но в еще большей степени—своей коллекцией автографов, которую собирал много лет любовно и упорно; это был настоящий литературный музей, в котором автографы и портреты писателей хранились рядом с разнообразными бытовыми реликвиями, предметами домашнего обихода, служившими некогда знаменитым владельцам. Портрет Гюго попал сюда не случайно, но лишь благодаря настойчивости и собирательской страсти его обладателя, получившего его непосредственно из рук самого писателя в 1884 г. Об этом свидетельствует сохранившаяся на обороте портрета помета его владельца: «Собственноручная подпись Виктора Гюго. Получена от него 18/30 мая 84 г. Фидлер. Студент фил[олог]»[19].

В 1875 г. Виктор Гюго прислал свой портрет с автографом Анне Павловне Философовой в ответ на ее просьбу об этом. А. П. Философова

(1837—1912), известная общественная деятельница, близкая к кругам радикальной молодежи и весьма популярная в либеральных кругах Петербурга, была в 70—80-х годах восторженной вдохновительницей русского женского движения. По ее инициативе в 1870 г. были созданы первые общеобразовательные женские курсы в Петербурге, а в 1878 г.—высшие женские Бестужевские курсы[20]. Она была в дружбе и переписке со многими русскими писателями. В середине 70-х годов у нее завязалась переписка с И. С. Тургеневым[21]; она хотела познакомить его с «новыми русскими людьми», которых он не мог изучать, живя за границей, и с этой целью доставила ему в Париж огромный портфель с разнообразными материалами, которые должны были, по ее мнению, заставить Тургенева узнать и полюбить молодое поколение русской интеллигенции. Это было в пору работы его над «Новью». Из всех этих материалов, однако, больше всего поразил Тургенева дневник самой А. П. Философовой,—поразил, как он сам ей писал об этом (в письме от 6—18 августа 1874 г.), «своей честной правдивостью и неподдельным энтузиазмом». Наряду с Тургеневым, она так же преклонялась перед Достоевским и была с ним в деятельной переписке[22]. Чисто юношеский энтузиазм и горячность, с которой высказывались ее чувства, не раз ставили ее в неловкое положение, но она не замечала укоризненных взглядов со стороны и мало заботилась о том, что иной раз «компрометировала» этим своего мужа В. Д. Философова, занимавшего крупную должность главного военного прокурора в Петербурге. В 1879 г. над Философовой стряслась беда. 2 апреля этого года «грянуло соловьевское покушение» на Александра II. «Всего курьезнее,—вспоминает один из современников,—что ночь перед покушением он [Соловьев] провел в доме у Анны Павловны Философовой...». Философову постигло наказание, хотя и не особенно строгое: она была выслана за границу, но, по ходатайству Лорис-Меликова, возвращена оттуда через полтора года[23].

В бумагах Философовой сохранилась копия французского письма, посланного ею Виктору Гюго в ответ на присылку портрета; на нем русская приписка: «Письмо, написанное Виктору Гюго после присылки его портрета,—при этом вспоминается момент возвращения его после ссылки с острова Гернси, когда его встретил общий крик народный (с свойственным чутьем), воскликнувший: V i v e  J e a n  V a l g e a n t» [sic!].

*Перевод:*

23 октября 1875 г.

Maître,

Как вас благодарить? Не буду даже пытаться сделать это. Я брожу туда и сюда по всему дому в поисках места, где бы я могла поместить сокровище, мною полученное. Конечно, этот прекрасный портрет найдет у нас очень почетное место, но какой бы пьедестал мы для него ни воздвигли, он не найдет такого, какое оригинал занимает в наших сердцах. Да, учитель, мы все являемся вашими неоплатными должниками, потому что более полувека вы дарите нас бессмертными произведениями с расточительностью, которая не имеет примеров в литературных летописях. Мы это чувствуем, мы вам признательны, и наше преклонение перед вами единодушно! Как русская я чувствую гордость, так как если во Франции существуют—к стыду человечества—журналы, которые смеют забывать о том почитании, которое должно вам воздавать, у нас, в России, вы не

найдете ни одного органа печати, который не склонялся бы с уважением и восхищением перед величием вашего гения. Гений! Многие другие были ими. Вы же, вы им являетесь, но вы лучше их. Вы Человек в торжественном значении этого слова. Позвольте мне испросить вашего благословения для моих шести детей, примите восторженные знаки почитания от моего мужа и позвольте мне самой избрать скромное, но столь же покорное место, какое Мария занимала у ног Иисуса. Пусть это эгоистическое место, но верьте мне, что, если бы я имела неоценимую честь принимать вас у себя, я сумела бы также выполнить и долг Марфы.

Анна Философова[24]

Виктор Гюго должен был оценить это письмо. Оно носит на себе все следы его литературной манеры. Евангельские уподобления, несколько вычурные обороты речи, утверждения, которые, по зрелом размышлении, лучше было бы не писать, но которые сами вылились на бумагу, подталкиваемые предшествующими рядами высоких слов и символических обобщений,—таковы черты этого женского письма, свидетельствующие о восторженном преклонении его автора перед знаменитым писателем.

В собрании Института литературы АН СССР в Ленинграде сохранилось написанное на бланке французского сената письмо Гюго, посланное им в Россию и заключающее в себе всего лишь несколько интригующих слов.

*Перевод:*

Сенат. Версаль.

Париж, 29 декабря 1876 г.

Я получил благородную страницу и целую руку, написавшую ее.

Виктор Гюго

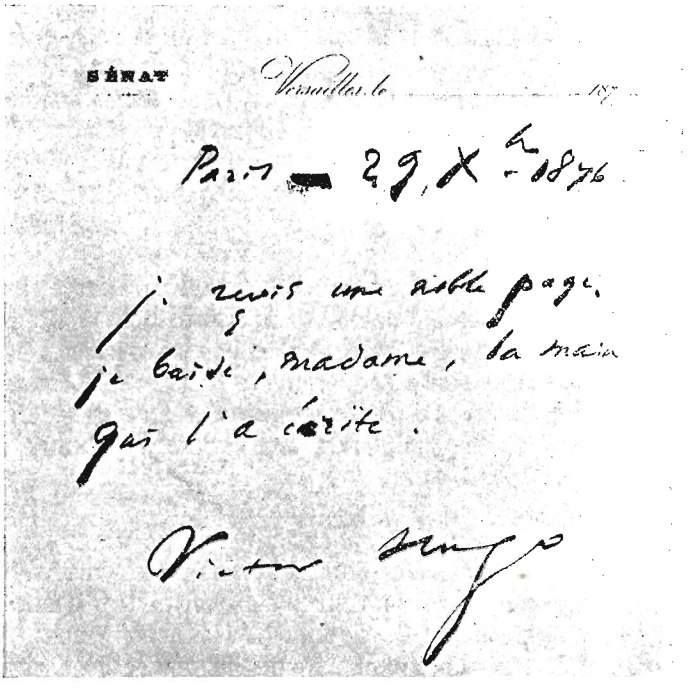
*Адрес на конверте:* Харьков Сумская улица
Ее превосходительству Вере Андреевской

ВИКТОР ГЮГО
Бюст работы Родена, бронза, 1885 г.
Музей А. И. Сумбатова-Южина, Москва

Быть может, в архиве Гюго хранится эта «страница» письма, содержание которой мы, к сожалению, не знаем: небезынтересно, однако, определить, к кому адресовано ответное письмо Гюго. Нужно думать, что это Вера Николаевна Андреевская (рожд. Герсеванова), занимавшая видное место среди харьковской интеллигенции 70-х годов. Вера Николаевна была замужем за крупным чиновником Аркадием Степановичем Андреевским; у нее было четверо сыновей. Мы знаем о ней не много, но судьба ее сыновей косвенно свидетельствует о том, каким культурным очагом была созданная ею семья. Все они оставили заметные следы в истории русского общества: один из ее старших сыновей-близнецов Михаил Аркадьевич Андреевский (1847—1879) был выдающимся математиком, несмотря на свои молодые годы, и умер тридцати двух лет отроду профессором Варшавского университета; второй—Сергей Аркадьевич (1847—1918) был известным адвокатом, перешедшим в адвокатуру после того, как, будучи товарищем прокурора Петербургского окружного суда, отказался выступить с обвинением по делу Веры Засулич; с начала 80-х годов он выступал и в литературе в качестве поэта и литературного критика; среди его многочисленных переводов французских поэтов, в особенности из Мюссе, Бодлера и Сюлли-Прюдома, есть ряд переводов и из Гюго; третий сын Андреевской Павел Аркадьевич (1849—1890) был присяжным поверенным в Киеве и занимался там литературною и журнальною деятельностью—издавал газету «Заря», писал пьесы; четвертый—Николай Аркадьевич (1852—1880) был приват-доцентом по кафедре римской истории в Харьковском университете, но умер, едва начав свою научную деятельность. Ранняя смерть этого младшего и самого любимого сына была слишком тяжелым горем для матери: она бросила все и постриглась в одном из монастырей[25]. Эти отрывочные сведения не дают нам никаких данных для того, чтобы судить о том, чем вызвано было письмо к ней В. Гюго; не дает их и тот образ матери, который бегло зарисовал С. А. Андреевский в своих мемуарах («Книга о смерти»), где рассказана история незаурядной русской семьи 40-х годов. Знавший В. Н. Андреевскую А. Ф. Кони вспоминает о ней лишь то, что она играла видную роль в «провинциальном светском обществе» и «отличалась большим умом», «но чрезвычайно властным характером»[26]. Странно, что и ее сын-поэт, один из предшественников русского поэтического «декаданса», переводчик французских поэтов, которых он впервые узнал в родительском доме, где, по старым традициям, нередко слышалась образцовая французская речь,—ни словом не обмолвился о переписке своей матери с Гюго. Зато он, по личным воспоминаниям поры своей юности, в одном из поздних очерков так охарактеризовал отношение к Гюго русской молодежи 70—80-х годов: «В то время от великой эпохи песнопевцев остался в живых только Виктор Гюго, переживший на многие годы Мюссе и Гейне. Обаяние этого подлинного поэта для современников не ослабевало до последнего вздоха. Невзирая на возраставший материализм, на реальную переоценку всех идеальных ценностей, маститый бард Франции продолжал казаться божественным. Романтик, преисполненный величавой таинственности, могучий ритор, неподражаемый изобретатель эффектов, защитник угнетенных, социалист, трибун и, в то же время, неисправимый мечтатель и пророк, В. Гюго все так же вещал миру свой ослепительный бред, презирая наплывавшее со всех сторон положительное миросозерцание. Такие слова, как „Тайна“, „Бездна“, „Тень“, „Греза“ (O, Mystères! Gouffre! Ombre! Rêve!), не сходили с его уст. Язык

этот был у него так естественен, что никакие пародии на него (правда, весьма добродушные) не ослабляли величия поэта. Даже комическое самообожание Гюго не вредило его славе. Его имя было гораздо более всемирным, нежели в наши дни имя Л. Толстого. В. Гюго казался гением, превосходящим все земное—бесспорным и волшебным. С его смертью точно оборвалась последняя связь с небом: исчез последний великий мечтатель. И это были, действительно, последние звуки той высшей музыки слова, которая более не воскресает...»[27]

В одном из семейных архивов сохранился еще один след «русской» корреспонденции Гюго. В апреле 1883 г. он получил письмо из Тифлиса от шестнадцатилетней ученицы местной русской гимназии Ольги Нико-




АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЮГО К В. Н. АНДРЕЕВСКОЙ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1876 г.
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

лаевны Добржанской. Это были последние годы жизни писателя. Рука утомлялась отвечать на бесконечные просьбы об автографах, советах, мнениях, помощи, и он все чаще доверял это Ришару Леклиду (Lesclides), своему «другу, секретарю и ежедневному гостю», как его называет Жюль Кларети, будущему автору известных книг: «Victor Hugo intime» и «Propos de table de Victor Hugo» (1885). Так поступил он и в данном случае. По его просьбе Леклид написал следующее ответное письмо русской гимназистке:

*Перевод:*

Париж, 9 апреля 1883 г.

Mademoiselle!

Виктор Гюго получает бесконечно много просьб об автографах, и ему очень трудно их удовлетворять, но ему еще труднее отказать в чем-либо

девушке шестнадцати лет, написавшей ему такое очаровательное письмо. Я посылаю вам несколько слов, которые поэт написал для вас.

Примите мой почтительный привет.

Ришар Леклид

К этому письму приложен был отдельный листок, на котором Гюго собственноручно начертал размашистым и крупным почерком своей старости следующие слова:

«Aimer, c'est agir. Victor Hugo»[28]

Мысль девушки адресовать любимому поэту юношеское письмо, полное, как можно догадаться, восторженных признаний, вполне естественна, но, конечно, она свидетельствует об общественной атмосфере всеобщей популярности Гюго, которой он пользовался в России до конца своей жизни и которая импульсировала все эти письма к нему русских читателей. Каждый писал Гюго по-своему и от своего имени. А вот и пример коллективного обращения к поэту, который еще более показателен.

На пушкинском юбилейном торжестве в Петербурге собравшиеся составили и послали в Париж следующую телеграмму на имя Гюго:

«Представители петербургского общества, собравшиеся для чествования памяти национального русского поэта Пушкина, пьют за здоровье великого учителя (grand maître) поэзии—Виктора Гюго»[29].

Чем вызвано было это приветствие? Сознанием ли того, что еще жив один из великих современников великого русского поэта? Конечно, одной из причин телеграммы было и это сознание, но для посылки ее в Париж, нужно думать, нашлись и более специальные поводы. В Петербурге было известно, что в те же самые дни В. Гюго письмом на имя И. С. Тургенева откликнулся на торжество открытия памятника Пушкину в Москве. Гюго выражал в нем сожаление, что «по многочисленности занятий не может воспользоваться лестным приглашением, но просит заявить, что он будет духом присутствовать в Москве в течение всего литературного празднества». Об этом письме оповестили многие русские газеты[30]. На самом же этом празднестве имя Гюго произносилось несколько раз. Его назвал, в частности, в своей речи И. С. Тургенев. По поводу знаменитой речи Достоевского А. Ф. Кони вспоминает, какое бодрящее впечатление произвел на Достоевского «восторженный отзыв об его речи профессора русской литературы в Парижском университете Луи Леже, находившего сущность ее очень интересной „pour le maître", т. е. для Виктора Гюго»[31]. Быть может, одним из поводов для выражения приветствия В. Гюго от имени всех чествовавших память Пушкина было и то, что Гюго был известен у нас как враг убийцы Пушкина—Дантеса-Геккерена, о чем писали в юбилейные дни русские газеты[32].

В числе автографов Гюго, находившихся в России в начале 80-х годов, значится еще один, происхождение которого вызывает, однако, ряд сомнений. Он находился в известном рукописном альбоме Ольги Алексеевны Козловой. Местонахождение этого альбома в настоящее время неизвестно, но он был дважды издан в Москве не для продажи (в 1883 и 1889 гг.) и, таким образом, оказался доступным для изучения, несмотря на редкость самой книги[33]. Книга эта, «Album de Madame Olga Kozlow», воспроизводит типографским способом ряд автографических записей виднейших русских и иностранных писателей середины и второй половины XIX в. Из иностранцев мы встречаем здесь стихи, наброски, афоризмы Виктора Гюго,

Ламартина, Ансло, Анри Мюрже, Арсена Уссе и др., из русских— А. Н. Островского, А. А. Фета, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева, Н. А. Некрасова и др.

Автограф Гюго находился на одной из первых страниц, непосредственно вслед за небольшим стихотворением Дюма-сына. Воспроизводим стихотворение Гюго по печатному экземпляру альбома:

CHANSON

La tombe dit à la rose:
—Des pleurs dont l'aube t'arrose
Que fais-tu, fleur des amours?—
La rose dit à la tombe:
Que fais-tu de ce qui tombe
Dans ton gouffre ouvert toujours?

La rose dit:—tombeau sombre,
De ces pleurs je fais dans l'ombre
Un parfum d'ambre et de miel.—
La tombe dit: fleur plaintive,
De chaque âme qui m'arrive
Je fais un ange du ciel!

Victor Hugo [34]

В подлинности этого автографа, как будто, сомневаться не приходится, но происхождение его вызывает различные вопросы. Начать с того, что это—известное стихотворение Гюго из сборника «Les voix intérieures», XXXI и что оно имеет там дату: «3 июня 1837 года»[35]. Издавна оно было популярно и в России; существует до десятка его русских переводов, из которых два были напечатаны уже в 1838 г.[36] Трудно допустить, чтобы в 70-х годах, когда составлялся альбом Козловой, Гюго мог прислать ей или вписать туда собственноручно стихотворение, написанное им за тридцать с лишним лет перед тем. Любопытно, впрочем, что именно это стихотворение Гюго много раз переписывалось авторской рукой; на «выставку Гюго» 1885 г. Этьен Шараве, известный владелец «Cabinet d'autographes, 8, Quai de Louvre», представил как раз автограф второй строфы этого стихотворения, без даты и заглавия, которое означено было в каталоге: «Vers écrits de la main de Victor Hugo»[37]. Не к тому же ли Этьену Шараве, известному парижскому комиссионеру по продаже автографов, тянутся нити автографа из альбома Козловой? Получен ли он был в России или за границей? Известно, что О. А. Козлова (рожд. Барышникова) была замужем за П. А. Козловым (1841—1891), поэтом-переводчиком, типичным представителем великосветских прожигателей жизни из гвардейцев[38]. Знакомство ее с Козловым состоялось за границей. В воспоминаниях Н. Энгельгардта[39] о П. А. Козлове глухо упоминается, что в 60-х годах, задолго до свадьбы (в феврале 1869 г.), во время своих заграничных путешествий, П. А. Козлов «познакомился со многими французскими и немецкими писателями» и что он имел «огромный и великолепный альбом, в который собирал автографы заграничных и русских известных писателей, композиторов, художников и артистов». «Где этот любопытнейший альбом?»—спрашивает Н. Энгельгардт. Мы предполагаем, что значительная его часть влилась в альбом его жены, в особенности иностранные автографы, но как происходил процесс их собирания Козловым на Западе, нам неизвестно.

К началу 80-х годов относятся несколько выступлений В. Гюго в защиту русских революционеров. Одно из них, вызвавшее широкий международный резонанс, было связано с делом Льва Николаевича Гартмана. 19 ноября 1879 г. совершено было неудавшееся покушение на царский поезд, следовавший из Крыма. Одному из организаторов этого покушения—Гартману—удалось скрыться за границу. Он приехал в Париж, бывший тогда одним из центров русской политической эмиграции. Там жила тогда целая колония русских эмигрантов-революционеров, группировавшихся вокруг русской библиотеки на улице Бертоле. Большинство членов этой колонии находилось в постоянных и деятельных сношениях с прогрессивными французскими политическими деятелями. Под их совместную защиту отдал себя и Гартман. Однако, присутствие его в Париже стало вскоре известно русскому посольству. Кн. Н. А. Орлов телеграфно уведомил об этом петербургское министерство уже в январе 1880 г. и тотчас же получил оттуда инструкции добиться ареста Гартмана и выдачи его русскому правительству. 3 февраля Гартман был арестован на Елисейских полях; на другой день он признался в своей личности шефу парижской полиции Массе, но прибавил, что он не даст более подробных показаний. 25 февраля Орлов категорически потребовал у парижских властей выдачи Гартмана.

На основании актов судебного следствия, Гартман обвинялся, прежде всего, в том, что подвергал действительной опасности железнодорожный поезд, т. е. в преступлении общего характера, которое вообще наказуется по законам уголовного кодекса. Быть может, этот казуистический довод, выставленный русским послом, показался кое-кому убедительным; в первые дни после ареста Гартмана настроение французского правительства было скорее благоприятно требованиям русского посла. Тогда общественное мнение заволновалось: радикальная пресса подняла кампанию против выдачи Гартмана[40].

По официальным данным, полученным в Петербурге, «русские эмигранты и нигилисты принялись за лихорадочную деятельность. Они обратились к депутатам с просьбой сделать запрос правительству по поводу незаконного и произвольного ареста русского политического эмигранта. Несколько русских эмигрантов сделали также попытку у Гамбетты»[41]. Донесения русских политических агентов добавляли при этом, что В. Гюго, «великий французский поэт, не погнушался поддержать эту кампанию всем авторитетом своей известности и своим пером». Действительно, во французской радикальной прессе было помещено обращение Гюго «К французскому правительству», датированное 27 февраля 1880 г. и перепечатанное тотчас же во многих периодических органах Европы и Америки[42], в котором он писал:

*Перевод:*

Вы—правительство лойяльное. Вы не можете выдать этого человека, между вами и им—закон, а над законом существует право.

Деспотизм и нигилизм—это два чудовищных вида одного и того же действия, действия политического. Законы о выдаче останавливаются перед политическими деяниями. Всеми народами закон этот блюдется. И Франция его соблюдет.

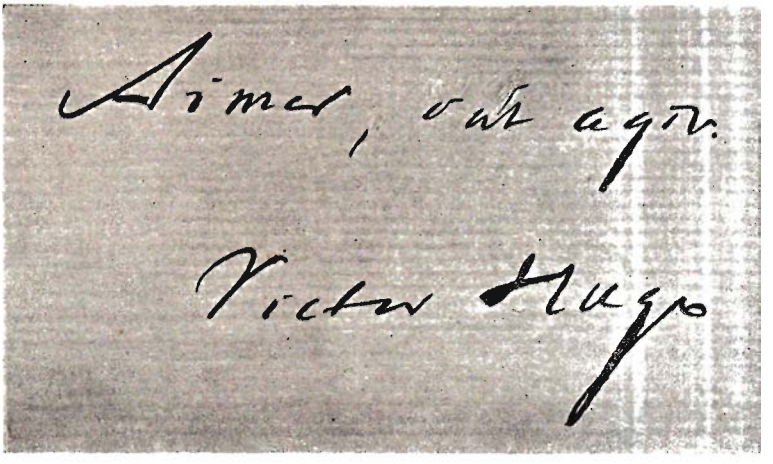
Вы не выдадите этого человека.

Виктор Гюго

Под давлением общественного мнения колебания французского правительства склонились в пользу Гартмана. Он был освобожден 7 марта и тотчас же отправлен французским правительством в Дьепп, откуда уехал в Лондон.

Вскоре в радикальных парижских органах появилось открытое письмо русских эмигрантов-революционеров, под заглавием «Врагам выдачи», за подписями П. Лаврова, С. Кравчинского, Г. В. Плеханова и Н. Жуковского, которое посвящалось всем французам, поддержавшим и защищавшим Гартмана, в том числе и В. Гюго. Последний также опубликовал в газетах письмо к президенту Французской республики с поздравлениями по поводу принятого французским правительством решения[43]. Это второе письмо Гюго еще более ожесточило официальную Россию.

Катков в передовой «Московских Ведомостей» язвил, что «нельзя было не ожидать скандала от правительства, для которого даже Феликс Пиа



АВТОГРАФ ГЮГО, ПОСЛАННЫЙ ПИСАТЕЛЕМ О. Н. ДОБРЖАНСКОЙ 8 АПРЕЛЯ 1883 г.
Собрание К. В. Ползиковой-Рубец, Ленинград

и Виктор Гюго авторитеты», и высказывал убеждение, что было бы лучше не подвергать французское правительство, «опирающееся чуть ли не на коммунистов, испытанию, которое оно выдержать не могло»: «лучше было бы вовсе не требовать выдачи преступника от правительства ничтожного и слабого и не вводить его в искушение»[44].

Второе письмо Гюго русскими полицейскими донесениями было квалифицировано, как «клеветнический документ, обнаруживающий полнейшее неведение русских дел», полный при этом «оскорблений по отношению к русскому монарху и народу»[45].

Русское посольство в Париже сочло необходимым озаботиться изготовлением ответа, и вскоре в газете «Le Nord» (10 марта 1880 г.) появилось «опровержение» и «разоблачение» Гюго, написанное одним из дипломатических чиновников—К. Г. Катакази. Самое имя этого «полемиста» говорило само за себя не только в Париже, но и в официальных петербургских кругах. «Это был отъявленный негодяй»,—отзывается о Катакази Е. М. Феоктистов[46]. Бывший в 70-х годах русским посланником в Вашингтоне, но отозванный по требованию американского правительства и уволенный

со службы, Катакази пристроился в качестве тайного агента, но и в этой роли заслужил презрение тех, ради которых старался. «Этот продаст кого и что угодно»,—писал о нем Катков Победоносцеву[47]. «Что Катакази скот, это я давно знал, но чтобы он был таким мошенником и плутом, я, признаюсь, не ожидал»,—писал сам Александр III, ознакомившись с документальными материалами о похождениях и подвигах Катакази в Париже в 80-х годах[48]. Легко догадаться, чего на самом деле стоили «опровержения» Гюго, сделанные этим субъектом. В русских официальных кругах еще долго вспоминали о своей неудаче. Когда появился «Жерминаль» Золя, в образе Суварина готовы были узнать Гартмана[49].

Ходатайство Гюго относительно Гартмана укрепило связь между французским поэтом и русскими эмигрантами-революционерами. Ровно через год после описанных происшествий общественное мнение Европы было сильно возбуждено делом Геси Мироновны Гельфман. Как известно, она была арестована через два дня после 1 марта 1881 г., судилась в конце этого месяца и была приговорена к смертной казни через повешение. Однако, исполнение приговора замедлилось, по причине ее беременности. Русские эмигранты своим воздействием на общественное мнение Европы всячески старались оказать ей помощь. В неизданном письме к П. Л. Лаврову (от 17 апреля 1881 г.), сообщая о тех протестах по поводу дела Гельфман, которые организованы были в Швейцарии, П. А. Кропоткин писал: «Нужно, чтобы в Париже и Лондоне тоже было что-нибудь. Нельзя ли вызвать Victor Hugo? Я пишу несколько слов Рошфору, но на него плохая надежда. Надо спасти Гельфман от этой пытки»[50]. Мы не знаем, доведена ли была эта просьба до Виктора Гюго. Существующее в литературе указание, будто сам Кропоткин, отправившийся вскоре в Париж с намерением организовать там большой митинг в защиту Гельфман, специально посетил Гюго и познакомил его с обстоятельствами дела — вполне правдоподобно, но требует проверки[51]. Достаточно показательно, однако, и самое намерение привлечь на помощь организующейся кампании протеста авторитет Гюго.

Вскоре новое политическое дело в России заставило Виктора Гюго вновь возвысить свой голос. Между 9 и 15 февраля 1882 г. особое присутствие сената рассматривало при закрытых дверях большой процесс «двадцати двух», в котором фигурировали А. Максимов, Ник. Холодкевич, Ник. Суханов, Мих. Фроленко и др. Среди обвиняемых были также две женщины—Анна Якимова и Татьяна Лебедева. Десять человек были приговорены к смерти, другая группа—к вечной каторге, третья—к различным наказаниям, до 20 лет каторжных работ. Известие об этом процессе дошло до Гюго, и он тотчас же напечатал в газетах открытое письмо-протест. Гюго писал здесь:

*Перевод:*

Происходят деяния, странные по новизне своей! Деспотизм и нигилизм продолжают свою войну, разнузданную войну против зла, поединок тьмы. По временам взрыв раздирает эту тьму; на момент наступает свет, день среди ночи. Это ужасно! Цивилизация должна вмешаться! Сейчас перед нами беспредельная тьма; среди этого мрака десять человеческих существ, из них две женщины (две женщины!) обречены смерти, и десять других должен поглотить русский склеп—Сибирь. Зачем? Зачем эта травля?

К чему это заточение? Собралась группа людей. Они объявили себя Верховным Судилищем. Кто присутствовал на его собраниях? Никто!.. Неужели никто? Никто!.. Кто сообщал о них сведения?.. Никто! Газет не было!.. Но обвиняемые? Их тоже не было!.. Но кто же говорил? Это неизвестно! А адвокаты? И адвокатов не было!.. Какой же кодекс применяли к ним? Никакой! На какой же закон опирались? На все и ни на один!.. И чем же все это кончилось?.. Десять осужденных на смерть! А остальные?.. Пусть русское правительство поостережется. Оно считает себя правительством законным. Законному правительству бояться нечего. Нечего бояться свободной нации, нечего бояться законного порядка вещей, нечего бояться политической силы. Но можно всего бояться со

ПОХОРОНЫ ГЮГО
Прохождение депутаций под Триумфальной аркой мимо катафалка с гробом Гюго
С современной французской фотографии

стороны первого встречного, прохожего, всякого случайного голоса! Милосердия! Такой голос — ничто и в то же время все, весь мир, этот безграничный аноним... Этот голос будет услышан; он прозвучит посреди мрака: милосердие земли—милосердие неба. Я прошу милосердия для народа у императора! Я прошу у бога милосердия для императора[52].

Это воззвание Гюго стало скоро известно в России; по официальным сведениям, оно тотчас же было переведено на русский язык и в гектографированных экземплярах in 4° распространялось в обществе на двух языках под заглавием «Cri de V. Hugo». Дошло оно, несомненно, и до царя. По воспоминаниям современников, вопрос о форме наказания для всех приговоренных вызвал некоторые разногласия у правительства. «Сам Александр III, внимательно следивший за всеми заседаниями суда, стоял за виселицы. Но в бюрократических сферах поняли, что десять новых ви-

селиц не по плечу и самому Александру III»[53]. Так, министр внутренних дел гр. Игнатьев, быть может, под влиянием обращения Гюго, «стал указывать на необходимость „помиловать", по крайней мере, хоть женщин, да еще тех, кто не обвинен в участии в террористических актах, как, напр., Клеточников, который приговорен к смертной казни только потому, что возбудил особое негодование против себя правительства своей деятельностью... Александр, под влиянием чьих-то советов, согласился помиловать пять человек. Это известие по телеграфу было передано В. Гюго, когда он был на банкете. Гюго встал и произнес тост: „Пью за царя, который помиловал пять осужденных на смерть и который помилует и остальных пятерых"»[54].

К этим воспоминаниям следует прибавить еще одно свидетельство. Оно заслуживает внимания, как опубликованное по свежим следам событий и не вызвавшее тогда ничьих опровержений, но, разумеется, требует проверки. Речь идет о телеграфной корреспонденции, посланной из Петербурга в газету «Herald» от 4 апреля 1882 г. и тотчас же перепечатанной и в других газетах, например, в брюссельской «Indépendance Belge» (в апреле). По словам петербургского корреспондента «Herald», «окружавшие царя стояли за то, чтобы были повешены все десять осужденных, но Игнатьев настаивал на помиловании двух женщин и двух других, менее скомпрометированных. Он стал надеяться спасти и других, когда по телеграфу узнал о тосте Гюго. Игнатьев тотчас доложил о нем Александру III. Царь был польщен словами великого французского писателя. Игнатьев сообщил эту новость Сан-Донато, и они решили, что С.-Донато немедленно поедет в Париж и там через мадам Адам, которой он недавно оказал гостеприимство в Петербурге[55], повидается с В. Гюго». «С.-Донато уехал из Петербурга в четверг 11 марта и прибыл в Париж 14 марта, в воскресенье утром. 15-го он выехал в Россию с письмом от В. Гюго к Александру III, где В. Гюго просил царя о помиловании остальных пятерых осужденных. Александр III прочитал письмо Гюго и немедленно помиловал еще четверых, к общему изумлению окружавших, которые ничего не знали о письме Гюго. Игнатьев и С.-Донато надеялись спасти и пятого—Суханова. Они хотели просить у Александра III отмены смертной казни перед самым ее совершением, но 18-го вечером было получено известие о казни Стрельникова в Одессе,—Игнатьев с С.-Донато... не считали более возможным хлопотать за Суханова»[56].

Таков этот документ, требующий проверки и подтверждения. Это письмо Виктора Гюго опубликовано не было и в руках исследователей не находилось; быть может, свидетельства об этом найдутся в богатейшем архиве m-me Адам (Жюльетты Ламбер), парижский салон которой 70-х и 80-х годов представляет такой большой интерес для истории франко-русского сближения: ведь именно ее посредничеству между представителем русского правительства и французским поэтом петербургский корреспондент газеты «Herald» приписывает письмо Виктора Гюго к Александру III.

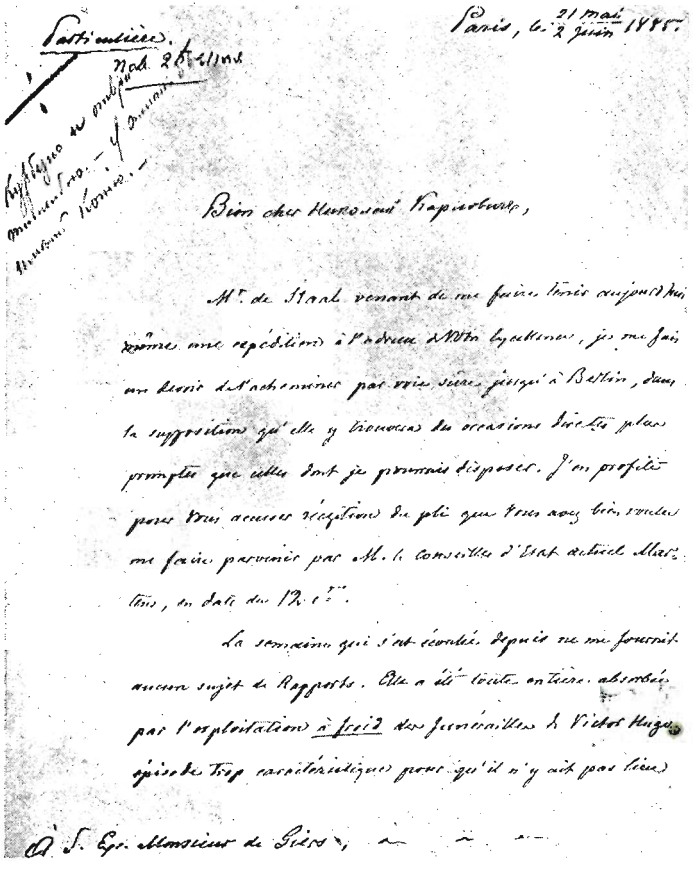
Гюго умер в пятницу 22 мая 1885 г. На смерть поэта откликнулись десятки органов русской периодической печати. В ежедневных газетах, листках, еженедельниках, наконец, в июньских номерах ежемесячных изданий вслед за первыми краткими телеграфными сообщениями о смерти Гюго появились его некрологи, описание его последних дней, подробности беседы за последним обедом, изложение хода болезни, текст завещания, наконец, весьма детальное описание похорон[57]. Большинство этих изве-

стий основывалось на французских источниках и являлось перепечаткой; несколько личных воспоминаний, вроде цитированных выше рассказов М. А. Загуляева, В. В. Чуйко и П. Д. Боборыкина[58], составляли исключение. Во всех этих статьях, сообщениях, заметках оценка Гюго как человека и писателя носила слишком общий характер и касалась преимущественно его литературной деятельности. Все признают огромное историческое значение Гюго; почти в каждом некрологе можно найти перечень поэтических сборников Гюго, его романов и драм, но характерно, что не сделано ни одной попытки дать очерк значения Гюго в истории русской литературы и общественной мысли и его влияния на ход русского литературного развития. Авторы большинства статей стараются обойти молчанием роль Гюго как политического деятеля или отказывают ему в каком-либо влиянии на общественно-политическую жизнь Европы; предпочитают говорить о Гюго как рисовальщике[59], в сотый раз вспоминать анекдоты о его юности, литературных битвах ранней романтической поры, но затрудняются дать характеристику его политических убеждений и с опаской говорят о демократических друзьях его последних тридцати лет. Во всем этом нельзя не чувствовать вмешательства российской цензуры. Смерть Гюго и его торжественные похороны многими приравнены были к событиям политического значения. «Смерть Виктора Гюго,—писали в одном из русских журналов,—произвела сильное впечатление не в одной Франции и должна быть отнесена к политическим событиям. Он был такой же великий гражданин, как и великий поэт. Нашлись, конечно, и у нас quasi-журналисты, утверждавшие, что Гюго „не имел никаких политических убеждений, ни определенных философских идей". Но человек, восемнадцать лет не миривший с позорным режимом, обесславившим и погубившим Францию, не принимавший амнистии, не сдававшийся ни на какие компромиссы, клеймивший оффенбаховского цезаря могучим стихом, всю жизнь свою проповедывавший гуманность, терпимость, законность, любовь к свободе, борьбу с произволом, ложью, деспотизмом,—такой человек не нуждается в похвалах и оправдании своих поступков. Бессмертие наступило для него еще при жизни, потомству останется только подтвердить приговор современников»[60]. Так, или приблизительно так, думало, несомненно, и демократическое большинство русской интеллигенции 80-х годов. Именно для нее помещены были в печати довольно подробные известия о событиях, которые последовали за смертью Гюго, и о том участии, которое в его похоронах приняла вся демократическая Франция. Вот несколько известий, которые русский читатель мог почерпнуть из русских же изданий, читая между строк и договаривая там, где очевидно было умолчание. «Значение Гюго как поэта—всемирное. Как человеку Франция воздала ему такие посмертные почести, каких не удостаивался ни один из ее великих людей. Так никогда не хоронили в Париже ни королей, ни писателей, ни государственных людей... На похоронах Беранже в 1857 г. было больше солдат, чем народа. Далекое подобие нынешнего печального торжества представляли, в прошлом столетии, похороны Вольтера...». «За два дня до кончины весь Париж был в тревожном состоянии... Агония была мучительна, но умирающий не терял сознания. Парижский архиепископ предложил ему принести утешение религии. Депутат Лакруа отвечал в письме: „Виктор Гюго объявил, что не желает, чтобы во время его болезни присутствовала духовная особа какого-либо исповедания". Перед смертью поэт сказал: „Я верую в бога,

но не признаю никаких обрядов". Он умер, как жил,—деистом, завещав 50 000 бедным и свое желание, чтобы его отвезли на кладбище в их погребальной колеснице, т. е. на простых дрогах, без всяких украшений». «Французские газеты наполнились выражениями скорби о понесенной утрате; даже клерикалы, бонапартисты и роялисты не высказывали в своих статьях никакого другого чувства, кроме глубокого горя и удивления перед гением писателя. Сначала его хотели похоронить на кладбище о. Лашеза, где поэт сам изъявил желание уснуть последним сном. Но в палате депутатов левая сторона внесла предложение о погребении Гюго в Пантеоне, который следует возвратить его прежнему назначению: быть усыпальницей всех замечательных людей Франции. Министр внутренних дел пытался отклонить это предложение, но оно было принято большинством 388 голосов против 90. Бриссон от имени президента Республики внес предложение о признании похорон Гюго национальными и назначении на них 20 000 франков. Только три голоса были поданы против этого предложения. Первый министр сказал при этом: „Смерть, нередко возвеличивающая человека, не могла ничего прибавить к славе Виктора Гюго. Гений его властвует над нашим столетием. Голос его имеет огромное влияние в нашей нравственной жизни, в нашем национальном существовании. Демократия оплакивает его потому, что он воспел все ее величие. Он сочувствовал всякому горю. Меньшая братия и бедняки чтили его имя и знали, что они близки его сердцу. Весь народ будет носить по нем траур"». Флоке говорил в палате: «Гюго был звучным эхом XIX века, его радостей и печалей, деятельным участником его величия и несчастий. Гюго не только сделал чудным орудием наш язык, он отточил его для пропаганды. Пропаганду эту герой человечества вел за слабых, униженных, за женщин и детей, за обездоленных и бедных. Он отстаивал уважение к неприкосновенности жизни, милосердие к заблудшим, которых призывал к свободе и к исполнению долга». «Все пять академий, составляющих Французский институт, закрыли свои заседания в знак траура, чего не делали ни в честь Ламартина, ни в честь Тьера...»[61].

Эти цитаты показывают, что, при известном желании, русский читатель 1885 г., пользуясь случайными, далеко не полными сообщениями русской прессы, мог все же составить себе довольно отчетливое представление о том, какой отзвук во всей Европе, особенно же в Париже, получила смерть Гюго.

В то самое время, когда русская журналистика отдавала свой последний долг покойному французскому поэту, в Петербург на имя министра иностранных дел Н. К. Гирса пришли из Парижа письма русского посла во Франции барона А. П. Моренгейма[62]. Моренгейм был весьма типичной для министерства Гирса (1882—1895) дипломатической фигурой. Товарищ М. Н. Каткова по Московскому университету, он рано начал свою карьеру; на двадцать первом году своей жизни Моренгейм был причислен к канцелярии министерства иностранных дел, а затем, в течение последующих сорока лет, непрерывно повышался в дипломатических чинах; он побывал секретарем посольства в Берлине и Вене, состоял советником министерства при Горчакове, затем полномочным министром русского правительства в Дании (1867), послом в Лондоне (1872). От университетских впечатлений начала 40-х годов и юношеского идеализма тогдашней русской молодежи у Моренгейма вскоре не осталось никаких воспоминаний, и он в конце концов превратился в сухого дипломата, пользовавшегося неограниченным



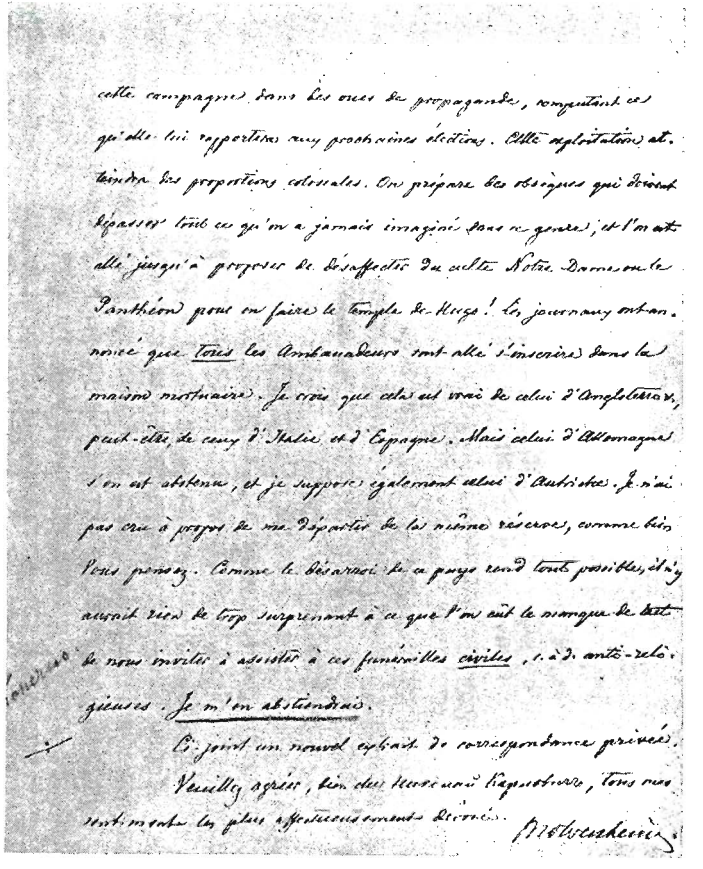
Particulière.

Paris, le 21 mai / 2 juin 1885.

Bien cher Hussonaï Kapuoburr,

Mr. de Staal venant de me faire tenir aujourd'hui même une expédition à l'adresse de Votre Excellence, je me fais un devoir de l'acheminer par voie sûre jusqu'à Berlin, dans la supposition qu'elle y trouvera des occasions directes plus promptes que celles dont je pourrais disposer. J'en profite pour vous accuser réception du pli que vous avez bien voulu me faire parvenir par M. le Conseiller d'Etat actuel Martens, en date du 12 c.

La semaine qui s'est écoulée depuis ne me fournit aucun sujet de Rapports. Elle a été toute entière absorbée par l'exploitation à froid des funérailles de Victor Hugo, épisode trop caractéristique pour qu'il n'y ait pas lieu



à S. Ex. Monsieur de Giers, à ...

cette campagne dans les vues de propagande, comptant ce qu'elle lui rapportera aux prochaines élections. Cette exploitation atteindra des proportions colossales. On prépare des obsèques qui doivent dépasser tout ce qu'on a jamais imaginé dans ce genre; et l'on est allé jusqu'à proposer de désaffecter du culte Notre-Dame ou le Panthéon pour en faire le temple de Hugo! Les journaux ont annoncé que tous les Ambassadeurs sont allé s'inscrire dans la maison mortuaire. Je crois que cela est vrai de celui d'Angleterre, peut-être de ceux d'Italie et d'Espagne. Mais celui d'Allemagne s'en est abstenu, et je suppose également celui d'Autriche. Je n'ai pas cru à propos de me départir de la même réserve, comme bien vous pensez. Comme le désarroi de ce pays rend tout possible, il n'y aurait rien de trop surprenant à ce que l'on eût le manque de tact de nous inviter à assister à ces funérailles civiles, c. à d. anti-religieuses. Je m'en abstiendrai.

Ci-joint un nouvel extrait de correspondance privée.

Veuillez agréer, bien cher Hussonaï Kapuoburr, tous mes sentiments les plus affectueusement dévoués.

Mohrenheim

СООБЩЕНИЯ РУССКОГО ПОСЛА ВО ФРАНЦИИ А. П. МОРЕНГЕЙМА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Н. К. ГИРСУ О ПОХОРОНАХ ГЮГО

Первая страница донесения от 11/23 мая 1885 г. и последняя страница донесения от 21 мая/2 июня 1885 г.

На полях — пометы Александра III

Архив внешней политики, Москва

доверием Александра III и во многом походившего на своего начальника Н. К. Гирса, который, по свидетельству современников, преследовал только одну мечту—«остановить ход всемирной истории и спокойно наслаждаться министерским портфелем среди всеобщего затишья»[63]. В 1884 г., с отъездом из Парижа русского посла кн. Орлова, перемещенного в Берлин, Моренгейм занял его пост. В первые годы своего пребывания в Париже, под конец министерства Ферри, при Бриссоне, Моренгейм оставался в тени и играл очень бесцветную роль, и только в то время, когда во главе кабинета стал Фрейсине (с января 1886 г.), Моренгейм проявил некоторую деятельность и даже явился одним из организаторов франко-русского политического сближения. В год смерти Гюго Моренгейм занят был преимущественно изучением парижских настроений по поводу назревавшего англо-русского конфликта из-за афганских дел, и восточный вопрос, которым в это время всецело занято было русское правительство, интересовал его гораздо больше, чем общественная жизнь Франции. Однако, смерть Гюго заставила и его несколько отвлечься от вопросов высшего дипломатического порядка и обратить внимание на то, что переживал Париж. Похороны Гюго, которым французское правительство постаралось придать значение международной демонстрации, показались Моренгейму вполне достаточным поводом для двух весьма обширных писем к Гирсу. Они интересны для нас и некоторыми подробностями, о которых умалчивает огромная литература, посвященная описанию этого события, и выражением той официальной точки зрения на Гюго, с какой смотрело на него русское правительство. В первом из них, датированном 11/23 мая 1885 г., следовательно, написанном на другой день после смерти Гюго, доведя до сведения министра о русско-английских делах и международном политическом положении в оценке французской печати, Моренгейм пишет:

*Перевод:*

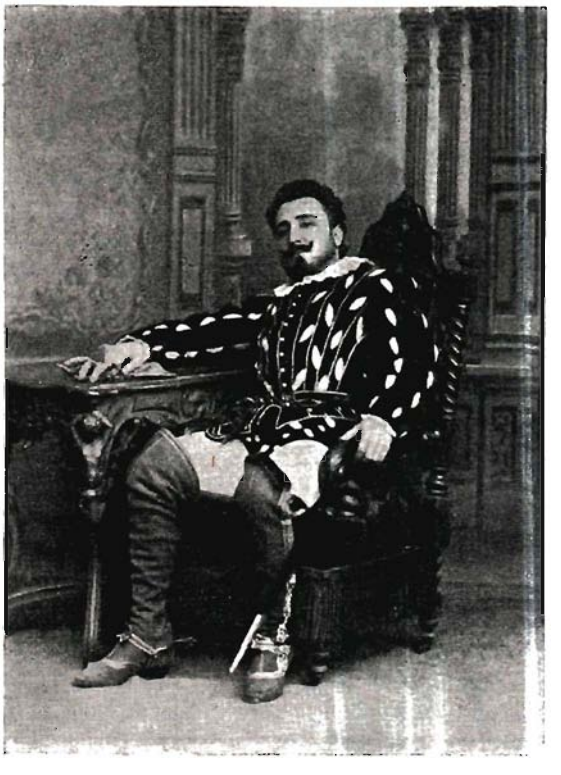
... С точки зрения французов, крупнейшим событием дня, событием, которое, по мнению этой ребячливой и до глупости самовлюбленной нации, заставит забыть самые серьезные заботы всего мира,—является смерть Виктора Гюго, этого псевдо-гения, который искусственно гальванизировался в течение четверти века и стал смешным, благодаря нелепому суеверию некоторых фанатиков, создавших из него фетиш. Играя на свойственном ему тщеславии, доходившем до умопомешательства, его заставили стать глашатаем самых отвратительных анархистских и безбожных доктрин. Во Франции не найдется ни одного здравомыслящего человека, который в глубине души не скорбел бы по поводу столь плачевного упадка, но сейчас, в этой так называемой свободомыслящей стране, никто не решился бы во всеуслышание высказать свою мысль,—и, таким образом, все лицемерно сошлись на том, что речь идет о национальном трауре. Об этом кричат, поверьте, отнюдь не в силу искреннего убеждения: стараются кричать как можно громче, чтобы оглушить и обмануть самих себя. Кампанию эту ведут исключительно радикалы, ведут с целью пропаганды и заранее высчитывают, что она им принесет во время будущих выборов. Эта корыстная игра достигнет огромного размаха. Готовятся похороны, которые должны превзойти все, что только можно выдумать в этой области; дело дошло до того, что было даже предложено закрыть для культа Собор богоматери или Пантеон, чтобы превратить его в храм Гюго! Газеты воз-

вестили, что все послы расписались в книге посетителей, пришедших проститься с покойником. Английский посол там, кажется, действительно был; быть может, были итальянский и испанский. Но германский воздержался, а также, полагаю, и австрийский. Я, разумеется, тоже счел уместным воздержаться. Вследствие царящего в стране беспорядка, здесь все возможно, а потому не удивительно, если будет допущена такая бестактность, как приглашение нас на эти гражданские, т. е. антирелигиозные, похороны. Я воздержусь».

На подлиннике против слов «я воздержусь» рукою Александра III написано: «Конечно»[64].

От русского дипломата 80-х годов трудно было бы ожидать иного отзыва о покойном поэте; мы находим здесь всю ту сумму суждений о Гюго, которые царское правительство при помощи печати всячески старалось привить и русскому читателю двух последних десятилетий; ведь уже задолго перед тем «Русский Вестник» утверждал приблизительно то же самое, что и Моренгейм, осуждая Гюго, главным образом, за то, что он малопомалу отступил от воззрений «просвещенного либерализма, с которым и выступил в начале 40-х годов», и все более и более сближался «с тою зловещею партией, из которой вышла коммуна 1871 г.»[65]

В качестве представителя официальной России Моренгейм не мог, конечно, присутствовать ни на «гражданской» панихиде, ни при церемонии национальных похорон великого демократического писателя и деятеля. Резолюция Александра III показывает, что царь остался доволен поведением своего посла.



А. И. ЮЖИН В РОЛИ КАРЛА V В ПЬЕСЕ ГЮГО „ЭРНАНИ"
Первая постановка „Эрнани" в России, 15 ноября 1889 г., Малый театр
С фотографии 1890 г.
Музей А. И. Сумбатова-Южина, Москва

Второе письмо Моренгейма написано через неделю после первого, тотчас же вслед за днем похорон — 21 мая (2 июня) 1885 г., — и содержит весьма обстоятельный отчет о событии, сопровождаемый выписками из газет. Из многочисленных описаний газет и журналов мы знаем, как на самом деле организованы были похороны Гюго[66]. На десятый день после кончины поэта тело его привезли под Триумфальную арку на площади Звезды. В назначенный день черный, обитый серебром гроб, поставленный на простые дроги, покрытые множеством венков, двинулся в путь, сопровождаемый друзьями поэта, всеми литературными знаменитостями Парижа и громадной толпой, всю ночь, под дождем, ждавшей выноса тела. На площади расположились группы депутаций, делегаты, министры, члены Института, сенаторы и депутаты палаты, магистратура, представители Государственного и Муниципального советов и т. д. Дефилирование депутаций мимо катафалка продолжалось шесть часов. Над гробом произнесено было шесть речей. Министр народного просвещения сказал, что В. Гюго был и останется величественным олицетворением текущего столетия, которого история, противоречия, сомнения, мысли и стремления лучше всего выражались усопшим. Президент сената прославлял Гюго как человека, неуклонно преследовавшего высшие идеалы гуманности и справедливости и имевшего огромное влияние на нравственное состояние Франции. Президент палаты назвал Гюго апостолом, слова которого и после смерти возбудят любовь к свободе и отечеству. От имени Французской академии говорил Эмиль Ожье, упомянувший, что Франция воздаст царю поэтов почести, которых удостаиваются монархи. Говорили еще президенты Муниципального и Генерального советов. Под Триумфальной аркой Звезды тело поэта простояло целый день, и ему приходило поклониться, по крайней мере, полмиллиона народа. С арки спускалось над гробом огромное знамя, обвитое крепом. Тут же была надпись: «Опечаленная Франция Виктору Гюго». Поутру похоронная процессия двинулась к Пантеону под звуки «Марсельезы», смешанные с пушечными выстрелами и гулом голосов: «Vive Victor Hugo! Vive la République!». По сведениям тех же газет, из которых мы берем эти данные, 1168 различных обществ и корпораций прислали депутации на похороны. У широкой лестницы Пантеона, засыпанной цветами, процессия остановилась. Говорили речи: мэр Безансона (родины поэта), престарелый депутат Мадье де Монжо, бывший изгнанник, синдик парижской журналистики Журд. Бордье восхвалял его как драматурга, Жюль Кларети — как писателя, Леконт де Лиль — как поэта. Говорили еще: актер Го, Гийом, американский полковник; негр из Гаити, житель острова Гернси, где великий изгнанник провел 18 лет; итальянец Массерани, упомянувший о единении народов латинской расы. Родные и друзья Гюго сняли гроб с катафалка и отнесли в склеп, где поставили его возле гроба Руссо.

Таковы сведения о похоронах Гюго, которые попали в русскую печать. Посмотрим теперь, какую оценку событию дал Моренгейм. Он следил за французской прессой. От него не укрылся опубликованный в «Journal Officiel» от 31 мая 1885 г. «бесконечный» список депутаций, сопровождавших похоронный кортеж. Он недаром называет похороны «местом встречи интернациональной демагогии»; Моренгейм нашел здесь группы политических друзей В. Гюго, изгнанников Франции, всех «осужденных и изгнанников Коммуны», которых Гюго защищал и в судьбе которых он принял участие; царский посол должен был отметить многолюдное участие в по-

хоронах и русской политической эмиграции, во главе с редакцией «Народной Воли».

Приводим выдержку из самого письма.

*Перевод:*

За истекшую неделю никаких событий, заслуживающих включения в очередные донесения, не произошло. Она была целиком посвящена расчетливому использованию (exploitation à froid) похорон Виктора Гюго; явление это столь типическое, что целесообразно рассмотреть—тоже хладнокровно—его истинное значение. Нет нужды уверять вас, что я не вношу сюда никакой предвзятости, а стремлюсь лишь к самой добросовестной точности. Если моя подробная оценка расходится с преднамеренной показной пышностью, которой придерживается большинство газет,—это не моя вина. Вы сами могли заметить, сколько искусственности сквозит в этих излишних риторических упражнениях. Возможно, что на расстоянии можно впасть в заблуждение и принять это за восторженное и непосредственное отдание долга всей нацией поэту, талант которого она в своем представлении бесконечно преувеличила. Нет, ничего подобного тут не было. Чего особенно недоставало этому всецело заказному торжеству—это воодушевления, непосредственности и единодушия. Оно явилось не чем иным, как громадной партийной манифестацией, демонстрацией-монстр в честь радикализма и безбожия. Хотели только чествовать с блеском, устроить нечто вроде апофеоза (это слово цинично и употребляется), устроить царственный триумф революции и антихристианству. Если бы кучке демагогов, которая захватила поэта еще при его жизни, сотворив себе из него фетиш, и задумала воспользоваться его трупом в своих целях, не удалось отстранить от его смертного одра какое-либо вмешательство религии,—никакого апофеоза не было бы. Похороны покойника, от которых нельзя было бы извлечь своей пользы, ничем не отличались бы от похорон Ламартина или Мюссе, которые были ничуть не хуже Гюго. Нет, речь тут шла не о более или менее крупном поэте, но об апостоле того, что называют свободомыслием, и праздник, который задали парижскому простонародью и на который приглашали присоединиться и весь мир, был в действительности не чем иным, как праздником вольной мысли, как мягко называют безбожие. Этой лженародной манифестацией, по всеобщему признанию, руководило французское франк-масонство, вкупе с франк-масонством итальянским; к ней не преминули присоединиться толпы зевак, завербованных в тех слоях населения, которые жадны до любого зрелища, будь то похороны, карнавал или масленичный бык. Можно сказать, что за исключением официальных приглашенных, членов так называемых здесь правительственных организаций и т. п., люди из мало-мальски значительных (élevées) слоев общества полностью уклонились от присутствия на похоронах и только в качестве простых зрителей кое-где из любопытства выглядывали из окон. Это столь единодушное уклонение также имело характер демонстративный и, разумеется, относилось не к прославленному поэту, а к тем, кто подобным образом профанировали достойный предмет национальной гордости. Факт профанации храма с целью заменить в нем христианский культ культом безбожия содействовал этому расколу. Накануне торжества кто-то сорвал крест над порталом храма и опрокинул престолы,—и тем самым было достигнуто именно то, чего, в сущности, хотели.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ ГЮГО
„ТРУЖЕНИКИ МОРЯ"
Гравюра М. Пикова, 1931 г.
Частное собрание, Москва

Официальная газета приводит бесконечный список депутаций, участвовавших в траурном шествии. Если опять-таки не считать официальных лиц, присутствовавших по обязанности, то шествие это являлось не чем иным, как местом свиданий всех международных демагогических сил. Нигилисты, разумеется, были представлены здесь весьма широко; редакция «Народной Воли» торжественно несла большой венок. Была, конечно, и польская делегация; она даже, повидимому, имела некоторый успех, ибо, как видно из «Siècle», ее приветствовали возгласами: «Да здравствует Польша!».

Не стану упоминать о всех событиях этой недели, посвященной нравственной оргии. Подступы к дому покойного и к арке Этуаль, превращенной во временную усыпальницу, напоминали настоящую ярмарку. Самая постыдная мелкая торговля устроилась там в импровизированных лавочках. Тут пили, ели, горланили непристойные песни и плясали простонародные пляски. Даже радикальные газеты, как, например, «Télégraphe», откуда я черпаю общее описание и выражения, с отвращением восстали против подобных излишеств.

И к участию в такой-то общественной демонстрации правительство имело бестактность пригласить дипломатический корпус, предоставив послам место п о з а д и председателей обеих Палат (следовательно, позади г. Флоке), в то время как президент Республики лично не присутствовал, а был представлен одним из генералов. И все же, не весь дипломатический корпус воздержался принять это приглашение. Не приняв, правда, участия в шествии, послы Англии и Италии, а также посланники греческий и шведский, все же явились на предназначенные им места на трибуне для официальных лиц,—и явились по распоряжению своих правительств!

Это не помешало, однако, газетам сообщить, что дипломатический корпус был в полном составе и в парадной форме.

После стольких словесных упражнений сегодня в газетах преподносится завершающий сноп декламаторского фейерверка: «Это было не погребение усопшего, это было воскрешение некоего бога»,—восклицает одна газета. А другая, стремясь превзойти первую, говорит, что это было празднество «вознесения». Дальше итти уже некуда!

Такова, любезнейший Николай Карлович, неприкрашенная истина этого погребального шутовства. Многие, даже из тех, которые вынуждены были в нем участвовать, чувствуют себя униженными и стыдятся за самих себя, и у них хватает мужества признаться в этом с глазу на глаз. Не один высокопоставленный чиновник, не один известный писатель говорили мне: «Какое грустное впечатление должно сложиться у вас о нашей стране»— и прочее в этом же духе. Г-н де Фрейсине, очень рьяный, даже суровый протестант, сказал мне, что он удручен.

Так как здесь теперь все поглощено возрастающими заботами о предстоящих выборах, то оба основных лагеря уже подсчитывают, какое действие произведет эта грандиозная демагогическая агитация на народное сознание. Наиболее непримиримые, сделав себе из Триумфальной арки выборный трамплин, думают, что тем самым обеспечили себе мощное орудие пропаганды. Консерваторы всех толков думают, что, наоборот, попустительство правительства превратит похороны Гюго в похороны самого правительства, которое будет осуждено народною совестью. Я думаю, что если этот маневр и будет иметь какое-нибудь влияние на выборы, то только тем, как я предвижу это еще со времени падения г. Ферри.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ ГЮГО „ТРУЖЕНИКИ МОРЯ"
Гравюра М. Полякова, 1931 г.
Частное собрание, Москва

что будет способствовать значительному усилению обеих крайних партий, т. е. радикалов и роялистов, а это создаст трудности и сделает шатким л ю б о е французское правительство.

На подлиннике рукою Александра III надписано: «Курьезно и отвратительно, я желал бы иметь копию» [т. е. копию этого письма][67].

Характерна одна деталь. Моренгейм сочувственно цитирует слова антиклерикала Фрейсине, на которого вся парадная сторона похоронного торжества произвела самое грустное впечатление. Это был тот самый Фрейсине, который полгода спустя (с 7 января 1886 г.) стал во главе нового французского кабинета и близостью с которым Моренгейм воспользовался для того, чтобы всячески пропагандировать казавшуюся сначала вполне неосуществимой идею франко-русского политического союза[68].

Фрейсине был не одинок в своем отрицательном отношении к тому пышному торжеству, которое организовано было по случаю смерти Гюго. Он мог найти единомышленников и среди молодых писателей Франции, для которых Гюго уже давно перестал быть кумиром. Об их настроениях своевременно оповещал русского читателя Тургенев. Об этих же настроениях вспоминал позднее, как раз по поводу похорон Гюго, другой русский писатель П. Д. Боборыкин. «Привелось мне быть свидетелем и всенародных похорон „поэта-солнца",—писал Боборыкин.—Никогда ничего подобного еще не видел Париж. Но хоронили не одного Виктора Гюго, а вместе с ним и целую эпоху литературы, и траурное торжество ночью около Триумфальной арки, и длинная, бесконечная процессия на другой день утром смотрели, однако, скорее праздничным зрелищем, чем похоронной процессией, проникнутой чувством всенародного горя. Тело поэта было набальзамировано и должно было лежать около недели, из-за сложных приготовлений к похоронам. Доступ в дом Виктора Гюго, на аллее, которая носит его имя, был довольно трудный. Я добыл его через Наке, бывшего в последние годы жизни Гюго своим человеком в его семействе. В той бледно-желтой мумии, которая лежала полуодетая на кровати с балдахином, трудно было узнать живого старика, торжественно-ходульно обращавшегося к нам, членам международного конгресса, фразой, оставшейся у меня в памяти: „Вы—послы человеческого духа!" («Vous êtes les ambassadeurs de l'esprit humain!»).

Когда я в аллее Елисейских полей, в толпе зрителей, собравшихся со всех концов Парижа, смотрел на бесконечную вереницу депутаций, следовавших за катафалком, где лежало тело Виктора Гюго, трудно было не видеть, что вся Франция, а за нею вся Европа, провожает останки поэта, достигшего самых недосягаемых высот национальной и всемирной славы. Но тут же на многих пунктах, где стояла толпа, а может быть, и среди самих депутатов находились уже молодые писатели, которые считали себя бойцами новой литературной эпохи. В эти годы уже и натурализм не считался последним словом; народилось уже поколение гораздо более впечатлительных и требовательных людей, с ранней изломанностью души. Для них „поэт-солнце" был уже чуть не трескучим ритором и глашатаем общих мест деизма, гуманизма и морализма. Они искали своих божков вне Франции, с презрением относясь ко всякому национальному самомнению. Для них гораздо дороже и ближе к ним были Тургенев, Толстой, Достоевский»[69].

Все эти свидетельства не воссоздают еще, разумеется, общего настроения, которое владело множеством людей, бывших очевидцами похорон Гюго. Разноречие толков, столкновения неприязни и самого восторженного преклонения перед покойным поэтом были неизбежны в этой огромной толпе, на глазах которой происходило печальное торжество. Тем важнее для нас, что в этой толпе были и преданные русские друзья великого писателя-демократа, всегда свято чтившие его память.

В нашем распоряжении имеется еще один документ, красноречиво это подтверждающий: некролог Гюго в русском издании «Общее дело», выходившем в Женеве[70]. Автор этого некролога А. Х. Христофоров, подчеркивая «необыкновенное возбуждение, вызванное во Франции смертью В. Гюго и необычайною торжественностью его похорон» не только не удивляется размаху и великолепной пышности траурного празднества, но вполне их оправдывает действительным значением того человека, которого в этот день хоронила вся Франция и весь образованный мир. Этот некролог совершенно отчетливо формулирует мысли и чувства, которые, нужно думать, владели представителями русских эмигрантских делегаций, следовавшими за гробом великого поэта. «Мы, предупреждает автор,—видели целый народ, колено-преклоненный перед гробом поэта, воздающий ему почти божеские почести, забрасывающий его гроб цветами похвал, до того восторженных и ярких, что самые искренние поклонники поэта начали чувствовать, что в этом великолепном храме благоговения, воздвигнутом ему его благодарными соотечественниками, стало, наконец, душно, как в церкви, в которой слишком много накадили». Тем не менее, его не интересуют «причины всех этих преувеличений», так как «нельзя не видеть, что в жизни и деятельности В. Гюго есть черты, которые в значительной степени осмысливают и оправдывают их». Последующая характеристика Гюго как писателя и общественного деятеля продиктована вполне сознательным уважением к его личности и делу его жизни; показательно, что в эту характеристику вплетены и слова благодарности за активную помощь Гюго русским товарищам-революционерам; одинаково далекая как от панегиризма и бессодержательной риторики, так и, тем более, от клеветнического порицания, указанная статья о Гюго «Общего дела» может служить примером той оценки, какую великий демократический писатель Франции заслужил в кругах русской революционно-демократической интеллигенции середины 80-х годов. «Изо всех поэтов, равных ему по силе дарования и пользующихся всеобщей известностью, едва ли не он один в продолжение всей жизни служил интересам человечности в ее наиболее популярных проявлениях без колебаний и усталости, без гнева и разочарования, с той постоянно спокойной и ровной торжественностью, которая давала бы право сказать о нем, что он был олимпийцем чувств милосердия и любви, подобно тому как иные из его великих собратий по музе были олимпийцами чистого искусства. Уважением своей нации поставленный на высоту выше царственной, окруженный почетом своих и чужих, он пользовался своим высоким положением, чтобы ходатайствовать перед царями и правителями за их политических врагов, побежденных и осужденных ими на смерть, не разбирая партии и национальности последних, от французских коммунистов до наших соотечественников Геси Гельфман и Гартмана. Такая роль прилична высокому поэтическому дарованию, и общее уважение к человеку, с достоинством выполнившему ее, не требует особенных объяснений. Уто-

мленное кровавой враждою безысходной общественной и личной борьбы, современное человечество в глубине души жаждет мира и любви, и вот, завидев в среде своей личность, способную служить для него олицетворением этих чувств, оно спешит возвести ее на пьедестал, откуда она могла бы быть видна всем, как символ и пример, хотя бы олицетворение было далеко не полным и пьедестал слишком громаден для размеров поставленного на нем человека». Так или приблизительно так думала о Гюго прогрессивная часть русской интеллигенции вплоть до конца XIX столетия.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] V. W., Политическая жизнь Гюго.—«Русский Вестник», 1875, 295—318.

[2] Некрасов, Собрание сочинений, ред. В. Е. Евгеньева-Максимова и К. Чуковского, М.—Л., 1930, V, 457; ср. 465 (письмо к А. А. Краевскому от 13/25 июля 1869 г.).

[3] «Искра», 1869, № 16, 196.

[4] Каратыгин П. П., «Зубоскал» и «Баранье стадо» (Современная повесть).—«Всемирный Труд», 1869, № 5, 1—86.

[5] Некрасов, Собрание сочинений, V, 486.

[6] Салтыков-Щедрин М. Е., Письма, Л., 1925, 106.

[7] Гаршин В. М., Собрание сочинений, Письма, «Academia», 1934, III, 442.

[8] Ibid., 228; ср. еще стр. 13 и 38.

[9] Лавров П. Л., Этюды о западной литературе, П., 1923, 99—100.

[10] Шелгунов Л., Воспоминания, П., 1923, 279; Козьмин Б., Г. Е. Благосветлов и „Русское Слово".—«Современник», 1922, I, 205—215.

[11] Быков П. В., Силуэты далекого прошлого, М., 1930, 39.

[12] См., напр., «По поводу бала в ратуше», перев. Ю. В. Доппельмайер.—«Дело», 1870, № 4; «Ночью и днем» (из «Châtiments»), перев. П. И. Вейнберга.—«Вестник Европы», 1871, № 1; «Моисей на Ниле», перев. В. П. Буренина.—«Вестник Европы», 1871, № 6; «Фалькенфельс» (из «L'Année terrible»), перев. П. И. Вейнберга.—«Отечественные Записки», 1872, № 10; «Ты библиотеку...», перев. Ю. В. Доппельмайер.—«Отеч. Зап.», 1873, № 4; «Пленница», перев. В. П. Буренина.—«Складчина», лит. сб., СПБ. 1874; переводы А. К. Шеллер-Михайлова: «Горе паши», «Фата».—«Дело», 1876, № 12; «Взятый город», «Песня пиратов».—«Дело», 1877, № 2; «Лунный свет».—«Дело», 1877, № 6; «В церкви» (из «Chants du crépuscule»), перев. Н. Д—вой.—«Вестник Европы», 1877, № 7; «Народу. На берегу океана» (из «Châtiments»), перев. А. Барыковой.—«Отклик», лит. сб., СПБ. 1881; другие ее переводы объединены в книге «Стихотворения», изд. 2-е, М., 1910; здесь помещены: «Перед рассветом», «Преступницу ведут», «Свирепо равнодушна» (из «L'Année terrible»), «Голоса на чердаке» (из «Les Quatre vents de l'esprit»), «Исчезнувший город», «Караван», «Воспоминание 2 декабря», «Чья вина», «У колыбели», «Разбитая ваза», «Бедные люди», «Сказка про льва». См. еще стихотворения Гюго в перев. В. Лихачева.—«Вестник Европы», 1881, № 2; «Les Quatre vents de l'esprit», перев. В. Маркова.—«Неделя», 1881, № 27; «На прогулке».—«Неделя», 1883, № 26; «Экстаз», перев. М. П. Розенгейма в его «Стихотворениях», изд. 7-е, СПБ. б. д., I, 33; «Поэты в смутную эпоху», перев. Л. П. Бельского.—«Пантеон Литературы», 1888, март; «Караван» (из «Châtiments»), перев. О. Н. Чюминой.—Там же, 1888, июнь; «Lux» (из «Châtiments»).—Там же, 1889, январь, и много др. Значительное число этих переводов вошло в «Собрание стихотворений Гюго в переводах русских писателей», ред. И. Ф. Тхоржевского, Тифлис, 1896, а также в «Собрание сочинений» Гюго на русском языке в издании «Просвещения», 1910, ред. и предисловие П. С. Когана и в издании И. Д. Сытина, М., 1915 г., с критико-биографическим очерком проф. А. И. Кирпичникова.

[13] Фельетоны В. В. Стасова: «Две статьи Вестника Европы» и «Оправдания Арсеньева» помещены были в «Новом Времени», 1877, № 557, 16 сент. и № 567, 26 сент. Ср. Стасов В. В., Собрание сочинений, СПБ. 1894, III, 1421—1427.

[14] В. И. Модестов вспоминает, что у него долго хранился «ради статьи, написанной сыном В. Гюго», номер газеты «Rappel», 1872 г., посвященный результатам французского займа, собиравшегося для уплаты немцам огромной контрибуции после проигранной войны.—Модестов В. И., О Франции, СПБ. 1889, 18—19.

[15] Архив Института литературы АН СССР, Ленинград. Собрание М. И. Семевского.

[16] Мальмгрен Э. А., К биографии бар. Н. К. Богушевского.—«Литературный Вестник», 1901, I, кн. 1, приложения, 5—7; «Русский Библиофил», 1911, III, 71; Cooper (Thompson), The men of the time, 10-th ed., 125—127.

[17] См. «Adressenbuch für Autographen- und Porträts-Sammler», hrsg. von E. Fischer v. Röslerstamm, 1887, 64—65; «L'amateur d'autographes», publ. sous la direction de E. Charavay, P., 1889—1890 (№№ 400—402).

[18] К сожалению, замыслы Богушевского опубликовать наиболее ценные рукописи осуществлены были лишь в самой малой степени. Издание задуманного им «Русского автографического альбома с 1675 по 1875 гг.» не состоялось, но, начиная с 1873 г., отдельные автографы своего собрания, преимущественно русские, Богушевский печатал в «Русской Старине» (VIII, IX, XXIX, LXIV, LXXXV), находясь в постоянных дружеских сношениях с издателем этого журнала М. И. Семевским (см. Альбом М. И. Семевского «Мои знакомые», 75, 150, 194), чем и объясняется нахождение приведенного выше письма В. Гюго в архиве Семевского. В 1877 г., в письме к одному из русских провинциальных археологов-любителей, прося последнего прислать ему свою фотографическую карточку, Богушевский писал: «Карточка будет в моем альбоме в достойном вас обществе европейских ученых, друзей моих. Между ними есть и Карлейль, и Виктор Гюго, и Бульвер-Литтон, и Оуэн, и Дарвин...».—«Переписка И. А. Голышева с разными учеными лицами». Издание в количестве 100 экз., Владимир, 1898, 181—182.

[19] Литературный музей, Москва. Портрет представляет офорт художника Фредерика Регаме (Régamey, p. 1851), сделанный в 1872 г. Рама из колосьев и цветов, в которую заключен портрет, сделана по рисунку самого Гюго. Подпись Гюго на этом портрете является наиболее поздним из всех выявленных до сих пор автографов писателя в собраниях СССР.

[20] См. о ней в сборнике «Памяти А. П. Философовой», П., 1915.

[21] Письма И. С. Тургенева к А. П. Философовой опубликованы Н. М. Мендельсоном.—«Звенья», V, 286—288, 297—303.

[22] Гроссман Л., Жизнь и труды Ф. М. Достоевского, «Academia», 1935, 246, 261, 267, 270, 272, 282, 284, 291, 292.

[23] Головин К., Мои воспоминания, СПБ. 1908, I, 371—372, 302—303; ср. Тыркова А. В., Анна Павловна Философова.—«Вестник Европы», 1912, VI, 318—324.

[24] Архив Института литературы АН СССР, Ленинград. Бумаги А. П. Философовой.

[25] Заимствуем эти сведения из сборника «Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования», Харьков, 1908, 206—208.

[26] Кони А. Ф., С. А. Андреевский по личным воспоминаниям.—Предисловие к книге Андреевского «Книга о смерти». Мысли и воспоминания, Л., 1924, 9.

[27] Андреевский С. А., Литературные очерки, изд. 4-е, СПБ. 1913., 383—384.

[28] «Любить—значит действовать. Виктор Гюго».—Автограф Гюго и письмо Ришара Леклида предоставлены для публикации в «Литературном Наследстве» К. В. Ползиковой-Рубец (Ленинград), дочерью О. Н. Доброжанской.

[29] «Исторический Вестник», 1880, № 7, 575.

[30] Б[улгаков] Ф., Венок на памятник Пушкину, СПБ. 1880, 45; ср. «Общество любителей российской словесности». Исторические записки за сто лет, М., 1911, 84—85. Цитирую это письмо В. Гюго по словам видевшего его Ф. Булгакова; в печати оно не появлялось, и местонахождение его в настоящее время неизвестно.

[31] Кони А. Ф., Встречи с Достоевским.—«Вестник Литературы», 1921, II (26), 8.

[32] Например, «Русский Курьер», 1880, № 172, сообщая последние известия о Дантесе, пишет: «Он тот самый Геккерен, о котором так нехорошо говорит Виктор Гюго в своих „Châtiments“». См. по этому поводу разъяснения Б. В. Никольского, который указывает, что «имени Геккерена в тексте „Châtiments“ не встречается, но к нему, вместе с другими, относится стихотворение „Ecrit le 17 juillet 1851, en descendant de la tribune“, как это видно из примечания к этому стихотворению, где приведены насмешливые и грубые выходки Геккерена...»—Никольский Б. В., Идеалы Пушкина, СПБ. 1899, прилож., 138—141.

[33] На историческую ценность этого альбома и на желательность «перепечатки или, собственно, опубликования» многих любопытных записей его указали Б. Л. Модзалевский («Бирюч Петроградских Гос. Театров», 1919, июнь—август, 142—143), затем Л. Б. Модзалевский (в заметке «Записи корифеев литературы».—«Известия ЦИК СССР», 1934, 29 октября) и Н. Киселев («Еще об альбоме О. А. Козловой».—«Известия ЦИК СССР», 1934, 15 ноября). В дополнение к ним укажем, что рецензия на первое издание альбома, удостоверяющая его автографическую подлинность, появилась в «Новом Времени», 1883, № 2377, от 11 октября. Второе издание, вышедшее через шесть лет после первого, без обозначения года и места печати [1889] и без цензурного разрешения, значительно увеличено записями 1888—1889 гг. (стр. 180—227); библиотека Института

литературы АН СССР, которой мы пользовались, имеет несколько экземпляров обоих изданий, причем в экземпляр изд. 1883 г., происходящий из библиотеки М. Н. Лонгинова, вклеен и фотопортрет владелицы альбома.

[34] «Album de Madame Olga Kozlow», М., 1883, 13. Приводим перевод стихотворения, сделанный М. Таловым:

Песня

Розе молвила могила:
«Днесь ты зорных слез испила,
Что ты сделала с росой?»
Роза ей, дрожа от страха:
«Что ты сделала из праха,
Поглощенного тобой?»

Роза молвит: «Враг созданья
В амбросийное дыханье
Претворила я росу!»
Говорит могила: «В землю,
Только хладный прах приемлю,—
Тотчас ангелом взнесу».

[35] См., например, Hugo V., Œuvres complètes, éd. Hetzel et Quantin (последнее прижизненное и просмотренное автором издание), Poésie, III, 367.

[36] См. переводы Никомского («Могила и роза».—«Библиотека для Чтения», 1838, XXVII, отд. I, 16) и Н. Степанова («Могила и роза».—«Альманах на 1838 год», изд. В. А. Владиславлева, СПБ. 1838, 218).

[37] «Théâtre des Nations. Musée Victor Hugo. A l'occasion des représentations de Notre-Dame de Paris», (Paris) 25 novembre 1885, 17, № 130.

[38] Биографию и список работ П. А. Козлова см. Языков Д., Обзор жизни и трудов русских писателей, СПБ. 1909, вып. XI, 73—75.

[39] Энгельгардт Н., Давние эпизоды.—«Исторический Вестник», 1910, № 10, 123—144.

[40] [Шебеко] «Хроника социалистического движения в России. 1878—1887. Официальный отчет», М., 1906, 67—69. Ср. также некролог Л. Н. Гартмана (1850—1913) в «Голосе Минувшего», 1913, V, 276—277 и Покровский М. Н., Дипломатия и войны царской России в XIX столетии, М., 1923, 315.

[41] [Шебеко] op. cit., 69—72.

[42] Французский текст воззвания Гюго о невыдаче Гартмана см. «Œuvres complètes», éd. Hetzel et Quantin. Actes et Paroles, IV, Depuis l'exil, 1876—1885, s. a., 237; он перепечатан также полностью в журнале «Былое», 1907, № 4 (16), 191.

[43] [Шебеко] op. cit., 72.

[44] [Катков М. Н.] Не сама ли Россия повинна в решении Франции.—«Московские Ведомости», 1880, № 79.

[45] [Шебеко] op. cit., 72.

[46] «За кулисами политики и литературы». Воспоминания Е. М. Феоктистова, Л., 1929, 264—265.

[47] «К. П. Победоносцев и его корреспонденты», М., 1924, II, 717.

[48] Ibid., 796—815.

[49] Таково было, например, мнение К. П. Победоносцева: «Герой—русский нигилист, в коем не трудно узнать Гартмана»,—писал он о «Жерминале» Е. М. Феоктистову (см. «Воспоминания» Е. М. Феоктистова, 236). Основание для такого сопоставления дал сам Золя, вложив в уста своего героя в окончательном тексте романа рассказ о подготовке взрыва царского поезда на Московско-Курской ж. д. 19 ноября 1879 г. Однако, образ Суварина гораздо сложнее и не может быть сведен к портрету одного «нигилиста». Ср. Клеман М. К., Эмиль Золя, Л., 1934, 170—175.

[50] Письмо хранится в Литературном музее, Москва.

[51] См. об этом в статье Н. К. Лебедева, П. А. Кропоткин и народовольцы.—Сборник «1-го марта 1881 г.», изд. «Кружка народовольцев», М., 1933, 126—127. Укажем еще, что в своей анонимной брошюре «La vérité sur les exécutions en Russie» (Edition du «Revolté» Genève, 1881) Кропоткин приводит (на стр. 18) стихотворение Гюго «Qui l'épouvante en est venue à ce degré...» и предваряет его такими словами: «Вот стихи Виктора Гюго, о которых можно сказать, что они специально написаны по поводу Геси Гельфман».

[52] [Шебеко] op. cit., 222—223; здесь приведены французский и русский тексты этого воззвания.

[53] «Процесс 20-ти».—«Былое» (Лондон), 1900, II, 134.

[54] I b i d., 134—135.

[55] M-me A d a m (Juliette Lamber) была в Петербурге в январе 1882 г. К. П. Победоносцев писал о ней Александру III как о «политической авантюристке, которая состоит в числе главных агентов республиканской партии, в связи с планами и расчетами Гамбетты».—«Победоносцев и его корреспонденты», М.—П., 1923, I, 179—180; ср. «Mémoires de M-me Adam», P., 1902—1910, 7 vol.

[56] «Былое» (Лондон), 1900, II, 135.

[57] См., например, «Новое время», 1885, № 3305; «Русские Ведомости», 1885, №№ 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140; «Новости и Биржевая газета», 1885, №№ 127, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142; «Московские Ведомости», 1885, №№ 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144; «Одесский Листок», 1885, №№ 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113; «Одесские Новости», 1885, №№ 124, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 135; «Новороссийский Телеграф», 1885, №№ 3056, 3057, 3059, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067; «Киевлянин», 1885, №№ 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 119; «Вокруг Света», 1885, № 19—20; «Иллюстрированный Мир», 1885, № 20, 315; «Всемирная Иллюстрация», 1885, № 853, 409 (некролог); № 856, 463—466 (описание похорон); «Нива», 1885; «Новь», 1885, № 15; «Еженедельное Обозрение», 1885, № 74; 588—590; № 75, 637—638; «Модный Свет», 1885, № 22; «Вестник Европы», 1885, VI, 857—861; «Исторический Вестник», 1885, № 5; «Колосья», 1885, № 5 и мн. др. Любопытно свидетельство Л. А. Полонского: «У нас до сих пор Гюго признавался великим поэтом только теми, кто сам, с детства, непосредственно знакомился с иностранными литературами. Но число таких читателей невелико. Для всей же публики, составляющей свои мнения при помощи критики русской, значение Гюго представлялось спорным... При таком предварительном настроении нашей печати относительно Гюго, весьма скромны были первые строки, посвященные его памяти русскими газетами. Несколько слов робкой похвалы пробивались в них сквозь решительные оговорки». Однако, широкий отклик, который смерть и похороны Гюго нашли в европейской прессе, настроили ее на иной лад: «Наши газеты чутки... они по вторым и третьим телеграммам из Парижа уже убедились, что первоначальный тон был взят ими слишком низко, и сразу взяли вверх, кто на терцию, кто на квинту, а кто и на целую октаву».—П о л о н с к и й Л. А., Виктор Гюго.—«Русская Мысль», 1885, VI, 195—196 (Отметим здесь же мимолетное воспоминание автора о литературном обеде в Париже «в присутствии Гюго», стр. 196). См. еще А в е р к и е в Д. В., «Дневник Писателя», 1885, VI, 197—201.

[58] З а г у л я е в М. А., Отовсюду.—«Новое Время», 1885, № 3246; Ч у й к о В. В., В. Гюго.—«Наблюдатель», 1885, № 6, 168—169. П. Б о б о р ы к и н в фельетоне «Писатель» вспоминает, что «в неделю между смертью и похоронами» В. Гюго ему «привелось бывать во многих писательских гостиных» Парижа и воспроизводит все отзывы и толки о Гюго, которые ему пришлось там слышать.—«Новости и Биржевая газета», 1885, № 145.

[59] В. Т., Рисунки Гюго.—«Художественный Журнал», 1885, VII, 521—526.

[60] «Политическая хроника».—«Наблюдатель», 1885, № 6, 40—43.

[61] Статьи, из которых взяты эти цитаты, указаны в прим. 57-м и 58-м.

[62] О бар. А. П. Моренгейме (1824—1906) см. «С.-Петербургские Ведомости», 1906, № 221 (некролог); H a n s e n (Jules), Ambassade à Paris du baron de Mohrenheim 1884—1898, P., 1907; изложение этой апологетической книги см. в статье: «Барон Артур Павлович Моренгейм и его роль во франко-русском сближении».—«Русская Старина», 1907, № 5, 307—325; № 6, 449—465; «Русский Архив», 1897, I, 81—82.

[63] Г о л о в и н К., Мои воспоминания, СПБ. 1910, II, 24.

[64] Архив внешней политики, Москва. Фонд М. И. Д., Канц., Réception 1881, лл. 212—216 об.

[65] См. выше, прим. 1-е.

[66] Для сравнения с русскими печатными известиями о похоронах Гюго см. описания и документы, помещенные в издании: «Œuvres complètes de V. Hugo». Actes et paroles. IV. Depuis l'exil, P., s. a. (éd. J. Hetzel et A. Quantin), 201—232; «Un Hugolâtre. Les funérailles de V. Hugo».—«Revue Contemporaine», 1885, II, 214—222.

[67] Архив внешней политики, Москва. Фонд М. И. Д., Канц., Réception 1881, лл. 209—212 об.

[68] «Русская Старина», 1907, № 6, 314.

[69] Б о б о р ы к и н П. Д., Столицы мира. Тридцать лет воспоминаний, М., 1911, 195.

[70] «Общее Дело», Женева, 1885, май, № 73, 15—16. Авторство А. Христофорова устанавливается по принадлежавшему ему редакционному комплекту издания (хранится в ИМЭЛ), где под этой заметкой проставлены его инициалы—«*А. Х.*»

*ПРИЛОЖЕНИЯ*

## НЕИЗДАННЫЕ ТЕКСТЫ ГЮГО

Публикация М-me Cécile Daubray (Париж)*

I. СТИХИ: „L'ÉCHAFAUD VIEILLI CROULE..." — II. ПИСЬМА И ЗАПИСКИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С РУССКИМИ ЗНАКОМСТВАМИ ГЮГО. — III. ОПИСЬ АВТОГРАФОВ ГЮГО В СОБРАНИЯХ СССР

«Литературное Наследство» просило меня дать комментарий к письмам и автографам Виктора Гюго, собранным редакцией в советских архивах. Я делаю это с тем большим удовольствием, что, посвятив всю свою жизнь изучению творчества нашего великого поэта, я всегда с радостью пользуюсь всяким случаем, когда представляется возможность как за границей, так и во Франции лучше познакомить с его личностью и заставить ее полюбить.

Следует пожелать, чтобы прекрасный почин «Литературного Наследства» послужил примером для других стран. Великие народы, несомненно, выиграют, изучая не только творения, но и жизнь великих людей. А что лучше отражает их личность, как не их письма?

С этой точки зрения некоторые из воспроизводимых здесь писем представляют очень большой интерес. Сгруппированные в хронологическом порядке, они освещают с разных сторон характер Виктора Гюго в различные периоды его жизни и позволяют кое в чем уточнить факты его биографии.

В 1826 г. он горд своими двумя детьми, нежен и почтителен к своему отцу; заботлив к устройству дел своего старого учителя де Ларивьера (письмо к отцу—генералу Гюго от 1 мая 1826 г.); в 1830-х гг. он поглощен собиранием и уточнением сведений для своего «Очерка о Мирабо» (письмо к Люка де Монтиньи от 8 января 1834 г.); в письмах к композитору Гаспаро Спонтини (от 3 мая 1839 г.) и к знаменитой исполнительнице ролей в драмах самого Гюго—Мари Дорваль (письма 1836 и 1838 гг.) он полон интереса и отзывчивости к этим артистам.

Позднее мы его видим стремящимся осуществить мечту всей своей жизни и добиться амнистии коммунарам. В двух письмах к г-же Зели Робер, матери молодого заключенного, приговоренного к ссылке, он старается успокоить эту бедную женщину и, несомненно, предпринимает шаги к спасению ее сына (письма от 1 февраля и 23 ноября 1872 г.). Гюго преисполнен состраданием ко всем побежденным жизнью. Это знали, и отовсюду взывали к нему все, будь то угнетенные нации или просто человек в несчастии.

Его жизнь является прекрасным образцом, и мы, французы, можем только благодарить тех, кто знакомит молодые поколения за границей с именем Виктора Гюго—великого человека с великим сердцем.

Cécile Daubray

### I. СТИХИ

L'échafaud vieilli croule, et la Grève se lave[1].
L'émeute se rendort. De meilleurs jours sont prêts.
Le peuple a sa colère et le volcan sa lave
Qui dévaste d'abord et qui féconde après.

Victor Hugo

19 janvier 1851.

*Перевод:*

Рушится ветхий эшафот, и Гревская площадь умывается[1].
Восстание снова затихает. Приближаются лучшие дни.
Гнев народа—как лава вулкана,
Которая сначала опустошает, а затем оплодотворяет.

Виктор Гюго

19 января 1851 г.

Автограф. — Литературный музей, Москва. 3186/4.

[1] Гревская площадь (с 1806 г.—place de l'Hôtel de Ville)—обычное место казней в Париже. Какой исторический эпизод имеется в виду в этом небольшом, но вполне законченном стихотворном произведении Гюго, сказать затруднительно.

* Перевод писем В. Гюго, как и всей публикации, сделан Е. Гунетом.

## II. ПИСЬМА И ЗАПИСКИ

### 1. Кавалеру де Шазе[1]

[5 февраля 1824 г.]

Вы слишком добры, сударь, что помните обо мне; что касается меня, то я был бы неблагодарным, если бы перестал вас любить и стараться быть вам приятным. Я не раз заходил повидать вас, но тщетно; в дальнейшем, надеюсь, я буду счастливее.

Мои «Новые оды» и 3-е издание старых еще не вышли[2]; я буду счастлив принести вам эту слабую дань моей привязанности.

Я исполню ваше пожелание относительно «Muse française»[3], я уже давно послал бы вам журнал, если бы это зависело от меня. Но я гораздо менее волен в этих делах, чем то думают.

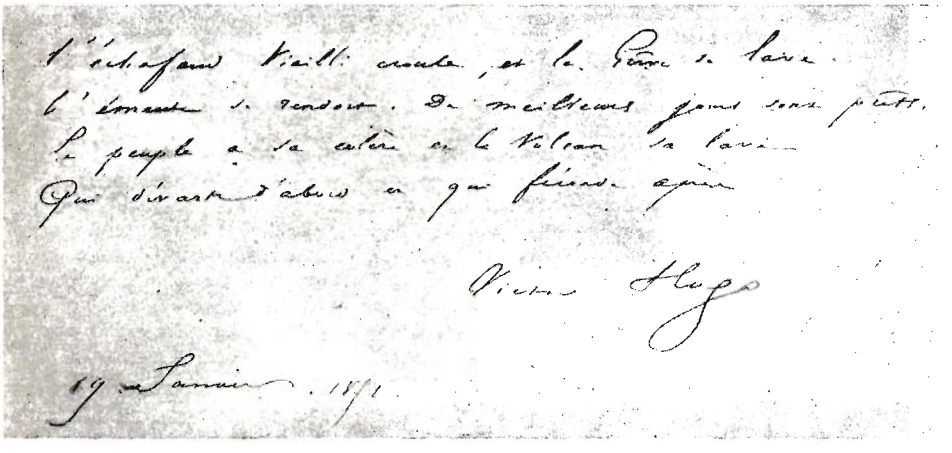
Прощайте, сударь, и верьте моей преданности.

Виктор М[ари] Г[юго]

Четверг, 5 февраля 1824 г.

*Адрес:* Кавалеру де Шазе
Rue Neuve des Petits-Champs, n. 27

Автограф. — Институт истории Академии наук СССР (фонд бывш. Института книги, документа и письма), Ленинград. 1/112, № 371.



АВТОГРАФ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ ГЮГО „L'Echafaud vieilli croule..."
Литературный музей, Москва

[1] Кавалер де Шазе (Chevalier de Chazet, 1775—1844) Андре-Полидор — драматург и поэт, был одним из основателей «Société des Bonnes Lettres», где Виктор Гюго читал свои первые стихи.

[2] Речь идет о лирических сборниках Гюго: «Odes et Poésies diverses» (1-е изд., 1822 г.) и «Nouvelles Odes» (1824).

[3] «La Muse française» — журнал, посвященный поэзии. Виктор Гюго был одним из его основателей, вместе с Эмилем Дешаном, Альфредом де Виньи, Суме, Жиро и Сен-Вальри. Журнал выходил с июля 1823 г. по июнь 1824 г.

### 2. Генералу Леопольду-Сижисберу Гюго

[1 мая 1826 г.]

Дорогой папа,

Мы уже как-то привыкли к удовольствию сознавать, что ты в Париже[1]. Теперь нам кажется, что прошла целая вечность с тех пор, как ты покинул нас, и мы с живейшим сожалением вспоминаем счастливые дни, проведенные в прелестном уединении Блуа; как раз сегодня, когда я пишу эти строки, тому исполнился ровно год[2]. К несчастью,

увеличение количества работы и увеличение моей семьи не позволяют нам надеяться на такое удовольствие в близком будущем.

Надеемся, что с тех пор, как вы уехали, оба вы были здоровы. Мы все чувствуем себя довольно хорошо. Жена моя, как тебе известно, беременна, и беременность ее протекает благополучно. Дидина[3] с каждым днем начинает лепетать все разумнее и вразумительнее.

Посылаю тебе письмо Франси[4], который думал, что ты все еще в Париже. Хоть ты вернешься и скоро, но я не счел возможным оставить письмо до июля.

Господин де Ларивьер становится более настойчивым, а обстоятельства его еще более настойчиво требуют этого. Умоляю тебя сделать для этого достойного человека, моего дорогого старого учителя, все, что ты в силах сделать в настоящее время. Долга ему осталось теперь только 286 франков, сумма это небольшая; к тому же, он более чем простой кредитор. Он имеет право, он страдает и не просит или, по крайней мере, не просил целых 12 лет[5].

Жена моя и дочь целуют твою жену. Ты знаешь, с какой почтительной преданностью привязан к тебе

твой сын
Викто̀р

1 мая 1826 г.

Автограф. — Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. 9805/LIX б. 39.

[1] Отец поэта, генерал Леопольд-Сижисбер Гюго (1773—1828), приезжал в марте 1826 г. на некоторое время в Париж из Блуа, где он жил со своей второй женой, Сесиль Тома, на которой женился в 1821 г., через три недели после смерти первой жены, матери Виктора Гюго.

[2] Гюго со своей женой и новорожденной дочерью Леопольдиной гостил у своего отца в Блуа с 17 апреля по 19 мая 1825 г. Жена и дочь оставались в Блуа, пока сам Гюго ездил в Реймс на коронацию короля Карла X.

[3] Леопольдина, старшая из детей Гюго (1825—1843); она трагически погибла вместе со своим мужем, Charles Vacquerie, утонув во время поездки по Сене, предпринятой после их свадьбы.

[4] Francis Hugo—самый младший из братьев генерала Гюго, дядя поэта. Участвовал в итальянском и испанском походах. Выйдя в отставку, поселился в Тулле, где умер в 1829 г. в возрасте 42 лет.

[5] De Larivière—бывший священник, женившийся во время революции 1789 г., первый учитель Виктора и Эжена Гюго. Генерал Гюго в течение длительного времени оставался должным Ларивьеру 486 франков, составлявших вознаграждение его за обучение детей. В июле 1825 г., находясь в трудном материальном положении, престарелый Ларивьер обратился через Виктора Гюго, ничего не знавшего об этом долге, к его отцу с просьбой об уплате этой суммы. Виктор Гюго, не дожидаясь ответа отца, немедленно уплатил Ларивьеру 200 франков из своих личных средств. Генерал Гюго, со своей стороны, выразил готовность тотчас уплатить долг, однако, как показывает публикуемое письмо, и через год, в мае 1826 г., оставшаяся сумма не была выплачена. Ср. Hugo, Correspondance. 1815—1835. P., 1896, pp. 209—211, 213; о Larivière'e см.: «Victor Hugo raconté par le témoin de sa vie». I, 51—52.

## 3. Александру Декану

[1828 г.?]

Я прошу господина Декана простить мне все мои оплошности; они идут не от сердца и я надеюсь, что он никогда не сомневался в моей живейшей дружбе[1].

Викто̀р

Автограф. — Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва.

Записка приклеена к литографированному Ducarme'ом портрету В. Гюго, работы Legrand, 1828 г. (см. воспроизведение на стр. 781). Эта литография входит в серию „Gallerie Universelle", изданную Blaisot в 1829 г.

[1] Декан (Decamps, 1803—1860) Александр-Габриэль — оригинальный и независимый художник-литограф и карикатурист, впоследствии перешедший на большие композиции. В корреспонденции Виктора Гюго не сохранилось писем, которые могли бы дать указания на отношения его с Деканом. Почерк и подпись на этой записке дают основания отнести ее предположительно к 1828 г.

### 4. [Неизвестному]

[2 октября 1829 г.]

Приходите же, дорогой друг, к нам завтра обедать. Вы будете есть то, что принесли с охоты, и поболтаем.

Весь ваш
Виктòр

Пятница, 2 октября[1].

В 6 часов, не правда ли?

Автограф. — Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из иностранных автографов собрания Бецкого.

[1] 2 октября приходилось на пятницу в 1829 г. (этот год проставлен и на подлиннике, но посторонней рукой). Адресата записки установить не представилось возможным.

### 5. Г-ну Сен-Полю

[Декабрь 1831 г.]

Посылаю г. Сен-Полю экземпляры книг, которые прошу разослать по соответствующим адресам. Буду ему за это признателен. Он найдет среди книг экземпляры, которые я предназначаю ему, а также его сыну,—сверх того два экземпляра «Марион де Лорм»[1].

Тысяча приветствий
В. Г.

Автограф. — ГАФКЭ, Москва. Фонд 86, л. 80 („Альбом Голицына").

[1] Сен-Поль (Saint-Paul) занимался, повидимому, у издателя Рендюэля рассылкой экземпляров изданий, которые авторы направляли со своими надписями критикам и друзьям.

Письмо это может быть датировано декабрем 1831 г. При нем посылались Сен-Полю экземпляры сборника «Feuilles d'Automne», вышедшего 1 декабря 1831 г. «Marion de Lorme» была издана Рендюэлем в августе того же 1831 г.

### 6. Люка де Монтиньи

[8 января 1834 г.]

Сударь,

Не откажите в любезности сообщить мне, действительно ли Мирабо умер у себя дома, на Шоссе-д'Антен. Мне хотелось бы получить эту справку как можно скорее. Тысячу извинений и тысячу благодарностей.

Располагаете ли вы подлинным гербом Мирабо? Не могли бы вы прислать его мне—тоже как можно скорее?[1]

Примите, сударь, уверение в моих наилучших чувствах.

Виктор Гюго

8 января.

*На обороте:* Господину Люка де Монтиньи
91, Rue du Cherche-Midi
Через любезное посредничество гг. Гийо и Офрэ
В. Г.

Автограф. — Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собрание Ляцкого.

[1] Люка де Монтиньи (de Montigny)—приемный сын Мирабо. В начале января 1834 г. Виктор Гюго заканчивал статью о Мирабо («Etude sur Mirabeau»), которая появилась в печати в конце января, а в марте 1834 г. вышла в числе других статей в сборнике «Littérature et Philosophie mêlées». Для этой статьи Гюго и потребовались сведения, за которыми он обратился к Монтиньи, опубликовавшему незадолго до этого «Mémoires de Mirabeau».

### 7. [Автору статей о Гюго, появившихся в «Semeur»]

[17 мая 1834 г.]

Я прочел с величайшим вниманием обе статьи о моей последней книге, помещенные в «Semeur»[1].

Точка зрения автора этих статей расходится с моей, но, тем не менее, я должен сказать, что нахожу их очень содержательными и насыщенными мыслями. Писал их человек талантливый и честный.

Счастлив сказать ему, что в двух его прекрасных статьях есть немало строк, к которым внимание мое не раз будет возвращаться.

Виктор Гюго

17 мая 1834 г.

*На обороте:* Автору статей о В. Гюго, появившихся в „Semeur"

Автограф. — Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253, № 9.

[1] В литературной хронике журнала «Le Semeur» (journal religieux, politique et littéraire) в номерах от 7 и 14 мая 1834 г. были помещены две большие анонимные статьи о только что вышедшей в свет книге Гюго «Littérature et Philosophie mêlées». В первой из этих статей автор останавливается более на форме и, отмечая некоторое расхождение свое с Гюго в мыслях о формах искусства и о его применении, обращает внимание на то, что никто, по его мнению, так не использовал могущество и чарующее действие метафоры, как Гюго. Во второй—автор уже высказывается по существу книги. Относясь критически к происшедшей в Гюго перемене по отношению к христианству и с огорчением констатируя, что «революционер 1830 г.» далеко не так христиански настроен, как «якобит 1819 г.», анонимный автор добавляет: «какая цена религии, которая сразу отпадает и незаметно исчезает вместе с политическою системой, с которой шла об руку». Установить, кто был автором этих статей в «Semeur», не представилось возможным.

## 8. Франсуа Бюлозу

Понедельник, 27-го [июля 1834 г.]

Только-что вернулся из Рош[1] и нашел ваше письмо, на которое спешу ответить. Если вы можете зайти ко мне в четверг 30-го, в 8 часов вечера, я буду вас ждать и устрою так, чтобы нас никто не беспокоил. Однако, если вам удобнее встретиться в другом месте, благоволите уведомить меня о том запиской.

Примите, сударь, вновь уверение в моих наилучших чувствах[2].

Виктор Гюго

*Адрес:* Господину Бюлозу
В редакцию „Revue des Deux Mondes"
6, R[ue] des Beaux-Arts

Автограф. — Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. 9860/LIX б. 39.

[1] В течение ряда лет—начиная, во всяком случае, с 1831 г., Виктор Гюго со своей семьей гостил каждое лето в Roches (la vallée de la Bièvre) у Бертена (Bertin l'aîné), основателя и руководителя «Journal des Débats».

[2] Бюлоз Франсуа (Buloz, 1804—1877)—главный редактор «Revue des Deux Mondes». В 1834 г. он вступил в редакционный совет «Revue de Paris», оставаясь редактором «R. d. d. M.». Желая привлечь В. Гюго в число сотрудников этих журналов, Бюлоз в письме от 20 июля 1834 г. (оно сохранилось в архиве семьи Гюго) просил его назначить свидание для переговоров. Публикуемое письмо Гюго является, повидимому, ответом на это обращение Бюлоза.

## 9. Мари Дорваль

[22 сентября 1836 г.]

С большой радостью узнал, сударыня, что вы совсем поправились. Это первый случай, когда я был рад, что не видел вас.

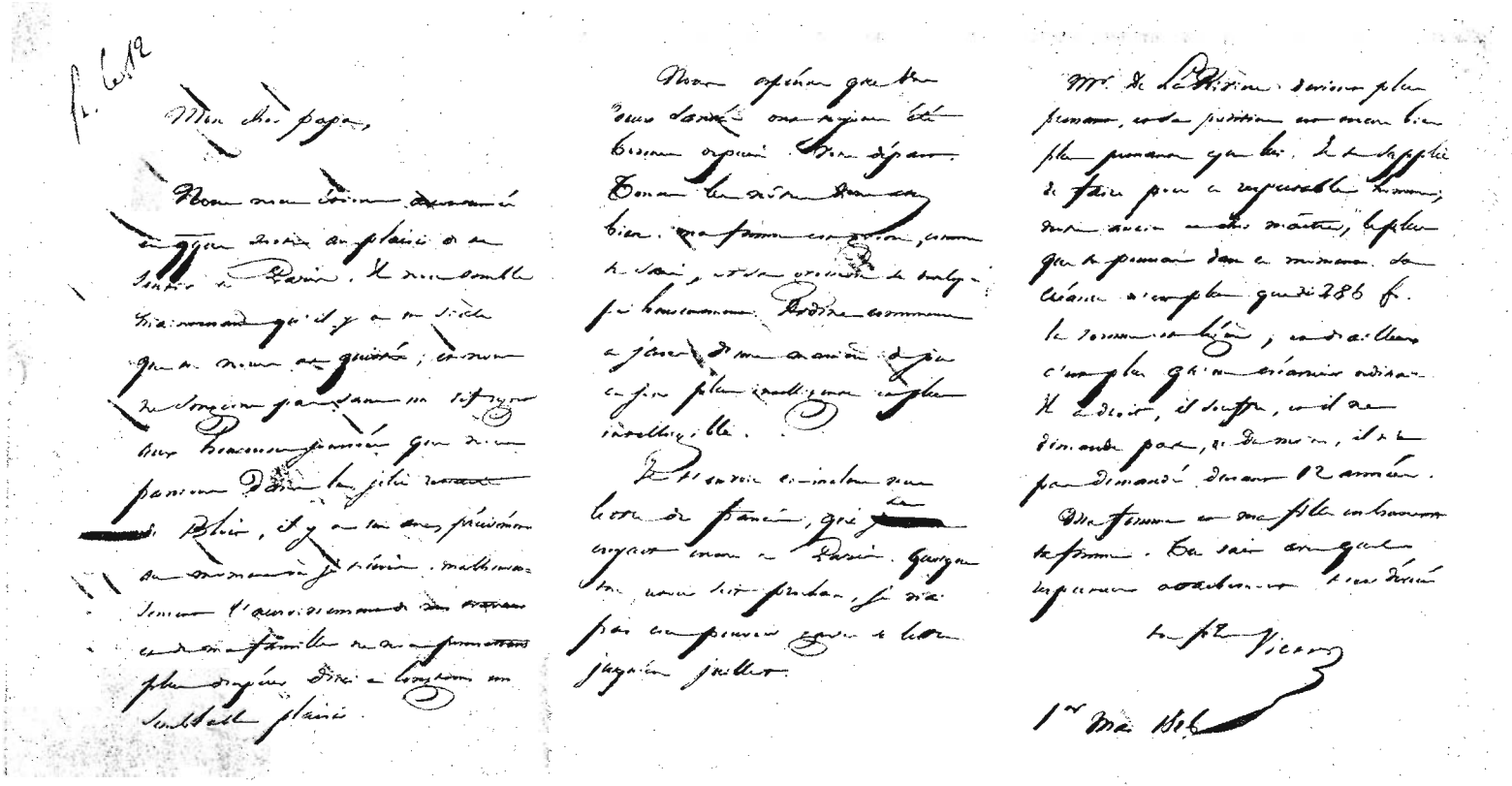
Завтра утром я буду иметь честь засвидетельствовать вам свое почтение[1].

Виктор Гюго

22 сего сентября.

*На обороте:* Госпоже Дорваль

Автограф. — Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собрание Е. М. Кашинской.



АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЮГО К ОТЦУ ОТ 1 МАЯ 1826 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

[1] Dorval Мари (1798—1849)—известная драматическая артистка, создательница основных женских ролей романтического театра.

В 1836 г. с г-жей Дорваль случилось несчастье: когда она читала лежа в постели, около нее загорелись занавески. Представления «Анджело», шедшие в это время в Théâtre Français, были прерваны. На это-то, несомненно, и намекает Виктор Гюго.

## 10. Мари Дорваль

[1838 г.]

Я следил за вами взором, моя очаровательная Тисб, во все время вашего славного шествия. Благодарю вас, что среди стольких триумфов[1] вы, венчанная, вспомнили обо мне.

Мы попрежнему надеемся, что второй Théâtre Français, которого вы будете блестящим украшением, откроется в сентябре. Как и во всех делах сего мира, и тут, то и дело, встречаются материальные препятствия. Антенор Жоли старается преодолеть их. Он всею душой надеется на вас. Я передал ему ваши статьи, он перепечатал их в «Vert-Vert»[2].

Вы пишете мне об «Эрнани». Разве г-н Мерль[3] не сообщил вам, что к такому окончательному решению я пришел именно по его совету. К тому же, помехой явилась и катастрофа с Жусленом де ла Саль[4]. Теперь я и не знаю, как быть. Г-н Ведель[5], повидимому, жалкий человек. Он даже не появлялся у меня. Что это—неведение, невоспитанность, желание задеть меня? Не знаю и только пожимаю плечами.

Затем, сударыня, низко кланяюсь вам с надеждою помочь открытию для вас в скором времени хорошего театра.

Виктор Гюго

Автограф. — Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 6036.

[1] Мари Дорваль, уже создавшая к тому времени роль Марион де Лорм, играла в 1835 г. в Théâtre Français роль Катерины в «Анджело». В следующем году она исполняла в той же пьесе роль Тисб. Письмо это написано во время турнэ г-жи Дорваль по провинции, где она играла в драмах Виктора Гюго.

[2] Под «вторым Théâtre Français» подразумевается здесь театр Ренессанс; привилегия на этот театр была предоставлена Виктору Гюго, который назначил директором его Антенора Жоли (Joly), основателя журнала «Vert-Vert». Théâtre Français относился к романтикам враждебно, и теперь, наконец, они получили для своего репертуара собственный театр. Он открылся 8 ноября 1838 г. представлением новой драмы Гюго «Рюи-Блаз».

[3] Merle—журналист, театральный критик, директор театра Porte Saint-Martin с 1822 по 1826 гг.; он был мужем Мари Дорваль.

[4] В 1837 г. Гюго предъявил к Théâtre Français судебный иск за невыполнение театром трех заключенных с ним в 1832, 1835 и 1837 гг. договоров относительно постановки «Hernani» и «Angelo». Этот процесс рассматривался в 1837 г. в коммерческом суде, а затем, по аппеляции, в парижском королевском суде в декабре того же года. В обоих инстанциях процесс был выигран Гюго.

[5] Jouslin de la Salle—был директором Théâtre Français с 1835 по начало 1837 г., им был подписан от имени театра второй из договоров с Гюго. Его преемником был Védel, на обязанности которого и лежало приведение в исполнение приговора суда по делу с В. Гюго.

## 11. Гаспаро Спонтини

[3 мая 1839 г.]

Спешу уведомить вас, дорогой Спонтини, о благоприятном разрешении интересующего вас дела. Г-н Теофиль Готье с живейшим удовольствием согласился принять на себя славную обязанность быть вашим поэтом. Он представляет себя в ваше распоряжение[1]. Г-н Теофиль Готье живет на Rue de Navarin, 14.

Сердечно жму вашу руку.

Виктор Гюго

3 мая.

*Адрес:* Г-ну Спонтини
13, Rue du Mail

Автограф. — Публичная библиотека, Ленинград.

[1] По просьбе Спонтини Гюго обратился к Теофилю Готье с предложением написать либретто к опере «Коринфская невеста», музыку которой должен был сочинить Спонтини для постановки в театре Гранд-Опера. Все эти предположения не были осуществлены. Основанием для датировки этого письма послужил ответ на него Спонтини от 12 мая 1839 г. (хранится в архиве семьи Гюго).

### 12. [Пьеру Ройе-Колару?]

[27 февраля 1843 г.?]

Помните ли вы, что самым любезным образом обещали мне исхлопотать для г-на Жиро еще небольшое пособие (кажется, это так называется), а потом, в решающую для него минуту, вы покинули свой пост. Вот я снова и прибегаю к вам, чтобы узнать, не согласитесь ли вы рекомендовать его вашему преемнику, с которым я, кажется, незнаком. Сделайте же для него что-нибудь, и что бы вы ни сделали, все будет хорошо, и я буду вам очень обязан. Г-н Жиро, как вам известно, талантливый поэт и вполне достоин всяческого внимания[1].

Ваш друг

Виктор Гюго

27 февраля.

Автограф. — Публичная библиотека, Ленинград.

[1] Адресат устанавливается предположительно; основанием для этого послужило то, что публикуемое письмо Гюго поступило в Публичную библиотеку (в 1865 г.) в составе 58 писем французских ученых и литераторов, адресованных Ройе-Колару (письма Вильмена, Гизо, Кине, Кювье, Минье, Сильвестра де Саси, Тьера). Ср. «Отчет Публичной библиотеки» за 1865 г., 147.

Если это предположение основательно, то письмо это относится к февралю 1843 г., так как Ройе-Колар (1763—1843), бывший председателем палаты депутатов, окончательно отошел (abdiqua, как пишет Гюго) от политической деятельности в 1842 г. Ройе-Колар и Гюго были оба членами Французской академии и поддерживали между собой достаточно близкие отношения, чтобы Гюго мог подписаться: «ваш друг».

Кто такой поэт Жиро (Girault), о котором хлопотал Гюго, установить не удалось.

### 13. [Неизвестному]

[1844 — 1851 гг.]

Спешу, сударь, ответить на письмо, которым вы почтили меня. Разрешение, которое вы желаете получить, могут дать вам только мои издатели—г.г. Дюрье и К°[1], которым я уступил свои авторские права; сомневаюсь, чтобы они согласились на это иначе, как по особому договору. Вы можете, впрочем, обратиться к ним непосредственно.

Сожалею, что вынужден ограничиться простым выражением благодарности за любезное расположение, о котором свидетельствует ваше письмо, и прошу вас, сударь, принять уверение в моих наилучших чувствах.

Виктор Гюго

2 октября.

Автограф. — Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253, № 20.

[1] Издатели Дюрье и К° (Duriez et C-ie) приобрели право собственности на сочинения В. Гюго около 1844 г. Точной датировке письмо это не поддается и может относиться ко времени от 1844 г. по декабрь 1851 г.

### 14. Пьеру Кове[1]

[10 июня 1848 г.]

Ваши стихи трогают меня до глубины души. Я всегда буду другом народа, дорогого мне и честного народа, который обманывают; мне хотелось бы служить ему и спасти его.

Благодарю, благодарю вас, сударь и достойнейший поэт.

Виктор Гюго

10 июня.

*Адрес:* Господину Пьеру Кове[1]
У г-на Кортини,
Rue de Sèvres, 45 или 46

*Почтовый штемпель:* Париж. 11 июня 1848 г.

Автограф. — Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. 9860/LIX б. 39.

[1] Пьер Кове (Cauwet)—рабочий-поэт; В. Гюго оказал ему несколько услуг. В мае 1848 г. В. Гюго был избран народным представителем и получил по этому поводу множество писем от рабочих; очевидно, в связи с этим избранием Кове и прислал ему стихи, о которых идет речь в письме.

### 15. Г-ну Букье

[24 декабря 1848 г.]

Сударь,

Я сделал все возможное, чтобы освободиться в среду, но тщетно. Будьте так добры выразить членам комиссии по устройству банкета мое глубокое сожаление и передать им, что я был чрезвычайно тронут их лестным приглашением. Засвидетельствуйте им мою живейшую признательность[1].

А вас лично, сударь, прошу принять уверения в моих наилучших и сердечных чувствах.

Виктор Гюго

Воскресенье, 24/XII.

*Адрес:* Господину Букье
Члену комиссии по устройству банкета
Центрального избирательного комитета
бульвар Монмартр, 12

Автограф.—Литературный музей, Москва, 983/3.

[1] Центральный избирательный комитет был учрежден в 1848 г. 24 декабря приходилось на воскресенье именно в этом году, почему письмо можно с уверенностью датировать 1848 г.

### 16. Вертёйлю[1]

[Конец 1849—1851 гг.]

Не откажите в любезности, мой дорогой Вертёйль, предоставить мне на сегодня (четверг) два кресла на балконе.

Тысяча приветствий.

Виктор Гюго

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собрания Театрального музея им. Бахрушина. 8228, № 23.

[1] Вертёйль (Verteuil,—ум. 1882) был назначен на должность секретаря Théâtre Français 16 ноября 1849 г. В качестве секретаря дирекции он и выдавал билеты. Следовательно, письмо это могло быть написано не раньше конца 1849 г. и не позже декабря 1851 г., т. е. времени отъезда Гюго из Парижа.

### 17. [Неизвестной]

[15 июня 1852 г.]

Благодарю, сударыня. У вас не только прелестный талант, у вас благородное и доброе сердце. Изгнание—ничто, если ему сопутствует сознание, что вас помнят. Мне отрадно сознавать, что те, кто изгоняет нас из страны, не могут изгнать нас из памяти людей. Отчизна моя—во всех сердцах, хранящих обо мне память.

Благодарю вас и целую вашу руку.

Виктор Гюго

Брюссель, 15 июня [1852][1].

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собрания Театрального музея им. Бахрушина 8228, № 22.

[1] Год проставлен на подлиннике чужой рукой.

### 18. Анне Видсман

[16 марта 1863 г.]

Мечтать—в этом счастье; ждать—в этом жизнь[1].

Виктор Гюго

*Адрес:* Mademoiselle Анне Видсман
У г. пастора Видсмана, Liestal (Bâle-Campagne)
Через Лондон, Швейцария

*Почтовые штемпели:*
Гернси 16 марта
Калэ. 17 марта 1863 г.

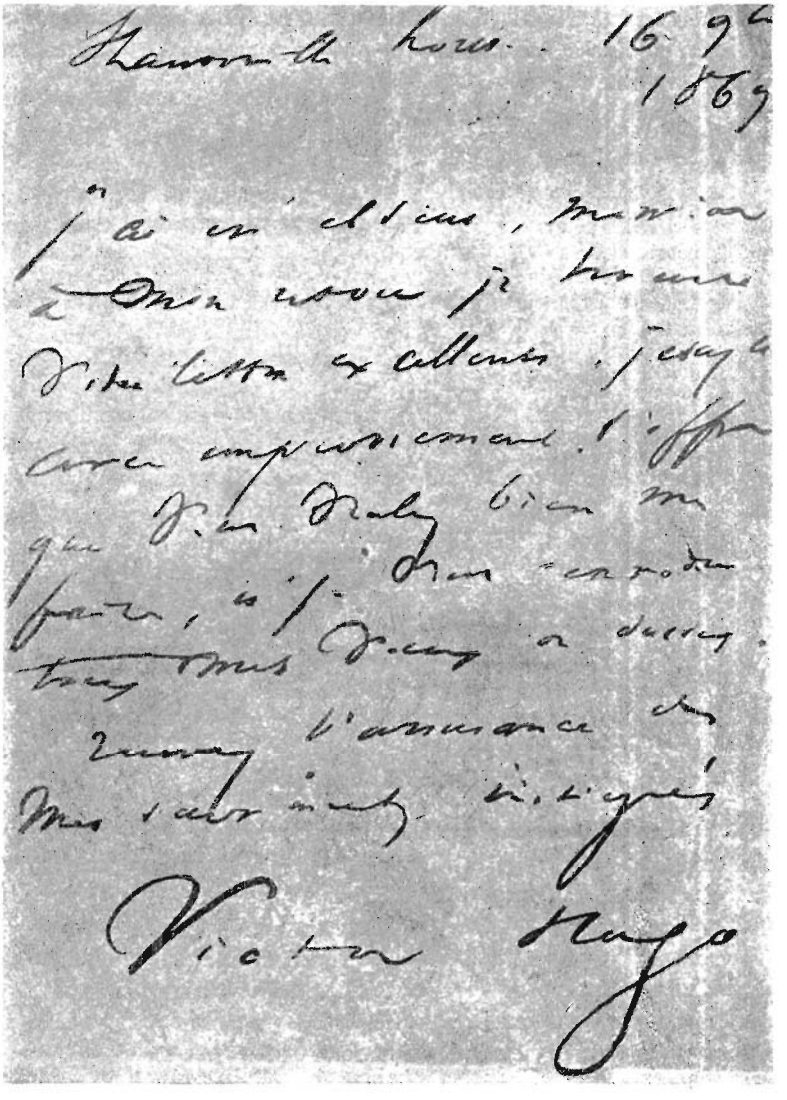
Автограф.—Частное собрание, Москва.

[1] Неизданный афоризм. Такой же афоризм сохранился среди рукописей В. Гюго в Национальной библиотеке в Париже.

## 19. Альберу Глатиньи[1]

Hauteville-house, 5 апреля [1867 г.]

У вас, дорогой поэт, имеется далекий, но внимательный слушатель. Это я. В моей пустыне есть для вас отзвук. Я только-что прочел прелестные стихи, сочиненные вами экспромтом. Рифмы, которые вам бросают, превращаются, летя к вам, в огненные



АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЮГО К ГАБРИЭЛЮ СУНДУКЯНУ ОТ 16 НОЯБРЯ 1869 г.
Литературный музей Армении, Ереван

языки. Вы знаете, как радует меня ваш талант, судите же сами, как радуюсь я вашим успехам.

Ваш друг
Виктор Гюго

Автограф. — Литературный музей, Москва 3253/1.

[1] Глатиньи Альбер (Glatigny, 1839—1873)—талантливый, но бедный поэт, неоднократно прибегавший к помощи В. Гюго, в 1850—1860-х гг. выступал в театраль-

ных залах и собраниях со стихами, которые он сочинял экспромтом на заданные рифмы. Эти стихи-импровизации составили сборники Глатиньи «Vignes Folles» (1857) и «Les Flèches d'Or» (1864).

Дата письма устанавливается на основании письма M-ma Victor Hugo от 18 октября 1867 г. В нем идет речь о тех импровизациях Глатиньи, которые имеет в виду Гюго.

### 20. Габриэлю Сундукяну

Hauteville-house, 16 ноября 1869 г.

Я был в отъезде, сударь[1]. По возвращении я нашел ваше прекрасное письмо и с готовностью принимаю предложение, которое вам угодно было мне сделать. Шлю вам всяческие пожелания успеха[2].

Примите уверения в моих наилучших чувствах.

Виктор Гюго

Автограф. — Литературный музей Армении, Ереван. № 141/55—8.

[1] В 1869 г. Гюго совершил путешествие по Швейцарии.

[2] Адресат письма, Габриэль Сундукян (1825—1912)—известный армянский драматург, автор классической армянской бытовой комедии «Пэпо». Нам неизвестно ни содержание письма Сундукяна, ни то, за что его благодарит Гюго. Возможно, что Сундукян просил у Гюго разрешения на перевод какого-либо из его произведений на армянский язык.

### 21. Жюлю Клэ

12 мая [1872 г.]

Какие восхитительные стихи,—и как только мне благодарить вас, дорогой собрат и товарищ! У меня сейчас нет «Грозного года» даже на простой бумаге. Вы—источник книг, пришлите же мне экземпляр на голландской или китайской бумаге, по своему выбору, и я надпишу его[1]. Позвольте от всего сердца пожать вашу руку.

Виктор Гюго

Г-ну Русселю-де-Мери я напишу, а пока поблагодарите его.

*На обороте:* Господину Клэ. В. Г.

Автограф. — Публичная библиотека, Ленинград. Собрание Вакселя, № 122.

[1] Жюль Клэ (Claye) был товарищем В. Гюго по пансиону De Cotte (с 1814 по 1818 гг.). Став типографом, он с 1856 г. печатал почти все парижские издания сочинений Гюго, написанных в изгнании; в 1872 г. из его типографии вышел «Грозный год» («L'Année Terrible»).

### 22. Г-же Зелй Робер

1 февраля [1872 г.], Париж[1]

Те, кто жалуются на меня, сударыня, и правы и неправы. Меня считают влиятельным, а это неверно; меня считают миллионером, а это далеко не так. Отсюда разочарования. Я делаю, что могу, а могу сделать очень мало. В этом году я исчерпал все свои возможности, за год я роздал больше двадцати пяти тысяч франков; что значит эта капля в море людской нищеты? Ничто. А это ничто очень много для меня. Итак, люди и правы и неправы. Вы, сударыня, благородная женщина, и вы справедливы ко мне. Вам известно, что я делаю все усилия к тому, чтобы помогать, поддерживать и вызволять тех, кто страдает.

Ваш сын писал мне, я хлопочу о нем, но, по правде говоря, рассчитываю лишь на амнистию[2]. Скоро пойдет «Рюи-Блаз»[3]; как только я развяжусь с этим делом, я снимусь у нашего превосходного Надара[4], так как хочу быть послушным вам, сударыня. Вы совмещаете в себе и добрую мать и прекрасную женщину. Передайте вашему супругу мой привет и поверьте, сударыня, что я буду весьма счастлив, если смогу быть полезным вашему бедному сыну.

Шлю вам сердечные пожелания успеха и приношу к вашим стопам свое глубокое почтение.

*Адрес:* Госпоже Зелй Робер
5, Rue de la Banque, Мюльгаузен

*Почтовый штемпель:*
Париж. 1872 г.

Автограф. — Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собрание Б. Л. Модзалевского.

[1] Год определяется по почтовому штемпелю.

[2] Судя по этому и по следующему письму, можно предположить, что сын г-жи Зелй Робер принимал участие в событиях Коммуны 1871 г. и был приговорен к ссылке. Виктор Гюго, несомненно, хлопотал, если не о помиловании его, то, во всяком случае, о смягчении наказания,—как он это делал в отношении многих других коммунаров. Одновременно он настойчиво добивался амнистии.

[3] «Рюи-Блаз» готовился к постановке в театре Одеон.

[4] Надар (Nadar) был известный парижский фотограф.

### 23. [Г-же Зелй Робер]

Гернси. Hauteville-house, 23 ноября [1872 г.][1]

Я постоянно думаю о вас, сударыня, и не теряю из виду вашего бедного сына. Я почти что уверен, что ему не придется уезжать. Положение сейчас напряженное; мы приближаемся к кризису, а все более и более вероятный роспуск Собрания приведет к амнистии[2]. Надеюсь, что тогда вы будете счастливы. Думаю, что мне представится возможность повидаться с вами в Париже. Не сомневаюсь, что ваш дорогой муж пользуется попрежнему большим успехом, который он заслужил своими прекрасными трудами; жму его руку и приношу к вашим стопам, сударыня, свое глубокое почтение.

Виктор Гюго

Автограф.— Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собрание Б. Л. Модзалевского.

[1] В. Гюго жил в Гернси в ноябре 1872 г., а потом приезжал туда лишь в 1878 г., когда не предвиделось роспуска Собрания (о чем идет речь в письме), ибо тогда республиканский строй упрочился. Следовательно, письмо следует датировать 1872 г.

[2] Национальное собрание было до такой степени реакционным, что даже Тьер—тогдашний глава исполнительной власти—казался ему слишком радикальным. Между ним и роялистским большинством Собрания происходили постоянные конфликты, что и имеет в виду Гюго, говоря о «кризисе». Газеты того времени писали о тайном намерении Тьера распустить Собрание с тем, чтобы провести новые выборы и добиться создания умеренно-республиканского большинства. В. Гюго надеялся, что при новом составе Собрания можно будет добиться объявления амнистии для всех осужденных коммунаров (как известно, закон об амнистии был опубликован только 11 июля 1880 г.).

### 24. Анри Тетару

[14 мая 1879 г.]

Охотно присоединяю свой отзыв о г-не Анри Тетаре[1] к отзыву г-на Луи Блана и свидетельствую, что г-н Тетар вполне достоин и способен к преподавательской деятельности, которою он желает заниматься.

Виктор Гюго

14 мая 1879 г., Париж.

*Адрес:* Господину Анри Тетару
Grandbook, Кент, Англия

*Почтовый штемпель:*
Пасси, 14 мая 1879 г.

Автограф.— Литературный музей (из собрания бывш. Павловского дворца), Москва. 3344/17.

[1] Никаких сведений о Тетаре разыскать не удалось. Был издатель Testard, но его звали Эмилем, а не Анри.

### 25. [Полю Лакруа][1]

[?]

Я уже читал, дорогой мой собрат, ваш ученый и превосходный труд. Прочту его еще раз. Вам известно, как я рад всему, что получаю от вас. Благодарю вас за то, что вы написали эту книгу, и за то, что прислали ее мне.

Ваш друг
Виктор Гюго

Пятница, 21-го.

Автограф.— Исторический музей, Киев. „Альбом Каролины Собанской", № 429, л. 63.

[1] Адресат этой записки устанавливается предположительно на том основании, что в «Альбоме» Каролины Собанской, бывшей замужем за Жюлем Лакруа, братом Поля

Лакруа, эта записка сохранилась среди многих других писем, адресованных последнему (письма: П. Мериме, Ж. Мишле, В. Кузена, Ш. Сент-Бёва, А. Дюма-отца, Ф. Шаля, Э. Сю и др.)

Поль Лакруа (Lacroix, 1806—1884) издал под псевдонимом Bibliophile Jacob большое количество ученых и исторических трудов; мы затрудняемся точно определить, о какой именно книге пишет ему В. Гюго.

### 26. Полю Лакруа

[?]

Зайдите ко мне как-нибудь вечером, чтобы серьезно и с пользой поговорить об Академии[1].

Ваш
Виктор Г.

Четверг, вечером.

*На обороте:* Господину Полю Лакруа

Автограф. — Публичная библиотека, Ленинград.

[1] Поль Лакруа желал, повидимому, выставить свою кандидатуру в Академию, членом которой В. Гюго состоял с 1841 г. и который мог, поэтому, содействовать избранию Лакруа.

## III. АВТОГРАФЫ ГЮГО В СОБРАНИЯХ СССР

Знаком «*» отмечены документы, впервые опубликованные в настоящей работе.

### А. СТИХИ

1. «La vie à chaque instant fuit vers l'éternité...»—Заключительная строфа (6 строк) стихотворения «Promenade» («Odes et Ballades»).

   Беловая рукопись б. д. Подпись: V. Hugo. В четвертой строке вариант: «...Ainsi, quand meurt la rose aux *pudiques* couleurs» (вместо: «aux *royales* couleurs»).

   Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. 244/144 („Альбом А. Е. Шиповой").

2. «Quand elle prie, un ange est debout auprès d'elle...»—Две строфы (12 строк) из стихотворения «La prière pour tous» («Feuilles d'Automne»).

   Беловая рукопись б. д. Подпись: V. Hugo. Лист украшен двумя рисунками художника Камилла Рокплана (Roqueplan). В третьей строке вариант: «...*En* essuyant *les pleurs dont* son œil est terni» (вместо: «Essuyant *d'un baiser* son œil *de pleurs* terni»).

   Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград, шк. 13. — См. ниже воспроизведение, на стр. 929.

3. «Tous ces faux biens qu'on envie...».—Строфа (5 строк) стихотворения «Soirée en mer» («Voix intérieures»).

   Беловая рукопись б. д. и подписи.
   Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд 86 („Альбом Голицына", *л.* 79).

4. «A Madame la princesse Sophie de Galitzine».—Опубликовано в «Toute la lyre».

   Беловая рукопись б. д. Подпись: V. Hugo.

   Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Дашкова („Альбом С. П. Голицыной"). — См. выше: глава III, 845—846.

5.* «L'échafaud vieilli croule, et la Grève se lave...»

   Беловая рукопись. Дата: 19 января 1851 г. Подпись: V. Hugo.

   Литературный музей, Москва. 3186/4. См. выше: Приложения, 916.

### Б. ПИСЬМА, ЗАПИСКИ, НАДПИСИ НА КНИГАХ И ПОРТРЕТАХ

6.* Андреевской В. Н.—Париж, 29 декабря 1876 г.

   Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград, шк. 29, п. 4, лев. ст. — См. выше: глава V, 891—893.

7.* Богушевскому Н. К., барону—Hauteville-house, 29 июля 1873 г.

   Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Семевского, ш. XI, п. I. См. выше: глава V, 889.

8.* Букье (Bouquier)—[Париж], 24 декабря [1848 г.].

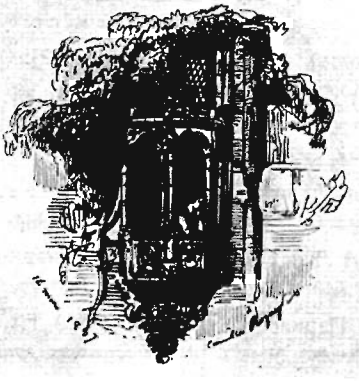
   Литературный музей, Москва. 983/3. См. выше: Приложения, 924.

9.* Бюлозу (Buloz) Франсуа—[Париж], 27 [июля 1834 г.].

   Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. 9860/LIX б. 39. См. выше: Приложения, 920.

10.* Вертёйлю (Verteuil)—[Париж 1849—1851 гг.].

   Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собрания Театрального музея им. Бахрушина. 8228, № 23. См. выше: Приложения, 924.



АВТОГРАФ ОТРЫВКА ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ГЮГО „МОЛИТВА ЗА ВСЕХ"
Лист иллюстрирован рисунками Камилла Рокплана, 1837 г.
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

11.* Видсман (Widsmann) Анне—Афоризм [Гернси, 16 марта 1863 г.].
Частное собрание, Москва. См. выше: Приложения, 924.

12.* Глатиньи (Glatigny) Альберу—Hauteville-house, 5 апреля [1867 г.].
Литературный музей, Москва. 3253/I. Собрание С. П. Яремича. См. выше: Приложения, 925.

13.* Голицыной С. П., княгине—Брюссель, 13 сентября [1868 г.].
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Дашкова („Альбом С. П. Голицыной"). См. выше: глава III, 846.

14.* Ей же—19 сентября [1869 г.].
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Дашкова („Альбом С. П. Голицыной"). См. выше: глава III, 846—847.

15.* Ей же—Недатированная записка: «Envoyez moi...».
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Дашкова („Альбом С. П. Голицыной"). См. выше: глава III, 845.

16.* Гречу Н. И.—Дарственная надпись на шмуц-титуле «Voix intérieures» (1837).
Литературный музей, Москва. 431/22 („Альбом В. Н. Петровой-Званцовой"). См. воспроизведение на стр. 805.

17.* Гюго Леопольду-Сижисберу, генералу—[Париж], 1 мая 1826 г.
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. 9805/LIX б. 39. См. выше: Приложения, 917—918, 921.

18.* Декану (Decamps) Александру-Габриэлю—Записка без даты, приклеенная к литографированному портрету В. Гюго 1828 г.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. См. выше: Приложения, стр. 918 и воспроизведение на стр. 781.

19.* Доброжанской О. Н.—Афоризм. [Париж, 9 апреля 1883 г.].
Собрание К. В. Ползиковой-Рубец, Ленинград. См. выше: глава V,893—894, 897.

20.* Дорваль (Dorval) Мари—[Париж], 22 сентября [1836 г.].
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Е. М. Кашинской. См. выше: Приложения, 920.

21.* Ей же—[Париж, 1838 г.].
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 6036. См. выше: Приложения, 922.

22.* Клэ (Claye) Жюлю—[Париж], 12 мая [1872 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. Собрание П. Вакселя, № 122. См. выше: Приложения, 926.

23.* Кове (Cauwet) Пьеру—[Париж], 10 июня [1848 г.].
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. 9860/LIX б. 39. См. выше: Приложения, 923.

24.* Крепе (Crépet)—Дарственная надпись на книге «Paris» (1867).
Собрание В. А. Десницкого, Ленинград. См. воспроизведение на стр. 865.

25.* [Лакруа (Lacroix) Полю] (Bibliophile Jacob)—[?].
Исторический музей, Киев („Альбом К. Собанской", № 429, л. 63). См. выше: Приложения, 927.

26.* Ему же—[после 1841 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. См. выше: Приложения, 928.

27.* Ленцу В. Ф.—Hauteville-house, 30 сентября 1862 г.
Публичная библиотека, Ленинград. См. выше: глава III, 839, 842—844.

28.* Монтиньи (Montigny) Люка де—[Париж], 8 января [1834 г.].
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Ляцкого. См. выше: Приложения, 919.

29.* [Неизвестному]—[Париж], 2 октября [1829 г.].
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из иностранных автографов собрания Бецкого. См. выше: Приложения, 919.

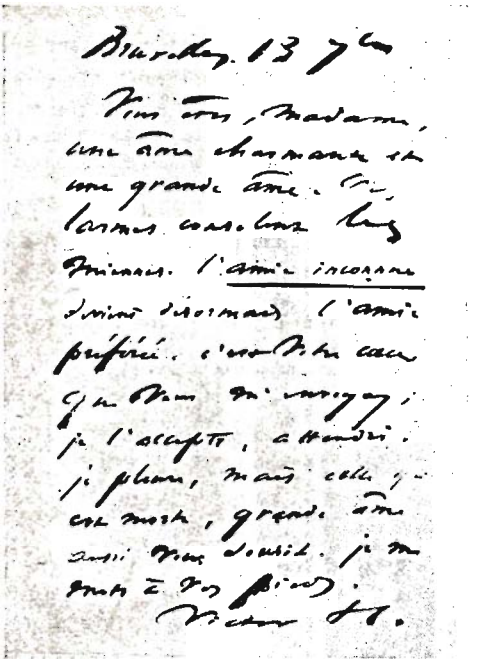
30.* [Неизвестному]—[Париж], 2 октября [1844—декабрь 1851 гг.].
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253, № 20. См. выше: Приложения, 923.

31.* [Неизвестному]—Надпись на фотографии. Париж, 20 декабря 1871 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Собрание П. Вакселя, № 123. См. воспроизведение на стр. 843.

32.* [Неизвестной]—Брюссель, 15 июня [1852 г.].
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собрания Театрального музея им. Бахрушина. 8228, № 22. См. выше: Приложения, 924.

АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЮГО
К С. П. ГОЛИЦЫНОЙ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 1868 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград



33.* Робер (Robert) Зели́—Париж, 1 февраля [1872 г.].

Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Б. Л. Модзалевского. См. выше Приложения, 926—927.

34.* Ей же—Гернси, 23 ноября [1872 г.].

Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Б. Л. Модзалевского. См. выше Приложения, 927.

35.* [Ройе-Коларду (Royer-Collar) Пьеру]—[Париж], 27 февраля [1843 г.].

Публичная библиотека, Ленинград. См. выше: Приложения, 923.

36.* «Автору статей в „Semeur“»—[Париж], 17 мая 1834 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253, № 9. См. выше: Приложения, 919—920.

37.* Сен-Полю (St.-Paul)—Записка без даты [декабрь 1831 г.].

Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд 86 („Альбом Голицына“, л. 80). См. выше: Приложения, 919.

38.* Спонтини (Spontini) Гаспаро—[Париж], 3 мая [1839 г.].

Публичная библиотека, Ленинград. См. выше: Приложения, 922—923.

39.* Сундукяну Габриэлю—Hauteville-house, 16 ноября 1869 г.

Литературный музей Армении, Ереван. № 141/55—8. См. выше: Приложения, 925, 926.

40.* Тетару (Testard) Анри—Париж, 14 мая 1879 г.

Литературный музей, Москва. 3344/17. Из собрания бывш. Павловского дворца. См. выше: Приложения, 927.

41.* Трубецкой Е. Э., княгине—[Париж], 10 декабря 1877 г.

Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. 311. „Архив кн. Е. Э. Трубецкой“. См. выше: глава IV, 862.

42.* Фидлеру Ф. Ф.—Подпись [18/30 мая 1884 г.] на гравированном портрете работы Ф. Регаме (Régamey).

Литературный музей, Москва. Архив А. Е. Бурцева, № 1268—273. См. выше: глава V, 889.

43.* Черкасской Е. А., княгине—Надпись на портрете [1870-е гг.].

Музей мировой литературы им. Горького, Москва. См. воспроизведение на стр. 863.

44.* Шазе (Chazet) Андре-Полидору—[Париж], 5 февраля 1824 г.

Институт истории АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Фонд бывшего Института книги, документа и письма, 1/112, № 371. См. выше: Приложения, 917.

### В. РИСУНКИ

45.* [Замок на берегу моря]—Рисунок тушью. Подписан. 6,3×3,9 см.
Литературный музей, Москва. № 3186/2. См. воспроизведение на стр. 827.

46.* [Пейзаж со старинным замком на переднем плане]—Рисунок акварелью, тушью и сепией. Подписан. 22,5×20,4 см.
Литературный музей, Москва. № 3186/1. См. воспроизведение на стр. 869.

### Г. НЕРАЗЫСКАННЫЕ АВТОГРАФЫ

47. Стихотворение: «Chanson» в альбоме О. А. Козловой.
Опубликовано в „Voix intérieures" и в „Album de Madame Olga Kozlow", Москва. 1883, 2-е изд., 1889. См. также выше: глава V, 895.

48. Письмо к Гольдену (Holden) Джемсу—Hauteville-house, 3 декабря 1867.
Находилось в собрании Н. К. Богушевского, а затем в собрании П. Вакселя (№ 121), хранящемся в Публичной библиотеке в Ленинграде.

# ПИСЬМА ЖАНА РИШПЕНА К М. А. ЗАГУЛЯЕВУ

Сообщение Т. Г р и ц а

В 1876 г. в Париже вышла книга стихов «La Chanson des gueux».

Автор ее, Жан Ришпен, до этого был почти неизвестен. Родился он 4 февраля 1849 г. в Медее (Алжир). Сын военного врача, он, закончив школу, поступил в 1868 г. в Ecole Normale, чтобы через два года вместе с корпусом вольных стрелков следовать за армией генерала Бурбаки, дравшейся против немцев.

В 1871 г. он сотрудничал в «Vérité» и в «Corsaire», а в 1873 г. дебютировал в театре «Tour d'Auvergne», как актер и как автор, в пьесе «L'Etoile», сотрудничая с Андре Жиллем.

Однако, этот дебют не принес ему славы. Он был известен лишь в кабачках Латинского квартала, где в кругу таких представителей богемы, как Поншон, Сапен, Роллина и Бурже, страстно защищал независимые социальные теории, эпатировал буржуа различными эксцентрическими выходками, объясняя их буйностью «туранской крови», которая, будто бы, текла в его жилах.

Лишь в 1876 г., после выхода «La Chanson des gueux», его имя стало известным всему литературному Парижу.

Давая в этих песнях острую сатиру на традиционные религиозные и социальные идеалы, осмеивая «сладкие и прекрасные иллюзии» («douces et belles illusions») мещанства, он воспевал рабочих, ночующих под мостами Сены, нищих, задыхающихся от кашля в осеннем тумане, представителей социального дна.

В своих песнях он вдохновлялся «грубой поэзией этих дерзких авантюристов, этих бунтующих детей, для которых общество было почти всегда мачехой и которые, не находя молока в сосцах дурной кормилицы, кусают самую грудь, чтобы утолить свой голод...».

Бурлескный стиль, «низкая» тематика, атеистические и бунтарские идеи «La Chanson des gueux» создали этой книге шумный успех среди передовой молодежи и в радикальных литературных кругах, но произвели впечатление скандала в кругах буржуазных, которое усиливалось написанной ранее (в 1872 г.) брошюрой Ришпена о Жюле Валлесе и Коммуне: «Etapes d'un réfractaire».

Филистерская цензура Третьей республики возмутилась.

24 мая 1876 г., по доносу газеты «Charivari», книга была конфискована, а 15 июля исправительный трибунал полиции Сенского округа приговорил Ришпена к месяцу тюрьмы и к 500 франкам штрафа «за оскорбление общественной морали и добрых нравов»[1].

Некий Лагранж успел приобрести книгу и послал ее своему другу, М. А. Загуляеву, в Петербург, вместе с письмом, в котором он сообщал о печальной судьбе, постигшей эту книгу.

Михаил Андреевич Загуляев (1834—1900), ныне совершенно забытый, был журналистом, сотрудником «Сына Отечества», «Отечественных Записок», «Indépendance Belge», «Journal de St.-Pétersbourg», «Голоса» и «Нового Времени». Он написал ряд статей о деятелях Французской революции «Эксцентрики революционной идеи», неопубликованную до сих пор монографию «Максимилиан Робеспьер»[2] и, создавший ему в свое время широкую известность, робеспьеристский роман, печатавшийся в 1883 г. в «Вестнике Европы» под заглавием «Странная история», который вышел отдельной книгой в 1884 г. под заглавием «Русский якобинец».

Страстный франкофил и сторонник буржуазно-демократического строя, Загуляев в своей публицистической деятельности щеголял фрондерскими выпадами.

Максимилиана Робеспьера он называл «самым великим из созидателей пореволюционного здания, недостроенного еще вполне и поныне, но поставленного им и его сподвижниками на столь прочное основание, что целые полвека реакции не в состоянии были поколебать его стен».

В своей неоконченной статье «Сен-Жюст в Страсбурге», проводя аналогии между событиями 1793 г. и франко-прусской войной 1870 г., Загуляев делал недвусмысленный намек: «Кто знает? Может быть, упорство, с которым Пруссия продолжает войну против повергнутой во прах Франции, вызовет снова на политическую сцену смелых и самоотверженных людей, которые, подобно Сен-Жюсту, сумеют вдохнуть дух бодрости и доблестного самоотвержения в деморализованные изменой и дурным управлением французские войска и т р е т ь е немецкое вторжение во Францию окончится, подобно п е р в о м у, изгнанием немцев с французской земли...»[3].

Не следует, однако, переоценивать революционное значение подобных выпадов. Целиком приемля буржуазно-демократические стороны Французской революции, Загуляев в то же время подвергал резкой критике атеистическую и интернационалистическую деятельность Анахарсиса Клоотса и гебертистов. Робеспьера Загуляев превозносит, прежде всего, как «демократа-националиста», который «вовсе не мечтал о всемирной миссии освобождения народов, будто бы выпавшей на долю Франции». Политическая программа Загуляева, в конечном счете, сводилась к ограниченному буржуазному парламентаризму. Пределом его свободолюбивых мечтаний было установление в России буржуазных демократических свобод по образцу французских.

Однако, этих взглядов, и в особенности франкофильской агитации Загуляева в период франко-прусской войны, было достаточно для того, чтобы он подвергся репрессиям.

16 января 1871 г. Маркс писал Кугельману: «Одной Германии оказалось... слишком мало для всеобъемлющей любви Бисмарка к свободе выражения мнений... Ему удалось даже открыть под санкт-петербургским меридианом чересчур свободную прессу. По его униженной просьбе, редакторы важнейших петербургских газет были призваны к обер-цензору, который предписал им воздерживаться от каких бы то ни было критических заметок о верном вассале русского царя. Один из редакторов, г. Загуляев, был настолько неосторожен, что раскрыл тайну этого предостережения на страницах «Голоса». Русская полиция сейчас же набросилась на него и выслала его в какую-то отдаленную губернию»[4].

До сих пор к этому письму не было комментариев, которых оно, несомненно, требует. Мне впервые удалось выяснить причины ареста Загуляева.

КАРИКАТУРА НА М. А. ЗАГУЛЯЕВА
Журнал „Шут", 1900 г., № 8

Театральный критик.

Маркс был осведомлен не совсем точно. Упоминаемая им статья была напечатана не в «Голосе», а в брюссельской газете «Indépendance Belge», в № от 14 ноября (1870 г.) по новому стилю. Загуляев же был обыскан 19 ноября по старому стилю.

В этой корреспонденции, сообщая, что русское общественное мнение на стороне осажденного немцами Парижа, Загуляев писал: «За последнее время поведение русской независимой прессы повлекло за собой несчастье, заметно раздразнив немецкий кабинет... Пожаловались на то, что газеты нападают на Пруссию со слишком большой запальчивостью. В ответе указывалось, что в вопросах иностранной политики русская пресса пользуется полной независимостью, и это приводит к той или иной линии поведения. Это было бы прекрасно, если бы, к несчастью, неуместное рвение некоторых высоких должностных лиц чуть не уничтожило полностью ценность этого достойного ответа. Министр внутренних дел, генерал Тимашев, счел необходимым сделать некоторые замечания директору департамента печати г. Похвисневу и потребовал от него официальных предостережений редакторам анти-прусских газет. Г-н Похвиснев от этого отказался и подал в отставку, которая была принята. Он был заменен генералом Шидловским, бывшим тульским губернатором и большим другом Пруссии. Наша немецкая пресса объявила с тех пор, что «обломает рога русской франкофильской прессе» (текстуально). А пока наши газеты продолжают писать то, что они думают о войне и о германских требованиях»[5].

Если принять во внимание строго конфиденциальный характер обращения Тимашева к редакторам петербургских газет и его категорический тон,

то станет ясным, что статья Загуляева была достаточным поводом для административных репрессий.

Однако, это было лишь одной из причин для высылки Загуляева. Его политическая виновность усугублялась еще двумя корреспонденциями в «Indépendance Belge».

В первой из них Загуляев сообщал, что государственный канцлер, князь Горчаков, подготовил циркулярную депешу, в которой статьи Парижского трактата (от 18/30 марта 1855 г.) о нейтрализации Черного моря объявлены необязательными более для России. Корреспонденция эта была напечатана лишь после официальной публикации ноты Горчакова. Редакцией сделано к этому примечание о том, что петербургский корреспондент (т. е. Загуляев) предупреждал о ноте Горчакова за шесть недель до ее опубликования. «Хотя этот факт был абсолютно достоверным, но новость была столь серьезной и настолько противоречила сообщениям, исходившим из источника, которому мы должны были доверять, как абсолютно надежному, что мы считали необходимым произвести определенную проверку... За отсутствием подтверждений мы сочли необходимым воздержаться от этой публикации. События показали, что мы, к несчастью, ошибались...»[6].

В этом же номере «Indépendance Belge» была напечатана статья Загуляева, в которой он писал: «В самом близком будущем надо ожидать появления в Дарданеллах внушительной русской эскадры, состоящей из бронированных судов, купленных в Соединенных Штатах и оплаченных за счет тех сумм, которые вашингтонское правительство должно нам за наши владения в Северной Америке...»[7].

Корреспонденции эти вызвали ярость не только департамента по делам печати и III отделения, но, по словам Загуляева, и самого Александра II[8].

В ноябре 1870 г. Загуляев, обвиненный: «1, в сообщении иностранной прессе совершенно ложных сведений о различных правительственных распоряжениях и мероприятиях; 2, в том, что в корреспонденциях его нередко помещались такого рода известия, которые, по свойству своему, не подлежали оглашению, и 3, что извращение Загуляевым в последнее время сведений внешней политики нашего правительства может служить поводом к распространению в иностранных газетах неблагоприятных для России толкований»[9],—был арестован и выслан в Петрозаводск под строгий надзор полиции. Ссылка эта продлилась недолго. Уже в январе 1871 г. Загуляев возвратился в Петербург, предварительно дав подписку, в которой отказывался сотрудничать в иностранной прессе и иметь с ней даже косвенные сношения.

Отказавшись от сотрудничества в иностранной прессе (III отделение имело в виду, главным образом, либеральную бельгийскую газету «Indépendance Belge»), Загуляев продолжал писать в «Голосе» и «Journal de St.-Pétersbourg» обозрения иностранной политики и французской литературы.

Получив от Лагранжа письмо и «La Chanson des gueux», Загуляев не замедлил откликнуться статьей, в которой горячо защищал Ришпена.

Загуляев писал, что уничтоженная по приговору суда за «оскорбление нравственности» книга Ришпена «La Chanson des gueux»—«самое крупное явление французской литературы за последние годы».

Отметая несправедливые моралистические нападки и отдавая должное новаторской технике Ришпена, Загуляев очень точно определял ее литературную генеалогию.

«Г-н Ришпен,—писал Загуляев,—принадлежит к той эстетической школе, которая признает законным и целесообразным не церемониться в известных случаях в выражениях и называть вещи настоящим их именем, ссылаясь на примеры Шекспира, Гёте (в «Фаусте»), Шиллера (в «Лагере Валленштейна»), Рабле, Виктора Гюго, Альфреда де Мюссе и знаменитой «плеяды» французских поэтов «доронсаровской эпохи». В этом отношении он романтик школы, основанной во Франции Виктором Гюго и Бальзаком и считавшей в своих рядах несколько замечательных эксцентриков, вроде Петрюса Бореля, Жегана дю Сеньер, Тилоте О'Недди и пр.; но сильно напоминая поэтическим приемом этих романтиков, он стоит неизмеримо выше их искренностью своего поэтического вдохновения и глубокою гуманностью своих взглядов на страждущую и обездоленную часть человеческого общества, на этих «оборванцев», которым посвящена исключительно книга молодого поэта.

Г-н Ришпен владеет стихом в совершенстве. Для него нет трудностей, которых он не мог бы преодолеть. Подобно Виктору Гюго и Альфреду де Мюссе, он властно распоряжается антипоэтичным французским языком и доходит в этом отношении до поразительной виртуозности, но никогда не позволяет себе, подобно своим знаменитым предшественникам, злоупотреблять этою виртуозностью и жертвовать содержанием замысловатой форме. Он отнюдь не подражатель Гюго и Мюссе, а только, подобно им, проникнут убеждением, что для новой французской поэзии необходимо искать образцов за пределами псевдоклассической эпохи, возвращаясь к временам Аллена Шартье, Вильона, Клемана Маро и прочих предшественников Ронсара. Этим объясняется отчасти и рискованная «реальность» некоторых его выражений... Неужели современная Франция так богата талантливыми поэтами, что ее судьям можно безнаказанно губить в самом начале карьеру замечательного писателя уничтожением первой его книги и наложением незаслуженного клейма на его доброе имя?»[10].

Статью эту с припиской Загуляев отправил Ришпену, возможно, через того же Лагранжа.

Ришпен ответил следующим письмом:

*Перевод:*

Париж, 9 ноября [18]76 г.

Милостивый государь,

Я чрезвычайно благодарен вам за удовольствие, доставленное мне вашим письмом. Я ничего не говорю о статье, перевод которой я получу лишь через несколько дней. Заранее уверен, что она будет целебным бальзамом к свежей ране, нанесенной мне смехотворным правосудием моей родины. Вчера в апелляционном суде, несмотря на защиту г. Русса, бывшего старшины адвокатского сословия, бедная «Песнь босяков» была опять осуждена. Назвав ее сначала «сплетением гнусностей» (каков французский язык!), они решили изъять и сжечь ее. И вот мое произведение окончательно запрещено во Франции! Я принужден печатать его в Бельгии, поневоле попадая в разряд мучеников. Меня утешает мысль, что иностранцы мне воздают должное и что за пределами моей родины имеются люди, подобные вам. Через неделю я рассчитываю выпустить новый сборник, на сей раз в прозе,—это книга новелл под названием «Странные смерти». Я доставлю себе удовольствие и одновременно сочту своим приятным долгом прислать ее вам, М. Г., и надеюсь, что она еще больше укрепит дружеские

связи, которые отныне установились между нами. Я буду счастлив поддерживать, благодаря вам, сношения со страной, которую люблю и которую вы хотите познакомить со мной. Я рассчитываю, благодаря вам, приобрести дружбу ваших соотечественников. В случае, если вы пожелаете, М. Г., продолжать переписку со мной, сообщаю вам, что я должен скоро покинуть Париж. Я поселюсь в Гернси, чтобы работать на досуге. Вот мой адрес: Г-н Жан Ришпен. Буэн-Ретиро, ул. Брей. Порт св. Петра, Гернси, Английские острова. Я заранее радуюсь мысли, что буду получать иногда известие от вас. Впрочем, М. Г., я надеюсь на большее. Уже давно намерен я познакомиться с русской жизнью, которая меня чрезвычайно интересует. Полагаю, что не пройдет и года, как я сумею привести в исполнение этот план. Я буду иметь тогда удовольствие лично выразить вам свою благодарность и завязать с вами более тесные отношения.

Примите, М. Г., самые искренние уверения в моих наилучших чувствах и в моей живейшей к вам симпатии.

Жан Ришпен

Сведениями, почерпнутыми из этого письма, Загуляев не замедлил поделиться с читателями.

Делая обзор французской литературы, он писал, что «единственною новостью, заслуживающею упоминания, оказывается приговор апелляционного суда департамента Сены, подтвердивший вполне нелепый приговор суда исправительной полиции, приговоривший к уничтожению книгу г. Жана Ришпена «La Chanson des gueux», с которою мы познакомили читателей несколько недель назад. В мотивах этого курьезного приговора книга г. Ришпена названа «un t i s s u d'immondices», что совершенно не по-французски, но зато очень сильно. Автор «La Chanson des gueux» пришел в такое негодование, что решился оставить Францию и поселиться на острове Гернси, а дальнейшие свои произведения издавать в Бельгии. Как подумаешь, что это происходит в стране, где совершенно безнаказанно и беспрепятственно расходятся произведения гг. Арсена Уссе и Адольфа Бело»[11].

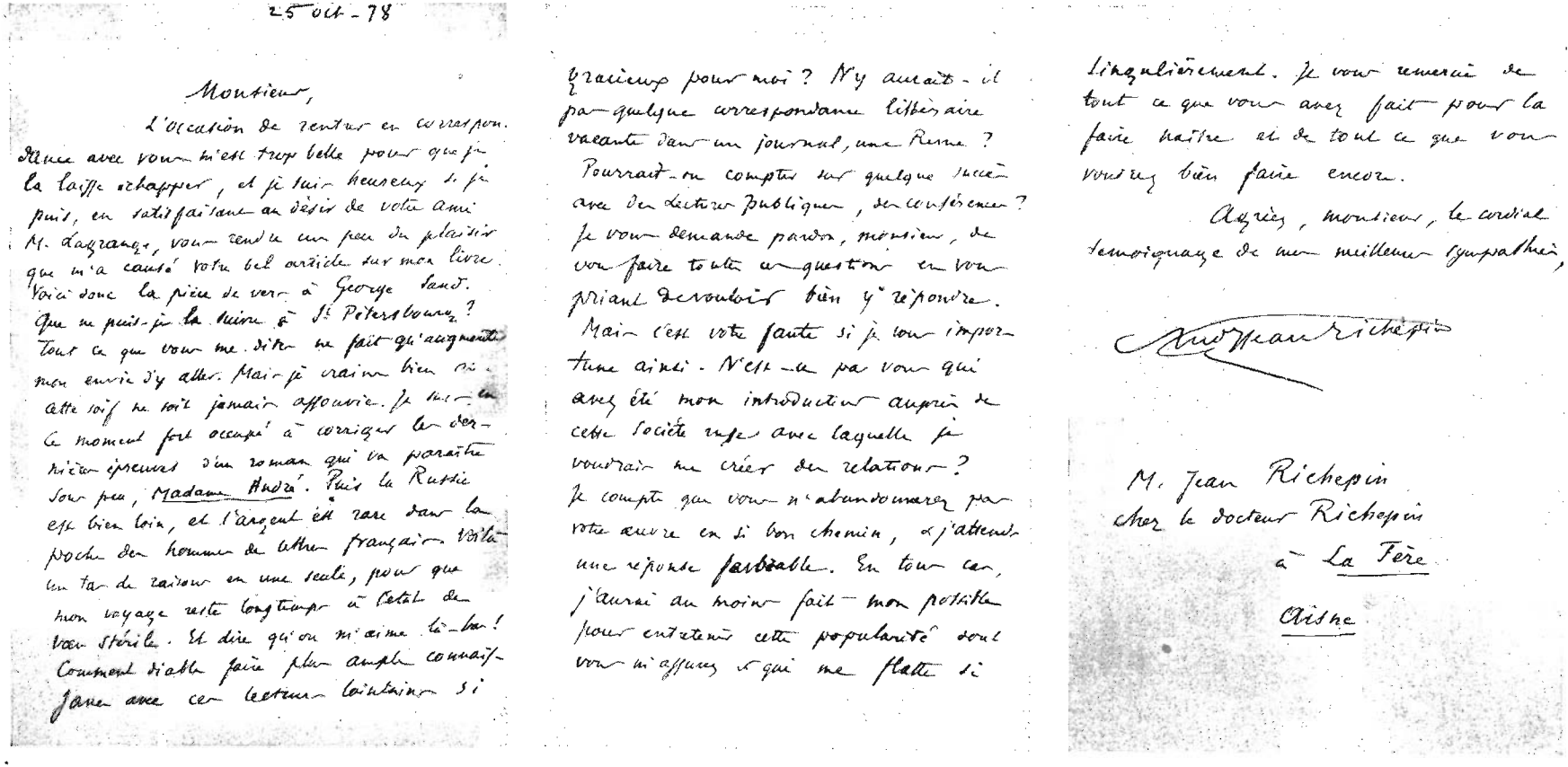
Переписка Ришпена с Загуляевым оборвалась почти на два года.

Загуляев был одним из первых, признавших большое социальное и литературное значение «Chanson des gueux».

Выступление Загуляева, по тому времени, было очень смелым: Ришпен был известен только в узких богемных кругах французской литературы.

Даже такой писатель, как Эмиль Золя, сам выдержавший достаточное количество нападок по поводу «грубостей» и натуралистических резкостей, уже два года спустя после выхода книги Ришпена принимал ее с существенными оговорками:

«Ришпен высказался в ней, как отчаянный реалист, не отступающий перед резкими словами и называющий безобразные вещи их именем. Некоторые стихотворения даже написаны целиком на «argot»... Слишком ясно, что грубые детали у Ришпена не вытекают из сущности дела, что он их втискивает ради эффекта... Ришпен, выдающий себя за реалиста, представляется мне скорее романтиком. Его «gueux» принадлежит скорее Калло, нежели современной жизни. Вообще его стихи носят почти чисто лирический характер. В сущности, подражание Бодлеру весьма заметно. Ришпен отличается от Бодлера только в том отношении, что он не такой пурист и позволяет себе все. С другой стороны, он шумнее, боязливее



25 oct - 78

Monsieur,

L'occasion de rentrer en correspondance avec vous m'est trop belle pour que je la laisse échapper, et je suis heureux si je puis, en satisfaisant au désir de votre ami M. Lagrange, vous rendre un peu du plaisir que m'a causé votre bel article sur mon livre. Voici donc la pièce de vers à George Sand. Que ne puis-je la lui remettre à St Pétersbourg? Tout ce que vous me dites ne fait qu'augmenter mon envie d'y aller. Mais je crains bien qu'elle ne soit jamais assouvie. Je suis en ce moment fort occupé à corriger les dernières épreuves d'un roman qui va paraître sous peu, Madame André. Puis la Russie est bien loin, et l'argent est rare dans la poche des hommes de lettres français. Voilà un tas de raisons en une seule, pour que mon voyage reste longtemps à l'état de vœu stérile. Et dire qu'on m'aime là-bas! Comment diable faire plus ample connaissance avec ces lectrices lointaines si gracieuses pour moi? N'y aurait-il pas quelque correspondance littéraire vacante dans un journal, une Revue?

Pourrait-on compter sur quelque succès avec des lectures publiques, des conférences? Je vous demande pardon, monsieur, de vous faire toute cette question en vous priant de vouloir bien y répondre.

Mais c'est votre faute si je vous importune ainsi. N'est-ce pas vous qui avez été mon introducteur auprès de cette société russe avec laquelle je voudrais me créer des relations?

Je compte que vous n'abandonnerez pas votre œuvre en si bon chemin, et j'attends une réponse favorable. En tout cas, j'aurai au moins fait mon possible pour entretenir cette popularité dont vous m'assurez et qui me flatte si singulièrement. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour la faire naître et de tout ce que vous voudrez bien faire encore.

Agréez, monsieur, le cordial témoignage de mes meilleures sympathies,

Jean Richepin

M. Jean Richepin
chez le docteur Richepin
à La Fère
Aisne

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖАНА РИШПЕНА К М. А. ЗАГУЛЯЕВУ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 1878 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

и хвастливее. Повторяю: мне бы хотелось, чтобы у него было больше заботы о правде. Впрочем, я, тем не менее, признаю, что у Ришпена большой талант»[12].

В 1878 г. имя Ришпена становится довольно известным в России. Анна Барыкова переводит «Перелетных птиц»[13] и «Лунатиков»[14]. В «Вестнике Европы», кроме цитированной статьи Золя, печатаются переведенные С. Андреевским стихотворения «Вопль»[15], «Девочка с кашлем», «Идиллия бедных», «Печаль животных» и «Эпитафия для кого угодно»[16].

Анализируя попытку Андреевского перевести произведения современных французских поэтов, Загуляев писал: «Попытка эта была отнюдь не легкой, так как Андреевский не довольствовался переводом произведений, правильных по своей форме, но смело взялся за труды значительно более фантастические и индивидуальные. Он даже не остановился перед «Песнью убогих» Жана Ришпена. Это странная книга, в которой молодой французский поэт растрачивает бесспорный талант на описания такие грубые и такие реалистические, перед которыми реализм «Западни» Золя кажется мягким и безобидным. Три отрывка стихов, взятых из этой книги,—«Девочка с кашлем», «Идиллия бедных», «Печаль животных»—замечательно переведены Андреевским. Особенно трудно было перевести на русский язык первый из этих отрывков таким образом, чтобы сохранить его мрачную силу. Андреевский вышел действительно победителем из этой трудности. Его перевод производит впечатление идентичное тому, которое получаешь при чтении оригинала. В последнем Жан Ришпен изображает бедного туберкулезного ребенка, страдающего лихорадкой и охваченного припадком смертельного кашля на тротуаре улицы в холодный и мрачный зимний день. Он старается воспроизвести отрывистый ритм и суровую силу таких стихов, как, например:

Tousse! tousse! un dernier coup!
Elle laisse sur son cou
Choir sa tête,
Tel sous la bise un flambeau
Et pour la paix du tombeau
Elle est prête.
Elle épousera ce soir,
Sans bouquet, sans encensoir,
Sans musiques,
Plus tôt qu'on n'aurait pensé
L'Hiver, ce vieux fiancé
Des phthisiques...

Андреевскому вполне удался этот перевод, и его успех в этом достаточно трудном деле говорит о степени его таланта переводчика»[17].

Рецензию эту, вместе с сообщением о популярности «Chanson des gueux» в России, Загуляев отправил Ришпену и в октябре получил от него ответное письмо:

*Перевод:*

25 окт[ября] [18]78 г.

Милостивый государь,

Не могу упустить такого прекрасного случая, чтобы не вступить с вами в столь приятную мне переписку. Отвечая на пожелания вашего друга, г. Лагранжа, я рад уделить вам немного той радости, которую мне доставила ваша прекрасная статья о моей книге. Вот вам стихи к Жорж

Санд. Как бы хотелось последовать за ними в Санкт-Петербург. Все, что вы мне о нем рассказываете, только усиливает мое желание поехать туда. Боюсь только, что никогда не сумею осуществить свое намерение. Я сейчас поглощен корректурой своего романа «Госпожа Андре», который скоро должен выйти в свет. К тому же Россия далека, а деньги—весьма редкий гость в кармане французских литераторов. Вот, в общем, основная причина, из-за которой мое желание совершить это путешествие останется еще надолго бесплодным. И подумать только, что меня там любят! Чорт возьми, как бы мне поближе познакомиться с этими далекими читателями, столь милостивыми ко мне? Не найдется ли у вас свободного места литературного корреспондента в какой-нибудь газете или журнале? Можно ли было бы рассчитывать на успех моих публичных чтений или лекций? Простите, М. Г., за все эти вопросы и за просьбу ответить на них. Но вы сами виноваты в том, что я вам так надоедаю, ибо разве не вы меня ввели в это русское общество, с которым я хотел бы завязать более тесные сношения. Я надеюсь, что вы не оставите столь хорошо начатого дела и что ответ ваш будет благоприятным. Во всяком случае, я, со своей стороны, сделаю все от меня зависящее, чтобы не дать погибнуть популярности, в существовании которой вы меня уверяете и которая мне чрезвычайно лестна. Благодарю вас за все, что вы сделали для ее возникновения, и за все, что впредь еще сделаете.

Примите, М. Г., сердечное уверение в моей глубокой к вам симпатии.

Жан Ришпен

Г-ну Жану Ришпену, у доктора Ришпена. A La Fère. Aisne.

Ришпен, очевидно, из вежливости, называет вышеприведенную заметку о переводах Андреевского «прекрасной статьей о моей книге». Во всяком случае, ни в одном из периодических изданий, в которых сотрудничал Загуляев, статьи о Ришпене в 1878 г. не было напечатано.

На этом переписка оборвалась.

Неопубликованные до сих пор ответные письма Загуляева хранятся в архиве Ришпена во Франции[18].

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Впоследствии Ришпен снабдил «Chanson des gueux» словарем арго и предисловием, в котором, зло издеваясь над осудившим его правосудием, заявлял, что «вещи, названные своим именем, хорошая простота стиля, простонародная грубость определенных слов еще никогда никого не развращали». «Моя поэзия,—писал Ришпен,—это храбрая и веселая девушка, которая говорит грубо, я это признаю, даже кричит, она растрепана, слегка пьяна, у нее яркий цвет лица, она дышит полной грудью, она смело пачкает свои юбки и ноги в черной липкой грязи предместий или в горячем зное деревенского навоза; подчас она ругается, иногда икает, поет песенки на арго и веселится веселостью женщин из народа. И все это—для удовольствия петь, смеяться, жить без задней развратной мысли, не как распутница, которая слегка обнажает себя, прежде чем отдаться желаниям какого-либо старика или мальчишки, но как здоровое прекрасное создание, которое не боится показать солнцу свои груди, наполненные силой, и свой величественный живот, где уже блистает гордость будущего материнства. Клянусь целомудренной наготой, торжеством природы, что это не аморально! А если аморально, то да здравствует аморальность! Да здравствует эта здоровая и прекрасная аморальность, которую я имею честь культивировать вслед за столькими гениями, перед которыми склоняется человечество, вслед за всеми древними авторами, вслед за всеми старыми французскими мастерами, вслед за самим царем Соломоном, очаровательная Песнь песней которого стоила бы ему сейчас осуждения при закрытых дверях. Я амо-

рален и останусь аморальным, найдя слишком благородное общество, чтобы искать лучшего. На зло всем критикам и судилищам мира, я никогда не смогу понять, чем откровенность и искренность оскорбляют добрые нравы. Я скорее готов продолжать оскорблять их, нежели прятать свои фразы, как проститутка в кружевном пеньюаре, и я решительно отказываюсь от уважения честных людей, если для этого нужно уметь окунать свои пальцы в различные лохани, как будто бы там святая вода» («La Chanson des gueux». Nouvelle édition, P., 1909, p. XII—XIII).

[2] «Максимилиан Робеспьер. Опыт исторической монографии». Архив М. А. Загуляева.—ИЛИ, 13.778, LXXIVб. 13.

[3] «Сен-Жюст в Страсбурге. Эпизод из истории первого немецкого вторжения во Францию (1793—1794)». Архив М. А. Загуляева.—ИЛИ, 13.784, LXXIVб. 14.

[4] Письма Маркса к Кугельману.—Гиз, М.—Л., 1928, стр. 97.

[5] «Nouvelles de Russie».—«Indépendance Belge», Bruxelles, 14 novembre 1870.

[6] «Indépendance Belge», Bruxelles, 21 novembre 1870, № 325.

[7] О дружеских взаимоотношениях России и Америки см. также корреспонденцию Загуляева в № 336 «Indépendance Belge», от 2 декабря 1870 г. (перепечатана в «Биржевых Ведомостях», 1870, № 410).

[8] Штакеншнейдер Е. А., Дневник и записки, изд. «Academia», М., 1934, стр. 414.

[9] Архив революции и внешней политики, фонд III отделения, Дело № 115, лл. 51 и 51 об.

[10] [М. А. Загуляев], По белу свету.—«Голос», 10 сентября 1876 г. № 250, стр. 1—2.

[11] См. «Голос», 1876, № 306, стр. 2.

[12] Золя (Эмиль), Парижские письма. XXXVIII. Наши современные поэты.—«Вестник Европы», 1878, № 2, стр. 890.

[13] «Отечественные Записки», 1878, № 2, стр. 890.

[14] «Слово», 1878, № 8, стр. 42—44.

[15] Андреевский С., Из современных поэтов Франции.—«Вестник Европы», 1878, № 4, стр. 698.

[16] Андреевский С., Из современных поэтов Франции. Из «Песни убогих» Жана Ришпена.—«Вестник Европы», 1878, № 6, стр. 611—615.

[17] L. V. [М. А. Загуляев], «Les revues russes».—«Journal de St.-Pétersbourg», 1878, № 153, p. 2.

[18] Письма Ришпена к М. А. Загуляеву хранятся в Рукописном отделении Института литературы Академии наук СССР, Ленинград.

# ИЗ ПЕРЕПИСКИ Э. ЗОЛЯ С РУССКИМИ КОРРЕСПОНДЕНТАМИ

Публикация М. Клемана

I

В начале 1872 г., в ближайшие месяцы по выходе в свет двух начальных томов «Ругон-Маккаров», Эмиль Золя познакомился с И. С. Тургеневым. Случайная встреча (вероятно, у Г. Флобера, при одном из наездов его в Париж) повела к сближению и установлению долголетних дружеских отношений. Прокладывая путь «натуралистическому» роману, Золя, естественно, тяготел к старшим реалистам Г. Флоберу и Э. Гонкуру, к интимному кружку которых примкнул Тургенев со времени своего окончательного обоснования в Париже. Но Э. Золя привлекала в Тургеневе не только утвердившаяся за автором «Дыма» репутация одного из столпов европейского реализма.

С летних месяцев того же 1872 г., в котором завязалось знакомство обоих романистов, началось усвоение произведений Э. Золя русской читательской аудиторией. Живую информацию о появлении в России сначала пространных пересказов, а затем полных переводов романов цикла «Ругон-Маккары» и об оживленном обсуждении их в критической литературе французский писатель мог получать от Тургенева. Внезапный и блестящий успех в среде русских читателей привлек тем больший интерес Э. Золя, что у себя на родине на первых порах он особого внимания не завоевал. Знакомство с авторитетным русским романистом намечало возможности установления непосредственной связи с сочувственными русскими читательскими и издательскими кругами, сближение с которыми открывало неожиданные перспективы. Несомненно, что это обстоятельство служило одним из мотивов, по которым Золя, обычно замыкавшийся в тесном приятельском кругу, дорожил дружескими отношениями со своим новым знакомцем.

Во время долголетнего пребывания за границей Тургеневу часто приходилось выступать посредником между русской и западно-европейской литературой. Особо значительную роль сыграло его посредничество в истории русских отношений Э. Золя, личные связи которого с русскими деятелями устанавливались почти исключительно через Тургенева.

Весной 1874 г., перед отъездом из Парижа в Россию, Тургенев взял на себя, по просьбе Э. Золя, переговоры с петербургскими издателями о переводе романа «Завоевание Плассана». Полномочия Тургенева были при этом засвидетельствованы особой доверенностью, черновик которой, на французском языке, сохранился в архиве Э. Золя.

*Перевод:*

Я, нижеподписавшийся ⟨уполномочиваю г. Ивана Тургенева⟩, заявляю о передаче г. Ивану Тургеневу всех полномочий в отношении авторских

прав на переводы моих произведений на русский язык. Вместе с тем я уполномочиваю г. Тургенева вступать в переговоры с переводчиками и издателями и заключать соглашения[1].

Переговоры по поводу «Завоевания Плассана» не привели ни к каким положительным результатам,—они были начаты слишком поздно, уже после выхода отдельного французского издания романа, когда для перевода его не требовалось больше авторской санкции. Но в ходе переговоров Тургенев условился с М. М. Стасюлевичем, что следующий том «Ругон-Маккаров»—«Проступок аббата Муре» будет доставлен в редакцию «Вестника Европы» в корректурных гранках и появится в журнале на правах перевода с рукописи. Соглашение было закреплено, и «Проступок аббата Муре», равно как и следующий роман «Его превосходительство Эжен Ругон», были напечатаны в «Вестнике Европы» (1875 г., кн. 1—3; 1876 г., кн. 1—4) до выхода в оригинале.

В начале 1875 г. Тургенев вступил в переписку с М. М. Стасюлевичем относительно постоянного сотрудничества Э. Золя в «Вестнике Европы» на амплуа парижского корреспондента. Посредничество Тургенева оказалось и на этот раз плодотворным. В мартовской книжке журнала появилось первое «Парижское письмо» Э. Золя «Новый академик. Прием А. Дюма-сына во Французскую академию», а с майского номера началось регулярное ежемесячное печатание корреспонденций, продолжавшееся в течение шести лет, по 1880 г. включительно. В «Вестнике Европы» были напечатаны 64 статьи Э. Золя, наиболее существенную часть которых составляли критические очерки. В них была впервые в беседах с русскими читателями развита и аргументирована «теория научного романа», теория «натурализма», с пропагандой которой ее автор выступил перед французской аудиторией несколькими годами позднее. Сотрудничество Э. Золя в «Вестнике Европы»—это не только страничка из истории русской журналистики, свидетельствующая о большой популярности в России автора «Ругон-Маккаров», но и один из значительнейших эпизодов журнальной деятельности французского романиста. О работе в крупнейшем органе русской либерально-буржуазной печати Золя неоднократно вспоминал с чувством признательности. В предисловии к сборнику «Экспериментальный роман», составленному наполовину из работ, прошедших через «Вестник Европы», он писал:

«В ужасные часы материального стеснения и отчаяния Россия возвратила мне мою веру и силу, предоставив трибуну и самую ученую, самую страстную аудиторию. Благодаря ей я стал в критике тем, чем я сейчас являюсь. Я не могу говорить об этом без волнения и сохраняю постоянную благодарность».

Популярность Э. Золя в России в середине семидесятых годов была настолько значительна, что петербургские корреспонденты Тургенева положительно осаждали его запросами о французском романисте. П. Д. Боборыкин, готовясь к публичным чтениям «Реального романа во Франции» (чтения состоялись в Петербурге, в марте 1876 г.), обратился за биографическими данными об авторе «Ругон-Маккаров» к Тургеневу и при его посредстве связался лично с Э. Золя, большое автобиографическое письмо которого включил в текст своих лекций[2].

Публикуемые ниже два письма к Тургеневу Вл. В. Стасова и А. С. Суворина относятся ко времени сотрудничества Э. Золя в «Вестнике Европы»

и иллюстрируют интерес к его корреспонденциям в русских читательских и редакционных кругах.

30 марта 1875 г., всего через несколько недель после появления первой, пробной корреспонденции Э. Золя, Вл. В. Стасов обратился к И. С. Тургеневу с пространным письмом.

СПБ., Надежд[инская], д. Трофимова
30 марта 1875 г.

Иван Сергеевич, угодно вам оказать мне некоторую услугу? Если да, то вот о чем я попросил бы: спросите пожалуйста Z o l a, которого наверное видаете (а я даже адреса его не знаю), хочет он завести со мною

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ
Фотография с дарственной надписью Тургенева А. Н. Энгельгардт, 1876 г.
Литературный музей, Москва

небольшую переписку о делах художественных? Быть может вы припомните, еще в прошлом году я рассказывал вам, как высоко ставлю его книжечку критических этюдов под заглавием «M e s h a i n e s» и его брошюру о Манѐ, даром что кое с чем там и не согласен, а теперь, после его великолепного письма в «В е с т н и к е Е в р о п ы» про Дюма-фиса и еще более убедился, что он просто самый лучший художественный критик последнего времени. Никто из немцев (мне очень твердо известных) не может сравниться с ним, а Тэн, хоть и блестящ, но близорук, мелок и ограничен. Если бы это дело, которое я считаю для себя очень важным, удалось, я даже подумываю нынче летом приехать в Париж, месяца на 2, напр. на авг. и июль—так мне хотелось бы перетолковать с Z o l a о том и сём. Я теперь пишу одну большую книгу художественной критики и, признаться, никого почти не нахожу, с кем можно и стоило бы поговорить до корней дела. Есть, правда, один русский художник, вы-

ходящий из ряду вон по глубине и силе мысли, да и тот, пожалуй, не выдержит и сдаст, когда все умеренные и ретрограды, консерваторы и благоразумники залают. Итак, вот моя просьба—что̀ знаете, то̀ с нею и сделайте. Позвольте надеяться на ответ от вас. A propos de Zola, скажу вам, что, несмотря на всеобщую, даже необыкновенную любовь всех у нас к Zola, почти все остались недовольны последним его романом «La faute de l'abbé Mouret». Может быть, никто на свете так не любит и не ценит этого автора, как я—на мои глаза он решительно выше всех нынешних романистов (кроме Виктора Гюго̀)—на мои глаза, ни у кого нет такого содержания, как у него, это именно литература нашего века—и несмотря на все это, я читал новый его роман с досадой и скукой, принужден был пропускать по 5, по 10 страниц (не то что русского, а французского текста, в корректурных листах), до того несносны и приторны все эти амуры и самобичевания, сентиментальные, неестественные и невероятные. Если и могут быть такие уроды, как этот аббат, то чорт бы их всех побрал, нет нам до них ни малейшего дела. Это что-то стариной и затхлым несет! И эти глупости способна писать та самая рука, которая написала «Ventre de Paris», «La fortune des Rougon» и «La Curée». Просто непостижимо. Конечно, талант был виден даже и в Аббате Мурѐ, на лицах второстепенных, каковы без исключения крестьяне и крестьянки, но этот Мурѐ, но эта Albine—что̀ это за невообразимая чепуха и неправда! Что̀ это за идеальничанье безмозглое и безвкусное, и у кого? У самого что̀ ни есть могучего романиста и мыслителя! Я так был рад, что тотчас же после этого плохого романа прочитал чудесное его письмо о приеме Дюма̀ в Академию—а то я уже было подумал: Ну, и еще падение! Ну, и еще провалился, не проделав даже и полдороги своей! Теперь я снова смотрю на Zola с надеждой и ожиданием...

В. Стасов

На восторженное обращение быстро приходившего в энтузиазм художественного критика, опубликовавшего незадолго перед тем в еженедельнике «Пчела» выдержки из обращенных к нему лично писем И. А. Репина, Тургенев отвечал в очень сдержанном тоне. Согласившись выполнить просьбу Вл. В. Стасова и снестись с Э. Золя, Тургенев выражал сомнение в успехе переговоров: «Работая с утра до вечера как вол, он [Золя] едва ли сводит концы с концами—и на безденежную корреспонденцию тратить время не станет. Если вы точно собираетесь в Париж, то вот вам самый удобный случай переговорить с ним»[3].

Весной следующего 1876 г. обратился к Тургеневу с большим письмом А. С. Суворин, занятый подбором сотрудников для только что приобретенного и реформируемого им «Нового Времени». Тургенев предлагал Суворину приобрести для газеты право перевода с рукописи романа Э. Золя «Западня», публикация которого началась в фельетонах парижской газеты «Bien public». Не считая возможным принять это предложение, Суворин писал:

28 марта 1876 г.

Многоуважаемый Иван Сергеевич, очень вам благодарен за ваше желание помочь «Новому Времени», но вы плохо рассчитали на почту: я получил ваше письмо только сегодня, заштемпелеванное вчерашним числом. Пошли я сегодня телеграмму, вы не могли бы мне выслать начало

романа ранее 11-го нов. стиля, получил бы его я около 15-го, в страстную субботу; дня три газеты не выходят, а в это время получится «Bien public» с романом: мы не могли бы предупредить другие газеты ни на один день, а если б и предупредили, то разве дня на два—на три. При необходимости помещать обязательные фельетоны в известные дни, и это предупреждение ни к чему бы не послужило, так как другие газеты, по всей вероятности, станут печатать извлечение из романа. Я бы ни одной минуты не колебался, если б мне предложили роман, напр., за месяц до появления его в «Bien public», и на будущее время я был бы очень рад пойти на такие условия, хоть признаюсь вам, я вовсе не так высоко ставлю Золя, как некоторые наши критики, как юный критик «Нового Времени»—Венгеров (ему 20 лет). У Золя столько тела и жиру, что души совсем не видать, а ведь она же есть; его описанья иногда больше претензий в себе заключают, чем настоящих художественных красок. Публика, впрочем, бросается на него и на то, что он похвалит, а он все делает открытия великих романистов, вроде братьев Гонкур и Додэ, который больше обладает лирическим чувством, чем художественным, и который в маленьких вещах, по-моему, лучше, чем в больших. Это какая-то смесь Клареси и Золя. Мне вообще досадно, что Золя потчует русскую публику французскими реалистами, точно у нас своих нет, точно у нас нет вас, Толстого, Достоевского, Гончарова, даже Писемского. Додэ—это Левитов, но Левитов спился у нас и погиб, а во Франции из него выработался бы талант недюжинный.

Я все бьюсь из [за] порядочного корреспондента для Франции. Писал Валесу, он запросил по франку за строчку, Ранк—тоже запросил такую сумму, какую я не могу заплатить при настоящих условиях газеты, которая при всем успехе своем не может платить больших денег, а успех этот неожиданный—мы имеем 1 500 подписчиков в течение одного месяца и больше 2 000 отдельной продажи. «Голос» продается в числе 1 500 экз., но газета стоит в месяц больше 8 000 р. Отдельную продажу нам запретили на-днях по настоянию Толстого, который написал Тимашеву, что он управлять министерством не может, если будут появляться корреспонденции, подобные новгородской (№ 17 «Нов. Вр.»), написанной Шашковым; Григорьеву приходится защищать нас; 3-е отделение шлет доносы на «Новое Время»; я получил очерк от Салтыкова—Григорьев советует подождать с ним. Иной раз просто голову теряешь, как поступать, что можно и чего нельзя. Цензурен ли роман Золя? Это тоже вопрос. Если он цензурен, я предложил бы вот что: будь у меня корректура его, нумеров за 5 вперед, так что мы могли бы делать большие извлечения, предупреждая другие газеты, я охотно заплатил бы рублей 100. Но еще лучше было бы, если б Золя согласился иногда писать в газету, раза два в месяц, о чем хочет, хотя бы свои contes. Если бы вы ему предложили это от моего имени, я был бы вам очень благодарен. Не знаете ли вы, где живет Сахер-Мазох и можно ли с ним вступить в соглашение относительно одновременного печатания его вещей по-русски и по-немецки. Этот барин мне очень нравится, хоть его напрасно сравнивают с вами—у него колорит яркий, но краски грубоватые, и слишком уж он наваливает их на одно место—это Маккарт, но погрубее.

Я помню ваше обещание, Иван Сергеевич, и рассчитываю на него. Поддержка нам крайне необходима. Вы не поверите, какая бедность сил, какая бедность даже в грамотных людях. Невежество непроходимое,

сплошное. Молодежь лезет ко мне, но что это за произведения — все фельетон и фельетон жалкий, жидкий, с оттенком того, что скажет ему последняя книга. Венгеров ужасно юн, у него есть бойкость, но какая-то сухая, с ним приходится спорить о пустяках. Буренина взять мне не позволяют: 3-е отд[еление] доложило государю, что я пригласил его, Де-Роберти и Арсеньева—эту бумагу мне показывали в главном управлении, и мне пришлось открещиваться от двух первых и защищать последнего. В литературном отделе 3-го отд[еления] сидит Сушков, брат редактора Прав. Вестн., идиот, написавший когда-то «Судеб. опись», и строчит доносы, в которых слова правды нет. Между тем Буренин стал писать в «СПБ. Вед.» под псевдонимом Рюрик—и ничего. Живешь в этой поганой каше и только обмазываешься ею.

Дай вам бог здоровья.
ваш от всего сердца А. Суворин[4]

Предложение работать в «Новом Времени» не было ни первым, ни единственным приглашением к сотрудничеству, полученным Э. Золя от редакторов русских периодических органов. Почти одновременно с А. С. Сувориным, всего несколькими днями ранее, с аналогичным предложением обратился к нему Ф. П. Баймаков, издатель «С.-Петербургских Ведомостей». Предложение это было быстро отвергнуто. Осведомленный о намерениях Ф. П. Баймакова, М. М. Стасюлевич заблаговременно выразил через И. С. Тургенева Э. Золя решительный протест, с которым автору «Парижских писем» пришлось посчитаться. 16 марта н. ст. 1876 г. Тургенев заверял встревоженного М. М. Стасюлевича: «С Э. Золя я виделся лично. Я его предуведомил на счет запроса Баймакова—и он объявил мне, что он ни в коем случае корреспонденции на себя не возьмет и ответит решительным отказом»[5]. Более длительный характер имели переговоры о сотрудничестве Э. Золя в «Отечественных Записках», шедшие одновременно с перепиской о его работе в «Новом Времени».

Мысль о привлечении французского писателя к участию в «Отечественных Записках» возникла еще в конце 1875 г., во время пребывания за границей М. Е. Салтыкова. В апреле 1876 г., возвращаясь из Ниццы, русский сатирик лично познакомился с Э. Золя, а переговоры о привлечении его к работе в «Отечественных Записках» вел с Тургеневым в Бадене и в С.-Петербурге в мае того же года. Предложения редакции журнала сводились к тому, чтобы Золя, продолжая свои письма в «Вестнике Европы», давал ежегодно на заданные темы четыре больших статьи (от 2 до 3 листов) в «Отечественные Записки»[6]. Окончательного ответа М. Е. Салтыкову Золя, склонный принять это предложение, долгое время не давал, так как считал, во-первых, необходимым получить согласие М. М. Стасюлевича, а во-вторых, продолжал вести переговоры с проявлявшим большую настойчивость редактором «Нового Времени».

Первое приглашение к работе в этом издании, переданное через Тургенева (в приведенном выше письме), было отвергнуто. Тургенев извещал А. С. Суворина 9 апреля н. ст. 1876 г.: «Я говорил ему [Э. Золя] о вашем предложении (на счет участия в «Новом Времени» два раза в месяц), но у него так много работы теперь на руках (он между прочим стал театральным рецензентом в «Bien public»), что и от этого предложения он принужден теперь отказаться, хотя благодарит за доверие и будет иметь в виду»[7]. Осенью 1876 г. А. С. Суворин возобновил свое приглашение,

ОБЛОЖКА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ „ПАРИЖСКИХ ПИСЕМ" ЭМИЛЯ ЗОЛЯ, 1878 г.

ЭМИЛЬ ЗОЛА

ПАРИЖСКІЯ ПИСЬМА

Изъ литературы и жизни.

1875—77 гг.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 лин., 7.
1878

вступив в переговоры с Э. Золя через В. И. Лихачева, сотрудника «Нового Времени», находившегося в это время в Париже. Однако, к этому времени французский писатель, по настояниям М. М. Стасюлевича, твердо решил отказаться от работы в каком-либо русском издании, помимо «Вестника Европы». Об этом осведомлял М. Е. Салтыкова Тургенев в письме из Парижа от 17 сентября н. ст. 1876 г.: «Кстати о Золя. Я видел Лихачева и знаю, что он был отражен с уроном. Но мое „непреоборимое" усердие тут ни при чем. Дело в том, что Стасюлевич, в последний свой приезд в Париж, познакомившись с Золя, озолотил его сверху донизу,—но с тем условием, чтобы Золя уже весь принадлежал ему. „Вестник Европы", вследствие этого, представляется Золя той сказочной poule aux œufs d'or, которую нужно беречь, как зеницу ока»[8].

П. Д. Боборыкин, вербовавший во время поездки в Париж летом 1878 г. сотрудников для журнала «Слово», рассказывает под впечатлением личного знакомства и бесед с автором «Ругон-Маккаров»: «Во всем, что касается России и сотрудничества в русских журналах, Золя слушается безусловно своего приятеля и собрата И. С. Тургенева. Он мне прямо и сказал: „Позвольте мне переговорить с моим другом Тургеневым: он так много для меня сделал и продолжает так дружественно относиться ко мне, что я привык ему верить и никакого дела не начинать без его совета во всем, что касается русской литературы и прессы"»[9]. Ознакомление со всеми приведенными выше материалами, выясняющими историю переговоров Э. Золя с издателями и редакторами русских журналов и газет, вполне подтверждает заключение П. Д. Боборыкина. На протяжении семидесятых годов И. С. Тургенев оставался постоянным советчиком французского романиста в его зарубежных сношениях. Вместе с тем, выясняется,

что к середине семидесятых годов у Э. Золя сложился, опять-таки при посредстве Тургенева, определенный круг русских знакомств.

Через Тургенева Золя вошел в письменные сношения с П. Д. Боборыкиным и М. М. Стасюлевичем,—с первым он познакомился лично летом 1878 г., со вторым несколько ранее, в августе 1876 г. В апреле 1876 г. Тургенев познакомил его с М. Е. Салтыковым. Около того же времени Золя связался через Тургенева с А. С. Сувориным, переписка с которым у него возобновилась через несколько лет, а в ходе переговоров об участии в «Новом Времени» встречался с одним из сотрудников этой газеты—В. И. Лихачевым. Часто навещая Тургенева, Золя мог встречаться у него с кружком парижских соотечественников русского романиста. Приведенными ниже документальными данными устанавливается его знакомство с молодым приятелем Тургенева, прототипом Нежданова в «Нови», А. Ф. Онегиным-Отто. Особый интерес представляло бы установление круга знакомств Э. Золя с представителями русской народнической эмиграции в Париже. К сожалению, документальные свидетельства, проясняющие этот вопрос, крайне скудны. В апреле 1876 г. Тургенев привлек Э. Золя к участию в литературно-музыкальном утре в пользу русской библиотеки в Париже. Выступая на нем, Золя не мог не познакомиться с библиотекарями, назначавшимися из эмигрантской среды[10]. В декабре 1879 г. Тургенев рекомендовал французскому писателю эмигранта М. О. Ашкинази, прося содействовать помещению его романа о русских террористах «Les victimes du tsar» в парижской газете «Voltaire»[11]. Осенью 1882 г. Тургенев рекомендовал для Э. Золя в качестве русского переводчика романа «Дамское счастье» И. Я. Павловского, автора напечатанных в газете «Le Temps» очерков «В одиночном заключении. Впечатления нигилиста».

Со смертью Тургенева, в августе 1883 г., связи Э. Золя с русскими деятелями не прервались, но круг его русских знакомств расширялся уже значительно медленнее. Если не считать эпизодических встреч, то в восьмидесятых и девяностых годах Э. Золя сошелся только с двумя русскими литераторами—народовольцем Е. П. Семеновым, эмигрировавшим за границу в августе 1882 г., и переводчиком И. Д. Гальпериным-Каминским, совместно с которым вел кампанию за заключение франко-русской литературной конвенции.

## II

Деловые и дружественные связи, установившиеся у Э. Золя с середины семидесятых годов с рядом русских деятелей, поддерживались более или менее регулярной перепиской. К сожалению, лишь незначительная часть относящихся к ней документов известна в печати. В двух томах «Писем» Э. Золя, вошедших в состав последнего полного собрания его сочинений, воспроизведено всего 13 писем к четырем русским корреспондентам: И. С. Тургеневу, М. М. Стасюлевичу, И. Д. Гальперину-Каминскому и Е. П. Семенову[12]. Вновь обнаруженные материалы позволяют значительно расширить этот список.

Длительную переписку поддерживал Э. Золя с И. С. Тургеневым, хотя общее число писем, которыми они обменялись, не было очень велико, так как большую часть года они жили в одном городе, постоянно встречаясь на ежемесячных «обедах пяти». Вполне естественно, что эта переписка прежде всего заинтересовала биографов. Еще в середине девяностых годов И. Д. Гальперин-Каминский получил от Э. Золя связку писем Турге-

нева, опубликовал их со вступительной заметкой и рядом пояснений, основанных отчасти на сообщениях автора «Ругон-Маккаров», в журнале «Cosmopolis» (1897 г., кн. 16 и 17), а в 1901 г. включил их в изданный в Париже эпистолярный сборник «Ivan Tourguéneff d'après sa correspondance avec ses amis français». В этом томике напечатано 55 писем и записок Тургенева к Э. Золя за 1874—1882 гг. В последовательности писем имеются, повидимому, некоторые пробелы, не все документы правильно датированы, но, тем не менее, публикацией Гальперина-Каминского одна часть переписки обоих писателей была представлена с достаточной полнотой. Гораздо хуже обстоит дело с ответными письмами Э. Золя. В первом издании эпистолярного наследия французского писателя («E. Zola, Cor-

ПРОЦЕСЪ ЭМИЛЯ ЗОЛА.
Генералъ Пелье даетъ свои показанія (съ моментальной фотографіи).

ПРОЦЕСС ЗОЛЯ
С фотографии из „Иллюстрированного Приложения" к „Новому Времени" от 7 февраля 1898 г.

respondance, Les lettres et les arts») приведено только три его письма к И. С. Тургеневу. Одно, от 29 июня 1874 г., представляет собою ответ на опубликованное Гальпериным-Каминским письмо русского романиста от 5/17 июня 1874 г., из с. Спасского, с предложением сотрудничества в «Вестнике Европы» (речь шла о помещении в журнале в переводе с рукописи романа «Проступок аббата Муре»); два других, от 25 октября и 10 декабря 1882 г., касаются русского издания романа «Дамское счастье» (книга вышла бесплатным приложением к журналу «Будильник» за 1883 г., перевод был сделан, по рекомендации Тургенева, И. Я. Павловским). Эти же три письма, без всяких дополнений, воспроизведены и в томах «Correspondance» последнего «Полного собрания сочинений» Э. Золя.

Профессор А. Мазон обнаружил в архиве Э. Золя и сообщил для публикации в «Литературном Наследстве» три записки И. С. Тургенева, оставшиеся неизвестными Гальперину-Каминскому. Точная дата первой из них устанавливается календарными расчетами (за годы знакомства обоих писателей понедельник приходился на 14 ноября только в 1881 г.), это — краткая пригласительная записка.

*Перевод:*

Париж, 50, rue de Douai
Понедельник, 14 ноября [1881 г.]

Дорогой друг,

Я тоже, со своей стороны, был бы очень рад повидать вас; не зайдете ли вы завтра, во вторник, часов в пять?

Буду ждать вас.

Тысяча дружеских приветов,
Весь ваш Ив. Тургенев

Во второй записке идет речь о русском издании романа «Дамское счастье». В недошедшем до нас письме конца октября 1882 г. Тургенев сообщал Э. Золя о желании редакции «Будильника» приобрести право перевода очередного тома «Ругон-Маккаров». Золя отвечал 25 октября: «Русское дело мне чрезвычайно понравилось. Я могу заблаговременно предоставить мою рукопись. Однако, необходимо спешить, так как печатание романа начнется в „Gil Blas“ с 10 декабря. Самое лучшее было бы вам тотчас же направить ко мне лицо, о котором вы пишете. Пусть оно сядет на Сен-Лазарском вокзале в двухчасовой поезд и сойдет на станции Виллен, где ему укажут Медан»[13].

Очевидно, в ближайшие же дни И. Я. Павловский явился к Э. Золя в Медан и вручил ему рекомендательную записку И. С. Тургенева.

*Перевод:*

(Деп. Сены и Уазы) Буживаль, Les Frênes
Пятница, 27 октября [18]82 г.

Дорогой друг,

Письмо это передаст вам г. Павловский, тот самый, о котором я вчера говорил вам. Вы переговорите с ним о своем деле (издании вашего романа) и вступите в соответствующее соглашение. Этот Павловский—отличный парень, к тому же и литератор,—относиться к нему можно с полным доверием.

Тысяча дружеских приветов,
Преданный вам
Ив. Тургенев

Третий документ, сообщенный профессором А. Мазоном, представляет собою, повидимому, последнее письмо, полученное Э. Золя от тяжело больного И. С. Тургенева за несколько месяцев до его смерти[14]. Благодаря находке, сделанной А. Мазоном, удается также установить адресата и приблизительную дату небольшого письма Э. Золя, сохранившегося в Рукописном отделении Института литературы Академии наук СССР, в собрании А. Ф. Онегина. Вот это письмо:

*Перевод:*

[Апрель 1883 г.?]

Я только что покинул постель, к которой был прикован в течение двух недель сильным бронхитом. Боясь вас утомить, я не настаиваю сейчас на свидании, но попрошу вас дать мне знать, когда мне можно будет к вам явиться, как-нибудь в послеобеденное время—так, чтобы не слишком вас затруднить.

С чувством любви и преданности к вам
Эмиль Золя

Адресатом этого письма был, по всей вероятности, И. С. Тургенев, а последняя записка его к Э. Золя, набросанная карандашом, представляется ответом именно на это обращение французского писателя.

*Перевод:*

50, rue de Douai
Суббота [5 апреля 1883 г.?]

Дорогой друг,

Все это время я был так ужасно болен, что не мог поблагодарить вас за присылку вашей книги. Только сегодня мне это по силам: сегодня первый день, что я могу писать. Искренно огорчен тем, что вы хворали. Я тотчас дам вам знать, как только буду в состоянии вести беседу.

Передайте г-же Золя мой дружеский привет. Сердечно жму вам руку.

Весь ваш
Ив. Тургенев

Если предположение о связи обоих документов справедливо, то они взаимно датируются. Нить к установлению даты записки Тургенева дает упоминание о новой книге Э. Золя. Речь идет, конечно, об отдельном издании романа «Дамское счастье», вышедшем в Париже 17 марта 1883 г. (следующий том «Ругон-Маккаров», «Радость жизни», появился уже после смерти Тургенева). Временное облегчение в болезненном состоянии русского писателя наступило в первых числах апреля, когда у него «прорвался какой-то внутренний... нарыв». Возможно, что записка была набросана в субботу 5 апреля н. ст. 1883 г.—этой датой помечено остающееся пока неопубликованным письмо Тургенева к П. В. Анненкову с сообщениями о состоянии здоровья, аналогичными с теми, которыми он делился с Э. Золя. В таком случае, публикуемое письмо Э. Золя датируется тем же 5 апреля 1883 г. или несколькими днями ранее. В связи с этой датировкой разъясняется и вопрос о том, как записка Э. Золя к Тургеневу попала в собрание А. Ф. Онегина: известно, что именно в весенние месяцы 1883 г. он почти безотлучно находился при безнадежно больном русском писателе, ведя его переписку и помогая в подготовке к печати «Полного собрания сочинений».

Вторым корреспондентом, с которым Э. Золя поддерживал длительные и регулярные письменные отношения, был редактор «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич. В полном составе их переписка в печати неизвестна, но большая часть писем Э. Золя опубликована в третьем томе издания «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке» (под редакцией М. К. Лемке, СПБ. 1912). Как уже указывалось на страницах «Литературного Наследства» (в обзоре «Эмиль Золя в России», во второй книге журнала за 1932 г.), сорока пятью напечатанными М. К. Лемке документами, хранящимися в настоящее время в составе архива М. М. Стасюлевича в Институте литературы Академии наук, не исчерпывается число полученных редактором русского журнала писем его парижского сотрудника. Два отколовшихся от основного собрания письма Э. Золя к М. М. Стасюлевичу (от 13 июля 1875 г. и 30 марта 1881 г.) были напечатаны в упомянутом обзоре в «Литературном Наследстве» и одно (от 14 февраля 1881 г.) в статье автора этих строк «Эмиль Золя—сотрудник „Вестника Европы“»[15]. М. М. Стасюлевич роздал, повидимому, некоторые из имевшихся у него писем популярного романиста любителям автографов,—этим и объясняется

ПРОЦЕСС ЗОЛЯ

С рисунка из „Иллюстрированного Приложения" к „Новому Времени" от 7 февраля 1898 г.

распыление фонда. В Рукописном отделении Института литературы Академии наук СССР удалось обнаружить еще одну записку Э. Золя к М. М. Стасюлевичу, не попавшую в печать.

*Перевод:*

Медан, 13 мая 1880 г.

Дорогой редактор,

Я пошлю вам в этом месяце статью о Салоне живописи, но смерть Гюстава Флобера на меня так подействовала, что, боюсь, я не буду в состоянии доставить вам полностью всю рукопись к условленному сроку— 20 числу. Во всяком случае, пошлю готовые уже страницы, а конец отправлю вслед за ними одним или двумя днями позднее.

С сердечным приветом

Эмиль Золя

Будьте добры передать общему нашему другу Тургеневу письмо, которое я к нему направляю по вашему адресу и той же почтой, как и настоящее.

Корреспонденция Э. Золя о Парижском салоне появилась в июньской книжке «Вестника Европы» 1880 г.: «Художество и администрация художеств. По поводу парижской выставки 1880 года» (эта корреспонденция, наряду с некоторыми другими «Парижскими письмами», не вошла в собрание сочинений писателя и известна только в русском тексте). На смерть Г. Флобера (ум. в Круассе, 8 мая 1880 г.) Э. Золя отозвался в июльской книжке «Вестника Европы» большой статьей «Флобер, как писатель и человек». Пересланное через М. М. Стасюлевича письмо И. С. Тургеневу (очевидно, сообщение о смерти их общего друга, автора «Мадам Бовари»)

в печати неизвестно, но Гальпериным-Каминским был опубликован ответ русского романиста от 11/23 мая 1880 г. из с. Спасского.

Переписка Э. Золя с И. С. Тургеневым и М. М. Стасюлевичем охватывает вторую половину семидесятых и начало восьмидесятых годов—десятилетие начальных успехов и упорной борьбы писателя за литературное признание. В девяностых годах, в пору мировой известности романиста, выступившего пламенным трибуном буржуазной демократии на процессе Дрейфуса, он поддерживал более или менее регулярную переписку с двумя русскими корреспондентами—И. Д. Гальпериным-Каминским и Е. П. Семеновым. В архивных хранилищах СССР удалось обнаружить ряд документов, характеризующих отношения Э. Золя к последнему адресату.

Самое раннее письмо Э. Золя к Е. П. Семенову помечено 27 ноября 1896 г.,—в нем французский писатель в вполне официальном, хотя несколько патетическом тоне поощряет своего корреспондента к переводу книги д-ра Тулузà «Enquête médico-psychologique. Emile Zola» (Париж, 1896).

«Вы сообщаете, что переводите на русский язык книгу доктора Тулузà, и спрашиваете мое мнение об ее издании в России. Я восхищен этим. Прошло уже много лет, как добрый Тургенев, мой близкий друг, связал меня с русским, — ныне нашим братским народом. Я знаю, у вас охотно читают мои книги и немного любят меня. Поэтому я хочу, чтобы у вас стало известно все, что может разъяснить истину относительно меня. Обо мне распространяют столько отвратительных легенд, что я только выиграю от полной, обнаженной истины»[16].

Связь, установившаяся между Э. Золя и Е. П. Семеновым на почве деловых литературных отношений, приняла с течением времени дружеский характер,—об этом свидетельствует впервые публикуемое ниже письмо, проникнутое задушевным тоном, редко прорывающимся у автора «Земли»

ПРОЦЕСС ЗОЛЯ

*С рисунка из „Иллюстрированного Приложения" к „Новому Времени" от 7 февраля 1898 г.*

ЭМИЛЬ ЗОЛА въ ожиданіи приговора.

и «Человека-зверя». Письмо написано в дни изгнания Э. Золя, когда он, привлеченный в связи с выступлениями по делу Дрейфуса к ответственности по обвинению в оскорблении должностных лиц, был присужден заочно к году тюремного заключения и 3 000 фр. штрафа и скрывался под именем доктора Паскаля в Англии, сперва в Лондоне, а затем в поместье одного из своих английских почитателей.

*Перевод:*

Воскресенье, 18 декабря [18]98 г.

Дорогой г. Семенов, дорогой собрат и друг, я очень тронут вашим хорошим письмом, которое дошло до меня, как крик надежды и избавления. Но увы! Если победа и представляется сейчас несомненной, то не похоже, чтобы она скоро была провозглашена. А до тех пор я хочу быть, как мертвый. Прошу вас поэтому никому не показывать этих строк, храня их про себя, ибо, пока во Франции не существует справедливости,—не существую и я.

Как благодарен я вам за добрые пожелания, дошедшие до меня в моем изгнании в последние дни этого ужасающего года. Они проникли мне в сердце, и в ответ на них я выражаю вам, вместе с благодарностью, полное сочувствие той честной борьбе за справедливость, в которой и вы лично так храбро участвуете.

Эмиль Золя[17]

Следующая группа писем касается сотрудничества Э. Золя в благотворительном сборнике «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая» (СПБ. 1901), к участию в котором французского писателя привлек Е. П. Семенов. Золя предложил напечатать в сборнике перевод своей статьи «В защиту евреев», опубликованной первоначально в парижской газете «Figaro» и воспроизведенной затем в книге публицистических очерков «Nouvelle Campagne» (1897 г.). О желании принять участие в издании Золя извещал редактора О. Б. Гольдовского специальным письмом.

*Перевод:*

Медан, 14 сентября 1900 г.

Милостивый государь г. Гольдовский,

Боюсь, что я очень запоздал с исполнением данного мною вам обещания. Но я пишу моему издателю, чтобы он тотчас же отправил к вам сборник моих статей «Nouvelle Campagne», в котором вы найдете несколько написанных мною некогда страниц о евреях,—и я с большим удовольствием разрешаю вам их перепечатать в книге, о которой вы мне сообщали.

Издание это, которое будет продаваться в пользу евреев юга России, так сильно пострадавших от голода, является прекрасным и трогательным примером человеческой солидарности,—большим и добрым делом. Я благодарен вам, что вы привлекли меня к участию в нем. Если мы стремимся облегчить человеческое страдание и осуществить, наконец, царство мира, то пусть руки людей протянутся от одного края земли к другому, чтобы соединиться в братском рукопожатии.

Сердечно ваш

Эмиль Золя[18]

Это письмо, явным образом рассчитанное на опубликование (отсюда его декларативный характер), было факсимильно, но с удалением фами-

лии адресата Гольдовского, воспроизведено в сборнике «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая», и перепечатано с ошибочным заголовком письма к Е. Семенову в эпистолярном сборнике Э. Золя «Les lettres et les arts», а отсюда оно перешло, с тем же неверным заголовком, во второй том писем последнего «Полного собрания сочинений» писателя. О том, что оно было адресовано не Е. П. Семенову, а какому-то другому корреспонденту, можно было догадаться по официальному тону обращения, а то, что оно было направлено редактору благотворительного сборника, выясняется из публикуемого ниже нового письма Э. Золя к Е. П. Семенову.

*Перевод:*

Париж, 14 октября 1900 г.

Дорогой собрат,

Простите за такое опоздание с ответом. Я откладывал его до своего возвращения в город; к тому же моя жена только что уехала в Италию, что внесло в наш дом некоторый беспорядок.

Желание вашего друга мной исполнено: я переслал ему препроводительное письмо для приложения к тем нескольким страницам, которые он собирается перепечатать из книги «Nouvelle Campagne». Я даже успел уже получить от него благодарственное письмо.

Хотя жена и отсутствует, меня можно попрежнему застать дома вечером по четвергам, и если вы захотите повидаться, думается, вам лучше всего прийти как-нибудь в четверг.

Прошу вас напомнить обо мне дружественному вниманию г-жи Семеновой и всех ваших и верить моей сердечной преданности.

Эмиль Золя[19]

Почти через год Золя извещал Е. П. Семенова о получении экземпляра сборника «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая».

*Перевод:*

Медан, 24 сентября 1901 г.

Дорогой Семенов,

Простите, что я с таким опозданием отвечаю на ваше последнее письмо. Я был очень обременен работой и несколько поддался лени.

Я действительно получил прекрасную книгу, которую по вашему указанию мне послали, и нашел в ней факсимиле моего письма. Рад, что мог оказать услугу вам и вашим русским друзьям. Что касается моей поездки во Франкфурт на первое представление «Мессидора», то мы об этом еще поговорим. В возможности этой поездки я, однако, сильно сомневаюсь по многим причинам, о которых вам сообщу.

Мы вернемся в Париж в будущий понедельник, и в следующую же пятницу жена моя уедет в Италию. Все же мы будем дома вечером в четверг, 1 октября, и жена будет вас рада видеть и пожать вам руку, если вы в этот вечер свободны.

Передайте наш дружеский привет г-же Семеновой, а также всем вашим, и примите уверения в любви и преданности.

Эмиль Золя[20]

Сохранились еще две дружеские записки Э. Золя к Е. П. Семенову.

*Перевод:*

Медан, 3 июля 1901 г.

Дорогой Семенов, самое простое было бы вам прийти позавтракать с нами в воскресенье. Мы садимся за стол только в час дня. Но если вы в воскресенье заняты, то вы можете к нам прийти лишь в среду, так как ни в понедельник, ни во вторник меня дома не будет.

Я не читал статьи в «Revue des Revues». Впрочем, мы обо всем этом побеседуем лично.

Прошу напомнить о нас дружескому вниманию г-жи Семеновой.

Дружески расположенный к вам и всем вашим

Эмиль Золя

Не откажитесь написать мне сейчас о дне, когда вы придете[21].

*Перевод:*

Париж, 17 февраля 1902 г.

Дорогой Семенов, я в отчаянии: нам было бы так приятно доставить вам удовольствие. Но у жены моей такой грипп, что ей нельзя выходить из дому, а я в среду обедаю у Журденов, и при одной мысли о том, чтобы в тот же день еще и завтракать в городе, я прихожу в ужас. Я от этого наверное заболел бы на следующий день.

Почему бы вам не зайти ко мне вдвоем с г. Брандесом, повидаться с которым я был бы очень рад. Если вы согласны, то я буду ждать вас обоих в среду в два часа, и у нас будет время побеседовать.

Передайте г-же Семеновой наши извинения и приветствия и верьте моей дружбе и преданности.

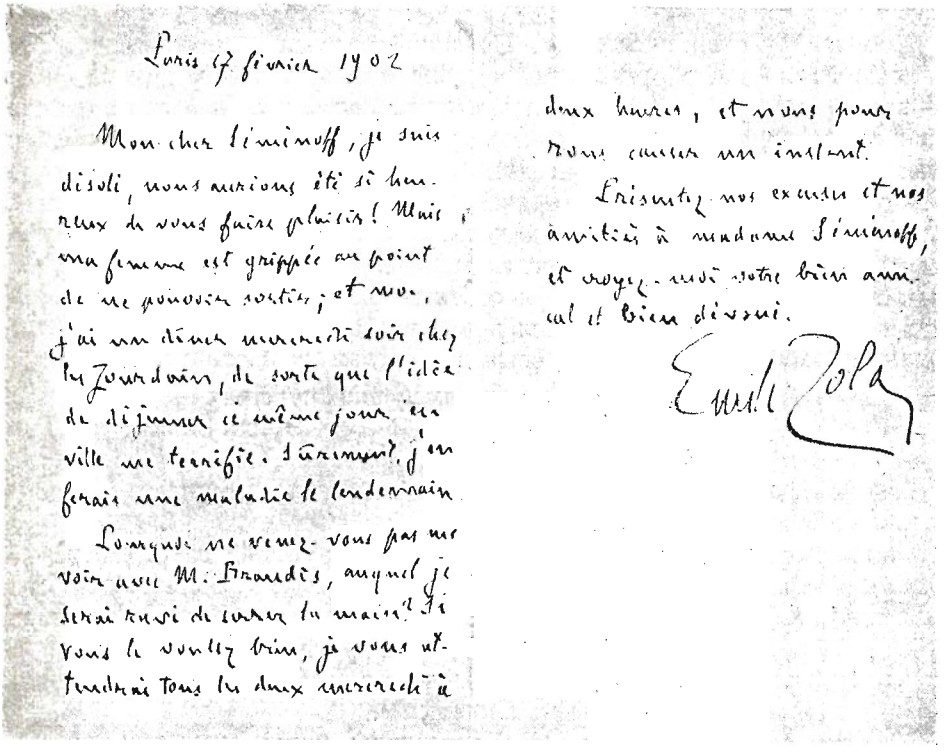
Эмиль Золя[22]

В статье Е. Семенова «Эмиль Золя в России» (литературные прибавления к газете «Indépendance Belge» от 26 октября 1902 г.) приводится обращение романиста к русскому студенчеству по поводу демонстрации 6 декабря 1876 г. на Казанской площади в Петербурге. По рассказу Е. Семенова, студенческий комитет, организованный в Париже и собиравший подписи к протесту-декларации французской интеллигенции, обратился к автору «Ругон-Маккаров». Приняв с обычной благосклонностью делегацию и наведя справки о том, что творилось в Петербурге, Москве, Киеве и др. городах, Э. Золя, по сообщению Е. Семенова, прислал в комитет следующее, предназначенное для печати письмо:

«События, происходящие в России, возмущают мировую совесть. Все свободомыслящие сочувствуют русской молодежи, известной своим трудолюбием и стремлением к правде и свободе, молодежи, которую деспотическое правительство желает запереть в загоне, как стадо скота. Но не являются ли эти ужасные события, это героическое выступление и отвратительные репрессии неизбежными фазами исторической эволюции? Не должны ли мы поэтому, громко выражая наше негодование, что с мыслью обращаются, как с рабой, хлещут ее кнутом, вместе с тем радоваться внезапному порыву бури, который ускоряет наступление революции в одной из последних оставшихся великих империй? Думается, самодержавие получает удар, последствия которого, быть может, окажутся решительными. Поэтому, заявляя о братском сочувствии к русскому студенчеству, я заявляю также о своей радости при виде славной борьбы, которую оно ведет за освобождение человечества».

Точность текста этого документа может, однако, вызвать некоторые сомнения. Семенов, эмигрировавший во Францию только в 1882 г., приводит письмо, повидимому, по позднейшей, может быть, мало авторитетной копии.—По его рассказу, подлинник письма, посланный в Россию через какую-то поэтессу для Литературного фонда, был захвачен полицией при обыске, не дошел до адресатов и погиб.

В цитированной статье Е. Семенова приводится со слов Э. Золя любопытное сообщение о том, что в прочувствованной сцене предсмертного свидания Жордана с Люком в романе «Труд» (книга 3, гл. V) воспроизве-



Paris 17 février 1902

Mon cher Siminoff, je suis désolé, nous aurions été si heureux de vous faire plaisir! Mais ma femme est grippée au point de ne pouvoir sortir; et moi, j'ai un dîner ennuyeux ce soir chez les Journalistes, de sorte que l'idée de déjeuner ce même jour en ville me terrifie. Sérieusement, j'en ferais une maladie le lendemain.

Lorsque me verrez-vous pour voir avec M. Brandès, auquel je serai ravi de serrer la main? Si vous le voulez bien, je vous attendrai tous les deux mercredi à deux heures, et nous pourrons causer un instant.

Présentez nos excuses et nos amitiés à madame Siminoff, et croyez-moi votre bien ami et bien dévoué.

Emile Zola

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЗОЛЯ К Е. П. СЕМЕНОВУ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1902 г.
Частное собрание, Москва

дены подробности прощания И. С. Тургенева с Л. Виардо. «Когда умирающего Тургенева выносили со второго этажа дома № 50 на rue de Douai, чтобы перевезти в Буживаль, его старый друг Виардо, также умиравший, попросил вынести его в кресле на площадку лестницы первого этажа. Так состоялось последнее свидание старых друзей». Однако, и в этот рассказ вкрались какие-то неточности: Тургенева привезли из Парижа в Буживаль не д о, а через несколько дней п о с л е смерти Л. Виардо.

III

Круг эпизодических, случайных русских корреспондентов Э. Золя был довольно широк и разнообразен. Издатели и редакторы русских журналов и газет обращались к Э. Золя с предложениями сотрудничества или с просьбами о разрешении перевода с рукописи очередного тома «Ругон-Мак-

каров»; туристы из числа литераторов или близких к литературе лиц, приезжая в Париж, добивались знакомства и свидания с ним; экспансивные почитатели писателя выражали ему свои восторги или выпрашивали фотографические карточки и автографы. Как авторитетного, пользовавшегося мировою известностью романиста, Э. Золя приглашали к участию в юбилейных празднествах и литературных торжествах.

Вот письмо Э. Золя к В. Жаклару, сотрудничавшему в петербургской газете «Новости»:

*Перевод:*

Медан, 14 октября 1884 г.

Милостивый государь,

Молодой русский писатель г. Полоцкий передал мне, что вы желаете договориться со мною относительно перевода моего нового романа «Жерминаль» с тем, чтобы он печатался вами на несколько дней ранее появления во Франции. Разрешая начать публикацию на шесть или семь дней раньше «Gil Blas», я даю вам двенадцать дней выигрыша, так как необходимо учитывать еще пять дней, которые идет почта от нас к вам. Мне кажется, этими двенадцатью днями вполне обеспечивается ваше первенство. С другой стороны, согласны ли вы на названную мною сумму в тысячу рублей? Будьте добры ответить мне с ближайшей почтой или даже по телеграфу, чтобы я имел время послать первые уже вполне отделанные главы. Получив ваше согласие, я сдам их на почту.

Примите уверение в моих лучших чувствах

Эмиль Золя

В Медан, через Виллен (Сена и Уаза).

Само собою разумеется, что тысяча рублей подлежит уплате по получении вами первых глав[23].

По какой-то причине соглашение с редакцией русской газеты о переводе романа «Жерминаль» не состоялось. Известно письмо Э. Золя к М. М. Стасюлевичу от 26 октября 1884 г. с предложением приобрести права перевода романа для «Вестника Европы». Форсируя переговоры, Золя сопровождал письмо посылкою корректуры первых глав своего произведения, но и в этом журнале перевод не появился[24].

Неудача с переводом романа «Жерминаль» внесла известную горечь в отношения писателя с русскими издателями. Чувство досады сквозит во втором письме Э. Золя к В. Жаклару, предложившему ему сотрудничество в петербургской газете «Новости».

*Перевод:*

Медан, 29 ноября [18]84 г.

Милостивый государь,

Я совершенно отказался от журналистики, чтобы засесть за свои романы, и отказываюсь от предложений о сотрудничестве. Не могу поэтому согласиться и на ваше любезное предложение.

Что касается России, то я хотел бы только одного—получать от моих романов доход, который обычно у меня бесстыдно крадут. Я вполне понимаю опасения, которые внушает «Новостям» «Жерминаль». Но можете быть уверены, что боязнь цензуры не помешает украсть у меня «Жерминаль» которой-нибудь из русских газет.

Примите, милостивый государь, уверение в моих лучших чувствах

Эмиль Золя[25]

Повидимому, о сотрудничестве в каком-то русском издании идет также речь в нижеследующей записке, адресата которой установить не удалось:

*Перевод:*

Париж, 5 декабря [18]92 г.

Увы, милостивый государь, ничего неизданного я вам послать не могу, так как нездоров и обременен работой. Но я вам разрешаю выбрать по своему усмотрению любое из моих опубликованных произведений, а среди них найдутся и мало кому известные.

Прошу верить моей сердечной преданности.

Эмиль Золя[26]

Небольшая записка к П. Д. Боборыкину, с которым Э. Золя время от времени обменивался письмами, свидетельствует о внимании, которым пользовался французский писатель в России. Е. П. Леткова-Султанова, передавшая публикуемый ниже документ в Государственный литературный музей в Москве, вспоминает, что в 1897 г. в газетах промелькнуло известие о приезде в Петербург Э. Золя. По просьбе Е. П. Летковой П. Д. Боборыкин обратился к автору «Ругон-Маккаров» с предложением прочесть лекцию в пользу Литературного фонда. Вот ответ Э. Золя:

*Перевод:*

Париж, 18 апреля [18]97 г.

Дорогой собрат, все это совершенное недоразумение. В Россию я, к сожалению, не еду, а если бы поехал, то, при полном отсутствии у меня дара слова, уж наверное не для того, чтобы читать там лекции.

Сохраняя лучшие воспоминания о вас, остаюсь сердечно преданный вам собрат ваш

Эмиль Золя

Тремя годами позднее Золя получил приглашение к участию в юбилее П. Д. Боборыкина, заочное знакомство с которым у него завязалось еще в конце 1875 или начале 1876 г. Писатель ответил письмом на адрес юбилейного комитета.

*Перевод:*

Париж, 5 ноября 1900 г.

С Боборыкиным я знаком давно и хорошо знаю, какой это превосходный работник и каким множеством прекрасных произведений он одарил Россию.

Но я страшный невежда, по-русски не читаю и не могу судить о нем и высказывать свое суждение. Я ограничиваюсь поэтому братским приветом, который шлю великому романисту Боборыкину и его родине России, умеющей так достойно чествовать своих славных сынов.

Эмиль Золя[27]

Э. Золя привлекался к чествованию русских писателей (помимо приветствия к юбилею П. Д. Боборыкина, известно его письмо на имя Литературного фонда по случаю пушкинских торжеств 1899 г.). Сам он обращался к русской литературной общественности, когда организовывались чествования писателей-французов. Вскоре после смерти Мопассана Золя, состоявший в это время председателем «Société des gens de lettres», обратился с официальным письмом к А. С. Суворину.

*Перевод:*

Париж, 22 июля 1893 г.

Милостивый государь,

Комитет общества писателей, открывая подписку на памятник Ги де Мопассану, имеет честь обратиться к вам с предложением лично принять в ней участие.

Комитет выражает надежду на ваше согласие почтить этим память одного из тех, кто в наше время так много сделал для славы французской литературы, и просит принять изъявление чувства благодарности и глубокого уважения к вам.

Председатель комитета
Эмиль Золя[28]

Среди корреспондентов Э. Золя имеется еще один русский адресат, переписка с которым не затрагивает, однако, русских отношений автора «Ругон-Маккаров». Это—ex-профессор физиологии и реакционный публицист И. Ф. Цион. В 1874 г. он был принужден, вследствие столкновений со студентами, прекратить преподавание в Медико-хирургической академии и переселился в Париж, где, между прочим, редактировал в восьмидесятых годах газету «Gaulois». Ряд писем Э. Золя к И. Ф. Циону, касающихся публикации в фельетонах «Gaulois» романа «Накипь», уже давно напечатан; одно, до сих пор неизвестное, хранится в Рукописном отделении Института литературы Академии наук СССР. Речь в нем идет об угрозе перерыва в публикации романа, которую создавал ряд процессов, возбужденных против Э. Золя и редакции «Gaulois» однофамильцами персонажей «Накипи».

*Перевод:*

4 февраля [18]82 г.

Милостивый государь,

Произвести сокращения в объеме фельетонов очень трудно. Всего лучше было бы пропустить два-три фельетона, в чем, впрочем, также есть своя опасность. К тому же, будьте уверены, если нам предстоит быть осужденными, то нам этому не помешать никакой осторожностью. В главе, которую вы мне прислали, нет ничего настолько резкого, что бы могло вызвать осуждение; по крайней мере, таково мое мнение.

Всем сердцем ваш
Эмиль Золя

Вот уже два дня, как я получаю «Gaulois» с опозданием. Сегодня я не получил газеты еще до настоящей минуты, когда я пишу это письмо. Справьтесь, не зависит ли это от вашей экспедиции. На почту я напишу.

В заключение этой главы следует привести несколько записок Э. Золя, адресатов которых точно установить не удалось. Первая из них сохранилась в собрании А. Ф. Онегина в Рукописном отделении Института литературы Академии наук СССР. С А. Ф. Онегиным французский писатель был, вероятно, лично знаком, но к нему ли обращена записка, остается неизвестным, так как неизвестны подробности их отношений. С другой стороны, А. Ф. Онегин собирал автографы, и именно в качестве автографа документ мог попасть в его собрание. Предположение, что записка назначалась И. С. Тургеневу, исключается датой: март 1879 г. Тургенев провел в Москве и Петербурге.

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

Фотография с дарственной надписью Золя А. М. Фельдштейн (Хин-Гольдовской)

Литературный музей, Москва

*Перевод:*

15 марта 1879 г.

Вот именно, дорогой мой, поправляйтесь же скорее, чтобы я мог повидаться с вами. Я проведу за городом понедельник, вторник и среду, чтобы уйти от пасхальных празднеств, но потом буду ждать от вас знака и явлюсь к вам.

Любящий вас
Эмиль Золя

Кому-то из русских литераторов, постоянно проживавшему в Париже и близкому в свое время к И. С. Тургеневу (может быть, И. Я. Павловскому), адресована записка с назначением свидания Д. В. Григоровичу.

*Перевод:*

Медан, 1 июня [18]86 г.

Беда в том, дорогой собрат, что я уже поселился здесь, и г. Григоровичу придется сделать небольшую, но скучную поездку. Впрочем, если это его не пугает, дорогу вы знаете, и вам известно также, что я всегда рад видеть у себя вас, равно и всех друзей Тургенева, которым хоть сколько-нибудь нравится то, что я пишу.

Сердечно ваш
Эмиль Золя[29]

Редактору одного из иллюстрированных изданий Золя писал, посылая свою фотографию и автограф:

*Перевод:*

Париж, 2 марта [18]84 г.

Имею честь, согласно вашей просьбе, послать вам несколько строк с моею подписью в качестве сопровождения к моему портрету.

Примите, милостивый государь, уверение в лучших моих чувствах.

Эмиль Золя[30]

IV

Специально следует остановиться на небольшой группе писем Э. Золя, относящихся к одному эпизоду франко-русских отношений, представляющему особый интерес.

В октябре 1893 г. в Париже состоялась внушительная политическая демонстрация, так называемые «русские празднества» — торжественная встреча и чествование моряков русской эскадры, пришедшей с визитом в Тулон. Научная и литературная общественность приняла в празднествах непосредственное участие, а русские и французские журналисты широко освещали их в печати.

Одним из заключительных звеньев в цепи непрерывно следовавших встреч, приемов и раутов был обед, данный в Париже русскими журналистами в честь французской печати. Инициаторами банкета были редактор «Нового Времени» А. С. Суворин, издатель «Недели» П. А. Гайдебуров, редактор «Света» В. В. Комаров, сотрудники «Новостей» и «Русского Вестника» Е. де Роберти и С. С. Татищев. Приглашения были разосланы, как сообщали газетные отчеты, всем членам Французской академии, 27 издателям парижских газет — участниц комитета печати по устройству франко-русских празднеств, всем журналистам, состоявшим членами этого комитета, ряду выдающихся деятелей литературы, науки и искусства, из русских—всем «чинам» посольства и генерального консульства и находившимся в Париже русским литераторам и художникам. Почетным президентом был приглашен Л. Пастёр, а председателями избраны М. де Вогюэ и А. С. Суворин.

Часть приглашенных не могла явиться и прислала устроителям письменные приветствия. Не присутствовал на банкете по болезни Пастёр, письмо которого, адресованное Е. де Роберти, было оглашено на банкете.

*Перевод:*

Институт Пастёра
25, Rue Dutot

Париж, 26 октября 1893 г.

Милостивый государь,

Как я извиняюсь и как сожалею! Я с такою радостью обещал быть с вами, но не принял при этом во внимание формальное запрещение врачей. Они подвергают меня подчас жестоким лишениям. Я совершенно удручен горем, которое они мне сегодня причинили излишней заботливостью. На этом собрании русских и французских писателей и журналистов мне так бы хотелось следить за обменом ваших мыслей. Мне хотелось бы рукоплескать словам, которые будут сказаны о заслугах М. де Вогюэ в сближении обоих великих народов.

Русским и французским писателям надлежит и в будущем напоминать в известные моменты об этих светлых днях.

Среди энтузиазма толпы они возбудили в сердцах молодежи взрыв радости и веры, а старцам, как я, подали большие надежды на будущее.

Вернувшись в Россию, скажите вашим соотечественникам, что Франция показала вам что-то, что выше всяких зрелищ, что превосходит всякие речи: она показала вам свою душу.

Л. Пастёр[31]

На имя А. С. Суворина прислал записочку А. Додэ.

*Перевод:*

Любезный Суворин, я был бы счастлив пожать вам руку и выпить с вами за здоровье нашего великого Толстого, но я болен и не могу обедать вне дома. Передайте выражение моего сожаления нашим друзьям русской литературы и печати.

Ж. Экар писал из Тулона М. де Вогюэ.

*Перевод:*

Передайте вашим товарищам, уважаемый председатель, мое искреннее сожаление и скажите им, что я—один из наиболее страстных поклонников глубокой русской литературы, столь горячо вами прославленной. Спасибо вам и спасибо русской душе, которая пришла к нам сперва в книге, а теперь пришла морем и наполняет наши проникнутые ею души дыханием возрождающейся любви.

Из Вильбуа-Лавалетта прислал письмо Поль Дерулед, принужденный незадолго перед тем сложить с себя полномочия депутата.

*Перевод:*

Я уже сказал Комарову, как я был тронут приглашением, дошедшим до меня в моем уединении в Шаранте. Хочу повторить это и вам. Вспоминаю постоянно о добром и прекрасном вечере в Клину и был бы, уверяю вас, очень счастлив сидеть около вас посреди моих собратьев русской литературы и печати. Но в настоящую минуту место мое в тени и в молчании. Я его не покину. Главное то, чтобы первое пожелание наших сердец и первая цель наших многократных усилий были достигнуты, и они достигнуты. Остальное было бы лишь личным удовлетворением, которое ничего бы не изменило и не прибавило бы в удивительных совершившихся событиях. Но еще раз сердечное спасибо за то, что вы не забыли меня, и горячее пожатие руки.

К участию в банкете, в числе почетных гостей, был привлечен и Э. Золя, а один из председателей М. де Вогюэ предупредил его о необходимости подготовиться к выступлению. Золя живо откликнулся на инициативу русских журналистов. Он писал А. С. Суворину:

*Перевод:*

Я глубоко тронут вашим крайне любезным приглашением и с величайшим удовольствием буду вашим гостем[32].

Другой запиской он оповещал М. де Вогюэ.

*Перевод:* [Париж, октябрь 1893 г.]

Дорогой собрат, я скажу, раз вы этого хотите, несколько слов, и даже признаюсь вам, что, в сущности, рад этому случаю расплатиться, наконец, с Россией, которой давно обязан благодарностью.

Примите, дорогой собрат, уверение в сердечной преданности.

Эмиль Золя[33]

Банкет состоялся 26 октября н. ст. в Hôtel Continental в присутствии 128 приглашенных. Большую вступительную речь на нем сказал М. де Вогюэ. Провозглашали тосты и говорили речи А. С. Суворин, С. С. Татищев, В. В. Комаров, Каниве, Леруа-Больe, Жюль Симон, редактор «Le Temps» Эбрар. Золя выступил с небольшим приветственным словом.

*Перевод:*

Милостивые государи,

От имени Société des gens de lettres, представителем которого я здесь являюсь, провозглашаю тост за русскую печать, за русскую литературу, и это для меня великая честь и большая радость.

Веяния ума не знают границ. Посланцами мира и предвестниками прочных союзов служат произведения великих писателей, которыми обмениваются народы. Справедливо было замечено, что нынешний братский поцелуй между Россией и Францией был подготовлен годами взаимной литературной симпатии.

Французская литература отправила в качестве послов Бальзака и Гюго, а русская литература ответила на это присылкою своих—Тургенева, Достоевского, Толстого. Они трогали сердца, сближали умы; поэтому и литература имеет право на участие в этих празднествах, ибо она первая потрудилась над делом братства двух стран. Делу этому, господа, следует даже придать больший размах. Выше союза между двумя народами стоит союз между всеми народами. Это, пожалуй, мечта, но отчего же не мечтать об этом? Отчего не надеяться, что в этом-то и заключается ныне стремление добрых чувств человека, и отчего не поручить выполнение этого дела писателям, мощный голос которых перелетает от одной нации к другой, находя отклик во всех сердцах и сплачивая все страждущее человечество в одну семью?

Итак, я пью за русскую литературу, за русскую печать, самую симпатичную, самую гостеприимную для французских писателей. А так как я лично был принят и ободрен ею в трудные минуты моей жизни, когда мое собственное отечество обошлось со мною сурово, то я счастлив, что могу здесь отплатить старый долг.

Пью за всемирную литературу, за общее отечество[34].

Крупнейшие французские и русские газеты напечатали подробные отчеты о банкете, воспроизведя все произнесенные на нем речи, в том числе и речь Э. Золя, однако, она так и осталась погребенной на газетных страницах, не попав не только в «Собрание сочинений», но и в подробные библиографические списки его произведений.

Во время пребывания русских журналистов в Париже, в октябре 1893 г., Золя встречался с некоторыми из них, повидимому, неоднократно,—об этом свидетельствует ряд его записок к Е. В. де Роберти и А. С. Суворину. Редактору «Нового Времени» Золя писал перед его отъездом из Парижа:

*Перевод:*

Париж, 2 ноября [18]93 г.

Дорогой собрат,

Мне также очень хотелось повидаться с вами до вашего отъезда. Но я никак не мог быть сегодня в отеле Вандом.

Статью Кератри я прочел и отложил ее. Наведя кое-какие справки, решу, должен ли я лично что-нибудь предпринять. А затем, если это понадобится, напишу вам, чтобы держать вас в курсе дела.

Я сохраняю добрую память о нашей встрече и о наших беседах и шлю вам уверения в сердечной привязанности и преданности.

Эмиль Золя[35]

С Е. В. де Роберти Золя обменялся несколькими записками. Одна из них касается издания отдельной брошюрой отчета о банкете журналистов[36].

*Перевод:*

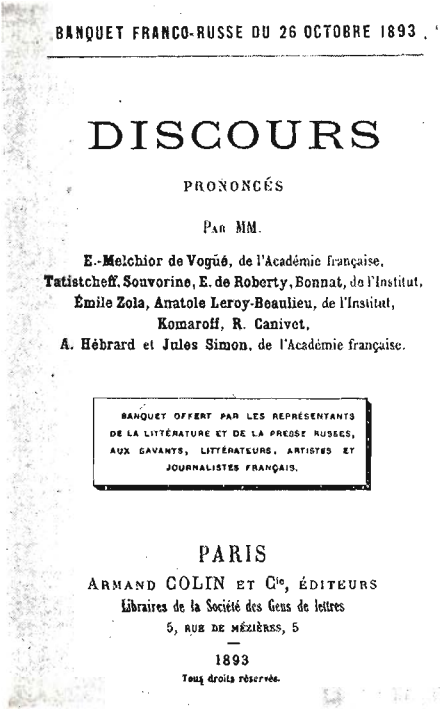
Париж, 12 ноября [18]93 г.

Дорогой собрат,

Я был очень болен и не мог вам ответить. Прошу извинить меня.

Само собою разумеется, что я охотно даю разрешение, о котором вы меня просите; мне будет очень приятно и лестно фигурировать в этой брошюре. Те несколько слов, которые я сказал, вы найдете в номере «Journal des Débats», в котором целиком воспроизведена речь М. де Вогюэ. Текст приведен здесь полностью и точно.

Сердечно ваш
Эмиль Золя[37]



BANQUET FRANCO-RUSSE DU 26 OCTOBRE 1893

DISCOURS

PRONONCÉS

PAR MM.

E.-Melchior de Vogüé, de l'Académie française,
Tatistcheff, Souvorine, E. de Roberty, Bonnat, de l'Institut,
Émile Zola, Anatole Leroy-Beaulieu, de l'Institut,
Komaroff, R. Canivet,
A. Hébrard et Jules Simon, de l'Académie française.

BANQUET OFFERT PAR LES REPRÉSENTANTS DE LA LITTÉRATURE ET DE LA PRESSE RUSSES, AUX SAVANTS, LITTÉRATEURS, ARTISTES ET JOURNALISTES FRANÇAIS.

PARIS

ARMAND COLIN ET Cie, ÉDITEURS
Libraires de la Société des Gens de lettres
5, RUE DE MÉZIÈRES, 5

1893

Tous droits réservés.

ОТЧЕТ О ФРАНКО-РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ БАНКЕТЕ В ПАРИЖЕ 26 ОКТЯБРЯ 1893 г.

К декабрю 1893 г. относятся две записочки Э. Золя к Е. В. де Роберти, набросанные без даты на визитных карточках.

*Перевод:*

Примите мой привет и большое сожаление, что меня не оказалось дома.

Эмиль Золя

*Перевод:*

Примите мою горячую благодарность, дорогой собрат: я только что перечел в «Le Temps» ваше письмо и нахожу его безупречным.

Сердечно Ваш
Эмиль Золя[38]

V

В 1893 г. ряд французских литературных обществ и издательских объединений поручил И. Д. Гальперину-Каминскому войти в переговоры с петербургскими и московскими издателями и литераторами по вопросу о заключении литературной конвенции между Францией и Россией. Газетная кампания, которую предполагалось развернуть на столбцах русских изданий, должна была преодолеть инерцию петербургских официальных кругов, упорно сопротивлявшихся присоединению России к уже существовавшим международным соглашениям. В числе организаций, давших полномочия Гальперину-Каминскому, не значилось парижское Société des gens de lettres, но председатель его Э. Золя отнесся с большим сочувствием к дипломатической миссии, порученной русскому переводчику и журналисту. Известно напутственное письмо Э. Золя к Гальперину-Каминскому, отправлявшемуся в Россию.

*Перевод:*

Париж, 10 сентября 1893 г.

Дорогой собрат,

Вы сообщаете мне об отъезде в С.-Петербург для возобновления хлопот о литературной конвенции, заключения которой между Россией и Францией мы так давно жаждем.

Было бы бесполезно повторять вам мои пламенные пожелания удачи. Нельзя, в самом деле, не пожалеть, что это соглашение взаимной симпатии и порядочности не установилось еще между двумя нациями, все более и более сближающимися в силу многочисленных общих интересов.

Отправляйтесь же и заявите во всеуслышание, что мы все за вас, что мы все желаем, чтобы русская печать вас поддержала и добилась бы, наконец, признания литературной собственности в обеих странах. Это было бы прекрасным братским и культурным делом[39].

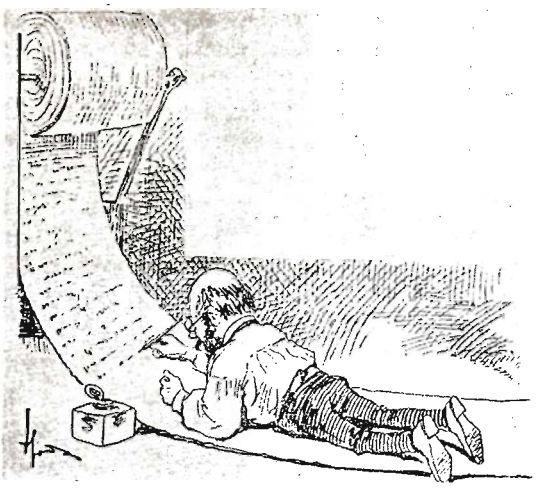
В конце того же 1893 г. в номере «Le Temps» от 24 декабря Э. Золя опубликовал «Открытое письмо к русской печати», воспроизведенное в крупнейших русских газетах.

*Перевод:*

Господа издатели!

Давно уже идет речь о заключении литературной конвенции между Россией и Францией, и я, в качестве президента Société des gens de lettres, позволяю себе обратиться к вам, так как я достоверно узнал, что при

РУССКАЯ КАРИКАТУРА НА ЗОЛЯ
„Золя печатает во французских газетах свое воззвание к русской печати об установлении литературной конвенции"
„Стрекоза", 1894 г., № 4



нынешних обстоятельствах успешное заключение этого международного договора зависит от благоприятного отзыва, который соблаговолит дать о нем русская печать. Это именно я и желаю прежде всего установить в немногих словах.

Касаться здесь истории этого вопроса я не буду. Придется забегать слишком далеко, приводить сложные подробности всякого рода, и притом без всякой непосредственной пользы. Единственный эпизод, заслуживающий напоминания, это поездка, которую совершил за счет нашего Cercle de la librairie г. де Кератри. Я полагаю, что он повез с собою тоже письма, делающие из него доверенного наших Société des gens de lettres и Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Сверх того, у него было прошение, покрытое подписями, для вручения русскому правительству. И теперь удивляются, что, несмотря на такие благоприятные условия, миссия его потерпела полную неудачу. Это, понятно, нас обескуражило, притом до такой степени, что мы не решались до сих пор сделать новой попытки.

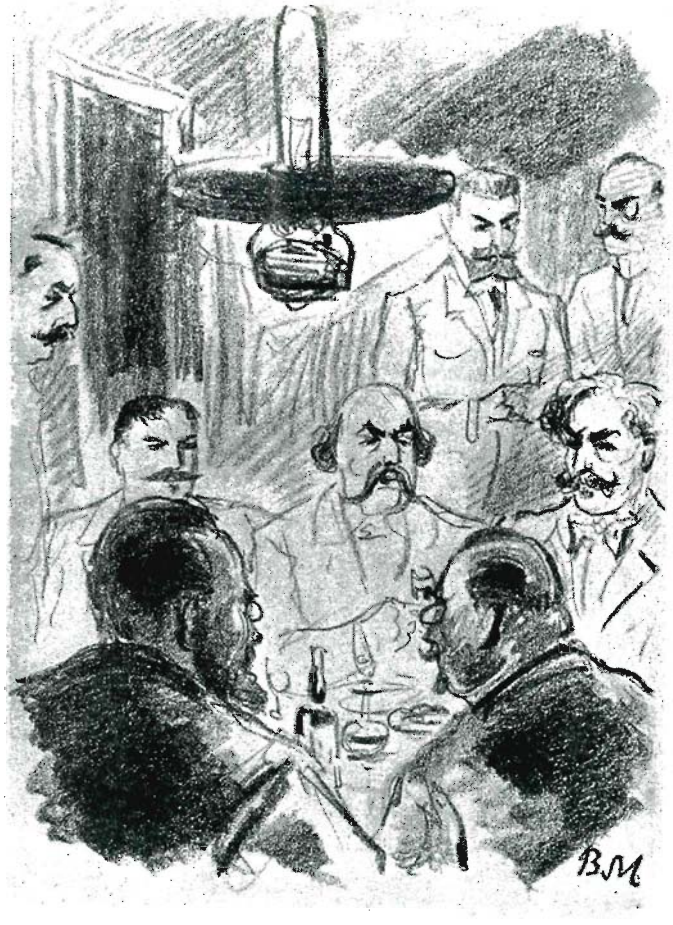
Но если я напал на мысль обратиться к вам, то потому лишь, что некоторые из вас, во время празднеств, дававшихся городом Парижем вашим морякам, объяснили мне причину неудачи г. де Кератри. Последний, по их словам, с весьма похвальными, конечно, намерениями, обращался исключительно к правительственным лицам. Многие из них дали ему, как говорят, обещания, которых они потом не сдержали. Но хуже всего, повидимому, то, что он пренебрег посетить издателей вообще и издателей газет, словом, главных заинтересованных, и расположить их в пользу своего дела, вследствие чего, как только вопрос был возбужден гласно, в прессе возникла сильная оппозиция. Русское правительство, парализованное этою оппозициею, так определенно высказанною, отказывается вступать в новые переговоры до тех пор, пока положение не изменится. Словом, ваше правительство вполне благоразумно говорит: «Мы, государственные власти, не желаем иметь собственного суждения по этому предмету; нам будет очень приятно заключить литературную конвенцию с Францией, которая является дружественной нам державой, но мы сделаем это не иначе, как на основании формального желания заинтересованных русских подданных, русской книжной торговли и русской прессы».

Повторяю: ничего не может быть более благоразумного, и по этой именно причине я и решился, милостивые государи, обратиться к вам, так как убежден в том, что подписание литературной конвенции недолго заставит ждать себя, если вашим газетам угодно будет требовать этого для чести и общих интересов обеих наций. Я, впрочем, признаюсь, что не выпустил этого письма на-авось; я уже беседовал об этом предмете со многими из вас и полагаю, что он уже созрел для благополучного разрешения. С другой стороны, г. Гальперин-Каминский, много потрудившийся над делом сердечного согласия, сказал мне, что во время его поездки в Петербург прошлою зимою он имел возможность констатировать благоприятные намерения не только среди русских авторов, но и среди самих издателей, враждебно относившихся до тех пор к идее какой бы то ни было конвенции. И он находится в очень хороших условиях для получения точных сведений, потому что он уже много лет переводит романистов обоих языков. Существует, следовательно, бесспорное движение в пользу соглашения и какова будет моя радость, если окажется, что я ломлюсь в открытые двери.

Если, однако, потребовалось бы изложить вам, милостивые государи, еще другие веские причины для того, чтобы убедить вас в выгодности подписания конвенции для обоих народов, то мне пришлось бы сказать еще многое. И прежде всего и выше всего стоит принцип честности и справедливости, по которому литературная собственность есть собственность. Это признается ныне всеми народами, отрицать этот принцип—значит посягать на универсальную совесть. У нас существуют договоры с соседними нациями, которые нас мало любят. И разве не печально для нас, что именно нация, с которою мы только что обменялись столь крепким братским поцелуем, нация, в которой мы чаем любящую сестру, есть единственная великая нация в Европе, которая живет поодаль от современного права, вне всякого кодекса? Теперь, когда сердца наши бились в унисон, следовало бы, мне кажется, итти тоже бок-о-бок во всем в области справедливости. Но я знаю, что это исключительно сентиментальная сторона вопроса и что недурно, ради торжества справедливости, чтобы оно стало необходимым, вследствие здраво понимаемых интересов обеих сторон.

Да, милостивые государи, я могу вам с полным спокойствием заявить, что очевидно, что отныне Россия не меньше Франции заинтересована в заключении литературной конвенции. Лет десять, пятнадцать тому назад господствовало мнение, что в литературном отношении вы гораздо больше жили Францией, чем Франция вами, вследствие чего расчетливые умы и находили, что обложение пошлиною продукта, который выписывается, но не вывозится, было бы глупостью. Дело, однако же, в том, что времена эти прошли, и не только ваши великие, но даже самые скромные романисты ныне переводятся и наводняют рынок. Тут есть взаимность, которая идет исключительно в вашу честь, и если правда, что наши романы, наши драматические произведения привозятся к вам в еще большем количестве, то неужели вы думаете, что достаточно переводить их, печатать и исполнять даром, для того, чтобы извлекать из них действительные барыши? Это, бесспорно, первобытный взгляд, который слабеет и рассеивается, как только его подвергают более точному анализу.

Что происходит в действительности? Ваш литературный рынок загромождается массами переводов французских романов. Коль скоро никакого разрешения не требуется, коль скоро никаких пошлин платить не



ИЛЛЮСТРАЦИИ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ КНИГИ А. БАРБЮСА „ЗОЛЯ"

Автолитографии В. Милашевского, 1932 г.

Обед в ресторане Трапа 13 апреля 1877 г., устроенный в честь Флобера, Эд. де Гонкура и Золя писателями: О. Мирбо, Мопассаном, Гюисмансом и др.

Писатели на воскресном собрании у Золя в Медане, 1880-е гг. Среди гостей: Гюисманс, Ги де Мопассан, Поль Алексис.

надо, любой издатель волен выпускать в продажу свой собственный перевод. Прошу извинения, что цитирую свое собственное сочинение, но хорошо знаешь лишь те случаи, которые вас непосредственно касаются. Мне известно, например, что в России появились одновременно, конкурируя между собою, четырнадцать изданий «Débâcle». Как только в Париже выходил фельетон романа, переводчики поспешно его переводили и отсылали с вечернею почтою. Начать с того, что переводы эти, сделанные на скорую руку, были просто ужасны и недостойны литературной нации; затем интерес так раздроблялся, что ни одна газета не извлекала пользы из этого, и, наконец, происходило нечто вроде кулачества, очень убыточного для национальных произведений. Вообразите, напротив, что французские произведения пользуются охранительными правами. Тотчас все изменяется, «Débâcle» уступается одной только газете, одному только книжному магазину, который заботится о том, чтобы перевод сделан был тщательно, и ведет дело так, чтобы иметь хорошие барыши. Главное то, что тогда в течение двух или трех месяцев русские газеты не будут заполнены французскими романами в ущерб русским.

Г-н Суворин говорил мне недавно, что он боится что-либо издавать, вследствие загромождения витрин ваших книжных магазинов переводными романами. Прилив все усиливается, причем, как кажется, не всегда выбор оказывается счастливым; дело дошло до того, что переводят самые посредственные произведения. Так как автору ничего не приходится платить, то издатели все-таки надеются кое-что выручить из продажи издания. Это ведет к падению цен, которое прямо отражается на ваших писателях, потому что они больше всех страдают от таких порядков. Борьба с колоссальным французским, немецким и английским производством им не по силам. Если завтра международная конвенция сократила бы этот беспорядочный привоз или, по крайней мере, упорядочила бы его, пропуская лишь замечательные произведения, тщательно переведенные, то ваши авторы стали бы производить книги выше средней стоимости, чем ныне, и продавались бы они в большем количестве экземпляров. Мне говорили, например, что один русский композитор с трудом находит в Петербурге издателя, потому что произведения французских композиторов, и Гуно в особенности, продаются там так дешево, что никакая конкуренция немыслима.

Мне известно, что можно на это возразить, но это не защитительная речь по всем правилам искусства, имеющая претензию сломить всякое сопротивление. Я позволю себе только наметить в общих чертах интерес, который представляет для обеих сторон подписание конвенции. Вначале некоторые частные интересы от этого, пожалуй, пострадают. Так, мне говорили, что содержание некоторых ваших театров сопряжено с такими большими расходами, что оплачивать еще авторские права было бы для них просто разорением. Мне объяснили тоже, что в России существует множество очень дешевых журналов, пробавляющихся исключительно воспроизведением чужих трудов, и что эти журналы вряд ли могли бы существовать, если б не имели в своем распоряжении неиссякаемый и безвозмездный источник иностранного производства. Наконец, у вас, как кажется, и самые национальные авторы не пользуются особенною охраною, т. е. что петербургские французские и немецкие газеты могли бы воспроизводить их труды без всякой платы, и вашему законодательству следовало бы, быть может, установить принцип литературной собственности внутри

государства, прежде чем признать его в области ваших обменов с заграницею.

Но это второстепенные вопросы, которые вы решите между собою, а что первенствует в настоящую минуту, так это, повторяю, обоюдный, явный и непреложный интерес для обеих наций завершить свое доброе согласие заключением литературной конвенции. Если правительство ваше благоразумно стушевывается и, прежде чем действовать, желает узнать в точности пожелания общественного мнения, необходимо, чтобы последнее немедленно высказалось. Когда народ скажет свое слово, дипломаты исполнят свое дело, и я имею основание думать, что если они терпеливо ждут, то потому, что надеются иметь когда-нибудь на своей стороне общественное мнение.

Итак, господа издатели, я прошу вас поставить во всех газетах на очередь вопрос о заключении международной конвенции с Францией. Пусть она будет изучена, обсуждена и, как я не боюсь надеяться, горячо поддержана, ибо все справедливое и хорошее в конце концов торжествует. Вы—голос правды, вы—заинтересованная сторона, вы и издатели. Вам стоит лишь собраться и громогласно указать, где общий интерес с точки зрения справедливости, для того чтобы вас услышали и удовлетворили. Я уверен, что в этом отношении вы безусловные хозяева положения и что то, что русская пресса захочет, захочет и Россия.

Простите призыв этот простому писателю, с которым вы часто обращались, как с другом, и соблаговолите видеть во мне, милостивые государи, вашего сердечного и вполне преданного собрата.

Эмиль Золя[40]

---

4 июня 1908 г., через шесть лет после смерти Э. Золя, состоялось перенесение праха писателя в Пантеон. Автор «Ругон-Маккаров», тщетно добивавшийся при жизни избрания в чинную Французскую академию, был, наконец, признан классическим писателем, его литературная слава—национальной славой Франции. Торжество официального признания писателя не могло, разумеется, замкнуться в национальных рамках,—оно вызвало живейшие отклики во всем мире. Присоединилась к нему и русская литературная общественность. С. А. Венгеров, временно замещавший председателя Литературного фонда, послал к 4 июня телеграмму вдове романиста Александрине Золя и получил от нее в конце месяца ответное письмо, обращенное к русским писателям.

*Перевод:*

21 июня 1908 г.

Милостивый государь,

Меня бесконечно растрогала полученная от вас телеграмма по поводу состоявшегося 4 июня грандиозного национального чествования бесценной памяти моего возлюбленного мужа; я узнала из вашей телеграммы, что петербургское «Общество писателей» присоединилось к этой прекрасной и торжественной манифестации.

Обращаюсь, господин председатель, при вашем посредстве к вашему комитету и прошу передать от меня выражение горячей благодарности за прекрасную мысль присоединиться в этом случае к Франции. Прошу и лично вас принять от меня благодарность и уверение в истинном уважении.

Александрина Эмиль Золя

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Черновик доверенности, писанный рукою И. С. Тургенева, сохранился в архиве Э. Золя и сообщен профессором А. Мазоном. Впервые опубликован И. Д. Гальперин-Каминским в издании: «Ivan Tourguéneff d'après sa correspondance avec ses amis français», P., 1901, p. 203.

[2] «Реальный роман во Франции» (три публичных чтения П. Д. Боборыкина), «Отечественные Записки», 1876, кн. 7, стр. 64—66. Письмо воспроизведено в обзоре «Эмиль Золя в России».—«Литературное Наследство», 1932, кн. 2, стр. 236—237.

[3] Автограф письма В. В. Стасова к И. С. Тургеневу хранится в Рукоп. отд. Института литературы Академии наук СССР в Ленинграде. Ответ на него Тургенева см. «Северный Вестник», 1888, кн. 10, стр. 173.

[4] Воспроизводится впервые по автографу Рукописного отделения Института литературы Академии наук СССР.

[5] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», ред. М. К. Лемке, т. III, СПБ. 1912, стр. 74.

[6] Сводку имеющихся в печати материалов о переговорах редакции «Отечественных Записок» с Э. Золя см.: М. К. Клеман, Эмиль Золя, Л., 1934, стр. 286—289.

[7] «Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПБ. 1884, стр. 289—290.

[8] Там же, стр. 300.

[9] Боборыкин П., У романистов (парижские впечатления).—«Слово», 1878, кн. 11, стр. 27 (2-й пагинации).

[10] О выступлении Э. Золя на литературно-музыкальном утре 12 апреля 1876 г., повлекшем за собою специальное объяснение И. С. Тургенева с русской печатью, см. в комментариях к его «Письму к издателю» 1876 г.—И. С. Тургенев, Сочинения, т. XII, Л., 1933, стр. 657—659.

[11] См. воспоминания М. О. Ашкинази.—«Минувшие Годы», 1908, кн. 8, стр. 43—44.

[12] «Œuvres complètes d'Emile Zola». Notes et commentaires de Maurice Le Blond, «Correspondance», tt. I et II, P., 1929.

[13] «Œuvres complètes d'Emile Zola», «Correspondance» (1872—1902), p. 588.

[14] В письме от 23 мая 1897 г. Гальперин-Каминский запрашивал Э. Золя о полноте переданного им для публикации собрания писем Тургенева и напоминал об оставшейся неразысканной записке, «набросанной карандашом», которую русский романист послал своему французскому собрату «незадолго до своей смерти».

[15] См. М. К. Клеман, Эмиль Золя, Л., 1934, стр. 300.

[16] «Œuvres complètes d'Emile Zola», «Correspondance» (1872—1902), p. 789. Автограф письма хранится в Рукоп. отд. Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова в Ленинграде. При письме конверт с адресом: «Monsieur Eugène Séménoff. 10 Cité Condorcet. Paris».

[17] Автограф письма хранится в Рукоп. отд. Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова в Ленинграде. В архиве Э. Золя сохранилось письмо к нему Е. П. Семенова, ответом на которое является публикуемый документ.

Париж, rue Clapeyron 9
12 декабря 1898 г.

Дорогой и любимый учитель,

Не знаю, доходил ли до вас последнее время мой верный вам голос. Надеюсь, что да. Я слышал, что дивная и добрая г-жа... [фамилия не поддается прочтению] вернулась, и пользуюсь этим, чтобы сказать вам, как я рад поздравить вас с продвижением Истины, которую вы с такой силой направили в путь. Дело Рейнака, если оно состоится, обнаружит с еще большей очевидностью, как глубоки были ваши пророчества и какой целительной была ваша деятельность для Франции. И не самым малозначительным результатом вашей деятельности было то, что вы, к чести вашей страны, обнаружили столько характеров (Пикар, Лабори и др.) и стольких реабилитировали. Сам я никогда не любил Трарье, Гюйо, Рейнака (хотя я и еврей по происхождению, но атеист), все же то обстоятельство, что они пошли за вами, позволяет забыть многое в их прошлой политической карьере: вы их реабилитировали.

Я сам, следуя вашим ясным мыслям, трудился по мере моих слабых сил и скромного положения в защиту Справедливости и Истины, и мне хочется в конце этого трудного и волнующего года, завершающегося для вас в изгнании, поблагодарить вас еще раз и выразить твердую надежду, что вы скоро возвратитесь к своим, под рукоплескания признательного Парижа и Франции, как вам уже сейчас рукоплещет весь культурный мир.

Всегда преданный и верный ваш друг и почитатель
Е. Семенов

[18] «Œuvres complètes d'Emile Zola», «Correspondance» (1872—1902), p. 866. Автограф письма хранится в Государственном литературном музее в Москве.

[19] Автограф письма хранится в Рукоп. отд. Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова в Ленинграде. Адрес: «Suisse. Monsieur Séménoff. Kuranstalt Schoenfels. Schoenfels-zur-Zug».

[20] Автограф письма хранится в Рукоп. отд. Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова в Ленинграде. Адрес: «Monsieur E. Séménoff. 52, Avenue de Neuilly. Neuilly-sur-Seine».

[21] Автограф письма хранится в Рукоп. отд. Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова в Ленинграде. На конверте адрес: «Monsieur E. Séménoff. 52, Avenue de Neuilly. Neuilly (Seine)». Помимо автографов шести писем Э. Золя к Е. П. Семенову в Государственной публичной библиотеке в Ленинграде хранятся не принадлежащие к ним два конверта. Первый с адресом: «Monsieur Séménoff. 52, Avenue de Neuilly. Neuilly-sur-Seine» и почтовым штемпелем: «Paris. 29 nov. [19]00», второй с адресом: «Suisse, Monsieur Séménoff. Kuranstalt Shoenfels. Schoenfels-zur-Zug» и почтовым штемпелем: «Paris. 31 août [19]00». Письма с соответствующими датами неизвестны. Статья в «Revue des Revues»—заметка H. d'Almeras, Les débuts inconnus d'Emile Zola—в 12-й книжке журнала от 15 июня 1901 г. (стр. 614—618).

[22] Автограф письма хранится в частном собрании в Москве. На конверте адрес: «Monsieur Séménoff. 16, Avenue Péreire. (Seine) Asnières».

[23] Автограф письма хранится в Рукоп. отд. Института литературы Академии наук СССР. Адресат, которым, судя по содержанию письма, должен был быть кто-то из доверенных сотрудников одной из русских газет, устанавливается из сопоставления с письмом к Жаклару от 29 ноября 1884 г.

[24] См. «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», ред. М. К. Лемке, СПБ. 1912, стр. 629—630.

[25] Автограф письма хранится в Рукоп. отд. Всесоюзной библиотеки им. Ленина. На конверте адрес: «Russie. Monsieur V. Jaclard, à la rédaction du journal Novosti. 90 Moïka. Saint-Pétersbourg».

[26] Автограф письма хранится в Государственном литературном музее в Москве.

[27] Автограф письма хранится в Институте литературы Академии наук СССР.

[28] Автограф письма хранится в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи в Москве (архив А. С. Суворина). Письмо набросано на бланке со штампом: «Société des gens de lettres, reconnue comme Etablissement d'Utilité publique. 47, Rue de la Chaussée d'Antin. Délégué du Comité Edouard Montagne».

[29] Автограф письма хранится в Рукоп. отд. Всесоюзной библиотеки им. Ленина в Москве.

[30] Автограф письма хранится в Государственном литературном музее. Никаких приложений к письму в архиве не сохранилось.

[31] Автограф письма хранится в Рукоп. отд. Института литературы Академии наук СССР.

[32] Письма А. Додэ, Ж. Экара, П. Деруледа и записка Э. Золя к А. С. Суворину, местонахождение автографов которых неизвестно, перепечатываются из отчета о франко-русском банкете в № 6340 «Нового Времени» от 22 октября 1893 г.

[33] Впервые опубликовано в русском переводе в № 6340 «Нового Времени» от 22 октября 1893 г. Автограф хранится в Государственном литературном музее в Москве. Адрес: «Monsieur E. M. de Vogüé, 15, rue Lascases».

[34] Речь Э. Золя воспроизводится по тексту в отчете о банкете «Banquet franco-russe du 26 octobre 1893», Paris, 1893, pp. 39—41.

[35] Автограф письма хранится в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи в Москве (архив А. С. Суворина).

[36] Отчет вышел из печати в Париже в первых числах декабря: «Banquet franco-russe du 26 octobre 1893. Discours prononcés par M. M. E.-Melchior de Vogüé, de l'Académie française, Tatistcheff, Souvorine, E. de Roberty, Bonnat, de l'Institut, Emile Zola, Anatole Leroy-Beaulieu, de l'Institut, Komaroff, R. Canivet, A. Hébrard et Jules Simon, de l'Académie française. Banquet offert par les représentants de la littérature et de la presse russe, aux savants, littérateurs, artistes et journalistes français. Paris, Arman Colin et Cie, éditeurs, libraires de la Société des gens de lettres, 1893».

[37] Автограф письма хранится в Рукоп. отд. Института литературы Академии наук СССР. Здесь же сохранилось письмо М. де Вогюэ к Е. В. де Роберти, касающееся просмотра корректуры и редактирования отчета о франко-русском банкете.

Вторник, 21 января [1893 г.]

Дорогой собрат,

Я был принужден возвратить вам сегодня ваш конверт, даже не раскрыв его. Вы знаете, может быть, о жестокой борьбе, которую я веду. В течение нескольких дней у меня не было ни одной свободной минуты; сегодня утром ваш посланец застал меня за работой над докладом в комиссии, куда меня вызвали двумя часами позднее. Все же мне хочется поблагодарить вас и извиниться перед вами. Я уверен, что вы — прекрасный редактор и нет необходимости в моих советах. Когда преследующая меня шайка даст мне передышку, я с удовольствием прочитаю эти страницы,—они напомнят мне лучшие минуты.

Еще раз извините меня и верьте моей преданности. Е. М. де Вогюэ

[38] К обеим запискам Э. Золя к Е. В. де Роберти, автографы которых хранятся в Рукоп. отд. Института литературы Академии наук СССР, сохранились конверты. На первом из них адрес: «Monsieur E. de Roberty, 6 rue de Commaille. Paris» и почтовый штемпель «12 déc. 93». На втором: «Monsieur Eugène de Roberty, 6 rue de Commaille» и штемпель «27 déc. 93». Во второй из публикуемых записок речь идет о напечатанном в последних числах декабря 1893 г. в газете «Le Temps» открытом письме Е. В. де Роберти к Э. Золя, защищавшим французского романиста от нападок Кератри (обиженный несколькими относящимися к нему строками в «Открытом письме к русской печати» Э. Золя, Кератри выступал с резкими возражениями в той же газете «Le Temps»). Перепечатку письма де Роберти см. «Новости» 1893, № 349 от 19 декабря.

[39] «Œuvres complètes d'Emile Zola», «Correspondance» (1872—1902), p. 760.

[40] Открытое письмо Э. Золя к русской печати воспроизводится по русскому тексту, напечатанному в № 6394 «Нового Времени» от 15 декабря 1893 г. Письмо Э. Золя, не приведшее ни к каким реальным результатам, широко обсуждалось в русской печати. Сводку разнообразных мнений и аргументаций см. в брошюре: И. Д. Гальперин-Каминский, Общая польза авторского права, СПБ. 1894.

## *ПРИЛОЖЕНИЯ*

I. ПИСЬМА ЗОЛЯ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЕГО РУССКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ. II. АВТОГРАФЫ ПИСЕМ ЗОЛЯ В СОБРАНИЯХ СССР.

### I. ПИСЬМА ЗОЛЯ

В рукописных хранилищах СССР удалось обнаружить автографы шести писем Э. Золя, не относящихся непосредственно к теме напечатанного выше обзора и потому в него не включенных, но представляющих некоторый интерес для биографии французского писателя. Приводим эти документы в переводе, располагая их в порядке хронологии.

1. [Неизвестному]

Медан, 11 мая 1879 г.

Милостивый государь,

Я прочел ваше письмо, но мне трудно вам ответить, так как это пришлось бы сделать слишком пространно. Мне хочется все-таки сказать вам, что я очень польщен похвалами, которые вы высказываете мне как писателю. Уверяю вас, однако, что вы коренным образом ошибаетесь относительно моих тактических и теоретических стремлений. У нас с вами, кажется, имеются общие друзья—расспросите их. Что касается моих сочинений,—они в вашем распоряжении.

Примите, милостивый государь, уверение в моих лучших чувствах.

Эмиль Золя

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собраний Театрального музея им. Бахрушина.

2. [Неизвестной]

Медан, 9 июля [18]79 г.

Сударыня,

Я собираюсь зайти к вам в пятницу после полудня узнать, приготовили ли вы все, о чем я просил. Мне хотелось бы взять у вас все шпалеры.

Примите, сударыня, мой усердный поклон.

Эмиль Золя

Автограф.—Институт истории АН СССР, Ленинград. Фонд быв. Института книги, документа и письма.

### 3. [Неизвестному]

Медан, 27 августа [18]87 г.

Благодарю вас, дорогой собрат, за юношеское ваше литературное сочувствие. Посланные вами стихи очень любопытны. Но у меня нет ни малейшего желания читать лекции; прибавлю, что одному рискованному месту в моем романе придают значительность, которой в нем нет.

Весь ваш
Эмиль Золя

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собраний Театрального музея им. Бахрушина.

### 4. Г-ну Бабоно

Медан, 6 августа [18]89 г.

Милостивый государь,

Итак, условлено, что вы сделаете за 170 фр. свинцовую оправу для большой двери при входе и что мы с вами договоримся относительно снятия стекол, которые там находятся теперь. Впрочем, подождите моего приезда с этой работой. Жена моя желает, чтобы железные рамы в этих дверях были сохранены и чтобы их можно было открывать. Итак, примите соответствующие меры.

Если я снизил цену за импост вестибюля с 75 фр. до 50 фр., так это потому, что я исключил левое панно, оцененное, как четвертая часть поверхности, значит 18 фр. долой, что дает 57 фр., и я скинул еще 7 фр. за ту поверхность, которую займет панно с тремя ангелами. Все совершенно правильно. Поразмыслите, и вы увидите, что моя цена 50 фр., согласно вашим собственным данным, совершенно достаточна.

Сохраните железные стержни в виде Т между двумя панно в столовой. Они действительно нужны и дадут устойчивость. Итак, вы можете закончить эти три окна. Условлено, что четыре старинных панно с гербами и четыре гризайли будут для правого и левого окон и что в среднее окно вы вставите маленькое швейцарское панно, для которого я поищу pendant с двумя головами в венках (у вас есть только одна, вы мне обещали найти вторую в таком же стиле). Условлено также, что вы переделаете два панно с гербами в соответствии с теми, что я выслал вам из Медана, для пополнения шести, необходимых для импостов.

Итак, мы договорились относительно входа, вестибюля, столовой и спальни. В столовой и в спальне все панно с открывающимися створками, за исключением импостов. Остаются окно на лестнице и окно в туалетной комнате, набросков которых я жду.

Ваш Эмиль Золя

*Адрес:* Monsieur Baboneau
13, Rue des Abbesses (Montmartre)

Автограф.—Архив Государственного Эрмитажа, Ленинград. Текст письма сообщен О. И. Бич.

### 5. Альберту Вольфу

Париж, 9 апреля [18]91 г.

Если вам, дорогой Вольф, не надоело, любя меня, на меня нападать, то и мне не надоело верить, что ваши нападки исходят из добрых намерений.

В прежнее время я грешил тем, что жил, как дикарь, теперь моя ошибка в том, что я цивилизуюсь. Впоследствии вы, быть может, увидите, что я был прав в обоих случаях.

Все же сердечно ваш
Эмиль Золя[45]

Автограф.—Институт литературы АН СССР, Ленинград. Архив Н. Я. Маркова.

### 6. [Неизвестному]

Париж, 29 марта 1898 г.

Дорогой собрат,

К несчастью, у меня нет ни одной моей фотографии. Но у Надара вы можете достать два недавно сделанных с меня снимка в профиль. Они наверное вас удовлетворят.

Я даю вам все мыслимые авторские разрешения. Я стою за неограниченную свободу во всем. Благодарю вас за любезную присылку вашей книги, которая очень хорошо и беспристрастно составлена и долго сохранит свое значение, как интереснейший документ.

Сердечно ваш

Эмиль Золя

Автограф.—Литературный музей, Москва. № 3392/16.

## II. АВТОГРАФЫ Э. ЗОЛЯ В СОБРАНИЯХ СССР

Знаком «*» отмечены автографы, впервые публикуемые в настоящей работе.

### А. ПИСЬМА

1.* Бабоно (Baboneau)—Медан, 6 августа 1889 г.

Эрмитаж, Ленинград. Книга сдаточных описей № 91/20. См. выше: Приложения, стр. 977.

2.* Боборыкину П. Д.—Париж, 18 апреля 1897 г.

Литературный музей, Москва. № 2518/3. См. выше: стр. 961.

3.* Ему же—Париж, 5 ноября 1900 г. Адресовано юбилейному комитету по чествованию П. Д. Боборыкина.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Архив П. Д. Боборыкина. См. выше: стр. 961.

4. Валлесу (Vallès)—Париж, 24 декабря 1876 г.

Литературный музей, Москва. № 4255/2. Опубликовано: „Литературный критик", 1935, кн. 3, стр. 230.

5. Ему же—Париж, 2 апреля 1877 г.

Литературный музей, Москва. № 4255/2. Опубликовано: „Литературный критик", 1935, кн. 3, стр. 230.

6. Ему же—Париж, 21 мая 1877 г.

Литературный музей, Москва. № 4255/2. Не опубликовано (?).

7. Вогюэ (Vogüé) Мельхиору де—[Париж, октябрь 1893 г.].

Литературный музей, Москва. № 1280/1. Опубликовано: „Новое Время" 1893, № 6340 от 22 октября. См. также выше: стр. 966.

8.* Вольфу (Wolff) Альберту—Париж, 9 апреля 1891 г.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Б. Л. Модзалевского. См. выше: Приложения, стр. 978.

9. [Гольдовскому О. Б.]—Медан, 14 сентября 1900 г.

Литературный музей, Москва. Архив Р. М. Хин. № 2430/18. Воспроизведено фототипически в сборнике „Помощь евреям, пострадавшим от неурожая", СПБ. 1901, с ошибочным заголовком письма к Е. П. Семенову. Перепечатано в издании: „Œuvres complètes d'Emile Zola". „Correspondance" (1872—1902)", p. 866. Ср. также выше: стр. 956.

10.* [Жаклару (Jaclard) Виктору]—Медан, 14 октября 1884 г.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание П. Н. Любимова. См. выше: стр. 960.

11.* Ему же—Медан, 29 ноября 1884 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Архив Ф. М. Достоевского, папка XX, № 31. См. выше: стр. 960.

12. Купернику Л. А.—Руаян, 16 сентября 1886 г.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. № 13952/LXXVI б. Опубликовано: „Литературное Наследство", 1932, кн. 2, стр. 239—240.

13. [Липгардту Э. К.]—Медан, 25 октября 1884 г.

Публичная библиотека, Ленинград. Собрание П. Вакселя, № 257. Опубликовано: „Литературное Наследство", 1932, кн. 2, стр. 240.

14.* [Неизвестной]—Медан, 9 июля 1879 г.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Н. П. Лихачева. См. выше: Приложения, стр. 977.

15.* [Неизвестному]—Медан, 11 мая 1879 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собрания Театрального музея им. Бахрушина, 8228, № 28. См. выше: Приложения, стр. 977.

16.* [Неизвестному]—Париж, 2 марта 1884 г.

Литературный музей, Москва. № 1268/96. См. выше: стр. 964.

17.* [Неизвестному]—Медан, 1 июня 1886 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собрания Театрального музея им. Бахрушина, 8228, № 29. См. выше: стр. 963.

18.* [Неизвестному]—Медан, 27 августа 1887 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собрания Театрального музея им. Бахрушина, 8228, № 30. См. выше: Приложения, стр. 977.

19.* [Неизвестному]—Париж, 5 декабря 1892 г.

Литературный музей, Москва. № 1266/96. См. выше: стр. 961.

20.* [Неизвестному]—Париж, 29 марта 1898 г.

Литературный музей, Москва. Архив б. Павловского дворца, № 3244/16. См. выше: Приложения, стр. 978.

21. Ньевенгуйсу (Niewenhuis) Домело—Париж, 25 января 1898 г.

Институт Маркса-Энгельса-Ленина, Москва. Опубликовано: „Литературное Наследство", 1932, кн. 2, стр. 240.

22.* [Онегину А. Ф.?]—15 марта 1879 г.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Архив А. Ф. Онегина, № 28914/CCVI б 68. См. выше: стр. 963.

23.* Роберти Е. В. де—Париж, 12 ноября 1893 г.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Отд. поступления. Иностранные автографы. См. выше: стр. 967.

24.* Ему же—[Париж, 12 декабря 1893 г.]

Там же. См. выше: стр. 968.

25.* Ему же—[Париж, 27 декабря 1893 г.]

Там же. См. выше: стр. 968.

26. Семенову Е. П.—27 ноября 1896 г.

Публичная библиотека, Ленинград. Книга поступлений № 147. Опубликовано: „Œuvres complètes d'Emile Zola". „Correspondance" (1872—1902), p. 783.

27.* Ему же—18 декабря 1898 г.

Там же. См. выше: стр. 956.

28.* Ему же—Париж, 14 октября 1900 г.

Там же. См. выше: стр. 957.

29.* Ему же—Медан, 3 июля 1901 г.

Там же. См. выше: стр. 958.

30. Ему же—6 августа 1901 г.

Там же. Опубликовано: „Œuvres complètes d'Emile Zola". „Correspondance" (1872—1902), p. 882.

31.* Ему же—Медан, 24 сентября 1901 г.

Там же. См. выше: стр. 957.

32.* Ему же—Париж, 17 февраля 1902 г.

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва. См. выше: стр. 958.

33—77. Стасюлевичу М. М.—45 писем 1875—1889 гг.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Архив М. М. Стасюлевича. Опубликованы: „М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Под редакцией М. К. Лемке", СПБ. 1912, т. III, стр. 594—631 (два письма напечатаны здесь с ошибками в датах: № 19 вм. 30 дек. 1876 след. 20 дек., № 33 вм. 16 мая 1878 след. 14 мая). Три письма (от 8 сент. 1875, 13 окт. 1875 и 21 ноября 1876 г.) перепечатаны в издании „Œuvres complètes d'Emile Zola". „Correspondance" (1872—1902), pp. 434, 438, 457.

78. Ему же—13 июля 1875 г.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Е. Ляцкого, 3523/XVIII б 61. Опубликовано: „Литературное Наследство", 1932, кн. 2, стр. 245.

79.* Ему же—Медан, 13 мая 1880 г.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Архив К. К. Арсеньева, № 618. См. выше: стр. 954.

80. [Ему же]—14 февраля 1881 г.

Публичная библиотека, Ленинград. Собрание писем к А. Н. Пыпину. Опубликовано: М. К. Клеман, Э. Золя. Сборник статей. Л., 1934, стр. 300.

81. Ему же—30 марта 1891 г.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Е. Ляцкого, 3523/XVIII б 61. Опубликовано: „Литературное Наследство", 1932, кн. 2, стр. 246—247.

82.* Суворину А. С.—Париж, 22 июля 1893 г.

Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд 151, папка иностранной переписки (письма к А. С. Суворину). См. выше: стр. 962.

83.* Ему же—Париж, 2 ноября 1893 г.

Там же. См. выше: стр. 967.

84.* [Тургеневу И. С.]—[Париж, 5 апреля 1883 г.]

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Архив А. Ф. Онегина, № 28914/CCVI6 68. См. выше: стр. 952.

85.* [Циону И. Ф.]—4 февраля 1882 г.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание П. Н. Любимова. См. выше: стр. 962.

Б. РАЗНОЕ

86. Запись на отдельном листе—отрывок из «Жерминаль». Без даты.

Литературный музей, Москва. Альбом О. И. Фельдмана, 511 л., 74 об.

87.* Дарственная надпись Р. М. Фельдштейн на фотографической карточке.

Литературный музей, Москва. Архив Р. М. Хин. По книге поступлений № 2430/24. Воспроизведение см. выше: стр. 963.

88. Визитная карточка Э. Золя с карандашными пометками. Без даты.

Литературный музей, Москва. Архив Р. М. Хин. № 2430/10.

89. Черновик посвятительных записей И. С. Тургеневу—А. Гревиля, Ж. Экара и Э. Золя.

Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Архив А. Ф. Онегина.

90—91. Два конверта с адресами Е. П. Семенова и почтовыми штемпелями «Paris 31 Août [19]00» и «Paris 29 Nov. [19]00».

Публичная библиотека, Ленинград. По книге поступлений № 147. Письма отсутствуют. См. выше: Примечания, стр. 975.

В. НЕРАЗЫСКАННЫЕ АВТОГРАФЫ ПИСЕМ

92. Ашетту (Hachette)—книгоиздателю—27 февраля 1865 г.

Значилось под № 256 в быв. собрании П. Вакселя, хранящемся в настоящее время в Публичной библиотеке, Ленинград.

93. Боборыкину П. Д. —(начало 1876 г.).

Опубликовано: „Отечественные Записки", 1876, кн. 7, стр. 64—66 (перепечатка—„Литературное Наследство", 1932, кн. 2, стр. 236—237).

94. Гвальтиери (Gualtieri) Пеццано—Медан, 5 августа 1879 г.

Опубликовано: „Правда", 1880, № 22 от 24 января (перепечатка—„Литературное Наследство", 1932, кн. 2, стр. 240).

95. Суворину А. С.—[октябрь 1893 г.]

Опубликовано: „Новое Время", 1893, № 6340 от 22 октября. См. также выше: стр. 966.

---

Помимо перечисленных, в архивах СССР и Франции должны были сохраниться еще письма Золя к следующим русским корреспондентам: М. О. Ашкинази, Ф. П. Баймакову, П. Д. Боборыкину, И. Д. Гальперину-Каминскому, И. Я. Павловскому, М. Е. Салтыкову, Е. П. Семенову, М. М. Стасюлевичу (не менее 30 номеров), А. С. Суворину, И. С. Тургеневу, И. Ф. Циону, А. Н. Энгельгардту.

В «Correspondance» (1872—1902) Золя, сверх отмеченных в нашей описи, напечатаны письма к следующим русским корреспондентам: И. Д. Гальперину-Каминскому (23/VI—91, 10/IX—93, 25/II—97—733, 760, 789), Литературному фонду (7/VI—99—843), И. С. Тургеневу (29/VI—74, 25/X—82, 10/XII—82,—417, 588, 589), И. Ф. Циону (29/I—82, 9/II—82, 14/II—82, 17/II—82, 21/II—82,—568, 574, 580, 581, 582). Автографы этих писем хранятся во Франции.

# ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ФРАНЦИЯ

Статья М. Чистяковой

«Кое-кто из гордых писателей моей родины заявлял, что вы многим обязаны Франции. Они хотели бы видеть в вас питомца французской революции и Стендаля. Я же утверждаю, что Франция сама ваша должница,—вы возбудили в ее многовековом гении новую жизнь»,—писал Октав Мирбо Толстому в особом посвящении, сделанном им для русского издания комедии «Les affaires sont les affaires».

И Мирбо и «гордые» французские писатели, с которыми он полемизирует, правы по-своему; проблема может быть разрешена лишь утверждением факта сложного взаимодействия двух величин. Если художественный гений Толстого, бесспорно, оказал значительное влияние на французскую литературу и на ее творческую мысль (достаточно указать здесь на Ромен Роллана и вспомнить его собственные признания на этот счет), то и общая культура этой страны и ее литературные традиции, несомненно, имели сильное влияние на жизнь и творчество Толстого. Он знал и любил французскую литературу, на протяжении всей своей жизни неустанно следил за ее развитием, к французским научным трудам как к источникам прибегал он, по преимуществу, в своей публицистической деятельности; художники слова и мыслители Франции оказывали глубочайшее воздействие на собственное его творчество. Он знал Францию и по собственному опыту: в молодости, во время двух своих заграничных путешествий, он проживал, главным образом, во Франции—в Париже и в городах провинциальных; у него был обширный круг знакомых французов, по преимуществу из литературного мира, и еще более обширный круг адресатов, лично ему неизвестных, тянувшихся к нему со своими нуждами и сомнениями изо всех уголков Франции.

Крепкие нити, связывавшие Толстого с народом и культурой этой страны, отчетливо им осознавались, и чувство симпатии обычно характеризует его высказывания о Франции и французах. Он ценил «ясность, точность, отчетливость» французской мысли, красоту и тонкую выразительность французского языка. В неопубликованных записках Д. П. Маковицкий[1] приводит высказывания Толстого: «Я нынче вспомнил то хорошее, чем французы отличаются: ясность вопросов и ответов, отчетливость, не подковырнешься» (18 марта 1909 г.). «Хорошо пишут стихи французы и русские» (26 февраля 1906 г.). «Мне французы симпатичны—и язык, и литература, и люди самые» (2 ноября 1909 г.). Учителю французского языка из Тулы г. Сильвестру, посетившему Ясную Поляну в октябре 1909 г., Толстой заявил: «J'aime la France et les français» («Я люблю Францию и французов»). О французском народе в целом Толстой писал в одной из своих педагогических статей по личным наблюдениям: «Французский народ почти такой, каким он сам себя считает: понятливый, умный, общительный, вольнодумный и действительно цивилизованный».

В согласии с обычаями своей среды, Толстой воспитывался в традициях старой французской культуры, воспринятой русским дворянством. Отец его, лично проделавший военную кампанию 1812 г. и побывавший в плену у французов, отличался некоторым специфически дворянским «вольнодумием». На покое он много читал и «собрал библиотеку, состоявшую по тому времени из французских классиков, исторических сочинений и естественно-исторических—Бюффон, Кювье... Жизнь матери проходила вся за занятиями с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и серьезных чтениях, как «Эмиль» Руссо, для себя и рассуждениях о читанном»[2]. Биограф Толстого Н. Н. Гусев устанавливает, что на ее «воспитательных приемах заметно влияние Руссо»[3]. К маленькому Толстому, когда он достиг школьного возраста, был приставлен француз-гувернер Prosper St.-Thomas, изображенный им впоследствии в «Детстве» под именем St.-Jérome. По свидетельству С. А. Толстой, этот француз-гувернер, кажется, первый из окружающих обратил внимание на исключительные дарования ребенка. «Ce petit a une tête, c'est un petit Molière»*,—говорил он. Детские упражнения Толстого, относящиеся к 40-м годам и дошедшие до нас в фрагментах, представляют собой рассуждения на французском языке «О любви к отечеству», «О настоящем, прошедшем и будущем» и пр. и имеют, повидимому, целью выработку французского литературного стиля. К этим упражнениям непосредственно примыкает его переписка на французском языке с теткой Т. А. Ергольской, начавшаяся с 1844 г. и продолжавшаяся много лет, в которой Толстой не только подражает в отношении стиля французским образцам, но и использует целые куски из французских авторов. Эту «подделку» в письмах Толстого к тетке вскрывает его брат Сергей: «...Кстати, хороши же и ты ей [Ергольской] цедулки пишешь. Я одну из последних как-то видел. Я не говорю, чтобы вовсе не надо было выписывать тирад из m-me de Genlis и ей подобных, но не следует этого употреблять во зло, и хоть ты это делаешь с похвальной целью и сделать удовольствие, но твои дусеры... sont jusqu'à un tel point cousu à la fil blanc**, что смотри, как бы она этого не раскусила... Ты просишь меня прислать тебе I том «Новой Элоизы»; зачем она тебе? Из твоих писем к тетеньке видно, что ты ее помнишь наизусть» (из письма С. Н. Толстого к Л. Н. Толстому от 14 июля 1852 г.). В такой «офранцуженной» атмосфере протекали детство и юношеские годы Толстого.

С переездом семьи в Казань и поступлением 18-летнего Толстого в университет начинается полоса более интенсивной умственной его жизни, лишь косвенно связанная с университетскими занятиями. В 1847 г. профессор Казанского университета Мейер предложил студентам работу на тему сравнения «Наказа» Екатерины II с «Esprit des lois» Монтескье. «Эта работа очень заняла меня,—писал Толстой в замечаниях на «Биографию» П. И. Бирюкова,—открыла мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей». О том же вспоминал он впоследствии, в 1904 г.: «Я помню, меня эта работа увлекла, я уехал в деревню, стал читать Монтескье; это чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал читать Руссо и бросил университет именно потому, что захотел заниматься»[4]. Дневник, который Толстой начал вести именно с того времени, содержит

---

* Этот мальчик с головой, это будущий Мольер.

** До такой степени шиты белыми нитками.

в себе подробный разбор «Наказа» с параллельными ссылками на труд Монтескье, под сильным влиянием которого Толстой, повидимому, находился, высказывая полное сочувствие и предпочтение республиканскому строю перед монархическим. «В деспотическом правлении монарх не может надеяться на верность граждан», записывает Толстой. В другом месте он пишет: «Разве может существовать безопасность граждан под покровительством законов там, где не только решения судейские, но и законы переменяются по произволу самодержца». И дальше: «Она [Екатерина]

Л. Н. ТОЛСТОЙ
С фотографии, снятой за границей в 1860 г.
На обороте помета С. А. Толстой
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

постоянно хочет доказать, что хотя монарх неограничен ни чем внешним, он ограничен своей совестью; но ежели монарх признал себя, вопреки всем естественным законам, неограниченным, то уже нет у него совести, и он ограничивает себя тем, чего у него нет».

Изучение Монтескье совпало с усиленным чтением произведений Руссо, первое знакомство с которым относится к более ранней эпохе. «Руссо первый увлек меня,—писал Толстой в одной из редакций „Исповеди“,—я перечитывал его по нескольку раз, и он имел на меня большое влияние». В 1901 г. в беседе с Полем Буайе Толстой вспоминал: «Я прочел всего Руссо, все 20 томов, включая „Музыкальный словарь“, я более чем восхищался им,—я боготворил его. В 15 лет я, вместо креста, носил медальон с его портретом. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я сам написал их»[5]. В ответе женевскому «Обществу Руссо», написанном

5 марта 1905 г., Толстой говорит: «Руссо был моим учителем с 15-ти лет. В моей жизни было два великих и благотворных влияния: Руссо и евангелие. Руссо не стареется. Совсем недавно мне случилось перечесть некоторые из его произведений, и я испытал то же самое чувство возвышения и удивления, которое я испытал, читая его в первой молодости». Идеи Руссо о воспитании были особенно близки Толстому. В 1892 г., отвечая на вопрос, какие книги по воспитанию он считает лучшими, Толстой писал Е. И. Попову: «„Эмиль“ Руссо непременно должен стоять в главных». Однако, устанавливая факт исключительного впечатления, полученного Толстым от произведений Руссо, впервые пробудивших его критическую мысль, и учитывая приведенные выше позднейшие признания Толстого, следует отметить, что мы имеем налицо, прежде всего, факт тяготения глубоко родственной натуры, открывающей и познающей себя по своему подобию, и не ограничиваться простым признанием воздействия со стороны французского мыслителя. Еще в юности, когда, по свидетельству Толстого, он «боготворил» Руссо, в его высказываниях, наряду с восторгами, просвечивает вполне сознательное и критическое отношение к изучаемому автору. Дневник Толстого начала 50-х годов пестрит пометками о чтении Руссо и характеристиками прочитанного. «Получил книги и начал читать Confessions, которые к несчастью не могу не критиковать» (24 июня 1852 г.). «Прочел Profession de foi du vicaire Savoyard. Она наполнена противоречиями, неясными, отвлеченными местами и необыкновенными красотами» (29 июня 1852 г.). «Читал Profession de foi du vicaire Savoyard и, как и всегда при этом чтении, во мне родилось пропасть дельных и благородных мыслей» (8 июля 1853 г.). К концу 40-х годов относится отрывок «Философические замечания на речи Ж. Ж. Руссо», в котором юноша Толстой робко, но настойчиво, с молодой страстностью полемизирует с французским мыслителем. Впоследствии, в дневнике от 6 июня 1905 г., Толстой сам пробовал разграничить свои идеи от идей Руссо. «Меня сравнивают с Руссо. Я много обязан Руссо и люблю его, но есть большая разница. Разница та, что Руссо отрицает всякую цивилизацию, я же отрицаю лжехристианскую. То, что называют цивилизацией, есть рост человечества. Рост необходим, нельзя про него говорить, хорошо ли это или дурно. Это есть, в нем жизнь,—как рост дерева. Но сук, или силы жизни, растущие в суку, неправы, вредны, если они поглощают всю силу роста. Это с нашей лжецивилизацией».

К юношескому периоду, т. е. к концу 40-х годов, относится, повидимому, и первое знакомство Толстого с сочинениями Лабрюйера. К этому периоду приурочивается написанный им на французском языке отрывок: «Notes sur le second chapitre des caractères de Labruyère». Вольтер, с сочинениями которого Толстой также познакомился с юности, не оказал на него заметного влияния. «Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня». Этот мыслитель задел внимание Толстого лишь поверхностно, хотя некоторое влияние острой вольтеровской сатиры и сказывается, несомненно, в позднейшей толстовской критике церковной обрядности. В 1909 г. Толстой говорил в кругу друзей: «Уже Вольтер сказал, что много есть на свете глупых людей, но таких, которые бы своего бога ели, кроме нас нет»[6]. В 1910 г., по свидетельству Д. П. Маковицкого, Толстой вспоминал о Вольтере: «Как он хорош! Его прямо убили. Он жил в Ферне. Спальня во Франции, столовая в Швейцарии. Когда ему было 84 года,

его позвали во Францию. Он, несмотря на запрещение, зная, что его репутация такая, что не могут его тронуть, поехал. В Париже овации, в театре все бинокли на него. Он этого волнения не пережил».

Наряду с изучением французских философов и мыслителей, конец 40-х и начало 50-х годов характеризуются для Толстого усиленным, но несколько бессистемным чтением французских историков (Тьер, Мишо), путешественников (Араго) и французской художественной литературы. Он читает Стендаля, Тепфера, Ж. Санд, Ламартина, Бернарден де Сен-Пьера, Альфонса Карра, Эмиля Сувестра, Эжена Сю, Пиго, Дюма-отца, Поль де Кока. Обширными выписками на французском языке заинтересовавших Толстого мыслей из Ламартина, Ж. Санд, Бернарден де Сен-Пьера заняты целые страницы его юношеского дневника, в котором он ставит себе целью «умственное и нравственное совершенствование». Романы Ж. Санд производят, при первом знакомстве, благоприятное впечатление на Толстого. «Прекрасный роман Ж. Санд»,—отзывается он о «Horace». В герое этого романа он находит черты, родственные своему характеру. «Правду сказал брат, что эта личность похожа на меня» (дневник, 4 июля 1851 г.). В дальнейшем, столкнувшись в столичной литературной среде с увлечением идеями Ж. Санд и неприятной ему формой их реализации в жизни, Толстой резко изменил свое мнение о романистке, и в его редких о ней отзывах звучит нескрываемое раздражение: «Читал Consuelo. Что за превратная дичь с фразами науки, философии, искусства и морали—пирог с затхлым тестом и на гнилом масле с трюфелями, стерлядями и ананасами» (дневник, 23 сентября 1865 г.). Позднее, с годами, раздражение улеглось, и отношение его к Ж. Санд несколько смягчилось. В письме к Фету от 2 октября 1870 г. он одобрительно отзывается о повести Ж. Санд «Malgré tout». В 1907 г., по поводу переписки ее с Флобером, Толстой говорил: «Их не уважаю: и Флобера и Жорж Санд, особенно, когда она писала и переживала романы. Но в старости у нее появилось нравственное чувство. Ее письма лучше, чем Флобера»[7]. К Флоберу Толстой относился отрицательно и читал его мало. В письме к Н. Н. Страхову от 20—22 апреля 1877 г. он писал по поводу легенды о Юлиане Милостивом: «Что за мерзость Флобера, перевод Тургенева. Это возмутительная гадость». В незаконченной повести «Четыре эпохи развития» находим отзыв об Альфонсе Карре: «Милый, остроумный французский писатель». О нем вспоминает он и в «Отрочестве» и, позднее, в рассказе «После бала».

Романами Дюма Толстой увлекался с ранней молодости: «Помню, когда мне было 17 лет, я ехал в Казанский университет и купил на дорогу 8 томиков Monte-Cristo. До того было интересно, что я не заметил, как дорога окончилась. Тогда вся большая публика увлекалась этим романистом, а я принадлежал к большой публике. Дюма-отец был очень талантлив, как и сын»[8]. «Что касается Дюма,—говорил Толстой Скайлеру,—каждый романист должен знать его сердцем. Интриги у него чудесные, не говоря об отделке; я могу его читать и перечитывать, но завязки и интриги составляют его главную цель!»[9]. О Поль де Коке тому же собеседнику Толстой говорил: «Нет, не говорите мне ничего о той бессмыслице, что Поль де Кок безнравственен. Он, по английским понятиям, несколько неприличен. Он более или менее то, что французы называют best и gaulois, но никогда не безнравственность. Что бы он ни говорил в своих сочинениях и вопреки его маленьким вольным шуткам, направление его совершенно нравственное. Он французский Диккенс. Характеры его все заимствованы из жизни

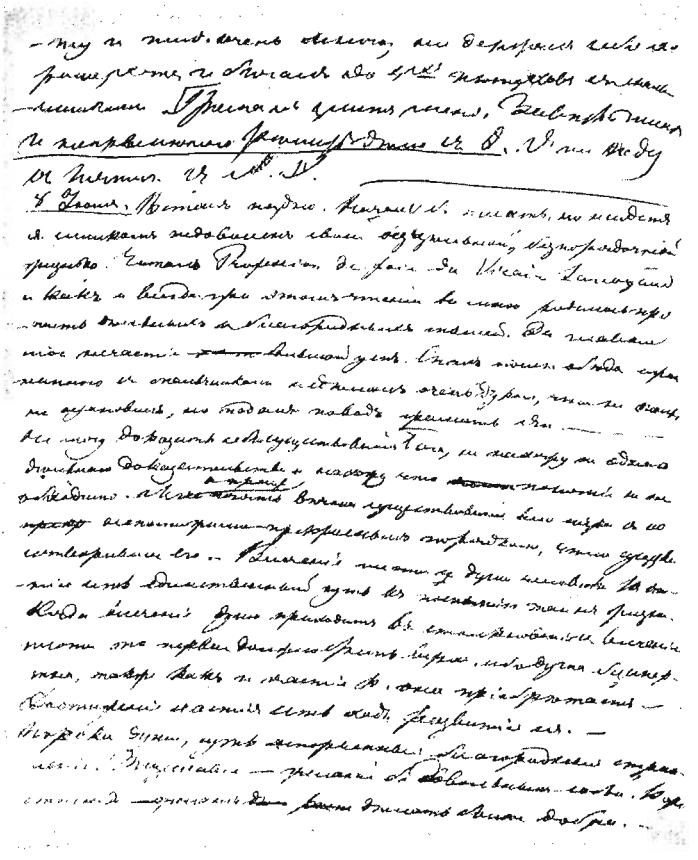
и также совершенны. Во французской литературе я высоко ценю романы Александра Дюма и Поль де Кока».

С 50-х годов начинается собственная творческая деятельность Толстого. И подобно тому как французские мыслители впервые пробудили критическую мысль Толстого, так французские писатели оказали влияние на первые его литературные шаги. В 1852 г. вышло из печати первое произведение Толстого «Детство», о котором впоследствии, в своих «Воспоминаниях», Толстой говорил: «Во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей: Sterne (его «Sentimental Journey») и Töpfer'a («Bibliothèque de mon oncle»)». Указанное произведение Тёпфера, написанное им в 1832 г., появилось в русском переводе в «Отечественных Записках» только в 1848 г.; возможно, что именно в этом переводе и читал его Толстой, и это произведение, написанное в форме воспоминаний детства, послужило толчком к принятию Толстым той же художественной формы. Наряду с Тёпфером, оказавшим влияние на форму и стиль произведения Толстого, следует отметить и влияние Руссо в экскурсах Толстого в область детской психологии (напр., чувства и мысли, вызванные в маленьком Николеньке первым наказанием, вполне совпадают с подобным эпизодом, рассказанным в «Эмиле» Руссо).

Поступление на военную службу и участие в севастопольской кампании дают творчеству Толстого новое направление. Он берется за батальные сюжеты на основе личных наблюдений, и творческое его восприятие, подготовленное и обостренное художественными образами Стендаля, открывает страшную в своей обыденности, реальную картину войны. «Я больше чем кто-либо, многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну,—говорил Толстой в 1901 г. Полю Буайе,—кто до него описал войну, такою, какова она есть на самом деле? Брат мой, служивший на Кавказе раньше меня, подтвердил мне правдивость Стендалевских описаний. Он очень любил войну, но не принадлежал к числу тех, кто верит в Аркольский мост. „Все это—прикрасы,—говорил он мне,—а на войне нет прикрас". Вскоре после этого в Крыму мне уже легко было все это видеть собственными глазами. Но, повторяю вам, все, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля»[10]. Несмотря на двойственность авторского настроения, «Севастопольские рассказы» представляют первую в русской литературе попытку реалистического изображения войны, повторенную и развитую впоследствии в «Войне и мире». В области «батальной живописи» близко соприкоснулись творческие индивидуальности двух художников; в остальном они были глубоко различны, и Толстой впоследствии сам ощущал это различие в форме чувства неудовлетворенности от произведений Стендаля. В письме к С. А. Толстой от 13 ноября 1883 г. он писал: «Читаю Stendhal Rouge et Noire. Лет 40 тому назад я читал это, и ничего не помню, кроме моего отношения к автору, симпатия за смелость, родственность, но неудовлетворенность. И странно: то же самое чувство теперь, но с ясным сознанием, отчего и почему».

Вскоре после выхода в отставку, в феврале 1857 г., Толстой отправляется в первое путешествие за границу и проводит около двух месяцев в Париже. Здесь он вращается, по преимуществу, в русском кружке знакомых и родственников—Трубецких, Мещерских, Хлюстиных. Салон старшей дочери В. И. Хлюстиной Анастасии Семеновны, бывшей замужем за французским писателем и политическим деятелем графом Жозефом Сиркуром, посещали

старые парижские знаменитости: подруга Ж. де Местра, русская католичка Свечина, гр. Полиньяк, Альфред де Виньи, Ламартин. Через Тургенева и отчасти Некрасова, также находившихся в то время в Париже, Толстой знакомился с представителями современной французской литературы и науки: с Мериме, с поэтом и революционером Пьером Дюпоном («красный и славная натура»), с писателем-путешественником К. Мармье, с ученым-латинистом Ипполитом Риго, с профессором философии Гарнье, с крити-



СТРАНИЦА ДНЕВНИКА Л. Н. ТОЛСТОГО С ЗАПИСЬЮ ОТ 8 ИЮЛЯ 1853 г. ОБ „ИСПОВЕДАНИИ ВЕРЫ САВОЙСКОГО ВИКАРИЯ" РУССО

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

ком Ломени и с многими другими писателями, учеными и журналистами. В Сорбонне и Collège de France он слушает лекции: Низара—по римской истории («Мелко. Остроумие о Плинии»), Сен-Марка Жирардена—по истории драматической поэзии, Бодрильера—по политической экономии («Точно и просто»), А. Франка—по естественному и международному праву («Замечательный ум и добросовестность, но непонятная религиозность»). В то же время Толстой усердно посещает театры, смотрит комедии Мольера, Расина, Бомарше, Мариво, Мельвиля, Гранже, Барьера. Мольер, которого он усиленно читал перед отъездом за границу, приводит его в восторг: «Précieuses ridicules и Avare—отлично» (23 февраля 1857 г.). «Le malade imaginaire сыгран прелестно» (24 февраля). Комедия Мариво «Les fausses

confidences» — «прелесть элегантности»; одноактные и двухактные пьесы Гранже — «прелесть». Расин, как и вообще вся классическая французская драматургия, оставляет Толстого холодным. «Plaideur — дрянь», — записывает он 20 марта, а несколько позже, 4 апреля, заносит в дневник: «Драма Расина — поэтическая рана Европы, слава богу, что ее нет и не будет у нас».

Светская жизнь и литературные круги не удовлетворяли Толстого. Обед с академиками — «мелко, пошло, глупо», вечер у Риго — «пошло», — записывает он в дневнике. Его интересует французский народ в массе, он хочет поближе с ним познакомиться, приглядывается и прислушивается к нему на улицах огромного города, в кафе, в народных клубах, где произносят речи, декламируют и распевают песенки Беранже и Дюпона. «Когда я был в Париже, — рассказывал Толстой Скайлеру, — я обыкновенно проводил половину дней в омнибусах, забавляясь просто наблюдением народа; и могу вас уверить, что каждого из пассажиров находил в одном из романов Поль де Кока»[11]. В письме к тетке Т. А. Ергольской от 11 апреля 1857 г. он писал: «Я так приятно провел в Париже полтора месяца, что каждый день говорил себе, как я был прав, что поехал за границу. Я мало бывал в свете — обществе и в литературном мире, редко посещал кафе и публичные балы, но несмотря на это я видел здесь столько новых и интересных для меня вещей, что каждый вечер, ложась спать, я говорил себе: как жаль, что день прошел так скоро». В письме к В. П. Боткину от 5—6 апреля Толстой писал: «Я живу все в Париже вот скоро 2 месяца и не предвижу того времени, когда этот город потеряет для меня интерес и эта жизнь свою прелесть. Я круглая невежда; нигде я не почувствовал этого так сильно, как здесь... Наслажденья искусством, Лувр, Versailles, консерватория, квартеты, театры, лекции в Collège de France и Сорбон, а главное социальной свободой, о которой я в России не имел даже понятия...». Отложив окончание письма В. П. Боткину до другого дня, Толстой утром 6 апреля присутствует на казни гильотинированием преступника-убийцы Рише. Это зрелище производит на него потрясающее впечатление; он описывает его Боткину и заканчивает свое письмо уже в иных, минорных тонах: «Много бы еще хотел вам рассказать про то, что я здесь вижу, как например за заставой клуб народных стихотворцев, в котором я бываю по воскресеньям. Правду писал Тургенев, что поэзии в этом народе il n'y a pas. Есть одна поэзия — политическая, а она и всегда была мне противна, а теперь особенно. Вообще жизнь французская и народ мне нравятся, но человека ни из общества, ни из народа, ни одного не встретил путного». На второй же день Толстой покидает Париж и уезжает в Швейцарию, где останавливается в Кларане, «в том самом местечке, где жила Юлия Руссо», как сообщает он Т. А. Ергольской в письме от 18 мая. Это упоминание не случайно. Ужас, внушенный ему зрелищем казни, с новой силой поставил перед ним вопрос о ложном пути европейской цивилизации, и мысль его снова обратилась к Руссо. Он переживает тревожное и смутное настроение, весь еще в отголосках парижской жизни. «Нет, нет да и грустно, все куда-то тянет, чего-то хочется, — пишет он В. П. Боткину из Кларана. — Как песенка Беранже есть Le bonheur — „Le vois tu bien là-bas, là-bas“». Из парижских народных клубов вывез Толстой увлечение поэзией Беранже и сохранил его на всю жизнь. Он много знал на память его стихотворений и любил их декламировать даже в годы старости. В 1909 г. он признавался, что любит Беранже «за даровитость»; «ничего безнрав-

ственного у него нет, склад народный, благородный, нравственный и бодрый»[12].

В Швейцарии Толстой продолжает знакомство с произведениями Бальзака, начатое в Париже. Большого впечатления они не производят на него, и отзывы его о Бальзаке разноречивы. Роман «Le lis dans la vallée» он называет в дневнике «нелепым», «чушью»; предисловие к «Comédie Humaine»—«мелко и самонадеянно». В дневнике от 8 апреля 1857 г., по поводу романа «Grandeur et décadence de César Birotteau», он с иронией отмечает: «У Бальзака женщина в отчаянии говорит „je travaillerai“ *— и все приходят в ужас». В то же время роман «Honorine» приводит его в восхищение: «Читал Honorine, талант огромный»,—записывает он в дневнике 27 февраля. «Cousine Bette» читает с увлечением, не делая никаких оценок романа (в дневнике от 10 апреля запись: «Целый день читал «Cousine Bette»). 13 апреля Толстой записывает общее наблюдение, сделанное им в связи с прочитанными романами: «У Бальзака в образах возможность, а не необходимость поэтическая». Наряду с Бальзаком, он читает некоторые вещи Дюма-сына и проводит между двумя романистами любопытную параллель: «Читал Dame aux perles. Талант, но грунт, на котором он работает, ужасен; деправация Бальзака цветочки перед этим» (дневник, 20 апреля 1857 г.). Позднее Толстой возвращается к чтению произведений Дюма-сына и, ближе ознакомившись с его мировоззрением, восхищается его моральной высотой.

Еще до отъезда за границу, под влиянием чтения Мольера, Толстой задумал написать пьесу. «Прочел Bourgeois Gentil'homme и много думал о комедии из Оленькиной жизни[13]. В двух действиях. Кажется, может быть порядочно» (дневник, 11 октября 1856 г.). В записи от 12 января 1857 г. он снова возвращается к мыслям о пьесе, в которой должны фигурировать «практический человек, жорж-зандовская женщина и Гамлет нашего века». Парижские театры с их постановками пьес Мольера, Мариво и Гранже явились новыми возбудителями драматургических замыслов Толстого. Ряд пьес, относящихся к концу 50-х годов и оставшихся незаконченными («Дворянское семейство», «Практический человек», «Дядюшкино благословенье», «Свободная любовь», «Зараженное семейство»), носит следы влияния названных французских драматургов.

По возвращении в Россию Толстой уединяется в Ясной Поляне, открывает там собственную школу и с головой уходит в педагогическую деятельность, к которой имел тяготение еще с эпохи увлечения Руссо. Он перечитывает специальную по этому предмету литературу, и внимание его останавливается на Монтене. «Montaigne первый ясно выразил мысль о свободе воспитания. В воспитании опять, главное—равенство и свобода»,— записывает он в дневнике 5 августа 1860 г.

Новая поездка в 1860 г. за границу вызвана была тяжелой болезнью брата Николая[14]. Некоторое время Толстой живет с больным в Южной Франции, в Гиэре. Оттуда, после смерти брата, он едет на короткое время в Париж, посещает Марсель, потом едет в Италию, Англию, Бельгию, Германию. Подавленный смертью брата, Толстой не ведет за это время дневника, мало пишет писем, и потому о втором его заграничном путешествии известно лишь из косвенных источников. Так, сестра Толстого М. Н. Толстая сообщает маленький, но характерный факт: во время пре-

* Я буду работать.

бывания в Гиэре Толстой явился на великосветский вечер в деревянных сабо, какие носят французские крестьяне, чем произвел настоящее смятение в собравшемся обществе[15]. Из некоторых сохранившихся от того времени документов и позднейших высказываний Толстого мы знаем, что второе заграничное путешествие проходило под знаком исключительного его интереса к постановке педагогического дела в Европе. Через своих парижских друзей (гр. Сиркур) Толстой получил официальное разрешение из министерства народного просвещения на осмотр учебных заведений в Париже и провинции. В статье «О народном образовании» (1861) Толстой рассказывает об отрицательном впечатлении, полученном им от знакомства с учебными заведениями Марселя, обучение в которых, по мнению Толстого, отличалось механическим характером и основано было на принуждении. «Год тому назад я был в Марселе и посетил все учебные заведения для рабочего народа этого города... Видел я после светской школы ежедневные поучения в церквах, видел salles d'asile*, в которых четырехлетние дети по свистку, как солдаты, делают эволюции вокруг лавок, по команде поднимают и складывают руки и дрожащими и странными голосами поют хвалебные гимны богу и своим благодетелям, и убедился, что учебные заведения города Марселя чрезвычайно плохи. Ежели бы кто-нибудь каким-нибудь чудом видел все эти заведения, не видав народа на улицах, в мастерских, кафе, в домашней жизни, то какое бы мнение он себе составил о народе, воспитываемом таким образом? Он, верно, подумал бы, что это народ невежественный, грубый, лицемерный, исполненный предрассудков и почти дикий». Но это не так. «Посмотрите на городского работника лет тридцати: он уже напишет письмо не с такими ошибками, как в школе, иногда совершенно правильное; он имеет понятие о политике, следовательно, о новейшей истории и географии; он знает уже несколько историю из романов; он имеет несколько сведений из естественных наук; он очень часто рисует и прилагает математические формулы к своему ремеслу. Где же он приобрел все это?». В другом месте Толстой кратко отвечает на свой вопрос: «школы не в школах, а в журналах и в кафе».

В Брюсселе Толстой посетил Прудона, который, по свидетельству биографа Толстого П. И. Бирюкова, приводящего подлинные слова Толстого, оставил в нем впечатление «сильного человека, у которого есть „le courage de son opinion"»**[16]. Через несколько лет после свидания с Прудоном, 18 августа 1865 г., Толстой записал в своей записной книжке: «Всемирно-историческая задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства земельной собственности. „La propriété—c'est le vol"*** останется больше истиной, чем истина английской конституции до тех пор, пока будет существовать род людской. Это истина абсолютная». В дальнейшем, в ряде своих публицистических статей, Толстой не раз возвращается к принципам прудоновского анархизма, а в последний год жизни, в 1910 г., в очерке «Сон», написанном в художественной форме, изображая спор по вопросу о земельной собственности в великосветской столовой, он вкладывает в уста своего героя прудоновские мысли с основным принципом «La propriété—c'est le vol».

---

* Приюты.
** Мужество собственного мнения.
*** Собственность есть кража.

Середина 60-х годов характеризуется усиленной работой над романом «Война и мир». Французскими источниками для романа служили: Dumas A. «Napoléon», Lanfrey P. «Histoire de Napoléon I-er», Marmont, maréchal, duc de Raguse «Mémoires», De Méneval «Napoléon et Marie-Louise», Thiers «Histoire de l'empire», Erckman-Chatrian «Le conscrit de 1813». К этим источникам К. В. Покровский присоединяет: De Beausset «Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du Palais», Chambray «Histoire de l'expédition en Russie», Labaume «Rélation complète de la campagne de Russie», Rapp «Mémoires», Ségur «Histoire de Napoléon et de la grande armée»[17]. К этому списку необходимо добавить: Las-Cases «Le Mémorial de Sainte-Hélène» и J. de Maistre «Correspondance diplomatique» и «Soirées de St.-Pétersbourg». Всеми этими печатными материалами, наряду с многочисленными русскими источниками, Толстой пользовался, по преимуществу, для составления исторической канвы для своего романа, и лишь некоторые из них оказали на него идеологическое влияние. Устанавливая влияния такого рода, необходимо отметить одну своеобразную особенность творческой личности Толстого, о которой он писал П. И. Бирюкову в ответ на запрос о его отношении к освободительным реформам 1861 г.: «Должен сказать (и это моя хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной), что я всегда противился невольно влияниям извне, эпидемическим. Я теперь знаю в себе то же чувство отпора против всеобщего увлечения, которое было и тогда, но проявлялось в робких формах»[18]. И потому, используя тот или иной источник, особенно авторитетный и общепризнанный, Толстой часто, на основании тех же фактов, приходит к выводам и заключениям иногда парадоксальным и диаметрально противоположным выводам автора; он как бы отталкивается идеологически от своего источника. Это своеобразное явление с особенной отчетливостью наблюдается в его отношении к историческим трудам Тьера. В изо-

COMTE LÉON TOLSTOÏ

LA GUERRE ET LA PAIX

ROMAN HISTORIQUE

TRADUIT AVEC L'AUTORISATION DE L'AUTEUR

PAR

UNE RUSSE.

TOME PREMIER.

AVANT TILSITT

1805—1807.

PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie
79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79.

1879

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ „ВОЙНЫ И МИРА" НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ, В ПЕРЕВОДЕ П. П. ПАСКЕВИЧ, 1879 г.

бражении исторических фактов Толстой следует за изложением Тьера в его «Истории империи» (том XIV, «Moscou»), используя не только куски из своего источника дословно, но и включая в роман целые эпизоды по Тьеру. Объявление войны и ближайшие к этому события (бал на загородной даче Бенигсена, поспешное отступление русских из Вильно, характеристика лиц, окружавших Александра I, борьба между Барклаем и Багратионом, Пфулем и Паулуччи и пр.) и дальше — Смоленск, Москва, отступление французов, бои под Тарутиным и Малым-Ярославцем, борьба между Кутузовым и Бенигсеном,—в изложении всех этих событий сквозь набросанную живую художественную ткань легко прощупывается костяк фактического изложения Тьера. Главы IV, V, VI и VII первой части третьего тома «Войны и мира», в которых изображается поездка Балашева во французскую армию после объявления войны со специальными заданиями от Александра I, представление его маршалам Мюрату и Даву, свидание с Наполеоном, их беседа, затем обед, куда был приглашен Балашев, которого Наполеон «traita avec bienveillance, mais avec une familiarité souvent blessante»*, по выражению Тьера, удачные ответы Балашева за столом о пути через Полтаву и пр.,—вся эта глава часто буквально повторяет фактическое изложение Тьера, причем речи Наполеона даются в дословном переводе с французского. Другой эпизод—разговор казака из корпуса Платова (у Толстого — Лаврушка) с Наполеоном — также заимствован у Тьера, которому передал содержание этого разговора лично переводчик г. Lelorgne d'Ideville и за достоверность которого Тьер ручается в соответствующей сноске. Точно так же и многочисленные эпизоды из военной кампании 1805 г. заимствованы Толстым у французского историка. Вместе с тем, идеологическая установка Тьера, с его преклонением перед военным гением Наполеона, с верой в военную науку и ее точные планы и диспозиции, презрительное отношение к русским и, в частности, к Кутузову, торжество которого Тьер объясняет только его лживостью и коварством, наконец, самоуверенный тон исследователя оттолкнули Толстого и возбудили в нем ход мыслей и эмоций противоположного характера. Целые страницы романа Толстого, занятые полемикой с «историками», направлены исключительно против Тьера и его идеологии.

Такое же отрицательное в идейном отношении влияние на Толстого имела книга Ласказа «Mémorial de Sainte-Hélène». Граф Ласказ, белый эмигрант в эпоху революции 1789 г., возвратившийся на родину в эпоху консульства, настолько скомпрометировал себя близостью к Наполеону, что после падения империи и возвращения к власти Бурбонов принужден был снова покинуть Францию и в качестве секретаря Наполеона отправиться с ним на остров св. Елены. Здесь он и писал свой «Мемориал», проникнутый таким преклонением перед личностью Наполеона, которое часто переходит в подобострастный тон, охарактеризованный Толстым кратко на полях книги «profession de foi лакейства».

Два тома «Мемориала», находящиеся в яснополянской библиотеке, испещрены пометками Толстого, подчеркиваниями, нотабене, записями на полях[19]. К главе X первого тома, против абзаца, в котором передается рассказ Наполеона о том, как он, возвратившись с острова Эльбы во Францию, захватил в Тюильрийском дворце, после бежавшего Людовика XVIII,

* Обращался благосклонно, но с фамильярностью, часто оскорбительной.

СЦЕНА ИЗ ТРАГЕДИИ ТОМА КОРНЕЛЯ „ГРАФ ЭССЕКС"
Картина маслом Никола Ланкре, 1734 г.
Эрмитаж, Ленинград

вместе с государственными бумагами и частные его письма, которые «были написаны красивым почерком, умны, но слишком отвлеченны и метафизичны» — на полях помета Толстого: «наивность Гоголевского почтмейстера». К отрывку, озаглавленному «О генералах итальянской армии», содержащему характеристики генералов и описание их блестящих побед, по воспоминаниям Наполеона, имеется запись на полях: «шахматная Франция разбитого игрока». По поводу рассказа о походе в Египет Толстой отмечает: «подделывает факты прошедшего под свою мысль» и дальше «гордость»; «его погибель есть необычайное явление». В главе XIV подчеркнут весь абзац, в котором рассказывается о том, как смешили Наполеона многочисленные карикатуры на него в иллюстрированных журналах, получавшихся им в изгнании; на полях—знак восклицательный и запись: «умен и силен». К другим местам книги на полях имеются следующие пометы: «умен так, что искренно лжет и обманывает, ибо в свою пользу», «вера в свое сверхестественное превосходство заставляет смиряться», «бедный—скука», «не может думать—действует», «сердится за титул», «украл колье». Из этих помет видно, как воспринимал Толстой факты, изложенные Ласказом, и как постепенно складывался у него образ Наполеона. Результат этой работы мысли зафиксирован Толстым в дневнике (19 марта 1865 г.): «Наполеон как человек—путается и готов отречься 18 брюмера перед собранием... Вся египетская экспедиция—французское тщеславное злодейство. Ложь всех bulletins сознательная. Пресбургский мир—escamoté*. На Аркольском мосту упал в лужу, вместо знамя. Плохой ездок. В итальянской войне увозит картины, статуи. Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые—радость. Брак с Жозефиной—успех в свете. Три раза поправлял реляцию сражения Риволи—все лгал. Еще человек, первое время сильный своей односторонностью, потом нерешителен—чтоб было! как? Вы, простые люди, а я вижу в небесах свою звезду. Он не интересен, а толпы, окружающие его и на которые он действует. Сначала односторонность и beau jeu** в сравнении с Маратами и Барасами, потом ощупью самонадеянность и счастье и потом сумасшествие—faire entrer dans son lit la fille des Césars***. Полное сумасшествие, расслабление и ничтожество на св. Елене. Ложь и величие потому только, что велик объем, а мало стало поприще и стало ничтожество и позорная смерть». Из «Мемориала» Ласказа Толстой, однако, заимствует многочисленные детали для характеристики Наполеона—некоторые черты его внешности, особенности характера и физического организма, привычки, отдельные выражения, которые сообщают живой колорит данному им в романе образу императора. Выработке отрицательного взгляда на Наполеона, повидимому, содействовали и «Мемуары» маршала Мармона, имеющие «разоблачающий» характер, использованные Толстым, однако, в незначительной степени. Взгляд на Наполеона не изменился у Толстого до конца жизни. В 1890 г. он писал А. И. Эртелю[20]: «Ничего вам не могу сказать про Наполеона. Да, я не изменил своего взгляда и даже скажу, что очень дорожу им. Светлых сторон не найдете, нельзя найти, пока не исчерпаются все темные, страшные, которые представляет это лицо. Самый драгоценный материал, это—Mémorial de St.-Hélène. И записки доктора о нем[21]: как ни раздувают

---

* Мошенничество.
** Удача.
*** Привести на свое ложе дочь цезаря.

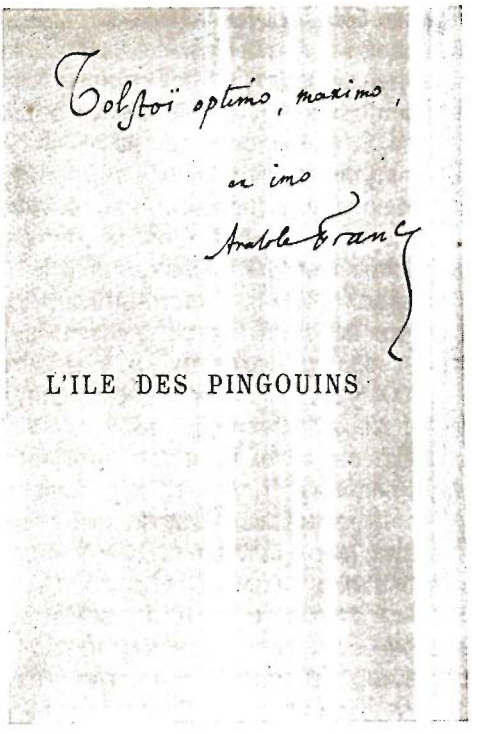
они его величия—жалкая толстая фигура с брюхом, в шляпе, шляющаяся по острову и живущая только воспоминаниями своего бывшего quasi-величия, поразительно жалка и гадка. Меня страшно волновало всегда это чтение, и я очень жалею, что не пришлось коснуться этого периода жизни». Д. П. Маковицкий в своих «Записках» 16 июля 1909 г. отмечает, что Толстой, просматривая книгу К. А. Военского «Акты, документы и материалы для истории 1812 года», сказал: «Какой жулик был Наполеон: маленького роста, не француз, корсиканец»,—как бы желая этими словами снять с симпатичного ему народа ответственность за отрицательную, по его мнению, историческую фигуру.

Особое место в ряде влияний на роман Толстого занимает Ж. де Местр, с сочинениями которого Толстой, повидимому, был знаком с юности и отдельные мысли которого он часто цитирует в своих дневниках и письмах на протяжении многих лет. В эпоху создания «Войны и мира» он записывает в дневнике: «Читал Maistre: Мысли о свободной отдаче власти» (1 ноября 1865 г.); в письме к П. Бартеневу от 7 декабря 1866 г. он просит: «Пришлите, пожалуйста, архив Местра». В яснополянской библиотеке имеется «Correspondance diplomatique» Местра, с очень скупыми пометами Толстого. Из этой книги Толстой заимствовал некоторые характерные факты и события придворной и салонной жизни Петербурга, ходившие тогда анекдоты, меткие словечки и пр. Эпизод романа о переходе в католичество Элен также навеян уже практической деятельностью Местра, который, в тесной связи с петербургской группой иезуитов, успешно обращал в католичество своих поклонниц, светских дам (Свечину, Ростопчину, Чичагову). Более серьезное влияние на Толстого оказала, однако, другая книга Местра—«Soirées de St.-Pétersbourg», написанная в форме бесед на различные темы между тремя лицами: графом (автор), русским сановником и молодым французским эмигрантом, состоящим на русской военной службе. «Седьмая беседа» в книге посвящена войне. Общий взгляд Местра на войну, на роль полководцев и солдатской массы в известной мере совпадает с взглядами автора «Войны и мира», особенно в ее философской части. Исходя из общих принципов своего мировоззрения, Местр, как и Толстой в своем романе, утверждает «иллюзорность» так называемых гениев, высмеивает военные диспозиции, реляции о победах и поражениях («проигранная битва это та, которую считают проигранной»), издевается над такими выражениями, как «отрезать» армию и т. д.[22].

Из влияний художественного порядка следует отметить влияние Стендаля, с его «батальным» реализмом, и Виктора Гюго. Это последнее влияние сказывается в попытках Толстого изобразить, подобно Гюго, коллективную психологию, психологию широких масс в действии и движении[23].

Самое заглавие романа «Война и мир» было, повидимому, подсказано Толстому появившимся в 1864 г. в русском переводе сочинением Прудона «La guerre et la paix, recherches sur le principe et la constitution du droit des gens». Толстой колебался в выборе заглавия для своего романа; первую его часть он назвал «1805 год»; затем мелькнул неудачный заголовок «Все хорошо, что хорошо кончается», и, наконец, твердо устанавливается заголовок «Война и мир», как бы подсказанный извне. Однако, дальнейших аналогий между названным трудом Прудона и романом Толстого установить невозможно.

В годы создания «Войны и мира» Толстой читает Мериме («Chronique de Charles IX») и сочинения В. Гюго, который с тех пор и на всю жизнь




ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ АНАТОЛЯ ФРАНСА НА КНИГЕ „L'ÎLE DES PINGOUINS", ПРИСЛАННОЙ Л. Н. ТОЛСТОМУ

Библиотека Толстого в Ясной Поляне

делается его любимейшим писателем. В письме к М. М. Ледерле, отвечая на вопрос, какие книги в 60—70-х годах произвели на него наиболее сильное впечатление, Толстой указывает, что «Misérables» Гюго произвели впечатление «огромное» (высшая и единственная за этот период отметка). Главу из этого романа («Епископ Мириэль») Толстой тогда же переработал и включил, под заглавием «Архиерей и разбойник», в свою «Азбуку», в отдел статей для детского чтения. 10—20 мая 1866 г. Толстой пишет Фету[24]: «Знаете, что о Victor Hugo никто не говорит, и все его забыли,—именно оттого, что он всегда и у всех останется, не так как Байроны и Вальтер Скотты. Читали ли вы в его полных сочинениях его критические статьи? Все, что у нас об искусстве лет 10 тому назад, да и теперь пожалуй пересуживается à tort et à travers*, 30 лет тому назад высказано им, да так, что нельзя слова прибавить и слова выкинуть». Чтение статей Гюго по вопросам искусства, повидимому, явилось первым толчком к зарождению у Толстого замысла о специальном труде на ту же тему. Одновременно с указанными авторами Толстой перечитывает Мольера. «Левочка взял пресмешные комедии Мольера,—писала С. А. Толстая своей сестре Т. А. Берс 29 октября 1864 г.,—и читал нам вслух. Мы ужасно смеялись, комедии уморительные, и Лева читал отлично». И. Л. Толстой в своих «Воспоминаниях» рассказывает, что несколько позднее, в 70-х годах, Толстой часто читал детям вслух романы Жюль-Верна; все они были иллюстрированы, кроме одного — «Путешествие вокруг света в 80 дней», и этот роман Толстой сам принялся иллюстрировать для детей. «Каждый день он приготовлял к вечеру подходящие рисунки пером, и они были настолько интересны, что нравились нам

* Вкривь и вкось.

гораздо больше, чем те иллюстрации, которые были в остальных книгах»[25]. В то время, т. е. в первое десятилетие семейной жизни, Толстой непосредственно занимался воспитанием своих детей; в конце 70-х годов он усиленно подыскивает для них гувернера-француза. «Вдруг на праздниках,— писала С. А. Толстая сестре своей Т. А. Кузминской 23 января 1878 г.,— мы получили письмо от жены женевского священника русского, которого мы осенью еще просили найти гувернера, что гувернер есть в Москве, швейцарец, лет 35-ти, очень хороший, m-r Nieff». Далее она рассказывает, как Толстой познакомился с Ньефом в Москве и договорился с ним. 7 февраля 1878 г. Толстой писал брату С. Н. Толстому: «У нас все благополучно и с маленьким. Учитель новый, но не Gérard. Он сам отказался, да и говорят, что плох, а у нас теперь Nieff. Швейцарец из Франции, за 1000 руб. и до сих пор, две недели, мы очень им довольны». Ньеф прожил у Толстых с 25 января 1878 г. по октябрь 1879 г., оставив благоприятное впечатление в семье, и только в настоящее время исследователями биографии Толстого точно и детально установлено, что под именем Ньефа в Москве скрывался активный участник Парижской коммуны, Montels, капитан 73-го батальона Национальной гвардии, а затем начальник 12-го легиона Коммуны. После взятия Парижа версальцами он скрылся в Швейцарию, а оттуда переехал в Москву, занимаясь педагогической деятельностью под вымышленным именем Ньефа. Осенью 1879 г., после объявления частичной амнистии, он возвратился во Францию, оставив Ясную Поляну и гувернерство в семье Толстых. Воспоминания Montels напечатаны в книге Maxime Vuillaume, «Mes cahiers rouges»[26].

В начале 70-х годов Толстой мечтает о новом большом произведении в драматической форме, о чем сообщает в письмах к А. А. Фету весной 1870 г. Он перечитывает Мольера, греческих трагиков во французском переводе Кузена. Однако, он вскоре оставляет мысль о драме и приступает к созданию романа из современной жизни—«Анны Карениной».

Проблема брака и супружеской верности, лежащая в основе романа, обдумывалась Толстым в самый разгар литературной полемики, завязавшейся в Париже вокруг той же темы в связи с нашумевшим процессом Dubourg'a, обвинявшемся в убийстве на почве ревности жены. Полемика открыта была редактором «Le Soir», поместившим открытое письмо Henri d'Ideville'я, на которое отвечал А. Дюма-сын; далее следовало выступление Эмиля Жирардена и др. парижских литераторов. Эта полемика, повидимому, живо интересовала Толстого. В письме к Т. А. Кузминской от 1 марта 1873 г. он пишет по поводу полемической брошюры А. Дюма «L'homme-femme» (Réponse à M. Henri d'Ideville): «Прочла ли ты L'homme-femme? Меня поразила эта книга. Нельзя ждать от француза такой высоты понимания брака и вообще отношения мужчин к женщине». А. Дюма развивает традиционно-христианскую точку зрения, рассматривая брак как «треугольник», составленный из бога, мужчины и женщины, причем женщина как «помощница» мужа, занимает низшее положение в браке. Ее измена мужу является результатом любопытства и испорченности; средствами борьбы с этими пороками со стороны мужа является нравственное воздействие, терпение и проявление любви. В тех случаях, когда эти средства оказываются недействительными, Дюма считает допустимым женоубийство. Разделяя в общем взгляды Дюма, Толстой отвергал его окончательный вывод, предоставляя кару вершине «треугольника»—богу («мне отмщение, и аз воздам»). Французская полемика отра-

зилась и на страницах черновых рукописей романа. В одном из ранних черновиков IX главы IV части, в котором изображается обед у Алабиных (в позднейших рукописях—Облонских) и спор по поводу женского образования, читаем: «Вдруг разговор перешел в конце обеда на последнюю французскую полемику между Dumas и E. Girardin [?] о l'homme-femme. Разговор при дамах велся так, как он ведется в хорошем обществе, т. е. искусно обходя все слишком сырое, и разговор занял всех сильно, несмотря на то, что Долли, поняв всю тяжесть этого разговора для Алексея Александровича, хотела замять его. Студент и Ровский [впоследствии—Левин] стали спорить... Студент, разумеется, защищал права женщин, Ровский развивал и подкреплял мысль Дюма. Он говорил, что ее надо убить. И это мнение так шло к его атлетической фигуре, черным глазам и зловещему их блеску, что невольно верилось, что он говорил то, что думал».

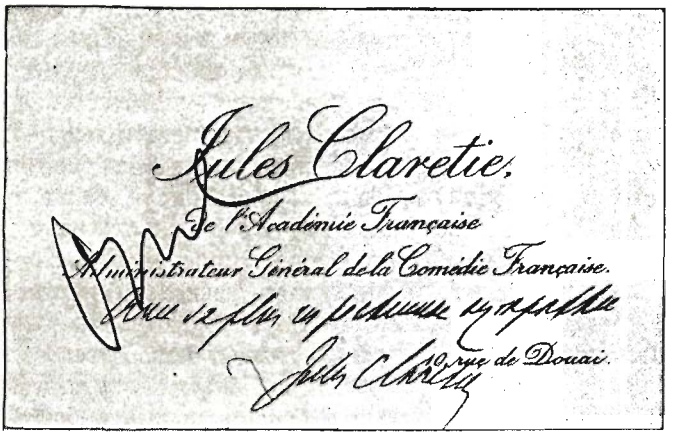
По окончании романа и выходе его в свет, с новой силой пробудился в Толстом интерес к вопросам философским и религиозным. В конце 70-х годов и в 80-е годы он усиленно занимается чтением философов и моралистов, и среди них одно из первых мест по силе произведенного на Толстого впечатления занимает Паскаль. «Читали ли вы жизнь Паскаля—Blaise Pascal, его Pensées?—писал он А. А. Толстой в марте 1876 г.,—какая чудесная книга и его жизнь. Я не знаю лучше жития». В письме к А. А. Фету в апреле 1877 г. Толстой спрашивает, читал ли Фет Паскаля «недавно, на большую голову», и обещает дать ему при свидании книгу Паскаля. В письмах к П. И. Бирюкову от 3 октября 1887 г. и к Н. Н. Страхову от 14 октября того же года Толстой, давая высокую оценку Гоголю, называет его «наш Паскаль». «У Паскаля в его „мыслях" рядом со слабыми попадаются мысли удивительной глубины и силы,—говорил Толстой А. Б. Гольденвейзеру уже в 1910 г.,—он принадлежал к ордену янсенистов, постоянно полемизировал с иезуитами и, благодаря ему, название „иезуит" стало нарицательным в смысле лицемера»[27]. Паскаль и другие старые французские моралисты — Монтень, Амиэль, Лабрюйер, Ламене, Вовенарг, Ларошфуко — отвечали внутренним, религиозным исканиям Толстого 80-х годов и с тех пор твердо вошли в круг его постоянного внимания. В дальнейшей своей жизни Толстой постоянно обращается к перечитыванию их сочинений; в своих публицистических статьях, письмах и дневниках он постоянно ссылается на них, цитирует отдельные их мысли. В 1893 г. он пишет предисловие к «Дневнику» Амиэля; в 1907 г. переводит и составляет (совместно с Г. А. Русановым) сборник избранных мыслей Лабрюйера, Ларошфуко, Вовенарга и Монтескье и пишет для него предисловие; в состав его сборников—«Круг чтения», «На каждый день» и «Путь жизни»—в большом количестве вошли афоризмы из произведений названных мыслителей. Эти мыслители во главе с Паскалем, несомненно, оказали большое влияние на окончательную выработку религиозных взглядов Толстого. Наряду с этими влияниями можно отметить и некоторое влияние философии Декарта[28]. Современные французские мыслители не удовлетворяли Толстого. К Ренану он относился отрицательно. В 1887 г. он писал Н. Н. Страхову[29]: «Могу объяснить ваше пристрастие к Ренану только тем, что вы были очень молоды, когда читали его... Новая у Ренана мысль это та, что если есть учение Христа, то был какой-нибудь человек, если есть золото, то был песок, и он старается найти, какой был

песок... Я прочел все и долго искал, спрашивал себя—«Ну, что же из этих исторических подробностей я узнал нового?» И вспомните и признайтесь, что ничего, ровно ничего». Однако, через четыре года в письме к тому же Н. Н. Страхову Толстой писал по поводу труда Ренана «L'Avenir de la science»: «Все блестит умом и тонкими, верными, глубокими замечаниями» (7 января 1891 г.). «Лучшими сочинениями» по истории церкви Толстой считал труды Пресансе, особенно его «L'Histoire du Dogme», который он использовал в статье «Царство божие внутри нас» (1891—1893). В работах над трактатом «Соединение, перевод и исследование 4-х евангелий» (1880—1882) Толстой пользовался трудами французского ученого Рейса.

В тот же период, именно в 1889 г., Толстой читает сочинения Сен-Симона. 25 апреля он записывает в дневнике: «Читал сен-симонизм, фурьеризм и общины. Думал: страшно подумать, как заброшен мир, как парализована в нем деятельность лучших представителей человечества организациями церкви, государства, педагогической науки, искусства, прессы, монастырей, общин... St. Simon говорит: что если бы уничтожить 3000 лучших ученых! Он думает, что все погибло бы. Я думаю, что нет. Важнее уничтожение, изъятие лучших нравственно людей».

Начиная с середины 80-х годов, Толстой принимает близкое участие в издательстве «Посредник», организованном по его инициативе с целью распространения «полезной и дешевой книги для народа». Для этого издательства, по выбору Толстого и под его редакторским наблюдением, были переведены и переработаны некоторые произведения (или их главы) из французских авторов. Из В. Гюго—«Праведный старец» и «Сирота в неволе» (переработка отдельных глав «Отверженных»); из Ж.-Ж. Руссо—«Исповедание веры савойского викария»; из Бальзака—«Скупой и его дочь» (изложение по роману «Эжени Гранде»); из Золя—«Жервеза» (переделка эпизода из романа «Западня»). Предполагалась переработка романа Ж. Санд «Чертова лужа» («„Mare au Diable“ взял Илюша [И. Л. Толстой],—писал Толстой В. Г. Черткову 16 января 1886 г.,—я буду поощрять его»); переработка эта, однако, не состоялась. Сам Толстой снова переработал главу из «Отверженных» Гюго—«Епископ Мириэль», изложил поэму из «Légende des siècles», того же автора, под заглавием «Бедные люди», «Суратскую кофейню» (из Бернардена де Сен-Пьера) и рассказ Saillens «Père Martin» под названием: «Где любовь, там и бог». Рассказ Saillens, впервые напечатанный в сборнике «Récits et allégories» и затем в русском переводе появившийся в журнале А. И. Пейкер «Русский Рабочий», был значительно переработан Толстым и напечатан в «Посреднике» без имени автора. В дальнейших перепечатках, по недосмотру, под рассказом была ошибочно дана подпись Толстого, что вызвало недоразумение и письменные обращения к Толстому Saillens[30]. Для «Посредника» Толстым были переработаны также два рассказа Мопассана: «Дорого стоит» (отрывок из «Sur l'eau») и «Франсуаза» («Le port»). С произведениями Мопассана Толстой тогда только что познакомился, и они произвели на него огромное впечатление. 18 октября 1890 г. он пишет В. Г. Черткову[31]: «Перевожу я вам в „Посредник“ ужасной силы и цинизма и глубоко нравственный рассказ Гюи Мопассана. На днях пришлю». В письме к Т. А. Кузминской (ноябрь—декабрь 1889 г.) Толстой пишет: «„Disciple“[32] очень скверно. Нагромождено всего куча и все это не нужно автору—ничего ему сказать не нужно. Прочти Fort comme la mort[33]. Это написано прекрасно и задушевно, оттого и тонко, но горе, что автору

кажется, что мир сотворен только для приятных адюльтеров». В 1894 г. Толстой пишет предисловие к сочинениям Мопассана и в процессе этой работы заново передумывает и производит переоценку своих впечатлений от этого автора. «Работаю над предисловием к Мопассану,—пишет он сыну Л. Л. Толстому 2 марта,—мне стал противен Мопассан своей нравственной грязью, и я бросил свое прежнее предисловие и начал писать новое, в котором хочется сказать то, что думаю об искусстве». Слухи о новой работе Толстого быстро распространились в публике, и в том же 1894 г. к нему обратилась переводчица Н. Д. Фомина с просьбой «написать несколько слов» в качестве предисловия к переводимому ею роману Марселя Прево «Полудевы» («Les demi-vierges»). В неопубликованном письме к ней от 11 июля Толстой пишет: «Очень сожалею, что то, что я имею сказать о присланном вами мне романе Les demi-vierges Marcel Prevost не может служить ему предисловием. В романе этом автор притворяется, что он сочувствует нравственному и хочет обличить безнравственное, но как нельзя утаить в мешке шила, так нельзя в художественном произведении




ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ЖЮЛЯ КЛАРЕТИ С ЕГО НАДПИСЬЮ И ПОМЕТОЙ ТОЛСТОГО
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

скрыть того, что составляет предмет любви автора, а в этом романе видно, что автор любит только самое гадкое, безнравственное, и потому роман этот не только не может принести никому никакой пользы, но может быть только вреден, как всякое порнографическое сочинение. Советую вам бросить этот перевод».

Предисловие к сочинениям Мопассана потянуло Толстого к специальному изучению проблемы искусства, в результате которого через четыре года, в 1898 г., появился его трактат «Что такое искусство?». Французскими источниками для этого труда послужили работы по эстетике старых авторов: Бате, Дидро, Даламбера, отчасти Вольтера; новых: Тэна, Ренана, Шербюлье, Равессона, Левека, Кузена, Жуффруа, Гюйо и новейших: Фьерен-Жевара, Сар-Пеладана, Верона. Только этот последний автор вызывает положительный отзыв Толстого, как представляющий «исключение по своей ясности и разумности», а его исследование («L'esthétique») Толстой называет «очень хорошей книгой». В своем трактате Толстой, как известно, подвергает суровой критике новейшую французскую поэзию

(во главе с Бодлером, Верленом, Малларме, Метерлинком и Ростаном) и беллетристику (во главе с Золя и Бурже). В числе крайне немногочисленных образцов «высшего, мирового» искусства он называет «Misérables» и «Les Pauvres» Гюго; ко второй категории «всенародных, житейских» произведений искусства причисляет комедии Мольера, некоторые вещи Мопассана и «даже романы Дюма».

Среди многочисленных публицистических статей Толстого, характеризующих его деятельность 90-х и 900-х годов, следует отметить несколько, творчески и текстуально связанных с событиями французской жизни. В статье «Неделание» (1893) Толстой приводит полностью известную речь Э. Золя, обращенную к парижским студентам, и горячо полемизирует с ним по вопросу о моральных идеалах для юношества. В противовес взглядам Золя, выраженным в этой речи, Толстой приводит также письмо другого французского романиста Дюма-сына редактору журнала «Gaulois» по поводу той же речи.

В связи с работой над статьей «Неделание» Толстой писал Л. Л. и М. Л. Толстым 10 июня 1893 г.: «Теперь пишу о двух статьях Зола и Дюма, к[оторые] мне прислал редактор „Revue des Revues". Очень интересные письма о духе времени и о том, чем это кончится и что делать. Dumas говорит: „я думаю, что теперь наступает время, когда мы серьезно примемся исполнять слова: Любите друг друга, не разбирая того, кто сказал их, бог или человек". В этом одном он видит выход из тех противоречий, в которых мы запутались. А Зола напротив очень глупое». В письме к Л. Л. Толстому от 23 июня того же года Толстой снова писал: «Ничего не кончил, кроме маленькой статьи по случаю двух противуположных и очень характерных писем Зола и Дюма, которые мне прислал редактор „Revue des Revues". Я в статье подчеркиваю глупость речи Зола и провиденье Дюма и высказываю слегка свои мысли и о науке и о том, что только усвоение людьми христианского мировоззрения спасает человечество, т. е. намеки на то, что я говорю в большой статье[34]. Я послал эту статью Villot для журнала J. Simon „Revue de famille"». Одновременно с работой над статьей «Неделание» Толстой занимается лично ее переводом на французский язык, и этот авторский перевод постепенно, под влиянием увлечения Толстого, все дальше отходит от русского текста статьи и превращается в особую статью под заглавием: «Du mouvement des idées dans les écoles en France». Основные мысли письма Дюма (о «безумии, бешенстве любви», которое охватывает и должно охватить людей в их отношениях друг к другу) Толстой находил близкими своему миросозерцанию. Выдержки из этого письма он приводит в другой своей статье, «О значении русской революции» (1906), и включает его полностью в сборник «Круг чтения».

В статье «Христианство и патриотизм» Толстой приводит беседу на тему о войне, и, в частности, о войне с Германией, гостя-француза с яснополянскими крестьянами на покосе («Один французский агитатор в пользу войны с Германией» и т. д.). Под «французским агитатором» Толстой подразумевает Поля Деруледа, посетившего Ясную Поляну летом 1886 г. и о котором Толстой писал В. Г. Черткову 17—18 июля: «Вчера у меня провел день французский писатель Deroulède и очень меня заинтересовал. Представьте себе, что это человек, посвятивший свою жизнь возбуждению французов к войне, revanche против немцев. Он глава воинственной лиги и только и бредит о войне. И я его полюбил. И мне он кажется близким по духу человеком, который не виноват в том, что он жил и живет среди

людей язычников». В статье «Офицерская памятка» (1901 г.) Толстой пересказывает нашумевшее во французской прессе дело об истязаниях солдат в дисциплинарных батальонах на острове Oléron, в шести часах езды от Парижа. В дневнике этого года под датой 8 апреля имеется запись: «Вчера читал и смотрел картины мучений во французских дисциплинарных батальонах и разрыдался от жалости»[35].

Одновременно с публицистической деятельностью Толстой в рассматриваемый период создает и художественные произведения; из них наиболее крупные — роман «Воскресение» (1889—1900) и повесть «Хаджи Мурат» (1896—1904). На основании целого ряда твердых данных нам удалось установить, что при работе над романом «Воскресение» Толстой пользовался одним специальным источником. В первый период работ над романом Толстой, в письме от 2 мая 1896 г., пишет В. В. Стасову, обыкновенно снабжавшему его нужными для работ материалами: «Parent du Châtelet у меня есть, а если еще что вам попадет под руку в этом роде, то пришлите». Это письмо было написано в ответ на предложение В. В. Стасова прислать книгу, чрезвычайно полезную, по его мнению, для темы нового романа Толстого: Parent du Châtelet «De la Prostitution dans la ville de Paris considerée sous les rapports de la hygiène publique, de la morale et de l'administration» (Paris, 1836). В этом двухтомном труде Parent du Châtelet с мельчайшими подробностями, с обильными статистическими данными излагает положение проституции во Франции и, в частности, в Париже, с указанием ближайших причин ее развития; наряду с этим он изображает порядки и нравы публичных домов, закулисный быт проституток, их взаимоотношения, изменения, производимые ремеслом в их психологии и физиологии, и пр.; последние главы труда посвящены проблеме административных реформ в данной области. Материалы для своего труда автор собирал не только в Париже, но и в различных крупных европейских городах (в том числе и в Петербурге), пользуясь, главным образом, полицейскими данными, опросом самих проституток по тюрьмам и больницам, сообщениями врачей, сиделок и тюремных надзирателей. Из ответа Толстого В. В. Стасову видно, что он знал книгу Parent du Châtelet, интересовался и пользовался ею. И, действительно, сравнительный анализ труда du Châtelet и романа Толстого устанавливает известную между ними связь. Так, французский автор, рассматривая причины проституции, говорит: «Тщеславие и желание блистать в роскошных платьях, в соединении с леностью, является одной из главнейших причин проституции» (ch. I, p. 91). Несколько далее, касаясь вопроса, почему проститутки идут в дома терпимости, где хозяйки их заведомо эксплоатируют, автор отвечает, что их соблазняет «великолепие платьев, которые им дают там и стоимость которых доходит иногда до пяти и шести сот франков» (ch. VII, p. 456). В романе Толстого читаем, что Катюшу Маслову «соблазняло и было одной из причин окончательного решения то, что сыщица сказала ей, что платья она может заказывать себе какие только пожелает,—бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в ярко желтом шелковом платье с черной бархатной отделкой-декольте, она не могла устоять и отдала паспорт» (часть I, гл. II). Французский автор, изображая категорию проституток, прибывающих из провинции, соблазненных там «чиновниками или офицерами» и поступающих в дома терпимости в Париже, отмечает их безумную боязнь встретиться здесь со своими земля-

ками; он рассказывает об одной девушке, которая при такой неожиданной встрече чуть не сошла с ума от страха (ch. II, p. 101). При первом свидании Масловой с Нехлюдовым, как только Катюша узнала его, она с испугом кричит, не отвечая на его просьбы о прощении: «Как это вы нашли меня?». «Профессиональный» страх на минуту заглушил в ней все другие эмоции. В специальной главе, посвященной культурному уровню проституток, Parent du Châtelet говорит, что в большинстве случаев они неграмотны или симулируют безграмотность; даже наиболее интеллигентные из них как бы с трудом подписывают свою фамилию нарочито дрожащими и неуверенными почерками (ch. II, p. 78). Маслова, отвечая на вопрос смотрителя (в присутствии Нехлюдова), грамотна ли она, говорит: «когда-то знала» и затем, подписывая свою фамилию на прошении, «неловко» берет перо, спрашивает, где писать, «старательно» макает и отряхивает перо, вообще держится, как малограмотная. Эта сцена представляется странной, если принять во внимание, что Катюша была воспитанницей теток Нехлюдова, исполняла у них роль лектрисы, сама читала Тургенева и Достоевского, бегло знала по-французски; следовательно, в описанной сцене Толстой снова дает профессиональную черточку «симуляции безграмотности», подмеченную французским специалистом. Касаясь вопроса о взаимоотношении проституток с их хозяйками, Parent du Châtelet рассказывает, что эти последние, эксплоатируя своих девушек, в то же время, во избежание скандалов и дебоширств, заискивают перед ними, посещают их в тюрьмах и больницах и «беспрерывно возбуждают тщеславие в этих несчастных» преувеличенными похвалами их достоинств и успехов среди гостей (ch. VII, p. 480). Содержательница публичного дома, в котором находилась Катюша, Китаева, давая свои показания на суде, заявляет, что она самого хорошего мнения о Масловой («девушка образованный и шикарна») и, рассказывая случай с купцом, который получил к Катюше «предилекцию», обменивается улыбкой с подсудимой. Вся фигура Китаевой, содержание и стиль ее показаний, несомненно, подсказаны соответствующими главами труда du Châtelet, в котором, между прочим, приводятся подлинные прошения такого рода дам полицейскому префекту на предмет разрешения публичных домов. Давая характеристику психологии проституток, Parent du Châtelet говорит: «На людях, на улице и в публичных домах, особенно перед мужчинами, они держатся так, как будто их ремесло ничуть не позорно, даже почти почтенно», в условиях иных «они горько и болезненно чувствуют свое униженное положение» (ch. II, p. 103). Эта характеристика вполне соответствует душевному состоянию Катюши Масловой. Во втором томе своего труда Parent du Châtelet сообщает, что опрошенные им тюремные надзиратели свидетельствуют: «Праздность наиболее пагубна для заключенных проституток—они беспрерывно дерутся и поднимают такой шум, который оглушает соседей» (ch. XVIII, p. 267). Переведенные из тюрьмы на какую-либо работу, например, в больницу, они совершенно преображаются, и этим фактом автор оперирует, как аргументом, для проведения известных административных реформ. Маслова, переведенная, благодаря хлопотам Нехлюдова, на работу в больницу, также резко изменяется к лучшему, независимо даже от развития ее романа с Нехлюдовым.

Вышеприведенные и ряд других фактов позволяют установить, что в истории проститутки Масловой автор «Воскресения» в известной степени использовал специальный труд Parent du Châtelet.

Французским источником повести «Хаджи Мурат» послужил многотом-

ПОСТАНОВКА „ВОСКРЕСЕНИЯ“ НА СЦЕНЕ ПАРИЖСКОГО ТЕАТРА ОДЕОН, 1902 г.
Актриса Берта Бади в роли Катюши Масловой
С репродукции из журнала „Le Théâtre“, декабрь 1902 г.
Толстовский музей, Москва

ный труд Paul Lacroix «Histoire de la vie et du règne de Nicolas I» (1864—1874). В яснополянской библиотеке имеются три первых тома этого труда; первый том имеет многочисленные отметки Толстого. Данные этого исследования Толстой использовал в XV главе повести, в изображении Николая I и его ближайшего окружения, главе, более чем на три четверти урезанной царской цензурой. Упоминание здесь, среди приглашенных к «высочайшему» столу, имени графа Ржевусского прямо подводит текст повести к французскому источнику, автор которого Paul Lacroix приходился родным братом поэту и переводчику Jules Lacroix, женатому на известной Каролине Собанской, урожденной графине Ржевусской, брат которой гр. Адам Ржевусский был русским генералом и любимцем Николая I. Из этих русско-польских источников французский исследователь черпал, по преимуществу, материал, подчас чрезвычайно интимный, для своего изображения петербургских придворных сфер.

В последние годы жизни Толстой снова усиленно занимается старинными французскими моралистами для составления сборников «Круга чтения» и «На каждый день». Имеющиеся в яснополянской библиотеке сочинения Паскаля, Монтеня, Амиэля, Ламене, Ла-Боэти, Лабрюйера сплошь испещрены рабочими пометками Толстого. В сборнике «Круг чтения» из 60 небольших рассказов и статей, данных в качестве «недельного чтения», 14 отрывков принадлежат французским авторам (Гюго, Руссо, Дюма, Мопассану, Франсу, Ламене, Ла-Боэти). В тот же отдел сборника Толстой включил написанные им биографии Паскаля и Ламене. Для «Детского круга чтения» Толстой излагал некоторые главы «Misérables» Гюго. «Cosette из Misérables как хороша! Представляю себе, как будет нравиться детям!»— записывает слова Толстого Маковицкий 7 апреля 1907 г. Толстой перечитывает и снова восхищается Гюго: «Виктор Гюго—это серьезная сила, такой же Герцен... У них есть известная духовная энергия, особые требования, которые драгоценны» (запись Маковицкого 20 февраля 1909 г.).

«Л. Н. сказал, что у него такое чувство, что Гюго еще жив. Всегда его любил. У него есть фраза и пафос, которые отталкивают, а вместе с тем есть и простота. У него есть поэзия безумия, но это безумие другое, чем декадентское» (там же, запись 15 августа 1909 г.). Однако, к стихам Гюго Толстой относится уже без всякого энтузиазма: «Ох, не люблю я стихов. Вот Виктор Гюго, до чего его люблю, прозу всякую строку смакую. Дошел до стихов—не мог читать. Сейчас виден умысел, ненатурально» (там же, запись 25 февраля 1909 г.). Но такие произведения Гюго, как «Последний день приговоренного к казни» («Все это сильно, все это comme c'est chanté...* Все это знают. Написано в 1830 г. И все продолжаются казни»), епископ Мириэль из «Отверженных» («Это такая история,—она меня за душу хватает, я ее не могу читать»), «Un athée» из «Post-scriptum de ma vie» трогали Толстого до слез. Н. Н. Гусев в своих воспоминаниях «Два года с Л. Н. Толстым» рассказывает о первом обмороке, случившемся с Толстым 2 марта 1908 г.: «Перед этим диктовал свой перевод рассказа В. Гюго «Un athée». Заплакал при последних строчках. Прошелся по комнате—и упал на спину»[36].

В 1909 и в 1910 гг. Толстой также перечитывает Мопассана с «новым интересом», и в связи с этим чтением у него возникает вновь желание писать «художественное изображение всей пошлости жизни богатых и чиновничьих классов и крестьянских рабочих, а среди тех и других хоть по одному духовно живому человеку» (дневник, 2 октября 1910 г.). Чтение Золя попрежнему оставляет его холодным. «Зола не выше Додэ. Ни у того, ни у другого я не признавал таланта. Зола—Горький,—Горький французский с хорошим французским языком» (запись Маковицкого 13 ноября 1907 г.). В те же годы Толстой внимательно читает и современных французских авторов, из которых наиболее сильное впечатление на него произвел А. Франс. «Анатоль Франс—единственный из теперешних французских писателей, которых я нахожу возможным читать» (запись Маковицкого 6 декабря 1907 г.). В письме к С. Н. Толстому от 13 июля 1903 г. Толстой пишет: «Посылаю тебе книгу Anatole France «Histoire comique», которая противна своей грязью, но очень не только остроумна, но и умна. Я не согласен совсем с взглядами автора, выраженными доктором, но рассуждения доктора вызывают на мысли и очень умны». По поводу «Иокасты» Толстой сказал: «Первая глава остроумна, это так бодро, весело. Только французы могут так писать художественно» (запись Маковицкого 28 сентября 1908 г.). В связи с разговором о публике, предписывающей автору, как и о чем писать, Толстой сказал: «Я предписал бы Анатолю Франсу писать мелкие рассказы» (там же, запись 18 марта 1909 г.). В сборник «Круг чтения» Толстой включил некоторые мысли А. Франса и в отдел «недельного чтения» его рассказ «Crainquebille» под заголовком «Уличный торговец». По поводу романа E. Estaunié «La vie secrète» Толстой сказал: «В романе, который читаю, везде одно и то же—сознание французских рабочих—они, правда, преувеличивают—что они эксплоатируемы и что богатые живут их трудом. И это роды—рождаются новые формы жизни» (запись Маковицкого 11 марта 1909 г.). Драма П. Бурже «Barricade» «заинтересовала» Толстого[37]. «La vie de Michel Ange» Р. Роллана, присланная автором, не понравилась Толстому, но предисловие к книге он нашел написанным «виртуозно» (запись Маковицкого 22 августа 1906 г.). Книжка рассказов Милля «La biche écrasée» вызвала его восхищение, в особенности

* Будто пропето.

один из рассказов—«Repos hebdomadaire», о котором Толстой сказал: «лучший рассказ во всей книжке—игрушечка». Об этом рассказе Толстой записывает в дневнике «Милый рассказ Mille, Repos hebdomadaire».

Наряду с художественной литературой, Толстой в эти годы читает и научные труды французских авторов: Тэна—«Les origines de la France contemporaine» («Читаю Тэна. Очень мне кстати»,—записывает он в дневнике 19 августа 1905 г.); Токвиля—«L'ancien régime et la révolution». В связи с чтением последней книги, Толстой записывает в дневнике 29 июня 1905 г.: «Toqueville говорит, что большая революция произошла именно во Франции, а не в другом месте именно потому, что везде положение народа было хуже, задавленнее, чем во Франции. En détruisant une partie des institutions du moyen âge on avait rendu cent fois plus odieux ce qui en restait*. Это верно. И по этой же причине новая, следующая революция—освобождение земли—должна произойти в России, так как везде положение народа по отношению к земле хуже, чем в России». В то же время Толстой с большим интересом читает мемуарную литературу: «Мемуары» Мирабо со статьей о нем В. Гюго, «Мемуары» Сен-Симона, по поводу которых заметил: «Всегда мемуары очень интересны. Как после этого читать рассказы?» (запись Маковицкого 24 октября 1906 г.). Большое впечатление произвела на него история деятеля великой революции Жильберта Ромма, члена Конвента, примыкавшего к крайней левой его группировке, покончившего с собой вместе с пятью товарищами перед гильотинированием в 1795 г., после падения Робеспьера. Историю Ж. Ромма Толстой читал в русской книге Н. М. Романова «Граф П. А. Строганов» (Ж. Ромм в молодые годы был воспитателем Строганова). «Читал Строганова о Ромме,—ошибочно записал Толстой в дневнике 31 декабря 1905 г., — был поражен его геройством в соединении с его слабой, жалкой фигуркой... Я думаю, что это чаще всего бывает так. Силачи чувственные, как Орловы, бывают трусы, а эти напротив».

В последний год своей жизни, в 1910 г., Толстой с особенным интересом читает присланную ему И. И. Мечниковым книгу Эдуарда Фоа «La Traversée de l'Afrique, du Zambèse au Congo Français» и «Religions des Peuples noncivilisés» Ревиля. О последней книге он записывает в дневнике 18 мая: «Все читал Réville и много интересного. Réville очень наивный писатель—считает верх непросвещения людей, когда они живут, не признавая ни государства, ни собственности. На много мыслей наводит меня это чтение».

До конца жизни Толстой интересовался французской литературой и научной мыслью, следя за ее развитием по книгам и многочисленным журналам и газетам, высылавшимся ему в Ясную Поляну (журнал «Revue des Deux Mondes» он сам выписывал в течение многих лет), а также по обширной своей переписке с французами и путем бесед с многочисленными посетителями Ясной Поляны, приезжавшими из Франции. Покинув Ясную Поляну 28 октября 1910 г., Толстой в письме от того же числа из Оптиной пустыни просил дочь А. Л. Толстую, прислать ему несколько книг, из них—сочинения Монтеня и повесть Мопассана «Une vie». Эти книги были доставлены ему на станцию Астапово, когда он воспользоваться ими уже не мог. Последняя запись, сделанная его рукой в дневнике, обрывается любимой его французской поговоркой: «Fais ce que doit, advienne que pourra»**[38].

* Уничтожение части средневековых установлений сделало их остатки в сто раз более гнусными.

** Делай, что должно, и пусть будет, что будет.

В обширной яснополянской библиотеке Толстого около тысячи названий принадлежит французским авторам. Здесь и французские классики и представители новейшей литературы, беллетристика, история, мемуары. Некоторые книги имеют многочисленные отметки Толстого, другие лишь наполовину им разрезаны. Из общего числа французских книг, хранящихся в яснополянской библиотеке, 120 присланы Толстому авторами с собственноручными надписями. Среди этих авторов—Р. Роллан, О. Мирбо, П. и В. Маргерит, М. Прево, Ш. Жид, П. Дерулед, Ж. Фабр, Г. Дювернуа, Фьерен-Жевар, П. Милль, Ш. Морис, Ж. Грав, Ж. Легра, П. Луазон, М. Потшер, Ш. Рише, Э. Род, А. Франс, Л. Рони, Э. Руар, Т. Кан, Л. Форе и др. От Р. Роллана имеются две книги—«Jean Christophe» с надписью: «Льву Толстому, давшему нам пример высказывания правды во что бы то ни стало всем и самим себе, в знак искреннего уважения. Ромен Роллан, 6 апреля 1908», и «Le temps viendra», с надписью: «Льву Толстому, в знак искреннего уважения и глубокой признательности. Р. Р. Март 1903». От П. Деруледа—«La moavité», drame, с надписью: «Мыслителю, философу, романисту, великому русскому писателю Льву Толстому, в знак глубокого и почтительного восхищения. Поль Дерулед, Тула, июль 1886 г.». От Октава Мирбо—«L'abbé Jules» («Графу Льву Толстому в знак моего глубокого восхищения. Октав Мирбо») и «Les affaires sont les affaires» («Льву Толстому, величию души которого я обязан тем, чем немного стал. О. М.»). От М. Прево—«Le jardin secret» («Льву Толстому в знак уважения от автора. Марсель Прево»). От Поля и Виктора Маргерит—«Le Désastre» («Льву Толстому в знак уважения от его почитателей. Поль и Виктор Маргерит»). От Ш. Жид—«L'avenir de la Coopération» («Льву Толстому в знак уважения от одного из его читателей. Шарль Жид»). От М. Потшера—«Le Théatre du Peuple, Renaissance et Destinée du Théatre Populaire» («Подношение графу Льву Толстому, как очевидный знак сыновнего уважения»). От Ж. Грава—«Les aventures de Nono» («Льву Толстому с сердечной симпатией. Ж. Грав») и «L'Individu et la Societé» («Л. Толстому от почитателя его таланта и его любви к эксплуатируемым. Ж. Грав»). От Ш. Рише—«Pour les grands et les petits, fables» («Знаменитому и высокочтимому графу Л. Толстому. Шарль Рише»). От П. Луазона—«L'Investiture de Tolstoï» («Толстому с выражением признательности за то благо, которое он мне сделал, утверждая во мне серьезное и трагическое понимание жизни. Поль-Гиацинт Луазон»). От Т. Кана и Л. Форе—«Vers la Paix» («Толстому, столь сострадательному к людям и столь грозному для завоевателей, с уважением посвящаем этот роман о Мире. Луи Форе, Кан»). От А. Сегара—«Le Mirage Perpétuel» («Льву Толстому, патриарху европейской литературы и мысли, от его почитателя. Ахилл Сегар. 1907»). От Э. Руара—«Le victime» («Графу Толстому, чьи произведения взволновали человечество, в знак благоговения от француза. Эжен Руар»).

Помимо надписей на книгах, многие авторы сопровождали присылку своих произведений особыми письмами, в которых более подробно высказывали свое отношение к Толстому.

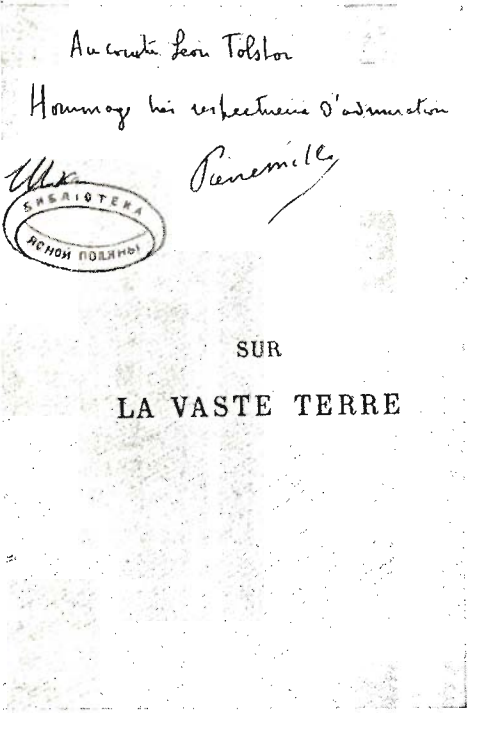
Переписка Толстого с французами весьма обширна; подлинников писем французских корреспондентов (на французском языке) к Толстому хранится в Библиотеке имени Ленина в Москве—435 и в Толстовском музее—69, всего 504 письма. Эту коллекцию нельзя, однако, считать полной, так как несомненно, что многие письма до настоящего времени не сохранились. Значительное количество французских писем осталось без ответа

со стороны Толстого, на многие из них отвечали члены семьи и секретари по его поручению, высказанному иногда устно, иногда в виде особых помет на конверте письма, сделанных Толстым собственноручно. Писем самого Толстого французским адресатам насчитывается до 170. Первое из сохранившихся писем относится к 10 августа 1857 г., последнее—к 24 октября 1910 г. Из года в год количество писем к Толстому из Франции возрастает и достигает наибольшего числа в начале 900-х годов.

По своему содержанию письма французов чрезвычайно разнообразны. Они могут быть подразделены на несколько категорий: 1) письма идеологического порядка по вопросам науки, искусства, политики, морали; 2) письма с запросами от организаций и частных лиц по поводу тех или иных событий общественной жизни (часто с анкетами); 3) письма деловые; 4) письма, сопровождавшие посылку книг, брошюр и рукописей; 5) письма частного характера (поздравительные, хвалебные, биографические); 6) письма просительные.

К первой и основной по своей идеологической значимости группе писем относятся, прежде всего, шесть писем Ромен Роллана. Первое письмо датировано 16 апреля 1887 г.:

«Граф, я не посмел бы писать вам, если бы имел в виду только выразить мое восхищение вашими творениями; мне кажется, я слишком хорошо знаю вас по вашим романам, чтобы обратиться к вам с пошлыми похвалами, которые ваш великий ум презирает и которые были бы почти дерзостью со стороны ребенка, каким я еще являюсь. Но я движим жгучим желанием знать—знать, как жить, и только от вас я могу ждать ответа, ибо только вы поставили вопросы, которые преследуют меня. Я измучен мыслью о смерти, которую нахожу почти на каждой странице ваших романов; я не мог бы сказать вам, насколько ваш




ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ПЬЕРА МИЛЛЯ НА КНИГЕ „SUR LA VASTE TERRE", ПРИСЛАННОЙ Л. Н. ТОЛСТОМУ

Библиотека Толстого в Ясной Поляне

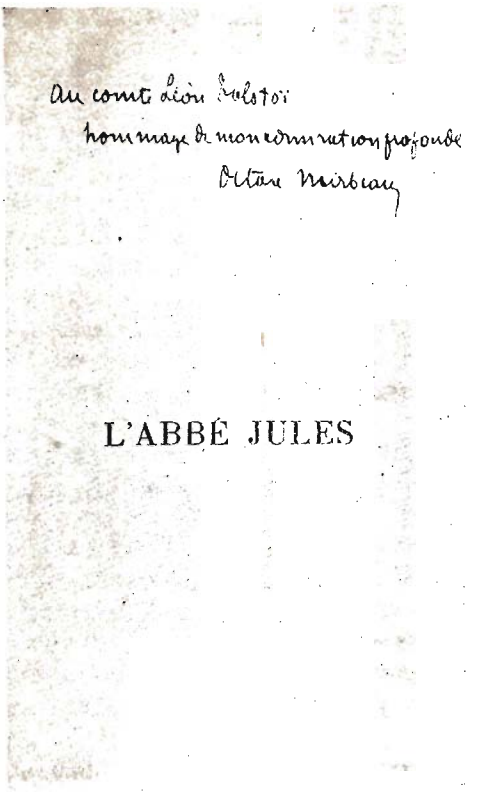
Иван Ильич совершил переворот в моих самых заветных мыслях». Далее Р. Роллан пишет о том, что он разделяет взгляды Толстого о возможности победы над смертью путем отказа от собственной личности и растворения ее в общечеловеческой жизни; однако, дальше начинаются расхождение и сомнения со стороны французского писателя. «Я хочу поставить вам вопрос, который наиболее волнует меня: почему вы осуждаете искусство? Отчего бы вам, напротив, не воспользоваться им, как самым совершенным средством, которое позволит вам осуществить ваше отречение? Я прочел только что со страстным увлечением ваше новое произведение „Так что же нам делать?". Разрешение вопроса об искусстве в нем отложено до другого раза. Вы говорите, что вы осуждаете искусство, но вы не сообщаете мотивов вашего приговора...». «Я понял, что если вы осуждаете искусство, то потому, что видите в нем эгоистическую потребность утонченных наслаждений, способную только бесконечно увеличить ощущения нашего „я", повышая до крайности нашу чувственность. Увы! я хорошо знаю, что в этом действительно, даже для большинства художников, предмет искусства: аристократический сенсуализм, сенсуализм людей, органы чувств которых приобрели исключительную утонченность. Но нет ли в этом и другого, того другого, которое для многих есть Все! Это именно забвенье своей личности, смерть индивида, растворенного в ощущении, которое он под конец перестает даже чувствовать, когда оно достигает бесконечной сложности, до которой дошла, например, музыка... О, скажите мне, если вы думаете, что я неправ, и почему. Ни в одном из известных мне ваших романов я не нашел ответа на этот вопрос. Я влюблен в искусство потому, что оно разрывает мою жалкую маленькую личность, что в нем я перестаю существовать, что эти бесконечные гармонии звуков и красок растворяют мысль и отменяют смерть. И если я буду работать—работать на земле,—я все же не перестану мыслить... Не думаете ли вы, что искусство призвано осуществлять огромную роль даже в вашем учении для народов, которые умирают от сложности своих чувств и от излишеств своей цивилизации? Простите мне это длинное письмо. Зная вашу доброту, я уверен, что оно не утрудит вас и что вы соблаговолите рассеять сомнения молодого француза, который восхищается вами и глубоко вас любит. Ромен Роллан, ученик Высшей нормальной школы»[39].

На конверте письма помета рукой С. А. Толстой: «Это письмо прелесть». Толстой, занятый в то время работой над трактатом «О жизни», не сразу ответил на него. Отсутствие ответа со стороны Толстого вызвало второе письмо к нему Р. Роллана в сентябре того же года:

«Monsieur, я уже имел смелость писать вам в Москву; дошло ли до вас то письмо мое? Надеюсь, что это письмо будет счастливее. Я не могу относиться к жизни с равнодушной усмешкой, как мои соотечественники. Их научные исследования, позитивные труды, поглощающие их, кажутся мне праздными, способными, в лучшем случае, лишь отдалить час размышлений о том, что неизбежным и роковым образом встанет перед нами в момент смерти. Я не могу отказаться от познания нравственной основы вещей; это значило бы отказаться от самой жизни. И меня поражает, что столько людей среди народа живут и умирают, тем не менее, счастливыми, потому что обладают смиренной верою и простодушной любовью. Я думаю, что лучше было бы и нам вернуться к состоянию простых людей, разделить их верования, сделаться такими же, как они. Я думаю, что мы являемся бесконечно малыми частицами великой мировой души и что

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ОКТАВА МИРБО НА КНИГЕ „L'ABBÉ JULES", ПРИСЛАННОЙ Л. Н. ТОЛСТОМУ

Библиотека Толстого в Ясной Поляне




Благо состоит в том, чтобы жертвовать собой для других. Но как? Я долго надеялся, что Искусство спасет меня, уничтожая постепенно мое я и приводя меня через наслаждение к жертве. Но, в конечном итоге, я вновь и вновь нахожу себя и в художественном экстазе; это все тот же, только более разумный, эгоизм; утончая свои чувствования, я расширяю свое существование, которое признал дурным. Значит, надо достигать этого трудом, отрешенным от мысли. Но каким именно? Должен ли это быть труд физический, и какой именно вид физического труда? И, наконец, скажите мне, умоляю вас, действительно ли, по всей правде, с тех пор, как вы обрели истину, вы всегда счастливы ею, не шевелятся ли в вас тотчас же подавляемые протесты против того существования без мысли, которое вы хотите для себя и для других. Словом, действительно ли так легко подавить в себе мысль своею волей и путем одного только труда? Ответьте мне, прошу вас; я так нуждаюсь в совете! У меня нет никакого нравственного руководителя. Кругом—только равнодушные, скептики, дилетанты, эгоисты. Полагаете ли вы, что если бы мне удалось всем сердцем отдаться тому труду, который вы проповедуете, то это совершенно освободило бы меня от отчаяния и сомнений и что у меня не было бы больше ни тревоги, ни воспоминаний, ни сожалений о прошедшей жизни; что я смог бы сразу уничтожить все то, чем я был с самого детства? Ответьте мне главное: предназначается ли ваше доброе слово только для русского народа или же для всех нас, французов, для всех страдающих и отчаивающихся? Один из ваших скромных и горячих последователей Ромен Роллан».

Толстой ответил на оба письма, глубоко его тронувших, большим письмом 3 октября 1887 г., которое затем, в несколько переработанном виде, неоднократно печаталось в форме статьи под заглавием «О ручном труде» [39].

Третье письмо относится к январю 1897 г. Сопровождая посылку Толстому оттисков своей драмы «Saint Louis», Ромен Роллан писал:

«Дорогой и великий дальний друг, чей пример и чьи сильные слова так часто сообщали мне мужество для жизни, вы не вспоминаете, вероятно, что десять лет тому назад (я был тогда еще почти ребенком) я обратился к вам в состоянии жестокого нравственного кризиса, и вы мне ответили с нежной добротой. Вы, вероятно, не раз поддерживали юные сомневающиеся души и оказывали им добро, но мне всего раз пришлось (в тот день, когда я вас встретил) найти в этой огромной Европе, в этой толпе ученых, художников и мыслителей, душу, которая удостоила вниманием страдания безвестного ребенка, чтобы облегчить их... Когда я обратился к вам за советом, я был озабочен антагонизмом, который вы, казалось, устанавливали между искусством и добром. Искусство было моей жизнью, моей религией; я был обязан ему моими самыми чистыми и самыми невинными радостями, и я черпал в нем мои лучшие силы для борьбы со злом. Могло ли быть, чтобы оно было противоположно любви к ближним, преданности им? Я спросил вас об этом, и вы ответили мне, что вы сражаетесь не с искусством, но с художниками наших дней; вы не запрещали тем, у кого в сердце звучала музыка, чтобы она продолжала петь; но вы не хотели, чтобы они превращали это в ремесло и торговлю...».

Четвертое письмо Р. Роллана, написанное через три с половиной года после предыдущего и датированное 21 июля 1901 г., было вызвано тяжелой болезнью Толстого в Гаспре.

«Дорогой друг, такой далекий и такой близкий нам, я постоянно думал о вас в течение последних дней. Не могу выразить того отчаяния, которое вызвала во мне ваша болезнь, и утешения, которое мне принесло известие о том, что вы чувствуете себя лучше. Без сомнения, вы не помните меня. Когда-то я вам написал и получил от вас очень доброе письмо, которое имело большое влияние на мою интеллектуальную и моральную жизнь. И если я не продолжал переписки с вами, то только из боязни отнимать у вас бесполезно часть вашего времени и плодотворной деятельности, как это делают многие праздные люди. Но я никогда не переставал жить мысленно с вами и проверять свою совесть по вашей. Оставайтесь еще долгое время с нами. Никогда еще ваш разум, ваша правда, ваша независимость и крепкое умственное здоровье не были более необходимы, чем в настоящий момент, когда вся Европа представляется потерявшей чувство правды, справедливости и здравого смысла, словно охваченной какой-то заразой безумия, ибо я все еще считаю ее более больной, чем порочной. Живите еще долгое время, дорогой друг, к чести человеческого рода. Действительно, если бы не было душ, подобных вашей, то в настоящий момент можно было бы прийти в отчаяние от мира, который, удаляясь от истинного прогресса, повидимому, возвращается вспять под именем цивилизации. Верьте моему глубокому чувству. Верьте, что в той самой Франции, к которой, быть может, вы питаете мало симпатии, так как именно в ней и больше всего в ней видите элементы суетности и псевдо-интеллектуальности, есть души, которые любят вас в тишине, которые вдумываются в ваши слова и находят в них поддержку, так же как и в собственном соз-

нании, которые по-своему борются за дело человеческого разума, который является также и человеческим счастьем. Ромен Роллан».

В следующем письме, написанном через месяц после предыдущего (23 августа 1901 г.), Р. Роллан запрашивает Толстого о русских сектантах-духоборах, о которых он прочитал в последних статьях Толстого, переведенных на французский язык. Оба эти письма остались без ответа, вследствие все еще продолжавшейся тогда болезни Толстого.

Наконец, к 27 августа 1906 г. относится последнее, шестое письмо Р. Роллана Толстому, написанное при посылке «Vie de Michel Ange»:

«Я только что с волнением прочитал два тома воспоминаний, опубликованных с вашего разрешения и с вашими примечаниями г. Бирюковым. Из них я увидел, сколько пришлось вам бороться для того, чтобы сделаться тем, чем вы стали теперь, и полюбил вас за это еще больше.

Знаете ли вы жизнь—истинную жизнь Микель Анджело? Я говорю: истинную жизнь потому, что почти никто не имеет ни желания, ни смелости ее узнать. Современники Микель Анджело и впоследствии большинство его биографов желали видеть в нем только какого-то торжествующего полубога. Бедный полубог! Человек, весь охваченный и снедаемый мучительным чувством своей моральной слабости, своего скрытого позора. Он был великим человеком и знал это. Но каким жалким казалось это величие ему, который мог и смел изведать его до последней глубины!

Позволяю себе послать вам два маленьких тома, которые я только что написал об этой жизни, столь могущественной и несчастной, на основании писем и произведений самого Микель Анджело. Если у вас будет когда-нибудь немного времени, чтобы ее прочитать, вы, я уверен, найдете в ней много родственных черт. Прошу вас верить моему глубокому чувству. Р. Роллан».

Интересно письмо E. Le Provost—профессора музыки из Аржантейля. Он пишет Толстому 26 сентября 1903 г.:

«У меня есть книга, купленная мною около 1892 г. в Нью-Йорке у букиниста, и эта книга для меня—шедевр; смею надеяться, что вы о ней того же мнения, если ее знаете». Он дает полный титул книги: «„Что делать?“ Николая Чернышевского, пер. с русского на английский язык Nathan Haskell Dole et S. Skidolsky, Нью-Йорк, 1888» и продолжает: «Эта книга—проявление силы и величия души, смелый опыт, в котором гармонически соединилось чувство и истинное искусство. Не могу выразить вам того восхищения, которое эта книга вызывает во мне. Однако, оно не мешает мне стремиться к объективной оценке писателя и его произведения. Но ни в Нью-Йорке, ни в Париже никто из лиц, осведомленных в русской литературе, ничего не мог сказать мне и ничего решительно не знал о Чернышевском и его произведении. Богатейшая Национальная библиотека также ничего не знает и даже не содержит этого имени в справочном аппарате». Единственным материалом, которым располагает автор письма, являются краткие биографические сведения о Чернышевском, данные в предисловии к указанной книге. И потому, «после долгих колебаний», Le Provost решился обратиться непосредственно к Толстому с вопросом, знает ли он книгу Чернышевского и как относится к ней, переведена ли она на французский и другие европейские языки и где можно получить об ее авторе более подробные сведения. Заканчивая письмо, Le Provost пишет: «Никак не могу примириться с мыслью, чтобы книга подобного размаха замалчивалась в течение 40 лет».

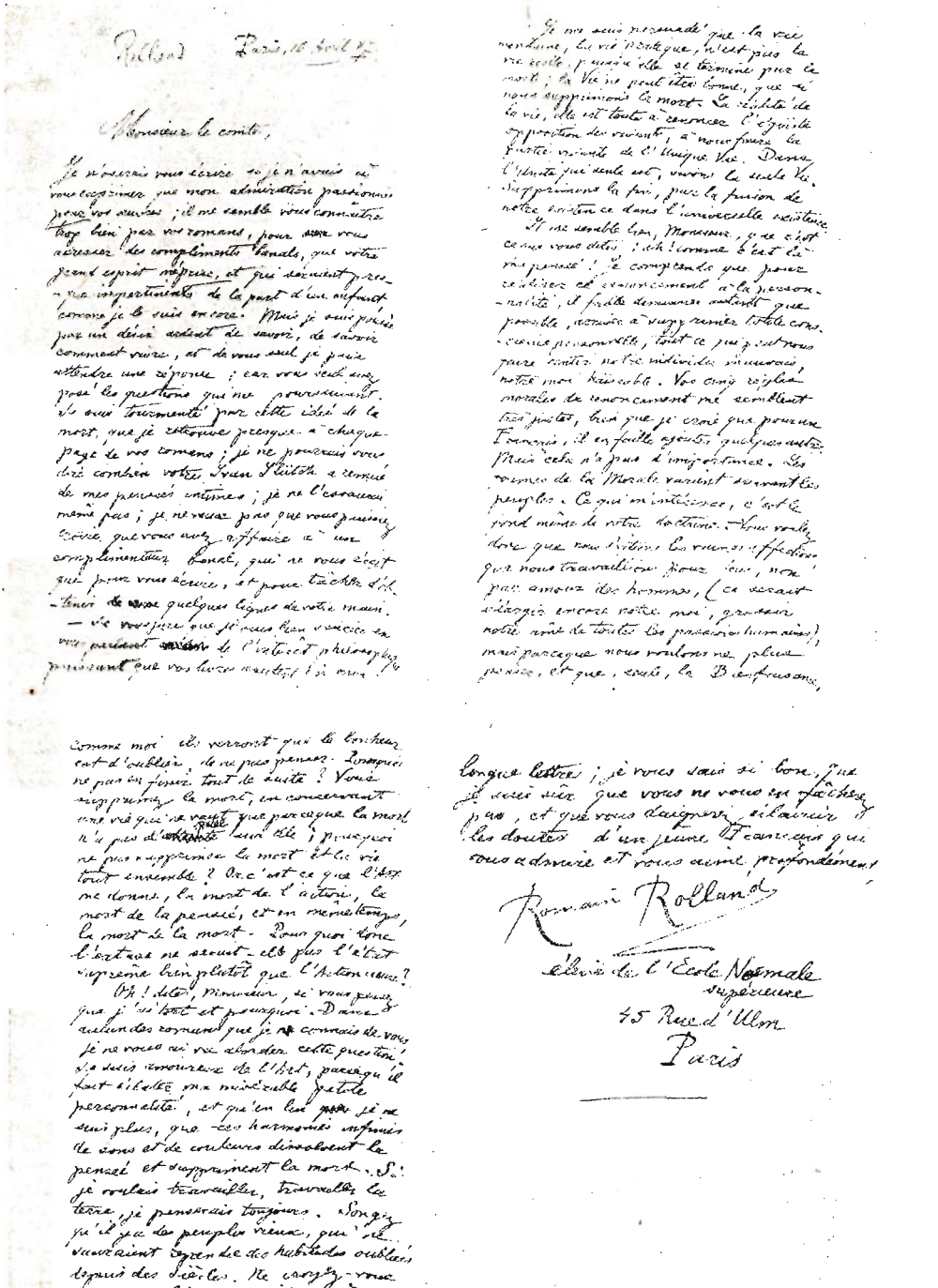
Paul Carrillon в письме от 18 ноября 1906 г. из Лиона пишет: «Из ваших прекрасных философских книг с очевидностью явствует, что вы желаете, чтобы социальная революция совершилась без жестоких потрясений и без пролития крови, и потому я хочу спросить вас: неужели вы думаете, что это возможно, неужели вы думаете, что жестокие люди, духовенство, судьи, солдафоны, капиталисты позволят отнять у них то, что они считают своей собственностью? И не думаете ли вы, что лучше сразу, в какие-нибудь 10—20 лет, покончить со всей этой компанией при помощи жестокой революции, чем ожидать сотни лет, пока она совершится медленно и безболезненно? Вы мне напомните, я знаю, резню 1849 и 1871 гг., вы мне скажете, что прежде чем достигнуть успеха, такая революция много раз потерпит неудачу. Вас пугает кровь, которая должна пролиться; но, отвергая кровавую революцию, вы в то же время не боитесь видеть все те жестокости, которые будут продолжаться в государствах и среди отдельных национальностей».

L. Besnard в недатированном письме, относящемся к 1896 г., пишет: «Уважаемый Лев Николаевич. Вы помните, что в прошлом декабре один очень молодой француз, друг г. Эртеля и г. Черткова, имел счастье продолжительно беседовать с вами. В этот вечер я говорил с вами со всей страстностью, свойственной французской молодежи, по вопросу, уже тогда занимавшему меня, который с тех пор глубоко обдумывался мною и которому я решил посвятить пространную статью в одном из французских обозрений. Речь шла о возможности объединения двух звуковых обнаружений человеческой природы—слова и музыки—в одно целое, в виде драматического произведения. Вы жестоко нападали на мои положения в споре, называя их декадентством. В течение этого времени я советовался со многими известными в Европе драматургами, которые приняли мои идеи менее сурово; один из них был даже весьма ими заинтересован. Вы представляете один решительную оппозицию, и потому я очень желал бы получить ваше мнение, точно формулированным, что позволило бы глубже проанализировать вопрос».

Драматург Maurice Pottecher, основатель первого народного театра во Франции, в письме от 19 сентября 1901 г. писал: «Я основал во Франции деревенский театр ввиду личной потребности бороться против театральных нравов и обычаев, для которых я не чувствовал себя созданным, а также с целью, быть может, менее эгоистической—сближения и союза с людьми моей родины». Далее Потшер рассказывает о судьбе своего театра в течение семи лет его существования и заканчивает письмо словами: «Теперь я счастлив послать вам, дорогой и высокочтимый Лев Николаевич, привет издалека, который вы, по своей доброте, не откажете принять, как свидетельство благоговейной и глубокой любви».

В ответ на это письмо Толстой писал Потшеру из Гаспры 6/19 марта 1902 г.: «Я знаю ваши труды, одобряю их и давно ими любуюсь. Совершенно уверен, что вы достигнете успеха и будете иметь большое и благотворное влияние на возрождение театра, который изо дня в день превращается в забаву для праздных людей и все более и более отклоняется от своего истинного назначения. Убежден, что вы достигнете желаемого, ибо дело, которому вы служите, это дело самоотвержения, вдохновляемое служить народу, давшему нам все, что мы имеем».

Известный музыкант Henri Casadesus, основатель парижского «Société des instruments anciens», во время своих концертов в Москве в ноябре 1909 г.



АВТОГРАФ ПИСЬМА РОМЕН РОЛЛАНА К Л. Н. ТОЛСТОМУ ОТ 16 АПРЕЛЯ 1887 г.
Страницы первая — вторая и пятая — шестая
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

посетивший Толстого в Ясной Поляне, писал ему 26 декабря того же года: «Уважаемый учитель! Мы вернулись в Париж, и первым моим желанием было поблагодарить вас от лица моих товарищей и от себя за тот радушный прием, который вы оказали нам в Ясной Поляне. О вас же лично мы сохраним ничем неизгладимое впечатление... В настоящее время я работаю над книгой, которую в мыслях называю Livre d'or нашего общества. Она будет содержать наиболее ценные отзывы наших писателей и музыкантов, которых нам удалось заинтересовать. Ваш отзыв, учитель, был бы для нас неоценимым, так как мы подвергаемся многочисленным и непрекращающимся нападкам со стороны модернистов, которые не могут нам простить возрождения великих произведений прошлого. И потому я просил бы вас прислать мне несколько строк по поводу того впечатления, которое доставила вам наша музыка». 3 января 1910 г. Толстой отвечал на это письмо: «Исполняю только долг совести, свидетельствуя о том, что превосходное исполнение вами и вашими товарищами различных произведений старинных композиторов было для меня одним из самых больших музыкальных наслаждений, когда-либо мною испытанных. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить вас и ваших товарищей за чрезвычайную любезность, которую вы оказали, приехав к нам в деревню, чтобы доставить нам это большое удовольствие. Сердечно жму вашу руку. Лев Толстой»[40].

Eguines в письме от 17 мая 1901 г. пишет: «В настоящий момент я подготовляю к печати с одним из моих друзей, крупным писателем, работу о Жанне д'Арк... Я убежден, что великий апостол мира, друг справедливости, друг смиренных и слабых имеет свой особый и определенный взгляд на эту скромную девушку полей, эту «лилию долины», которая покинула жизнь полей и стала воевать, чтобы добиться мира».

Clotilde Roch в письме от 14 февраля 1905 г. сообщает: «Я — скромная женщина-скульптор, глубоко тронутая страданиями России. Я выполняю скульптурную группу, представляющую несчастную вдову мужика (veuve de moujick), убитого на войне, которая делит последний кусок хлеба между своими двумя маленькими детьми. Я прошу у вас, о великий Толстой, несколько строк на русском языке, которые понятнее передадут толпе мою мысль об ужасных последствиях войны».

Художник Robert Kastor, член Общества художников в Париже, в 1902 г. прислал Толстому его портрет своей работы, «нарисованный мною — как он пишет в сопроводительном письме—по одной из ваших фотографий. Этот портрет пером предназначается для альбома, в котором мною собраны портреты и автографы наших самых известных современников... Мне очень хотелось бы надеяться, что и вы займете в нем почетное место». На этом портрете Толстой сделал следующую надпись (на французском языке): «Цель нашего существования не в нем самом, она вне его. Наша жизнь— посланничество, которого мы можем знать обязанности, но никак не цель».

Известный французский ученый и литератор Paul Desjardins в письме от 6 сентября 1908 г. пишет: «В прошлом году я читал в школе сестер милосердия в Париже курс „Психология больного по наблюдениям Толстого". После лекции мои слушательницы говорили мне: „Это истинная правда; мы все это испытывали. Что же, у этого писателя полтораста лет опыта?". „Нет, но он великий поэт", отвечал я им. Если бы вы видели ваши книги, все испещренные замечаниями, которые я делал после каждой лекции! Так сталкивается с жизнью ваше творчество. И к этому я веду свое покло-

нение и благодарность: с несравненной силой вы указываете на божественное, скрывающееся в действительности. Вот в чем состоит для меня доброе дело ваших творений». В ответе на это письмо Толстой писал 9 ноября ст. ст.: «Очень благодарен вам за ваше доброе письмо, полное похвалы, которую не чувствую себя заслужившим». Неизвестная из Парижа в письме от 20 января 1908 г. писала: «Вы и подобные вам Вольтеры, Руссо и другие, вы вызываете революции и тем самым величайшие бедствия и преступления, которые творятся, якобы, на благо человечеству. Вы, как и все писатели и ораторы,—вреднейшие животные, которым нужен намордник и которые должны быть наказаны как преступники». На конверте письма помета рукой Толстого: «Руг[ательное] интер[есное]».

Письма второй категории заключают в себе запросы по поводу событий общественной и политической жизни.

Редакция «Le Journal» (14 февраля 1904 г.) просит высказаться о войне с Японией: «Учитель, разрешите от лица читателей „Le Journal" просить вас сообщить, что вы думаете об ужасной войне, возникшей между Россией и Японией, которая—увы!—поглотила уже столько жизней». Расстрел рабочих 9 января 1905 г. в Петербурге вызвал обращение к Толстому Henri Charriant от имени «Ассоциации секретарей редакций газет и журналов». «М. Г. и многоуважаемый учитель,—пишет H. Charriant 24 января 1905 г.,—ужасные события, происшедшие в Петербурге, убийство стольких рабочих, имевших самые мирные намерения, поведение Николая II, столь сурово расцениваемое во Франции, печальные последствия, которые может иметь эта страшная трагедия, дают мне смелость обратиться к вам с вопросом: что вы думаете по поводу всей этой тревожной ситуации? Каковы ее причины? Каковы будут ее последствия? Этот двойной вопрос мы ставим с душевным беспокойством, вполне естественным при нашей симпатии к русскому народу. Вы можете, в этих исключительных обстоятельствах, осветить перед нами истину, научить нас тому, как мы должны думать и действовать, ибо мы глубоко встревожены. Я буду особенно счастлив получить от вас письмо по вопросу, для нас неясному, о возможности революции в России. Я хотел бы это письмо напечатать одновременно во всех крупных газетах, как декларацию человека, которым мы так восхищаемся и которого считаем величайшим гением современности».

Роспуск Государственной думы вызывает новое обращение к Толстому со стороны Agence Fournier (от 27 июля 1906 г.): «Позвольте нашему агентству запросить драгоценное мнение великого философа, каким вы являетесь, по поводу совершающихся в России событий. Вся Франция будет счастлива узнать о чувствах, которые породил роспуск Думы и другие мероприятия монарха и правительства. Все умы заняты вопросом: как смотрит Толстой на ближайшее будущее России?».

Boyen d'Agen (19 августа 1902 г.) просит разъяснить, в каком положении социалистическое движение в России.

«Paris Journal» (28 апреля 1910 г.) запрашивает мнение Толстого о направлении современного художественного творчества: «Замечается перелом,—пишет газета.—Мы пережили символизм в поэзии, импрессионизм в живописи, вагнеризм в музыке, и теперь чуть не повсюду авторитетные голоса заявляют о возвращении французского духа к классическому идеалу».

Редакция «Echo de Paris» (1905 г.) прислала анкету с вопросами: «1) Считаете ли вы смертную казнь законным правом общества; 2) в каких слу-

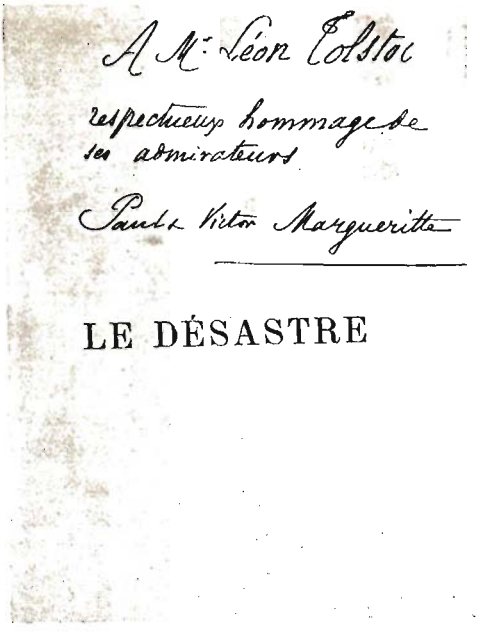
чаях она допустима; 3) если не признаете смертной казни, то не предпочитаете ли одиночное заключение».

Все эти и многочисленные другие письма-запросы и анкеты Толстой оставлял без ответа. По поводу последнего запроса в дневнике 27 августа 1905 г. он сделал ироническую запись: «Сегодня получил Questionnaire редактора «Echo» о смертной казни, почему она необходима и справедлива. И фамилия редактора—Sauvage [дикий]»[41].

Третью категорию составляют деловые письма, по своему содержанию распадающиеся на несколько групп: 1) письма научных, литературных и прочих обществ, избирающих Толстого в члены и приглашающих его принять участие в съездах, конгрессах и пр.; 2) письма из редакций газет и журналов, привлекающих Толстого к сотрудничеству; 3) письма в связи с переводами на французский язык его произведений и 4) письма от дирекций театров и театральных деятелей в связи с инсценировками и постановками в театрах его произведений.

Первая из указанных групп открывается приглашением Толстого принять участие в работах конгресса общества писателей («Société des gens de lettres»), относящимся к июню 1889 г. В 1890 г. (15 декабря) группа учащихся Безансона, организовавшая кружок в память Виктора Гюго, сообщает Толстому, «имя которого более всего популярно во Франции», об избрании его членом кружка. Социальный музей в лице одного из своих основателей Ш. Саломона сообщает Толстому об избрании его в члены и просит о сотрудничестве в специальном печатном органе музея. В 1896 г. (30 июля) мэр города Безансона сообщает Толстому, что, в связи с постановкой в городе памятника В. Гюго, организован комитет, в состав которого вошли многие ученые, писатели и художники. «Вы имеете,—пишет мэр,—все основания, чтобы фигурировать в этом комитете, будучи одновременно и мыслителем, и писателем, и апостолом, вдохновляемым любовью к человечеству». 7 августа того же года 2-й конгресс «Международного кооперативного союза» сообщает Толстому о включении его в члены комитета («Comité de patronage et de propagande»). На конверте этого письма имеется помета Толстого (в третьем лице): «Сочувствует конгрессу и рад, если его имя может ему способствовать». 24 марта 1897 г. A. Hamon, профессор Брюссельского университета, извещает Толстого об организации общества «L'Humanité Nouvelle», с журналом того же названия, и просит о сотрудничестве в журнале. В следующем, 1898 г., A. Hamon возобновляет свое предложение, принятое Толстым, пославшим для напечатания в журнале свою новую статью «Carthago delenda est». 19 января 1901 г. Huget сообщает Толстому, что молодежь Дижона организовала «Union Tolstoï» и избрала его своим почетным председателем. Huget от имени союза, имеющего «нравственные и филантропические цели», просит Толстого не отказать в совете и поддержке. 5 марта 1905 г. «Общество имени Ж.-Ж. Руссо» (в Женеве), ссылаясь на посредничество Ш. Саломона, высылает Толстому устав и некоторые публикации общества и просит Толстого вступить в его члены.

Вторую группу составляют письма из редакций газет и журналов о предложении сотрудничать. Raymond в письме от 8 января 1892 г. предлагает принять участие в организуемом им журнале «Le mouvement littéraire». Редакция «Revue des Revues» (4 марта 1892 г.), отмечая, что «французский народ с глубоким сочувствием относится к голоду в России», предлагает свою газету как трибуну для публикаций Толстого о сборе пожертвований.




ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ПОЛЯ И ВИКТОРА МАРГЕРИТ НА КНИГЕ „LE DÉSASTRE", ПРИСЛАННОЙ Л. Н. ТОЛСТОМУ

Библиотека Толстого в Ясной Поляне

Редакция «Echo de Paris» (8 апреля 1892 г.) приглашает сотрудничать в сборнике, в котором согласились участвовать Золя, Додэ, Гонкур, Коппе и др. Редакция «La Revue de Famille» (23 августа 1892 г.) просит Толстого дать отзыв о последнем романе Золя. Bricon в письме от 12 марта 1894 г. сообщает, что «несколько французских писателей желают составить коллективную книгу о милосердии». Инициаторами являются Ф. Коппе, М. Прево и автор письма. «Поль Бурже присоединится непременно по возвращении из Америки; предполагаем, что Ж. Симон, Дидон, А. Дюма и, быть может, Вогюэ также примут участие... Книга о милосердии не может быть полной без ваших мыслей и вашего имени». Редакция «La Revue Blanche» (1 июня 1895 г.) запрашивает о печатании «Воскресения». Besnard в письме от 19 сентября 1896 г. просит принять участие в сборнике, посвященном памяти английского поэта Вилльяма Мориса. Редакция «La vie moderne» (10 марта 1898 г.) обращается с просьбой о сотрудничестве вообще, и по различным конкретным поводам обращаются к Толстому редакции следующих изданий: «L'Hirondelle de France» (1894 г.), «Le signal» (1895 г.), «L'Etranger» (1896 г.), «La vie moderne» (1898 г.), «La Revue de morale sociale» (1898 г.), «La Revue des Revues» (1900 г.), «L'Européen» (1901 г.), «La revue du bien dans la Vie et dans l'Arts» (1901 г.), «Vox» (1902 г.), «La Revue» (1903 г.), «Concordia» (1903 г.), «La Revue idéaliste» (1904 г.), «La Revue des Peuples» (1905 г.), «L'Auto» (1905 г.), «Le Mercure de France» (1907 г.), «La vie heureuse» (1907 г.) и др. В 1909 г. профессор Гюстав Броше, революционный пропагандист и друг Маркса, обратился к Толстому с письмом (от 7 октября), в котором просит прислать статью для сборников, издававшихся «Международным комитетом помощи безработным, учрежденным Международным социалистическим бюро». «Все, что выходит из под вашего пера, вызывает всеобщее восхищение,—писал Броше,—ваше имя повысит значение этих книг, доход с которых должен послужить для оказания помощи несчастным безработным». В ответе от 9 октября ст. ст. Толстой писал: «С удовольствием

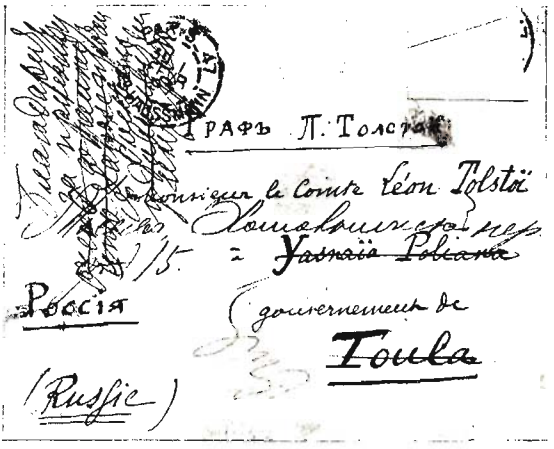
предназначаю для вашего сборника только что оконченную мною маленькую статью, которая по содержанию своему не может быть напечатана в России». Первоначально Толстой предполагал дать в сборнике Броше статью «Проезжий и крестьянин», но затем изменил свое намерение и направил другую статью—«Наше жизнепонимание», которая и была напечатана отдельной брошюрой.

Наряду с только что перечисленными сохранился ряд писем к Толстому по техническим вопросам печатания его произведений в различных органах французской периодической прессы.

В группе писем, касающихся вопроса переводов произведений Толстого на французский язык, следует, прежде всего, отметить обширную переписку Толстого с Шарлем Саломоном и Полем Буайе, которых он считал своими лучшими переводчиками. В письме к П. И. Бирюкову от 19 мая 1902 г. Толстой писал: «Если вы хотите иметь хороший перевод, то вам необходимо обратиться к хорошему знатоку русского и французского языка, каков Salomon, Boyer, Suberlick (кажется) и им подобные». Положительные отзывы Толстого имеются также о переводах на французский язык И. Д. Гальперина-Каминского (в письме к нему от 24 июня 1900 г.), Бьенштока (в письме к П. И. Бирюкову от 23 марта 1902 г.), Э. Пажеса и Ж. Легра. С Ш. Саломоном и П. Буайе Толстого связывало и многолетнее знакомство и личные дружеские отношения. Ш. Саломон являлся как бы представителем Толстого в Париже, выполняя различные литературные поручения Толстого по сношениям с издательствами и редакциями, по высылке тех или иных литературных материалов и пр. В то же время он держал Толстого в курсе парижской литературной и научной жизни, привлекая его к участию в периодическом органе «Musée sociale», посвященном изучению рабочего вопроса, являясь посредником между ним и различными французскими организациями и пр. Писем Ш. Саломона к Толстому сохранилось 39; ответные письма Толстого, в количестве 12, были опубликованы Ш. Саломоном в «Revue des études slaves» в 1931 г. Эта переписка, помимо деловой стороны, затрагивает ряд общих вопросов, а также личные и семейные отношения корреспондентов. Таким же характером отличается меньшая по объему переписка Толстого с Полем Буайе. К их помощи и содействию обращался Толстой в ответственные моменты своей литературной деятельности; через них он опубликовал в парижской прессе заявление об отказе от литературной собственности в 1894 г.; при их содействии было напечатано в «Journal des Débats» другое заявление, в котором Толстой снимал с себя ответственность за дурной перевод отрывков из трактата «Что такое искусство?», напечатанных в «La Revue Blanche» в 1898 г. (в переводе Tarridu del Marmol) и т. д. По поводу перевода и публикации некоторых сочинений Толстого 20 июня 1900 г. к нему обратился Элизе Реклю со следующим письмом из Брюсселя: «Дорогой и многоуважаемый Monsieur, друзья желали бы напечатать, в целях пропаганды, несколько отрывков из вашей книги „Воскресение“ («Résurrection») под тем же заголовком или другим, подобным ему: „Процесс в России“ («Procès en Russie»). Мы обращаемся к вам, прежде всего, с просьбой о вашем разрешении, а затем, если вы в нем не откажете, мы хотели бы знать, какой именно из русских переводов вы посоветовали бы взять, причем нам придется дополнить его вставками из английского издания, так как мы знаем, что, к сожалению, ни один из французских переводов не вполне точен, а мы, разумеется, стремимся как можно более приблизиться к вашему

тексту. В надежде, что вы удостоите нас ответом, шлем вам наш самый сердечный и почтительный привет. Элизе Реклю». Толстой отвечал письмом от 3 июля: «М. Г., я раз навсегда дал право на издание моих писаний всем, кто пожелал бы их издавать. Перевод Каминского[42], я полагаю, наиболее полный и точный. Мне приятно, что я могу быть вам полезным. Примите, М. Г., уверение в моем совершенном уважении. Лев Толстой».

Последнюю группу деловой переписки составляют письма по поводу инсценировок и постановок произведений Толстого во французских театрах. За разрешениями на инсценировку тех или иных его произведений к Толстому обращалось много лиц из литературного и театрального мира. Известный поэт Robert de Montesquiou, о произведениях которого Толстой отрицательно отзывался в трактате «Что такое искусство?», в письме к Толстому от 21 января 1895 г. сообщает, что в Париже, в театре Ренессанс, предполагается к постановке мистерия в 4 сценах, в стихах, представляющая собой переделку «прелестной новеллы» Толстого «Michaïl»[43], причем роль Michaïl будет играть «сама Сарра Бернар». Montesquiou, автор инсценировки, запрашивает, не имеет ли Толстой возражений против этой постановки. На конверте письма помета рукой Толстого: «Ответить, что очень рад». G. Fonville в письме от 13 февраля 1908 г. просит разрешения на инсценировку романа «Казаки» в виде лирической драмы. «Мы в восторге от ваших „Казаков", от их красочности, от непосредственности и искренности тех людей, которые в них изображаются. Мне кажется, что я нашел приемы для инсценировки этого сюжета»,—пишет он. На конверте помета рукою Толстого: «Отвечать». Однако, сведений об ответе не имеется. Oscar Dupré в письме от 7 марта 1907 г. просил разрешения на инсценировку «Крейцеровой сонаты» и, в случае согласия, просил сообщить об условиях. В ответе на этот запрос Толстой писал (1/14 июня): «М. Г., я давно отказался от авторских прав. Я даже думал, что их и не существует в отношении переводов с русского. Во всяком случае, можете располагать теми моими сочинениями, которые вам подходят. Лев Толстой». В тех же выражениях Толстой отвечал Audigier на его просьбу инсценировать «Воскресение» (1901 г.) и Lucien Mayorque—на инсценировку «Войны и мира» (1907 г.). В 1910 г. драматург Victor de Mondion обратился к Толстому со следующим письмом (от 15 января): «Знаменитый и высокочтимый учитель! Громадный успех ваших произведений в наших театрах заставил нас обратиться к тем из них, которые еще не были переработаны для сцены, в поисках сюжета для новой пьесы. В результате проделанной работы мы убедились, что ваш роман, озаглавленный „Иван Грозный" («Ivan le Terrible»), имеет все шансы, чтобы лишний раз восхитить и привести в восторг французскую публику». Далее излагается просьба на инсценировку романа. Почтенный драматург перепутал Льва Толстого с Алексеем К. Толстым и имеет в виду, повидимому, роман последнего «Князь Серебряный». Характерно, однако, что на конверте этого письма имеется помета рукой Толстого: «Ответить, что не разрешал и не запрещал переделывать моих сочинений в драму». Объяснить это недоразумение возможно, повидимому, тем, что Толстой, не прочитав письма целиком, бегло проглядел только его конец, что он делал обычно в отношении писем такого рода с комплиментарными вступлениями, а затем, не поинтересовавшись даже, о каком его произведении идет речь, сделал стереотипную помету.




СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ НАБРОСОК ОТВЕТА Л. Н ТОЛСТОГО МАРСЕЛЮ ПРЕВО НА КОНВЕРТЕ ЕГО ПИСЬМА ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 1897 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

25 октября 1902 г. дирекция театра Одеон сообщила Толстому о постановке в этом театре «Воскресения», инсценированного в пятиактную драму А. Батайлем. 13 ноября та же дирекция известила Толстого о том, что инсценировка «Воскресения» имела большой успех на генеральной репетиции. 23 мая 1909 г. Y. Princet сообщает Толстому о большом успехе, который имела в Народном театре (Le Théâtre aux Champs) в Aulnay-Sous-Roi (Seine et Oise) его легенда «Зерно с куриное яйцо», инсценированная автором письма в сотрудничестве с Гальпериным-Каминским под заглавием «Graine merveilleux».

Четвертую категорию составляют письма, сопроводительные к посылке книг, брошюр и рукописей, в большинстве случаев направлявшихся Толстому непосредственно самими авторами. Два письма Ромен Роллана, относящиеся к этой категории, уже приводились выше. Из всего остального материала остановимся кратко на следующем.

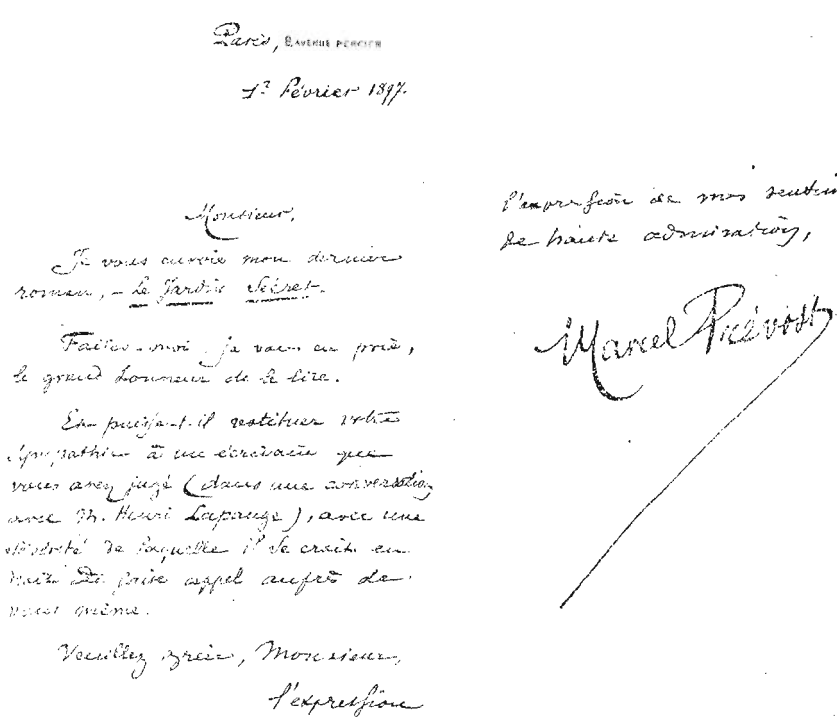
Марсель Прево в письме от 1 февраля 1897 г. писал: «М. Г., посылаю вам мой последний роман—„Le Jardin secret“. Прошу вас оказать мне большую честь прочитать его. Не может ли он возвратить вашу благосклонность писателю, которого вы (в беседе с г. Henri Lapause) осудили с такой суровостью, против которой он считает себя вправе апеллировать к вам же самому. Не откажите принять, М. Г., выражение чувства высочайшего восхищения. Марсель Прево».

На конверте письма помета рукой Толстого: «Благодарить за присылку ⟨очень сожалеет, что Lapose⟩ прочитал с большим ⟨удовольствием⟩ интересом». По поручению Толстого, ответ на письмо М. Прево был написан одной из его дочерей. Через три года, 27 июля 1900 г., М. Прево обратился к Толстому с новым письмом: «Учитель, одновременно с этим письмом посылаю вам два тома „Vierges fortes“, только что вышедшие из печати. Когда я посылал вам „Le Jardin secret“, я имел честь получить ответ от m-lle Толстой. На этот раз мне было бы бесконечно драгоценнее получить ответ от вас или, по крайней мере, продиктованный вами, точно выражающий ваши мысли. Не откажите мне в этом. Я писал „Frédérique“ и „Léa“ не заботясь об успехе, и действительно не предполагая, чтобы эти книги могли прийтись по вкусу рядовым читателям романов. Если они понравятся вам, если вы найдете, что они „от настоящего искусства“ в том смысле, в каком вы его определяете, это будет лучшим для меня вознаграждением за долгий труд. Не откажите, учитель, принять

выражение моего глубокого уважения. М. Прево». Об ответе Толстого на это письмо сведений не имеется.

О. Мирбо для русского перевода «Les affaires sont les affaires» написал посвящение Толстому, в котором дал высокую оценку его творчеству и указал его исключительное влияние на французскую литературу. Подлинник этого посвящения издатель Гольдберг прислал Толстому, который обратился к О. Мирбо с письмом, в котором, между прочим, писал (от 13 сентября 1903 г.): «Я думаю, что каждый народ употребляет различные приемы для выражения в искусстве общего идеала, и что, благодаря именно этому, мы испытываем особое наслаждение, вновь находя наш идеал выраженным новым и неожиданным образом. Французское искусство произвело на меня в свое время это самое впечатление открытия, когда я впервые прочел Альфреда де Виньи, Стендаля, Виктора Гюго и особенно Руссо. Думаю, что этому же чувству следует приписать чрезмерное значение, которое вы придаете писаньям Достоевского и, в особенности, моим. Во всяком случае благодарю вас за ваше письмо и посвящение. Для меня будет праздником прочесть вашу новую драму. Лев Толстой».

Романист Edouard Rod, пославший Толстому свою книгу «Le sens de la vie» через общего знакомого Emile Ragès без сопроводительного письма, получил от Толстого письмо от 22 февраля 1889 г., в котором Толстой писал: «Не зная автора даже по имени, я принялся ее перелистывать, но вскоре искренность и сила выражения, так же как и значительность самой темы, меня захватили, и я прочел и перечел книгу...». «Но,— пишет далее Толстой,—признаюсь чистосердечно, что заключение слабо...



Paris, 8, авеню Ренуар

1er Février 1897.

Monsieur,

Je vous envoie mon dernier roman, — Le Jardin Secret.

Faites-moi l'honneur de vous en prendre le grand bonheur de le lire.

En publiant il y a bientôt vingt ans mon premier livre, j'ai eu celui de vous avoir pour juge (dans une conversation avec M. Henri Lapauze), avec une sévérité de laquelle je me suis ensuite fait un point d'honneur de ne plus jamais dévier.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments de haute admiration,

Marcel Prévost

АВТОГРАФ ПИСЬМА МАРСЕЛЯ ПРЕВО К Л. Н. ТОЛСТОМУ ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 1897 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

Заключение, на мой взгляд, попросту способ как-нибудь развязаться с вопросами, так смело и ясно поставленными в книге. Пессимизм, в особенности, например Шопенгауэра, всегда казался мне не только софизмом, но глупостью и вдобавок дурного тона. Пессимизм имеет бестактность портить удовольствие других выражением своей скуки, доказывая этим лишь то, что он просто не на уровне того круга, в котором находится. Мне всегда хочется сказать пессимисту: „Если мир не по тебе, не щеголяй своим неудовольствием, покинь его и не мешай другим". В сущности я обязан вашей книге одним из самых приятных чувств, которые я знаю,—а именно то, что я нашел себе неожиданного единомышленника, бодро идущего по тому пути, по которому я следую».

Поэт и публицист Paul Loyson при посылке своей драмы «L'Evangile du Sang» писал Толстому 2 марта 1900 г.: «Я — молодой человек, с давних пор питавшийся вашим могучим учением; в прошлом году в Риме я принимал даже участие в диспуте о моральной стороне ваших произведений. По мере возможностей, я стремлюсь увеличить ряды той армии мира, которой вы предводительствуете...». Далее, по поводу своей драмы, Loyson писал: «Заслужить ваше одобрение было бы в мои молодые годы величайшей честью». В 1903 г. Loyson послал Толстому оттиск своей статьи «L'Investiture de Tolstoï». Толстой благодарил его письмом от 16 января 1903 г., в котором, между прочим, писал, в связи с содержанием статьи Loyson: «Упреки, которые мне делают, рассматривая мои идеи с объективной точки зрения, т. е. со стороны их применимости к мирской жизни, подобны упрекам, которые сделали бы земледельцу, вспахавшему и засеявшему свое поле, чтобы питаться с него, за неосторожное отношение к росшим там кустарникам, траве и цветам. Упреки эти справедливы с точки зрения тех, кто любит зелень, цветы, но стоит только понять цель земледельца, чтобы убедиться, что он не мог поступить иначе».

Paul Maurice в письме от 1 марта 1900 г. пишет: «Мне известно, как вы высоко цените произведения Виктора Гюго и как любите „Les Misérables". Это дает мне смелость послать вам драму, представляющую собой переработку этого романа, выполненную мною с помощью Шарля Гюне». «Пользуясь случаем», P. Maurice «осмеливается» послать и свою собственную драму, предназначенную для Comédie Française. «В ней вы, быть может, найдете, если у вас будет время бросить на нее взгляд, некоторые дорогие вам идеи, и вы узнаете солдата, сражающегося в славной борьбе за истину и гуманность, которому необходимо получить поощрение от своего главнокомандующего».

L. Sarracane в письме от 6 августа 1895 г. писал Толстому: «Беру на себя смелость послать вам том моих рассказов, под заглавием „L'Adoration". Один из них, „Чудо сестры Симплиции", казалось мне, соприкасается с кругом ваших постоянных интересов—с миром общественной морали. Я буду очень счастлив и сочту за большую честь для себя, если этот рассказ своим содержанием или формой окажется достойным на мгновенье остановить на себе ваше внимание».

Толстой отвечал 26 августа:

«М. Г., я получил вашу книгу и прочел ее с интересом и удовольствием. Из рассказов всего больше понравилось мне не „Чудо сестры Симплиции" («Le miracle de sœur Simplice»), а „Миллиардерша". Вся книга очень хорошо написана, и я очень благодарен автору за то, что он обо мне вспомнил и прислал ее мне».

Наряду с известными в литературе и науке именами, к Толстому обращались новички, присылавшие первые свои публикации и рукописи. Michel Serentane, посылая Толстому свой первый роман «Pierre et Anna», пишет (24 ноября 1902 г.): «Если вы найдете роман хорошим, передайте мне об этом так или иначе. К вашему слову прислушиваются оба полушария. Положительный отзыв Толстого, автора „Воскресения", будет для меня драгоценнейшей поддержкой. Именем Иисуса прошу вас, учитель, скажите мне, является ли „Pierre et Anna" правдивым и жизненным произведением?». С такими мольбами о поддержке и совете к Толстому обращались многие из начинающих авторов.

Л. Н. ТОЛСТОЙ И ШАРЛЬ САЛОМОН (с газетой) СРЕДИ СЕМЬИ ТОЛСТЫХ И ИХ ГОСТЕЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ, 1899 г.

Толстовский музей, Москва

Пятую категорию составляют письма частного характера, которые, в свою очередь, могут быть подразделены на несколько групп: поздравительные, комплиментарные и биографические.

Поздравительные и комплиментарные письма написаны самыми разнообразными лицами. Они приурочены к юбилеям Толстого, к выходу в свет новых произведений, к его выздоровлению после продолжительной болезни в 1901—1902 гг., даже к его отлучению от церкви. «Позвольте поздравить вас с отлучением от церкви, ибо в таком случае вы находитесь на истинном пути,—пишет, например, бывший французский пастор F. Lev 22 марта 1901 г.,—я также должен был оставить религию, так как желал проповедывать истину». Известный общественный деятель Ж. Кларети пишет на своей визитной карточке в 1898 г.: «С почтительнейшей симпатией». На карточке помета Толстого: «Отв»[етить]. Ответного письма не сохранилось.

К биографическим письмам относятся, прежде всего, письма знакомых Толстому французов, например, некоторые из писем Ш. Саломона, П. Буайе,

Э. Пажеса, Ж. Легра и др. В письме Ж. Легра из Бордо от 1 декабря 1895 г. находим интересную подробность, неизвестную биографам Толстого. «В прошлом году,—пишет Ж. Легра,—вы поручили мне разыскать в Гренобле след г. Проспера Сен-Тома, вашего старого французского гувернера. Эти розыски были произведены по моей просьбе городским библиотекарем; они, к сожалению, не дали результатов. Уверены ли вы, что Сен-Тома действительно был родом из Гренобля?». Ж. Легра, посетивший Толстого в Москве в сентябре 1894 г., повидимому, получил от Толстого именно в это свидание устное поручение, так как никаких иных указаний на этот факт не имеется.

Большинство писем этой категории принадлежит, однако, неизвестным лично Толстому лицам, обращавшимся к нему с изложением своих душевных и семейных переживаний, с просьбой совета и поддержки. С некоторыми из этих корреспондентов (например, с молодым художником Ed. Sinet и врачом P. Fontaine) у Толстого завязывалась переписка, приводившая иногда к личному знакомству и добрым отношениям на протяжении многих лет. Другие, мелькнув на его горизонте, исчезали бесследно.

В просительных письмах, прежде всего, следует отметить те, в которых отдельные лица, а иногда и группы лиц обращались с просьбой к Толстому о высылке тех или иных его произведений. Mazén в письме от 11 мая 1901 г. писал: «Великий гражданин! Во Франции, в Оверни, в Clermont-Ferrand, образовалась группа из учащихся—социалистов и антиклерикалов. В качестве секретаря этой ассоциации обращаюсь от имени моих товарищей к великодушию знаменитых современников с целью основать, не производя затрат, нашу литературную библиотеку. Великий гражданин России, который затмевает всех писателей, которого весь мир желает читать и понимать, вы, я уверен, не откажете направить нам, если это окажется возможным, серию ваших произведений («Воскресение» и др.) во имя бескорыстной и благородной гордости от сознания, что ваше учение и теории будут поняты и оценены».

Писем, содержащих просьбы о материальной помощи, чрезвычайно мало (всего 4 письма).

Подавляющее большинство просительных писем заключает в себе просьбы о присылке автографа. Иногда эти просьбы излагаются прямо и откровенно, иногда украшаются лестью, иногда вуалируются при помощи различных предлогов. Эти письма Толстой обычно оставлял без ответа и лишь в редких случаях, тронутый мольбами, делал помету на конверте: «Послать какой-нибудь отрывок».

Рассмотренными категориями исчерпывается общая характеристика содержания французских писем к Толстому, сохранившихся в его архиве.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Маковицкий Душан Петрович (1866—1921)—домашний врач Л. Н. Толстого в последние годы его жизни, оставивший свои «Яснополянские записки», до настоящего времени лишь частично опубликованные.

[2] Толстой Л. Н., Воспоминания.

[3] Гусев Н. Н., Толстой в молодости. Труды Толстовского музея, М., 1927, стр. 39.

[4] Гольденвейзер А. Б., Вблизи Л. Н. Толстого, т. I, стр. 134.

[5] Boyer Paul, Chez Tolstoï. Trois jours à Yasnaia Poliana. — «Le Temps», 27—29 août 1901.

[6] «Записки» Д. П. Маковицкого, запись от 19 марта 1909 г. (рукопись).

[7] Там же, запись от 14 мая 1907 г.
[8] Лазурский В., Воспоминания о Л. Н. Толстом, М., 1911.
[9] Скайлер, Воспоминания о Л. Н. Толстом.—«Русская Старина», 1890, № 10.
[10] О влиянии Стендаля на Толстого см. статью Гроссмана Л. П., Стендаль и Толстой.—Стендаль, Собрание сочинений, М., 1928, IV, стр. 71—98.
[11] Скайлер, Воспоминания о Л. Н. Толстом.
[12] «Записки» Д. П. Маковицкого, запись от 15 августа 1909 г. (рукопись).
[13] Под именем «Оленьки» Толстой имеет в виду О. В. Арсеньеву. Двухактная комедия была им написана в 1857 г. под названием «Дядюшкино благословенье».
[14] Толстой Николай Николаевич (1823—1860)—старший брат Л. Н. Толстого.
[15] Бирюков П. И., Л. Н. Толстой. Биография, т. I, стр. 402.
[16] Бирюков П. И., там же, т. I, стр. 408.
[17] Покровский К., Источники романа «Война и мир», М., 1912, стр. 117.
[18] Бирюков П. И., Л. Н. Толстой. Биография, т. I, стр. 415—416.
[19] Сведения по яснополянской библиотеке даются по ее «Описанию», составленному В. Ф. Булгаковым и хранящемуся в Толстовском музее в Москве.
[20] Эртель Александр Иванович (1865—1908)—писатель.
[21] O'Meara, Napoleon in exile or a voice from St.-Helena, L., 1822.
[22] Критический анализ некоторых положений исторической концепции Местра, развитых Толстым, дает Albert Sorel в статье «Fatalisme et liberté».—«Nouveaux essais d'histoire et de critique», 1898, pp. 19—30. О заимствованиях Толстого из «Correspondance diplomatique» см. Эйхенбаум Б. М., Лев Толстой, кн. 2, стр. 309—317.
[23] E. Vogüé в своей статье «Les écrivains russes contemporains» отмечает влияние на «Войну и мир» «Отверженных» Гюго, «Пармского монастыря» Стендаля и романов Диккенса.—«Revue des Deux Mondes», 1884, 15 juillet, p. 272.
[24] Войтоловский Л., Очерк коллективной психологии, Гиз, 1927, стр. 41.
[25] Толстой Илья, Мои воспоминания, М., 1914, стр. 75.
[26] О пребывании Ньефа в Ясной Поляне см. Толстой Илья, там же, стр. 76.
[27] Гольденвейзер А. Б., Вблизи Л. Н. Толстого, т. II, стр. 138.
[28] См. Грот Н., Основные моменты в развитии новой философии, 1894, стр. 48.
[29] Страхов Николай Николаевич (1828—1896)—литературный критик.
[30] См. Грузинский А. Е., Источник рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и бог».—«Голос Минувшего», 1913, 3, стр. 52—63.
[31] Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936)—литератор, друг Л. Н. Толстого.
[32] Роман П. Бурже «Ученик».
[33] Роман Г. де Мопассана «Сильна, как смерть».
[34] Л. Н. Толстой имеет в виду свою статью «Царство божие внутри нас».
[35] Л. Н. Толстой читал книгу G. Dubois-Desaulle «Camisards, Peaux de Lapins et Cocos. Corps disciplinaires de l'armée française», P., 1900.
[36] Гусев Н. Н., Два года с Толстым, М., 1928, стр. 104—105.
[37] Гольденвейзер А. Б., Вблизи Л. Н. Толстого, т. II, стр. 8.
[38] У Толстого были и другие любимые французские поговорки.
[39] Письмо Толстого к Ромен Роллану в русском переводе было впервые напечатано в «Неделе», 1888, № 46, стр. 1461—1465. Французский текст письма был впервые опубликован Ромен Ролланом в «Cahiers de la quinzaine», 22 fév. 1902. Письма Ромен Роллана к Толстому впервые публикуются в настоящей статье (отрывки были опубликованы Л. П. Гроссманом в его книге «Собеседник Толстого», стр. 18—20).
[40] В дневнике Толстого 1909 г. имеется еще одна запись о Казадезюсе.
[41] В обширной категории писем-запросов по поводу событий общественной жизни в архиве Толстого имеется группа писем, связанных с делом Дрейфуса.
[42] «Résurrection». Traduit du russe par E. Halperine-Kaminsky. Edition définitive, revue par l'auteur. Illustrations de L. Pasternak. P., Ernest Flammarion, éditeur.
[43] Имеется в виду рассказ Толстого «Чем люди живы».

Отв. редактор *П. И. Лебедев-Полянский* Зав. редакцией *И. С. Зильберштейн*
Зам. отв. редактора *М. Б. Храпченко*

# ОГЛАВЛЕНИЕ


## ПУШКИН И ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Статья Б. Томашевского. . . . . 1

## П. А. ВЯЗЕМСКИЙ И ФРАНЦИЯ.

Статьи В. Нечаевой и С. Дурылина.

I. Французская литература и П. А. Вяземский в преддекабрьскую эпоху. II. П. А. Вяземский и „Revue Encyclopédique". III. П. А. Вяземский в Париже в 1838—1839 гг. . . . . 77

## БАЛЬЗАК В РОССИИ.

Исследование Леонида Гроссмана.

Глава первая. ОТЪЕЗД БАЛЬЗАКА В РОССИЮ.

I. Русское посольство в Париже.—Бальзак визирует свой паспорт для поездки в Петербург.—Дипломат Виктор Балабин и его отзыв о французском романисте.—Бальзак в 1843 г.—Депеша поверенного в делах Киселева о путешествии Бальзака в Россию. II. Книга Кюстина „Россия в 1839 г." и проект русского представителя во Франции использовать перо Бальзака для опровержения этого памфлета. III. Сложность политической физиономии Бальзака: разрушительная критика капиталистического общества, при субъективной склонности романиста к реакционным воззрениям.—Отзывы Виктора Гюго и Эмиля Золя.—Маркс и Энгельс о Бальзаке.—Планы писателя утвердиться в Петербурге и создать здесь литературу, театр и журналистику европейского типа.—Деловые и матримониальные проекты. IV. Визит к Бальзаку С. П. Шевырева.—Портрет романиста в конце 30-х гг. V. Дорожные сборы и путешествие в Россию на пакетботе „Девоншир" . . . . . 149

Глава вторая. ЭВЕЛИНА ГАНСКАЯ.

I. Канонизация Ганской во французской критике.—Легенда и факты.—Оклеветана ли Ганская?—Свидетельства Бальзака в его „Письмах к иностранке". II. Род Ржевусских: военная, политическая и литературная деятельность предков Эвелины.—Героические предания фамилии, пленившие Бальзака. III. Моральный упадок фамилии к началу XIX века: Адам и Генрих Ржевусские, Каролина Собанская.—Их ориентация на русский царизм и обслуживание николаевского правительства.—Политическая позиция Ганской. IV. Ее характер и семейная жизнь.—Формула Бальзака: „Ты богачка, а я бедняк!" V. Брак Эвелины с Вацлавом Ганским.—Легенда о „затворничестве" молодой женщины.—Рассеянный образ жизни Ганских в Киеве и Одессе.—Начало переписки с Бальзаком, свидание в Невшателе.—Политические беседы Бальзака с Ганскими.—Встречи Бальзака с Эвелиной в разных городах Европы.—Смерть Вацлава Ганского в 1841 г.—Ставка Бальзака на петербургское свидание 1843 г. . . . . 175

Глава третья. ПЕТЕРБУРГ.

I. Облик николаевского Петербурга.—Впечатления Бальзака.—Берлин и Петербург в его письмах.—Знакомство с русским бытом. II. Письмо М. Д. Нессельроде о приезде Бальзака.—Решение правящих кругов игнорировать французского литератора.—„Я получил пощечину, предназначенную Кюстину".—Бальзак и Николай I.—Кюстин, князь Козловский и Бальзак.—Приглашение на парад в Красное Село. III. Сдержанность русской печати к Бальзаку во время его пребывания в России.—„Листок для светских людей".—Статьи и заметки „Северной Пчелы". IV. Крушение матримониальных планов Бальзака.—Его появление в петербургском обществе: французское посольство, Павловские концерты, Михайловский театр, гостиные.—Знакомство с О. А. Жеребцовой.—Семейство Смирновых. V. Встреча Болеслава Маркевича с Бальзаком и Ганской.—Зарисовка „С.-Петербургских Ведомостей".—„Голубой салон окнами на Неву".—Разочарование Бальзака в России.—Его позднейший план стать послом Франции в Петербурге . . . . . 199

Глава четвертая. ВЕРХОВНЯ.

I. Мечты Бальзака о поездке на Украину.—Свидания с Ганской в европейских странах.—Поездка Бальзака в Верховню в сентябре 1847 г.—Бальзак в Бердичеве. II. Приезд в поместье Ганских.—Квартира Бальзака.—Противоречия помещичьего быта.—Верховня в наши дни. III. Хозяйство польских помещиков.—План Бальзака сплавлять лес из имения Мнишков во Францию.—Культуртрегерство Бальзака.—Его отношение к крепостным.—Письмо к Уварову. IV. Методы управления Вацлава Ганского.—Крестьянское движение в его поместьях. V. Литературная работа Бальзака в Верховне.—„Письмо о Киеве".—Окончание „Человеческой комедии" в декабре 1847 г.; вторая часть „Изнанки современной истории" (эпизод „Посвященный").—Влияние Ганской: полонофильские и мистические тенденции последней повести Бальзака . . . . . 225

Глава пятая. КИЕВ.

I. Поездки Бальзака в Киев.—„Северный Рим".—Замысел „Письма о Киеве". II. Первая поездка: Лавра и София.—Разочарование Бальзака.—Киев в описаниях г-жи Сталь, украинских и русских поэтов. III. Интерес Бальзака к современности.—Контрактовые ярмарки.

IV. Обед русского и польского общества в честь Бальзака.—Киевские знакомства.—Губернатор Фундуклей: археология и секретный надзор.—Помощник попечителя киевского университета М. В. Юзефович: письма к нему Бальзака.—Киев в рисунках М. М. Сажина.—Шафер Бальзака Густав Олизар.—„Вице-король трех губерний" Бибиков; его переписка с знаменитым обитателем Верховни. V. Киевская холера 1847 г.—Недуги Бальзака.—Почему Киев не понравился романисту и даже не был описан в его „Lettre sur Kiew" . . . . . 249

Глава шестая. БАЛЬЗАК В 1848 г.

I. Отъезд Бальзака из Верховни во Францию в январе 1848 г.—Прибытие в Париж „накануне революции".—Бальзак в Тюильри в день отречения короля.—Отношение писателя к демократической республике.—Оценка Бальзаком крестьянского восстания в Галиции в 1846 г.—На чьей стороне Бальзак в борьбе буржуазии с пролетариатом? II. Его участие в политической жизни 1848 г.—Бальзак на собрании литераторов: его избирают делегатом к Ледрю-Роллену.—Бальзак и „лихорадка народного представительства".—Открытое письмо Бальзака к президенту клуба Всемирного братства: „Исповедание политической веры".—Революция 1848 г., как „война труда и капитала" (К. Маркс).—Статья Бальзака о труде и капитале („Lettre sur le travail").—Идеал „мощной монархии". III. Первый театральный успех Бальзака—пьеса „Мачеха" на сцене Исторического театра.—„Петр I и Екатерина". IV. Стремление Бальзака „спастись от треволнений Парижа" на Украине.—Переписка с Уваровым и Орловым о разрешении на въезд в Россию.—Резолюция Николая I: „да, но с строгим надзором".—План Бальзака написать в России исторический роман о наполеоновском походе 1812 г.—Намерение романиста посетить с этой целью зимой 1849 г. Москву. V. „Король ницих".—Политические надежды и чаяния обитателей Верховни.—Генрих V и наследство св. Людовика . . . . . 272

Глава седьмая. ЖЕНИТЬБА И СМЕРТЬ.

I. Официальная переписка о предстоящем браке.—Обращение Бальзака к Николаю I через Уварова.—Письмо Ганской к Бибикову.—Ответы Уварова и Дубельта.—Разрешение брака при точном выполнении закона об утрате земельной собственности русской подданной, выходящей за иностранца.—Предстоящий разрыв. II. Смертельная болезнь Бальзака.—Новое решение Ганской.—Венчание 2/14 марта 1850 г. в Бердичеве.—Тяжелое свадебное путешествие. III. Приезд в Париж умирающего писателя.—Агония, смерть и похороны Бальзака, по статьям и некрологам русской печати.—Роль госпожи де Бальзак у смертного одра ее мужа.—Свидетельство Октава Мирбо.—Наследство Бальзака.—Второе вдовство Эвелины.—Полное разорение.—Смерть госпожи де Бальзак в 1882 г.—Судьба „Писем к иностранке" . . . . . 290

Глава восьмая. БАЛЬЗАК И НАША СТРАНА.

I. Сложность темы „Бальзак в России": равнодушие писателя к русской культуре и его огромное влияние на дальнейшее развитие нашей литературы.—Неосведомленность Бальзака в крупнейших фактах общественной и художественной мысли России.—Что знал он о Пушкине?—„Великосветский" круг его знакомых.—Россия и русские в ранних произведениях Бальзака (рассказ „Прощание", „Шагреневая кожа").—Случайные русские герои его позднейших произведений.—Безразличие романиста к русскому народному искусству.—Исторические анекдоты о XVIII веке. II. Воздействие Бальзака на русских писателей.—Интерес к нему в пушкинской среде.—Вяземский, А. Н. Вульф, Бестужев-Марлинский в их отзывах о Бальзаке.—Библиотека Пушкина.—Гоголь.—Оценки Бальзака в журналистике николаевской эпохи („Телескоп", „Современник", „Библиотека для чтения", „Литературная Газета").—Эволюция мнений Белинского о Бальзаке.—Восхищение молодых—Герцена, Григоровича и Достоевского.—„Мачеха" Бальзака и „Месяц в деревне" Тургенева.—Свидетельства Гончарова, Чернышевского, Щедрина и Л. Толстого.—Ответ Горького Октаву Мирбо. III. В чем Бальзак остается нашим современником: Бальзак, как создатель социального романа, как изобразитель труда, как мастер реалистической живописи.—„Человеческая комедия" в Стране Советов . . . . . 315

Приложения: I. Письма Бальзака, связанные с его пребыванием в России: П. Ф. Гаккелю, барону С. И. Шодуару, В. Ф. Ленцу. II. Две записки Бальзака: типографу Верде и *графам Сан-Северино. III. Письма скульптора Н. А. Рамазанова о его путешествии* с Бальзаком. IV. Автографы писем Бальзака в собраниях СССР . . . . . 335

„КНЯЗЬ ЭЛИМ".

Статья prof. André Mazon (Париж).

I. Несколько отправных пунктов. II. Лицевая сторона одной дипломатической карьеры. III. Встречи и дружбы. IV. Действительность и легенда. V. Русский поэт. VI. Французский поэт. VII. Патриот и мистик. VIII. Итоги. . . . . 373

АЛЕКСАНДР ДЮМА-ОТЕЦ И РОССИЯ.

Статья С. Дурылина.

I. Дюма и Николай I. II. Дюма в России в 1858 г. . . . . 491

ДОНЕСЕНИЯ ЯКОВА ТОЛСТОГО ИЗ ПАРИЖА В III ОТДЕЛЕНИЕ.

ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ, ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА, НАЧАЛО ВТОРОЙ ИМПЕРИИ.

Статья Е. Тарле. . . . . 563

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА И. С. ТУРГЕНЕВА К ДЮ-КАНУ, ФЛОБЕРУ И Э. де-ГОНКУРУ.

Вступительные статьи prof. André Mazon (Париж). Публикация и примечания M. Gorlin (Париж) . . . . . 663

И. С. ТУРГЕНЕВ И ПРОСПЕР МЕРИМЕ.

Статья М. Клемана . . . . . 707

Ф. И. ТЮТЧЕВ О ФРАНЦУЗСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ 1870—1873 гг.

Сообщение К. Пигарева.

I. Тютчев о франко-прусской войне.—Пребывание Тютчева за границей в 1870 г.—Тютчев о Коммуне. II. Тютчев о Третьей республике.—Переписка Тютчева с Е. Э. Трубецкой о Тьере.—Тютчевская пропаганда франко-русского сближения. . . . . 753

ВИКТОР ГЮГО И ЕГО РУССКИЕ ЗНАКОМСТВА.

ВСТРЕЧИ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ.

Статья М. П. Алексеева.

Глава первая. ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ.

Первые упоминания Гюго в русской печати.—Пушкин и Гюго.—Первые встречи Гюго с русскими путешественниками в Париже: А. И. Тургенев и С. А. Соболевский.—Русское свидетельство о первом представлении „Эрнани".—Начало популярности Гюго в России.—Гюго и русская цензура 30-х гг.—„Собор Парижской Богоматери"—его русские читатели, критики и подражатели . . . . . 777

Глава вторая. В ТРИДЦАТЫХ И СОРОКОВЫХ ГОДАХ.

Визит В. П. Боткина к Гюго.—Гюго в воспоминаниях В. М. Строева.—Гюго и Н. И. Греч.—Послание В. К. Кюхельбекера к Гюго.—Стихотворение Е. П. Ростопчиной, доставленное Гюго Элимом Мещерским.—Отзывы и воспоминания о Гюго русских путешественников в Париже: А. И. Тургенева, П. В. Анненкова, Матвея Волкова, В. П. Балабина, А. Н. Карамзина.—„Эсмеральда" А. С. Даргомыжского . . . . . 797

Глава третья. В ИЗГНАНИИ.

Герцен о Гюго-изгнаннике.—Герцен приглашает Гюго к сотрудничеству в „Полярной Звезде".—Письма Гюго к Герцену.—Стихотворения П. Л. Лаврова, посвященные Гюго.—Воззвание Гюго к „Русскому войску".—Встречи Герцена с Гюго в Брюсселе.—Герцен читает Гюго отрывки из „Былого и дум".—Посещение Гюго П. В. Долгоруковым.—Успех „Отверженных" в России и их цензурная судьба.—Письмо Гюго к В. Ф. Ленцу в Петербург.—Переписка Гюго с кн. С. П. Голицыной.—Воспоминания М. А. Загуляева о встрече с Гюго в Брюсселе . . . . . 823

Глава четвертая. ОПЯТЬ В ПАРИЖЕ.

Гюго и русские туристы в Париже.—П. В. Анненков слушает речь Гюго на столетнем юбилее Вольтера.—Записка Гюго к кн. Е. Э. Трубецкой.—Визит к Гюго кн. М. Урусовой.—Портрет Гюго, подаренный Е. А. Черкасской.—Корреспонденция С. Ф. Шарапова о визите к Гюго.—Гюго и И. С. Тургенев: история их личных отношений.—Гюго и Тургенев на первом международном литературном конгрессе в Париже.—Письмо Ф. М. Достоевского . . . . . 861

Глава пятая. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.

Отношение к Гюго русской печати в последнее десятилетие его жизни.—Гюго и его русские критики, переводчики и читатели.—Гюго—член Псковской археологической комиссии.—Автографы и портреты Гюго, посланные им в Россию.—Письмо к Гюго А. П. Философовой.—Гюго и В. Н. Андреевская.—Ответ Гюго тифлисской гимназистке.—Гюго и „народовольцы".—Отклики Гюго на русские политические процессы.—Смерть Гюго и русская пресса.—Донесения русского посла в Париже о похоронах Гюго.—Некролог Гюго в „Общем Деле" . . . . . 883

Приложения: НЕИЗДАННЫЕ ТЕКСТЫ ГЮГО.

Публикация M-me Cécile Daubray (Париж).

I. Стихи: „L'Echafaud vieilli croule...".—II. Письма и записки, не связанные с русскими знакомствами Гюго.—III. Опись автографов Гюго в собраниях СССР . . . . . 916

ПИСЬМА ЖАНА РИШПЕНА К М. А. ЗАГУЛЯЕВУ.

Сообщение Т. Грица . . . . . 933

ИЗ ПЕРЕПИСКИ Э. ЗОЛЯ С РУССКИМИ КОРРЕСПОНДЕНТАМИ.

Публикация М. Клемана. . . . . 943

Приложения: I. Письма Золя, не связанные с его русскими отношениями.—II. Автографы писем Золя в собраниях СССР. . . . . 976

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ФРАНЦИЯ.

Статья М. Чистяковой . . . . . 981

В ТОМЕ 344 ИЛЛЮСТРАЦИИ, 6 ЧЕТЫРЕХЦВЕТОК И 4 ФОТОТИПИИ

Адрес редакции: Москва, 6, Страстной бульвар, 11, тел. 3-61-80.

Технический редактор Г. Н. Шевченко
Уполн. Главлита № Б-21053
Формат бумаги 72 × 110 1/16
В книге 64½ печ. листа; в 1 п. л. 68.700 зн.

Корректор Е. А. Лядова
Сдано в набор 4/IX 1936 г.
Подписано к печати 20/VI 1937 г.
Тираж 5300 экз.

Отпечатано в Гознаке, Москва, Мытная, 17.